

Прус Болеслав

Кукла

Болеслав Прус

Кукла

Роман

{1} - Так обозначены ссылки на примечания соответствующей страницы.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

Глава первая. Как выглядит фирма "Я.Минцель и С.Вокульский"

сквозь стекло бутылок

Глава вторая. Как управлял старый приказчик

Глава третья. Дневник старого приказчика

Глава четвертая. Возвращение

Глава пятая. Опрошение старого барина и мечты светской барышни

Глава шестая. Как на старом горизонте появляются новые люди

Глава седьмая. Голубка летит навстречу удаву

Глава восьмая. Размышления

Глава девятая. Мостки, на которых встречаются люди разных миров

Глава десятая. Дневник старого приказчика

Глава одиннадцатая. Старые мечты и новые знакомства

Глава двенадцатая. Хождение по чужим делам

Глава тринадцатая. Великосветские развлечения

Глава четырнадцатая. Девичьи грезы

Глава пятнадцатая. О том, как человека терзает страсть и как - рассудок

Глава шестнадцатая. "Она", "он" и прочие

Глава семнадцатая. Как прорастают семена всякого рода заблуждений

Глава восемнадцатая. Недоумения, страхи и наблюдения старого приказчика

Глава девятнадцатая. Первое предостережение

Глава двадцатая. Дневник старого приказчика

Глава двадцать первая. Дневник старого приказчика

Часть вторая

Глава первая. Серые дни и мучительные часы

Глава вторая. Привидение

Глава третья. Человек, счастливый в любви

Глава четвертая. Сельские развлечения

Глава пятая. Под одной крышей

Глава шестая. Леса, развалины и чары

Глава седьмая. Дневник старого приказчика

Глава восьмая. Дневник старого приказчика

Глава девятая. Дневник старого приказчика

Глава десятая. Дамы и женщины

Глава одиннадцатая. Как порою открываются глаза

Глава двенадцатая. Примирение супругов

Глава тринадцатая. Tempus fugit, aeternitas manet

Глава четырнадцатая. Дневник старого приказчика

Глава пятнадцатая. Душа в летаргическом сне

Глава шестнадцатая. Дневник старого приказчика

Глава семнадцатая. ...?...

Примечания

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Как выглядит фирма "Я.Минцель и С.Вокульский"

сквозь стекло бутылок

В начале 1878 года, когда политический мир был озабочен Сан-Стефанским договором, выборами нового папы либо степенью вероятности европейской войны, варшавское купечество, а также интеллигентские круги одного из кварталов Краковского Предместья не менее горячо интересовались будущностью галантерейного магазина фирмы "Я.Минцель и С.Вокульский".

В широко известной ресторации, куда по вечерам сходились закусить владельцы бельевых магазинов и винных подвалов, хозяева шляпных и экипажных мастерских, почтенные отцы

семейств, живущие доходами с капитала, и досужие домовладельцы, столь же часто обсуждался вопрос вооружения Англии, сколь и дела фирмы "Я.Минцель и С.Вокульский". Склонившись над бутылками темного стекла, обитатели этого квартала, окутанные густым сигарным дымом, бились об заклад: одни - выиграет Англия или проиграет, другие - обанкротится Вокульский или нет, одни называли Бисмарка гением, другие - Вокульского авантюристом; одни критиковали деятельность президента Мак-Магона, другие утверждали, что Вокульский - явный безумец, если не хуже...

Лучше остальных знали С.Вокульского пан Деклевский, владелец каретных мастерских, который создал себе состояние и положение в обществе, упорно работая в этой отрасли, а также советник Венгрович, который уже двадцать лет подряд был членом-опекуном одного и того же благотворительного общества; именно они громче всех пророчили Вокульскому разорение.

- Не миновать разорения и банкротства человеку, который не держится одного дела и не умеет ценить милостивых даров судьбы, - говорил Деклевский.

А советник Венгрович при каждом глубокомысленном изречении своего друга присовокуплял:

- Безумец! Безумец! Авантюрист!.. Юзек, подай-ка еще пива. Которая же это по счету бутылка?

- Шестая, господин советник. Сей моментик! - отвечал Юзек.

- Шестая уже? Как время летит! Безумец, безумец! - бормотал советник Венгрович.

Завсегдатаем ресторации, где утолял свою жажду советник, ее хозяину и половым причины бедствий, которым предстояло обрушиться на С.Вокульского и его галантерейный магазин, казались ясны, как пламя газовых рожков, освещавших зал. Причины эти коренились в беспокойном характере, в авантюристическом образе жизни и, наконец, в последнем поступке этого человека, который, имея в руках верный кусок хлеба и доступ в столь приличную ресторацию, добровольно отказался от нее, магазин оставил на произвол судьбы, а сам со всеми деньгами, доставшимися ему после смерти жены, отправился на русско-турецкую войну сколачивать состояние.

- А может, и сколотит... Военные поставки - дельце прибыльное, ввернул Шпрот, торговый агент, который был тут редким гостем.

- Ничего он не сколотит, - возразил Деклевский, - а тем временем солидное предприятие полетит к черту. На поставках наживаются только евреи да немцы, наши в таких делах ничего не смыслят.

- А может, Вокульский смыслит?

- Безумец! Безумец! - буркнул советник. - Подай-ка пива, Юзек. Которая это?

- Седьмая бутылочка, господин советник. Сей моментик!

- Седьмая уже? Как время летит, как время летит...

Торговый агент, которому по роду его службы требовались всесторонние и исчерпывающие сведения о купцах, пересел вместе со своей бутылкой и кружкой к столу советника и, умильно заглядывая в его слезящиеся глаза, спросил понизив голос:

- Прошу прощения, но... почему вы, господин советник, изволите называть Вокульского безумцем? Не угодно ли сигарку?.. Я немного знаком с Вокульским. Он всегда казался мне человеком скрытным и гордым. Скрытность в купце черта отличная, гордость же - недостаток.

Однако склонности к сумасшествию... нет, этого я в нем не заметил.

Советник принял сигару без особых знаков признательности. Его румяная физиономия, окаймленная пучками седых волос, в эту минуту напоминала красный халцедон в серебряной оправе.

- Я называю его... - отвечал он, неторопливо обкусывая сигару и закуривая, - я называю его безумцем, потому что знаю его... постойте-ка... пятнадцать... семнадцать... восемнадцать лет... Это было в тысяча восемьсот шестидесятом году... Мы тогда обычно заходили к Гопферу. Знали вы Гопфера?

- Фью!..

- Ну, так Вокульский служил тогда у Гопфера половым, и было ему двадцать с чем-то лет...

- Это в торговле винами и деликатесами?

- Да. И вот как сейчас Юзек, так в ту пору он подавал мне пиво и нельсоновские зразы.

- А потом он из этой отрасли перекинулся в галантерейную? - спросил агент.

- Не торопитесь, - остановил его советник. - Перекинулся, да не в галантерею, а на подготовительные курсы, а потом в университет, - понимаете, сударь?.. В образованные, видите ли, захотелось!

Агент покачал головой, изображая недоумение.

- Вот так так! - протянул он. - И что это ему на ум взбрело?

- Да что! Известно - знакомства в Медицинской академии, в Институте живописи... В те времена у всех в головах невеста что творилось, ну и он не хотел отставать от других. Днем прислуживал посетителям за стойкой и вел счета, а по ночам учился...

- Неважный, верно, был из него работник?

- Не хуже других, - отвечал советник, с неудовольствием махнув рукой. Только уж очень он, шельма, был нелюбезен; скажешь ему самое безобидное словечко, а он на тебя волком смотрит... Ну уж и потешались мы над ним сколько влезет, а он всего больше злился, если кто величал его "господин доктор". Однажды так нагрубил посетителю, что чуть было не подрались.

- И, конечно, заведению от того убыток...

- Ничуть не бывало! Как только в Варшаве разнесся слух, что слуга Гопфера поступает на подготовительные курсы, народ валом туда повалил. Особенно студенты.

- И он действительно поступил на подготовительные курсы?

- Поступил и даже сдал экзамен в университет. Однако что бы вы думали? - продолжал советник, хлопнув агента по колену. - Не прошло и года, как он, вместо того чтобы довести ученье до конца, бросил университет...

- И за что принялся?

- Вот именно - за что?.. Вместе с другими заваривал кашу, которую мы и по нынешний день расхлебываем, и в конце концов очутился где-то под Иркутском.{10}

- Вот так так! - вздохнул торговый агент.

- И это еще не все... В тысяча восемьсот семидесятом году он вернулся в Варшаву с маленьким капиталцем. Полгода высматривал, чем бы таким заняться, за версту обходя бакалею, которую до сих пор терпеть не может, пока наконец, по протекции своего теперешнего управляющего Жецкого, не втерся в магазин пани Минцель, которая в то время как раз овдовела, и - бац - через год женился на бабе чуть ли не вдвое старше его.

- Это не так уж глупо!

- Еще бы! Одним махом заполучил хороший кусок хлеба и дело, при котором мог бы спокойно трудиться до конца дней своих. Ну, зато и принял же он от этой бабы крестную муку!

- На этот счет они мастерицы...

- Ого-го! - отозвался советник. - Посудите, однако, что значит удача! Полтора года назад баба чем-то объелась и умерла, а Вокульский, отмучившись четыре года, стал вольной птицей, получив в придачу солидный магазин да чистоганом тридцать тысяч рублей, что сколачивали два поколения Минцелей.

- Везет человеку!

- Везло, - поправил советник, - да не сумел он оценить свое счастье. Всякий другой на его месте женился бы на приличной барышне и зажил бы припеваючи; шутка ли сказать, чего стоит в наши дни магазин с солидной репутацией, да еще на таком бойком месте. А этот безумец бросил все и отправился наживать капитал на войне. Миллионов ему захотелось или еще невесть чего.

- Может, и добудет, - отозвался агент.

- Куда там! - раздраженно махнул рукой советник. - Дай-ка, Юзек, еще пива. Вы, сударь мой, уж не думаете ли, что в Турции он найдет бабу побогаче покойницы Минцелевой? Юзек!

- Сей моментик! Пожалуйте восьмую.

- Восьмую? - повторил советник. - Быть не может! Постой... Раньше была шестая, потом седьмая, - бормотал он, прикрывая лицо ладонью. - Может, и правда восьмая. Как время летит!

Вопреки мрачным предсказаниям трезвых людей, галантерейный магазин фирмы "Я.Минцель и С.Вокульский" не только не разорился, но даже приносил немалую прибыль. Любопытство публики было возбуждено слухами о банкротстве Вокульского, и люди все чаще заходили к нему в магазин, а с тех пор, как хозяин уехал из Варшавы, за товарами начали обращаться и русские купцы. Заказов становилось все больше, фирма получила кредит за границей, векселя аккуратно оплачивались, и в магазине всегда было полно покупателей, которых с трудом успевали обслуживать три приказчика: один - тщедушный блондин, выглядевший так, будто он вот-вот умрет от чахотки, другой - шатен с бородкой философа и жестами вельможи, и третий - франт, носивший смертоносные для прекрасного пола уски и благоухающий, как парфюмерная фабрика.

Однако общее любопытство, физические и духовные качества всех трех приказчиков и даже прочно установившаяся репутация магазина вряд ли смогли бы спасти его от разорения, если бы всем предприятием не управлял человек, сорок лет работавший в фирме, друг и заместитель Вокульского, пан Игнаций Жецкий.

Глава вторая

Как управлял старый приказчик

Пан Игнаций уже четверть века жил в комнате при магазине. За это время в магазине менялись хозяева и полы, шкафы и оконные стекла, размах деятельности и приказчики; но комната Жецкого оставалась такой, как была. Все в тот же двор выходило унылое окошко, все с той же самой решеткой, на прутьях которой висела чуть ли не двадцатипятилетняя паутина и уж наверняка двадцатипятилетней давности занавеска, некогда зеленая, а ныне посеревшая с тоски по солнечным лучам.

У окна стоял все тот же черный стол, обитый сукном, некогда тоже зеленым, а сейчас попросту грязным. На столе - громоздкая черная чернильница с громоздкой черной песочницей, наглухо вделанные в одну подставку, пара медных подсвечников для сальных свечей, которых уже давно не жгли, и стальные щипцы, которыми уже давно не снимали нагара. Железная кровать с жиденьким тюфячком, над нею - никогда не бывшая в употреблении двустволка, под кроватью - гитара в футляре, напоминавшем детский гробик, далее узкий, обитый кожей диванчик, два стула, тоже обитые кожей, большой жестяной таз и шкафчик темно-вишневого цвета - такова была меблировка комнаты, которая из-за своей продолговатой формы и постоянно царившего здесь полумрака скорее, пожалуй, походила на склеп, чем на жилое помещение.

Точно так же, как комната, не изменились за четверть века и привычки пана Игнация. Утром он просыпался всегда в шесть часов; с минутку прислушивался, идут ли часы, лежащие на стуле, и бросал взгляд на стрелки, которые в этот миг вытягивались в одну прямую линию. Он предпочел бы подняться спокойно, без суеты; но, так как холодные ноги и слегка ооченевшие руки не вполне подчинялись его воле, он разом срывался с постели, выскакивал на середину комнаты и, швырнув на одеяло ночной колпак, бежал к печке, где стоял большой таз, в котором он мылся с головы до ног, причем ржал и фыркал, словно одряхлевший рысак благородных кровей, которому вспомнились скачки.

Совершив обряд омовения, он растирался мохнатым полотенцем и бормотал, любуясь своими тощими икрами и заросшей грудью:

- А я таки обрастаю жирком!

В это мгновение неизменно спрыгивал с диванчика старый пудель Ир с выбитым глазом и, энергично встряхнувшись, по-видимому чтобы сбросить с себя остатки сна, начинал скрестись в дверь, за которой кто-то неумоимо раздувал самовар. Жецкий, не переставая торопливо одеваться, выпускал пса, здоровался со слугой, доставал из шкафа чайник, застегивал манжеты, путаясь в петлях, выбегал во двор посмотреть, какова погода, обжигаясь, глотал чай, причесывался, не глядя в зеркало, и в половине седьмого был уже совершенно готов.

Проверив, есть ли у него на шее галстук, а в карманах - часы и кошелек, пан Игнаций доставал из стола большой ключ и, слегка сутулясь, торжественно отпирал заднюю дверь магазина, обитую жестью. Вдвоем со слугой входили они туда, зажигали несколько газовых рожков, и, пока слуга подметал пол, пан Игнаций, надев пенсне, просматривал в блокноте расписание занятий на день.

- Внести в банк восемьсот рублей, ага... Отослать в Люблин три альбома и дюжину кошельков... Вот-вот! перевести в Вену тысячу двести гульденов... Получить на вокзале прибывший груз... Отчитать кожевника, почему не доставил чемоданов... Пустяки! Стасю написать письмо... Пустяки!

Дочитав до конца, он зажигал еще несколько рожков и при их свете производил осмотр товаров на застекленных полках и в шкафах.

- Запонки, булавки, кошельки... хорошо... Перчатки, веера, галстуки... Порядок... Трости, зонты, саквояжи... А тут альбомы, несессерчики... Голубой вчера продали, ясное дело!

Подсвечники, чернильницы, пресс-папье... Фарфор... Хотел бы я знать, зачем повернули эту вазу? Конечно... нет, не треснула... Куклы с волосами, театр, карусель... Завтра же надо будет выставить в витрине карусель, а то фонтан уже примелькался... Пустяки! Скоро восемь... Готов пари держать, что первым явится Клейн, а последним Мрачевский. Ясное дело!.. Познакомился с какой-то гувернанткой и уже успел купить ей несесерчик в кредит и со скидкой... Ясное дело... Лишь бы не начал покупать без скидки да на чужой счет...

Так бормоча, Жецкий ходил по магазину, сутулясь и засунув руки в карманы, а за ним ходил его пудель. Время от времени он останавливался и осматривал какую-нибудь вещь, тогда пес присаживался на полу и скреб задней лапой свои густые лохмы, а выставленные рядами куклы, маленькие, средние и большие, брюнетки и блондинки, глядели на них из шкафа мертвыми глазами.

Заскрипела входная дверь, и показался Клейн, тщедушный приказчик с грустной улыбкой на посиневших губах.

- Ну вот, я так и знал, что вы явитесь первым. Добрый день! - сказал пан Игнаций. - Павел! Гаси свет и открывай магазин.

Слуга вбежал тяжелой рысью и завернул газ. Минуту спустя раздался скрежет засовов, лязг болтов, и в магазин вторгся день - единственный посетитель, который никогда не подводит купца. Жецкий уселся за конторку у окна, Клейн занял свое место возле фарфора.

- Что, хозяин еще не возвращается, не получали вы письма? - спросил Клейн.

- Я жду его в середине марта, самое позднее через месяц.

- Если его не задержит новая война.

- Стась... - начал Жецкий и тут же поправился: - Пан Вокульский пишет мне, что войны не будет.

- Однако же ценные бумаги падают, а сегодня я читал, что английский флот вошел в Дарданеллы.

- Это ничего не значит, войны не будет. Впрочем, - вздохнул пан Игнаций, - какое нам дело до войны, в которой не будет участвовать Бонапарт!

- Ну, песенка Бонапартов спета.

- В самом деле?.. - иронически усмехнулся пан Игнаций. - А ради кого же это Мак-Магон и Дюкро готовили переворот в январе?.. Поверьте мне, Клейн, бонапартизм - это могучая сила!

- Есть еще сила побольше.

- Какая? - вознегодовал пан Игнаций. - Уж не Гамбеттова ли республика? Или Бисмарк?

- Социализм, - шепнул тщедушный приказчик, укрываясь за горкой фарфора.

Пан Игнаций укрепил на носу пенсне и привстал с кресла, словно собираясь одним ударом сокрушить новую теорию, противоречившую его воззрениям, но намерению его помешал приход второго приказчика, с бородкой.

- А, мое почтение, пан Лисецкий! - обратился он к вновь прибывшему. Холодно сегодня, не правда ли? Который это час на улице? А то мои часы, кажется, спешат. Ведь еще нет четверти девятого?

- Ах, как остроумно!.. Ваши часы всегда спешат по утрам и отстают вечером, - едко возразил Лисецкий, вытирая заиндеветшие усы.

- Держу пари, что вы вчера играли в преферанс.

- Само собою. А вы как думаете - круглые сутки развлекать меня видом вашей галантереи и ваших седых волос?

- Ну, сударь мой, я уж предпочитаю просесть, нежели плешь, - обиделся пан Игнаций.

- Остроумно!.. - прошипел Лисецкий. - Моя плешь, если кто ее и разглядит, - плод печальной наследственности, а вот ваша седина и брызгливый характер - плоды преклонного возраста, который я готов, конечно, всячески уважать...

В магазин вошла первая покупательница в салопе и шали и потребовала медную плевательницу. Пан Игнаций очень низко ей поклонился и предложил стул, а Лисецкий исчез за шкафами и, вскоре вернувшись, протянул посетительнице требуемую вещь исполненным достоинства жестом, затем написал цену плевательницы на квитанции, через плечо подал ее Жецкому и удалился за полки с видом банкира, который пожертвовал на благотворительные цели несколько тысяч рублей.

Спор о плешу и седине остался неразрешенным.

Только к девяти в магазин вошел, вернее влетел, Мрачевский, великолепный блондин лет двадцати трех: глаза - как звезды, губы - как вишни, усики - как смертоносные кинжалы. Он вбежал, за ним неслась волна благовония.

- Честное слово, уже, наверное, половина десятого! Я ветрогон, я шалопай, ну, наконец, я мерзавец, - но что поделаешь, если мать заболела и мне пришлось бежать за доктором. Я был у шести...

- Не у тех ли, которым вы дарите несессеры? - спросил Лисецкий.

- Несессеры? Нет. Наш доктор не взял бы даже булавки. Почтеннейший человек... Не правда ли, пан Жецкий, уже половина десятого? У меня остановились часы.

- Скоро де-вять, - отчеканил пан Игнаций.

- Только девять? Ну, кто бы мог подумать! А я собирался прийти сегодня в магазин первым, раньше Клейна...

- Чтобы уйти еще до восьми, - ввернул Лисецкий. Мрачевский устремил на него голубые глаза с видом величайшего изумления.

- Откуда вы знаете? - воскликнул он. - Ну, честное слово! У этого человека дар ясновидения! Как раз сегодня, честное слово... мне необходимо быть в городе около семи, хотя бы мне грозила смерть, хотя бы... меня уволили...

- С этого вы и начните, - взорвался Жецкий, - и будете свободны к одиннадцати, даже сию минуту, пан Мрачевский. Вам бы графом быть, а не приказчиком, и я удивляюсь, как вы с самого начала не выбрали себе этой специальности. Тогда, пан Мрачевский, у вас было бы вдоволь свободного времени! Кажется, ясно!

- Положим, и вы в его годы бегали за юбками, - вступился Лисецкий. Чего уж там мораль разводить!

- Никогда я не бегал! - крикнул Жецкий, стукнув кулаком по конторке.

- По крайней мере, хоть раз проболтался, что всю жизнь был растяпой, буркнул Лисецкий Клейну, который улыбнулся и чрезвычайно высоко поднял брови.

В магазин вошел второй покупатель и попросил калоши. Навстречу ему выбежал Мрачевский.

- Вам, сударь, калоши угодно? А номерок какой, осмелюсь спросить? Ах, вы, сударь, наверное, не помните! Не у каждого есть время подумать о номере своих калош, это уж наша забота. Разрешите, сударь, примерить? Соболаговолите присесть на табурет. Павел! Принеси полотенце, сними с господина калоши и оботри башмаки...

Прибежал Павел с тряпкой и бросился к ногам покупателя.

- Да что вы... да как же... - лепетал оторопевший посетитель.

- Помилуйте, ради бога! - частил Мрачевский. - Это наша обязанность. Вот эти, кажется, подойдут, - говорил он, подавая пару калош, связанных ниткой. - Великолепно, выглядят прелестно. У вас, сударь, нога до того нормальная, что никак не ошибешься номером. Не угодно ли буквы, какие, сударь, позвольте?

- Л.П., - буркнул покупатель, чувствуя, что тонет в потоке красноречия услужливого приказчика.

- Пан Лисецкий, пан Клейн, будьте добры прикрепить буквы. Старые калоши прикажете завернуть? Павел, вытри калоши и заверни в бумагу. Но вам, сударь, может быть, не угодно таскать лишнюю тяжесть? Павел! Брось калоши в ящик... С вас, сударь, два рубля пятьдесят копеек. Калоши с буквами, сударь, вам никто не подменит, а то ведь мало радости вместо нового товара найти дырявые обноски... Два рубля пятьдесят копеек пожалуйста в кассу с этой вот квитанцией. Кассир, пятьдесят копеек сдачи уважаемому господину...

Покупатель не успел опомниться, как на него надели новые калоши, дали сдачу и проводили к дверям, отвешивая низкие поклоны. С минуту он постоял на улице, бессмысленно уставясь на витрину, из-за которой Мрачевский посылал ему нежные улыбки и пламенные взгляды. Наконец махнул рукой и пошел дальше, думая, быть может, о том, что в другом магазине калоши без букв стоили бы ему десять злотых.

Пан Игнаций обернулся к Лисецкому и покачал головою с видом, выражающим удовольствие и восхищение. Мрачевский подметил краешком глаза это движение и, подбежав к Лисецкому, проговорил громким шепотом:

- Ну посмотрите-ка, разве наш старик не похож в профиль на Наполеона Третьего? Нос... усы... эспаньолка...

- Да, на Наполеона, когда ему докучали камни в печени, - отвечал Лисецкий.

Пан Игнаций брезгливо сморщился, услышав эту остроту. Само собою, Мрачевский около семи вечера был отпущен с работы, а несколько дней спустя удостоился заметки в личной тетради Жецкого: "Был на "Гугенотах" в восьмом ряду партера с некоей Матильдой... (???)"

Красавец блондин мог бы сказать себе в утешение, что в той же тетради имелись заметки и о двух его сотоварищах, а также об инкассаторе, рассыльных, даже о слуге Павле. Откуда черпал Жецкий столь подробные сведения о жизни своих сослуживцев? Это был секрет, который он не открывал никому.

Около часу дня пан Игнаций, сдав кассу Лисецкому, которому он, несмотря на постоянные стычки, доверял больше других, удалялся в свою комнатку, чтобы съесть обед, принесенный из ресторана. Одновременно с ним уходил и Клейн. В два часа оба они

возвращались в магазин, а Лисецкий с Мрачевским отправлялись обедать. В три часа все снова были в сборе.

В восемь часов вечера магазин закрывался. Приказчики расходились, оставался один Жецкий. Он подсчитывал дневную выручку, проверял кассу, составлял список дел на завтра и припоминал, выполнено ли все, что было назначено на сегодня. За каждое упущение он расплачивался часами бессонницы и мрачными думами о разорении магазина, о несомненном упадке наполеоновской династии и о том, что все его жизненные чаяния оказывались попросту вздором.

"Ничего не выйдет! Нет нам спасения!" - вздыхал он, ворочаясь на своей жесткой постели.

Если день выдавался удачный, пан Игнаций был в приятном расположении духа. Тогда он перед сном перечитывал историю консульства и империи либо газетные вырезки с описаниями итальянской кампании 1859 года, иногда же, что случалось реже, вытаскивал из-под кровати гитару и играл марш Ракоци{19}, подпевая сомнительного тембра тенорком.

После этого ему снились широкие венгерские равнины, синие и белые линии войск, затянутые клубами дыма... На следующий день он бывал мрачен и жаловался на головную боль.

Самым приятным днем было для него воскресенье, ибо в этот день он обдумывал и приводил в исполнение план устройства витрин на целую неделю.

По его понятиям, назначением витрины было не только показать, что имеется в магазине, но и привлечь внимание прохожих - то последними новинками моды, то живописным расположением предметов, то затейливой выдумкой. В правом окне, отведенном для предметов роскоши, обычно помещалась какая-нибудь бронзовая статуэтка, фарфоровая ваза, полный набор туалетных безделушек, а вокруг располагались альбомы, подсвечники, кошельки и веера в соседстве с тросточками, зонтами и несчетным множеством изящных мелочей. В левом же окне, пестревшем образцами галстуков, перчаток, калош и духов, главное место занимали игрушки, чаще всего заводные.

Иногда, во время этих одиноких занятий, в старом приказчике просыпался ребенок. Тогда он вытаскивал и расставлял на столе все механические игрушки. Был среди них и медведь, карабкавшийся на столб, и петух, издававший хриплое "кукареку", и бегающая мышь, и поезд, катившийся по рельсам, и цирковой клоун, который гарцевал на коне, поднимая на руках другого клоуна, и танцующие пары, кружившиеся в вальсе под звуки невнятной музыки. Пан Игнаций заводил все эти фигурки и пускал их одновременно. А когда петух принимался кукарекать, хлопая негнушимися крыльями, и кукольные пары пускались в пляс, поминутно спотыкаясь и останавливаясь, когда оловянные пассажиры поезда, едущего неведомо куда, удивленно глядели на него из окошек, когда весь этот игрушечный мир в мигающем свете газовых рожков как-то фантастически оживал, - тогда старый приказчик, подперев голову кулаками, тихонько смеялся и бормотал:

- Хи-хи-хи! И куда это вы едете, уважаемые путешественники? Чего ради ты, акробат, рискуешь свернуть себе шею? К чему вам обниматься, танцоры?.. Вот кончится завод, и вы все отправитесь обратно на полки. Вздор, все вздор!.. А ведь умей вы думать, вам, наверное, казалось бы, что вы заняты важным делом!

После такого или подобного монолога он быстро складывал игрушки и в раздражении принимался шагать по пустому магазину, а следом за ним плелся его грязный пес.

"Торговля-вздор... политика - вздор... поездка в Турцию - вздор... и вздор вся жизнь, начала которой мы не помним, а конца не знаем... Где же истина?.."

А так как суждения такого рода он высказывал иногда и вслух, при людях, то его считали чудаком, и почтенные дамы, у которых были дочери на выданье, не упускали случая заметить:

- Вот до чего доводит мужчину холостая жизнь!

Из дому пан Игнаций выходил редко и ненадолго; обычно он прогуливался по улицам, где жили его товарищи по профессии или служащие магазина. Однако и тут его темно-зеленая куртка или табачного цвета сюртук, пепельно-серые брюки с черными лампасами и выцветший цилиндр, а более всего застенчивые манеры привлекали к себе всеобщее внимание. Пан Игнаций об этом знал и с каждым разом все больше терял охоту к прогулкам. В праздники он предпочитал растянуться на кровати и часами глядеть в свое зарешеченное окно, из которого видна была серая стена соседнего дома, украшенная одним-единственным, тоже зарешеченным окном, где иногда стоял горшочек масла или висели заячьи останки.

Но чем реже он выходил из дому, тем чаще мечтал о каком-нибудь далеком путешествии - в деревню или за границу. Все чаще виделись ему во сне зеленые поля и темные леса, где он мог бы бродить, вспоминая молодые годы. Постепенно в нем пробуждалась глухая тоска по сельскому пейзажу, и он решил сразу по возвращении Вокульского уехать куда-нибудь на все лето.

- Хоть раз перед смертью, зато уж на несколько месяцев, - говорил он сослуживцам, которые, неизвестно почему, посмеивались над его проектами.

Добровольно отгородившись от природы и людей, погружившись в быстротечный, но тесный круговорот магазина, он все сильнее ощущал потребность поделиться с кем-нибудь своими мыслями. А поскольку одним он не доверял, иные не хотели его слушать, а Вокульского не было, он разговаривал сам с собою и - в величайшей тайне - писал дневник.

Глава третья

Дневник старого приказчика

"...С грустью наблюдаю я в последние годы, что на свете становится все меньше хороших приказчиков и разумных политиков, а все потому, что свет гонится за модой. Простой приказчик, что ни сезон, щеголяет в брюках нового покроя, в какой-нибудь удивительной шляпе и в замысловатом воротничке. То же и политики нынешние, - что ни сезон, служат новому богу. Позавчера они верили в Бисмарка, вчера - в Гамбетту, а сегодня - в Биконсфильда, который не так давно был обыкновенным евреем.

Как видно, у нас забывают, что в магазине следует не рядиться в модные воротнички, а продавать их, ибо в противном случае покупателям не хватит товаров, а магазину - покупателей. В свою очередь, судьбу политики следует связывать не с удачливыми личностями, а единственно с великими династиями. Меттерних был столь же славен, как Бисмарк, а Пальмерстон - еще славнее Биконсфильда. И что же? Кто нынче помнит о них? Между тем как род Бонапартов потрясал Европу при Наполеоне I, потом при Наполеоне III, да и сейчас, хоть некоторые и утверждают, будто род этот потерпел крах, он продолжает влиять на судьбы Франции через своих верных слуг Мак-Магона и Дюкро.

Вы еще увидите, что совершит Наполеон IV, который втихомолку учится у англичан военному искусству! Но не об этом речь. Не для того я мараю бумагу, чтобы повествовать о Бонапартах, - я хочу писать о себе, дабы известно было, каким образом воспитывались дельные приказчики и хоть не ученые, но разумные политики. Для этого дела не требуется академии, хватит хорошего примера дома и в магазине.

Отец мой смолоду служил в солдатах, а под старость - швейцаром в ведомстве внутренних

дел. Держался он прямо, как жердь, носил небольшие бачки и закрученные вверх усы, шею повязывал черным платком, а в одном ухе висела у него серебряная серьга.

Мы жили в Старом Мясте с теткой, которая стирала и чинила белье чиновникам. Снимали две комнатухи в четвертом этаже. Достатка в них было немного, зато много радости, по крайней мере для меня. В нашей комнатке самой почетной вещью был стол, на котором отец, возвратившись со службы, клеил конверты, а у тетки в комнате первое место занимала лохань. Помню, в ясные дни я на улице запускал змея, а в ненастные сидел дома и пускал мыльные пузыри.

Все стены у тетки были увешаны изображениями святых; но сколько бы их ни было, все же они не могли равняться по количеству с портретами Наполеона, которыми украшал свою комнату отец. Там был один Наполеон в Египте, другой под Ваграмом, третий под Аустерлицем, четвертый под Москвой, пятый в день коронации и шестой в сиянии славы. Когда тетка, оскорбленная таким множеством светских картин, повесила у себя на стене медное распятие, отец, чтобы, как он говорил, не унижить Наполеона, купил его бронзовый бюст и тоже поместил его над кроватью.

- Вот увидишь, безбожник, - не раз причитала тетка, - будешь ты за такие штучки кипеть в смоле!

- Э! - отвечал отец. - Уж император меня в обиду не даст.

Часто к нам заходили бывшие полковые товарищи отца: Доманский, тоже швейцар, только в финансовом ведомстве, и Рачек, владелец зеленого ларька на улице Дунай. Это были простые люди (Доманский даже питал пристрастие к анисовке), однако в политике разбирались с толком. Все, не исключая и тетки, утверждали самым решительным образом, что, хоть Наполеон I и умер в плену, род Бонапартов еще покажет себя. За первым Наполеоном явится другой, а случись и тому плохо кончить, найдется еще какой-нибудь, пока наконец они не наведут порядок на свете.

- Мы должны быть всегда готовы по первому зову... - говаривал мой отец.

- Ибо не ведаете ни дня, ни часа... - прибавлял Доманский.

А Рачек, не выпуская изо рта трубки, в знак одобрения сплевывал далеко за порог теткиной комнаты.

- Только плюнь, сударь мой, в лохань, уж я тебе дам! - грозилась тетка.

- Вы, ваша милость, может, и дадите, да я не возьму, - ворчал Рачек, сплевывая в сторону печки.

- У-у, и что за хамье эти горе-гренадеры! - сердилась тетка.

- Вашей милости всегда нравились уланы. Знаю, знаю...

Позже Рачек женился на моей тетке...

...Отец мой, желая, чтоб я был готов, когда пробьет час возмездия, сам занимался моим воспитанием.

Он научил меня читать, писать, клеить конверты, но важнейшим занятием была муштра. К муштре он начал приучать меня с самого раннего детства, когда сзади у меня торчала еще из штанов рубашонка. Я хорошо это помню, ибо отец, командуя: "Направо марш!" или "Левое плечо вперед!" - тащил меня в указанном направлении именно за эту часть туалета.

Обучение происходило по всем правилам.

Часто отец, разбудив меня криком: "К оружию!" - затевал муштру и ночью, невзирая на брань и слезы тетки, и кончал следующей фразой:

- Игнась! Смотри, сорванец, будь всегда готов, ибо мы не ведаем ни дня, ни часа... Помни, что Бонапартов послал нам господь, чтобы они навели порядок на свете; и не будет на свете ни порядка, ни справедливости до тех пор, пока не исполнятся заветы императора.

Не могу сказать, чтобы приятели моего отца разделяли его непоколебимую веру в Бонапартов и в торжество справедливости. Нередко Рачек, когда боль в ноге особенно дожимала его, говорил, поругиваясь и охая:

- Э! Знаешь, старина, что-то уж слишком долго приходится ждать нам нового Наполеона. Я уж сесть начинаю и хирею день ото дня, а его все нет и нет. Нам скоро останется одна дорога - на паперть, а Наполеону, если бы он пришел, - вместе с нами Лазаря петь.

- Найдет себе молодых.

- Каких там молодых! Лучшие из них еще прежде нас в могилу сошли, а самые молодые ни черта не стоят. Многие о Наполеоне и не слыхивали.

- Мой-то слышал и запомнит, - отвечал отец, подмигивая в мою сторону.

Доманский совсем падал духом.

- Все на свете идет к худшему, - говорил он, покачивая головой. Провизия дорожает, за квартиру готовы содрать с тебя последний грош, даже на анисовке - и то норовят тебя надуть. Раньше, бывало, с одной рюмочки развеселишься, нынче же и со стакана не захмелеешь, все равно что воды напился. Сам Наполеон не дождался бы справедливости!

На это отец отвечал:

- Справедливость наступит, хоть бы Наполеон и не явился. Но и Наполеон найдется.

- Не верю, - буркнул Рачек.

- А если найдется, тогда что? - спросил отец.

- Нам этого не дожидаться.

- Я дождусь, - возразил отец, - а Игнась тем более дождется.

Уже в те времена слова отца глубоко врезались мне в память, но лишь дальнейшие события придали им чудодейственный, чуть ли не пророческий смысл.

Примерно с 1840 года отец стал прихварывать. Иногда он по нескольку дней не ходил на службу, а под конец и вовсе слег.

Рачек навещал его ежедневно, а однажды, глядя на его исхудалые руки и пожелтевшее лицо, шепнул:

- Эх, старина, видно, нам уже не дожидаться Наполеона.

На что отец спокойно возразил:

- Я не умру, пока не услышу о нем.

Рачек покачал головой, а тетка смахнула слезу, думая, что отец бредит. И можно ли было думать иначе, когда смерть уже стучалась к нам в дверь, а отец все еще поджидал Наполеона...

Ему стало совсем худо, он даже причастился, - как вдруг, несколько дней спустя, вбежал к нам Рачек в необычном смятении и, стоя посреди комнаты, закричал:

- А знаешь ли, старина, что Наполеон таки объявился?

- Где? - воскликнула тетка.

- Ясное дело, во Франции!

Отец рванулся с подушек но тут же снова упал. Он только протянул руку ко мне и, устремив на меня взор, которого я никогда не забуду, прошептал:

- Помни!.. Обо всем помни...

С тем он и умер.

Позже я убедился, сколь пророческими были слова отца. Все мы видели восход второй наполеоновской звезды, которая разбудила Италию и Венгрию; и пусть звезда эта закатилась под Седаном, я не верю, что она угасла совсем. Что мне Бисмарк, Гамбетта или Биконсфильд! Несправедливость до тех пор будет царить на земле, пока не явится новый Наполеон.

Через несколько месяцев после смерти отца Рачек и Доманский вместе с теткой Зузанной собрались на совет, чтобы решить, что делать со мной. Доманский хотел взять меня к себе в контору и понемногу вывести в чиновники, тетка стояла за ремесло, а Рачек - за зеленую торговлю.

Однако, когда спросили меня, куда бы я хотел пойти, я отвечал: "В магазин".

- Как знать, может быть, это всего лучше, - заметил Рачек. - А к какому купцу?

- К тому, на Подвалье, у которого на дверях сабля, а в окне казак.

- Знаю! - вмешалась тетка. - Он хочет к Минцелю.

- Можно попробовать, - сказал Доманский. - Минцеля мы все знаем.

Рачек в знак согласия сплюнул в самую печь.

- Боже милостивый, - охнула тетка, - этот верзила скоро, наверное, начнет плевать на меня; теперь, когда брата не стало... Сирота я горемычная!

- Важное дело, - отозвался Рачек. - Выходи, сударыня, замуж, вот и не будешь сиротой.

- А где ж я найду дурака, который бы на мне женился?

- Ну вот! Может, и я бы женился на вашей милости, а то некому мне бок растирать, - буркнул Рачек, с трудом нагибаясь к полу, чтобы выбить пепел из трубки.

Тетка залилась слезами; тогда вмешался Доманский.

- Чего тут церемонии разводить? У тебя, сударушка, нет родни, у него нет хозяйки; поженитесь и приютите Игнася - вот вам и сын будет. Да еще и дешевый сын, потому что Минцель даст ему и стол и квартиру, а вы - только одежду.

- А? - спросил Рачек, глядя на тетку.

- Сперва отдайте мальчишку в обучение, а там... может, и наберусь храбрости, - отвечала тетка. - У меня всегда было предчувствие, что я плохо кончу...

- Так айда к Минцелю! - сказал Рачек, вставая с табурета. - Только смотри, сударыня, не подведи! - прибавил он, погрозив тетке кулаком.

Рачек с Доманским ушли и часа через полтора вернулись, оба сильно раскрасневшиеся. Рачек едва переводил дух, а Доманский с трудом держался на ногах, видно потому, что лестница у нас была очень крутая.

- Ну что? - спросила тетка.

- Нового Наполеона посадили в пороховой склад!{27} - отвечал Доманский.

- Не в пороховой склад, а в крепость, - поправил Рачек. - В крепость Га-у... Га-у... - И он швырнул шапку на стол.

- А с мальчишкой-то как?

- Завтра он должен прийти к Минцелю с одеждой и бельем, - ответил Доманский. - В крепость, только не Га-у... Га-у... а в Гам-Гам или Хам... я даже не знаю...

- Рехнулись совсем, пьянчуги! - крикнула тетка, хватая Рачека за руку.

- Только не фамильярничать! - возмутился Рачек. - Фамильярничать будем после свадьбы, а сейчас... Пусть приходит завтра к Минцелю с бельем и одеждой... Несчастный Наполеон...

Тетка вытолкала за дверь Рачека, потом Доманского - и швырнула шапку им вслед.

- Вон отсюда, пьянчуги!

- Да здравствует Наполеон! - заорал Рачек, а Доманский запел:

Когда туда ты, путник, обратишь око,

Ту надпись прочитай в раздумии глубоком...

Ту надпись прочитай в раздумии глубоком...

Голос его постепенно замирал, будто он сам погружался в колодец, потом замолк и вновь долетел до нас уже с улицы. Минуту спустя внизу раздались крики, шум, а когда я выглянул в окно, то увидел, что полицейский ведет Рачека в ратушу.

Вот какие события предшествовали моему приобщению к купеческому сословию.

Магазин Минцеля я знал уже давно, так как отец часто посылал меня туда за бумагой, а тетка за мылом. Я всегда бежал с радостным любопытством, чтобы полюбоваться на выставленные в окне игрушки. Насколько помню, там всегда красовался в окне большой казак, который прыгал и размахивал руками, а на дверях висели барабан, сабля и обтянутая кожей лошадка с настоящим хвостом.

Внутри магазин напоминал большой погреб, все закоулки которого я так никогда и не мог разглядеть по причине царившего там мрака. Знал только, что за перцем, кофе и лавровым листом надо было идти налево, к прилавку, за которым высились огромные шкафы с ящиками от пола до самого свода. Бумага же, чернила, стаканы и тарелки продавались у прилавка направо, где стояли шкафы со стеклянными дверцами, а за мылом и крахмалом приходилось

отправляться в глубь магазина, где громоздились бочки и горы деревянных ящиков.

Даже своды были заполнены. На крюках висели длинными рядами пузыри, набитые горчицей и краской, огромная лампа с жестяным кружком, зимою горевшая по целым дням, сетка с бутылочными пробками и, наконец, небольшое чучело крокодила длиной примерно в полтора локтя.

Хозяин магазина Ян Минцель, старик с румяным лицом и пучком седых волос на подбородке, во всякое время дня сидел у окна в кожаном кресле, облаченный в голубой байковый кафтан, белый фартук и белый колпак. На столе перед ним лежала большая приходная книга, в которую он записывал выручку, а над самой его головой висела связка плеток, предназначенных на продажу. Старик получал деньги, давал покупателям сдачу, вносил записи в книгу, иногда дремал, но, несмотря на такое множество занятий, с непостижимой зоркостью следил за ходом торговли во всем магазине. Он успевал еще для увеселения прохожих время от времени дергать за шнурок прыгавшего в окне казака и, наконец, что мне нравилось всего меньше, за различные провинности стегать нас одной из висевших на стене плеток.

Я говорю "нас", ибо в магазине было три кандидата на телесное наказание: я и два племянника старика - Франц и Ян Минцели.

Зоркий глаз и сноровку хозяина в употреблении "оленьей ножки" я испытал на себе уже через три дня после моего вступления в магазин.

Франц отвесил какой-то женщине изюму на десять грошей. Заметив, что одна изюминка упала на прилавок (в ту минуту старик сидел с закрытыми глазами), я незаметно поднял ее и съел. Только я принялся выковыривать зернышко, которое застряло у меня в зубах, как вдруг почувствовал на спине нечто вроде прикосновения раскаленного железа.

- Ах, шельма! - гаркнул старый Минцель, и, прежде чем я успел отдать себе отчет в происшедшем, он еще несколько раз огрел меня плеткой.

Я скорчился от боли, но с той поры не осмеливался ни крошки брать в рот в магазине. Миндаль, изюм и даже рожки приобрели для меня вкус перца.

Расправившись со мною, старик повесил плетку на гвоздь, вписал в книгу изюм и с самым добродушным видом принялся дергать казака за шнурок. Глядя на его улыбающееся лицо и прищуренные глаза, я бы не поверил, что у этого веселого старичка такая тяжелая рука. И тогда я впервые заметил, что упомянутый казак куда менее забавен, если глядеть на него не с улицы, а из магазина.

Магазин наш был бакалейно-галантерейно-москательный. Бакалейные товары отпускал покупателям Франц Минцель, малый лет тридцати с лишком, рыжеволосый, с заспанной физиономией. Ему чаще всего попадало плеткой от дядюшки, потому что он курил трубку, поздно становился за прилавок, по ночам куда-то исчезал из дому, а главное - небрежно отвешивал товар. А младший, Ян Минцель, который заведовал галантереей и при нескладном теле отличался кротостью нрава, в свою очередь, бывал бит за то, что крал цветную бумагу и писал на ней письма барышням.

Только Август Кац, отпускавший мыло, не подвергался внушениям ремнем. Этот тщедушный человек отличался необычайной аккуратностью. Раньше всех приходил на работу, нарезал мыло и отвешивал крахмал, словно автомат; ел, что давали, забившись в самый темный уголок магазина, словно стыдясь того, что ему свойственны человеческие слабости. В десять часов вечера он куда-то исчезал.

Среди этих людей провел я восемь лет, из которых каждый день был похож на все другие

дни, как одна капля осеннего дождя похожа на другие капли осеннего дождя.

Я вставал в пять часов утра, умывался и подметал магазин. В шесть я открывал входные двери и ставни. В ту же минуту откуда-то с улицы появлялся Август Кац, снимал сюртук, облачался в фартук и молча занимал место между бочкой серого мыла и колонной, сложенной из брусков желтого мыла. Затем с черного хода вбегал старый Минцель, бормоча: "Morgen"*, - поправлял на голове колпак, вынимал из ящика свою книгу, втискивался в кресло и несколько раз дергал казака за шнурок. Уже после его прихода показывался Ян Минцель и, поцеловав у дядюшки руку, становился за свой прилавок, на котором в летнее время ловил мух, а зимою чертил какие-то узоры пальцем или кулаком.

* Сокращенное "Guten Morgen" - доброе утро (нем.).

За Францем обычно приходилось посылать. Он входил заспанный, еще зевая, равнодушно целовал дядю в плечо и весь день почесывал затылок, выражая таким образом то ли сильное желание спать, то ли сильное неудовольствие. Почти не бывало утра, чтобы дядюшка, наблюдая его повадки, не передразнивал его и не спрашивал:

- Ну... И где же ты, шельма, бегаль?

Тем временем на улице пробуждалась жизнь, и мимо окон все чаще сновали прохожие. То служанка, то дворник, то барыня в капоре, то мальчишка от сапожника, то господин в четырехугольной фуражке проходили взад и вперед, словно фигурки в движущейся панораме. По мостовой катились телеги, бочки, брички - взад и вперед... И все больше людей, все больше экипажей появлялось за окнами, пока, наконец, все они не сливались в один оживленный уличный поток, из которого поминутно кто-нибудь забежал к нам за покупками.

- Перцу на три гроша...

- Пожалуйста, фунт кофе...

- Дайте мне рису...

- Полфунта мыла...

- Лаврового листа на грош...

Постепенно магазин заполнялся, по большей части прислугою и скромно одетыми хозяйками. В эту пору Франц Минцель выглядел особенно удрученным. Он выдвигал и задвигал ящики, запаковывал товар в кульки из серой бумаги, влезал на лесенку, опять заворачивал, и все это - с горестным видом человека, которому даже зевнуть не дают. В конце концов набиралось столько покупателей, что и Ян Минцель и я должны были помогать Францу.

Старик все время записывал и давал сдачу, то и дело хватаясь пальцами за свой белый колпак, голубая кисточка которого болталась над самой его бровью. Время от времени он дергал казака, а иногда срывал плетку и с быстротою молнии огревал одного из своих племянников. Чрезвычайно редко мне удавалось понять, за что их били, ибо братья неохотно раскрывали мне причины этих вспышек.

К восьми часам утра наплыв покупателей спадал. Тогда из глубины магазина появлялась толстая служанка с корзиной булок и кружками (Франц поворачивался к ней спиной), а за нею - мать нашего хозяина, худенькая старушка в желтом платье, с огромным чепцом на голове и кофейником в руках. Поставив на стол посуду, старушка произносила скрипучим голосом:

- Gut Morgen, meine Kinder! Der Kaffee ist schon fertig*, - и принималась разливать кофе в белые фаянсовые кружки.

* Доброе утро, дети мои! Кофе готов (нем.).

Тут к ней приближался старый Минцель, целовал у нее руку и говорил:

- Gut Morgen, meine Mutter!*

* Доброе утро, маменька! (нем.).

После чего получал кружку кофе и три булки.

Потом подходили Франц Минцель, Ян Минцель, Август Кац и самым последним я. Каждый из нас целовал у старушки сухонькую руку, исчерченную синими жилками, и каждый говорил:

- Gut Morgen, Grosmutter!* - и получал полагавшиеся ему кружку кофе и три булки.

* Доброе утро, бабушка! (нем.).

А когда мы наспех выпивали свой кофе, служанка забирала пустую корзину с грязными кружками, старушка - свой кофейник, и обе исчезали.

За окном по-прежнему проезжали повозки и неся в обе стороны людской поток, от которого поминутно кто-нибудь отрывался и входил к нам в магазин.

- Крахмалу, пожалуйста...

- Миндаля на десять грошей...

- На грош лакрицы...

- Серого мыла...

К полудню уменьшалась толчея у прилавка с бакалейными товарами, зато все чаще появлялись посетители в правой стороне магазина, у Яна. Здесь покупали тарелки, стаканы, утюги, мельнички, кукол, а иногда и большие зонты - василькового или пунцового цвета. Покупатели - женщины и мужчины - были хорошо одеты; рассевшись на стульях, они приказывали разложить перед ними множество предметов, торговались и просили показать еще что-нибудь.

Помню, что у левого прилавка меня донимала беготня и упаковка товаров, а у правого больше всего мучила мысль: чего, собственно, хочет тот или иной покупатель и вообще купит ли он что-нибудь? Однако, в конце концов, и тут многое продавалось, и дневная выручка была в несколько раз больше, чем от торговли бакалеей и мылом.

Старый Минцель бывал в магазине и по воскресеньям. Утром он молился, а около полудня вызывал меня к себе, чтобы преподать своего рода урок.

- Sag mir - скажи мне: was ist das - что это есть? Das ist Schublade это есть ящик. Посмотри, что есть в этот ящик. Es ist Zimmt - это есть корица. Для чего нужна корица? Для зупа, для сладкого нужна корица. Что есть корица? Это есть такая кора с один дерево. Где живет такой

дерево корица? В Индии живет такой дерево. Смотри на глобус - тут лежит Индия. Дай мне за десять грош корицы... О, du Spitzbub!* Вот я дам тебе десять плети, то будешь знать, сколько продать корица за десять грош...

* Ах ты прохвост! (нем.)

Таким образом исследовали мы каждый ящик в магазине и историю каждого товара. А если старик не слишком уставал, он еще диктовал мне после этого арифметические задачи, заставлял подытоживать счета и писать деловые письма.

Хозяин очень любил порядок, терпеть не мог пыли и самолично стирал ее с мельчайших вещей. Только плетки ему не приходилось вытирать благодаря воскресным урокам бухгалтерии, географии и товароведения.

Понемногу за несколько лет мы так свыклись друг с другом, что старый Минцель не мог обойтись без меня, а я даже плетку его стал считать неременной принадлежностью семейных отношений. Помню, однажды я не мог прийти в себя от огорчения, когда испортил дорогой самовар, а старый Минцель, вместо того чтобы схватиться за плетку, только произнес:

- Что ты наделал, Игнас?.. Что ты наделал!..

Я предпочел бы получить порку всеми плетьюми, чем еще когда-нибудь услышать этот дрожащий голос и увидеть перепуганный взгляд хозяина.

В будни мы обедали в магазине, сначала оба молодых Минцеля и Август Кац, а потом я с хозяином. В праздники все мы собирались наверху и усаживались за одним столом. Каждый год на рождество Минцель делал нам подарки, а его мать, в величайшей тайне, устраивала нам (и своему сыну) елку. И, наконец, ежемесячно первого числа мы все получали жалованье (мне платили 10 злотых). При этом каждый должен был отчитаться в своих сбережениях: я, Кац, оба племянника и прислуга. Не делать сбережений, не откладывать ежедневно хотя бы по несколько грошей - было в глазах старого Минцеля таким же преступлением, как воровство. На моей памяти в магазине перебивалось несколько приказчиков и учеников, которых хозяин рассчитал только за то, что они ничего не копили. День, когда это выяснялось, неизменно был последним днем их пребывания у нас. Не помогали ни обещания, ни клятвы, ни даже целование рук и мольбы на коленях. Старик неподвижно сидел в кресле, не глядя на провинившихся, и, указывая перстом на дверь, повторял одно слово:

"Fort! Fort!"*

* Вон! Вон! (нем.)

Принцип этот - накопление сбережений - стал у него болезненной причудой.

Этот милейший человек обладал одним недостатком, а именно: он терпеть не мог Наполеона. Сам он никогда не упоминал о нем, но стоило кому-нибудь произнести имя Бонапарта, как старик приходил в бешенство: лицо его синело, он плевался и хрипел:

- Шельма! Spitzbub! Разбойник!

Первый раз, услышав столь мерзостные слова, я едва не лишился чувств. И уже собирался сказать старику что-нибудь очень дерзкое, а потом сбежать к Рачеку, который к тому времени женился на моей тетке, как вдруг заметил, что Ян Минцель, прикрыв рот рукою и подмигивая,

что-то шепчет Кацу. Напрягаю слух и слышу - вот что говорит Ян:

- Пустое несет старик, пустое! Наполеон был молодчина, хотя бы уж потому, что прогнал проклятых пруссаков. Не правда ли, Кац?

В ответ Август Кац только прищурился и продолжал нарезать мыло.

Я остолбенел от изумления и с той минуты очень привязался к Яну Минцелю и Августу Кацу. Со временем я заметил, что в нашем маленьком магазине существовали целых две большие партии, из которых одна, в чьих рядах был старый Минцель и его мать, очень любила немцев, а другая, состоявшая из молодых Минцелей и Каца, ненавидела их. Насколько помнится, я один оставался нейтральным.

В 1846 году до нас дошли слухи о бегстве Луи-Наполеона из крепости. Этот год был для меня весьма знаменателен: почти в одно время я стал приказчиком, а наш хозяин, старый Ян Минцель, скончался при довольно странных обстоятельствах.

В том году оборот в нашем магазине несколько снизился, то ли по причинам общественных тревожений, то ли вследствие того, что хозяин слишком часто и громко ругал Луи-Наполеона. Покупателей это раздражало, и однажды кто-то (уж не Август ли Кац?) даже разбил нам витрину. Однако это происшествие, вместо того чтобы отвести от нас публику, наоборот, привлекло ее в магазин, и целую неделю торговля шла так бойко, что соседи даже завидовали нам. Все же через неделю искусственное оживление спало, и магазин снова стал пустовать.

Как-то вечером, когда хозяин отсутствовал (что уже само по себе было фактом необычным), в окно магазина опять влетел камень. Перепуганные Минцели побежали вверх искать дядю, Кац поспешил на улицу - ловить виновника, а в это время в дверях показались двое полицейских, которые тащили... Угадайте кого? Ни более ни менее как нашего хозяина! Они обвиняли старика в том, что это он выбил стекло, и в предыдущий раз, наверное, тоже...

Напрасно старик отпирался, - налицо были свидетели, и вдобавок при нем нашли камень... Пришлось бедняге отправиться в ратушу.

После долгих объяснений и расследований дело, конечно, замяли. Но старик с той поры совсем приуныл и начал худеть. А однажды, усевшись в своем кресле у окна, он более с него не поднялся. Так и умер, опершись подбородком на приходную книгу и держа в руке шнурок, за который всегда дергал казака.

Несколько лет после смерти дяди братья сообща держали магазин на Подвалье, и лишь около 1850 года они разделились, а именно - Франц остался на прежнем месте с бакалейными товарами, а Ян с галантереей и мылом перебрался в новое помещение на Краковском Предместье, где мы находимся по сей день. Года через три Ян женился на красотке Малгожате Пфейфер (мир праху ее!). Она же, овдовев, отдала свою руку Стасю Вокульскому, который таким путем получил дело, созданное двумя поколениями Минцелей.

Мать нашего хозяина еще долгое время здравствовала; в 1853 году, вернувшись из-за границы, я застал ее в наилучшем виде. По-прежнему она спускалась по утрам в магазин и по-прежнему говорила: "Gut Morgen, meine Kinder! Der Kaffee ist schon fertig!" - только голос ее из года в год становился все тише, пока, наконец, не умолк навеки.

В мои времена хозяин был отцом и наставником начинающих приказчиков и самым усердным работником у себя в магазине; мать его или супруга были хозяйками дома, а все члены семьи - приказчиками. Нынче хозяин только получает прибыль от торговли, дела большей частью не знает и превыше всего заботится о том, чтобы его дети не стали купцами. Я не говорю тут о

Стасе Вокульском, у которого широкие планы, а рассуждаю вообще - если купец хочет иметь хороших работников, он должен сидеть в магазине и учить своих людей.

Ходит слух, что Андраши потребовал шестьдесят миллионов гульденов на непредвиденные расходы. Значит, и Австрия вооружается, а между тем Стась пишет мне, что войны не будет. Поскольку Стась никогда не был фанфароном, надо полагать, он посвящен в важные политические тайны; а в таком случае, не из любви к коммерции сидит он в Болгарии.

Любопытно мне знать - что он предпримет? Любопытно!.."

Глава четвертая

Возвращение

Воскресенье, отвратительный мартовский день; скоро уж полдень, но варшавские улицы почти пусты. Люди сидят по домам, или прячутся в подворотнях, или же, съевшись, бегут, подхлестываемые дождем, смешанным со снегом. Почти не слышно гроыхания пролеток. Извозчики пересаживаются с козел под поднятый верх, а вымокшие под дождем, облепленные снегом лошади словно стараются спрятаться под дышлом и прикрыться собственными ушами.

Несмотря на плохую погоду, а может быть, именно благодаря ей, пан Игнаций сидит в своей зарешеченной комнате в самом веселом настроении. Дела в магазине идут отлично, витрины на будущую неделю уже устроены, а главное со дня на день должен вернуться Вокульский. Наконец-то пан Игнаций сдаст отчетность и сбросит с себя бремя управления магазином, а там - самое позднее через два месяца - поедет отдыхать. После двадцатипятилетней работы - да еще какой! - он заслужил этот отдых. Вот когда он сможет думать только о политике, будет много ходить, бегать и прыгать по полям, лесам, свистеть и даже петь, как в молодые годы. Если б только не ревматизм - впрочем, за городом и это пройдет...

Итак, хотя в зарешеченное окно бьет дождь со снегом, хотя он заликает стекла и в комнате царит сумрак, на душе у пана Игнация по-весеннему светло. Он вытаскивает из-под кровати гитару, настраивает ее и, взяв несколько аккордов, гнусавым голосом затягивает весьма романтическую песню:

Во всей природе весна пробудилась,

Томный разносится глас соловья,

В роще зеленой, на бреге ручья,

Роза прекрасная уж распустилась.

Эти волшебные звуки будят дремлющего на диванчике пуделя, который начинает присматриваться к хозяину своим единственным глазом. Звуки эти производят нечто еще более удивительное - они вызывают со двора какую-то огромную тень, которая останавливается у зарешеченного окна, стараясь заглянуть в комнату, чем привлекает к себе внимание пана Игнация.

"Наверное, Павел", - думает он.

Но Ир держится на этот счет иного мнения; он соскакивает с диванчика и беспокойно обнюхивает двери, словно чуя чужого.

В сенях слышится шорох. Чья-то рука нашаривает засов, потом дверь открывается, и на пороге появляется некто в просторной шубе, усеянной снежинками и каплями дождя.

- Кто там? - окликает пан Игнаций, и на щеках его выступает яркий румянец.

- А ты уж меня позабыл, старина? - тихо, с расстановкой отвечает вошедший.

Пан Игнаций совершенно теряется. Он надевает на нос пенсне, которое тут же слетает, вытаскивает из-под кровати похожий на гроб футляр, суетливо прячет туда гитару и затем футляр вместе с гитарой кладет на постель.

Между тем гость успевает снять свою просторную шубу и барашковую шапку, а одноглазый Ир, обнюхав его, принимается вилять хвостом, ластится и с радостным визгом трется об его ноги.

Пан Игнаций подходит к гостю взволнованный и ссутулившийся более обычного.

- Мне кажется... - говорит он, потирая руки, - мне кажется, я имею удовольствие...

Потом он подводит гостя к окну, часто мигая.

- Стась!.. Ей-богу!..

Он хлопает гостя по выпуклой груди, пожимает ему то правую, то левую руку и наконец, положив ладонь на его стриженую голову, делает движение, как будто собирается втирать ему в темя мазь.

- Ха-ха-ха! - смеется пан Игнаций. - Стась, собственной персоной! Стась с войны вернулся! Что ж, ты только сейчас вспомнил, что у тебя есть магазин и друзья? - прибавляет он, с силой хлопая его по спине. - Черт меня побери, да ты похож не то на солдата, не то на моряка, - только не на купца... Восемь месяцев ты не был в магазине! Ну и грудь... ну и башка...

Гость тоже смеялся. Он обнял Игнация за шею и горячо расцеловал его в обе щеки, которые старый приказчик поочередно подставлял ему, сам, однако ж, не отвечая на поцелуи.

- Ну, что же слышно у тебя, старина? - спросил гость. - Ты похудел, побледнел...

- Напротив, я помаленьку обрастаю жирком.

- Поседел ты... Как чувствуешь себя?

- Отлично. И в магазине дела идут неплохо, оборот немного увеличился. В январе и феврале мы наторговали на двадцать пять тысяч рублей... Стась, милый! Восемь месяцев не был дома... Шутка ли! Может, присядешь?

- Конечно, - ответил гость, усаживаясь на диванчик, где тотчас же примостился Ир, уткнув ему голову в колени.

Пан Игнаций пододвинул себе стул.

- Может быть, закусишь? Есть ветчина и немного икорки.

- Пожалуй.

- Ну, и выпьешь? Есть бутылка недурного венгерского, но только одна целая рюмка.

- Я буду пить из стакана, - сказал гость.

Пан Игнаций засуетился, открывая то шкаф, то сундучок, то стол. Он достал вино и снова спрятал его, потом поставил на стол ветчину и булки. Руки и веки у него дрожали, и немало прошло времени, пока он успокоился настолько, что мог собрать в одном месте

перечисленные выше припасы. Только рюмка вина возвратила ему нарушенное душевное равновесие.

Между тем Вокульский усердно ел.

- Ну, что же нового? - спросил пан Игнаций уже более спокойным голосом, легонько ударив гостя по колену.

- Догадываюсь, что тебя интересует политика, - ответил Вокульский. Будет мир.

- А зачем Австрия вооружается?

- Вооружается на шестьдесят миллионов гульденов! Она хочет захватить Боснию и Герцеговину.

У Игнация расширились зрачки.

- Австрия хочет захватить? - повторил он. - А с какой стати?

- С какой стати? - усмехнулся Вокульский. - Да потому, что Турция не может ей помешать.

- А что же Англия?

- Англия тоже получит компенсацию.

- За счет Турции?

- Разумеется. Слабые всегда платят за раздоры между сильными.

- А где же справедливость? - воскликнул Игнаций.

- Справедливо то, что сильные множатся и крепнут, а слабые погибают. Иначе мир превратился бы в инвалидный дом, а это как раз было бы несправедливо.

Игнаций отодвинулся вместе со стулом.

- И это говоришь ты, Стась? Всерьез, не шутя?

Вокульский невозмутимо посмотрел на него.

- Это говорю я, - ответил он. - Что ж тут удивительного? Разве этот же закон не применяется ко мне, к тебе, ко всем нам?.. Слишком много я сокрушался над собою, чтобы теперь лить слезы над судьбой Турции.

Пан Игнаций опустил глаза и замолчал. Вокульский продолжал есть.

- Ну, а как твои дела? - спросил Жецкий уже обычным своим тоном.

У Вокульского блеснули глаза. Он отложил булку и откинулся на спинку диванчика.

- Помнишь, - сказал он, - сколько денег я взял, уезжая отсюда?

- Тридцать тысяч рублей, всю наличность.

- А как ты думаешь, сколько я привез?

- Пятыде... ну, тысяч сорок... Угадал? - спросил Жецкий, неуверенно глядя на него.

Вокульский налил стакан вина и медленно осушил его.

- Двести пятьдесят тысяч рублей, из них большая часть золотом, отчетливо произнес он. - А поскольку я велел купить ценные бумаги, которые продам после заключения мира, то получу более трехсот тысяч рублей.

Жецкий наклонился к нему, раскрыв рот.

- Не беспокойся, - продолжал Вокульский, - эти деньги достались мне вполне честным путем, и даже тяжело, очень тяжело достались они. Весь секрет в том, что у меня был богатый компаньон и что я довольствовался прибылью в четыре-пять раз меньшей, чем другие. Поэтому мой капитал находился в постоянном движении и постоянно возрастал. Ну, - прибавил он после паузы, и к тому же мне отчаянно везло... Словно игроку, которому десять раз кряду выпадает тот же номер в рулетке. Крупная игра! Чуть ли не каждый месяц я рисковал всем состоянием и каждый день - жизнью.

- И только за этим ты ездил туда? - спросил Игнаций.

Вокульский насмешливо взглянул на него.

- А ты хотел, чтобы я сделался турецким Валленродом.{40}

- Рисковать ради наживы, когда имеешь верный кусок хлеба!.. пробормотал Игнаций, качая головой и подняв брови.

Вокульский сердито передернулся и вскочил с диванчика.

- Этот верный кусок хлеба, - заговорил он, сжимая кулаки, - стоял у меня поперек горла и душил меня целых шесть лет... Разве ты забыл, сколько раз на день меня попрекали двумя поколениями Минцелей и ангельской добротой моей жены? Разве, кроме тебя, был хоть один человек среди моих близких или далеких знакомых, который не оскорблял бы меня словом, жестом или хотя бы взглядом? Сколько раз говорили, чуть ли не в глаза мне, будто я кормлюсь из женина фартука, будто Минцелям я обязан всем, а собственной энергии - ничем, решительно ничем, хотя я и расширил эту лавчонку, удвоил доходы... Минцели, вечно Минцели!.. Пусть теперь попробуют сравнить меня с Минцелями. Один-одинешенек, я за полгода заработал в десять раз больше, чем два поколения Минцелей за полвека. Между пулей, ножом и тифом добыл я то, над чем потели бы тысячи Минцелей в своих лавчонках и ночных колпаках. Сейчас я уже знаю, скольких Минцелей я стою, и, ей-богу, ради такого результата я готов был бы снова начать ту же игру! Я предпочитаю рисковать состоянием и жизнью, а не кланяться людям, которые хотят купить у меня зонт, или рассыпаться в благодарности перед теми, которые соизволят заказать в моем магазине унитаза для клозета...

- Стась верен себе, - пробормотал Игнаций.

Вокульский успокоился. Он положил руку на плечо Игнацию и, заглядывая ему в глаза, ласково спросил:

- Ты не сердись, старина?

- За что? Разве я не знаю, что никогда волку не пасти овец?.. Ясное дело...

- Что же у вас слышно, скажи?

- Все, как я писал тебе в отчетах. Дела идут хорошо, получили много новых товаров, а еще больше заказов. Надо бы нанять еще одного приказчика.

- Найдем двух, а лавку расширим, будет первоклассный магазин.

- Пустячки!

Вокульский глянул на него сбоку и улыбнулся, видя, что к старику возвращается хорошее настроение.

- А что слышно в городе? В магазине, куда ты там, разумеется, все в порядке.

- В городе...

- Старые покупатели нас по-прежнему посещают? - прервал Вокульский, быстрее зашагав по комнате.

- Да! Появились и новые.

- А... а...

Вокульский остановился, словно в нерешимости. Он налил себе снова стакан вина и выпил его залпом.

- А Ленцкий покупает у нас?

- Чаще берет в кредит.

- Ах, берет... - Вокульский перевел дух. - А как его дела?

- Кажется, он совсем разорился, и, должно быть, в этом году наконец пустят с молотка его дом.

Вокульский наклонился к диванчику и принялся играть с Иром.

- Скажи, пожалуйста... А панна Ленцкая замуж не вышла?

- Нет.

- И не выходит?

- Весьма сомнительно. Кто в наши дни женится на барышне, у которой большие претензии, а приданого нет? Так и состарится, хотя и хороша собою. Ясное дело...

Вокульский встал и потянулся. На его суровом лице появилось какое-то странно мягкое выражение.

- Дорогой ты мой старина! - сказал он, беря Игнация за руку. - Мой славный старый дружище! Ты даже не догадываешься, как я счастлив, что вижу тебя, да еще в этой комнате. Помнишь, сколько вечеров и ночей я провел здесь... как ты кормил меня... как отдавал мне лучшее свое платье... Помнишь?

Жецкий пристально посмотрел на него и подумал, что, видно, вино недурное, если у Вокульского так развязался язык.

Вокульский уселся на диванчик, откинулся на спинку и заговорил, словно сам с собой:

- Ты и понятия не имеешь, что я вытерпел, вдали от всех, не зная, увижу ли еще кого-нибудь из вас, совсем один... Понимаешь ли, самое страшное одиночество - не то, которое окружает человека, а пустота внутри, когда не уносишь с родины ни одного теплого взгляда, ни одного приветливого слова, ни даже искорки надежды...

Пан Игнаций заерзал на стуле, собираясь возразить.

- Позволь напомнить тебе, - заметил он, - что вначале я писал тебе очень сердечные письма, пожалуй, даже слишком сентиментальные. Но меня заделали твои краткие ответы.

- Разве я на тебя обижаюсь?

- Еще меньше у тебя причин обижаться на остальных служащих, которые не знают тебя так близко, как я.

Вокульский очнулся.

- Да я ни к кому из вас не имею претензий. Пожалуй, чуточку к тебе, что так мало писал о... городских делах... К тому же "Курьер" часто пропадал на почте, известия доходили с большими перерывами, и тогда меня начинали мучить мрачные предчувствия.

- Почему? Ведь у нас войны не было, - удивился Игнаций.

- Ах да!.. Вы совсем даже неплохо веселились. Помню, в декабре у вас тут устраивали великолепные живые картины. Кто выступал в них?

- Ну, я такими глупостями не интересуюсь.

- Верно. А я в тот день и десяти тысяч рублей не пожалел бы, лишь бы увидеть их. Еще большая глупость! Не так ли?..

- Конечно... хотя многое объясняется одиночеством, скукой...

- А может быть, тоскою, - прервал Вокульский. - Она пожирала у меня каждую минуту, свободную от работы, каждый час досуга. Налей мне вина, Игнаций.

Он выпил и снова зашагал по комнате, говоря приглушенным голосом:

- Первый раз это нашло на меня во время переправы через Дунай, которая продолжалась с вечера до глубокой ночи. Я плыл один с перевозчиком-цыганом. Разговаривать нельзя было, и я молча разглядывал окрестности. В тех местах берега песчаные, как у нас. И деревья похожи на наши ивы, и холмы, поросшие орешником, и темные купы сосен. На минуту мне показалось, что я на родине и что к ночи я снова увижусь с вами. Спустилась желанная ночь, но не стало видно берегов. Я был один на бесконечной полосе воды, в которой отражались бледные звезды. И мне подумалось, что вот я так страшно далеко от дома, и эти звезды сейчас единственное, что еще связывает меня с вами, но в этот миг там, у вас, никто, быть может, на них и не смотрит, никто меня не помнит, никто!.. Я почувствовал, как что-то словно разорвалось внутри меня, и только тогда понял, какая глубокая рана у меня в душе.

- Это правда, я никогда не интересовался звездами, - тихо сказал Игнаций.

- С того дня началась у меня странная болезнь, - продолжал Вокульский. - Пока я писал письма, составлял счета, получал товары, рассылал своих агентов, пока чуть ли не на себе тащил и разгружал сломавшиеся телеги или подстерегал крадущегося грабителя, - я был более или менее спокоен. Но стоило мне оторваться от дел или хотя бы на минуту отложить перо, и я сразу чувствовал боль, как будто у меня, - понимаешь, Игнаций, - как будто у меня в сердце застряла песчинка. Бывало, я хожу, ем, разговариваю, трезво рассуждаю, осматриваю красивые окрестности, даже смеюсь и веселюсь - и, несмотря на это, чувствую внутри какое-то тупое покалывание, какое-то неясное беспокойство, еле-еле заметную тревогу.

Эта хроническая подавленность, невыразимо мучительная, из-за малейшего пустяка могла перейти в бурю. Дерево знакомого вида, обнаженный холм, цвет облаков, полет птицы, даже порыв ветра без всякого повода вызывали у меня такой прилив отчаяния, что я бежал от людей. Я искал пустынный уголок, где бы можно было, не боясь, что кто-нибудь услышит,

броситься на землю и по-собачьи завывать от боли.

Иногда во время этих одиноких скитаний, когда я бежал от самого себя, меня застигала ночь. Тогда из-за кустов, поваленных деревьев, из расщелин являлись предо мною тени прошлого и грустно качали головой, глядя на меня остекленелыми глазами. А шелест листьев, далекое гремяние телег и журчание воды сливались в один жалобный голос, который вопрошал меня: "Путник, что случилось с тобою?"{45} Ах, что со мной случилось...

- Ничего не понимаю, - прервал Игнаций. - Что же это было за безумие?

- Что? Тоска.

- По ком?

Вокульский вздрогнул.

- По ком? Ну... по всему... по родине.

- Почему ж ты не возвращался?

- А что бы мне это дало? Впрочем, я и не мог.

- Не мог? - повторил Игнаций.

- Не мог... и баста! Не к чему было мне возвращаться, - нетерпеливо ответил Вокульский. - Там ли, тут ли умирать - не все ли равно... Дай мне вина, - оборвал он вдруг, протягивая руку.

Жецкий поглядел на его пылающее лицо и отодвинул бутылку.

- Оставь, - сказал он, - ты уж и так возбужден.

- Потому-то я и хочу пить...

- Потому тебе и не следует пить, - прервал Игнаций. - Ты слишком много говоришь... Может быть, больше, чем сам хотел бы, - прибавил он с ударением.

Вокульский не настаивал. Он задумался и сказал, качая головой:

- Ты ошибаешься.

- Сейчас я тебе докажу, - ответил Игнаций, понижая голос. - Ты ездил туда не только ради денег.

- Правильно, - ответил Вокульский, подумав.

- Да и зачем триста тысяч рублей тебе, которому хватало тысячи в год?

- Верно.

Жецкий наклонился к его уху.

- И еще скажу тебе, что эти деньги ты привез не для себя...

- Как знать, может быть, ты угадал.

- Я угадываю больше, чем ты полагаешь.

Вокульский вдруг расхохотался.

- Ага, вот ты что думаешь? - воскликнул он. - Уверю тебя, ничего ты не знаешь, старый мечтатель.

- Боюсь я твоей трезвости, от которой ты начинаешь рассуждать, как безумец. Ты понимаешь меня, Стась?

Вокульский все еще смеялся.

- Ты прав, я не привык пить, и вино ударило мне в голову. Но теперь я уже пришел в себя. Скажу тебе лишь одно: ты жестоко ошибаешься. А теперь, чтобы спасти меня от окончательного опьянения, выпей сам - за успех моих замыслов.

Игнаций наполнил рюмку и, крепко пожимая руку Вокульскому, произнес:

- За успех великих замыслов!

- Для меня великих, а в действительности весьма скромных.

- Пускай так, - сказал Игнаций. - Я уже стар и предпочитаю ни о чем не знать; я уже так стар, что мечтаю лишь об одном - о красивой смерти. Дай мне слово, что, когда пробьет час, ты меня известишь...

- Да, когда пробьет час, ты будешь моим сватом.

- Я уже был, и несчастливо... - заметил Игнаций.

- С вдовой, семь лет назад?

- Пятнадцать!{46}

- Опять за свое, - рассмеялся Вокульский. - Ты все такой же.

- И ты все такой же. За успех твоих замыслов!.. Каковы б они ни были, я знаю одно - они, наверное, достойны тебя. А теперь - молчу...

С этими словами Игнаций выпил вино и бросил рюмку на пол. Звон разбитого стекла разбудил Ира.

- Идем в магазин, - сказал Игнаций. - Бывают беседы, после которых хорошо поговорить о делах.

Он достал из ящика стола ключ, и оба вышли. В сенях их обдало мокрым снегом. Жецкий отпер двери в магазин и зажег несколько ламп.

- Какие товары! - воскликнул Вокульский. - И, кажется, все новые?

- Почти. Хочешь посмотреть? Вот тут фарфор. Обрати внимание...

- Потом... Дай мне книгу.

- Приходов?

- Нет, должников.

Жецкий открыл конторку, достал книгу и подвинул кресло. Вокульский сел и, пробежав глазами список, остановился на одной фамилии.

- Сто сорок рублей... - прочел он вслух. - Ну, это совсем немного...

- Кто это? - спросил Игнаций. - А, Ленцкий...

- Панне Ленцкой тоже открыт кредит... очень хорошо, - продолжал Вокульский, низко наклонясь над книгой, словно запись была неразборчива. А... а... позавчера она взяла кошелек... Три рубля?... Это, пожалуй, дорого...

- Вовсе нет, - возразил Игнаций. - Кошелек превосходный; я сам выбрал.

- Из каких же это? - небрежно спросил Вокульский и захлопнул книгу.

- Вон с той полочки. Видишь, какие красивые.

- Она, наверное, долго перебирала их... Говорят, она разборчива...

- Совсем не перебирала, зачем ей было перебирать? - отвечал Игнаций. Посмотрела вот этот...

- Этот?

- И хотела взять тот...

- Ах, тот... - тихо повторил Вокульский, беря в руки кошелек.

- Но я посоветовал ей другой, вроде вон того...

- А знаешь, все-таки красивая вещица.

- Я выбрал ей еще красивее.

- Мне он очень нравится. Знаешь... я возьму его, а то мой уже никуда не годится...

- погоди, я найду тебе получше! - воскликнул Игнаций.

- Бог с ним. Покажи мне другие товары, может быть я еще что-нибудь выберу.

- Запонки у тебя есть? Галстук, калоши, зонтик...

- Дай мне зонтик, ну и... галстук. Выбери сам. Сегодня я буду единственным покупателем и вдобавок заплачу наличными.

- Очень хорошая привычка, - радостно ответил Жецкий. Он быстро достал галстук из ящика и зонтик с витрины и, улыбаясь, подал их Вокульскому. - За вычетом скидки, которая тебе полагается как сотруднику, с тебя следует семь рублей. Прелестный зонтик. Пустячки...

- А теперь пойдём к тебе, - предложил Вокульский.

- Как, ты не будешь осматривать магазин?

- Ах, что мне за де...

- Тебе нет дела до собственного магазина, до такого прекрасного магазина? - изумился Игнаций.

- Ну что ты, как ты мог допустить... Просто я немного устал.

- Правильно, - ответил Игнаций. - Что верно, то верно. Так идем.

Он привернул газовые лампы и, пропустив Вокульского вперед, запер магазин. В сенях они снова увидели клубы мокрого снега, а также Павла, который принес обед.

Опущение старого барина и мечты светской барышни

Пан Томаш Ленцкий жил не в собственном доме, а в наемной квартире из восьми комнат в районе Уяздовской Аллеи, вместе со своей единственной дочерью Изабеллой и родственницей Флорентиной. Квартира состояла из гостиной с тремя окнами, кабинета отца, будуара дочери, спальни отца, спальни дочери, столовой, комнаты панны Флорентины и бельевой, не считая кухни и помещения, где ютились старый камердинер Миколай со своей женой, кухаркой, и горничная Ануся.

Квартира пана Ленцкого обладала большими достоинствами. Она была сухая, теплая, просторная и светлая, с мраморной лестницей, газом, электрическими звонками и водопроводом. Каждая комната, в случае надобности, соединялась с другими и вместе с тем имела отдельный ход. Наконец, мебели было как раз достаточно - ни много, ни мало, и была она скорее простой и удобной, нежели бьющей на эффект. Самый вид буфета возбуждал чувство уверенности, что серебро из него не пропадет, кровать вызвала мысль о спокойном, праведном отдыхе, на стол можно было поставить сколько угодно еды, на стуле - сидеть, не опасаясь, что он сломается, в кресле - удобно мечтать.

Всякий, входивший сюда, мог двигаться непринужденно, не боясь опрокинуть что-нибудь или разбить. В ожидании хозяина гость не скучал, ибо его окружали вещи, на которые стоило поглядеть. В то же время созерцание предметов, существующих не со вчерашнего дня и предназначенных служить еще многим поколениям, настраивало на некий торжественный лад.

На фоне этой солидной обстановки выгодно выделялись обитатели квартиры.

Пан Томаш Ленцкий, человек лет шестидесяти с лишком, был невысокого роста, полнокровен и тучен. Он носил коротко подстриженные белые усы и зачесывал кверху того же цвета волосы. У него были серые умные глаза, величественная осанка и энергичная походка. На улице встречные уступали ему дорогу, а простые люди говорили: "Вот это, сразу видать, настоящий барин".

Действительно, род Ленцких насчитывал немало сенаторов. Отец его еще был миллионером, да и сам он смолоду был очень богат. Однако позже часть его состояния поглотили политические события, остальное ушло на путешествия по Европе и великосветскую жизнь. Надо сказать, что до 1870 года пан Томаш нередко бывал при французском дворе, затем при венском и итальянском. Виктор-Эммануил, плененный красотой его дочери, дарил отца своей дружбой и даже собирался пожаловать ему графский титул. Не удивительно, что после смерти великого монарха пан Томаш два месяца носил на шляпе траурный креп.

В последние годы пан Томаш никуда не выезжал из Варшавы, ибо на то, чтобы блистать при дворах, уже не хватало средств. Зато у себя он принимал весь высший свет, и так продолжалось до тех пор, пока по Варшаве не начали распространяться слухи, будто пан Томаш прожил не только свое состояние, но и приданое панны Изабеллы.

Первыми ретировались женихи, за ними дамы, у которых были некрасивые дочери, а с остальными пан Томаш порвал сам, ограничив свои знакомства только родственным кругом. Но когда и здесь стало заметно некоторое охлаждение, он совсем удалился от общества и даже, к возмущению многих важных особ, записался как домовладелец в купеческое собрание. Там его хотели провести в председатели, но он отказался.

Только дочь его продолжала бывать у престарелой тетушки графини и у нескольких ее приятельниц, что, в свою очередь, послужило поводом для слухов, будто у пана Томаша еще имеется состояние, а образ жизни он переменял отчасти из чудачества, отчасти же для того,

чтобы испытать истинных друзей и выбрать для дочери мужа, который любил бы ее не ради приданого, а ради нее самой.

Снова вокруг панны Ленцкой закружился рой поклонников, а на столике в гостиной скапливались груды визитных карточек. Однако Ленцкие не принимали, что, впрочем, никого особенно не огорчало, поскольку вскоре разошелся третий по счету слух, будто дом пана Томаша будет продан с аукциона.

На этот раз в обществе началось смятение. Одни утверждали, что пан Томаш явный банкрот, другие готовы были поклясться, что он скрывает свое богатство, чтобы обеспечить счастье единственной дочери. Кандидаты в супруги и их родня оказались в мучительной неизвестности. И вот, чтобы ничем не рисковать и ничего не потерять, они отдавали дань красоте панны Изабеллы, ничем себя при этом не связывая, и втихомолку опускали у дверей свои визитные карточки, в душе моля бога, чтобы их вдруг не пригласили прежде, чем прояснится положение.

Ответных визитов пан Томаш, разумеется, не делал. Такое поведение оправдывали в свете его эксцентричностью и скорбью по покойному Виктору-Эммануилу.

Между тем пан Томаш днем прогуливался по Аллеям, а вечерами играл в вист в купеческом собрании. Лицо его было всегда так спокойно, осанка так величава, что поклонники его дочери совсем теряли голову. Самые осмотрительные выжидали, но более смелые опять начали дарить панну Изабеллу томными взглядами, тихими вздохами и трепетным пожатием руки, на что она отвечала ледяным, а порой и презрительным равнодушием.

Панна Изабелла была на редкость хороша собой. Все в ней было необычно и совершенно. Рост выше среднего, удивительно стройная фигура, пышные белокурые волосы с пепельным отливом, прямой носик, полураскрытые губки, жемчужные зубы, ручки и ножки - образец изящества. Особенное впечатление производили ее глаза - то томные и мечтательные, то искрящиеся весельем, то светло-синие и холодные, как лед.

Поразительна была игра ее лица. Когда она говорила, то говорили не только ее губы, но и брови, ноздри, руки, все существо, а прежде всего глаза, из которых, казалось, душа так и рвалась навстречу слушателю. А когда слушала, казалось, будто она проникает в самую душу своего собеседника. Глаза ее умели голубить, ласкать, плакать без слез, жечь огнем и обдавать холодом. Иногда можно было подумать, что в порыве нежности она вот-вот обнимет счастливца и склонит голову ему на плечо; однако, когда тот уже таял от блаженства, она вдруг каким-то неуловимым движением давала понять, что поймать ее невозможно, что она выскользнет, или оттолкнет, или попросту велит лакею вытолкать поклонника за дверь...

Любопытное явление представляла собою душа панны Изабеллы.

Если бы кто-нибудь серьезно спросил ее: "Что такое мир и что такое она сама?" - несомненно, она ответила бы, что мир - это зачарованный сад со множеством волшебных дворцов, а она - нимфа или богиня, сошедшая на землю.

Панна Изабелла с колыбели жила в мире красоты, в мире не только необычном, но поистине - сверхъестественном. Спала она на пуху, одевалась в шелк и кружева, сидела на мягкой резной мебели из эбена или палисандра, пила из хрусталя, ела на серебре и фарфоре драгоценнее золота.

Для нее не существовало времен года, - была вечная весна, проникнутая мягким светом и благоуханием живых цветов. Не существовало поры дня, ибо она месяцами ложилась спать в восемь утра, а обедала в два часа ночи. Не существовало также географических различий, ибо в Париже, в Вене, в Риме, Берлине или в Лондоне ей встречались все те же люди, те же нравы, та же мебель и даже все те же блюда: супы из водорослей Тихого океана, устрицы из

Северного моря, рыба из Атлантики или Средиземного моря, дичь всех стран, фрукты всех частей света. Даже силы тяжести для нее не существовало, ибо стулья ей пододвигали, тарелки подавали, ее самое по улице везли, на лестнице поддерживали, на горы поднимали на руках.

Вуаль защищала ее от ветра, карета - от дождя, соболя - от холода, зонтик и перчатки - от солнца. И так жила она изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, царя над людьми и даже над законами природы.

Дважды пережила она страшную бурю: в Альпах и на Средиземном море. Самые отважные робели, но панна Изабелла со смехом прислушивалась к грохоту дробящихся скал и к треску корабля, ни на минутку не допуская возможности несчастья. Попросту природа устроила для нее великолепное зрелище из молний, каменных глыб и морской пучины, как однажды уже показала ей лунный серп над Женевским озером, а в другой раз разорвала тучи над Рейнским водопадом и осветила его солнцем. Ведь то же самое устраивают ежедневно механики в театрах, и даже слабонервные дамы при этом ничуть не пугаются.

Этот мир вечной весны, где шелестели шелка и произрастало только резное дерево, а глина была покрыта художественной росписью, - этот мир населен был особенными людьми. Полноправными его обитателями были князья и княгини, графы и графини, а также родовая и богатая знать обоего пола. Были там еще замужние дамы и женатые господа в ролях хозяек и хозяев дома, почтенные матроны, хранительницы утонченных манер и добрых нравов, маститые старцы, которые сидели во главе стола, занимались сватовством, благословляли молодежь и играли в карты. Были также епископы - носители образа божьего на земле, сановники, присутствие которых охраняло мир от нарушения общественного порядка и землетрясений, и, наконец, дети, нежные ангелочки, которых господь бог посылал с неба затем, чтобы старшие могли устраивать детские балы.

Среди постоянного населения зачарованного мира время от времени появлялся простой смертный, которому удавалось на крыльях славы вознестись до самых вершин Олимпа. Обычно это бывал какой-нибудь инженер, который соединял океаны либо сверлил, а может, и воздвигал Альпы. Попадался иногда капитан, который, сражаясь с дикарями, потерял весь отряд, а сам, покрытый ранами, спасся только благодаря любви негритянской принцессы. Случался и путешественник, который, как говорили, открыл какую-то новую часть света, потерпел крушение у необитаемого острова и чуть ли не отведал человеческого мяса.

Наконец, бывали там известные художники и прославленные поэты, которые писали в альбомы графиням изящные стихи и имели право безнадежно влюбляться, увековечивая своих жестокосердых богинь - сначала в газетах, а затем в томиках стихов, напечатанных на веленовой бумаге.

Все это население, среди которого осторожно скользили расшитые галунами лакеи, компаньонки, бедные родственницы и кузены, жаждущие повышения по службе, - все это население справляло нескончаемый праздник.

Днем наносили и отдавали друг другу визиты либо разъезжали по магазинам. К вечеру начинали развлекаться - до обеда, за обедом и после обеда. Потом отправлялись в концерт или театр, чтобы там посмотреть на еще один искусственный мир, где герои редко едят и работают, зато все время разговаривают сами с собою, где женская неверность становится источником великих бедствий и где любовник, застреленный мужем в пятом акте, на следующий день воскресает в первом, чтобы совершать те же ошибки и болтать с самим собою в присутствии других лиц, которые его почему-то не слышат.

После театра снова собирались в гостиных, где слуги разносили холодные и горячие напитки, наемные артисты пели, молодые дамы слушали рассказы покрытого шрамами капитана о

негритянской принцессе, барышни беседовали с поэтами о родстве душ, пожилые господа излагали инженерам свои суждения об инженерной науке, а дамы средних лет с помощью недомолвок и взглядов оспаривали друг у дружки путешественника, отведавшего человеческого мяса.

Затем садились ужинать, и рты жевали, желудки переваривали еду, а ботинки под столом изъяснялись в чувствительности ледяных сердец и мечтательности трезвых голов. А потом - разъезжались по домам, чтобы в настоящем сне набраться сил для сна жизни. Кроме этого зачарованного мира, был еще другой - обыкновенный.

Панна Изабелла знала о его существовании и даже любила присматриваться к нему из окна кареты, вагона или собственной квартиры. В этих рамках и на таком расстоянии он казался ей живописным и даже милым. Случалось ей видеть поселян, неторопливо пашущих землю; большие возы с запряженными в них тощими клячами; разносчиков с корзинами овощей и фруктов; старика, дробившего камни на дороге; рассыльных, спешивших куда-то; красивых и назойливых цветочниц; семью на прогулке - отца, очень тучную мать и четверку детей, попарно державшихся за руки; щеголя из низшего сословия, который ехал в пролетке, смешно развалясь на сиденье; иногда - похороны. И она говорила себе, что тот, другой, хотя и низший, мир выглядит приятно, даже приятнее, чем на жанровых картинах, потому что в нем все движется и поминутно меняется.

И еще панна Изабелла знала, что, как цветы растут в оранжереях, а виноград в виноградниках, так и в том, низшем, мире произрастают нужные ей вещи. Оттуда явились ее верные Миколай и Ануся, там делают резные кресла, фарфор, хрусталь и занавески, там рождаются полотеры, обойщики, садовники и девушки, которые шьют платья. Однажды, находясь в магазине, она пожелала заглянуть в швейную мастерскую, и то, что она там увидела, показалось ей очень интересным: несколько десятков работниц кроили, сметывали и накалывали на манекенах складки одежды. Она была уверена, что это доставляет им большое удовольствие, потому что девушки, которые снимали с нее мерку или примеряли платье, всегда улыбались и очень заботились о том, чтобы костюм хорошо на ней сидел.

И еще панна Изабелла знала, что в том, обыкновенном, мире встречаются несчастные люди. Поэтому каждому нищему, который попадался ей на глаза, она приказывала подать несколько злотых; раз, встретив изможденную мать с бледным, как воск, ребенком на руках, она отдала ей свой браслет, а грязных детей, собиравших милостыню, оделяла конфетками и целовала с благочестивым чувством. Ей чудилось, что в одном из этих бедняжек, а может, и в каждом воплотился Христос и встал на ее пути, чтобы дать ей повод совершить доброе дело.

Вообще к низшим мира сего она относилась с благоволением. Ей припоминались слова святого писания: "В поте лица своего будешь добывать хлеб свой". По-видимому, они совершили какое-то тяжкое прегрешение, раз их осудили на труд; однако такие невинные ангелы, как она, не могли не сострадать им, - такие, как она, для которой самым большим трудом в жизни было нажать кнопку звонка или отдать приказание.

Только однажды этот низший мир произвел на нее неизгладимое впечатление.

Как-то во Франции она посетила металлургический завод. Еще из экипажа, спускавшегося по горной дороге, среди лесов и лугов, под ярко-синим небосводом, панна Изабелла увидела внизу пропасть, полную клубов черного дыма и белого пара, и услышала глухой скрежет, лязг и пыхтенье машин. Потом она осматривала печи, напоминавшие башни средневековых замков, изрыгавшие пламя; могучие колеса, вращавшиеся с молниеносной быстротой; огромные металлические конструкции, которые сами катились по рельсам; потоки раскаленного добела металла и полуголых, похожих на бронзовые изваяния рабочих, бросавших угрюмые взгляды по сторонам. И надо всем этим простиралось кровавое зарево,

гудение колес, стоны мехов, грохот молотов и нетерпеливые вздохи котлов, а под ногами дрожала, будто от страха, земля.

Тогда ей почудилось, что с вершины счастливого Олимпа она спустилась в мрачную пропасть вулкана, где циклопы куют молнии, способные сокрушить самый Олимп. Ей вспомнились легенды о взбунтовавшихся великанах, о гибели прекрасного мира, в котором она существовала, и впервые в жизни ее, богиню, пред которой склонялись великие мира сего, охватила тревога.

- Это страшные люди, папа, - шепнула она. Отец молчал и только крепче прижал к себе ее руку.

- Но ведь женщинам они не причиняют зла?

- Нет, даже они, - ответил пан Томаш.

В ту же минуту панна Изабелла устыдилась, что она тревожится только о женщинах, и поспешила прибавить:

- А если нам, то и вам тоже.

Но пан Томаш усмехнулся и покачал головой. В те времена много говорилось о близком крахе старого мира; пан Томаш сам ощущал это, когда с превеликим трудом вытягивал деньги у своих поверенных.

С посещения фабрики начался важный период в жизни панны Изабеллы. С мистическим экстазом читала она стихи своего дальнего родственника Зыгмунта{56}, и ей казалось, что теперь она увидела иллюстрации к "Небожественной комедии". С тех пор часто в сумерки ей мерещилось, что там, на горе, залитой солнечным светом, откуда ее карета съезжала к заводу, находились "Окопы святой троицы", а в долине, затянутой клубами дыма и пара, раскинулся лагерь восставших плебеев, готовых в любую минуту броситься на штурм ее прекрасного мира и разрушить его.

Только теперь поняла она, как горячо любит свою духовную родину, где хрустальные люстры заменяют солнце, ковры - землю, статуи и колонны деревья, - эту вторую свою родину, которая объединяет аристократию всех народов, роскошь всех времен и все прекраснейшие достижения цивилизации.

И всему этому суждено рухнуть, погибнуть или рассыпаться в прах?.. Погибнут и юные рыцари, которые с таким чувством поют, так прелестно танцуют, с улыбкой дерутся на дуэли или бросаются в глубокие озера, чтобы поднять оброненный цветок? И милые подружки, которые осыпали ее ласками или, сидя у ее ног, поверяли ей столько невинных тайн, а в разлуке с нею писали длинные-предлинные письма, где трогательные чувства уживались с весьма сомнительной орфографией?

А добрые слуги, которые обращаются со своими господами так, словно присягнули им в любви, верности и послушании до гроба? А портнихи, которые всегда встречают ее с улыбкой и так хорошо помнят о мельчайших деталях ее туалета, так осведомлены обо всех ее победах? А чудесные лошади, с которыми ласточка не сравнится в быстроте? А собаки, умные и преданные, как люди? А парки, в которых человеческая рука возвела холмы, живописно расположила ручьи, придала изящную форму деревьям? И все это может когда-нибудь исчезнуть?

От этих дум на лице панны Изабеллы появилось новое выражение кроткой печали, что сделало ее еще более прекрасной. Вокруг говорили, что она уже вполне расцвела.

Понимая, что великосветский мир - это высший мир, панна Изабелла со временем познала, что подняться на его вершины и постоянно там пребывать можно лишь с помощью двух крыльев: благородного происхождения и богатства. А благородное происхождение и богатство присущи немногим избранным семействам, как флердоранж - померанцевому дереву. Весьма правдоподобно, что добрый господь бог, узрев две души с благородными именами, соединенные узами священного таинства, приумножает их доходы и ниспосылает им на воспитание ангелочка, назначение которого - поддерживать фамильную славу своими добродетелями, хорошими манерами и красотой. Отсюда следует, что браки надо заключать осмотрительно, в чем лучше всего разбираются старые дамы и преклонного возраста господа. Все зависит от правильного подбора имен и состояний. А любовь - не та безумная любовь, о которой грезят поэты, а истинно христианская - приходит только после священного таинства, и этого вполне достаточно, чтобы жена могла украшать собою дом, а муж - достойно сопутствовать ей в свете.

Так было в давние добрые времена, по единодушному утверждению всех матрон. В наши дни эта истина предана забвению, что очень плохо: растет число мезальянсов, и благородные роды клонятся к упадку.

"И в браках нет счастья", - прибавляла про себя панна Изабелла, которую молодые дамы часто посвящали в свои семейные тайны.

Благодаря их рассказам она прониклась отвращением к супружеской жизни, а мужчин стала слегка презирать.

Муж в халате, который зевает в присутствии жены, целует ее, не потрудившись выдохнуть дым сигары, и отвечает ей: "Оставь меня в покое", или попросту: "Как ты глупа", муж, который поднимает скандал из-за новой шляпки, а сам швыряет деньги на экипажи для актрис, - это существо, отнюдь не привлекательное. И что хуже всего - каждый из них до свадьбы был горячим поклонником своей дамы, худел, если долго не виделся с ней, краснел при встрече, а иной раз даже клялся, что застрелится от любви.

Поэтому панна Изабелла в восемнадцать лет терзала мужчин своей холодностью. Когда Виктор-Эммануил однажды поцеловал у нее руку, она упростила отца в тот же день уехать из Рима. В Париже ей сделал предложение один богатый французский граф - панна Изабелла сказала, что она полька и не выйдет за иностранца. Подольского магната она оттолкнула фразой: "Я отдам свою руку только человеку, которого люблю, а об этом пока говорить не приходится", - а в ответ на предложение какого-то американского миллионера только звонко расхохоталась.

Вследствие такого поведения через несколько лет вокруг панны Изабеллы образовалась пустота. Ею восхищались, ей поклонялись, но издалека: никому не хотелось получить презрительный отказ.

Когда сгладилось первое неприятное впечатление, панна Изабелла поняла, что супружество надо принять таким, каково оно есть. Она уже решила выйти замуж при условии, чтобы ее будущий спутник нравился ей, обладал знатным именем и соответствующим состоянием. Правда, встречались мужчины обаятельные, богатые и титулованные, но, увы, ни один из них не соединял в себе всех трех качеств одновременно, - и, таким образом, снова минуло несколько лет.

Вдруг разнеслись слухи, будто дела пана Томаша совсем расстроены, и из всего легиона соперников у панны Изабеллы остались только два серьезных претендента: некий барон и некий предводитель дворянства; оба были богаты, но стары.

Теперь только панна Изабелла заметила, что в высшем свете почва ускользает у нее из-под ног, и решила умерить свои требования. Но поскольку и барон и предводитель, при всем их

богатстве, внушали ей непреодолимое отвращение, она со дня на день откладывала окончательное решение. Между тем пан Томаш порвал с обществом. Предводитель, не дождавшись ответа, уехал в свое поместье, огорченный барон отбыл за границу, и панна Изабелла осталась совершенно одна. Правда, она знала, что каждый из них вернется по первому ее зову, но - кого же из двух выбрать? как подавить в себе отвращение? А главное, следует ли приносить такую жертву, когда не совсем потеряна надежда, что богатство еще вернется и она опять сможет выбирать? Уж тогда-то она выберет, испытав, как тяжело жить вне светского общества.

Одно обстоятельство чрезвычайно помогло ей решиться на брак по расчету. А именно: панна Изабелла никогда не любила. Причиной тому был холодный темперамент, уверенность, что в замужестве можно обойтись и без поэтических приложений, и, наконец, она находилась в плену идеальной любви, самой удивительной, о какой когда-либо приходилось слышать.

Однажды панна Изабелла увидела в картинной галерее статую Аполлона, которая произвела на нее столь сильное впечатление, что она купила превосходную копию и поставила ее в своем будуаре. Часами она глядела на Аполлона, думала о нем, и... кто знает, сколько поцелуев согревало руки и ноги мраморного божества? И вот свершилось чудо: под ласками влюбленной женщины камень ожил. Раз ночью, когда она уснула в слезах, бессмертный сошел со своего пьедестала и явился пред нею, с лавровым венком на челе, излучая мистическое сияние.

Он присел на край ее постели, долго глядел на нее взором, в котором таилась вечность, а потом, сжав ее в могучих объятиях, поцелуями белых уст осушал слезы и охлаждал ее жар.

С той поры он часто навещал ее, и когда она, тая в истоме, лежала в его объятиях, он, бог света, шептал ей о тайнах земли и неба, доселе не названных на языке смертных. Из любви к ней он сотворил еще большее чудо, являя в своем божественном облике облагороженные черты всех мужчин, которые когда-либо произвели на нее впечатление.

Раз он был похож на помолодевшего героя-генерала, выигравшего битву и с высоты своего седла взиравшего, как умирали тысячи доблестных воинов. В другой раз он напоминал лицом прославленного тенора, которому женщины бросали под ноги цветы, а мужчины выпрягали лошадей из кареты. То он был веселым и красивым принцем крови одного из старейших царствующих домов, то отважным пожарным, который за спасение трех человек с объятых пламенем пятого этажа получил орден Почетного легиона, то великим художником, изумлявшим мир богатством своей фантазии, то венецианским гондольером или цирковым атлетом необычайного сложения и силы.

Каждый из этих людей некоторое время занимал сокровенные мысли панны Изабеллы, каждому из них посвящала она тайные вздохи, понимая, что по тем или иным причинам ей нельзя полюбить, и каждый из них по воле божества являлся в его образе в ее полуреальных, полужантасических грезах. От этих видений глаза панны Изабеллы обрели новое выражение - какой-то неземной задумчивости. Часто устремлялись они куда-то поверх людей, поверх всего мирского; а когда вдобавок ее пепельные волосы рассыпались по лбу так причудливо, словно их коснулось таинственное дуновение, окружающим казалось, будто перед ними ангел или святая.

В такую минуту увидел панну Изабеллу Вокульский. Это было год назад. С тех пор его сердце не знало покоя.

Почти в то же самое время пан Томаш порвал с обществом и, в знак своих радикальных настроений, записался в купеческое собрание. Там он играл в вист с некогда презираемыми кожевниками, щетинниками и винокурами, доказывая всем и каждому, что аристократия не должна замыкаться в своем узком кругу, а, напротив, ее долг - вести за собой просвещенное

мещанство и при его помощи народ.

В ответ на это возгордившиеся кожевники, щетинники и винокуры милостиво признали, что пан Томаш - единственный аристократ, который понял свои обязанности перед отечеством и добросовестно их исполняет. Они могли бы прибавить: исполняет их ежедневно с девяти вечера до полуночи.

В то время как пан Томаш нес таким образом бремя нового положения, панна Изабелла томилась одиночеством в тиши своей прекрасной квартиры. Бывало, Миколай уже сладко дремал в кресле и панна Флорентина, заткнув уши ватой, спала крепким сном, только к спальне панны Изабеллы сон не смел подступиться, отпугиваемый воспоминаниями. Тогда она срывалась с постели и, накинув легкий капотик, часами ходила по гостиной, где ковер заглушал ее шаги, а темноту прорезал лишь скупой свет двух уличных фонарей.

Она ходила из угла в угол, а в огромной комнате теснились грустные воспоминания, и ей виделись люди, которые некогда здесь бывали. Вот дремлет престарелая княгиня; вот две графини осведомляются у прелата, можно ли крестить ребенка розовой водой; вот рой молодых людей обращает к панне Изабелле тоскующие взгляды или пытается возбудить ее внимание притворной холодностью, а там - гирлянда барышень, которые любят ее, восхищаются или завидуют. Потоки света, шелест шелков, разговоры, которые большей частью, словно бабочки вокруг цветка, кружатся вокруг ее красоты. Где бы она ни появлялась, все в сравнении с нею тускнело; другие женщины служили ей фоном, мужчины превращались в рабов.

И все это миновало!.. А сейчас в этой гостиной холодно, пусто и темно... Осталась только она да невидимый паук грусти, который всегда затягивает серой паутиной места, где мы были счастливы и откуда счастье исчезло. Исчезло!.. Панна Изабелла ломала руки, чтобы удержаться от слез, которых она стыдилась даже ночью - наедине с собой.

Ее покинули все, кроме старой графини. Когда на тетушку находило дурное настроение, она являлась сюда и, рассевшись на диване, начинала разглагольствовать, перемежая слова вздохами:

- Да, милая Белла, ты уж признай, что совершила несколько непростительных ошибок. О Викторе-Эммануиле я не говорю, то был мимолетный каприз короля, грешившего либерализмом и к тому же весьма обремененного долгами. Для подобных отношений нужно больше - не скажу такта, но опытности, - говорила графиня, скромно потупив глаза. - Но упустить или, если угодно, оттолкнуть графа Сент-Огюста, - это уж извини!.. Человек молодой, богатый, с прекрасным положением и вдобавок с такой будущностью!.. Сейчас он как раз возглавляет депутацию к святому отцу и, наверное, получит особое благоволение для всей семьи... А граф Шамбор называет его "cher cousin"*.

* Дорогой кузен (франц.).

- Я думаю, тетя, что сейчас поздно огорчаться, - заметила панна Изабелла.

- Да разве я огорчить тебя хочу, бедняжка ты моя! И без того тебя ждут удары, которые может смягчить только глубокая вера. Ведь ты знаешь, что отец потерял все, даже остаток твоего приданого?

- Что же я могу поделать?

- А между тем ты, и только ты, можешь и должна что-нибудь сделать, сказала графиня значительно. - Правда, предводитель - не Адонис, но... Будь наши обязанности всегда так

легки, тогда не существовало бы и заслуг. Впрочем, бог ты мой, кто же мешает нам сохранять на дне души свой идеал, мысль о котором улаживает самые горькие минуты? И, наконец, уверяю тебя, положение красивой жены старого мужа отнюдь не так скверно. Все ею интересуются, о ней говорят, восхищаются ее самопожертвованием, а к тому же старый муж не так требователен, как муж средних лет...

- Ах, тетя...

- Только без экзальтации, Белла! Тебе уже не шестнадцать лет, пора смотреть на жизнь серьезно. Нельзя из-за какой-то антипатии жертвовать благополучием отца, да как-никак и Флоры и прислуги. Подумай, наконец, сколько ты, при твоём благородном сердечке, могла бы сделать добра, располагая значительным состоянием!

- Но, тетя, предводитель ужасно противный. Такому не жена нужна, а нянька, которая бы утирала ему рот.

- Не обязательно предводитель. Пусть будет барон.

- Барон еще старше, он красит волосы, румянится, и на руках у него какие-то пятна.

Графиня поднялась с дивана.

- Я не уговариваю тебя, дорогая, я не сваха, пусть этим занимается мадам Мелитон. Я только предупреждаю тебя, что над отцом нависла катастрофа.

- У нас ведь есть дом.

- Который продадут самое позднее после дня святого Яна, причем не удастся выручить даже сумму, назначенную тебе в приданое.

- Как? Дом, который обошелся нам в сто тысяч, продадут за шестьдесят?

- Да он больше и не стоит, отец переплатил за него. Это мне сказал архитектор, который осматривал дом по поручению Кшешовской.

- Ну, на худой конец у нас есть сервизы... серебро... - воскликнула панна Изабелла, ломая руки.

Графиня несколько раз поцеловала ее.

- Милое, дорогое дитя, - говорила она, всхлипывая, - и как раз мне приходится ранить твое сердечко!.. Так послушай... У отца есть еще долги по векселям на несколько тысяч... И вот эти векселя... понимаешь ли... эти векселя кто-то скупил... на днях, в конце марта... Мы догадываемся, что тут не обошлось без Кшешовской.

- Какая низость! - вырвалось у панны Изабеллы. - Впрочем, не в том дело... На уплату нескольких тысяч рублей хватит моего сервиза и серебра.

- Они стоят несравненно больше, но кто сейчас купит такие дорогие вещи?

- Во всяком случае, я попробую, - взволнованно говорила панна Изабелла. - Попрошу пани Мелитон, она мне это устроит...

- Все же подумай, не жалко разве таких прекрасных фамильных вещей?

Панна Изабелла рассмеялась.

- Ах, тетя... значит, я должна колебаться - продать себя или сервиз? Я ни за что не соглашусь,

чтобы у нас описали мебель... Ах, эта Кшешовская! Скупать векселя... какая гадость!

- Ну, может быть, это и не она.

- Значит, нашелся какой-то новый враг, еще худший.

- Возможно, это сделала тетя Гонората, - успокаивала ее графиня, - как знать? Может быть, она хочет помочь Томашу и вместе с тем дать почувствовать опасность... Ну, будь здорова, дорогое мое дитя, adieu.

На том закончился разговор, в котором польский язык был столь густо приправлен французскими фразами, что можно было его уподобить лицу, покрытому сыпью.

Глава шестая

Как на старом горизонте появляются новые люди

Начало апреля - та переходная пора, которая отделяет весну от зимы. Снег уже сошел, но зелень еще не показалась; деревья черны, газоны серы и небо серо: оно похоже на мрамор, исчерченный серебряными и золотистыми прожилками.

Около пяти часов вечера. Панна Изабелла сидит в своем кабинете и читает последний роман Золя: "Une page d'amour"* . Читает рассеянно, поминутно поднимает глаза, поглядывает в окно и бессознательно отмечает, что ветви деревьев черны, а небо серо. Снова читает, озирается по сторонам и бессознательно думает, что ее мебель с голубой обивкой и ее голубой халатик словно подернулись серым налетом и что складки белой занавески похожи на большие ледяные сосульки. Потом забывает, о чем она только что думала, и спрашивает себя: "О чем это я думала? Ах да, о пасхальном сборе пожертвований..." И вдруг ее охватывает желание покататься в карете и одновременно негодование против неба - за то, что оно такое серое и что золотистые прожилки на нем такие узенькие... Ее томит неясное беспокойство, она ждет чего-то, хотя сама не знает чего: то ли, чтобы тучи прорвались, то ли, чтобы вошел лакей и подал ей письмо с приглашением на пасхальный сбор? Уже так мало времени остается, а ее все еще не пригласили.

* "Страница любви" (франц.).

Она опять принимается за роман - читает, как однажды, звездной ночью, г-н Рамбо чинил поломанную куклу маленькой Жанны, Элен плакала от беспричинной тоски, а аббат Жув советовал ей выйти замуж. Панна Изабелла сочувствует ее тоске, и, как знать, - если б в эту минуту на небе показались звезды вместо туч, может быть, и она расплакалась бы, как Элен. Ведь до пасхи остаются считанные дни, а ее еще не пригласили. Ее пригласят, она знает это, но зачем так тянуть? "Зачастую женщины, которые, казалось бы, столь пламенно веруют в бога, всего лишь несчастливые существа, объятые страстью. И в храмах они поклоняются мужчине, которого любят", - говорит аббат Жув.

"Добрый аббат, как он старался успокоить бедняжку Элен!" - думает панна Изабелла и вдруг отбрасывает книжку. Аббат Жув напомнил ей, что уже два месяца назад она начала вышивать ленту для костельного колокольчика и до сих пор не соберется закончить. Она встает с кресла и придвигает к окну столик с пяльцами, образчиком узора и шкатулкой с разноцветными шелками; потом разворачивает ленту и принимается усердно вышивать на ней розы и кресты. Под влиянием работы в душе ее пробуждается надежда. Кто служит костелу так, как она, не может быть обойден при устройстве пасхального сбора. Она подбирает шелка, вдевает нитку в иголку и шьет, шьет. Взгляд ее перебегаёт от образчика к вышивке, рука опускается и поднимается, но в голове уже зародился замысел костюма ко

гробу господню и туалета на пасху. Этот вопрос вскоре поглощает все ее внимание, затуманивает взор и замедляет движение руки. Платье, шляпа, накидка и зонтик - все должно быть новое, а времени так мало, и ничего еще не только не заказано, но даже не выбрано!

Тут она вспоминает, что ее сервиз и столовое серебро уже находятся у ювелира, что уже нашелся какой-то покупатель, так что не сегодня-завтра все будет продано. У панны Изабеллы слегка сжимается сердце: ей жаль сервиза и серебра, но при мысли о пасхальном сборе и новом туалете становится несколько легче. Туалет можно заказать очень изящный, но какой именно?

Она отодвигает пальцы, протягивает руку к столику, на котором лежат Шекспир, Данте, альбом европейских знаменитостей и несколько журналов, берет "Le moniteur de la mode" и начинает просматривать его с величайшим вниманием. Вот обеденное платье, вот весенние туалеты для барышень помоложе и постарше, а вот для дам молодых и пожилых. Вот визитное платье, вот вечернее, вот для прогулки: шесть новых фасонов шляп, десяток образцов материй, полсотни тонов... Боже мой, что же выбрать? Немыслимо выбирать, не посоветовавшись с панной Флорентиной и с портнихой модного магазина...

Панна Изабелла с досадой кладет на место "Вестник моды" и располагается полулежа на козетке. Молитвенно сложив ладони, она руками и подбородком опирается на валик и устремляет к небу задумчивый взгляд. Пасхальный сбор, новый туалет, тучи на небе, мечты и образы беспорядочно следуют друг за другом, а сквозь них пробивается сожаление о сервизе и легкое чувство стыда из-за того, что она его продает.

"Ах, все равно!" - говорит она себе, и снова ей хочется, чтобы тучи прорвались хоть на минутку. Но тучи сгущаются, а в сердце ее усиливается чувство стыда, сожаления и тревоги. Неожиданно взгляд ее падает на столик возле козетки и на молитвенник, оправленный в слоновую кость. Панна Изабелла берет молитвенник и медленно перелистывает, отыскивая молитву "Acte de resignation"*, а найдя, начинает читать: "Que votre nom soit beni a jamais, bien que vous avez voulu m'eprouver par cette peine"**. По мере того как она читает, небо проясняется, а с последними словами: "Et d'attendre en paix votre divin secours"*** - тучи разрываются, и показывается клочок ясной синевы; будуар панны Изабеллы наполняется светом, а душа ее - миром. Она больше не сомневается, что ее молитва услышана и во время пасхального сбора к ее услугам будут самый изящный туалет и самый аристократический костел.

* Молитва покаяния (франц.).

** Да будет благословенно имя твое во веки веков, хоть и послал ты мне это испытание (франц.).

*** Ниспошли мне мир в ожидании твоей божественной помощи (франц.).

В это мгновение двери будуара тихонько открываются: на пороге появляется панна Флорентина - высокая застенчивая особа, вся в черном; она держит двумя пальцами письмо и тихо говорит:

- От графини.

- Ах, это по поводу пасхального сбора, - отвечает панна Изабелла с очаровательной улыбкой.
- Ты весь день ко мне не заглядывала, Флорочка.

- Я не хотела тебе мешать.

- Скучать? Может быть, нам было бы приятно поскучать вместе.

- Письмо... - робко замечает особа в черном платье, протягивая конверт Изабелле.

- Я знаю его содержание, - прерывает панна Изабелла. - Посиди немного со мною и, если тебя не затруднит, будь добра, прочти мне письмо.

Панна Флорентина робко опускается в кресло, тихонько берет с письменного столика нож и с величайшей осторожностью вскрывает конверт. Она кладет на столик нож, затем конверт, разворачивает листок и слабым мелодичным голосом читает письмо, написанное по-французски.

- "Дорогая Белла! Прости, что затрагиваю вопрос, который только ты и твой отец имеете право решать. Я знаю, дорогое мое дитя, что ты расстанешься со своим сервизом и серебром, - да ты и сама говорила мне об этом. Я знаю также, что нашелся покупатель, который предлагает вам пять тысяч рублей, по моему мнению, слишком мало, хотя в наше время трудно рассчитывать на лучшую цену. Однако после разговора, который был у меня по этому поводу с Кшешовской, я начинаю опасаться, как бы эти прекрасные фамильные вещи не попали в недостойные руки.

Я хотела бы предотвратить это и поэтому предлагаю, если ты согласишься, одолжить тебе три тысячи рублей под залог вышеупомянутого сервиза и серебра. Я полагаю, что сейчас, когда отец твой находится в столь затруднительном положении, этим вещам лучше быть у меня. Забрать их ты сможешь в любое время, а в случае моей смерти - даже не возвращая долга.

Я не навязываюсь, а лишь предлагаю. Рассуди, как тебе будет удобнее, но прежде всего подумай о последствиях.

Мне кажется, ты была бы огорчена, если бы когда-нибудь узнала, что наши фамильные ценности украшают стол какого-нибудь банкира или входят в приданое его дочки.

Тысяча поцелуев, дитя мое.

Иоанна.

P.S. Представь, какое счастье выпало на долю моего приюта. Вчера, заехав в магазин этого славного Вокульского, я обронила словечко о пожертвовании для бедных сироток. Я рассчитывала на несколько десятков рублей, а он - поверишь ли? - пожертвовал мне тысячу, буквально - тысячу рублей! И еще сказал, что мне он не осмелился бы вручить меньшую сумму. Еще несколько таких Вокульских, и я чувствую, что на старости лет готова стать демократкой".

Панна Флорентина, кончив читать, не смела поднять глаз. Наконец она собралась с духом и взглянула на панну Изабеллу; та сидела на козетке бледная, сжав руки.

- Что же ты скажешь, Флора? - спросила она минуту спустя.

- Я думаю, - тихо ответила панна Флорентина, - что графиня в начале своего письма сама весьма метко высказалась о своем вмешательстве в это дело.

- Какое унижение! - прошептала панна Изабелла, нервно постукивая рукою по козетке.

- Унизительно, когда предлагают три тысячи под залог серебра, в то время как чужие люди дают пять тысяч. А больше не о чем говорить.

- Как она обращается с нами... Видимо, мы действительно разорены...

- Да что ты, Белла! - прервала, оживляясь, панна Флорентина. - Именно это жестокое письмо доказывает, что вы не разорены. Тетка умеет быть жестокой, однако умеет уважать настоящее горе. Если б вам действительно грозило разорение, вы нашли бы в ее лице заботливого и чуткого утешителя.

- Спасибо.

- И чего тебе опасаться? Завтра мы получим пять тысяч рублей, на которые можно вести хозяйство полгода или хотя бы три месяца. Через некоторое время...

- Наш дом продадут с аукциона...

- Простая формальность, вот и все. Больше того: вы даже выгадаете, в то время как теперь дом для вас - это только обуза. Ну, а после смерти тетки Гортензии ты получишь тысяч сто. Впрочем, - прибавила после паузы панна Флорентина, подняв брови, - я сама не уверена, нет ли у твоего отца состояния. Все придерживаются такого мнения...

Панна Изабелла перегнулась с козетки и взяла панну Флорентину за руку.

- Флора, - сказала она понижая голос, - кому ты это говоришь? Видно, ты в самом деле считаешь меня только барышней на выданье, которая ничего не видит и ничего не понимает? Думаешь, я не знаю. - произнесла она еще тише, что уже месяц ты одалживаешь деньги на хозяйство у Миколая...

- Может быть, отец именно этого хочет...

- И хочет, чтобы ты каждое утро потихоньку вкладывала в его портмоне несколько рублей?

Панна Флорентина посмотрела ей в глаза и покачала головой.

- Ты знаешь слишком много, - сказала она, - но не все. Уже две недели как у отца завелись свои карманные деньги...

- Значит, он делает новые долги.

- Нет. Отец никогда не станет занимать в городе. Кредиторы приходят на дом с деньгами и у него в кабинете получают расписку и проценты. Ты его в этом отношении не знаешь.

- Откуда же у него деньги?

- Не знаю. Вижу, что есть, и слышу, что всегда были.

- Почему же в таком случае он позволил продать серебро? - настойчиво спрашивала панна Изабелла.

- Может быть, он хочет подразнить родных.

- А кто скупил его векселя?

Панна Флорентина беспомощно развела руками.

- Их скупил не Кшешовская, - сказала она. - Это я знаю наверное. Значит - или тетка Гортензия, или же...

- Или?

- Или сам отец. Разве ты не знаешь, сколько вещей он делает только для того, чтобы встревожить родных, а потом посмеяться над ними?

- Зачем же ему тревожить меня, нас?

- Он думает, что ты не тревожишься. Дочь обязана безгранично верить отцу...

- Ах, вот что!.. - шепнула панна Изабелла и задумалась.

Родственница в черном платье медленно поднялась с кресла и тихо вышла.

Панна Изабелла снова взглянула на комнату, которая показалась ей совсем бесцветной, на черные ветки, качавшиеся за окном, на чету воробьев, щебетавших, может быть, о постройке гнезда, на небо, теперь уже сплошь серое, без единой светлой полоски. На мгновение она снова вспомнила о пасхальном сборе, о новом туалете, но и то и другое показалось ей таким маловажным, почти смешным, и она еле заметно пожала плечами.

Ее мучили другие вопросы: не отдать ли и впрямь сервиз графине Иоанне и - откуда отец берет деньги? Если они у него были все время, зачем он позволял занимать их у Миколая? А если их не было, то из какого источника он черпает их сейчас?.. Если отдать сервиз и серебро тетке, можно упустить случай выгодно их продать, а если продать за пять тысяч, эти фамильные вещи могут в самом деле попасть в недостойные руки, как писала графиня.

Внезапно течение ее мыслей прервалось: ее чуткое ухо уловило шорох в отдаленных комнатах. Это были мужские шаги - мерные и спокойные. В гостиной их слегка приглушил ковер, в столовой они зазвучали отчетливей, в ее спальне снова стихли, словно кто-то шел на цыпочках.

- Войди, папа, - откликнулась панна Изабелла, услышав стук в дверь.

Вошел пан Томаш. Она приподнялась было с козетки, но отец удержал ее. Он обнял ее, поцеловал в голову и сел рядом, предварительно бросив взгляд в большое зеркало на стене. Он увидел свое красивое лицо, седые усы, безупречный темный скюртук, выутюженные брюки, словно только что от портного, и убедился, что все в надлежащем порядке.

- Я слышал, - сказал он дочери, улыбаясь, - что барышня получает письма, которые портят ей настроение.

- Ах, папа, если б ты знал, в каком тоне пишет тетка...

- Наверно, в тоне слабонервной особы. За это не стоит на нее обижаться.

- Если бы только обида... Я боюсь, что она права и наше серебро может попасть на стол к какому-нибудь банкиру.

Она прижалась головой к плечу отца. Пан Томаш невольно взглянул в зеркало на столике и отметил про себя, что вместе они в эту минуту образуют очень красивую группу. Особенно выразителен был контраст между тревогой, выражавшейся на лице дочери, и его собственным спокойствием. Он улыбнулся.

- Столы банкиров!.. - повторил он. - Серебро наших предков бывало на столах у татар, казаков, взбунтовавшихся мужиков - и это не только не уронило нашего достоинства, но даже принесло нам почет. Кто борется, тот рискует потерять.

- Они теряли из-за войны и на войне, - заметила панна Изабелла.

- А сейчас разве не война?.. Изменилось только оружие: вместо косы или ятагана сражаются рублем. Иоася это хорошо понимала, когда продавала - и не то что сервиз, а родовое имение - и разбирала развалины замка для постройки амбара.

- Итак, мы побеждены... - вздохнула панна Изабелла.

- Нет, дитя мое, - ответил пан Томаш, приосанившись. - Мы вскоре начнем побеждать, и, пожалуй, именно этого опасается моя сестрица и ее присные. Они так погрузились в спячку, что их возмущает каждое проявление жизненной силы, каждый мой смелый шаг, - прибавил он словно про себя.

- Твой, папа?

- Да. Они думали, что я стану просить их о помощи. Иоася охотно сделала бы меня своим поверенным. А я отказался от их милостей и сблизился с мещанством. Я приобрел среди этих людей вес, и это начинает беспокоить наших аристократов. Они думали, я отойду на второй план, а между тем видят, что я могу выдвинуться на первый.

- Ты, папа?

- Я. До сих пор я молчал, ибо не было подходящих исполнителей. Теперь я нашел человека, который понял мои идеи, и начну действовать.

- Кто же это? - спросила панна Изабелла, с изумлением глядя на отца.

- Некий Вокульский, коммерсант, железный человек. С его помощью я организую наше мещанство, создам общество по торговле с Востоком, подниму таким образом промышленность...

- Ты папа?

- И тогда посмотрим, кто окажется впереди, хотя бы при выборах в городской совет, если они будут...

Панна Изабелла слушала, широко раскрыв глаза.

- А ты уверен, папа, что человек, о котором ты говоришь, не окажется просто аферистом, авантюристом?

- Так ты его не знаешь? - спросил пан Томаш. - А ведь это один из наших поставщиков.

- Магазин я знаю, красивый, - задумчиво ответила панна Изабелла. - Есть там старый приказчик, чудак как будто, но необычайно учтивый... Ах, кажется, несколько дней назад я видела и владельца... Очень грубый человек по виду...

- Вокульский груб? - удивился пан Томаш. - Он действительно держится несколько натянуто, но весьма любезен.

Панна Изабелла тряхнула головой.

- Неприятный человек, - заметила она, оживляясь. - Теперь припоминаю... Во вторник я была в магазине, спросила его, сколько стоит веер. Надо было видеть, как он взглянул на меня!.. Ничего не ответил, только вытянул огромную красную ручищу к приказчику (довольно, знаешь ли, изящному молодому человеку) и буркнул сердито: "Пан Моравский (или Мрачевский, я уж не помню), дама спрашивает, сколько стоит веер..." Нет, неинтересного ты выбрал себе компаньона! - рассмеялась панна Изабелла.

- Человек бешеной энергии, железный человек, - возразил пан Томаш. Все они таковы. Ты узнаешь этих людей, потому что я намерен устроить у нас несколько совещаний. Все они оригинальны, но этот оригинальнее остальных.

- Ты хочешь принимать этих господ?

- Мне нужно посоветоваться кое с кем из них. А что до наших, - прибавил он, заглянув дочери в глаза, - уверяю тебя, когда они услышат, кто у меня бывает, все как один поспешат к нам в гостиную.

В эту минуту вошла панна Флорентина и пригласила к столу. Пан Томаш подал дочери руку, и все трое перешли в столовую, где их уже ждали миска с первым и Миколай, облаченный во фрак с большим белым галстуком.

- Белла насмешила меня, - сказал пан Томаш панне Флоре, которая разливала бульон. - Представь себе, Вокульский произвел на нее впечатление грубияна. Ты его знаешь?

- Кто же сейчас не знает Вокульского, - отвечала панна Флорентина, подавая Миколаю тарелку для барина. - Конечно, изяществом он не блещет, однако производит впечатление...

- Колоды с красными лапами, - смеясь, воскликнула панна Изабелла.

- Он мне напоминает Трости, - помнишь, Белла, того полковника в Париже? - заметил пан Томаш.

- А мне - статую торжествующего гладиатора, - мелодичным голосом прибавила панна Флорентина. - Помнишь, Белла, во Флоренции - тот, с поднятым мечом? Лицо суровое, даже дикое, но прекрасное.

- А красные руки? - спросила панна Изабелла.

- Он отморозил их в Сибири, - значительно сказала панна Флорентина.

- А что он там делал?

- Расплачивался за увлечения молодости, - сказал пан Томаш. - Это можно ему извинить.

- Ах, значит, он еще и герой!

- И миллионер, - прибавила панна Флорентина.

- И миллионер? - повторила панна Изабелла. - Я начинаю верить, что папа сделал хороший выбор, принимая его в компаньоны. Хотя...

- Хотя?.. - переспросил отец.

- Что скажет свет по поводу такого компаньона?

- Была бы сила в руках, будет и свет у ног.

Миколай как раз закончил обносить стол блюдом с жарким, когда в передней раздался звонок. Старый слуга вышел и через минуту вернулся, неся письмо на серебряном, а может, и посеребренном, подносе.

- От госпожи графини, - доложил он.

- Тебе, Белла, - сказал пан Томаш, взяв письмо. - Позволь мне проглотить за тебя эту новую пиллюлю.

Он вскрыл письмо, прочитал его и со смехом передал панне Изабелле.

- Вот, - воскликнул он, - Иоася вся в этом письме. Нервы, вечно нервы!..

Панна Изабелла отодвинула тарелку и с беспокойством пробежала глазами листок бумаги. Постепенно лицо ее прояснялось.

- Послушай, Флора, - сказала она, - это любопытно. "Дорогая Белла! пишет тетка. - Забудь, ангелочек, о моем предыдущем письме. В конце концов меня совершенно не касается твой сервис, а когда ты будешь выходить замуж, мы найдем другой. Но я хочу, чтобы ты непременно участвовала со мной в пасхальном сборе, и именно об этом собиралась я писать, а не о сервисе. Бедные мои нервы! Если не хочешь вконец расстроить их, ты должна согласиться на мою просьбу.

Гроб господень в нашем костеле будет чудесный. Мой славный Вокульский дает фонтан, поющих искусственных птиц, музыкальную шкатулку, которая будет играть одни только серьезные пьески, и множество ковров. Гозер из своего магазина пришлет цветы, а любители устраивают концерт - орган, скрипка, виолончель и пение. Я в восторге, но, если среди всех этих чудес не будет тебя, я заболею. Значит, решено. Обнимаю тебя и целую тысячу раз.

Любящая тетка Иоанна.

P.S. Завтра мы поедем в магазин заказать тебе весенний костюм. Я умру, если ты не примешь его".

Панна Изабелла сияла. В этом письме осуществлялись все ее надежды.

- Вокульский неподражаем! - воскликнул, смеясь, пан Томаш. - Он взял Иоасю штурмом, и теперь она не только не осудит меня за такого компаньона, но даже готова оспаривать его у меня.

Миколай подал цыплят.

- Это, по-видимому, гениальный человек, - заметила панна Флорентина.

- Вокульский? Ну нет, - ответил пан Томаш. - Он человек бешеной энергии, но что касается дара комбинации - не скажу, чтоб он обладал им в высокой степени.

- Мне кажется, он дает тому доказательства.

- Все это доказывает только энергию. Дар комбинации, гениальный ум познаются в другом, ну хотя бы... в игре. Я довольно часто играю с ним в пикет, где без комбинаций и шагу ступить нельзя. И в итоге я проиграл рублей восемь - десять, а выиграл около семидесяти... хотя и не претендую на гениальность! - скромно прибавил он.

Панна Изабелла уронила вилку. Она побледнела и схватилась за голову, тихо вскрикнув:

- А!.. а!..

Отец и панна Флорентина вскочили со стульев.

- Что с тобой, Белла? - с тревогой спросил пан Томаш.

- Ничего, - отвечала она, вставая из-за стола. - Мигрень. Уже час назад я почувствовала, что начинается приступ... Ничего, папа...

Она поцеловала у него руку и ушла к себе в комнату.

- Внезапный приступ должен скоро кончиться, - сказал пан Томаш. - Иди к ней, Флора. Я ненадолго поеду в город кое с кем повидаться, но вернусь пораньше. Тем временем присмотри за нею, дорогая, прошу тебя, - говорил пан Томаш со значительной миной

человека, уверенного в том, что без его распоряжений или просьб не может быть хорошо на свете.

- Сейчас я к ней пойду, пусть только здесь приберут, - отвечала панна Флорентина, для которой порядок в доме был важнее, чем чья бы то ни было головная боль.

Сумерки спустились на землю... Панна Изабелла снова одна в своем будуаре: она лежит на козетке, обеими руками закрыв глаза. Из-под волны шелка, ниспадающей на пол, выглянула узкая туфелька и полоска чулка, но этого никто не видит, и сама она об этом не думает. В эту минуту душу ее снова терзают гнев, обида и стыд. Тетка извинилась перед нею, Изабелла проведет пасхальный сбор в самом богатом костеле и получит самый изящный туалет; и при всем том она несчастлива... Она чувствует себя так, словно в шумной гостиной вдруг заметила на своем новом костюме огромное жирное пятно безобразной формы и цвета, будто она замаралась где-то на черной лестнице. Мысль об этом для нее настолько омерзительна, что рот ее наполняется слюною.

Какое ужасное положение!.. Уже месяц они берут займы у лакея, а последние десять дней отец достает деньги на свои карманные расходы игрой в карты. Выигрывать не стыдно, светские люди выигрывают тысячи, но ведь не на нужды первой необходимости и не у купцов же. Ах, будь это возможно, она бросилась бы к ногам отца, моля его не играть с этими людьми, по крайней мере сейчас, когда их дела так расстроены! Через несколько дней она получит деньги за свой сервиз и тогда сама даст несколько сот рублей отцу, пусть он проиграет их этому Вокульскому, пусть рассчитается с ним еще щедрее, чем она с Николаем, возвращая ему долг.

Но удобно ли ей так поступить, да и вообще даже заговаривать об этом с отцом?

- Вокульский?.. Вокульский?.. - повторяет панна Изабелла.

Кто же он, этот Вокульский, который сегодня так внезапно предстал перед нею сразу в нескольких обликах? Что за дела у него с теткой, с отцом?

И вот ей начинает казаться, что она уже несколько недель подряд слышит об этом человеке. Какой-то купец недавно пожертвовал две или три тысячи рублей на благотворительные цели, только она точно не знала, чем он торгует - то ли дамскими туалетами, то ли мехами. Потом еще говорили, что какой-то купец во время русско-турецкой войны нажил крупное состояние, но она прослушала кто: то ли это сапожник, у которого она заказывает обувь, то ли ее парикмахер. И только сейчас она припоминает, что купец, пожертвовавший тысячи, и купец, наживший состояние, - одно и то же лицо и что это тот самый Вокульский, который проигрывает в карты ее отцу и которого тетка, известная своей надменностью старая графиня, называет "мой славный Вокульский".

Теперь она вспоминает даже физиономию этого человека, который тогда в магазине не захотел с нею говорить и только мрачно разглядывал ее из-за огромных японских ваз. Как он смотрел на нее!

Однажды ей вздумалось зайти с панной Флорентиной, так, шалости ради, в кондитерскую выпить чашку шоколада. Они сели у окна, а на улице собралась кучка маленьких оборванцев. Дети смотрели на нее, на пирожные и шоколад с любопытством и жадностью голодных зверенышей. Так же точно смотрел на нее этот купец.

Ее охватила легкая дрожь. И это компаньон ее отца? Компаньон - в чем? Каким образом ее отцу вдруг пришло в голову создавать какие-то торговые общества, строить широкие планы, о которых он раньше и не мечтал? Он собирается с помощью мещанства стать во главе аристократии, хочет, чтобы его выбрали в городской совет, которого не существовало и не существует... Да ведь этот Вокульский действительно какой-то аферист, может быть

мошенник, которому нужно громкое имя для рекламы его предприятий! Такие случаи бывали. Сколько прекрасных фамилий немецкой и венгерской аристократии погрузились в омут коммерческих операций, в которых она, конечно, ничего не смыслит, но и отец, наверное, тоже смыслит не больше нее.

Уже совсем стемнело: на улице зажгли фонари, и свет их, проникая в будуар панны Изабеллы, обрисовал на потолке переплет окна и складки занавесок. Тень напоминала крест на светлом фоне, который застилало медленно надвигавшееся облако.

"Где это я уже видела однажды такой вот крест, и облако, и светлую даль?" - подумала панна Изабелла. Она принялась вспоминать виденные в жизни места - и замечталась.

Ей почудилось, что она едет в карете по какой-то знакомой местности. Леса и зеленые горы образуют как бы огромное кольцо, а карета находится на краю кольца и съезжает вниз. Да полно, едет ли карета? Ведь она ни к чему не приближается и ни от чего не отдаляется. Нет, все-таки едет - это видно по солнечному диску, отраженному в лакированном крыле экипажа: диск дрожит и медленно движется назад. К тому же слышится грохот... Что это - стук пролетки на улице?.. Нет, это грохочут машины, работающие где-то на дне этого кольца гор и лесов. Там, внизу, можно даже разглядеть что-то вроде озера черного дыма и белого пара, окаймленного зеленью.

Тут панна Изабелла замечает отца, который сидит рядом с нею и пристально рассматривает свои ногти, время от времени поглядывая по сторонам. Карета все стоит на краю кольца, как будто застыв на месте, и только солнечный диск на лакированном крыле медленно движется назад. Этот кажущийся покой - или скрытое движение - необычайно раздражает панну Изабеллу. "Мы что - стоим или едем?" - спрашивает она отца. Но отец ничего не отвечает, будто не замечая ее, - он рассматривает свои великолепные ногти и время от времени окидывает взглядом окрестности...

Вдруг (карета по-прежнему трясется, и по-прежнему слышится грохот) из глубины озера, извергающего черный дым и белый пар, по пояс вынырнула фигура какого-то человека. У него коротко стриженные волосы, смуглое лицо, напоминающее пехотного полковника Трости (а может быть, гладиатора из Флоренции), и огромные красные руки. На нем надета испачканная сажей рубашка с засученными выше локтя рукавами: в левой руке, прижатой к груди, он держит карты, раскинутые веером, а в правой, поднятой над головой, - одну карту, которую, очевидно, собирается швырнуть на переднее сиденье экипажа. Остальная часть фигуры скрыта клубами дыма.

"Отец, что он делает?" - испуганно спрашивает панна Изабелла.

"Он играет со мной в пикет", - отвечает отец, и в руках у него тоже карты.

"Да ведь это страшный человек, папа!"

"Даже такие не причиняют зла женщинам", - отвечает пан Томаш.

Только сейчас панна Изабелла замечает, что человек в рубашке смотрит на нее каким-то особенным взглядом, продолжая держать карту в поднятой руке. Клубы дыма и пара, бурлящие в долине, минутами застилают его расстегнутую рубашку и суровое лицо; вот он утонул в них совсем - его нет. Сквозь дым смутно виден только блеск его глаз, а над дымом - обнаженная до локтя рука и - карта.

"Что означает эта карта, папа?" - спрашивает она. Но отец невозмутимо глядит в собственные карты и ничего не отвечает, будто не замечая ее.

"Когда же мы наконец проедем это место?" Но, хотя карета трясется и солнечный диск,

отраженный в крыле, движется назад, внизу по-прежнему виднеются озеро дыма, поднимающийся из него человек, его занесенная над головой рука и - карта.

Панну Изабеллу охватывает нервное беспокойство, она напрягает память, всю силу мысли, чтобы угадать, что означает карта, которую держит этот человек...

Может быть, деньги, которые он проиграл ее отцу в пикет? Как будто нет. Может быть, его пожертвование благотворительному обществу? Тоже нет. Может быть, это тысяча рублей, которую он дал ее тетке на приют, а может быть квитанция за фонтан, птичек и ковры на украшение гроба господня? Тоже нет, все это не волновало бы ее так.

Постепенно панной Изабеллой овладевает сильнейшая тревога. Может быть, это векселя отца, недавно скупленные кем-то? В таком случае, как только она получит деньги за сервиз и серебро, она сразу же выплатит его долг и избавится от этого кредитора. Но человек, окутанный дымом, продолжает смотреть ей в глаза и не выпускает карты. Так, может быть... Ах!..

Панна Изабелла срывается с козетки, задевает в темноте пуф и дрожащими руками нажимает кнопку звонка. Звонит раз, другой - никто не является. Тогда она бежит в переднюю и в дверях сталкивается с панной Флорентиной; та хватается ее за руку и с удивлением спрашивает:

- Что с тобою, Белла?

В освещенной передней панна Изабелла немного приходит в себя. Она улыбается.

- Флорочка, перенеси лампу ко мне в комнату. Папа дома?

- Он только что уехал.

- А Миколай?

- Сейчас вернется - пошел отдать письмо рассыльному. Что, у тебя еще сильнее разболелась голова?

- Нет, - смеется панна Изабелла, - просто я задремала и мне что-то привиделось.

Панна Флорентина берет лампу, и обе идут в будуар Изабеллы. Панна Ленцкая снова опускается на козетку, заслоняет рукой глаза от света и говорит:

- Знаешь, Флора, я передумала: не хочу продавать серебро чужим людям. Оно в самом деле может попасть бог знает в чьи руки. Будь добра, присядь за мой столик и напиши тетке, что я... принимаю ее предложение. Пусть она одолжит нам три тысячи рублей и берет себе сервиз и серебро.

Панна Флорентина с величайшим изумлением глядит на нее и наконец отвечает:

- Это невозможно, Белла.

- Почему?..

- Четверть часа назад я получила письмо от пани Мелитон: серебро и сервиз уже проданы.

- Уже? Кто их купил? - выкрикивает панна Изабелла, хватая ее за руку.

Панна Флорентина смущена:

- Кажется, какой-то русский купец...

Но по ее лицу видно, что она говорит неправду.

- Ты что-то знаешь, Флора... Прошу тебя, не скрывай!.. - молит ее панна Изабелла, и глаза ее наполняются слезами.

- Хорошо, тебе я открою секрет, только не говори отцу, - просит кузина.

- Так кто же? Ну, кто купил?

- Вокульский.

В то же мгновение слезы панны Изабеллы высыхают и глаза принимают стальной оттенок. Она гневно отталкивает руку родственницы, делает несколько шагов назад и вперед по комнате и, наконец, садится в кресло против панны Флорентины. Теперь это уже не пугливая, нервная красавица, а важная дама, которая готова распечь, а может быть, и рассчитать провинившуюся прислугу.

- Скажи мне, милая, - говорит она певучим контральто, - что за нелепый заговор затеваете вы против меня?..

- Я... Заговор? - лепечет панна Флорентина, прижимая руки к груди. - Я не понимаю тебя, Белла...

- Да. Ты, пани Мелитон и этот... смехотворный герой... Вокульский.

- Я и Вокульский? - повторяет панна Флорентина, и на лице ее изображается такое простодушное изумление, что невозможно усомниться в ее искренности.

- Допустим, ты не в заговоре, - продолжает панна Изабелла. - Но ты что-то знаешь...

- О Вокульском я знаю то же, что все. У него есть магазин, где и мы покупаем, он нажил состояние на войне...

- А ты слыхала, что он втягивает папу в торговую компанию?

Выразительные глаза панны Флорентины широко раскрываются.

- Втягивает твоего отца в компанию? - пожимает она плечами. - Какая же компания может быть у него с отцом?

И тут же пугается собственных слов...

Непричастность ее была очевидна. Панна Изабелла снова несколько раз прошлась по комнате, словно львица по клетке, и вдруг спросила:

- Скажи мне по крайней мере, что ты думаешь об этом человеке?

- О Вокульском? Ничего я о нем не думаю, пожалуй только, что он ищет популярности и влиятельных связей.

- Значит, ради этого он пожертвовал тысячу рублей на сирот?

- Наверное. И еще вдвое больше он дал на иные благотворительные цели.

- А зачем он купил мой сервиз и серебро?

- Очевидно, чтобы выгодно перепродать. В Англии за такие вещи дорого платят.

- А зачем... он скупил папины векселя?

- Откуда ты знаешь, что он? Уж это ему вряд ли выгодно.

- Не знаю, ничего не знаю, - лихорадочно подхватила панна Изабелла, но я все угадываю, все понимаю... Этот человек хочет сблизиться с нами...

- С отцом он уже познакомился, - вставила панна Флорентина.

- Да! Он хочет познакомиться со мною! - вскричала панна Изабелла в порыве гнева. - Я заметила это по...

Она постеснялась сказать: "по его взгляду".

- А не показалось ли тебе, Белла?

- Нет. То, что я испытываю, не ложное впечатление, а скорее ясновидение. Ты даже не подозреваешь, как давно знаю я этого человека, вернее - как давно он преследует меня. Теперь я вспоминаю, что уже в прошлом году не было ни одного спектакля, концерта или лекции, где я не встретила бы его, и только сейчас... Эта нелепая фигура начинает меня пугать.

Панна Флорентина даже подалась назад вместе со стулом.

- Ты допускаешь, что он мог осмелиться...

- Плениться мною! - смеясь, прервала панна Изабелла. - Что ж, я не вижу в этом ничего преступного. Я не грешу ни излишней наивностью, ни ложной скромностью и отлично знаю, что нравлюсь - боже мой! - даже слугам... Было время, когда это меня сердило, как приставание попрошаек на улице, звонки нищих в квартиру или письма с просьбой о вспомоществовании. Ну, а теперь я только лучше поняла слова спасителя: "Кому много дано, с того много и спросится".

- К тому же, - продолжала она, пожав плечами, - мужчины так назойливы в своем обожании, что я уже не удивляюсь их ухаживанию и наглым взглядам, напротив, мне странно, когда бывает иначе. Если я встречаю в обществе человека, который не объясняется мне в любви, не молчит с мрачным видом, свидетельствующим о еще более сильных чувствах, или же не выказывает мне ледяного равнодушия, что является выражением наивысшей степени чувств, - мне становится не по себе, словно я забыла веер или платочек... Знаю я их - всех этих донжуанов, поэтов, философов, героев, все эти чуткие, бескорыстные, разбитые, мечтательные или сильные души... Знаю я весь этот маскарад и, поверь мне, умею им всласть позабавиться. Ха-ха-ха! Как все они смешны...

- Я не понимаю тебя, Белла, - пролепетала панна Флорентина, разводя руками.

- Не понимаешь? Значит, ты не женщина. Панна Флорентина ответила сначала протестующим, а затем неуверенным жестом.

- Послушай, - продолжала панна Изабелла. - Уж год, как мы лишились положения в свете. Не спорь, всем известно, что это так. Сейчас мы разорены...

- Ты преувеличиваешь...

- Ах, Флора, не убаюкивай меня ложью. Разве ты не слышала за обедом, что даже те несколько десятков рублей, которыми еще располагает отец, он выиграл в карты у...

Говоря это, панна Изабелла вся дрожала. Глаза ее сверкали, на щеках выступил румянец.

- И вот в такую минуту является этот... торгаш, скупает наши векселя, сервиз, обхаживает моего отца и тетку, иначе говоря - со всех сторон опутывает меня сетями, как охотник дичь. Это уже не томный воздыхатель, не искатель руки, которого можно отвергнуть, это... завоеватель!.. Он не тратит времени на вздохи, а втирается в милость к тетке, связывает по рукам и ногам отца, а меня хочет захватить силой либо принудить к добровольной сдаче... Понимаешь, что за утонченная низость!

Панна Флорентина ужаснулась.

- В таком случае, есть очень простой выход. Расскажи...

- Что рассказать? И кому? Не тетке ли, которая охотно поддержит этого господина, лишь бы заставить меня выйти замуж за предводителя? Или, может быть, рассказать об этом отцу, чтобы напугать его и ускорить катастрофу? Я сделаю только одно: помешаю отцу вступать в какие бы то ни было компании, хотя бы мне пришлось ползать у его ног, хотя бы пришлось... заклинать его памятью покойной моей матери...

Панна Флорентина с восхищением смотрела на нее.

- Право, Белла, - сказала она, - ты преувеличиваешь опасность. При твоей энергии и гениальной прозорливости...

- Ты не знаешь этих людей, а я видела их за работой. В их руках стальные рельсы гнутся, как прутья. Это страшные люди. Они умеют ради своих целей приводить в движение все земные силы, о которых мы и понятия не имеем. Они способны ломать, заманивать в ловушки, пресмыкаться, рисковать всем и даже терпеливо выжидать...

- Ты судишь по романам...

- Я сужу по внутреннему чувству, которое предупреждает, громко кричит, что человек этот затем ездил на войну, чтобы добиться меня... И не успел он вернуться, как я осаждена со всех сторон... Но пусть бережется! Он хочет меня купить? Хорошо, пусть попробует. Он убедится, что я дорого стою. Он хочет поймать меня в силки. Пусть расставляет их, а я ускользну, хотя бы в объятия предводителя... Боже мой! Я даже не догадывалась, как глубока пропасть, в которую мы падаем, пока не увидела ее дна. Из салонов Квиринала - в галантерейную лавку... Это даже не падение, а позор!

Она бросилась на козетку и, закрыв лицо руками, разрыдалась.

Глава седьмая

Голубка летит навстречу удаву

Сервиз и серебро семейства Ленцких были проданы, и ювелир выплатил пану Томашу деньги, удержав около полутора ста рублей в качестве процента за комиссию и хранение. И все же графиня Иоанна не охладела к своей племяннице; напротив - энергия и самоотречение, проявленные панной Изабеллой при продаже фамильных ценностей, раскрыли новый родник родственных чувств в сердце старой дамы. Она не только уговорила молодую девушку принять в подарок прехорошенький костюм, не только ежедневно навещала ее или приглашала к себе, но сверх того (знак неслыханного благоволения!) предоставила ей свой экипаж на всю страстную среду.

- Прокатись, душенька, по городу, - говорила графиня, целуя племянницу, - и закупи, что тебе нужно из мелочей. Только смотри, в костеле ты должна быть прелестна... так прелестна, как только одна ты и умеешь... уж постарайся.

Панна Изабелла ничего не ответила, но взгляд ее и румянец красноречивей слов говорили,

что она всей душой готова исполнить желание тетки.

В страстную среду, ровно в одиннадцать часов утра, панна Изабелла уже сидела в открытой коляске рядом с неразлучной своей спутницей, панной Флорентиной. На улице веял весенний ветерок, разнося тот особый влажный аромат, который предшествует распусканию почек на деревьях и появлению подснежников; серые газоны слегка зазеленели; солнце пригревало так крепко, что дамы раскрыли зонтики.

- Какой чудесный день, - вздохнула панна Флорентина, глядя на небо, кое-где подернутое белыми облачками.

- Куда прикажете, барышня? - спросил лакей, захлопывая дверцу коляски.

- К магазину Вокульского, - с нервной поспешностью отвечала панна Изабелла.

Лакей вскочил на козлы, и пара сытых гнедых тронулась величавой рысью, фыркая и вскидывая головами.

- Зачем к Вокульскому, Белла? - с некоторым удивлением спросила панна Флорентина.

- Мне нужно купить парижские перчатки, несколько флаконов духов...

- Все это можно найти и в другом месте.

- Я хочу туда, - сухо прервала ее панна Изабелла.

В последние дни ее томило странное чувство, уже однажды ею испытанное. Когда-то за границей в зоологическом саду она увидела в клетке огромного тигра, он спал, прислонясь к решетке, так что часть головы и одно ухо высывались наружу.

Увидев это, панна Изабелла ощутила непреодолимое желание схватить тигра за ухо. От запаха клетки ее мутило, могучие лапы зверя внушали ей невыразимый ужас, но в то же время она чувствовала, что непременно должна хотя бы прикоснуться к тигриному уху.

Это странное влечение показалось ей самой опасным и даже смешным. Она пересилила соблазн и двинулась дальше, однако через несколько минут вернулась. Опять отошла, осмотрела соседние клетки, стараясь думать о чем-нибудь другом. Напрасно. Панна Изабелла вернулась, и, хотя тигр уже не спал и, урча, облизывал свои страшные лапы, она подбежала к клетке, просунула руку и - вся бледная, дрожащая - дотронулась до его уха.

Минуту спустя она устыдилась своего безрассудства, но вместе с тем испытала острое удовлетворение, знакомое людям, которые в важном деле подчинились голосу инстинкта.

Сегодня в ней пробудилось сходное влечение. Она презирала Вокульского, сердце в ней замирало при мысли, что этот человек мог заплатить дороже за ее сервис, но в то же время чувствовала непреодолимое желание войти в магазин, взглянуть ему в глаза и заплатить за несколько вещей именно теми деньгами, которые ей достались от него.

При мысли о встрече с ним ее охватывал страх, но темный инстинкт толкал вперед.

На Краковском Предместье она еще издали заметила вывеску: "Я.Минцель и С.Вокульский", а рядом - новый, еще не совсем отделанный магазин с пятью зеркальными витринами. Видно было несколько рабочих: одни изнутри протирали оконные стекла, другие красили и покрывали позолотой двери и карнизы, остальные прилаживали к витринам внушительные медные поручни.

- Чей это магазин строится? - спросила она у панны Флорентины.

- Вероятно, Вокульского; я слышала, что он перебирается в более просторное помещение.

"Для меня этот магазин!" - подумала панна Изабелла, комкая перчатки.

Экипаж остановился, лакей соскочил с козел и помог дамам сойти. Однако, когда он с шумом распахнул двери в магазин Вокульского, панну Изабеллу вдруг охватила такая слабость, что у нее ноги подкосились. Одно мгновение она даже хотела вернуться и спастись бегством, но тут же овладела собою и вошла с высоко поднятой головой.

Посреди магазина уже стоял Жецкий и, потирая руки, отвешивал ей низкие поклоны. В глубине Лисецкий, поглаживая свою холеную бородку округлым, исполненным важности жестом, показывал бронзовые канделябры какой-то даме, сидевшей на стуле. Тщедушный Клейн выбирал тросточку молодому человеку, который при виде панны Изабеллы проворно вооружился пенсне, а благоухающий гелиотропом Мрачевский прожигал взглядом и ранил острями усиков двух румяных барышень, которые сопровождали пожилую даму и осматривали безделушки.

Направо от дверей, за конторкой, сидел Вокульский, согнувшись над кипой счетов.

При входе панны Изабеллы молодой человек, выбиравший тросточку, поправил воротничок, барышни переглянулись, Лисецкий оборвал на полуслове плавную фразу о стиле канделябра, сохранив, однако же, подобострастную позу, и даже дама, слушавшая его, грузно повернулась на стуле. С минуту в магазине царила тишина, пока панна Изабелла не прервала ее своим певучим контральто:

- Пан Мрачевский сейчас в магазине?

- Пан Мрачевский! - позвал Жецкий.

Мрачевский уже стоял возле панны Изабеллы, зардевшись, как вишня, благоухая, как кадило, и склонив чело, как поникшая тростинка.

- Мы приехали к вам за перчатками.

- Номерочек пять с половиной, - подхватил Мрачевский, уже держа коробку, слегка дрожавшую в его руках под взглядом панны Изабеллы.

- А вот и нет, - рассмеялась она. - Пять и три четверти... Вы уже забыли.

- Сударыня, есть вещи, которые невозможно забыть. Однако, сударыня, если вы прикажете подать пять и три четверти - рад служить, в надежде, что в скором времени вы соблаговолите снова нас посетить. Ибо перчатки пять и три четверти, безусловно, будут спадать с пальчиков, - прибавил он с легким вздохом, расставляя перед нею вереницу коробок.

- Гений! - шепнул пан Игнаций, подмигивая Лисецкому, который презрительно шевелил губами.

Дама на стуле снова повернулась к канделябрам, барышни - к туалетному столику оливкового дерева, молодой человек в пенсне опять принялся выбирать тросточку - и дела в магазине пошли своим чередом. Только разгоряченный Мрачевский носился вверх и вниз по лесенке, выдвигал ящики, доставал все новые и новые коробки и убеждал панну Изабеллу по-польски и по-французски, что ей никак нельзя носить другие перчатки, кроме номера пять с половиной, употреблять другие духи, кроме настоящих Аткинсона, украшать свой столик чем-либо, кроме парижских безделушек. Вокульский наклонился над конторкой так низко, что на лбу его вздулись жилы, но продолжал подсчитывать в уме: "Двадцать девять и тридцать шесть - это шестьдесят пять, да пятнадцать будет восемьдесят, да семьдесят три - будет... будет..."

Тут он прервал подсчет и взглянул исподлобья в сторону панны Изабеллы, которая разговаривала с Мрачевским.

Оба они стояли к нему в профиль: он подметил, что приказчик пожирает ее глазами, на что она демонстративно отвечает улыбкой и ласково-поощрительным взглядом.

"Двадцать девять и тридцать шесть - это шестьдесят пять, да пятнадцать..." - подсчитывал в уме Вокульский, но вдруг перо под его пальцами с треском сломалось. Не поднимая головы, он вынул из ящика новое перо, и в то же время каким-то непонятным образом, заслонив ряды цифр, всплыл перед ним вопрос: "И вот эту женщину я люблю? Вздор. Просто в течение года я страдал каким-то мозговым расстройством, а мне казалось, что я влюблен... двадцать девять и тридцать шесть... двадцать девять и тридцать шесть... Никогда бы не подумал, что она может мне быть так безразлична... Как она смотрит на этого осла! Ну, видно, эта особа готова кокетничать даже с приказчиками и, чего доброго, с лакеями и кучерами... Впервые я ощущаю на душе покой... Боже мой! А я так жаждал его..."

В магазин вошло еще несколько покупателей, и Мрачевский нехотя обратился к ним, медленно завязывая свертки.

Панна Изабелла приблизилась к Вокульскому и, указывая в его сторону зонтиком, внятно произнесла:

- Флора, заплати, пожалуйста, этому господину. Нам пора домой.

- Касса здесь, - откликнулся Жецкий, подбегая к панне Флорентине. Он взял у нее деньги, и оба отступили в глубь магазина.

Панна Изабелла медленно подошла вплотную к конторке, за которой сидел Вокульский. Она была очень бледна. Казалось, вид этого человека действует на нее магнетически.

- Кажется, вы - пан Вокульский? Вокульский встал и равнодушно ответил:

- К вашим услугам.

- Ведь это вы купили наши сервиз и серебро? - спросила она сдавленным голосом.

- Я, сударыня.

На мгновение панна Изабелла заколебалась. Но вот на щеках ее вновь выступил слабый румянец. Она продолжала:

- Вы, наверное, продадите эти вещи?

- С этой целью я их и купил.

Румянец на щеках панны Изабеллы разгорелся сильнее.

- Будущий покупатель живет в Варшаве?

- Я продам эти вещи не здесь, а за границей. Там... мне заплатят дороже, - прибавил он, уловив в ее глазах вопрос.

- Вы надеетесь на хорошую прибыль?

- Ради прибыли я их и купил.

- И по этой же причине отец мой не знает, что они в ваших руках? насмешливо спросила она. У Вокульского дрогнули губы.

- Я купил серебро и сервиз у ювелира и тайны из этого не делаю. Третьих лиц я вообще в свои дела не посвящаю, это не принято в коммерческих делах.

Несмотря на резкость его ответов, панна Изабелла вздохнула с облегчением. Даже глаза ее слегка потемнели и потеряли злой блеск.

- А если б мой отец передумал и пожелал выкупить эти вещи, за какую цену вы бы их сейчас уступили?

- За ту же, что купил... Разумеется, с начислением процентов примерно... от шести до восьми годовых...

- И вы бы отказались от ожидаемой прибыли?.. Почему же? - поспешно перебила она.

- Потому, сударыня, что торговля зиждется не на ожидаемых прибылях, а на постоянном обороте наличного капитала.

- До свиданья, сударь, и... спасибо за разъяснения, - сказала панна Изабелла, заметив, что ее спутница уже расплатилась.

Вокульский поклонился и снова сел за свои книги.

Когда лакей вынес свертки и дамы сели в экипаж, панна Флорентина сказала тоном упрека:

- Ты разговаривала с этим человеком, Белла?

- Да, и не жалею. Он все налгал, но...

- Что значит это "но"? - с тревогой спросила панна Флорентина.

- Не спрашивай... не говори со мной, если не хочешь, чтобы я расплакалась на улице... И, помолчав, прибавила по-французски:

- Пожалуй, мне не следовало приезжать сюда, но... все равно.

- Я думаю, Белла, - сказала ее спутница, значительно поджимая губы, ты должна была бы поговорить с отцом или с теткой.

- Ты хочешь сказать, - перебила ее панна Изабелла, - что я должна поговорить с предводителем или с бароном? Это всегда успеется: сейчас у меня еще духу не хватает...

Разговор оборвался. Дамы в молчании вернулись домой; панна Изабелла весь день была расстроена.

После ухода панны Изабеллы Вокульский снова принялся за подсчеты и безошибочно подытожил два длинных столбика цифр. В середине третьего он остановился, снова удивляясь тому, как спокойно стало у него на душе. Откуда вдруг это равнодушие после целого года лихорадочного смятения и тоски, перемежаемой приступами безумия? Если бы какого-нибудь человека неожиданно перенесли из бального зала в лес или из душной тюрьмы на зеленый широкий луг, то он испытал бы те же самые ощущения и так же глубоко было бы его изумление.

"По-видимому, в течение года я страдал неким помрачением рассудка, думал Вокульский. - Не было опасности или жертвы, на которую я не пошел бы ради этой женщины, но стоило мне ее увидеть - и она стала мне безразлична... А как она разговаривала со мною! Сколько презрения к жалкому купцу. "Заплати этому господину!" Право, эти светские дамы великолепны! Любой бездельник, шулер, даже вор, будь только у него благородное имя, -

подходящее для них общество, хоть бы физиономией он смахивал не на родного отца, а на мамашиного лакея. Но купец - это пария. Да что мне за дело до всего этого! Пусть себе гниют на здоровье!"

Он подсчитал еще столбик, даже не замечая, что делается в магазине.

"Откуда она знает, - мысленно продолжал он, - что я купил серебро и сервиз? И как она допытывалась, не переплатил ли я. С удовольствием подарил бы я им эти фамильные безделушки. В сущности, я должен ей быть благодарен до гроба, ибо, не влюбись я в нее, не нажить бы мне состояния и вечно бы корпеть за конторкой. А сейчас - может, и грустно мне будет без этого томления, отчаяния, надежд... Глупая жизнь! Мечемся по земле в погоне за призраком, который носим в своем собственном сердце, и, только когда он оттуда исчезнет, видим, что это было безумием... Ну, никогда я не думал, что возможно такое чудесное исцеление! Час назад я еще весь был пропитан отравой, а сейчас так спокоен - и в то же время как-то опустошен, словно вынули из меня душу и нутро и остались только кожа да платье. Чем же мне заняться теперь? Как жить? Поеду, пожалуй, в Париж на выставку, а потом в Альпы..."

Тут к нему на цыпочках подошел Жецкий и, наклонясь к его уху, заговорил:

- А Мрачевский-то как великолепен! А? Этот умеет обходиться с женщинами.

- Как смазливый, избалованный клиентами парикмахер, - ответил Вокульский, не отрывая взгляда от книги.

- Он стал таким по вине наших покупательниц, - отвечал старый приказчик, но, заметив, что мешает хозяину, отошел.

Вокульский снова погрузился в задумчивость. Потом как бы невзначай взглянул на Мрачевского и впервые обнаружил в физиономии молодого человека нечто выделяющее его среди прочих.

"Да, - подумал Вокульский, - он непростительно глуп и, видно, поэтому нравится женщинам".

Он готов был смеяться и над панной Изабеллой, бросавшей томные взгляды на молодого красавчика, и над собственным обольщением, которое сегодня так внезапно рассеялось.

Вдруг кто-то произнес имя панны Изабеллы. Вокульский вздрогнул и заметил, что в магазине нет ни одного покупателя.

- Ну, сударь, сегодня вы не скрывали своих амурных дел, - говорил Мрачевскому Клейн, грустно усмехаясь.

- Но как она на меня смотрела... просто - ах! - вздохнул Мрачевский, прижимая одну руку к груди, а другой подкручивая усики. - Не сомневаюсь, продолжал он, - что через несколько дней получу от нее надушенную записочку. А там - первое свидание, потом - "ради вас я попираю правила, в коих воспитана", ну и: "Скажи, ты не презираешь меня?" Минута перед тем весьма упоительна, зато минуту спустя вам становится весьма не по себе...

- Полно врать, - перебил Лисецкий. - Знаем мы ваши победы: Матильды да Эльзы, которых вы прельщаете порцией жаркого и кружкой пива.

- Матильды - это на каждый день, а дамы - по праздникам. Но Иза будет самым большим праздником. Честное слово, я не встречал еще женщины, которая бы так чертовски действовала на меня... Ну, да что говорить - и она ко мне льнет...

Хлопнула дверь, и в магазин вошел пожилой господин с проседью; он спросил брелок к

часам, но кричал и стучал тростью так, словно собирался скупить все японские вазы.

Вокульский слушал, не шелохнувшись, похвальбу Мрачевского. Он испытывал такое ощущение, словно на голову и на грудь ему навалилась какая-то тяжесть.

"В конце концов меня это совершенно не касается", - сказал он себе.

После господина с проседью в магазин вошла дама, спросившая зонтик, за нею - господин средних лет, желавший купить шляпу, затем молодой человек, которому нужен был портсигар, и, наконец, три барышни, причем одна из них требовала перчатки Шольца - именно Шольца, потому что других она не носит.

Вокульский закрыл книгу, медленно поднялся с кресла, и взяв с конторки шляпу, направился к выходу. Ему трудно было дышать, голова трещала, раскалывалась от боли.

Пан Игнаций подбежал к нему.

- Ты уходишь... не заглянешь ли в новое помещение? - спросил он.

- Никуда я не пойду, я устал, - отвечал Вокульский, не глядя ему в глаза.

Когда дверь за хозяином закрылась, Лисецкий тронул Жецкого за плечо.

- Хозяин-то наш как будто начинает выдыхаться?

- Ну, - возразил пан Игнаций, - пустить в ход такое заведение, как московское, это не шуточки. Ясное дело!

- А зачем он его затеял?

- Затем, чтобы было из чего давать нам прибавку, - сухо ответил пан Игнаций.

- Так пусть открывает хоть сотню новых заведений, даже в Иркутске, лишь бы ежегодно давал нам прибавку, - заметил Лисецкий, - по этому поводу я с ним спорить не стану. Но, оставив этот вопрос в стороне, скажу все-таки, что он сам на себя не похож, особенно сегодня. Евреи, господа, евреи, продолжал он, - как пронюхают они о его проектах, житья ему не дадут!

- Что евреи...

- Евреи, поверьте мне, евреи... Они не допустят, чтобы им поперек дороги стал какой-то Вокульский, не еврей и даже не выкрест.

- Вокульский вступит в сношения с шляхтой, - ответил Игнаций, - а капиталы и там найдутся.

- Как знать, что хуже: еврей или шляхтич, - бросил мимоходом Клейн и поднял брови с весьма горестным видом.

Глава восьмая

Размышления

Очутившись на улице, Вокульский постоял на тротуаре, словно раздумывая, куда пойти. Его никуда не тянуло. Но, случайно взглянув направо, на свой новый магазин, перед которым уже останавливались прохожие, он с омерзением отвернулся и пошел влево.

"Удивительно, как все это меня мало трогает", - мысленно отметил он.

Потом он подумал о тех людях, которым уже сейчас давал заработок, о тех десятках людей,

которые с первого мая должны были начать у него работать, о тех сотнях людей, для которых он в течение года собирался создать новые источники заработка, и о тех тысячах людей, которые благодаря его дешевым товарам смогут несколько улучшить свою убогую жизнь, - и почувствовал, что в эту минуту все эти люди вместе с их семьями совершенно безразличны ему.

"Магазин кому-нибудь уступлю, в компанию вступать не стану и уеду за границу", - думал он.

"И обманешь людей, которые надеются на тебя?"

"Обману! Что же, разве меня самого не обманула жизнь?"

Он шел вперед, но ему было как-то не по себе; наконец, поняв, что ему надоело все время уступать дорогу, он перешел на другую сторону улицы, где прохожих было меньше.

"Однако что за наглец этот Мрачевский, - думал он. - Как можно говорить подобные вещи в магазине? "Через несколько дней получу от нее записочку, а там - свидание..." Что ж, поделом ей: пусть не кокетничает со всяким болваном... Впрочем, не все ли мне равно!"

В душе его была странная пустота, только на самом дне ее - капелька жгучей горечи. Ни сил, ни желаний - только эта капелька, такая крохотная, что и не разглядишь, но такая горькая, что, кажется, весь мир можно бы отравить ею.

"Временная апатия, переутомление, отсутствие впечатлений... Я слишком много занимаюсь делами", - говорил он себе.

Поглядев вокруг, он остановился. Предпраздничный день и хорошая погода выманили на улицу множество людей. Между памятником Коперника и колонной Зыгмунта двигалась вереница экипажей, и, колыхаясь, плыла пестрая толпа, похожая на стаю птиц, которые в эту минуту проносились над городом, улетая на север.

"Любопытная вещь, - подумал он. - Каждая птица там, в вышине, и каждый человек на земле воображает, что направляется туда, куда хочет, и только со стороны видно, что всех их несет вперед некая роковая сила - более мощная, чем их желания и намерения. Может быть, та же самая, которая разносит по ветру снопы искр, вылетающих ночью из трубы паровоза? На миг блеснут они и погаснут навеки - и это называется жизнью.

Людей проходят поколения

Так гонит ветер волны в море

И нет следа их мук и горя,

А их пиров удел - забвеньё.{96}

Где я читал это?.. Все равно".

Непрерывный грохот и шум раздражали Вокульского, а пустота внутри ужасала. Ему хотелось чем-нибудь занять себя. Он вспомнил, что один из заграничных капиталистов спрашивал его мнение относительно бульваров на Висле. Мнение у него уже сложилось: Варшава всей своей массой тяготеет и пододвигается к Висле. Если вдоль берегов разбить бульвары, там возникнет красивейшая часть города: дома, магазины, аллеи...

"Надо посмотреть, как бы это выглядело", - подумал Вокульский и свернул на Каровую улицу.

По дороге возле арки он увидел босоногого грузчика, опоясанного веревкой, который пил воду прямо из фонтана; он забрызгался с головы до ног, но лицо его сияло удовольствием и

глаза весело смеялись.

"Вот он и утолил жажду. А я, едва приблизившись к источнику, увидел, что он высох, и жажда моя исчезла. И все же мне завидуют, а об этом бедняке полагается сокрушаться. Что за чудовищная нелепость!"

На Каровой улице Вокульский замедлил шаг. Он казался себе пустым колосом, вымолоченным столичной жизнью и медленно плывущим куда-то вниз по этой канаве, зажатой меж древних стен.

"Что ж, бульвары, - думал он, - просуществуют какой-то срок, а там зарастут сорняками и придут в запустение, как эти стены. Люди, тяжким трудом воздвигавшие эти дома, тоже стремились к спокойствию, к здоровью, к богатству, а может быть, к забавам и наслаждениям. А где они сейчас? После них остались лишь потрескавшиеся стены, как гряда окаменелых ракушек от древних эпох. Только и пользы от этой гряды кирпича и тысячи других гряд, что будущий геолог назовет их произведением человеческих рук, как мы сейчас называем коралловые рифы или меловые залежи творением моллюсков.

Что от трудов имеет человек?..

От тех работ, что он под солнцем начал?..

Весь путь его забвенью предназначен,

А жизнь его - одно движение век.

Где же я читал это, где?.. Неважно".

Он остановился на полпути и стал смотреть на раскинувшийся у его ног квартал между Новым Зъяздом и Тамкой. Его поразило сходство этой части города с лестницей, в которой одну боковину образует улица Добрая, другую линия от Гарбарской до Топели, а поперечные улочки служат как бы перекладинами.

"Никуда не поднимешься по этой лежачей лестнице, - подумал он, - гиблое место, глухое".

И все горше становилось ему при мысли о том, что на этом клочке прибрежной земли, заваленном отбросами со всего города, не вырастет ничего, кроме одноэтажных домишек - коричневых, светло-желтых, темно-зеленых или оранжевых. Ничего, кроме белых и черных заборов вокруг пустырей, на которых лишь изредка торчит высокий каменный дом, словно сосна, уцелевшая от вырубленного леса, испуганная собственным одиночеством.

"Ничего, ничего..." - повторял он, бродя по тесным улочкам, мимо развалившихся, осевших домишек с замшелыми крышами, со ставнями, наглухо закрытыми и днем и ночью, мимо заколоченных гвоздями дверей, покосившихся стен, разбитых окон, заклеенных бумагой или заткнутых тряпьем.

Он шел, заглядывая сквозь грязные стекла внутрь домов, и на каждом шагу видел шкафы без дверец, колченогие стулья, диваны с изодранными в клочья сиденьями, часы с одной стрелкой и разбитым циферблатом. Он шел и тихо усмехался при виде вечно безработных поденщиков, портных, перебивавшихся только починкой старой одежды, торговков, весь капитал которых заключался в корзинке с черствыми пряниками, при виде ободранных мужчин, хилых детей и на редкость неряшливых женщин.

"Вот она, страна в миниатюре, где все способствует тому, чтобы народ опускался и вырождался. Одни погибают от бедности, другие от разврата. Тот, кто трудится, - голодает, чтобы насытить тунеядца, филантропия растит наглых бездельников, а бедняки, которые не имеют возможности обзавестись хотя бы самым убогим скарбом, плодят вечно голодных

детей, единственное достоинство коих - ранняя смерть.

Тут не поможет инициатива отдельной личности, ибо все соединилось, чтобы, опутав ее по рукам и ногам, обессилить в пустой и бессмысленной борьбе".

Потом ему вспомнилась в общих чертах его собственная жизнь. Ребенком он жаждал знаний, а его отдали в магазин при ресторане. Служа там, он надрывал свои силы, занимаясь по ночам, и все издевались над ним, начиная с поваренка и кончая подвыпившими в ресторане интеллигентами. А когда попал наконец в университет, его стали дразнить названиями блюд, которые он недавно подавал посетителям ресторана.

Он вздохнул с облегчением лишь в Сибири. Там мог он работать. Там завоевал дружбу и уважение Черских, Чекановских, Дыбовских.{99} Он вернулся на родину почти сложившимся ученым, но, когда попытался найти занятие в этой области, его высмеяли и заставили вернуться к торговле... "Такой прекрасный кусок хлеба в наши тяжелые времена!

Что ж, он и вернулся к торговле, и тогда все завопили, что он продался, что он живет милостями жены, проживает накопленное Минцелями добро.

Случилось так, что несколько лет спустя жена его умерла, оставив ему довольно значительное состояние. Похоронив ее, Вокульский несколько отстранился от торговли и снова занялся книгами. И, может быть, галантерейный купец превратился бы в настоящего ученого-физика, если бы, попав однажды в театр, он не увидел там панну Изабеллу.

Она сидела в ложе с отцом и панной Флорентиной. На ней было белое платье. Смотрела она не на сцену, которая привлекала внимание всего зала, а куда-то вдаль. Может быть, она думала об Аполлоне?..

Вокульский, не отрываясь, глядел на нее.

Им овладело странное чувство. Ему казалось, что он уже видел ее когда-то и хорошо знает. Он пристально всматривался в ее мечтательные глаза и вдруг почему-то вспомнил беспредельный покой сибирских равнин, где порой бывает так тихо, что, кажется, слышно, как души летят домой, на запад.{99} Лишь потом он понял, что никогда и нигде не видел ее, но что-то в ней было такое, словно именно ее он давно уже ждал.

"Ты ли это или не ты?" - мысленно спрашивал он, не в силах оторвать от нее глаз.

После этой встречи он забросил магазин и книги и только искал случая увидеть панну Изабеллу - в театре, в концерте или на публичной лекции. Он не называл своего чувства любовью, да и вообще сомневался, существует ли в человеческом языке слово, которым можно было бы его определить. Он только чувствовал, что панна Изабелла стала неким мистическим центром, к которому устремлялись все его помыслы, воспоминания и надежды, светочем, без которого его жизнь была лишена гармонии и даже смысла. Его работа в бакалейной лавке, университет, Сибирь, женитьба на вдове Минцеля и, наконец, случайное посещение театра, куда ему вовсе не хотелось идти, - все это теперь представлялось ему как бы тропинками, ступенями, по которым судьба вела его к встрече с панной Изабеллой.

С тех пор время делилось для него на две фазы. Видя панну Изабеллу, он был совершенно спокоен и казался самому себе как-то значительнее; не видя ее - думал только о ней и томился тоской. Иногда ему чудилось, что в чувствах его коренится какая-то ошибка, что панна Изабелла вовсе не средоточие его души, а самая заурядная и, возможно, даже весьма пошлая девица на выданье. И тогда в голову ему приходил странный план:

"Познакомлюсь с нею и спрошу напрямик: ты ли это, которую я ждал всю жизнь? Если нет, отойду без обид и упреков".

Но тут же спохватывался, что план этот - признак душевного расстройства. И, отложив выяснение вопроса: "Та ли она или не та", - решил во что бы то ни стало познакомиться с панной Изабеллой.

Однако оказалось, что среди знакомых нет человека, который мог бы ввести его в дом Ленцких. Хуже того - Ленцкий с дочерью были клиентами его магазина, а подобные взаимоотношения не только не облегчали, а, напротив, затрудняли знакомство. Постепенно он установил, что именно требовалось для знакомства с панной Изабеллой. Чтобы получить хотя бы возможность откровенно поговорить с нею, следовало:

Не быть купцом, а если уж быть, то очень богатым.

Быть по меньшей мере дворянином и иметь связи в аристократической среде.

Главное же - иметь много денег.

Доказать свое дворянское происхождение Вокульскому было нетрудно. В мае прошлого года он взялся за это дело, которое благодаря решению выехать в Болгарию ускорил настолько, что уже в декабре он получил нужные бумаги. С богатством обстояло значительно труднее, однако тут его выручил случай. В начале русско-турецкой войны через Варшаву проезжал богатый московский купец Сузин, приятель Вокульского еще по Сибири. Он навестил Вокульского и настойчиво уговаривал принять участие в военных поставках.

- Станислав Петрович, - говорил он, - собери свои денежки и, вот тебе честное слово, наживешь круглый миллиончик.

И он изложил ему свои планы.

Вокульский выслушал. Одни проекты он отклонил, другие принял, но все еще колебался. Ему было жаль оставлять город, где он, хоть изредка, мог видеть панну Изабеллу. Но когда в июне она уехала к тетке, а Сузин стал торопить его телеграммами, Вокульский наконец решился и забрал все доставшиеся ему в наследство наличные деньги - те неприкосновенные тридцать тысяч рублей, которые покойница держала в банке.

За несколько дней до отъезда он зашел к знакомому доктору Шуману, с которым, несмотря на взаимную симпатию, виделся редко. Доктор Шуман - еврей, старый холостяк, маленький, желтолицый, чернобородый человечек - слыл чудаком. Располагая состоянием, он лечил бесплатно, да и то лишь поскольку это было необходимо для его этнографических исследований, а друзьям своим он раз навсегда дал один совет:

- Принимай все лекарства - от минимальной дозы касторки до максимальной дозы стрихнина
- авось что-нибудь да поможет даже от сапа.

Когда Вокульский позвонил, доктор был занят тем, что сортировал волосы разных особей славянской, германской и семитской расы и с помощью микроскопа измерял разницу в диаметре их поперечных разрезов.

- А, это ты... - сказал он Вокульскому, повернув к нему голову. Хочешь, набей трубку, а уместишься - так ложись на диван.

Гость раскурил трубку и лег, как ему было велено; доктор продолжал заниматься своим делом. Некоторое время оба молчали; наконец Вокульский спросил:

- Скажи мне: известно ли в медицине такое состояние ума, когда человеку кажется, будто его прежде разрозненные знания и... чувства слились как бы в одно целое?

- Конечно. При постоянной умственной работе и хорошем питании в мозгу могут образоваться

новые клетки или соединиться старые. Тогда в различных разделах мозга из отдельных областей знания создается единое целое.

- А что означает такое состояние ума, при котором человек становится равнодушным к смерти, зато начинает увлекаться мифами о вечной жизни?

- Равнодушие к смерти, - отвечал доктор, - характеризует зрелость ума, а влечение к вечной жизни - это предвестник приближающейся старости.

Оба снова замолчали. Гость курил, хозяин возился с микроскопом.

- Как ты думаешь, - спросил Вокульский, - можно ли... полюбить женщину идеальной любовью, не желая ее физически?

- Разумеется. Это одна из масок, которой нередко прикрывается инстинкт продолжения рода.

- Инстинкт - род - инстинкт продолжения чего-то, продолжение рода, повторил Вокульский. - Три определения и четыре глупости.

- Сделай шестую, - отвечал доктор, не отрывая глаз от стеклышка, - и женись.

- Шестую... - сказал Вокульский, вставая с дивана. - А где же пятая?

- Пятую ты уже сделал: влюбился.

- Я? В мои годы...

- Сорок пять лет - пора последней любви, самой опасной, - отвечал доктор.

- Знаточи говорят, что опаснее всего первая любовь, - тихо сказал Вокульский.

- Неправда. После первой нас ждет сто других, а после сто первой - уже ничего. Женись - это единственное лекарство от твоей болезни.

- Почему же ты не женился?

- Да потому, что моя невеста умерла, - отвечал доктор, откидываясь на спинку кресла и глядя в потолок. - Ну, я сделал все, что мог: отравился хлороформом. Дело было в провинции. Но тут господь послал мне доброго коллегу, который взломал двери и спас меня. Самый подлый вид милосердия... Я заплатил за починку двери, а коллега переманил к себе моих пациентов, объявив меня сумасшедшим.

Он снова занялся микроскопом и волосами.

- А какая же отсюда мораль относительно последней любви? - спросил Вокульский.

- Мораль такая, что не следует мешать самоубийцам, - отвечал доктор.

Вокульский пролежал еще с четверть часа, потом встал, поставил трубку в угол и, наклонившись к доктору, поцеловал его.

- Будь здоров, Михал. Доктор вскочил.

- Что ты?

- Я уезжаю в Болгарию.

- Зачем?

- Займусь военными поставками. Мне необходимо нажать большое состояние...

- Или...

- Или я не вернусь совсем. Доктор посмотрел ему в глаза и крепко пожал руку.

- Sit tibi terra levis*, - спокойно сказал он. Затем проводил его до двери и снова взялся за работу.

* Да будет земля тебе пухом (лат.).

Вокульский уже спускался по лестнице, как вдруг доктор выбежал из комнаты и закричал, перегнувшись через перила:

- Если ты все же вернешься, не забудь привезти мне волос: болгарских, турецких и так далее, обоих полов. Только запомни: в отдельных пакетиках, с пометками. Ну, да ты знаешь, как это делается...

...Вокульский очнулся. Все это было далеко позади. И доктора, и его квартиру он не видел уже десять месяцев. Перед ним грязная Радная улица, дальше - Броварная. Вверху, из-за обнаженных деревьев, виднеется желтое здание университета; внизу - одноэтажные домики, пустыри и заборы, а еще ниже - Висла. Возле него стоял какой-то человек, рыжий, обросший щетиной, в линялой куртке. Он снял шапку и поцеловал у Вокульского руку. Тот пристально посмотрел на него.

- Высоцкий? Что ты тут делаешь?

- Мы живем здесь, ваша милость, вон в том доме, - отвечал человек, показывая на низкую лачугу.

- Почему ты не приезжаешь за грузами?

- А на чем, ваша милость, если лошадь у меня пала еще под Новый год?

- Чем же ты занимаешься?

- Да так - вроде ничем. Презимовали мы у брата, он стрелочником служит на Варшавско-Венской дороге. Только и ему теперь туго приходится, перевели его из Скерневиц под Ченстохов. В Скерневицах у него три морга земли, он и жил богачом, а теперь и сам бедствует, и земля без присмотра пропадает.

- Ну, а вы как?

- Баба моя белье стирает, да все таким, что сами еле перебиваются, а я - так вот... Совсем пропадем, ваша милость... Ну, да не мы первые, не мы и последние. Еще покуда великий пост - крепишься, думаешь: сегодня попошусь за усопших, завтра - чтоб помнить, что господь наш Иисус Христос тоже ничего не ел, послезавтра - того ради, чтобы господь зло поборол. Ну, а после поста и не придумаешь, как ребятишкам растолковать, чего ради им есть не дают... Да что это и ваша милость словно в лице переменились? Видать, уж время такое пришло, что всем погибать, - вздохнул бедняк.

Вокульский задумался.

- За квартиру у вас заплачено?

- Да чего уж там, ваша милость, платить, и так выгонят нас.

- Почему же ты не пришел в магазин, к пану Жецкому?

- Не посмел я. Лошади нету, телегу я заложил у еврея, куртка на мне, как у нищего... Чего и приходиться, людей без толку беспокоить!

Вокульский вынул кошелек.

- На вот, - сказал он, - десять рублей на праздник. Завтра днем приходи в магазин, получишь записку на Прагу. Там выберешь у барышника лошадь, а после праздника выезжай на работу. Заработаешь у меня рубля три в день, понемногу выплатишь долг и станешь на ноги.

Бедняк, почувствовав в руках деньги, задрожал. Он слушал Вокульского, не проронив ни слова, а слезы так и текли по его изможденному лицу.

- Может, вашей милости кто говорил, что у нас... неладно? - спросил он, помолчав. - Уже с месяц назад к нам кто-то присылал сестру милосердия. Она попрекнула меня бездельем и дала квиток на пуд угля - это, значит, в лавку на Железной улице. А может, ваша милость, так это, сами по себе?

- Ступай домой, а завтра приходи в магазин.

- Иду, ваша милость, - отвечал Высоцкий, поклонившись - до земли.

Он пошел, но поминутно останавливался, по-видимому раздумывая о неожиданном счастье.

В Вокульском шевельнулось нечто вроде предчувствия.

- Высоцкий! - окликнул он. - А как зовут твоего брата?

- Каспер, - подбегая, ответил бедняк.

- На какой он станции работает?

- Под Ченстоховой, ваша милость.

- Ступай домой. Может быть, Каспера переведут в Скерневицы.

Но тот не уходил, а подошел еще ближе.

- Позвольте спросить, ваша милость, - робко начал он, - ежели кто придерется: откуда, мол, у тебя столько денег?

- Скажи, что взял у меня в счет заработка.

- Понимаю, ваша милость... господь... пусть господь бог...

Но Вокульский уже не слушал его. Он шел к Висле и размышлял.

"Как счастливы те, кого только голод погружает в апатию и лишь холод заставляет страдать! И как легко их осчастливить! Даже при моих скромных средствах я мог бы спасти от нищеты несколько тысяч семейств. Невероятно, а между тем это так".

Вокульский вышел на берег Вислы и остановился, пораженный. Занимая пространство в несколько моргов, высился холм омерзительных зловонных отбросов, чуть ли не шевелившихся под лучами солнца, а в сотне шагов от него находилось водохранилище, откуда подавалась вода во все кварталы Варшавы.

"Вот, - подумал он, - очаг всевозможной заразы. Сегодня выбросят нечистоты, а завтра сами

их пьют, потом отправляются на Повонзки{106}, и в другой части города заражают своих ближних, еще оставшихся в живых.

Бульвар бы сюда, а выше по течению водопровод бы проложить с чистой водой, и тысячи людей ежегодно были бы спасены от смерти, десятки тысяч - от болезней... Работы немного, а выгода неисчислимая; природа умеет вознаграждать за труд".

В канаве и в ямах на отвратительном холме он заметил жалкие подобию людей. Несколько пьяниц или воров, дремавших на солнце, две тряпичницы и влюбленная пара - женщина с лицом в прыщах и чахоточный мужчина с провалившимся носом. Казалось, то были не люди, а призраки гнездящихся тут болезней, которые облачились в подобранное на свалке тряпье. Все они сразу учуяли чужого; даже спавшие подняли головы и поглядывали на него, словно одичавшие псы.

Вокульский усмехнулся.

"Приди я сюда ночью, они бы наверняка вылечили меня от меланхолии. А завтра покоился бы я здесь под кучей мусора - что ж, могила, как всякая другая. Там, наверху, поднялась бы шумиха, начали бы преследовать и проклинать этих добрых людей, между тем как они, быть может, оказали бы мне великую милость.

Ведь чужды волненья житейских забот

Почившим в приютах могильных,

Их дух успокоился, сбросивши гнет

Тоски и желаний бессильных...

Однако я в самом деле становлюсь сентиментальным... По-видимому, нервы мои порядком расстроены. Бульварами не уничтожишь таких могикан; отсюда они переберутся на Прагу или еще дальше и по-прежнему будут заниматься своим ремеслом, наслаждаться любовью, как эта парочка, - и даже размножаться! Что за прекрасное потомство ты получишь, отчизна, - потомство, рожденное и выросшее на свалке, от покрытой струпьями матери и безносого отца!..

Мои дети были бы иными; от нее они унаследовали бы красоту, от меня силу... Ну, да не будет их. В этой стране только недуг, нищета и преступление находят себе брачное ложе - и даже приюты для потомства.

Страшно подумать, что будет здесь через несколько поколений... А ведь есть простое лекарство: обязательный труд, справедливо оплачиваемый. Только он может укрепить лучшие особи, а нежизнеспособные истребить безболезненно, и... было бы у нас полноценное население, тогда как сейчас оно измождено болезнями и голодом".

И вдруг, неизвестно почему, он подумал: "Ну, что плохого в том, если она немножко кокетничает? Кокетство у женщин то же, что окраска и аромат у цветка. Такая уж у них натура, - они хотят нравиться всем, даже Мрачевским.

Всем - кокетливые улыбки, а мне: "Заплати этому господину". Уж не думает ли она, что я обманул их при покупке серебра? Вот было бы забавно!"

На берегу, у самой воды, лежали сваленные доски. Вокульский почувствовал усталость; он присел и загляделся на реку. На водной глади отражались уже зазеленевшая Саская Кемпа и пражские домики с красными крышами; посреди реки неподвижно стояла баржа. Пожалуй, не более внушительным казался корабль, который Вокульский видел прошлым летом на Черном море; машина в нем испортилась, и он стоял так же неподвижно.

"Корабль летел как птица и вдруг замер: не хватило сил в моторе. Я подумал тогда: "Может, и я вот так остановлюсь на ходу?" Ну, и остановился. Какие же примитивные пружины приводят в движение мир: немного угля - и оживает корабль, немного чувства - и оживает человек..."

В эту минуту над головой его пролетела в сторону города ранняя желтоватая бабочка.

"Любопытно, откуда она взялась? - подумал Вокульский. - В природе бывают капризы и, - прибавил он, - аналогии. Бабочки встречаются и среди людей, они трепещут прелестными крылышками, порхают над поверхностью жизни, питаются сладостями, без которых не могут существовать, - вот их труды. А ты, червяк, рой землю, перерабатывай ее в почву, годную для посева. Им забавы, тебе - работа; им - вольный простор и свет, а ты скажи спасибо за единственное преимущество: за способность оставаться в живых, когда ненароком тебя растопчут.

Тебе ли мечтать о бабочке, глупец! И удивляться, что она тобой брезгует... Что же общего может быть между мною и ею?..

Положим, гусеница тоже похожа на червяка, пока не превратится в бабочку. Ах, так ты собираешься стать бабочкой, ты, галантерейный купец?.. Почему же нет? Постоянное совершенствование - это всеобщий закон, и сколько купеческих родов в Англии стали дворянскими!

В Англии!.. Там общество еще переживает созидательную эпоху, оно совершенствуется и поднимается со ступени на ступень. Да, там знать привлекает к себе новые силы. А у нас высший слой застыл, как вода на морозе, и не только превратился в обособленную касту, которая не соприкасается с остальным обществом и сторонится его с отвращением, но вдобавок еще собственной омертвелостью сковывает всякое движение, идущее снизу. Нечего обольщаться: она и я - действительно существа разной породы, как бабочка и червяк. И ради ее крылышек я покину свою нору, покину подобных мне червяков?.. Мои братья - те люди, что валяются там, на мусорной куче, и, быть может, потому они нищие сейчас и в будущем ждет их еще большая нищета, что мне вздумалось тратить по тридцати тысяч в год, чтобы играть в бабочку. Глупый торговец, низкий человек!

Тридцать тысяч - это шестьдесят мелких мастерских или лавок, на доходы с которых могли бы кормиться целые семьи. И я решусь уничтожить их благополучие, высосать из них живую душу и выгнать на эту свалку?

Ну хорошо; а если б не она - разве имел бы я сейчас состояние? Как знать, что станет без нее со мною и с моими деньгами! Может быть, именно благодаря ей они обретут творческую силу; может быть, принесут пользу хоть десяти - двадцати семействам..."

Вокульский обернулся и вдруг заметил на земле свою тень. Он подумал, что вот тень эта ходит за ним, или волочится сбоку, или бежит впереди всегда и везде, как мысль об этой женщине - везде и всегда, наяву и во сне, преследует его, вплетаясь во все его цели, планы и действия.

"Не могу я отказаться от нее!" - прошептал он, разводя руками, словно оправдываясь перед кем-то.

Он встал и пошел назад, в город.

Проходя по Обозной улице, он вспомнил возчика Высоцкого, у которого пала лошадь, и ему почудилось, что перед ним длинная вереница телег и павших лошадей, над ними горюет вереница возчиков, а возле каждого - кучка изнуренных детей и жена, стирающая на тех, кто сам еле перебивается.

"Лошадь?" - подумал Вокульский, и сердце его почему-то сжалось.

Однажды в марте, проходя по Иерусалимской Аллее, он увидел толпу, черный воз угля, стоявший поперек ворот, а в нескольких шагах от него выпряженную лошадь.

- Что случилось?

- Лошадка сломала ногу, - весело отозвался прохожий с лиловым шарфиком на шее, засунувший руки в карманы.

Вокульский мельком глянул на обреченное животное. Тощая лошаденка с вытертыми боками стояла, привязанная к молоденькому деревцу, держа на весу заднюю ногу. Стояла смиренно, смотрела на Вокульского скошенным глазом и от боли грызла заиндевелую веточку.

"Почему мне именно сегодня вспомнилась эта лошадь? - подумал Вокульский. - Почему сердце защемило от жалости?"

Задумавшись, он медленно поднимался по Обозной, чувствуя, что за эти несколько часов, проведенных у реки, в нем произошла какая-то перемена. Прежде - десять лет назад, в прошлом году, даже еще вчера, - проходя по улицам, он не замечал ничего особенного. Сновали люди, проносились пролетки, магазины радушно раскрывали объятия прохожим. Но сейчас у него появилось как бы новое, шестое чувство. Каждый человек в потрепанной одежде казался ему существом, зовущим на помощь, и призыв его был громче оттого, что он молчит и только робко озирается, как та лошадь со сломанной ногой. Каждая бедная женщина казалась ему прачкой, которая трудом своих рук, изъеденных мылом, пытается удержать семью на краю нищеты и падения. Каждый изможденный ребенок казался ему обреченным на раннюю смерть или на то, чтобы дни и ночи копать в мусорной свалке на улице Доброй.

И не одни люди его трогали. Ему казалось, будто он ощущал усталость изнуренных лошадей, тащивших тяжело груженные телеги, и боль их хребтов, в кровь стертых хомутами. Казалось ему, будто он ощущал и испуг пса, который лаял, потеряв на улице своего хозяина, и отчаяние тощей суки с обвисшими сосцами, которая напрасно перебегала от канавы к канаве в поисках пищи для себя и щенят. И в довершение всех мук он страдал за деревья с ободранной корой, за булыжники, похожие на выбитые зубы, за мокрые от сырости стены, за поломанную мебель и рваное платье.

Ему чудилось, что все вещи больны или ранены, что они жалуются: "Смотри, как мы страдаем..." - и один он слышит и понимает их жалобы. Эта необычная способность ощущать чужую боль родилась в нем только сегодня, час назад.

Странное дело! За ним уже прочно установилась репутация щедрого филантропа. Члены благотворительного общества, облаченные во фраки, приносили ему благодарность за пожертвование для вечно алчущей организации; старая графиня во всех гостиных рассказывала о пожертвовании, которое он сделал для ее приюта, служащие и приказчики восхваляли его за прибавки к жалованью. Но все это не доставляло Вокульскому ни малейшего удовольствия, да он и не придавал этому никакого значения. Он швырял тысячи в кассу общепризнанных филантропов, чтобы о нем заговорили в обществе, не задумываясь над тем, что станет с его деньгами.

И лишь сегодня, когда он десятью рублями спас от беды человека, зная, что никто не будет по этому поводу кричать о его благородстве, лишь сегодня он узнал, что значит милосердие, лишь сегодня перед его изумленным взором предстал новый, неведомый ему прежде мир - мир нужды, который взывает о помощи.

"Что ж, разве я раньше не видел нужды?" - подумал Вокульский.

И он вспомнил множество оборванных, изнуренных людей, искавших работу, тощих лошадей, голодных собак, деревья с ободранной корой и обломанными ветвями. На все это он смотрел раньше без всякого волнения. И лишь когда свое горе, своя большая боль избороздили и распахали его душу, в ней, орошенное кровью и невидимыми миру слезами, выросло необычайное растение: то было всеобъемлющее сострадание к людям, к животным, даже к предметам, которые принято называть неодушевленными.

"Доктор сказал бы, что у меня образовалась новая клетка в мозгу или же соединилось несколько старых", - подумал он.

"Хорошо, а что же дальше?"

До сих пор у него была только одна цель: познакомиться с панной Изабеллой. Сегодня появилась другая: спасти от нищеты Высоцкого. "Невелика трудность!"

"Перевести его брата в Скерневицы", - прибавил какой-то голос. "Пустяки".

Но за этими двумя людьми стеной встали другие, за ними еще и еще, потом выросла громадная толпа, борющаяся со всякого рода нуждой, и, наконец, у него перед глазами разлилось целое море всевозможных страданий человеческих, которые следовало по мере сил облегчать и, во всяком случае, не допускать, чтобы они разрастались.

- Призраки... игра воображения... расстроенные нервы, - пробормотал Вокульский.

Таков был один путь; другой сулил ему вполне реальную и определенную цель: панну Изабеллу.

"Я не Христос, чтобы жертвовать собой ради всего человечества".

"Тогда для начала забудь о Высоцких", - возразил внутренний голос.

"Ну, это пустяки! Как я ни взбудоражен сегодня, я все же понимаю, что нельзя быть смешным. Буду помогать, кому удастся, чем можно, но от личного счастья я не откажусь, об этом нечего и говорить..."

Тут он очутился перед дверьми своего магазина и решил войти.

В магазине была только одна покупательница, высокая дама неопределенного возраста, вся в черном. Перед нею лежала гора несессеров: деревянных, кожаных, плюшевых и металлических, простых и нарядных, самых дорогих и самых дешевых, и все приказчики хлопотали вокруг. Клейн подавал все новые и новые несессеры. Мрачевский расхваливал товар, а у Лисецкого в такт его словам двигались руки и борода. Один Жецкий бросился навстречу хозяину.

- Прибыли товары из Парижа, - сказал он Вокульскому. - Я думаю завтра их забрать.

- Как хочешь.

- Из Москвы заказы на десять тысяч рублей к началу мая.

- Я так и знал.

- Из Радомы на двести рублей, возчик просил приготовить товар на завтра.

Вокульский пожал плечами и, подумав, сказал:

- Надо раз навсегда покончить с этими мелкими торгашами. Прибыли на грош, а претензии непомерные.

- Порвать с нашими купцами? - удивился Жецкий.

- Порвать с евреями, - вполголоса ввернул Лисецкий. - Хозяин прав, что хочет избавиться от них. Иной раз просто совестно давать сдачу, так и несет от денег чесноком.

Вокульский не отвечал. Сев за конторку, он притворился, будто занят счетами, но в действительности ничего не делал, у него не было сил. Он вспомнил свои планы, недавние мечты осчастливить человечество и решил, что нервы его сильно расстроены.

"У меня разыгралось воображение, чувствительность какая-то напала, думал он. - Это плохой знак. Я могу стать посмешищем, разориться..."

Продолжая размышлять, он машинально рассматривал необычную физиономию дамы, выбиравшей несессер. Она была скромно одета, волосы гладко зачесаны назад. Изжелта-бледное лицо выражало глубокую печаль, губы были злобно сжаты, а в опущенных глазах мелькали то гнев, то смирение.

Говорила она тихим, вкрадчивым голосом, но торговалась, как целая сотня скряг. Одно было слишком дорого, другое слишком дешево; тут плюш вылинял, там кожа, того и гляди, облезет, а здесь в углах проступает ржавчина. Лисецкий, рассердившись, отошел от нее, Клейн отдышал, и только Мрачевский разговаривал с нею, как со знакомой.

В эту минуту двери магазина распахнулись, и на пороге появился еще более оригинальный субъект. Лисецкий потом говорил, что он похож на чахоточного, у которого уже в гробу отросли усы и бакенбарды. Вокульский заметил, что у субъекта нелепо приоткрытый рот, а за темными стеклами пенсне большие глаза, изобличавшие крайнюю степень рассеянности.

Покупатель вошел, продолжая разговор с кем-то оставшимся на улице, затем вдруг выбежал, чтобы попрощаться со своим спутником. Потом снова вошел и снова выбежал, задрал голову кверху, словно для того, чтобы прочесть вывеску; наконец вошел окончательно, однако двери за собою не закрыл. Вдруг он взглянул на даму - и темное пенсне слетело у него с носа.

- Ба... ба... ба... - воскликнул он.

Но дама резко отвернулась от него к несессерам и упала на стул.

К вновь прибывшему подбежал Мрачевский и, двусмысленно осклабясь, спросил:

- Что вам угодно, барон?

- Запонки, понимаете, обыкновенные запонки, золотые или стальные... Только, пожалуйста, чтобы они были в форме жокейской шапочки, ну и... непременно с хлыстом.

Мрачевский раскрыл ящик с запонками.

- Воды... - простонала дама умирающим голосом. Жецкий налил воды из графина и подал ей с сочувственным видом.

- Вам дурно, сударыня... Не позвать ли врача?..

- Мне уже лучше, - отвечала она. Барон разглядывал запонки, вызываясь повернувшись к даме спиной.

- А может быть... вам не кажется, что запонки в форме подковок лучше? спросил он Мрачевского.

- Думаю, что вам, господин барон, пригодятся и те и другие. Спортсмены носят только

эмблемы спорта, но любят разнообразие.

- Скажите, - вдруг обратилась дама к Клейну, - зачем подковы людям, у которых нет средств, чтобы держать лошадей?

- Так, пожалуйста, - продолжал барон, - подберите мне еще несколько безделушек в форме подковы...

- Может быть, пепельницу? - подсказал Мрачевский.

- Хорошо, пепельницу.

- Может быть, изящную чернильницу с седлом и жокейкой?

- Пожалуйста, изящную чернильницу с седлом и жокейкой.

- Скажите, - повышая голос, говорила дама, продолжая обращаться к Клейну, - как вам не стыдно выписывать такие дорогие безделушки, когда страна разорена? Как не стыдно покупать скаковых лошадей...

- Милейший, - не менее громко воскликнул барон, обращаясь к Мрачевскому, - заверните все это - запонки, пепельницу и чернильницу - и отошлите ко мне на дом. У вас прекрасный выбор товаров. Благодарствую... Adieu!

И он выбежал из магазина, однако еще раза два возвращался, рассматривая вывеску над дверьми.

После ухода оригинального барона в магазине воцарилось молчание. Жецкий поглядывал на дверь, Клейн на Жецкого, а Лисецкий на Мрачевского, который, стоя за спиной дамы, строил весьма двусмысленные гримасы.

Дама медленно встала со стула и подошла к конторке, за которой сидел Вокульский.

- Могу ли я узнать, - спросила она дрожащим голосом, - сколько вам должен господин, который только что вышел?

- Милостивая государыня, счета между этим господином и мною, если бы они и существовали, не касались бы никого, кроме нас двоих, - отвечал Вокульский с поклоном.

- Сударь, - продолжала с раздражением дама, - я Кшешовская, а этот господин - мой муж. Его долги интересуют меня, поскольку он завладел моим состоянием, из-за чего я возбудила против него судебное дело...

- Прошу прощения, - прервал ее Вокульский, - но отношения между супругами меня не касаются.

- Ах, вот как... Ну конечно, купцам это выгоднее. Adieu!

И она вышла, хлопнув дверьми.

Через несколько минут после ее ухода в магазин вбежал барон. Он раза два выглянул на улицу, потом приблизился к Вокульскому:

- Прошу покорнейше извинить, - сказал он, стараясь удержать пенсне на носу, - однако в качестве постоянного вашего клиента я позволяю себе спросить совершенно доверительно: что сказала дама, которая только что вышла? Извините, пожалуйста, мою смелость, но совершенно доверительно...

- Она не сказала ничего, что надлежало бы повторять, - ответил Вокульский.

- Видите ли, эта дама - увы! - моя жена... Вы знаете, кто я... Барон Кшешовский... Весьма почтенная женщина, весьма просвещенная, но после смерти нашей дочки нервы ее несколько расстроились, и по временам... Вы понимаете... Так ничего?..

- Ничего...

Барон поклонился и уже в дверях встретился взглядом с Мрачевским, который ему подмигивал.

- Вот как... - произнес барон, пронзительно глядя на Вокульского, и выбежал на улицу.

Мрачевский остолбенел и покраснел до корней волос. Вокульский слегка побледнел, однако спокойно принялся за счета.

- Скажите, Мрачевский, что же это за оригиналы? - спросил Лисецкий.

- А это целая история! - отвечал Мрачевский, искоса поглядывая на хозяина. - Это барон Кшешовский, большой чудак, и его жена, довольно взбалмошная особа. Она даже доводится мне дальней родней, ну, да что ж, вздохнул он, смотрясь в зеркало, - у меня денег нет, ну и пришлось идти по торговой части; у них еще деньги водятся, вот они и могут быть моими покупателями...

- Не работают, а деньги водятся, - сказал Клейн. - Каковы порядки на свете, а?

- Ну, ну... хоть меня-то оставьте в покое с вашими порядками, возразил Мрачевский. - Так вот, барон и баронесса уже год воюют между собой. Он хочет развестись, на что она не соглашается; она хочет устранить его от управления ее имением, на что он не соглашается. Она не позволяет ему держать лошадей, особенно одну скаковую; а он не позволяет ей купить дом Ленцких, где пани Кшешовская проживает и где умерла ее дочь. Оригиналы!.. Наговаривают друг на друга, людям на смех...

Рассказывая все это беспечным тоном, он вертелся по магазину с видом барчука, который заглянул сюда на минутку и сейчас уйдет. Вокульский, сидевший за конторкой, менялся в лице; даже голос Мрачевского был ему невыносим.

"Родня Кшешовским... - думал он. - Получит любовное письмецо от панны Изабеллы... Ах, наглец..."

И, пересилив себя, он снова принялся за счета. В магазин приходили покупатели, выбирали товары, торговались, платили. Но у Вокульского перед глазами мелькали только их тени, - он весь погрузился в работу. И по мере того как росли столбцы цифр и в итоге получались все большие суммы, в его сердце накалился беспредметный гнев. За что?.. На кого?.. Не важно. Главное кто-нибудь должен за все это поплатиться, первый, кто подвернется под руку.

Около семи магазин окончательно опустел, приказчики разговаривали между собой, Вокульский продолжал свои подсчеты. Вдруг он снова услышал несносный голос Мрачевского, который разглагольствовал с наглым высокомерием:

- Полно, Клейн, морочить мне голову! Все социалисты - жулики и прощелыги, они собираются делить чужое добро оттого, что у самих одна пара башмаков на двоих. А носовых платков они и вовсе не признают.

- Вы бы так не говорили, - грустно возразил Клейн, - если б прочитали хоть несколько брошюр, даже самых маленьких.

- Чушь, - прервал Мрачевский, засовывая руки в карманы. - Стану я читать брошюры, которые призывают к уничтожению семьи, религии и собственности... Нет, сударь мой, таких дураков в Варшаве не сыщешь.

Вокульский закрыл книгу и спрятал ее в стол. В эту минуту в магазин вошли три дамы и спросили перчатки.

Они пробыли с четверть часа. Вокульский сидел в кресле и смотрел в окно; когда дамы вышли, он сказал очень спокойно:

- Пан Мрачевский!

- Что прикажете? - спросил молодой красавчик, подбегая к конторке танцующим шагом.

- С завтрашнего дня можете искать себе другое место, - кратко ответил Вокульский. Мрачевский опешил.

- Почему, пан Вокульский... Почему?..

- Потому что у меня вы уже не работаете.

- По какой же причине?.. Ведь я, кажется, ни в чем не провинился... И куда мне деваться, если вы так неожиданно увольняете меня?

- Рекомендацию вы получите хорошую, - ответил Вокульский. - Пан Жецкий выплатит вам жалованье за следующий квартал... Ну, даже за пять месяцев... А причина та, что мы с вами не сошлись характерами... Совсем не сошлись. Игнаций, будь добр, рассчитайся с паном Мрачевским по первое октября. Сказав это, Вокульский встал и вышел на улицу.

Увольнение Мрачевского произвело на приказчиков такое впечатление, что они утратили дар слова, а Жецкий велел закрыть магазин, хотя не было еще восьми. Он сразу бросился к Вокульскому, но не застал его дома. Пришел второй раз в одиннадцать часов вечера, но в окнах было темно, и пан Игнаций, подавленный, вернулся к себе.

На следующий день, в страстной четверг, Мрачевский не явился в магазин. Остальные приказчики приуныли и время от времени потихоньку совещались о чем-то.

Около часу пришел Вокульский. Но не успел он усесться за конторку, как двери распахнулись и с превеликим трудом нацепляя на нос пенсне, вбежал барон Кшешовский обычной своей развинченной походкой.

- Пан Вокульский! - чуть не с порога закричал рассеянный посетитель. Я только что узнал... Позвольте представиться: барон Кшешовский... Я узнал, что бедняга Мрачевский по моей вине получил расчет. Но, пан Вокульский, ведь я не имел к вам вчера никаких претензий... Я ценю такт, проявленный вами, сударь, в деле, касающемся наших отношений с женой. Я убежден, что вы отвечали ей как подобает джентльмену.

- Господин барон, - возразил Вокульский, - я не просил у вас свидетельства о моей порядочности. Но оставим это - чем могу служить?

- Я пришел просить вас извинить беднягу Мрачевского, который даже...

- К пану Мрачевскому у меня нет никаких претензий, я не претендую даже на его возвращение.

Барон закусил губу. С минутку он молчал, как бы ошеломленный резким ответом, потом поклонился и, тихо сказав: "Извините..." - вышел из магазина.

Клейн и Лисецкий удалились за шкафы и после короткого совещания вернулись, время от времени обмениваясь грустными, но красноречивыми взглядами.

Около трех часов появилась пани Кшешовская. Казалось, лицо ее стало еще бледнее и желтее, а одежда еще чернее, чем вчера. Она робко осмотрелась по сторонам и, увидев Вокульского, подошла к конторке.

- Сударь, - тихо сказала она, - я сегодня узнала, что некий молодой человек, Мрачевский, по моей вине потерял место у вас в магазине. Его бедная мать...

- Пан Мрачевский у меня уже не работает и работать не будет, - ответил Вокульский с поклоном. - Итак, чем могу служить, сударыня?

Пани Кшешовская, по-видимому, приготовила более длинную речь. К несчастью, она взглянула Вокульскому в глаза и... со словом "извините" вышла из магазина.

Клейн и Лисецкий переглянулись еще красноречивее, чем прежде, и пожали плечами.

Только около пяти к Вокульскому подошел Жецкий. Он оперся руками о конторку и начал вполголоса:

- Стасек, мать Мрачевского - очень бедная женщина...

- Заплати ему до конца года, - ответил Вокульский.

- Я думаю... Я думаю, Стасек, что нельзя так наказывать человека за то, что он придерживается иных политических взглядов, чем мы...

- Политических? - повторил Вокульский таким тоном, что у пана Игнация мороз пробежал по коже.

- К тому же, скажу я тебе, - продолжал Жецкий, жаль такого приказчика. Красавец парень, женщины по нему с ума сходят.

- Красавец? - повторил Вокульский. - Так пусть поступает на содержание, раз он такой красавец.

Пан Игнаций ретировался. Лисецкий и Клейн на сей раз даже не взглянули друг на друга.

Через час в магазин явился некий пан Земба, которого Вокульский представил в качестве нового приказчика.

Зембе было лет под тридцать; лицом он был, пожалуй, не хуже Мрачевского, но выглядел несравненно солиднее и держался с достоинством. Еще до закрытия магазина он перезнакомился со всеми и даже завоевал симпатию своих сослуживцев. Жецкий открыл в нем горячего бонапартиста, Лисецкий должен был признать, что в сравнении с Зембой он сам - весьма умеренный антисемит, а Клейн пришел к заключению, что Земба должен быть по меньшей мере епископом от социализма. Словом, все были довольны, а Земба невозмутим.

Глава девятая

Мостки, на которых встречаются люди разных миров

Утром в страстную пятницу Вокульский вспомнил, что сегодня и завтра старая графиня и панна Изабелла будут проводить пасхальный сбор пожертвований у гроба господня.

"Надо пойти туда и что-нибудь дать, - подумал он и вынул из кассы пять золотых полуимпериалов. - Впрочем, - прибавил он, поразмыслив, - я уже послал туда ковры, поющих

птичек, музыкальную шкатулку и даже фонтан... Пожалуй, этого хватит для спасения одной души. Не пойду".

Днем, однако же, он сказал себе, что, может быть, графиня рассчитывает на его присутствие и в таком случае неудобно не явиться, неудобно и дать всего пять полуимпериалов. Он достал из кассы еще пять и, сложив все вместе, завернул в тонкую бумажку.

"Ведь там, - говорил он себе, - будет панна Изабелла, а ей неудобно жертвовать всего десять полуимпериалов".

И он опять вынул из обертки столбик монет, прибавил еще десять золотых и снова задумался: идти или не идти?..

- Нет, - сказал он, - не стану я участвовать в этой ярмарочной благотворительности.

Он бросил монеты в кассу и в пятницу не пошел в костел.

Однако в страстную субботу дело представилось ему совсем с иной стороны.

"В уме ли я? - думал он. - Ведь если я не пойду в костел, где еще я увижу ее?.. Если не деньгами, то чем еще могу я привлечь к себе ее внимание? Я теряю рассудок..."

Но он все еще колебался, и только около двух часов, когда Жецкий велел закрыть магазин по случаю праздника, Вокульский взял из кассы двадцать пять полуимпериалов и отправился в костел.

Однако он вошел туда не сразу, его словно что-то удерживало. Ему хотелось увидеть панну Изабеллу, но в то же время он робел и стеснялся своих полуимпериалов.

"Швырнуть груду золота... Как это эффектно в наш бумажный век и сколько в этом пустого тщеславия, свойственного выскочкам! Ну, да что поделаешь, если они ждут от нас именно денег? Может быть, этого даже мало..."

Он шагал по улице взад и вперед и не мог оторвать глаз от костела.

"Сейчас войду, - думал он. - Уже... еще минуточку... Ах, что со мной сделалось!" - прибавил он, будучи настолько истерзанным, что не мог решиться без колебаний даже на такой простой поступок.

Тут он вспомнил, что уже очень давно не был в костеле.

"Когда же это было?.. В день свадьбы - раз... на похоронах жены два..."

Но тогда он не вполне сознавал, что происходит вокруг.

Поэтому сейчас он смотрел на костел как на нечто совершенно новое для него.

"К чему это огромное здание с башнями вместо труб, в котором никто не живет, только покоится прах давно умерших?.. На что ушло столько места и камня, для кого днем и ночью горит здесь свет, ради чего стекаются сюда толпы людей?.. На рынок ходят за провизией, в магазин за товарами, в театр для развлечения - а сюда зачем?.."

Он невольно сопоставлял маленькие фигурки верующих с огромными размерами храма, и ему пришла в голову странная мысль. Как некогда на земле действовали могучие силы, воздвигавшие на суше цепи гор, так встарь существовала в человечестве другая, беспредельная сила, воздвигавшая подобного рода сооружения. Глядя на них, можно подумать, что в недрах нашей планеты жили великаны, которые, пробиваясь вверх,

приподнимали земную кору, и следы их труда сохранились в виде внушительных пещер.

"Куда они стремились? В иной и, по-видимому, высший мир. Если морские приливы доказывают, что луна - не иллюзия, а реальная планета, так почему бы этим странным зданиям не подтвердить реальности потустороннего мира?.. Разве с меньшей силой притягивают они к себе души человеческие, чем луна волны морские?"

Он вошел в костел, и его взорам представилось новое зрелище. Несколько нищих и нищенок просили подаяния, за которое господь бог вознаградит милосердных на том свете. Некоторые из молящихся целовали ноги распятого Христа, другие, пав на колени у самого входа, воздевали горе руки и очи, словно созерцая неземные видения. Костел был погружен в полумрак, которого не могло рассеять сияние десятков свечей в серебряных подсвечниках. Кое-где на плитах храма виднелись неясные тени людей, распростертых ниц либо низко склонившихся, словно для того, чтобы укрыть от посторонних взоров свою смиренную веру. Глядя на эти недвижимые тела, можно было подумать, что их на время покинули души, улетев в некий лучший мир.

"Теперь я понимаю, - подумал Вокульский, - почему посещение костела содействует укреплению веры. Тут все устроено так, чтобы напоминать о бессмертии". От молящихся, погруженных во мрак, взоры его устремились к свету. Тогда он увидел в разных местах храма крытые коврами столы, на них подносы, полные бумажных денег, серебра и золота, а вокруг - дам, рассеявшихся в удобных креслах, разодетых в шелк, бархат и перья и окруженных веселыми молодыми людьми. Наиболее благочестивые постукивали, призывая проходивших мимо сделать пожертвования, остальные оживленно болтали и развлекались, как на рауте.

Вокульскому показалось, что он узрел три мира: один (давно исчезнувший с лица земли) молился и во славу всевышнего воздвигал величественные здания. Другой, смиренный и нищий, тоже умел молиться, но создавал только лачуги. И третий - он возводил дворцы лишь для себя и позабыл слова молитв, а дома божии превратил в место свиданий - так беззаботные птицы выют гнезда и распевают песни на могилах павших героев.

"А кто же я, равно чужой им всем?.."

"Может быть, ты - клеточка в железном решетке, через которое я пропущу их всех, чтобы отделить зерна от плевел..." - отозвался какой-то голос.

Вокульский оглянулся. "Игра больного воображения". Тут он заметил в глубине костела, у четвертого стола, графиню Иоанну с панной Изабеллой. Обе они сидели у подноса с деньгами и держали в руках книжки, по-видимому молитвенники. За креслом графини стоял лакей в черной ливрее.

Вокульский направился к ним, задевая коленапреклоненных и обходя другие столы, где отчаянно стучали, стараясь привлечь его внимание. Приблизившись к подносу, он поклонился графине и положил свой сверток полуимпериалов.

"Боже, - подумал он, - какой у меня, должно быть, дурацкий вид с этими деньгами".

Графиня отложила книгу.

- Здравствуйте, пан Вокульский, - сказала она. - Знаете, я думала, что вы уже не придете, и, признаюсь, мне было даже немножко неприятно.

- Я говорила вам, тетушка, что он непременно явится, да еще с мешком золота, - произнесла по-английски панна Изабелла.

При мысли, что Вокульский, может быть, понимает по-английски, графиня вспыхнула, и на

лбу у нее выступили капли пота.

- Прошу вас, сударь мой, - быстро продолжала она, - присядьте на минутку, а то наш уполномоченный отлучился куда-то... Разрешите, я положу ваши империялы наверху, в назидание и к стыду господ, которые предпочитают тратить деньги на шампанское...

- Да успокойтесь же тетушка, - снова проговорила панна Изабелла по-английски, - он, наверное, не понимает...

На этот раз и Вокульский покраснел.

- Вот, Белла, - торжественным тоном произнесла графиня, - пан Вокульский... Который так щедро одарил наших сироток...

- Я слышала, - отвечала панна Изабелла по-польски, в знак приветствия опуская веки.

- Вы, графиня, - пошутил Вокульский, - хотите лишить меня награды на том свете, хваля мои поступки, которые, впрочем, я мог совершить ради выгоды.

- Я догадывалась об этом, - шепнула панна Изабелла по-английски.

Графиня чуть не упала в обморок, чувствуя, что Вокульский мог угадать смысл сказанного, потому что для этого вовсе не нужно было владеть иностранным языком.

- Вы можете, сударь мой, - сказала она с лихорадочной поспешностью, вы можете легко заслужить награду на том свете, хотя бы... прощая обиды...

- Я всегда их прощаю, - ответил он с некоторым недоумением.

- Разрешите заметить, что не всегда, - продолжала графиня. - Я старая женщина и считаю вас другом, пан Вокульский, - сказала она важно, - так уж уступите мне в одном деле...

- Приказывайте, графиня.

- Третьего дня вы рассчитали одного из ваших служащих, некоего Мрачевского...

- За что же? - вдруг отозвалась панна Изабелла.

- Не знаю, - отвечала графиня. - Кажется, из-за расхождения в политических взглядах или что-то в этом роде...

- Так у этого молодого человека есть взгляды?.. - воскликнула панна Изабелла. - Любопытно.

Она сказала это с такой иронией, что Вокульский почувствовал, как в сердце его смягчается озлобление против Мрачевского.

- Дело не в политических взглядах, графиня, - отвечал он, - а в бестактных замечаниях по адресу лиц, которые посещают наш магазин.

- Может быть, эти лица сами ведут себя бестактно, - вмешалась панна Изабелла.

- Им позволительно, они платят за это, - спокойно возразил Вокульский, - а нам нет.

Яркий румянец выступил на щеках панны Изабеллы. Она взяла молитвенник и принялась читать.

- Но все-таки позвольте уговорить вас, пан Вокульский, - сказала графиня. - Я знаю мать этого юноши, и, поверьте, мне просто тяжело видеть, как она убивается...

Вокульский задумался.

- Хорошо, - сказал он. - Я приму его, но работать он будет в Москве.

- А его бедная мать? - напомнила графиня просительным тоном.

- Хорошо, я повышу ему жалованье... на двести... ну, на триста рублей.

В это время к столу подошло несколько детей, которым графиня начала раздавать образки. Вокульский встал и, чтобы не мешать графине в ее благочестивом занятии, подошел к панне Изабелле.

Она отложила молитвенник и, окинув Вокульского странным взглядом, спросила:

- Вы никогда не отступаете от своих решений?

- Нет, - ответил тот, но тут же опустил глаза.

- А если бы я попросила за этого молодого человека?

Вокульский в изумлении посмотрел на нее.

- В таком случае, я сказал бы, что пан Мрачевский лишился службы, потому что неподобающим образом отзывался об особах, которые соизволили говорить с ним несколько более благосклонным тоном... Если вы все же прикажете...

Теперь панна Изабелла опустила глаза, сильно смутившись.

- А... а... в конце концов мне все равно, где будет жить этот молодой человек. Пусть едет в Москву.

- Он туда и поедет, - ответил Вокульский. - Мое почтение, сударыня, прибавил он, кланяясь. Графиня подала ему руку.

- Спасибо, пан Вокульский, за память, и прошу вас, приходите ко мне разговляться. Очень прошу, - прибавила она значительно.

Заметив вдруг какое-то движение в центре костела, она обратилась к лакею:

- Ступай-ка, Ксаверий, к госпоже председательше и попроси ее одолжить нам карету. Скажи, что у меня лошадь захромала.

- На когда прикажете просить, ваше сиятельство?

- Да так... часа через полтора... Мы тут дольше не просидим. Ведь правда, Белла?

Лакей направился к столу у выхода.

- Так до завтра, пан Вокульский, - сказала графиня. - Вы встретите у меня много знакомых. Будет несколько господ из благотворительного общества...

"Вот как!" - подумал Вокульский, прощаясь с графиней. В эту минуту он испытывал к ней такую благодарность, что готов был пожертвовать на ее приют половину своего состояния.

Панна Изабелла издали кивнула ему и опять остановила на нем взгляд, который показался ему необычным. А когда Вокульский исчез в полумраке костела, она сказала графине:

- Тетушка, вы кокетничаете с этим господином. Ой, тетя, это становится подозрительным...

- Твой отец прав, - возразила графиня, - этот человек может оказаться полезным. Впрочем, за границей такие знакомства вполне приняты в свете.

- А если это знакомство вскружит ему голову?

- В таком случае, он докажет, что у него слабая голова, - кратко ответила графиня, берясь за молитвенник.

Вокульский не ушел из костела, а, не доходя до двери, свернул в боковой придел. У самого гроба господня, напротив стола графини, в углу находилась пустая исповедальня. Вокульский вошел туда, притворил дверь и, невидимый никому, стал смотреть на панну Изабеллу.

Она держала молитвенник, то и дело поглядывая на вход. Лицо ее выражало усталость и скуку. Время от времени к столику подходили дети за образками; некоторым панна Изабелла вручала их сама, но с таким видом, словно хотела сказать: "Ах, когда же это кончится!.."

"И все это делается не из благочестия, не из любви к детям, а ради молвы, ради того, чтобы выйти замуж, - подумал Вокульский. - Ну, да и я немало делаю ради рекламы и ради женитьбы. Хорошо устроен свет! Вместо того, чтобы спросить напрямик: "Любишь ты меня или нет?" либо: "Хочешь меня или нет?" - я выбрасываю сотни рублей, а она часами скучает, выставляя себя напоказ и притворяясь набожной.

А если б она ответила, что не любит меня? Во всех этих церемониях есть и хорошая сторона: они дают людям время и возможность узнать друг друга.

Однако плохо, когда не знаешь ни слова по-английски... А то бы я узнал сегодня, что она обо мне думает; я уверен, что она говорила тетке про меня. Надо будет научиться...

Или взять такую дурацкую вещь, как экипаж... Будь у меня экипаж, я мог бы сейчас отправить ее с теткой домой, и вот вам еще узелок между нами... Да, экипаж мне, во всяком случае, пригодится. Это лишняя тысяча в год, но что поделаешь? Я должен быть во всеоружии.

Экипаж... английский язык... более двухсот рублей на один пасхальный сбор!.. И так поступаю я, хотя все это мне противно. А собственно - на что же и тратить деньги, как не на то, чтобы добиваться счастья? Что мне до каких-то теорий об экономии, когда так болит сердце!"

Дальнейшее течение его мыслей прервал унылый, дребезжащий мотив. Это играла музыкальная шкатулка. Потом защебетали искусственные птицы, а когда они умолкли, послышалось журчание фонтана, шепот молитв и вздохи верующих.

В приделе, возле исповедальни, у дверей часовни с гробом господним виднелись коленопреклоненные фигуры. Некоторые на коленях подползали к подножию распятия, прикладывались к кресту и, достав из платочка мелкие деньги, клали свою лепту на поднос.

В глубине часовни, в потоке света, лежал среди цветов белый Христос. Вокульскому казалось, что в мерцающем сиянии свечей лицо его оживает и меняется, выражая то суровость, то благодать и всепрощение.

Когда музыкальная шкатулка наигрывала "Лючию из Ламермура" или раздавались звон монет и французские восклицания, лик спасителя темнел. Но когда к гробу приближался бедняк и поверял распятию свои печали, Иисус приоткрывал мертвые уста и в шелесте фонтана посылал ему свое благословение и обеты...

"Блаженны кроткие... Блаженны нищие духом..."

К подносу подошла молодая девушка, сильно накрашенная. Она опустила серебряную монету, но не посмела приложиться к кресту. Молящиеся враждебно покосились на ее

бархатную жакетку и яркую шляпку. Но когда Иисус шепнул: "Кто из вас без греха, первый брось в нее камень", - она повалилась на пол и облобызала его ноги, как некогда Мария Магдалина.

"Блаженны алчущие и жаждущие правды... Блаженны плачущие..."

С глубоким волнением всматривался Вокульский в погруженную во мрак толпу, которая с такой неистощимой верой уже восемнадцать столетий ожидает свершения господних заветов.

"Когда же это исполнится..." - подумал он.

"Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и свергнут их в печь огненную".

Он машинально глянул на середину костела. За столом против него дремала графиня, а панна Изабелла зевала, за другим столом три незнакомые дамы заливались смехом, слушая болтовню какого-то элегантного молодого человека.

"Чужой мир!.. Чужой мир!.. - думал Вокульский. - Что за роковая сила влечет меня туда?"

В эту минуту возле самой исповедальни опустилась на колени молодая женщина, одетая с большой тщательностью; с нею была маленькая девочка.

Вокульский внимательно взглянул на даму и заметил, что она необыкновенно хороша собой. Особенно поразило его выражение ее лица, словно она явилась к гробу господню не с молитвой, а с вопросом и жалобой.

Она перекрестилась и, увидев поднос, достала сумочку с деньгами.

- Иди, Эленка, - вполголоса обратилась она к девочке, - положи это на поднос и поцелуй господина Иисуса.

- Куда, мамочка, поцеловать?

- В ручку и в ножку.

- И в губки?

- В губки нельзя.

- Ну, почему...

Девочка подбежала к подносу и склонилась над крестом.

- Вот видишь, мамуся, - закричала она, возвращаясь, - я поцеловала, а Иисус ничего не сказал.

- Эленка, веди себя хорошо, - сказала мать. - Лучше стань на колени и прочти молитву.

- Какую?

- Три раза "Отче наш" и три раза "Богородицу".

- Так много?.. Ведь я маленькая...

- Тогда прочти одну "Богородицу"... Только стань на колени... Смотри вон туда...

- Смотрю. "Богородице дево, радуйся..." Что это, мамочка, птички поют?
- Искусственные птички. Читай молитву!
- Какие это искусственные?
- Сначала прочти молитву.
- Да я не помню, где остановилась...
- Так читай вместе со мною: "Богородице дево, радуйся..."
- "...яко спаса родила, еси душ наших", - закончила девочка. - А из чего делаются искусственные птички?
- Эленка, веди себя смирно, а то я никогда не поцелую тебя, - тихо сказала огорченная мать. - Возьми книжку и смотри картинки, как мучили господу нашего Христа.

Девочка уселась с книжкой на ступеньках исповедальни и затихла.

"Что за милая девчурка! - подумал Вокульский. - Если бы у меня была такая дочка, я, кажется, вновь обрел бы душевное равновесие, которое теряю день ото дня. И мать - прелестная женщина. Какие волосы, профиль, глаза... Молит бога, чтобы воскресло их счастье. Она прекрасна и несчастлива. По-видимому, вдова.

Вот если бы я встретил ее год назад...

Ну есть ли порядок на этом свете?.. В двух шагах друг от друга находятся два несчастных существа: один ищет любви и семьи, другая, быть может, борется с бедностью и страдает от отсутствия заботливой опеки. Каждый из них мог бы найти в другом то, чего ищет, но им не суждено встретиться... Одна приходит к богу молить о милосердии, другой швыряет деньги ради светских связей. Кто знает, может быть, несколько сот рублей могли бы помочь этой женщине? Но ей не получить этих денег, в наше время бог не внемлет мольбам несчастных.

А если все же узнать, кто она?.. Может, мне удалось бы помочь ей. Почему бы не исполниться возвышенным заветам Христа? Хотя бы через посредство таких безбожников, как я, поскольку благочестивые заняты другими делами".

Вдруг Вокульского бросило в жар... К столику графини подошел элегантный молодой человек и положил что-то на поднос. При виде его панна Изабелла зарделась, и глаза ее приняли то особенное выражение, которое всегда казалось Вокульскому загадочным.

По приглашению графини молодой человек опустился в кресло, на котором только что сидел Вокульский, и завязался оживленный разговор. Вокульский не слышал, о чем они говорили, но чувствовал, как в мозгу его, словно каленым железом, выжигается вся эта картина: дорогой ковер, серебряный поднос с кучкой императоров наверху, два подсвечника, десять горящих свечей, графиня в глубоком трауре, молодой человек, не спускающий глаз с панны Изабеллы, и она - оживленная и сияющая. Ни один пустяк не ускользнул от его внимания, даже то, что в свете свечей у графини блестят щеки, у молодого человека кончик носа, а у панны Изабеллы глаза.

"Что, они любят друг друга? - думал он. - Так почему же им не пожениться?.. Должно быть, у него нет денег... Но, в таком случае, что означают ее взгляды? Точно так она смотрела сегодня на меня. Правда, барышня на выданье должна иметь по крайней мере десяток поклонников и прельщать их всех, чтобы... продаться тому, кто даст больше!"

К столу, за которым они сидели, подошел представитель благотворительного общества.

Графиня поднялась, ее примеру последовали панна Изабелла и красивый юноша, и все трое весьма шумно направились к выходу. По дороге они останавливались у других столов, и все находившиеся там молодые люди восторженно приветствовали панну Изабеллу, а она дарила каждого совершенно одинаковым взглядом, тем самым, какой сводил с ума Вокульского. Наконец все затихло; графиня с панной Изабеллой покинули костел.

Вокульский пришел в себя и оглянулся. Прекрасной дамы с девочкой уже не было.

"Как жалко!.." - И он почувствовал, как сердце его легонько сжалось.

Зато возле распятия все еще стояла на коленях молодая девушка в бархатной жакетке и яркой шляпке. Когда она обратила глаза к освещенному гробу, на ее нарумяненных щеках тоже что-то блеснуло. Она еще раз приложила к стопам Иисуса, тяжело поднялась и пошла к выходу.

"Блаженны плачущие..." Пусть же хоть для тебя сбудутся обеты Христа", подумал Вокульский и последовал за нею.

Выйдя на паперть, он увидел, что девушка раздает милостыню нищим. И жестокая горечь овладела им при мысли, что из этих двух женщин, из которых одна хочет продать себя за крупное состояние, а другая уже продана за кусок хлеба, - что из этих двух женщин, предстань они перед высшим судом, та, вторая, покрытая позором, быть может, окажется лучше и чище первой.

На улице он догнал девушку и спросил:

- Куда ты идешь?

На лице ее еще не высохли слезы. Она подняла на Вокульского глаза и вяло ответила:

- Могу пойти с вами.

- Да?.. Ну, так идем.

Было около пяти часов, еще не начинало смеркаться; несколько прохожих оглянулось на них.

"Нужно быть совершеннейшим болваном, чтобы делать что-либо подобное, подумал Вокульский, направляясь к магазину. - Скандала я не боюсь, но, черт побери, что за планы лезут мне в голову? Апостольством вздумал заниматься... Верх идиотства! Впрочем, все равно: я только исполнитель чужой воли".

Он вошел в ворота рядом с магазином и свернул к Жецкому; девушка шла за ним. Пан Игнаций был дома; увидев странную пару, он в недоумении развел руками.

- Ты не можешь уйти на несколько минут? - спросил его Вокульский.

Пан Игнаций ничего не ответил. Он взял ключ от черного хода в магазин и вышел из комнаты.

- Вас двое? - тихо спросила девушка, вынимая шпильки из шляпы.

- Погоди, - прервал ее Вокульский. - Ты, кажется, только что была в костеле. Не так ли?

- Вы меня видели?

- Ты молилась и плакала. Нельзя ли узнать, чем были вызваны твои слезы?

Девушка удивилась и, пожав плечами, возразила:

- Вы что же, ксендз, что спрашиваете про это? - Затем, внимательно посмотрев на Вокульского, процедила: - Эх! Только людей с толку сбиваете... Тоже умник нашелся!

И собралась уходить, но Вокульский удержал ее.

- Погоди. Есть человек, который хотел бы тебе помочь. Ты не спеши и отвечай откровенно.

Она снова внимательно поглядела на него. Вдруг в глазах ее блеснула усмешка, щеки покраснелись.

- Знаю, знаю, - вскричала она, - наверное, вы от того старого барина!.. Он уж сколько раз сулил взять меня к себе... А богатый он? Ну, еще бы... В карете разъезжает и в театре сидит в первом ряду.

- Послушайся меня, - прервал он, - и расскажи: почему ты плакала в костеле?

- А потому, видите ли... - начала девушка и рассказала такую грязную историю о каких-то дрязгах с хозяйкой, что, слушая ее, Вокульский побледнел.

- Вот зверь! - вырвалось у него.

- Я пошла к гробу господню, - продолжала девушка, - думала, легче станет на душе. Да где там! Как вспомнила про старуху, так даже слезы потекли со злости. Стала я бога молить, чтоб старуху болячка задавила либо чтобы мне вырваться от нее. И, видать, услышал меня бог, коли барин этот хочет меня взять к себе.

Вокульский сидел, не двигаясь. Наконец спросил:

- Сколько тебе лет?

- Всем говорю шестнадцать, а на самом деле девятнадцать.

- Хочешь уйти оттуда?

- Ох, да хоть к черту на рога! Уж так они меня допекли... Да только...

- Что?

- А то, что ничего из этого не выйдет... Сегодня я уйду, а после праздника она все равно меня разыщет и так со мной разделается, что опять я неделю проваляюсь, как тогда, на святках.

- Не разыщет.

- Как же! За мною ведь долг...

- Большой?

- Ого!.. Рублей пятьдесят. И не знаю даже, с чего он взялся, уж, кажется, за все плачу втридорога, а долг растет... У нас всегда так... Да тут еще как прослышат, что барин-то при деньгах, так, чего доброго, скажут, что я их обворовала, и насчитают, сколько им вздумается.

Вокульский чувствовал, что мужество покидает его.

- Скажи мне: ты хочешь работать?

- А что меня заставят делать?

- Научишься шить.

- Ни к чему это! Была я в швейной мастерской. Да ведь на восемь рублей в месяц не проживешь. Да и столько-то я еще стою, чтобы не шить на других.

Вокульский поднял голову.

- Ты не хочешь уйти оттуда?

- Ой, хочу!

- Так решайся немедленно. Либо возьмешься за работу, потому что даром никто хлеба не ест...

- Вот и неправда, - прервала она. - Тот старик небось ничего не делает, а денежки у него есть. Он мне сколько раз говорил, что я заботы знать не буду...

- Ни к какому старику ты не пойдешь, а отправишься к сестрам святой Магдалины. Либо возвращайся, откуда пришла.

- Монашки меня не примут. Вперед надо долг заплатить и чтобы кто-нибудь поручился.

- Все будет устроено, если ты пойдешь туда.

- А как я к ним пойду?

- Я дам тебе письмо, ты его сейчас же отнесешь и останешься там. Согласна или нет?

- Согласна! Давайте письмо. Посмотрю, как мне там покажется.

Она села и стала осматриваться по сторонам.

Вокульский написал письмо, объяснил, куда ей нужно идти, и в заключение сказал:

- Выбирай сама. Будешь вести себя хорошо и прилежно работать, и тебе будет хорошо, а не воспользуешься случаем, так пеняй на себя. Можешь идти.

Девушка расхохоталась.

- Ну, уж и взбеленится старуха!.. Подложу я ей свинью!.. Ха-ха-ха! Только... вы меня за нос не водите?

- Ступай, - ответил Вокульский, указывая на дверь.

Она еще раз пристально посмотрела на него и вышла, пожав плечами.

Вскоре после ее ухода появился пан Игнаций.

- Что это за знакомство? - недовольно спросил он.

- Действительно, - задумчиво отвечал Вокульский. - Я еще не встречал подобного животного, хотя видел их немало.

- В одной только Варшаве их тысячи, - сказал Жецкий.

- Знаю. Борьба с ними ни к чему не приводит, потому что все время появляются новые. Отсюда вывод, что рано или поздно общество должно будет перестроиться от основания до самой верхушки. Иначе оно сгниет.

- Ага, - пробормотал Жецкий. - Я так и думал.

Вокульский простился с ним. Он чувствовал себя как горячечный больной, которого окатили холодной водой.

"Однако, я вижу, пока общество перестроится, - думал он, - сфера моей благотворительности сильно сузится. Моего состояния не хватит на облагораживание низменных инстинктов. Что касается меня, то я, пожалуй, отдаю предпочтение светским дамам, зевающим в костеле, перед вырожденками, если даже они молятся и плачут".

Образ панны Изабеллы предстал перед ним в еще более ярком ореоле. Кровь бросилась ему в голову, и он в душе клеймил себя за то, что мог сравнивать ее с подобным существом.

"Нет, лучше уж сорить деньгами на экипажи и лошадей, чем на такого рода... несчастные случаи".

В пасхальное воскресенье Вокульский в наемной карете подъехал к дому графини. У подъезда уже стояла длинная вереница экипажей самого различного ранга. Были там щегольские кабриолеты, в которых разъезжала золотая молодежь, и обыкновенные извозчичьи пролетки, нанятые на несколько часов отставными сановниками; старые кареты со старыми лошадьми и старой упряжью, сопровождаемые лакеями в потертых ливреях, и новенькие, прямо из Вены, коляски, а при них лакеи с цветами в петличках и кучера с кнутами, упертыми в бок наподобие маршальского жезла; не было недостатка и в фантастических казачках, облаченных в шаровары такой непомерной ширины, словно именно там была заключена вся спесь их господ.

Вокульский мимоходом подметил, что среди этого сборища возниц челядь знатных господ выделялась важной степенностью, кучера банкиров пытались верховодить, что вызывало издевки и брань, извозчики же отличались самоуверенной бойкостью. Кучера наемных карет держались особняком, брезгливо сторонились остальных, а те, в свою очередь, брезговали ими.

Когда Вокульский вошел в вестибюль, седой швейцар с красной лентой низко поклонился ему и распахнул дверь в гардеробную, где джентльмен в черном фраке снял с него пальто. В тот же миг перед Вокульским очутился Юзеф, лакей графини, который хорошо его знал, потому что переносил из магазина в костел музыкальную шкатулку и поющих птиц.

- Их сиятельство просят пожаловать, - сказал Юзеф.

Вокульский достал из кармана пять рублей и сунул ему, чувствуя, что поступает, как парвеню.

"Ах, как я глуп, - думал он. - Нет, я не глуп. Я только выскочка, который в обществе должен платить каждому на каждом шагу. Ну, да спасение блудниц обходится дороже".

Он поднимался по мраморной лестнице, убранной цветами, Юзеф шел впереди. До первой площадки Вокульский не снимал шляпу, потом снял, так и не зная, принято это или не принято.

"В конце концов невелика беда, если бы я вошел к ним в шляпе".

Юзеф, несмотря на свой более чем солидный возраст, взбежал по ступенькам, как лань, и куда-то исчез, а Вокульский остался один, не зная, куда идти и к кому обратиться. Это длилось недолго, но в Вокульском уже начал закипать гнев.

"Каким барьером условностей они огородили себя! - подумал он. - Ах... если б я мог все это разрушить..."

С минуту ему казалось, что между ним и этим высокочтимым миром изысканных манер неизбежна жестокая борьба, в которой либо мир этот рухнет, либо сам он погибнет.

"Хорошо, пусть я погибну... Но я оставлю по себе память..."

"Оставишь по себе снисходительную жалость", - шепнул ему какой-то голос.

"Неужели я так ничтожен?"

"Нет, ты только прекрасодушен".

Он очнулся - перед ним стоял Томаш Ленцкий.

- Приветствую, пан Станислав, - сказал он с присущей ему величавостью. - Приветствую тем более горячо, что ваше посещение совпало с весьма приятным семейным событием...

"Неужели обручение панны Изабеллы?" - подумал Вокульский, и у него потемнело в глазах.

- Представьте себе, по случаю вашего посещения... Вы слышите, пан Станислав... по случаю вашего визита я помирился с пани Иоанной, моей сестрой... Что это вы словно побледнели?... Вы встретите здесь много знакомых. Не думайте, что аристократия так страшна...

Вокульский опомнился.

- Пан Ленцкий, - холодно возразил он, - мою палатку под Плевной посещали и более знатные господа. И они были со мной настолько любезны, что теперь меня трудно смутить присутствием даже более знатных особ, нежели те, каких я могу встретить в Варшаве.

- А... а... - пролепетал пан Томаш и поклонился ему.

Вокульский был поражен.

"Каков холуй! - мелькнуло у него в голове. - И я... я... собирался церемониться с такими людьми?.."

Ленцкий взял его под руку и торжественно ввел в первую гостиную, где находились одни мужчины.

- Поглядите, вот граф... - начал пан Томаш.

- Знаю, - ответил Вокульский и про себя прибавил: "Должен мне рублей триста..."

- Банкир... - объяснял далее пан Томаш.

Но не успел он назвать фамилию, как банкир поспешил к ним и, поздоровавшись с Вокульским, воскликнул:

- Побойтесь вы бога, пан Вокульский, из Парижа страшно теребят нас по поводу этих бульваров. Вы им уже ответили?

- Я хотел раньше поговорить с вами, - ответил Вокульский.

- Так встретимся где-нибудь. Когда вы бываете дома?

- В неопределенное время. Я предпочел бы зайти к вам.

- Так приходите в среду, вместе позавтракаем и договоримся наконец.

Они раскланялись. Пан Томаш нежно прижал к себе локоть Вокульского.

- Генерал... - начал он.

Генерал, увидев Вокульского, протянул ему руку, и они поздоровались, как старые знакомые.

Пан Томаш становился все сердечнее, с удивлением замечая, что галантерейный купец знаком с наиболее видными в городе лицами и не знаком лишь с теми, кто, имея титул или богатство, не утруждал себя какой-либо деятельностью.

У входа во вторую гостиную, где было несколько дам, их встретила графиня. Позади нее промелькнул Юзеф.

"Расставили пикеты, чтобы не скомпрометировать выскочку, - подумал Вокульский. - Очень мило с их стороны, но..."

- Как же я рада, пан Вокульский, - сказала графиня, забирая его у пана Томаша, - как я рада, что вы исполнили мою просьбу... Здесь как раз находится особа, которая жаждет познакомиться с вами.

В первой гостиной появление Вокульского вызвало сенсацию.

- Вы замечаете, генерал, - заговорил граф, - графиня стала принимать у себя галантерейных купцов. Этот Вокульский...

- Он такой же купец, как мы с вами, - возразил генерал.

- Скажите, князь, - спросил другой граф, - как сюда попал этот Вокульский?

- Его пригласила хозяйка, - отвечал князь.

- Я не имею предубеждения против купцов, - продолжал граф, - но этот Вокульский - человек, который во время войны занимался поставками и нажил на этом состояние...

- Да, да... - прервал его князь. - Обычно подобного рода состояния подозрительны, но за Вокульского я ручаюсь. Мне говорила о нем графиня, а я, в свою очередь, спрашивал офицеров, бывших на войне, в том числе и моего племянника. Так вот о Вокульском единодушно говорят, что поставки, в которых он принимал участие, всегда были добросовестны. Даже солдаты, когда получали хороший хлеб, говорили, что, наверное, его пекли из муки Вокульского. Скажу вам больше, граф, - продолжал князь, - Вокульский, снискавший своей честностью внимание высочайших особ, неоднократно получал весьма соблазнительные предложения. Не далее как в январе этого года одно предприятие предлагало ему двести тысяч рублей только за фирму, и он отказался...

Граф усмехнулся.

- Было бы у него больше на каких-нибудь двести тысяч...

- Зато он не был бы сегодня здесь, - возразил князь и, кивнув графу, отошел.

- Сумасшедший старик, - презрительно пробормотал граф вслед князю.

В третьей гостиной, куда ввела Вокульского графиня, помещались буфет и множество столиков, больших и маленьких, за которыми сидели по два, по три, а где и по четыре человека. Несколько слуг разносили кушанья и вина, а распорядилась ими панна Изабелла, очевидно заменявшая хозяйку дома. На ней было бледно-голубое платье и крупные жемчуга на шее. Она была так прекрасна, так величаво было каждое ее движение, что, взглянув на нее, Вокульский окаменел.

"Нечего даже мечтать о ней..." - с отчаянием подумал он.

В ту же минуту он заметил в оконной нише молодого человека, который вчера был в костеле; сейчас он одиноко сидел за маленьким столиком и не сводил глаз с панны Изабеллы.

"Конечно, он любит ее!" - подумал Вокульский, и на него точно повеяло могильным холодом.

"Я погиб!" - прибавил он мысленно.

Все это длилось несколько секунд.

- Видите старушку, которая сидит между епископом и генералом? спросила графиня. - Это вдова председателя, Заславская, лучшая моя приятельница, она непременно хочет познакомиться с вами. Вы ее очень заинтересовали, - продолжала графиня с улыбкой, - детей у нее нет, только две хорошенькие внучки.

Смотрите же, сделайте удачный выбор... А пока присмотритесь к ней, и, когда эти господа отойдут, я вас представлю. А, князь!

- Рад вас видеть, - обратился князь к Вокульскому. - Вы позволите, кузина...

- Милости прошу, - отвечала графиня. - Вот вам, господа, свободный столик... Я вас на минуту оставлю...

Она отошла.

- Присядем, пан Вокульский, - сказал князь. - Отлично получилось, право; у меня к вам важное дело. Представьте себе, ваши проекты вызвали большой переполох среди наших мануфактурщиков... Кажется, я правильно сказал: мануфактурщики?.. Они утверждают, что вы хотите погубить нашу промышленность... Разве ваша конкуренция для них так опасна?

- Я пользуюсь значительным кредитом у московских фабрикантов, примерно в сумме до трех, даже четырех миллионов, - отвечал Вокульский. - Но я еще не знаю, как у нас пойдут их товары...

- Страшная... страшная цифра! - проговорил князь. - Вам не кажется, что она представляет действительную опасность для наших фабрик?

- Нет, что вы. Она только несколько снизит их колоссальные прибыли, что меня, впрочем, нисколько не трогает. Мое дело заботиться о собственных прибылях и о дешевых товарах для покупателей, а наши как раз и будут дешевле.

- Но взвесили ли вы этот вопрос с точки зрения своего гражданского долга? - спросил князь, сжимая его руку. - Нам уже так мало осталось терять...

- Мне кажется, что наш гражданский долг как раз и заключается в том, чтобы дать покупателям более дешевый товар и уничтожить монополию фабрикантов, которые связаны с нами лишь тем, что эксплуатируют наших потребителей и рабочих...

- Вы думаете?.. Это мне и в голову не приходило. Впрочем, меня интересуют не фабриканты, а наша родина, наша несчастная родина...

- Что можно вам предложить, господа? - вдруг произнесла возле них панна Изабелла.

Князь и Вокульский поднялись.

- Как ты прелестна сегодня, дорогая! - сказал князь, пожимая ей руку. Мне, право, жаль, что я не мой собственный сын... Хотя, может, это и к лучшему. Видишь ли, если бы ты отвергла меня, - а это весьма вероятно, - я был бы очень несчастен... Ах, виноват, - спохватился он. -

Разреши, дорогая, представить тебе пана Вокульского. Мужественный человек и мужественный гражданин... с тебя этого довольно, не правда ли?

- Я уже имела удовольствие... - тихо проговорила панна Изабелла, отвечая на поклон Вокульского.

Он взглянул ей в глаза и уловил такой испуг, такую грусть, что душу его снова охватило отчаяние.

"И зачем я пришел сюда?" - подумал он.

Он глянул в сторону окна и увидел молодого человека, который все еще одиноко сидел над нетронутую тарелкой, прикрыв глаза рукой.

"Ах, зачем я, несчастный, пришел сюда..." - думал Вокульский, чувствуя такую боль, словно сердце его сжимали клещи.

- Может быть, выпьете вина? - спросила панна Изабелла, с удивлением взглянув на него.

- Все, что прикажете, - машинально ответил он.

- Мы должны короче познакомиться, пан Вокульский, - говорил князь. Вам следует сблизиться с нашим обществом, в котором, поверьте, есть умные головы и благородные сердца, но... не хватает инициативы...

- Я выскочка, у меня нет титула... - ответил Вокульский, чтобы хоть что-нибудь сказать.

- Напротив, сударь... титулов у вас хоть отбавляй: один - это ваша работа, другой - честность, третий - способности, четвертый - энергия... Именно эти качества необходимы нам для возрождения нашей родины. Дайте нам все это, и мы примем вас... как брата.

К ним подошла графиня.

- Простите, князь, - сказала она. - Пан Вокульский, прошу вас.

Она подала ему руку, и оба направились к председательше.

- Вот пан Станислав Вокульский, - обратилась графиня к старушке, одетой в темное платье с дорогими кружевами.

- Садись-ка сюда, - указала старушка на кресло возле себя. - Тебя зовут Станиславом, не так ли? А из каких ты Вокульских?

- Из тех... никому не известных, - отвечал он, - а менее всего, наверное, вам, сударыня.

- А что, отец твой в армии не служил?

- Отец нет, а дядя служил.

- А где он служил, не помнишь?.. И не Станиславом ли его звали?

- Да, Станиславом. Он был поручиком, а потом капитаном в седьмом линейном полку...

- В первой бригаде второй дивизии, - перебила председательша. - Видишь, дитя мое, вот уж ты мне и не совсем незнаком... Как он, жив ли?

- Нет, скончался пять лет назад.

У председательши задрожали руки. Она открыла маленький флакончик и понюхала его.

- Скончался, говоришь ты... Вечная ему память... Скончался... А не осталось ли по нем какой-нибудь вещицы?

- Золотой крест...

- Да, золотой крест... А больше ничего?

- Еще миниатюра, его портрет, писанный на слоновой кости в тысяча восемьсот двадцать восьмом году.

Председательша все чаще подносила к носу флакончик; руки ее тряслись все сильнее.

- Миниатюра... - повторила она. - А ты знаешь ли, кто ее писал?.. И больше ничего не осталось после него?

- Была какая-то пачка бумаг и еще одна миниатюра...

- Что же с ними случилось? - допытывалась председательша с возрастающим волнением.

- Эти вещи дядя за несколько дней до смерти собственноручно опечатал и велел положить с ним в гроб.

- А... а... - простонала старушка и залилась горькими слезами.

В зале засуетились. Подбежала встревоженная панна Изабелла, за нею графиня, они взяли председательшу под руки и бережно увели в дальние комнаты. Все взгляды тотчас обратились к Вокульскому, гости стали перешептываться.

Заметив, что все смотрят на него и, по-видимому, о нем говорят, Вокульский смутился. Однако, чтобы показать присутствующим, что эта своеобразная популярность нимало его не трогает, он выпил один за другим бокал венгерского и бокал красного вина, которые стояли на столе, и лишь потом спохватился, что один из них принадлежал генералу, а другой епископу.

"Ну, и хорош же я, - подумал он. - Они еще скажут, пожалуй, что я нарочно обидел старушку, чтобы выпить вино ее соседей..."

Он поднялся, собираясь уходить, и его бросило в жар при мысли, что придется пройти через две гостиные, сквозь строй взглядов и под аккомпанемент перешептываний. Вдруг перед ним очутился князь.

- Видно, вы беседовали с председательшей о днях, давно минувших, раз дело дошло до слез, - начал он. - Я угадал, правда? Но вернемся к нашему разговору: не думаете ли вы, что хорошо было бы у нас основать польскую фабрику дешевых тканей?

- Вряд ли это удастся, - покачал головой Вокульский. - Могут ли помышлять о больших фабриках люди, которые не решаются даже на мелкие усовершенствования в уже существующих предприятиях?

- А именно?

- Я говорю о мельницах, - продолжал Вокульский. - Через несколько лет нам придется ввозить и муку, потому что наши мукомолы не хотят заменить жернова валами.

- Первый раз слышу! Сядемте здесь, - говорил князь, увлекая его в глубокую нишу, - и расскажите мне, что это значит.

Тем временем в гостиных оживленно переговаривались.

- Какая-то загадочная фигура этот господин, - говорила по-французски дама в бриллиантах даме со страусовым пером. - Я впервые видела председательшу в слезах.

- Разумеется, любовная история, - отвечала дама с пером. - Во всяком случае, кто-то сыграл с графиней и с председательшей весьма злую шутку, введя сюда этого субъекта.

- Вы допускаете, что...

- Я в этом уверена, - возразила дама, пожимая плечами. - Вы только присмотритесь к нему. Воспитан, правда, прегадко, но каков собой, какая осанка! Нет, благородную кровь не скроешь даже под лохмотьями...

- Поразительно, - говорила дама в бриллиантах. - Да и состояние его, якобы нажитое в Болгарии...

- Разумеется. Этим отчасти можно объяснить, почему председательша, при ее богатстве, так мало тратит на себя.

- И князь очень к нему благоволит...

- Помилуйте, не слабо ли это сказано? Вы только посмотрите на них обоих...

- Мне кажется, сходства никакого...

- Разумеется. Но... эта гордость, уверенность в себе... Как непринужденно они беседуют...

За другим столиком на ту же тему рассуждали три господина.

- Ну, графиня совершила государственный переворот, - говорил брюнет с хохолком.

- И, надо сказать, удачно. Этот Вокульский неотесан, но в нем что-то есть, - ответил седой господин.

- Все-таки купец...

- Чем, собственно, купец хуже банкира?

- Галантерейный купец, торгует кошельками, - упорствовал брюнет.

- А нам случается торговать гербами... - вставил третий - худенький старичок с белыми бакенбардами.

- Он еще вздумает искать себе жену в нашем кругу...

- Тем лучше для девиц.

- Да я сам отдал бы за него дочь! Человек он, говорят, порядочный, состоятельный, приданого не промотает...

Мимо них торопливо прошла графиня.

- Пан Вокульский, - сказала она, подзывая его веером.

Вокульский поспешил к ней. Она подала ему руку, и они вдвоем вышли из гостиной. Князя, оставшегося в одиночестве, сразу окружили мужчины; то один, то другой просил познакомиться его с Вокульским.

- Стоит, стоит, - отвечал довольный князь. - Подобного человека еще не было в нашей среде. Если б мы раньше сблизились с такими людьми, участь нашей несчастной родины была бы иной.

Панна Изабелла, как раз проходившая через гостиную, услышала это и побледнела. К ней подбежал вчерашний молодой человек.

- Вы устали? - спросил он.

- Немножко, - ответила она с грустной улыбкой. - Мне пришел в голову странный вопрос, - прибавила она, помолчав, - сумела ли бы и я бороться?..

- С сердцем? - спросил он. - Не стоит...

Панна Изабелла пожала плечами.

- Ах, до сердца ли тут! Я думаю о настоящей борьбе с сильным противником.

Она пожала ему руку и вышла из гостиной.

Вокульский, следуя за графиней, миновал длинный ряд комнат. В одной из них, вдали от гостей, слышались пение и звуки рояля. Войдя туда, Вокульский с удивлением увидел странную картину. Какой-то молодой человек играл на рояле, возле него стояли две очень милостивые дамы, одна подражала звукам скрипки, другая - кларнета, а под эту музыку танцевало несколько пар, среди которых был только один кавалер.

- Ох, уж я вам! Баловники! - пожурила их графиня.

Они ответили звонким смехом, не прерывая своей забавы.

Вокульский с хозяйкой миновали и эту комнату и вышли на лестницу.

- Видите, вот вам наша аристократия, - сказала графиня. - Вместо того чтобы сидеть в гостиной, забрались сюда и шалят.

"Как это умно?" - подумал Вокульский.

И ему показалось, что жизнь этих людей течет проще и веселей, чем у надутых мешан или у дворян, которые корчат из себя аристократов.

Наверху, в полутемной комнате, куда не долетал шум из парадных покоев, в кресле сидела председательша.

- Я оставлю вас здесь, - сказала графиня. - Наговоритесь вволю, а я должна вернуться.

- Спасибо тебе, Иоася, - отвечала председательша. - Садись же, обратилась она к Вокульскому. А когда они остались вдвоем, она продолжала:

- Ты и не подозреваешь, сколько воспоминаний пробудил во мне.

Только сейчас Вокульский сообразил, что эту даму что-то связывало с его дядей. Им овладело тревожное удивление.

"Слава богу, - подумал он, - что я законный сын своих родителей".

- Так дядюшка твой скончался... - повторила старушка. - Где же его, беднягу, похоронили?

- В Заславе, где он жил, вернувшись из эмиграции. Председательша приложила платок к

глазам.

- Вот как... Ах я неблагодарная... А бывал ли ты у него? Он тебе ничего не рассказывал? И куда тебя не водил?.. Ведь там, на горе, развалины замка, правда? Что ж, сохранились они еще?

- Именно туда дядя ежедневно ходил на прогулку, и мы с ним иногда часами просиживали на большом камне...

- Неужели? Подумать только! Ох, помню я этот камень, мы, бывало, все сидели там вдвоем и глядели то на реку, то на тучки, которые проплывали мимо и исчезали, словно поучая нас, что так же безвозвратно проходит счастье... Только сейчас я это поняла как следует. А колодец в замке - он все так же глубок?

- Очень глубокий. Только вход туда завален обломками и пробраться к нему трудно. Меня дядя провел к колодцу.

- А знаешь ли, - продолжала она, - прощаясь в последний раз, мы подумали с ним: не лучше ли броситься в колодец? Никто бы нас там не разыскал, и остались бы мы навеки вместе. Конечно - молодость, горячая кровь...

Она отерла глаза и продолжала:

- Очень... очень я любила его, да и он, думается, меня любил... если так обо всем помнил. Только он был бедный офицер, а я, к несчастью, была богата и вдобавок еще в близком родстве с двумя генералами. Вот нас и разлучили... А может быть, мы были чересчур добродетельны... Но об этом молчок! - прибавила она, и смеясь и плача. - Такие вещи женщинам позволительно говорить только на седьмом десятке.

Слезы мешали ей говорить. Она понюхала свой флакончик, передохнула и начала вновь:

- Много страшных злодейств на свете, но, может, самое страшное задушить любовь. Сколько лет прошло с тех пор, чуть не полвека; все миновало - богатство, титулы, молодость, счастье... Только боль в сердце не прошла, осталась навсегда, и, поверишь ли, она так сильна, словно все произошло только вчера. Ах, если бы не вера в иной мир, где нас ждет награда за все страдания на земле, кто знает, не прокляли ли бы мы жизнь, не пренебрегли бы ее условностями... Да ты не поймешь меня - у вас, нынешних, головы крепче наших, только сердца холоднее.

Вокульский сидел, опустив глаза. Что-то душило его, грудь разрывалась от боли. Он впился ногтями в ладони и думал: "Только бы поскорее уйти отсюда, чтобы не слышать сетований, которые бередят наболевшие раны".

- А есть ли у бедняги какой-нибудь памятник на могиле? - спросила председательша, помолчав.

Вокульский покраснел. Ему никогда не приходило в голову, что мертвым, кроме могильного холмика, нужно еще что-нибудь.

- Нет, - сказала председательша, заметив его смущение. - Не тому я удивляюсь, дитя мое, что ты не подумал о надгробной плите, а себе простить не могу, что забыла про человека.

Она задумалась и вдруг, положив ему на плечо свою исхудалую и дрожащую руку, сказала понизив голос:

- У меня к тебе просьба... Обещай, что исполнишь.

- Непременно, - ответил Вокульский.

- Позволь мне поставить ему памятник. Только сама я поехать туда не могу, так уж ты меня выручи. Возьми с собой каменщика, пусть расколется камень - знаешь, тот, на котором мы сживали на горе у замка, и пусть одну половину поставит на его могилу. Заплати сколько следует, а я тебе возвращу деньги вместе с вечной моей благодарностью. Сделаешь?

- Сделаю.

- Хорошо, спасибо тебе... Я думаю, ему приятнее будет покоиться под камнем, который был свидетелем наших речей и наших слез. Ох, тяжело вспомнить... А надпись, знаешь, какую сделай? Когда мы расставались, он оставил мне несколько строк из Мицкевича. Ты их читал, должно быть:

Чем дальше тень, она длинней и шире

На землю темный очерк свой бросает,

Так образ мой: чем дальше в этом мире,

Тем все печальней память омрачает.{148}

Ох, как верно это! И тот колодец, что мог бы нас соединить, хотела бы я как-нибудь увековечить...

Вокульский вздрогнул, глядя куда-то вдаль широко раскрытыми глазами.

- Что с тобой? - спросила председательша.

- Ничего, - отвечал он, усмехнувшись. - Смерть заглянула мне в глаза.

- Не диво: она бродит вокруг меня, старухи, и тот, кто рядом, может ее увидеть. Так сделаешь, как я прошу?

- Сделаю.

- Приходи же ко мне после праздника и... наведай почаще. Может, и поскучаешь немножко, да авось и я, старуха, еще пригожусь тебе. А теперь ступай себе вниз, ступай...

Вокульский поцеловал у нее руку, а она несколько раз поцеловала его в голову. Потом нажала кнопку звонка. Явился слуга.

- Проводи господина в гостиную, - сказала она.

Вокульский был как в чад. Не знал, куда его ведут, не сознавал, о чем они говорили с председательшей. Он только смутно ощущал, что попал в какой-то круговорот, его окружали громадные покои, старинные портреты, звуки тихих шагов и неуловимый аромат. Вокруг была драгоценная мебель, люди, исполненные необычайной, от роду ему не снившейся утонченности, и, заслоняя все это, всплывали перед ним воспоминания старой аристократки, овеянные вздохами и омытые слезами воспоминания, подобные поэме.

"О, что это за мир? Что за мир!.."

Однако чего-то ему не доставало. Он хотел еще раз взглянуть на панну Изабеллу.

"Наверное, в гостиной ее увижу..."

Лакей отворил двери. Опять все головы повернулись в его сторону, и разговоры затихли так

внезапно, будто вспорхнула шумливая птичья стая. С минуту все молчали и смотрели на Вокульского, а он никого не видел и только лихорадочно искал глазами бледно-голубое платье.

"Здесь ее нет", - подумал он.

- Вы только поглядите, он нас не соизволит даже замечать, - посмеивался старичок с седыми бакенбардами.

"Должно быть, она в другой гостиной", - говорил себе Вокульский.

Он увидел графиню и подошел к ней.

- Что же, вы кончили совещаться? - спросила графиня. - Не правда ли, как мила наша председательша? В ее лице вы имеете большого друга, однако не большего, чем я. Сейчас я вас представляю... Пан Вокульский, - сказала она, обращаясь к даме в бриллиантах.

- А я прямо приступлю к делу, - промолвила дама, свысока поглядев на него. - Нашим сироткам нужно несколько кусков полотна...

Графиня слегка покраснела.

- Всего несколько? - переспросил Вокульский и посмотрел на ее бриллианты, за которые можно было купить более сотни кусков тончайшего полотна. - После праздников, - прибавил он, - я буду иметь честь прислать вам полотно, графиня...

Он поклонился, словно собираясь уходить.

- Как, вы уже покидаете нас? - спросила, немного растерявшись, графиня.

- Да он нахал! - заметила дама в бриллиантах своей приятельнице со страусовым пером.

- Разрешите попрощаться с вами, графиня, и поблагодарить за честь, которую вы изволили мне оказать... - говорил Вокульский, целуя руку хозяйке.

- Нет, только до свиданья, пан Вокульский, не правда ли?.. У нас будет много общих дел.

Во второй гостиной панны Изабеллы тоже не оказалось. Вокульский забеспокоился: "Но я непременно должен взглянуть на нее... Кто знает, когда еще нам удастся встретиться в таких условиях..."

- А, вот вы где! - окликнул его князь. - Я уже знаю, какой заговор вы составили с Ленцким. Общество торговли с Востоком - отличная мысль! Вы должны будете и меня принять... Нам нужно поближе познакомиться... - И, видя, что Вокульский молчит, он прибавил: - Я назойлив, не правда ли, пан Вокульский? Но вы все равно не отделаетесь: вам нужно сблизиться с нами, вам и другим людям вашей среды, - и мы пойдем вместе. Ваши фирмы - те же гербы, наши гербы - те же фирмы, которые гарантируют добросовестность в ведении дела...

Они пожали друг другу руки, и Вокульский что-то ответил, - что именно, он не помнил. Его беспокойство усилилось; тщетно он разыскивал панну Изабеллу.

"Должно быть, она там, дальше", - подумал он и, волнуясь, направился в следующую гостиную.

По дороге его перехватил Ленцкий, проявляя необычайную сердечность.

- Вы уже уходите? Так до свидания, дорогой пан Вокульский! После праздников у меня первое заседание, и начнем с богом.

"Ее нет!" - терзался Вокульский, прощаясь с паном Томашем.

- А знаете, - шепотом продолжал Ленцкий, - ведь вы произвели фурор. Графиня себя не помнит от радости, князь только о вас и говорит... Да еще случай с председательшей... Ну... просто великолепно! И мечтать нельзя было о лучшем дебюте...

Вокульский уже стоял в дверях. Он еще раз обвел залу остекленевшим взглядом и вышел с отчаянием в сердце.

"Может быть, следует вернуться и проститься с нею? Ведь она заменяла хозяйку дома..." - колебался он, медленно спускаясь по лестнице.

Услышав на верхней площадке шелест платья, он вздрогнул.

"Она..."

Он поднял голову и увидел даму в бриллиантах.

Кто-то подал ему пальто, и он вышел на улицу, пошатываясь, как пьяный.

"Что мне в блестящем успехе, если ее нет?"

- Карету пана Вокульского! - закричал с крыльца швейцар, благоговейно сжимая в кулаке трехрублевку. Слезающиеся глаза и несколько охрипший голос свидетельствовали, что сей гражданин даже на своем ответственном посту отдал благочестивую дань первому дню пасхи.

- Карету пана Вокульского!.. Карету пана Вокульского!.. Вокульский, подъезжай! - повторяли толпившиеся у крыльца кучера.

По мостовой медленно двигались вереницы колясок и карет: к Бельведеру и от Бельведера. Один из седоков узнал Вокульского и поклонился.

- Коллега! - шепнул Вокульский и покраснел. Наконец подали его экипаж; он хотел было сесть, но раздумал.

- Поезжай-ка, брат, домой, - сказал он кучеру, давая ему на чай.

Экипаж поехал к центру города, а Вокульский смешался с толпой пешеходов и направился к Уяздовской площади. Он медленно шел, разглядывая проезжавших. Многих он знал лично. Вот кожевник, поставляющий ему свои изделия, едет кататься со своей бочкообразной супругой и очень недурненькой дочкой, которую ему собирались сватать. Вот сын мясника, некогда поставлявшего колбасу в магазин Гопфера. Вот разбогатевший плотник с многочисленным семейством. Вдова спиртозаводчика, которая тоже владеет большим капиталом и тоже не прочь отдать свою руку Вокульскому. Вот шорник, два приказчика из мануфактурного магазина, вон там мужской портной, подрядчик, строитель, ювелир, владелец пекарни, а вот и его конкурент, галантерейный купец в обыкновенной пролетке.

Большинство из них не видело Вокульского; кое-кто, заметив его, кланялся; нашлись, однако, и такие, которые делали вид, будто не замечают его, и только язвительно усмехались. Среди всей этой толпы купцов, предпринимателей и ремесленников, которые по положению были равны ему, а иные даже богаче или известнее в Варшаве, только его пригласили сегодня к графине. Ни один из них, только он, Вокульский!..

"Мне невероятно везет, - думал он. - В полгода я нажил изрядное состояние, через несколько лет у меня уже будет миллион... Нет, даже раньше... Сегодня я уже получил доступ в аристократические гостиные, а через год?.. Господам, с которыми я только что встретился у

графини как равный, мне семнадцать лет назад пришлось бы прислуживать в ресторане, если бы они, конечно, соизволили заглянуть туда. Из каморки при магазине в будуар графини - каков скачок!.. Не слишком ли я быстро продвигаюсь?" - прибавил он с тайной тревогой в сердце.

Он вышел на просторную Уяздовскую площадь. В южной части ее были устроены развлечения для простонародья. Дребезжащие звуки шарманок, подвывание труб и гул многотысячной толпы хлынули на Вокульского, словно волны. Перед ним как на ладони виднелся длинный ряд качелей, взлетающих то вправо, то влево, словно гигантские маятники. За ними второй ряд - быстро вращавшиеся карусели с разноцветным полосатым верхом. За ними третий зеленые, желтые и красные балаганы, где у входа висели безобразно намалеванные картины, а на крышах то появлялись, то исчезали пестрые клоуны и огромные куклы. А в центре площади стояло два высоких столба, на которые как раз в эту минуту карабкались смельчаки, соблазненные пиджачной парой и дешевыми часами.

Между этими наспех сколоченными грязными постройками кишели толпы веселящихся людей.

Вокульскому вспомнились детские годы. Какой вкусной казалась ему, вечно голодному мальчишке, булка с сосиской! С какой уверенностью он оседлывал лошадку на каруселях, воображая себя великим полководцем! Какое неистовое упоение испытывал он, взлетая на качелях под самое небо! Ах, как сладко было думать, что и сегодня он свободен, и завтра тоже - впервые за целый год. А ни с чем не сравнимая уверенность, что сегодня он ляжет спать в десять, а завтра, если вздумается, встанет тоже в десять, пролежав двенадцать часов подряд в постели!

"И это был я, я? - недоуменно спрашивал он себя. - Неужели меня приводили в восторг вещи, которые теперь внушают лишь отвращение?.. Тысячи бедняков веселятся вокруг, в сравнении с ними я богач, но каков мой удел? Тоска и скука, скука и тоска... Сейчас, когда я мог бы иметь все, о чем мечтал когда-то, у меня нет ничего, ибо прежние желания угасли. А я так верил в свое необыкновенное счастье!.."

В это мгновение из толпы вырвался многоголосый крик. Вокульский очнулся и увидел на верхушке столба человеческую фигуру.

"Ага, победитель!" - сказал он про себя, едва устояв на ногах под натиском толпы; вокруг него люди проталкивались вперед, хлопали в ладоши, кричали "браво", показывали пальцами на героя, спрашивали, как его фамилия. Казалось, вот-вот завоевателя пиджачной пары на руках понесут по улицам - и вдруг всеобщее возбуждение улеглось. Люди замедлили шаг, останавливались, возгласы стали затихать, наконец умолкли совсем. Герой минуты спустился со столба и через несколько мгновений был забыт.

"Вот предостережение мне!" - подумал Вокульский, утирая пот со лба.

Площадь с веселящейся толпой вконец опротивела ему. Он повернул обратно.

По Аллее все еще тянулась вереница пролеток и карет. В одной из них мелькнуло бледно-голубое платье.

"Панна Изабелла?.."

У Вокульского заколотилось сердце.

"Нет, не она".

Вдали изящной походкой прошла красивая женщина.

"Она?.. Нет. Зачем ей тут быть?" - Так прошел он Аллею, Александровскую площадь, Новы Свят, все время высматривая кого-то и все время обманываясь.

"Так вот оно, мое счастье? - думал он. - Что доступно, того я не хочу, а цепляюсь за то, что не дается в руки. Неужели это и есть счастье? Кто знает, может быть, смерть не так уж страшна, как представляют себе люди".

И впервые показался ему отрадным крепкий, непробудный сон, которого не потревожат ни желания, ни надежды.

В то же самое время панна Изабелла, вернувшись от тетки домой, чуть не с порога закричала панне Флорентине:

- Вообрази... он был на приеме!

- Кто?

- Ну, этот... Вокульский...

- Почему же ему не быть, если его пригласили? - удивилась панна Флорентина.

- Да ведь это наглость! Это неслыханно! И вдобавок, представь, тетка от него без ума, князь чуть не вешается ему на шею, и все хором твердят, что это знаменитость... Что ж ты молчишь?

Панна Флорентина грустно усмехнулась.

- Это не ново. Герой сезона... Зимой был в этой роли пан Казимеж, а лет пятнадцать назад... даже я, - тихо прибавила она.

- Да ты рассуди: кто он такой? Купец... купец...

- Дорогая Белла, - отвечала панна Флорентина, - я помню, как в свете увлекались даже циркачами. Пройдет, как всякое увлечение.

- Боюсь я этого человека, - прошептала панна Изабелла.

Глава десятая

Дневник старого приказчика

"Итак, у нас новый магазин: пять витрин, два склада, семь приказчиков и у входа швейцар. Есть у нас и экипаж, блестящий, как начищенный сапог, пара гнедых лошадей, кучер и лакей в ливрее. И все это свалилось на нас в начале мая, когда Англия, Австрия и даже обессилевшая Турция очертя голову вооружались.

- Милый Стась, - говорил я Вокульскому, - все купцы смеются над тем, что мы столько тратим в теперешние беспокойные времена.

- Милый Игнаций, - отвечал мне Вокульский, - а мы будем смеяться над всеми купцами, когда наступят более спокойные времена. Сейчас самая подходящая пора вершить дела.

- Да ведь европейская война, - говорю я. - на носу. А тогда не миновать нам банкротства.

- Пустяки. Брось ты думать про войну, - отвечает Стась. - Вся эта шумиха утихнет через несколько месяцев, а мы тем временем обгоним всех конкурентов.

Ну, и нет войны. В магазине у нас толчея, как на богомолье, на склады, как на мельницу,

беспрерывно привозят и увозят товары, а деньги так и сыплются в кассу, что твоя мякина. Кто не знает Стася, скажет, пожалуй, что он гениальный купец. Но я-то знаю его, потому и спрашиваю себя все чаще: зачем ему все это? - Warum hast du denn das getan?

Правда, и ко мне не раз обращались с подобного рода вопросами. Неужто я в самом деле уже так стар, как покойница Grosmitter, и не могу понять ни духа времени, ни помыслов младшего поколения?.. Ну нет! Дело еще не так плохо...

Помню, когда Луи-Наполеон (позднее император Наполеон III) бежал из тюрьмы в 1846 году, вся Европа так и забурлила. Никто не знал, что будет. Но все рассудительные люди к чему-то готовились, а дядюшка Рачек (пан Рачек женился на моей тетке) все твердил свое:

- Говорил я, что Бонапарт еще вынырнет и заварит им кашу! Да вот беда: что-то я на ноги стал слабоват.

1846 и 1847 годы прошли в великой сумятице. То и дело появлялись какие-то газетки, а люди пропадали. Не раз я задумывался: не пора ли и мне пуститься в широкий мир? А когда меня одолевали сомнения и тревога, я шел после закрытия магазина к дяде Рачеку, рассказывал, что меня терзает, и просил, чтобы он посоветовал мне как отец.

- Знаешь что, - отвечал дядя, стукнув себя кулаком по большому колену, - посоветую я тебе как отец: хочешь, говорю тебе, так иди, а не хочешь, говорю тебе... так оставайся.

Но в феврале 1848 года, когда Луи-Наполеон был уже в Париже, однажды во сне явился ко мне покойный отец, такой, каким я видел его в гробу. Сюртук застегнут наглухо до самого подбородка, в ухе - серьга, усы нафабрены (это Доманский ему подчернил, чтобы отец пред судом божиим не ударил лицом в грязь). Стал он во фронт у дверей моей комнатухи и сказал такие слова:

- Помни, сорванец, чему я учил тебя...

"Сон - морока, ложись на бога", - думал я несколько дней. Но магазин мне уже опостылел. Потерял я склонность даже к Малгосе Пфейфер, - царство ей небесное, - и сделалось мне на Подвалье так тесно, что никакого терпения не стало. Пошел я опять посоветоваться с дядюшкой Рачеком.

Помню, он лежал в постели, укрытый тетушкиной периной, и пил какие-то горячие снадобья, чтобы пропотеть. А когда изложил я ему все дело, он сказал:

- Знаешь что, посоветую я тебе как отец. Хочешь - иди, не хочешь оставайся. Только сам я, если б не подлые мои ноги, давно бы уже был за границей. Да и тетка твоя, скажу я тебе, - тут он понизил голос, - так меня зудит, так зудит, что уж легче бы мне слушать канонаду австрийских пушек, чем ее трескотню. И сколько поможет она мне своим притиранием, столько испортит своим ворчанием... А деньги-то у тебя есть? - прибавил он, помолчав.

- Наберется несколько сот злотых. Дядя Рачек велел мне запереть двери (тетки не было дома) и, сунув руку под подушку, вытащил ключ.

- Вот, - сказал он, - открой-ка тот сундук, обитый кожей. Там направо найдешь ящичек, а в нем кошелек. Поддай мне его...

Я достал кошелек, тугой и тяжелый. Дядя Рачек взял его в руки и, вздыхая, отсчитал пятнадцать полуимпериалов.

- Возьми, - сказал он, - это на дорогу; решил ехать, так и поезжай... Дал бы я тебе больше, да ведь и мой час может пробить... Ну, и бабе надо что-нибудь оставить, чтобы в случае чего нашла себе другого мужа...

Мы со слезами простились. Дядюшка даже приподнялся на постели и, повернув лицо мое к свечке, прошептал:

- Дай-ка еще разок погляжу на тебя... Потому что с этого бала, скажу я тебе, не всем суждено вернуться... Да и сам уж я одной ногой на том свете стою, дурное расположение, скажу я тебе, может доконать человека не хуже пули.

Я вернулся в магазин и, хотя время было позднее, рассказал обо всем Яну Минцелю и поблагодарил его за службу и заботу. Мы уже с год с ним беседовали об этих предметах, он всегда сам подбивал меня идти колотить немцев, вот я и думал, что намерением своим доставлю ему превеликое удовольствие. Между тем Минцель как-то приуныл. На другой день он выплатил мне причитающиеся деньги, дал даже наградные и обещался хранить мою постель и сундучок на случай, если я вернусь. Однако обычная воинственность оставила его, и он даже ни разу не повторил излюбленного своего восклицания: "Ого-го! Задал бы я пруссакам, если б только не магазин..."

А когда вечером, часов около десяти, я, облачившись в полушубок и тяжелые сапоги, расцеловался с ним и взялся за дверную ручку, собираясь покинуть комнату, в которой столько лет мы прожили вместе, с Яном вдруг сделалось что-то непонятное. Он вскочил со стула, взмахнул руками и завопил:

- Свинья... куда ты уходишь?..

Потом бросился на мою постель и расплакался, как малое дитя.

Я выбежал из комнаты. В темных сенях, едва освещенных масляной плошкой, кто-то загородил мне дорогу. Я вздрогнул. Смотрю - Август Кац, одетый по-зимнему, словно в дальний путь.

- Ты что тут делаешь, Август? - спрашиваю я.

- Жду тебя.

Я подумал, что он хочет меня проводить; мы пошли на Гжибовскую площадь, не проронив по пути ни слова, потому что Кац был неразговорчив. Еврей-возчик, который подрядился меня везти, уже дожидался со своей телегой. Я поцеловал Каца, он меня. Я сажусь... он за мною...

- Едем вместе, - говорит. А когда мы уже были за Милосной, прибавил: Жестко и тряско, никак не заснешь.

Совместное наше путешествие сверх ожидания затянулось до самого октября 1849 года.{158} Помнишь, Кац, незабвенный товарищ? Помнишь ли долгие переходы по жаре, когда мы не раз пили воду из луж? А переправу через болото, когда мы подмочили патроны? А ночевки в лесу или в поле, когда каждый из нас норовил спихнуть голову другого с солдатского ранца и потихоньку натягивал на себя шинель, обоим нам служившую одеялом? А помнишь мятую картошку с салом, которую мы вчетвером сварили тайком от своего взвода? Сколько раз потом едал я картошку, но никогда уж не казалась она мне такой вкусной. И поныне помню я аппетитный запах и горячий пар, поднимавшийся из котелка, помню, как ты, Кац, чтобы не терять даром времени, одновременно читал молитву, набивал рот картошкой и раскуривал у костра трубку.

Эх, Кац! Если на небе нет венгерской пехоты и мятой картошки, зря ты туда поспешил!

А помнишь, генеральное сражение, о котором мы всегда мечтали на привалах после партизанских перестрелок? Что до меня, я и в могиле его не забуду, а если господь бог меня когда-нибудь спросит: "Для чего жил ты на свете?" - "Для того, - отвечу я, - чтобы пережить

один такой день". Только ты поймешь меня, Кац, потому что мы оба это видели. А тогда ведь казалось, что это так, пустяки...

За полтора дня до сражения собралась наша бригада под какой-то венгерской деревней, названия уж не помню. Чествовали нас на славу. Вина, правда, неважного, - хоть залейся, а свинина и красный перец до того нам приелись, что и в рот бы не брал этой пакости - разумеется, будь что-нибудь получше. А музыка, а девчонки!.. Цыгане - отличные музыканты, а венгерки чистый порох. Вертелось их, чертовок, среди нас не больше двадцати, а так стало жарко, что наши зарубили троих мужиков, а мужики убили дубинами нашего гусара.

И бог весть, чем бы кончилось наше гулянье после такого славного начала, если бы в самый разгар кутерьмы не прикатил в штаб помещик на четверке взмыленных коней. Через несколько минут по войскам разнеслась весть, что поблизости находятся крупные силы австрийцев. Протрубили сбор, кутерьма улеглась, венгерки куда-то пропали, а по шеренгам пошел слух о генеральном сражении.

- Наконец-то! - сказал ты мне.

В ту же ночь мы продвинулись на милю вперед, на следующий день еще на милю. Каждые три-четыре часа, а потом даже каждый час прибывали гонцы. Судя по этому, корпусной штаб находился неподалеку и дело предстояло нешуточное.

В ту ночь мы спали в открытом поле и даже не составили ружья в козлы. Едва рассвело, двинулись вперед: эскадрон кавалерии с двумя легкими пушками, за ним наш батальон, а за нами вся бригада с артиллерией и повозками, прикрытая с флангов сильными патрулями. Гонцы прибывали уже каждые полчаса.

Когда взошло солнце, мы увидели на дороге первые следы неприятеля: клочья соломы, погашенные костры, постройки, разобранные на топливо. Потом стали все чаще попадаться беженцы: помещики с семьями, духовные лица разного вероисповедания, наконец - мужики и цыгане. У всех были испуганные лица; почти все что-то кричали по-венгерски, показывая руками назад.

Было около семи, когда с юго-западной стороны раздался пушечный выстрел. По шеренгам пронесся шепот:

- Ого! Начинается...

- Нет, это сигнал...

Снова дважды грянула пушка, потом еще и еще раз. Ехавший перед нами эскадрон остановился; две пушки с зарядными ящиками помчались галопом вперед, несколько всадников поскакали на ближайšie холмы. Мы придержали шаг - и на минуту водворилась такая тишина, что стал слышен цокот серой кобылы догонявшего нас адъютанта. Лошадь пронеслась мимо, к гусарам, тяжело дыша и почти касаясь животом земли.

На этот раз отозвалось уже несколько пушек, поблизости и вдали; каждый выстрел можно было явственно различить.

- Нащупывают дистанцию, - сказал наш старый майор.

- Пушек пятнадцать у них есть, - буркнул Кац, который в подобные минуты становился разговорчивее, - а у нас двенадцать, то-то будет потеха...

Майор обернулся к нам с коня и усмехнулся в свой сивый ус. Я понял, что значила его усмешка, услышав целую гамму выстрелов, словно кто-то заиграл на органе.

- Пожалуй, у них больше двадцати, - сказал я Кацу.

- Ослы! - рассмеялся офицер и пришпорил коня.

Мы остановились на возвышенности, откуда видна была идущая за нами бригада. Над нею взвивалось рыжеватое облако пыли, тянувшееся вдоль дороги на две, а то и на три версты.

- Тут целые полчища! - воскликнул я. - И где только все это уместится?

Заиграли трубы, и наш батальон раскололся на четыре роты, выстроившиеся колоннами одна подле другой. Первые взводы выдвинулись вперед, мы остались позади. Я повернул голову и увидел, что от главного корпуса отделились еще два батальона; они сошли с дороги и полем бежали к нам: один - к правому флангу, другой - к левому. Не более как через четверть часа они уже поравнялись с нами, еще с четверть часа отдыхали - и, дружно шагая нога в ногу, мы все вместе двинулись вперед.

Между тем канонада усилилась настолько, что ясно различались залпы из двух-трех орудий одновременно. Хуже того - сквозь их гул слышался какой-то глухой рокот, похожий на непрерывный гром.

- Сколько орудий, камрад? - спросил я по-немецки идущего рядом унтер-офицера.

- Полагаю, не менее сотни, - отвечал он, покачивая головой. - И работают они на славу, - добавил он, - все орудия разом ответили.

Нас оттеснили с дороги, по которой через несколько минут проехали медленной рысью два гусарских эскадрона и четыре орудия с зарядными ящиками. Солдаты в моей шеренге один за другим стали креститься: "Во имя отца и сына..." Кое-кто хлебнул из манерки.

Влево от нас гул все усиливался: уже нельзя было различать отдельные выстрелы. Вдруг в передних рядах закричали:

- Пехота! Пехота!

Машинально я взял ружье наизготовку, думая, что показались австрийцы. Но перед нами по-прежнему не было ничего, кроме холма и редких кустов. Зато среди орудийного грохота, которого мы уже почти не замечали, послышался какой-то треск, похожий на частый стук дождя, только гораздо громче.

- К бою! - протяжно крикнули на передней линии.

Я почувствовал, как на миг сердце мое остановилось - не от страха, а словно в ответ на слово, которое с малолетства оказывало на меня особое действие.

В шеренгах, несмотря на марш, все оживились. Солдаты угощали друг друга вином, проверяли ружья, толковали о том, что не более как через полчаса мы пойдем в огонь, а главное - самым бесцеремонным образом насмехались над австрийцами, которым в ту пору не везло. Кто-то стал насвистывать, другой вполголоса запел; даже натянутая важность офицеров растаяла, сменившись товарищеским добродушием. Только команда "смирно!" водворила порядок.

Мы затихли и выровняли несколько расстроенные ряды. Небо было чисто, лишь кое-где белели на нем недвижные облачка; на кустах, мимо которых мы шли, не шелохнулся ни один листок; над полем, поросшим молодой травой, замолк испуганный жаворонок. Раздавались лишь тяжелый шаг батальона, учащенное дыхание людей да изредка лязг столкнувшихся ружей или зычный голос майора, который ехал впереди и что-то говорил офицерам. А там, налево, исходили в многоголосом реве орудия и барабанил дождь ружейных выстрелов. Кто,

брат Кац, не слышал подобной бури под ясным небом, тот не знает настоящей музыки... Помнишь, как странно было тогда у нас на душе?.. Не страх, а так, вроде как бы и грусть и любопытство...

Батальоны с флангов все дальше отходили от нас; наконец правый исчез за холмами, а левый в нескольких саженях от нас нырнул в широкую балку, откуда лишь поблескивала лента его штыков. Куда-то пропали и гусары, и пушки, и тянувшийся сзади резерв; остался только наш батальон, который спускался с одного холма и поднимался на другой, еще выше. Лишь время от времени с передовой линии, с тыла или с флангов, прискачет всадник с запиской либо с устным приказом майору. Поистине чудо, что от стольких приказов у него не помутилось в башке.

Наконец, уже около девяти, мы поднялись на последнюю возвышенность, поросшую густым кустарником. Снова команда, и взводы, шедшие один за другим, стали строиться в ряд. А когда мы достигли вершины холма, нам сперва приказали согнуться и опустить штыки, а потом стать на колено.

Тогда (помнишь, Кац?) Кратохвиль, стоявший на коленях впереди нас, сунул голову меж двух сосенок и глухо вскрикнул:

- Гляньте-ка!

От подножья холма на юг, до самой линии горизонта, тянулась равнина, а на ней-как бы река белого дыма шириною в несколько сот шагов, а длиною - кто ее знает! - может, в милю.

- Стрелковая цепь, - сказал старый унтер-офицер.

По обеим сторонам этой странной реки виднелось несколько черных и более десятка белых облачков, стелившихся по земле.

- Это батареи, а вон там деревни горят, - объяснял унтер-офицер.

Хорошенько взглядевшись, можно было различить по обеим сторонам длинной полосы дыма прямоугольные пятна: слева темные, а справа белые. Они были похожи на огромных ежей, оцетинившихся блестящими иглами.

- Тут наши полки, а вон там австрийские, - говорил унтер. - Ну-ну! Лучше, чем в самом штабе, видно...

От длинной полосы дыма летел немолчный треск ружейных залпов, а в белых облачках бушевал орудийный огонь.

- Фью, и это называется бой... - сказал ты тогда, Кац. - А я-то, дурак, боялся...

- Погоди, погоди, - пробормотал унтер.

- Оружие к бою! - прокатилось по рядам.

Не вставая с колен, мы принялись вынимать и обкусывать патроны. Раздался лязг стальных шомполов и треск взводимых курков. Мы засыпали порох на полки - и опять воцарилась тишина.

Впереди, примерно в версте от нас, было два холма, а между ними дорога. Я заметил, что на желтой ее полосе появились какие-то белые точки, из которых вскоре образовалась белая линия, а затем белое пятно. Одновременно из балки, лежавшей шагах в трехстах влево от нас, вышли солдаты в синих мундирах и быстро образовали синюю колонну. В эту минуту вправо от нас грянул пушечный выстрел, и над белым австрийским отрядом появилось сизое

облачко дыма. Прошло несколько минут - и опять загрохотало, и опять поднялось облачко над австрийцами. Полминуты - и опять выстрел и облачко...

- Herr Gott!* - вскричал старый унтер. - Наши-то как палят! Там или Бем{163}, или сам черт командует!

* Господи! (нем.)

С этой минуты орудийные залпы с нашей стороны следовали так часто, что земля содрогалась, но белое пятно на дороге все росло и росло. Одновременно на противоположном холме показался дымок, и в сторону нашей батареи с урчанием полетела граната. Еще дымок... еще... еще...

- Хитры, бестии! - буркнул унтер.

- Батальон! Вперед, марш! - во все горло рявкнул наш майор.

- Рота! Вперед, марш! Взвод! Вперед, марш!.. - на разные голоса повторяли офицеры.

Нас опять построили по-новому. Четыре средних взвода остались сзади, четыре пошли вперед, вправо и влево. Мы подтянули ранцы и взялись за ружья, как кому вздумалось.

- Ну, кубарем! - крикнул ты тогда, Кац.

В ту же минуту высоко над нами пролетела граната и с сильным треском разорвалась где-то позади.

Странная мысль промелькнула тогда у меня. Эти сражения - не просто ли трескучая комедия, которую войска устраивают на потеху народам, без всякого вреда для себя! Зрелище, развернувшееся у меня перед глазами, было великолепное, но отнюдь не страшное.

Мы спустились на равнину. Из нашей батареи прискакал гусар с донесением, что одна пушка повреждена. Одновременно слева от нас упала граната; она зарылась в землю, но не взорвалась.

- К нам подбираются, - сказал старый унтер.

Вторая граната разорвалась над нашими головами, и осколок упал под ноги Кратохвилю. Он побледнел, но засмеялся.

- Ого-го! - закричали в рядах.

Вдруг в сотне шагов левее от нас в одном из взводов наступило замешательство, а когда колонна продвинулась дальше, мы увидели на земле двух человек: один лежал ничком, прямой как струна, другой сидел, держась обеими руками за живот. Запахло пороховым дымом. Кац мне что-то сказал, но я не расслышал, в правом ухе у меня шумело, словно туда попала вода.

Унтер-офицер повернул вправо, мы за ним. Колонна разделилась на два длинных ряда. Впереди, неподалеку от нас, за клубился дым. Что-то протрубили, но я не разобрал сигнала, зато отчетливо расслышал тонкий свист над головой и возле левого уха. В нескольких шагах от меня что-то ударило в землю, грудь и лицо мне засыпало песком. Мой сосед выстрелил; два солдата, стоявшие сзади меня, чуть ли не опираясь ружьями на мои плечи, выпалили один за другим. Вконец оглушенный, я тоже спустил курок... Зарядил ружье и опять выстрелил... Впереди валялись чья-то каска и ружье, но дым вокруг настолько сгустился, что

больше ничего нельзя было разглядеть. Я только заметил, что Кац, как одержимый, стрелял без передышки, а в углах его рта выступила пена. Шум у меня в ушах все усиливался, и я уже не слышал ни ружейных залпов, ни грохота пушек.

Между тем дым стал настолько густым и едким, что я почувствовал потребность любой ценой вырваться из него. Я отступил - сначала медленно, потом пустился бежать, с удивлением замечая, что остальные делают то же самое. Вместо двух растянувшихся рядов я увидел толпы бегущих людей. "Какого черта они бегут?" - думал я, прибавляя шагу. Это был даже не бег, а лошадиный галоп. Мы добежали до середины холма и тут только заметили, что наше место на равнине занял какой-то новый батальон, а с вершушки холма бьют орудия.

- Резервы в огне... Вперед, мерзавцы! Вам бы свиной пасти, сукины дети! - орала почерневшие от дыма, озверелые офицеры, опять выстраивая нас рядами и плашмя колотя саблями всех, кто подвертывался им под руку.

Майора среди них не было.

Мало-помалу перемешавшиеся при отступлении солдаты разыскали свои взводы, беглецов вернули, и в батальоне снова водворился порядок. Однако не хватало человек сорок.

- Куда же они разбежались? - спросил я унтера.

- Гм, разбежались, - мрачно пробормотал он.

Мне было страшно подумать, что они погибли.

С вершины холма спускались двое обозных, ведя под уздцы двух навьюченных коней. Навстречу им выбежали унтер-офицеры и вскоре вернулись с пачками патронов. Я взял восемь штук, ибо ровно такого количества не хватало в моем патронташе, и сам удивился: каким образом мог я их потерять?

- Знаешь, - сказал мне Кац, - уже двенадцатый час...

- А знаешь, что я ничего не слышу? - отвечал я.

- Дурак! Ты же слышишь, что я говорю.

- Да, но пушек я не слышу... Ах нет, слышу, - прибавил я, напрягши слух.

Гул орудий и ружейная трескотня слились в сплошной чудовищный рев, который уже не оглушал, а просто одурманивал. Мною вдруг овладело безразличие.

Примерно в полуверсте перед нами колыхалась широкая полоса дыма, которую кое-где разрывал налетавший ветер. Тогда можно было на миг увидеть длинный ряд ног или касок и поблескивающие штыки. Над этой полосой и над нашей колонной свистели снаряды, которыми обменивались венгерская батарея, стрелявшая через наши головы, и австрийская батарея, отвечавшая с противоположных холмов.

Река дыма, тянувшаяся через равнину к югу, клубилась теперь еще сильнее и вся изогнулась. Там, где брали верх австрийцы, она загибалась влево, там, где венгры, - вправо. В целом полоса дыма больше выгибалась вправо, и похоже было, что наши уже оттеснили австрийцев. По всей равнине стлался легкий голубоватый туман.

Странное дело: гул теперь был сильнее, чем вначале, но я его уже не замечал; чтобы услышать его, мне приходилось напрягать слух. Между тем лязг заряжаемых ружей и треск курков я различал отчетливо.

Но вот прискакал адъютант, заиграли трубы, офицеры обратились к солдатам.

- Ребята! - во все горло кричал наш поручик (тот, что недавно удрал из семинарии). - Мы отступили, потому что пруссаков было больше. А теперь ударим на них сбоку, вон на ту колонну, видите... Нас поддержат третий батальон и резерв... Да здравствует Венгрия!

- Я сам не прочь здравствовать... - проворчал Кратохвиль.

- Пол-оборота направо, шагом марш!..

Так мы шагали несколько минут, потом сделали поворот влево и стали спускаться на равнину, стараясь выйти правее колонны, сражавшейся впереди. Местность кругом была холмистая, перед нами сквозь завесу дыма виднелась опушка леса, поросшая мелким кустарником.

Вдруг меж кустов я заметил сначала два-три, а потом и более десятка дымков, словно в разных местах закурили трубки, и одновременно над нами засвистали пули. Тут пришло мне в голову, что свист пуль, воспетый поэтами, отнюдь не поэтичен; скорее низменным следовало бы назвать это беснование мертвой материи.

От нашей колонны отделилась стрелковая цепь и побежала к кустарнику.

Мы продолжали маршировать, как будто летевшие сбоку пули предназначались не нам.

С правого края колонны, насвистывая марш Ракоци, шел наш старый унтер; вдруг он выронил ружье, раскинул руки и зашатался, как пьяный. На миг я увидел его лицо: слева каска была пробита, на лбу алело небольшое пятно. Мы продолжали идти; на правом фланге очутился другой унтер, молоденький блондин.

Мы уже поравнялись с колонной наших солдат, сражавшихся на передней линии, и увидели впереди свободное пространство, зажатое между двумя стенами дыма, как вдруг со стороны неприятеля из сизых клубов вынырнула длинная шеренга белых мундиров. Шеренга то опускалась, то поднималась, а ноги солдат замелькали у нас перед глазами, как на параде.

Но вот шеренга остановилась. Над нею сверкнула полоса стали, подалась вперед - и я увидел сотню направленных на нас штыков, блестящих, как иголки, воткнутые в бумажку. Потом вырвался густой дым, что-то заскрежетало, словно цепью по железному бруску, а над нами и вокруг нас пролетел рой пуль.

- Стой! Пли!

Я поспешил выстрелить, чтобы прикрыться хотя бы дымом. Несмотря на грохот, я услышал позади себя глухой звук, будто палкой ударили человека; сзади кто-то упал, задев за мой ранец. Гнев и отчаяние овладели мной; я чувствовал, что погибну, если не убью невидимого врага. Не помня себя, я заряжал и стрелял, наклонив ружье и думая с диким удовлетворением, что мои пули не пролетят мимо. Я не смотрел по сторонам и под ноги, боясь увидеть упавшего человека.

Вдруг произошло что-то неожиданное. Невдалеке от нас затрещали барабаны и раздались пронзительные сигналы горнистов. Кто-то крикнул: "Вперед!" - и не знаю уж, из скольких грудей вырвался крик, напоминающий не то рев, не то вой - колонна двинулась вперед, сначала медленно, потом скорее, скорее и, наконец, побежала... Перестрелка стихла, только изредка раздавались одиночные выстрелы... с разбега я наткнулся на что-то грудью, на меня напирала со всех сторон, я тоже напирал...

- Руби немца! - ревел не своим голосом Кац и рвался вперед. Не будучи в состоянии выбраться из толчеи, он занес ружье и прикладом стал бить по ранцам стоящих впереди

товарищей.

Наконец сделалась такая давка, что я почувствовал, как мне сдавило грудную клетку и нечем стало дышать. Меня подняли в воздух, потом снова опустили - и тут я заметил, что стою не на земле, а на человеке, который схватил меня за ногу. В ту же минуту ревущая толпа ринулась вперед, и я упал. Моя левая рука скользнула по кровавой луже.

Подле меня лежал на боку австрийский офицер, молодой человек с благородными чертами лица. Он с невыразимой тоской глянул на меня темными глазами и с трудом прохрипел:

- Не надо топтать... И немцы - люди.

Сунул руку под бок и жалобно застонал.

Я побежал за колонной. Наши были уже на холмах, где стояли австрийские батареи. Вскрабкавшись вслед за товарищами, я увидел опрокинутую пушку, а рядом с нею другую, запряженную лошадьми, которую окружили наши солдаты.

Тут я стал свидетелем необычайной сцены. Наши - кто схватился за колеса, кто стаскивал с седла возницу; Кац заколол штыком первую с краю лошадь, а неприятельский канонир нацелился ему в лоб ершом. Я схватил канонира за шиворот и неожиданным пинком в зад опрокинул на землю. Кац хотел заколоть и его.

- Что ты делаешь, полоумный! - крикнул я и попытался вырвать у него из рук ружье.

Тогда он в ярости бросился на меня, но стоявший возле офицер саблей выбил у него ружье.

- Ты чего лезешь? - огрызнулся Кац на офицера, но тут же опомнился.

Два орудия были в наших руках, за остальными погнались гусары. Далеко впереди в одиночку и кучками стояли наши, продолжая стрелять в отступающих австрийцев. Только изредка шальная вражеская пуля свистела над нами или, зарывшись в землю, взбивала облачко пыли. Горнисты трубили сбор.

Около четырех часов дня наш полк собрался. Сражение кончилось. Только на западном краю горизонта еще гроыхали одиночные выстрелы легкой артиллерии, словно отголоски уже пронесшейся грозы.

Часом позже на просторном поле боя в разных местах заиграли полковые оркестры. К нам прискакал адъютант с поздравлением. Горнисты и барабанщики дали сигнал на молитву. Мы сняли каски, знаменосцы подняли стяги, и вся армия, с ружьем к ноге, благодарила венгерского бога за победу.

Постепенно дым оседал. Насколько хватало глаз, по равнине были разбросаны какие-то белые и синие клочки, будто по вытопанной траве беспорядочно раскидали обрывки бумаги. По полю разъезжало десятка два повозок с какими-то людьми; они приближались к этим клочкам, подбирая и складывая одни из них, а другие оставляя лежать на поле.

- Стоило им на свет рождаться... - вздохнул Кац, опершись на ружье; им вновь овладела меланхолия.

Это была едва ли не последняя наша победа. С той поры трехцветные знамена чаще двигались впереди неприятеля, нежели за неприятелем, пока, наконец, под Вилагошем{169} не облетели с древков, как осенние листья.

Узнав об этом, Кац бросил саблю оземь (мы оба уже были произведены в офицеры) и сказал, что теперь остается только пустить себе пулю в лоб. Однако я, памятуя, что во Францию

снова идет Наполеон, поддержал в нем бодрость духа, и мы пробрались в Комаром.

Целый месяц ждали мы подкрепления: из Венгрии, из Франции, от самого бога. В конце концов крепость сдалась.

Помню, в тот день Кац все вертелся возле порохового склада, а лицо у него было такое же, как в тот момент, когда он собирался заколоть штыком лежавшего канонира. Мы подхватили его под руки и силком вывели из крепости вслед за нашими.

- Что ж ты, - упрекнул его один из приятелей, - тебе не по вкусу скитаться с нами, норовишь улизнуть на небо? Эх, Кац! Венгерская пехота не трусит и слово свое держит, даже если дала его... немцам...

Впятером отделились мы от войск, сломали свои шпаги, переоделись в крестьянское платье и, сунув за пазуху пистолеты, пошли в сторону Турции. Нам приходилось спасаться, ибо нас преследовали псы Хайнау.{170}

Скитались мы по лесам и глухим тропам недели три. Грязь под ногами, осенний дождь над головой, за спиной патрули, а впереди вечное изгнание вот они, наши спутники. Но мы не унывали.

Шапари без умолку болтал о том, что Кошут{170} что-нибудь да придумает, Штейн уверял, что за нас вступится Турция, Липтак вздыхал о ночлеге и горячей похлебке, а я твердил, что уж кто-кто, а Наполеон нас не оставит. Под дождем одежда у нас размякла, как масло, мы вязли в грязи по щиколотку, подметки у нас отвалились, и в сапогах свистел ветер; жители боялись продать нам кувшин молока, а в одной деревушке за нами даже погнались мужики с вилами и косами. И все же мы не унывали, и Липтак, улепетывая рядом со мной, да так, что только брызги летели, говорил, еле дыша:

- Eljen magyar!..* То-то заснем теперь... Еще б стаканчик сливянки перед сном...

* Да здравствует мадьяр! (венгерск.)

В разудалой компании оборванцев, распугивавших даже ворон, один только Кац был по-прежнему мрачен. Он чаще других отдыхал и заметно худел; губы у него запеклись, глаза странно блестели.

- Боюсь, не схватил ли он гнилую лихорадку, - сказал мне однажды Шапари.

Неподалеку от реки Савы, в каком-то захолустье, не помню уж, на который день наших странствий, набрели мы на хуторок, где нас приняли очень радушно. Уже вечерело, устали мы зверски, однако жаркий огонь и бутылка сливянки навели нас на радужные мысли.

- Ручаюсь головой, - восклицал Шапари, - не позже чем в марте Кошут опять призовет нас. - Мы поступили глупо, сломав шпаги...

- А турки, может, еще в декабре двинут войска, - прибавил Штейн. - Хоть бы нам до той поры подлечиться...

- Милые! - охал Липтак, зарываясь в солому, - да ложитесь вы, к черту, спать, а то вас ни Кошут, ни турок не добудятся.

- И верно, не добудятся! - проворчал Кац.

Он сидел на лавке у печи и мрачно глядел в огонь.

- Ты скоро и в милосердие господне перестанешь верить, - отозвался Шапари, хмуря брови.

- Нет милосердия для тех, кто не сумел умереть с оружием в руках! закричал Кац. - Глупцы вы, да и я хорош! Так и пойдет француз да турок за вас лоб подставлять! А сами вы где были?

- Горячка у него, - шепнул Штейн. - Намучаемся мы с ним в дороге...

- Венгрия... Нет уже Венгрии! - бормотал Кац. - Равенство... никакого равенства нет и не было... Справедливость... не будет ее никогда... Свинье той и в луже мило, а вот человеческая душа... Нет, пан Минцель, не буду уж я у тебя резать мыло...

Тут я смекнул, что Кац совсем расхворался. Подошел к нему, тащу его на солому и говорю:

- Пойдем, Август, пойдем...

- Куда я пойду? - спросил он, очнувшись на минуту.

А потом прибавил:

- Из Венгрии меня выгнали, а к немцам меня не затащишь...

Все же он улегся на подстилку. Огонь в печи догорал. Мы допили водку и улеглись вповалку, с пистолетами в руках. Ветер завывал в щелях, словно вся Венгрия заливалась плачем. Нас сморил сон.

И приснилось мне, будто я еще маленький и будто сочельник. На столе стоит елочка, на ней горят свечи, она такая же убогая, как мы сами, а вокруг отец, тетка, пан Рачек и пан Доманский поют фальшивыми голосами коляды:

Бог родится - зло страшится.{172}

Я проснулся, всхлипывая от тоски по далекому детству. Кто-то теребил меня за плечо.

Это был мужик, хозяин хаты. Он заставил меня подняться и, показывая на Каца - испуганно говорил:

- Поглядите-ка, служивый... Что-то с ним неладно...

Он схватил с печки лучину и посветил мне. Вижу: Кац лежит, скорчившись, на полу, а в руке у него разряженный пистолет. Огненные круги поплыли у меня перед глазами, и я повалился без чувств.

Очнулся я уже в телеге, когда мы подъезжали к Саве. Светало, занимался ясный денек, с реки тянуло сыростью. Я протер глаза, сосчитал... Было нас в телеге четверо и возчик пятый. Да и должно быть пятеро... Нет, шестеро должно быть!.. Я искал Каца, но так и не нашел. Я ни о чем не спрашивал: рыдания сдавили мне горло - вот-вот задушат меня. Липтак дремал, Штейн тер глаза, а Шапари смотрел в сторону и насвистывал, фальшивя, марш Ракоци.

Эх, брат Кац, что же ты натворил! Порой мне думается, может, там, на небе, ты нашел и венгерскую пехоту, и свой polegший взвод... Порой мне слышится бой барабанов, четкий ритм марша и команда: "На пле-чо!" И тогда кажется мне, что это ты, Кац, идешь сменять караул у престола господня... Ибо плох был бы венгерский бог, если б не оценил тебя по заслугам.

...Да что ж это я разболтался, боже ты мой!.. Думал о Вокульском, а пишу про себя и Каца.

Итак, вернусь к своему предмету.

Через несколько дней после смерти Каца мы ступили на турецкую землю, а потом еще два года я, уже в одиночку, скитался по всей Европе. Был и в Италии, и во Франции, и в Германии, и даже в Англии - и всюду преследовали меня бедствия и терзала тоска по родине. Не раз казалось мне, что я помешаюсь, изо дня в день слыша чужую речь и видя не наши лица, не нашу одежду, не нашу землю. Не раз я готов был отдать жизнь, лишь бы взглянуть на сосновый лес и крытые соломой хаты. Не раз я, как малое дитя, кричал во сне: "Хочу домой!" А проснувшись в слезах, наспех одевался и скорей выбегал на улицу, потому что мне казалось, что я увижу не чужую улицу, а Старе Место или Подвалье.

В отчаянии я, быть может, даже покончил бы с собой, если б не вести о Луи-Наполеоне: он уже стал президентом и подумывал об императорской короне. И мне легче было сносить нужду и подавлять приступы тоски, когда я слышал о торжестве человека, который должен был выполнить завещание Наполеона I и навести порядок в мире.

Правда, ему не удалось это - что ж, он оставил нам сына. Не сразу Краков строился!..

Наконец больше я не мог терпеть и в декабре 1831 года, проехав через всю Галицию, остановился на пограничном посту в Томашове.{173} Одна только мысль терзала меня: "А что, если и отсюда меня прогонят?"

И никогда не забыть мне своего ликования, когда я узнал, что меня направляют в Замостье.{173} Собственно, я даже не ехал туда, а попросту добирался пешком, но с какой радостью!

В Замостье я прожил более года. Я хорошо рубил дрова, поэтому ежедневно бывал на свежем воздухе. Оттуда написал я письмо Минцелю и, кажется, получил от него ответ и даже деньги; но, кроме расписки в получении, других подробностей этого события не помню.

Между тем Ясь Минцель сделал для меня еще кое-что, хотя никогда не вспоминал об этом. А именно - ходил он к разным генералам, участвовавшим в венгерском походе, и убеждал их, что-де надо выручать товарища из беды. Ну, и выручили меня, так что уже в феврале 1853 года я мог поехать в Варшаву. Мне даже вернули офицерское звание, и то была единственная память о венгерском походе, если не считать двух ран в груди и в ногу. Да еще офицеры устроили обед в мою честь и как следует выпили за здоровье венгерской пехоты. С тех пор я считаю, что самые прочные отношения завязываются на поле боя.

Покинул я свои апартаменты в Замостье гол как сокол, но сразу за воротами предо мною явился незнакомый еврей и вручил мне письмо с деньгами. Распечатал я его и прочел:

"Дорогой мой Игнаций! Посылаю тебе двести злотых на дорогу, потом рассчитаемся. Заезжай прямо ко мне, в магазин на Краковском Предместье, только, упаси боже, не на Подвалье. Там теперь живет негодяй Франц, именуемый моим братом, которому ни один порядочный сукин сын руки не подаст. Целую тебя. Ян Минцель. Варшава, дня 16 февраля 1853 года.

Да, вот что... Знаешь, старый Рачек, тот, что женился на твоей тетке, умер, и она тоже, еще раньше его. Они оставили тебе кой-какую рухлядь и несколько тысяч злотых. Все это находится у меня в сохранности, только теткин салоп немножко тронула моль, потому что Каська, холера, забыла засыпать табаком. Франц велел тебя поцеловать. Варшава, дня 18 февраля 1853 года".

Еврей привел меня к себе на квартиру и там вручил узелок с бельем, платье и башмаки. Он накормил меня гусиным бульоном, потом вареной гусятиной, потом жареной, и всего этого я не мог переварить до самого Люблина. На дорогу дал он мне бутылку отменного меду, проводил к поджидавшей подводе и даже слушать не захотел о какой-либо плате.

- Мне просто совестно было бы брать деньги от такой особы, что возвращается из эмиграции, - отвечал он на все мои уговоры.

Только когда я уже садился в телегу, он отвел меня в сторону и, оглянувшись, не слышит ли кто, зашептал:

- Может, у вас, ваша милость, есть венгерские дукаты, так я куплю. Я вам по совести заплачу, потому что мне нужно для дочки, она после вашего Нового года выходит замуж.

- У меня нет дукатов, - отвечал я.

- Ваша милость ездили на венгерскую войну, и у вас нет дукатов? удивился он.

Я уже поставил ногу на ось, но еврей вторично отвел меня в сторону.

- А может, у вашей милости найдутся какие-нибудь драгоценности?.. Колечки, часики, браслетики... Чтоб я так здоров был, я заплачу вам по совести, потому что это для дочки...

- Нет у меня, брат, ничего, честное слово...

- Ничего? - повторил он, широко раскрывая глаза. - Так зачем же вы ходили в Венгрию?..

Мы тронулись в путь, а он все стоял, держась рукою за бороду и жалостливо покачивая головой.

Подвода была нанята для меня одного. Однако на первой же улице возчик встретил своего брата, у которого было спешное дело в Красном Ставе.

- Позвольте, ваше благородие, захватим его, - попросил возчик, снимая шапку. - Где будет плохая дорога, он пешком пойдет...

Пассажир уселся. Не успели мы доехать до городского вала, как нас остановила какая-то еврейка с узлом и стала о чем-то громко разговаривать с возницей. Оказалось, что это его тетка, у которой в Файславицах заболел ребенок.

- Может, позвольте, ваше благородие, так она к нам подсядет... Она совсем невесомая... - опять попросил возница.

Потом уже за городом, в разных местах, нам по дороге попало еще трое родственников моего возницы, который подобрал их под тем предлогом, что мне будет веселей ехать. И вот они оттеснили меня в самый задок телеги, отдавили мне ноги, курили вонючий табак и вдобавок тараторили как одержимые. Однако же я не променял бы моего тесного уголка на самое удобное место во французском дилижансе или в английском вагоне. Я был на родине!

Мы ехали четыре дня, и мне казалось, что я нахожусь в передвижной молельне. На каждой стоянке какой-нибудь пассажир исчезал и вместо него появлялся новый. Около Люблина мне свалился на спину тяжелый тюк; поистине чудо, что я не погиб. Под Куровом мы несколько часов простояли на шоссе, потому что пропал чей-то сундук и возчик верхом поехал разыскивать его в корчму. В довершение ко всему во время пути я чувствовал, что лежавшая у меня на ногах перина населена гуще, чем Бельгия.

На пятый день еще до восхода солнца мы остановились на Праге. Но подвод здесь скопилось столько, а понтонный мост был так узок, что лишь около десяти мы добрались до Варшавы. Должен прибавить, что все мои спутники на Беднарской улице испарились, как укусуемый эфир, оставив по себе весьма ощутительный запах. Когда, расплачиваясь с возницей, я упомянул об остальных пассажирах, он вытаращил глаза.

- Какие пассажиры? - вскричал он с изумлением. - Ваша милость - это пассажир, а то была просто мразь паршивая: даже часовой у заставы и тот с пары таких оборванцев считал по золотому на один паспорт. А ваша милость полагает, что это пассажиры!..

- Значит, не было никого? - спросил я. - Откуда же, черт побери, на мне столько блох?

- Может быть, от сырости. Разве я знаю? - ответил возчик.

Убежденный, таким образом, что, кроме меня, на подводе никого не было, я, разумеется, заплатил полностью за весь путь, и это до такой степени умилило моего возчика, что он спросил, где я собираюсь поселиться, и обещал каждые две недели снабжать контрабандным табаком.

- Сейчас, - тихо прибавил он, - у меня под сидением припрятано не меньше четырех пудов. Может, принести вашей милости фунтика три?

- Иди ко всем чертям! - проворчал я, хватая свой узелок, - недоставало только, чтобы меня арестовали за контрабанду!

Бегом направился я по улице, разглядывая город. После Парижа он показался мне грязным и тесным, а люди угрюмыми. Я легко отыскал магазин Яна Минцеля на Краковском Предместье, но при виде знакомых мест и вывесок сердце у меня так заколотилось, что я должен был минутку передохнуть.

Глянул я на магазин - ну точь-в-точь, как на Подвалье: на дверях жестяная сабля и барабан (может быть, тот самый, которым я любовался в детстве?), на витрине тарелки, лошадка и прыгающий казак... Кто-то приоткрыл дверь, и я увидел в глубине магазина под потолком пузыри с красками, сетку с пробками и даже чучело крокодила.

У окна, за прилавком, сидел в старом кресле Ян Минцель и дергал за шнурок казака.

Я вошел, дрожа, как осиновый лист, и встал против Яся. Увидев меня, он грузно поднялся с кресла (малый уж начал толстеть), прищурил глаза... И вдруг как гаркнет одному из посыльных мальчишек:

- Вицек!.. Живо беги к панне Малгожате и скажи ей, что свадьба сразу же после пасхи...

Потом протянул мне через прилавок обе руки, и мы долго обнимались, не говоря ни слова.

- Ну и колошматил ты немцев! Знаю, знаю, - шепнул он мне на ухо. Садись, - прибавил он, показав на стул. - Казек! Скачи к Grofirautter... Пан Жецкий приехал...

Я сел, и мы не могли проронить ни слова. Он горестно качал головой, я опустил глаза. Оба мы думали о бедняге Каце и о наших несбывшихся надеждах. Наконец Минцель шумно высморкался и, отвернувшись к окну, пробормотал:

- Ну, да что уж...

Вскоре вернулся запыхавшийся Вицек. Я заметил, что курточка юнца так и лоснится от жирных пятен.

- Был? - спросил его Минцель.

- Был. Панна Малгожата сказала: хорошо.

- Ты женишься? - спросил я у Яся.

- Фью!.. Ничего не поделаешь! - ответил он.

- А как себя чувствует Gros Mutter?

- Как всегда. Хворает только, когда кто-нибудь разобьет ее кофейник.

- А Франц?

- Не напоминай мне об этом мерзавце, - передернулся Ян Минцель. - Вчера я поклялся, что ноги моей больше у него не будет...

- Чем же он обидел тебя?

- Это прусское отродье постоянно издевается над Наполеоном! Говорит, что он нарушил присягу, данную республике, что он фигляр, которому ручной орел нагадил в шляпу... Нет, нет, - твердил Ян, - я его видеть не могу!

Во время нашей беседы двое мальчишек и приказчик отпускали товар покупателям, на которых я не обращал ни малейшего внимания. Вдруг скрипнули задние двери, и из-за шкафов выглянула старушка в желтом платье, с кофейником в руках.

- Gut Morgen, meine Kinder! Der Kaffee ist schon... Я бросился к ней и поцеловал ее сухие ручки, не в силах вымолвить ни слова.

- Игнац... Herr Jesus! Игнац!.. - вскричала она, обнимая меня. - Wo bist du so lange gewesen, lieber Ignaz?*

* Иисусе! Где это ты так долго пропадал, милый Игнац? (нем.)

- Ну, Gros Mutter, вы же знаете, что он был на войне. Чего же спрашивать, где он был? - вмешался Ян.

- Herr Jesus! Aber du hast noch keinen Kaffee ge-trunken?*

* Иисусе! Но ты еще, наверное, не пил кофе? (нем.)

- Конечно, не пил, - ответил Ян от моего имени.

- Du lieber Gott! Es ist schon zehn Uhr...* - Она налила мне кружку кофе, вручила три свежие булки и, по обыкновению, исчезла.

* Боже мой! Ведь уже десять часов... (нем.)

Тут с треском распахнулись входные двери, и в магазин вбежал Франц Минцель; он был еще толще и краснее, чем брат.

- Как поживаешь, Игнаций? - закричал он, хватая меня в объятия.

- Не целуйся ты с этим болваном, опозорившим весь минцелевский род, сказал мне Ян.

- Ой-ой-ой! Подумаешь - род! - отозвался со смехом Франц. - Отец наш приехал сюда с пустой сумой за плачами...

- Я с вами не разговариваю! - гаркнул Ян.

- Да и я не вам говорю, а Игнацию, - возразил Франц. - А наш дядюшка, продолжал он, - был такая заядлая немчура, что вылез из гроба за ночным колпаком, который ему позабыли положить...

- Вы оскорбляете меня в моем собственном доме! - закричал Ян.

- Я пришел не к вам в дом, а в магазин, за покупками... Вицеком, обратился Франц к мальчишке, - дай мне пробок на грош... Только заверни в бумагу. До свиданья, милый Игнаций, загляни ко мне сегодня вечером, поболтаем за стаканчиком доброго вина. А может, и этого господина прихватишь с собой, - прибавил он уже с улицы, показывая пальцем на посиневшего от ярости Яна.

- Ноги моей не будет у подлого немца! - крикнул Ян.

Тем не менее вечером мы оба сидели у Франца.

Замечу мимоходом, что не проходило недели, чтобы Минцели не поссорились и не помирились по крайней мере раза два. И, что любопытнее всего, стычки их никогда не происходили по причинам материального характера. Напротив, при всех своих разногласиях братья всегда давали друг другу поручительства, одалживали деньги и взаимно уплачивали долги. Причины раздоров коренились в различии их натур.

Ян Минцель был человек восторженный и романтический, Франц - спокойный и язвительный; Ян был ярый бонапартист, Франц - республиканец и непримиримый враг Наполеона III. Наконец, Франц Минцель признавал свое немецкое происхождение, тогда как Ян торжественно уверял, будто Минцели происходят от древнего польского рода Ментусов, которые в старину, не то при Ягеллонах, не то немного позже, поселились среди немцев.

Довольно было одной рюмки вина, чтобы Ян Минцель принялся стучать кулаком по столу или по спинам своих соседей.

- В моих жилах течет древняя польская кровь... Не может быть, чтобы меня родила немка!.. Впрочем, у меня есть документы...

И он показывал лицам, заслуживающим особого доверия, два старых свидетельства, одно из которых принадлежало некоему Модзелевскому, варшавскому купцу времен шведского нашествия, а другое - Миллеру, поручику костюшковских войск. Что было общего между этими личностями и семействами Минцелей - этого я не знаю и по сей день, хоть объяснения слышал неоднократно.

Даже по поводу свадьбы Яна между братьями вспыхнула ссора, ибо Ян для сего торжественного случая припас малиновый кунтуш, желтые сапоги и саблю, а Франц заявил, что не допустит подобного скоморошества во время венчания, хотя бы ему даже пришлось подать жалобу в полицию. Ян поклялся, что убьет доносчика, если тот попадется ему на глаза, и к свадебному ужину облачился в одежды своих предков Ментусов. А Франц был и на венчании и на свадьбе, и хоть с братом не разговаривал, зато до полусмерти закружил в танцах его жену и чуть не до смерти упился его вином.

Не обошлось без скандала даже накануне кончины Франца, который умер в 1856 году от карбункула. В последние три дня жизни Франца оба брата дважды проклинали и отрекались друг от друга самым торжественным образом. Несмотря на это, Франц все свое состояние завещал Яну, а Ян несколько недель тяжело хворал от горя и половину наследства (около двадцати тысяч злотых) переписал на имя каких-то трех сироток, о которых, сверх того, заботился до конца своей жизни.

Да, странная это была семья!

Однако же опять я отклонился от предмета: собирался писать о Вокульском, а пишу о Минцелях. Если бы не моя бодрость, я мог бы себя заподозрить в болтливости, которая, как известно, является признаком приближающейся старости.

Я уже говорил, что многого в поведении Стася Вокульского не понимаю, и всякий раз мне хочется спросить: к чему все это?

Так вот, когда я вернулся в магазин Минцеля, мы почти каждый вечер собирались наверху, у Grosmitter: Ян и Франц Минцели, а иногда и Малгося Пфейфер.

Малгося с Яном усаживались в нише у окна и, держась за руки, глядели на небо; Франц пил пиво из большой кружки с цинковой крышкой, старушка вязала чулок, а я повествовал о годах, проведенных мною за границей. Чаще всего, разумеется, речь шла о тоске по родине, о тяготах солдатского житья или о битвах. В такие минуты Франц выпивал двойную порцию пива, Малгося прижималась к Яну (ко мне никто так не прижимался), а Grosmitter спускала петли со спицы. Когда я кончал свой рассказ, Франц громко вздыхал, развалился на диване, Малгося целовала Яна, Ян Малгосю, а старушка, трясая головой, говорила: "Jesas, Jesas! Wie ist das fchreklich... Aber sag mir, lieber Ignaz, wozu also bist du nach Ungarn gegangen?"*

* Иисусе! Иисусе! Как это ужасно... Но скажи мне, милый Игнац, зачем тебе было ездить в Венгрию? (нем.)

- Да вы же знаете, Grosmitter, что он поехал в Венгрию на войну! нетерпеливо прерывал ее Ян.

Но старушка все удивлялась и качала головой, бормоча себе под нос:

- Der Kaffee war ja immer gut, und zu Mittag hat er sich doch immer vollgegessen... Warum hat er denn das getan?*

* Ведь кофе был всегда хорош, и за обедом он ел вдосталь... Зачем же он это сделал? (нем.)

- Ох! Вы, Grosmitter, только и думаете о кофе да об обеде, - возмущался Ян.

Даже когда я рассказал о последних минутах и страшной смерти Каца, старушка хотя и всплакнула - впервые за все время, что я ее знал, - но тем не менее, утерев глаза и снова принявшись за свой чулок, прошептала:

- Merkwurdig!* Der Kaffee war ja immer gut, und zu Mittag hat er sich doch immer vollgegessen... Warum hat er denn das getan?

* Удивительно! (нем.)

Так и я теперь ежечасно говорю о Стасе Вокульском. После смерти жены остался у него верный кусок хлеба, - зачем ему было ехать в Болгарию? Далее. Там он сколотил такое состояние, что мог бы и магазин закрыть, - зачем он расширяет его? Новый магазин приносит огромные прибыли, - зачем он вступает в какие-то компании?

Зачем он снял для себя роскошную квартиру? Зачем купил экипаж и лошадей? Зачем старается сблизиться с аристократией и сторонится купцов, которые ему простить этого не могут?

А с какой целью помогает он возчику Высоцкому и его брату, железнодорожному стрелочнику? Зачем он нескольким бедным подмастерьям помог открыть мастерские? Зачем заботится он даже о распутной женщине, которая хоть и живет у монашек, однако сильно вредит его репутации?

А до чего он хитер!.. Я на бирже узнал о покушении Геделя; возвращаюсь в магазин и, глядя ему прямо в глаза, говорю:

- Знаешь, Стась, некий Гедель стрелял в императора Вильгельма.

А он, как ни в чем не бывало, отвечает:

- Сумасшедший.

- Но этому сумасшедшему, - говорю я, - голову снимут.

- И правильно, - отвечает он, - не будет плодить сумасшедших.

И хоть бы один мускул дрогнул у него в лице - ничего! Я остолбенел при виде подобного хладнокровия.

Дорогой мой Стась, ты хитер, да и я не прост и знаю куда больше, чем ты думаешь, только то мне горько, что нет у тебя ко мне доверия. А совет старого друга и солдата мог бы уберечь тебя не от одной ошибки и даже от пятна...

Впрочем, зачем мне тут высказывать свое мнение, - пусть за меня говорит ход событий.

В начале мая мы переехали в новый магазин, который состоит из пяти огромных залов. В первом зале, налево от входа, продаются только русские ткани: ситец, миткаль, шелк и бархат. Второй зал наполовину занят теми же тканями, а в другой половине помещаются предметы туалета: шляпы, воротнички, зонтики, галстуки. В главном зале, прямо против входа, - предметы роскоши: бронза, майолика, хрусталь, слоновая кость. Рядом, направо, - игрушки, а также деревянные и металлические вещи, и в последнем зале - резиновые и кожаные изделия.

Это я по своему усмотрению так разместил: не знаю, правильно ли, но бог свидетель, что я старался сделать как можно лучше. Наконец спросил я у Стася Вокульского, каково его мнение об этом, но вместо ответа он только пожал плечами и усмехнулся с таким видом, словно хотел сказать: "А мне какое дело?"

Странный человек! Придет ему в голову гениальный план, он осуществит его в общих чертах, а детали его совершенно не интересуют. Он велел перевести магазин в новое помещение, сделал его средоточием торговли русскими тканями и заграничной галантереей, нанял служащих. Но, сделав это, сразу перестал вмешиваться в дела магазина: ездит с визитами к знатым господам, катается в собственном экипаже в Лазенковском парке или вдруг исчезает бесследно, а в магазин является всего на два-три часа в день. Притом он все время как-то рассеян, взволнован, словно чего-то ждет или опасается.

Но какое это золотое сердце!

Со стыдом признаюсь, что мне было немножко неприятно переезжать в новое помещение. С магазином еще полбеды; я, конечно, предпочитаю служить в огромном заведении на манер парижских, чем в такой лавчонке, как наш прежний магазин. Но мне жаль было расставаться с комнатой, в которой я прожил двадцать пять лет. Поскольку контракт наш был действителен до июля, я до середины мая сидел у себя в комнате, поглядывая то на стены, то на решетку, которая напоминала мне приятнейшие минуты, проведенные в Замостье, то на старую мебель.

"Как я все это сдвину с места, как буду перевозить, боже ты мой?" думал я.

И вот однажды, в начале мая (в то время как раз стали распространяться слухи самого мирного свойства), перед закрытием магазина, подходит ко мне Стась и говорит:

- Ну, что же, старина, пора бы переезжать на новую квартиру.

Я почувствовал себя в эту минуту так, как будто вся кровь из меня вытекла, а он продолжает:

- Пойдем-ка посмотрим квартиру, которую я снял для тебя в этом доме.

- Как это снял? - спрашиваю я. - Ведь нужно договориться с хозяином о цене.

- Уже все оплачено, - отвечает он. Берет меня под руку и через задние двери магазина ведет в сени.

- Постой, - говорю я, - это помещение занято...

А он вместо ответа открывает дверь. Вхожу... Честное слово - гостиная, мебель обита utrechtским бархатом, на столах альбомы, на окнах майолика... У стены книжный шкаф.

- Вот тебе, - говорит Стась, показывая книжки в роскошных переплетах, три истории Наполеона Первого, жизнеописания Гарибальди и Кошута, история Венгрии...

Книжками я остался весьма доволен, но гостиная, признаюсь, произвела на меня неприятное впечатление. Стась заметил это и, улыбнувшись, вдруг распахнул другую дверь.

Боже милостивый!.. Да ведь вторая комната - точь-в-точь как моя старая, в которой я прожил двадцать пять лет! Зарешеченное окно, зеленая занавеска, мой черный стол... А у стены напротив моя железная кровать, двустволка и футляр с гитарой...

- Как, - спрашиваю я, - значит, мои вещи уже перенесли?

- Да, - отвечает Стах, - перенесли все до последнего гвоздика, даже подстилку для Ира.

Может, кому-нибудь это и покажется смешным, но у меня слезы навернулись... Я смотрел на его суровое лицо, грустные глаза, и мне трудно было поверить, что в этом человеке столь велика прозорливость и деликатность чувств. Если бы еще я хоть когда-нибудь ему намекнул... Но он сам угадал, что я буду тосковать по прежнему своему жилью, и позаботился о том, чтобы перенесли мою рухлядь.

Счастлива была бы женщина, на которой бы он женился! (У меня даже есть на примете подходящая партия...) Только он, должно быть, не женится. В голове у него бродят всевозможные чудные мысли, но, увы, не о супружестве... Сколько солидных особ уже приходило к нам в магазин - якобы за покупками, а на самом деле, чтобы Стася сватать, и все ни к чему.

Взять хотя бы пани Шперлингову - у нее тысяч сто наличными и винокурный завод. Чего-чего она не накупила у нас, а все только затем, чтобы спросить у меня:

- Что, пан Вокульский не собирается жениться?

- Нет, сударыня...

- Жаль, - говорит пани Шперлингова, вздыхая. - Прекрасный магазин, большое состояние, да только пропадет все это... без хозяйки. Нашел бы себе пан Вокульский женщину солидную, с капиталом, так и кредит бы его упрочился.

- Золотые ваши слова, - отвечаю я.

- Адье, пан Жецкий, - говорит она (и платит в кассу двадцать, а то и пятьдесят рублей). - Только не вздумайте передавать пану Вокульскому, что я упоминала о супружестве. Еще, чего доброго, он подумает, будто старая баба охотится за ним. Адье, пан Жецкий...

- Как же, не премину передать ему...

А сам думаю: "Ну, будь я Вокульским, в ту же минуту женился бы на этой богатой вдовушке. Как она сложена, Herr Jesus!"

Или вот Шметерлинг, кожевник. Всякий раз, как я оплачиваю его счета, он заговаривает со мной:

- А не думает ли, того, сударь, пан Вокульский, того, жениться?.. Мужик он, того, горячий, затылок у него прямо бычий... Разрази меня гром, ежели бы я ему дочку, того, не отдал, а в приданое не дал бы в год тысяч на десять, того, рублей товару... Ну?..

Или еще советник Вронский. Небогатый, тихонький такой, а чуть не каждую неделю покупает у нас что-нибудь вроде пары перчаток и при этом всякий раз говорит:

- Да как же тут не погибать Польше, бог ты мой, если такие, как Вокульский, не женятся! Даже в приданом, бог ты мой, человек не нуждается; значит, мог бы подыскать себе барышню, которая, бог ты мой, и на фортепьянах, и хорошая хозяйка, и языки знает...

Подобные сваты десятками являются к нам в магазин. Иные маменьки, тетушки либо папеньки попросту приводят к нам барышень на выданье. Маменька, тетушка либо папенька покупает что-нибудь на рубль, а тем временем барышня прохаживается по магазину, то присядет, то подбоченится, чтобы показать свою фигуру, то правую ножку выставит, то левую, то ручку поднимет... И все затем, чтобы поймать Стаха, а его либо и в магазине-то нет, либо сидит он себе и даже на товар не смотрит, словно хочет сказать: "Оценкой товара занимается пан Жецкий".

Вообще-то говоря, кроме семейств, где имеются взрослые дочери, а также вдовы и девицы на выданье, которые, кажется мне, отвагой своей заткнули бы за пояс венгерскую пехоту, бедный мой Стах нигде не пользуется симпатией. И не мудрено: против него ополчились все мануфактурные фабриканты и все купцы, продающие их товары.

Однажды в воскресенье зашел я в ресторанчик позавтракать (что случается со мной очень редко). Рюмка анисовки с куском селедки у стойки да за столиком порция рубцов и четвертинка портера - вот и весь мой пир. Заплатил я за это удовольствие меньше рубля, зато уж дыму наглотался и уж наслушался... Хватит на добрых несколько лет!

В комнате, где мне подали рубцы, было душно и темно, как в коптильне. Неподалеку за одним столом сидело шестеро посетителей, все люди откормленные и хорошо одетые, надо полагать купцы, домовладельцы, а может, и фабриканты. По виду, у каждого тысячи три, а то и пять годового дохода. Поскольку ни я этих господ не знал, ни они меня, я не могу заподозрить их в преднамеренной каверзе. Однако, представьте, какова игра случая: как раз в ту минуту, когда я вошел в комнату, за столом шел разговор о Вокульском. По причине дыма я не мог разглядеть, кто говорил; к тому же сидел я, уставясь в тарелку, и не смел поднять глаз.

- Карьеру сделал! - говорил низкий голос. - Смолоду прислуживал таким, как мы, а под старость захотелось ему у знатных господ пятки лизать.

- Теперешние господа, - ввернул страдающий астмой субъект, - не больше его стоят. Разве в

прежние времена стали бы в графском доме принимать бывшего приказчика, разбогатевшего благодаря женитьбе!.. Курам на смех!

- Женитьба - пустяки, - возразил низкий голос, слегка поперхнувшись, выгодная женитьба - дело не зазорное. А вот миллионы, нажитые на военных поставках, от них, сударь мой, издали пахнет уголовщиной.

- Говорят, он не воровал, - вполголоса проговорил третий собеседник.

- В таком случае, у него миллионов нет, - рявкнул бас. - А в таком опять-таки случае, чего он нос задирает? Чего лезет в аристократию?

- Прошел слух, - вмешался еще кто-то, - будто он хочет учредить торговое общество из одних дворян.

- Ага... Чтобы их общипать, а потом улизнуть, - заметил астматик.

- Нет, - продолжал бас, - не отмыться ему от этих поставок даже своим серым мылом. Галантерейный торговец занимается поставками! Варшавянин едет в Болгарию!

- Ваш братец, инженер, ездил на заработки еще дальше, - отозвался тихий голос.

- Как же! - прервал его бас. - Может, он и ситчики из Москвы выписывал? Вот вам еще одно темное дело: он топит отечественную промышленность.

- Эх-хе-хе, - рассмеялся кто-то, доселе молчавший. - Это уж купца не касается. Купец на том и стоит, чтобы найти товар подешевле да продать его подороже. Не так ли? Эх-хе-хе!

- Во всяком случае, я бы ломаного гроша не дал за его патриотизм, отвечал бас.

- Однако, - вставил тихий голос, - кажется, Вокульский доказал не только на словах, что он патриот.

- Тем хуже! - прервал бас. - Доказал, когда был беден как церковная мышь, а как завелись денежки в кармане - сразу поостыл.

- Эх, и почему мы всегда кого-нибудь обвиняем в измене или воровстве? Нехорошо!.. - попрекнул тихий голос.

- Да чего вы его так защищаете?.. - спросил бас, с грохотом отодвинув стул.

- Защищаю, потому что достаточно наслышан о нем, - отвечал тихий голос. - У меня возит товары некий Высоцкий; он с голоду помирал, пока Вокульский не поставил его на ноги...

- На деньги, нажитые в Болгарии! Благотворитель!

- Другие, сударь мой, разбогатели за счет общественных фондов, и то ничего. Эх-хе-хе!

- Что ни говорите, это темная личность, - сказал в заключение астматик. - Мечется и за магазином не смотрит, ситчики ввозит, а теперь и дворянство, того и гляди, облапошит...

Тут половой подал им новые бутылки, а я потихоньку выскользнул из комнаты. В разговор я вмешиваться не стал, ибо, зная Стаха с малолетства, мог бы сказать им только два слова: "Подлецы вы!.."

И все это болтают в то самое время, когда я трепещу за его будущность, когда изо дня в день, вставая и ложась спать, я спрашиваю: "Что он делает? К чему? И что из этого получится?.." И все это болтают при мне, когда я только вчера видел собственными глазами,

как стрелочник Высоцкий повалился ему в ноги, благодаря за перевод в Скерневицы и денежную помощь.

Простой человек, а какая честная душа! Привез с собою десятилетнего сынишку и, показав ему Вокульского, сказал:

- Смотри, Петрек, и запомни: этот барин - великий наш благодетель... Ежели он когда-нибудь скажет, чтобы ты руку дал себе за него отрубить, отруби, и тогда все равно не отблагодаришь еще за все его милости...

Или, к примеру, девушка, которая пишет ему из монастыря: "Я вспомнила одну молитву, которую знала в детстве, и буду молиться за вас..."

Вот вам простые люди и падшие женщины; разве не больше у них благородных чувств, чем у нас, лощеных господ, хоть мы и трезвоним по всему городу о своих добродетелях, в которые к тому же сами не верим? Правильно делает Стась, что интересуется судьбою этих несчастных, хотя... мог бы интересоваться ими не с такою горячностью...

Ох! Как не нравятся мне его новые знакомства...

Помню, в начале мая входит к нам в магазин какая-то неопределенная личность (рыжие бакенбарды и гадкие глаза) и, положив на конторку свою визитную карточку, говорит ломаным языком:

- Прошу вас передавать пан Вокульский, я буду сегодня семь часов.

И больше ничего. Посмотрел я на карточку, читаю: "Вильям Коллинз, учитель английского языка..." Что за комедия! Не станет же Вокульский учиться английскому?

Однако я все понял, прочитав на следующий день телеграммы... о покушении Геделя.

Или другое знакомство - некая пани Мелитон, которая удостаивает нас своими посещениями со времени возвращения Стася из Болгарии. Бабенка тощая, невзрачная, мелет языком, что твоя мельница, но сразу чувствуешь, что эта лишнего не сболтнет. Влетает она однажды к нам в конце мая:

- Пан Вокульский в магазине? Наверное, нет, я так и думала... А вы пан Жецкий, не правда ли? Видите, я догадалась... Какой прелестный несессер... из оливкового дерева, я в этом знаю толк. Скажите пану Вокульскому, пусть он пришлет мне его на дом, адрес он знает, и - пусть завтра, к часу, приедет в Лазенки...

- Простите, в какие? - спросил я, возмущенный ее наглостью.

- Что за глупые шутки! Разумеется, в королевские. - отвечала эта дама.

И что же! Вокульский послал ей несессер и поехал в Лазенки. А вернувшись, сказал мне, что скоро в Берлине соберется конгресс по поводу окончания войны... И конгресс собрался!

Эта же дама является еще раз, если не ошибаюсь, первого июня.

- Ах! - восклицает она. - Какая прелестная ваза!.. Несомненно, французская майолика, я в этом знаю толк... Скажите пану Вокульскому, пусть он пришлет мне, и (прибавила она шепотом)... и... скажите ему еще, что послезавтра, к часу...

Когда она ушла, я сказал Лисецкому:

- Можете побиться об заклад, что послезавтра мы узнаем важную политическую новость.

- То есть третьего июня? - спросил он, усмехаясь.

Но представьте себе наши физиономии, когда пришла телеграмма о... покушении Ноблинга в Берлине... Я думал, меня кондрашка хватит; а Лисецкий с той поры перестал отпускать по моему адресу непристойные шуточки и, что хуже, то и дело допытывается у меня, что новенького в политике...

Право же, лестная репутация - страшное бедствие! Поверите ли, с той минуты, как Лисецкий начал обращаться ко мне как к человеку "осведомленному", я лишился сна и аппетита...

Что же должен испытывать бедный мой Стах, поддерживая постоянные сношения с упомянутым паном Коллинзом и с этой пани Мелитон!

Боже милосердый, храни нас!

Раз я уж так разболтался (ей богу, я становлюсь сплетником), то добавлю еще, что в нашем магазине замечается какое-то нездоровое брожение. Не считая меня, у нас теперь семь приказчиков (мог ли мечтать о чем-либо подобном старый Минцель!), но единства у нас нет, Клейн и Лисецкий, как старые служащие, держатся особняком и к остальным товарищам относятся не то что презрительно, но несколько свысока. А три новых приказчика: галантерейный, металлических изделий и резиновых - опять-таки дружат только между собою, в обращении же с другими натянуты и угрюмы. Правда, славный Земба, стремясь всех объединить, бегаёт от новых к старым и вечно их в чем-то убеждает, но у бедняги такая несчастливая рука, что после каждой его попытки оба лагеря только злее косятся друг на друга.

Вероятно, если бы наш первоклассный магазин (а он, несомненно, первоклассный!), так вот если бы он расширялся постепенно, если бы мы каждый год принимали по одному приказчику, новый человек растворялся бы среди старых и гармония бы не нарушалась. Но когда сразу прибавилось пять человек и один другому зачастую бывает помехой (ибо нельзя в такой короткий срок ни рассортировать должным образом товары, ни каждому точно определить круг его обязанностей), вполне естественно, что между ними возникают размолвки. Впрочем, чего ради я стану критиковать своего хозяина, который к тому же умнее всех нас.

В одном только сходятся все наши служащие, и старые и новые, и тут даже Земба их поддерживает, а именно - в преследовании седьмого приказчика, Шлангбаума. Этот Шлангбаум (я его давно знаю) хотя иудейского вероисповедания, но человек весьма порядочный. Маленький, черный, сутулый, волосатый - словом, если кто посмотрит на него, когда он сидит за конторкой, то и медного гроша за него не даст. Но стоит войти покупателю (Шлангбаум работает в отделе русских тканей) - господи Иисусе!.. - он так и завертится волчком; только что был на самой верхней полке справа, и вот уже он у нижнего ящика посередине, и в тот же миг опять где-то под потолком слева. А как примется он сбрасывать куски материи - кажется, будто это не человек, а паровая машина; да как начнет их развертывать да отмерять - кажется, что у него, бестии, по меньшей мере три пары рук. Притом он - прирожденный счетовод, а как начнет нахваливать товар да подсовывать покупателю то одно, то другое, каждому по его вкусу, и все это с превеликой важностью, - честное слово, куда там Мрачевскому! Жаль только, что он так мал и невзрачен; надо будет приставить к нему в помощь какого-нибудь глупого, но смазливого молодца - для дам. Правда, с красивым приказчиком дамы дольше засиживаются, зато не так привередничают и меньше торгуются.

(Но, своим чередом, избави нас бог от дамской клиентуры! Может быть, я потому и не решаюсь жениться, что постоянно наблюдаю дам в магазине.

Творец всего сущего, создавая чудо природы, именуемое женщиной, наверное не подумал о

том, каким это будет бедствием для купцов).

Так вот, Шлангбаум во всех отношениях хороший гражданин, но, несмотря на это, нелюбим всеми, ибо имеет несчастье быть иудеем...

Вообще вот уж с год, как я замечаю, что возрастает вражда к иудеям; даже те, кто еще несколько лет назад называл их поляками иудейского вероисповедания, теперь называют жидами! А те, кто еще недавно восхищался их трудолюбием, выносливостью и способностями, теперь видят только их страсть к наживе и жульничество.

Слыша об этом, я часто думаю, что над человечеством сгущается некий духовный мрак, подобный ночи. Днем все было красивым, радостным и хорошим; ночью все становится грязным и опасным. Так я про себя думаю, но молчу; ибо чего стоит суждение старого приказчика рядом с мнением прославленных публицистов, которые заявляют, что евреи употребляют на мацу христианскую кровь и что их следует ограничить в правах? Нет, иные взгляды насвистывали нам пули над головой - помнишь, Кац?

Такое положение вещей весьма своеобразно действует на Шлангбаума. Еще в прошлом году он назывался Шланговским, праздновал пасху и рождество Христово, и, наверное, ни один самый ревностный католик не съедал столько свиной колбасы, сколько он. Помню, как-то раз в кондитерской его спросили:

- Как? Вы, Шланговский, не любите мороженого?

Он ответил:

- Я люблю только колбасу, но без чеснока. Чеснок я терпеть не могу.

Он вернулся из Сибири вместе со Стахом и доктором Шуманом и сразу поступил приказчиком в христианский магазин, хотя еврейские купцы предлагали ему лучшие условия. С тех пор он все время работал у христиан, и только в этом году его уволили со службы.

В начала мая он впервые обратился к Стаху с просьбой. На этот раз он горбился больше обычного, и глаза у него были краснее, чем всегда.

- Стах, - сказал он беспомощно, - я погибну на Налевках{193}, если ты меня не приютишь.

- Почему же ты сразу не пришел ко мне? - спросил Стах.

- Не посмел... Боялся, что скажут: еврей обязательно всюду вотрется. Да я и сейчас бы не пришел, если бы не мысль о детях.

Стах пожал плечами и тут же принял Шлангбаума, положив ему полторы тысячи рублей в год.

Новый приказчик сразу приступил к работе, а полчаса спустя Лисецкий проворчал, обращаясь к Клейну:

- Что это нынче, черт возьми, у нас чесноком пахнет?

А еще четверть часа спустя, не знаю уж по какому поводу, прибавил:

- И как эти каналы стараются пролезть на Краковское Предместье! Мало им, пархатым, Налевок или Свентоерской!

Шлангбаум смолчал, только его красные веки дрогнули.

К счастью, эти насмешки слышал Вокульский. Он встал из-за стола и сказал тоном, который

я, признаться, у него не люблю:

- Послушайте... пан Лисецкий! Пан Генрик Шлангбаум был моим товарищем в то время, когда мне приходилось совсем плохо. Так, может быть, вы позволите ему дружить со мною сейчас, когда дела мои несколько поправились?

Лисецкий растерялся, чувствуя, что его собственная должность повисла на волоске. Он поклонился и что-то пробормотал, а Вокульский подошел к Шлангбауму, обнял его и сказал:

- Милый Генрик, не принимай близко к сердцу эти колкости: мы тут все по-приятельски задираем друг друга. И заявляю тебе, что если когда-нибудь ты покинешь этот магазин, то разве только вместе со мною.

Положение Шлангбаума сразу определилось: сейчас скорее мне скажут что-нибудь такое (даже и нагрубят), чем ему. Но разве есть какое-нибудь средство против недомолвок, гримас и косых взглядов? А все это отравляет жизнь бедняге; иногда он говорит мне, вздыхая:

- Ох, если бы я не боялся, что дети мои вырастут еврейскими париями, давно бы я сбежал отсюда на Налевки...

- А почему бы вам, пан Генрик, попросту не креститься?

- Несколько лет назад я, может, и сделал бы это, но не сейчас. Сейчас я понял, что как еврей я ненавистен только христианам, а как выкрест стал бы противен и христианам и евреям. Надо ведь с кем-нибудь жить в мире. К тому же, - прибавил он тише, - у меня пятеро детей и богатый отец, у которого я единственный наследник.

Любопытная вещь. Отец Шлангбаума ростовщик, а сын не хочет брать у него ни гроша и мыкается по магазинам приказчиком.

Часто говорил я о нем с глазу на глаз с Лисецким.

- За что, - спрашивал я, - вы его травите? Ведь в доме у него все заведено по-христиански, он даже елку устраивает для детей.

- Все это он делает, ибо полагает, что выгоднее кушать мацу с колбасой, чем без колбасы.

- Но он был в Сибири, рисковал...

- Чтобы обделать свои делишки. Ради того же он называл себя Шланговским, а теперь опять стал Шлангбаумом, когда его старик заболел астмой.

- Вы же сами издевались над ним, говоря, что он рядится в чужие перья, вот он и взял опять прежнюю фамилию.

- За что получит после смерти отца тысяч сто.

Тут и я пожал плечами и замолчал. Называться Шланговским - плохо, Шлангбаумом - тоже плохо; плохо быть евреем, плохо и выкрестом... Спускается ночь, темная ночь, и все становится серым и подозрительным.

А от всего этого страдает Стах. Мало того что он взял на службу Шлангбаума, так еще снабжает товарами еврейских купцов и нескольких евреев принял в свое торговое общество. Наши подняли крик, грозятся; ну, да он не из робкого десятка. Уперся и не уступит, хоть в огне его жги.

Чем только все это кончится, боже милосердый...

Да, вот что! Все время уклоняюсь я от предмета и упустил несколько весьма важных деталей. Я имею в виду Мрачевского, который с некоторых пор либо нечаянно нарушает мои планы, либо сознательно вводит меня в заблуждение.

Этот молодой человек получил у нас расчет за то, что в присутствии Вокульского слегка прошелся по адресу социалистов. Однако потом Стах поддался уговорам и сразу после пасхи послал Мрачевского в Москву, даже повысив ему жалованье.

Не раз по вечерам размышлял я, что означает эта поездка, вернее ссылка.

Но когда три недели спустя Мрачевский приехал из Москвы, чтобы забрать у нас товары, я сразу понял планы Стаха.

С внешней стороны молодой человек мало изменился: по-прежнему за словом в карман не полезет, так же красив, может только немножко побледнел. Москва, говорит, ему понравилась, особенно тамошние женщины, у которых нашел он больше живости и огня и к тому же меньше предрассудков, нежели у наших. Я тоже считаю, что во время моей молодости у женщин было меньше предрассудков, чем сейчас.

Все это - только вступление. Главное - то, что Мрачевский привез с собой трех весьма подозрительных субъектов, которых он называет "прыкащиками", а также целую кипу каких-то брошюрок. Оные "прыкащики" якобы должны были с чем-то ознакомиться у нас в магазине, однако делали это так, что никто их у нас и не видал. По целым дням таскались они по городу и, готов поклясться, подготавливали почву для какой-то революции. Однако, заметив, что я с них глаз не спускаю, они всякий раз, являясь в магазин, прикидывались пьяными, а со мною беседовали исключительно о женщинах, утверждая, в противоположность Мрачевскому, что польки - это "сама прелесть", только слишком похожи на евреек.

Я делал вид, будто верю их рассказам, и благодаря ловко поставленным вопросам убедился, что подробнее всего они ознакомились с кварталами возле цитадели.^{195} Следовательно, именно там у них были дела. А что догадки мои небезосновательны, доказал тот факт, что оные "прыкащики" обратили на себя внимание полиции. За десять дней их трижды - не больше, не меньше! отводили в участок. Видимо, однако, у них имеются какие-то высокие связи, и их отпустили.

Когда я сообщил Вокульскому о своих подозрениях насчет "прыкащиков", он только усмехнулся и отвечал:

- То ли еще будет...

Из этого я делаю заключение, что Стах, должно быть, крепко связан с нигилистами.

Можно себе представить мое изумление, когда, пригласив к себе на чашку чая Клейна и Мрачевского, я убедился, что Мрачевский стал еще более рьяным социалистом, чем Клейн... Тот самый Мрачевский, который потерял у нас службу за то, что ругал социалистов... От удивления я весь вечер рта не мог раскрыть; Клейн потихоньку радовался, а Мрачевский разглагольствовал.

Отроду не слыхал ничего подобного! Этот молокосос доказывал мне, ссылаясь на якобы весьма мудрых людей, что все капиталисты - преступники, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, что фабрики, шахты и машины должны быть общественной собственностью, что бога нет и души тоже нет, а выдумали ее ксендзы, чтобы выманивать у людей десятину. Он говорил еще, что когда произведут революцию (он с тремя "прыкащиками"), то все мы будем работать только восемь часов в день, а остальное время сможем развлекаться, но, несмотря на это, каждому под старость будет обеспечена пенсия и бесплатные похороны. А в заключение заявил, что лишь тогда наступит рай на земле, когда

все будет общее: земля, здания, машины и даже жены.

Поскольку я холостяк (и даже, как некоторые утверждают, старый холостяк) и пишу этот дневник без всякого лицемерия, то, признаюсь, подобная идея об общих женах мне отчасти понравилась. Скажу даже, что я почувствовал некую симпатию к социализму и социалистам... Но зачем им непременно революция, когда и без нее люди имели общих жен?

Таковы были мои размышления; но тот же Мрачевский отбил у меня вкус к своим теориям и одновременно сильно расстроил мои планы.

Замечу мимоходом, что я всею душою хотел бы, чтобы Стась женился. Будь у него жена, он уже не мог бы так часто совещаться с Коллинзом и с пани Мелитон, а если бы у них еще и дети пошли, то он, возможно, порвал бы все подозрительные связи. Подумать только, куда это годится, чтобы такой человек, как он, настоящий солдат по натуре, связывался с людьми, которые как-никак не выступают на поле боя с поднятым забралом! Венгерская пехота да, впрочем, любая пехота - не стала бы стрелять в безоружного противника. Но времена меняются.

Итак, я бы очень хотел, чтобы Стах женился, и, мне думается, я подыскал ему подходящую партию. В наш новый магазин часто заходит (да и в старом тоже бывала) одна особа удивительной красоты. Шатенка, серые глаза, дивные черты лица, осанка статная, а ручки и ножки - само изящество!.. Видел я однажды, как она сходила с пролетки, и, признаться, меня даже в жар бросило от того, что я увидел... Ах, вот была бы утеха для моего Стаха, - и полненькая в самый раз, и губки как вишенки... А что за бюст! Когда она входит без пальто, в одном платье, мне кажется, что это ангел слетел с неба, сложив на груди свои крылышки.

Кажется, она вдова, во всяком случае я никогда ее не видел с мужем, а всегда только с маленькой дочуркой Элюней, прелестной, как конфетка. Если бы Стах женился на этой даме, ему пришлось бы сразу порвать с нигилистами, ибо все время, свободное от ухаживаний за женой, он ласкал бы ее милое дитя. Ну, при такой женушке немного бы досуга у него оставалось.

Я уже составил полностью план и обдумывал, каким бы это образом познакомиться с этой дамой, а потом представить ей Стаха, как вдруг черт принес из Москвы Мрачевского. Вообразите мое возмущение, когда на следующий же день по приезде этот щеголь входит к нам в магазин с моей вдовушкой! А уж как он увивался вокруг нее, как закатывал глаза, как старался предупредить ее желания!.. Счастье, что я не толстяк, потому что иначе при виде его наглого волокитства меня, наверное, хватил бы апоплексический удар.

Когда он через несколько часов снова зашел в магазин, я спросил его с самым равнодушным видом, кто эта дама.

- Что, понравилась вам? - спрашивает он, бесстыдно подмигивая, и прибавил: - Шампанское, а не женщина! Только напрасно вы разлакомились, она по мне с ума сходит... Ах, сударь мой, какой темперамент, какое тело... А если бы вы видели, как она мила в лифе...

- Мне кажется, пан Мрачевский... - сурово возразил я.

- Я ведь ничего не сказал, - ответил он, потирая руки, как мне показалось, весьма плотоядно.
- Я ничего не сказал... Наивысшая добродетель в мужчине, пан Жецкий, это скромность, особенно при более близких отношениях...

Я оборвал его, чувствуя, что, если этот молокосос станет продолжать в том же тоне, я буду вынужден выразить ему свое презрение. Ну и времена, ну и люди! Да если бы я имел счастье обратить на себя внимание какой-нибудь дамы, то не осмелился бы даже думать об этом, а не то что болтать на весь магазин, да еще такой большой, как наш.

А когда вдобавок Мрачевский выложил мне свою теорию об общих женах, мне сразу пришло в голову:

"Стах нигилист и Мрачевский нигилист... Если первый женится, то второй не замедлит предъявить свои нравы на его жену... А ведь жаль такой женщины для какого-то Мрачевского!"

В конце мая Вокульский решил освятить наш новый магазин. При этой okazji я наблюдал, как изменились нравы.

Во времена моей молодости купцы тоже святили лавки, заботясь о том, чтобы церемонию совершал почтенный и благочестивый ксендз, чтобы была настоящая святая вода, новое кропило и сильный в латыни органист. А по окончании обряда, во время которого кропили и освящали чуть ли не каждый шкаф и чуть не все товары, на пороге лавки прибывали подкову для привлечения покупателей и лишь тогда принимались за закуску, состоявшую обычно из колбасы, рюмки водки и пива.

Теперь же (что сказали бы на это ровесники старого Минцеля?) прежде всего спрашивают: сколько потребуются поваров и лакеев? Потом: сколько заказать шампанского и венгерского? И еще: какой приготовить обед? Сейчас обед - самая важная часть торжества, поскольку и приглашенные интересуются не тем, кто будет святить, а что подадут к столу.

Накануне церемонии влетел к нам в магазин какой-то коротенький потный субъект, у которого - так и не сумею сказать - то ли воротничок испачкался о шею, то ли наоборот. Он вытащил из потертого пиджачишки толстый блокнот, надел на нос замусоленное пенсне и принялся расхаживать по комнатам с таким видом, что я просто встревожился.

"Что это, черт побери, думаю, неужто кто-нибудь из полиции, или, может, судебный исполнитель описывает нашу подвижность?"

Дважды подходил я к нему, намереваясь как можно вежливее спросить, что ему угодно. В первый раз он буркнул: "Прошу не мешать мне", - а во второй раз бесцеремонно оттолкнул меня.

Изумление мое возросло, когда я увидел, что некоторые из наших кланялись ему чрезвычайно любезно, потирая при этом руки, словно по меньшей мере он был директором банка, и давали ему все требуемые объяснения.

"Ну, - сказал я себе, - не похоже, чтобы этот горемыка был из страхового общества, туда не принимают таких оборванцев..."

Наконец Лисецкий шепнул мне, что господин этот-очень известный репортер и что он напишет про нас в газетах. У меня потеплело на сердце при мысли, что я, быть может, увижу в печати свою фамилию, которая доселе только однажды фигурировала в "Полицейской газете", когда я потерял сберегательную книжку. В тот же миг я заметил, что в этом человеке все было величественно: большая готова, большой блокнот, даже заплатка на левом сапоге отличалась необычайными размерами.

А он все ходил да ходил по комнатам, надутый как индюк, и все писал да писал... Но вот он заговорил:

- Не было ли у вас недавно какого-нибудь происшествия? Небольшого пожара, кражи, злоупотребления, скандала?..

- Боже упаси! - осмелился я заметить.

- Жаль, - отвечал он. - Лучшей рекламой для магазина было бы, если бы, скажем, кто-нибудь

здесь повесился.

Я перепугался, услышав такое пожелание.

- Ваша милость, - робко заметил я, кланяясь, - не соизволите ли выбрать себе какую-нибудь вещичку, так мы безо всяких отошлем на дом...

- Взятка?.. - спросил он, взглянув на меня свысока, будто статуя Коперника. - Мы имеем обыкновение покупать то, что нам нравится, - прибавил он, - а подарков ни от кого не берем.

Он надел посреди магазина свою засаленную шляпу и, сунув руки в карманы, вышел вон, как министр. Даже с другой стороны улицы была видна заплатка на его сапоге.

Но возвращаюсь к церемонии освящения.

Главное торжество, то есть обед, состоялось в большом зале Европейской гостиницы. Зал был убран цветами, столы составлены в форме огромной подковы, был заказан оркестр, и в шесть часов вечера собралось более полутора ста человек. Кого-кого там только не было! Главным образом купцы и фабриканты из Варшавы, из провинции, из Москвы - да что! Даже из Вены и Парижа! Пожаловали также два графа, один князь и изрядное количество помещиков. О напитках и говорить нечего, ибо неизвестно, чего было больше - листьев ли на растениях, украшавших зал, или бутылок.

Удовольствие это обошлось нам более чем в три тысячи рублей, зато зрелище такого множества обедающих было поистине внушительно. Когда же в наступившей тишине встал князь и выпил за здоровье Стася, когда заиграл оркестр не помню уж что, но очень миленькую вещицу и сто пятьдесят человек гаркнули: "Да здравствует!" - у меня на глазах выступили слезы. Я подбежал к Вокульскому и, обняв его, прошептал:

- Видишь, как все тебя любят...

- Не меня, а шампанское, - ответил он.

Я заметил, что тосты его ничуть не трогают, он даже не повеселел, хотя один из ораторов (наверно, писатель, потому что болтал долго и без всякого смысла) сказал - не знаю только о себе или о Вокульском, - что это прекраснейший день в его жизни.

Заметил я также, что Стах больше всего льнет к пану Ленцкому, который, говорят, до своего банкротства бывал при европейских дворах... Вечно эта несчастная политика!..

Вначале пиршество протекало весьма торжественно; то и дело кто-нибудь из гостей брал слово и говорил, говорил, словно хотел языком отработать за выпитые вина и съеденные блюда. Но чем больше пустых бутылок убирали со стола, тем быстрее улетучивалась из этого собрания торжественность, а под конец поднялся такой невообразимый гам, что он заглушил оркестр, игравший рядом.

Я был зол как черт, и мне захотелось выругать кого-нибудь, хотя бы Мрачевского. Однако, отведя его в сторонку, я только и мог сказать:

- И для чего все это?..

- Для чего?.. - переспросил он, уставясь на меня осоловелыми глазами. А для панны Ленцкой...

- Да вы рехнулись! Что для панны Ленцкой?..

- Ну... все эти торговые общества... и магазин... и обед... Все для нее... Из-за нее же я из

магазина вылетел... - лепетал Мрачевский, опираясь на мое плечо, так как уже не держался на ногах.

- Что? - говорю я, видя, что он совершенно пьян. - Из-за нее вы из магазина вылетели, так, может быть, из-за нее же вы и в Москву попали?

- Ясное... ясное дело! Она только замолвила словечко, одно... маленькое словечко... и я получил на триста рублей больше в год... Рыбка делает с нашим стариком все, что ей вздумается.

- Ступайте-ка спать, - сказал я.

- А вот и не пойду я спать!.. Я пойду к моим друзьям... Где мои друзья? Они бы скорее управились с этой рыбкой... не водила бы она их за нос, как нашего... Где они, где мои друзья? - заорал он во все горло.

Разумеется, я велел отвести его наверх, в номер. Однако же смекнул, что он прикинулся пьяным, чтобы меня одурачить.

К полуночи зал был похож не то на мертвецкую, не то на больницу: то и дело приходилось кого-нибудь тащить в номер или на пролетку. Наконец я разыскал доктора Шумана, который был почти трезв, и увел его к себе напоить чаем.

Доктор Шуман - тоже иудей, но это необыкновенный человек. Он даже собирался креститься, оттого что влюбился в христианку, только она умерла, и он бросил эту затею. Говорят, он даже травился с горя, однако его спасли. Сейчас он никого не лечит и, имея порядочное состояние, занимается какими-то исследованиями не то людей, не то их волос. Сам он маленький, желтый, а взгляд у него такой пронизательный, что трудно от него что-нибудь утаить. Со Стахом они давнишние друзья, и, я полагаю, он должен знать все его тайны.

После этого шумного обеда я как-то весь растревожился и надеялся вызвать Шумана на откровенный разговор. Если он и сегодня ничего мне не расскажет о Стахе, то я, верно, никогда уже о нем ничего не узнаю.

Когда мы пришли ко мне на квартиру и нам подали самовар, я заговорил:

- Скажите мне, доктор, только чистосердечно: что вы думаете о Стахе? Он очень меня беспокоит. Я свидетель тому, что он уж год как пускается на всякие авантюры... То поездка в Болгарию, то новый магазин... торговое общество... экипаж. В характере его произошла странная перемена...

- Никакой перемены я не вижу, - возразил Шуман. - Стах всегда был человеком действия, и если что-нибудь западет ему в голову или в сердце, он непременно это осуществляет. Решил он поступить в университет - и поступил, решил нажить состояние - и нажил. А если сейчас он задумал какую-то глупость, то опять-таки не отступится и сделает основательную глупость. Такой уж у него характер.

- И в то же время, - заметил я, - в поведении его, по-моему, много противоречий...

- Ничего удивительного, - прервал меня доктор. - В нем сочетаются два человека: романтик эпохи пятидесятых годов и позитивист семидесятых. То, что со стороны кажется противоречивым, на самом деле вполне последовательно.

- А не впутался он в какую-нибудь новую историю? - спросил я.

- Ничего не знаю, - сухо отвечал Шуман. Я замолчал и, подумав, снова спросил:

- Что же с ним в конце концов будет?

- Плохо будет, - сказал он, подняв брови и переплетая пальцы рук. Такие люди, как он, либо все подчиняют себе, либо, наткнувшись на непреодолимое препятствие, разбивают себе башку. До сих пор ему везло, но... ведь нет человека, которому в жизненной лотерее доставались бы одни выигрыши...

- Итак...

- Итак, мы можем оказаться свидетелями трагедии, - закончил Шуман.

Он допил стакан чаю с лимоном и пошел домой.

Всю ночь я не мог заснуть. Что за ужасное пророчество в день триумфа!

Нет! Наш старый господь бог знает больше Шумана; он не допустит, чтобы Стась пропал за зря..."

Глава одиннадцатая

Старые мечты и новые знакомства

Пани Мелитон прошла суровую жизненную школу, которая научила ее пренебрегать общественным мнением.

Во времена ее юности все в один голос твердили, что красивая и благонравная барышня и без приданого может выйти замуж. Была она и благонравна, и красива, однако замуж не вышла. Потом все в один голос твердили, что образованная гувернантка легко может снискать привязанность своих питомцев и уважение их родителей. Была она гувернанткой, и весьма образованной, и даже увлекалась своим делом, но, несмотря на это, питомцы изводили ее всевозможными каверзами, а родители унижали ее достоинство - от завтрака до самого ужина. Она прочитала множество романов, и во всех без исключения рассказывалось, что влюбленные князья, графы и бароны благороднейшие люди, имеющие обыкновение предлагать бедным гувернанткам руку в обмен на сердце. Случилось так, что она отдала свое сердце молодому и благородному графу, однако же руки его не получила.

Лишь на четвертом десятке она вышла замуж за пожилого гувернера, Мелитона, единственно с той целью, чтобы поддержать морально человека, который очень не прочь был выпить. Однако же после свадьбы молодожен запил еще сильнее. А за моральную поддержку частенько поколачивал жену палкой.

Когда он умер (чуть ли не под забором), пани Мелитон проводила супруга на кладбище и, удостоверившись, что он надежно зарыт, завела собачку, ибо вокруг все опять в один голос твердили, что собака - самый преданный друг человека. И действительно, собака была преданной до тех пор, пока не взбесилась и не покусала прислугу, после чего сама пани Мелитон тяжело захворала.

Полгода пролежала она в больнице, в отдельной палате, одинокая и забытая всеми - и питомцами, и их родителями, и графами, которым отдавала она свое сердце. Времени для размышлений у нее было достаточно, и когда она вышла из больницы, худая, состарившаяся, с поседевшими и поредевшими волосами, знакомые в один голос заявили, что болезнь изменила ее до неузнаваемости.

- Я поумнела, - отвечала им пани Мелитон.

Сама она гувернанткой больше не служила, а лишь рекомендовала их другим: о замужестве уже не помышляла, а сватала других; сердца своего никому не дарила, но у себя в квартире

устраивала свидания влюбленным. Так как ни одной услуги она не оказывала безвозмездно, у нее завелись небольшие деньги, на которые она и жила.

В начале своей новой карьеры пани Мелитон была настроена мрачно и даже цинично.

- Ксендз, - говорила она лицам, пользовавшимся ее доверием, - получает доход со свадьбы, а я - с обручения. Граф... берет деньги за случку лошадей, а я - за то, что знакоблю людей.

Со временем она стала воздержаннее на язык, а иногда даже позволяла себе морализировать, ибо заметила, что высказывание общепринятых взглядов и суждений благоприятно влияет на повышение доходов.

Пани Мелитон давно была знакома с Вокульским. Она охотно посещала публичные зрешца, любила следить за людьми и очень скоро подметила, что Вокульский что-то слишком уж благоговейно смотрит на панну Изабеллу. Сделав это открытие, она только пожала плечами: что ей толку в том, что галантерейный купец влюбился в панну Ленцкую? Другое дело, если бы ему приглянулась дочь купца или фабриканта, тогда пани Мелитон могла бы начать сватовство... А так...

Но когда Вокульский привез из Болгарии состояние, о котором рассказывали чудеса, пани Мелитон сама завела с ним разговор о панне Изабелле, предложив свои услуги. Между ними установилось молчаливое соглашение: Вокульский щедро платил, а пани Мелитон доставляла ему всевозможные сведения о семействе Ленцких и их высокопоставленных знакомых. При ее же посредничестве Вокульскому удалось приобрести векселя Ленцкого и серебро панны Изабеллы.

По этому случаю пани Мелитон пожаловала на квартиру к Вокульскому и принесла ему свои поздравления.

- Разумно, очень разумно вы беретесь за дело, - говорила она. - Правда, от серебра и сервиза пользы будет немного, зато скупка векселей - это мастерский ход... Сразу виден купец!

Услышав такую похвалу, хозяин открыл письменный стол, порылся в нем и достал пачку векселей.

- Они? - спросил Вокульский, показывая пани Мелитон бумаги.

- Они самые! Не отказалась бы я от такой суммы... - заметила она, вздохнув.

Вокульский взял пачку, обеими руками и разорвал ее пополам.

- Что, по-купечески? - спросил он.

Пани Мелитон с любопытством посмотрела на него и, покачав головой, пробормотала:

- Жаль мне вас.

- Почему же, если позволите...

- Жаль, - повторила она. - Я сама женщина и знаю, что женщин завоевывают не жертвами, а силой.

- Так ли?

- Силой красоты, здоровья, богатства...

- Ума, - добавил в тон ей Вокульский.

- Не столько - ума, сколько кулака, - возразила пани Мелитон и язвительно усмехнулась. - Я хорошо знаю свой пол и не раз имела случай посочувствовать мужской наивности.

- Насчет меня прошу не трудиться.

- Вы думаете, не придется? - спросила она, глядя ему в глаза.

- Милостивая государыня, - ответил Вокульский, - если панна Изабелла такова, какой она мне представляется, то, может быть, когда-нибудь она оценит мое чувство. А если нет, я всегда успею разочароваться...

- Чем раньше, тем лучше, пан Вокульский, тем лучше, - сказала она, вставая с кресла. - Поверьте мне, легче выбросить из кармана тысячу рублей, чем одну привязанность из сердца. Особенно если она уже пустила корни. Кстати, не забудьте повыгоднее поместить мой капиталец, - прибавила она. Вы не стали бы рвать в клочки несколько тысяч, если бы знали, как трудно подчас их заработать.

В мае и июне визиты пани Мелитон участились, к великому огорчению Жецкого, подозревавшего какой-то заговор. И он не ошибался. Заговор действительно существовал, но направлен он был против панны Изабеллы; старая дама доставляла Вокульскому важные сведения, касавшиеся, однако, исключительно панны Ленцкой. Например, она извещала его, в какие дни графиня собирается ехать со своею племянницей в Лазенковский парк.

В таких случаях пани Мелитон забегала в магазин и, получив вознаграждение в виде какой-нибудь вещицы, ценою от пяти до двадцати рублей, сообщала Жецкому день и час...

Странно проходило для Вокульского ожидание: узнав, что завтра дамы будут в Лазенках, он уже накануне терял спокойствие. Становился равнодушен к делам, рассеян; ему казалось, что время стоит на месте и что завтрашний день никогда не наступит. Ночью его преследовали дикие видения; иногда, не то во сне, не то наяву, он шептал:

- Что же это в конце концов такое?.. Пустота... Ах, какой же я глупец...

Однако когда рассветало, он боялся выглянуть в окно, чтобы не увидеть пасмурное небо. И снова время до полудня тянулось так, что, кажется, в этом промежутке могла бы уместиться вся его жизнь, отравленная сейчас ужасной горечью.

"Неужели это любовь?" - с отчаянием спрашивал он себя.

В полдень, охваченный нетерпением, он приказывал запрягать и ехал. Поминутно казалось ему то, что навстречу едет экипаж графини, уже возвращающейся с прогулки, то, что его лошади, которые так и рвались вперед, плетутся невыносимо медленно.

Приехав в Лазенки, он выскакивал из экипажа и бежал к пруду, где обычно прогуливалась графиня, любившая кормить лебедей. Приходил он всегда слишком рано: обливаясь холодным потом, валился на первую попавшуюся скамью и долго сидел не двигаясь и не отрывал глаз от дворца, забыв обо всем на свете.

Но вот в конце аллеи показывались две женские фигуры, одна в черном, другая в сером. Вокульскому кровь бросается в лицо.

- Они! Заговорят ли хоть со мною?

Он вставал со скамьи и шел им навстречу, как лунатик, едва дыша. Да, это панна Изабелла; она ведет под руку тетку и о чем-то с нею разговаривает.

Вокульский всматривается в нее и думает:

"Ну, что в ней необыкновенного? Не лучше других. Право же, я напрасно схожу по ней с ума..."

Он кланялся, дамы отвечали на его поклон. Он шел дальше, не оборачиваясь, чтобы не выдать себя. Наконец оглядывался: дамы исчезали среди зелени.

"Вернусь, - думает он, - взгляну еще раз... Нет, неудобно!"

Был миг, когда он почувствовал, что сверкающая поверхность пруда притягивает его с неодолимой силою.

"Ах, если б знать, что смерть - это забвение... А если это не так? Нет, природа не знает милосердия... Разве не подло вливать в жалкое человеческое сердце беспредельную муку и даже не утешить его тем, что в смерти оно найдет небытие?"

Почти в то же время графиня говорила панне Изабелле:

- Знаешь, Белла, я все более убеждаюсь, что деньги не приносят счастья. Этот Вокульский сделал прекрасную, по его положению, карьеру - и что же? Он больше не работает в магазине, а скучает в Лазенках. Ты заметила, какое у него скучающее выражение лица?

- Скучающее? - повторила панна Изабелла. - Мне оно кажется прежде всего комичным.

- Я этого не заметила, - удивилась графиня.

- Ну... неприятным, - поправилась панна Изабелла.

Вокульский никак не решался уйти из парка. Он ходил взад и вперед по другую сторону пруда, издали следя за мелькающим среди зелени серым платьем. Наконец он разобрал, что следит уже за двумя серыми платьями и за одним голубым и что ни одно из них не принадлежит панне Изабелле.

"Я феноменально глуп", - подумал он.

Но это ему ничуть не помогло.

Однажды, в первой половине июня, пани Мелитон уведомила Вокульского, что завтра в полдень панна Изабелла будет на прогулке с графиней и председательшей. Это незначительное событие могло сыграть весьма важную роль.

После той памятной пасхи Вокульский несколько раз навещал председательшу и имел возможность убедиться, что старушка очень к нему благоволит. Он выслушивал ее повествования о былых временах, говорил с нею о своем дядюшке и даже окончательно условился насчет памятника на его могиле. Однажды, неизвестно как и почему, в их разговор неожиданно вплелось имя панны Изабеллы; Вокульский был захвачен врасплох и не мог скрыть своего волнения - он изменился в лице, голос его задрожал.

Старушка приставила к глазам лорнет и, взглядевшись в Вокульского, спросила:

- Показалось мне или в самом деле панна Ленцкая тебе не безразлична?

- Я почти не знаю ее... Говорил с нею всего один раз в жизни, смущенно оправдывался Вокульский.

Председательша глубоко задумалась и, покачав головой, шепнула:

- Ага...

Вокульский попрощался, но это "ага" запало ему в память. Во всяком случае, он был уверен, что председательша не настроена к нему враждебно. И вот не прошло и недели после этого разговора, как он узнал, что председательша едет кататься в парк с графиней и панной Изабеллой. Неужели она узнала, что дамы его там встречают? Может быть, она хочет их ближе познакомиться?

Вокульский взглянул на часы: было три часа дня.

"Итак, завтра, - подумал он, - через... двадцать четыре часа... Нет, меньше... Через сколько же?.."

Но сколько пройдет часов от трех до часу следующего дня, он не мог сосчитать. Его охватило беспокойство, он не стал обедать; фантазия его рвалась вперед, но трезвый рассудок ее сдерживал.

"Увидим, что будет завтра. А вдруг польет дождь или какая-нибудь из дам захворает?"

Он выбежал на улицу и, бесцельно блуждая, повторял:

"Ну, увидим, что будет завтра... А может быть, они пройдут мимо!.. В конце концов панна Изабелла - красивая девушка, допустим даже необыкновенно красивая, но все же она обыкновенная девушка, а не сверхъестественное существо. Тысячи не менее красивых разгуливают по свету, и я не собираюсь цепляться руками и зубами за одну юбку. Она оттолкнет меня? Хорошо!.. С тем большей охотой я упаду в объятия другой".

Вечером он отправился в театр, но ушел после первого акта. Снова слонялся по городу, но куда бы ни шел, его всюду преследовала мысль о завтрашней прогулке и смутное предчувствие, что завтра ему удастся приблизиться к панне Изабелле.

Прошла ночь, за ней и утро. В двенадцать часов он велел запрягать. Написал записку в магазин, что придет позже, изорвал пару перчаток. Наконец появился слуга.

"Экипаж подан", - подумал Вокульский и потянулся за шляпой.

- Князь! - доложил слуга.

У Вокульского потемнело в глазах.

- Проси.

Вошел князь.

- Здравствуйте, пан Вокульский, - воскликнул он. - Вы собираетесь ехать? Наверное, на склады или на вокзал. Только из этого ничего не выйдет. Я арестую вас и заберу к себе. И буду даже столь неучтив, что попрошусь к вам в экипаж, потому что своего не взял. Однако я уверен, вы мне все простите за великолепные новости.

- Не изволите ли присесть, князь?

- На минуточку. Вообразите, - продолжал князь, садясь, - я до тех пор приставал к нашей братии господам... правильно ли я выразился?.. до тех пор донимал их, пока наконец несколько человек не согласились прийти ко мне и выслушать ваш проект относительно компании. Итак, я немедленно забираю вас, вернее - забираюсь вместе с вами ко мне домой.

Вокульский выслушал это с чувством человека, которого изо всех сил швырнули грудью оземь.

Его замешательство не ускользнуло от внимания князя; он усмехнулся, приписав это радости по поводу его визита и приглашения. Ему и в голову не могло прийти, что для Вокульского прогулка в Лазенки была важнее всех князей и торговых компаний.

- Итак, мы готовы? - спросил князь, вставая с кресла.

Еще секунда - и Вокульский сказал бы, что не поедет, что не хочет и слышать ни о каких компаниях. Но в это мгновение у него мелькнула мысль.

"Прогулка - для меня, торговое общество - для нее".

Он взял шляпу и отправился с князем. Всю дорогу ему казалось, будто колеса экипажа едут не по мостовой, а по его собственному мозгу.

"Женщин завоевывают не жертвами, а силой. Пожалуй, даже силой кулака..." - вспомнились ему слова пани Мелитон. Под влиянием этого афоризма он едва не схватил князя за шиворот и не вышвырнул его вон из экипажа. Но искушение длилось только один миг.

Князь украдкой наблюдал за Вокульским и, заметив, что он то краснеет, то бледнеет, подумал:

"Не ожидал я, что доставлю этому славному Вокульскому такое удовольствие. Да, всегда следует протягивать руку новым людям..."

В своей среде князь слыл ярим патриотом, чуть ли не шовинистом; вне аристократического круга он был известен как один из самых достойных граждан. Он очень любил поговорить по-польски и даже по-французски всегда рассуждал только о делах общественных.

Он был аристократом с головы до пят - душой, сердцем и кровью. Он верил, что каждое общество состоит из двух частей: серой толпы и избранных классов. Серая толпа была произведением природы и, может быть, действительно происходила от обезьян, как утверждал вопреки священному писанию Дарвин. Однако происхождение избранных классов было более возвышенно, и их предками были если не сами боги, то по меньшей мере герои, которые им сродни, Геркулес, Прометей или - на худой конец - Орфей.

У князя был во Франции кузен, граф (в высшей степени отравленный ядом демократизма), который подшучивал над неземным происхождением аристократии.

- Дорогой мой, - говаривал он, - мне кажется, ты не вполне разбираешься в вопросах благородного происхождения. Что такое аристократический род? Это род, предки которого были гетманами, или сенаторами, или воеводами, иначе говоря, по-теперешнему - маршалами, членами верхней палаты либо префектами департаментов. Ну, а этих господ мы знаем; нет в них ничего необыкновенного... Они едят, пьют, дуются в карты, волочатся за женщинами, залезают в долги - как и все смертные, причем нередко бывают еще более глупы.

Лицо князя в таких случаях покрывалось красными пятнами.

- Приходилось ли тебе встречать, - возражал он, - префекта или маршала с таким величественным выражением лица, какое мы видим на портретах наших предков?

- Что ж тут удивительного? - смеялся зараженный демократизмом граф. Художники придавали портретам выражения, даже не снявшиеся их оригиналам, точно так же как знатоки геральдики и историки распространяли о них неправдоподобные легенды. Все это, милый мой, враки. Это только декорации и костюмы, которые одного Войтека превращают в князя, а другого в батрака. В действительности и тот и другой - лишь скверные лицедеи.

- Против глумления, мой милый, бесполезно спорить! - возмущался князь и убежал к себе. Он ложился на козетку и, закинув руки за голову, глядел в потолок, и перед его взором проходили фигуры сверхчеловеческого роста, наделенные сверхъестественной силой, отвагой, умом и бескорыстием. Это и были их предки, его и графа, только граф почему-то отрекался от них. Неужели у него в крови есть какая-нибудь примесь?

Простыми смертными князь не только не пренебрегал, но даже напротив: относился к ним весьма благожелательно, часто соприкасался с ними и интересовался их нуждами. Он мнил себя одним из прометеев, на коих в известной мере лежит почетный долг - доставлять этим бедным людям огонь с неба на землю. К тому же и религия предписывала сострадание к малым сим, и нередко князь заливался краской стыда при мысли, что большая часть высшего общества предстанет пред Божиим судом, не имея подобных заслуг.

Итак, безупречной совести ради, он ходил на всевозможные заседания и даже устраивал их у себя, жертвовал четвертные и сотенные билеты на всевозможные общественные предприятия, а главное - постоянно скорбел о несчастьях своей отчизны и каждое выступление заканчивал фразой:

- Поэтому, господа, подумаем в первую очередь о том, как поднять несчастную нашу отчизну...

И, произнося эти слова, он чувствовал, как с сердца его сваливается тяжесть - тем большая, чем больше было у него слушателей или чем больше рублей он вложил в общественное дело.

Созывать заседания, поощрять общественные мероприятия и сокрушаться, неустанно сокрушаться над судьбой несчастной отчизны - вот в чем, по его мнению, заключались обязанности гражданина. Если бы, однако, его спросили, посадил ли он в своей жизни хоть одно деревце, чтобы тень его защищала людей и почву от зноя, сбросил ли хоть с дороги камень, сбивавший копыта лошадям, - он бы искренне изумился.

Он чувствовал и мыслил, жаждал и страдал - ради миллионов, но за всю свою жизнь не сделал ничего полезного. Ему казалось, что погрузиться с головой в мысли о нуждах страны несравненно важнее, чем утереть нос сопливному ребенку.

В июне облик Варшавы заметно меняется. Пустовавшие прежде гостиницы заполняются, повышаются цены на номера, на стенах многих домов появляются объявления: "Сдается на несколько недель меблированная квартира". Все извозчики в разъезде, все рассыльные в бегах. На улицах, в садах, театрах и ресторанах, на выставках, в модных лавках и магазинах можно увидеть фигуры, какие не встретишь в другое время. Это загорелые толстяки в синих фуражках, непомерно больших сапогах, тесноватых перчатках и в костюмах, сшитых по вкусу провинциального портного. Их сопровождают стайки дам, не отличающихся ни красотой, ни варшавским шиком, а также множество неуклюжих, с разинутыми ртами детей, от которых так и пышет здоровьем.

Сельские гости приезжают сюда продавать шерсть на ярмарке; иные - на скачки, иные - поглядеть на шерсть и на скачки; те прикатили сюда ради встречи с соседями, которые живут в версте от них, эти - освежиться столичной пылью и мутной варшавской водой, а есть и такие, что промучились дни и ночи в пути, сами не зная зачем.

Именно таким съездом решил воспользоваться князь, чтобы сблизить Вокульского с дворянством.

Князь занимал огромную квартиру во втором этаже собственного дома. Часть ее - кабинет хозяина, библиотека и курительная комната - служила местом мужских собраний, где князь излагал свои или чужие проекты, касавшиеся общественных дел. Это случалось по несколько

раз в году. Последнее заседание было посвящено вопросу о винтовых судах на Висле, причем весьма явственно наметились три партии. Первая, состоявшая из князя и его личных друзей, решительно настаивала на винтовых судах, тогда как другая, мещанская, признавая в основе проект прекрасным считала все же осуществление его преждевременным и не хотела давать на это денег. Третья партия состояла всего из двух человек: некоего инженера, который утверждал, что винтовые суда не могут ходить по Висле, и некоего глухого магната, который на все обращения, адресованные к его карману, неизменно отвечал:

- Нельзя ли погромче, ничего не слышу...

Князь и Вокульский приехали в час, а минут пятнадцать спустя начали сходить и съезжаться остальные участники совещания. Князь каждого приветствовал с любезной непринужденностью, затем представлял Вокульского и подчеркивал в списке приглашенных фамилию вновь прибывшего очень длинным и очень красным карандашом.

Одним из первых явился Ленцкий; он отвел Вокульского в сторону и снова стал расспрашивать о целях и значении компании, к которой уже принадлежал всей душой, но все еще никак не мог запомнить, в чем тут, собственно, дело. Между тем другие гости присматривались к чужаку и потихоньку обменивались замечаниями о нем.

- Хорош, - шепнул тучный предводитель, подмигивая в сторону Вокульского, - щетина на голове, как у кабана, грудь - все отдай - мало, острый глаз!.. Уж этот бы на охоте не выдохся!

- А лицо, сударь... - прибавил барон с физиономией Мефистофеля. - Лоб, сударь... усики... эспаньолочка, сударь... Весьма, сударь... весьма... Черты несколько, того, сударь... но все вместе, сударь...

- Посмотрим, каков он окажется в деле, - вставил сутуловатый граф.

- Дэ-э, оборотлив, смел, - словно из погреба отозвался другой граф, с пышными бакенбардами, который сидел в кресле прямо, как жердь, уставясь фарфоровыми глазами прямо перед собой, словно англичанин из "Journal Amusant"*.

* "Веселое обозрение" (франц.).

Князь встал с кресла и откашлялся; собрание притихло, благодаря чему можно было услышать, как предводитель заканчивает свой рассказ:

- Глядим мы все на лес, а тут вдруг что-то - прыг под копыта! И вообразите только, милостивый мой государь: борзая бежала на сворке при лошадях и придушила в борозде русака...

Произнося эти слова, предводитель хлопнул себя огромной ладонью по ляжке, из которой в случае необходимости мог бы выкроить для себя секретаря и писаря в придачу.

Князь вторично откашлялся, предводитель смутился и вытер потный лоб фуляровым платком необычайных размеров.

- Милостивые государи, - начал князь. - Я позволил себе беспокоить вас по поводу некоего... чрезвычайно важного общественного начинания, которое, как все мы чувствуем, должно всегда находиться на страже наших общественных начинаний... я хотел сказать... наших идей... то есть...

Казалось, князь был в затруднении, однако быстро овладел собой и снова заговорил:

- Речь идет о начи... то есть о плане, вернее... о проекте организации общества по содействию торговле...

- Зерном, - подсказал кто-то из угла.

- Собственно говоря, - продолжал князь, - речь идет не о торговле зерном, однако...

- Хлебной водкой, - поспешил добавить тот же голос.

- Да нет же... О торговле, вернее - о содействии торговле между Россией и заграницей товарами... ну, товарами. Что же касается нашего города, то желательно, чтобы он стал центром таковой...

- Какие же товары? - спросил сутуловатый граф.

- Деловую сторону вопроса соблаговолил осветить нам пан Вокульский, человек... человек деловой, - закончил князь. - Однако не забудем, господа, об обязанностях, которые возлагает на нас забота об общественных интересах и наша несчастная отчизна...

- Ей-богу, немедленно вношу десять тысяч рублей, - рявкнул предводитель.

- На что? - спросил граф, изображавший стопроцентного англичанина.

- Все равно!.. - громовым голосом отвечал предводитель. - Я сказал: промотаю в Варшаве пятьдесят тысяч рублей, так пусть же десять тысяч пойдут на благотворительные цели, потому что наш милый князь говорит - ну просто чудо! От души, ей-богу!

- Простите, - вмешался Вокульский, - но речь идет не о благотворительном обществе, а о компании, приносящей верную прибыль.

- Вот именно! - вставил сутуловатый граф.

- Дэ-э... - подтвердил граф-англоман.

- Какой же доход с десяти тысяч? - упирался предводитель. - Я бы по миру пошел при таких доходах.

Сутуловатого графа взорвало.

- Прошу слова по существу вопроса: следует ли пренебрегать небольшими доходами? Это, именно это губит нас, господа! Вот! - кричал он, стуча ногтем по ручке кресла.

- Граф, - сладким голосом прервал его князь, - слово имеет пан Вокульский.

- Дэ-э! - поддержал его граф-англоман, поглаживая свои пышные бакенбарды.

- Итак, просим уважаемого пана Вокульского, - раздался чей-то голос, чтобы то общественное дело, которое привело нас сюда, в гостеприимный дом князя, он соблаговолил изложить нам с присущей ему ясностью и сжатостью.

Вокульский глянул на человека, признающего за ним ясность и сжатость суждений. Это был прославленный адвокат, друг и правая рука князя; он любил выражаться цветисто, при этом всегда отбивал такт пальцами и прислушивался к собственным фразам, которые ему самому всегда казались блестящими.

- Только чтобы всем нам было понятно, - буркнул кто-то в углу, где сидели дворяне, ненавидевшие магнатов.

- Вам известно, господа, - начал Вокульский, - что Варшава является промежуточной станцией на торговом пути между Западной и Восточной Европой. Тут скапливается и проходит через наши руки часть французских и немецких товаров, предназначенных для России, что могло бы принести нам определенный доход, если бы наша торговля...

- Не находилась в руках евреев, - сказал вполголоса кто-то у стола, где сидели купцы и промышленники.

- Нет, - возразил Вокульский. - Доходы поступали бы к нам в том случае, если б в нашей торговле был определенный порядок.

- С евреями порядка не будет.

- Однако сегодня, - прервал адвокат, - уважаемый пан Вокульский изложит нам возможность вложить христианские капиталы вместо еврейских.

- Пан Вокульский сам допускает евреев в торговлю, - бросил оппонент из купеческого лагеря.

В комнате стало тихо.

- Я ни перед кем не отчитываюсь в том, как веду мои собственные дела, продолжал Вокульский. - А сейчас я указываю вам, господа, путь к упорядочению торговли Варшавы с границей, что составляет первую часть моего проекта и создает один из источников дохода для отечественных капиталов. Другим источником дохода является торговля с Россией. Там имеются дешевые товары, которых нам не хватает. Торговая компания, которая занялась бы этим делом, могла бы получить от пятнадцати до двадцати процентов годовых на вложенный капитал. На первом месте я ставлю ткани...

- Это значит подрывать нашу промышленность, - отозвался оппонент из купеческой группы.

- Меня интересуют не фабриканты, а потребители, - ответил Вокульский.

Купцы и промышленники начали перешептываться, с явным недоброжелательством косясь на Вокульского.

- Вот мы и добрались до общественной стороны дела... - взволнованно воскликнул князь. - Вопрос представляется так: являются ли проекты уважаемого пана Вокульского явлением, благоприятным для страны?.. Прошу вас... - обратился князь к адвокату, чувствуя непреодолимую потребность в поддержке.

- Уважаемый пан Вокульский, - начал адвокат, - соблаговолите объяснить с присущей вам обстоятельностью: не нанесет ли привоз упомянутых тканей из пунктов столь отдаленных ущерб нашим фабрикам?

- Прежде всего, - отозвался Вокульский, - эти так называемые наши фабрики в действительности не наши, а немецкие.

- Ого! - воскликнул оппонент из группы купцов.

- Я готов, - продолжал Вокульский, - немедленно перечислить фабрики, где вся администрация и все высокооплачиваемые рабочие - немцы, где капитал - немецкий, а правление находится в Германии, где, наконец, наш рабочий не имеет возможности совершенствоваться в своем ремесле и является батраком, который плохо оплачивается, подвергается дурному обращению и вдобавок онемечивается...

- Это весьма важно! - заметил сутуловатый граф.

- Дэ-э... - протянул англичанин.

- Ей-богу, я даже разволновался! - вскричал предводитель. - Никогда бы не подумал, что подобная беседа может быть так увлекательна... Сию минуту вернусь...

И он вышел из кабинета, причем пол так и затрепал под его ногами.

- Прикажете перечислить фамилии? - спросил Вокульский.

На этот раз группа купцов и промышленников проявила редкую воздержанность и не потребовала фамилий. Адвокат быстро встал с кресла и, замахав руками, воскликнул:

- Мне кажется, на вопросе об отечественных фабриках можно более не задерживаться. Теперь, уважаемый пан Вокульский, соблаговолите объяснить с присущей вам меткостью, какие выгоды получит от этого проекта...

- Наша несчастная отчизна, - закончил князь.

- Судите сами, господа, - ответил Вокульский, - если бы локоть моего ситца стоил на два гроша дешевле, чем сейчас, то на каждом миллионе купленных локтей население выгадало бы десять тысяч рублей.

- А что такое десять тысяч рублей? - спросил предводитель, который как раз вошел в кабинет и еще не успел разобрать, о чем шла речь.

- Много... очень много!.. - воскликнул сутуловатый граф. - Научимся же наконец ценить и грошовые прибыли.

- Дэ-э... Пенс гинеею бережет... - прибавил граф, разыгрывавший англичанина.

- Десять тысяч рублей, - продолжал Вокульский, - могут служить основой благосостояния по меньшей мере двадцати семейств.

- Капля в море, - буркнул один из купцов.

- Но можно посмотреть на это и с другой стороны, - говорил Вокульский, - которая, правда, интересуется только капиталистов. Я располагаю товарами на три или четыре миллиона рублей в год...

- Вот это да! - прошептал предводитель.

- Это не мой личный капитал, - заметил Вокульский, - он значительно скромнее...

- Люблю таких... - сказал сутуловатый граф.

- Дэ-э... - поддакнул англичанин.

- Упомянутые три миллиона составляют мой личный кредит и приносят мне, как посреднику, весьма небольшой процент. Однако заявляю, что, если бы мы не пользовались кредитом, а платили наличными, доход возрос бы до пятнадцати двадцати процентов, а может, и более. Так вот, эта сторона дела интересна для тех из вас, господа, кто вкладывает свои деньги в банки и получает низкий процент. Ваши деньги пускают в оборот другие и прибыль извлекают для себя. Я же предлагаю вам возможность употребить капиталы непосредственно в дело и увеличить ваши доходы. Я кончил.

- Великолепно! - воскликнул сутуловатый граф. - А нельзя ли все же ознакомиться с деталями?

- Об этом я буду говорить только с членами нашей компании, - ответил Вокульский.

- Вступаю, - сказал сутуловатый граф и подал ему руку.

- Дэ-э, - процедил псевдоангличанин, протягивая Вокульскому два пальца.

- Почтеннейшие! - отозвался гладко выбритый мужчина из группы дворянства, ненавидящего магнатов. - Вы тут говорите о торговле ситцем, которая нас совершенно не интересует. Но, господа, - продолжал он плаксивым тоном, - зато у нас есть зерно в закромах, у нас хлебное вино на складах, и посредники наживаются на нас самым - разрешите уж сказать - бессовестным образом...

Он оглянулся по сторонам, - группа дворянства, презирающего магнатов, заплодировала.

Лицо князя, сиявшее скромной радостью, в эту минуту озарилось светом истинного вдохновения.

- Так что же, господа! - вскричал он. - Сегодня мы говорим о торговле тканями, но завтра, послезавтра кто запретит нам совещаться по другим вопросам! Итак, предлагаю...

- Ей-богу, чудо как говорит дорогой наш князь! - воскликнул предводитель.

- Послушаем, послушаем! - поддержал его адвокат, всеми силами стараясь показать, что он в восторге от речей князя.

- Итак, господа, - продолжал растроганный князь, - я предлагаю созвать следующие совещания: одно - по вопросу торговли зерном, другое - по вопросу торговли хлебной водкой...

- А кредит для землевладельцев? - спросил кто-то из группы строптивного дворянства.

- Третье - по вопросу о кредитах для землевладельцев, - сказал князь. Четвертое... Тут он запнулся.

- Четвертое и пятое, - подхватил адвокат, - посвятим разбору общего экономического положения...

- ...нашей несчастной отчизны, - закончил князь чуть ли не со слезами на глазах.

- Господа! - возопил адвокат, утирая нос с умиленным видом. - Почтим нашего хозяина, великого гражданина, славнейшего из людей...

- Десять тысяч рублей, ей-бо... - гаркнул предводитель.

- ...вставанием! - быстро dokonчил адвокат.

- Bravo! Да здравствует князь!.. - закричали все под аккомпанемент топота ног и грохота отодвигаемых стульев.

Громче всех кричала группа дворянства, презирающего аристократию.

Князь, не в силах дольше сдерживать волнение, принялся обнимать гостей; ему помогал адвокат, целуя всех по очереди и без стеснения проливая слезы. Несколько человек окружили Вокульского.

- Для начала даю пятьдесят тысяч рублей, - заявил сутуловатый граф. - А на будущий год... посмотрим...

- Тридцать, сударь... тридцать тысяч рублей, сударь... Весьма, сударь, весьма! - прибавил барон с физиономией Мефистофеля.

- И я тридцать... дэ-э... - бросил граф-англоман, кивая.

- А я дам в два... в три раза больше, чем... дорогой наш князь! Ей-богу! - заявил предводитель.

Два-три оппонента из купеческого лагеря тоже приблизились к Вокульскому. Они молчали, но их нежные взгляды были стократ красноречивее самых чувствительных слов.

Вслед за ними к Вокульскому подошел молодой человек, тщедушный, с редкой растительностью на лице и с несомненными признаками преждевременной изношенности. Вокульский встречал его в театрах, концертах, да и на улице, всегда на самых лихих извозчиках.

- Марушевич, - с приятной улыбкой представился потасканный молодой человек. - Простите, что я так бесцеремонно знакомлюсь и вдобавок прямо обращаюсь к вам с просьбой...

- Я вас слушаю.

Юноша взял Вокульского под руку и, отведя к окну, заговорил:

- Я сразу выложу карты на стол: с такими людьми, как вы, иначе нельзя. Я беден, но одарен хорошими задатками и хотел бы найти занятие. Вы основали торговое общество. Не могу ли я работать под вашим руководством?

Вокульский пристально поглядел на него. Предложение, которое он услышал, как-то не вязалось с потасканной физиономией и неуверенным взглядом молодого человека. Вокульского покорило, но он все же спросил:

- Что вы умеете? Какая у вас специальность?

- Специальности, видите ли, я еще не выбрал, но у меня большие способности, и я могу взяться за любое занятие.

- А на какое жалованье вы рассчитываете?

- Тысячу... две тысячи рублей... - ответил юноша в замешательстве.

Вокульский невольно покачал головой.

- Сомневаюсь, - ответил он, - чтобы у нас нашлось место, соответствующее вашим требованиям. Все же как-нибудь загляните ко мне.

Посреди кабинета сутуловатый граф продолжал совещание.

- Итак, милостивые государи, - говорил он, - в принципе мы решили учредить торговое общество по предложению пана Вокульского. Дело, по-моему, очень хорошее, а теперь остается ознакомиться с деталями и составить акт. Приглашаю, господа, всех, кто хочет в нем участвовать, пожаловать ко мне завтра, к девяти вечера.

- Я приду, дорогой граф, ей-богу, - откликнулся тучный предводитель, да, может, еще приведу тебе несколько литовцев; только скажи на милость, зачем это нам учреждать торговое общество?.. Пусть бы уж торговцы сами...

- Да хотя бы затем, - горячо возразил граф, - чтобы не говорили, будто мы ничего не делаем, только купоны стрижем...

Князь попросил слова.

- Кроме того, - сказал он, - мы имеем в виду еще два общества: по торговле зерном и хлебной водкой. Кто не хочет вступать в первое, может вступить во второе... А потому мы просим уважаемого пана Вокульского принять участие и в других наших совещаниях...

- Дэ-э... - подхватил граф-англоман.

- И соблаговолить, с присущим ему талантом, осветить перед нами вопрос, - кончил адвокат.

- Сомневаюсь, смогу ли я быть вам полезен, - возразил Вокульский. Правда, я имел дело с мукой и хлебной водкой, но в исключительных обстоятельствах. Тогда речь шла о больших партиях товара и о спешной доставке, а не о ценах... К тому же я не знаком с местной торговлей зерном...

- Найдутся специалисты, уважаемый пан Вокульский, - прервал его адвокат. - Они сообщат нам детали, которые вы, сударь, только соблаговолите привести в стройный порядок и разъяснить с присущей вам гениальностью.

- Просим... просим!.. - закричали графы, а за ними еще громче дворяне, ненавидящие магнатов.

Было уже около пяти, и собравшиеся начали расходиться. В эту минуту Вокульский заметил пана Ленцкого, возвращающегося из дальних комнат в сопровождении молодого человека, которого он уже видел возле панны Изабеллы в костеле и на приеме у графини. Они подошли к Вокульскому.

- Позвольте представить вам, пан Вокульский, - заговорил Ленцкий, пана Юлиана Охоцкого. Родня нам... Немножко оригинал, но...

- Я давно уже хотел познакомиться и поговорить с вами, - сказал Охоцкий, пожимая руку Вокульскому.

Вокульский молча посмотрел на него. Молодому человеку не было еще тридцати, и внешность у него действительно была необычной. Чертами лица он несколько напоминал Наполеона I, но Наполеона, витающего в мечтах.

- Вы в какую сторону идете? - спросил Вокульского молодой человек. - Я могу проводить вас.

- Стоит ли вам затруднять себя...

- О, у меня много времени, - отвечал молодой человек.

"Что ему от меня нужно?" - подумал Вокульский, а вслух сказал:

- Мы можем пойти к Лазенкам...

- Прекрасно, - сказал Охоцкий. - Я только на минутку зайду к княгине проститься и догоню вас. Едва он отошел, Вокульским завладел адвокат.

- Поздравляю вас с полной победой, - вполголоса сказал он. - Князь буквально влюблен в вас, оба графа и барон тоже... Оригиналы, как видите, однако же люди с благими намерениями... Им хочется что-нибудь сделать, есть у них и ум и образование, но... не хватает энергии. Болезнь воли, сударь, весь класс ею заражен... Все у них есть... деньги, титулы, почет, даже успех у женщин, - и потому они ни к чему не стремятся. А без этой пружины, пан Вокульский, они неизбежно станут орудием в руках людей новых и честолюбивых. Мы-то, сударь, еще ко многому стремимся, - прибавил он тише. - Им

посчастливилось, что они наткнулись на нас...

Вокульский ничего не ответил, и адвокат, решив, что он изощренный дипломат, пожалел в душе о своей чрезмерной откровенности.

"Впрочем, - подумал он, искоса поглядывая на Вокульского, - если бы он и передал князю наш разговор, что из того? Я скажу, что хотел его испытать..."

"В каких честолюбивых замыслах он меня подозревает?" - мысленно спрашивал себя Вокульский.

Он простился с князем, обещал отныне приходить на все заседания и, выйдя на улицу, отослал экипаж.

"Что этому Охоцкому от меня нужно? - тревожился он. - Конечно, дело касается панны Изабеллы... Может быть, он хочет отпугнуть меня? Глупец... Если она его любит, ему незачем тратить слова - я сам устранюсь... Но если она его не любит, пусть не пытается меня отстранять!.. Кажется, я сделаю когда-нибудь грандиозную глупость - и наверняка из-за панны Изабеллы. Как бы не пал жертвой Охоцкий, было бы жаль малого..."

В подъезде раздались торопливые шаги; Вокульский обернулся и увидел Охоцкого.

- Вы ждали?.. Извините! - сказал молодой человек.

- Пойдем к Лазенкам? - спросил Вокульский.

- Пойдем.

Несколько минут они шли молча, молодой человек был задумчив. Вокульский раздражен. Он решил сразу взять быка за рога.

- Вы близкая родня семейству Ленцких? - спросил он.

- Дальняя, - отвечал молодой человек. - Моя мать имела честь быть урожденной Ленцкой, - сказал он с иронией, - но отец был всего-навсего Охоцкий. Это очень ослабляет родственные связи... С паном Томашем, который приходится мне двоюродным дядюшкой, я не был бы знаком и по нынешний день, если бы он не потерял состояния.

- Панна Ленцкая весьма изысканная особа, - сказал Вокульский, глядя себе под ноги.

- Изысканная? - повторил Охоцкий. - Скажите: богиня!.. Когда я с нею говорю, мне кажется, она могла бы озарить мою жизнь. Только подле нее я обретаю покой и забываю грызущую меня тоску. Но что из того! Я не смог бы сидеть целыми днями в гостиной, а она со мною - в лаборатории.

Вокульский остановился посреди улицы.

- Вы занимаетесь физикой или химией? - удивленно спросил он.

- Ах, чем только я не занимаюсь!.. - ответил Охоцкий. - Физикой, химией, технологией... Я окончил естественный факультет университета и физико-механический в политехникуме. А потому занимаюсь всем; с утра до ночи читаю и работаю, но не делаю ничего. Мне удалось несколько усовершенствовать микроскоп, сконструировать некий новый электрический прибор, некую лампу...

Вокульский все более изумлялся.

- Так вы тот Охоцкий, изобретатель?

- Да. Но какое все это имеет значение? Ровно никакого. Когда я подумаю: вот все, что я сделал в свои двадцать восемь лет, у меня опускаются руки. Мне хочется либо разнести вдребезги мою лабораторию и броситься в омут светской жизни, куда меня увлекают, либо пустить себе пулю в лоб. Элемент Охоцкого, электрическая лампа Охоцкого... Жалкая чепуха!.. С детства рваться куда-то ввысь и застрять на лампе - это ужасно... Достичь зрелых лет и не найти даже следов пути, по которому хотелось бы идти! Тут есть от чего впасть в отчаяние.

Молодой человек умолк и, заметив, что они уже в Ботаническом саду, снял шляпу. Вокульский внимательно поглядел на него и сделал новое открытие. Несмотря на изысканный костюм, молодой человек совсем не казался щеголем; он, видимо, даже не заботился о своей внешности. Волосы его рассыпались в беспорядке, галстук сбился набок, пуговка на жилете отстегнулась. Легко было догадаться, что кто-то тщательно следит за его бельем и костюмом, но сам он обращался с ними небрежно, и эта небрежность, такая необычная и изящная, придавала ему своеобразное обаяние. Все движения его были произвольны, размашисты и в то же время прекрасны. Прекрасна была его манера смотреть, слушать (вернее - не слушать) и даже ронять шляпу.

Они поднялись на пригорок, откуда был виден колодец, прозванный "кругляком". Со всех сторон их окружали гуляющие, но Охоцкого нисколько не стесняло их присутствие; указав шляпой на одну из скамеек, он продолжал:

- Я неоднократно читал, что люди, наделенные честолюбием, счастливы. Ложь! Именно недюжинные стремления, которыми я наделен, делают меня смешным и отталкивают от меня близких. Взгляните на ту скамью... Здесь в начале июня сидел я вечером часов около десяти с кузиной и с панной Флорентиной. Как водится, светила луна и пели соловьи. Я был в мечтательном настроении. Вдруг кузина спросила: "Кузен, вы знаете астрономию?" - "Немного". - "Так скажите мне, что это за звезда?" - "Не помню, - отвечал я, - но знаю наверное, что мы никогда не попадем на нее. Человек прикован к земле, как устрица к скале..." В эту минуту во мне проснулась моя идея, вернее мания... Я забыл о прекрасной кузине и начал думать о летательных машинах. А когда я думаю, мне непременно нужно ходить, вот я и встал со скамьи и, не простившись, покинул кузину... На другой день панна Флора назвала меня грубияном, пан Ленцкий оригиналом, а кузина целую неделю не хотела со мной разговаривать... И хоть бы я придумал что-нибудь!.. Так, нет, ничего, буквально ничего, а ведь я готов был поклясться, что не успею дойти от этого холма до колодца, как в голове моей родится хотя бы в общих чертах план летательной машины... Ужасно глупо, не правда ли?..

"Значит, они тут проводят вечера при лунном свете и соловьиных трелях? - подумал Вокульский и почувствовал нестерпимую боль в сердце. - Панна Изабелла влюблена в Охоцкого, а если... еще не влюблена, то лишь из-за его чудачества. И она права... он прекрасный и необыкновенный человек..."

- Разумеется, - продолжал Охоцкий, - я ни словечком не обмолвился об этом моей тетке, которая имеет обыкновение, вкалывая мне в галстук булавку, всякий раз приговаривать: "Дорогой Юлек, старайся понравиться Изабелле, это как раз подходящая для тебя жена... Умна и хороша собой, только она сумеет вылечить тебя от твоих фантазий..." А я думаю: "Что это за жена для меня? Если бы она хоть могла мне помогать, тогда еще полбеды... Да разве она покинет гостиную ради моей лаборатории?" И правильно: там ее сфера; птице нужен воздух, рыбе - вода... - Он помолчал. - Какой хороший вечер! У меня сегодня необычайно приподнятое настроение. Однако... что с вами, пан Вокульский?

- Я немного устал, - глухо ответил Вокульский. - Может быть, присядем хотя бы... вот здесь...

Они уселись на склоне холма в конце парка. Охоцкий уперся подбородком в колени и

задумался. Вокульский смотрел на него со смешанным чувством восхищения и ненависти.

"Что он - глуп или хитер?.. Зачем он мне все это рассказывает?" - думал Вокульский.

Однако он должен был признать, что и болтливость Охоцкого отличалась той же обаятельной искренностью и порывистостью, как его движения да и весь облик. Они встретились впервые, а Охоцкий уже беседовал с ним так, словно они знали друг друга с детства.

"Пора покончить с этим", - сказал себе Вокульский и, глубоко вздохнув, громко спросил:

- Значит, вы женитесь, пан Охоцкий?..

- Разве только если спячу с ума, - пробормотал молодой человек, пожимая плечами.

- Как? Ведь кухня вам нравится?

- И даже очень, но этого еще мало. Я бы женился на ней, если бы совершенно уверился, что уже ничего не достигну в науке.

В сердце Вокульского сквозь ненависть и восхищение вспыхнула радость. В эту минуту Охоцкий потер лоб, словно очнувшись от сна, поглядел на Вокульского и вдруг сказал:

- Ах да... Я чуть не забыл, у меня к вам важное дело...

"Что ему нужно?" - подумал Вокульский, невольно любуясь умными глазами своего соперника и удивляясь внезапной перемене тона. Казалось, его устами заговорил другой человек.

- Я хочу задать вам вопрос... нет... два вопроса, очень интимных и, может быть, даже щекотливых, - говорил Охоцкий. - Вы не обидитесь?

- Слушаю, - отвечал Вокульский.

И на плахе ему не пришлось бы пережить таких страшных ощущений. Он не сомневался, что дело касается панны Изабеллы и что вот тут, сию минуту, решится его судьба.

- Вы были физиком?

- Да.

- И вдобавок физиком-энтузиастом. Я знаю, сколько вы перенесли, и с давних пор уважаю вас за это. Мало того, скажу больше... В течение последнего года мысль о препятствиях, которые вам приходилось преодолевать, поддерживала во мне бодрость духа. Я говорил себе: "Сделаю по меньшей мере то, что сделал этот человек; а поскольку передо мною нет подобных препятствий, я должен пойти дальше, чем он..."

Вокульский слушал, и ему казалось, что он видит сон или разговаривает с сумасшедшим.

- Откуда вам это известно? - спросил он.

- От доктора Шумана.

- Ах, от Шумана! А к чему вы ведете?

- Сейчас скажу. Вы были физиком-энтузиастом и... в конце концов бросили естественные науки. Так вот, на каком году жизни вы утратили к ним интерес?..

Вокульского словно обухом ударили по голове. Вопрос был настолько неожиданным и неприятным, что он с минуту не мог не только отвечать, но даже собраться с мыслями.

Охоцкий повторил вопрос, зорко вглядываясь в своего собеседника.

- На котором году? - переспросил Вокульский. - Год назад... Сейчас мне сорок пять...

- Значит, до полного охлаждения мне осталось более пятнадцати лет. Это немного ободряет меня, - сказал Охоцкий словно самому себе. И, помолчав, прибавил: - Это один вопрос; теперь второй, только не обижайтесь. В каком возрасте мужчина... становится равнодушным к женщинам?..

Второй удар. Был момент, когда Вокульский готов был схватить молодого человека за горло и задушить. Однако он опомнился и отвечал с бледной улыбкой:

- Я думаю, что никогда... Напротив, чем дальше, тем они кажутся нам желаннее...

- Плохо! - прошептал Охоцкий. - Что ж, посмотрим, кто окажется сильнее.

- Женщины, пан Охоцкий.

- Как для кого, сударь, - заметил молодой человек, опять впадая в задумчивость.

И он заговорил, словно с самим собой:

- Женщины! Подумаешь, важность! Я уже влюблялся, постойте-ка, сколько?.. четыре... шесть... семь... да, семь раз. Это отнимает массу времени и наводит на самые отчаянные мысли. Глупая это вещь - любовь. Знакомишься, влюбляешься, страдаешь... потом тебе надоедает или тебя бросают... да, два раза мне надоело, пять раз меня бросили. Потом встречаешь другую женщину, более совершенную - и она делает то же самое, что и менее совершенные... Ну и подлая же порода зверей эти бабы! Они играют нами, хотя не способны даже понять нас своим ограниченным умишком. Правда, и тигр играет людьми... Подлые, но прелестные создания... ладно, бог с ними! Между тем если человеком завладеет идея, она никогда уж не покинет его и никогда не изменит...

Он положил руку на плечо Вокульскому и, глядя ему в глаза каким-то рассеянным и мечтательным взглядом, спросил:

- А ведь и вы думали когда-то о летательных машинах?.. Не о воздушных шарах, которые легче воздуха, потому что это все чушь, а о полете тяжелой машины, нагруженной и окованной сталью, как броненосец... Понимаете вы, какой переворот во всем мире вызвало бы подобное изобретение?.. Ни крепостей, ни армий, ни границ... Исчезнут народы, зато в каких-то надземных дворцах появятся существа, подобные ангелам или древним богам. Мы уже подчинили себе ветер, тепло, свет, молнию... Так не думаете ли вы, что пришла пора нам самим высвободиться из оков земного притяжения? Это идея нашего века... Многие уже работают над нею, я только недавно ею проникся, но зато она поглотила меня с головы до ног. Что мне тетка со всеми ее советами и правилами хорошего тона? Что мне женитьба, женщины и даже микроскопы, различные приборы и электрические лампы?.. Я свихнусь или... дам человечеству крылья.

- А если вам даже удастся это, что тогда? - спросил Вокульский.

- Слава, которой не достигал еще ни один человек, - отвечал Охоцкий. Вот моя жена, моя возлюбленная... Будьте здоровы, мне пора...

Он пожал Вокульскому руку, сбежал с холма и исчез между деревьями.

Ботанический и Лазенки уже погружались в вечерний сумрак.

"Безумец или гений? - думал Вокульский, чувствуя, что и сам он находится в состоянии

сильного возбуждения. - А если гений?"

Он встал и направился в глубину сада, смешавшись с гуляющими. Небо, нависшее над холмом, с которого он только что спустился, внушало ему какой-то священный ужас.

В Ботаническом саду былолюдно, по всем аллеям плотными рядами фланировали гуляющие, лишь кое-где этот сплошной поток разбивался на отдельные группы; скамьи прогибались под тяжестью сидевших. Вокульскому то и дело преграждали дорогу, наступали на пятки, задевали локтями; со всех сторон звучали говор и смех. В Уяздовских Аллеях, у каменной ограды Бельведерского парка, возле решетки со стороны больницы, на самых уединенных дорожках и даже на загороженных тропинках - всюду было шумно и весело. Чем становилось темнее, тем гуще и шумней была толпа.

- Мне уже места не хватает на свете! - пробормотал Вокульский.

Он прошел в Лазенки и там отыскал спокойный уголок. На небе заискрилось несколько звезд. Из аллей доносились шорохи и голоса, от пруда тянуло сыростью. Время от времени над головой его с жужжанием пролетал жук или беззвучно скользила летучая мышь; в глубине парка жалобно попискивала какая-то птичка, тщетно призывавшая друга; с пруда долетали далекий всплеск весел и молодой женский смех.

Навстречу ему шли двое, близко прижавшись друг к другу, и тихо разговаривали. Они свернули с дорожки и укрылись в тени ветвей. Он подумал с болью и сарказмом:

"Вот они, счастливые любовники! Шепчутся и убегают, как воры... хороши порядки на свете, а? Любопытно, насколько было бы лучше, если б миром управлял Люцифер? А что, если бы сейчас ко мне подошел бандит и убил меня в этом глухом углу?.."

И он представил себе, как приятно, должно быть, когда холодное лезвие пронзает разгоряченное сердце.

"К несчастью, - вздохнул он, - сейчас запрещено убивать других; можно только себя - лишь бы сразу и наверняка. Что ж..."

Мысль о таком верном средстве спасения успокоила его. Постепенно им овладевало некое торжественное состояние духа; он решил, что наступает момент, когда следует отчитаться перед собственной совестью, подвести итог своей жизни.

"Если б я был верховным судьей и меня бы спросили: "Кто достоин панны Изабеллы: Охоцкий или Вокульский?" - я вынужден был бы признать, что Охоцкий... На восемнадцать лет моложе меня (восемнадцать лет!) и так хорош... В двадцать восемь лет кончил два факультета (я в его возрасте только начинал учиться...) и уже сделал три открытия (я - ни одного!). И вдобавок ко всему - это сосуд, в котором зреет великая идея... Мудреная вещь - летательная машина, но он, несомненно, нашел гениальную и единственно возможную исходную точку для ее изобретения. Летательная машина должна быть тяжелее воздуха, а не легче его, как воздушный шар, ибо все, что летает, начиная от мухи и кончая исполином-ястребом, тяжелее воздуха. У него правильная исходная точка и подлинно творческий ум, что он доказал хотя бы своим микроскопом и лампой; и кто знает, не удастся ли ему построить и летательную машину? А в таком случае он вознесется в глазах человечества выше Ньютона и Бонапарта, вместе взятых... И с ним-то мне состязаться! А если когда-нибудь возникнет вопрос: кто из нас двоих должен устраниваться неужто я не стану колебаться?.. Что за адская мука говорить себе: ты должен принести себя в жертву человеку в конце концов такому же, как и ты, смертному, подверженному болезням и ошибкам, и главное - такому наивному... Ведь он еще совсем ребенок: чего-чего только не выболтал он мне сегодня!.."

Странная игра случая. Когда Вокульский служил приказчиком в бакалейной лавке, он мечтал

о *perpetuum mobile* - машине, которая бы сама себя приводила в движение. Когда же он поступил в подготовительную школу и понял, что подобная машина - абсурд, самой лелеемой, самой сокровенной мечтой его стало - изобрести способ управления воздушным шаром. То, что для Вокульского было только фантастической тенью, блуждающей по ложным путям, у Охоцкого приняло форму конкретной проблемы.

"Как жестока судьба! - с горечью размышлял он. - Двум людям даны почти одинаковые стремления, но один из них родился на восемнадцать лет раньше, другой - позже; один - в нищете, другой - в достатке; одному не удалось вскарабкаться даже на первую ступень знания, другой легко перескочил через две ступени. Его уже не сметут с пути политические бури, как меня, ему не мешает любовь, в которой он видит лишь развлечение, тогда как для меня, прожившего шесть лет в пустыне, в этом чувстве - небо и спасение... даже больше!.. Вот он и превосходит меня на любом поприще, хотя я одарен теми же чувствами и тем же пониманием действительности, а трудился, уж наверное, больше его!"

Вокульский хорошо знал людей и часто сравнивал себя с ними. И где бы он ни находился, всегда он чувствовал себя чуть-чуть лучше окружающих. Был ли он лакеем, ночи напролет просиживавшим над книгой, или студентом, пробивавшимся к знанию вопреки нужде, или солдатом, шедшим вперед под градом пуль, или ссыльным, который в занесенной снегом лачужке работал над научными изысканиями, - всегда он вынашивал в душе идею, опережавшую современность на несколько лет. А другие жили лишь сегодняшним днем, ради своей утробы или кармана.

И лишь сегодня встретился ему человек, который был выше его, - безумец, собиравшийся строить летательные машины.

"Ну, а я - разве нет у меня сейчас идеи, ради которой я тружусь уже год, добыл состояние, помогаю людям и завоевываю уважение к себе?..

Да, но любовь - это личное чувство; все заслуги, связанные с ним, словно рыбы, подхваченные водоворотом морского циклона. Если б с поверхности земли исчезла одна женщина, а во мне - память о ней, чем бы я стал? Обыкновенным капиталистом, который со скуки ходит в клуб играть в карты. А Охоцкий одержим идеей, которая всегда будет увлекать его вперед, если только рассудок его не помутится...

Хорошо, ну, а если он ничего не совершит и, вместо того чтобы построить свою машину, попадет в сумасшедший дом? Я же тем временем сделаю нечто реальное; ну, а микроскоп, какой-то прибор или даже электрическая лампа, наверное, не более важны, чем судьбы сотен людей, которым я обеспечиваю жизнь. Откуда же во мне это сверххристианское уничтожение? Еще неизвестно, кто из нас что совершит, а покамест я человек действия, а он мечтатель!.. Нет, подождем с год..."

Год! Вокульский вздрогнул. Ему показалось, что в конце пути, называемого годом, лежит бездонная пропасть, которая поглощает все, оставаясь все такой же пустой...

"Значит, пустота?... пустота!.."

Вокульский инстинктивно оглянулся по сторонам. Он был в глубине Лазенковского парка, в глухой аллее, до которой не доносилось ни звука. Даже листва огромных деревьев не шелестела.

- Который час? - вдруг спросил чей-то хриплый голос.

- Час?

Вокульский протер глаза. Навстречу ему из мрака вынырнул какой-то оборванец.

- Раз вежливо спрашивают, вежливо и отвечай, - сказал он и подошел ближе.

- Убей меня, тогда сам посмотришь, - ответил Вокульский.

Оборванец попятился. Влево от дороги показалось еще несколько человеческих теней.

- Дураки! - крикнул Вокульский, продолжая идти. - При мне золотые часы и несколько сот рублей... Ну же, я защищаться не стану!..

Тени исчезли среди деревьев, и кто-то вполголоса произнес:

- Вырастет же такой сукин сын, где и не сеяли...

- Скоты! Труссы!.. - кричал Вокульский в испуге. В ответ ему раздался топот убегающих людей.

Вокульский собрался с мыслями.

"Где я?.. Да, в Лазенках, но в каком месте? Надо пойти в другую сторону..."

Он несколько раз сворачивал и уже не знал, куда идет. Сердце у него забило сильнее, на лбу выступил холодный пот, и впервые в жизни он испугался темноты и того, что заблудится...

Несколько минут он бежал, задыхаясь, куда глаза глядят; дикие мысли кружились у него в голове. Наконец налево он заметил каменную ограду, за нею здание.

"Ага, оранжерея..."

Он добежал до какого-то мостика, перевел дух и, опершись на барьер, подумал:

"Итак, к чему же я пришел?.. Опасный соперник... расстроенные нервы... Кажется, уже сегодня я мог бы дописать последний акт этой комедии..."

Прямая дорога привела его к пруду, затем к Лазенковскому дворцу. Через двадцать минут он был в Уяздовских Аллеях, вскочил в проезжавшую пролетку и четверть часа спустя был дома.

При виде фонарей и уличного движения Вокульский повеселел; он даже усмехнулся и прошептал:

"Что за бредовые идеи? Какой-то Охоцкий... самоубийство... Ах, что за чушь!.. Проник же я все-таки в аристократическую среду, а дальше видно будет!"

Когда он вошел в кабинет, слуга подал ему письмо, написанное на его собственной бумаге рукою пани Мелитон.

- Эта барыня приходила сегодня целных два раза, - сказал верный слуга. - Раз в пять часов, а другой раз - в восемь...

Глава двенадцатая

Хождение по чужим делам

Вокульский все еще держал в руках письмо пани Мелитон, припоминая пережитое. В неосвященной части кабинета ему чудилась темная, густо заросшая часть парка, неясные силуэты оборванцев, собиравшихся на него напасть, а затем холм за колодцем, где Охоцкий поверял ему свои замыслы. Однако стоило ему взглянуть на свет, как туманные образы

исчезали. Он видел лампу с зеленым колпаком, груды бумаг, бронзовые статуэтки на письменном столе - и порой ему казалось, что Охоцкий со своими летательными машинами и собственное его отчаяние - все это только сон.

"Какой он гений? - говорил себе Вокульский. - Обыкновенный мечтатель... Да и панна Изабелла - такая же женщина, как другие... Выйдет за меня хорошо, не выйдет - тоже не умру".

Он развернул письмо и прочел:

"Сударь! Важная новость: через несколько дней продается дом Ленцких, и единственным покупателем будет баронесса Кшешовская, их родственница и злейший враг. Мне доподлинно известно, что она решила заплатить за дом не более шестидесяти тысяч рублей, а в таком случае пропадут остатки приданого панны Изабеллы в сумме тридцати тысяч рублей. Момент весьма благоприятный, потому что панна Изабелла, вынужденная выбирать между бедностью и браком с предводителем, охотно согласится на любую другую комбинацию.

Полагаю, что на этот раз Вы не пренебрежете подвернувшимся случаем, как это было с векселями Ленцкого, которые Вы изорвали у меня на глазах. Помните: женщинам так нравится, когда их угнетают, что иной раз для большего впечатления не мешает придавить их еще и ногой. Чем решительнее Вы это сделаете, тем крепче она полюбит Вас. Помните об этом!

Впрочем, Вы можете доставить Белле небольшое удовольствие. Барон Кшешовский, находясь в крайности, продал собственной супруге свою любимую лошадь, которая на днях должна участвовать в скачках; он возлагал на нее большие надежды. Насколько я разбираюсь в обстоятельствах, Белла была бы очень довольна, если бы к моменту скачек эта лошадь не принадлежала ни барону, ни его жене. Барон был бы сконфужен, что ее продал, а баронесса пришла бы в отчаяние, если бы лошадь выиграла деньги для кого-либо другого. Великосветские взаимоотношения - тонкая штука, все же попытайтесь их использовать. Случай не замедлит подвернуться, так как некто Марушевич, приятель обоих Кшешовских, как я слышала, собирается предложить Вам эту лошадь. Помните же, что женщины подчиняются только тем, кто их крепко держит в руках, в то же время потакающая их капризам.

Право, я начинаю верить, что Вы родились под счастливой звездой.

Искренне расположенная А.М."

Вокульский глубоко вздохнул. Обе новости были важные. Он перечитал письмо, удивляясь грубому стилю пани Мелитон и посмеиваясь над ее замечаниями по адресу прекрасного пола. Держать в руках людей, быть хозяином положения - это было в натуре Вокульского; все и всех готов он был схватить за шиворот, за исключением панны Изабеллы. Она была единственным существом, которому он хотел бы дать полную волю и даже господство над собой.

Он оглянулся: слуга все еще стоял у двери.

- Ступай спать, - сказал он.

- Сейчас пойду, только тут был еще один барин.

- Какой барин?

- Они оставили карточку, вон на столе.

На столе лежала визитная карточка Марушевича.

- Ага... Что же этот барин сказал?

- Да они вроде как бы ничего не сказали. Только справлялись: когда, мол, хозяин бывает дома. А я и говорю: "Часов этак до десяти утра", - а они сказали, что придут завтра в десять, толечко на минутку.

- Хорошо. Спокойной ночи.

- Низко кланяюсь, ваша милость.

Слуга вышел. Вокульский чувствовал себя вполне отрезвевшим. Охоцкий со своими летательными машинами потерял в его глазах прежнюю значительность. Он снова был полон энергии, как в момент выезда в Болгарию. Тогда он отправился за богатством, а теперь может бросить часть его к ногам Изабеллы. Его покорила фраза в письме пани Мелитон: "...вынужденная выбирать между бедностью и браком с предводителем..." Так нет же, никогда она не окажется в таком положении! И выручит ее не какой-то Охоцкий благодаря своей машине, а он, Вокульский... Он ощущал в себе столько сил, что если бы в эту минуту ему на голову обрушился потолок с двумя верхними этажами, он, пожалуй, удержал бы его.

Достав из ящика записную книжку, он занялся подсчетом.

"Скаковая лошадь, - чепуха... Никак не больше тысячи рублей, да и то часть из них, наверное, получу обратно. Дом - шестьдесят тысяч, приданое панны Изабеллы - тридцать тысяч, итого девяносто тысяч. Ничего себе... Почти треть моего состояния. Ну что ж, в любую минуту дом можно продать тысяч за шестьдесят, а то и больше... Только надо будет уговорить Ленцкого, чтобы эти тридцать тысяч он вверил мне, а я буду выплачивать ему ежегодно пять тысяч в качестве дивидендов. Полагаю, что им этого хватит? Лошадь дам берейтору, пусть объездит ее перед скачками... В десять придет Марушевич, в одиннадцать поеду к адвокату... Деньги займу из восьми годовых, - значит, еще семь тысяч двести рублей; а там буду иметь верных пятнадцать процентов... ну, и дом что-нибудь да приносит... Но что скажут мои компаньоны? Да не все ли мне равно! У меня сорок пять тысяч годового дохода, двенадцать - тринадцать тысяч отпадает, остается тридцать две тысячи рублей... Нет, моей жене не придется скучать. В течение года избавлюсь от этого дома, пускай с потерей тридцати тысяч... В конце концов это не потеря, это ее приданое..."

Полночь. Вокульский начал раздеваться. Появилась определенная, ясная цель, и расстроенные нервы успокоились. Он погасил свет, лег, поглядел на занавески, которые раздувал ветер, врывавшийся в открытое окно, и заснул мертвым сном.

Встал он в семь часов в таком бодром и веселом расположении духа, что слуга, заметив это, замешкался в комнате.

- Чего тебе? - спросил Вокульский.

- Мне ничего. А вот сторож, ваша милость, не смеет только беспокоить, а хотел просить вас, барин, в крестные к его младенцу.

- А-а-а! А он спрашивал, хочу ли я, чтобы у него был младенец?

- Он бы спросил, да вы тогда были на войне.

- Ну ладно. Буду ему кумом.

- Так, может, по такому случаю вы пожалуете мне старый сюртук, а то как же я пойду на крестины?

- Хорошо, возьми себе сюртук.

- А приладить по мне...
- Вот дурень, да отвяжись ты... Вели переделать - все что угодно.
- Да мне бы, ваша милость, бархатный воротничок...
- Пришей себе бархатный воротничок и убирайся ко всем чертям...
- Напрасно изволите гневаться, это я не для себя стараюсь, а чтобы вам уважение оказать, - возразил слуга и вышел, бесцеремонно хлопнув дверью.

Он чувствовал, что барин необыкновенно благодушно настроен.

Вокульский оделся и сел за счетные книги, между делом выпив пустого чаю. Закончив подсчеты, он написал одну телеграмму в Москву - о присылке чека на сто тысяч рублей, и другую - в Вену своему агенту, чтобы он задержал некоторые заказы.

Около десяти пришел Марушевич. Молодой человек казался еще более потасканным и робким, чем вчера.

- Вы позвольте мне, - сказал он, здороваясь, - сразу раскрыть свои карты. У меня к вам необычное предложение...
- Готов выслушать самое необычное...
- Баронесса Кшешовская (я дружен с обоими супругами) хочет сбыть с рук скаковую кобылу. Мне сразу пришло в голову, что вы, при ваших связях, может быть пожелаете приобрести такую лошадь... У нее огромные шансы на выигрыш, потому, что, кроме нее, бегут еще только две лошади, значительно более слабые...
- Почему же баронесса не хочет участвовать в скачках?
- Баронесса? Да она ненавидит скачки.
- Зачем же она купила скаковую лошадь?
- По двум причинам. Во-первых, барону нужно было заплатить долг чести и он заявил, что застрелится, если не получит восьмисот рублей, пусть даже за свою любимую кобылу; а во-вторых, баронесса не желает, чтобы ее супруг участвовал в скачках. Вот она и купила у него лошадь. А теперь бедняжка расхворалась со стыда и горя и готова сбыть ее за любую цену.
- А именно?
- Восемьсот рублей, - ответил молодой человек, опуская глаза.
- Где эта лошадь?
- В манеже Миллера.
- А документы?
- Вот они, - повеселел молодой человек и достал пачку бумаг из бокового кармана сюртука.
- Что же, сразу и заключим сделку? - спросил Вокульский, просматривая бумаги.
- Если угодно.

- После обеда пойдем смотреть лошадь?

- О, конечно!

- Напишите расписку, - сказал Вокульский и вынул из ящика деньги.

- На восемьсот?

- Да, да...

Марушевич проворно взял перо и бумагу и принялся писать. Вокульский заметил, что у молодого человека дрожат руки и лицо то краснеет, то бледнеет.

Расписка была написана по всем правилам. Вокульский положил на стол восемь сотенных и спрятал бумаги. Через минуту Марушевич, все еще не оправившись от смущения, вышел из кабинета; сбега по лестнице, он думал:

"Я подлец, да, подлец... Но в конце концов через несколько дней я верну этой бабе двести рублей и скажу, что их добавил Вокульский, оценив достоинства лошади. Они ведь не встретятся - ни барон с женой, ни этот... купчик... с ними... Велел написать расписку... каков! Сразу виден торгаш и выскочка... Ох, как страшно я наказан за свое легкомыслие!"

В одиннадцать часов Вокульский вышел на улицу, намереваясь отправиться к адвокату.

Но едва он вышел из подъезда, как три извозчика, завидев светлое пальто и белую шляпу, поспешили осадить лошадей. Один въехал дышлом в соседнюю пролетку с откинутым верхом, а третий, желая обогнать первых двух, едва не задавил грузчика, тащившего тяжелый шкаф. Поднялась суматоха, драка, в ход пошли кнуты, засвистели полицейские, собралась толпа - и в результате двое особенно горячих сами отвезли себя в участок в собственных экипажах.

"Дурная примета, - подумал Вокульский и вдруг хлопнул себя по лбу. - Ну и хорош же я! Поручаю адвокату купить для меня дом, а сам не знаю, ни каков он с виду, ни даже, где находится!"

Он вернулся к себе и, как был, в шляпе, с тростью под мышкой, стал перелистывать адрес-календарь. По счастью, он слышал, что дом Ленцких находится где-то возле Иерусалимской Аллеи; прошло все же несколько минут, пока он отыскал в календаре улицу и номер дома.

"Отлично бы я зарекомендовал себя перед адвокатом, - думал он, спускаясь по лестнице. - Убеждаю людей вверять мне свои капиталы, а сам покупаю кота в мешке. Конечно, я бы сразу скомпрометировал себя или... панну Изабеллу".

Он вскочил в проезжавшую пролетку и приказал ехать к Иерусалимской Аллее. На углу он отпустил извозчика и свернул в одну из боковых улиц.

День был прекрасный, на небе ни облачка, на мостовой ни пылинки. Во многих домах окна были уже раскрыты, тут и там их только принимались мыть; игривый ветерок раздувал юбки у горничных, причем можно было заметить, что варшавская прислуга охотнее решается мыть окна в четвертом этаже, чем собственные ноги. Из квартир доносились звуки рояля, со дворов - дребезжание шарманки, монотонные выкрики старьевщиков, разносчиков песка, лоточников и тому подобных предпринимателей. Кое-где у ворот зевал дворник в синей рубахе; несколько собак носились по пустынной мостовой; тут же забавлялись ребятишки, сдирая кору с молодых каштанов, на которых еще не успела потемнеть нежная зелень.

Вообще улица казалась чистенькой, спокойной и веселой. В конце ее даже виднелся клочок

неба и купа деревьев; но этот сельский пейзаж, столь чужеродный в Варшаве, загораживали строительные леса и высокая кирпичная стена.

Вокульский шел правой стороной улицы и уже издали заметил слева дом пронзительно-желтого цвета. Варшава отличается обилием желтых домов; пожалуй, это самый желтый город под солнцем. Однако этот дом был желтее всех остальных и наверняка получил бы первый приз на выставке желтых предметов (которая, несомненно, будет устроена в свое время).

Подойдя ближе, Вокульский убедился, что не только он обратил внимание на этот особенный дом; даже псы оставляли тут свои визитные карточки чаще, чем у других стен.

- Черт побери! - выругался он. - Кажется, это он и есть.

Действительно, это был дом Ленцких. Вокульский принялся разглядывать его. Дом был четырехэтажный, с железными балконами, причем каждый этаж был построен в другом стиле. Зато в архитектуре ворот царил единый мотив - веер. Верхняя часть ворот имела форму раскрытого веера, которым могла бы обмахиваться допотопная великанша. На обеих створках виднелись огромные резные прямоугольники, углы которых также были украшены полураскрытыми веерами. Однако главным и самым ценным украшением ворот были выступавшие в центре обеих створок литые шляпки гвоздей таких исполинских размеров, словно именно эти гвозди прикрепляли ворота к дому, а дом к городу.

Подлинную достопримечательность представляла собой подворотня с прогнившим настилом, но зато с живописными ландшафтами по стенам. Там было столько холмов, лесов, скал и потоков, что обитатели дома смело могли никуда не выезжать на лето.

Двор, со всех сторон замкнутый четырехэтажными флигелями, напоминал дно широкого колодца и источал благоухания. В каждом углу было по двери, а в одном из них - две; под окном дворницкой находился мусорный ящик и водопроводный кран.

Вокульский мимоходом заглянул в главный подъезд, куда вели застекленные двери. Лестница была очень грязная, зато рядом с ней, в нише, красовалась нимфа с кувшином над головой и с отбитым носом. Лицо у нимфы было желтое, грудь зеленая, ноги голубые, а кувшин малиновый, ибо, как нетрудно было догадаться, каменная дева стояла против окна с разноцветными стеклами.

- Ну-ну! - буркнул Вокульский тоном, не выражавшим особого восхищения.

В эту минуту из правого флигеля вышла красивая молодая женщина с маленькой девочкой.

- Теперь, мамочка, мы пойдем в сад? - спросила девочка.

- Нет, родненькая. Сейчас мы пойдем в магазин, а в сад после обеда, ответила дама очень приятным голосом.

Это была высокая шатенка с серыми глазами и классически правильными чертами лица. Они взглянули друг на друга и дама покраснела.

"Откуда я ее знаю?" - подумал Вокульский, выходя на улицу.

Дама оглянулась, но, заметив, что он смотрит на нее, отвернулась.

"Да, - думал он, - я видел ее в апреле у гроба господня, а потом в магазине. Жецкий даже обращал на нее мое внимание, особенно на ее прелестные ножки. Действительно, хороши".

Он опять вошел в подворотню и принялся читать список жильцов.

"Что? В третьем этаже баронесса Кшешовская? Что, что?.. В левом флигеле, во втором этаже - Марушевич? Интересное совпадение! В четвертом этаже студенты... Кто же эта красавица? В правом флигеле, во втором этаже Ядвига Мисевич, пенсионерка, и Елена Ставская с дочерью. Наверное, она".

Он вошел во двор и стал смотреть по сторонам. Почти везде окна были раскрыты. В заднем флигеле внизу была прачечная, именованная "Парижской"; с четвертого этажа доносился стук сапожного молотка, пониже на карнизе ворковала пара голубей, а в третьем этаже того же флигеля уже некоторое время раздавались размеренные звуки рояля и чье-то визгливое сопрано выводило гамму:

- А!.. а!.. а!.. а!.. а!.. а!.. а!..

Вокульский услышал, как высоко над его головою, в четвертом этаже, громкий бас проговорил:

- Ох! Опять она приняла "куссин". Из нее уже полез солитер... Марыся! Иди же скорее сюда!

Одновременно из окна третьего этажа высунулась женская голова и закричала:

- Марыся!.. Сию минуту ступай домой... Марыся!

- Честное слово, это Кшешовская! - сказал Вокульский.

В ту же секунду он услышал подозрительное журчанье: струя воды с четвертого этажа обдала высунувшуюся голову Кшешовской и расплескалась по двору.

- Марыся! Иди сюда! - призывал бас.

- Негодяй! - закричала Кшешовская, задирая голову.

Новая струя воды, хлынувшая из верхнего окна, вынудила ее замолчать. Одновременно оттуда высунулся чернобородый молодой человек и, заметив отпрянувшую физиономию Кшешовской, воскликнул великолепным басом:

- Ах, это вы, сударыня? Простите, пожалуйста... Ему ответили судорожные рыдания из квартиры Кшешовской:

- О, я несчастная! Готова поклясться, что это он, негодяй, натравил на меня этих бандитов... Так он меня благодарит за то, что я вытянула его из нужды!.. Купила его лошадь!..

Тем временем внизу прачки стирали белье, в четвертом этаже стучал молотком сапожник, а в третьем - брнчал рояль и раздавалась визгливая гамма:

- А!..а!.. а!.. а!.. а!.. а!.. а!..

- Веселенький дом, нечего сказать, - пробормотал Вокульский, стряхивая с рукава капли воды.

Он вышел на улицу, еще раз осмотрел недвижимость, хозяином которой собирался стать, и свернул в Иерусалимскую Аллею. Там он нанял извозчика и поехал к адвокату.

В передней адвоката Вокульский застал нескольких оборванных евреев и старуху, повязанную платком. В открытую дверь налево можно было видеть шкафы, набитые папками, трех делопроизводителей, что-то усердно строчивших, и несколько посетителей, по виду мещан, из которых у одного была физиономия определенно преступная, а у остальных - скучающие.

Посетителей встречал старый седоусый лакей с недоверчивым взглядом. Сняв с Вокульского пальто, он спросил:

- У вас, ваше благородие, длинный разговор?

- Нет, короткий.

Он ввел Вокульского в залу направо.

- Как прикажете доложить?

Вокульский дал ему визитную карточку и остался один. В зале стояла мебель, крытая малиновым бархатом, как в вагонах первого класса, было здесь также несколько резных шкафов с роскошно переплетенными книгами, которых, по-видимому, никто никогда не читал, а на столе - иллюстрированные журналы и альбомы, которые, по-видимому, разглядывали все. В углу стояла гипсовая статуя богини Фемиды с медными весами и грязными коленками.

- Пожалуйте, - пригласил его слуга, приоткрыв дверь.

В кабинете знаменитого адвоката он увидел обитую коричневой кожей мебель, коричневые занавески на окнах и коричневые узоры на обоях. Сам хозяин был в коричневом сюртуке и держал в руке предлинный чубук, оправленный наверху в необычайно массивный янтарь с перышком.

- Я был уверен, милостивый государь, что сегодня увижу вас у себя, сказал адвокат, пододвигая ему кресло на колесиках и расправляя ногой завернувшийся уголок ковра. - Два слова, - продолжал он, - относительно вкладов в нашу компанию: мы можем рассчитывать тысяч на триста. А что к нотариусу мы пойдем не мешкая и соберем все наличные до последней копейки в этом уж можете положиться на меня...

Он подчеркивал голосом особо важные слова, пожимая Вокульскому локоть и искоса наблюдая за ним.

- Ах да... торговое общество!.. - повторил клиент, опускаясь в кресло. - Это уж их дело, сколько они соберут наличными.

- Ну, все-таки капитал... - заметил адвокат.

- С меня хватит и своего.

- Это знак доверия...

- Мне достаточно собственного.

Адвокат замолчал и принялся сосать трубку.

- У меня к вам просьба, - сказал, помолчав, Вокульский.

Адвокат уставился на него, стараясь отгадать, в чем заключается эта просьба, ибо от характера ее зависело, как надлежало слушать. Очевидно, он не обнаружил ничего угрожающего, так как физиономия его приняла серьезное, но вполне дружелюбное выражение.

- Я хочу купить дом, - сказал Вокульский.

- Уже? - спросил адвокат, подняв брови и наклонив голову. - Поздравляю, от души поздравляю. Торговый дом не зря называется домом. Собственный дом для купца - то же, что стремя для всадника: он увереннее держится в делах. Коммерция, не опирающаяся на такую

реальную основу, как дом, - это просто мелочная торговля. О каком же здании идет речь, если только вам угодно почтить меня своим доверием?

- На днях продается с аукциона дом пана Ленцкого...

- Знаю, - прервал адвокат. - Постройка основательная, только деревянные части следовало бы постепенно заменить новыми; позади сад... Баронесса Кшешовская даст до шестидесяти тысяч рублей, конкурентов, наверно, не будет, так что мы купим, самое большое, за шестьдесят тысяч.

- Да хоть и за девяносто или еще дороже, - сказал Вокульский.

- Зачем? - подскочил в кресле адвокат. - Баронесса больше шестидесяти тысяч не даст, сейчас никто домов не покупает... Дело совсем неплохое.

- Для меня оно будет неплохим даже за девяносто тысяч...

- Но за шестьдесят пять лучше...

- Я не хочу обижать моего будущего компаньона.

- Компаньона?.. - вскричал адвокат. - Да ведь почтенный пан Ленцкий окончательный банкрот; вы просто повредите ему, заплатив лишние несколько тысяч. Я знаю, как его сестра, графиня, смотрит на это дело... Как только у пана Ленцкого не останется за душой ни гроша, его прелестная дочка, которую мы все обожаем, выйдет за барона или за предводителя...

У Вокульского так дико блеснули глаза, что адвокат умолк. Он пристально поглядел на своего гостя, подумал... и вдруг хлопнул себя по лбу.

- Скажите, почтеннейший, - спросил он, - вы твердо решили дать девяносто тысяч за эту развалину?

- Да, - глухо ответил Вокульский.

- Девяносто минус шестьдесят... приданое панны Изабеллы... пробормотал адвокат. - Ага!

Физиономия и вся его повадка до неузнаваемости изменились. Он выпустил из трубки целое облако дыма, развалился в кресле и, успокаивающе помахивая рукой, заговорил:

- Мы друг друга понимаем, пан Вокульский. Признаюсь, я еще пять минут назад подозревал вас - сам не знаю в чем, ибо дела ваши чисты. Но сейчас, верьте мне, вы имеете в моем лице доброжелателя и... союзника.

- Теперь я вас не понимаю, - тихо проговорил Вокульский, опуская глаза.

На щеках у адвоката выступил кирпичный румянец. Он позвонил, вошел слуга.

- Не впускать сюда никого, пока я не позвоню.

- Слушаюсь, ваша милость, - отвечал угрюмый лакей.

Они снова остались вдвоем.

- Пан Станислав, - начал адвокат. - Вы знаете, что такое наша аристократия и ее присные... Это несколько тысяч людей, которые тянут соки из страны, мотают деньги за границей, привозят оттуда наихудшие привычки, заражают ими наши якобы здоровые средние классы и сами безнадежно гибнут: экономически, физиологически и морально. Если б удалось заставить их работать, если б скрестить их с другими слоями общества... может, получилось

бы что-нибудь дельное, поскольку организация их, несомненно, тоньше нашей. Вы понимаете... скрестить, но... не швырять тридцать тысяч рублей на то, чтобы поддержать их. Так вот, в скрещивании я берусь вам помочь, но транжирить тридцать тысяч - нет, в этом я вам не помощник!

- Я вас совершенно не понимаю, - тихо возразил Вокульский.

- Понимаете, только не хотите довериться мне. Недоверчивость - это великое достоинство, и я не стану вас лечить от нее. Скажу вам только одно: Ленцкий-банкрот может... породниться даже с купцом, в особенности если он дворянин. Но Ленцкий с тридцатью тысячами в кармане...

- Сударь, - прервал его Вокульский, - возьметесь ли вы от моего имени участвовать в аукционе?

- Возьмусь, но свыше того, что предложит Кшешовская, дам не более трех - пяти тысяч. Вы меня извините, но сам с собою я торговаться не могу.

- А если найдется третий претендент?

- Что ж! В таком случае, я и его оставлю позади, чтобы удовлетворить ваш каприз.

Вокульский встал.

- Благодарю вас за откровенность, - сказал он. - Вы правы, но у меня есть свои соображения. Деньги принесу вам завтра... А сейчас - до свиданья.

- Жаль мне вас, - отвечал адвокат, пожимая ему руку.

- Почему же?

- Видите ли, я твердо знаю, что если человек хочет чего-нибудь добиться, он должен победить, придушить противника, а не кормить его из собственной кладовой. Вы совершаете ошибку, которая вас не приблизит, а скорее отдалит от цели.

- Вы ошибаетесь.

- Романтик, романтик! - с улыбкой повторял адвокат.

Вокульский поспешно покинул дом адвоката и, сев в пролетку, велел ехать на Электоральную. Он был расстроен тем, что адвокат проник в его тайну, и тем, что он осуждал его метод действия. Конечно, если хочешь достичь цели, нужно задушить противника; но ведь его добычей должна стать панна Изабелла!..

Он остановил извозчика перед невзрачной лавчонкой, над которой висела черная вывеска с желтоватой надписью: "Вексельная и лотерейная контора С.Шлангбаума".

Лавка была открыта; за конторкой, обитой жостью и отгороженной от публики проволочной сеткой, сидел старый лысый еврей с седой бородой, словно приклеенной к лежавшему на столе "Курьеру".

- Здравствуйте, пан Шлангбаум, - громко сказал Вокульский.

Еврей поднял голову и сдвинул очки со лба на нос.

- Ах, это вы, ваша милость! - ответил он, пожимая руку гостю. - Как, неужели и вам уже нужны деньги?

- Нет, - сказал Вокульский, бросаясь в плетеное кресло перед конторкой. Он постеснялся сразу объяснить, что его сюда привело, и начал с вопроса: Ну, как дела, пан Шлангбаум?

- Нехорошо! - вздохнул старик. - Стали преследовать евреев. Может, это и к лучшему. Когда нас будут лягать, и травить, и плевать на нас, то, даст бог, опомнятся молодые евреи вроде моего Генрика, которые вырядились в сюртуки и забыли свою веру.

- Да кто вас преследует! - возразил Вокульский.

- Вам нужны доказательства? - спросил еврей. - Вот вам доказательства в этом "Курьере". Позавчера я им послал шараду. Вы умеете разгадывать шарады? Так я послал такую:

Первое и второе - животное с копытом.

Первое и третье - на голове украшение мод.

Целое - на войне грозное и сердитое,

Пусть от него нас бог убережет.

Вы знаете, что это? Первое и второе - это ко-за; первое и третье - это ко-ки, а целое - это козаки. А знаете, что они мне ответили?.. Минуточку...

Он взял "Курьер" и начал читать:

- Ответы редакции. "Пану В.В. Большая энциклопедия Оргельбранда..." Не то... "Пану Мотыльку. Фрак одевается..." Не то... Ах, вот! "Пану С.Шлангбауму! Ваша шарада политическая, но не грамматическая". Скажите на милость: ну что тут политического? Если б я написал шараду про Дизраэли или про Бисмарка - это еще была бы политика, но про казаков - это же не политика, это просто военное.

- Ну, а при чем тут преследование евреев? - спросил Вокульский.

- Сейчас объясню. Вам самому пришлось защищать от преследований моего Генрика, - я все знаю, хотя и не от него. Теперь о шараде. Когда я полгода назад отнес свою шараду к пану Шимановскому{250}, так он мне сказал: "Пан Шлангбаум, мы эти шарады печатать не будем, и все же я вам советую: лучше писать шарады, чем брать с людей проценты". А я говорю: "Пан редактор, если вы мне столько дадите за шарады, сколько я имею с процентов, так я буду писать". А пан Шимановский на это: "У нас, пан Шлангбаум, нет таких денег, чтобы заплатить за ваши шарады". Это сказал сам пан Шимановский, слышите? Ну, а сегодня они мне в "Курьере" пишут, что это не политично и не грамматично... Еще полгода назад говорили иначе. А что сейчас в газетах печатают об евреях!

Вокульский слушал истории о преследовании евреев, посматривая на лотерейную таблицу, висевшую на стене, и барабаня пальцами по конторке. Но думал он о другом, все не решаясь приступить к делу.

- Так вы все время занимаетесь шарадами, пан Шлангбаум? - спросил он.

- Я-то что... - ответил старый еврей. - Вот у меня есть внучек от Генрика, ему всего девять лет, и вы бы только послушали, какое он мне написал письмо на той неделе. "Дедушка, - это он пишет, маленький Михась, мне надо такую шараду:

Первое - буква, второе - с ногтями.

А целое - суконная вещь с помочами.

Дедушка, а когда вы разгадаете, - это он пишет, Михась, - так пришлите мне, дедушка, шесть рублей на эту суконную вещь". Я, пан Вокульский, прочитал и заплакал. Потому что первое - это "б", а "с ногтями" - это руки, а целое - брюки. Я расплакался, пан Вокульский, что такой умный ребенок из-за упрямства Генрика ходит без брюк. Но я ему ответил: "Мой миленький внучек! Мне очень приятно, что ты научился от дедушки составлять шарады. Но чтобы ты еще научился быть бережливым, так я посылаю тебе на эту суконную вещь только четыре рубля. А если ты будешь хорошо учиться, так я тебе после каникул куплю вот что:

Первое - рот по-немецки, второе - не наше означает.

А целое - покупают ребенку, когда он в гимназию поступает.

Это мунд-ир,* вы сразу догадались, правда, пан Вокульский?

* Mund - рот, ihr - ваш (нем.).

- Так, значит, вся ваша семья увлекается шарадами? - спросил Вокульский.

- Не только моя, - отвечал Шлангбаум. - У нас, то есть у евреев, когда собирается молодежь, так они не занимаются, как у вас, танцами, комплиментами, нарядами, пустяками, а они делают вычисления или смотрят ученые книжки, экзаменуют друг друга или решают шарады, ребусы, шахматные задачи. У нас ум всегда занят, и поэтому у евреев головы умные, поэтому, не в обиду вам будь сказано, они весь мир завоюют. Вы все делаете сгоряча, запальчиво, а мы берем умом и терпением.

Последняя фраза поразила Вокульского. Ведь он добивался панны Изабеллы именно умом и терпением... Сердце его наполнилось бодростью, он перестал колебаться и вдруг сказал:

- У меня к вам просьба, пан Шлангбаум...

- Ваши просьбы для меня - все равно что приказ, пан Вокульский.

- Я хочу купить дом Ленцкого...

- Ну, я знаю этот дом. Он пойдет за шестьдесят тысяч, может быть немного дороже.

- Я хочу, чтобы он пошел за девяносто тысяч, и мне нужен человек, который бы поднял цену до этой суммы.

Еврей широко раскрыл глаза.

- Как? Вы хотите заплатить на тридцать тысяч дороже? - спросил он.

- Да.

- Извиняюсь, но я не понимаю. Если бы это ваш дом продавали, а Ленцкий хотел бы его купить, - ну, тогда вам было бы выгодно набить цену. Но если вы покупаете, вам выгодно снизить цену...

- Мне выгодно заплатить дороже.

Старик покачал головой и, помолчав, снова заговорил:

- Если бы я вас не знал, я бы подумал, что вы делаете невыгодную сделку; но ведь я вас знаю, так я себе думаю, что вы делаете... странную сделку. Мало того что вы вкладываете наличные деньги в стены и теряете на этом процентов десять годовых, так вы еще

собираетесь переплатить тридцать тысяч рублей... Пан Вокульский, - прибавил он, беря его за руку, - не делайте такую глупость. Ну, я вас прошу... Я, старик Шлангбаум, прошу вас...

- Поверьте мне, я на этом выгадаю...

Еврей вдруг поднял палец ко лбу. Блеснули глаза и белые, как жемчуг, зубы.

- Ха-ха! - рассмеялся он. - Ну, видно, я уж совсем постарел, если сразу не догадался. Вы дадите пану Ленцкому тридцать тысяч, а он вам поможет заработать сто тысяч... Гит!* Я вам найду такого конкурента, который за пятнадцать рубликов набьет цену. Очень приличный господин, католик, только не советую давать ему вперед. Я вам найду еще такую солидную даму, что за десятку тоже будет надбавлять цену. Могу дать еще парочку евреев, по пять рубликов за каждого... Будут такие торги, что вы заплатите за этот дом хоть полтора ста тысяч, и никто не догадается, как состряпано дело.

* Хорошо (еврейск.).

Вокульскому было немножко не по себе.

- Во всяком случае, все останется между нами, - сказал он.

- Пан Вокульский, - торжественно ответил старик, - я думаю, что вам не надо было этого говорить. Ваш секрет - мой секрет. Вы заступились за моего Генричка, и вы не преследуете евреев...

Они попрощались, и Вокульский пошел домой. Его уже ждал Марушевич, и они отправились в манеж - посмотреть купленную лошадь.

Здание манежа состояло из двух строений, соединенных вместе и образующих как бы эполет; в круглом здании помещался манеж, а в прямоугольном - конюшня.

Вокульский приехал как раз во время урока верховой езды. Четыре господина и одна дама гарцевали друг за другом вдоль стен манежа; посредине стоял директор, мужчина с военной выправкой, в синей куртке, белых обтянутых рейтузах и высоких сапогах со шпорами. Это был пан Миллер; он командовал наездниками с помощью длинного бича, которым время от времени подхлестывал запрявившуюся лошадь, отчего наездники вздрагивали и морщились. Вокульский мимоходом заметил, что мужчина, который держался в седле без стремян, закинув за спину правую руку, был, судя по виду, отчаянный шалопай; один всеми силами старался удержаться на лошади где-то между гривой и крупом, а другой выглядел так, будто собирался вот-вот спрыгнуть с коня и до конца жизни уже не братья за кавалерийские упражнения. Только дама в амазонке ездилла смело и ловко, и Вокульский подумал, что женщины вообще, вероятно, не знают неудобных или опасных положений.

Марушевич познакомил своего спутника с директором.

- Я как раз ждал вас. Сию минуту буду к вашим услугам. Пан Шульц!..

Вбежал пан Шульц - белокурый молодой человек, тоже в синей куртке, но в еще более высоких сапогах и в еще более узких рейтузах. Он по-военному щелкнул каблуками, взял в руки символ директорской власти, и Вокульский, еще не покинув манежа, убедился, что Шульц, несмотря на свой юный возраст, пожалуй, орудует бичом энергичней, чем сам директор. Второй господин даже вскрикнул, а третий попросту начал ругаться.

- Сударь, - обратился директор к Вокульскому, - вы принимаете лошадь барона со всеми ее принадлежностями - седлами, попонами и прочее и прочее?

- Разумеется.

- В таком случае, с вас следует шестьдесят рублей за конюшню, которую барон Кшешовский не оплатил.

- Ничего не поделаешь.

Они вошли в денник, светлый, как комната, и даже увешанный коврами, впрочем не очень дорогими. Новенькая кормушка была доверху засыпана зерном, решетка полна сена, пол устлан чистой соломой. Все же зоркий глаз директора заметил какой-то беспорядок, и он крикнул:

- Пан Ксаверий, что это за безобразия, тысяча чертей! Может, вы и в своей спальне храните подобные вещи?

Второй помощник директора появился на одно мгновение. Он заглянул, исчез и закричал в коридоре:

- Войцех! Сто тысяч чертей! Сию минуту подчисти, не то я велю положить тебе все это на стол...

- Щепан! Зараза! - откликнулся уже за перегородкой третий голос. - Если ты мне еще раз, сукин сын, бросишь конюшню в таком виде, я тебя заставлю языком это вылизать.

Одновременно раздались несколько глухих ударов, словно кого-то схватили за голову и стукнули о стену.

Через минуту, глянув ненароком в окно конюшни, Вокульский увидел паренька в куртке с металлическими пуговицами, который выбежал во двор за метлой, а найдя таковую, мимоходом треснул по голове глазевшего с улицы еврея. Вокульский, как физик, подивился новой форме сохранения энергии, при которой гнев директора таким необыкновенным способом настиг существо, находящееся за пределами манежа.

Между тем директор велел вывести кобылу в коридор. Это было чудесное животное, на тонких ногах, с маленькой головой и глазами, глядевшими умно и нежно. На ходу лошадка повернулась к Вокульскому, обнюхала его и зафыркала, словно угадав в нем хозяина.

- Она уже признала вас, - сказал директор. - Дайте ей сахару... Прекрасная кобыла!

И он достал из кармана грязный кусок сахару, пахнущий табаком. Вокульский протянул его кобыле, которая, не задумываясь, проглотила его.

- Ставлю пятьдесят рублей, что она выиграет!.. - воскликнул директор. Принимаете?

- Конечно, - ответил Вокульский.

- Выиграет обязательно. Я дам первоклассного жокея и сам научу его, как ее вести. Но останься она у барона Кшешовского - разрази меня гром, если бы она не приплелась третьей к столбу. Да и вообще я не стал бы держать ее.

- Директор никак не может успокоиться, - сладко улыбаясь, вставил Марушевич.

- Успокоиться! - крикнул директор, багровея от гнева. - Ну, посудите сами, пан Вокульский: могу ли я поддерживать отношения с человеком, осмелившимся рассказывать, будто я в Люблинском продал лошадь, у которой был колер... Подобные вещи не забываются, пан Марушевич! - кричал он, все более повышая голос. - Не вмешайся граф, у пана Кшешовского сейчас сидела бы пуля в ноге... Я продал лошадь с колером... Хоть бы мне пришлось

доложить сто рублей - лошадь выиграет. Хоть бы она пала после скачек... Пан барон еще увидит! У лошади колер! Ха-ха-ха! - разразился он демоническим смехом.

Осмотрев лошадь, все трое прошли в канцелярию, где Вокульский уплатил, что причиталось, поклявшись в душе никогда в жизни не упоминать про колер. Прощаясь с директором, он спросил:

- Нельзя ли пустить лошадь на скачки, не указывая фамилии хозяина?

- Сделаем.

- Только...

- О! будьте спокойны, - ответил директор, пожимая ему руку. - Для джентльмена скромность - первая добродетель. Надеюсь, что и пан Марушевич...

- О! - подтвердил Марушевич и произвел такое выразительное движение головой и руками, что не могло быть никакого сомнения в том, что тайна глубоко погребена в его груди.

Обходя манеж, Вокульский услышал сначала хлопанье бича, а затем перебранку четвертого господина с помощником директора.

- Это невежливо, сударь мой! - кричал четвертый. - У меня костюм лопается по швам...

- Выдержит, - флегматически возражал пан Шульц, хлопая бичом в сторону второго господина.

Вокульский вышел на улицу.

Он простился с Марушевичем и уже садился в пролетку, как вдруг ему в голову пришла странная мысль:

"Если эта лошадь возьмет приз, панна Изабелла полюбит меня..."

Остановив извозчика, он снова пошел в манеж; животное, минуту назад для него безразличное, вдруг стало близким и дорогим.

Входя в денник, он услышал тот же характерный звук, будто кого-то колотили головой о стену. И действительно, из-за перегородки выскочил мальчик Щепан с пылающими щеками и взъерошенными волосами, которые, по-видимому, только что трепала чья-то рука; следом за ним появился конюх Войцех, вытирая о куртку слегка засаленные пальцы. Вокульский дал старшему три рубля, младшему рубль и обещал их поблагодарить, только бы за лошадкой был хороший уход.

- Уж буду, сударь, беречь ее пуще жены, - ответил Войцех, кланяясь в пояс. - Да и хозяин ее не обидит, будьте уверены... На скачках, сударь, кобылка полетит как ветер...

Вокульский вошел в денник и с четверть часа пробыл с лошадей. Ее нежные ножки вызывали у него беспокойство, и он вздрагивал всякий раз, как по ее бархатистой коже пробегала дрожь: ему казалось, что она заболевает. Потом он обнял ее за шею, а когда она положила голову ему на плечо, поцеловал ее и прошептал:

- Если бы ты знала, сколько от тебя зависит... если бы ты знала!

С той поры он по несколько раз в день ездил в манеж, кормил лошадь сахаром и ласкал ее. Он чувствовал, что в его трезвом уме пускает ростки нечто подобное суеверию. Если лошадь встречала его весело, он радовался этому, как хорошей приметой; когда она была грустна,

сердце его терзала тревога. Еще по дороге в манеж он говорил себе: "Если она сегодня веселая значит, панна Изабелла меня полюбит".

Порой в нем просыпался здравый смысл; тогда его охватывал гнев и презрение к самому себе.

"Что же это, - думал он, - значит, моя жизнь зависит от каприза какой-то женщины? Разве не найдется сто других? Предлагала же пани Мелитон познакомить меня с тремя, даже с четырьмя не менее красивыми. Пора в конце концов образумиться!"

Но, вместо того чтобы образумиться, он еще глубже погружался в омут безумия. В минуты просветления ему казалось, что на земле, вероятно, еще есть колдуны и один из них сглазил его. Тогда он с беспокойством повторял про себя:

"Я уже не тот... я становлюсь другим человеком... Как будто кто-то подменил мне душу..."

Иногда же в нем одерживал верх естествоиспытатель и психолог.

"Вот, - нашептывал ему этот второй человек где-то в глубине мозга, вот как мстит природа за нарушение ее законов. Смолоду ты пренебрегал сердцем, смеялся над любовью, продался в мужья старухе, а теперь расплачивайся. Капитал чувств, накопленный за долгие годы, вернулся к тебе сейчас с процентами..."

"Ну, хорошо, - думал он, - но ведь, в таком случае, мне полагалось бы сделаться развратником; почему же я думаю только о ней?"

"А черт его знает почему, - отвечал оппонент. - Может быть, именно эта женщина оказалась наиболее подходящей для тебя. Может быть, вправду, как говорит легенда, ваши души некогда, столетия назад, представляли единое целое..."

"Тогда она тоже должна меня любить... - говорил Вокульский. И прибавлял: - Если лошадь выиграет на скачках, это будет означать, что панна Изабелла полюбит меня... Ах, старый глупец, безумец, до чего ты дошел!"

За несколько дней до скачек к Вокульскому явился с визитом граф-англоман, с которым он познакомился на совещании у князя.

После обмена приветствиями граф, не сгибая спины, сел в кресло и сказал:

- Я в гости и по делу... Дэ-э... Вы позволите?

- К вашим услугам, граф.

- Барон Кшешовский, - продолжал граф, - лошадь которого вы приобрели, впрочем, совершенно законно, дэ-э, так вот, барон осмеливается покорнейше просить вас уступить ему эту лошадь! Цена не играет роли. Барон побился об заклад на большие суммы. Он предлагает тысячу двести рублей...

Вокульский похолодел; если он продаст лошадь, панна Изабелла наверняка станет его презирать...

- А что, граф, если у меня свои виды на лошадь? - возразил он.

- В таком случае, за вами справедливое преимущество, дэ-э, - процедил граф.

- Вы сами решили вопрос, граф, - сказал Вокульский и поклонился.

- Разве? Дэ-э... Я очень сочувствую барону, однако у вас больше прав.

Он поднялся с кресла, как автомат на пружинах, и, простившись, прибавил:

- Когда же к нотариусу, дорогой пан Вокульский, по поводу нашей компании? Поразмыслив, я вношу пятьдесят тысяч рублей... Дэ-э.

- Это уж зависит от вас, господа.

- Я горячо желаю, чтобы наша отчизна процветала, и поэтому вы, пан Вокульский, вполне располагаете моей симпатией и уважением, невзирая на неприятность, которую вы причиняете барону. Дэ-э. Он был так уверен, что вы уступите лошадь.

- Не могу.

- Я вас понимаю, - закончил граф. - Как бы дворянин ни рядился в шкуру делового человека, при первом же случае он вылезает из нее. А вы - прошу извинить мою смелость, - вы прежде всего дворянин, да еще английского образца, который всем нам должен служить примером.

Он крепко пожал хозяину руку и ушел. Вокульский признал в душе, что этот оригинал, похожий на марионетку, в сущности не лишен многих приятных качеств.

"Да! - подумал он. - С этими господами легче ужиться, чем с купцами. Они в самом деле вылеплены из другой глины..."

Нечего удивляться, - продолжал он размышлять, - что панна Изабелла, воспитанная среди них, брезгует такими, как я. Ну, а что они делают на свете и для света? Уважают людей, которые могут им дать пятнадцать процентов годовых. Невелика заслуга!"

- Но как, черт возьми, дошло до них, что это я купил лошадь, пробормотал он, щелкнув пальцами. - Впрочем, не мудрено. Ведь я купил ее у Кшешовской через Марушевича. К тому же чересчур часто бываю в манеже, вся прислуга меня уже знает... Эх, я начинаю делать глупости и становлюсь опрометчив... С самого начала не нравился мне этот Марушевич...

Глава тринадцатая

Великосветские развлечения

Наконец наступил день скачек - ясный, но не жаркий, как раз в меру. Вокульский вскочил с постели в шестом часу и сразу же поехал навестить свою лошадку. Она встретила его довольно равнодушно, но была здорова, и Миллер был полон надежд.

- Что? - смеялся он, похлопывая Вокульского по плечу. - Загорелись, а? В вас проснулся спортсмен. Мы, сударь, во время скачек все ходим как очумелые. Наше пари на пятьдесят рубликов в силе, да? Они все равно что у меня в кармане. Вы можете хоть сейчас их выложить.

- И выложу с величайшим удовольствием, - отвечал Вокульский, а сам подумал: "Выиграет ли моя лошадь? Полюбит ли меня панна Изабелла? А вдруг что-нибудь случится? А вдруг лошадь сломает ногу?.."

Утренние часы тянулись так медленно, будто в движение их приводили ленивые волны. Вокульский только на минутку заглянул в магазин, за обедом ничего не ел, после обеда отправился в Саксонский сад, но думал все об одном: выиграет или не выиграет? Полюбит или не полюбит? Однако он пересилил себя и выехал на ипподром только около пяти.

В Уяздовских Аллеях собралось столько экипажей и пролетов, что местами можно было ехать только шагом; у заставы образовался настоящий затор. Вокульскому, сходявшему с ума от нетерпения, пришлось минут пятнадцать прождать, пока наконец его экипаж не выбрался на

Мокотовское поле.

На повороте Вокульский высунулся, пытаясь разглядеть ипподром сквозь облако желтоватой пыли, густо оседавшей на его лице и одежде. Поле показалось ему сегодня бесконечно длинным и произвело на него неприятное впечатление, над ним словно реяла какая-то неясная угроза. Вдали он различил длинные ряды людей, растянувшиеся в форме полукруга; полукруг разрастался все шире, пополняясь прибывшими толпами.

Но вот он доехал до места; однако прошло еще минут десять, пока слуга вернулся из кассы с билетом. Вокруг экипажа толпились безбилетные зрители, раздавался тысячеголосый гул, и Вокульскому казалось, что все только и говорят что о его лошади, смеясь над купцом, который прикидывается любителем скачек.

Когда экипаж пропустили наконец внутрь круга, Вокульский соскочил на землю и заторопился к своей лошадке, стараясь сохранить вид равнодушного зрителя.

После долгих поисков он увидел ее в центре скакового поля. Рядом стояли Миллер и Шульц, а также незнакомый жокей с огромной сигарой во рту, в желто-голубой шапочке и накинутом на плечи пальто. Лошадь, в сравнении с громадным ипподромом и несчетной толпой, показалась ему такой маленькой и хрупкой, что он пришел в отчаяние и готов был все бросить и вернуться домой. Но у Миллера и Шульца физиономии сияли надеждой.

- Вот и вы наконец! - крикнул ему директор манежа и, показав глазами на жокея, прибавил: - Познакомьтесь, господа: пан Юнг, известнейший у нас жокей, - пан Вокульский.

Жокей поднес два пальца к желто-голубой шапочке и, вынув другой рукой изо рта сигару, сплюнул сквозь зубы.

Вокульский в душе признал, что еще никогда в жизни не видел такого маленького и тщедушного человечка. Он заметил, что жокей осматривает его, как лошадь, с головы до щиколоток, и при этом переступает кривыми ногами так, словно собирается вскочить на него и проехаться.

- Скажите, пан Юнг, мы выиграем, а? - спросил директор.

- Оу! - ответил жокей.

- Те два жеребца неплохи, но наша кобылка высшего класса! - продолжал директор.

- Оу! - подтвердил жокей.

Вокульский отвел его в сторону и сказал:

- Если мы выиграем, я заплачу вам пятьдесят рублей сверх положенного.

- Оу! - отвечал жокей и, всмотревшись в лицо Вокульского, прибавил: Вы есть чистый кровь спортсмен, только не надо горячиться. В следующий год уже будет спокойнее.

Он снова сплюнул сквозь зубы и пошел к трибуне, а Вокульский, простившись с Миллером и Шульцем, ласково потрепал кобылку и вернулся к экипажу.

Теперь он стал разыскивать панну Изабеллу.

Он обошел длинную вереницу экипажей, вытянувшихся вдоль дорожки, присматривался к лошадям, слугам, заглядывал под дамские зонтики - панны Изабеллы не было.

"Может быть, она и не приедет? - подумал он, и ему показалось, что вся эта площадь,

запруженная толпой, проваливается вместе с ним сквозь землю. Стоило выбрасывать столько денег, если ее не будет! А может быть, эта старая интригантка, пани Мелитон, надула его, сговорившись с Марушевичем?"

Он взошел на ступеньки, ведущие к судейской ложе, и стал смотреть по сторонам. Тщетно. Спускаясь, он наткнулся на каких-то людей, стоявших к нему спиной; один, высокий мужчина, по всем признакам спортсмен, громко разглагольствовал:

- Уж десять лет я читаю, как нас ругают за расточительность, и совсем было решил исправиться и продать свою конюшню. А тут, я вижу, человек всего без году неделя как разбогател, а уже на скачках пускает лошадь... "Ах, так! - думаю. - Вот вы какие птички! Нас поучаете, а чуть подвернется случай, сами туда же! Так вот же, не исправлюсь, не продам лошадей, не..."

Спутник его, заметив Вокульского, толкнул расходившегося спортсмена, и тот оборвал на полуслове. Воспользовавшись паузой, Вокульский хотел было пройти мимо, но высокий господин остановил его.

- Простите, - сказал он, притрагиваясь к шляпе, - что я позволил себе делать подобного рода замечания... Вжесинский...

- Я с удовольствием их выслушал, - улыбаясь, ответил Вокульский, - и в глубине души согласен с вами. Впрочем, я участвую в скачках в первый и последний раз в жизни.

Они пожали друг другу руки, а когда Вокульский отошел на несколько шагов, Вжесинский вполголоса заметил:

- Молодчина...

Только теперь Вокульский купил программу и с чувством некоторой неловкости прочел, что в третьей скачке идет кобылка Султанка, от Алима и Клары, принадлежащая Х.Х., жокей Юнг, - в желтой куртке с голубыми рукавами. Приз - триста рублей; выигравшая лошадь будет продана на месте.

- Я сошел с ума! - пробормотал Вокульский, направляясь к местам на трибуне. Он подумал, не там ли панна Изабелла, и решил немедленно вернуться домой, если не найдет ее.

Его охватило уныние. Женщины казались ему безобразными, их яркие наряды нелепыми, их кокетство гадким. Мужчины были глупы, толпа вульгарна, музыка визглива. Поднимаясь на трибуну, он с отвращением смотрел на скрипучие ступени и ветхие стены, испятнанные дождевыми потеками. Знакомые раскланивались с ним, женщины ему улыбались, то тут, то там перешептывались: "Смотри! Смотри!" Но он ничего не замечал. Встав на верхнюю скамью, он навел бинокль и поверх пестрой и шумной толпы стал разглядывать дорогу до самой заставы, но увидел лишь клубы желтой пыли.

"Что делается на этой трибуне в течение целого года?" - думал он.

И почудилось ему, что на обветшалых скамьях каждую ночь собираются все умершие банкроты, кающиеся кокотки, всевозможного рода бездельники и моты, которых выгнали даже из ада, и при свете печальных звезд смотрят они, как скачут наперегонки скелеты лошадей, павших на этой дорожке. Ему показалось, что даже сейчас он видит перед собою истлевшие одежды и чувствует запах мертвечины.

Из забытья его вывел многоголосый крик, звонок и рукоплескания... Это закончился первый заезд. Он глянул на дорожку и вдруг увидел экипаж графини, въезжавший за ограду. В глубине кареты сидели графиня и председательша, а впереди - Ленцкий с дочерью.

Вокульский сам не помнил, как сбежал с трибуны, как прошел на круг. Кого-то он толкнул, кто-то попросил у него билет... Он пробился вперед и очутился возле самого экипажа. Лакей графини с козел поклонился ему, а Ленцкий воскликнул:

- А вот и пан Вокульский!

Вокульский поздоровался с дамами. Председательша значительно пожала ему руку, а Ленцкий спросил:

- Правда ли, пан Станислав, что вы купили лошадь Кшешовского?

- Да.

- Ну, знаете, вы сыграли с ним злую шутку, а дочери моей сделали приятный сюрприз...

Панна Изабелла с улыбкой обратилась к нему:

- Я держала пари с тетей, что барону не удержать своей лошади до скачек, и выиграла; а второй раз поспорила с председательшей, что лошадь возьмет приз!..

Вокульский обошел экипаж и стал возле панны Изабеллы; она продолжала:

- В самом деле, мы приехали только на эту скачку - председательша и я. А тетя делает вид, будто скачки ей надоели... Ах, сударь, вы должны непременно выиграть...

- Раз вы хотите, я выиграю, - ответил Вокульский, в изумлении глядя на нее.

Никогда еще она не казалась ему такой ослепительно красивой, как сейчас, в порыве нетерпения. И никогда он не смел мечтать, что она заговорит с ним так благосклонно.

Он оглянулся на окружающих. Председательша была весела, графиня улыбалась, Ленцкий сиял. На козлах лакей графини вполголоса поспорил с кучером и поставил на лошадь Вокульского. Вокруг них все бурлило, смеялось и ликовало. Радовалась толпа, радовались люди на трибунах, в экипажах; женщины в ярких нарядах были хороши, как цветы, и веселы, словно птички. Оркестр играл фальшиво, но бойко; кони ржали, спортсмены бились об заклад, разносчики расхваливали пиво, апельсины и пряники. Радовалось солнце, земля и небо, и Вокульского охватил такой восторг, что он всех и все готов был заключить в объятия.

Кончился второй заезд; снова заиграла музыка. Вокульский подбежал к трибуне и, завидев Юнга, который с седлом в руках возвращался с весов, шепнул ему:

- Пан Юнг, мы должны выиграть... Сто рублей сверх договора... Можете хоть загнать лошадь...

- Оу! - прогнусавил Юнг, поглядев на него с оттенком холодного восхищения.

Вокульский велел своему кучеру подъехать ближе к экипажу графини и вернулся к дамам. Его поразило, что возле них никого не было. Правда, барон и предводитель подходили к экипажу, но панна Изабелла встретила их равнодушно, и оба вскоре отошли. А молодые люди кланялись издали, видимо избегая их.

"Понятно, - думал Вокульский. - Их охладило известие о продаже дома. Теперь, - прибавил он про себя, глядя на панну Изабеллу, - ты убедишься, кто действительно любит тебя, а кто - твое приданое".

Звонок возвестил начало третьей скачки. Панна Изабелла встала на сидение; на лице ее выступил яркий румянец. В двух шагах от нее на Султанке со скучающим видом проехал Юнг.

- Смотри же, отличись, красавица! - крикнула панна Изабелла.

Вокульский вскочил в свой экипаж и навел бинокль. Состязание так захватило его, что на минутку он забыл о панне Изабелле. Секунды тянулись, словно часы; ему чудилось, что он привязан к этим трем лошадям, готовым пуститься вскачь, и что каждое их движение причиняет ему боль, терзает его тело. Он считал, что его лошади не хватают огня и что Юнг слишком равнодушен. Невольно слышал он разговоры вокруг:

- Юнг возьмет!..

- Какое! Поглядите-ка на этого гнедого...

- Не пожалею десятки, только бы Вокульский выиграл... Пусть утрет нос графам...

- Вот бы Кшешовский взбесился!

Звонок. Три лошади галопом рванулись с места.

- Юнг впереди...

- Это как раз неумно...

- Уже повернули...

- Первый поворот, а гнедой у хвоста...

- Второй... Опять вырвался...

- Но и гнедой не отстает...

- Малиновая куртка позади...

- Третий поворот... Ах, да Юнг никакого внимания на них...

- Гнедой догоняет...

- Смотрите! Смотрите! Малиновый обгоняет гнедого...

- Гнедой сзади... Проиграли, сударь!

- Малиновый догоняет Юнга...

- Не догонит, он уже посылает коня...

- Однако... однако... Bravo, Юнг! Bravo, Вокульский!.. Кобылка летит просто любо. Bravo!..

- Bravo!.. Bravo!..

Звонок. Юнг выиграл. Высокий спортсмен взял лошадь под уздцы и, подведя ее к судейской ложе, закричал:

- Султанка! Наездник Юнг! Владелец аноним...

- Какой там аноним... Вокульский! Bravo, Вокульский!.. - ревела толпа.

- Владелец пан Вокульский, - повторил высокий спортсмен и отослал лошадь на аукцион.

Толпа с восторгом приняла победу Вокульского. В первый раз скачки так взволновали зрителей; все радовались, что варшавский купец побил двух графов.

Вокульский подошел к экипажу графини. Ленцкий и обе старушки поздравляли его; панна Изабелла молчала.

В эту минуту к Вокульскому подбежал высокий спортсмен.

- Пан Вокульский, - сказал он, - вот деньги. Триста рублей приза, восемьсот - за лошадь, я купил ее.

Вокульский, держа в руках пачку ассигнаций, повернулся к панне Изабелле.

- Вы разрешите мне вручить вам эти деньги для вашего приюта?

Панна Изабелла взяла ассигнации и поглядела на него с чудесной улыбкой.

Вдруг кто-то толкнул Вокульского. Это был барон Кшешовский. Бледный от гнева, он подошел к экипажу и, протянув руку панне Изабелле, закричал по-французски:

- Мне очень приятно, милая кузина, что твои поклонники торжествуют... Только жаль, что за мой счет... Приветствую дам! - прибавил он, кланяясь графине и председательше.

Графиня нахмурилась, Ленцкий смешался, панна Изабелла побледнела. Барон с вызывающим видом укрепил на носу сползающее пенсне и, не сводя глаз с панны Изабеллы, продолжал:

- Да, да... Мне необыкновенно везет с твоими поклонниками...

- Барон... - вмешалась председательша.

- Ведь я ничего плохого не говорю... Я только сказал, что мне везет с...

Стоявший позади барона Вокульский дотронулся до его плеча:

- На одно слово, барон.

- Ах, это вы, - ответил барон, пристально глядя на него.

Они отошли в сторону.

- Вы меня толкнули, барон.

- Извините, пожалуйста.

- Мне этого мало.

- Вы требуете удовлетворения?

- Совершенно верно.

- В таком случае, - к вашим услугам, - сказал барон, ища визитную карточку по всем карманам. - Фу, черт! забыл карточки... Нет ли у вас, пан Вокульский, записной книжки и карандаша?

Вокульский подал ему визитную карточку и книжечку, в которую барон вписал свой адрес и фамилию, не преминув закончить ее лихим росчерком.

- Буду весьма рад, - сказал он с поклоном, - свести с вами счета за мою Султанку...

- Постараюсь, чтобы вы остались довольны.

Они разошлись, обменявшись самыми любезными поклонами.

- В самом деле, скандал! - сказал огорченный Ленцкий, который был свидетелем этого обмена любезностями.

Графиня рассердилась и велела ехать домой, не дожидаясь конца скачек. Вокульский едва успел подойти к экипажу и попрощаться с дамами. Прежде чем лошади тронулись, панна Изабелла высунулась и, протянув Вокульскому кончики пальцев, тихо сказала:

- Merci monsieur...*

* Спасибо, сударь... (франц.)

Вокульский остолбенел от радости. Он остался на следующий заезд, но не видел, что вокруг него делается, и, воспользовавшись перерывом, уехал.

Прямо со скачек он отправился к Шуману.

Доктор сидел у раскрытого окна в поношенном ватном халате и правил корректуру своей этнографической брошюры; в ней было всего тридцать страниц, но, чтобы написать их, он использовал более тысячи фактов, книжечка была плодом четырехлетнего труда. Это было исследование о волосах населения Королевства Польского - об их цвете и строении. Ученый доктор всем говорил, что его работа разойдется никак не более чем в пятнадцати - двадцати экземплярах, однако же втихомолку заказал четыре тысячи и был уверен, что понадобится и второе издание. Постоянно подшучивая над своей излюбленной специальностью и сетуя, что она никого не интересует, Шуман в глубине души был уверен, что нет в мире культурного человека, которого бы не интересовал превыше всего вопрос о цвете волос и соотношении их поперечных разрезов. Как раз в эту минуту он задумался, не использовать ли в качестве эпиграфа к брошюре афоризм: "Покажи мне твои волосы, и я скажу тебе, кто ты".

Едва Вокульский вошел к нему и в изнеможении бросился на диван, как доктор, не утруждая себя вступлением, начал:

- Что за невежды эти корректоры! У меня здесь приведено несколько сот дробей с десятичными знаками, и, представь себе, половина из них перевернана. Они думают, что какая-нибудь тысячная или сотая доля миллиметра не имеет никакого значения, им, профанам, невдомек, что именно в ней-то самая суть. Черт меня побери, если в Польше возможно не изобретение, куда там! но хотя бы издание логарифмических таблиц! Порядочный поляк начинает потеть уже над второй десятичной дробью, над пятой у него начинается бред, а над седьмой он умирает от апоплексического удара... А что слышно у тебя?

- Дуэль.

Доктор вскочил с кресла и бросился к дивану с такой стремительностью, что полы его халата взлетели кверху и он стал похож на летучую мышь.

- Что? Дуэль? - крикнул он, сверкая глазами. - И ты, может быть, воображаешь, что я поеду с тобой в роли врача? Буду смотреть, как два болвана стреляют друг другу в башку, и, может быть, еще кого-нибудь перевязывать?.. Нет, и не подумаю участвовать в подобном балагане! - все громче кричал он, хватаясь за голову. - Впрочем, я не хирург и давно распрощался с медициной...

- Да ты будешь не врачом, а секундантом.

- А-а, это другое дело, - без запинки отвечал доктор. - С кем же?
- С бароном Кшешовским.
- Хорошо стреляет, - буркнул доктор, выпятив нижнюю губу. - А из-за чего?
- Он толкнул меня на скачках.
- На скач... А что же ты делал на скачках?
- Выставлял лошадь и даже получил приз.

Шуман хлопнул себя по затылку и вдруг, подойдя к Вокульскому, оттянул ему верхние и нижние веки и внимательно посмотрел в глаза.

- Ты думаешь, я помешался? - спросил Вокульский.
- Пока нет. Скажи, - прибавил он, помолчав, - ты это в шутку или серьезно?
- Совершенно серьезно. Я не приму никаких извинений и поставлю самые жесткие условия.

Доктор снова уселся за стол, оперся подбородком на руки и, поразмыслив, сказал:

- Юбка, а? Даже петухи дерутся только из-за...
- Шуман, осторожнее!.. - прервал Вокульский сдавленным голосом и встал.

Доктор опять пристально поглядел на него.

- Ах, уже до того дошло? - пробормотал он. - Ладно. Буду твоим секундантом. Суждено тебе разбить башку, так уж разбей при мне; может, чем-нибудь помогу тебе...
- Я сейчас пришлю сюда Жецкого, - сказал Вокульский, пожимая ему руку.

От доктора он отправился к себе в магазин, наскоро переговорил с паном Игнацием и, вернувшись домой, лег спать еще до десяти. Он заснул как убитый. Его львиная натура требовала сильных ощущений, только тогда восстанавливалось равновесие в его душе, терзаемой страстью.

На следующий день, около пяти часов вечера, Жецкий и Шуман ехали к графу-англоману, который был секундантом Кшешовского. Всю дорогу оба друга Вокульского промолчали, только раз пан Игнаций спросил:

- Ну, доктор, что вы на это скажете?
- То, что уже однажды сказал. Мы приближаемся к пятому акту. Это или конец дельного человека, или начало целой серии безумств...
- Самых отчаянных, ибо безумств политических, - воскликнул Жецкий.

Доктор пожал плечами и отвернулся: пан Игнаций со своей вечной политикой действовал ему на нервы.

Граф-англоман уже ждал их в обществе другого джентльмена, который поминутно поглядывал в окно на облака и непрестанно двигал кадыком, словно стараясь что-то проглотить. Вид у него был рассеянный, в действительности же это был человек незаурядный - охотник на львов и великий знаток египетских древностей.

Посредине кабинета стоял стол, покрытый зеленым сукном, вокруг него четыре высоких стула; на столе было приготовлено четыре листа бумаги, четыре карандаша, два пера и чернильница таких размеров, словно она предназначалась для ножных ванн.

Когда все уселись, слово взял граф.

- Господа, - сказал он, - барон Кшешовский признает, что по рассеянности мог толкнуть пана Вокульского, дэ-э. Вследствие этого, по нашему требованию...

Тут граф взглянул на другого джентльмена, который с торжественным видом что-то проглотил.

- ...по нашему требованию, - продолжал граф, - барон готов... извиниться, даже в письменном виде, перед паном Вокульским, которого все мы уважаем, дэ-э... Что скажете вы, господа?

- Мы не уполномочены предпринимать какие-либо шаги к примирению, ответил Жецкий, в котором проснулся старый офицер венгерской пехоты.

Ученый египтолог широко раскрыл глаза и глотнул дважды подряд.

На лице графа промелькнуло недоумение; однако он тут же овладел собою и ответил вежливо, но сухо:

- В таком случае, предложите условия.

- Соблаговолите вы, господа, - отвечал Жецкий.

- О! Будьте любезны, предлагайте, - сказал граф.

Жецкий откашлялся.

- В таком случае, осмелюсь предложить... Противники становятся на расстоянии двадцати пяти шагов, сближаются на пять шагов...

- Так...

- Пистолеты нарезные, с мушками... Стреляться до первой крови... закончил Жецкий тише.

- Так...

- Если позволите, дуэль назначим на завтра утром.

- Так...

Жецкий поклонился, не поднимаясь с места. Граф взял лист бумаги и среди общего молчания составил протокол, который Шуман немедленно переписал. Присутствующие подписали оба документа, и не прошло часа, как дело было улажено. Секунданты Вокульского попрощались с хозяином и его ученым другом, который снова погрузился в созерцание облаков.

Уже на улице Жецкий сказал:

- Очень милые люди эти господа аристократы...

- Да ну их к черту! Ну вас всех к черту вместе с вашими дурацкими предрассудками! - крикнул доктор, потрясая кулаком.

Вечером пан Игнаций пришел к Вокульскому с пистолетами. Он застал его в одиночестве, за стаканом чая. Жецкий налил и себе чаю и осторожно начал:

- Знаешь, Стах, они очень почтенные люди. Барон, как тебе известно, чрезвычайно рассеянный человек; он готов извиниться...

- Никаких извинений.

Жецкий замолчал. Он пил чай и потирал себе лоб. После долгой паузы он опять заговорил:

- Ты, конечно, позаботился о делах... на случай...

- Никакого случая со мной не будет, - сердито оборвал Вокульский.

Пан Игнаций просидел еще с четверть часа в полном молчании. Чай показался ему невкусным, болела голова. Он допил стакан, взглянул на часы и, только уходя от своего друга, сказал на прощание:

- Завтра утром мы выедем в половине восьмого.

- Хорошо.

Оставшись один, Вокульский сел за стол, написал несколько строк и вложил в конверт с адресом Жецкого. Ему казалось, что он все еще слышит противный голос барона:

"Мне очень приятно, милая кузина, что твои поклонники торжествуют... Только жаль, что за мой счет..."

И куда бы он ни смотрел, всюду ему чудилось прекрасное лицо панны Изабеллы, залитое краской стыда.

В сердце его закипало глухое бешенство. Он чувствовал, что руки его становятся твердыми, как железо, а тело приобретает такую необыкновенную упругость, что, пожалуй, ни одна пуля не пробьет его. В голове его мелькнуло слово "смерть", и он усмехнулся. Он знал, что смерть не бросается на смелых, а только останавливается против них, как злая собака, и смотрит зелеными глазами: не зажмурится ли человек.

В эту ночь, как, впрочем, и каждую ночь, барон играл в карты. Марушевич, также бывший в клубе, напоминал ему в полночь, в час и в два, что пора спать, так как утром его поднимут в семь часов; рассеянный барон отвечал: "Сейчас... сейчас..." - однако просидел до трех, пока один из его партнеров не заявил:

- Хватит, барон. Поспите хоть несколько часов, а то у вас будут дрожать руки, и вы промажете.

Эти слова и то обстоятельство, что партнеры уже выходили из-за стола, отрезвили барона. Он уехал из клуба и, вернувшись домой, велел своему камердинеру Констанцию разбудить его в семь утра.

- Видно, опять ваша милость затеяли какую-нибудь глупость, - буркнул недовольный слуга. - Что там еще? - сердито спросил он, раздевая барона.

- Ах ты болван этакий! - возмутился барон. - Думаешь, я тебе стану отчет давать? Дуэль у меня, ну? Захотелось мне так, вот и все! В девять утра я буду стреляться с каким-то сапожником или цирюльником, ну? Может, ты мне запретишь?

- Да стреляйтесь, ваша милость, хоть с самим сатаной! - отвечал Констанций. - Только хотел бы я знать, кто заплатит по вашим векселям? А за квартиру?.. А в лавку?.. Вы, сударь, что ни месяц, норовите попасть на Повонзки, вот хозяин и посылает к нам пристава, а я, того и гляди, с голоду помру... Ну и служба!..

- Замолчишь ты?.. - заорал барон и, схватив башмак, запустил им в камердинера. Тот увернулся, и башмак ударился о стену, чуть не опрокинув бронзовую статуэтку Собесского.

Расправившись с верным слугой, барон улегся в постель и стал раздумывать о своем плачевном положении.

"Везет же мне, - вздыхал он. - Стреляться с купчишкой! Если я подстрелю, то окажусь в роли охотника, который вышел на медведя, а убил у мужика стельную корову. Если он меня подстрелит, я окажусь в положении прохожего, которого извозчик огрел кнутом. А если оба промахнемся... Да нет, ведь мы стреляемся до первой крови. Черт меня побери, если я не предпочел бы извиниться перед этим ослом, пусть хоть в присутствии нотариуса, вырядившись ради такого случая во фрак с белым галстуком. Ах, подлые либеральные времена! Отец мой велел бы своим псарям выпороть такого молодчика, а я вынужден давать ему удовлетворение, как будто сам торгую корицей... Уж наступила бы наконец эта дурацкая революция, чтоб прихлопнуло либо нас, либо либералов!.."

Его стало клонить ко сну, и в дремоте ему мерещилось, что Вокульский его убил. Он видел, как двое носильщиков несут его труп на квартиру к жене, как она теряет сознание и падает на его окровавленную грудь. Как платит все его долги и отпускает тысячу рублей на похороны... и как он воскресает и берет эту тысячу на карманные расходы...

Блаженная улыбка озарила изможденную физиономию барона - и он заснул как младенец.

В семь часов Констанций и Марушевич едва добудились барона; он ни за что не хотел вставать, ворча, что предпочитает позор и бесчестие необходимости подниматься с постели в такую рань. Только при виде графина с холодной водой барон очнулся. Он вскочил с постели, дал оплеуху Констанцию, обругал Марушевича и в душе поклялся, что убьет Вокульского.

Однако, когда он оделся, вышел на улицу и увидел безоблачное небо, вообразив, что наблюдает восход солнца, его ненависть к Вокульскому смягчилась, и он решил ограничиться выстрелом в ногу.

"Как же! - спохватился он. - Продырявлю его, а он охromeет на всю жизнь и всякому будет хвастаться: "Эту рану я получил на дуэли с бароном Кшешовским..." Этого только не доставало!.. Что они наделали, милейшие мои секунданты! Если уж какому-нибудь купчишке непременно хочется стрелять в меня, пусть по крайней мере стреляет из-за угла, когда я гуляю, а не на дуэли... Ужасное положение! Воображаю, как моя дражайшая будет всем рассказывать, что я дерусь на дуэли с купцами!.."

Подали кареты. В одну сел барон с графом-англоманом, в другую молчаливый египтолог с пистолетами и хирург. Все поехали в сторону Белянского леса, а немного спустя вдогонку им покатила на извозчике лакей барона Констанций. Верный слуга ругался на чем свет стоит и грозился про себя, что барин сторицей заплатит ему за эту прогулку. Но тем не менее он был встревожен.

В Белянской роще барон и трое его спутников застали уже своих противников, и обе группы, держась несколько поодаль, углубились в лес, раскинувшийся на берегу Вислы. Доктор Шуман был раздражен, Жецкий подавлен, а Вокульский мрачен. Барон, поглаживая редкую бородку, внимательно разглядывал противника и думал:

"Неплохо, должно быть, кормится этот купчик. Я рядом с ним выгляжу совсем как австрийская сигара рядом с быком. Черт меня побери, если я не выстрелю в воздух над головой этого дохляка или... совсем откажусь стрелять... Да, это будет самое лучшее!"

Но тут барон вспомнил, что драться надо до первой крови. Тогда он разозлился и

бесповоротно решил убить Вокульского наповал.

"Пора наконец отучить этих торгашей вызывать нас..." - говорил он себе.

В нескольких десятках шагов от него Вокульский расхаживал между двумя соснами взад и вперед, как маятник. На мгновение забыв о панне Изабелле, он прислушался к птичьему щебету, которым был полон лес, и к плеску Вислы, подмывающей берег. Отзвуки безмятежного счастья в природе странно контрастировали с лязгом pistolетных затворов и щелканьем взводимых курков. В Вокульском проснулся хищник; весь мир для него исчез, остался лишь один человек - барон, чей труп он должен бросить к ногам оскорбленной панны Изабеллы.

Противников поставили к барьеру. Барон все еще мучился сомнениями относительно того, как поступить с купчишкой, и в конце концов решил прострелить ему руку. На лице Вокульского было написано такое дикое ожесточение, что изумленный граф-англоман подумал:

"Дело, по-видимому, не в лошади и не в неучтивости на ипподроме..."

Молчавший до тех пор египтолог скомандовал, противники навели pistolеты и начали сходитьсь. Барон прицелился в правую ключицу Вокульского и, опуская дуло, мягко нажал курок. В последнюю секунду его пенсне перекошилось, pistolет на волос отклонился, раздался выстрел - и пуля пролетела в нескольких дюймах от плеча Вокульского.

Барон прикрыл лицо стволом pistolета и, выглядывая из-за него, думал:

"Не попадет, осел... Целит в голову..."

Вдруг он почувствовал сильный удар в висок, у него зашумело в ушах, перед глазами замелькали черные круги... Он уронил оружие и опустился на колени.

- В голову! - крикнул кто-то.

Вокульский бросил pistolет на землю и вышел из-за барьера. Все обступили барона, который, однако, не умер, а говорил визгливым голосом:

- Редкий случай! У меня прострелено лицо, выбит зуб, а пуля куда-то пропала... Ведь не проглотил же я ее...

Египтолог поднял pistolет барона и внимательно осмотрел его.

- А! - воскликнул он. - Вот в чем дело. Пуля ударила в pistolет, а замок попал в челюсть... Pistolет испорчен; весьма любопытный выстрел...

- Пан Вокульский, вы удовлетворены? - спросил граф.

- Да. Вполне.

Хирург забинтовал барону лицо. Из-за деревьев выбежал перепуганный Констанций.

- Ну что? - говорил он. - Предупреждал я вашу милость, что доиграетесь.

- Молчи, болван! - прошамкал барон. - Поживей отправляйся к баронессе и скажи кухарке, что я тяжело ранен...

- Прошу вас, господа, - торжественно проговорил граф, - подайте друг другу руки.

Вокульский подошел к барону и протянул ему руку.

- Отличный выстрел, - с трудом произнес барон, крепко пожимая руку Вокульского. - Меня удивляет, откуда человек вашей профессии... простите, может быть, я вас задел?

- Нисколько...

- Итак, откуда человек вашей профессии, впрочем весьма уважаемой, мог научиться так хорошо стрелять... Где мое пенсне?... Ага, тут... Пан Вокульский, два словечка наедине...

Он оперся на плечо Вокульского, и оба отошли на несколько шагов в лес.

- Я обезображен, - говорил барон, - и выгляжу как старая обезьяна с флюсом. Мне не хочется опять ссориться с вами, ибо вижу, что вам везет... Так скажите мне: за что, собственно, вы меня изувечили? Ведь не за то, что я вас толкнул... - прибавил он, глядя Вокульскому в глаза.

- Вы оскорбили женщину... - тихо ответил Вокульский.

Барон отступил на шаг.

- Ах... C'est ca!* - сказал он. - Понимаю... Еще раз прошу прощения, а там... я уж знаю, что мне следует сделать.

* Вот оно что! (франц.)

- И вы, барон, простите меня, - ответил Вокульский.

- Пустяки... пожалуйста... ничего, - говорил барон, тряся его за руку. - Я, наверное, не так уж обезображен, а что до зуба... Доктор, где мой зуб?... Пожалуйста, заверните его в бумажку. Да, так что касается зуба, то я уже давно должен был вставить новые. Вы не поверите, пан Вокульский, как у меня испорчены зубы...

Все распрощались вполне довольные. Барон удивлялся, откуда человек подобной профессии умеет так хорошо стрелять; граф-англоман больше чем когда-либо напоминал марионетку, египтолог опять принялся рассматривать облака. В другой группе Вокульский был задумчив, Жецкий восхищался смелостью и любезностью барона, и только Шуман был зол. Лишь когда их карета, спустившись с горы, проезжала мимо Камедульского монастыря, доктор глянул на Вокульского и буркнул:

- Ну и скоты! И как я не напустил полицию на этих шутов?

Через три дня после странного поединка Вокульский сидел, запершись в кабинете, с неким паном Вильямом Коллинзом. Слуга, которого давно уже интересовали эти конференции, происходившие несколько раз в неделю, вытирая пыль в комнате рядом, время от времени прикладывал к замочной скважине то ухо, то глаз. Он видел, что на столе лежат книжки и барин пишет в тетрадке; слышал, что гость задает Вокульскому какие-то вопросы, а тот отвечает иногда громко и сразу, иногда вполголоса и неуверенно... Но о чем они беседовали таким странным образом, лакей угадать не мог, поскольку разговор велся на иностранном языке.

- Это по-какому же они? По-немецки-то ведь я знаю. Не по-немецки, бормотал слуга, - а то бы говорили: "Битте, майн герр..." И не по-французски: "Мусье, бонжур, ленди..." И не по-еврейски... так по-каковски же они говорят? Ну, видно, хозяин задумал знатную спекуляцию, раз уж стал болтать по-такому, что и сам черт не разберет... Вот уж и компаньона себе нашел... Холера ему в бок!

Вдруг раздался звонок. Бдительный слуга на цыпочках отошел от двери кабинета, громыхая, вышел в переднюю и, вернувшись через минуту, постучал к барину.

- Чего тебе? - нетерпеливо спросил Вокульский, приоткрыв дверь.

- К вам тот барин, что уж приходил сюда, - ответил слуга и краешком глаза заглянул в рабочую комнату. Но, кроме тетрадей на столе и рыжих бакенбардов на лице пана Коллинза, он не увидел ничего примечательного.

- Почему ж ты не сказал, что меня нет дома? - сердито спросил Вокульский.

- Запомню, - нахмурился, ответил слуга и махнул рукой.

- Так проси его в залу, осел, - сказал Вокульский и захлопнул дверь в кабинет.

Вскоре в залу вошел Марушевич; он и входя был уже растерян, а увидев, что Вокульский встречает его с нескрываемым раздражением, еще более растерялся.

- Простите... может быть, я помешал... может быть, вы заняты важным делом...

- Ничем я сейчас не занят, - мрачно ответил Вокульский и слегка покраснел.

Это не ускользнуло от внимания Марушевича; он был уверен, что в квартире затевается что-то противозаконное либо скрывается женщина. Как бы то ни было, к нему вернулась самоуверенность, которую, впрочем, он всегда обретал в присутствии смущенных людей.

- Я отниму у вас всего минутку, - заговорил уже развязнее потасканный молодой человек, изящно помахивая тросточкой и шляпой. - Одну минуточку.

- Слушаю, - сказал Вокульский. Он с размаху уселся в кресло и указал гостю другое.

- Я пришел извиниться перед вами, - с напускным оживлением продолжал Марушевич, - и сказать, что не могу услужить вам в деле покупки дома Ленцких...

- А вам откуда известно об этом деле? - не на шутку изумился Вокульский.

- Вы не догадываетесь? - с непринужденностью спросил приятный молодой человек и даже слегка подмигнул, однако не слишком явственно, ибо чувствовал себя еще не совсем уверенно. - Вы не догадываетесь, дорогой пан Вокульский? Почтенный Шлангбаум...

Он вдруг замолчал, словно подавившись неоконченной фразой, а левая рука его с тросточкой и правая со шляпой беспомощно опустились на подлокотники кресла. Между тем Вокульский даже не шевельнулся, а лишь устремил на гостя пристальный взгляд. Он незаметно наблюдал за сменой выражений на лице Марушевича, как охотник наблюдает за полем, по которому пробегают пугливые зайцы. Разглядывая молодого человека, он думал:

"Так вот кто тот приличный католик, которого Шлангбаум нанимает для аукциона за каких-нибудь пятнадцать рубликов, однако не советует давать ему на руки задаток? Ну-ну! И при получении восьмисот рублей за лошадь Кшешовского он почему-то смутился... так, так! И он же разболтал, что это я купил лошадь... Служит одновременно двум господам: и барону и его супруге... Да, но он слишком осведомлен о моих делах. Шлангбаум сделал промах..."

Размышляя, Вокульский спокойно рассматривал Марушевича. А потасканный молодой человек, будучи вдобавок весьма нервным, цепенел под взглядом Вокульского, как голубь, когда на него уставится очковая змея. Сначала он слегка побледнел, потом стал отыскивать на потолке и стенах какой-нибудь безразличный предмет, тщетно пытаясь отвести утомленные глаза, и, наконец, обливаясь холодным потом, почувствовал, что его блуждающий

взор не в силах вырваться из-под власти Вокульского. Ему казалось, что угрюмый купец клещами сдавил его душу и он не в состоянии сопротивляться. Еще несколько раз он повертел головою и наконец с полным смирением устался на Вокульского.

- Сударь, - сказал он сладким голосом. - Я вижу, что с вами надо играть в открытую... Итак, я скажу сразу...

- Не трудитесь, пан Марушевич... Я уж знаю все, что мне нужно знать.

- Поверьте, сударь, вы введены в заблуждение сплетнями и составили обо мне неблагоприятное мнение... А между тем, даю вам слово, у меня наилучшие намерения...

- Можете не сомневаться, пан Марушевич, что я составляю свои мнения не на основании сплетен.

Он встал с кресла и отвернулся, что позволило Марушевичу несколько прийти в себя. Молодой человек быстро попрощался и, стремглав сбегая по лестнице, думал:

"Ну, слыханное ли дело! Какой-то ничтожный торгаш важничает передо мной! Честное слово, был момент когда я чуть не ударил его тростью... Наглец, честное слово. Он еще, пожалуй, подумает, что я его боюсь, честное слово... О, боже, как тяжело караешь ты меня за мое легкомыслие!.. Подлые ростовщики присылают ко мне судебного пристава, через несколько дней я должен уплатить долг чести, а этот купчишка, этот... негодяй... Хотел бы я знать: что вот этакий воображает, что он думает обо мне? Только это, ничего больше... Но, честное слово, он, наверное, кого-нибудь зарезал, не может быть таких глаз у порядочного человека! Ну конечно, он же чуть было не застрелил Кшешовского. Ах, нахальная тварь... И он осмелился так смотреть на меня... на меня, ей-богу!"

Тем не менее на следующий день он опять поехал к Вокульскому, но не застал его дома и отправился в магазин, велел извозчику дожидаться у входа.

Пан Игнаций встретил его широким жестом, словно предоставляя в его распоряжение все, что есть в магазине. Однако внутреннее чутье подсказало старому приказчику, что этот посетитель купит не больше, чем на пятерку, да еще, чего доброго, прикажет записать покупку в кредит.

- Где пан Вокульский? - спросил Марушевич, не снимая шляпы.

- Сию минуту приедет, - ответил пан Игнаций, низко кланяясь.

- Сию минуту, то есть?..

- Самое позднее - через четверть часа.

- Я подожду. Велите вынести извозчику рубль, - сказал молодой человек, небрежно развалившись на стуле.

Однако ноги у него похолодели при мысли, что старый приказчик может не исполнить его поручения. Жецкий послал извозчику рубль, но кланяться перестал.

Через несколько минут вошел Вокульский.

При виде ненавистной фигуры купчишки Марушевича охватили столь противоречивые чувства, что он не только не знал, что говорить, но даже потерял способность думать. Он лишь запомнил, что Вокульский прошел вместе с ним в кабинет за магазином, где стоял несгораемый шкаф, и что чувства, испытываемые им при виде Вокульского, он назвал про себя пренебрежением с примесью брезгливости. А еще ему вспомнилось, как эти свои

ощущения он старался прикрыть изысканной вежливостью, которая даже ему самому показалась похожей на угодливость.

- Что вам угодно? - спросил Вокульский, когда оба они уже сидели, причем Марушевич так и не уловил, когда именно он занял вышеуказанное положение в пространстве. Все же он заговорил, поминутно запинаясь:

- Я хотел, сударь, дать вам доказательство своей благожелательности. Баронесса Кшешовская, как вам известно, намеревается приобрести дом Ленцких... Так вот... супруг ее, барон, наложил вето на определенную часть ее средств, без которых покупка состояться не может... Так вот... сегодня... барон временно оказался в стесненном положении... Ему не хватает... не хватает тысячи рублей... он хотел бы одолжить деньги, без чего... без чего, как вы понимаете, он не сможет достаточно энергично воспротивиться воле жены...

Марушевич вытер пот со лба, заметив, что Вокульский снова испытующе смотрит на него.

- Так это барону нужны деньги?

- Вот именно, - поспешно отвечал молодой человек.

- Тысячи я не дам, а рублей триста... четыреста... И под расписку барона.

- Четыреста... - машинально повторил молодой человек и вдруг точно спохватился. - Через час я привезу вам расписку барона... Вы еще будете здесь?

- Буду...

Марушевич ушел и через час действительно вернулся с распиской, на которой стояла подпись барона Кшешовского. Вокульский прочел документ, спрятал его в кассу и дал Марушевичу четыреста рублей.

- Барон постарается в кратчайший... - бормотал Марушевич.

- Не к спеху, - ответил Вокульский. - Кажется, барон нездоров?

- Да, немножко... завтра или послезавтра он уже уезжает... Он вернет в кратчайший...

Вокульский простился с ним холодно.

Молодой человек быстро вышел из магазина, даже позабыв вернуть Жецкому рубль, занятый на извозчика. Однако, очутившись на улице и переведя дух, он снова обрел дар мысли:

"Ах, подлый торгаш... Хватило же наглости дать мне четыреста рублей вместо тысячи!.. Боже, как сурово ты караешь меня за мое легкомыслие! Только бы мне отыграться - честное слово, я швырну ему в лицо эти четыреста рублей и те двести... Боже, как низко я пал..."

Ему вспомнились кельнеры различных ресторанов, бильярдные маркеры и швейцары гостиниц, у которых он также с помощью разнообразных приемов, вытягивал деньги, но никто из них не казался ему таким отвратительным и достойным презрения, как Вокульский.

"Честное слово, - думал он, - я по собственной воле полез в его мерзкие лапы... Боже, как ты караешь меня за мое легкомыслие!"

Однако Вокульский после ухода Марушевича был очень доволен.

"Кажется мне, - думал он, - это прохвост большой руки и к тому же ловкач. Просил у меня службу, а нашел другую: следит за мною и доносит кому требуется. Он мог бы мне наделать больших хлопот, если б не эти четыреста рублей, на которые, я уверен, он выдал мне

подложную расписку. Кшешовский, какой бы он ни был самодур и бездельник, все же честный человек... (А разве бездельник может быть честным?) Во всяком случае, он не стал бы занимать у меня деньги во имя дел или капризов своей жены".

Ему стало очень гадко; он опустил голову на руки и продолжал размышлять:

"Однако что я вытворяю? Сознательно помогаю прохвосту совершать подлости. Умри я сегодня, и Кшешовскому пришлось бы уплатить эту сумму. Или же Марушевич отправился бы в тюрьму... Ну, этого ему и так не миновать..."

Через минуту его охватил еще больший пессимизм.

"Четыре дня назад я чуть не убил одного, сегодня другому проложил дорожку в тюрьму - и все это ради нее, за одно "merci".

Но ради нее же я нажил состояние, даю заработок сотням людей, умножаю богатства родины. Чем бы я был без нее? Мелким галантерейным торговцем. А сейчас обо мне говорит вся Варшава. Что ж! Кучка угля приводит в движение корабль, несущий на себе сотни людей, а любовь двигает мною. А если она сожжет меня дотла и от меня останется только горсточка пепла... Боже, как низок этот мир! Охоцкий прав. Женщина - подлое существо: она играет тем, чего даже не способна понять..."

Он так забылся в горьких размышлениях, что не слышал скрипа отворяемой двери и быстрых шагов за своей спиной. Только почувствовав на плече чье-то прикосновение, он очнулся. Повернул голову и увидел адвоката с большим портфелем под мышкой; выражение лица его было чрезвычайно мрачным.

Вокульский в смущении вскочил и усадил гостя в кресло; знаменитый юрист осторожно положил портфель на стол и, быстро потирая пальцем затылок, вполголоса заговорил:

- Пан... пан... пан Вокульский! Дорогой мой пан Станислав! Что... что это вы делаете, скажите на милость! Я возражаю, протестую... подаю жалобу на важного барина Вокульского, ветрогона, дорогому пану Станиславу, который из мальчишки на побегушках превратился в ученого и собирался произвести реформу в нашей заграничной торговле... Пан... пан... Станислав, это никуда не годится!

Говоря это, он потирал с обеих сторон затылок и морщился, словно ему насыпали в рот хины.

Вокульский опустил глаза и молчал.

Адвокат снова заговорил:

- Дорогой мой, одним словом - плохо дело. Граф Саноцкий - вы его помните, тот сторонник грошовых сбережений - хочет совсем выйти из компании... А знаете почему? По двум причинам: во-первых, вы разыгрываете из себя любителя скачек, во-вторых, на этих скачках вы его бьете. Вместе с вашей кобылкой шла его лошадь, и он проиграл. Граф весьма огорчен и брюзжит: "Какого черта я стану вкладывать свой капитал? Не для того ли, чтобы дать возможность купцам вырывать у меня из-под носа призы?"

Напрасно я убеждал его, - продолжал, передохнув, адвокат, - что скачки - такое же доходное дело, как и всякое другое, и даже еще доходнее, потому что вы за несколько дней заработали триста рублей на вложенные восемьсот, граф сразу заткнул мне рот. "Вокульский весь выигрыш и стоимость лошади пожертвовал дамам на приют, - сказал он, - и еще бог весть сколько переплатил Юнгу и Миллеру..."

- Разве мне уж и этого нельзя делать? - перебил Вокульский.

- Можно, сударь мой, можно, - сладко поддакивал знаменитый юрист. Можно, но, поступая так, вы только повторяете старые грехи, в которых ваши предшественники были куда искуснее вас. А между тем я, и князь, и графы сблизились с вами не для того, чтобы вы повторяли старые ошибки, а чтобы указали нам новые пути.

- Так пусть выходят из компании, - отрезал Вокульский, - я их не собираюсь заманивать...

- И выйдут, - воскликнул адвокат, размахивая рукой, - если вы совершите еще хоть одну ошибку...

- Как будто я так уж много их совершил!..

- Вы просто великолепны! - рассердился адвокат и хлопнул себя по колену. - А знаете, что говорит граф Литинский, тот англофил наш, "дэ-э"? "Вокульский, - говорит он, - совершеннейший джентльмен, стреляет, как Немврод, но... это не руководитель коммерческого предприятия. Сегодня он бросит в дело миллионы, а завтра вызовет кого-нибудь на дуэль, и все повиснет на волоске..."

Вокульский так и подался назад вместе с креслом. Ему и в голову не приходило, что он заслужил подобный упрек. Адвокат заметил, какое впечатление произвели эти слова, и решил ковать железо, пока горячо.

- Если вы, дорогой пан Станислав, не хотите испортить столь прекрасно начатое дело, воздержитесь от новых безумств. А главное - не покупайте дома Ленцких. Простите, но стоит вам вложить в него девяносто тысяч, как торговое общество разлетится как дым. Люди увидят, что вы помещаете значительный капитал на шесть-семь процентов годовых, и не только потеряют веру в проценты, которые вы им посулили, но даже... вы понимаете... начнут сомневаться...

Вокульский вскочил.

- Не надо мне никаких компаний! - крикнул он. - Я ни у кого милости не прошу, скорей другим могу ее оказать. Кто мне не доверяет, пусть проверит все дела и убедится, что я никому очков не втирал... Но моим компаньоном он уже не будет. Капризы - это не монополия графов и князей... У меня тоже есть свои капризы, и я не люблю, когда суются в мои дела...

- Тихонько... тихонько... успокойтесь, дорогой мой пан Станислав, уговаривал Вокульского адвокат, снова усаживая его в кресло. - Значит, вы не откажетесь от покупки?

- Нет. Этот дом для меня важнее, чем торговая компания со всеми князьями мира.

- Хорошо... хорошо... В таком случае, вы можете на некоторое время выдвинуть какое-нибудь подставное лицо. На худой конец - я дам вам свое имя, а с гарантией на право собственности хлопот не будет. Самое главное - не отпугивать тех, кто уже с нами. Аристократия разок попробует заняться общественным делом и, может быть, пристрастится; а через полгода-год вы станете и номинальным владельцем дома. Ну что, согласны?

- Пусть будет по-вашему, - ответил Вокульский.

- Да, - продолжал адвокат, - так будет лучше всего. Если бы вы купили дом на свое имя, это поставило бы вас в ложное положение даже перед Ленцким. Обычно мы недолюбливаем людей, к которым переходит наше добро, - это первое. А во-вторых, кто поручится, что у них не возникли бы разные предположения? Вдруг они подумают: он нам переплатил или недоплатил? Если переплатил - как он смеет оказывать нам милость, а если недоплатил - значит, обманул нас...

Последних слов адвоката Вокульский почти уже не слышал; он был поглощен другими

мыслями, которые завладели им с еще большею силой после ухода гостя.

"Конечно, - думал он, - адвокат прав. Люди обо мне толкуют, осуждают; но они делают это за моей спиной, так что я ничего не знаю. Только сейчас припоминаются мне многие мелочи. Уже с неделю купцы, связанные со мною, ходят с кислыми физиономиями, а противники торжествуют. В магазине тоже что-то неладно. Игнаций приуныл, Шлангбаум задумчив, Лисецкий брюзжит больше обычного, словно думает, что я скоро прикрою лавочку. У Клейна опечаленный вид (социалист сердится за скачки и дуэль...), а щеголь Земба уже начинает увиваться вокруг Шлангбаума... Может быть, он подозревает в нем будущего владельца магазина?.. Ах вы, доброжелатели мои..."

Он стал на пороге кабинета и кивнул Жецкому; старый приказчик действительно был сам не свой и не смотрел в глаза хозяину.

Вокульский указал ему на стул и, пройдясь несколько раз по тесной комнате, сказал:

- Старина! Скажи откровенно: что обо мне говорят?

Жецкий развел руками.

- Ах, боже мой, что говорят...

- Вали напрямик, - подбодрил его Вокульский.

- Напрямик?.. Хорошо. Одни говорят, что ты начинаешь сходить с ума...

- Браво!

- Другие - что ты готовишь какое-то жульничество...

- Ну их к...

- А все вместе - что ты обанкротишься, и очень скоро...

- Могу послать их еще раз к... - вставил Вокульский. - А ты, Игнаций, что ты сам думаешь?

- Я думаю, - без колебания отвечал Жецкий, - что ты ввязался в крупную игру... из которой не выйдешь цел... Разве что вовремя отступишься, на что у тебя, впрочем, еще может хватить здравого смысла.

Вокульского взорвало.

- Не отступлюсь! - крикнул он. - Человек, сжигаемый жаждой, не отступится от родника. А если мне суждено погибнуть, я погибну, утолив свою жажду... И чего вы все хотите от меня? С детства я жил, как птица со связанными крыльями: мыкался по людям, по тюрьмам, в несчастном браке потерял свою свободу... А сейчас, когда я наконец расправил крылья, вы начинаете гоготать на меня, как домашние гуси на дикого, который поднялся и летит ввысь... Что мне этот дурацкий магазин или торговое общество?.. Я хочу жить, я...

В эту минуту кто-то постучал в дверь. Вошел Миколай, слуга Ленцкого, с письмом в руке. Вокульский лихорадочно схватил конверт, распечатал его и прочел:

"Милостивый государь! Дочь моя непременно хочет познакомиться с вами поближе. Воля женщины священна; итак, я прошу вас пожаловать к нам завтра, к обеду (к шести часам), только не вздумайте отказываться. Примите уверения в глубоком уважении.

Т.Ленцкий".

Вокульский вдруг так обессилел, что должен был опуститься на стул. Он перечитал письмо раз, другой, третий... Наконец, опомнясь, написал ответ, а Миколаю сунул пятерку.

Тем временем пан Игнаций сбегал на несколько минут в магазин, а когда Миколай вышел на улицу, он вернулся и обратился к Вокульскому, продолжая прерванный разговор:

- Все же, милый Стах, пораздумай над своим положением, и, может быть, ты отступишься...

Вокульский, тихо насвистывая, надел шляпу и, положив руку на плечо старого друга, отвечал:

- Слушай! Если бы под ногами моими разверзлась земля... понимаешь?.. Если бы небо должно было обрушиться мне на голову - все равно я не отступлюсь, понимаешь?.. За такое счастье я отдам жизнь...

- За какое счастье?.. - спросил Игнаций. Но Вокульский уже выходил в задние двери.

Глава четырнадцатая

Девичьи грезы

Начиная с пасхи панна Изабелла часто думала о Вокульском, и ее неизменно поражала одна удивительная вещь: человек этот всякий раз представлял перед ней в ином облике.

Панна Изабелла знала многих людей и довольно бойко судила о них. Каждый из ее прежних знакомых отличался тем, что сущность его можно было выразить в одной фразе. Князь был патриот, его адвокат - ловкач, граф Литинский разыгрывал англичанина, ее тетка была горда, председательша - добра, Охоцкий - чудака, а Кшешовский - картежник. Словом, каждый человек сводился к какому-либо достоинству или недостатку, иной раз и заслуге, а чаще всего - к титулу или богатству; к этому прилагались голова, руки, ноги, и более или менее модный костюм.

Лишь в лице Вокульского она столкнулась не только с новой личностью, но и с незнакомым ей прежде явлением. Его сущность нельзя было определить одним словом или даже сотнями слов. Он ни на кого не был похож, а если уж сравнивать его с чем-нибудь, то разве лишь с местностью, по которой едешь-едешь целый день и видишь то равнины и горы, то леса и луга, то реки и степи, то города и деревни; а там, вдали, сквозь дымку, застилающую горизонт, вырисовываются какие-то расплывчатые пейзажи, непохожие ни на что виданное доселе. Ее охватывало недоумение, и она спрашивала себя: что это игра взволнованного воображения, или перед нею в самом деле существо сверхъестественное и, во всяком случае, невиданное в гостиных?

И она принялась приводить в систему свои впечатления.

Вначале она его совсем не замечала, только чувствовала приближение какой-то огромной тени.

Был некто, кто бросал тысячи рублей на благотворительные цели и на приют ее тетки; потом кто-то в собрании играл с ее отцом в карты и ежедневно ему проигрывал; потом купил векселя ее отца (может быть, вовсе не Вокульский?), затем ее сервиз и, наконец, прислал разные вещи для украшения гроба господня.

Этот некто был дерзкий выскочка, который уже с год преследовал ее назойливыми взглядами в театрах и концертах. Это был грубый циник, разбогатевший на подозрительных спекуляциях, для того чтобы купить у людей хорошую репутацию, а у пана Ленцкого - ее, Изабеллу!..

Из этого периода в ее памяти осталась только его топорная фигура, красные руки и грубое обхождение, которое, в сравнении с учтивостью остальных купцов, казалось отвратительным, а на фоне вееров, саквояжей, зонтиков, тросточек и тому подобных товаров - просто смешным. Это был хитроумный и наглый торгаш, который корчил у себя в магазине отставного министра. Он был ей гадок, смертельно ненавистен, потому что осмелился оказывать помощь в форме покупки сервиза или проигрыша в карты.

И сейчас еще, думая об этом, панна Изабелла рвала на себе платье, бросалась на козетку, колотила кулаками по сиденью и шептала:

- Негодяй!.. негодяй!..

Она так страдала от угрожавшего их дому разорения, а тут еще кто-то посторонний ворвался за занавес, прикрывавший ее сокровеннейшую тайну, и осмелился врачевать раны, которые она хотела бы скрыть даже от самого бога. Она все могла бы простить, только не этот удар, нанесенный ее самолюбию.

Затем произошла смена декораций. На сцену выступил другой человек, который совершенно недвусмысленно заявил ей в глаза, что купил сервиз, чтобы на нем заработать. Значит, он понимал, что панне Ленцкой оказывать поддержку не пристало, и если бы даже он это сделал, то не только не искал огласки или благодарности, но даже надеяться на это не посмел бы.

Тот же человек выгнал из магазина Мрачевского, посмеявшегося злословить на ее счет. Напрасно враги ее, барон и баронесса Кшешовские, заступались за молодого человека; напрасно замолвила за него слово графиня-тетка, которая редко кого благодарила, а еще реже просила. Вокульский не уступил... Но одного ее словечка было довольно, чтобы сломить непреклонного человека: он не только уступил, но даже дал Мрачевскому лучшее место. Такие уступки не делаются женщине, к которой не испытывают глубокого уважения.

Жаль только, что почти в то же время почитатель ее поступил, как хвастливый парвеню, бросив на поднос в костеле целую кучу полуимпериалов. Ах, как это было неаристократично! К тому же он совершенно не понимает по-английски, просто понятия не имеет о языке, который теперь в моде...

Третья фаза. На пасху она встретила с Вокульским в салоне графини и убедилась, что он на голову выше мужчин из общества. Самые изысканные аристократы старались познакомиться с ним, а он, грубый выскочка, выделялся среди них, как огонь среди дыма. Он двигался неловко, зато смело, словно салон был его неоспоримой собственностью, и угрюмо выслушивал комплименты, сыпавшиеся на него со всех сторон. Потом его вызвала к себе почтеннейшая из матрон, председательша, и после короткого разговора с ним горько расплакалась. Возможно ли, чтобы этот выскочка с красными руками...

Только тогда панна Изабелла заметила, какое незаурядное у Вокульского лицо. Черты выразительные и твердые, волосы, словно взъерошенные гневом, маленькие усики, намек на бородку, фигура монументальная, взгляд ясный и пронизывающий... Если бы человек этот владел не магазином, а большим поместьем, он был бы очень привлекателен; если бы родился князем - был бы величественно прекрасен. Но как бы то ни было, он напоминал пехотного полковника Трости и, право же, статую торжествующего гладиатора.

Тогда же от панны Изабеллы отстранились почти все поклонники.

Правда, люди преклонного возраста еще осыпали ее комплиментами за красоту и элегантность, зато молодые, особенно титулованные и богатые, были с ней холодны и сдержанны, а если она, устав от одиночества и пошлых комплиментов, заговаривала с кем-нибудь из них несколько непринужденней, они смотрели на нее с явной опаской, словно

боясь, что она бросится им на шею и немедленно потащит к венцу.

Мир гостиных панна Изабелла любила не на жизнь, а на смерть и уйти из него могла только в могилу, но с каждым годом, даже с каждым месяцем все сильнее презирала обитателей этого мира. Она не понимала, как это ее, такую прекрасную, добрую и хорошо воспитанную, свет мог покинуть только потому, что у нее не было состояния.

- Ну и люди, боже милосердный! - шептала она, глядя из-за занавесок на проезжавших в своих экипажах франтов, которые под любым предлогом отворачивались от ее окон, чтобы не кланяться ей. - Неужели они думают, что я стану их высматривать?

А между тем она и вправду их высматривала!

На глаза ее навертывались жгучие слезы; в гневе она кусала свои прелестные губки и, хватаясь за шнурки, задерживала занавески.

- Ну и люди! Ну и люди!.. - повторяла она, стесняясь, однако, даже перед самой собой назвать их каким-либо более оскорбительным словом, ибо они принадлежали к высшему обществу. Негодяем, по ее понятиям, можно было называть только Вокульского.

В довершение жестокости вероломная судьба из всей плеяды поклонников оставила ей теперь только двоих. Насчет Охоцкого она не обольщалась: его больше занимала какая-то летательная машина (чистое безумие!), чем она. Зато ей неизменно сопутствовали, не слишком, впрочем, навязываясь, предводитель и барон. Предводитель своим видом напоминал ей опаленную свиную тушу, которую ей случалось видеть в фургоне мясника; внешность барона наводила на мысль о недубленых шкурах, какие целыми грудями возят на телегах по улицам. Оба они представляли собою ее единственное окружение, ее крылья, если она, как говорили, действительно была ангелом. Эта ужасная пара стариков преследовала панну Изабеллу наяву и во сне. Иногда ей казалось, что она погибла и что уже на этом свете для нее начался ад.

В такие минуты она, как утопающий, который обращает взоры к огоньку на далеком берегу, думала о Вокульском и в своей беспредельной горечи испытывала какую-то тень облегчения при мысли, что все-таки по ней сходит с ума человек незаурядный, о котором много говорят в свете. Тогда ей вспоминались прославленные путешественники или разбогатевшие американские промышленники, которые долгие годы тяжело работали в шахтах; ей неоднократно показывали их издали в парижских салонах.

"Взгляните вон туда, - щебетала недавно выпущенная из монастырского пансиона молоденькая графиня, указывая веером, - вы видите господина, похожего на возницу омнибуса? Это, говорят, великий человек он что-то открыл, только не знаю что: не то золотую жилу, не то Северный полюс... Я даже не помню его фамилии, но один маркиз из Академии уверял меня, что этот господин десять лет жил у полюса... нет, под землей... Ужасный человек! Я бы на его месте просто умерла от страха... А вы бы тоже умерли?.."

Если б Вокульский был таким путешественником или хотя бы горняком, который нажил миллионы, проработав десять лет под землей!.. Но он был всего-навсего купцом, и вдобавок - галантерейным! Он даже не говорил по-английски, и на каждом шагу в нем сказывался выскочка, который и молодости прислуживал посетителям в ресторане. Подобный человек мог быть в крайнем случае хорошим советчиком, даже неоценимым другом (в кабинете, когда нет гостей). На худой конец - даже... мужем, ибо с людьми случаются самые страшные несчастья. Но возлюбленным... нет, это было бы просто смешно!.. В случае необходимости самые изысканные аристократки принимают грязевые ванны; но испытывать при этом удовольствие могут только ненормальные.

Четвертая фаза. Панна Изабелла несколько раз встречала Вокульского в Лазенках и даже

снисходила отвечать на его поклоны. Среди зелени деревьев, на фоне статуй, этот грубиян показался ей снова иным, чем в магазине у прилавка. Если бы у него было поместье с парком, замком и прудом! Он, правда, выскочка, но как будто дворянин, племянник офицера... Рядом с предводителем и бароном он выглядит Аполлоном, аристократы все чаще говорят о нем, и - главное - эти внезапные слезы председательши?..

Да и вообще председательша совершенно открыто покровительствовала Вокульскому перед своею приятельницей графиней и ее племянницей. Многочасовые прогулки с теткой по Лазенковскому парку так наскучили панне Изабелле, а разговоры о модах, приютах и предполагаемых свадьбах так раздражали, что она даже немножко сердилась на Вокульского, который не догадывался подойти к ним в парке и поболтать с четверть часика. Для светской особы разговор с подобного рода людьми не лишен занимательности; панну Изабеллу, например, в разговорах мужиков забавляли их своеобразная логика и лексикон. Правда, галантерейный купец, к тому же разъезжающий в собственной карете, вряд ли окажется таким забавным, как простой мужик...

Как бы то ни было, панну Изабеллу отнюдь не задело и не удивило, когда однажды председательша заявила, что поедет вместе с обеими дамами в Лазенки и - остановит Вокульского.

- Мы скучаем, так пусть он нас развлечет, - говорила старушка.

А когда они около часу въезжали в Лазенковский парк и председательша, значительно улыбаясь, сказала панне Изабелле: "Я чувствую, что мы его тут где-нибудь встретим..." - молодая девушка слегка зарумянилась и решила совсем не разговаривать с Вокульским или, во всяком случае, обращаться с ним свысока, чтобы он не вздумал чего-нибудь вообразить. Разумеется, "вообразать" о любви Вокульский, по мнению панны Изабеллы, не мог, но она не хотела допускать даже тона дружеской непринужденности.

"И огонь бывает приятен, особенно зимою, - думала она, - но на известном расстоянии!"

Между тем Вокульского в Лазенках не было.

"Как, он не дождался? - говорила себе панна Изабелла. - Наверное, заболел..."

Она не допускала мысли, что у Вокульского могло быть более срочное дело, чем встреча с нею, и решила, когда он наконец явится, не только обойтись с ним свысока, но и высказать ему свое неудовольствие.

"Если аккуратность, - продолжала она мысленно, - это вежливость королей, то для купцов - это уж прямая обязанность..."

Прошло полчаса, час, два - следовало возвращаться, а Вокульского все не было. Наконец дамы сели в карету; графиня, как всегда, была холодна, председательша несколько рассеянна, а панна Изабелла разгневанна. Возмущение ее не уменьшилось, когда вечером отец сообщил ей, что он с часу дня был на заседании у князя, где Вокульский представил проект грандиозного торгового общества и вызвал буквально восторг у пресыщенных магнатов.

- Я давно предчувствовал, - закончил Ленцкий, - что с помощью этого человека освобожусь от заботливой опеки моей родни и снова стану тем, чем мне надлежит быть.

- Но ведь для торгового общества нужны деньги, папа, - возразила панна Изабелла, чуть заметно пожимая плечами.

- Поэтому-то я позволяю продать дом; правда, на уплату долгов пойдет тысяч шестьдесят, но

все-таки мне останется не менее сорока тысяч.

- Тетка говорила, что за дом никто не даст больше шестидесяти тысяч.

- Ах, тетка!.. - возмутился пан Томаш. - Она всегда говорит то, что может огорчить или унижить. Шестидесят тысяч дает Кшешовская, а эта мещанка готова утопить нас в ложке воды... Тетя ей, конечно, поддакивает, потому что дело идет о моем доме, о моем положении...

Он раскраснелся и засопел, но, не желая сердиться при дочери, поцеловал ее в голову и пошел к себе в кабинет.

"А может быть, отец прав? - думала панна Изабелла. - Может быть, он в самом деле практичнее, чем это кажется тем, кто его так строго осуждает? Ведь он первый распознал этого... Вокульского... Однако что за грубиян? Не приехал в Лазенки, хотя председательша, наверное, известила его. Впрочем, может быть, оно и к лучшему: хорошо бы мы выглядели, если б кто-нибудь нас встретил на прогулке с галантерейным купцом!"

Несколько дней подряд панна Изабелла поминутно слышала о Вокульском. В гостиных его имя не сходило с уст. Предводитель клялся, что Вокульский, наверное, происходит из старинного рода, а барон, великий знаток мужской красоты (он полдня проводил перед зеркалом), твердил, что Вокульский "весьма... весьма"... Граф Саноцкий держал пари, что он единственный разумный человек в стране, граф Литинский провозглашал, что этот коммерсант принадлежит к типу английских промышленников, а князь потирал руки и с улыбкою восклицал: "Ага!"

Даже Охоцкий, навестив однажды панну Изабеллу, рассказал ей, что гулял с Вокульским в Лазенках.

- О чем же вы говорили? - спросила она с удивлением. - Ведь не о летательных же машинах?

- О! - задумчиво пробормотал кузен. - Вокульский, пожалуй, единственный человек в Варшаве, с которым можно об этом говорить. Это фигура...

"Единственный разумный... единственный коммерсант... единственный, кто может разговаривать с Охоцким, - думала панна Изабелла. - Так кто же он наконец? Ах! Уже знаю..."

Она решила, что разгадала Вокульского. Это честолюбивый спекулянт, который, для того чтобы проникнуть в высший свет, задумал жениться на ней, обедневшей дворянке славного рода. С этой же целью он добивался расположения ее отца, графини-тетки и всей аристократии. Однако, убедившись, что ему удастся и без нее втереться в общество, он вдруг остыл... и даже не явился в Лазенки!

"Поздравляю, - думала она. - У него есть все, чтобы сделать карьеру: он недурен собой, способен, энергичен, а главное - нахал и подлец... Как он смел притворяться, что влюблен в меня, а потом с такой легкостью... право, эти выскочки опережают нас даже в лицемерии. Вот негодай!.."

В порыве негодования она хотела даже предупредить Миколая, чтобы он никогда не пускал Вокульского на порог гостиной... В крайнем случае - в отцовский кабинет, если придет по делу. Но, вспомнив, что Вокульский не напрашивался к ним в гости, вспыхнула от стыда.

В это время она узнала от пани Мелитон, что барон Кшешовский снова повздорил с женой и что баронесса купила у него лошадь за восемьсот рублей, но, наверное, возвратит ее, потому что скоро скачки, а барон поставил на лошадь большие деньги.

- Может быть, супруги даже помирятся по этому случаю, - заметила пани Мелитон.

- Ах, чего бы я ни дала, лишь бы барон не получил этой лошади и проиграл свои ставки!.. - воскликнула панна Изабелла.

А через несколько дней панна Флорентина под большим секретом сказала ей, что барон своей лошади не получит, так как ее приобрел Вокульский.

Дело хранилось еще в строгой тайне, и, придя в гости к тетке, панна Изабелла застала графиню и председательшу за горячим обсуждением вопроса как бы примирить супругов Кшешовских с помощью упомянутой кобылы.

- Ничего не выйдет, - со смехом вмешалась панна Изабелла. - Барон своей лошади не получит.

- Хочешь пари? - холодно спросила графиня.

- С удовольствием, тетушка, на ваш сапфировый браслет...

Пари состоялось, поэтому-то и графиня и панна Изабелла проявляли такой интерес к скачкам.

Был момент, когда панна Изабелла испугалась: ей сказали, что барон предлагает Вокульскому четыреста рублей отступного и что граф Литинский взялся уладить между ними дело. В гостиных даже перешептывались, что не ради денег, а ради графа Вокульский должен будет пойти на уступку. И тогда панна Изабелла сказала себе:

"Он согласится, если это алчный выскочка, но не согласится, если..."

Она не решалась договорить. Ее выручил Вокульский: он не продал кобылы и сам пустил ее на скачках.

"Однако он не такой уж подлец", - подумала панна Изабелла.

И под влиянием этой мысли милостиво заговорила с Вокульским на скачках. Но даже за этот скромный знак благоволения она в душе упрекнула себя:

"Зачем ему знать, что мы интересуемся его скачками? Не больше, чем другими. И зачем я ему сказала, что он должен выиграть? И что значит его ответ: "Раз вы хотите - я выиграю". Он стал забываться. Ну, ничего, стоило сказать несколько любезных слов ради того, чтобы Кшешовский захворал от злости".

Кшешовского панна Изабелла ненавидела. Когда-то он ухаживал за нею, но, получив отказ, начал мстить. Она знала, что за глаза он называет ее старой девой, которая выйдет замуж за собственного лакея. Одного этого было достаточно, чтобы всю жизнь питать к нему ненависть. Но барон не ограничился злополучной фразой и осмеливался даже в ее присутствии цинично вести себя, высмеивать ее престарелых поклонников и намекать на разорение ее семейства. В свою очередь, панна Изабелла как бы невзначай колола ему глаза напоминанием о его женитьбе ради денег, которых, однако, он не умел вытягивать у своей супруги-мещанки, - и между ними велась непрерывная война, ожесточенная и подчас даже некрасивая.

День скачек оказался для панны Изабеллы днем торжества, а для барона днем поражения и позора. Правда, он приехал на ипподром и притворялся очень веселым, но в сердце его бушевал гнев. Когда же вдобавок Вокульский у него на глазах вручил панне Изабелле деньги, полученные за лошадь, и приз, он потерял самообладание и, подбежав к карете, устроил скандал.

Для панны Изабеллы нахальный взгляд барона и публичное провозглашение Вокульского ее

поклонником было страшным ударом. Она готова была бы убить барона, если б это пристало хорошо воспитанной даме. Муки ее были тем нестерпимее, что графиня выслушала это спокойно, председательша смутилась, отец же не проронил ни слова, издавна считая Кшешовского сумасшедшим, которого лучше не раздражать и быть к нему снисходительным.

В эту минуту (когда на них уже начали оглядываться из других экипажей) на помощь панне Изабелле пришел Вокульский. Он не только положил конец упрекам барона, но и вызвал его на дуэль. В этом никто не сомневался; председательша просто испугалась за своего любимца, а графиня заметила, что Вокульский не мог поступить иначе, потому что барон, подходя к карете, толкнул его и не извинился.

- Ну, скажите сами, - взволнованно говорила председательша, - разве можно драться на дуэли из-за такого пустяка? Все мы знаем, как рассеян Кшешовский и какой это полоумный... Лучшее доказательство - то, что он нам сейчас наболтал...

- Это верно, - ответил пан Томаш, - однако Вокульский не обязан знать это, а потребовать удовлетворения следовало.

- Помиряйтесь! - небрежно бросила графиня и велела ехать домой.

Тогда-то панна Изабелла самым ужасным образом отступила от своих правил и... многозначительно пожала Вокульскому руку.

Подъезжая к заставе, она уже беспощадно осуждала себя.

"Как можно было делать что-либо подобное? Что подумает этот человек?" говорила она про себя. Но тут в ней проснулось чувство справедливости, и она должна была признать, что человек этот не первый встречный.

"Чтобы доставить мне удовольствие (у него не могло быть других побуждений), он подставил ножку барону и купил лошадь... Все деньги (безусловное доказательство бескорыстия!) он пожертвовал на приют, причем вручил их мне (барон это видел). И сверх всего, словно угадав мои мысли, вызвал барона на дуэль... Правда, теперешние дуэли обычно кончаются шампанским; но, во всяком случае, барон убедится, что я еще не так стара... Нет, в этом Вокульском что-то есть... Жаль только, что он галантерейный купец. Приятно было бы иметь такого поклонника, если б... если б он занимал другое положение в свете".

Вернувшись домой, панна Изабелла рассказала Флорентине о происшествии на скачках, а через час уже забыла о нем. Когда же отец поздно вечером сообщил ей, что Кшешовский выбрал секундантом графа Литинского, а тот решительно требует, чтобы барон извинился перед Вокульским, панна Изабелла презрительно скривила губки.

"Везет человеку, - думала она. - Меня оскорбили, а перед ним извиняются. Будь я женщиной, если б кто-нибудь оскорбил любимую мной женщину, ни за что не приняла бы никаких извинений. Он, разумеется, согласится..."

Уже в постели сквозь дремоту ее вдруг осенила новая мысль:

"А если Вокульский отклонит извинения? Ведь тот же граф Литинский уговаривал его уступить лошадь и ничего не добился. Ах, боже, что только мне приходит в голову!" - сказала она себе, пожав плечами, и уснула.

На следующий день до полудня отец, она сама и панна Флорентина были уверены, что Вокульский помирится с бароном и что ему даже неудобно поступить иначе. В первом часу пан Томаш уехал в город и вернулся к обеду сильно встревоженный.

- Что случилось, папа? - спросила панна Изабелла, испуганная выражением его лица.

- Пренеприятная история! - ответил пан Томаш, бросаясь в кожаное кресло. - Вокульский не принял извинений, а его секунданты поставили жесткие условия.

- Когда же? - спросила она тихо.

- Завтра около девяти, - сказал пан Томаш, вытирая пот со лба. Пренеприятная история, - продолжал он. - Среди наших компаньонов поднялся переполох, потому что Кшешовский отлично стреляет... А если этот человек погибнет, все мои расчеты развеются в прах. В нем я теряю свою правую руку... единственного подходящего исполнителя моих планов... Только ему я доверил бы капиталы и не сомневаюсь, что он давал бы мне тысяч восемь в год... Судьба не на шутку преследует меня!

Скверное настроение хозяина дома подействовало на всех: за столом никто не притронулся к еде. После обеда пан Томаш заперся у себя в кабинете и ходил взад и вперед большими шагами, что свидетельствовало о небывалом волнении.

Панна Изабелла тоже ушла к себе и, как обычно в минуты нервного расстройства, улеглась на козетку. Ею овладели мрачные мысли.

"Недолго длилось мое торжество! Кшешовский действительно хорошо стреляет... Если он убьет единственного моего заступника, что тогда? Дуэль в самом деле варварский пережиток. Вокульский (с точки зрения моральной) несравненно ценнее, чем Кшешовский, а все же... может погибнуть. Последний человек, на которого возлагал надежды отец..."

Тут в ней заговорило фамильное высокомерие.

"Положим, отец мой не нуждается в милостях Вокульского; он вверил бы ему свой капитал, оказал бы ему протекцию, а тот выплачивал бы нам проценты; так или иначе, жаль его..."

Ей вспомнился старый управляющий в их бывшем имении, прослуживший у них целых тридцать лет; она очень любила старика и очень ему доверяла. Может быть, Вокульский заменил бы им покойного, а ей служил бы верным наперсником, - и вот он погибнет!

Некоторое время она лежала с закрытыми глазами, не думая ни о чем; потом ей стали приходиться в голову довольно странные мысли:

"Что за удивительная игра случая! Завтра будут драться из-за нее два человека, смертельно ее оскорбившие: Кшешовский - злословием, Вокульский жертвами, которые осмелился ей приносить. Правда, она уже почти простила ему и покупку сервиза, и пресловутые векселя, и деньги, проигранные ее отцу, на которые несколько недель велось все хозяйство... (Нет, нет, она еще не простила ему и никогда не простит!) Но как бы то ни было, а кара божия постигнет ее обидчика... Кто же завтра погибнет? Может быть, оба. Несомненно, тот, который посмел ей, панне Ленцкой, оказывать денежную поддержку. Такой человек, подобно возлюбленному Клеопатры, жить не может..."

Так размышляла она, заливаясь слезами; ей жаль было преданного слуги, который мог стать наперсником, но она смирялась перед судом Всевышнего, который не мог простить оскорбления, нанесенного панне Ленцкой.

Если б Вокульский в эту минуту заглянул в душу панны Изабеллы, он бы с ужасом отшатнулся и излечился от своего безумия.

Между тем панна Изабелла всю ночь не сомкнула глаз. Все время ей мерещилась картина какого-то французского художника, изображавшая поединок: под купой зеленых деревьев двое одетых в черное мужчин целятся друг в друга из пистолетов.

Потом (этого уже на картине не было) один из них упал с простреленной головой. Это был

Вокульский. Она даже не пошла на его похороны, боясь выдать свое волнение. Однако ночью несколько раз всплакнула. Ей было жаль этого необыкновенного выскочки, верного раба, который искупил перед нею свои преступления смертью ради нее.

Она заснула только в семь утра и проспала мертвым сном до полудня. Около двенадцати ее разбудил нервный стук в дверь спальни.

- Кто там?

- Я, - ответил радостный голос отца. - Вокульский целехонек, барон ранен в лицо.

- Неужели?

У нее болела голова, и она пролежала в постели до четырех часов. Ей было приятно узнать, что барон ранен, но она недоумевала, почему не погиб оплаканный ею Вокульский.

Поднявшись поздно, она решила хоть немножко погулять перед обедом по Аллеям.

Прекрасная зелень на фоне ясного неба, щебечущие птицы и оживленные, веселые люди бесследно развеяли ее ночные видения, а когда несколько знакомых, проезжавших мимо, заметили ее и поклонились, на душе у нее посветлело.

"Все же господь милосерден, - думала она, - он пощадил человека, который может нам пригодиться. Отец так рассчитывает на него, что и я начинаю ему доверять. Насколько меньше разочарований испытала бы я в жизни, имея разумного и энергичного друга!"

Слово "друг" не понравилось ей. Другом панны Изабеллы мог быть только человек, имеющий по меньшей мере поместье. Купец же годился только в советчики и исполнители.

Вернувшись домой, она сразу заметила, что у отца отличное настроение.

- Знаешь, - сказал он, - я ездил поздравить Вокульского. Это стоящий человек, настоящий джентльмен. Он уже позабыл о дуэли и, кажется, жалеет барона. Ничего не поделаешь, благородная кровь всегда скажется, при любом положении.

А потом, пройдя с дочерью в кабинет и глянув несколько раз в зеркало, прибавил:

- Ну, скажи сама, как не верить в перст божий? Смерть этого человека была бы для меня тяжелым ударом - и вот он спасен! Я должен завязать с ним более близкие отношения, и еще увидим, кто выиграет: князь со своим знаменитым адвокатом или я с моим Вокульским. Как ты полагаешь?

- Я только что думала именно об этом, - ответила панна Изабелла, поразившись совпадению их мыслей. - Папочка, тебе обязательно нужен человек способный и верный.

- Который к тому же сам ко мне льнет, - прибавил пан Томаш. - Живой ум! Вокульский понимает, что добьется большего и завоюет лучшую репутацию, помогая подняться старинному роду, чем если б сам лез вперед. Очень разумный человек. Сейчас им очарованы князь и вся аристократия, однако он ко мне проявляет особенную привязанность. И он не пожалеет об этом, ибо когда я восстановлю свое положение...

Панна Изабелла смотрела на безделушки, украшавшие стол, и думала, что отец ее все же немножко заблуждается насчет того, к кому льнет Вокульский. Но она не стала его разуверять, напротив - признала в душе, что следовало бы несколько ближе сойтись с этим купцом и извинить ему его общественное положение. Адвокат... купец... ведь это почти одно и то же; и если адвокат может быть близок с князем, почему бы купцу (ах, какая все же безвкусица!)... не быть доверенным лицом семейства Ленцких?

Обед, вечер и несколько следующих дней панна Изабелла провела очень приятно. Ее только озадачивало одно обстоятельство: за короткий промежуток времени их навестило больше людей, чем прежде за целый месяц. В еще недавно пустой гостиной сейчас зазвенел громкий смех и оживленные голоса, даже отдохнувшая мебель удивлялась столь шумному сборищу, а в кухне шептались, что, мол, барин получил откуда-то много денег. Даже дамы, которые еще на скачках не узнавали панну Изабеллу, сейчас явились к ней с визитом, а молодые люди хотя и не являлись, однако на улице узнавали ее и почтительно кланялись.

У пана Томаша теперь тоже бывали гости. Его навестил граф Саноцкий, заклиная его убедить Вокульского, чтоб тот перестал разыгрывать любителя скачек и поединков, а занялся бы делами компании; был граф Литинский и рассказывал чудеса о джентльменстве Вокульского; и, кроме того, несколько раз приезжал князь с просьбой к пану Томашу, чтобы Вокульский, несмотря на происшествие с бароном, не отстранялся от аристократии и помнил о своей несчастной отчизне.

- И уговорите его, дорогой мой, - закончил князь, - чтобы он бросил стреляться. Это совершенно лишнее: дуэли хороши для людей молодых, а не для солидных и заслуженных граждан.

Пан Томаш был в восторге, особенно когда думал, что все эти знаки внимания сыплются на него накануне продажи дома; год назад подобная перспектива отпугнула бы от него людей...

- Я начинаю занимать подобающее мне положение, - шепнул пан Томаш и вдруг оглянулся: ему показалось, что за спиной его стоит Вокульский. Чтобы успокоить себя, он несколько раз повторил: - Я вознагражу его... вознагражу!.. Он может твердо рассчитывать на мою поддержку.

На третий день после поединка панне Изабелле подали дорогой ларчик и письмо, которое ее взволновало. Она узнала почерк барона.

"Дорогая кузиночка! Если ты перестанешь корить меня злосчастной моей женьбой, я взамен прощу тебе обиды, причиненные моей супруге, которая мне самому уже порядком надоела. В качестве материального символа мира, заключенного между нами навечно, посылаю тебе зуб, выбитый выстрелом высокоуважаемого пана Вокульского, видимо, за слова, которые я осмелился сказать тебе на скачках. Уверяю тебя, дорогая кузина, что это тот самый зуб, которым я грыз тебя до сих пор, но уж больше грызть никогда не буду. Можешь выбросить его на улицу, но ларчик сообрази сохранить на память. Прими этот скромный дар от человека, сейчас немного больного и, поверь, не совсем скверного; я же буду надеяться, что когда-нибудь ты извинишь мне мои неуместные шутки. Любящий и глубоко уважающий тебя кузен

Кшешовский.

P.S. Если ты не выбросишь мой зуб за окно, пришли мне его обратно, чтобы я мог его подарить моей бесценной супруге. Она будет иметь случай поогорчаться, что, кажется, предписано ей докторами. А этот пан Вокульский очень милый и утонченный человек, и, признаюсь, я искренне его полюбил, хотя он и расправился со мною так жестоко".

В ларчике действительно лежал зуб, завернутый в тонкую бумажку.

Панна Изабелла, недолго думая, ответила барону очень благосклонным письмом, заверив его, что уже не сердится и принимает шкатулку, а зуб с надлежащими почестями отправляет владельцу.

Тут уж невозможно было усомниться, что лишь благодаря Вокульскому барон попросил прощения и помирился с нею. Панну Изабеллу растрогала эта победа, а к Вокульскому она

почувствовала нечто вроде признательности. Она заперлась у себя в кабинете и принялась мечтать.

Мечтала она о том, что Вокульский продал свой магазин и купил большое имение, однако остался во главе торгового общества, приносящего огромные прибыли. Вся аристократия принимает его у себя, а она, панна Изабелла, сделала его своим наперсником. Он умножил их состояние и поднял его до прежнего великолепия; он исполнял все ее прихоти; он рисковал собою всякий раз когда требовалось. Наконец, он же нашел ей супруга, соответствующего величию дома Ленцких.

Все это он делал потому, что любил ее идеальной любовью, любил больше собственной жизни. И чувствовал себя совершенно счастливым, когда она дарила его улыбкой или ласковым взглядом или же, в награду за какую-нибудь исключительную заслугу, сердечно пожимала ему руку. Когда же господь послал ей детей, он подыскивал им гувернанток и учителей, увеличивал их состояние, и, наконец, когда она умерла (в этом месте слезы навернулись на прекрасные глаза панны Изабеллы), он застрелился на ее могиле... Нет, из деликатности, которая развилась в нем благодаря общению с ней, он застрелился не на ее могиле, а на соседней.

Приход отца прервал ее мечты.

- Кажется, барон Кшешовский прислал тебе письмо? - с любопытством спросил пан Томаш.

Дочь показала ему письмо и золотой ларчик. Пан Томаш прочитал его, покачивая головой.

- Он все-таки сумасшедший, хотя и неплохой человек, - замел он. Однако... Вокульский в самом деле оказал тебе услугу: ты победила смертельного врага.

- Я думаю, отец, нам бы следовало как-нибудь пригласить этого господина на обед. Я хотела бы поближе познакомиться с ним.

- Вот именно, я сам уже несколько дней собирался тебя об этом просить! - обрадовался пан Томаш. - Нельзя слишком строго блюсти этикет с человеком, столь нам полезным.

- Разумеется, - бросила панна Изабелла, - ведь даже верным слугам мы разрешаем некоторые вольности.

- Преклоняюсь, Белла, перед твоим умом и тактом! - воскликнул пан Томаш и в восхищении поцеловал дочь сначала в руку, потом в голову.

Глава пятнадцатая

О том, как человека терзает страсть и как - рассудок

Получив приглашение пана Ленцкого на обед, Вокульский поспешил прочь из магазина. Стены комнаты давили его, а беседа с Жецким, который упорно старался наставить его на путь истинный, показалась ему необычайно глупой. Ну не смешно ли, чтобы этот старый сухарь, помешанный на магазине и на Бонапартах, упрекал его в безрассудстве!

"И что плохого в том, что я влюбился! - думал Вокульский. - Пожалуй, поздновато, но ведь всю жизнь я не разрешал себе этой роскоши. Миллионы людей влюбляются, в природе любит все, что наделено способностью чувствовать, - почему же мне одному должно быть в этом отказано? А если правильна исходная точка, то правильно и все, что я делаю. Человек, желающий жениться, должен иметь состояние, - и я сколотил состояние. Должен приблизиться к своей избраннице, - я и приблизился. Должен заботиться о ее материальном благополучии и защищать от врагов, - я делаю и то и другое. Разве в борьбе за свое счастье я кого-нибудь обидел? Или пренебрег обязанностями перед обществом и ближними?.. Ох, уж

эти мне ближние! И это общество! Оно-то никогда обо мне не заботилось, только ставило мне палки в колеса, зато от меня всегда требует жертв... Между тем именно то, что они называют безрассудством, заставляет меня выполнять то, что они именуют обязанностями. Если б не мое "безрассудство", сидел бы я и поныне, зарывшись в книжки, как моль, а сотни людей зарабатывали бы меньше денег. Так чего же они от меня хотят?" - в раздражении спрашивал он себя.

Свежий воздух и ходьба успокоили Вокульского; он дошел до Иерусалимской Аллеи и повернул к Висле. В лицо ему подул сильный восточный ветер, разбудив в душе какие-то неясные ощущения, живо напомнившие детство (словно он оставил его тут, за углом, и в нем еще бьется горячей волной молодая кровь). Мимо проехала длинная телега с песком, запряженная тощей клячей, Вокульский приветливо улыбнулся возчику; при виде растрепанной ведьмы-нищенки он подумал: "Какая милая старушка!" Его веселил свист, доносившийся с фабрики, и тянуло поболтать с ватагой чудесных мальчишек, которые, выстроившись на холме у дороги, швыряли камни в проходивших евреев.

Он упорно отгонял от себя мысль о сегодняшнем письме и завтрашнем обеде у Ленцких. "Нужно быть трезвым", - решил он, однако страсть была сильнее благоразумия.

"Зачем они меня пригласили? - раздумывал он с легкой внутренней дрожью. - Панна Изабелла хочет со мной познакомиться... Ну конечно, они дают мне понять, что я могу свататься! Ведь не слепые же они и не дураки! Могли ли они не заметить, что со мной делается в ее присутствии..."

Тут он задрожал так, что у него зубы застучали; и тогда отозвался рассудок:

"Погоди, погоди! От одного обеда и одного визита еще далеко до более короткого знакомства, а из тысячи близких знакомств едва ли одно приводит к сватовству; из десятка предложений едва ли одно бывает принято, и едва половина обручений кончается свадьбой. Итак, надо совсем потерять голову, чтобы даже при близком знакомстве надеяться на женитьбу, ибо за нее не более одного шанса, а против - двадцать тысяч шансов... Ясно или нет?"

Вокульский вынужден был признать, что ясно. Если бы всякое знакомство кончалось браком, то у каждой женщины были бы десятки мужей, а у каждого мужчины - десятки жен, ксендзы не успевали бы венчать, а мир превратился бы в сплошной сумасшедший дом. К тому же он, Вокульский, пока вообще почти не знаком с панной Ленцкой и только завтра ему предстояло по-настоящему познакомиться с ней.

- Итак, чего же я достиг ценой всех опасностей в Болгарии и всех этих скачек и поединков здесь?

"Твои шансы увеличились, - растолковывал ему рассудок. - Год назад была одна стомиллионная или одна двадцатимиллионная доля вероятия, что она пойдет за тебя, а через год, возможно, будет одна двадцатитысячная..."

- Через год? - повторил Вокульский, и его обдало пронизывающим холодом. Однако он превозмог себя и спросил:

"А если панна Изабелла полюбит меня или уже любит?"

"Прежде всего следовало бы знать: способна ли вообще панна Изабелла кого-нибудь полюбить?"

"Разве она не женщина?"

"Бывают женщины, как, впрочем, и мужчины, - с душевным изъяном, которые не умеют

любить ничего, кроме собственных мимолетных капризов, - это такой же недостаток, как глухота, слепота или паралич, только менее очевидный".

"Допустим..."

"Хорошо, - продолжал голос, напоминавший Вокульскому язвительное брюзжание доктора Шумана. - Допустим, что эта дама способна любить, но полюбит ли она именно тебя?"

"Ведь не так уж я противен!"

"А ей ты можешь показаться противным, как красавец лев противен корове или орел гусыне. Видишь, я даже говорю тебе комплименты, сравнивая со львом и орлом, которые при всех своих достоинствах возбуждают отвращение в самках другой породы. Поэтому избегай самок другой породы..."

Вокульский очнулся и огляделся по сторонам. Он был уже у реки, подле деревянных амбаров. Проезжавшие мимо телеги обдали его черной пылью. Он поспешил повернуть обратно и по дороге попытался разобраться в себе.

"Во мне уживаются два человека: один вполне рассудительный, а другой безумец. Кто же из них возьмет верх?.. Ах, да не все ли равно! Однако что я буду делать, если победит рассудок? Какая мука - обладать огромным запасом нерастраченных чувств и сложить его к ногам самки другой породы: коровы, гусыни или чего-либо еще похуже!.. Какое унижение - смеяться над победами какого-нибудь быка или гусака и в то же время плакать над собственным сердцем, так безжалостно истерзанным, так постыдно растоптанным!.. Стоит ли жить, в таком случае?"

При этой мысли ему страстно захотелось умереть, исчезнуть, чтобы и горсточка пепла не осталось после него на земле.

Мало-помалу он все-таки успокоился и, вернувшись домой, стал вполне хладнокровно обдумывать, что надеть к завтрашнему обеду: фрак или сюртук? И не возникнет ли до завтра какое-нибудь непредвиденное препятствие, которое снова помешает ему ближе познакомиться с панной Изабеллой. Потом он подвел итоги торговых оборотов за последние дни, отправил несколько телеграмм в Москву и Петербург и, наконец, написал письмо старику Шлангбауму, предлагая ему купить на свое имя дом Ленцких.

"Адвокат прав, - думал он. - Лучше купить дом на чужое имя. А то они, чего доброго, заподозрят, что я хотел нажиться за их счет или, еще того хуже, милость им оказать".

Но суэта повседневных дел не могла утишить бури в его душе. Рассудок громко твердил, что завтрашний обед ничего не означает и ничего не сулит. А надежда тихо-тихо шептала, что, может быть, он любим или будет любим.

Но тихо... так тихо, что Вокульскому приходилось напрягать все внимание, чтобы уловить этот шепот.

Следующий день, столь знаменательный в жизни Вокульского, не был отмечен ничем особенным ни на варшавских улицах, ни на варшавском небе. На улице тут и там дворники поднимали метлами клубы пыли, лихо неслись, вдруг без всякого повода осаживая, извозчики, а бесконечные потоки пешеходов тянулись друг другу навстречу, словно для того, чтобы в городе не прекращалось движение. Время от времени, пугливо ежась, пробирались вдоль стен какие-то оборванцы, глубоко засунув руки в рукава, точно был не июнь, а январь. Иногда, громыхая жестяными бидонами, по мостовой проезжала крестьянская повозка, которой правила молодцеватая баба в синем армяке, повязанная красным платком.

Все это кишело между двумя длинными рядами домов разноцветной окраски, над которыми величественно вздымались верхушки храмов. А на обоих концах улицы, как часовые, охраняющие город, возвышались два памятника. С одной стороны на гигантском постаменте-свече стоял король Зыгмунт, склонившийся к Бериардинскому костелу, как будто желал что-то сказать прохожим. С другой неподвижный Коперник с неподвижным глобусом в руке сидел, повернувшись спиной к солнцу, которое утром всходило из-за дома Карася и, достигнув зенита над дворцом Общества друзей науки, скрывалось за домом Замойских, словно наперекор афоризму: "Он солнце задержал и двинул землю".

Именно в эту сторону смотрел сейчас с балкона Вокульский и невольно вздохнул, вспомнив, что единственными верными друзьями астронома были грузчики и пильщики, которые, как известно, не очень-то разбирались, в чем состояла заслуга Коперника.

"Много ли ему радости от того, что в нескольких книжках его называют гордостью нашего народа!.. - думал Вокульский. - Работать во имя счастья это я понимаю, но работать во имя фикции, именуемой общественным благом или славой, - нет, на это я уже не способен. Пусть общество само о себе заботится, а слава... Что мне мешает вообразить, будто слава обо мне гремит, допустим, на Сириусе? А ведь положение Коперника на земле сейчас ничуть не лучше, и статуя в Варшаве радуется ему не больше, чем меня пирамида где-нибудь на Веге. Три века славы я отдам за мгновение счастья. Меня удивляет моя прежняя глупость, когда я мог думать иначе".

Словно в ответ на эти размышления появился на другой стороне улицы Охоцкий; талантливый маньяк медленно шагнул, опустив голову и засунув руки в карманы.

Это простое совпадение глубоко поразило Вокульского; на минуту он даже поверил в предчувствия и подумал с радостным изумлением:

"Уж не предвещает ли это, что его ждет слава Коперника, а меня счастье? Так изобретай себе на здоровье летательные аппараты, только оставь мне свою кухню!.. Что за суеверие! - тут же спохватился он. - Я - и суеверия!.."

Как бы то ни было, ему очень понравилась мысль, что Охоцкий завоюет бессмертную славу, а он - живую панну Изабеллу. Сердце его исполнилось надежды. Он посмеивался над собой, но в то же время чувствовал, что стал как-то спокойнее и увереннее.

"Итак, допустим, что, несмотря на все мои старания, она меня отвергает. Что тогда? Честное слово, я немедленно заведу содержанку и буду появляться с нею в театре рядом с ложей Ленцких. Почтеннейшая пани Мелитон, а может быть, и этот... Марушевич разыщут для меня женщину, чертами похожую на панну Изабеллу (тысяч за пятнадцать можно найти и такую). Я наряжу ее с ног до головы в кружева, осыплю драгоценными камнями - и мы увидим, не померкнет ли рядом с нею панна Изабелла! А уж тогда пусть она выходит замуж хотя бы за предводителя или барона..."

При мысли о замужестве панны Изабеллы его охватили ярость и отчаяние. В эту минуту он готов был весь мир начинить динамитом и взорвать. Но он снова овладел собой.

"А что я мог бы сделать, если б ей вздумалось выйти замуж? Или завести любовников - хотя бы моего приказчика или какого-нибудь офицера, а то и кучера или лакея... Ну, что я бы мог сделать?"

Уважение к свободе личности было в нем так велико, что перед ним смирялось даже его безумие.

"Что делать?.. Что делать?.." - повторял он, сжимая руками пылающую голову.

Он зашел на часок в магазин, уладил кое-какие дела и вернулся домой; в четыре часа слуга достал ему из комода белье и явился парикмахер - побрить его и причесать.

- Ну, что слышно, пан Фитульский? - спросил он парикмахера.

- Пока ничего, но будет хуже: Берлинский конгресс думает, как бы задушить Европу, Бисмарк - как бы задушить конгресс, а евреи - как бы всех нас остричь наголо... - отвечал молодой маэстро, хорошенький, как херувим, и нарядный, как модная картинка.

Он повязал шею Вокульскому полотенцем и, с молниеносной быстротой намыливая ему щеки, продолжал:

- В городе, сударь, до поры до времени тихо, а так вообще - ничего. Вчера я был со знакомыми на Сасской Кемпе. Ну, скажу я вам, и молодежь нынче! Одна грубость. Поссорились во время танцев - и, вы только вообразите, пожалуйста... Головку чуть повыше, s'il vous plait...*

* Пожалуйста... (франц.)

Вокульский поднял голову повыше и увидел у своего мастера золотые запонки на изрядно грязных манжетах.

- Да, так поссорились они во время танцев, - продолжал фронт, поблескивая бритвой перед глазами Вокульского, - и вообразите, пожалуйста; один, желая заехать другому в фасад, ударил даму! Поднялась суматоха... дуэль... Меня, само собой, выбрали в секунденты, и сегодня я, натурально, оказался в большом затруднении, потому что у меня был только один пистолет, как вдруг, с полчаса назад, является ко мне обидчик и заявляет, что он не дурак стреляться и пусть, мол, обиженный даст ему сдачи, но только один раз, не больше... Головку вправо, s'il vous plait... Тут, поверите ли, сударь, я до того возмущился (всего полчаса назад), что схватил этого субъекта за галерку, дал ему коленкой в нижний этаж и вон за дверь! Ну, мыслимо ли стреляться с таким шутком гороховым! N'est-ce pas?* Теперь влево, s'il vous plait.

* Не правда ли? (франц.)

Он закончил бритье, обмыл Вокульскому лицо и, облачив его в нечто напоминающее рубаху смертника, продолжал:

- Как это я никогда не замечал у вас, ваша милость, ни следа дамского присутствия, хоть и прихожу к вам в разное время...

Он вооружился щеткой и гребнем и принялся за прическу.

- Прихожу я в разное время, а глаз у меня на этот счет... ого! И так-таки ничего - ни краешка юбки, ни тувельки или какой-нибудь ленточки! А ведь даже у каноника мне как-то привелось видеть корсет; правда, он нашел его на улице и как раз собирался анонимно послать в редакцию. А уж про офицеров, особенно гусар, и говорить нечего!.. (Головку пониже, s'il vous plait...) Истинное столпотворение!.. У одного, сударь мой, я застал сразу четырех дам, и все - развеселые... С тех пор, честное слово, я всегда ему кланяюсь на улице, хотя он не пользуется больше моими услугами да еще задолжал мне пять рублей... Но если за билет на концерт Рубинштейна я мог заплатить шесть рублей, так неужто пожалею пятерку для такого виртуоза?.. Может, немножечко подчеркнуть волосы, je suppose que oui?*

* Полагаю, что да? (франц.)

- Покорно благодарю, - отказался Вокульский.

- Так я и думал, - вздохнул парикмахер. - Вы, сударь, нисколько не заботитесь о красоте, а это нехорошо! Я знаю нескольких балерин, которые охотно бы закрутили с вами романчик, а стоит, право стоит! Восхитительно сложены, мускулы дубовые, бюст - как пружинный матрац, грация неопишная да и требования отнюдь не чрезмерные, особенно у молодых. Ибо женщина, сударь, чем старше, тем дороже, - видно, потому-то никого и не тянет к шестидесятилетней, ибо такая ничего уж не стоит. Сам Ротшильд и тот бы обанкротился!.. А начинающей вы дадите тыщонки три в год да кое-какие там подарочки, и она будет вам верна... Ох, уж эти бабенки! Я из-за них невралгию нажил, а сердиться не могу...

Он виртуозно закончил свое дело, поклонился по всем правилам хорошего тона и с улыбкой удалился. Глядя на его величественную осанку и портфель, в котором он носил щетки и бритвы, можно было принять его за чиновника какого-нибудь министерства.

После его ухода Вокульский даже не вспомнил о молодых и непритязательных балеринах, - его занимала чрезвычайно важная проблема, которую он коротко выразил в трех словах: фрак или сюртук?

"Если фрак - я могу показаться щеголем, строго придерживающимся этикета, до которого мне, в сущности, дела нет; если я надену сюртук Ленцкие, пожалуй, обидятся. К тому же - вдруг еще кто-нибудь приглашен... Ничего не поделаешь! Раз уж я решился на такие глупости, как собственный экипаж и скаковая лошадь, придется надеть фрак".

Размышляя, он посмеивался над бездной ребячеств, в которую толкало его знакомство с панной Изабеллой.

- Ах, старина Гопфер! - говорил он. - О мои университетские и сибирские товарищи! Кто бы из вас подумал, что меня будут занимать подобные глупости!

Он надел фракную пару и, подойдя к зеркалу, с удовольствием оглядел себя. Плотное облегающее платье прекрасно обрисовывало его атлетическую фигуру.

Лошадей подали четверть часа назад, было уже половина шестого. Вокульский накинул легкое пальто и вышел.

Садясь в экипаж, он был очень бледен и очень спокоен, как человек, идущий навстречу опасности.

Глава шестнадцатая

"Она", "он" и прочие

В тот день, когда Вокульский был приглашен к обеду, панна Изабелла вернулась от графини в пять часов. Она была немного раздосадована и в то же время вся во власти грез - словом, прелестна.

Сегодня она пережила счастье и разочарование. Великий итальянский трагик Росси^{315}, с которым она и тетка познакомились еще в Париже, приехал на гастроли в Варшаву. Он сразу же навестил графиню и с большой теплотой расспрашивал о панне Изабелле. Сегодня он должен был прийти вторично, и графиня специально для него пригласила племянницу. Между тем Росси не явился и только прислал извинительное письмо, оправдываясь неожиданным посещением какой-то высокопоставленной особы.

Несколько лет назад, в Париже, Росси был идеалом панны Изабеллы; она влюбилась в него и

даже не скрывала своих чувств - насколько, разумеется, это было допустимо для барышни ее круга. Знаменитый актер об этом знал, ежедневно бывал у графини, играл и декламировал все, что просила панна Изабелла, а уезжая в Америку, подарил ей "Ромео и Джульетту" на итальянском языке с надписью: "У навозных мух гораздо больше веса и значенья, чем у Ромео..."

Весть о прибытии Росси в Варшаву и о том, что он ее не забыл, взволновала панну Изабеллу. В час дня она уже была у тетки. Поминутно подходила к окну, с бьющимся сердцем прислушивалась к громоханию экипажей, вздрагивала при каждом звонке, разговаривая, теряла нить мысли, а на щеках ее выступил яркий румянец.

И вот - Росси не явился!

А сегодня она была так хороша! Нарочно для него надела кремового цвета платье (издали шелк казался смятым полотном), в ушах ее красовались бриллиантовые сережки (не крупнее горошин), на плече - пунцовая роза. И все. Росси мог пожалеть, что не видел ее.

Прождав четыре часа, она в негодовании вернулась домой. Однако, несмотря на гнев, взяла "Ромео и Джульетту" и, перелистывая книжку, думала: "А вдруг сейчас сюда войдет Росси?"

Да, здесь было бы даже лучше, чем у графини. Наедине он мог бы ей шепнуть словечко понежней, убедился бы, что она хранит его подарки, а главное - о чем сейчас столь красноречиво говорит большое зеркало - в этом платье с розой, в этом голубом кресле она выглядит божественно.

Она вспомнила, что к обеду у них будет Вокульский, и невольно пожала плечами. Галантерейный купец рядом с Росси, которым восхищался весь мир, должен был выглядеть настолько смешно, что ей просто стало жаль его. Очутись Вокульский в эту минуту у ее ног, она, может быть, даже запустила бы ему пальцы в волосы и, забавляясь им, как большим псом, прочитала бы ему слова, в которых Ромео изливал свои жалобы перед Лоренцо:

Ромео

Небесный свод лишь над одной Джульеттой.

Собака, мышь, любая мелюзга

Живут под ним и вправе с ней видаться,

Но не Ромео. У навозных мух

Гораздо больше веса и значенья,

Чем у Ромео. Им разрешено

Соприкасаться с белоснежным чудом

Джульеттиной руки и воровать

Благословенье губ ее стыдливых,

Но не Ромео. Этому нельзя.

Он в высылке, а мухи полноправны...

Изгнание! Изгнанье - выраженье,

Встречаемое воплями к аду.

И ты, священник, друг, мудрец, наставник,

Ты мог меня изгнанником назвать?{316}

Она вздохнула. Кто знает, сколько раз повторял эти слова великий скиталец, думая о ней! И, может быть, у него нет даже наперсника!.. Вокульский мог бы стать его наперсником: он-то знает, что значит сходить с ума по женщине, если рисковал ради нее жизнью.

Перелистав несколько страниц, она снова принялась читать:

Джульетта

Ромео, как мне жаль, что ты Ромео!

Отринь отца да имя измени,

А если нет, меня женою сделай,

Чтоб Капулетти мне не быть.

.....

Лишь это имя мне желает зла.

Ты был бы ты, не будучи Монтеки...

Неужто больше нет других имен?

Что значит имя?

Роза пахнет розой,

Хоть розой назови ее, хоть нет.

Ромео под любым названьем был бы

Тем верхом совершенств, какой он есть.

Зовись иначе как-нибудь, Ромео,

И всю меня бери тогда взамен.

Как удивительно схожа их судьба: он, Росси, - актер, она - панна Ленцкая... Брось свое имя, брось сцену... Да, но что же тогда останется? Впрочем, даже принцесса могла бы выйти за Росси, и весь мир преклонился бы перед ее самопожертвованием. Выйти за Росси?.. Заботиться о его театральных костюмах; может быть, и пуговицы пришивать к его ночным сорочкам?..

Панна Изабелла содрогнулась. Безнадежно любить его - и все... Любить и время от времени говорить с кем-нибудь об этой трагической любви... Может быть, с панной Флорентиной? Нет, она слишком холодна. Гораздо больше подошел бы для этого Вокульский. Он смотрел бы ей в глаза, страдал бы за нее и за себя, она поверяла бы ему свои мысли, сокрушаясь над своим и его страданием, и как приятно проходили бы часы! Галантерейный купец в роли наперсника!.. Ну, в конце концов можно и забыть, что он купец!..

В это время пан Томаш, подкручивая свой ус, расхаживал по своему кабинету и размышлял:

"Вокульский - человек на редкость расторопный и энергичный. Будь у меня такой поверенный

(тут он вздохнул), не потерял бы я состояния... Ну, прошлого не воротишь, зато теперь он со мною. От продажи дома останется мне тысяч сорок, нет - пятьдесят, а то и все шестьдесят... Нет, нет, не будем увлекаться - пусть пятьдесят, ну, даже только сорок тысяч рублей... Я отдам их Вокульскому, он будет мне выплачивать тысяч восемь в год, а остальное (если дела наши в его руках пойдут, как я надеюсь), остальные проценты я велю ему пустить в оборот... За пять-шесть лет капитал удвоится, а за десять может и учетвериться... В торговых операциях капитал растет, как на дрожжах... Да что я говорю! Вокульский, если он в самом деле гениальный коммерсант, наверняка наживает сто на сто. А раз так, посмотрю я ему прямо в глаза и скажу без обиняков: "Вот что, любезный: другим можешь давать пятнадцать или двадцать процентов, но я в этом толк знаю". Он увидит, с кем имеет дело, и, конечно, сразу обмякнет, да, пожалуй, такие даст проценты, какие мне и не снились..."

В передней два раза прозвонил звонок. Пан Томаш поспешно прошел вглубь кабинета и, усевшись в кресло, взял в руки приготовленный заранее том экономики Супинского.^{318} Миколай распахнул дверь, и на пороге появился Вокульский.

- А... приветствую! - воскликнул пан Томаш, протягивая ему руку.

Вокульский низко склонился перед этим человеком, убитым сединами, которого он был бы счастлив назвать своим отцом.

- Садитесь же, пан Станислав! Не угодно ли папиросу? Прошу вас... Ну, что слышно? А я как раз читаю Супинского: умная голова!.. Да, народы, не умеющие трудиться и накапливать богатства, должны исчезнуть с лица земли... Бережливость и труд. А наши компаньоны что-то начинают капризничать, а?..

- Пусть поступают, как находят нужным, - ответил Вокульский. - На них я не зарабатываю ни гроша.

- Я-то не оставлю вас, пан Станислав, - сказал Ленцкий решительным тоном. И, подумав, добавил: - На днях я продаю, вернее позволяю продать, мой дом. У меня с ним было много хлопот: жильцы не платят, управляющие крадут, а по закладной мне приходится платить из собственного кармана. Не удивительно, что все это мне в конце концов надоело...

- Разумеется, - поддержал его Вокульский.

- Я надеюсь, - продолжал пан Томаш, - что мне останется тысяч пятьдесят или хотя бы сорок...

- Сколько вы рассчитываете получить за дом?

- Тысяч сто, сто десять... Но сколько бы я ни получил, все отдаю вам, пан Станислав.

Вокульский склонил голову в знак согласия и подумал, что тем не менее пан Ленцкий не получит за дом более девяноста тысяч. Ибо ровно столько было сейчас в распоряжении Вокульского, а он не мог входить в долг, не рискуя своим кредитом.

- Все отдам вам, пан Станислав, - повторил пан Томаш. - Хочу только спросить: примете ли вы?

- Ну конечно...

- А за какой процент?

- Гарантирую двадцать, а если дела пойдут хорошо, то и больше, ответил Вокульский, а про себя добавил, что никому другому он не мог бы дать свыше пятнадцати.

"Вот плут!.. - подумал пан Томаш. - Сам, наверное, получает процентов сто, а мне дает двадцать!.." Однако вслух сказал:

- Хорошо, дорогой пан Станислав, согласен на двадцать процентов, если только вы сможете мне выплатить деньги вперед.

- Я буду выплачивать вам вперед... каждое полугодие, - ответил Вокульский, испугавшись, как бы пан Ленцкий не растратил все деньги слишком быстро...

- И на это согласен, - заявил пан Томаш самым благодушным тоном. - А всю прибыль, - прибавил он с легким ударением, - всю прибыль сверх двадцати процентов вы уж, пожалуйста, не давайте мне на руки, хотя бы... я умолял вас, понятно?.. и причисляйте ее к капиталу. Пусть растет, правильно?

- Дамы просят пожаловать, - произнес Миколай, появляясь в дверях кабинета.

Пан Томаш величественно поднялся с кресла и церемониальным шагом ввел Вокульского в гостиную.

Позже Вокульский не раз пытался дать себе отчет, как выглядела гостиная и как он вошел туда, но так и не мог всего воспроизвести в памяти. Помнил только, как у двери он несколько раз поклонился пану Томашу, как потом на него повеяло чем-то душистым и он поклонился даме в кремовом платье, с пунцовой розой на плече, а потом - другой даме, высокой, одетой во все черное, которая смотрела на него с опаской. Так по крайней мере ему показалось.

Только спустя несколько минут он понял, что дама в кремовом платье панна Изабелла. Она сидела в кресле, с неподражаемой грацией изогнувшись в его сторону, и говорила, ласково глядя ему в глаза:

- Моему отцу придется долго упражняться, пока он сумеет удовлетворить вас в качестве компаньона. От его имени прошу вас быть снисходительным.

И она протянула руку, к которой Вокульский едва осмелился прикоснуться.

- Пан Ленцкий, - возразил он, - в качестве компаньона нуждается только в надежном юристе и бухгалтере, которые время от времени будут проверять счета. Остальное мы берем на себя.

Ему показалось, что он сказал какую-то страшную глупость, и он покраснел.

- Вы, наверно, много заняты: такой магазин... - проговорила одетая в черное панна Флорентина и еще больше испугалась.

- Не так уж много. На мне лежит изыскание оборотных средств и связь с клиентурой, а приемкой и оценкой товаров занимается персонал магазина.

- Как бы то ни было, разве можно положиться на чужих людей? - вздохнула панна Флорентина.

- У меня прекрасный управляющий, который в то же время является моим другом; он ведет дело лучше меня.

- Ваше счастье, пан Станислав... - подхватил пан Ленцкий. - Едете вы в этом году за границу?

- Собираюсь в Париж, на выставку.

- Завидую вам, - откликнулась панна Изабелла. - Я уже два месяца мечтаю о Парижской

выставке, но папа не проявляет никакого желания ехать...

- Наша поездка целиком зависит от пана Вокульского, - ответил отец. Советую тебе почаще приглашать его к обеду и угощать вкусными блюдами, чтобы он был в хорошем настроении.

- Обещаю всякий раз, когда вы нас будете посещать, сама заглядывать в кухню. Но разве в этом случае достаточно благих намерений...

- С благодарностью принимаю обещание, - ответил Вокульский. - Однако это не повлияет на срок вашего отъезда в Париж; он зависит только от вашей воли.

- Merci... - шепнула панна Изабелла.

Вокульский склонил голову. "Знаю я, чего стоит это "merci", - подумал он. - За него расплачиваются пулями!"

- Не угодно ли к столу! - пригласила панна Флорентина.

Все перешли в столовую, посередине которой стоял круглый стол, накрытый на четыре персоны; Вокульского посадили между панной Изабеллой и ее отцом, против панны Флорентины. Он был уже совсем спокоен, настолько, что это спокойствие его даже пугало. Неистовство страстей исчезло, и он спрашивал себя, действительно ли эту женщину он любит? Возможно ли, любя так, как он, сидеть рядом с предметом своей безумной страсти и ощущать в душе такую тишину, такую беспредельную тишину?.. Мысль его текла непринужденно, он успевал замечать малейшее движение на лицах своих собеседников и даже (что было просто смешно!), глядя на панну Изабеллу, произвел в уме следующий подсчет:

"Платье: пятнадцать локтей сурового шелка по рублю - пятнадцать рублей... Кружева - рублей десять, а шитье - пятнадцать... Итого... сорок рублей платье, рублей сто пятьдесят сережки и десять грошей роза..."

Миколай стал подавать кушанья. Вокульский без малейшего аппетита съел несколько ложек холодной ботвиньи, запил их портвейном, потом попробовал жаркое и запил пивом. Улыбнулся, сам не зная чему, и в приступе какого-то мальчишеского озорства решил делать промахи за столом. Для начала он, поев жаркое, положил нож и вилку на подставку возле тарелки. Панна Флорентина даже вздрогнула, а пан Томаш с необычайным воодушевлением принялся повествовать о том, как однажды на балу в Тюильри он, по просьбе императрицы Евгении, танцевал менуэт с супругой какого-то маршала.

Подали судака, и Вокульский атаковал его ножом и вилкой. Панна Флорентина едва не упала в обморок, панна Изабелла взглянула на него со снисходительной жалостью, а пан Томаш... тоже начал есть судак ножом и вилкой.

"Как вы глупы!" - подумал Вокульский, чувствуя, что в нем просыпается нечто вроде презрения к этому обществу. Вдобавок панна Изабелла обратилась к отцу - впрочем, без тени язвительности:

- Ты должен, папа, как-нибудь научить и меня есть рыбу ножом.

Вокульскому показалось это просто бестактным.

"Нет, видно, я вылечусь от своей любви еще до конца обеда..." - сказал он себе.

- Дорогая моя, - отвечал пан Томаш, - манера не есть рыбу ножом - это, право же, предрассудок... Не так ли, пан Вокульский?

- Предрассудок?.. Не скажу, - возразил тот. - Скорее всего это обычай, перенесенный из условий, которым он соответствует, в условия несоответствующие.

Пан Томаш даже заерзал на стуле.

- Англичане считают это чуть ли не оскорблением... - процедила панна Флорентина.

- Англичане употребляют в пищу морскую рыбу, которую можно есть одной вилкой, а нашу костлявую рыбу они, вероятно, ели бы иначе..."

- О, англичане никогда не нарушают установленных правил, - настаивала панна Флорентина.

- Это верно, - признал Вокульский, - они не нарушают правил в обычных условиях, но в необычных условиях применяют принцип: действуй, как удобнее. Да я сам видал весьма изысканных лордов, которые ели баранину с рисом руками, а бульон пили прямо из котелка.

Замечание было едким, однако пан Томаш выслушал его с удовольствием, а панна Изабелла - почти с изумлением. Этот купец, едавший баранину с лордами и так смело проповедовавший теорию, будто рыбу следует есть при помощи ножа, сразу вырос в ее глазах. Кто знает, не показалось ли ей это более значительным, чем дуэль с Кшешовским.

- Значит, вы враг этикета? - спросила она.

- Нет. Но я не хочу быть его рабом.

- Однако же в известных кругах всегда придерживаются этикета.

- Не знаю. Я встречал людей самого высшего круга, и в определенных условиях они забывали об этикете.

Пан Томаш слегка склонил голову, панна Флорентина посинела, а панна Изабелла взглянула на Вокульского почти благосклонно. Пожалуй, более чем почти... Бывали мгновения, когда ей мерещилось, будто Вокульский - это некий Гарун-аль-Рашид, переодетый купцом. В душе ее росло изумление и даже симпатия к нему. Несомненно, этот человек достоин быть ее наперсником. С ним она может беседовать о России.

После мороженого панна Флорентина, совсем сбитая с толку, осталась в столовой, а хозяева и гость перешли в кабинет пана Томаша - пить кофе. Вокульский как раз допивал свою чашку, когда Миколай подал барину на подносе письмо.

- Ждут ответа, ваша милость.

- Ах, от графини... - заметил пан Томаш, бросив взгляд на конверт. - Вы разрешите?..

- Если вы ничего не имеете против, - прервала панна Изабелла, с улыбкой обращаясь к Вокульскому, - перейдем в гостиную, а отец тем временем напишет ответ.

Она знала, что это письмо пан Томаш написал себе сам, так как ему непременно нужно было хоть полчасика вздремнуть после обеда.

- Вы не обидитесь? - спросил пан Томаш, пожимая гостью руку.

Вокульский и панна Изабелла перешли из кабинета в гостиную. Она с присущим ей изяществом опустила в кресло, указав гостью на другое, стоявшее неподалеку.

Очутившись наедине с панной Изабеллой, Вокульский почувствовал, как кровь бросилась ему в голову. Волнение его еще более усилилось, когда она устремила на него странно пристальный взгляд, словно желая проникнуть в самую глубину его души и приковать к себе.

Это была уже не та панна Изабелла, которую он видел на пасху в костеле, и не та, что говорила с ним на скачках; теперь это была женщина умная и способная чувствовать - она хотела о чем-то его спросить, о чем-то поговорить серьезно и откровенно.

Вокульскому не терпелось услышать, что она скажет; он настолько потерял самообладание, что готов был убить на месте всякого, кто в эту минуту помешал бы им. Он молча глядел на панну Изабеллу и ждал.

Панна Изабелла была смущена. Давно уже не испытывала она такого смятения чувств. В голове ее проносились обрывки фраз: "он купил сервис", "нарочно проигрывал отцу", "унизил меня", а потом - "он любит меня", "купил скаковую лошадь", "стрелялся на дуэли", "едал баранину с лордами"... Презрение, гнев, изумление, симпатия беспорядочно волновали ей душу, как частый дождь водную гладь, а из глубины рвалась наружу потребность поверить кому-нибудь свои повседневные заботы, свои сомнения и свою трагическую любовь к великому актеру.

"Да, он достоин быть... и он будет моим наперсником!" - думала панна Изабелла, нежно глядя в глаза изумленному Вокульскому и слегка наклонившись вперед, будто собиралась поцеловать его в лоб. Потом, вдруг устыдившись чего-то, она откинулась на спинку кресла, залилась румянцем и медленно опустила длинные ресницы, словно их смежил сон. Прелестная игра ее лица напомнила Вокульскому волшебные переливы северного сияния и те чудесные неслышные мелодии без слов, которые порой звучат в человеческой душе, словно отголоски иного, лучшего мира. Замечтавшись, он прислушивался к торопливому тиканью настольных часов в к биению собственного пульса, удивляясь тому, что ритм их, такой быстрый, все же кажется медленным в сравнении со стремительным бегом его мысли.

"Если существует рай, - думал он, - то и праведникам не познать счастья выше, чем то, которое я испытываю сейчас".

Молчание затягивалось и становилось неприличным. Первая опомнилась панна Изабелла.

- У вас было недоразумение с бароном Кшешовским, - сказала она.

- Из-за скачек... - поспешно перебил ее Вокульский. - Барон не мог мне простить, что я купил его лошадь.

Она поглядела на него с мягкой улыбкой.

- Потом вы дрались на дуэли, и... мы были очень встревожены, прибавила она тише. - А потом... барон извинился передо мной, - быстро закончила она, опуская глаза. - В письме, которое барон прислал мне по этому поводу, он отзывается о вас с большим уважением и дружелюбием...

- Я очень... очень рад, - пролепетал Вокульский.

- Чему, сударь?

- Что обстоятельства так сложились... Барон - благородный человек...

Панна Изабелла протянула ему руку и, задержав ее на минутку в пылающей ладони Вокульского, продолжала:

- Не оспаривая несомненной доброты барона, я все же благодарю вас. Благодарю... Есть услуги, которые не скоро забываются, и право же... - тут она заговорила медленнее и тише, - право, вы облегчили бы мою совесть, потребовав чего-нибудь взамен за вашу... любезность...

Вокульский выпустил ее руку и выпрямился. Он был в таком упоении, что не обратил внимания на словцо "любезность".

- Хорошо, - ответил он. - Если вы приказываете, я признаю даже свои заслуги. Могу ли я взамен обратиться к вам с просьбой?

- Да.

- Так вот, я прошу об одном, - с горячностью сказал он, - о праве служить вам, насколько хватит моих сил. Всегда и во всем...

- Сударь! - с улыбкой прервала панна Изабелла. - Да ведь это коварство! Я хочу уплатить один долг, а вы хотите принудить меня делать новые. Разве так можно?

- Что ж тут дурного? Разве вы не принимаете услуг - ну, хотя бы от рассыльных?

- Но ведь им за это платят, - ответила она, кокетливо взглянув на него.

- Вот и вся разница между ними и мной: им нужно платить, а мне неудобно и даже нельзя.

Панна Изабелла покачала головой.

- То, о чем я прошу, - продолжал Вокульский, - не переходит границы самых обыкновенных человеческих отношений. Вы, дамы, всегда приказываете, мы всегда исполняем - вот и все. Людям, принадлежащим к высшему свету, и просить не пришлось бы о подобной милости: для них она является повседневной обязанностью, даже законом. Я же добивался ее, а сейчас умоляю о ней, ибо исполнение ваших поручений некоторым образом приобщило бы меня к вашему кругу. Боже мой! Если кучера и лакеи имеют право носить ваши цвета на ливреях, то почему же мне не постараться заслужить эту честь?

- Ах, вот вы о чем! Мне не придется дарить вам свою ленту - вы сами уже завладели ею. А отнимать? Поздно, хотя бы из-за письма барона.

Она снова подала ему руку. Вокульский благоговейно поцеловал ее. В смежной комнате раздались шаги, и вошел пан Томаш, выспавшийся и сияющий. Его красивое лицо выражало такое благодущие, что Вокульский подумал:

"Я буду негодяем, если твои тридцать тысяч, почтеннейший, не принесут тебе десять тысяч ежегодно".

Они втроем посидели еще с четверть часа, болтая о недавнем празднике в "Швейцарской долине"{326}, о прибытии Росси и поездке в Париж. Наконец Вокульский с сожалением покинул приятное общество, дав обещание приходить чаще и в Париж ехать вместе с ними.

- Вот увидите, как там будет весело! - сказала ему на прощание панна Изабелла.

Глава семнадцатая

Как прорастают семена всякого рода заблуждений

Когда Вокульский возвращался домой, было около девяти. Солнце недавно зашло, но зоркий глаз уже мог различить наиболее крупные звезды, мерцающие в золотисто-лазоревом небе. На улицах раздавались оживленные голоса прохожих; в сердце Вокульского царило радостное спокойствие.

Он вспоминал каждую улыбку, каждый взгляд, каждое движение и слово панны Изабеллы, придирчиво стараясь найти в них следы враждебности или высокомерия. Тщетно. Она

обращалась с ним, как с ровней и другом, приглашала чаще бывать у них, мало того - даже потребовала, чтобы он о чем-нибудь ее попросил.

"А если бы в эту минуту я сделал ей предложение? - вдруг пришло ему в голову. - Что тогда?"

И он настойчиво вглядывался в образ, запечатлевшийся в его душе, но опять не увидел ни следа враждебности. Напротив - она кокетливо ему улыбалась. "Наверное, она бы ответила, что мы слишком мало знакомы, - сказал он про себя, - и что я должен заслужить ее согласие... Да, да... именно так и ответила бы", - повторял он, припоминая несомненные доказательства ее симпатии.

"Вообще напрасно я был так предубежден против высшего света. Они такие же люди, как мы, пожалуй даже чувствуют тоньше нас. Полагая, что мы - грубые существа, гонящиеся за наживой, они сторонятся нас. Но в то же время умеют обласкать тех, в ком увидят честную душу... Какой восхитительной женой может быть эта женщина! Разумеется, мне предстоит еще многое совершить, чтобы стать достойным ее. Ох, как много!"

Под влиянием этих мыслей он все глубже проникался расположением к семейству Ленцких, к их родне, потом теплое чувство распространилось на магазин вкупе со всеми служащими, на купцов, с которыми он вел дела, наконец на всю страну и человечество в целом. Каждый прохожий на улице казался ему родным - близким или дальним, веселым или грустным. Еще немного, и он стал бы как нищий среди улицы останавливать прохожих, спрашивая: "Не надо ли вам что-нибудь? Не стесняйтесь, требуйте, приказывайте... ее именем..."

"Как гадка до сих пор была моя жизнь, - говорил он себе. - Я был себялюбцем, Охоцкий - вот благородный человек: он хочет дать человечеству крылья и ради этой идеи жертвует собственным счастьем. Слава - разумеется, вздор, но работать во имя всеобщего блага - да, это важно... - Он усмехнулся. - Благодаря этой женщине я стал богачом и человеком с именем; захочет она, и я стану - ну, чем же? Да хоть великомучеником, готовым отдать все силы и даже жизнь ради ближних!.. Разумеется, отдам, если она пожелает!.."

Магазин был уже закрыт, но сквозь щели в ставнях пробивался свет.

"Еще работают", - подумал Вокульский.

Он свернул в ворота и через черный ход вошел в магазин. На пороге он столкнулся с Зембой, который низко ему поклонился; в глубине магазина он увидел еще несколько человек. Клейн, стоя на лесенке, что-то укладывал на полках. Лисецкий надевал пальто, у конторки сидел, склонившись над книгой, Жецкий, а перед ним стоял какой-то человек и плакал.

- Хозяин идет! - крикнул Лисецкий.

Жецкий, прикрыв от света глаза, взглянул на Вокульского. Клейн кивнул ему, не спускаясь с лесенки, а плачущий человек вдруг обернулся и с громким воплем повалился ему в ноги.

- Что случилось? - с удивлением спросил Вокульский, узнав старого инкассатора Обермана.

- Он потерял более четырехсот рублей, - жестко ответил Жецкий. Злоупотребления, конечно, не было, головою ручаюсь; однако фирма не может страдать, тем более что Оберман вложил в наше дело несколько сот рублей сбережений. Одно из двух, - с раздражением закончил Жецкий, - Оберман или вернет деньги, или лишится службы... Хорошо бы шли наши дела, если б все инкассаторы вели себя, как Оберман!..

- Я выплачу, сударь, - всхлипывая, говорил инкассатор, - все выплачу, только дайте мне рассрочку хоть на два года. Ведь пятьсот рублей, вложенные в ваше предприятие, - это все

мое состояние. Мальчишка кончил школу и хочет учиться на доктора, да и старость уже не за горами... Одному богу известно да вам, сколько придется работать, чтобы сколотить такие деньги... Мне пришлось бы второй раз жизнь прожить, чтобы снова собрать их...

Клейн и Лисецкий, оба уже в пальто, ожидали решения хозяина.

- Конечно, - подтвердил Вокульский, - фирма страдать не может. Оберман должен вернуть деньги.

- Слушаюсь, сударь, - шепнул несчастный.

Клейн и Лисецкий попрощались и вышли. Оберман, вздыхая, собирался тоже уйти. Однако, как только они остались втроем, Вокульский сказал:

- Оберман, ты заплатишь, а я дам тебе денег...

Инкассатор бросился ему в ноги.

- Погоди, погоди!.. - прервал Вокульский, поднимая его. - Если ты хоть словечком обмолвишься кому-нибудь о нашем уговоре, я заберу подаренную сумму - слышишь, Оберман? А то, пожалуй, все захотят терять деньги. Ну, ступай домой и помалкивай.

- Понимаю... Пошли вам господь всякого благополучия, - ответил инкассатор и вышел, с трудом скрывая свою радость.

- Уже послал, - сказал Вокульский, думая о панне Изабелле.

Жецкий был недоволен.

- Милый Стах, - заметил он, когда они остались одни, - ты уж лучше не вмешивайся в дела магазина. Я так и думал, что ты не заставишь его вернуть всю сумму, да я и сам бы не стал этого требовать. Но рублей сто в наказание следовало бы взыскать с этого ротозея. В конце концов черт с ним, можно бы и все ему простить, но недельки две надо бы подержать его в неизвестности. Иначе лучше уж сразу прикрыть лавочку.

Вокульский рассмеялся.

- Меня бы покарал господь бог, - ответил он, - если бы я в такой день кому-нибудь причинил зло.

- В какой день? - широко раскрыл глаза Жецкий.

- Неважно. Только сегодня я понял, что нужно быть добрым.

- Ты всегда был добр и даже слишком, - негодовал пан Игнаций. - Вот увидишь, к тебе люди никогда не будут так относиться.

- Уже относятся, - возразил Вокульский и протянул ему на прощание руку.

- Уже? - насмешливо повторил пан Игнаций. - Уже!.. Желаю тебе все же никогда не подвергать испытанию их чувства.

- Я и без испытаний знаю. Покойной ночи.

- Много ты знаешь!.. Посмотришь, что будет в трудную минуту... Покойной ночи, - ворчал старый приказчик, громко хлопывая ящик с бухгалтерскими книгами.

По дороге домой Вокульский думал:

"Надо наконец навестить Кшешовского... Завтра же пойду. Это в полном смысле слова порядочный человек... Извинился перед панной Изабеллой. Обязательно завтра поблагодарю его - и, черт побери, попытаюсь ему помочь. Правда, с таким бездельником и шалопаем будет трудненько... Что ж, все-таки попробую... Он извинился перед панной Изабеллой - я избавлю его от долгов..."

В эту минуту ощущение спокойствия и непоколебимой уверенности заглушило все остальные чувства в душе Вокульского, поэтому, вернувшись домой, он, не отвлекаясь мечтами (что с ним частенько бывало), принялся за работу. Он достал толстую тетрадь, уже на три четверти исписанную, потом книжку с польско-английскими упражнениями и принялся выписывать фразы, вполголоса произнося их и старательно подражая своему учителю, Вильяму Коллинзу. В короткие перерывы он думал о том, как завтра пойдет к Кшешовскому и как поможет ему выпутаться из долгов, а также об инкассаторе, которого спас от беды.

"Если благословения имеют какую-нибудь ценность, - говорил он себе, то весь капитал благословений Обермана вместе с процентами я уступаю ей..."

Потом он решил, что осчастливить одного человека - это недостаточно роскошный подарок для панны Изабеллы. Весь мир он осчастливить не в силах, но в ознаменование более короткого знакомства с панной Изабеллой следовало бы помочь хотя бы нескольким людям.

"Вторым будет Кшешовский, - думал он, - только невелика заслуга спасти таких оболтусов... Ага!.."

Он хлопнул себя по лбу и, отложив в сторону английские упражнения, достал архив своей личной корреспонденции. Это была папка в сафьяновом переплете, куда складывались письма в порядке их поступления. На первой странице находился нумерованный список.

"Ага! - говорил он. - Письмо моей грешницы и ее попечительниц. Шестьсот третья страница..."

Он нашел страницу и внимательно прочитал два письма: одно - писанное изящным почерком, а другое - с кривыми, словно детскими, каракулями. В первом письме ему сообщали, что Мария такая-то, некогда девица легкого поведения, в настоящее время научилась шить белье и платья, отличается набожностью, послушанием, кротостью характера, скромно ведет себя. Во втором письме упомянутая Мария сама благодарила его за оказанную помощь и просила подыскать ей какую-нибудь работу.

"Почтенный мой благодетель, - писала она, - если господь бог по милости своей посылает вам столько денег, не тратьте их на меня, грешную. Сейчас я и сама управлюсь, только бы мне знать, к чему руки приложить, а в Варшаве немало сыщется бедняков, которые нуждаются больше меня..."

Вокульскому стало совестно, что такая просьба несколько дней пролежала без отклика. Он тотчас написал ответ и позвал слугу.

- Это письмо отошлешь завтра утром к сестрам святой Магдалины.

- Ладно, - ответил слуга, стараясь подавить зевоту.

- И вызови ко мне возчика Высоцкого, знаешь, который на Тамке живет?

- Еще бы не знать! А вы, барин, слышали?

- Только чтобы с утра был здесь.

- Почему же ему не быть? А вам, барин, рассказывали? Оберман потерял кучу денег. Он

сюда давеча приходил, все божился, что руки на себя наложит или еще каких бед натворит, если вы его не пожалеете. А я ему: "Без понятия вы человек, погодите руки-то на себя накладывать, у нашего, говорю, хозяина, сердце мягкое..." А он: "И такую надежду имею, только все равно туго мне придется: хоть малую толику да вычтут, а тут сын идет учиться на доктора, а тут старость стучится в дверь..."

- Иди спать, пожалуйста, - прервал его Вокульский.

- И пойду, - сердито ответил слуга, - только служить у вас хуже, чем в тюрьме сидеть: и спать иди не тогда, когда хочется...

Он взял письмо и вышел из комнаты.

На другой день, около девяти утра, он разбудил Вокульского и доложил, что Высоцкий уже пришел.

- Зови его сюда.

Вошел возчик. Он был прилично одет, лицо у него посвежело, глаза глядели весело. Он подошел к постели и поцеловал Вокульскому руку.

- Скажи, Высоцкий, кажется, у тебя в квартире есть свободная комната?

- Есть, сударь, как же: дядька-то у меня помер, а жильцы его, шельмы, не стали платить, я их и выгнал. На водку хватает прохвосту, а за квартиру нечем платить...

- Я у тебя сниму эту комнату, - сказал Вокульский, - только надо будет ее прибрать...

Возчик с удивлением взглянул на Вокульского.

- Там поселится молодая белошвейка, - продолжал Вокульский. - Пусть она у вас и столуется, а жену попроси, чтоб она ей стирала белье... Да пусть подумает, что там еще понадобится. Я дам тебе денег на мебель и белье... Да посматривайте, не станет ли она водить к себе кого...

- Ни-ни! - живо подхватил возчик. - Как она вам, сударь, потребуется, я ее всякий раз сам приведу; но чтобы кого чужого - ни-ни! От такого дела вам, сударь, большой вред мог бы выйти!

- И глуп же ты, братец! Мне с нею встречаться незачем. Лишь бы она дома вела себя прилично, была опрятна и прилежна, а ходить может куда ей угодно. Только к ней чтобы никто не ходил. Так ты понял? Надо в комнате побелить стены, вымыть пол, купить мебель дешевую, но новую и прочную; ты в этом толк знаешь!

- Еще бы! Сколько я на своем веку мебели перевозил!

- Ну, хорошо. А жена пускай посмотрит, чего девушке не хватает из одежды и белья, скажешь мне тогда.

- Все понял, сударь, - ответил Высоцкий, снова целуя ему руку.

- Ну, ну... А как твой брат?

- Ничего, сударь. Сидит, слава богу и вашей милости, в Скерневицах; земля у него есть, нанял батрака, совсем барином заделался, годика через три-четыре еще землицы прикупит; столовников стал держать: железнодорожника, да сторожа, да двух смазчиков. А тут еще и железная дорога жалования прибавила.

Вокульский попрощался с возчиком и начал одеваться.

"А хорошо бы проспать все время до новой встречи с нею", - подумал он.

Ему не хотелось идти в магазин. Он взял какую-то книжку и принялся читать, решив поехать к Кшешовскому во втором часу.

В одиннадцать в передней раздался звонок и хлопнула дверь. Вошел слуга.

- К вам какая-то барышня.

- Попроси в гостиную.

За дверью зашелестело женское платье. Подойдя к дверям, Вокульский увидел свою Магдалину.

Его поразила происшедшая в ней перемена. Девушка была в черном платье, она слегка побледнела, но вид у нее был здоровый, взгляд несмелый. Увидев Вокульского, она покраснела и задрожала.

- Садитесь, панна Мария, - сказал он, указывая ей на стул.

Она села на самый краешек бархатного сидения и еще сильнее смутилась. Веки ее часто мигали, она опустила глаза, на ресницах блеснули слезинки. Не так выглядела эта девушка два месяца назад.

- Так вы, панна Мария, уже научились шить?

- Да.

- Куда же вы собираетесь теперь поступить?

- Может, в мастерскую какую-нибудь... или в прислуги... В Россию.

- Почему туда?

- Там, говорят, легче место найти, а здесь... кто же меня примет? шепнула она.

- Но если бы здесь какой-нибудь склад заказывал вам белье, вы бы предпочли остаться?

- Ох, конечно!.. Но тогда нужна и квартира, и машина своя, и все... А раз этого нет, приходится идти в прислуги.

Даже голос у нее изменился. Вокульский пристально поглядел на нее и наконец сказал:

- Вы пока что останетесь в Варшаве. Будете жить на Тамке, в семье возчика Высоцкого. Очень хорошие люди. Получите отдельную комнату, столоваться можете у них; найдется и машина, и все, что понадобится для шитья. Я дам вам рекомендацию в бельевой склад, а через несколько месяцев посмотрим, можете ли вы прокормиться этой работой... Вот адрес Высоцких. Вы, пожалуйста, сейчас же туда и идите, купите с Высоцкой мебель, словом смотрите, чтобы в комнате было все как следует. Завтра я пришлю вам машину... Это вот деньги на обзаведение. Я их даю вам в долг, возвратите их мне по частям, когда у вас наладится с работой.

Он дал ей несколько десятков, завернутых в записку к Высоцкому. Заметив, что она не решается взять их, он насильно вложил сверток ей в руку и сказал:

- Пожалуйста, очень прошу вас сейчас же идти к Высоцкому. Через несколько дней он принесет вам письмо в бельевой склад. В случае чего, прошу обратиться ко мне. До свиданья, панна Мария... - Он поклонился и вернулся к себе в кабинет.

Девушка постояла посреди гостиной, потом утерла слезы и ушла, исполненная какого-то торжественного удивления.

"Посмотрим, как устроится ее жизнь в новых условиях", - сказал себе Вокульский и снова взялся за книжку.

В час дня он отправился к Кшешовскому, по дороге упрекая себя в том, что с таким опозданием наносит визит своему бывшему противнику.

"Ну, ничего! - успокаивал он себя. - Не мог же я докучать ему во время болезни. А визитную карточку я послал".

Подойдя к дому, в котором жил барон, Вокульский мимоходом заметил, что его зеленоватые стены были того же нездорового оттенка, что и желтоватый цвет лица Марушевича. В квартире Кшешовского шторы были подняты.

"Ну, видно, он уже здоров, - подумал Вокульский. - Однако неловко его сразу расспрашивать о долгах. Отложу до второго или третьего визита, потом заплачу ростовщикам, и бедняга барон вздохнет спокойно. Не могу я равнодушно относиться к человеку, который извинился перед панной Изабеллой..."

Он поднялся на второй этаж и позвонил. За дверью слышались шаги, но никто не отпирал. Он позвонил еще раз. В квартире продолжали ходить, даже двигали какую-то мебель, но по-прежнему не отворяли. Потеряв терпение, он так резко дернул звонок, что едва не сорвал его. Тогда только кто-то подошел к двери, не спеша снял цепочку, потом повернул ключ, ворча под нос:

- Видно, свои... Ростовщик так не станет звонить.

Наконец дверь распахнулась, и на пороге показался лакей Констанций. При виде Вокульского он прищурился и, выпятив нижнюю губу, спросил:

- Это что такое?..

Вокульский догадался, что не пользуется расположением верного слуги, который присутствовал при поединке.

- Барон дома?

- Барон болен и никого не принимает, а сейчас у них доктор.

Вокульский подал свою визитную карточку и два рубля.

- А когда приблизительно можно будет навестить барона?

- Вот уж это не скоро... - несколько мягче отвечал Констанций. - Барин хворает после дуэли, и доктора велели им не сегодня-завтра ехать в деревню, а то и в теплые края.

- Значит, перед отъездом нельзя его видеть?

- Именно нельзя... доктора строго-настрого наказали никого не пускать. Барин все время в горячке...

Два карточных столика, один - колченогий, другой - сплошь исписанный мелом, а также канделябры с огарками восковых свечей заставили усомниться в точности медицинских заключений Констанция. Тем не менее Вокульский дал ему еще рубль и ушел, весьма недовольный приемом.

"Может быть, барон просто не хочет меня видеть? Ха! В таком случае, пусть сам расплачивается с ростовщиками и запирается от них на десять замков..."

Он вернулся домой.

Барон действительно собирался в деревню и действительно был не совсем здоров, однако не так уж, чтоб и болен. Рана на щеке заживала медленно не потому, что была серьезна, а потому, что организм больного был сильно расшатан. Когда Вокульский позвонил, барон, закутанный, как старая баба в мороз, не лежал, однако, в постели, а сидел в кресле и принимал не доктора, а графа Литинского.

Он как раз жаловался графу на плачевное состояние своего здоровья.

- Черт знает что за мерзкая жизнь! Отец оставил мне в наследство полмиллиона рублей и четыре болезни в придачу вместо лишних четырех миллионов... Эх, как неудобно без очков!.. Ну, и представьте себе, граф: деньги разошлись, а болезни остались. Самому мне удалось нажить только кучу новых болезней да кучу долгов, вот и получилось такое положение: стоит оцарапаться булавкой - и уже впору заказывать гроб и посылать за нотариусом.

- Дэ-э! - откликнулся граф. - Однако не думаю, что в подобном положении вы стали бы разоряться на нотариусов.

- Откровенно говоря, меня разоряют судебные приставы...

Не прерывая разговора, барон настороженно прислушивался к голосам, доносившимся из передней, но ничего не мог разобрать. Уловив наконец стук затворяемой двери, лязг щеколды и звяканье цепочки, он вдруг заорал:

- Констанций!

Вошел слуга, впрочем без излишней поспешности.

- Кто это приходил? Наверное, Гольдцигер... Говорил я тебе, не заводи разговоров с этим негодяем, а хватай за шиворот и спускай с лестницы! Представьте себе, - обратился он к Литинскому, - этот подлый еврей пристаёт ко мне с поддельным векселем на четыреста рублей и имеет наглость требовать, чтобы я заплатил!

- Надо подать в суд, дэ-э...

- Не стану я подавать! Я не прокурор и не обязан ловить мошенников. К тому же я не хочу, чтобы по моему почину губили какого-нибудь беднягу, который, наверное, просиживает ночи напролет, изучая чужие подписи... Пускай Гольдцигер обращается в суд, а тогда, никого не обвиняя, я заявлю, что подпись не моя.

- И вовсе это был не Гольдцигер, - заметил Констанций.

- Кто же? Управляющий? Портной?

- Нет... Вот этот господин... - сказал слуга и подал Кшешовскому визитную карточку. - Человек приличный, но я его выставил, раз вы велели.

- Что?.. - с удивлением спросил граф, взглянув на карточку. - Вы не велели принимать Вокульского?

- Да, - подтвердил барон. - Темная личность, во всяком случае... в обществе неприемлемая...

Граф Литинский с недоумевающим видом откинулся в кресле.

- Не ожидал я от вас... подобного мнения о нем... Дэ-э...

- Не истолкуйте, граф, моих слов неверно, - поспешил объяснить барон. Пан Вокульский сделал не то чтобы подлость, а так... маленькое свинство, которое может сойти в торговле, но не в обществе.

Граф со своего кресла, а Констанций с порога пристально глядели на Кшешовского.

- Вот, граф, посудите сами, - продолжал барон. - Я уступил свою кобылу пани Кшешовской (моей законной супруге перед людьми и богом) за восемьсот рублей. Пани Кшешовская, разозлившись на меня (сам не знаю за что), решила во что бы то ни стало кобылу продать. Как раз подвернулся покупатель, пан Вокульский, который, воспользовавшись женской запальчивостью решил заработать на лошади... двести рублей!.. и дал за нее только шестьсот...

- Он был вправе, дэ-э! - ввернул граф.

- Ах, боже мой! Я знаю, что был вправе. Но когда швыряют напоказ тысячи, а исподтишка срывают двадцать пять процентов с истерички - это дурной тон... Это не по-джентльменски. Преступления он не совершил, но... что за странное отношение к людям. Он похож на человека, который на глазах дарит ковры и шали, а потихоньку таскает носовые платки из кармана. Вы согласны со мной, граф?

Граф помолчал и наконец ответил:

- Дэ-э... Однако достоверно ли это?

- Вполне... Переговоры между этим господином и пани Кшешовской велись через моего Марушевича, и от него я все это узнал.

- Дэ-э... Как бы то ни было, пан Вокульский - прекрасный коммерсант и дела нашей компании будет вести хорошо.

- Если только не надует вас...

Между тем Констанций, все еще стоявший у порога, принялся жалостно качать головой и наконец, потеряв терпение, вмешался в разговор:

- Эх!.. И наговорили же вы, барин... Тьфу! Ну совсем, как дитя малое...

Граф с любопытством глянул на него, а барон вспылил:

- Ты чего суешься, болван, когда тебя не спрашивают?

- Как не соваться, ваша милость, когда и толкуете вы и ведете себя, словно дитя!.. Я человек маленький, одно слово - лакей, да только скорей такому я поверю, кто мне дает два рубля на чай, не поглядев, чем такому, что всякий раз занимает у меня по трешке и никак не соберется отдать. Вот оно как: пан Вокульский дал мне сегодня два рубля, а пан Марушевич...

- Вон! - заорал барон, хватаясь за графин, при виде которого Констанций счел благоразумным укрыться от своего барина за дверь. - Ну и подлый холуй! - прибавил барон, по-видимому в сильном раздражении.

- Вы питаете слабость к Марушевичу? - спросил граф.

- Да, знаете ли, он славный малый. Из каких только положений он меня не выручал!.. Сколько раз он доказывал мне свою собачью преданность!..

- Дэ-э!.. - задумчиво пробормотал граф.

Он молча посидел еще немного и наконец простился.

По дороге домой граф Литинский несколько раз мысленно возвращался к Вокульскому. Он считал естественным, что торговец наживается даже на скаковой лошади, но все же его коробило от таких сделок и уж совсем не нравилось ему то, что Вокульский водит компанию с Марушевичем, субъектом по меньшей мере подозрительным.

"Просто разбогатевший выскочка! - решил граф. - Мы преждевременно начали им восторгаться. Хотя... в торговой компании он может быть полезен... разумеется, под строгим контролем".

Несколько дней спустя, в девять часов утра, Вокульский получил два письма: одно от пани Мелитон, другое - от адвоката князя.

Он нетерпеливо вскрыл первое - пани Мелитон коротко писала: "Сегодня в Лазенках, в обычное время". Он прочел эти слова раз и другой, затем нехотя принялся за письмо адвоката: тот приглашал его, тоже сегодня, к одиннадцати часам утра на совещание по вопросу о покупке дома Ленцких. Вокульский с облегчением вздохнул: успеет.

Ровно в одиннадцать он был в кабинете юриста, где ждал его старик Шлангбаум. Он невольно отметил про себя, что седовласый еврей очень солидно выглядит на фоне коричневой мебели, а хозяину очень идут туфли из коричневого сафьяна.

- Везет вам, пан Вокульский, - обратился к нему Шлангбаум. - Как только вам вздумалось купить дом, сразу дома поднялись в цене. Вот увидите, поверьте моему слову, за полгода вы вернете деньги, вложенные в дом, да еще кое-что заработаете. Ну, и я при вас тоже...

- Вы думаете? - рассеянно отозвался Вокульский.

- Я не думаю, я уже зарабатываю. Вчера поверенный баронессы Кшешовской взял у меня займы десять тысяч до Нового года и дал восемьсот рублей процентов.

- Как, неужели у нее уже нет денег? - спросил Вокульский у юриста.

- У нее лежит в банке девяносто тысяч, но барон наложил на них запрет. Недурной брачный контракт он составил, а? - засмеялся адвокат. - Муж налагает запрет на деньги, являющиеся неоспоримой собственностью жены, против которой он возбудил процесс о разделе имущества... Я, признаться, таких контрактов еще не писал, ха-ха-ха! - смеялся юрист, потягивая дым из янтарного чубука.

- А зачем баронесса заняла у вас эти десять тысяч, пан Шлангбаум? спросил Вокульский.

- Вы не понимаете? Дома поднялись в цене, вот поверенный и объяснил баронессе, что дешевле семидесяти тысяч ей дома Ленцких не купить. Она бы его купила и за десять тысяч, но что поделаешь!..

Юрист уселся за стол и взял слово:

- Итак, почтеннейший пан Вокульский, дом семейства Ленцких (тут он слегка наклонил голову) покупаю для вас не я, а присутствующий здесь (он поклонился) пан С.Шлангбаум.

- Могу купить, почему нет! - пробормотал еврей.

- Но не дешевле девяноста тысяч, - напомнил Вокульский, - притом в борьбе с конкурентами, - подчеркнул он.

- Почему нет? Деньги не мои! Вы хотите платить - конкуренты на торги найдутся. Если б у меня было столько тысяч, сколько можно в Варшаве нанять для всякого дела весьма приличных лиц, и католиков к тому же, так я был бы богаче Ротшильда.

- Значит, будут приличные конкуренты, - повторил юрист. - Прекрасно. Сейчас я передам пану Шлангбауму деньги...

- Это не нужно, - заметил тот.

- А затем мы составим актик, в силу которого пан С.Шлангбаум получает в долг от уважаемого пана С.Вокульского девяносто тысяч рублей, каковая сумма обеспечивается приобретенным домом. В случае же, если пан С.Шлангбаум до первого января тысяча восемьсот семьдесят девятого года вышеозначенной суммы не возвратит...

- И не возвращу...

- В таком случае купленный им дом достопочтенного семейства Ленцких переходит в собственность уважаемого пана С.Вокульского.

- Хоть сию минуту... Я и не загляну туда, - ответил еврей, махнув рукой.

- Отлично! - воскликнул адвокат. - Завтра мы получим актик, а через неделю... или дней через десять и дом. Только как бы вы, почтеннейший пан Станислав, не потеряли на этом деле тысяч десять - пятнадцать!

- Я только выиграю, - возразил Вокульский и простился с юристом и Шлангбаумом.

- Одну секунду! - говорил адвокат, провожая Вокульского до гостинной. Наши графы решили войти в торговую компанию, только несколько уменьшают паи и требуют весьма тщательного контроля над ведением дела.

- Это правильно.

- Особенную осторожность проявляет граф Литинский. Что с ним случилось - не понимаю!

- Он дает деньги, вот и становится осторожнее. Пока давал только слово, был смелее.

- Нет, нет, нет! - прервал адвокат. - За этим что-то кроется, и я это разузнаю... Кто-то подложил нам свинью.

- Не нам, а мне, - усмехнулся Вокульский. - В конце концов мне ведь все равно, я не буду в обиде, если они и вовсе раздумают вступить в компанию.

Он еще раз пожал руку адвокату и поспешил в магазин. Там оказалось несколько срочных дел, которые, против ожидания, отняли у него много времени. Только в половине второго он попал в Лазенки.

Прохлада тенистого парка не только не успокоила его, но еще больше взбудоражила. Он почти бегом устремился по аллее, то и дело спохватываясь, не привлекает ли к себе внимания прохожих. Тогда он замедлял шаг, чувствуя, что грудь его готова разорваться от нетерпения.

- Наверное, я их уже не встречу! - повторял он в отчаянии.

Наконец у самого пруда он увидел на фоне зеленых клумб пепельно-серую накидку панны Изабеллы. Она стояла на берегу вместе с графиней и отцом и бросала пряники лебедям; один лебедь даже вышел из воды и, переступая своими некрасивыми лапками, остановился у

ее ног.

Пан Томаш первый заметил Вокульского.

- Вот так случай! - воскликнул он. - Вы в Лазенках, в этот час?

Вокульский раскланялся с дамами и с радостным удивлением подметил румянец на щеках панны Изабеллы.

- Я прихожу сюда, когда устаю от работы... то есть довольно часто...

- Берегите свои силы, пан Вокульский!.. - торжественно произнес пан Томаш и погрозил ему пальцем. - А rgoros*, - прибавил он тише, представьте, за мой дом даже баронесса Кшешовская готова дать уже семьдесят тысяч... Я наверняка получу сто тысяч, а то и сто десять... Хорошая вещь аукцион!

* Кстати (франц.).

Тут вмешалась графиня.

- Я так редко вижу вас, что сразу же приступаю к делу...

- К вашим услугам, - поклонился Вокульский.

- Пожалуйста, сударь! - воскликнула графиня, с комическим смирением складывая ладони, - пожертвуйте кусок ситца для моих сироток... Видите, как я научилась попрошайничать?

- Может быть, вы позволите, графиня, прислать два куска?..

- Только в том случае, если второй будет льняного полотна.

- Ах, тетя, это уж слишком! - смеясь, прервала ее панна Изабелла. Если вы не хотите вконец разориться, - обратилась она к Вокульскому, скорее бегите отсюда. Я уведу вас к оранжерее, а папа с тетей пусть отдохнут здесь.

- Ты не боишься, Белла?

- Я думаю, тетя, вы не сомневаетесь, что в обществе пана Вокульского ничего дурного со мной не случится.

Вокульскому кровь бросилась в лицо, по губам графини пробежала едва заметная улыбка.

Воцарилось затишье; то было мгновение, когда, сдержав могучие силы, природа как бы приостанавливает свою извечную работу, чтобы ярче оттенить счастье существ малых и смертных.

Ветер еле-еле дышал - казалось, только затем, чтобы овеять прохладой спящих в гнездах птенцов и облегчать полет насекомым, спешащим на свадебный пир. Листья деревьев чуть трепетали, словно их колыхало не движение воздуха, а тихо скользящие солнечные лучи. Кое-где во влажной листве блистали капли росы, отливая всеми цветами радуги, точно упавшей с неба на землю. Казалось, замерло все: солнце и деревья, снопы света и тени, лебеди на пруду и рой комаров над ними, замерли даже сверкающие волны на синей поверхности воды. Вокульскому почудилось, что в этот миг стремительное течение времени отделилось от земли, оставив после себя лишь несколько прозрачных белых полос на небе, - и теперь уже ничто не изменится, все останется таким как есть, навеки. И они с панной Изабеллой вечно будут бродить по ярко освещенному лугу, окруженные зелеными купами

деревьев, среди которых, словно черные бриллианты, поблескивают кое-где любопытные птичьи глаза. И никогда не исчезнет в нем ощущение беспредельной тишины, а у нее этот томный взгляд и румянец, и перед ними, целуясь на лету, вечно будут порхать два белых мотылька.

Они были на полпути к оранжерее, когда панна Изабелла, по-видимому смущенная тишиной, заговорила:

- Какой прекрасный день, не правда ли? В городе жара, а здесь такая приятная прохлада! Я очень люблю Лазенки в этот час: людей мало, и каждый может найти себе укромный уголок. Вы любите уединение?

- Я привык к нему.

- Вы не были на концерте Росси? - спросила она, еще сильнее зарумянившись. - Как, вы не видели Росси? - повторила она, глядя на него с удивлением.

- Нет еще, но... пойду.

- Мы с тетей были уже на двух спектаклях.

- Я буду ходить на все...

- Ах, как хорошо! Вы увидите, какой это великий актер. Особенно прекрасен он в Ромео, несмотря на то... что сам уже не первой молодости. Мы с тетей познакомились с ним еще в Париже... Очень милый человек, но главное - гениальный трагик. В его игре сочетается самый подлинный реализм с самым поэтическим идеализмом...

- Должно быть, он действительно велик, если внушает вам такое восхищение и симпатию.

- Вы не ошиблись. Я знаю, мне не суждено совершить ничего замечательного, но я по крайней мере умею ценить людей необыкновенных... На каждом поприще... даже на сцене... Однако, представьте, Варшава не оценила его по достоинству...

- Возможно ли? Ведь он иностранец...

- О, да у вас злой язык! - улыбнулась она. - Но я отнесу ваше замечание на счет Варшавы, не на счет Росси... Право, мне просто стыдно за наш город! Будь я на месте публики (конечно, публики мужского пола), я бы забросала его цветами и рукоплескала бы ему до изнеможения. Здесь же его награждают жидкими аплодисментами, а о цветах никто и не подумал... Мы поистине еще варвары...

- Овации и цветы - это такая мелочь, что... на ближайшем выступлении Росси их будет скорее слишком много, чем слишком мало.

- Вы уверены? - спросила она, красноречиво глядя ему в глаза.

- Как же... ручаюсь вам.

- Я буду очень рада, если сбудется ваше пророчество... Может быть, вернемся к нашим?

- Всякий, кто доставляет вам удовольствие, заслуживает самого глубокого уважения.

- Позвольте! - со смехом перебила она. - Но вы сейчас сказали комплимент самому себе...

Они повернули назад.

- Воображаю, как удивится Росси, услышав овации, - снова заговорила панна Изабелла. - Он

уже ни на что тут не надеется и, очевидно, жалеет, что приехал в Варшаву. Артисты, не исключая величайших, - это особые люди. Они не могут жить без славы и без почестей, как мы - без пищи и воздуха. Самоотвержение, труд, хотя бы самый плодотворный, но скромный - это не для них. Им необходимо быть на первом плане, привлекать к себе все взоры, покорять тысячи сердец... Росси сам говорит, что предпочел бы умереть годом раньше на сцене при переполненном и восторженном зале, чем годом позже в тесном кругу немногих поклонников. Как это странно!

- Он прав, если полный театр для него - величайшее счастье.

- Вы думаете, бывает счастье, ради которого стоит сократить жизнь?

- И несчастья, которых стоит таким образом избежать.

Панна Изабелла задумалась, и дальше они шли уже молча.

Между тем графиня, сидя у пруда и продолжая кормить лебедей, беседовала с паном Томашем.

- Ты заметил, Вокульский как будто интересуется Беллой?

- Не думаю.

- И даже очень; теперешние торговцы умеют строить смелые планы.

- От плана до исполнения еще неизмеримо далеко, - ответил пан Томаш с некоторым раздражением. - А если б даже и так, то меня это не касается. За мысли пана Вокульского я не отвечаю, а за Беллу я спокоен.

- В конце концов я ничего против Вокульского не имею, - прибавила графиня. - Что бы нас ни ждало в будущем, я заранее мирюсь с волей божией, особенно если это приносит пользу бедным... А это им бесспорно на пользу: мой приют скоро будет первым в городе, и все потому, что этот господин питает слабость к Белле.

- Перестань... Вот они идут!.. - перебил ее пан Томаш.

Действительно, панна Изабелла и Вокульский показались в конце аллеи.

Пан Томаш внимательно поглядел на них и тут только заметил, что они хорошая пара: он, на голову выше Беллы, с атлетической фигурой, ступал твердо, обнаруживая военную выправку; она, хрупкая и стройная, скользила рядом, едва касаясь земли. Даже белый цилиндр и светлое пальто Вокульского приятно сочетались с пепельно-серой накидкой панны Изабеллы.

"С какой стати он носит белый цилиндр?" - с досадой подумал пан Томаш.

И в уме его возникло престранное соображение: в сущности, этот выскочка Вокульский за право носить белый цилиндр обязан платить ему, Ленцкому, по крайней мере пятьдесят процентов от вложенного капитала. Но тут даже сам пан Томаш пожал плечами.

- Ах, тетя, как чудесно в тех аллеях! - воскликнула, подходя, панна Изабелла. - Мы с вами никогда не гуляем в той стороне. А Лазенки хороши только тогда, когда ходишь быстро и далеко.

- В таком случае, попроси пана Вокульского почаще сопровождать тебя, ответила графиня каким-то особенно сладким тоном.

Вокульский поклонился, панна Изабелла чуть заметно нахмурилась, а пан Томаш сказал:

- Не пора ли домой?

- Пожалуй, - отвечала графиня. - Вы еще останетесь, пан Вокульский?

- Да. Разрешите проводить вас к экипажу?

- Пожалуйста. Белла, возьми меня под руку.

Графиня с панной Изабеллой пошли вперед, за ними пан Томаш с Вокульским. При виде белого цилиндра пан Томаш испытывал такое раздражение и досаду, что только из вежливости заставлял себя улыбаться. В конце концов, желая чем-нибудь занять Вокульского, он снова завел разговор о своем доме, за который надеялся получить, по выплате долгов, сорок, а то и пятьдесят тысяч рублей.

Цифры эти, в свою очередь, испортили настроение Вокульскому; он говорил себе, что больше тридцати тысяч не может прибавить.

Только когда подъехал экипаж и пан Томаш, усадив графиню и дочь, уселся сам и крикнул кучеру: "Трогай!" - у Вокульского исчез неприятный осадок и вновь проснулась тоска о панне Изабелле.

"Как скоро!" - вздохнул он, глядя на дорогу, на которой виднелась лишь зеленая пожарная бочка, поливавшая мостовую.

Он еще раз прошел к оранжерее по той же дорожке, отыскивая следы ее башмачков на мелком песке. Но там уже все изменилось. Ветер подул сильнее, замутил воду в пруду, разметал мотыльков и птиц и нагнал облака, которые все чаще закрывали солнце.

- Как тут уныло! - шепнул он и повернул обратно.

Сев в экипаж, он закрыл глаза, наслаждаясь легким покачиванием. Ему чудилось, что он, словно птица, сидит на ветке, которую колышет ветер вправо и влево, вверх и вниз, - и вдруг расхохотался, вспомнив, что это приятное покачивание обходится ему в тысячу рублей ежегодно.

"Дурак я, дурак! - повторял он. - Чего я лезу к людям, которые либо не понимают моих жертв, либо смеются над моими неуклюжими стараниями? К чему мне этот экипаж? Разве я не мог бы ездить в пролетке или даже в этом вот дребезжащем omnibusе с коленкоровыми занавесками?.."

Подъехав к своему дому, он вспомнил об обещанных панне Изабелле орациях в честь России.

"Разумеется, будут орации, да еще какие... Завтра спектакль..."

Под вечер он послал слугу в магазин за Оберманом. Седой инкассатор немедленно прибежал, с тревогой спрашивая себя, не передумал ли Вокульский и не велит ли ему вернуть потерянные деньги?

Но Вокульский встретил его очень приветливо. И даже увел к себе в кабинет, где они разговаривали добрых полчаса. О чем?..

Именно этот вопрос - о чем может разговаривать Вокульский с Оберманом чрезвычайно заинтересовал лакея. Ну уж конечно о потерянных деньгах... Усердный слуга прикладывал к замочной скважине то глаз, то ухо, многое увидел, многое услышал, но ровно ничего не понял. Он разглядел, что Вокульский давал Оберману большую пачку пятирублевых, и

услышал какие-то странные слова:

- В Большом театре... на балконе и галерке... капельдинеру корзину цветов... букет через оркестр...

- Что за черт! Уж не начал ли наш хозяин театральными билетами торговать?..

Заслышав в кабинете звук шагов, слуга шмыгнул в переднюю, чтобы там перехватить Обермана. Когда инкассатор вышел, он спросил:

- Ну как, с деньгами-то кончилось? С меня семь потов сошло, пока я уламывал старика, чтобы он вам снисхождение оказал. Сначала все упирался, а потом говорит: "Ладно, придумаем что-нибудь..." А нынче, я вижу, вы с ним совсем сладились. Что, хозяин-то в духе?

- Как всегда.

- Ну и проболтали вы с ним! Я думаю, не об одних деньгах, а еще кое о чем? Может, о театре? Хозяин-то наш страсть как любит в театр ходить!..

Но Оберман глянул на него волком и молча ушел. Слуга в первую минуту разинул рот от изумления, но, опомнившись, погрозил ему вслед кулаком.

- Погоди! - ворчал он. - Я тебе покажу... Тоже барин, подумаешь... Украл четыреста рублей и сразу заважничал, разговаривать не желает!..

Глава восемнадцатая

Недоумения, страхи и наблюдения старого приказчика

Для пана Игнация Жецкого снова настала пора тревог и недоумений. Тот самый Вокульский, который год назад помчался в Болгарию, а несколько недель назад вздумал, словно вельможа, развлекаться скачками и дуэлями, тот самый Вокульский вдруг необычайно пристрастился к театру; и добро бы еще к польскому, а то к итальянскому! И это он, ни слова не понимающий по-итальянски! Новая мания продолжалась уже с неделю к великому возмущению не одного только пана Игнация.

Раз, например, старик Шлангбаум полдня разыскивал Вокульского, несомненно по какому-то важному делу. Явился в магазин - Вокульский только что ушел из магазина, приказав отослать актеру Росси большую вазу саксонского фарфора. Бросился к нему домой - Вокульский только что ушел из дому: поехал к Бардэ за цветами. Решившись догнать его во что бы то ни стало, старик скрепя сердце кликнул извозчика, но извозчик требовал сорок грошей. Шлангбаум давал только злотый и восемь грошей, и пока они столковались (за злотый и восемь грошей) и добрались до Бардэ, Вокульский уже уехал оттуда.

- А куда он поехал, вы не знаете? - спросил Шлангбаум садовника, который с помощью кривого ножа опустошал кусты самых прекрасных цветов.

- Почем я знаю! В театр, должно быть, - буркнул садовник с таким видом, словно собирался кривым ножом перерезать глотку Шлангбауму.

Старик, который заподозрил его именно в этом, поскорее убрался из оранжереи и, словно камень, пущенный из пращи, бросился к пролетке. Однако извозчик (по-видимому, успевший столковаться с кровожадным садовником) заявил, что ни за какие сокровища в мире не поедет дальше, разве что седок заплатит ему сорок грошей за конец да еще те два гроша в придачу, которые недодал за первую поездку.

У Шлангбаума прямо сердце защемило; он хотел было слезть с пролетки, а то и кликнуть

городового, но, вспомнив, как сильна теперь несправедливость в христианском мире и как велико ожесточение против евреев, согласился на все требования бессовестного извозчика и, не переставая вздыхать, поехал в театр.

Там сначала он не знал, с кем говорить, потом никто не хотел с ним говорить, и, наконец, он выяснил, что пан Вокульский только что был, но минуту назад поехал в Уяздовские Аллеи. В воротах еще слышен грохот его экипажа...

У Шлангбаума руки опустились. Он поплелся пешком в магазин Вокульского, в сотый раз проклиная по этому случаю своего сына за то, что тот называет себя Генриком, ходит в сюртуке и ест трэфное, и в конце концов отправился к пану Игнацию - излить перед ним душу.

- Ну что это он вытворяет, ваш пан Вокульский! - говорил он плачущим голосом. - У меня было такое дело, что он в пять дней мог нажить триста рублей... И я бы при этом заработал сотенку... Но он разъезжает себе по городу, и я на одних извозчиков потратил два злотых двадцать грошей... Ох, что за разбойники эти извозчики!

Разумеется, пан Игнаций уполномочил Шлангбаума заключить сделку и не только вернул ему деньги, потраченные на извозчика, но в придачу нанял ему за свой счет пролетку до Электоральной улицы. Это так умилило старого еврея, что, уходя, он снял родительское проклятие со своего сына и даже пригласил его на субботний обед.

- Как бы то ни было, - говорил себе Жецкий, - дурацкая история с этим театром, тем более что Стах начинает запускать дела...

В другой раз в магазин явился пользующийся всеобщим уважением адвокат, правая рука князя и видный юрист, с которым советовалась вся аристократия; он приехал пригласить Вокульского на какое-то вечернее заседание. Пан Игнаций не знал, куда посадить столь важную особу, и не нарадовался чести, которой удостоил адвокат его Стаха. Между тем Стах не только не был тронут столь почетным приглашением, но к тому же решительно отказался пойти, что несколько даже задело адвоката, и он сразу ушел, попрощавшись довольно сухо.

- Почему же ты не принял приглашения? - в отчаянии спросил пан Игнаций.

- Потому что сегодня я должен быть в театре, - ответил Вокульский.

В тот же день, к вечеру, Жецкий испытал еще более сильное потрясение: около семи часов к нему подошел инкассатор Оберман и попросил принять сегодняшний отчет.

- После восьми... после восьми... - отвечал ему пан Игнаций. - Я сейчас занят.

- А после восьми я буду занят, - возразил Оберман.

- Как так? Что это значит?

- А то, что в половине восьмого я должен быть с хозяином в театре... проворчал Оберман, слегка пожимая плечами.

В ту же минуту к Жецкому подошел улыбающийся Земба и стал прощаться.

- Вы уже уходите, пан Земба? Без четверти семь? - спросил пан Игнаций, в изумлении широко раскрывая глаза.

- Нужно отнести цветы Росси, - любезно ответил пан Земба и улыбнулся еще приятнее.

Жецкий обеими руками схватился за голову.

- С ума они тут посходили с этим театром! - воскликнул он. - Может, и меня еще туда потащат? Ну, да со мною номер не пройдет!

Предчувствуя, что Вокульский, того и гляди, и его попытается совратить, пан Игнаций составил в уме речь, в которой собирался не только заявить, что ни на каких он итальянцев не пойдет, но и вразумить Вокульского примерно такими словами:

- Брось ты заниматься чепухой!.. - и так далее.

Между тем Вокульский, пренебрегши всякими уговорами, попросту зашел однажды около шести в магазин и, оторвав Жецкого от счетов, сказал:

- Дорогой мой, сегодня Росси играет Макбета. Будь добр, займи место в первом ряду (вот билет) и после третьего акта подай ему этот альбом.

И без всяких церемоний, даже не вступая в объяснения, вручил пану Игнацию альбом с видами Варшавы и портретами варшавянок, стоивший по меньшей мере пятьдесят рублей.

Пан Игнаций почувствовал себя глубоко обиженным; он поднялся с кресла, насупил брови и уже раскрыл было рот, чтобы дать волю своему возмущению, но Вокульский исчез из магазина, даже не взглянув на него.

И, конечно, пану Игнацию пришлось пойти в театр, чтобы не огорчить Стаха.

В театре пана Игнация ждало множество всяких злоключений. С первого же шага он сделал оплошность, поднявшись на галерку, куда он хаживал в доброе старое время. Там капельдинер указал ему, что билет у него в первый ряд партера. Взгляд, которым он окинул пана Жецкого, свидетельствовал о том, что темно-зеленый сюртук, альбом под мышкой и физиономия а la Наполеон III показались весьма подозрительными низшим театральным властям.

Пан Игнаций со сконфуженным видом спустился в главный вестибюль, прижимая локтем альбом и кланяясь всем дамам, мимо которых имел честь проходить. Столь необычная для варшавской публики любезность уже в вестибюле привлекла всеобщее внимание. Кругом стали спрашивать: кто это? Никто не мог догадаться, что это за фигура, но не было ни одного человека, который не дивился бы ее облачению: цилиндр десятилетней давности, галстук - немногим новее, а темно-зеленый сюртук в паре с узкими клетчатыми брюками относились к еще более ранней эпохе. Все принимали его за иностранца, но когда он обратился к швейцару с вопросом: "Как пройти в партер?" - кругом раздался смех.

- Наверное, какой-нибудь волынский помещик, - переговаривались франты. - А что у него под мышкой?

- Может, пирог с капустой, а может, резиновая подушка...

Наконец пан Игнаций, ежась под градом насмешек и обливаясь холодным потом, добрался до вожделенного партера. Был восьмой час, публика только начинала собираться: изредка кто-нибудь входил в партер и, не снимая шляпы, садился на свое место; ложи еще пустовали, и только на балконах было черно от людей, а на галерке уже переругивались и требовали полицию.

- Насколько я могу судить, зрелище будет весьма оживленное, - с вымученной улыбкой пробормотал бедный пан Игнаций, усаживаясь в первом ряду.

Сначала он устался на дырку в правой стороне занавеса и дал себе клятву не отводить от нее глаз. Однако через несколько минут волнение его улеглось, и он так расхрабрился, что даже стал поглядывать вокруг. Зал показался ему маловат и грязноват, он задумался над

причиной этих перемен и только тогда вспомнил, что последний раз был в театре на "Гальке" с участием Добрского{353} лет шестнадцать назад.

Между тем зал понемногу наполнялся, и при виде очаровательных женщин, появившихся в ложах, пан Игнаций совсем приободрился. Он даже вынул из кармана небольшой бинокль и стал разглядывать публику, но при этом сделал печальное открытие: его тоже разглядывали - из задних рядов партера, из амфитеатра, даже из лож. Когда же он переключил свое внимание со зрения на слух, то уловил следующие фразы, носившиеся вокруг него, словно осы:

- Что это за чудак?
- Какой-то провинциал.
- И где это он выкопал такой сюртук?
- Вы только поглядите на его брелоки! Умора!
- И кто сейчас носит такую прическу?

Еще немного, и пан Игнаций, бросив альбом и цилиндр, убежал бы из театра с непокрытой головой. К счастью, он заметил в восьмом ряду знакомого фабриканта-кондитера, который в ответ на его поклон поднялся с места и прошел в первый ряд.

- Ради бога, пан Пифке, - шепотом взмолился пан Игнаций, обливаясь холодным потом, - садитесь на мое место и уступите мне ваше...

- С величайшей охотой! - громко ответил краснощекий кондитер. - А что, вам тут неудобно? Прекрасное место!

- Прекрасное. Но я предпочитаю сидеть дальше... Тут жарко...

- Там тоже, но я могу пересесть. А что у вас за пакет?

Только сейчас пан Игнаций вспомнил о своем обязательстве.

- Понимаете ли, дорогой пан Пифке... Один поклонник этого... этого Росси...

- О! Кто же не преклоняется перед Росси! - отвечал Пифке. - У меня есть либретто "Макбета", хотите?

- Спасибо. Так вот этот поклонник, понимаете ли, купил у нас дорогой альбом и просил после третьего акта вручить его Росси...

- С удовольствием исполню! - воскликнул тучный Пифке, втискиваясь в кресло Жецкого.

Пан Игнаций пережил еще несколько неприятных минут. Сначала ему пришлось обойти весь первый ряд, где изящные щеголи с насмешливой улыбкой разглядывали его сюртук, галстук и бархатную жилетку. Потом он стал пробираться на свое место в восьмом ряду; там, правда, никто не смотрел с насмешкой на его костюм, зато то и дело ему приходилось прикасаться к коленям сидевших дам.

- Тысяча извинений, - сконфуженно бормотал пан Игнаций, - но, право, в такой давке...

- Но-но, зачем такие выражения? - отозвалась одна из дам со слегка подведенными глазами; однако в ее взгляде пан Игнаций не заметил возмущения своим поступком. Все же он был крайне смущен и охотно пошел бы на исповедь, чтобы очистить душу после упомянутых прикосновений.

Наконец он разыскал свое кресло и с облегчением перевел дух. Здесь по крайней мере на него не обращали внимания, отчасти потому, что место было скромное, отчасти же по той причине, что театр был уже полон и началось представление.

Вначале игра артистов его не занимала, он озирался по сторонам, и сразу же ему попался на глаза Вокульский. Тот сидел в четвертом ряду, но глядел отнюдь не на Росси, а на ложу, которую занимали панна Изабелла, пан Томаш и графиня. Как-то раз или два пану Жецкому довелось видеть замagnetизированных людей, - в лице Вокульского ему почудилось точь-в-точь такое же выражение, точно эта ложа magnetизировала его. Он сидел не шевелясь, словно скованный сном, с широко раскрытыми глазами.

Однако кто же так околдовал Вокульского? Пан Игнаций не мог догадаться. Но он заметил другое: когда Росси не было на сцене, панна Изабелла равнодушно осматривала зал или разговаривала с теткой; но едва появлялся Макбет-Росси, она подносила веер к лицу и чудесными мечтательными глазами впивалась в актера. Иногда веер из белых перьев опускался на колени панны Изабеллы, и тогда Жецкий наблюдал на ее лице то же выражение магнетического сна, которое так поразило его в Вокульском.

Он заметил еще многое другое. В минуты, когда прекрасное лицо панны Изабеллы выражало высшую степень восторга, Вокульский поднимал руку и потирал себе темя. И тотчас, как по команде, с балконов и галерки раздавались бурные аплодисменты и оглушительные выкрики: "Браво, браво, Росси!" Пану Игнацию даже почудился среди этого хора осипший голос инкассатора Обермана, который первым начинал реветь и умолкал последним.

"Что за черт! - подумал он. - Неужели Вокульский дирижирует клакой?"

Но он тут же отогнал от себя это несправедливое подозрение. Росси действительно играл замечательно, и все аплодировали ему с одинаковым жаром. А более всех бесновался жизнерадостный кондитер, пан Пифке, и, согласно уговору, после третьего акта с превеликой помпой преподнес Росси альбом.

Великий актер даже не кивнул в ответ головой, зато отвесил глубокий поклон в сторону ложи, где сидела панна Изабелла, - впрочем, может быть, просто в ту сторону.

"Пустые страхи! - думал пан Игнаций, выходя из театра по окончании спектакля. - Не так-то уж глуп мой Стах!.."

В конце концов пан Игнаций не жалел, что пошел в театр. Игра Росси ему понравилась: некоторые сцены, как, например, убийство короля Дункана или появление духа Банко, произвели на него весьма сильное впечатление, а увидев, как Макбет дерется на рапирах, он был окончательно покорен.

Поэтому, выходя из театра, он уже не сердился на Вокульского, напротив - даже склонен был подозревать, что его милый Стах хотел доставить ему удовольствие и лишь с этой целью придумал комедию с подношением подарка Росси.

"Стах-то знает, что я только по принуждению мог пойти в итальянский театр... Ну, и отлично получилось. Этот тип великолепно играет, надо будет посмотреть его еще раз... В конце концов, - прибавил он, подумав, - если у человека столько денег, сколько у Стаха, он может делать подарки актерам. Правда, я бы предпочел какую-нибудь стройненькую актрису, но... я человек иной эпохи, недаром меня называют бонапартистом и романтиком..."

Так рассуждал он, бормоча себе под нос, но при этом его донимала другая мысль, которую он хотел заглушить: "Почему Стах так странно смотрел на ложу, где сидели графиня, пан Ленцкий и панна Ленцкая? Неужели... Ах, вздор!.. Вокульский достаточно умен, чтобы понимать, что из этого ничего не выйдет... Ребенок и тот бы сразу сообразил, что эта

барышня (вообще-то она холодна как лед) сейчас без ума от Росси. Как она засматривалась на него... иной раз прямо до неприличия, и где? - в театре, в присутствии тысячи людей!.. Нет, это чужь. Справедливо называют меня романтиком..."

И пан Игнаций снова пытался думать о чем-нибудь другом. Он даже (несмотря на позднюю пору) зашел в ресторацию, где играл оркестр, состоящий из скрипки, рояля и арфы. Съел порцию жаркого с картофелем и капустой, выпил кружку пива, потом вторую... потом третью, четвертую... и даже седьмую. На него нашло веселое настроение, он бросил на тарелку арфистке два двугривенных и стал потихоньку подпевать ей. Потом ему пришло в голову, что он непременно должен представиться четырем немцам, которые за столиком в уголке ели грудинку с горохом.

"А с какой стати я буду им представляться? Пусть сами представляются мне", - думал пан Игнаций.

И он уже не мог отделаться от мысли, что эти господа просто обязаны ему представиться - и как старшему и как бывшему офицеру венгерской пехоты, которая изрядно колошматила немцев. Он даже кликнул официантку, чтобы послать ее к упомянутым господам, уписывавшим грудинку с горохом, как вдруг оркестр, состоявший из скрипки, рояля и арфы, заиграл... "Марсельезу".

Пан Игнаций вспомнил Венгрию, пехоту, Августа Каца и, чувствуя, что глаза его застилают слезы и он вот-вот расплачется, схватил свой цилиндр, бывший в моде во времена, предшествовавшие франко-прусской войне, швырнул на стол рубль и выбежал из ресторации.

Только на улице, когда его обдало свежим воздухом, он спросил, прислонясь к газовому фонарю:

- Черт возьми, неужели я пьян? Еще бы! Семь кружек...

Он отправился домой, стараясь идти возможно прямее, и впервые в жизни имел случай убедиться, что варшавские тротуары чрезвычайно неровны: поминутно его бросало то к стенам домов, то к мостовой. Потом (чтобы уверить себя, что его умственные способности находятся в блестящем состоянии) он принялся считать звезды на небе.

- Раз... два... три... семь... семь... Что такое семь? Ах да, семь кружек пива... Неужто я и вправду?.. Зачем Стах послал меня в театр?

Свой дом он нашел быстро и сразу нащупал звонок. Однако, позвонив к дворнику целых семь раз, он почувствовал потребность прислониться к стене и заодно решил сосчитать (без всякой надобности, просто так), через сколько минут дворник откроет ему. С этой целью он достал часы с секундомером и убедился, что уже половина второго.

- Подлец дворник! - проворчал он. - Мне вставать в шесть утра, а он до половины второго держит меня на улице...

К счастью, дворник тут же отпер калитку, и пан Игнаций вполне твердым шагом - даже более чем твердым, прямо-таки сверхтвердым шагом - прошел подворотню, чувствуя, что цилиндр его чуточку съехал набекрень, совсем чуточку. Затем, без всяких затруднений найдя свою дверь, он несколько раз тщетно пытался вставить ключ в замочную скважину. Он явственно чувствовал под пальцами дырку, сжимал ключ изо всей силы - и все-таки не мог попасть.

"Неужто я и впрямь?.."

Как раз в эту минуту дверь отворилась, и одноглазый пудель Ир, не поднимаясь с подстилки,

громко тьякнул:

- Да! Да!..

- Замолчи, подлая тварь! - пробормотал пан Игнаций и, не зажигая лампы, разделся и лег.

Его мучили страшные сны. Снилось ему, а может, мерещилось, что он все еще в театре и видит Вокульского с широко раскрытыми глазами, неподвижно устремленными на некую ложу. В этой ложе сидят графиня, пан Ленцкий и панна Изабелла. И Жецкому кажется, что Вокульский смотрит на панну Изабеллу.

- Невероятно! - шепнул он. - Не так-то уж глуп мой Стах!..

Между тем (все это во сне) панна Изабелла поднялась и вышла из ложи, а Вокульский - за нею, по-прежнему не сводя с нее взгляда, словно намагнетизированный. Панна Изабелла вышла на улицу, пересекла Театральную площадь и легко взбежала на башню ратуши, а Вокульский - за нею, по-прежнему не спуская с нее глаз. А потом панна Изабелла, как птица, вспорхнула с башни и перелетела на крышу театра, а Вокульский метнулся вслед за ней и рухнул на землю с высоты девятого этажа...

- Иисусе! Мария... - вскрикнул Жецкий, срываясь с постели.

- Да! Да!.. - отозвался сквозь сон Ир.

- Ну, видно, я таки вдрызг пьян! - пробормотал пан Игнаций, снова укладываясь и нетерпеливо натягивая одеяло на свое дрожащее тело. Но дрожь не унималась.

Несколько минут он лежал с открытыми глазами, и снова ему стало мерещиться, что он в театре: как раз кончился третий акт, и кондитер Пифке должен преподнести Росси альбом с видами Варшавы и фотографиями ее красавиц. Пан Игнаций смотрит во все глаза (ведь Пифке заменяет его), он смотрит во все глаза и, к своему величайшему ужасу, видит, что бессовестный Пифке подает итальянцу не дорогой альбом, а какой-то пакет, завернутый в бумагу и небрежно завязанный бечевкой.

Далее пан Игнаций видит кое-что похуже. Итальянец насмешливо улыбается, развязывает бечевку, разворачивает бумагу - и глазам панны Изабеллы, Вокульского, графини и тысячи зрителей предстают желтые нанковые штаны со штрипками, те самые штаны, которые пан Игнаций носил в эпоху прославленной севастопольской кампании!

В довершение скандала подлый Пифке орет: "Вот дар пана Станислава Вокульского, коммерсанта, и пана Игнация Жецкого, его управляющего!" Весь зал хохочет, все глаза и все указательные пальцы обращаются к восьмому ряду партера, где сидит пан Игнаций. Несчастный хочет протестовать, но слова застревают у него в горле, и тут в довершение всех бедствий он проваливается в какую-то бездну. Его поглощает неизмеримый и необъятный океан небытия, где он осужден пребывать до скончания веков, так и не объяснив зрителям, что нанковые штаны со штрипками предательски похищены из коллекции его личных сувениров. После этой кошмарной ночи Жецкий проснулся только без четверти семь. Он смотрел на часы и не верил собственным глазам, однако в конце концов пришлось поверить. Поверил он даже тому, что вчера был немножко навеселе, о чем, впрочем, красноречиво свидетельствовали головная боль и некоторая вялость во всем теле.

Однако больше всех этих болезненных явлений тревожил пана Игнация один ужасный симптом, а именно: ему не хотелось идти в магазин!.. Хуже того - он ощущал не только лень, но и полное отсутствие самолюбия: вместо того чтобы устыдиться своего падения и побороть в себе праздность, он, Жецкий, старался выискать любой предлог, чтобы подольше оставаться дома!

То ему показалось, будто Ир заболел, то будто заржавела его двустволка, из которой никогда не стреляли. Потом он обнаружил какой-то изъян в зеленой занавеске на окне и, наконец, нашел, что чай слишком горяч, и пил его медленнее, чем обычно.

По всем этим причинам пан Игнаций опоздал в магазин на сорок минут и понурился, тихонько пробрался к своей конторке. Ему чудилось, что все служащие (а как назло, все сегодня пришли вовремя!) с величайшим презрением смотрят на синяки под его глазами, на землистый цвет лица и слегка дрожащие руки.

"Они еще, пожалуй, подумают, что я предавался разврату!" - вздохнул несчастный Жецкий.

Он достал бухгалтерские книги, обмакнул в чернильницу перо и сделал вид, будто занят счетами. Бедняга был уверен, что от него несет пивом, как из старой бочки, выброшенной из подвала, и вполне серьезно раздумывал, не следует ли ему после всех этих постыдных проступков просить об увольнении?

"Напился... поздно вернулся домой... поздно встал... на сорок минут опоздал в магазин..."

В эту минуту к нему подошел Клейн, держа в руках какое-то письмо.

- На конверте написано: "Весьма срочно" - поэтому я вскрыл его, сказал тщедушный приказчик, протягивая Жецкому почтовый листок.

Жецкий развернул его и прочел:

- "Глупый или подлый человек! Невзирая на предостережение твоих доброжелателей, ты все же покупаешь дом, который обратится в могилу твоего столь бесчестно нажитого состояния..."

Пан Игнаций глянул на последнюю строчку, но подписи не нашел: письмо было анонимное. Посмотрел на конверт - он был адресован Вокульскому. Он продолжал читать:

- "Какой же злой рок велел тебе встать на пути некоей благородной дамы? Ты чуть не убил ее мужа, а теперь собираешься лишиться ее дома, в котором умерла ее незабвенная дочь! Зачем ты делаешь это? Зачем понадобилось тебе, если это правда, платить девяносто тысяч рублей за дом, который не стоит и семидесяти? Это тайна твоей черной души, но когда-нибудь перст божий ее раскроет, а честные люди клеймят презрением.

Итак, одумайся, пока не поздно. Не губи души своей и состояния и не отравляй жизнь благородной даме, которая неутешно скорбит об утрате дочери и единственную отраду находит в том, что просиживает целые дни в комнате, где ее несчастное дитя отдало богу душу. Опомнись, заклинаю.

Твоя доброжелательница..."

Прочитав письмо, пан Игнаций покачал головой.

- Ничего не понимаю, - сказал он. - Только весьма сомневаюсь в доброжелательности этой дамы.

Клейн опасливо оглянулся по сторонам и, убедившись, что никто их не слышит, зашептал:

- Дело в том, что хозяин покупает дом Ленцкого, который по требованию кредиторов завтра продается с торгов.

- Стах... то есть... пан Вокульский покупает дом?..

- Да, да... - утвердительно закивал Клейн. - Но покупает не на свое имя, а на имя старика Шлангбаума... По крайней мере так говорят жильцы ведь я живу в этом доме...

- За девяносто тысяч?

- Вот именно. А баронесса Кшешовская тоже хочет купить этот дом, только за семьдесят тысяч, вот я и думаю, что письмо писала она, потому что баба эта - сущий дьявол...

В магазин вошел покупатель, потребовавший зонтик, и отвлек Клейна. У пана Игнация замелькали в уме престранные мысли:

"Если я, потратив впустую один вечер, произвел такое смятение в магазине, то подумать только - до чего мы докатимся, когда Стась целые дни и недели тратит на итальянский театр и бог весть на что еще?"

Однако он тут же должен был признать, что по его вине в магазине не произошло, собственно, особого расстройства, да и вообще торговые дела идут превосходно. Он признал также, что и сам Вокульский, ведя столь странный образ жизни, не забывает об обязанностях главы предприятия.

"Но зачем ему понадобилось хоронить в мертвых стенах капитал в девяносто тысяч рублей?.. И к чему тут опять эти Ленцкие? Неужели же... Э! Не так-то уж глуп мой Стасек..."

Тем не менее мысль о покупке дома продолжала его беспокоить.

- Спрошу-ка я у Генрика Шлангбаума, - сказал он, вставая из-за конторки.

В отделе тканей маленький сгорбленный Шлангбаум, моргая красными веками и озабоченно поглядывая вокруг, вертелся вьюном между полками, то вскакивая на лесенку, то с головой исчезая среди кусков ситца. Он так свыкся с непрерывной суетой, что, хотя покупателей в эту минуту не было, то и дело вытаскивал какой-нибудь кусок материи, разворачивал его, опять сворачивал и клал на место.

Увидев пана Игнация, Шлангбаум прекратил свой бесцельный труд и утер пот, выступивший на лбу.

- Нелегко, а? - сказал он.

- Да зачем же вы перекладываете это тряпье, когда нет покупателей? спросил Жецкий.

- Как же иначе! Если этого не делать, то еще позабудешь, где что лежит... Ноги и руки одеревенеют... да и привык я... У вас ко мне дело?

Жецкий смешался:

- Нет... я просто хотел посмотреть, как у вас тут... - ответил он, покраснев, насколько это было возможно в его возрасте.

"Неужели он тоже не доверяет мне и выслеживает?.. - мелькнуло в уме у Шлангбаума, и в нем закипел гнев. - Да, прав отец... Сейчас все травят евреев. Скоро придется отпустить пейсы и надеть ермолку..."

"Он что-то знает!.." - подумал Жецкий и сказал вслух:

- Кажется... кажется, ваш уважаемый родитель завтра покупает дом... дом Ленцкого?

- Мне об этом ничего не известно, - ответил Шлангбаум, отводя глаза. А про себя добавил: "Мой старик покупает дом для Вокульского, а они думают и наверняка говорят между собой:

"Вот видите, опять еврей-ростовщик разорил католика, знатного господина".

"Он что-то знает, но держит язык за зубами, - думал пан Жецкий. Известное дело, еврей..."

Он еще немного помешкал, что Шлангбаум принял за новое доказательство подозрительности и выслеживания, и, вздыхая, вернулся к себе.

"Ужасно, что Стах доверяет евреям больше, чем мне... Однако зачем же он покупает этот дом, зачем связывается с Ленцким? А может быть, не покупает? Может быть, это сплетни..."

Его так пугала мысль, что Вокульский вложит в недвижимость девяносто тысяч наличными, что он весь день не мог ни о чем другом думать. Был момент, когда он хотел напрямик спросить Вокульского, но у него не хватило духу.

"Стах, - говорил он себе, - сейчас водит компанию только с важными господами и доверяет евреям. Что ему старый Жецкий!"

Поэтому он решил завтра пойти на торги и посмотреть, действительно ли старик Шлангбаум купит дом Ленцких и действительно ли, как говорил Клейн, набьет цену до девяноста тысяч. Если да, значит и все остальное правда.

Днем в магазин заглянул Вокульский. Он заговорил с Жецким о вчерашнем спектакле и все допытывался, почему тот сбежал из первого ряда и альбом для Росси передал Пифке. Но пана Игнация терзало такое множество сомнений, в душе его накалилась такая обида на дорогого Стаха, что в ответ он только невнятно бормотал что-то и хмурился. Вокульский тоже замолчал и ушел из магазина с затаенной горечью.

"Все от меня отворачиваются, - думал он. - Даже Игнаций!.. Но ты вознаградишь меня за все..." - прибавил он уже на улице, глядя в сторону Уяздовских Аллей.

После ухода Вокульского Жецкий осторожно выпытал у служащих, где и в котором часу продаются с торгов дома. Потом упросил Лисецкого заменить его завтра с десяти до двух часов дня и с удвоенным рвением принялся за счеты. Он машинально (но без ошибок) складывал столбцы цифр, длинные, как улица Новы Свят, а в перерывах думал:

"Сегодня потратил впустую почти час рабочего времени, завтра уйдет пять часов, и все потому, что Стах доверяет Шлангбаумам больше, чем мне... Зачем ему дом? Какого черта он путается с банкротом Ленцким? Что за фантазия пришла ему в голову таскаться в итальянский театр да еще делать дорогие подарки этому проходимцу Росси?"

Он просидел за конторкой, не разгибая спины, до шести часов и так углубился в работу, что не подходил в тот день к кассе принимать деньги и вообще не замечал, что творится вокруг, хотя магазин был полон покупателей, которые толпились и гудели, словно огромный улей. Не заметил он и того, как появился в магазине совсем нежданный гость, которого приказчики встретили восклицаниями и звучными поцелуями.

Только когда приезжий наклонился к нему и крикнул в самое ухо: "Пан Игнаций! Это я!" - Жецкий очнулся, поднял кверху голову, глаза и брови - и увидел Мрачевского.

- А?... - спросил он, вглядываясь в молодого щеголя, который загорел, возмужал, а главное - потолстел.

- Ну, как... что слышно? - продолжал пан Игнаций, подавая ему руку. Что в политике?

- Ничего нового, - отвечал Мрачевский. - Конгресс в Берлине делает свое дело, австрийцы заберут Боснию.

- Ну-ну-ну... пустое, пустое! А что слышно о молодом Наполеоне?
- Учится в Англии в военной школе и, как говорят, влюблен в какую-то актрису...
- Так уж сразу и влюблен! - саркастически повторил пан Игнаций. - А во Францию не возвращается?.. Да как вы сами-то поживаете? Откуда сейчас? Ну, рассказывайте скорей! - воскликнул Жецкий, весело хлопая его по плечу. Когда приехали?
- Ах, это целая история! - отвечал Мрачевский, бросаясь в кресло. - Мы с Сузиным приехали сегодня в одиннадцать утра... С часу до трех были у Вокульского, потом я забежал на минутку к мамаше и на минутку к пани Ставской... Роскошная женщина, а?
- Ставская?.. Ставская... - старался вспомнить Жецкий, потирая лоб рукой.
- Да ведь вы ее знаете... Красавица с дочуркой... Она вам еще так нравилась.
- Ах, эта!.. Знаю... Не то чтобы она мне понравилась, - вздохнул Жецкий, - а я думал, что хорошо бы женить на ней Стаха...
- Вы просто великолепны! - расхохотался Мрачевский. - Да она замужем...
- Замужем?
- Разумеется. И фамилия громкая: четыре года назад ее муж, бедняга, бежал за границу, потому что его обвинили в убийстве какой-то...
- А-а! Помню!.. Так это он? Почему же он не вернулся? Ведь выяснилось, что он не виновен?
- Конечно, не виновен, - подхватил Мрачевский. - Но о нем, как улизнул он тогда в Америку, так с тех пор ни слуху ни духу. Наверное, пропал, бедняга, а она осталась одна - ни девушка, ни вдова... Ужасная судьба! Содержать дом вышиванием, игрой на рояле и уроками английского языка... Работать с утра до ночи... и вдобавок - жить без мужа... Бедные женщины! Мы с вами, пан Игнаций, не выдержали бы так долго целомудренной жизни, а?.. Ах, старый безумец!
- Кто безумец? - спросил Жецкий, ошарашенный внезапным переходом.
- Да кто ж, как не Вокульский! - отвечал Мрачевский. - Сузин едет в Париж закупать огромные партии товара и хочет во что бы то ни стало взять его с собой. Дорога старику не стоила бы ни гроша, жил бы по-княжески, потому что Сузин чем дальше уезжает от жены, тем становится щедрей... Эх! Да еще заработал бы добрых тысяч десять.
- Стах... то есть наш хозяин заработал бы десять тысяч? - переспросил Жецкий.
- Непременно. Да что ж поделаешь, если он совсем одурел.
- Ну-ну, пан Мрачевский! - строго осадил его Игнаций.
- Честное слово, одурел! Я же знаю, он все равно поедет на Парижскую выставку, и очень скоро...
- Верно.
- Так не лучше ли ехать с Сузиным, не потратив ни гроша да еще заработать? Сузин уламывал его битых два часа: "Поезжай со мной, Станислав Петрович!" Просил, кланялся - ни в какую. Вокульский свое: "Нет и нет!" Уверял, что у него тут какие-то дела...
- Ну, дела... - вступился Жецкий.

- Да, да, дела! - передразнил его Мрачевский. - Первейшее дело для него - не обидеть Сузина; тот помог ему нажать состояние, дает огромный кредит и не раз говорил мне, что не успокоится до тех пор, пока Станислав Петрович не сколотит хоть миллион рублей... И такому другу отказать в мелкой услуге, которая к тому же окупится сторицей! - кипятился Мрачевский.

Пан Игнаций хотел было что-то сказать, но тут же прикусил язык. Еще минута - и он бы проболтался, что Вокульский покупает дом Ленцких и посылает Росси дорогие подарки.

К конторке подошли Клейн и Лисецкий. Мрачевский, увидев, что они не заняты, заговорил с ними, и пан Игнаций опять остался один со своими счетами.

"Беда! - думал он. - Почему Стах не хочет даром ехать в Париж и, главное, восстанавливает против себя Сузина? Какой же злой дух спутал его с Ленцкими? Неужели?.. Э! Ведь не так уж он глуп... Нет, что ни говори, жаль этой поездки и десяти тысяч рублей... Боже мой! Как люди меняются..."

Он опустил голову и, водя пальцем по странице сверху вниз и снизу вверх, продолжал складывать столбцы цифр, длинные, как улицы Краковское Предместье и Новы Свят, вместе взятые. Он складывал цифры без единой ошибки, даже напевая что-то себе под нос, и в то же время размышлял о том, что его Стах роковым образом скатывается по наклонной плоскости.

"Ничего не поделаешь, - шептал ему тайный голос из глубины души, ничего не поделаешь!.. Стах ввязался в крупную авантюру... и наверняка политическую... Такой человек, как он, не станет сходить с ума из-за женщины, будь она даже эта самая панна... Ох, черт, ошибка! Он отказывается, пренебрегает десятью тысячами - и это Стах, которому восемь лет назад приходилось занимать у меня по десятке в месяц, чтобы как-нибудь перебиться... А сегодня он бросает десять тысяч кошке под хвост, ухлопывает девяносто тысяч на дом, делает актерам пятидесятирублевые подарки... Ей-богу, ничего не понимаю! И это - позитивист, реально мыслящий человек... Меня называют старым романтиком, но я бы таких глупостей не выкидывал... Впрочем, если он залез в политику..."

В этих размышлениях пан Игнаций провел время до закрытия магазина. Голова у него все еще побаливала, и он пошел прогуляться на Новы Зъязд, а вернувшись домой, скоро лег спать.

"Завтра, - сказал он себе, - завтра я наконец узнаю правду. Если Шлангбаум купит дом Ленцкого и заплатит девяносто тысяч рублей, значит он действительно подставное лицо, и тогда Стах человек пропащий... А может быть, Стах вовсе и не покупает дом и все это сплетни?"

Он уснул и во сне увидел высокий дом и в одном из окон панну Изабеллу; сам он стоит на улице, а рядом Вокульский, который рвется к ней. Пан Игнаций держит его изо всех сил, обливаясь потом от напряжения, но напрасно: Вокульский вырывается и исчезает в подъезде дома. "Стах, вернись!" - кричит пан Игнаций; он видит, что дом начинает шататься.

И вот дом рушится. Улыбающаяся панна Изабелла выпархивает оттуда, как птичка, а Вокульского не видно...

"Может быть, он убежал во двор и спасся?" - думает пан Игнаций и просыпается с сильным сердцебиением.

Наутро пан Игнаций открывает глаза около шести часов, вспоминает, что сегодня продают с торгов дом Ленцкого, затем, что он собрался посмотреть на это зрелище, и выскакивает из постели, словно пружина. Бежит босиком к большому тазу, окатывается холодной водой и,

разглядывая свои тонкие, как палки, ноги, бормочет:

- Кажется, я немного потолстел.

Во время сложной процедуры умывания пан Игнаций производит сегодня такой грохот, что просыпается Ир. Грязный пудель открывает свой единственный глаз и, по-видимому, заметив необычное оживление хозяина, спрыгивает с сундука на пол.

Он почесывается, зеваает, вытягивает назад сперва одну лапу, потом другую, потом на минутку садится у окна, за которым слышится душераздирающий вопль недорезанной курицы, наконец, сообразив, что, в сущности, ничего не случилось, возвращается на свою подстилку. Из предосторожности, а может быть, из обиды за ложную тревогу, он поворачивается к хозяину спиной, а носом и хвостом к стене, словно желая сказать пану Игнацию: "Глаза бы мои не глядели на твою худобу!"

В два счета Жецкий одет, с молниеносной быстротой выпивает чай, не глядя ни на самовар, ни на слугу, который его принес. Потом бежит в магазин, три часа подряд сидит над счетами, не обращая внимания на покупателей и болтовню служащих, и ровно в десять говорит Лисецкому:

- Пан Лисецкий, я вернусь в два...

- Светопреставление! - ворчит Лисецкий. - Видно, стряслось что-то сверхъестественное, если уж этот тюфяк отправляется в город в такое время...

На улице пана Игнация вдруг обуревают угрызения совести.

"Что я выкидываю сегодня? Ну, какое мне дело до продажи дворцов, а не то что обыкновенных домов?"

И он колеблется: идти ли на торги или вернуться на работу? Но в эту минуту мимо него проезжает пролетка, а в ней он видит высокую, худую, изможденную даму в черном костюме. Она смотрит на их магазин, и в ее глубоко запавших глазах и на посиневших губах Жецкий читает смертельную ненависть.

- Ей-богу, это баронесса Кшешовская! - шепчет пан Игнаций. - Конечно, она едет на аукцион... Ну и дела!

Однако он все еще сомневается. "Кто знает, может, она едет вовсе не туда, может быть, все это сплетни? Стоило бы проверить", - думает пан Игнаций, забывая о своих обязанностях управляющего и самого старого в магазине приказчика, и направляется вслед за пролеткой. Тощие лошади еле плетутся, так что пан Игнаций имеет возможность наблюдать за пролеткой на протяжении всего пути до колонны Зыгмунта. В этом месте извозчик сворачивает влево, а Жецкий думает:

"Ну конечно же баба едет на Медовую. Ехала бы на метле - дешевле бы обошлось".

Пан Игнаций проходит через двор дома Резлера, напомнивший ему давешний разгул, и по Сенаторской улице выходит на Медовую. По дороге он заглядывает в чайный магазин Новицкого, здоровается с хозяином и спешит дальше, бормоча:

- Что он подумает, увидев меня в этот час на улице? Подумает - вот никудышный управляющий, который шатается по городу, вместо того чтобы сидеть в магазине... О, судьба, судьба!

Весь остаток пути его терзают угрызения совести. Они принимают образ бородатого великана в желтом атласном балахоне и таких же штанах, который с добродушной насмешкой смотрит

ему в глаза, говоря:

"Скажите-ка, сударь мой, где это видано, чтобы порядочный купец об эту пору таскался по улицам? Вы, пан Жецкий, такой же купец, как я балетный танцор..."

И пан Игнаций ничего не может возразить своему суровому судье. Он краснеет, потеет и уж готов вернуться к своим счетам (постаравшись, чтобы это увидел Новицкий), как вдруг замечает, что стоит перед бывшим дворцом Паца, ныне зданием суда.

- Здесь будут торги! - говорит пан Игнаций, и угрызения совести моментально улетучиваются. Воображаемый бородатый великан в желтом балахоне расплывается, как утренний туман.

Подойдя поближе, пан Игнаций прежде всего замечает, что к зданию ведут двое огромных ворот и два подъезда. Затем он видит группы одетых в черное евреев с весьма серьезными физиономиями. Пан Игнаций не знает куда идти, однако направляется к тем дверям, перед которыми толпится больше всего евреев, сообразив, что именно там будут происходить торги.

В ту же минуту к зданию суда подъезжает экипаж: пан Ленцкий! Жецкий невольно преисполняется уважения к его седым усам, а также изумления перед его самодовольным видом. Нет, пан Ленцкий совсем не похож на банкрота, дом которого продают с молотка, - скорей на миллионера, который приехал к нотариусу, чтобы получить пустячную сумму в сто с чем-нибудь тысяч рублей.

Ленцкий с важностью высаживается из экипажа, торжественным шагом приближается к дверям суда, и в тот же миг с другой стороны улицы к нему подбегает некий джентльмен, по всем признакам бездельник, который оказался, однако, адвокатом. Небрежно поздоровавшись с ним, Ленцкий бегло спрашивает:

- Ну? Когда же?

- Через часок... может быть, чуть-чуть побольше... - отвечает джентльмен.

- Представьте себе, - говорит Ленцкий с благодушной улыбкой, - неделю назад один мой знакомый получил за свой дом двести тысяч рублей наличными, а ему он обошелся в полтораста тысяч. Мне мой стоил сто тысяч, следовательно я, надо полагать, получу за него уж никак не менее ста двадцати пяти...

- Гм! Гм! - бормочет адвокат.

- Вам покажется это смешным, - продолжает пан Томаш, - вы ведь не верите в предчувствия и сны, но мне сегодня приснилось, что мой дом пошел за сто двадцать тысяч... заметьте, я говорю вам это до торгов. Через несколько часов вы убедитесь, что не следует смеяться над снами... Есть многое на небе и земле..."{371}

- Гм!.. Гм!.. - отвечает адвокат, и оба входят в главный подъезд.

"Слава богу", - думает пан Игнаций. - Если пан Ленцкий получит за дом сто двадцать тысяч, значит Стах не заплатит за него девяносто тысяч!

Вдруг кто-то легонько трогает его за плечо. Пан Игнаций оглядывается и видит старика Шлангбаума.

- Вы не меня ищите? - спрашивает седовласый еврей, пристально глядя ему в глаза.

- Нет... нет... - смущенно отвечает пан Игнаций.

- У вас ко мне нет никакого дела? - повторяет старик, моргая красными веками.

- Нет, нет...

- Гит! - бормочет Шлангбаум и отходит к своим единоверцам.

Пан Игнаций холодеет: присутствие Шлангбаума снова будит в нем прежние подозрения. Чтобы рассеять их, он спрашивает у швейцара: где происходят торги? Швейцар указывает ему на лестницу.

Пан Игнаций взбегаёт вверх и попадает в какую-то залу. Ему бросается в глаза огромное количество иудеев, которые сосредоточенно слушают какого-то оратора. Жецкий догадывается, что сейчас выступает прокурор и что речь идет о крупном мошенничестве. В зале душно, слова прокурора заглушает долетающий с улицы грохот экипажей. Судьи дремлют, адвокат зеваёт, обвиняемый поглядывает на них с видом, изобличающим намерение провести за нос наивысшую судебную инстанцию, а иудеи глядят на него с сочувствием и внимательно вслушиваются в обвинительную речь. При особенно веских аргументах прокурора иные из них морщатся и издают протяжное "ай-вай!".

Пан Игнаций выходит из залы: не ради этого дела он пришел сюда.

Оказавшись снова на лестнице, пан Игнаций раздумывает, не подняться ли на третий этаж, и лицом к лицу сталкивается с баронессой Кшешовской; она спускается сверху в сопровождении какого-то скучающего господина, по виду учителя древних языков. Однако он оказывается адвокатом, о чем свидетельствует серебряный значок на лацкане его порядком поношенного фрака; серые брюки жреца правосудия так вытерты на коленках, словно владелец их, вместо того чтобы защищать интересы своих клиентов, непрерывно объяснялся в любви богине Фемиде.

- Если начнется только через час, - говорит плаксивым тоном Кшешовская, - я, пожалуй, схожу пока в костел Капуцинов... как вы думаете?..

- Не думаю, чтобы посещение Капуцинов повлияло на ход торгов, отвечает скучающий адвокат.

- Если бы вы, сударь, действительно хотели... если б похлопотали...

Адвокат в потертых брюках нетерпеливо машет рукой:

- Ах, милостивая государыня, я уже столько хлопотал из-за этих торгов, что имею право хоть сегодня немножко отдохнуть. К тому же через несколько минут мне предстоит выступить по делу об убийстве... Взгляните туда, вы видите этих красивых дам? Все они пришли послушать мою речь. Громкое дело!

- Так вы покидаете меня? - вскрикивает баронесса.

- Да нет, я буду... буду в зале, - прерывает адвокат, - буду на торгах, только дайте мне хоть несколько минут подумать о моем убийце...

И он убегает в какую-то дверь, приказав швейцару никого не пускать.

- О, боже! - восклицает баронесса. - Подлый убийца и тот находит защитника, а бедная одинокая женщина напрасно ищет человека, который бы вступился за ее честь, за ее спокойствие, за ее имущество...

Поскольку пан Игнаций не намерен быть этим человеком, он опрометью бросается вниз, расталкивая по пути молодых нарядных красавиц, которых привело сюда желание послушать

громкий процесс об убийстве. Это зрелище поинтересней театрального представления, ибо участники судебной драмы играют нисколько не хуже и, во всяком случае, правдивее, нежели профессиональные актеры.

На лестнице все еще раздаются причитания Кшешовской и смех молодых нарядных красавиц, жаждущих увидеть убийцу, окровавленную одежду, топор, которым он зарубил свою жертву, и обливающихся потом судей. Пан Игнаций выскочил из вестибюля, перебежал на другую сторону улицы и, юркнув в кондитерскую на углу Капитульной и Медовой, забился в самый темный уголок, где его не могла бы разыскать даже сама пани Кшешовская.

Заказав чашку шоколада со взбитыми сливками, он загораживается изорванной газетой и видит, что в этой тесной комнатухе нашелся еще более темный уголок, занятый неким представительным господином и каким-то сгорбленным евреем. Пан Игнаций решает про себя, что представительный господин - по меньшей мере граф, обладатель огромных поместий на Украине, а еврей - его торговый посредник; между тем он слышит следующий разговор:

- Послушайте, уважаемый, - говорит сгорбленный еврей, - только благодаря тому, что вас в Варшаве никто не знает, вы получите двадцать пять рублей. Иначе я не дал бы вам и десятки.

- И за это я целый час должен простоять на ногах в душном зале?!

- Что поделаешь, - продолжает еврей, - в наши годы стоять нелегко, но такие деньги тоже не валяются на улице... А репутация разве ничего не стоит? Ведь все будут говорить, что вы хотели купить дом за восемьдесят тысяч рублей!

- Ладно. Только двадцать пять рублей на стол.

- Боже упаси! - отвечает еврей. - Вы, сударь, получите на руки пять рублей, а двадцать пойдут в уплату несчастному Зелигу Купферману, который уже два года от вас ни гроша не имеет, хоть суд давно ему присудил...

Стукнув кулаком по мраморному столику, тучный господин хочет уйти. Но сгорбленный еврей хватает его за полу сюртука, снова усаживает и предлагает шесть рублей наличными.

После десятиминутного спора стороны сходятся наконец на восьми рублях, из коих семь - после торгов, а рубль немедленно. Еврей еще упирается, но важный барин разрешает его сомнения веским аргументом:

- Черт возьми, должен же я уплатить за чай и пирожные!

Еврей вздыхает, вытаскивает из засаленного кошелька самую рваную бумажку и, расправив ее, кладет на мраморный столик. Затем встает и ленивой походкой направляется к выходу, а пан Игнаций сквозь дырку в газете видит, что это старый Шлангбаум.

Пан Игнаций наскоро допивает свой шоколад и выбегает на улицу. Ему уже осточертели эти торги, от которых у него голова распухла, и он хочет как-нибудь скоротать остающееся время. Заметив, что костел Капуцинов открыт, он направляется туда, в полной уверенности, что в храме обретет наконец покой, приятную прохладу и, главное, не услышит ни слова о торгах.

Он входит в костел и действительно находит там тишину, и прохладу, и вдобавок покойника на катафалке, окруженном свечами, которые еще не горели, и цветами, которые уже не пахли. С некоторых пор пану Игнацию как-то неприятен вид гробов, поэтому он сворачивает налево и замечает коленапреклоненную женщину в черном платье. Это баронесса Кшешовская, смиренно поникшая головой; она бьет себя в грудь и поминутно подносит

платок к глазам.

"Наверное, она молится о том, чтобы дом Ленцкого пошел за шестьдесят тысяч рублей", - думает пан Игнаций. Однако поскольку созерцание пани Кшешовской его также ничуть не прельщает, он на цыпочках пятится назад и переходит на правую сторону костела.

Здесь оказались две женщины: одна вполголоса читает молитвы, другая спит. Больше никого... впрочем, за колонной скрывается мужчина среднего роста; несмотря на свою седину, он держится очень прямо, молитву шепчет с гордо поднятой головой.

Жецкий узнает в нем Ленцкого и думает:

"Ну, этот, наверное, молит бога, чтобы его дом пошел за сто двадцать тысяч..."

И поспешно выходит из храма, раздумывая о том, каким образом милосердный господь исполнит столь противоречивые просьбы.

Не обрета желанного покоя ни в кондитерской, ни в костеле, пан Игнаций в ожидании торгов расхаживает взад и вперед по улице, неподалеку от здания суда. При этом он очень смущен - ему кажется, что каждый встречный насмешливо смотрит на него, словно желая сказать: "Шел бы ты лучше, старый лентяй, к себе в магазин!" - а из каждой пролетки вот-вот выскочит кто-либо из приказчиков и сообщит ему, что магазин сгорел или потолок обвалился. Его обуревают сомнения: не махнуть ли рукой на торги и не вернуться ли к своей конторке и бухгалтерским книгам. Но вдруг до слуха его доносится отчаянный вопль.

Какой-то еврей высунулся из окна судебного зала и что-то крикнул своим единоверцам, которые тотчас всей гурьбой повалили к подъезду, напирая друг на друга и на случайных прохожих, толкаясь и нетерпеливо топоча ногами, словно вспугнутое стадо овец в тесном загоне.

"Ага, начались торги!" - догадывается пан Игнаций и вслед за ними идет наверх.

В эту минуту он чувствует, как кто-то сзади хватается его за плечо, оборачивается и видит того самого важного барина, который получил от Шлангбаума рубль в задаток. Представительный господин, по-видимому, очень спешит; пустив в ход локти и кулаки, он прокладывает себе дорогу среди плотно сбившейся массы тел и громко кричит:

- Прочь с дороги, паршивцы, я иду на торги!

Евреи, против обыкновения, расступаются и глядят на него с почтительным изумлением:

- Вот, должно быть, у кого много денег! - шепчет один из них своему соседу.

Пан Игнаций, неизмеримо менее отважный, чем представительный господин, не проталкивается вперед и отдается на милость либо немилость судьбы. Вокруг него смыкается поток иудеев. Прямо перед собой он видит засаленный ворот, грязный шарфик и еще более грязный затылок; за спиной кто-то дышит луком; справа чья-то седая борода колет его шею, а слева напористый локоть с такой силой врезается в руку, что она немеет.

Его мнут, толкают, дергают за пиджак. Кто-то хватается его за ногу, кто-то подбирается к карману, кто-то хлопает по спине. Наступает момент, когда пану Игнацию кажется, что вот-вот ему раздавят грудную клетку. Он возносит глаза к небу и видит, что стоит уже в дверях. Вот-вот его задавят... Вдруг впереди него образуется пустота, он тычется головой в чьи-то мягкие части, не слишком тщательно прикрытые полой сюртука, - и попадает в залу.

Наконец он переводит дух... Позади раздаются крики, ругань и время от времени увещевания швейцара:

- И чего вы, господа, лезете все разом? Скоты вы, господа, что ли?

"Никогда не думал, что так трудно попасть на аукцион..." - вздыхает пан Игнаций.

Он проходит через две залы, совершенно пустые - ни стула в уголке, ни гвоздика на стене. Эти залы служат как бы преддверием к одному из отделов правосудия, однако обе они светлы и веселы. В открытые окна потоком льются солнечные лучи, врывается горячий июльский ветер, насыщенный варшавской пылью. Пан Игнаций прислушивается к чириканью воробьев и непрерывному тархтению пролеток - и вдруг его охватывает странное ощущение дисгармонии.

"Разве мыслимо, - думает он, - чтобы в суде было пусто, как в нежилой квартире, и так светло и приятно?"

Ему кажется, что зарешеченные окна и серые, липкие от сырости стены, увешанные кандалами, были бы гораздо уместнее в этом здании, где людей приговаривают к пожизненному или временному заключению.

Но вот и зал, куда устремляются все иудеи и где сосредоточено главное действие - аукцион. Это помещение так обширно, что в нем свободно можно танцевать мазурку в сорок пар, если б не низкий барьер, разделяющий зал на две части: для публики и для администрации. В первой части расположилось несколько плетеных диванчиков, а во второй - возвышение, на нем большой стол в форме подковы, покрытый зеленым сукном. У стола пан Игнаций замечает трех сановников с цепями на шее и печатью сенаторской важности на лице: это судебные приставы. Перед каждым сановником лежит на столе груды документов о недвижимости, предназначенной к продаже, а между столом и барьером, так же как и за барьером, толпятся дельцы. Все они стоят, задрав головы, и взирают на приставов с таким сосредоточенным вниманием, что им могли бы позавидовать святые отшельники, вдохновенно созерцающие небесные знамения.

Несмотря на раскрытые окна, в зале носится аромат, напоминающий нечто среднее между гиацинтом и старой замазкой. Пан Игнаций догадывается, что этот запах испускают лапсердаки.

В зале довольно тихо, лишь время от времени с улицы доносится дребезжание пролеток. Приставы молчат, погрузившись в свои протоколы, участники торгов тоже молчат, уставясь на приставов; публика, разбившаяся на отдельные группы во второй половине зала, переговаривается, но негромко, не желая доверять свои секреты посторонним.

Тем громче раздаются стенания баронессы Кшешовской, которая, вцепившись в лацкан своего адвоката, быстро-быстро говорит, словно в бреду:

- Умоляю вас, не уходите!.. Ну... я дам вам все, что хотите...

- Пожалуйста, без угроз, баронесса! - отвечает адвокат.

- Что вы, я не угрожаю, но не покидайте меня! - патетически, но с искренним чувством восклицает баронесса.

- Я приду, когда начнутся торги, а сейчас мне нужно идти к моему убийце...

- Ах, так! Значит, вы больше сочувствуете подлому душегубу, чем покинутой женщине, чье имущество, честь и спокойствие...

Спасаясь от назойливой клиентки, жрец правосудия кидается прочь с такой быстротой, что его лоснящиеся на коленках брюки кажутся еще (более потрепанными, чем на самом деле). Баронесса хочет бежать за ним, но попадает в объятия некоего субъекта в темно-синих

очках, с физиономией церковного служки.

- Чего вы хотите, голубушка? - сладко вопрошает субъект в синих очках. - Какой же адвокат станет вам цену набивать на дом!.. Насчет этого обращайтесь ко мне... Дадите, сударыня, процентик с каждой тысячи рублей надбавки и двадцаточку на издержки...

Баронесса Кшешовская отшатывается и, откинувшись назад, точно актриса в трагической роли, отвечает одним только словом:

- Сатана!

Субъект в очках видит, что дал маху, и в замешательстве ретируется. В ту же минуту к нему подбегает другой субъект, с физиономией отъявленного прохвоста, и что-то шепчет, весьма живо жестикулируя. Пан Игнаций уверен, что сейчас эти господа подерутся; однако они расходятся самым мирным образом, а субъект с физиономией прохвоста направляется к Кшешовской и тихо говорит:

- Что же, баронесса, если дадите что-нибудь, мы не допустим и до семидесяти тысяч.

- Спаситель! - восклицает баронесса. - Перед тобою пострадавшая одинокая женщина, чье имущество, честь и спокойствие...

- Да что мне честь! - отвечает субъект с физиономией прохвоста. - Даете десять рублей задатка?

Они отходят в дальний угол зала и скрываются от пана Игнация за кучкой евреев. Там же стоит и старик Шлангбаум с каким-то молодым безбородым евреем.

Глядя на его бледное, изнуренное лицо, пан Игнаций решает, что юноша совсем недавно вступил в брачный союз. Старый Шлангбаум что-то толкует изнуренному юноше, а тот удивленно таращит глаза; но о чем толкует ему старик - пан Игнаций не может отгадать.

Он с досадой отворачивается и в нескольких шагах от себя замечает Ленцкого и его адвоката, который явно скучает и хочет улизнуть...

- Хорошо, пусть сто пятнадцать... ну, сто десять тысяч! - говорит Ленцкий. - Вы адвокат, вы должны знать, как воздействовать.

- Гм... гм... - отвечает адвокат, уныло поглядывая на дверь, - вы требуете слишком высокую цену... Сто двадцать тысяч за дом, который оценивали в шестьдесят.

- Но мне-то он обошелся в сто тысяч!

- Да... гм... гм... Вы, сударь, немножко переплатили...

- Так я и требую только сто десять тысяч... И мне кажется, что уж в этом случае вы обязаны мне помочь... Можно ведь как-то воздействовать, я не юрист и не знаю как, но...

- Гм... гм... - бормочет адвокат.

К счастью, один из его коллег (тоже облаченный во фрак с серебряным значком) вызывает его из зала. Минуту спустя к Ленцкому приближается субъект в синих очках, с физиономией служки и говорит:

- Чего вы хотите, ваше сиятельство? Какой же адвокат станет вам набивать цену на дом? Насчет этого обращайтесь ко мне. Дадите, граф, двадцаточку на издержки и процентик с каждой тысячи сверх шестидесяти...

Ленцкий смотрит на служку с невыразимым презрением; он даже прячет руки в карманы (что ему самому кажется странным) и отчеканивает:

- Я дам один процент с каждой тысячи сверх ста двадцати тысяч рублей...

Служка в синих очках кланяется, усиленно двигая при этом левой лопаткой, и отвечает:

- Извините, ваше сиятельство...

- Постой! - прерывает его Ленцкий. - Сверх ста десяти...

- Извините...

- Сверх ста...

- Извините...

- А, чтоб вас всех!.. Сколько же ты хочешь?

- Один процентик с суммы свыше семидесяти тысяч и двадцатку на издержки, - говорит служка, низко кланяясь.

- Возьмешь десятку? - спрашивает Ленцкий, багровея от гнева.

- Я и рубликом не побрезгую...

Ленцкий достает роскошный бумажник, вынимает из него целую пачку хрустящих десятирублевых и одну из них отдает служке, который кланяется до земли.

- Вот увидите, ваше сиятельство... - шепчет он.

Рядом с паном Игнацием стоят два еврея: один - высокий, смуглый, с иссиня-черной бородой, другой - лысый, с бакенбардами такой необычайной длины, что они лежат на лацканах его сюртука. Джентльмен с бакенбардами при виде десятирублевых Ленцкого усмехается и вполголоса говорит красавцу брюнету:

- Вы видите эти деньги и этого барина? А слышите, как шуршат десятички? Это они от радости, что меня увидели. Понимаете, пан Цинадер?

- Что, Ленцкий ваш клиент? - спрашивает красавец брюнет.

- Ну, а почему бы нет?

- А что он имеет?

- Он имеет... он имеет сестру в Кракове, которая, вы понимаете, отписала его дочке...

- А если она ничего ей не отписала?

Джентльмен с бакенбардами на мгновение оторопел.

- Только, пожалуйста, не болтайте таких глупостей! Почему бы сестре из Кракова не отписать им, если она больная?

- Я ничего не знаю, - отвечает красавец брюнет. (Пан Игнаций в душе признает, что еще никогда не видел такого красавца.)

- Но у него дочка, пан Цинадер... - беспокойно продолжает обладатель пышных бакенбард. - Вы знаете его дочку, панну Изабеллу?.. Я сам бы дал ей, не торгуясь, рублей... ну, сто...

- Я бы дал полтора ста, - говорит красавец брюнет. - Но все-таки Ленцкий - дело ненадежное...

- Ненадежное? А Вокульский - это что?

- Пан Вокульский... ну, это крупное дело. Только она глупая, и Ленцкий глупый, и все они глупые. И они таки доведут Вокульского до гибели, а им он все равно не поможет...

У пана Игнация в глазах потемнело.

- Иисусе! Мария! - шепчет он. - Значит, даже на торгах уже болтают о Вокульском и о ней... Да еще пророчат, что она погубит его... Господи Иисусе!..

Возле стола, за которым сидят судебные приставы, поднимается суматоха; зрители, толкаясь, пробираются поближе; старик Шлангбаум тоже протискивается к столу, успев по дороге кивнуть изнуренному еврею и незаметно подмигнуть представителю господину, с которым недавно беседовал в кондитерской.

В это время вбегают адвокат Кшешовской; не глядя на нее, он занимает место возле стола и бормочет приставам:

- Скорее, господа, скорее! Ей-богу, некогда...

Вслед за адвокатом в зал входит новая группа: жена и муж, последний, видимо, мясник по профессии, старая дама с подростком-внуком и два господина - один седой, но еще крепкий, другой кудрявый, чахоточного вида. У обоих смиренные физиономии и поношенная одежда, однако при их появлении евреи начинают перешептываться и указывать на них пальцами с почтительным восхищением.

Они останавливаются так близко около пана Игнация, что волей-неволей ему приходится выслушивать наставления, которые дает седой господин курчавому:

- Понимаешь ли, Ксаверий: делай, как я. Я не тороплюсь, видит бог! Вот уже три года, понимаешь ли, как я собираюсь приобрести небольшой домик, тысяч этак за сто иль за двести - на старость. Но я не тороплюсь. Прочитаю, понимаешь ли, в газетах, какие там домишки идут с молотка, не спеша посмотрю, прикину в уме, понимаешь ли, цену и прихожу сюда послушать сколько люди дают. И как раз теперь, когда я приобрел опыт и решил, понимаешь ли, что-нибудь купить, цены неслыханно подскочили, черт бы их побрал, и все заново прикидывай!.. Но уж если мы вдвоем возьмемся, понимаешь ли, ходить да прислушиваться, тогда наверняка обстряпаем это дельце.

- Ша! - закричали возле стола.

В зале стало тихо. Пан Игнаций слушает описание каменного дома, помещающегося там-то и там-то, четырехэтажного, с тремя флигелями, садом, участком и т.д. Во время оглашения этого важного документа пан Ленцкий то багровеет, то бледнеет, а Кшешовская поминутно подносит к лицу хрустальный флакончик в золотой оправе.

- Я знаю этот дом! - вдруг выкрикивает субъект в синих очках, с елейной физиономией. - Я знаю этот дом! За глаза можно дать сто двадцать тысяч рублей...

- Что вы там голову морочите! - отзывается сидящий рядом с баронессой Кшешовской мужчина с физиономией прохвоста. - Разве это дом? Развалина! Мертвецкая!

Пан Ленцкий багровеет до синевы. Он кивком подзывает служку и шепотом спрашивает:

- Кто этот подлец?

- Вот этот? Отпетый мерзавец... Не обращайтесь, ваше сиятельство, внимания... - И опять во всю глотку: - Честное слово, за этот дом можно смело дать сто тридцать тысяч...

- Кто этот негодяй? - спрашивает баронесса субъекта с физиономией прохвоста. - Кто этот человек в синих очках?

- Вот тот? Отъявленный мерзавец... Недавно сидел в Павьяке{382}... Не обращайтесь внимания, сударыня... Плевать на него...

- Эй там, потише! - кричит из-за стола чиновный голос.

Елейный господин подмигивает пану Ленцкому, развязно ухмыляется и пролезает к столу, где стоят участники торгов. Их четверо: адвокат баронессы, представительный господин, старик Шлангбаум и изнуренный юноша; рядом с последним становится елейный господин.

- Шестьдесят тысяч пятьсот рублей, - тихо говорит адвокат Кшешовской.

- Ей-ей, больше не стоит! - замечает субъект с физиономией прохвоста.

Баронесса торжествующе оглядывается на пана Ленцкого.

- Шестьдесят пять, - отзывается важный барин.

- Шестьдесят пять тысяч и сто рублей, - лепечет бледный юноша.

- Шестьдесят шесть... - добавляет Шлангбаум.

- Семьдесят тысяч! - орет господин в синих очках.

- Ах! Ах! А! - истерически всхлипывает баронесса, падая на плетеный диванчик.

Ее адвокат поспешно отходит от стола и бежит защищать убийцу.

- Семьдесят пять тысяч! - выкрикивает представительный господин.

- Умираю!.. - стонет баронесса.

В зале начинается волнение. Старый литвин берет баронессу под руку, но ее перехватывает Марушевич, появившийся неизвестно откуда как раз в нужный момент. Опираясь на руку Марушевича, Кшешовская с громким плачем выходит из зала, понося на чем свет стоит своего адвоката, суд, конкурентов и приставов. На лице Ленцкого появляется улыбка, а тем временем изнуренный юноша говорит:

- Восемьдесят тысяч и сто рублей.

- Восемьдесят пять, - сразу набавляет Шлангбаум.

Ленцкий весь обращается в зрение и слух. Он видит уже трех конкурентов и слышит слова представительного господина:

- Восемьдесят восемь тысяч...

- Восемьдесят восемь и сто рублей, - говорит тщедушный юноша.

- Пусть уж будет девяносто, - заключает старый Шлангбаум и хлопает рукой по столу.

- Девяносто тысяч, - говорит пристав, - раз... Ленцкий, забыв об этикете, наклоняется к служке и шепчет:

- Ну, что же вы!

- Ну, что же вы, потряните мощной! - обращается служка к изнуренному юноше.

- А вы чего стараетесь? - осаживает его второй пристав. - Ведь вы дом не купите? Ну и уберите отсюда!..

- Девяносто тысяч рублей, два!.. - восклицает пристав.

Лицо Ленцкого сереет.

- Девяносто тысяч рублей, три... - провозглашает пристав и ударяет молоточком по зеленому сукну.

- Шлангбаум купил! - выкрикивает чей-то голос из зала.

Ленцкий обводит толпу блуждающим взглядом и только теперь замечает своего адвоката.

- Ну, сударь, - говорит он дрожащим голосом, - так не поступают.

- А что такое?

- Так не поступают... Это нечестно! - возмущенно повторяет Ленцкий.

- Как не поступают? - спрашивает адвокат уже с некоторым раздражением. - По уплате ипотечного долга вам останется еще тридцать тысяч рублей.

- Да ведь мне этот дом обошелся в сто тысяч и, если б как следует позаботиться, мог пойти за сто двадцать.

- Верно, - поддакивает служка, - дом стоит ста двадцати тысяч...

- Вот! Вы слышите, сударь? - говорит Ленцкий. - Если б позаботиться...

- Я попрошу вас, сударь, воздержаться от оскорблений. Вы слушаете советы каких-то подозрительных типов, мошенников из Павьяка...

- Ну, уж извините! - обижается служка. - Не всякий, кто сидел в Павьяке, мошенник... А что до советов...

- И верно!.. Дом стоит ста двадцати тысяч! - подтверждает новый союзник, субъект с лицом прохвоста.

Ленцкий смотрит на него остекленевшими глазами, так и не понимая, что, собственно, происходит. Не простившись с адвокатом, он надевает шляпу и уходит, негодуя:

- Из-за этих адвокатов и евреев я потерял не меньше тридцати тысяч... Можно было получить сто двадцать тысяч.

Старик Шлангбаум тоже уходит. По дороге с ним заговаривает Цинадер, красавец брюнет, красивее которого пан Игнаций никогда не видывал.

- Что за дела вы делаете, пан Шлангбаум? - говорит красавец. - Этот дом вполне можно было купить за семьдесят одну тысячу. Он сейчас больше не стоит.

- Для кого не стоит, а для кого стоит. Я всегда делаю только выгодные дела, - задумчиво отвечает Шлангбаум.

Наконец и Жецкий покидает зал, где уже начинаются следующие торги и собирается новая публика. Пан Игнаций медленно спускается по лестнице, размышляя:

"Итак, дом купил Шлангбаум, и купил именно за девяносто тысяч, как предсказывал Клейн. Ну, да ведь Шлангбаум - не Вокульский... Нет! Стах такой глупости не сделает... И насчет панны Изабеллы тоже все вздор, сплетни!"

Глава девятнадцатая

Первое предостережение

Был уже час дня, когда пан Игнаций, смущенный и встревоженный, возвращался в магазин. Как можно было потратить попусту столько времени... и к тому же в часы наибольшего наплыва покупателей? А вдруг случилась какая-нибудь беда? И что за удовольствие таскаться в такую жару по улицам, вдыхая пыль и вонь расплавленного асфальта!

День в самом деле выдался на редкость знойный и яркий: тротуары и мостовые накалились, к жестяным вывескам и фонарным столбам нельзя было прикоснуться, а от ослепительного света у пана Игнация слезились глаза и их застилали какие-то черные пятна.

"На месте господ бога, - думал он, - я бы половину июльской жары приберег на декабрь..."

Случайно взглянув на витрины (он как раз проходил мимо), пан Игнаций остолбенел. Выставленные товары не сменялись уже вторую неделю. Те же статуэтки, майолика, веера, те же несессеры, перчатки, зонтики и игрушки! Ну, видано ли подобное безобразие?

"Подлец я, и больше ничего! - сказал он себе. - Третьего дня напился, сегодня шатаюсь по городу... Этак лавочка скоро полетит ко всем чертям, ясно!"

Едва он переступил порог магазина, не зная, что больше у него болит, сердце или ноги, как его подхватил Мрачевский. Он был уже подстрижен и причесан по варшавской моде и по-прежнему сильно надушен; из любви к искусству он обслуживал покупателей, хотя был теперь гостем, да еще прибывшим из далеких краев. Приказчики, глядя на него, просто диву давались.

- Побойтесь бога, пан Игнаций! - воскликнул он. - Я уж три часа дожидаюсь! Все вы тут, видно, головы потеряли...

Не обращая внимания на покупателей, которые с недоумением смотрели на них, он взял Жецкого под руку и потащил в комнату, где стоял несгораемый шкаф.

Там он бесцеремонно пихнул старшего приказчика, поседевшего на своем посту ветерана, в жесткое кресло, встал перед ним, трагически заломив руки, как Жермон перед Виолеттой, и заговорил:

- Вот что, пан Игнаций... Знал я, что после моего отъезда все у вас тут разладится, но все же не думал, что так скоро... Если уж вас нет в магазине... Ну, ладно, это еще полбеды. Но если уж старик стал выкидывать фокусы - это скандал!

От изумления у пана Игнация глаза на лоб полезли.

- Позвольте! - воскликнул он, поднимаясь с кресла.

Но Мрачевский усадил его обратно.

- Позво...

- Только, пожалуйста, не прерывайте! - перебил его благоухающий молодой человек. - Да знаете ли вы, что происходит? Сузин сегодня ночью едет в Берлин повидаться с Бисмарком, а потом - в Париж, на выставку. И он просит Вокульского, чтобы тот непременно - слышите вы? - непременно ехал с ним. А этот болв...

- Пан Мрачевский! Как вы смеете...

- Я от природы смелый, а Вокульский полоумный! Я только сегодня узнал все... Сказать вам, сколько наш старик мог бы заработать на этом деле с Сузиным? Не десять, а пятьдесят тысяч... рублей, понимаете? И этот осел не только не хочет ехать сегодня, но говорит, что вообще еще не знает, когда поедет... Он, видите ли, не знает! А Сузин может ждать не больше двух-трех дней.

- Что же Сузин? - тихо спросил растерявшийся Жецкий.

- Сузин? Злится и, хуже того, обижается. "Нет, говорит, Станислав Петрович уж не тот, он нами теперь брезгует..." Словом, скандал! Пятьдесят тысяч рублей прибыли и бесплатный проезд. Ну, скажите, на таких условиях разве сам святой Станислав Костка не поехал бы в Париж?

- Еще бы не поехал! - буркнул пан Игнаций. - А где сейчас Стах... то есть пан Вокульский? - спросил он, вставая.

- У вас на квартире, составляет отчет для Сузина. Вот увидите, дорого вам обойдутся эти фокусы!

Дверь кабинета приоткрылась, и показался Клейн с конвертом в руке.

- Лакей Ленцких принес письмо хозяину, - сказал он. - Может, вы ему отнесете, а то он сегодня чертовски злой...

Пан Игнаций держал в руках бледно-голубой конверт, украшенный узором из незабудок, но идти не решался. Между тем Мрачевский заглянул ему через плечо и прочел адрес.

- От Беллочки! - вскричал он. - Все понятно! - И, смеясь, выбежал из кабинета.

- Черт возьми! - проворчал пан Игнаций. - Неужели во всей этой болтовне есть доля правды? Значит, это ради нее он тратит девяносто тысяч на покупку дома и теряет пятьдесят тысяч в сузинском деле? Итого - сто сорок тысяч рублей! А экипаж, а скачки, а жертвования на благотворительные цели! А... а Росси, на которого панна Изабелла глядит с таким обожанием, как еврей на свои десять заповедей! Эге-ге! Перестану-ка я с ним церемониться...

Он застегнул пиджак на все пуговицы, приосанился и с письмом в руках пошел к себе на квартиру. На ходу он заметил, что сапоги его слегка поскрипывают, и это его почему-то приободрило.

Вокульский, без сюртука и жилетки, сидел, склонясь над грудой бумаг, и что-то писал.

- Ага! - сказал он, увидев пана Игнация. - Ничего, что я тут расположился, как у себя дома?

- Хозяину незачем стесняться! - криво усмехнулся пан Игнаций. - Вот письмо... от этих... от Ленцких...

Вокульский взглянул на конверт, торопливо вскрыл его и начал читать... Прочел раз, другой, третий... Жецкий рылся в своем столе; заметив, что друг его уже не читает, а задумчиво сидит, облокотившись на стол, пан Игнаций сухо спросил:

- Ты едешь сегодня с Сузиным в Париж?

- И не думаю.

- Я слышал, это крупное дело... Пятьдесят тысяч рублей...

Вокульский молчал.

- Значит, поедешь завтра или послезавтра? Сузин, кажется, два-три дня может подождать?

- Я еще не знаю, когда поеду.

- Плохо, Стах. Пятьдесят тысяч - это целое состояние; жаль терять... Если узнают, что ты упустил такой случай...

- Скажут, что я рехнулся, - перебил Вокульский.

Он помолчал и вдруг снова заговорил:

- А если у меня есть дела поважнее, чем ехать зарабатывать деньги?

- Политические? - тихо спросил Жецкий, и глаза его тревожно блеснули, но губы улыбнулись.

Вокульский протянул ему письмо.

- Прочти. И убедись, что есть кое-что получше политики.

Пан Игнаций взял письмо, но не решался читать, пока Вокульский не настоял.

"Венок восхитителен, и я заранее благодарю Вас от имени Росси за этот подарок. С каким неподражаемым изяществом изумруды вкраплены между золотыми листками! Непременно приезжайте к нам завтра обедать, мы должны посоветоваться, как устроить проводы Росси, а также насчет нашей поездки в Париж. Вчера отец сказал, что мы поедem самое позднее через неделю. Разумеется, мы едем вместе. Без Вашего милого общества путешествие потеряло бы для меня половину прелести. Итак, до свидания.

Изабелла Ленцкая."

- Не понимаю, - сказал пан Игнаций, равнодушно бросая письмо на стол. Ради удовольствия путешествовать с панной Ленцкой и даже ради совещаний по поводу подарков для... для ее любимцев не швыряют за окно пятьдесят тысяч... если не больше...

Вокульский встал с дивана и, опершись обеими руками о стол, спросил:

- А если бы мне вздумалось ради нее вышвырнуть за окно все свое состояние... тогда что?

На лбу его вздулись жилы, рубашка на груди ходила ходуном. В глазах вспыхивали и гасли искры, какие Жецкий уже видел у него однажды во время дуэли с бароном.

- Тогда что? - повторил Вокульский.

- Да ничего, - спокойно ответил Жецкий. - Мне только пришлось бы признать, что я снова ошибся, - не знаю уж, в который раз...

- В чем?

- На этот раз - в тебе. Я думал, что человек, рискующий жизнью и... добрым именем, чтобы сколотить состояние, имеет в виду какие-то общественные цели...

- Да оставьте же меня наконец в покое с этим вашим обществом! - крикнул Вокульский, стукнув кулаком по столу. - Что я сделал для него - известно, но что сделало оно для меня? Только и знает, что требовать от меня жертв, не давая взамен никаких прав! Я хочу наконец чего-нибудь для самого себя. Уши вянут от громких фраз, которые никого ни к чему не обязывают... Собственное счастье - вот в чем теперь мой долг... Я пустил бы себе пулю в лоб, если бы у меня не оставалось ничего, кроме каких-то фантастических обязательств. Тысячи людей бьют баклуши, а один человек должен исполнять по отношению к ним какие-то бесконечные обязательства. Неслыханная нелепость!

- А орации Росси - не жертва?

- Это я делаю не для Росси...

- А чтобы угодить женщине... знаю. Из всех сберегательных касс - это самая ненадежная.

- Ты слишком много себе позволяешь!

- Скажи: позволял. Тебе кажется, будто ты первый изобрел любовь. Я тоже знал ее... Да, да!.. Несколько лет я был влюблен, как дурак, а тем временем моя Элоиза заводила шашни с другим. Боже! И настрадался же я, наблюдая, как она украдкой переглядывается с другими... Под конец она, не стесняясь, обнималась у меня на глазах... Поверь мне, Стах, я не так наивен, как думают! Я многое видел в жизни и пришел к заключению, что напрасно мы вкладываем столько чувств в игру, называемую любовью.

- Ты говоришь так потому, что не знаешь ее, - мрачно заметил Вокульский.

- Каждая из них исключение, пока не свернет нам шею. Твоей я, правда, не знаю, зато знаю других. Чтобы покорять женщин, нужно обладать изрядной долей наглости и бесстыдства - два качества, которых ты лишен. И вот тебе мой совет: не рискуй слишком многим, потому что тебя все равно обгонят другие, если уже не обогнали. Я с тобой никогда не говорил о подобных вещах, не правда ли? Да и непохоже, чтоб я придерживался такой философии... Но я чувствую, что тебе угрожает опасность, и повторяю: берегись. Не вкладывай сердца в эту подлую игру, иначе его оплюют ради первого попавшегося прохвоста. А в таких случаях, поверь мне, прегадко себя чувствуешь... Желаю тебе никогда не испытывать этого!

Вокульский сидел, сжимая кулаки, но молчал. В это время в дверь постучали, и вошел Лисецкий.

- Пан Ленцкий хотел бы поговорить с вами. Можно ему сюда? - спросил приказчик.

- Просите, просите, - отвечал Вокульский, поспешно надевая жилет и сюртук.

Жецкий встал, грустно покачал головой и ушел из комнаты.

"Думал я, что дело плохо, - пробормотав он уже в сенях, - но не думал, что настолько плохо..."

Едва Вокульский успел привести себя в порядок, как вошел Ленцкий, а за ним швейцар из магазина. У пана Томаша налились кровью глаза и выступили пятна на щеках. Он бросился в кресло и, откинув голову на спинку, с трудом перевел дыхание. Швейцар, стоя на пороге, перебирал пальцами пуговицы своей ливреи и с озабоченным видом ждал приказаний.

- Простите, пожалуйста, пан Станислав... но я попрошу воды с лимоном...

- Сбегай за сельтерской, лимоном и сахаром... Живо! - крикнул Вокульский швейцару.

Швейцар вышел, задев за дверь своими огромными пуговицами.

- Пустяки... - улыбаясь, говорил пан Томаш. - Короткая шея, жара, ну и раздражение...
Передохну минутку...

Встревоженный Вокульский развязал ему галстук и расстегнул рубашку. Потом налил на полотенце одеколону, который он обнаружил на столе у Жецкого, и с сыновней заботливостью смочил больному затылок, лицо и голову.

Пан Томаш пожал ему руку.

- Мне уже лучше... Спасибо вам... - И тихо добавил: - Вы мне нравитесь в роли сестры милосердия. Белла не сумела бы так нежно... Ну, да она создана для того, чтобы за ней ухаживали...

Швейцар принес сифон и лимоны. Вокульский приготовил лимонад и напоил пана Томаша; синие пятна на его щеках постепенно стали бледнеть.

- Ступай ко мне на квартиру, - приказал Вокульский швейцару, - и вели запрягать. Пусть подадут экипаж к магазину.

- Милый, милый вы мой, - говорил пан Томаш, крепко пожимая ему руку и умиленно глядя на него набрякшими глазами. - Я не привык к такой заботе, Белла этого не умеет...

Неспособность панны Изабеллы ухаживать за больными неприятно поразила Вокульского. Но он тут же забыл об этом.

Понемногу пан Томаш пришел в себя. На лбу у него выступил обильный пот, голос окреп, и только сеть красных жилок на белках глаз еще свидетельствовала о недавнем припадке. Он даже прошелся по комнате, потянулся и заговорил:

- Ах... вы не представляете себе, пан Станислав, как я сегодня разволновался! Поверите ли? Мой дом продан за девяносто тысяч!..

Вокульский вздрогнул.

- Я был уверен, - продолжал Ленцкий, - что получу хотя бы сто десять тысяч... В зале говорили, что дом стоит ста двадцати... Что ж поделаешь его решил купить этот подлый ростовщик Шлангбаум... Стакнулся с конкурентами, и кто знает - может, и с моим поверенным, а я потерял тысяч двадцать или тридцать...

Теперь казалось, что Вокульского вот-вот хватит апоплексический удар, но он молчал.

- А я-то рассчитывал, - продолжал Ленцкий, - что с этих пятидесяти тысяч вы мне будете платить десять тысяч годовых... На домашние расходы я трачу шесть - восемь тысяч в год, а на остальное мы с Беллой могли бы ежегодно ездить за границу. Я даже обещал девочке через неделю повезти ее в Париж... Как бы не так! Шести тысяч еле хватит на жалкое прозябание, где уж там мечтать о поездках! Гнусный еврей... Гнусные порядки - общество в кабале у ростовщиков и не смеет дать им отпор даже на торгах... А большее всего, скажу я вам, что за спиной мерзавца Шлангбаума, может быть, прячется какой-нибудь христианин, пожалуй, даже аристократ...

Пан Томаш опять стал задыхаться, и щеки у него побагровели. Он сел и выпил воды.

- Подлые! подлые! - шептал Ленцкий.

- Успокойтесь же, сударь, - сказал Вокульский. - Сколько вы мне дадите наличными?

- Я просил поверенного нашего князя (моему прохвосту я уже не доверяю) получить

причитающуюся мне сумму и вручить ее вам, пан Станислав... Это тридцать тысяч. Вы обещали мне двадцать процентов, значит всего у меня шесть тысяч на целый год. Бедность... нищета!

- Ваш капитал, - сказал Вокульский, - я могу поместить в другое дело, более выгодное. Вы будете получать десять тысяч ежегодно...

- Что вы говорите?

- Да. Мне подвернулся исключительный случай.

Пан Томаш вскочил.

- Спаситель... благодетель! - взволнованно говорил он. - Вы благороднейший из людей... Однако, - прибавил он, отступая и разводя руками, - не будет ли это в ущерб вам?

- Мне? Ведь я купец.

- Купец! Рассказывайте! - воскликнул пан Томаш. - Благодаря вам я убедился, что слово "купец" в наши дни является символом великодушия, деликатности, героизма... Славный вы мой!

И он бросился Вокульскому на шею, чуть не плача.

Вокульский в третий раз усадил его в кресло. В эту минуту в дверь постучали.

- Войдите!

В комнату вошел Генрик Шлангбаум. Он был бледен, глаза его метали молнии. Встав перед паном Томашем, он поклонился и сказал:

- Сударь, я Шлангбаум, сын того "подлого" ростовщика, которого вы так поносили в магазине в присутствии моих сослуживцев и покупателей...

- Сударь... я не знал... я готов на любое удовлетворение... а прежде всего - прошу извинить меня... Я был очень раздражен, - взволнованно говорил пан Томаш.

Шлангбаум успокоился.

- Нет, сударь, - возразил он, - вместо того чтобы давать мне удовлетворение, вы лучше выслушайте меня. Почему мой отец купил ваш дом? Не об этом сейчас речь. Но я могу доказать, что он вас не обманул. Если угодно, мой отец уступит вам этот дом за девяносто тысяч. Больше того, - взорвался он, - покупатель отдаст вам его за семьдесят тысяч...

- Генрик! - остановил его Вокульский.

- Я кончил. Прощайте, сударь, - ответил Шлангбаум, низко поклонился Ленцкому и вышел.

- Неприятная история! - помолчав, заметил пан Томаш. - Действительно, я в магазине сказал несколько резких слов по адресу старика Шлангбаума, но, право же, я не знал, что его сын тут работает... Он вернет мне за семьдесят тысяч дом, который сам купил за девяносто. Забавно!.. Что вы скажете, пан Станислав?

- Может быть, в самом деле дом не стоит больше девяноста тысяч? - робко спросил Вокульский.

Пан Томаш начал застегиваться и поправлять галстук.

- Спасибо вам, пан Станислав, - говорил он, - спасибо и за помощь и за участие... Вот так история с этим Шлангбаумом!.. Ах да!.. Белла просила вас звать завтра к обеду... Деньги получите у поверенного нашего князя, а что до процентов, которые вы изволите...

- Я немедленно выплачу их за полгода вперед.

- Очень, очень вам благодарен, - сказал пан Томаш и расцеловал его в обе щеки. - Ну, до свидания, до завтра... Не забудьте про обед...

Вокульский провел его через двор к воротам, у которых уже стоял экипаж.

- Ужасная жара, - говорил пан Томаш, с трудом усаживаясь в экипаж с помощью Вокульского.
- Но что за история с этими евреями?.. Дал девяносто тысяч, а готов уступить за семьдесят...
Забавно... Честное слово!

Лошади тронулись, экипаж покатился к Уяздовским Аллеям.

Домой пан Томаш ехал словно в дурмане. Жары он не ощущал, только общую слабость и шум в ушах. Минутами ему казалось, что не то он одним глазом видит не совсем так, как другим, не то обоими видит хуже обычного. Он откинулся в угол кареты и при каждом толчке покачивался, как пьяный.

Мысли и ощущения как-то странно путались в голове. То он воображал, что опутан сетью интриг, от которых спасти его может только Вокульский. То ему казалось, что он тяжело болен и только Вокульский сумел бы его выводить. То чудилось, будто он умирает, оставляя разоренную, всеми покинутую дочь, о которой позаботиться мог бы только Вокульский. И, наконец, ему пришло в голову, что хорошо бы иметь собственный экипаж с таким легким ходом и что, попроси он Вокульского, тот бы, наверное, подарил ему свой.

- Ужасная жара! - пробормотал пан Томаш.

Лошади остановились у подъезда, пан Томаш вылез и, даже не кивнув кучеру, пошел наверх. Он с трудом волочил отяжелевшие ноги и, едва очутившись у себя в кабинете, упал в кресло и как был, в шляпе, не шевелясь просидел несколько минут, к величайшему изумлению слуги, который счел нужным позвать барышню.

- Видно, дело кончилось неплохо, - сказал он панне Изабелле, - потому что его милость... как будто немножко... того...

Весь день панна Изабелла держалась с напускным равнодушием, однако на самом деле с величайшим нетерпением поджидала отца, чтобы узнать о результате торгов. Она пошла к нему в кабинет, ускорив шаги лишь настолько, насколько это допускали правила приличия. Панна Ленцкая всегда помнила, что девушке с ее именем не подобает проявлять свои чувства даже по поводу банкротства. И все же, как она ни владела собою, Миколай (по ее яркому румянцу) заметил, что она волнуется, и еще раз вполголоса сказал:

- Ну, наверное, хорошо кончилось, оттого его милость и... того...

Панна Изабелла нахмурила свой прекрасный лоб и захлопнула за собою дверь кабинета. Отец все еще сидел, не снявши шляпы.

- Что же, отец? - спросила она, с некоторой брезгливостью глядя на его красные глаза.

- Несчастье... разорение! - отвечал пан Томаш, с трудом снимая шляпу. Я потерял тридцать тысяч рублей.

Панна Изабелла побледнела и опустилась на кожаный диванчик.

- Подлый еврей, ростовщик, запугал конкурентов, подкупил адвоката и...
 - Значит, у нас уже ничего нет? - чуть слышно спросила она.
 - Как это - ничего? У нас осталось тридцать тысяч, и на них мы получим десять тысяч процентов... Славный человек этот Вокульский! Я еще не видывал подобного благородства. А если б ты знала, как он сегодня ухаживал за мной!..
 - Ухаживал? Почему?
 - Со мной случился небольшой припадок из-за жары и раздражения...
 - Какой припадок?
 - Кровь бросилась мне в голову... но теперь уже прошло... Подлый еврей! Ну, а Вокульский, говорю тебе, это не человек, а ангел... - И он расплакался.
 - Папа, что с тобой? Я пошлю за доктором!.. - вскрикнула панна Изабелла, опускаясь на колени перед креслом.
 - Ничего... ничего... не волнуйся... Я только подумал, что если бы мне пришлось умереть, ты могла бы положиться только на одного Вокульского...
 - Не понимаю...
 - Ты хотела сказать, что не узнаешь меня, не правда ли? Тебе странно, что я мог бы верить твою судьбу купцу? Видишь ли... когда в беде одни ополчились против нас, а другие отошли в сторону, только он поспешил нам на помощь и, может быть, даже спас мне жизнь... Нам, людям апоплексического сложения, случается, заглядывает смерть в глаза... И вот, когда он приводил меня в чувство, я подумал: кто же еще так участливо может позаботиться о тебе? Ведь не Иоася и не Гортензия, да и никто другой... Только богатым сиротам легко найти опекунов.
- Панна Изабелла, заметив, что отцу стало лучше, встала с колен и опять села на диванчик.
- Скажи, папа, какую же роль ты предназначаешь этому господину? холодно спросила она.
 - Роль? - переспросил он, пристально вглядываясь в ее лицо. - Роль... советчика... друга дома... опекуна... Опекуна над тем капитальцем, который достанется тебе, если...
 - О, с этой стороны я уже давно его оценила. Это человек энергичный и преданный нам... Впрочем, все это неважно, - прибавила она, помолчав. - Что с домом, папа?
 - Я ведь сказал. Еврей, гадина, дал девяносто тысяч, так что нам осталось всего тридцать. Но поскольку Вокульский - честная душа! - будет выплачивать с этой суммы десять тысяч... Тридцать три процента, вообрази!
 - Как тридцать три? - прервала панна Изабелла. - Десять тысяч - это десять процентов.
 - Какое там! Десять от тридцати - значит тридцать три процента. Ведь "процент" значит "pro centum" - сотая доля, понимаешь?
 - Не понимаю, - ответила панна Изабелла, тряхнув головой. - Я понимаю, что десять - это десять; но если на купеческом языке десять называется тридцать три, пусть будет так.
 - Вижу, что не поняла. Объяснил бы тебе, да что-то очень уж устал, поспать бы немного...
 - Не послать ли за доктором? - спросила панна Изабелла, вставая.

- Боже упаси! - воскликнул пан Томаш и замахал руками. - Только начни водиться с докторами - и сразу отправишься на тот свет...

Панна Изабелла не настаивала; она поцеловала отца в руку и в лоб и, глубоко задумавшись, пошла к себе в будуар.

От тревоги, терзавшей ее все эти дни по поводу торгов, не осталось и следа. Оказывается, у них еще есть десять тысяч рублей в год и тридцать тысяч наличными! Значит, они поедут на Парижскую выставку, потом, может быть, в Швейцарию, а на зиму - опять в Париж. Нет! На зиму они вернутся в Варшаву и снова будут принимать у себя. А если найдется какой-нибудь состоятельный претендент, не старый и не противный (как барон или предводитель... бр-р!), не выскочка и не глупец (впрочем, пусть даже и глупец - в их кругу умен один только Охоцкий, да и тот чудак!)... если найдется такой человек, она наконец решится...

"Ну и хорош же папа со своим Вокульским! - подумала панна Изабелла, расхаживая взад и вперед по будуару. - Вокульский - мой опекун!.. Вокульский может быть ценным советчиком, поверенным, наконец распорядителем состояния, но звание моего опекуна может носить только князь, кстати он нам и родня и старый друг нашего семейства..."

Сложив руки на груди, она продолжала ходить взад и вперед по комнате и вдруг призадумалась: почему отец так расчувствовался сегодня по поводу Вокульского? Какой же колдовской силой обладает этот человек, покоривший всех людей ее круга и, наконец, завоевавший последнюю точку опоры - отца!.. Ее отец, пан Томаш Ленцкий, не проронивший ни слезинки со дня смерти матери, сегодня расплакался!..

"Надо все же признать, что у Вокульского доброе сердце, - сказала она себе. - Росси не остался бы так доволен Варшавой, если бы не чуткость Вокульского. Ну, а моим опекуном ему все равно не бывать, даже в случае несчастья... Состоянием, пожалуйста, пусть управляет, но опекуном!.. Нет, видно, отец уж очень ослаб, если ему приходят на ум подобные комбинации..."

Около шести часов вечера панна Изабелла, сидя в гостиной, услышала в прихожей звонок, а потом раздраженный голос Миколая:

- Говорил я вам - завтра приходите, барин сегодня болен.

- А что делать, если барин, когда у него есть деньги, болеет, а когда здоров, так у него нет денег? - ответил чей-то голос с легким еврейским акцентом.

В ту же минуту в прихожей зашелестело женское платье, и послышался голос панны Флорентины:

- Тише! Бога ради, тише! Приходите завтра, пан Шпигельман, вы же знаете, что деньги есть...

- Вот потому я и прихожу сегодня уже в третий раз, а то завтра придут другие, и я опять буду дожидаться...

Кровь ударила в голову панне Изабелле. Не совсем сознавая, что делает, она бросилась в прихожую.

- Что это значит? - обратилась она к панне Флорентине.

Миколай пожал плечами и на цыпочках пошел в кухню.

- Это я, ваша милость... Давид Шпигельман, - ответил низенький человечек с черной бородой и в черных очках. - Я к графу, у меня к нему маленькое дельце...

- Белла, дорогая... - начала панна Флорентина, пытаюсь увести молодую девушку.

Но панна Изабелла вырвалась и, заметив, что в отцовском кабинете никого нет, велела Шпигельману войти туда.

- Одумайся, Белла, что ты делаешь? - унимала ее панна Флорентина.

- Я хочу наконец узнать правду, - ответила панна Изабелла.

Она закрыла дверь кабинета, села и, глядя на очки Шпигельмана, спросила:

- Какое у вас дело к отцу?

- Очень извиняюсь, графиня, - ответил тот, кланяясь, - у меня совсем маленькое дело. Я только хочу получить свои деньги.

- Сколько?

- Ну, рублей восемьсот наберется...

- Завтра получите.

- Извиняюсь, графиня, но... я уже полгода каждую неделю слышу, что завтра, и не вижу ни процентов, ни капитала.

У панны Изабеллы перехватило дыхание и сжалось сердце. Но она тут же овладела собой.

- Вам известно, что мой отец получил тридцать тысяч рублей... Кроме того (она сама не знала, зачем это говорит), мы будем получать десять тысяч в год... Сами понимаете, что ваша незначительная сумма не может пропасть...

- Откуда десять? - спросил еврей и развязно поглядел на нее.

- Как это - откуда? - с возмущением повторила она. - Проценты с нашего капитала.

- С тридцати тысяч? - недоверчиво усмехнулся еврей, решив, что его хотят провести.

- Да.

- Очень извиняюсь, графиня, - иронически возразил Шпигельман, - я уже давно делаю комбинации с деньгами, но о таком проценте никогда не слышал. На свои тридцать тысяч граф может получить тысячи три, да и то под очень ненадежную закладную. Впрочем, мне что! Мое дело - получить деньги. А то завтра придут другие, и опять они окажутся лучше Давида Шпигельмана, а если остальное граф отдаст под проценты, мне придется еще год дожидаться...

Панна Изабелла вскочила с кресла.

- Так ручаюсь же вам, что завтра вы получите все сполна! - вскричала она, глядя на него с презрением.

- Честное слово? - спросил еврей, втайне любуясь ее красотой.

- Даю слово, что завтра всем вам будет уплачено... Всем, и до последней копейки!

Еврей поклонился до земли и, пятясь к двери, вышел из кабинета.

- Посмотрим, как графиня сдержит свое слово! - бросил он, уходя.

Старый Миколай был в прихожей и с такой грацией распахнул дверь перед Шпигельманом, что тот уже с лестницы крикнул:

- Что это вдруг с таким фасоном, пан камердинер?

Панна Изабелла, побледнев от гнева, бросилась в спальню отца. Напрасно панна Флорентина пыталась ее удержать.

- Не надо, Белла, - говорила она, умоляюще складывая руки, - отцу так нездоровится...

- Я поручилась этому человеку, что все долги будут выплачены, и они должны быть выплачены... Хотя бы нам пришлось отказаться от поездки в Париж.

Пан Томаш, без сюртука и в домашних туфлях, медленно расхаживал по комнате, когда вошла дочь. Она заметила, что вид у отца очень плохой, плечи у него опустились, седые усы повисли, даже глаза были полузакрыты и весь он как-то по-стариковски ссутулился. Эти наблюдения хотя и не дали ей вспылить, но не удержали от делового объяснения.

- Извини, Белла, что я в таком неглиже... Что случилось?

- Ничего, отец, - ответила она, сдерживаясь. - Приходил какой-то еврей...

- Ах, наверное, опять Шпигельман... Донимает он меня, как комар летом! - воскликнул пан Томаш, хватаясь за голову. - Пусть придет завтра...

- То-то и есть, что придет... и он... и остальные...

- Хорошо... очень хорошо... я уж давно собирался расплатиться с ними... Ох, слава богу, хоть чуточку посвежело...

Панну Изабеллу поразило спокойствие отца и его болезненный вид. Ей показалось, что за сегодняшнее утро он постарел на несколько лет. Она присела на стул и спросила с деланной небрежностью:

- А много ты им должен, папа?

- Да нет... пустяки... тысячи две-три.

- Это те векселя, о которых тетка говорила, что кто-то их скупил в марте?

Пан Ленцкий остановился посреди комнаты.

- Вот так так! - воскликнул он, щелкнув пальцами. - О них-то я совершенно забыл...

- Значит, у нас долгов больше, чем две-три тысячи?

- Да, да... немного больше... Думаю, что тысяч пять или шесть... Я попрошу Вокульского, он все уладит...

Панна Изабелла невольно вздрогнула.

- Шпигельман сказал, - продолжала она, помолчав, - что с нашего капитала нельзя получить десять тысяч процентами. Самое большее - три тысячи, да и то под ненадежную закладную.

- Он прав. Под закладную - нельзя, но торговля - дело другое. Торговля может дать и тридцать на тридцать... Однако... откуда Шпигельман знает о наших процентах? - спохватился пан Томаш.

- Я нечаянно проговорила... - покраснев, объяснила панна Изабелла.
- Жаль, что ты сказала ему... очень жаль! О таких вещах лучше не говорить.
- Разве в этом есть что-нибудь предосудительное? - испуганно пролепетала она.
- Предосудительное? Ну, бог ты мой, конечно нет... Но все же лучше, чтобы люди не знали ни размера, ни источника наших доходов... Барон, да и сам предводитель не прослыли бы миллионерами и филантропами, если б были известны все их секреты...
- Почему же, отец?
- Ты еще дитя, - говорил пан Томаш, смешавшись, - ты идеалистка, так что... тебя это могло бы оттолкнуть... Но ведь ты умная девушка, Белла. Видишь ли: барон ведет общие дела с какими-то ростовщиками, а состояние предводителя выросло главным образом благодаря удачным пожарам, ну и... отчасти торговле скотом во время севастопольской кампании...
- Так вот каковы мои женихи! - прошептала панна Изабелла.
- Это ничего не значит, Белла! У них есть деньги и большой кредит, а это главное, - успокаивал ее пан Томаш.

Панна Изабелла тряхнула головой, словно отгоняя докучные мысли.

- Значит, мы в Париж не поедem...
- Почему, дитя мое, почему?
- Если ты заплатишь пять или шесть тысяч ростовщикам...
- Об этом не беспокойся. Я попрошу Вокульского раздобыть для меня ссуду под шесть-семь процентов, и мы будем выплачивать четыреста рублей в год. А у нас с тобой десять тысяч...

Панна Изабелла понурила голову и задумалась, медленно водя пальцами по столу.

- Скажи, отец, - спросила она, помолчав, - ты вполне уверен в Вокульском?
- Я? - вскрикнул пан Томаш и ударил себя кулаком в грудь. - Я не уверен в Иоасе, в Гортензии, даже в нашем князе, да в конце концов ни в ком из наших, но в Вокульском... Если бы ты видела, как сегодня он растирал меня одеколоном... и с какой тревогой смотрел на меня! Это благороднейший из всех людей, каких я знал в жизни... Он не гонится за деньгами, да на мне и нельзя заработать, но дорожит моей дружбой... Сам бог мне его послал, и как раз тогда... когда я начинаю чувствовать приближение старости... а может, и смерти...

При этих словах пан Томаш часто заморгал, и по щекам его снова скатилось несколько слезинок.

- Папа, ты болен! - испуганно воскликнула панна Изабелла.
- Нет, нет... Это просто жара, раздражение и главное - обида на людей. Ну, подумай, кто навел нас сегодня? Никто! Все уверены, что мы окончательно разорились... Иоанна боится, как бы я не попросил у нее займы на завтрашний обед... То же и барон и князь... Ну, барон, когда узнает, что у нас осталось тридцать тысяч, еще явится... ради тебя. Решит, что стоит тебя взять и без приданого, раз на меня, дескать, ему не придется тратиться... Но не беспокойся, как только они услышат, что мы получаем десять тысяч в год, все вернутся к нам, и ты по-прежнему будешь царить в своей гостиной... Ах, боже мой, как я нервничаю сегодня! -

закончил он, вытирая слезящиеся глаза.

- Папа, я пошлю за доктором, хорошо?

Отец задумался.

- Лучше уж завтра, завтра... А до завтра еще и само пройдет.

В дверь постучали.

- Кто там? Что такое? - крикнул пан Томаш.

- Графиня приехала, - ответил из коридора голос панны Флорентины.

- Иоася? - воскликнул пан Томаш с радостным изумлением. - Ступай же к ней, Белла... я немножко приведу себя в порядок... Ну-ну! Бьюсь об заклад, что ей уже известно о тридцати тысячах... Ступай же к ней, Белла... Миколай!

Он засуетился, разыскивая то одну, то другую часть туалета, а тем временем панна Изабелла вышла к тетке, которая уже ждала ее в гостиной.

Увидев панну Изабеллу, графиня бросилась к ней и заключила ее в объятия.

- Как господь милостив! - вскричала она. - Какое счастье он вам посылает! Верно ли, что Томаш получил за дом девяносто тысяч и твое приданое уцелело? Никогда бы не подумала...

- Тетушка, отец надеялся получить больше, но какой-то еврей запугал конкурентов и купил сам, - ответила панна Изабелла, задетая словами тетки.

- Ах, дитя мое, как это ты до сих пор не убедилась в непрактичности твоего отца! Он может воображать, что цена его дому чуть не миллион, но я знаю от компетентных людей, что цена ему не больше семидесяти или семидесяти двух тысяч. Последнюю неделю дома ежедневно продаются с торгов, и всем известно, что они стоят и сколько за них платят. Впрочем, не о чем толковать; пусть отец воображает, будто его обманули, а ты, Белла, моли бога за того еврея, который дал вам девяносто тысяч... А ргоров, знаешь, Казек Старский вернулся.

Панна Изабелла вспыхнула.

- Когда? Откуда? - смущенно спросила она.

- Сейчас из Англии, а туда приехал прямо из Китая. Все так же хорош собой... Теперь он едет к бабке, которая, кажется, собирается отдать ему свое поместье.

- Это по соседству с вашим, тетя?

- Да, да. Об этом-то я и хочу поговорить. Он расспрашивал о тебе, и я, надеюсь, что ты уже вылечилась от своих капризов, посоветовала ему завтра навестить вас.

- Вот хорошо! - обрадовалась панна Изабелла.

- Видишь! - заметила графиня, целуя ее. - Тетка всегда о тебе помнит. Это для тебя отличная партия, и устроить ее будет нетрудно, поскольку у Томаша есть теперь небольшой капитал, которого ему, наверное, хватит, а Казек уже слышал о том, что Гортензия тебе оставляет наследство. Ну, допустим, у Старского есть кое-какие долги, во всяком случае того, что ему достанется от бабки, вместе с тем, что тебе отписала Гортензия, вам хватит на некоторое время. А там посмотрим. У него есть еще дядя, у тебя - я, так что ваши дети нуждаться не будут.

Панна Изабелла молча поцеловала руку графине. В эту минуту она была так хороша, что тетка, обняв ее, подвела к зеркалу и сказала, смеясь:

- Ну, пожалуйста, будь завтра так же прелестна и увидишь, что в сердце Казека откроются старые раны... А жаль, что ты ему тогда отказала! Сейчас у вас было бы на сто, а то и на сто пятьдесят тысяч больше... Воображаю, сколько денег растранил бедный мальчик, ища утешения в своей горе. Ах да! - вспомнила графиня. - Правда, что вы с отцом хотите ехать в Париж?

- Да, собираемся.

- Пожалуйста, Белла, не делай этого. Я как раз хочу предложить вам провести остаток лета у меня в имении. И ты должна согласиться хотя бы из-за Старского. Ты сама понимаешь, молодой человек в деревне будет томиться, мечтать о любви... Вы можете встречаться каждый день, а в таких условиях тебе легче будет привязать его... и даже связать.

Панна Изабелла покраснела еще сильнее и низко опустила свою красивую голову.

- Тетя! - смущенно выговорила она.

- Ах, дитя мое, только не разыгрывай передо мной дипломата. Девушке в твоём возрасте пора замуж, а главное - не повторяй старых ошибок. Казек отличная партия: он не скоро тебе надоест... А если и надоест, - что ж, он уже будет мужем, а муж на многое вынужден смотреть сквозь пальцы, как, впрочем, и жена. Но где же отец?

- Ему нездоровится...

- Боже мой! Это его взволновало нежданное счастье.

- Напротив, он заболел от возмущения, тетя...

- Вечно у него в голове химеры! - воскликнула графиня, вставая. - Я загляну к нему на минутку и поговорю о вашем летнем отдыхе. Что же касается тебя, Белла, я надеюсь, ты сумеешь использовать это время.

После интимной получасовой беседы с паном Томашем графиня попрощалась с племянницей и еще раз посоветовала ей не упускать Старского.

Около девяти пан Томаш, против обыкновения, лег спать, а панна Изабелла позвала к себе панну Флорентину.

- Знаешь, Флора, - сказала она, расположившись на козетке, - вернулся Казек Старский и завтра будет у нас.

- А-а-а! - протянула панна Флорентина таким тоном, как будто для нее это не было новостью.

- Значит он уже не сердится? - спросила она многозначительно.

- Наверно, нет... Впрочем, не знаю, - улыбнулась панна Изабелла. Тетка говорит, что он по-прежнему красив...

- И по-прежнему в долгах... Но это не беда. У кого нынче нет долгов!

- А что бы ты сказала, Флора, если бы...

- Если бы ты вышла за него? Разумеется, поздравила бы вас обоих. Но что скажут барон, предводитель, Охоцкий, а главное... Вокульский?

Панна Изабелла порывисто поднялась.

- Позволь, дорогая, что это тебе вздумалось говорить об этом... Вокульском?

- Не мне вздумалось, - возразила панна Флорентина, теребя оборку на корсаже, - я только хочу припомнить тебе, что ты говорила мне, еще в апреле, будто человек этот уже год преследует тебя взглядами, опутал тебя со всех сторон...

Панна Изабелла расхохоталась.

- Ах, помню! Мне действительно тогда так казалось... Но сейчас, узнав его короче, я вижу, что он не принадлежит к категории людей, которых следует бояться. Правда, он втихомолку боготворит меня, но точно так же он будет боготворить меня даже если... я выйду за... замуж. Обожателям такого сорта, как Вокульский, довольно взгляда, рукопожатия...

- Ты уверена?

- Совершенно. Видишь ли... я убедилась, что все эти его тайные подступы объясняются обыкновенным деловым расчетом. Отец дает ему в долг тридцать тысяч, и, кто знает, может быть, все его усилия были направлены именно к этой цели?

- А если нет? - спросила панна Флорентина, продолжая теребить оборку корсажа.

- Флора! Перестань же! - рассердилась панна Изабелла. - Зачем непременно портить мне настроение?

- Ты сама говорила, что такие люди умеют терпеливо выжидать, опутывать сетями, рисковать всем и даже ломать...

- Но не Вокульский.

- Вспомни дуэль.

- Барон публично оскорбил его.

- А перед тобой извинился.

- Ах. Флора, пожалуйста, не мучай меня! - вспылила панна Изабелла. - Ты во что бы то ни стало хочешь превратить торговца в демона, может быть потому, что... мы так много потеряли на продаже дома... и отец болен... и Старский вернулся...

Панна Флорентина сделала движение, словно желая сказать еще что-то, но сдержалась.

- Покойной ночи, Белла, - сказала она. - Может быть, ты и права сейчас... - И вышла.

Всю ночь панне Изабелле снился Старский в качестве мужа, Росси первого платонического любовника, Охоцкий - второго, а Вокульский поверенного в делах. Только в десять утра ее разбудила панна Флорентина и сообщила, что пришел Шпигельман еще с каким-то евреем.

- Шпигельман? Ах да! Я и забыла. Вели ему прийти попозже. Папа встал?

- Уже час назад. Я ему сказала о ростовщиках, но он просит тебя написать Вокульскому...

- О чем?

- Чтобы он был так любезен прийти к нам сегодня днем и уладить с ними расчеты.

- Правда, наши деньги у Вокульского. Но мне неудобно писать ему об этом. Напиши ты, Флора, от имени отца... Вот бумага на столике.

Панна Флорентина села писать требуемое письмо, а панна Изабелла тем временем стала одеваться. Сообщение о ростовщиках отрезвило ее, как струя холодной воды, а мысль о Вокульском встревожила.

"Значит, мы в самом деле не можем обойтись без этого человека? - думала она. - Ну конечно, если он взял наши деньги, так должен оплачивать и наши долги..."

- Очень проси, - сказала она панне Флорентине, - чтобы он поскорей приехал... Если Старский застанет у нас этих мерзких евреев...

- Он с ними знаком еще лучше, чем мы, - заметила Флора.

- Все равно, это было бы ужасно. Ты не представляешь себе, каким тоном говорил со мною вчера этот... как его...

- Шпигельман, - подсказала панна Флорентина. - О, это наглый еврей...

Она запечатала письмо и вышла в прихожую выпроводить ожидавших там ростовщиков. Панна Изабелла опустилась на колени перед алебастровой статуэткой богоматери, моля ее о том, чтобы посыльный застал Вокульского дома и чтобы Старский не встретился у них с евреями-ростовщиками.

Алебастровая богоматерь вняла ее мольбам, и через час, за завтраком, Миколай подал ей три письма.

Первое было от графини: она извещала, что сегодня от двух до трех часов дня к отцу придут доктора на консилиум, а также, что Казек Старений уезжает после обеда и любую минуту можно ждать его визита.

"Смотри же, дорогая Беллочка, - заканчивала письмо тетка, - действуй так, чтобы мальчик думал о тебе всю дорогу и в деревне, куда вы с отцом должны приехать через несколько дней. Я уже все устроила таким образом, чтобы он и в Варшаве не видел ни одной барышни и в поместье, кроме тебя, душенька, не встретит ни одной женщины, не считая его бабки-председательши да ее внучек, девиц малопривлекательных".

Панна Изабелла прикусила губку: ей не понравилась напористость тетки.

- Тетушка так покровительствует мне, - сказала она панне Флорентине, будто самой мне уже не на что надеяться... Не нравится мне это!

И образ прекрасного Казека Старского несколько померк в ее воображении.

Второе письмо было от Вокульского: он сообщал, что явится в час дня.

- Флора, в котором часу ты велела прийти ростовщикам?

- К часу.

- Слава богу! Только бы в эту пору не явился и Старский, - сказала панна Изабелла, беря третье письмо. - Почерк как будто знакомый? От кого же это, Флора?

- Неужели не узнаешь? - отвечала панна Флорентина, взглянув на адрес. От Кшешовской.

Панна Изабелла покраснела от гнева.

- Ах, правда! - вскричала она, бросая конверт на стол. - Пожалуйста, Флора, отошли ей письмо и надпиши сверху: "Не читано". И чего только хочет от нас эта мерзкая женщина!

- Можешь легко это узнать, - посоветовала панна Флорентина.

- Нет, нет... и нет! Не хочу я никаких писем от этой противной бабы... Наверное, опять какая-нибудь каверза, она ничем другим не занимается... Прошу тебя, Флора, сию же минуту отошли ей письмо... а впрочем, можешь прочесть... в последний раз принимаю ее каракули...

Панна Флорентина не спеша вскрыла конверт и начала читать. Понемногу на лице ее любопытство сменилось удивлением, а потом замешательством.

- Мне неловко это читать, - шепнула она, передавая письмо панне Изабелле.

"Дорогая панна Изабелла! - писала баронесса. - Я признаю, что своим поведением могла заслужить вашу неприязнь, а также гнев милосердного господа бога, который столь неусыпно печется о вашем семействе. Поэтому отрекаюсь от всего, смиряюсь перед вами, дорогая моя, и молю вас простить меня. Ибо чем, как не благодатью господней, можно объяснить появление подле вас Вокульского? Простой смертный, как мы все, стал орудием в руке всевышнего, дабы меня покарать, а вас возвысить.

Ибо мало того, что Вокульский ранил на дуэли моего супруга (да простит господь и ему все подлости, в коих он грешен предо мною!), но еще и приобрел дом, в котором угасло мое ненаглядное дитя, и теперь, наверное, заставит платить меня дороже за квартиру. Вы же не только любуетесь моим поражением, но и получили на двадцать тысяч рублей больше, чем стоил ваш дом.

Соблаговолите же, дорогая, в ответ на мое раскаяние уговорить глубокоуважаемого пана Вокульского (который, неизвестно почему, гневается на меня), чтобы он продлил со мной договор и не вынуждал меня своими непомерными требованиями покинуть дом, где угасла жизнь моей единственной дочери. Однако действовать следует осторожно, ибо этот почтенный господин по неведомым мне причинам не желает, чтобы о его покупке стало известно. Вместо того чтобы открыто купить дом, как делают честные люди, он купил его на имя ростовщика Шлангбаума и еще вдобавок подослал в суд подставных конкурентов, чтобы дать на двадцать тысяч больше, чем я. Для чего ему понадобилось действовать в такой тайне? Это, наверное, вам, дорогие, известно лучше, чем мне, поскольку вы вложили в его предприятие свой капитал. Правда, он невелик, но с божьей милостью (которая столь очевидно сопутствует вам) и при всем известной ловкости Вокульского, наверное, принесет вам такие проценты, которые вознаградят вас за ваше прежнее горестное положение.

Отдаю себя под защиту вашего доброго сердца, дорогая, а обоюдные наши отношения - на беспристрастный суд божий. Остаюсь неизменно преданной, хоть и пренебреженной, вашей родственницей и покорной слугой.

Кшешовская."

Панна Изабелла прочла и побледнела как полотно. Она встала из-за стола, скомкала письмо и занесла руку, словно собиралась швырнуть его кому-то в лицо. Внезапно гнев сменился испугом - в смятении она готова была бежать куда глаза глядят или звать на помощь. Однако она тотчас же опомнилась и пошла к отцу.

Ленцкий, в домашних туфлях и полотняном халате, лежал на софе и читал "Курьер". Он нежно поздоровался с дочерью, а когда она села, пристально посмотрел на нее и сказал:

- То ли тут такой свет, то ли мне кажется, будто барышня сегодня не в духе?

- Я немного расстроена.

- То-то я вижу. Наверное, от жары. А сегодня, - прибавил он, погрозив ей с улыбкой, - сегодня

ты, шалунья моя, должна хорошо выглядеть: Казек, как мне вчера сказала тетка, все еще в женихах...

Панна Изабелла молчала. Отец продолжал:

- Правда, мальчик немного избаловался, шатаясь по свету, понаделал долгов, но как-никак молод, хорош собой, ну и - был влюблен в тебя по уши. Иоася надеется, что председательша подержит его недельки две в деревне, а остальное - уж твоя забота. А знаешь, пожалуй, это было бы неплохо. Имя прекрасное, состояние как-нибудь сколотим, кусочек оттуда, кусочек отсюда... При этом человек он светский, бывалый, в некотором роде даже герой, если и вправду совершил путешествие вокруг земного шара.

- Я получила письмо от Кшешовской, - прервала панна Изабелла.

- Опять? О чем же эта полоумная пишет?

- Она пишет, что дом наш купил не Шлангбаум, а Вокульский и что с помощью подставных лиц, которые набили цену, дал за него на двадцать тысяч больше, чем стоило заплатить.

Панна Изабелла произнесла это сдавленным голосом и с тревогой посмотрела на отца, опасаясь вспышки гнева. Но пан Томаш только привстал с софы и воскликнул, щелкая пальцами:

- Погоди-ка! Погоди! Знаешь, это возможно...

- Как! - вскочила панна Изабелла. - Значит, он осмелился подарить нам двадцать тысяч и ты, папа, так спокойно говоришь об этом?

- Говорю спокойно, потому что подожди я с продажей, то получил бы не девяносто, а сто двадцать тысяч...

- Да ведь мы не могли ждать, раз дом пустили с молотка.

- Вот потому-то мы и в убытке, а Вокульский, который может ждать, окажется в барышах.

Последнее замечание несколько успокоило панну Изабеллу.

- Значит, ты, папа, считаешь, что он не оказал нам благодеяния? А вчера ты так говорил о Вокульском, будто он тебя околдовал...

- Ха-ха-ха! - расхохотался пан Томаш. - Ты великолепна, неподражаема! Вчера я был немного расстроен... даже сильно расстроен, и мне что-то... этакое... померещилось. Но сегодня... Ха-ха-ха! Пусть себе Вокульский переплачивает за дом, на то он и купец, чтобы знать, сколько и за что следует платить. На одном потеряет, на другом наживется. Я же, со своей стороны, не стану на него обижаться за то, что он участвовал в торгах, когда продавали мое имущество... Хотя... поскольку в дело замешано подставное лицо, я был бы вправе подозревать, что дело нечисто...

Панна Изабелла горячо обняла отца.

- Да, ты прав, папа, - сказала она. - Сама я просто не сумела разобраться в этом. То, что этот господин подставляет евреев на торгах, несомненно доказывает, что, прикидываясь добрым другом, он при этом обделывает свои дела...

- Разумеется! - подтвердил пан Томаш. - Неужели ты не понимаешь таких простых вещей? Человек он, может быть, неплохой, но... купец всегда остается купцом!

В прихожей раздался громкий звонок.

- Наверное, это он. Я, папа, уйду и оставлю вас вдвоем.

Панна Изабелла вышла, но в прихожей увидела не Вокульского, а трех ростовщиков, громко препиравшихся с Миколаем и панной Флорентиной. Она убежала в гостиную, чуть не сказав вслух: "Боже! почему его так долго нет!"

В сердце ее бушевали противоречивые чувства. Она поддакивала отцу, однако понимала, что все это неправда, что Вокульский на покупке дома не наживается, а теряет и что делает он это для того, чтобы спасти их. Но, признавая это, она его ненавидела.

- Подлый! Подлый! - повторяла она. - Как он смел...

Между тем в прихожей разыгрался форменный скандал между ростовщиками и панной Флорентиной. Они заявили, что не двинутся с места, пока не получат денег, потому что барышня вчера дала честное слово... А когда Миколай отворил перед ними дверь на лестницу, они и вовсе разошлись:

- Разбой! Мошенничество! Деньги ваши господа брать умеют, и тогда ты для них "дорогой пан Давид!" А теперь...

- Это что такое? - раздался вдруг чей-то голос.

Ростовщики притихли.

- Что это значит?.. Вы что тут делаете, пан Шпигельман?

Панна Изабелла узнала голос Вокульского.

- Я ничего... Очень извиняюсь, ваша милость... Мы тут по делу к его сиятельству... - оправдывался уже совсем другим тоном только что шумевший Шпигельман.

- Господа велели нам сегодня прийти за деньгами, - объяснил другой ростовщик.

- Барышня вчера дала честное слово, что сегодня нам заплатят все до копейки...

- И заплатят, - прервал Вокульский. - Я являюсь уполномоченным пана Ленцкого и сегодня в шесть часов оплачу ваши счета у себя в конторе.

- Не к спеху... Зачем вашей милости так торопиться! - возразил Шпигельман.

- Прошу в шесть прийти ко мне, а ты, Миколай, никаких просителей здесь не принимай, когда барин болен.

- Понял, ваша милость! Барин ждет вас у себя в спальне, - отвечал Миколай, а когда Вокульский вышел, выпроводил ростовщиков за дверь, приговаривая: - Вон отсюда, паршивцы! Вон!

- Ну, ну! Чего вы так сердитесь? - бормотали растерявшиеся ростовщики.

Пан Томаш взволнованно поздоровался с Вокульским, руки его слегка дрожали, голова тряслась.

- Вот видите, что делают эти евреи... негодники... Лезут в квартиру... пугают мою дочь...

- Я велел им в шесть часов прийти ко мне в контору и, если позволите, расплачусь с ними. Это большая сумма?

- Пустяки... и говорить не о чем. Всего пять-шесть тысяч рублей...

- Пять-шесть? - повторил Вокульский. - Все этим троим?

- Нет. Им я должен тысячи две, может немножко больше... Но, видите ли, пан Станислав (это целая история!), в марте кто-то скупил мои старые векселя, кто - не знаю; все же на всякий случай следует подготовиться.

У Вокульского прояснилось лицо.

- Будем оплачивать векселя по мере их предъявления. Сегодня разделаемся с этими кредиторами. Значит, им вы должны тысячи две-три?

- Да, да... Однако посудите, как неудачно! Вы выплачиваете мне за полгода пять тысяч... деньги при вас, пан Станислав?

- Разумеется.

- Премного благодарен; однако как неудачно: как раз когда я с Беллой... и с вами собираюсь ехать в Париж, евреи урывают у меня две тысячи! Конечно, в Париж уже ехать не удастся.

- Почему? Я покрою недостачу, и вы смело можете ехать, не трогая процентов.

- Бесценный вы мой! - вскричал пан Томаш, бросаясь ему в объятия. Видите ли, дорогой, - прибавил он, успокоившись, - я как раз думал: не можете ли вы достать где-нибудь для меня ссуду, чтобы расплатиться с ростовщиками... примерно под семь, шесть процентов?

Вокульского позабавила наивность пана Томаша в финансовых делах.

- Разумеется, - ответил он с невольной улыбкой. - Разумеется, вы получите ссуду. Отдадим этим евреям тысячи три, а вы заплатите процентов... ну, сколько?

- Семь... шесть...

- Хорошо, вы будете выплачивать сто восемьдесят рублей в год, а капитал останется цел.

Пан Томаш опять (в который уже раз!) заморгал веками и прослезился.

- Славный... благородный человек! - воскликнул он, обнимая Вокульского. - Бог мне послал вас...

- А вы думаете, я могу поступать иначе? - чуть слышно проговорил Вокульский.

В дверь постучали. Вошел Миколай и доложил о приходе докторов.

- Ага! Сестра все-таки прислала этих господ. Боже мой! Никогда в жизни я не лечился, а сейчас... Прошу вас, пан Станислав, пройдите теперь к Белле... Миколай, доложи барышне, что пан Вокульский пришел.

"Вот моя-награда... жизнь моя!" - подумал Вокульский, следуя за Миколаем. В прихожей он столкнулся с докторами; оба оказались его знакомыми, и он горячо просил их повнимательней заняться паном Томашем.

В гостиной его ждала панна Изабелла. Она слегка побледнела, но от этого была еще прекраснее. Вокульский поздоровался с нею и оживленно заговорил:

- Я очень счастлив, что вам понравился венок для Росси.

Он запнулся. Его поразило странное выражение ее лица: панна Изабелла глядела на него с недоумением, словно видела его впервые в жизни.

С минуту оба молчали; наконец панна Изабелла, стяхивая пылинку с серого платья, спросила:

- Ведь это вы, сударь, купили наш дом? - И, прищулив глаза, пристально посмотрела на него.

Вокульский был застигнут врасплох и в первое мгновение растерялся. Он вдруг потерял способность соображать и то бледнел, то краснел, но наконец, овладев собой, глухо произнес:

- Да, я купил.

- Зачем же вы подставили вместо себя еврея?

- Зачем? - повторил Вокульский, глядя на нее с детской робостью. Зачем? Видите ли, сударыня, я купец... а если б стало известно, что я вкладываю капитал в недвижимость, это могло бы подорвать мой кредит...

- Вы уже давно интересуетесь нашими делами. Кажется, в апреле... да, в апреле вы приобрели наш сервис? - продолжала она тем же тоном.

Этот тон отрезвил Вокульского. Он поднял голову и сухо ответил:

- Вы можете в любую минуту получить свой сервис обратно.

Теперь панна Изабелла опустила глаза. Заметив это, Вокульский опять смутился.

- Зачем же вы это сделали? - тихо спросила она. - Зачем вы так... преследуете нас?

Казалось, она сейчас расплечется. Вокульский потерял всякое самообладание.

- Я вас преследую! - сказал он изменившимся голосом. - Да найдете ли вы слугу... нет, пса... преданнее меня? Уже два года я думаю только о том, как бы устранить с вашего пути все препятствия...

В прихожей раздался звонок. Панна Изабелла вздрогнула. Вокульский умолк.

Миколай отворил дверь гостиной и доложил:

- Пан Старский.

На пороге показался мужчина среднего роста, стройный, смуглый, с небольшими бакенбардами, усиками и еле заметной плешью. Лицо его имело выражение веселое и насмешливое. Еще издали он воскликнул:

- Как я рад, кузиночка, что снова вижу вас!

Панна Изабелла молча подала ему руку; яркий румянец залил ее щеки, а глаза исполнились неги.

Вокульский отошел к столику, стоявшему у стены. Панна Изабелла представила их друг другу.

- Пан... Вокульский, пан Старский.

Фамилия Вокульского была произнесена таким тоном, что Старский счел нужным лишь

кивнуть ему и, усевшись на некотором расстоянии, повернулся к нему боком. В свою очередь, Вокульский остался у своего столика и принялся разглядывать альбом.

- Я слышала, кузен, вы сейчас из Китая?

- Сейчас из Лондона, но мне все еще кажется, будто я на пароходе, отвечал Старский, заметно коверкая польскую речь.

Панна Изабелла перешла на английский.

- Надеюсь, на этот раз вы останетесь подольше в наших краях?

- Еще неизвестно, - также по-английски отвечал Старский. - А это что за господин? - спросил он, показав глазами на Вокульского.

- Поверенный моего отца... От чего же это зависит?

- Я думаю, вам, кузина, не следовало бы задавать этого вопроса, усмехнулся молодой человек. - Это зависит... зависит от щедрости моей бабки.

- Вот мило! Я надеялась услышать комплимент...

- Путешественники не говорят комплиментов, ибо они по опыту знают, что под любой географической широтой комплименты только дискредитируют мужчину в глазах женщины.

- Вы сделали это открытие в Китае?

- В Китае, в Японии и прежде всего в Европе.

- И вы собираетесь применять этот принцип в Польше?

- Попробую и, если позволите, кузина, начну с вас. Ведь нам, кажется, предстоит провести время в деревне. Не правда ли?

- По крайней мере таково желание тетки и папы. Однако мне не очень нравится ваше намерение проверять свои этнографические наблюдения.

- С моей стороны это было бы лишь справедливой местью.

- Значит, война?

- Уплата старых долгов нередко приводит к миру.

Вокульский так внимательно разглядывал альбом, что у него жилы вздулись на лбу.

- Уплата, но не месть, - возразила панна Изабелла.

- Это не месть, а лишь напоминание о том, что я - ваш давний кредитор, кузина.

- Ах, так это я должна платить старые долги? - рассмеялась она. - Да, вы, путешествуя, не теряли времени даром.

- Я предпочел бы не терять его в деревне, - сказал Старский и значительно посмотрел ей в глаза.

- Это будет зависеть от способа мести, - ответила панна Изабелла и опять покраснела.

- Их милость просят пана Вокульского, - сказал Миколай, появляясь в дверях.

Разговор оборвался. Вокульский захлопнул альбом, встал и, поклонившись панне Изабелле и Старскому, медленно пошел за слугой.

- Этот господин не понимает по-английски? Он не обиделся, что мы с ним не разговаривали?
- спросил Старский.

- О нет!

- Тем лучше, мне почему-то показалось, что он не очень хорошо себя чувствовал в нашем обществе.

- Вот он и покинул его, - небрежно ответила панна Изабелла.

- Принеси мне из гостиной шляпу, - сказал Миколаю Вокульский, выйдя в соседнюю комнату.

Миколай взял шляпу и отнес ее к хозяину в спальню. В прихожей он услышал, как Вокульский, сжав голову обеими руками, прошептал: "Боже мой!"

Войдя к пану Томашу, Вокульский уже не застал врачей.

- Вообразите только, что за роковое стечение обстоятельств! воскликнул Ленцкий. - Доктора запретили мне ехать в Париж и под угрозой смерти велели отправляться в деревню. Клянусь честью, не знаю, где укрыться от этой жары. Она и на вас действует, вы переменялись в лице... Ужасно душная квартира, правда?

- Да, правда. Разрешите, сударь, отдать вам деньги, - сказал Вокульский, вынимая из кармана толстую пачку.

- Ага... верно...

- Здесь пять тысяч рублей, это проценты до половины января. Будьте добры проверить. А вот расписка.

Ленцкий несколько раз пересчитал кипу новых сторублевок и подписал документ. Затем, отложив перо, сказал:

- Хорошо, это одно дело. А теперь относительно долгов...

- Сумма в две-три тысячи рублей, которые вы должны ростовщикам, сегодня будет уплачена...

- Только уж извините, пан Станислав, я даром не соглашусь... Вы, пожалуйста, аккуратнейшим образом отсчитывайте себе соответствующие проценты...

- От ста двадцати до ста восьмидесяти рублей в год.

- Да, да... - подтвердил пан Томаш. - Ну, а если... а если, допустим, мне понадобится еще некоторая сумма, к кому мне у вас обратиться?

- Вторую половину процентов вы получите в январе.

- Это-то я знаю. Но видите ли, пан Станислав, если б мне вдруг понадобилась некоторая часть моего капитала... Не безвозмездно, конечно... я охотно заплачу проценты...

- Шесть. - подсказал Вокульский.

- Да, шесть... или семь.

- Нет, сударь. Ваш капитал приносит тридцать три процента годовых, так что я не могу одалживать его из семи процентов...

- Хорошо. В таком случае, не лишайте себя моего капитала. Однако... понимаете... вдруг мне потребуется...

- Изъять свой капитал вы сможете хоть в середине января следующего года.

- Боже упаси! Я не стану его у вас забирать и через десять лет...

- Но я взял ваш капитал только на год...

- Как это? Почему? - удивился пан Томаш, все шире раскрывая глаза.

- Я не знаю, что будет через год. Не каждый год случаются такие выгодные дела.

Пан Томаш был неприятно поражен; с минуту он помолчал.

- А ргоров, - снова заговорил он. - Что за слухи ходят по городу, будто это вы купили мой дом?

- Да, сударь, я купил ваш дом. Но через полгода я готов его уступить вам на выгодных условиях.

Ленцкий почувствовал, что краснеет. Однако, не желая признавать себя побежденным, спросил барственным тоном:

- А сколько вы захотите отступного, пан Вокульский?

- Нисколько. Я отдам вам его за девяносто тысяч, и даже... может быть, дешевле.

Пан Томаш отшатнулся, развел руками и упал в свое глубокое кресло; из глаз его снова выкатилось несколько слезинок.

- Право, пан Станислав, - проговорил он, всхлипывая, - я вижу, что деньги могут испортить... самые лучшие отношения... Разве я в претензии на вас за то, что вы купили мой дом? Разве я упрекаю вас? А вы говорите со мною так, словно обиделись.

- Простите, сударь, - прервал Вокульский. - Но я действительно немного раздражен... наверное, от жары...

- Ах, наверное! - воскликнул пан Томаш, вставая и крепко пожимая ему руку. - Итак... простим друг другу резкие слова... Я не сержусь на вас, потому что по себе знаю, как действует жара...

Вокульский попрощался с ним и вышел в гостиную. Старского уже не было, панна Изабелла сидела одна. Увидев его, она встала; лицо ее на этот раз было приветливее.

- Вы уходите?

- Да, и хотел проститься с вами.

- А вы не забудете про Росси? - спросила она со слабой улыбкой.

- О нет. Я попрошу, чтобы ему передали венок.

- Разве вы не сами вручите его? Почему же?

- Сегодня ночью я уезжаю в Париж, - ответил Вокульский и, поклонившись, вышел.

Панна Изабелла с минуту стояла в недоумении, потом бросилась к отцу.

- Что это значит, папа? Вокульский со мною простился очень холодно и сказал, что сегодня ночью уезжает в Париж...

- Что? что? что? - вскричал пан Томаш, хватаясь обеими руками за голову. - Он, наверное, обиделся.

- Ах, правда... Я упомянула о покупке нашего дома...

- Иисусе! Что ты наделала? Ну... все пропало! Теперь я понимаю... Конечно, он обиделся... Однако, - подумав, прибавил Ленцкий, - кто же мог предположить, что он так обидчив? Скажите на милость - купец, а так обидчив!

Глава двадцатая

Дневник старого приказчика

"Уехал-таки! И как?! Пан Станислав Вокульский, великий организатор Торгово-транспортного общества, уважаемый глава фирмы с четырехмиллионным годовым оборотом, взял да и поехал в Париж, словно ящик куда-нибудь в пригород. Только накануне он говорил (мне самому!), что еще не знает, когда поедет, а на следующий день - трах-тарарах! - его и след простыл.

С шиком пообедал у почтенных господ Ленцких, выпил кофейку, поковырял в зубах - и был таков. Еще бы! Пан Вокульский - это вам не какой-нибудь приказчик, который должен выпрашивать у хозяина отпуск раз в несколько лет. Пан Вокульский - капиталист, у него шестьдесят тысяч годового дохода, он на короткой ноге с графами и князьями, стреляется с баронами и ездит куда и когда ему вздумается. А вы, наемные служаки, корпите себе над работой, за то вам и жалование платят и дивиденды.

И это, по-вашему, купец? Нет, купцу этакая блажь не пристала!

Ну, я понимаю, можно и в Париж махнуть и даже по-шаловному махнуть, да не в такое время. Тут, знаете ли, Берлинский конгресс заварил кашу, тут вон Англия зубы точит на Кипр, Австрия - на Боснию, а Италия вопит: "Подавайте нам Триест, не то худо будет!" В Боснии-то, слышать, уже кровь льется ручьем, тут и думать нечего - осенью (дайте только управиться с жатвой!) непременно вспыхнет война... А он как ни в чем не бывало - фьюить - и в Париж.

Стоп! А зачем он так спешно отправился в Париж? На выставку? Очень ему нужна эта выставка! Может быть, по сузинскому делу? Любопытно мне знать, на каких это делах можно заработать пятьдесят тысяч - вот так, в два счета? Они мне заговаривают зубы какими-то новыми машинами, не то нефтяными, не то железнодорожными, не то для сахарных заводов... А может, ангелочки мои, поехали вы не за этими необыкновенными машинами, а за самыми обыкновенными пушками?... Франция, того и гляди, сцепится с Германией... Молодой Наполеон, говорят, обретается в Англии, да ведь от Лондона до Парижа ближе, чем от Варшавы до Замостья!

Эй, пан Игнаций, погоди судить пана В. (в таких случаях лучше не называть фамилию полностью), не хули его раньше времени, а то как бы не попасть тебе впросак. Тут готовится нечто важное и тайное: и этот пан Ленцкий, некогда бывавший у Наполеона III и этот якобы актер Росси, итальянец (а Италия вдруг потребовала Триест)... и этот обед у Ленцких перед самым отъездом, и приобретение дома...

Панна Ленцкая - красавица, спору нет, но ведь она всего только женщина, и не стал бы Стах

ради нее совершать такие безумства... Тут дело смахивает на п... (в таких случаях благоразумнее всего употреблять сокращения). Тут дело смахивает на серьезную п...

Уже две недели как бедный малый уехал, и, может быть, навсегда... Письма пишет короткие и сухие, о себе ни слова, а меня такая тоска берет, что иной раз, ей-богу, места себе не нахожу. (Ну, положим, не по нему, а так, просто по привычке.)

Помню, как он уезжал. Магазин уже заперли, и я как раз за этим вот столиком пил чай (мой Ир до сих пор прихварывает). Вдруг в комнату вбегают лакей Стаха.

- Барин просит вас! - крикнул и убежал.

(Ну и распушенный шельмец, ну и бездельник! Надо было видеть, как он стал на пороге и объявил: "Барин просит!.." Скотина!)

Хотел было я его отчитать: знай, мол, болван, твой барин для тебя только барин, да его уж и след простыл.

Я поскорее допил чай, налил Иру молока в миску и пошел к Стаху. Смотрю - в подворотне лакей его заигрывает сразу с тремя девками, все три поперек себя шире. Ну, думаю, этакий лоботряс и с четырьмя бы управился, хотя... (В женщинах сам черт не разберется. Взять, к примеру, пани Ядвигу: худенькая, маленькая, этакое эфирное создание, а уже третьего мужа вогнала в чахотку.)

Поднимаюсь вверх. Двери в квартиру открыты, горит лампа, а Стах самолично укладывает чемодан. У меня сердце екнуло.

- Что это значит? - спрашиваю.

- Еду сегодня в Париж.

- Вчера ты говорил, что еще не скоро поедешь!

- Ах, вчера...

Он отошел от чемодана, подумал минутку и прибавил каким-то особенным тоном:

- Вчера... вчера я еще верил...

Слова эти неприятно озадачили меня. Посмотрел я на Стаха внимательнее и поразился. Никогда я не думал, что человек как будто здоровый, и, во всяком случае, не раненый, за несколько часов может так измениться. Глаза ввалились, лицо бледное, странное...

- Почему же у тебя так внезапно изменились планы? - спросил я, чувствуя, что спрашиваю совсем не о том, что хотел бы узнать.

- Милый мой, - ответил он, разве ты не знаешь, что иногда одно слово меняет не только планы, но и самих людей... А что уж говорить о целом разговоре, - чуть слышно прибавил он.

Он продолжал укладываться и, собирая вещи, вышел в гостиную. Прошла минута - нет его, две - все нет... Заглянул я в раскрытую дверь, а он стоит, опершись на стул, и неподвижно смотрит в окно...

- Стах...

Он очнулся:

- Чего тебе?

И опять принялся укладывать вещи.

- Что-то с тобой неладно.

- Ничего.

- Я уже давно не видел тебя в таком состоянии.

Он усмехнулся.

- Наверное, с тех пор, как зубной врач неудачно вырвал мне зуб, к тому же здоровый...

- Мне что-то не нравятся твои сборы. Ты ничего не хочешь мне сказать?

- Сказать? Ах да... В банке у нас лежит тысяч сто двадцать, так что денег вам хватит... Потом... что же еще? - спросил он сам себя. - Ага! Можешь уже не скрывать, что я купил дом Ленцких. Напротив, походи туда и назначь всем квартирную плату на прежних условиях. Пани Кшешовской не мешает повисить рублей на пятнадцать, пусть позлится; но бедняков не притесняй... Там живет какой-то сапожник, студенты, - бери с них, сколько дадут, лишь бы аккуратно платили.

Он взглянул на часы и, увидев, что время еще есть, растянулся на кушетке и замолчал, закинув руки за голову и закрыв глаза. Видеть его в таком состоянии было в высшей степени грустно.

Я присел у него в ногах и спросил:

- У тебя что-то случилось, Стах? Скажи, что с тобой? Я заранее знаю, что не смогу помочь, но, видишь ли... огорчение - это как отравы: лучше его выплюнуть...

Стасек опять улыбнулся (как я не люблю эту его улыбочку) и, помедлив, ответил:

- Помню, однажды (давно это было) сидел я в избе с каким-то субъектом, и что-то он необычайно разоткровенничался. Плел всякие небылицы о своей семье, о своих связях и подвигах, а потом весьма внимательно выслушал мою повесть. Ну, и хорошо ее использовал...

- Что ты хочешь сказать?

- Только то, старина, что поскольку я никаких признаний из тебя вытягивать не собираюсь, то и сам не намерен их делать.

- Что? - воскликнул я. - Вот как ты понимаешь дружескую откровенность?

- Полно, - ответил он, вставая. - Это, может, и милая вещь, но только для институток. Впрочем, мне не в чем изливаться, даже перед тобой. Как мне все надоело! - пробормотал он, потягиваясь.

Тут наконец явился этот дармоед-лакей; он взял чемодан Стаха и сообщил, что лошади поданы. Сели мы в экипаж, Стах и я, но до вокзала не обменялись ни словом. Он глядел на звезды и посвистывал сквозь зубы, а мне казалось, что я еду - на похороны...

На вокзале нас встретил доктор Шуман.

- Ты едешь в Париж? - спросил он.

- А ты откуда знаешь?

- О, я все знаю. Даже то, что этим же поездом едет пан Старский.

Стах вздрогнул.

- Что это за человек? - спросил он доктора.

- Бездельник, банкрот... как, впрочем, все они, - отвечал Шуман. - Ну, и... бывший соискатель руки...

- Это мне безразлично...

Шуман ничего не ответил, только исподлобья взглянул на него.

Раздались звонки и свистки. Пассажиры бросились к вагонам. Стах пожал нам руки.

- Когда ты вернешься? - спросил доктор.

- Хотел бы... Надеюсь, никогда, - ответил Стах и сел в пустое купе первого класса.

Поезд тронулся. Доктор молча смотрел на удалявшиеся огни, а я... чуть не расплакался...

Дежурные стали запирают вход на перрон, и я уговорил доктора прогуляться по Иерусалимской Аллее. Ночь была теплая, небо чистое; не припомню, когда я видел столько звезд на небе. Стах как-то рассказывал мне, что в Болгарии часто смотрел на звезды, поэтому (смейтесь, смейтесь!) я теперь решил каждый вечер поглядывать на небо... (Может, и вправду наши взоры и мысли встретятся на одной из этих мерцающих точек и Стах не будет чувствовать себя таким одиноким?)

Вдруг (сам не знаю почему) во мне зародилось подозрение, что неожиданный отъезд Стаха связан с политикой. Я решил порасспросить Шумана и, применяя обходный маневр, сказал:

- Что-то мне кажется, будто Вокульский... того, немножко влюблен.

Доктор остановился посреди тротуара и, крепко уперевшись в землю тростью, присел на нее и так расхохотался, что прохожие, к счастью немногочисленные, стали на нас оглядываться.

- Ха-ха-ха! Вы только сегодня сделали это сногшибательное открытие? Ха-ха-ха! Уморительный старик!

Острота была низкого сорта. Однако я прикусил язык и только сказал:

- Сделать это открытие было нетрудно даже людям... с меньшей сноровкой, чем у меня (кажется, я его таки поддел!). Но я, пан Шуман, люблю в своих предположениях быть осмотрительным. К тому же мне казалось маловероятным, чтобы человек выкидывал подобные глупости из-за столь заурядного явления, как любовь.

- Ошибаетесь, старина, - возразил доктор, махнув рукой. - Любовь явление заурядное с точки зрения природы, а если угодно, и господа бога. Но ваша дурацкая цивилизация, основанная на римских воззрениях, давно уже отмерших и похороненных, на интересах папства, на трубадурах, на аскетизме, кастах и тому подобных бреднях, превратила естественное чувство... знаете во что? В нервное заболевание! Ваша так называемая любовь, любовь рыцарско-церковно-романтическая, - это поистине гнусный промысел, основанный на обмане, который вполне справедливо карается пожизненной каторгой, именуемой браком. Но горе тому, кто приносит на это торжище свое сердце... Сколько эта любовь поглощает времени, усилий, способностей - и даже жизни! Я это хорошо знаю, - продолжал доктор, задыхаясь от гнева. - Правда, сам я еврей и до конца своих дней останусь евреем, но воспитывался я среди вас и даже обручился с христианкой. Ну, и нам так старательно помогали при

осуществлении наших планов, так нежно опекали нас во имя религии, морали, традиции и невесть чего еще, что она умерла, а я пытался отравиться. Это я-то, такой умный, такой лысый!

Он снова остановился посреди улицы.

- Поверьте мне, пан Игнаций, - говорил он охрипшим голосом, - даже среди зверей не сыскать такой подлой твари, как человек. В мире природы самец всегда сходил с самкой, которая ему нравится и которой он нравится. Почему-то среди животных нет идиотов. А у нас! Я еврей - значит, мне нельзя любить христианку... Он купец - значит, не вправе посягать на аристократку... А вы, человек небогатый, вообще не имеете права на какую бы то ни было женщину... Величайшая подлость эта ваша цивилизация. Я с радостью провалился бы в тартарары хоть сию минуту, лишь бы вместе с ней...

Мы шли по направлению к заставе. Поднялся сырой ветер и подул нам прямо в лицо; на западе начали собираться тучи и закрыли звезды. Все реже попадались фонари. Время от времени, громяхая, проезжала телега, обдавая нас густой пылью; запоздалые прохожие спешили домой.

"Будет дождь... Стах уже подъезжает к Гродиску", - подумал я.

Доктор нахлобучил шляпу и шел молча, видимо в сильном раздражении. У меня на душе кошки скребли, может быть потому, что вокруг становилось все темнее. Я бы никому не признался в этом, но мне самому не раз приходило в голову, что Стах... в самом деле уже охладел к политике и вконец запутался в бабьей юбке. Я, кажется, намекнул ему на это позавчера, и его ответ не рассеял моих подозрений.

- Возможно ли, - заговорил я опять, - чтобы Вокульский совершенно забыл о делах общественных, о политике, о Европе...

- Главное, о Португалии, - насмешливо ввернул доктор.

Его цинизм возмутил меня.

- Вам бы только издеваться! Однако вы не станете отрицать, что Вокульский достоин лучшей участи, нежели быть неудачливым поклонником панны Ленцкой! Когда-то он был настоящим общественным деятелем... а не жалким воздыхателем...

- Вы правы, - подтвердил доктор. - Ну, и что же? Паровоз - не кофейная мельница, а могучая машина, но стоит заржаветь в ней колесики, и она превратится в предмет бесполезный и даже опасный. Видимо, и в Вокульском есть какое-то ущербное колесико...

Ветер дул все сильнее; глаза мне засыпало песком.

- И почему именно на него обрушилось такое несчастье? - спросил я (однако небрежным тоном, чтобы Шуман не подумал, будто я хочу что-то у него выпытать).

- Причиной тому и натура Стаха и условия, созданные цивилизованным обществом.

- Натура? Он никогда не был влюбчив.

- Именно это его и погубило. Если тысячи центнеров снега упадут на землю хлопьями, они только прикроют ее, не повредив и былинки; но сто центнеров снега, сбившегося в лавину, сметают жилища и погребают людей. Если бы Вокульский часто влюблялся, каждую неделю меняя предмет страсти, он был бы свеж, как розанчик, управлял бы своим рассудком и мог бы сделать много хорошего в жизни. Но он, как скупец, копил чувства в своем сердце - и вот результат этой бережливости... Любовь хороша, когда она подобна легкой бабочке; но когда,

после долгого сна, она просыпается в душе человека, словно тигр, - спасибо за удовольствие! Одно дело человек с хорошим аппетитом и совсем другое - смертельно голодный человек.

Тучи все сгущались; мы повернули назад почти у самой заставы. Я подумал, что Стах, наверное, уже подъезжает к Руде Гузовской.

А доктор продолжал разглагольствовать, все более горячась и все яростнее размахивая тростью:

- Существует гигиена одежды и жилища, гигиена пищи и труда; низшие классы не соблюдают ее, потому среди них такая высокая смертность, недолгая жизнь и физическое вырождение. Но существует также и гигиена любви, и ее-то не только не соблюдают, но прямо-таки насилуют интеллигентные классы, в чем и заключается одна из глубочайших причин их упадка. Естество вопит: "Ешь, когда хочется!" А наперекор ему тысячи условностей хватают тебя за полу и, в свою очередь, вопят: "Нельзя!.. Будешь есть, когда мы позволим, когда ты выполнишь такие-то и такие-то требования морали, традиции, моды..." Нужно признать, что в этом смысле наиболее отсталые государства ушли дальше самых прогрессивных государств, - я имею в виду их интеллигентные классы.

И заметьте, пан Игнаций, в каком согласии действуют детская и гостиная, поэзия, роман и драма, чтобы сбить людей с толку. Вам велят искать идеал и самому быть идеальным аскетом, не только исполнять установленные, но и новые искусственные ограничения. И что же получается? Мужчина, обычно менее выдрессированный по части всей этой, с позволения сказать морали, становится добычей женщины, которую только в этом направлении и дрессируют. Таким образом, цивилизацией и в самом деле управляют женщины!

- А что в этом плохого?

- Ко всем чертям! - заорал доктор. - Неужели вы не заметили, что если, с точки зрения духовного развития, мужчину можно сравнить с мухой, то женщина еще ничтожнее мухи, ибо она даже лишена лапок и крыльев. Воспитание, традиция, а возможно, и наследственность, которые якобы направлены на то, чтобы сделать женщину высшим существом, на деле превращают ее в настоящего уродца. И это-то праздное чудовище с исковерканными ступнями, затянутым торсом и птичьим мозгом призвано воспитывать новые поколения людей! Что же оно может им привить? Учат ли детей зарабатывать на жизнь? Нет, их учат обращаться с вилкой и ножом. Учат ли их знанию людей, среди которых им придется жить? Нет, их учат нравиться, соответствующим образом кривляясь и кланяясь. Учат ли их понимать явления реальной жизни, от которой зависит наше счастье или несчастье? Нет, их учат закрывать глаза на факты и мечтать об идеалах. Наша мягкотелость, непрактичность, лень, раболепие и страшные пути глупости, с давних времен гнетущие человечество, - все это результаты педагогической системы, созданной женщинами. А наши женщины, в свою очередь, являются плодом клерикально-феодално-поэтической теории любви, попирающей гигиену и здравый смысл!

В голове у меня гудело от умозаключений доктора, а он между тем метался по улице как одержимый. К счастью, блеснула молния, упали первые капли дождя и мигом охладили запальчивого оратора; он вскочил в подвернувшуюся пролетку и приказал везти себя домой.

Стах был, наверное, уже около Рогова. Почувствовал ли он, что мы о нем говорили? И что он, бедняга, испытывал, когда одна гроза бушевала над его головой, а другая, может быть, еще более страшная, в сердце?

Фу! Ну и ливень, ну и громовая канонада! Ир, свернувшись в клубок, глухо ворчит сквозь сон при каждом ударе, а я ложусь спать и прикрываюсь одной простыней. Жаркая ночь. Господи, помилуй и спаси тех, кто в такую ночь бежит от своей беды в чужие края.

Нередко достаточно пустяка, чтобы вещи, старые, как смертный грех, вдруг предстали перед вами совсем в ином свете.

Я, например, с детства знаю Старе Място и всегда его находил тесным и грязным. Но когда мне показали как достопримечательность рисунок одного дома (и не где-нибудь, а в "Иллюстрированном еженедельнике", да еще с описанием!), я вдруг увидел, что Старе Място прекрасно... С того времени я хожу туда каждую неделю, открываю все новые и новые достопримечательности и удивляюсь, почему я раньше не обращал на них внимания.

То же и с Вокульским. Я знаю его лет двадцать и всегда считал его прирожденным политиком. Голову бы дал на отсечение, что Стах не интересуется ничем, кроме политики. Только дуэль и оваии в честь Росси заставили меня призадуматься - уж не влюблен ли мой Стах? А сейчас я в этом не сомневаюсь, особенно после беседы с Шуманом.

Что за важность, ведь и политик может влюбляться. К примеру, Наполеон I влюблялся направо и налево и все же потрясал Европу. Наполеон III также имел немало любовниц, да и сын, говорят, идет по стопам отца и уже выискал себе какую-то англичанку.

Итак, если слабость к женскому полу не компрометирует Бонапартов, то почему она должна умалять достоинства Стаха?

Я как раз размышлял над этим вопросом, когда произошло незначительное событие, которое напомнило мне давнопрошедшие времена и представило Стаха в новом свете. Ох, не политик он, а нечто совсем иное, - не могу даже хорошенько разобраться, что именно.

Иногда он кажется мне жертвой общественной несправедливости... Но ш-ш-ш, ни слова более! Раз и навсегда: общество не может быть несправедливым... Стоит только людям усомниться в этом, как тотчас начнется бог весть какой ералаш. И тогда, чего доброго, никто не станет заниматься политикой, а все начнут сводить счеты со своими ближними. Итак, лучше уж не затрагивать этого вопроса. (Как много я болтаю на старости лет, и все попусту.)

Однажды вечером сижу у себя и попиваю чаек (Ир тогда тоже был что-то не в себе), вдруг открывается дверь, и кто-то входит. Смотрю, тучная фигура, одутловатое лицо, красный нос, седой чуб. Потянул носом - в комнате запахло не то вином, не то плесенью.

"Ну, думаю, гость-то мой либо покойник, либо винодел. Ни от кого другого так пахнуть не может".

- Что за черт! - удивляется гость. - Неужто ты так возгордился, что и друзей не узнаешь?

Протираю глаза: да ведь это Махальский, собственной персоной, бывший дегустатор Гопфера! Мы с ним вместе были в Венгрии, потом здесь, в Варшаве. Последний раз виделись пятнадцать лет назад, перед его отъездом в Галицию, где он продолжал работать по винному делу.

Разумеется, мы обнялись как братья и поцеловались не раз, не два, а целых три раза...

- Когда ты приехал? - спрашиваю.

- Сегодня утром, - говорит он.

- А где же ты был до сих пор?

- Остановился я в "Деканке", но так мне там показалось скучно, что, не мешкая, я отправился к Лесишу в погребок... Ну, знаешь, вот это погребок! Помирать не захочешь!

- Что ж ты там делал?

- Немного старику помогал, а больше так сидел. Дурак я, что ли, шататься по городу, когда под боком такой погребок!

Вот настоящий винодел старого закала. Не то что нынешние франты, - им бы только по танцулькам таскаться, нет того, чтобы пристойно посидеть в погребке. Да и в погребок они в лаковых ботинках... Нет, погибнет Польша при таких никудышных купцах!

Тары-бары - так мы с ним просидели до часу ночи. Махальский остался у меня ночевать, а в шесть утра опять понесло его к Лесишу.

- А вечером что ты делаешь? - спросил я.

- Вечером загляну к Фукеру, а на ночь опять к тебе.

Он пробыл в Варшаве с неделю. Ночевал у меня, а дни проводил в погребках.

- Я бы повесился, приведишь мне целую неделю шататься по вашим улицам, - говорил он. - Толчая, пылища, жара! Так только свиньи могут жить, а не люди.

По-моему, он преувеличивает. Мне, правда, тоже приятнее сидеть в магазине, чем разгуливать по Краковскому предместью, но ведь магазин - не погребок. Чудаковат стал малый - кроме своих бочек, ничего не видит!

Конечно, толковали мы с Махальским все больше о былых временах да о Стахе. И встала перед моими глазами история его молодых лет, словно все это только вчера было.

Помню (в 1857, а может, и в 1858 году), зашел я однажды к Гопферу, Махальский тогда служил у него.

- Где пан Ян? - спрашиваю я мальчишку.

- В подвале.

Спускаюсь в подвал. Смотрю, мой Ян при свете сальной свечи с помощью ливера разливает вино из бочки по бутылкам, а в нише поодаль маячат две какие-то тени: седой старик в песочном сюртуке со свертком бумаг на коленях и паренек, остриженный ежиком, с разбойничьей физиономией. Это и был Стах Вокульский с отцом.

Я тихонько уселся (Махальский не любил, когда ему мешали при розливе) и слушал, как седой человек в песочном сюртуке монотонным голосом поучал юношу:

- Где это видано - тратить деньги на книжки! Ты их мне отдавай; сам знаешь: стоит мне бросить тяжбу - все пропало. Не книжки спасут тебя от унижения, в коем ты сейчас пребываешь, а только благополучный исход нашего процесса. Дай срок, выиграем мы в суде, получим дедово поместье, а тогда люди вспомнят, что Вокульские - старинные дворяне, да, пожалуй, и родня объявится... В прошлом месяце ты потратил двадцать злотых на книжки, а мне их-то как раз и не хватило на адвоката... Тебе бы все только книжки! Да будь ты хоть семи пядей во лбу - пока ты служишь в магазине, всякий будет тобой помыкать, даром что ты дворянин, а дед твой по матери был каштеляном. А вот как выиграю я тяжбу да уедем мы в деревню...

- Пойдемте, папаша, - пробормотал парень, исподлобья взглянув на меня.

Старик, как послушный ребенок, тотчас завернул свои бумаги в кумачовый платок и вышел с сыном, которому пришлось поддержать его на ступеньках.

- Это что за чудила? - спросил я Махальского, который как раз окончил работу и присел на

табурет.

- Эх! - махнул он рукой. - У старика в голове не все ладно, а вот парень смышленный. Зовут его Станислав Вокульский. Сообразительный, дьявол!

- Чем же он отличился?

Махальский пальцами снял нагар со свечи, нацедил мне стаканчик вина и продолжал:

- Он тут у нас уже четыре года. Насчет магазина или подвала - это он не очень... Зато механик!.. Смастерил такую машину, что накачивает воду снизу вверх, а сверху льет ее на колесо, которое вертится и, в свою очередь, приводит в движение насос. Этакая машина, братец мой, может работать до скончания веков; только что-то в ней там погнулось, и работала она всего четверть часа. Гопферы поставили ее в ресторане - на приманку посетителям, но вот уже с полгода, как она разладилась совсем.

- Вот молодец! - сказал я.

- Ну, пока-то особенно нечем хвастаться, - возразил Махальский. Заходил к нам учитель из реального училища, посмотрел насос и сказал, что он никуда не годится; а все-таки парень способный, и надо бы ему учиться. Что с тех пор у нас делается, не приведи господь! Вокульский загордился, посетителям отвечает сквозь зубы, днем клюет носом, а ночи напролет учится и все покупает книги. А папаша на эти деньги предпочитает тяжбу вести за какое-то дедовское поместье... Да ты сам слышал, что он говорил.

- Как же он думает насчет ученья?

- Говорит, поеду в Киев, в университет. Что же, пусть едет, может хоть один слуга выбьется в люди. Я ему не препятствую: когда он при мне, не неволю его, пусть читает, но наверху его донимают и приказчики и посетители.

- А Гопфер что?

- Да ничего, - продолжал Махальский, вставляя новую свечу в железный подсвечник с ручкой. - Гопфер боится его отпугнуть: дочка-то его, Кася, заглядывается на Вокульского, а парень - как знать! - может, и правда еще получит дедовское поместье.

- А он тоже неравнодушен к Касе?

- И не смотрит на нее, этаким дикарь!

Я тут же подумал, что из парня с такой светлой головой, который покупает книжки и не думает о девчонках, мог бы выйти толковый политик; в тот же день я познакомился со Стахом, и с тех пор мы неплохо ладим друг с другом.

Стах пробыл у Гопфера еще года три и за это время завел знакомства со студентами и молодыми чиновниками, которые наперебой снабжали его книжками, чтобы он мог сдать экзамены в университет.

Среди этой молодежи выделялся некий пан Леон, совсем еще мальчик (ему и двадцати лет не было); красив он был чрезвычайно, а уж умен!.. а горяч!.. Он, так сказать, помогал мне просвещать Вокульского в политике: если я рассказывал о Наполеоне и о высоком предназначении Бонапартов, то Леон говорил о Мадзини, Гарибальди и тому подобных знаменитостях. А как он умел воодушевлять людей!

- Трудись, - не раз говаривал он Стаху, - и верь, ибо сильная вера может остановить солнце, не то что исправить человеческие взаимоотношения.

- А может она определить меня в университет? - спросил Стах.

- Я убежден, - воскликнул Леон, и глаза его загорелись, - что если б ты хоть на минуту проникся той верой, которая вдохновляла первых апостолов, то сегодня же попал бы в университет!

- Или в сумасшедший дом, - усмехнулся Вокульский.

Леон забегал по комнате, размахивая руками.

- Что за ледяные сердца! Что за равнодушие! Что за пошлость кругом, восклицал он, - если даже такой человек, как ты, полон неверия. Подумай, как много ты уже сделал за такой короткий срок: ты уже столько знаешь, что впору хоть сегодня сдавать экзамен...

- Ну, что уж я совершу! - вздохнул Стах.

- Один ты - немного, но десятки, сотни таких, как ты, я... знаешь ли, что мы можем совершить?

Тут голос Леона сорвался, его душили спазмы; мы едва его успокоили.

В другой раз Леон упрекал нас в недостатке самоотречения.

- Да знаете ли вы, - взывал он, - что Христос один спас все человечество силою своего самоотречения? Насколько же лучше был бы мир, если бы постоянно рождались люди, готовые жертвовать собой!

- Не прикажешь ли мне жертвовать жизнью ради посетителей ресторана, которые шпыняют меня, как собаку, или ради приказчиков и мальчишек, которые насмеются надо мной? - спросил Вокульский.

- Не увиливай! - крикнул Леон. - Христос погиб и ради своих палачей... Но в вас нет силы духа. Растлен дух в вас! Послушай же, что говорит Тиртей:

О Спарта, сгинь, пока твое величье

Гроб прадедов - не стерт Мессиной в тлен,

И грызть святые кости псов не кличут,

И предков тень не угнана от стен.

А ты, народ, пока еще не в путах,

Мечи отцов сломай и кинь во прах.

Пусть не узнает мир, что в ту минуту

Был меч при вас, но сердцем ведал страх.{436}

- Вашими сердцами ведает страх! - повторил Леон.

Стах не очень-то легко поддавался теориям Леона, но юноша этот обладал даром убеждения прямо демосфеновским.

Помню, однажды вечером собралось нас много, молодых и старых, и все мы прослезились, слушая, как Леон рассказывает о будущем, лучшем устройстве мира, при котором исчезнут глупость, нищета и несправедливость.

- Тогда, - вдохновенно говорил он, - не будет больше различий между людьми. Дворянин и мещанин, мужик и еврей - все будут братья...

- А приказчики? - отозвался из угла Вокульский.

Но это замечание не обескуражило Леона. Он вдруг обернулся к Вокульскому, перечислил все неприятности и препятствия, мешавшие ему заниматься наукой, и закончил следующим образом:

- И вот, чтобы ты поверил, что ты ровня нам и что мы по-братски любим тебя, чтобы утих в твоём сердце гнев против нас, я... становлюсь перед тобой на колени и от имени человечества молю о прощении за все обиды.

Он действительно стал на колени перед Стахом и поцеловал ему руку. Тут все расчувствовались еще пуще, стали качать Стаха и Леона и поклялись, что за таких людей каждый из них готов отдать жизнь.

Сейчас, когда я вспоминаю те времена, мне кажется, что все это был сон. Правда, ни прежде, ни потом не встречал я такого восторженного идеалиста, как Леон.

В начале 1861 года Стах ушел от Гопфера. Он поселился у меня (в той самой комнатухе с зарешеченным окном и зелеными занавесками), бросил торговлю и стал посещать университет в качестве вольнослушателя.

Станным вышло его прощанье с магазином: я хорошо запомнил все, потому что сам зашел за ним. Он расцеловался с Гопфером, потом спустился на минутку в подвал проститься с Махальским, но немного задержался там. Сидя в столовой, я услышал какой-то шум, смех служащих и посетителей, но я не подозревал о подвохе, который они подстроили Стаху.

Вдруг вижу (ход в погреб был тут же, в помещении ресторана), как из люка высовываются две красные руки, хватаются за края, и вслед за ними показывается голова Стаха и исчезает - раз и еще раз. Посетители и прислуга покатались со смеху.

- Ага! - закричал один из завсегдатаев. - Что, трудно без лестницы выкарабкаться из погреба? А тебе захотелось из магазина да - прыг - прямо в университет! Ну и вылезай, раз ты такой умный...

Стах опять выставил руки, опять вцепился в края люка и, натужившись, высунул до половины. Я думал, у него кровь брызнет из щек.

- Ишь как карабкается... Славно карабкается, право! - воскликнул другой посетитель.

Стах закинул ногу на пол и в следующую секунду был уже наверху. Он не рассердился, однако же и никому из сослуживцев не подал руки, просто взял свой узелок и пошел к дверям.

- Что ж ты не прощаешься, пан доктор? - кричали ему вслед завсегдатаи Гопфера.

Мы молча шли по улице. Стах кусал губы, а мне уже тогда пришло в голову, что то, как Стах карабкался из подвала, - символ всей его жизни, которая прошла в попытках вырваться из магазина Гопфера в широкий мир.

Знаменательный случай! Ибо Стах и по нынешний день продолжает карабкаться вверх. И бог знает, сколько полезного для нашей страны мог бы совершить такой человек, если б на каждом шагу у него не выхватывали лестницу из-под ног и ему не приходилось бы тратить столько времени и сил, чтобы подняться на следующую ступень.

Перебравшись ко мне, он принялся работать дни и ночи напролет; иной раз меня даже зло брало. Вставал он около шести и сразу принимался за книги. К десяти бежал на лекции, потом снова читал. После четырех ходил по урокам (большей частью в еврейские дома, куда его рекомендовал Шуман) и, вернувшись, опять читал, читал, далеко за полночь, пока его не сваливал сон.

Уроки давали ему немалый заработок, и он мог бы жить безбедно, если бы время от времени его не навешал отец, который нисколько не изменился, разве только в том, что сюртук носил не песочного, а табачного цвета и бумаги свои заворачивал в синий платок. В остальном он остался таким же, каким я видел его в первый раз. Он подсаживался к сыну, раскладывал на коленях бумаги и говорил тихим, монотонным голосом:

- Все книжки да книжки! Ты выбрасываешь деньги на ученье, а мне не хватает на тяжбу. Хоть два университета окончи - не выбиться тебе из унижения, пока мы не получим дедовского поместья. Только тогда люди признают, что ты дворянин не хуже других... Тогда и родня объявится...

Все свободное от занятий время Стах посвящал опытам с воздушными шарами. Он достал большую бутылку и приготовил в ней с помощью купороса какой-то газ (не помню уж, как он назывался); газом этим он наполнял воздушный шар - правда, не очень большой, но весьма искусно сделанный. Под шаром уместил машинку с маленьким ветряным двигателем... Так и летало это сооружение под потолком, пока не портилось, стукнувшись о стенку. Тогда Стах клал заплатку на свой шар, чинил машинку, наполнял бутылку разными гадостями и снова делал свои опыты - и так без конца. Однажды бутылка разорвало, а купоросом ему едва не выжгло глаза. Но до того ли было Стаху, раз он решил, хотя бы с помощью воздушного шара, "выбиться" из незавидного своего положения!

С того времени как Вокульский поселился со мной, в магазине у нас появилась новая покупательница - Кася Гопфер. Не знаю, что ей так нравилось у нас: моя ли борода или туша Яна Минцеля? Надо сказать, что близ ее дома было по крайней мере десятка два галантерейных магазинов, однако она предпочитала наш и приходила к нам по несколько раз в неделю.

"Дайте мне штопку, или дайте катушку шелку, или иголок на десять грошей..." За такой мелочью она бегала за версту, в дождь и в ведро, а покупая на несколько грошей булавок, по полчаса просиживала в магазине и разговаривала со мной.

- Почему вы никогда не придете к нам с... паном Станиславом? спрашивала она, краснея. - Папаша... и все мы так вас любим...

Сначала меня удивляла столь неожиданная любовь старого Гопфера, и я доказывал Касе, что слишком мало знаком с ее отцом, чтобы явиться к нему с визитом. Но она твердила свое:

- Видно, пан Станислав рассердился на нас, только я уж и не знаю за что. И папаша... и все мы так к нему расположены. Право же, пану Станиславу не на что бы обижаться... Пан Станислав...

И так, говоря о пане Станиславе, она покупала шелк вместо штопки или иголки вместо ножниц.

А хуже всего то, что бедняжка таяла на глазах. Всякий раз, когда она приходила к нам купить какой-нибудь пустяк, мне казалось, что она выглядит немножко лучше. Но едва сбегал с ее лица румянец первого смущения, я убеждался, что она становится все бледнее, а глаза ее западают все глубже и глядят все грустнее.

А как она допытывалась: "Пан Станислав никогда не заходит в магазин?" Как смотрела на

дверь, ведущую в сени, к моей комнатухе, где в нескольких шагах от нее Вокульский корпел над книгами, не догадываясь, что о нем так тоскуют!

Жаль мне стало бедняжку, и однажды вечером, когда мы со Станиславом пили чай, я сказал:

- Не дурил бы ты да зашел как-нибудь к Гопферу. Старик богатый.

- А чего ради мне к нему ходить? - возразил он. - Хватит, достаточно я у него побегал... - И при этих словах его даже передернуло.

- Того ради, что Кася по тебе сохнет!

- Отстань ты со своей Касей! - оборвал он. - Девушка она предобрая, не раз украдкой пришивала мне оборванную пуговицу на пальто или подбрасывала цветок в окошко, да не пара она мне и я ей не пара.

- Голубка чистая, не девочка! - не отставал я.

- В том-то и беда. Ведь я-то не голубок. Меня могла бы привязать только такая женщина, как я сам. А такой я еще не встречал.

(Встретил он такую шестнадцать лет спустя, и, ей-богу, радоваться нечему!)

Понемногу Кася перестала бывать у нас в магазине, зато старик Гопфер явился с визитом к супругам Минцелям. Должно быть, он им что-нибудь говорил о Стахе, потому что на другой день Малгожата Минцель прибежала вниз и напустилась на меня:

- Это что за жилец у вас, по котором барышни с ума сходят? Кто он, этот Вокульский? Ясек, - обратилась она к мужу, - почему он у нас еще не был? Мы должны его сосватать, Ясек... Пусть он сейчас же идет к нам.

- Да пускай себе идет хоть и к нам, - отвечал Ян Минцель, - но что до сватовства, то уж уволь: я честный купец и сводничеством заниматься не намерен.

Пани Малгожата чмокнула его в потную щеку, словно еще не кончился медовый месяц, а он мягко отстранил ее и утерся фуляровым платком.

- Горе с этими бабами! - сказал он. - Обязательно им нужно кого-то втягивать в беду. Сватай, душенька, сватай хоть самого Гопфера, не то что Вокульского, но помни: я за это расплачиваться не буду.

С тех пор всякий раз, когда Ян Минцель отправлялся выпить кружку пива или в купеческое собрание, пани Малгожата приглашала меня и Вокульского к себе. Обычно вечер проходил так: Стах в три глотка выпивал свой чай, даже не взглянув на хозяйку, потом, засунув руки в карманы, погружался в размышления, вероятно, о своих воздушных шарах, и молчал, словно в рот набрал воды, между тем как хозяйка так и разливалась, стараясь обратить его к любви.

- Возможно ли, пан Вокульский, чтобы вы еще никогда не любили? говорила она. - Вам, насколько я знаю, лет двадцать восемь, почти столько, сколько мне... Я уже считаю себя старой бабой, а вы все еще словно невинный младенец...

Вокульский сидел, время от времени перекладывая ногу на ногу, но по-прежнему не говоря ни слова.

- О, панна Катажина - лакомый кусочек, - продолжала хозяйка. Хорошенькие глазки (только как будто один с изъяном - не помню, который) и фигурка недурна, хотя одна лопатка чуть повыше другой (но это даже мило). Носик, правда, не в моем вкусе, и рот великоват - зато

какая же это золотая душа! Добавить бы ей еще чуточку ума... Но ум, пан Вокульский, у женщины приходит с годами, примерно так к тридцати... Сама я в возрасте Каси была глупенькая - ну просто канарейка... Влюбилась в моего теперешнего мужа!

Уже на третий раз пани Малгожата приняла нас в капотике (капотик был прехорошенький, весь в кружевах), а на четвертый я вовсе не получил приглашения, один Стах. Ей-богу, не знаю, о чем они болтали. Я только видел, что Стах возвращается домой все более не в духе и жаловался, что эта баба отнимает у него драгоценное время, а пани Малгожата твердила мужу, что Вокульский очень бестолков и что ей придется немало потрудиться, пока она его сосватает.

- Поработай, душенька, поработай над ним, - поощрял ее муж, - а то жалко девушку, да и Вокульского. Страшно подумать, что такой хороший парень, который столько лет служил при магазине и мог бы после смерти Гопфера стать хозяином магазина, - что такой парень пропадает ни за что ни про что в университете! Тьфу!

Укрепившись в своих добрых намерениях, пани Минцелева уже не ограничивалась приглашениями на вечерние чаепития, от которых Стах большей частью уклонялся, но стала и сама частенько забегать в мою комнатушку, заботливо расспрашивая про Стаха, не захворал ли он, и удивляясь, как это Стах еще никогда не влюблялся, он, который едва ли не старше ее (думается все-таки, что она была старше его). В то же время с ней стало твориться что-то неладное: то она принималась плакать, то хохотать, то распекала мужа, который удирал из дому на целые дни, то пеняла мне, что я простофиля, что я жизни не понимаю и пускаю к себе каких-то подозрительных жильцов.

Словом, в доме начались такие скандалы, что Минцель даже начал худеть, несмотря на то, что поглощал все большее количество пива. А я решил: одно из двух... или откажусь от службы у Минцелей, либо попрошу Стаха съехать с квартиры.

Каким образом пани Малгожата узнала о моих затруднениях, понятия не имею. Только вбегаешь она однажды вечером ко мне в комнату и заявляет, что я ей враг, что, должно быть, я очень подлый человек, если сгоняю с квартиры такого жильца, как Вокульский. Потом прибавила, что муж ее тоже подлец, и Вокульский подлец, и вообще все мужчины подлецы, и кончила тем, что закатила истерику на моем собственном диване.

Такие сцены повторялись несколько дней подряд, и не знаю, к чему бы это привело, если б всему не положило конец самое необычайное событие, какое мне только случалось видеть.

Однажды Махальский пригласил нас с Вокульским к себе на вечер.

Мы вышли уже в десятом часу и направились, само собою, в излюбленный подвал Яна, где при свете трех сальных свечей уже сидело человек пятнадцать и среди них - пан Леон.

Пожалуй, никогда мне не забыть этой картины: собравшиеся, большей частью молодежь, заняли весь подвал; лица их выделялись на черном фоне стен, выглядывали из-за бочек или расплывались во мраке.

Радужный хозяин еще на лестнице поднес нам по огромной чарке вина (и отнюдь не дурного!); меня он окружил особым вниманием, вследствие чего у меня сразу зашумело в голове и уже через несколько минут я ничего не соображал. Поэтому я уселся в сторонке, в глубокой нише, и, совсем осовев, посматривал на гостей.

Что там происходило, толком не скажу, ибо в голове моей проносились самые дикие фантазии. Мне мерещилось, что Леон говорит, как всегда, о могуществе веры, об упадке духа и необходимости самоотречения, а присутствующие громко ему вторят. Однако дружный хор приутих, когда Леон стал толковать, что пора, мол, наконец испытать эту готовность к

подвигу. Спьяну, что ли, только мне почудилось, будто Леон вызывает собравшихся прыгнуть с виадука Новы Зъязд на проходящую под ним улицу, а в ответ все как один замолчали, а многие даже попрятались за бочки.{444}

- Значит, никто не решится на подвиг? - выкрикнул Леон, заламывая руки.

Молчание. Подвал словно вымер.

- Значит, никто?.. Никто?..

- Я, - отозвался голос, который я не сразу узнал.

Смотрю - возле догорающей свечи стоит Вокульский.

Однако вино Махальского до того было крепкое, что в эту минуту я потерял сознание.

После пирушки в подвале Стах несколько дней не являлся домой. Наконец пришел - в платье с чужого плеча, похудевший, но с высоко поднятой головой. Тогда я впервые услышал в его голосе ту жесткую нотку, от которой и поныне меня коробит.

С тех пор он совершенно изменил образ жизни. Воздушный шар вместе с двигателем забросил в угол, где их вскоре затянуло паутиной; бутылъ, в которой он изготовлял газ, отдал дворнику для воды, а в книги и не заглядывал. Так и валялись теперь эти сокровищницы человеческой мудрости одни на полке, другие на столе, одни раскрытые, другие даже не разрезанные. А он тем временем...

Случалось, что по несколько дней сряду он не бывал дома, даже не приходил ночевать; а то вдруг являлся вечером и, не раздеваясь, бросался на непостланную постель. Иногда вместо него приходили какие-то чужие люди, ночевали на диване, на кровати Стаха, а то и на моей, и не только "спасибо" не говорили, но так и уходили, не назвав себя. Нередко Стах приходил один, безвыходно просиживал несколько дней дома, ничего не делая, нервничал и все время к чему-то прислушивался, как любовник, который пришел на свидание с чужой женой и опасается, как бы вместо нее не явился муж.

Не думаю, чтобы этой чужой женой была Малгожата Минцелева, кстати она тоже не находила себе места. С утра эта женщина успевала обегать по крайней мере три костела, видимо решив повести наступление на милосердного господа бога сразу с нескольких сторон. Тотчас после обеда у нее начинались какие-то дамские заседания, участницы которых в ожидании важных событий занимались сплетнями, предоставив мужьям и детям самим о себе заботиться. К вечеру у пани Малгожаты собирались мужчины; однако эти гости без долгих разговоров отсылали хозяйку на кухню.

Не мудрено, что при такой сумятице в доме у меня тоже начал ум за разум заходить. Мне казалось, что в Варшаве стало как будто теснее и что люди кругом словно белены объелись. С часу на час я ждал некоей внезапной перемены; несмотря на это, все мы были в отличном настроении, и в головах у нас роились всевозможные планы.

Между тем Ян Минцель, не находя дома ни минуты покоя, с самого утра отправлялся пить пиво и возвращался только вечером. Он даже вспомнил пословицу: "Двум смертям не бывать, а одной не миновать" - и с той поры повторял ее до конца своей жизни.

Но вот настал день, когда Стах Вокульский совсем исчез. И только два года спустя он написал мне письмо из Иркутска, в котором просил прислать ему книжки.

Осенью 1870 года - сижу я как-то у себя в комнате после вечернего чаю (посидев перед тем у Яся Минцеля, который уже не вставал с постели), вдруг кто-то стучится.

- Herein!* - кричу.

* Войдите! (нем.)

Дверь скрипнула... смотрю, на пороге стоит какое-то бородатое чудище в тюленьей шубе мехом навыворот.

- Ну, - говорю я, - черт меня побери, если ты не Вокульский!

- Он самый, - отвечает чудище в тюленьей шкуре.

- Во имя отца и сына!.. - говорю. - Брось, - говорю, - дурака валять! Откуда ты тут взялся? Может, это только твой дух...

- Это я, жив-здоров, - говорит, - и даже хочу есть.

Снял шапку, снял доху, подсел к свече. Ей-богу, Вокульский! Борода, как у разбойника, морда, как у Лонгина, что господу нашему Иисусу Христу бок проколол, однако же - это был Вокульский собственной персоной...

- Ты совсем вернулся, - спрашиваю, - или только проездом?

- Совсем.

- Каково там, в тех краях?

- Ничего.

- Фью! А люди? - спрашиваю.

- Неплохие.

- Фью! А чем ты там жил?

- Уроками, - говорит. - И с собой еще привез рублей шестьсот.

- Фью! Фью! А что ты собираешься делать?

- Ну уж конечно не к Гопферу возвращаться! - Сказал и даже стукнул кулаком по столу. - Ты, должно быть, не знаешь, что я стал ученым, даже получил несколько благодарностей от петербургских научных обществ.

"Гопферовский слуга вышел в ученые! Стах Вокульский получил благодарность от петербургских научных обществ! Вот так история, право!" подумал я.

Чего там долго рассказывать! Поселился парень где-то на Старом Мясте и полгода жил на привезенные деньги, покупая много книг и мало съестного. Прожившись, начал подыскивать работу, и тут случилась странная вещь. Купцы не принимали его на службу, потому что он стал ученым, не принимали и ученые за его прежнюю службу у купца. И повис он, как Твардовский{447}, между небом и землею. И, может быть, даже бросился бы вниз головой с моста, если б я время от времени ему не помогал.

Страшно вспомнить, как он тогда жил. Отощал, помрачнел, одичал... Но не жаловался. Только раз, когда ему сказали, что таким, как он, тут не место, пробормотал:

- Обманули меня...

В это время умер Ясь Минцель. Вдова схоронила его по-христиански, неделю не выходила из дому, а в начале следующей недели вызвала меня к себе на совет.

Я думал, что мы с нею будем говорить о торговых делах, тем более что на столе я заметил бутылочку хорошего токая. Но пани Малгожата даже и не спросила про магазин. При виде меня она залилась слезами, словно я напомнил ей погребенного неделю назад покойника, и, налив мне порядочный стаканчик вина, жалобно заговорила:

- Когда угас мой ангел, я думала, что только я так несчастна...

- Это кто ангел? - перебил я ее. - Уж не Ясь ли Минцель? Простите, сударыня, я был искренним другом покойного, но мне трудно называть ангелом человека, который даже на смертном одре весил не менее двухсот фунтов...

- При жизни он весил триста... Видели вы что-нибудь подобное? заметила безутешная вдова. Потом снова прикрыла лицо платочком и, всхлипывая, продолжала: - Ах! Вы, пан Жецкий, никогда не научитесь быть тактичным... Ах! Какой удар! Покойник мой, правду сказать, никогда не был ангелом, особенно в последнее время, но все же это для меня ужасная потеря... Страшная, невозвратимая!

- Положим, последние полгода...

- Да что там полгода! - вскричала она. - Мой бедный Ясь уже три года хворал, а лет восемь, как... Ах, пан Жецкий! Сколько несчастий проистекает в семейной жизни от этого мерзкого пива! Сколько лет, поверите ли, я жила все равно что без мужа... Но какой это был человек, пан Жецкий! Только сейчас я почувствовала всю тяжесть моего горя...

- Бывает еще хуже, - отважился я сказать.

- О да! - простонала бедная вдова. - Вы совершенно правы, бывает еще хуже. К примеру, Вокульский, который, кажется, уже вернулся... Правда ли, что он до сих пор не нашел работы?

- Никакой.

- Где же он обедает? Где живет?

- Где обедает? Не уверен, обедает ли он вообще. А где живет? Нигде.

- Ужасно! - расплакалась пани Малгожата. - Мне кажется, - продолжала она после минутного раздумья, - я исполню последнюю волю дорогого моего покойника, если попрошу вас...

- Слушаю, сударыня...

- Чтобы вы пустили Вокульского к себе в комнату, а я буду посылать вам вниз два обеда, два завтрака...

- Вокульский на это не согласится, - прервал я.

Тут пани Малгожата опять ударилась в слезы. С горя, что ли, по покойному мужу, она вдруг впала в такую ярость, что раза три обозвала меня растяпой, простаком, не знающим жизни, уродом и в конце концов заявила, что я могу убираться, потому что она сама справится с магазином. А потом извинялась передо мной и заклинала меня всеми святыми, чтобы я не обижался на ее слова, потому что она потеряла разум от горя.

С того дня я весьма редко видел свою хозяйку. А полгода спустя Стах сообщил мне, что... женится на Малгожате Минцель.

Поглядел я на него... Он махнул рукой.

- Знаю, - сказал он, - что я свинья... Но... все же не такая свинья, как те, кто тут пользуется у вас всеобщим уважением.

Сыграли шумную свадьбу, на которую явилось (не знаю даже откуда) множество приятелей Вокульского (а уж ели, черти, а уж пили за здоровье молодых - целыми кувшинами!). Стах обосновался наверху, у своей жены. Сколько мне помнится, весь багаж его составляли четыре связки книжек и научных приборов, а мебель - разве что чубук да шляпная картонка.

Приказчики хихикали (разумеется, исподтишка) над новым хозяином, а мне было больно, что Стах так легко порвал со своим героическим прошлым и со своей бедностью. Странная вещь человеческая натура: чем менее мы сами склонны к мученичеству, тем настойчивее требуем его от своих ближних.

- Каков наш Брут! - говорили между собой знакомые. - Продался-таки старой бабе!.. Учился, разные штуки выкидывал - и... бац!

В числе наиболее суровых судей были два отвергнутых претендента на руку пани Малгожаты.

Однако Стах очень скоро всем им заткнул рты, сразу принявшись за работу. Примерно неделю спустя после свадьбы он явился в восемь часов утра в магазин, занял место покойного Минцеля за конторкой и стал обслуживать покупателей, вести счета и давать сдачу, словно был просто наемным приказчиком.

Мало того, уже через год он завязал сношения с московскими купцами, что весьма благоприятно повлияло на ход наших дел. Смело могу сказать, что за время его управления оборот наш утроился.

Я с облегчением вздохнул, видя, что Вокульский не собирается даром есть хлеб; да и приказчики перестали хихикать, убедившись, что Стах работает в магазине больше, чем они, - и вдобавок еще выполняет весьма нелегкие обязанности наверху. Мы хоть по праздникам отдыхали, а ему, бедняге, приходилось тогда брать жену под руку и маршировать - до обеда в костел, после обеда в гости, а вечером в театр.

При молодом муже пани Малгожата прямо переродилась. Она купила пианино и начала учиться музыке, наняв учителя-старичка, "чтобы (как говорила она) Стасек не ревновал". А время, свободное от музыкальных занятий, проводила в совещаниях с портнихами, сапожниками, парикмахерами и зубными врачами, при их помощи хорошея день ото дня.

А как она была нежна с мужем! Частенько просиживала она в магазине по нескольку часов, не сводя глаз со своего Стасюлечка. Заметив, что среди покупательниц попадаются и хорошенькие, она упрятала Стаха за шкафы и вдобавок велела поставить ему там будку, где он сидел над своими приходно-расходными книгами, как дикий зверь в клетке.

Однажды из этой будки раздался страшный грохот. Я бросился туда, за мной приказчики... Что за картина! Пани Малгожата лежит на полу, под опрокинутым столом, вся залитая чернилами, стул сломан, Стах стоит злой и смущенный... Подняли мы хозяйку, всхлипывавшую от боли, и по ее восклицаниям догадались, что она сама вызвала эту катастрофу, неожиданно усевшись на колени к мужу. Ветхий стул не выдержал двойной тяжести, а хозяйка, падая, ухватилась за стол и опрокинула его на себя вместе со всем добром.

Стах со стоическим спокойствием принимал шумные изъявления супружеской нежности, утешаясь подсчетами и торговой корреспонденцией. Между тем пани Малгожата не только не

охладевала, а все пуще распалаясь, и когда супругу ее случилось выйти на улицу - ноги ли размять после утомительного сидения или по какому-нибудь делу, она бежала за ним и... подсматривала, не пошел ли он на свидание!

Иногда, главным образом зимой, Стах вырывался из дому и уезжал на неделю к знакомому леснику; там он по целым дням охотился и бродил по лесу. В таких случаях хозяйка уже на третий день отправлялась в погоню за своим дорогим беглецом, продиралась за ним сквозь чащу и в конце концов водворяла-таки беднягу домой.

Первые два года Вокульский молча терпел этот суровый режим. На третий стал каждый вечер заходить ко мне в комнату - поболтать о политике. Бывало, разговоримся мы о старых временах, Стах, оглянувшись по сторонам, прервет прежний разговор и заведет речь о чем-нибудь другом: "Послушай, Игнаций..." - как вдруг, словно по команде, сверху бежит за ним служанка:

- Барыня вас зовет! Барыне дурно!

Махнет несчастный рукой и идет к своей барыне, так и не успев сказать то, что собирался.

Прошло три года такой жизни (на которую нельзя было, впрочем, пожаловаться), и я заметил, что этот железный человек начинает сгибаться под бархатной лапкой своей супруги. Он побледнел, ссутулился, забросил свои научные книжки, вместо них принялся за газеты и каждую свободную минуту проводил со мною, беседуя о политике. Иногда он уходил из магазина раньше времени и вместе со своей барыней отправлялся в театр или в гости, а потом начал и у себя принимать по вечерам; собирались у них дамы, старые и страшные как смертный грех, и пожилые господа в отставке, любители виста.

Стах не играл с ними, он только ходил вокруг столиков и присматривался.

- Смотри, Стах, - не раз говорил я ему, - берегись! Тебе сорок три года... В этом возрасте Бисмарк только начинал карьеру.

Такие слова на миг пробуждали его от спячки. Он бросался в кресло и задумывался, опустив голову на руки. Однако тут же подбегала к нему пани Малгожата, восклицая:

- Стасюлечек! Опять ты задумался, это очень нехорошо... А у гостей рюмки пустые...

Стах вставал, доставал из буфета новую бутылку, наливал восемь рюмок и обходил столы, присматриваясь, как гости играют в вист.

Таким образом, медленно и постепенно, лев превращался в вола. Когда я видел его в турецком халате, в домашних, шитых бисером туфлях и в шапочке с шелковой кисточкой, я не мог поверить, что это тот самый Вокульский четырнадцать лет назад в подвале Махальского крикнул:

- Я!..

Когда Кохановский писал:

Дракона грозного ты оседлаешь

И, словно агнца, льва ты обуздаешь{451},

он, несомненно, имел в виду женщину... Они укротители и поработители мужского пола!

Между тем на пятом году своего второго супружества пани Малгожата вдруг стала краситься... Сначала незаметно, потом все энергичней и все новыми средствами... А

прослышав о каком-то эликсире, который якобы возвращал пожилым дамам свежесть и очарование юности, она однажды вечером так старательно натерлась им с головы до пят, что вызванные в ту же ночь доктора уже не могли ее спасти. Бедняжка скончалась через двое суток от заражения крови, сохранив сознание лишь настолько, чтобы вызвать нотариуса и отказать все состояние дорогому своему Стасюлечку.

Стах и после этого удара, по своему обыкновению, молчал, но еще более помрачнел. Получив несколько тысяч годового дохода, он перестал заниматься торговлей, порвал со всеми знакомыми и с головой зарылся в научные книжки.

Часто я говорил ему: "Ну, что ты сидишь сиднем, ступай к людям, развлекись, ведь ты еще молод, можешь второй раз жениться..."

Ничего не помогало...

Однажды (полгода спустя после смерти пани Малгожаты), видя, что парень совсем опустился, я как-то сказал ему:

- Пошел бы ты, Стах, в театр! Сегодня дают "Виолетту"; ведь вы ее слушали с покойной в последний раз...

Он вскочил с дивана, бросил книжку и сказал:

- Знаешь... ты прав! Посмотрю-ка я, как это сейчас играют.

Пошел он в театр, и... на следующий день я его не узнал: в старике проснулся мой прежний Стах. Он расправил плечи, глаза у него заблестели, голос окреп.

С тех пор он зачастил в театры, концерты и на лекции.

Вскоре отправился он в Болгарию, где нажил огромное состояние, а через несколько месяцев по его возвращении одна старая сплетница (пани Мелитон) сказала мне, что Стах влюблен... Я посмеялся над глупой болтовней: какой же влюбленный станет рваться на войну? Только сейчас - увы! - начинаю я допускать, что баба была права...

Впрочем, об этом возродившемся Стахе Вокульском ничего не скажешь наверняка. А ну, как?.. О, вот бы я посмеялся над доктором Шуманом, который так издевается над политикой!.."

Глава двадцать первая

Дневник старого приказчика

"Политическое положение настолько шатко, что меня отнюдь не удивило бы, если бы к декабрю разразилась война.

Всем почему-то кажется, что война может вспыхнуть только весной; видно, они уже забыли, что австро-прусская и франко-прусская войны начались летом. Не понимаю, откуда это предубеждение против зимних кампаний? Зимой закрома полны и дороги убиты, словно камень, между тем как весной и у мужика с хлебом туго, и дороги раскисают; где пройдет батарея - в пору хоть купаться.

А посмотришь с другой стороны - долгие зимние ночи, отсутствие теплой одежды и жилья для солдат, тиф... Право же, я не раз благодарил бога за то, что он не создал меня полководцем Мольтке: вот, бедняга, должно быть, ломает себе голову!

Австрийцы, вернее венгерцы, уже далеко забрались в глубь Боснии и Герцеговины, где их

встречают весьма негостеприимно. Объявился даже некий Гази Лоя, как говорят, прославленный партизан; он доставляет им много хлопот. Жаль мне венгерской пехоты, но и то сказать, теперешние венгерцы ни к черту не годятся! Когда их в 1849 году душили черно-желтые{453}, они кричали: "Каждый народ вправе защищать свою независимость!" А теперь что? Сами лезут в Боснию, куда их никто не приглашал, а боснийцев, которые оказывают им сопротивление, называют мошенниками и разбойниками.

Ей-богу, я все меньше понимаю теперешнюю политику! И кто знает, может, Стах Вокульский прав, что перестал ею интересоваться (если только это правда).

Да что это я все разглагольствую о политике, когда в собственной моей жизни произошла такая важная перемена! Кто бы поверил, что уже неделя, как я перестал заниматься магазином - разумеется, на время, иначе, верно, я одурел бы со скуки.

Дело вот в чем. Стах пишет мне из Парижа (он и перед отъездом просил о том же), чтобы я занялся домом, который он купил у Ленцких. "Не было печали!" - подумал я, да что поделаешь! Сдам магазин Лисецкому и Шлангбауму, а сам - айда в разведку, на Иерусалимские Аллеи. Перед тем спросил я Клейна, который живет в доме Стаха, что там слышно? Он вместо ответа за голову схватился.

- Есть там какой-нибудь управляющий?

- Есть, - поморщившись, отвечает Клейн. - Живет на четвертом этаже, вход с улицы.

- Хватит, - говорю я, - хватит, пан Клейн!

(Не люблю я выслушивать чужие мнения, прежде чем не составлю собственного. К тому же Клейн, парень еще молодой, легко мог бы зазнаться, заметив, что старшие обращаются к нему за сведениями.)

Что ж! Делать нечего. Посылаю отутюжить мою шляпу, плачу два злотых, на всякий случай кладу в карман пистолет - и шагом марш в сторону костела Александра.

Смотрю - да, вот дом, желтый, четырехэтажный, номер сходится... стой! Вот и дощечка с именем и фамилией владельца: "Станислав Вокульский"... (Это, должно быть, старик Шлангбаум распорядился.)

Вхожу во двор... Э, плохо дело!.. Несет, черт возьми, как в аптеке. Мусор громоздится кучей чуть не до второго этажа, по канавам течет мыльная вода. Только тут я заметил, что во флигеле на первом этаже помещается "Парижская прачечная", а в ней, вижу, - девки, здоровенные, как двугорбые верблюды. Это ободрило меня.

- Дворник! - крикнул я.

Еще с минуту во дворе было пусто, потом показалась толстая баба, до такой степени замызганная, что я не мог понять, каким образом подобное количество грязи уживается по соседству с прачечной, вдобавок еще парижской.

- Где дворник? - спрашиваю, притронувшись рукой к шляпе.

- А вам чего? - огрызнулась баба.

- Я пришел от имени владельца дома.

- Дворник в каталажке сидит, - отвечает баба.

- За что же?

- Ишь ты, какой любопытный! - орет она. - За то, что ему хозяин жалованья не платит.

Хорошенькие новости узнаю я с самого начала!

Ясное дело, после дворника пошел я к управляющему, на четвертый этаж. Уже в третьем я услышал детский визг, шлепки и истошный женский крик:

- Ах негодники! Ах паршивцы! Вот тебе! Вот тебе!

Подхожу - двери настезь, на пороге некая дама в сомнительной белизны кофте хлещет ремнем троих ребятишек, да так, что свист стоит.

- Простите, - говорю, - не помешал ли я?

При виде меня дети бросились врассыпную, а дама в кофте, спрятав ремень за спину, сконфуженно спросила:

- Вы не хозяин ли?

- Не хозяин, но... пришел от его имени к вашему уважаемому супругу... Я Жецкий.

Дама с минуту недоверчиво разглядывала меня и наконец крикнула:

- Вицек, сбегай на склад за отцом... А вы, может быть, подождете в гостиной...

Между мною и дверьми прошмыгнул оборванный мальчуган и, пулей выскочив на лестницу, съехал вниз верхом на перилах. Я же, чувствуя себя весьма неловко, прошел в гостиную, главным украшением которой служил диван с торчавшими из сиденья ключьями конского волоса.

- Вот как тут живется управляющему! - заметила хозяйка, указывая мне на столь же ободранный стул. - Как будто и у богатых господ служит мой муж, а если бы он не ходил на угольный склад да не брал переписывать бумаги у адвокатов, так нам и есть было бы нечего. Вот она, наша квартира, вы только поглядите: за три этих чулана мы еще платим сто восемьдесят рублей в год...

Тут из кухни до нас донеслось зловещее шипение. Дама в кофте выбежала вон, громко прошептав за дверь:

- Казя, ступай в гостиную и присмотри за господином!

В комнату вошла девочка, очень худенькая, в коричневом платьице и грязных чулочках. Она присела на стул у двери и уставилась на меня взглядом, столь же опасливым, сколь и грустным. Вот уж, право, не думал, что на старости лет меня станут принимать за вора.

Так мы просидели минут пять, наблюдая друг за другом и упорно храня молчание; вдруг на лестнице раздался шум и грохот, и в ту же минуту в переднюю вбежал тот самый оборванный мальчуган, которого звали Вицеком, а вслед ему кто-то сердито крикнул:

- Ах ты пострел! Уж я тебе...

Я догадался, что Вицек, должно быть, отличался довольно живым нравом и что тот, кто бранился, был его отцом. И правда, вскоре появился сам управляющий, в испачканном сюртуке и обтрепанных внизу брюках. Лицо его обросло густой седоватой щетиной, глаза были красны. Войдя, он вежливо поклонился и спросил:

- Кажется, я имею честь говорить с паном Вокульским?

- Нет, сударь, я только друг и уполномоченный пана Вокульского...

- Ах, верно! - прервал он, протягивая мне руку. - Я имел удовольствие видеть вас, сударь, в магазине... Прекрасный магазин! - вздохнул он. - От таких магазинов берутся доходные дома, а... а от дворянских поместий такие вот квартиры...

- У вас, сударь, было поместье?

- Э! Да что там... Вы, наверное, хотите познакомиться с балансом дома? Расскажу вам вкратце. У нас тут два рода жильцов: одни уже полгода вообще ничего не платят, а другие вносят в магистрат штрафы или платят за хозяина задолженность по налогам. Причем дворник жалованья не получает, крыша протекает, из участка нас теребят, чтобы мы вывезли мусор, один жилец подал на нас в суд по поводу погреба, а двое других судятся из-за чердака... Что же касается тех девяноста рублей, - прибавил он смущенно, - которые я задолжал уважаемому пану Вокульскому...

- Полноте, сударь, - прервал я. - Стах... то есть пан Вокульский, наверное, спишет со счета ваш долг до октября, а затем заключит с вами новый контракт.

Обедневший экс-помещик горячо пожал мне обе руки.

Управляющий, некогда владевший усадьбой, представлялся мне весьма любопытной личностью; но еще более любопытным показался мне доходный дом, не приносящий никаких доходов. Я по природе робок, стесняюсь говорить с незнакомыми людьми и почти страшусь переступить порог чужой квартиры... (Боже мой! Как давно я уже не был в чужой квартире...) Однако на этот раз в меня словно бес вселился, и мне захотелось непременно познакомиться с жильцами этого странного дома.

В 1849 году бывало и жарче, а ведь шли же мы вперед!

- Сударь, - обратился я к управляющему, - может, вы будете добры... представить меня кое-кому из жильцов? Стах... то есть пан Вокульский... просил меня заняться его делами, пока он не вернется из Парижа...

- Париж! - вздохнул управляющий. - Я знаю Париж тысяча восемьсот пятьдесят девятого года... Помню, как встречали императора, возвращавшегося после итальянской кампании...

- Как! - вскричал я. - Вы видели триумфальный въезд Наполеона в Париж?

Он простер ко мне руки и воскликнул:

- Я видел нечто получше, сударь... Во время кампании я был в Италии и видел, как итальянцы принимали французов накануне битвы под Маджентой...

- Под Маджентой? В тысяча восемьсот пятьдесят девятом году?

- Под Маджентой, сударь...

Посмотрели мы друг другу в глаза - я и этот экс-помещик, который, видимо, не мог отважиться вывести пятна со своего сюртука. Посмотрели мы, говорю я, друг другу в глаза... Маджента! тысяча восемьсот пятьдесят девятый год! Эх, боже ты мой...

- Скажите, - обратился я к нему, - как же вас принимали итальянцы накануне битвы под Маджентой?

Экс-помещик уселся в ободранное кресло и заговорил:

- В тысяча восемьсот пятьдесят девятом году, пан Жецкий... Кажется, я имею честь...

- Да, сударь, я Жецкий, поручик венгерской пехоты, сударь.

Опять мы посмотрели друг другу в глаза. Эх! Боже ты мой...

- Рассказывайте дальше, милостивый государь, - сказал я, пожимая ему руку.

- В тысяча восемьсот пятьдесят девятом году, - продолжал экс-помещик, я был моложе на девятнадцать лет и имел десять тысяч рублей годового дохода. В те-то времена, пан Жецкий!.. Правда, сюда входили не только проценты, но и кое-что из капитала. Поэтому, когда отменили крепостное право...

- Ну, - не вытерпел я, - мужики тоже люди, пан...

- Вирский, - подсказал управляющий.

- Пан Вирский, мужики...

- Меня мужики не интересуют, - прервал он. - Главное, что в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году я имел десять тысяч рублей ежегодно (считая и ссуды) и находился в Италии. Мне интересно было посмотреть, как выглядит страна, из которой выгоняют пруссаков... Жены и детей у меня тогда не было, беречь себя было не для кого, а потому я, интереса ради, ехал с французским авангардом... Направлялись мы, сударь мой, под Мадженту, хотя и не знали еще, ни куда мы идем, ни кто из нас завтра увидит закат солнца. Знакомо ли вам это чувство, когда человек, неуверенный в завтрашнем дне, оказывается в обществе людей, также неуверенных в завтрашнем дне?

- Знакомо ли мне! Дальше, дальше, пан Вирский!

- Не сойти мне с этого места, - говорил экс-помещик, - если это не самые прекрасные минуты в жизни! Ты молод, весел, здоров, на шее у тебя не сидят жена и дети, пьешь да песни поешь, а перед глазами у тебя - темная стена, за которой прячется завтрашний день... Эй! - кричишь. - Налейте вина, а то я не знаю, что там, за этой темной стеной... Эй, вина! И поцелуев!.. И такое бывало, пан Жецкий, - шепнул управляющий, наклоняясь ко мне.

- Но как же вы шли с французским авангардом под Мадженту?.. - прервал я.

- Шел я с кирасирами, - продолжал управляющий. - Вы знаете кирасир, пан Жецкий? На небе сияет одно солнце, а в эскадроне - сто солнц...

- Тяжеленькие у них доспехи, - заметив я. - Пехота крошит их, как стальной щелкунчик орешки...

- Так вот, приближаемся мы, пан Жецкий, к какому-то итальянскому городку, а тамошние крестьяне дают знать, что неподалеку стоит австрийский корпус. Посылаем мы их в этот городок с приказом, а вернее - с просьбой, чтобы жители, когда завидят полк, воздержались от приветственных возгласов...

- Само собой, - сказал я. - Раз неприятель поблизости...

- Через полчаса мы уже были там. Уличка узкая, по обеим сторонам толпится народ, еле-еле проедешь по четверо в ряд, а в окнах и на балконах женщины. Что за женщины, пан Жецкий! У каждой в руках букет роз! Те, что внизу, на улице, не то чтобы крикнуть, вздохнуть боятся - австрийцы-то близко... Зато женщины на балконах обрывают, сударь мой, свои букеты и осыпают лепестками роз, словно снегом, потных, покрытых пылью кирасир... Ах, пан Жецкий, если бы вы видели этот снег - пунцовый, розовый, белый и эти ручки, и этих итальянок... Наш

полковник только подносил пальцы к губам и посылал воздушные поцелуи направо и налево. А снег лепестков все сыпал и сыпал на золотые кирасы, шлемы и фыркающих лошадей...

В довершение всего какой-то старик итальянец с белыми до плеч волосами, опираясь на суковатую палку, выскочил на середину улицы, обхватил за шею лошадь полковника, поцеловал ее и, крикнув: - "Evviva Italia!"* - тут же свалился мертвый... Вот каков был канун Мадженты!

* Да здравствует Италия! (итал.)

Так повествовал экс-помещик, и слезы катились из его глаз на испачканный сюртук.

- Черт меня побери, пан Вирский, - вскричал я, - если Стах не отдаст вам квартиру бесплатно!

- А я плачу сто восемьдесят рублей! - всхлипывал управляющий.

Мы оба утерли глаза.

- Ну, сударь, - сказал я, помолчав, - Маджента Маджентой, а дело делом. Вы, может, представите меня кое-кому из жильцов?

- Идемте, - отвечал управляющий, срываясь с обтрепанного кресла. Идемте, я покажу вам самых интересных...

Он выбежал из гостиной и, сунув голову в дверь, которая вела, кажется, в кухню, закричал:

- Маня! Мы уходим... А с тобой, Вицек, я вечером посчитаюсь...

- Я не хозяин, чего со мною считаться, - отвечал детский голосок.

- Простите его, - попросил я управляющего.

- Как бы не так! Да он без трепки и не уснет... Хороший мальчишка, продолжал он, - смывленный, но уж очень отчаянный!..

Мы вышли из квартиры и остановились у других дверей на той же площадке. Управляющий осторожно постучал, а у меня вся кровь отхлынула от головы к сердцу, а от сердца к ногам. Может быть, она потекла бы и в башмаки и дальше по лестнице, до самых ворот, если бы изнутри не ответили:

- Войдите!

Мы вошли.

Три койки. На одной, держа в руках книжку и закинув ноги на спинку кровати, растянулся обросший черной щетиной молодой человек в студенческой тужурке; две другие постели выглядели так, словно по комнате пронесся ураган и все перевернул вверх дном. Увидел я также сундук, пустой чемодан и великое множество книг, валявшихся на полках, на сундуке и на полу. В комнате было несколько стульев, гнутых и обыкновенных, и некрашенный стол; присмотревшись, я заметил на нем намалеванные квадратики шахматной доски и разбросанные шахматы.

И в ту же минуту мне чуть не сделалось дурно: рядом с шахматами стояло два черепа - один с табаком, а другой с сахаром.

- Чего надо? - спросил черноволосый молодой человек, не поднимаясь с постели.

- Это пан Жецкий, уполномоченный хозяина... - объяснил управляющий, указывая на меня.

Молодой человек приподнялся, опираясь на локоть, пронзительно глянул на меня и сказал:

- Хозяина?.. В настоящую минуту я тут хозяин и отнюдь не припоминаю, чтобы я назначал этого господина своим уполномоченным...

Ответ был так поразительно прост, что мы с Вирским оба остолбенели.

Между тем молодой человек лениво поднялся с постели и без излишней поспешности принялся застегивать на себе брюки и жилетку. Как ни методически предавался он этому занятию, я уверен, что по меньшей мере половина пуговиц на его костюме осталась незастегнутой.

- А-а-а-а! Садитесь, господа, - проговорил он, зевая и делая такой жест, что для меня осталось неясным, где именно предлагает он нам расположиться на чемодане или на полу.

- Жарко, пан Вирский, не правда ли? - прибавил он. - А-а-а-а!

- Кстати, сосед из квартиры напротив жалуется на вас, господа! усмехнулся управляющий.

- За что же?

- За то, что изволите ходить нагишом... по комнате...

Молодой человек возмутился:

- Рехнулся старик, что ли? Он, может быть, хочет, чтобы мы в такую жару напяливали шубы? Наглость, честное слово!..

- Ну, - урезонивал его управляющий, - вы, господа, должны принять во внимание, что у него взрослая дочка.

- А мне какое дело? Я ей не отец! Вот старый остолоп, честное слово! Да еще врет, потому что мы нагишом не ходим.

- Я сам видел... - не утерпел управляющий.

- Честное слово, вранье! - воскликнул молодой человек, краснея от гнева. - Правда, Малесский ходит без рубашки, зато в кальсонах, а Паткевич без кальсон, зато в рубашке. Таким образом, панна Леокадия видит полный комплект...

- Да, и вынуждена завешивать все окна.

- Это старик завешивает, а не она, - возразил студент, махнув рукой. А она подсматривает в щелку. Впрочем, простите, пожалуйста: если панне Леокадии можно горланить на весь двор, то Малесский и Паткевич имеют право ходить у себя в комнате в чем им угодно.

Говоря это, молодой человек ходил большими шагами из угла в угол. Каждый раз, когда он оборачивался к нам спиной, управляющий подмигивал мне и строил гримасы, выражавшие полную безнадежность.

С минуту все молчали; наконец управляющий заговорил:

- Вы, милостивые государи, задолжали нам за четыре месяца...

- Опять вы за свое! - закричал молодой человек, глубоко засовывая руки в карманы. - Сколько же раз еще я буду вам повторять, чтобы вы с этими глупостями обращались не ко мне, а к Паткевичу или Малесскому? Ведь это так просто запомнить: Малесский платит за четные месяцы - февраль, апрель, июнь, а Паткевич - за нечетные: март, май, июль...

- Да ведь никто из вас вообще никогда не платит! - воскликнул управляющий, выходя из себя.

- А кто же виноват, если вы не являетесь вовремя? - заорал молодой человек, размахивая руками. - Сто раз вам говорили, что Малесский платит за четные месяцы, а Паткевич - за нечетные!

- А вы, уважаемый, за какие?

- А я, почтеннейший, ни за какие, - выкрикнул молодой человек, угрожающе помахав кулаком перед самыми нашими носами, - ибо я принципиально не плачу за квартиру! Кому я обязан платить? За что? Ха-ха! Ловкачи, нечего сказать!

Он еще быстрее зашагал по комнате, не переставая саркастически фыркать. Наконец фыркание перешло в свист, и молодой человек устоял в окне, вызывающе повернувшись к нам спиной.

Тут у меня иссякло терпение.

- Позвольте, сударь, заметить, - сказал я, - что подобное неуважение к договору весьма оригинально... Кто-то предоставляет вам квартиру, а вы считаете возможным ему не платить...

- Кто предоставляет мне квартиру? - взревел молодой человек, усевшись на подоконнике раскрытого окна и с силой раскачиваясь назад и вперед, словно собираясь выброситься с четвертого этажа. - Я сам занял это помещение и останусь в нем до тех пор, пока меня не выкинут вон. Договоры!.. Да подите вы со своими договорами... Если общество хочет, чтобы я платил за квартиру, так пусть платит мне за уроки столько, чтобы хватило и на квартирную плату... Хороши тоже!.. За три урока ежедневно я получаю пятнадцать рублей в месяц; за еду берут у меня девять рублей, за стирку и услуги - три... А форма, а взносы в университет? А тут еще плати им за квартиру! Выгоняйте меня на улицу, - в раздражении говорил он, - пусть меня подцепит живодер и прикончит, стукнув палкой по башке... Пожалуйста, пользуйтесь вашим правом, но замечаний и выговоров я не потерплю.

- Не понимаю, зачем так горячиться, - спокойно сказал я.

- Как же не горячиться! - возразил молодой человек, раскачиваясь все сильнее. - Раз уж общество не убило меня при моем рождении, раз оно велит мне учиться и сдавать десятки экзаменов, оно тем самым берет на себя обязательство предоставить мне работу, обеспечивающую мое существование... Между тем оно либо вовсе не дает мне работы, либо обжуливает при оплате... Так если общество не выполняет договора в отношении меня, с какой стати я буду выполнять обязательства по отношению к нему? Впрочем, не о чем говорить: я принципиально не плачу за квартиру, и баста. Тем более что теперешний домовладелец не строил этого дома: он не обжигал кирпичей, не замешивал известки, не возводил стен, не рисковал сломать себе шею. Он явился с деньгами, может даже и краденными, заплатил другому господину, который тоже, может быть, кого-нибудь обокрал, и на этом основании хочет превратить меня в своего раба! Курам на смех!

- Простите, - сказал я, приподнимаясь, - пан Вокульский никого не обкрадывал... Его богатство - плод долгих трудов и бережливости...

- Да бросьте вы, - прервал молодой человек. - Мой отец был талантливый врач, он работал

дни и ночи, как будто недурно зарабатывал и имел возможность откладывать... целых триста рублей в год! А ваш дом стоит девяносто тысяч, значит, чтобы приобрести его честным трудом, моему отцу понадобилось бы жить и выписывать рецепты триста лет. Не поверю я, чтобы новый владелец работал триста лет...

У меня голова шла кругом от этих рассуждений, а молодой человек все не унимался:

- Можете выгнать нас, пожалуйста! Тогда-то вы убедитесь, как много потеряли. Все прачки и кухарки в этом доме иссохнут с тоски, а Кшешовской ничто не помешает выслеживать своих соседей, подсчитывать, сколько гостей к кому приходит и кто сколько крупинок кладет в суп... Пожалуйста, выгоняйте нас! То-то панна Леокадия примется за свои гаммы - с утра сопрано, а после обеда - контральто... И ко всем чертям полетит этот дом, где лишь мы одни еще кое-как поддерживаем порядок!

Мы собрались уходить.

- Так вы решительно не будете платить? - спросил я.

- И не подумаю.

- Может быть, начнете хотя бы с октября?

- Нет, сударь мой. Мне жить осталось недолго, так я хочу хоть один принцип провести до конца: если общество требует, чтобы отдельные личности уважали свои обязательства по отношению к нему, то пусть же и оно соблюдает свои обязательства перед отдельными личностями. Если я должен кому-то платить за квартиру, пусть и другие платят мне за уроки так, чтобы мне хватало на квартирную плату. Понятно вам?

- Не совсем, сударь, - отвечал я.

- Не удивительно, - сказал молодой человек. - К старости мозг увядает и теряет способность воспринимать новые истины.

Мы раскланялись с ним и вышли. Молодой человек запер за нами дверь, но тут же выскочил на площадку и крикнул:

- И пусть судебный пристав приведет с собою двух городских, потому что меня придется выносить из квартиры!..

- Всенепременно, сударь! - ответил я ему с любезным поклоном, в душе, однако, решив, что не следует выбрасывать подобного оригинала.

Когда этот удивительный юноша удалился наконец в свою комнату и запер дверь на ключ, несомненно давая нам понять, что считает переговоры законченными, я остановился на ступеньках и сказал управляющему:

- Я вижу, у вас тут разноцветные стекла в окнах, а?

- О да, очень разноцветные...

- Но грязные...

- О да, очень грязные.

- И, по-моему, этот молодой человек сдержит свое слово и за квартиру платить не станет, а?

- Сударь! - воскликнул управляющий. - Он еще ничего! Он хоть говорит, что не будет платить, ну и не платит, а те двое ничего не говорят - и тоже не платят. Это, пан Жецкий,

исключительные жильцы! Только они одни никогда не обманывают моих ожиданий.

Невольно, сам не знаю почему, я покачал головой и тут же почувствовал, что, будь я хозяином подобного дома, я не переставал бы качать головой по целым дням.

- И так, тут никто не платит, во всяком случае не платит регулярно? спросил я экс-помещика.

- И нечему удивляться, - ответил Вирский. - В доме, где столько лет квартирную плату получают кредиторы, самый честный жилец отобьется от рук. И все же есть у нас несколько очень аккуратных плательщиков, к примеру хоть баронесса Кшешовская...

- Что? - вскричал я. - Ах, правда, баронесса живет тут... Она даже хотела купить этот дом...

- И купит еще... - понизил голос управляющий. - Только смотрите в оба, господа... Она купит его, хоть бы ей пришлось отдать все свое состояние... А состояние у нее немалое, хотя барон его сильно общипал...

Я все еще стоял на лестнице, под окном с желтыми, красными и голубыми стеклами. Я все стоял, вызывая в памяти образ баронессы, которую видел всего несколько раз в жизни, причем она всегда производила на меня впечатление весьма эксцентричной особы. Она умеет быть набожной и злобной, смиренной и грубой...

- Что это за женщина, пан Вирский? - спросил я. - Ведь это, сударь мой, женщина не из обыкновенных...

- Как все истерички, - проворчал экс-помещик. - Дочку она потеряла, муж ее бросил... Кругом злключения!

- Пойдемте к ней, сударь, - сказал я, спускаясь в третий этаж.

Я ощущал в себе такую отвагу, что баронесса не только не страшила, но чуть ли не влекла меня к себе.

Но когда мы остановились возле ее дверей и управляющий позвонил, у меня свело икры судорогой. Я не в силах был двинуться с места и только по этой причине не сбежал. В одно мгновение храбрость моя испарилась, я вспомнил торги...

Ключ в замке повернулся, щелкнула задвижка, и в приоткрытых дверях показалось лицо еще молодой служанки в белой наколке.

- Кто это? - спросила девушка.

- Я, управляющий.

- А чего вам нужно?

- Я пришел с уполномоченным нашего хозяина.

- А этому господину чего нужно?

- Это и есть уполномоченный.

- Как же мне доложить?

- Доложите, - сказал управляющий уже с раздражением, - что мы пришли поговорить насчет квартиры...

- Ага!

Она заперла дверь и удалилась. Прошло минуты две или три, пока она вернулась и, отомкнув великое множество замков, ввела нас в пустую гостиную.

Странный вид был у этой гостиной. Мебель покрыта темно-серыми чехлами, равно как и рояль и люстра; даже расставленные по углам тумбочки со статуэтками были облачены в темно-серые рубашки. Создавалось впечатление, что хозяин этой комнаты уехал, оставив дома лишь прислугу, тщательно поддерживавшую чистоту и порядок.

Из-за дверей слышался разговор, который вели два голоса: женский и мужской. Женский принадлежал баронессе; мужской тоже был мне хорошо знаком, только я не мог вспомнить, где его слышал.

- Я готова поклясться, что между ними весьма близкие отношения. Позавчера он прислал ей с рассыльным букет.

- Гм... гм... - отозвался мужской голос.

- А эта мерзкая кокетка, чтобы обмануть меня, велела вышвырнуть букет за окно.

- Да ведь барон сейчас в деревне... так далеко от Варшавы, - возразил мужчина.

- Но у него тут остались приятели! - воскликнула баронесса. - И если бы я не знала вас так хорошо, то могла бы предположить, что именно вы помогаете ему устраивать эти постыдные делишки.

- Помилуйте! - запротестовал мужской голос, и в ту же минуту прозвучало два поцелуя, полагаю, что в руку.

- Ну, ну, пан Марушевич, только без нежностей! Знаю я вашего брата. Сначала вы осыпаете женщину ласками, а когда она вам доверится, проматываете ее состояние и требуете развода.

"Значит, это Марушевич! - подумал я. - Славная парочка!.."

- Я совсем не такой, - несколько тише возразил мужской голос, и за дверью вновь прозвучало два поцелуя, без сомнения в руку.

Я посмотрел на экс-помещика. Он сидел, подняв глаза к потолку, а плечи - чуть не до ушей.

- Вот проныра! - шепнул он, кивнув на дверь.

- Вы его знаете?

- Еще бы!

- Итак, - говорила баронесса в соседней комнате, - отнесите в костел Святого креста эти вот девять рублей и закажите три молебна за то, чтобы господь бог вразумил его... Нет, - помолчав, продолжала она дрогнувшим голосом, - закажите один молебен за него, а две панихиды - за упокой души несчастной моей девочки...

Послышался тихий плач.

- Ну успокойтесь, сударыня! - нежно уговаривал ее Марушевич.

- Ладно, ладно, идите уж! - отвечала она.

Двери гостиной вдруг распахнулись, и на пороге как вкопанный остановился Марушевич, а за его спиной я увидел желтое лицо и покрасневшие глаза баронессы. Мы с управляющим оба

встали, Марушевич попятился в соседнюю комнату и, по-видимому, вышел через другие двери, а баронесса сердито крикнула:

- Марыся!.. Марыся!..

Вбежала уже знакомая молодая девушка в белой наколке, темном платье и белом передничке. В этом уборе она могла бы сойти за сиделку, если б глаза ее не искрились так плутовато.

- Как ты смела привести сюда этих господ? - спросила ее баронесса.

- Да вы, барыня, сами велели просить...

- Дура, ступай вон! - прошипела баронесса. Затем обратилась к нам: Что вам угодно, пан Вирский?

- Это пан Жецкий, уполномоченный домовладельца, - отвечал управляющий.

- А-а!.. Хорошо, - сказала баронесса, медленно входя в гостиную и не предлагая нам садиться.

Вот описание этой дамы: черное платье, изжелта-бледное лицо, синеватые губы, красные от слез глаза и прилизанные волосы. Она скрестила руки на груди, как Наполеон I, и, глядя на меня, произнесла:

- А-а-а!.. Так вы уполномоченный, если не ошибаюсь, пана Вокульского? Не так ли? Передайте же ему - либо я съеду с этой квартиры, за которую аккуратнейшим образом плачу семьсот рублей в год, - ведь правда, пан Вирский? - Управляющий поклонился. - ...либо пан Вокульский искоренит в своем доме грязь и безнравственность.

- Безнравственность? - переспросил я.

- Да, сударь, - кивнула головой баронесса. - Прачек, которые по целым дням распевают внизу какие-то мерзкие песенки, а по вечерам хохочут у меня над головой у... у... студентов... И этих злодеев, которые осыпают меня сверху окурками и окатывают водой... И, наконец, эту пани Ставскую, о которой не знаешь, что и сказать: вдова ли она или разведенная, и на какие, в сущности, средства живет. Эта дамочка отбивает мужей у добродетельных и безумно несчастных жен...

Она заморгала глазами и расплакалась.

- Ужасно! - говорила она, всхлипывая. - Быть прикованной к этому мерзкому дому из-за незабвенного дитяти, которого уже ничем не вырвешь из сердца... Ведь она бегала по этим вот комнатам... И играла вон там, во дворе... И смотрела в окно, в которое нынче мне, осиротелой, уже и выглянуть не дают... Меня хотят выгнать отсюда!.. Все хотят выгнать... всем я мешаю... А ведь я не могу уехать отсюда, где каждая половица хранит следы ее ножек... и в каждом уголке звучит ее смех или плач...

Она упала на диван и зарыдала.

- Ах! - говорила она сквозь слезы, - звери и те не так жестоки... Эти люди хотят выгнать меня из дома, где мое дитя испустило последний вздох... Ее кровать и все ее игрушки стоят на своих местах... Я сама стираю пыль в ее комнате, чтобы не сдвинуть с места ни одной вещицы... Каждая пядь пола истерта моими коленями - я исцеловала все следы моей девочки... А они хотят меня выгнать! Так изгоните сперва мое горе, мою тоску, мое отчаяние...

Она закрыла лицо руками и зарыдала раздирающим душу голосом. Я заметил, что у управляющего вдруг покраснел нос, да и сам почувствовал на глазах слезы.

Отчаяние баронессы, убивающейся по умершей девочке, так обезоружило меня, что я не решился заговорить с нею о повышении квартирной платы. В то же время плач ее так действовал мне на нервы, что, если б не третий этаж, я, наверно, выскочил бы в окно.

В конце концов, желая утешить плачущую женщину, я обратился к ней со всей теплотой, на какую только способен:

- Прошу вас, сударыня, успокойтесь. Требуйте от нас, что вам угодно! Чем мы могли бы вам помочь?

В голосе моем было столько сочувствия, что нос управляющего еще более покраснел, у баронессы же сразу высох один глаз, однако другим она еще продолжала плакать, в знак того что не считает свои военные действия законченными, а меня - побежденным.

- Я требую... требую... - всхлипывала она, - я требую, чтобы меня не гнали из дома, где скончалась моя девочка... и где все мне напоминает о ней... Не могу я... поймите, не могу лишиться ее комнаты... Не могу сдвинуть с места ее мебель, ее игрушки... Это подлость - наживаться на чужом горе...

- Кто же наживается на вашем горе? - спросил я.

- Все, начиная с хозяина, который заставляет меня платить семьсот рублей...

- Ну, уж извините, баронесса! - воскликнул управляющий. - Семь великолепных комнат, две кухни, как залы, два чулана... Уступите, сударыня, кому-нибудь три комнаты, ведь у вас две парадные двери...

- Никому я ничего не уступлю, - решительно заявила она. - Я уверена, что мой заблудший супруг со дня на день опомнится и вернется...

- В таком случае, придется платить семьсот рублей...

- Если не больше, - робко прибавил я.

Баронесса посмотрела так, словно собиралась испепелить меня взглядом и утопить в слезах. Ох! Ну и баба!.. Как подумаю о ней, прямо мороз подирает по коже.

- Однако не в плате дело, - сказала баронесса.

- Весьма рассудительные слова! - похвалил ее Вирский и поклонился.

- И не о притязаниях хозяина речь... Но не могу же я платить семьсот рублей за квартиру в таком доме...

- Чем же вам не нравится дом? - спросил я.

- Дом этот - позорище для порядочных людей! - воскликнула баронесса, усиленно жестикулируя. - Поэтому я прошу - не для себя, а во имя нравственности...

- О чем?

- О выселении студентов, которые живут надо мной, не дают мне выглянуть в окно и возвращают всех...

Она вдруг сорвалась с дивана.

- Вот! Слышите? - сказала она, указывая на соседнюю комнату, выходящую окнами во двор.

Действительно, я услышал голос эксцентричного брюнета, который звал с четвертого этажа:

- Марыся! Марыся, иди к нам!

- Марыся! - крикнула баронесса.

- Да я тут, барыня... чего вам? - откликнулась, входя, несколько покрасневшая служанка.

- Смотри у меня, ни шагу из дому! Вот вам... - продолжала баронесса. И так целыми днями. А по вечерам к ним приходят прачки... Сударь! воскликнула она, молитвенно складывая руки. - Выгоните этих нигилистов, это очаг всяческого порока и опасностей для всего дома... Они в черепках держат табак и сахар... Они человеческими костями мешают угли в самоваре... Они собираются притащить сюда целый скелет!

И она снова так расплакалась, что я испугался, как бы с нею не сделалась истерика.

- Эти господа не платят за квартиру, так что весьма возможно... - начал было я.

У баронессы мигом высохли глаза.

- Ну конечно же, - прервала она, - вы должны выбросить их вон... Однако, сударь, - воскликнула она, - как бы ни были они испорчены и гадки, но эта... эта Ставская еще хуже их!

Я удивился, заметив, какой ненавистью загорелись глаза баронессы, когда она произнесла фамилию Ставской.

- Пани Ставская живет здесь? - невольно вырвалось у меня. - Эта красавица?

- О! Новая жертва! - указывая на меня, вскрикнула баронесса и, сверкая глазами, заговорила низким грудным голосом: - Одумайтесь, вспомните о своих сединых, что вы делаете? Знаете ли вы, что муж этой женщины был обвинен в убийстве и бежал за границу... А на какие средства она живет?.. На какие средства она так наряжается?

- Бедняжка работает как вол, - пробормотал управляющий.

- О!.. И этот туда же! - воскликнула баронесса. - Мой супруг (я уверена, это он!) присылает ей из деревни цветы... Управляющий влюблен в нее и берет плату не вперед, а за истекшие месяцы...

- Помилуйте, сударыня, - запротестовал экс-помешик, и вся физиономия его стала такой же красной, как нос.

- Даже этот честнейший простофиля Марушевич, даже он по целым дням смотрит на нее в окно...

Трагический голос баронессы опять перешел в рыдания.

- И подумать только, - стонала она, - что у подобной женщины есть дочка... дочка, которую она растит для геенны огненной, а я... О, я верю в справедливость... Верю в милосердие господне, но не могу... нет, не могу понять воли божьей, которая меня лишила ребенка, а оставила в живых ребенка этой... этой...

Сударь! - воскликнула она. - Можете не трогать этих нигилистов, но ее... выгоните непременно! Пусть квартира ее пустует, я буду ее оплачивать, лишь бы эта женщина осталась без крова!

Последнее восклицание уже вовсе мне не понравилось. Я подал знак управляющему, что пора уходить, и, поклонившись, холодно сказал:

- Позвольте, баронесса, вопрос этот разрешить самому хозяину, пану Вокульскому.

Баронесса раскинула руки, словно пуля пронзила ей грудь.

- Ах! Вот как? - прошептала она. - Значит, уже и вы и этот... этот... Вокульский успели связаться с нею? Что ж! В таком случае, я буду ждать праведного суда божия...

Она долее не удерживала нас, и мы вышли; на лестнице я покачнулся, как пьяный.

- Что вам известно о пани Ставской? - спросил я Вирского.

- Милейшая женщина, - отвечал он. - Молода, хороша собой и одна содержит семью... Пенсии ее матушки еле-еле хватает на квартирную плату...

- Она живет с матерью?

- Да. Тоже хорошая женщина.

- Сколько же они платят?

- Триста рублей. Знаете, брать с них - все равно что обирать алтарь...

- Идемте к этим дамам, - сказал я.

- С величайшим удовольствием! - воскликнул он. - И не слушайте, что плетет о них эта полоумная. Баронесса ненавидит Ставскую, даже не знаю толком за что. Пожалуй, за то, что она красавица, что дочка у нее как ангелочек...

- Где они живут?

- В правом флигеле, на втором этаже.

Не помню даже, как спустились мы по главной лестнице, как пересекли двор и поднялись на второй этаж флигеля, ибо перед глазами моими неотступно стояли Ставская и Вокульский...

Боже мой! Какая бы это была прекрасная пара! Да что поделаешь, если она замужем! Впрочем, у меня нет ни малейшей охоты вмешиваться в подобного рода дела. Я предполагаю так, другой - этак, а судьба располагает по-своему...

Судьба! Судьба! Странными путями сводит она людей! Не приди я много лет назад в подвал Гопфера, к Махальскому, не познакомился бы я с Вокульским. И опять-таки, не уговори я его пойти в театр, он, может быть, никогда бы не встретился с панной Ленцкой. Один раз я ненароком втянул его в беду, так уж хватит, не хочу повторять в другой раз! Пусть господь бог сам печется о рабах своих...

Когда мы остановились перед дверью пани Ставской, управляющий плутовато усмехнулся:

- Погодите-ка... сначала узнаем, дома ли молодая хозяйка. Есть на что посмотреть, сударь мой!

- Знаю, знаю...

Управляющий не позвонил, а постучал два раза. Дверь сразу распахнулась настежь, и показалась коренастая, толстая служанка с засученными рукавами. Мыльная пена стекала по ее рукам, которым мог бы позавидовать атлет.

- Ах, это вы, господин управляющий! - протянула она. - Я думала, опять какой-то...
- Неужели кто-нибудь смел приставать?.. - с негодованием спросил Вирский.
- Да никто не приставал, - отвечала служанка, по-мужицки выговаривая слова, - а только нынче кто-то цветы прислал. Люди говорят на Марушевича, что напротив живет...
- Подлец! - прошипел управляющий.
- Все мужчины этакие. Приглянется им кто - и лезут, чисто тебе комары на огонь.
- Обе барыни дома? - спросил Вирский. Толстая прислуга подозрительно посмотрела на меня.
- А он, что ли, с вами, этот господин?
- Со мной. Это уполномоченный хозяина.
- А молодой он или старый? - продолжала она допрос, разглядывая меня, как следователь.
- Сама видишь, что старый! - ответил управляющий.
- Средних лет... - поспешил я его поправить. (Ей-богу, они скоро будут называть стариками пятнадцатилетних юнцов!)
- Обе барыни дома, - сказала прислуга. - Только к молодой пришла девочка на урок. А старая барыня у себя в комнате.
- Фу ты! - пробормотал управляющий. - Ну что ж... Доложи старой барыне...

Мы прошли в кухню, где стояла лохань с детским бельем, мокнущим в мыльной пене. На веревке, протянутой возле печки, сохли детские юбочки, рубашечки и чулочки. (Так сразу и видно, что в доме ребенок!)

Из приоткрытой двери донесся немолодой женский голос.

- С управляющим? Какой-то господин? - говорила невидимая нам дама. Может быть, это Людвиг, он мне как раз сегодня приснился...
- Войдите, - сказала прислуга, открывая дверь в гостиную.

Гостиная была маленькая, в жемчужных тонах, мебель мягкая, васильковая, в углу пианино, на обоих окнах множество белых и розовых цветов, на стенах репродукции, выпускаемые Обществом изящных искусств, на столе - лампа со стеклянным абажуром в форме тюльпана. После мрачной, как склеп, гостиной пани Кшешовской с мебелью в темных чехлах эта комната казалась на редкость приветливой, словно со дня на день здесь ждали какого-то гостя. Однако кресла, слишком симметрично расставленные вокруг стола, свидетельствовали о том, что гость еще не явился.

Через минуту в гостиную вошла пожилая дама в сером платье. Меня поразила белизна ее волос, обрамляющих худенькое, но еще не старое лицо с весьма правильными чертами. В лице этом угадывались чьи-то уже знакомые мне черты.

Между тем управляющий застегнул свой испачканный сюртук на две пуговицы, поклонился с истинно дворянским изяществом и сказал:

- Разрешите, сударыня, представить: пан Жецкий, уполномоченный нашего хозяина и мой приятель.

Я поглядел ему в глаза. Признаться, меня несколько удивила наша скоропалительная дружба. Управляющий заметил это и, улыбнувшись, прибавил:

- Я говорю "приятель", поскольку оба мы видели немало любопытных вещей за границей.
- Вы, милостивый государь, были за границей? Подумать только! взволновалась старушка.
- В тысяча восемьсот сорок девятом году и несколько позже, - заметил я.
- А не встречали ли вы там случайно Людвика Ставского?
- Помилуйте, сударыня! - вскричал Вирский, рассмеявшись, и снова поклонился. - Пан Жецкий был за границей тридцать лет назад, а ваш зять уехал всего четыре года назад.

Старушка махнула рукой, словно отгоняя муху.

- И верно! Что же это я болтаю, прости господи!.. Но я все думаю о Людвичке... Прошу вас садиться, господа...

Мы уселись, причем экс-помещик снова поклонился почтенной даме, а она ему.

Только тогда я заметил, что серое платье старушки во многих местах заштопано, и грустное чувство охватило меня при виде этих двух людей с княжескими манерами - в испачканном сюртуке и заштопанном платье. По ним уже прошелся все сглаживающий плуг времени.

- Вы, сударь, должно быть, не знаете о наших горестях, - обратилась ко мне почтенная дама.
- Зять мой четыре года назад пострадал в одном весьма неприятном деле, и совершенно незаслуженно... В Варшаве убили некую ужасную ростовщицу!.. Ах, боже! Не стоит и говорить... К счастью, кто-то из друзей предупредил зятя, что подозрение пало на него... Совершенно несправедливо, пан...

- Жецкий, - подсказал экс-помещик.

- ...совершенно незаслуженно, пан Жецкий... Ну, и он, бедняга, бежал за границу. В прошлом году поймали настоящего убийцу, установили невиновность Людвика - да что из того, когда он уже два года нам не пишет...

Тут она наклонилась ко мне и зашептала:

- Эленка, дочь моя, пан...

- Жецкий, - вставил управляющий.

- ...дочь моя, пан Жецкий, просто разоряется... откровенно говорю вам, разоряется на объявления в заграничных газетах - и никакого ответа... Женщина она молодая, пан...

- Жецкий, - напомнил Вирский.

- ...женщина она молодая, пан Жецкий, недурна собой...

- Восхитительна! - с жаром подтвердил управляющий.

- Я была немного похожа на нее, - продолжала пожилая дама, со вздохом кивнув экс-помещику. - И вот, дочь моя недурна собой, молода, у нее уже есть один ребенок и... может быть, ей хотелось бы иметь еще. Впрочем, клянусь вам, пан Вирский, я никогда от нее не слыхала об этом... Она страдает молча, но я догадываюсь, что она страдает. И мне когда-то было тридцать лет...

- Кому из нас не было тридцати лет, - тяжело вздохнул управляющий.

Дверь скрипнула, и в гостиную вбежала маленькая девочка со спицами в руках.

- Бабуся, - воскликнула она, - ну когда же я сделаю кофту для моей куклы...

- Элюня! - строго остановила ее старушка. - Ты не поздоровалась...

Девочка сделала два реверанса, на которые я ответил весьма неуклюже, а пан Вирский - с великосветской грацией, и продолжала говорить, показывая бабушке спицы, с которых свисал черный вязаный квадратик.

- Бабуся, придет зима, а моей кукле не в чем будет выйти на улицу! Посмотрите, бабуся, опять у меня спустилась петля.

(Прелестное дитя! Боже мой! Почему Стах не ее отец! Может, он так не безумствовал бы...)

Бабушка извинилась перед нами, взяла в руки спицы с вязанием, и в этот момент вошла Ставская.

Могу с гордостью сказать, что при ее появлении я продолжал держаться с достоинством, Вирский же совершенно потерял голову. Он вскочил с места, словно студент, застегнул сюртук на третью пуговицу, даже покраснел и невнятно забормотал:

- Сударыня, разрешите представить вам: пан Жецкий, уполномоченный нашего хозяина...

- Очень приятно, - ответила Ставская и, опустив глаза, кивнула головой. Однако яркий румянец и тень тревоги на ее лице свидетельствовали о том, что я не был приятным гостем.

"Погоди-ка! - подумал я и представил себе, что на моем месте в этой комнате находится Вокульский. - Погоди-ка, сейчас я тебе покажу, что нас нечего бояться".

Между тем Ставская опустилась на стул и, желая скрыть свое замешательство, принялась оправлять платьице на дочке. У матери тоже настроение испортилось, а управляющий совсем одурел. "Погодите-ка!" подумал я и, придав своему лицу весьма строгое выражение, спросил:

- Давно ли вы, сударыня, проживаете в этом доме?

- Пять лет, - сказала Ставская и еще сильнее зарумянилась.

Мать ее так и встrepенулась в своем кресле.

- Сколько вы платите, сударыня?

- Двадцать пять рублей в месяц, - еле слышно ответила молодая женщина.

Она побледнела и, одергивая на девочке платьице, несомненно без всякого умысла, бросила на Вирского такой умоляющий взгляд, что... будь я Вокульский, я тут же предложил бы ей руку и сердце!

- Мы, - продолжала она еще тише, - мы задолжали вам за июль.

Я насупился, как Люцифер, и, вобрав в грудь весь воздух, какой был в комнате, произнес:

- Вы, сударыня, ничего нам не должны до... до октября. Как раз Стах, извините, пан Вокульский, пишет мне, что это просто разбой - брать триста рублей за три комнаты в таком районе. Пан Вокульский не может допустить подобного живодерства и велел мне уведомить

вас, сударыни, что с октября эта квартира будет сдаваться за двести рублей в год. А если вам, сударыни, не угодно...

Тут управляющий даже отъехал назад вместе с креслом. Старушка сложила ладони, а Ставская молча взглянула на меня широко раскрытыми глазами. Ну и глаза! И как она смотрит! Клянусь, будь я Вокульский, я бы посватался, не сходя с места. От мужа, наверное, уже и косточек не осталось, если он два года не шлет писем. Да, наконец, на что существуют разводы? И на что у Стаха такое состояние?

Дверь опять скрипнула, и показалась девочка лет двенадцати, в соломенной шляпке и с тетрадками в руках. У девочки было румяное личико, не выражавшее, впрочем, особенного ума. Она поклонилась нам, поклонилась Ставской и ее матери, расцеловала в обе щечки маленькую Элюню и ушла, по-видимому домой. Потом опять вернулась из кухни и, покраснев до ушей, спросила пани Ставскую:

- Когда мне можно прийти послезавтра?

- Послезавтра, милочка, приходи в четыре, - ответила Ставская, тоже смутившись.

Когда девочка удалилась, мать пани Ставской недовольно сказала:

- И это называется урок, прости господи! Эля занимается с нею не менее чем по полтора часа и за такой урок берет сорок грошей...

- Маменька! - прервала Ставская, умоляюще глядя на нее.

(Нет, будь я Вокульским, я бы обязательно с ней обвенчался. Что за женщина!.. Что за черты... Какое выражение лица... В жизни я не видал ничего подобного!.. А ручки, а фигурка, а рост, а движения, а глаза, глаза!..)

После минутного замешательства молодая женщина снова заговорила:

- Мы весьма благодарны пану Вокульскому за условия, на которых он предоставляет нам квартиру... Это, пожалуй, единственный случай, когда домовладелец нам снижает плату. Только не знаю, удобно ли нам... воспользоваться его любезностью?

- Это не любезность, сударыня, а честность благородного человека! вмешался управляющий.

- Мне пан Вокульский тоже снизил квартирную плату, и я согласился... Посудите сами, сударыня: третьеразрядная улица, движения почти никакого...

- Но жильцов найти нетрудно, - заметила Ставская.

- Мы предпочитаем иметь дело со старыми жильцами, зарекомендовавшими себя тихим поведением и порядком, - ответил я.

- Вы правы, сударь, - похвалила меня седовласая дама. - Порядок в квартире - это первое, о чем мы заботимся. Если даже иной раз Элюня нарежет бумажек и насорит на полу, Франуся сейчас же подметет...

- Ведь я, бабушка, вырезаю только конверты, когда пишу папочке письмо, чтоб он скорее возвращался, - отозвалась девочка.

По лицу Ставской пробежала тень не то горечи, не то усталости.

- И ничего, никаких вестей? - спросил управляющий.

Ставская медленно покачала головой; не уверен, не вздохнула ли она при этом, но так тихо...

- Вот судьба молодой хорошенькой женщины! - воскликнула старая дама. Ни барышня, ни... замужняя...

- Маменька!

- Ни вдова, ни разведенная, словом, невесть что и невесть за что. Говори что хочешь, Эленка, а я тебя уверяю, что Людвика нет в живых...

- Маменька! Маменька!..

- Да, да, - продолжала мать, разволновавшись. - Мы тут его ждем каждый день, каждый час, а все ни к чему... Он либо погиб, либо бросил тебя, значит ты не обязана дожидаться...

У обеих женщин глаза наполнились слезами: у матери - от гнева, а у дочери... кто знает? Может быть, от обиды за исковерканную жизнь.

Вдруг в голове моей мелькнула мысль, которую (если бы дело не касалось меня) я почел бы гениальной. Впрочем, неважно, как ее назвать. Довольно того, что, когда я удобнее уселся в кресле, заложил ногу на ногу и откашлялся, все уставились на меня, не исключая и маленькой Эленки.

- Наше знакомство слишком непродолжительно, - начал я, - чтобы я осмелился предложить...

- Все равно, - перебил меня Вирский. - Благородные услуги принимаются даже от незнакомых.

- Знакомство наше, - повторил я, осадив его взглядом, - действительно недавнее, однако вы, сударыня, может быть, разрешите не столько мне, сколько пану Вокульскому использовать свои связи для розысков вашего супруга...

- А-а-а!.. - тихо вскрикнула старая дама тоном, вряд ли выражавшим сильную радость.

- Маменька! - опять остановила ее Ставская.

- Элюня, - решительно обратилась старушка к внучке, - ступай к своей кукле и вяжи ей жакетку. Петлю я тебе подняла. Ступай!

Девочка немного удивилась, может быть даже насторожилась, однако поцеловала руку бабушке и матери и ушла, захватив с собою спицы.

- Послушайте, сударь, - продолжала старая дама, откровенно говоря, мне важно не столько... то есть я не верю, что Людвик жив. Если человек два года не пишет...

- Довольно, мама!..

- Нет! - перебила ее мать. - Если ты сама не чувствуешь своего положения, то уж я поняла его вполне. Нельзя жить вечной надеждой или вечным опасением...

- Мама, милая, и о моем счастье и о моем долге одна я в праве...

- Не говори ты мне о счастье, - вспылила мать. - Оно кончилось в тот день, когда муж твой сбежал от суда, которому стали известны какие-то его темные дела с ростовщицей. Я знаю, что он невиновен, готова присягнуть в этом. Но ни я, ни ты не понимаем, зачем он к ней ходил!

- Мама! Ведь эти господа нам чужие!.. - в отчаянии воскликнула Ставская.

- Это я-то чужой? - спросил управляющий с упреком, однако привстал и поклонился...

- И вы не чужой, и этот господин тоже, - сказала старушка, указывая на меня. - Я вижу, что это честный человек...

На этот раз поклонился я.

- Так вот послушайте, - продолжала она, пронизательно глядя мне в глаза, - мы живем в постоянной неуверенности насчет моего зятя, и неуверенность эта отравляет нам существование. Но я, признаюсь откровенно, больше опасаюсь его возвращения...

Ставская закрыла лицо платком и выбежала из гостиной.

- Плачь, душенька, плачь... - грозя вслед пальцем, говорила раздраженная старушка. - Такие слезы хоть горьки, да все лучше тех, которые ты каждый день проливаешь...

- Сударь, - обратилась она ко мне, - я приму все, что господь нам пошлет, однако чувствую: если человек этот вернется, он вконец погубит счастье моей дочки. Клянусь, - прибавила она тише, - что она уже не любит его, хоть сама этого не сознает, и все же я уверена - только позови он, она немедленно к нему поедет!

Рыдания помешали ей продолжать. Мы с Вирским переглянулись и простились со старой дамой.

- Сударыня, - сказал я перед уходом, - не пройдет и года, как я принесу вам известие о вашем зяте. А может быть, - прибавил я с невольной улыбкой, дела сложатся так, что... все мы будем довольны... Все... даже те, кого сейчас здесь нет!..

Старушка вопросительно посмотрела на меня, но я ничего не ответил. Мы еще раз простились и ушли, уже не спрашивая пани Ставскую.

- Да заглядывайте к нам, сударь, почаще! - крикнула старая дама, когда мы уже были в кухне.

"Конечно, я буду заглядывать... Удастся ли мне план насчет Стаха? Одному богу известно. Там, где в игру замешано сердце, бесполезно строить какие-либо расчеты. Но все же я попытаюсь развязать руки этой женщине, а это тоже чего-нибудь да стоит".

Выйдя из квартиры Ставской, мы с управляющим расстались, весьма довольные друг другом. Он хороший малый. Однако когда я вернулся домой и задумался над результатами моего обхода, то даже за голову схватился.

Я собирался привести в порядок финансовые дела в доме - и вот тебе, привел их в такой порядок, что доход с него уменьшился по меньшей мере на триста рублей в год. Ну, что ж! Может быть, тем скорее Стах одумается и продаст свое приобретение, которое ему совсем не нужно.

Ир все прихварывает.

Политика все в том же положении: полная неопределенность".

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Серые дни и мучительные часы

Четверть часа спустя после отъезда из Варшавы Вокульский отдал себе отчет в двух несомненных, хотя и весьма различных обстоятельствах: в вагоне стало свежо, а сам он впал в какую-то странную летаргию.

Он свободно двигался, голова была ясна, мысль работала четко и быстро, но его ничто не интересовало: ни с кем он едет, ни куда едет, ни зачем едет. Эта апатия усиливалась, по мере того как он удалялся от Варшавы. В Прушкове он обрадовался каплям дождя, брызгавшим в открытое окно, а когда за Гродзиском разразилась гроза, он даже несколько оживился; ему захотелось, чтобы в него ударила молния. Но когда гроза пронеслась, его опять охватило прежнее равнодушие, и опять стало все безразлично - даже то, что сосед справа задремал у него на плече, а пассажир, сидевший напротив, снял штiblеты и положил ему на колени ноги, впрочем в чистых носках. Около полуночи он впал в странное состояние; им овладел не то сон, не то еще более глубокое безразличие. Он задернул занавеской фонарь и закрыл глаза, решив, что эта странная апатия с восходом солнца пройдет. Но она не прошла: напротив, с утра она усилилась и росла с каждым часом. Эта апатия не усугубляла горя, но и не приносила облегчения.

Потом у него попросили паспорт, потом он позавтракал, купил новый билет, велел перенести вещи в другой поезд и поехал дальше. Снова станция, снова пересадка, снова дорога... Вагон подрагивал и стучал, паровоз время от времени свистел, потом останавливался... В купе появились люди, говорящие по-немецки: двое, трое... Потом польский говор совсем умолк, и вагон наполнился немцами...

Изменился и пейзаж за окном. Потянулись огороженные леса, где деревья стояли ровными рядами, словно солдаты в строю. Исчезли деревянные, крытые соломой избы, и все чаще мелькали одноэтажные домики с черепичными крышами и палисадниками. Вот опять остановка, опять надо есть, пить. Какой-то огромный город... Ах, это как будто Берлин!.. Опять поехали... В вагон все еще садятся люди, говорящие по-немецки, но произношение у них другое. Потом ночь и сон... Нет, не сон, а все та же апатия.

В купе входят два француза. Пейзаж за окном снова изменился: широкие просторы, холмы, виноградники. Там и сям из-за деревьев выглядывает высокий одноэтажный дом, старый, но крепкий, весь обвитый плющом. Опять осмотр чемодана. Пересадка. В вагон садятся два француза и одна француженка и сразу поднимают шум за десятерых. Это, по-видимому, люди воспитанные; тем не менее они хохочут, то и дело пересаживаются с места на место и извиняются перед Вокульским, - он, впрочем, так и не знает за что.

На какой-то станции Вокульский пишет несколько слов Сузину по адресу: "Париж, "Гранд-отель" - и дает записку вместе с деньгами проводнику, не заботясь ни о том, сколько дал, ни о том, дойдет ли телеграмма. На следующей станции кто-то сует ему в руку целую пачку денег, и поезд трогается. Вокульский замечает, что уже снова ночь, и снова он впадает в состояние не то сна, не то какого-то странного оцепенения.

Глаза у него закрыты, но мысль работает и твердит, ему, что сейчас он спит и что это странное состояние безразличия пройдет у него в Париже.

"Париж! Париж! - повторяет он во сне. - Ведь я столько лет мечтал о нем! Это пройдет. Все пройдет!.."

Десять часов утра. Новая станция. Поезд стоит под сводом; шум, крик, беготня. На Вокульского набрасываются сразу три француза, предлагая свои услуги. Вдруг кто-то хватается за плечо.

- Ну, Станислав Петрович, счастье твое, что ты приехал!

Вокульский минутку всматривается в какого-то великана с красным лицом и русой бородой и наконец говорит:

- Ах, Сузин!

Они обнимаются.

Сузина сопровождают двое французов, один из них берет у Вокульского квитанцию на вещи.

- Счастье твое, что ты приехал, - повторяет Сузин, еще раз целуя его. Я уж думал, что пропаду тут в Париже без тебя...

"Париж..." - думает Вокульский.

- Да не обо мне речь, - продолжает Сузин. - Ты так загордился, якшаясь с вашей паршивой шляхтой, что до меня тебе уж и дела нет. Но ради тебя же жаль упускать такие деньги... Ты потерял бы тысяч пятьдесят...

Два француза, сопровождавшие Сузина, появляются снова и сообщают, что можно ехать. Сузин берет Вокульского под руку и ведет его на площадь, где стоит множество omnibusов, а также одноконных и пароконных экипажей, в которых кучера помещаются спереди или сзади. Они проходят несколько шагов и останавливаются у коляски, запряженной парой лошадей, с лакеем у дверцы. Садятся и едут.

- Смотри, - говорит Сузин, - вот улица Лафайета, а вот бульвар Маджента. Мы поедем по Лафайету до самого отеля, возле Оперы. Говорю тебе: чудо, а не город! Ну, а как увидишь Елисейские поля и сад между Сеной и Риволи... Эх, говорю я тебе: чудо - не город! Только у женщин уж больно турнюры велики... Ну, да тут вкусы иные... Просто не нарадуюсь, что ты приехал; пятьдесят, а то и шестьдесят тысяч рублей - это тебе не фунт изюма... Видишь, вон Опера, а вон бульвар Капуцинов, а вот и наша избенка...

Вокульский видит огромное шестиэтажное здание клинообразной формы, опоясанное железной балюстрадой вдоль третьего этажа. Дом стоит на широкой улице, обсаженной еще молодыми деревьями, а по ней взад и вперед снуют пешеходы, проносятся omnibusы, коляски, всадники. Движение такое оживленное, будто по крайней мере половина Варшавы сбежалась поглазеть на какое-нибудь происшествие. Мостовая и тротуары гладкие, как паркет. Вокульский понимает, что он в самом сердце Парижа, но не испытывает ни волнения, ни любопытства. Ему все безразлично.

Экипаж въезжает в великолепные ворота, лакеи распахивают дверцы. Они выходят. Сузин берет Вокульского под руку и ведет в маленькую комнатку, которая неожиданно начинает подниматься.

- Это лифт, - говорит Сузин. - У меня тут два номера. Один - во втором этаже за сто франков в день, а другой - в четвертом за десять франков. Для тебя я тоже снял за десять... Ничего не поделаешь... выставка.

Они выходят из лифта в коридор и минуту спустя оказываются в роскошно обставленной комнате. Мебель красного дерева; у одной стены стоит широкая кровать под балдахин, у другой - шкаф с огромным зеркалом вместо дверцы.

- Присаживайся, Станислав Петрович. Хочешь выпить или закусить, тут или в зале? Ну, пятьдесят тысяч твои... Я страшно доволен.

- Скажи мне, - в первый раз откликнулся Вокульский, - за что же, собственно, я получу пятьдесят тысяч?

- Может, и того больше.

- Хорошо, но за что?

Сузин бросается в кресло, складывает руки на животе и принимается хохотать.

- Вот за то и получишь, что спрашиваешь!.. Другие берут, не спрашивая, только давай... Один ты хочешь знать - за что да почему столько. Ах, голубчик ты мой!

- Это не ответ.

- Сейчас я тебе отвечу. Во-первых, за то, что ты меня еще в Иркутске четыре года уму-разуму учил. Кабы не ты, не быть бы мне теперешним Сузиным. Ну, а я не вашего склада человек: за добро плачу добром.

- И это не ответ, - повторил Вокульский.

Сузин пожал плечами.

- Вот что: здесь ты у меня объяснений не спрашивай, а внизу и сам все поймешь. Может, я куплю немного парижской галантереи, а может, и торговых судов десяточек-другой. Я по-французски - ни в зуб ногой, то же самое и по-немецки, вот мне и нужен такой человек, как ты.

- Я не разбираюсь в судах.

- Не беспокойся. Сыщем тут инженеров - и железнодорожных, и морских, и военных... Не в этом суть, а в человеке, который бы ворочал языком за меня и для меня. Да чего там, говорю тебе: спустимся вниз - смотри да слушай в оба, а уйдем оттуда - забудь обо всем, будто у тебя память отшибло. Это ты, Станислав Петрович, сумеешь, а про остальное не спрашивай. Я заработаю десять процентов, тебе дам десять процентов со своего заработка - и дело в шляпе. А на что это, для кого да против кого - не спрашивай.

Вокульский молчал.

- В четыре придут ко мне американские и французские фабриканты. Сможешь спуститься? - спросил Сузин.

- Ладно.

- А теперь прогуляешься по городу?

- Нет. Теперь я хочу спать.

- Ну и ладно. Идем в твой номер.

В нескольких шагах по коридору оказалась другая комната, совершенно такая же, как у Сузина. Вокульский бросился на кровать, Сузин на цыпочках вышел и притворил дверь.

После его ухода Вокульский закрыл глаза и попытался уснуть - вернее, даже не уснуть, а отогнать призрак докучной мысли, от которого он бежал из Варшавы... Одно время ему казалось, что его уже нет, что он остался там и теперь беспокойно ищет его, бродя между Краковским Предместьем и Уяздовскими Аллеями.

"Где он?.. Где он?.." - шептал призрак.

"А что, если он полетит за мной? - спросил себя Вокульский. - Ну, теперь уж ему меня, наверное, не сыскать - в таком огромном городе, в таком большом отеле..."

"А если он уже здесь?" - мелькнуло у него в голове.

Он еще крепче сомкнул глаза и начал покачиваться на матрасе, который ему показался необыкновенно широким и необыкновенно упругим. Два потока звуков овладели его вниманием: за дверью, по коридору отеля, бежали и переговаривались люди, словно там в эту

минуту что-то случилось; из-за окна неся сплошной уличный гул, приглушенно, как бы издали доносился грохот многочисленных экипажей, дребезжание звонков, человеческие голоса, гудки, выстрелы и бог весть что еще.

Потом ему померещилось, будто некая тень заглядывает к нему в окно, и вскоре за тем - будто кто-то ходит по длинному коридору, от двери к двери, стучит и спрашивает:

"Он тут? Он тут?"

Действительно, кто-то ходил, стучал и даже постучался к нему, но, не получив ответа, прошел дальше.

"Не найти ему меня! Не найти..." - думал Вокульский.

Вдруг он открыл глаза, и у него волосы на голове стали дыбом. Напротив себя он увидел точно такую же комнату, точно такую же кровать с балдахинном, а на ней... самого себя! Никогда в жизни не испытывал он подобного потрясения; собственными глазами убедиться, что в комнате, где ты считаешь себя совершенно одиноким, находится неотступный свидетель... ты сам!

- Что за оригинальное шпионство, - проворчал он. - Дурацкая мода эти зеркальные шкафы...

Он сорвался с кровати - двойник его сорвался так же стремительно; подбежал к окну - тот тоже. Лихорадочно раскрыл чемодан, чтобы переодеться и тот тоже начал переодеваться, по-видимому, собираясь идти в город.

Вокульский почувствовал, что надо бежать из этой комнаты. Призрак, от которого он уехал из Варшавы, был уже здесь и стоял у порога.

Он умылся, надел чистое белье, переменял костюм. Было всего половина первого.

"Еще три с половиной часа! - подумал он. - Надо их как-то использовать..."

Едва он открыл дверь, как появился слуга: - Monsieur?..

Вокульский велел проводить себя к лестнице, дал ему франк на чай и сбежал с четвертого этажа вниз, словно спасаясь от погони.

Выйдя за ворота, он остановился на тротуаре. Широкая, обсаженная деревьями улица. Пронеслись пять-шесть экипажей и желтый омнибус, полный пассажиров внутри и на крыше. Направо, где-то очень далеко, виднеется площадь, налево - у отеля - парусиновый навес, и под ним сидят за круглыми столиками, у самого тротуара, мужчины и женщины и пьют кофе. Мужчины в низко вырезанных сюртуках, с цветами или розетками в петличках, сидят, высоко закинув ногу на ногу, как, впрочем, того и требует соседство шестизэтажных домов; женщины хрупкие, маленькие, смуглые, с огневыми глазами, одетые с изящной простотой.

Вокульский пошел налево и за углом увидел другой навес и под ним людей, которые тоже что-то пили, расположившись чуть ли не на тротуаре. Тут было человек сто, если не больше; у мужчин вид развязный, дамы оживлены, фамильярны и держатся непринужденно. Одна за другой проносятся мимо одноконные и пароконные коляски, по тротуарам торопливо снуют толпы пешеходов, а вон катят по мостовой желтый и зеленый омнибусы, им пересекают дорогу коричневые омнибусы, и все переполнены внутри, и все везут множество пассажиров на крыше.

Вокульский стоит в центре площади, от которой расходятся семь улиц. Он пересчитывает их раз, другой - семь улиц... Куда пойти?.. Пожалуй, туда, где зелень... Вот две улицы, скрещивающиеся под прямым углом, обсаженные деревьями...

"Пойду-ка я вдоль отеля", - решает Вокульский.

Он делает полуоборот влево и останавливается пораженный. Перед ним какое-то громадное здание.

Внизу - аркады и статуи, на втором этаже - огромные каменные колонны и мраморные, поменьше, с золотыми капителями, на уровне крыши по углам орлы и позолоченные фигуры, несущиеся на вздыбленных золоченых конях. Крыша спереди пологая, выше вздымается купол, увенчанный короной, а еще выше - трехгранная верхушка, тоже украшенная группой скульптур. Всюду мрамор, бронза, золото, всюду колонны, статуи и барельефы...

"Опера? - думает Вокульский. - Да ведь тут мрамора и бронзы больше, чем во всей Варшаве!.."

Вокульский вспоминает свой магазин, красу города, вспыхивает от стыда и идет дальше. Он чувствует, что с первой же минуты Париж его подавил, - и был доволен этим.

Число экипажей, омнибусов и людей увеличивается до невероятия. На каждом шагу - веранды, круглые столики у самого тротуара, вокруг них сидят люди. За каретой с лакеем на запятках катится тележка, запряженная собакой; ее обгоняет омнибус; потом проходят два носильщика с грузом, потом едет высокий двухколесный шарабан, потом дама и господин, оба верхом, потом опять бесконечная вереница экипажей. Возле тротуара стоят две тележки с цветами и фруктами, на противоположной стороне точат ножи, торгуют пирожками, газетами, подержанными вещами, книжками...

- Marchand, d'habits!..

- "Figaro"!..

- "Exposition"!..

- Guide Parisien! Trois francs!.., trois francs!..*

* Продается одежда!..

- "Фигаро"!.. - "Выставка"!..

- Путеводитель по Парижу! Три франка!.. три франка!.. (франц.)

Кто-то сует в руку Вокульскому книжку, он платит три франка и переходит на другую сторону. Идет он быстро и все же замечает, что все обгоняют его. Экипажи и пешеходы... Да это какие-то всеобщие гонки; он ускоряет шаг и хотя никого еще не обогнал, но уже обращает на себя всеобщее внимание. На него набрасываются газетчики и разносчики книг, на него оглядываются женщины, насмешливо косятся мужчины. Он, Вокульский, варшавская знаменитость, робеет здесь, словно маленький мальчик, и... и это доставляет ему радость. Ах, как бы он хотел вернуть те давно прошедшие времена, когда он был мальчиком и отец его советовался с друзьями, куда его определить: в школу или к купцу.

В этом месте улица сворачивает вправо. Вокульский впервые видит здесь четырехэтажный дом и чувствует, что тронут. Четырехэтажный дом среди шестизэтажных!.. Какая приятная неожиданность...

Вдруг мимо проезжает карета с грумом на козлах, в ней две женщины. Одна ему совсем незнакома, вторая... - Она? - шепчет Вокульский. - Немыслимо! Но силы уже оставляют его. К счастью, рядом оказалось кафе. Он бросается на стул, у самого тротуара; появляется гарсон,

что-то спрашивает, затем приносит мазагран. Одновременно цветочница прикалывает к его сюртуку розу, а газетчик кладет перед ним "Фигаро". Вокульский бросает десять франков девушке, франк газетчику, пьет мазагран и разворачивает газету: "Ее величество королева Изабелла..." Он комкает газету и сует ее в карман, расплачивается за мазагран и, не допив стакана, встает. Гарсон поглядывает на него исподлобья, двое соседей, помахивающих тоненькими тросточками, закидывают ноги еще выше на колени, а один из них бесцеремонно разглядывает его в монокль.

"Что, если я ударю этого пшюта по лицу? - думает Вокульский. - Завтра же дуэль, и, может быть, он убьет меня... Но если я убью его?.."

Он прошел мимо щеголя и так глянул ему в глаза, что у того моментально слетел монокль на жилетку и исчезла насмешливая улыбка.

Вокульский идет дальше и с величайшим вниманием разглядывает дома. Какие магазины! Самый скромный куда импозантнее его варшавского, который слывет красивейшим во всем городе. Дома из тесаного камня, почти на каждом этаже - балконы или чугунные балюстрады, опоясывающие здание.

"Право же, глядя на Париж, можно подумать, что все парижане ощущают потребность непрерывно общаться между собою если не в кафе, то хоть с балконов", - думает Вокульский.

И крыши какие-то диковинные: крутые, сплошь усаженные шпильями и кирпичными дымоходами, из которых торчат жестяные трубы. И на улицах, что ни шаг, вдруг вырастает то дерево или фонарь, то киоск или столбик, увенчанный шаром. Жизнь здесь бьет с такой силой, что мало ей гнать экипажи и людей, мало ей возводить шестиэтажные каменные дома, - куда ни поглядишь, она так и брызжет из стен в виде статуй и барельефов, в виде стрельчатых украшений - с крыш, в виде бесчисленных киосков на каждом перекрестке.

Вокульскому кажется, будто из стоячей воды он попал в кипяток, который "...и свищет, и бьет, и шипит"...{16} Он, человек зрелый и в привычных условиях энергичный, здесь почувствовал себя как робкий ребенок, которому все и вся внове.

Между тем жизнь вокруг него продолжает "свистать, и бить, и шипеть"... Конца не видно толпе, экипажам, деревьям, ослепительным витринам и даже самой улице. Постепенно чувства Вокульского странным образом притупляются. Он перестает слышать громкие возгласы прохожих, потом словно заглохли крики уличных торговцев, наконец нет уже и грохота колес. Потом ему начинает казаться, что где-то он уже видел и такие дома, и такое движение, и такие кафе; затем приходит к выводу, что не так уж это все величественно; наконец, в нем просыпается дух противоречия, и он говорит себе, что хотя в Париже французская речь слышится чаще, чем в Варшаве, однако акцент здесь хуже и произношение менее внятное.

Размышляя так, он идет все медленнее и уже перестает уступать встречным дорогу. И в тот момент, когда ему кажется, что теперь-то французы начнут тыкать в него пальцами, он с удивлением замечает, что меньше привлекает к себе внимание. Пробыв один час на улице, он превратился в незаметную капельку парижского океана.

- Оно и лучше! - шепчет он.

До сих пор дома по правую и левую руку то и дело расступались, открывая просветы поперечных улиц. Теперь просветов не стало, бесконечно тянется сплошная стена домов. Вокульский встревожен, он ускоряет шаг и, наконец, к большому своему удовольствию, доходит до угла и читает: "Rue St. Fiacre"*. В памяти у него мелькает какой-то роман Поль де Кока, и он улыбается. Опять поперечная улица, и опять он читает: "Rue de Sentien"***.

* Улица св. Фиакра (франц.)

** Улица Сантъен (франц.)

"Не знаю", - говорит себе Вокульский.

На следующем перекрестке он читает: "Rue Poissonniere"*, - и это напоминает ему какое-то уголовное дело; потом идут одна за другой короткие улочки, ведущие к театру "Жимназ".

* Улица Пуассоньер (франц.)

"А это что?" - думает он, заметив налево огромное здание, не похожее ни на одно виденное им до сих пор. Это гигантский каменный прямоугольник, а в нем ворота с полукруглым сводом. Да, по-видимому, это ворота, расположенные на скрещении двух улиц. Рядом будка, возле которой останавливаются omnibusы; напротив - кафе и тротуар, отгороженный от мостовой чугунной балюстрадой.

Шагах в трехстах - снова такие же ворота, а между ними вправо и влево пролегает широкая улица. Движение здесь еще оживленнее, ездят omnibusы трех видов и трамвай.

Вокульский смотрит направо и опять видит два ряда уличных фонарей, два ряда киосков, два ряда деревьев и два ряда шестиэтажных домов, которые уходят вдаль на расстояние, равное улицам Краковское Предместье и Новы Свят вместе взятым. Улице не видно конца, только где-то там, вдалеке, она поднимается к небу, крыши сливаются с землей, и все исчезает.

"Ну, хоть бы мне пришлось заблудиться и опоздать на совещание, я непременно пойду в эту сторону!" - думает он.

На повороте Вокульского обгоняет молодая женщина; ее фигура и походка приводят его в сильное волнение.

"Она?.. Нет... Во-первых, она в Варшаве, а потом - я уже второй раз встречаю такое сходство... Обман зрения..."

Но он сразу теряет силы и даже память. Он стоит на перекрестке двух улиц, обсаженных деревьями, и решительно не помнит, откуда он пришел. Его охватывает панический страх, знакомый людям, которые заблудились в лесу. К счастью, подъезжает пролетка, и извозчик дружелюбно улыбается ему.

- "Гранд-отель", - говорит Вокульский, садясь.

Кучер приподнимает шляпу и кричит:

- Вперед, Лизетка!.. Этот благородный иностранец поставит нам за труды кружку пива. - Затем, полуобернувшись к Вокульскому, говорит: - Одно из двух, гражданин: либо вы только сегодня приехали, либо основательно позавтракали?

- Я сегодня приехал, - отвечает Вокульский, успокаиваясь при виде его круглого, румяного, безбородого лица.

- И немножко выпили, сразу видно, - замечает извозчик. - А вы знаете таксу?

- Все равно.

- Вперед, Лизетка! Мне по вкусу этот иностранец, и я думаю, что только таким и надо приезжать на нашу выставку. А вы уверены, гражданин, что вам надо в "Гранд-отель"? - обращается он к Вокульскому.

- Вполне.

- Вперед, Лизетка! Этот иностранец внушает мне уважение. Вы случайно не из Берлина?

- Нет.

Извозчик с минуту присматривается к нему, потом говорит:

- Тем лучше для вас. Правда, я не в претензии на пруссаков, хотя они и забрали у нас Эльзас и отхватили порядочный кусок Лотарингии, но, как бы то ни было, не люблю я, когда у меня за спиной сидит немец. Откуда же вы, гражданин?

- Из Варшавы.

- Ah, sa!* Прекрасная страна... богатая... Вперед, Лизетка! Значит, вы поляк? О, я знаю поляков!.. Вот и площадь Оперы, а вот "Гранд-отель"...

* Ах, вот как! (франц.)

Вокульский сунул извозчику три франка, стремглав бросился в ворота и вбежал на четвертый этаж. У дверей номера его встретил улыбающийся слуга и подал записку от Сузина и пачку писем.

- К вам много посетителей... и много посетительниц! - сказал слуга, игриво поглядывая на Вокульского.

- Где же они?

- В приемной, в библиотеке, в столовой... Мсье Жюмар уже в нетерпении...

- Кто это мсье Жюмар?

- Дворецкий ваш и мсье Сюэзна... Весьма способный человек и мог бы оказать вам важные услуги, если б мог рассчитывать... примерно на тысячу франков... - так же игриво продолжал слуга.

- Где же он?

- На втором этаже, в вашей приемной. Мсье Жюмар человек весьма способный, но и я могу пригодиться вашему превосходительству, хоть и ношу фамилию Миллер. На самом же деле я эльзасец и, клянусь честью, не взял бы у вас ни одного су, а еще доплачивал бы десять франков в день, только бы нам разделаться с пруссаками.

Вокульский вошел к себе в номер.

- Главное, сударь, остерегайтесь баронессы, которая уже дожидается в библиотеке, хотя условилась, что приедет только в три часа... Готов присягнуть, что она немка... Недаром я эльзасец!

Последние слова Миллер произнес вполголоса, уже выходя в коридор.

Вокульский распечатал записку Сузина и прочел:

"Заседание начнется только в восемь. У тебя остается свободное время, так управься с посетителями, а главное - с бабами. Я, ей-богу, уже слишком стар, чтобы их всех ублажать".

Вокульский просмотрел письма. Большой частью это были рекламы торговцев, парикмахеров, зубных врачей, просьбы о вспомоществовании, предложения о раскрытии каких-то тайн; было даже воззвание Армии Спасения.{20}

Среди множества писем Вокульского поразило следующее:

"Молодая, изящная и привлекательная особа хочет осмотреть вместе с вами Париж; расходы пополам. Просьба оставить ответ швейцару отеля".

- Оригинальный город! - проворчал Вокульский.

Второе, еще более любопытное письмо было от баронессы - той самой, что должна была в три часа прийти на свидание в библиотеку.

- Значит, через полчаса...

Он позвонил и велел подать в номер завтрак. Через несколько минут ему принесли ветчину и яйца, затем бифштекс, какую-то неизвестную рыбу, несколько бутылок с различными напитками и кофейник с черным кофе. Он съел все с волчьим аппетитом, не оставил без внимания и напитки, затем велел Миллеру проводить его в приемную.

Слуга вышел за ним в коридор, нажал кнопку звонка, что-то сказал в рупор и ввел Вокульского в лифт. Вмиг Вокульский оказался на втором этаже, и, едва открылась дверца лифта, как перед ним предстал некий изящный господин с маленькими усиками, во фраке и белом галстуке.

- Жюмар... - отрекомендовался господин, поклонившись.

Они прошли несколько шагов по коридору, и Жюмар распахнул дверь роскошного салона. Вокульский чуть было не попятился, увидев золоченую мебель, огромные зеркала и барельефы на стенах. Посредине салона стоял большой стол, покрытый дорогой скатертью и заваленный бумагами.

- Разрешите ввести посетителей? - спросил Жюмар. - Эти, кажется, не из опасных. Осмелюсь только обратить ваше внимание... на баронессу... Она ждет в библиотеке.

Поклонившись, он с важностью вышел в соседнюю залу - по-видимому, служившую приемной.

"Не впутался ли я, черт возьми, в какое-то темное дело?" - подумал Вокульский.

Он уселся в кресло и только было принялся просматривать бумаги, как явился лакей в голубом фраке, расшитом золотым галуном, и подал ему на подносе визитную карточку. Вокульский прочел: "Полковник" - и рядом какая-то ничего не говорящая ему фамилия.

- Проси.

Через мгновение вошел статный мужчина с седой эспаньолкой, такими же усами и красной ленточкой в петлице сюртука.

- Я знаю, сударь, что у вас мало времени, и буду краток, - сказал вошедший с легким поклоном. - Париж - во всех отношениях замечательный город: здесь есть где поразвлечься и чему поучиться; но в Париже необходим опытный гид. Я хорошо знаю все музеи, театры, клубы, памятники, картинные галереи, учреждения, официальные и частные, - словом, все...

поэтому, если вам будет угодно...

- Будьте любезны оставить свой адрес, - ответил Вокульский.

- Я владею четырьмя языками, имею связи в кругах художников, литераторов, в мире научном и промышленном...

- Сейчас я не могу дать вам ответ, - перебил Вокульский.

- Прикажете прийти или ждать вашего уведомления?

- Да, я отвечу вам письменно.

- Прошу не забывать меня, - ответил гость, встал и, поклонившись, вышел.

Лакей принес вторую визитную карточку, и вскоре появился второй посетитель. Это был пухленький и румяный человечек, по виду владелец магазина шелковых тканей. На всем пути от двери к столу он непрерывно отвешивал поклоны.

- Что вам угодно, сударь? - спросил Вокульский.

- Как, вы не догадались, прочитав фамилию Эскабо? Ганнибала Эскабо? удивился человек. - Винтовка Эскабо производит семнадцать выстрелов в минуту, а образец, который я буду иметь честь показать вам, выбрасывает тридцать пуль...

У Вокульского было такое недоумевающее лицо, что Ганнибал Эскабо тоже пришел в недоумение.

- Полагаю, я не ошибся? - спросил он.

- Вы ошиблись, сударь, - возразил Вокульский. - Я галантерейный купец и винтовками не интересуюсь.

- Однако же мне говорили... по секрету... - с ударением сказал Эскабо, - что вы, господа...

- Вас неправильно осведомили.

- Ах, в таком случае простите... Тогда, может быть, в другом номере... - говорил посетитель, пятясь к дверям и кланяясь на ходу.

Снова на сцену выступил голубой фрак с белыми панталонами, а вслед за ним новый посетитель - на этот раз маленький, щупленький, черный, с беспокойными глазками. Он чуть не бегом подбежал к столу, упал на стул, оглянулся по сторонам и, придвинувшись к Вокульскому, заговорил понизив голос:

- Вы, сударь, наверное, удивлены, но... дело весьма важное... чрезвычайно важное... На днях я сделал важнейшее открытие насчет рулетки... Надо только шесть-семь раз подряд удваивать ставку.

- Извините, пожалуйста, я этим не занимаюсь, - перебил Вокульский.

- Вы мне не доверяете?... Это вполне естественно... Но у меня как раз при себе маленькая рулетка... Мы можем попробовать.

- К сожалению, мне сейчас некогда.

- Всего три минутки... минутку...

- Ни полминутки.
- Когда же мне прийти? - спросил гость с обескураженным видом.
- Во всяком случае, не скоро.
- Так по крайней мере ссудите мне сто франков на публичные испытания...
- Могу предложить пять, - ответил Вокульский, доставая кошелек.
- О нет, сударь, благодарствую... Я не авантюрист... А впрочем, давайте... завтра я их верну... А вы, может быть, к тому времени надумаете.

Следующий посетитель, человек внушительных объемов, с целой коллекцией миниатюрных орденов на лацкане сюртука, предлагал Вокульскому на выбор: диплом доктора философских наук, орден или титул - и казался весьма озадаченным, когда предложения его были отвергнуты. Он ушел, даже не попрощавшись.

После него на несколько минут наступил перерыв. Вокульскому послышался шелест женского платья в приемной. Он напряг слух... В этот момент лакей доложил о баронессе.

Опять долгая пауза - и в салоне появилась женщина столь изысканная и красивая, что Вокульский невольно привстал с кресла. Ей было, вероятно, лет под сорок: статная, очень правильные черты лица, аристократическая осанка.

Вокульский молча указал ей на кресло. Дама села; она была заметно взволнована и теребила в руках вышитый платочек. Вдруг, надменно поглядев ему в глаза, она спросила:

- Вы меня знаете, сударь?
- Нет, сударыня.
- Вы даже не видели моих портретов?
- Нет.
- Значит, вы не бывали в Берлине и Вене?
- Не бывал.

Дама с облегчением перевела дух.

- Тем лучше, - сказала она, - я буду смелее. Я вовсе не баронесса... Кто именно - это неважно. Временно я оказалась в затруднительном положении... мне нужно достать двадцать тысяч франков... А здесь закладывать в ломбард мои драгоценности я не хочу... Вы меня понимаете?
- Нет, сударыня.
- Поэтому... я могу продать вам важную тайну...
- Я не имею права покупать тайны, - ответил Вокульский, немало смущенный.
- Не имеете права?.. Зачем же вы сюда прибыли?.. - спросила она с усмешкой.
- И все же не имею права.

Дама встала.

- Вот, - с живостью сказала она, - адрес, по которому можно меня найти не позже чем через двадцать четыре часа, а вот... записка, которая заставит вас, быть может, призадуматься... Прощайте.

Она вышла, шелестя платьем. Вокульский развернул записку и прочел сведения о себе и Сузине, которые обычно вписываются в паспорт.

"Ну, ясное дело, - подумал он, - Миллер заглянул в мой паспорт и сделал из него выписку, даже с ошибками... "Воклюски"!.. Черт побери, за младенца, что ли, они меня принимают?.."

Посетители больше не появлялись, и он вызвал Жюмара.

- Что прикажете, сударь? - спросил изящный дворецкий.

- Я хотел бы с вами поговорить.

- Частным образом? В таком случае, разрешите присесть. Спектакль окончен, костюмы отправляются на склад, актеры получают равные права.

Он произнес это несколько ироническим тоном, с непринужденностью очень хорошо воспитанного человека. Вокульский все более удивлялся.

- Скажите, - спросил он, - что это за люди?

- Те, что были сейчас у вас? Обыкновенные люди: гиды, изобретатели, посредники... Каждый работает, как умеет, и старается продать свой труд подороже. А если они норовят получить больше, чем заслуживают, - это уж чисто французская черта.

- Вы не француз?

- Я? Я родился в Вене, воспитывался в Швейцарии и Германии, долгое время жил в Италии, в Англии, Норвегии, Соединенных Штатах... Фамилия, которую я ношу*, превосходно определяет мою национальную принадлежность: я сродни всякому, в чьем стойле живу, - с волами я вол, с конями - конь. Я знаю, откуда у меня деньги, знаю, на что их трачу, людям это тоже известно, до остального мне дела нет.

* Жюмар (Jurnart) - помесь (франц.)

Вокульский пристально разглядывал его.

- Я вас не понимаю, - сказал он.

- Видите ли, - продолжал Жюмар, барабанив пальцами по столу, - я слишком много ездил по свету, чтобы придавать значение национальности. Для меня существуют только четыре национальности, независимо от языка. Номер первый те, о которых я знаю, откуда у них деньги и на что они их тратят. Номер второй - те, о которых я знаю, откуда они берут деньги, но не знаю, на что они их тратят. Номер третий - расходы известны, а доходы нет. И, наконец, номер четвертый, где мне неизвестно ни то, ни другое. О мсье Эскабо я знаю, что он получает доходы с трикотажной фабрики, а тратит их на производство какого-то адского оружия; следовательно, это человек положительный. Что касается баронессы... я не знаю - ни откуда у нее деньги, ни на что она их тратит; поэтому я ей не доверяю.

- Я купец, мсье Жюмар, - заметил Вокульский, неприятно задетый этой теорией.

- Знаю. И, кроме того, вы приятель мсье Сюэна, что тоже приносит известный процент.

Впрочем, мои замечания относились не к вам; я их высказал в виде наставления, которое, как я надеюсь, окупится.

- Да вы философ, - проворчал Вокульский.

- И даже доктор философии двух университетов, - прибавил Жюмар.

- И исполняете роль...

- Лакея, хотите вы сказать?.. - смеясь, перебил Жюмар. - Я работаю, чтобы жить и обеспечить себе под старость ренту. А о почетных званиях я не забочусь; сколько их уж было у меня! Мир подобен любительскому театру, поэтому неприлично хвататься за первые роли и отказываться от второстепенных. В конце концов всякая роль хороша, нужно только искусно сыграть ее и не принимать слишком всерьез.

Вокульский пошевелился. Жюмар встал со стула и, изящно поклонившись, сказал:

- К вашим услугам, сударь. - И вышел из салона.

- Жар у меня, что ли? - шепнул Вокульский, сжимая голову руками. - Я знал, что Париж удивительный город, но это...

Он взглянул на часы: было всего половина четвертого.

- Еще четыре с лишним часа до заседания, - проворчал Вокульский, чувствуя, как им овладевает тревога при мысли о том, куда девать время? Он видел уже столько нового, разговаривал со столькими новыми людьми - и все еще было только половина четвертого.

Его терзало какое-то смутное беспокойство, чего-то ему не хватало. "Поесть, что ли, опять? Нет. Почитать? Нет. Поговорить с кем-нибудь? Нет, нет, я уже сыт по горло разговорами..." Люди ему опротивели: наименее отвратительны были те, что страдали манией изобретательства, да чудак Жюмар со своей классификацией человеческого рода.

У него не хватало духа вернуться в свой номер с огромным зеркалом; что же еще оставалось, кроме осмотра парижских достопримечательностей? Он велел слуге проводить себя в ресторан "Гранд-отеля". Все тут было роскошно и грандиозно, начиная со стен, потолка и окон, кончая размерами и количеством столов. Но Вокульский не смотрел по сторонам; уставившись на одну из огромных позолоченных люстр, он думал:

"Когда она будет в возрасте баронессы... она, привыкшая тратить десятки тысяч в год... кто знает? Не пойдет ли она по стопам баронессы? Ведь эта женщина тоже когда-то была молода, может быть, по ней сходил с ума такой же безумец, как я, и она тоже не спрашивала, откуда берутся деньги... Теперь ей уже известны некоторые источники дохода: например торговля тайнами!.. Будь проклята среда, которая взрастила такую красоту и таких женщин!"

В зале ему было душно, он выбежал из отеля и окунулся в сумятицу улиц.

"Налево я уже ходил; теперь пойду направо", - решил он.

Идти куда глаза глядят по огромному городу - только в этом занятии он находил еще какое-то горькое очарование.

"Если б можно было затеряться в этой толпе..." - подумал он.

Вокульский свернул вправо, обогнул одну небольшую площадь и вышел на другую, очень просторную, обсаженную деревьями. Посредине ее стояло прямоугольное здание с колоннами, похожее на греческий храм; огромные бронзовые двери были покрыты

барельефами, на верхушке фронтона красовался барельеф, изображающий, по всей вероятности, день Страшного суда.

Он обошел здание кругом; его мысли устремились к Варшаве. С каким трудом там воздвигаются постройки, небольшие, непрочные, едва возвышающиеся над землей, тогда как здесь творческий дух человека, словно шутя, возводит дома-гиганты и, ничуть не утомившись от усилий, еще осыпает их украшениями.

Увидев напротив короткую улицу и за нею огромную площадь, на которой возвышалась стройная колонна, Вокульский пошел к ней. Чем ближе он подходил, тем выше вздымалась колонна и шире расступалась площадь. Впереди и позади колонны били высокие фонтаны; направо и налево тянулись, словно сады, купы желтеющих деревьев; в глубине виднелась река, над которой стлался дым быстро несущегося парохода.

По площади проезжало сравнительно немного экипажей, зато гуляло много детей с матерями и няньками. Часто навстречу попадались военные разных родов оружия, и где-то неподалеку играл оркестр.

Вокульский в изумлении остановился перед обелиском. Обелиск стоял в центре огромной площади, длиною версты в две и в полверсты шириною. Позади него простирался парк, впереди - длиннейшая аллея; по обе стороны аллеи тянулись скверы и особняки, а вдали, на холме, высилась грандиозная арка. Вокульский чувствовал, что самые восторженные эпитеты и сравнения бледнеют перед красотой этих мест.

- Это площадь Согласия, а это обелиск из Луксора (самый подлинный, сударь!), за нами Тюильрийский сад, перед нами Елисейские поля, а там, в конце... арка Звезды...

Вокульский оглянулся: около него вертелся какой-то господин в темных очках и изрядно рваных перчатках.

- Мы можем пройти туда... Божественная прогулка!.. Вы видите, какое движение... - говорил незнакомец.

Но вдруг он умолк, поспешно отскочил в сторону и шмыгнул меж двух проезжавших экипажей. К Вокульскому подошел военный в короткой пелерине с откинутым капюшоном. Военный с минуту разглядывал Вокульского и, усмехнувшись, сказал:

- Вы иностранец?.. Будьте осторожны в выборе знакомых в Париже...

Вокульский машинально поднес руку к боковому карману и не обнаружил там серебряного портсигара. Он покраснел, любезно поблагодарил военного в пелерине, однако не признался в пропаже. Он вспомнил определения Жюмара и подумал, что уже знает источник дохода господина в рваных перчатках, хотя еще не знает его расходов.

"Жюмар прав, - подумал он. - Воры менее опасны, чем люди, неизвестно откуда черпающие свои доходы..." И ему пришло на ум, что в Варшаве очень много именно таких людей.

"Может быть, потому-то там нет подобных зданий и триумфальных арок..."

Он шел по Елисейским полям, до головокружения вглядываясь в нескончаемое движение карет и экипажей, между которыми мелькали всадники и амазонки. Шел, отгоняя от себя мрачные мысли, которые парили над ним, как стая летучих мышей. Шел и боялся оглянуться: ему чудилось, что на этой улице, брызжущей весельем и роскошью, сам он - растоптанный червь, волочащий за собой свои внутренности.

Дойдя до арки Звезды, Вокульский медленно повернул обратно. Когда опять подходил к площади Согласия, за Тюильрийским садом поднялся огромный черный шар, быстро взлетел

вверх, ненадолго застыл в вышине и плавно опустился вниз.

"Ах, это воздушный шар Жифарда! - подумал Вокульский. - Жаль, что сегодня у меня нет времени!"

С площади он свернул на какую-то улицу; по правую сторону ее тянулся сад, огороженный чугунной решеткой со столбиками, на которых стояли вазы; по левую - ряд каменных домов с полукруглыми крышами, с лесом дымоходов и жестяных труб и нескончаемыми балюстрадами... Он медленно шел и с тревогой думал о том, что не прошло еще и восьми часов с его приезда, а Париж уже начинает ему надоедать...

"Это уж слишком, - убеждал он себя. - А выставка, а музеи, а воздушный шар?.."

Продолжая идти по улице Риволи, он к семи часам добрался до площади, на которой стояла одинокая как перст готическая башня, окруженная деревьями и низкой чугунной оградой. Отсюда снова в разные стороны расходилось несколько улиц, но Вокульский уже устал; он кликнул фиакр и через полчаса оказался в отеле, миновав по пути уже знакомые ворота Сен-Дени.

Заседание с судовладельцами и морскими инженерами затянулось до полуночи, причем было выпито изрядное количество шампанского. Вокульский, которому одновременно приходилось выручать Сузина в разговоре и делать множество заметок, только за работой совсем успокоился. Он бодро поднялся к себе в номер и, не обращая внимания на докучное зеркало, лег в постель, взял "Путеводитель" и развернул план Парижа.

- Шутка ли! - пробормотал он. - Около ста квадратных верст площади, два миллиона жителей, несколько тысяч улиц и тысяч пятнадцать экипажей общего пользования...

Потом он пробежал глазами длинный список парижских достопримечательностей и со стыдом подумал, что, наверное, никогда не сможет ориентироваться в этом городе...

"Выставка... Собор Парижской богородицы... Центральный рынок... Площадь Бастилии... Церковь святой Магдалины... Канализационные коллекторы... Просто голова идет кругом!.."

Он погасил свечу. На улице было тихо, в окно струился свет фонарей, серый, как будто он пробивался сквозь облака. У Вокульского шумело и звенело в ушах; перед глазами мелькали то улицы, гладкие, как паркет, то деревья, окруженные чугунными решетками, то дома из тесаного камня, то сплошной поток людей и экипажей, неведомо откуда появившихся и неведомо куда спешивших. Всмотриваясь в образы, мелькавшие, как в калейдоскопе, он стал засыпать и подумал, что все-таки первый день в Париже запомнится ему на всю жизнь. И приснилось ему, будто это море домов, лес статуй и бесконечные вереницы деревьев валяются на него, а сам он спит в огромной гробнице - одинокий, спокойный и даже счастливый. Спит и ни о чем не думает, ни о ком не помнит; он проспал бы так целую вечность, если бы - увы! - не эта капелька горечи, которая затаилась не то в нем самом, не то где-то вне его, такая крохотная, что ее не разглядишь человеческим глазом, и такая ядовитая, что ею одной можно отравить весь мир.

С того дня, когда Вокульский впервые окунулся в парижскую жизнь, для него началось необычное существование. Если не считать нескольких часов, которые занимали совещания Сузина с судостроителями, он был совершенно свободен и проводил время в самых безалаберных прогулках по городу. Он по алфавиту выбирал в "Путеводителе" какой-нибудь квартал и, даже не взглянув на план, ехал туда в открытом экипаже. Взбирался по лестницам, обходил вокруг здания, торопливо осматривал залы, останавливался перед самыми интересными экспонатами и в том же фиакре, нанятом на весь день, ехал в другой квартал, опять-таки намеченный по указателю. А так как больше всего его страшила бездеятельность, он по вечерам изучал план города, вычеркивал уже осмотренные кварталы и делал заметки.

Иногда в этих экскурсиях ему сопутствовал Жюмар и водил его в места, не упомянутые в путеводителях: в торговые склады, на фабрики, в квартиры ремесленников, в комнаты студентов, в кафе и рестораны на третьеразрядных улицах. И только там Вокульский знакомился с подлинной жизнью Парижа.

Во время своих скитаний он взбирался на башни Сен-Жак, Собора Парижской богородицы и Пантеона, поднимался на лифте на Трокадеро, спускался в канализационные коллекторы и в украшенные черепами катакомбы, посетил выставку, Лувр, музей Клюни, Булонский лес и парижские кладбища, кафе "Ротонду", "Гран-балькон" и фонтаны, школы и больницы, Сорбонну, фехтовальные залы, торговые ряды, консерваторию, бойни и театры, биржу, Июльскую колонну и храмы. Все эти зрелища хаотически мелькали перед ним, как бы вторя хаосу в его душе.

Не раз, мысленно перебирая все виденное - от выставочного дворца, имевшего две версты в окружности, до жемчужины в бурбонской короне не крупнее горошины, - он спрашивал себя: "Чего я, собственно, хочу?" И оказывалось, что он ничего не хотел. Ничто не привлекало его внимания, не заставляло быстрее биться сердце, не побуждало к деятельности. Если бы ему предложили пройти пешком от кладбища Монмартр до кладбища Монпарнас, посулив в награду весь Париж, при одном, однако, условии, чтобы это его увлекло и взволновало, - он отказался бы пройти эти пять верст. А ведь он исхаживал десятки верст ежедневно только затем, чтобы заглушить в себе воспоминания.

Иногда он казался себе существом, которое, по странной игре случая, родилось всего несколько дней назад вот здесь, на парижской мостовой, а все, что тревожило его память, было лишь обманом, неким сном, никогда не существовавшим в действительности. Тогда он говорил себе, что вполне счастлив, ездил из одного конца Парижа в другой и, как безумный, пригоршнями разбрасывал луидоры.

- Не все ли равно! - бормотал он. Ах, если б только не эта капелька горечи, такая маленькая, и такая ядовитая!

Порой в однообразии серых дней, обрушивавших на него весь этот мир дворцов, фонтанов, статуй, механизмов и картин, врывался случай, который напоминал, что он - не призрак, а живой человек, страдающий раком души.

Однажды он был в театре "Варьете" на улице Монмартр, неподалеку от своего отеля. Давали три веселые пьески, в том числе оперетку. Он пошел туда, чтобы забыться. Поднялся занавес, и на сцене плаксивым голосом произнесли:

- "Любовник все стерпит от своей возлюбленной, только не другого любовника..."

- Нередко приходится терпеть и трех, а то и четырех! - заметил француз, сидевший рядом с Вокульским, и засмеялся.

У Вокульского перехватило дыхание, ему почудилось, что под ним расступается земля и потолок валится на голову. Дольше он не мог выдержать; встал с места, на беду находившегося в середине зала, и, наступая на ноги соседям, весь в холодном поту, выбрался из театра.

По дороге в отель он свернул в первое попавшееся угловое кафе. О чем его там спрашивали и что он отвечал, он так и не мог вспомнить. Помнил только, что ему подали кофе и графинчик коньяку с нанесенными на стекло делениями, соответствующими объему рюмки.

Вокульский пил и думал:

"Старский - это второй любовник, Охоцкий - третий... А Росси? Росси, которому я устраивал

овации и носил в театр подарки... Кем он был? О, я глупец, да ведь эта женщина Мессалина если не телом, то духом... И я, я стану по ней сходиться с ума? Я?.."

Он почувствовал, что гнев принес ему успокоение; когда подошел гарсон со счетом, оказалось, что графинчик пуст.

"Однако же, - подумал он, - коньяк действует успокоительно!"

С тех пор всякий раз, когда ему вспоминалась Варшава или встречалась женщина с чем-то неуловимо знакомым в движениях, в костюме или в лице, Вокульский заходил в кафе и выпивал графинчик коньяку. И только тогда он смело думал о панне Изабелле и удивлялся, что такой человек, как он, мог полюбить такую женщину.

"Право же, я заслуживаю того, чтобы быть первым и последним..." - думал он.

Графинчик опорожнялся, а он облокачивался на столик и дремал, к большому удовольствию гарсонов и посетителей.

Он по-прежнему целыми днями осматривал выставку, музеи, артезианские колодцы, школы и театры - не для того чтобы узнать что-то новое, а чтобы заглушить воспоминания.

Мало-помалу, оттесняя ощущение неуловимой боли, его стал занимать вопрос: есть ли в структуре Парижа какая-нибудь последовательная система; с чем на земле можно сравнить этот город? С Пантеона или с Трокадеро, откуда ни взгляни, Париж казался одинаковым: море домов, пересеченное тысячью улиц; неровные крыши - как волны, трубы - как брызги пены, а башни и колонны - как большие валы.

- Хаос! - говорил Вокульский. - Впрочем, там, где сливаются миллионы усилий, иначе и быть не может. Большой город - как облако пыли: очертания его случайны, и в структуре не может быть логики. Имейся эта логика, сей факт давно бы открыли путеводители, - на то они и существуют.

И он всматривался в план города, смеясь над собственными попытками открыть несуществующее.

"Только один человек, и к тому же человек гениальный, может создать стиль, план, - думал он. - Но чтобы миллионы людей, работающих на протяжении столетий и ничего не знающих друг о друге, создали какое-то логическое целое, - это попросту невысказано".

Но постепенно, к великому своему изумлению, он убеждался, что Париж, строившийся более десятка столетий миллионами людей, которые ничего друг о друге не знали и не заботились ни о каком плане, тем не менее заключает в себе систему, образует некое целое, и даже весьма логическое.

- Прежде всего его поразило сходство Парижа с огромным блюдом, девяти верст шириною - с севера на юг и одиннадцати длиною - с востока на запад. В южной части блюдо было надтреснуто - это пересекала его излучина Сены, текущая от юго-восточной части города через его середину и сворачивающая на юго-запад. Восьмилетний ребенок мог бы начертить такой план.

"Ну хорошо, - не сдавался Вокульский, - но где порядок в размещении достопримечательных зданий? Собор богородицы в одной стороне, Трокадеро в другой, а Лувр, а биржа, а Сорбонна! Хаос, и больше ничего!"

Однако, всмотревшись пристальней в план Парижа, Вокульский заметил то, что проглядели не только парижские старожилы (факт еще не столь удивительный), но даже путеводители К.Бедекера, претендующие на блестящее знание Европы.

В Париже, несмотря на кажущуюся хаотичность, есть определенный план и логика, хотя строили его в течение многих столетий миллионы людей, незнакомых друг другу и отнюдь не помышлявших о логике и стиле.

В Париже есть то, что можно назвать хребтом, центральной осью города.

Венсенский лес находится на юго-восточной границе Парижа, а опушка Булонского леса - на северо-западной его границе. Пролегающая между ними ось города напоминает гигантскую гусеницу (длиною почти в шесть верст), которая, соскучившись в Венсенском лесу, отправилась на прогулку в Булонский лес.

Кончиком хвоста она упирается в площадь Бастилии, головой - в арку Звезды, а туловищем почти прилегает к Сене, причем шею ее образуют Елисейские поля, торс - Тюильри и Лувр, хвост - Ратуша, Собор богородицы и, наконец, Июльская колонна на площади Бастилии.

У этой гусеницы много ножек - покороче и подлиннее. Начиная от головы, первая пара ножек тянется: слева - до Марсова поля, Трокадеро и выставки, справа - до Монмартрского кладбища. Вторая пара ножек (покороче) слева упирается в Военную академию, Дворец инвалидов и Палату депутатов, справа в церковь святой Магдалены и Оперу. Далее (по направлению к хвосту) идут: слева - Академия изящных искусств, направо - Пале-Рояль, банк и биржа; слева - Французский институт и Монетный двор, справа - Центральный рынок; слева Люксембургский дворец, музей Клуни и Медицинская академия, справа - площадь Республики с казармами принца Евгения.

Кроме этой центральной оси и систематичности общего контура города, Вокульский подметил, - об этом, впрочем, говорилось и в путеводителях, - что в Париже размещены в стройном порядке различные виды человеческого труда. Между площадью Бастилии и площадью Республики сосредоточены промышленность и ремесла; напротив, на другом берегу Сены, находится Латинский квартал, прибежище учащихся и ученых. Между Оперой, площадью Республики и Сеной царят экспортная торговля и финансы; между Собором богородицы, Французским институтом и Монпарнасским кладбищем гнездятся остатки аристократических родов; от Оперы к арке Звезды тянется квартал богатых выскочек, а напротив, на левом берегу Сены, возле Дворца инвалидов и Военной академии, находится резиденция военщины и международных выставок.

Эти наблюдения пробудили в Вокульском новые мысли, которые раньше не приходили ему в голову или были очень неопределенны. Значит, у большого города, как у растения или животного, есть своя анатомия и физиология. Значит, работа миллионов людей, которые без усталости кричат о своей свободной воле, дает те же результаты, что и работа пчел, строящих правильной формы соты, муравьев, возводящих конусообразные холмики, или химических соединений, образующих правильной формы кристаллы.

Итак, обществом движет не случай, а непреложный закон, который, словно в насмешку над человеческой гордыней, столь наглядно проявляется в жизни самого ветреного народа, французов! Ими правили Меровинги и Каролинги, Бурбоны и Бонапарты, были у них три республики и периоды безвластия, были инквизиции и атеизм; их правители и министры сменялись, как дамские моды или облака на небе... И вот, несмотря на множество перемен, по виду столь глубоких, Париж все явственнее принимал форму блюда, рассеченного Сеной; все отчетливее вырисовывался основной стержень города, идущий от площади Бастилии к арке Звезды, и все резче разграничивались кварталы - ученый и промышленный, аристократический и торговый, военный и буржуазный.

Ту же роковую закономерность Вокульский проследил в истории пятнадцати - двадцати наиболее знаменитых парижских семейств. Какой-нибудь прадед, скромный ремесленник, работал на улице Темпл по шестнадцати часов в сутки; его сын, отведав плодов науки в

Латинском квартале, открыл большую мастерскую на улице Сент-Антуан; внук, углубившись в дебри науки, перебрался в качестве крупного торговца на бульвар Пуассоньер, а правнук вышел в миллионеры и поселился неподалеку от Елисейских полей, чтобы... дочери его могли лелеять свои расстроенные нервы на бульваре Сен-Жермен. И, таким образом, род, чей основатель трудился не покладая рук и нажил богатство рядом с Бастилией, истощив свои силы возле Тюильри, угасал около Собора богородицы. Топография города соответствовала истории его жителей.

Размышляя над этой удивительной закономерностью фактов, которые принято считать случайными, Вокульский чувствовал, что, пожалуй, единственное, что может вывести его из апатии, были подобного рода исследования.

- Я дикарь, - говорил он себе, - потому и впал в безумие, но меня вылечит от него цивилизация.

Каждый день, проведенный в Париже, будил новые мысли, раскрывал тайны его собственной души.

Однажды, когда он сидел, потягивая мазагран, под навесом кафе, к веранде подошел какой-то уличный певец и, аккомпанируя себе на арфе, затянул песню:

Au printemps la feuille repousse

Et la fleur embellit les prés;

Mignonette, en foulant la mousse,

Suivons les papillons diaprés.

Vois, les se poser sur les roses;

Comme eux aussi je veux poser

Ma levre sur tes lèvres closes

Et te ravir un doux baiser!*

* Весной распускаются листья,

и цветы украшают луга;

милая, побежим по мху,

подражая пестрым мотылькам.

Погляди, как они прижимаются к розам;

я хочу, подобно им,

прижаться к твоим губам

и похитить с них сладкий поцелуй! (франц.)

Тотчас же несколько посетителей кафе подхватили последнюю строфу:

Vois, les se poser sur les roses;

Corame eux aussi je veux poser

Ma levre sur tes levres closes

Et te ravir un doux baiser!

- Глупцы! - проворчал Вокульский. - Не могут найти ничего получше дурацких песен.

И мрачный, с болью в сердце, он смешался с толпой. Люди вокруг него суетились, кричали, разговаривали и распевали, словно дети, высыпавшие гурьбой из школы.

- Глупцы, глупцы! - повторял он.

Неожиданно ему подумалось: а не он ли глупец? "Будь все эти люди похожи на меня, Париж выглядел бы как огромный сумасшедший дом для страдающих тихим помешательством, каждый отравлял бы себе существование каким-нибудь призраком, улицы превратились бы в месиво грязи, а дома в развалины. Между тем они принимают жизнь такой, какая она есть, стремятся к достижимым целям, счастливы и создают шедевры.

А к чему я стремился? Сначала мечтал изобрести перпетуум-мобиле и управляемые воздушные шары, потом хотел занять положение, чему препятствовали собственные мои единомышленники, и, наконец, добивался женщины, к которой мне чуть ли не запрещено приближаться. И всегда я либо жертвовал собою, либо вдохновлялся идеями, созданными теми классами, которые хотели сделать из меня слугу и раба".

И он старался представить себе, что было бы, появись он на свет не в Варшаве, а в Париже. Во-первых, при наличии множества учебных заведений он мог бы больше учиться в детстве. Во-вторых, даже находясь в услужении у купца, он встретил бы поддержку, если бы проявил склонность к науке. В-третьих, он бы не тратил попусту сил на изобретение перпетуум-мобиле, увидев в здешних музеях множество подобных машин, которые никогда не действовали. А принявшись за упрямые воздушные шары, нашел бы здесь готовые модели, целую толпу таких же мечтателей, как он, и даже помощь, если бы мысль его была практически осуществима.

И, наконец, если бы он, будучи состоятельным человеком, влюбился в девушку из аристократического семейства, ему бы не чинили таких препятствий. Он смог бы узнать ее короче и либо охладел бы, либо добился ее взаимности. Во всяком случае, с ним бы не обращались, как с негром в Америке.

Впрочем, разве тут, в Париже, влюбляются так, как он, до потери сознания, до безумия?

Здесь влюбленные не предаются отчаянию, а танцуют, поют и вообще проводят время самым веселым образом. Если официальный брак невозможен - они вступают в свободный союз; если не могут держать детей при себе - отдают их на воспитание. Здесь любовь, наверное, никогда не доводила до безумия людей разумных.

"Последние два года моей жизни прошли в погоне за женщиной, от которой я, быть может, сам бы отказался, если бы узнал ее ближе. Вся мою энергию, все знания, способности и огромное богатство поглощает одна страсть - и только потому, что я купец, а она, черт возьми, аристократка... Разве общество в моем лице не наносит ущерб самому себе?"

Так, предаваясь критическому самоанализу, Вокульский пришел наконец к выводу, что его положение нелепо, и решил искать выхода.

"Что делать, что делать? Ясно - то, что делают другие!"

А что они делают? Прежде всего - необычайно много работают, по шестнадцати часов в

сутки, даже по воскресеньям и по праздникам. Благодаря этому здесь осуществляется закон естественного отбора, по которому только сильные имеют право на жизнь. Хилый погибает в один год, малоспособный - в несколько лет; выживают только самые сильные и одаренные. И вот эти-то люди благодаря трудам целых поколений таких, как они, борцов имеют возможность удовлетворять все свои потребности.

Огромные канализационные коллекторы предохраняют их от болезней, широкие улицы обеспечивают доступ воздуха в их квартиры, Центральный рынок доставляет им пищу, тысячи фабрик - одежду и мебель. Если парижанин хочет отдохнуть на лоне природы - он едет за город либо в Булонский лес; хочет насладиться искусством - идет в Лувр; интересуется наукой - к его услугам музеи и научные коллекции.

Работа для достижения полного счастья - вот чем полна парижская жизнь. В качестве средства от утомления здесь имеются тысячи экипажей, от скуки сотни театров и зрелищ, от невежества - сотни музеев, библиотек, лекций. Здесь заботятся не только о человеке, но даже о лошади, прокладывая гладкие мостовые; здесь оберегают даже деревья: на специальных телегах перевозят их на новое место, ограждают от вредителей железными решетками, облегчают доступ влаге, лечат их в случае заболевания.

Благодаря такой заботливости всякий предмет в Париже служит одновременно нескольким целям. Дома, мебель, посуда не только полезны, но и красивы, не только служат для удобства, но и радуют глаз. А произведения искусства не только прекрасны, но и служат практическим целям. При триумфальных арках и башнях храмов имеются лестницы, по которым можно подняться наверх и взглянуть оттуда на город. Статуи и картины доступны не только ценителям; всякий художник и любитель может снимать копии с оригиналов, помещенных в музеях.

Француз, создавая что-либо, заботится о том, чтобы произведение его рук соответствовало своему назначению, а также чтобы оно было красиво. Не довольствуясь этим, он печется о его прочности и чистоте. Подтверждение этому Вокульский находил на каждом шагу, в каждой вещи, начиная с тележек, перевозивших мусор, и кончая барьером, огораживающим статую Венеры Милосской. Он понял, что в результате такой системы тут не пропадает человеческий труд: каждое поколение передает своим преемникам величайшие творения предшественников, дополняя их собственным вкладом.

Таким образом, Париж является как бы ковчегом, в котором сохраняются сокровища цивилизации многих столетий, если не тысячелетий... Тут есть все от чудовищных ассирийских статуй и египетских мумий до последних достижений механики и электротехники, от кувшинов, в которых сорок веков назад египтянки носили воду, до огромных гидравлических колес из Сен-Мор.

"Те, кто творил эти чудеса, - думал Вокульский, - или собирали их, не были безумствующими бездельниками, как я..."

Говоря себе это, Вокульский краснел от стыда.

И опять, позанявшись несколько часов делами Сузина, он шатался по Парижу. Блуждал по незнакомым улицам, тонул в многолюдной толпе, погружался в кажущийся хаос вещей и событий и на дне его обнаруживал порядок и закон. А разнообразия ради пил коньяк, играл в карты и в рулетку или предавался разврату.

Он все ждал, что в этом вулканическом очаге цивилизации с ним произойдет нечто необычайное и начнется новая эра в его жизни. В то же время он замечал, что его отрывочные доселе знания и воззрения соединяются в нечто целостное, в некую философскую систему, которая объясняет ему много непонятного в мире и в его собственной жизни.

"Кто я такой?" - задавал он себе вопрос и постепенно формулировал ответ:

"Я неудачник. Были у меня огромные способности и энергия, но я ничего не совершил для цивилизации. Те выдающиеся люди, с которыми я тут встречаюсь, не располагают и половиной моих сил - и все же они оставят после себя машины, здания, произведения искусства, новые воззрения. А что оставляю я? Разве только мой магазин, который уже сейчас бы ничего не стоил, если б не Жецкий... А ведь я не бездельничал: я надрывался за троих, и все же только благодаря случаю имею я теперешнее свое состояние!.."

Он попытался ответить на вопрос: на что же ушли его силы и жизнь?

На борьбу с окружающей средой, с которой он никак не мог ужиться. Когда он хотел учиться - ему мешали, потому что стране нужны были не ученые, а мальчишки на побегушках и приказчики. Когда он хотел послужить обществу, даже пожертвовать ради него жизнью - ему подсунили вместо действенной программы утопические мечты, а потом забыли о нем. Когда он искал работу - ему не дали ее, заставив пойти проторенной дорожкой и жениться на богатой вдове. Когда, наконец, он влюбился и захотел стать законным отцом семейства, жрецом домашнего очага, святость которого все вокруг восхваляли, - его буквально загнали в тупик. Так что он даже не знает - была ли любимая им женщина обыкновенной взбалмошной кокеткой или так же, как он, сбилась с пути, не найдя своего места в жизни? Судя по ее поведению, это просто барышня на выданье, выжидающая наиболее выгодной партии; а взглянешь ей в глаза кажется, будто это ангел, которому земные условности связали крылья.

"Если б я мог удовольствоваться несколькими десятками тысяч годового дохода да игрой в вист, я был бы счастливейшим человеком в Варшаве. Но так как у меня, кроме желудка, есть душа, жаждущая знаний и любви, - мне оставалось там только погибнуть. На этой широте не вызревают ни определенного сорта растения, ни определенного сорта люди..."

Широта!.. Однажды, находясь в обсерватории, он взглянул на климатическую карту Европы и отметил в памяти, что средняя температура Парижа на пять градусов выше варшавской. Значит, в Париже в год на две тысячи градусов тепла больше, чем в Варшаве. А так как тепло - это могучая и, быть может, единственная творческая сила, то... загадка решена...

"На севере холодней, - думал он, - там растительный и животный мир беднее, значит человеку труднее прокормиться. Мало того, человек вынужден там вкладывать еще много труда в постройку теплых жилищ и изготовление теплой одежды. У француза, по сравнению с жителем севера, больше свободного времени и сил, и он направляет их на духовное творчество.

Если к неблагоприятным климатическим условиям добавить еще аристократию, которая завладела всеми накопленными богатствами народа и растратила их на бессмысленный разврат, станет ясно, почему выдающиеся люди не только не могут там развиваться, но просто обречены на гибель".

- Положим, я не погибну!.. - пробормотал он со злостью.

И впервые у него созрел план - не возвращаться на родину.

"Продам магазин, высвобожу свой капитал и поселюсь в Париже. Не стану мешать людям, для которых я не желателен... Тут я буду ходить по музеям, может быть займусь наукой, и жизнь моя пройдет если не счастливо, то по крайней мере без мучений..."

Вернуться на родину и остаться там могло его заставить только одно событие, один человек... Но это событие не наступало, зато происходили другие, все более отдалявшие его от Варшавы и все сильнее приковывавшие к Парижу.

Глава вторая

Привидение

Однажды Вокульский, как обычно, принимал посетителей в салоне. Он уже выпроводил одного субъекта, который предлагал ему драться за него на дуэлях, еще одного, который обладал даром чревовещания и стремился использовать его в дипломатии, и третьего, который обещал ему указать, где зарыты сокровища, спрятанные наполеоновским штабом под Березиной, когда появился лакей в голубом фраке и доложил:

- Профессор Гейст.

- Гейст?.. - повторил Вокульский, с каким-то особенным чувством. Ему пришло в голову, что, должно быть, нечто подобное происходит с железом при приближении магнита. - Проси!

Вошел очень маленький и худенький человек с желтым, как воск, лицом, но без единого седого волоса.

"Сколько ему может быть лет?" - подумал Вокульский.

Между тем гость пристально всматривался в него. Так они просидели минуты две, оценивая друг друга.

Вокульскому хотелось угадать возраст своего гостя; тот по-видимому, изучал хозяина.

- Что прикажете, сударь? - наконец прервал молчание Вокульский.

Гейст пошевелился на стуле.

- Где уж мне приказывать! - пожал он плечами. - Я пришел попрошайничать, а не прикатывать.

- Чем же я могу вам служить? - спросил Вокульский, которому лицо этого посетителя показалось удивительно симпатичным.

Гейст провел ладонью по голове.

- Я пришел сюда по одному делу, а говорить буду совсем о другом. Хотел я вам продать новое взрывчатое вещество...

- Я не куплю его, - прервал Вокульский.

- Нет? А ведь мне говорили, что вы, господа, ищете нечто в этом роде для флота. Впрочем, неважно... Для вас, сударь, у меня имеется нечто другое...

- Для меня? - спросил Вокульский, удивленный не столько словами Гейста, сколько его взглядом.

- Позавчера вы летали на привязном воздушном шаре, - продолжал гость.

- Да.

- Вы человек состоятельный и разбираетесь в физике.

- Да.

- И был момент, когда вы хотели броситься вниз? - спросил Гейст.

Вокульский отшатнулся вместе со стулом.

- Не удивляйтесь, - сказал гость. - Я в своей жизни встречал примерно тысячу физиков, а в лаборатории у меня работало четверо самоубийц, так что я хорошо знаю обе эти категории... Слишком часто вы поглядывали на барометр, чтобы я не угадал в вас физика, ну, а человека, помышляющего о самоубийстве, распознает даже институтка.

- Чем я могу служить? - еще раз спросил Вокульский, вытирая пот со лба.

- Я буду краток. Вы знаете, что такое органическая химия?

- Это химия углеродных соединений.

- А что вы думаете о химии водородных соединений?

- Что ее нет.

- Напротив, есть, - возразил Гейст. - Только она дает вместо различных видов эфира, жиров и ароматических тел новые соединения... Новые вещества, мсье Сюзэн, с весьма любопытными свойствами...

- Какое мне до этого дело? - глухо ответил Вокульский. - Я купец...

- Не купец вы, а отчаявшийся человек, - возразил Гейст. - Купцы не помышляют о прыжках с воздушных шаров. Едва я это увидел, как тотчас подумал: "Такого-то мне и надо!" Но вы исчезли у меня из виду... Сегодня случай вторично свел нас... Мсье Сюзэн, если вы богаты, мы должны поговорить о водородных соединениях...

- Во-первых, я не Сюзэн...

- Не имеет значения, я ищу отчаявшегося богача.

Вокульский глядел на Гейста чуть ли не с испугом. В голове его мелькали вопросы: шарлатан или тайный агент? Безумец или на самом деле некий дух?* Кто знает, быть может сатана не вымысел и в иные минуты и впрямь является людям? Одно несомненно - этот старик неопределенного возраста разгадал сокровеннейшую тайну Вокульского, в голову которого тогда действительно закрадывалась мысль о самоубийстве, но такая еще робкая, что он не признавался в этом даже самому себе.

* Гейст (Geist) - дух (нем.)

Гость не сводил с него глаз и улыбался ласково и одновременно насмешливо, а когда Вокульский раскрыл было рот, чтобы о чем-то спросить, он перебил:

- Не трудитесь, сударь... Я уже со столькими людьми беседовал об их характере и о моих открытиях, что наперед отвечу на ваш вопрос. Я профессор Гейст, старый безумец, как твердят во всех кафе близ университета и политехникума. Некогда меня называли великим химиком, пока... пока я не переступил границ воззрений, общепризнанных в современной химии. Я писал научные труды, делал открытия - и под собственной фамилией, и под фамилиями моих сотрудников, которые, впрочем, добросовестно делились со мною доходами. Но с того времени, как я открыл явления, которые кажутся невероятными по сравнению с тем, что печатается в ежегодниках Академии, меня называют не только безумцем, но даже еретиком и изменником...

- Здесь, в Париже? - удивился Вокульский.

- Ого-го! - рассмеялся Гейст. - Именно здесь, в Париже. Где-нибудь в Альтдорфе или Нейштадте отщепенцем и изменником считается тот, кто не верит в пасторов, Бисмарка, в десять заповедей и прусскую конституцию. Здесь можно сколько угодно издеваться над Бисмарком и конституцией, но зато под угрозой отлучения запрещено сомневаться в таблице умножения, в теории волнового движения, в постоянстве удельного веса и т.д. Укажите мне хоть один город, где бы люди не сжимали своих мозгов тисками каких-либо догматов, - и да будет он столицей мира и колыбелью грядущего человечества!

Вокульский несколько успокоился; он убедился, что имеет дело с маньяком.

Гейст смотрел на него, не переставая улыбаться.

- Я кончаю, мсье Сюээн. Я сделал великое открытие в области химии, я создал новую науку, изобрел неизвестные доселе промышленные материалы, о которых люди раньше не смели и мечтать. Но... мне не хватает еще некоторых чрезвычайно важных данных, а средства мои исчерпаны. На мои исследования я потратил четыре состояния и использовал десятка полтора людей... Сейчас мне нужно новое состояние и новые люди...

- Почему вы возымили ко мне такое доверие? - спросил Вокульский, уже совсем успокоившись.

- Нетрудно понять, - ответил Гейст. - О самоубийстве помышляет либо безумец, либо негодяй, либо человек незаурядных способностей, которому тесно на свете.

- А откуда вы знаете, что я не подлец?

- А откуда вы знаете, что лошадь - не корова? - возразил Гейст. - Во время моих вынужденных каникул, которые - увы! - тянутся иногда по несколько лет, я занимаюсь зоологией и специально изучением человеческой особи. В одной этой породе, двуногой и двурукой, я открыл десятки видов животных - от устрицы и глиста до совы и тигра. Скажу вам больше: я открыл помеси этих видов - крылатых тигров, собакоголовых змей, соколов в черепаших панцирях, что, впрочем, уже предвосхитила фантазия гениальных поэтов. И во всем этом скопище скотов и чудовищ я только изредка нахожу настоящего человека, существо с разумом, сердцем и энергией. Вы, мсье Сюээн, обладаете подлинно человеческими чертами, и потому я говорю с вами так откровенно. Вы - один на десять тысяч, может быть даже на все сто...

Вокульский поморщился. Гейст вспылал:

- Что? Уж не думаете ли вы, что низкой лестью я хочу выудить у вас несколько франков?.. Завтра я опять приду, и вы убедитесь, насколько несправедливо и глупо ваше подозрение...

Он вскочил со стула, но Вокульский удержал его:

- Не сердитесь, профессор! Я не хотел вас обидеть. Но ко мне почти ежедневно приходят всевозможные жулики...

- Завтра вы убедитесь, что я не жулик и не безумец. Я покажу вам вещи, которые видело всего шесть-семь человек, да и то... их уже нет в живых. О, если б они были живы! - вздохнул он.

- Почему только завтра?

- Потому что я живу далеко, а у меня нет денег на извозчика.

Вокульский пожал ему руку.

- Вы не обидитесь, профессор... если...

- Если вы дадите мне денег на извозчика?.. Нет. Ведь я с самого начала сказал вам, что я попрошайка - может быть, самый бедный во всем Париже.

Вокульский протянул ему сто франков.

- Помилуйте, - усмехнулся Гейст, - хватит и десяти... кто знает, не дадите ли вы мне завтра сто тысяч... У вас большое состояние?

- Около миллиона франков.

- Миллион! - повторил Гейст, хватаясь за голову. - Через два часа я вернусь. Только бы я оказался вам так же необходим, как вы мне...

- В таком случае, профессор, может быть, вы придете в мой номер на четвертом этаже? Здесь служебное помещение...

- Да, да, лучше в номер... Я вернусь через два часа, - отвечал Гейст и поспешно выбежал из салона. Вскоре явился Жюмар.

- Замучил вас старик, а? - спросил он.

- Что это за человек? - небрежно спросил Вокульский.

Жюмар выпятил нижнюю губу.

- Безумец, нечего и говорить, но еще в мои студенческие годы он был великим химиком. Ну, и что-то он такое изобрел; говорят, у него даже есть какие-то диковинные образцы... Однако... - И Жюмар постучал себя пальцем по лбу.

- Почему вы называете его безумцем?

- А как прикажете назвать человека, который надеется уменьшить удельный вес - не то всех тел, не то одних металлов, я уж не помню хорошенько...

Вокульский попрощался с ним и пошел к себе в номер.

"Что за странный город, - думал он, - где встречаются искатели сокровищ, наемные защитники чести, изысканные дамы, промышляющие тайнами, лакеи, рассуждающие о химии, и химики, пытающиеся уменьшить удельный вес тел!"

Около пяти явился Гейст; он был взволнован и запер за собою дверь на ключ.

- Мсье Сюзэн, - сказал он, - мне очень важно, чтобы мы с вами договорились... Скажите: есть у вас какие-нибудь семейные обязанности жена, дети? Хотя не похоже...

- У меня никого нет.

- И у вас миллион франков?

- Почти.

- Скажите-ка: почему вы помышляете о самоубийстве?

Вокульский вздрогнул.

- Это на меня просто так нашло... На высоте, голова закружилась.

Гейст покачал головой.

- Состояние у тебя, сударь мой, есть, - бормотал он, - за славой, по крайней мере сейчас, ты не гонишься... Тут должна быть замешана женщина! воскликнул он.

- Возможно, - ответил Вокульский, сильно смутившись.

- Так и есть, женщина! - сказал Гейст. - Плохо. С ними никогда не знаешь заранее, что они сделают, куда заведут... Как бы то ни было, послушай, - продолжал он, глядя Вокульскому прямо в глаза, - если б тебе еще когда-нибудь захотелось попробовать... понимаешь?.. Не накладывай на себя рук, а приходи ко мне...

- Может, я сейчас приду... - проговорил Вокульский, опуская глаза.

- Нет, не сейчас! - живо возразил Гейст. - Женщины никогда не справляются с людьми сразу. Ты уже покончил счеты с этой особой?

- Кажется, да...

- Ага! Только кажется! Плохо. На всякий случай запомни: у меня в лаборатории очень легко можно погибнуть, да еще как!

- Вы что-нибудь принесли, профессор? - перебил Вокульский.

- Плохо, плохо дело! - бормотал Гейст. - Опять мне придется искать покупателя на мое взрывчатое вещество, а я уж думал, что мы объединимся...

- Сначала покажите, что вы принесли.

- Верно... - Гейст вынул из кармана небольшую шкатулку. - Погляди-ка, сказал он, - вот за что человека объявляют умалишенным!

Шкатулка была жестяная, с каким-то мудреным запором. Одну за другой Гейст нажимал кнопки, размещенные с разных сторон шкатулки, поглядывая на Вокульского с волнением и опаской. На мгновение он даже заколебался и сделал движение, как будто хотел спрятать шкатулку, однако опомнился, нажал еще несколько кнопок - и крышка отскочила.

В ту же минуту стариком овладел новый приступ подозрительности. Он бросился на диван и спрятал шкатулку за спину, беспокойно поглядывая то на Вокульского, то на дверь.

- Глупости я делаю! - забормотал он. - Что за нелепость рисковать всем ради первого встречного...

- Вы мне не доверяете? - спросил Вокульский, взволнованный не меньше его.

- Никому я не доверяю! - брюзжал старик. - А кто может мне поручиться? И чем? Поклянется, даст честное слово? Слишком я стар, чтобы верить клятвам... Только взаимная выгода еще кое-как может удержать людей от подлеишей измены, да и то не всегда...

Вокульский пожал плечами и сел на стул.

- Я не принуждаю вас делиться со мною своими тревогами, - сказал он. Довольно с меня моих собственных.

Гейст не спускал с него глаз, но понемногу стал успокаиваться. Наконец он сказал:

- Ну-ка, подвинься к столу... Смотри: что это?

И он показал металлический шарик темного цвета.

- Кажется, это типографский сплав.

- Возьми-ка его в руку...

Вокульский взял шарик и поразился его тяжести.

- Это платина, - сказал он.

- Платина? - повторил Гейст с насмешливой улыбкой. - Вот тебе платина...

И он подал Вокульскому платиновый шарик такой же величины. Вокульский несколько раз перебрасывал шарики из руки в руку; изумление его возрастало.

- Эта штука раза в два тяжелее платины! - заметил он.

- Вот-вот... - расхохотался Гейст. - Один из моих друзей, академиком, назвал ее "сжатой платиной"... Недурно, а? Для определения металла, удельный вес которого составляет тридцать целых и семь десятых... Они всегда так! Стоит им придумать название для нового явления, как они тотчас утверждают, будто объяснили его на основе уже известных законов природы. Великолепные ослы - самые мудрые из всех, какими кишмя кишит так называемое человечество... А это - знаешь, что?

- Ну, это стеклянная палочка.

- Ха-ха-ха! - рассмеялся Гейст. - Возьми-ка ее в руки, присмотришь... Любопытное стекло, а? Тяжелее железа, поверхность излома зернистая; отличный проводник тепла и электричества; его можно строгать... Не правда ли, это стекло здорово смахивает на металл? Может быть, попробуешь разогреть его или ковать молотком?

Вокульский протер глаза. Несомненно, подобного стекла еще не бывало на свете.

- А это? - спросил Гейст, показывая другой кусочек металла.

- Наверное, сталь...

- Не натрий и не калий?

- Нет.

- Так возьми эту сталь в руки...

Тут уж изумление Вокульского уступило место растерянности: мнимая сталь была легка, как папиросная бумага.

- Что же, она полая?

- Разрежь этот кусочек пополам, а если у тебя нет инструмента, приходи ко мне. У меня ты увидишь множество подобных чудес и сможешь производить над ними какие хочешь опыты.

Вокульский поочередно брал в руки и разглядывал металл, то более тяжелый, чем платина, то прозрачный, как стекло, то более легкий, чем пух... Пока он держал их на ладони, они казались ему самым естественным явлением в мире: ибо что может быть естественнее предмета, воспринимаемого осязанием и зрением? Однако, как только он отдал образцы Гейсту, им овладели изумление и недоверие, изумление и страх. И он разглядывал их скова, качал головой, сомневался и верил, верил и сомневался.

- Ну, что? - спросил Гейст.

- Вы показывали это химикам?

- Показывал.

- А они что?

- Осмотрели, покачали головами и заявили, что все это вздор и шарлатанство, которым серьезная наука заниматься не может.

- Как? Даже не произведя анализа?

- Нет. Некоторые напрямик заявили, что, если приходится выбирать между отрицанием "законов природы" и обманчивым свидетельством собственных чувств, они предпочитают не доверять своим чувствам. И прибавляли еще, что серьезная проверка подобных шарлатанских штук может, дескать, привести к потере здравого смысла, а потому они решительно отказываются от опытов.

- И вы не опубликовали свои опыты?

- И не подумаю. Наоборот, умственная инертность моих коллег наилучшим образом гарантирует безопасность тайны; иначе другие подхватили бы мою мысль, рано или поздно открыли бы метод изготовления моих металлов и получили бы то, чего я им дать не хочу...

- А именно? - перебил Вокульский.

- Они получили бы металл легче воздуха, - спокойно произнес Гейст.

Вокульский вздрогнул; с минуту оба молчали.

- Зачем же вам скрывать от людей этот трансцендентальный металл? заговорил наконец Вокульский.

- По многим причинам. Во-первых, я хочу, чтобы материал этот вышел именно из моей лаборатории, пускай бы даже и не я сам его нашел. А во-вторых, нельзя допустить, чтобы такая вещь, которая изменит облик всего мира, стала собственностью современного человечества. И без того слишком много бедствий произошло на земле из-за неосторожных открытий.

- Я вас не понимаю.

- Послушай же. Среди так называемого человечества примерно на десять тысяч волков, баранов, тигров и гадов в человеческом образе едва ли найдется один истинный человек. Так всегда было, даже в каменном веке. И вот на это, с позволения сказать, человечество в течение многих столетий сваливались различные изобретения. Бронза, железо, порох, магнитная игла, книгопечатание, паровые машины, телеграф, электричество - все это без разбора попадало в руки гениев и идиотов, благородных людей и преступников... И к чему это привело? К тому, что глупость и порок, получая все более сильные орудия, множились и становились все могущественнее, вместо того чтобы постепенно вымирать. Я, - продолжал Гейст, - не хочу повторять этой ошибки, и если в конце концов открою металл легче воздуха, то отдам его только настоящим людям. Пусть наконец они получают оружие исключительно в свое распоряжение, пусть их раса множится и крепнет, а звери и чудовища в человеческом образе пусть постепенно гибнут. Если англичане вправе были истребить на своем острове волков, то подлинный человек вправе изгнать с лица земли тигров, загримированных под людей...

"А он все-таки не в своем уме", - подумал Вокульский и сказал вслух:

- Что же мешает вам осуществить эти планы?

- Отсутствие денег и помощников. Для открытия последнего звена нужно провести примерно восемь тысяч опытов, одному человеку на это потребовалось бы лет двадцать. Но четверо могли бы сделать ту же работу за пять-шесть лет...

Вокульский встал и в раздумье прошелся по комнате; Гейст не сводил с него глаз.

- Допустим, - заговорил Вокульский, - что я мог бы дать вам средства и одного... даже двух помощников. Но где же доказательство, что ваши металлы не мистификация, а ваши надежды - не самообман?

- Приди ко мне, осмотри все сам, сделай несколько опытов и убедишься. Другой возможности я не вижу.

- А когда можно прийти?

- Когда хочешь. Только дай мне несколько десятков франков, а то мне не на что купить нужные препараты. Вот мой адрес. - И Гейст протянул Вокульскому грязный листок бумаги.

Вокульский дал ему триста франков. Старик уложил свои образцы в шкатулку, запер ее и, прощаясь, сказал:

- Черкни мне несколько слов накануне прихода. Я почти не выхожу из дому... все стираю пыль с моих реторт.

После ухода гостя Вокульский был как в чад. Он то глядел на дверь, за которой исчез химик, то на стол, где минуту назад лежали сверхъестественные предметы, то ощупывал свои руки и голову и ходил по комнате, громко стуча каблуками, чтобы убедиться, что он не грезит, а бодрствует.

"Но ведь это было, - твердил он себе, - этот человек действительно показал мне какие-то два вещества: одно тяжелее платины, а другое значительно легче натрия. И даже заявил, что ищет металл легче воздуха!"

- Если во всем этом не кроется какой-то непостижимый обман, - громко сказал он, - то вот она, идея, которой стоит посвятить годы каторжного труда. Я нашел бы не только всепоглощающее занятие и осуществление своих самых смелых юношеских мечтаний, но и цель, прекраснейшую из всех, к каким когда-либо стремился человеческий дух. Вопрос воздухоплавания был бы решен, люди получили бы крылья.

Потом он опять пожимал плечами, разводил руками и бормотал:

- Нет, немыслимо!

Бремя новых истин - или новых заблуждений - так придавило его, что он почувствовал необходимость поделиться с кем-нибудь своими мыслями, хотя бы частью их. Он спустился в приемный зал на втором этаже и вызвал Жюмара.

Он никак не мог придумать, с чего начать этот странный разговор, но Жюмар сам облегчил ему задачу. Едва войдя, он сказал со сдержанной улыбкой:

- Старый Гейст, уходя от вас, был очень оживлен. Что ж, он вас убедил, или вы разгромили его?

- Положим, разговорами никого не убедишь, нужны факты, - возразил Вокульский.

- А были и факты?

- Пока только обещания... Однако скажите: что бы вы подумали, если б Гейст показал вам металл, во всех отношениях похожий на сталь, но раза в два-три легче воды? Если б вы собственными глазами видели такой металл, ощупывали его собственными руками?

Улыбка Жюмара превратилась в ироническую гримасу.

- Боже мой, да что сказать на это? Профессор Пальмиери показывает еще большие чудеса за пять франков с человека...

- Какой Пальмиери? - удивился Вокульский.

- Профессор-магнетизер, знаменитость... Он живет в нашем отеле и три раза в день дает магнетические сеансы в зале, куда втискивается от силы человек шестьдесят... Сейчас как раз восемь часов, начинается вечернее представление. Хотите, пойдём туда; у меня право бесплатного входа.

Вокульский покраснел так сильно, что румянец залил все его лицо и даже шею.

- Ну что ж, пойдём к профессору Пальмиери, - сказал он, а про себя добавил: "Значит, великий мыслитель Гейст - попросту жулик, а я, дурак, плачу триста франков за зрелище, цена которому не более пяти... Как он провёл меня!"

Они поднялись в третий этаж, где помещался салон Пальмиери. Нарядная публика почти заполнила зал, обставленный с роскошью, отличающей весь отель. Зрители - пожилые и молодые, женщины и мужчины - с величайшим вниманием слушали профессора Пальмиери, который как раз заканчивал краткое вступительное слово о магнетизме. Это был человек средних лет, поблекший брюнет со всклокоченной бородой и выразительными глазами. Его окружало несколько красивых женщин и молодых мужчин с болезненно бледными и апатичными лицами.

- Это медиумы, - шепнул Жюмар. - На них Пальмиери показывает свои фокусы.

Зрелище, продолжавшееся около двух часов, состояло в том, что Пальмиери усыплял своих медиумов взглядом, причем они могли ходить, отвечать на вопросы и выполнять различные действия. Кроме того, усыпленные по приказанию магнетизера проявляли то необычайную мускульную силу, то еще более необычайную потерю чувствительности или же, наоборот, обострение всех чувств.

Вокульский впервые наблюдал подобные явления и отнюдь не скрывал своего недоверия; заметив это, Пальмиери пригласил его пересест в первый ряд. После нескольких опытов Вокульский убедился, что наблюдаемые им явления - не шарлатанство, а факты, основанные на каких-то еще не изученных свойствах нервной системы.

Более всего поразили и даже ужаснули его два опыта, отдаленно напоминающие события его собственной жизни. Опыты состояли в том, что профессор внушал медиуму вещи несуществующие.

Пальмиери дал одному из усыпленных пробку от графина и сказал, что это роза. Медиум тотчас же принялся нюхать пробку, по-видимому испытывая при этом большое удовольствие.

- Что вы делаете? - воскликнул Пальмиери. - Ведь это вонючая смолка!

И медиум немедленно с отвращением отшвырнул пробку, начал вытирать руки и жаловаться, что они дурно пахнут.

Другому профессор дал носовой платок, сказав, что он весит сто фунтов; усыпленный согнулся под тяжестью платка, дрожал и обливался потом.

Глядя на это, Вокульский сам вспотел.

"Теперь я понимаю, в чем секрет Гейста. Он замагнетизировал меня!.."

Однако всего мучительнее ему было наблюдать, как Пальмиери, усыпив какого-то тщедушного юношу, обернул полотенцем совок для угля и внушил своему медиуму, что это молодая, прелестная женщина, в которую тот влюблен. Замагнетизированный обнимал и целовал совок, становился перед ним на колени, лицо его выражало все оттенки страстного обожания. Когда совок положили под кушетку, юноша пополз за ним на четвереньках, по пути оттолкнув четырех сильных мужчин, пытавшихся его удержать. А когда под конец Пальмиери спрятал совок и заявил юноше, что возлюбленная его умерла, тот впал в такое отчаяние, что бросился на пол и стал биться головой об стену... Тут Пальмиери дунул ему в лицо, и молодой человек проснулся, весь в слезах, под гром аплодисментов и взрывы смеха.

Вокульский бежал из зала в ужасном раздражении.

"Значит, все - ложь! И якобы гениальные открытия Гейста, и моя безумная любовь, и даже она... Она тоже - лишь порождение моего отуманенного воображения... Пожалуй, единственная реальность, которая не обманывает и не лжет, это смерть..."

Он выскочил на улицу, вбежал в кафе и заказал коньяк. На этот раз он выпил полтора графинчика и, опрокидывая одну рюмку за другой, размышлял о том, что в Париже, где он нашел величайшую мудрость, где его постигло величайшее заблуждение и полное разочарование, вероятно, обретет он свою смерть.

"Чего мне еще ждать? Что я узнаю? Если Гейст - пошлый шарлатан и если можно влюбляться в совок для угля, как я влюблен в нее, - что мне еще остается?.."

Он вернулся в отель, оглушенный выпитым коньяком, и заснул, не раздеваясь. А когда он проснулся в восемь часов утра, первой его мыслью было:

"Несомненно, Гейст с помощью магнетизма обманул меня. Однако... кто же магнетизировал меня, когда я сходил с ума по этой женщине?"

Вдруг ему пришло в голову обратиться за объяснением к Пальмиери. Он быстро переоделся и спустился в третий этаж.

Маэстро уже ожидал посетителей, но пока никто еще не явился, и он принял Вокульского сразу, получив вперед двадцать франков за совет.

- Скажите, - начал Вокульский, - вы каждому можете внушить, что совок для угля - это женщина и что платок весит сто фунтов?

- Каждому, кого можно усыпить.

- Так, пожалуйста, усыпите меня и повторите надо мной опыт с платком.

Пальмиери начал свои пассы: всматривался Вокульскому в глаза, прикасался к его лбу, растирал ему руки от плеча до ладоней... Наконец с неудовольствием отступился.

- Вы не годитесь в медиумы, - сказал он.

- А если я скажу, что я сам пережил такой случай, как этот юноша с носовым платком...

- Это исключается, вы не поддаетесь усыплению. Впрочем, если б даже вас усыпили и внушили, что платок весит сто фунтов, то, проснувшись, вы бы тотчас забыли об этом.

- А вы не допускаете, что кто-нибудь мог так ловко намагнетизировать меня...

Пальмиери обиделся.

- Нет магнетизера лучше меня! - воскликнул он. - Впрочем, я усыплю вас, только над этим придется поработать несколько месяцев... Это будет стоить две тысячи франков... Я не намерен даром растрачивать свои флюиды...

Вокульский покинул магнетизера отнюдь не удовлетворенный. Он еще не разубедился в том, что панна Изабелла могла его околдовать: у нее-то было достаточно времени. Но уж Гейст никак не мог усыпить его за несколько минут. К тому же Пальмиери утверждает, что усыпленные потом не помнят, что им внушали, а он во всех подробностях помнит свидание со старым химиком.

Итак, если Гейст его не усыпил, значит он не обманщик. Значит, его металлы действительно существуют, и... значит, возможно открытие металла более легкого, чем воздух!

"Вот так город! - думал он. - Здесь я за один час пережил больше, чем в Варшаве за всю жизнь... Вот так город!"

В следующие дни Вокульский был очень занят.

Прежде всего - уезжал Сузин, закупив более десятка судов. Прибыль от этой операции, совершенно законная, была так огромна, что частица, приходившаяся на долю Вокульского, покрыла все его расходы в течение последних месяцев в Варшаве.

За несколько часов до отъезда Сузин и Вокульский обедали в своем парадном номере и, разумеется, говорили о прибылях.

- Тебе сказочно везет, - сказал Вокульский. Сузин глотнул шампанского, переплел на животе пальцы, унизанные перстнями, и отвечал:

- Не в везении дело, Станислав Петрович, а в миллионах. Ножиком ты срежешь ракиту, а дуб топором рубят. У кого копейки, у того и дела копеечные, а у кого миллионы, у того и прибыли миллионные. Рубль, Станислав Петрович, все равно что заезженная кляча: сколько лет приходится ждать, пока он родит тебе новый рубль; а миллион - он, братец ты мой, как свинья: что ни год - новый приплод. Пройдет еще годика два-три, соберешь и ты, Станислав Петрович, круглый миллиончик, тогда и увидишь, как за ним денежки побегут. Хотя с тобой, брат...

Сузин вздохнул, нахмурился и опять выпил шампанского.

- А что со мной? - спросил Вокульский.

- А вот что, - отвечал Сузин. - Нет того, чтобы в таком городе дела делать для себя, для своего предприятия... Шатаешься невесть где, то в землю уставившись, то голову к небу задрав, - о деле и мысли нет... А еще христианину это и выговорить-то совестно - летаешь по воздуху в каком-то шаре... Ты что ж это, цирковым прыгуном стать задумал, а? Ну и потом, правду сказать, обидел ты, Станислав Петрович, одну очень благородную даму, баронессу эту... А ведь у нее можно было и в картишки поиграть, и красивых женщин повидать, и узнать разные разности. Мой тебе совет: пока ты не уехал, дай ты ей что-нибудь заработать. Адвокату рубль пожалеешь - он у тебя сто вытянет. Так-то, батюшка мой...

Вокульский внимательно слушал. Сузин опять вздохнул и продолжал:

- И с колдунами якшаешься (пропади они пропадом, нечистая сила), а зря, прибыли от них ни на ломаный грош - только бога гневишь. Нехорошо! А что хуже всего - ты думаешь, никто и не видит, что ты себе места не находишь? Как бы не так! Все понимают, что душу тебе какой-то червь точит, но одни думают, будто ты собираешься скупать тут фальшивые ассигнации, а другие будто ты вот-вот разоришься, если только уже не обанкротился.

- И ты веришь этому? - спросил Вокульский.

- Эх, Станислав Петрович, уж кому-кому, а тебе не пристало считать меня дурнем. Ты думаешь, мне невдомек, что тут дело в женщине? Оно, конечно, женщина - лакомый кусок, случается и степенному человеку голову потерять. Так и ты потешь себя, коли деньги есть. Но я тебе, Станислав Петрович, одно словечко скажу, ладно?

- Пожалуйста.

- Только, чур, севши бриться, на порезы не сердиться. Так вот, голубчик мой, расскажу я тебе притчу... Есть во Франции такая вода целебная, от всяких болезней (названия не упомянул). Послушай же: иные туда на коленках ползут и чуть ли глянуть на нее не смеют... А иные водичку эту безо всяких церемоний хлещут и даже зубы ею полощут... Эх, Станислав Петрович, кабы знал ты, как тот, кто хлещет, посмеивается над тем, кто на коленках ползет... Так ты посмотри да пораздумай: сам ты не таков ли? А коли таков - плюнь ты на все, ей-богу! Да что с тобой? Больно? Правда... Ну, выпей винца...

- Ты что-нибудь слышал о ней? - глухо спросил Вокульский.

- Клянусь тебе, не слыхал я ничего особенного, - отвечал Сузин, ударяя себя в грудь. - Купцу требуются приказчики, а женщине - поклонники, да побольше, чтобы не видать было того, кто поклонов-то не бьет, а приступом берет. Дело житейское. Только не становись ты, Станислав Петрович, с ними в ряд, а коли уж стал, то держи голову выше. Полмиллиона рублей капиталу - это не баран чихнул. Над таким купцом нечего зубы скалить!

Вокульский встал и судорожно выпрямился, как человек, которого прижгли каленым железом.

"Может быть, и не так, а может... и так! - подумал он. - А коли так... я отдам часть состояния счастливому сопернику, если он излечит меня!"

Он вернулся к себе в номер и в первый раз стал совершенно спокойно перебирать в мыслях всех поклонников панны Изабеллы, которых он видел с нею или в которых знал понаслышке. Он припоминал их многозначительные фразы, нежные взгляды, странные недомолвки, все рассказы панн Мелитон, все толки о панне Изабелле, ходившие среди глазевшей на нее публики. Наконец он облегченно вздохнул: что ж, может быть, вот она, та нить, которая выведет его из лабиринта.

"Я, вероятно, попаду из него прямо в лабораторию Гейста", - подумал он, чувствуя, что в душу ему запало первое зернышко презрения.

- Она вправе, о, безусловно вправе! - бормотал он, усмехаясь. - Однако каков избранник, а может быть, даже избранники?... Эге-ге, ну и подлая же я тварь! А Гейст считает меня человеком!

После отъезда Сузина Вокульский вторично перечитал полученное в тот день письмо Жецкого. Старый приказчик мало писал о делах, зато очень много о пани Ставской, прекрасной и несчастной женщине, муж которой куда-то пропал.

"Ты обяжешь меня на всю жизнь, - писал Жецкий, - если придумаешь, как окончательно

выяснить: жив Людвик Ставский или же умер?"

Затем следовало перечисление дат и мест, где пребывал пропавший, после того как покинул Варшаву.

"Ставская? Ставская? - вспоминал Вокульский. - А, знаю! Это та красавица с дочуркой, проживающая в моем доме... Что за странное стечение обстоятельств! Может быть, для того я и купил дом Ленцких, чтобы познакомиться с этой женщиной? Собственно, мне до нее дела нет, раз уж я остаюсь здесь, однако почему не помочь ей, если Жецкий просит? Вот и отлично! Теперь есть предлог сделать подарок баронессе, которую мне так рекомендовал Сузин..."

Он взял адрес баронессы и отправился в квартал Сен-Жермен.

В вестибюле дома, где жила баронесса, помещался лоток букиниста. Вокульский, разговаривая с швейцаром, случайно взглянул на книжки и с радостным удивлением увидел стихи Мицкевича в том издании, которое он читал, еще будучи в услужении у Гопфера. При виде потертого переплета и пожелтевших страниц вся его молодость вдруг представилась ему. Он тут же купил книжку и чуть не поцеловал ее, как реликвию.

Швейцар, покоренный франком, полученным на чай, проводил Вокульского до самых дверей баронессы и с улыбкой пожелал приятных развлечений. Вокульский позвонил, на пороге его встретил лакеи в малиновом фраке.

- Ага! - буркнул он.

В гостиной, как водится, была золоченая мебель, картины, ковры и цветы. Вскоре появилась и баронесса, с видом оскорбленной невинности, склонной, однако, простить виноватого.

Она действительно простила его. Вокульский, не вдаваясь в долгие разговоры, изложил ей цель своего посещения, записал фамилию Ставского, города, где он проживал, и настойчиво просил баронессу, чтобы она при помощи своих многочисленных связей разузнала поточнее о местопребывании пропавшего.

- Это можно сделать, - сказала благородная дама, - однако... не пугают ли вас расходы? Придется обратиться в полицию - немецкую, английскую, американскую...

- Итак?..

- Итак, вы согласны уплатить три тысячи франков?

- Вот четыре тысячи, - сказал Вокульский, подавая ей чек. - Когда я могу ждать ответа?

- Этого я вам сейчас сказать не сумею, - отвечала баронесса. Возможно, через месяц, а возможно, и через год. Однако, - строго прибавила она, - надеюсь, вы не сомневаетесь, что все надлежащие меры для розысков будут приняты?

- Я настолько уверен в этом, что оставлю в банке Ротшильда чек еще на две тысячи франков, которые вам Выплатят немедленно по получении сведений об этом человеке.

- Вы скоро уезжаете?

- О нет! Я здесь еще побуду.

- Я вижу, Париж очаровал вас! - улыбнулась баронесса. - Он еще больше понравится вам из окон моей гостиной. Я принимаю ежедневно по вечерам.

Они распрощались, оба весьма довольные - баронесса деньгами своего клиента, а Вокульский тем, что убил двух зайцев сразу: исполнил совет Сузина и просьбу Жецкого.

Теперь Вокульский оказался в Париже совсем один и без всяких определенных занятий. Он снова посещал выставку, театры, незнакомые улицы, не осмотренные еще залы музеев... Снова и снова восхищался огромной творческой силой Франции, стройной системой архитектуры и жизни двухмиллионного города, дивился влиянию мягкого климата на ускоренное развитие цивилизации... Снова пил коньяк, ел дорогие кушанья или играл в карты у баронессы, причем всегда проигрывал...

Такое времяпрепровождение изнуряло его, но не давало ни капельки радости. Часы тянулись, как сутки, дни казались бесконечными, ночи не приносили спокойного сна. Правда, спал он крепко, без всяких сновидений, тяжелых или приятных, но и в забытьи не мог избавиться от чувства какой-то смутной горечи, в которой душа его тонула, не находя ни дна, ни берегов.

- Дайте же мне какую-нибудь цель... либо пошлите смерть! - иногда говорил он, глядя в небо. И через минуту сам смеялся над собой.

"К кому я обращаюсь? Кто услышит меня на игрище слепых сил, жертвой которых я стал? Что за проклятая участь - ни к чему не привязаться, ничего не хотеть и все понимать!.."

Перед ним вставало видение некоего космического механизма, который выбрасывает все новые солнца, новые планеты, новые виды животных и новые народы, людей и сердца, раздираемые фуриями: надеждой, любовью и страданием. Которая же из них всего кровожаднее? Не страдание, ибо оно по крайней мере не лжет. Увы, то надежда, которая сбрасывает человека тем ниже, чем выше его вознесла... То любовь, пестрая бабочка, одно крылышко которой зовется сомнением, а другое - обманом...

- Все равно, - бормотал он. - Если уж наш удел одурманивать себя чем-нибудь - давайте одурманиваться чем попало. Но чем же?..

Тогда из темной бездны, именуемой природой, возникали перед ним две звезды: одна - бледная, но сиявшая ровным светом, - Гейст и его металлы; другая - вспыхивавшая, как солнце, и вдруг угасавшая совсем, - она...

"Что тут выбрать? - думал он. - Когда одно сомнительно, а другое недоступно и ненадежно? Да, ненадежно, потому что, если когда-нибудь я даже добыю ее, - разве я ей поверю? Разве я смогу ей поверить?.."

В то же время он чувствовал, что приближается момент решительной схватки между его рассудком и сердцем. Рассудок влек его к Гейсту, а сердце - в Варшаву. Он чувствовал, что не сегодня-завтра придется выбирать: либо тяжкий труд, ведущий к невиданной славе, либо пламенная страсть, которая сулила ему разве только одно: сжечь его дотла.

"А если и то и другое - только обман, как тот совок для угля или платочек весом в сто фунтов?.."

Он еще раз пошел к магнетизеру Пальмиери и, уплатив причитающиеся двадцать франков за прием, стал задавать ему вопросы:

- Итак, вы утверждаете, что меня нельзя намагнетизировать?

- Как это нельзя! - возмутился Пальмиери. - Нельзя сразу, потому что вы не годитесь в медиумы. Но из вас можно сделать медиума если не за несколько месяцев, то за несколько лет.

"Значит, несомненно, Гейст не обманул меня", - подумал Вокульский и прибавил вслух:

- Скажите, профессор, может ли женщина намагнетизировать человека?

- Не только женщина, но даже дерево, дверная ручка, вода - словом, всякий предмет, которому магнетизер передаст свою волю. Я могу намагнетизировать своих медиумов даже посредством булавки. Я говорю им: "Я переливаю в эту булавку свой флюид, и вы заснете, как только посмотрите на нее". Тем легче мне передать свою силу внушения какой-нибудь женщине. Разумеется, в том случае, если намагнетизируемая особа окажется медиумом.

- И в таком случае я привязался бы к этой женщине, как ваш медиум к совку для угля?

- Совершенно верно, - ответил Пальмиери, поглядывая на часы.

Вокульский ушел от него и побрел по улицам, размышляя:

"Относительно Гейста я почти убежден, что он не обманул меня посредством магнетизма, - для этого попросту не было времени. Но что касается панны Изабеллы, я не уверен, не таким ли именно способом опутала она меня своими чарами. Времени у нее было достаточно. Однако... кто же превратил меня в ее медиума?"

По мере того как он сравнивал свою любовь к панне Изабелле с любовью большинства мужчин к большинству женщин, собственное его чувство казалось ему все более противоестественным. Возможно ли влюбиться с первого взгляда? Возможно ли сходить с ума по женщине, которую видишь раз в несколько месяцев и при этом неизменно убеждаешься, что она не расположена к тебе?

- Что ж! - пробормотал он. - Именно благодаря редким встречам она мне и кажется идеалом. Имей я случай узнать ее ближе, я, может быть, давно бы разочаровался?

Его удивляло, что не было никаких вестей от Гейста.

"Неужто ученый химик взял у меня триста франков и исчез? - подумал он, но тут же сам устыдился своих подозрений. - А вдруг он заболел?"

Он нанял фиакр и поехал по указанному Гейстом адресу, куда-то далеко, за заставу, в окрестности Шарантона.

Наконец фиакр остановился перед каменной оградой; за нею виднелась крыша и верхняя часть окон.

Выйдя из экипажа, Вокульский разыскал железную калитку, возле которой висел молоток. Он несколько раз постучал, калитка вдруг распахнулась, и Вокульский вошел во двор.

Дом был двухэтажный, очень старый; об этом говорили покрытые плесенью стены и запыленные окна с кое-где выбитыми стеклами. Посредине фасада находилась дверь, к которой вело несколько каменных, обвалившихся ступенек.

Калитка, глухо хлопнув, закрылась, но нигде не видно было отворившего ее привратника. Вокульский в недоумении и растерянности остановился посреди двора. Вдруг в окне второго этажа появилась голова в красном колпаке, и знакомый голос воскликнул:

- Вы ли это, мсье Сюзэн? Здравствуйте!

Голова тотчас же исчезла, однако открытая форточка свидетельствовала, что это не был обман зрения. Через несколько минут со скрипом отворилась входная дверь, и на пороге ее показался Гейст. На нем были рваные синие брюки, деревянные сандалии и грязная

фланелевая блуза.

- Поздравьте меня, мсье Сюзэн! - заговорил Гейст. - Я сбыл свое взрывчатое вещество англо-американской компании и, по-моему, на выгодных условиях. Сто пятьдесят тысяч франков вперед и двадцать пять сантимов с каждого проданного килограмма.

- Ну, теперь вы, наверное, забросите свои металлы, - усмехнулся Вокульский.

Гейст взглянул на него со снисходительным пренебрежением.

- Теперь, - возразил он, - положение мое настолько изменилось, что несколько лет я могу обойтись без богатого компаньона. А что до металлов, то как раз сейчас я работаю над ними. Поглядите!

Он отворил дверь из коридора налево. Вокульский вошел в просторный квадратный зал, где было очень холодно. Посреди зала стоял огромный цилиндр, похожий на чан; его стальные стенки толщиной примерно в локоть были в нескольких местах перехвачены мощными оброчками. К крышке цилиндра были прикреплены какие-то приборы: один представлял собой что-то вроде предохранительного клапана, время от времени из-под него вырывалось облачко пара, быстро расплывавшееся в воздухе; другой - напоминал манометр с непрерывно колеблющейся стрелкой.

- Паровой котел? - спросил Вокульский. - А почему стенки такие толстые?

- Притроньтесь-ка, - отвечал Гейст.

Вокульский притронулся и вскрикнул от боли. На пальцах у него вздулись пузыри, но он не обжег руки, а обморозил. Чан был нестерпимо холодный, что, впрочем, сказывалось и на температуре воздуха.

- Шестьсот атмосфер внутреннего давления, - заметил Гейст, не обращая внимания на неприятность, случившуюся с Вокульским; тот даже вздрогнул, услышав эту цифру.

- Вулкан! - шепнул он.

- Потому-то, дружок, я и уговаривал тебя идти ко мне работать, возразил Гейст, - сам видишь, долго ли тут до беды... Идем-ка наверх...

- Вы оставляете котел без присмотра?

- О, при этой работе няньки не требуются; все делается само собой, никаких сюрпризов не может быть.

Они поднялись наверх и оказались в большой комнате с четырьмя окнами. Главной мебелью здесь были столы, буквально заваленные ретортами, тиглями и всяческими пробирками, стеклянными, фарфоровыми и даже оловянными и медными. На полу, под столами и по углам, лежало штук двадцать артиллерийских снарядов, некоторые были с трещинами. Под окнами стояли ванночки, каменные и медные, с жидкостями разных цветов. Вдоль одной из стен тянулась длинная скамья, или топчан, а на нем - огромная электрическая батарея.

Обернувшись, Вокульский заметил у самых дверей железный, вделанный в стену шкаф, кровать, покрытую рваным одеялом, из которого вылезала грязная вата, у окна - столик с бумагами, а возле него - кожаное кресло, потрескавшееся и вытертое.

Вокульский взглянул на старика, на его деревянную обувь, какую носили только самые бедные ремесленники, на его нищенскую обстановку и подумал: "Ведь этот человек мог бы иметь за свои изобретения миллионы! И все же он отказался от них во имя будущих, более

совершенных человеческих поколений..." В эту минуту Гейст казался ему Моисеем, который ведет к обетованной земле еще не родившиеся поколения.

Но старый химик на этот раз не угадал мыслей Вокульского; он хмуро посмотрел на него и проговорил:

- Ну что, мсье Сюзэн, невеселое место, невеселый труд? Так я живу сорок лет. В эти приборы вложено уже несколько миллионов, а у их владельца нет возможности ни развлечься, ни нанять прислугу, а иной раз даже купить себе еды... Не для вас это занятие, - прибавил он, махнув рукой.

- Ошибаетесь, профессор, - возразил Вокульский. - Впрочем, в могиле ведь тоже не веселей...

- Да что могила! Вздор... сентиментальный вздор! - проворчал Гейст. - В природе нет ни могил, ни смерти; есть лишь различные формы существования: одни дают нам возможность быть химиками, а другие - только химическими препаратами. И вся мудрость заключается в том, чтобы не упустить подвернувшийся случай, не тратить времени на глупости и успеть что-то сделать.

- Я вас понимаю, - возразил Вокульский, - но... простите, профессор, ваши открытия так новы...

- И я вас понимаю, - перебил Гейст. - Мои открытия так новы, что вы считаете их шарлатанством!.. В этом отношении члены Академии оказались не умнее вас, вы попали в хорошее общество... Ах да! Вы хотели бы еще раз увидеть мои металлы, испытать их? Хорошо, очень хорошо...

Он подбежал к железному шкафу, отпер его каким-то весьма сложным способом и один за другим стал оттуда вытаскивать бруски металла: бруски тяжелее платины, бруски легче воды и, наконец, прозрачные... Вокульский осматривал их, взвешивал, разогревал, ковал, пропускал через них электрический ток, резал ножницами. На эти опыты ушло несколько часов; в конце концов он убедился что, по крайней мере с точки зрения физики, имеет дело с самыми настоящими металлами.

Закончив опыты, Вокульский в полном изнеможении упал в кресло. Гейст спрятал свои образцы, запер шкаф и спросил, посмеиваясь:

- Ну как, факты или обман чувств?

- Ничего не понимаю, - тихо ответил Вокульский, сжимая ладонями виски, - у меня голова идет кругом! Металл в три раза легче воды... Непостижимо!

- Или металл процентов на десять легче воздуха, а? - рассмеялся Гейст. - Удельный вес повергнут в прах... подорваны законы природы, а? Ха-ха! Чушь все это. Законы природы, насколько они нам известны, даже при моих открытиях останутся неизменными. Только расширятся наши знания о свойствах материи и о ее внутренней структуре; ну, и, конечно, расширятся возможности нашей техники.

- А удельный вес?

- Послушай меня, - перебил Гейст, - и ты сразу поймешь, в чем заключается суть моих открытий; хотя тут же сделаю оговорку, что повторить их самостоятельно тебе не удастся. Нет здесь ни чудес, ни жульничества: это вещи столь элементарные, что понять их мог бы даже школьник.

Он взял со стола шестигранник и протянул его Вокульскому:

- Видишь, вот шестигранный дециметр, отлитый из стали; возьми его в руки: сколько он весит?

- Килограммов восемь.

Гейст подал ему другой шестигранник того же размера и тоже стальной.

- А этот сколько весит?

- Ну, этот весит с полкилограмма... Но он полый, - возразил Вокульский.

- Прекрасно! А сколько весит вот эта шестигранная клетка из стальной проволоки? Вокульский взвесил ее на ладони.

- Наверное, граммов пятнадцать...

- Вот видишь, - перебил Гейст, - перед нами три шестигранника одного и того же размера, из одного и того же металла, однако они имеют различный вес. Почему же? Потому что в сплошном шестиграннике помещается наибольшее количество частиц стали, в полой - меньше, а в проволочном - еще меньше. Теперь представь себе, что мне удалось вместо сплошных частиц создать клеткообразные частицы тел, и ты поймешь секрет изобретения. Он состоит в изменении внутренней структуры материи, что для современной химии вовсе не новость. Ну, что?

- Когда я смотрю на образцы, я верю, - отвечал Вокульский, - когда я слушаю вас, то понимаю. Но как только я уйду отсюда... - И он беспомощно развел руками.

Гейст опять открыл шкаф, порылся там и, достав крошечный слиток, по цвету похожий на латунь, протянул его Вокульскому.

- Возьми, - сказал он, - и носи как амулет против сомнений в моем здравом рассудке или в моей правдивости. Металл этот раз в пять легче воды; он будет напоминать тебе о нашем знакомстве. К тому же, - добавил старик, засмеявшись, - он обладает большим достоинством: не боится действия никаких химических реагентов... И скорей рассыпется в прах, чем выдаст мою тайну... А сейчас, сударь мой, ступай домой, отдохни и пораздумай, что делать с собою.

- Я приду к вам, - чуть слышно сказал Вокульский.

- Нет еще, не сейчас! - возразил Гейст. - Ты еще не покончил своих счетов со светом, а у меня теперь хватит денег на несколько лет, поэтому я не тороплю тебя. Придешь, когда окончательно рассеются все твои иллюзии...

Старик нетерпеливо пожал ему руку и подтолкнул к дверям. На лестнице он еще раз попрощался и поспешил в лабораторию. Когда Вокульский спустился во двор, калитка была уже открыта; как только он вышел за ограду, она захлопнулась.

Вернувшись в город, Вокульский прежде всего купил золотой медальон, вложил в него кусочек нового металла и повесил на шею, как ладанку. Он хотел еще погулять, но почувствовал, что уличная толчея утомляет его, и пошел к себе.

- Зачем я возвращаюсь? - корил он себя. - Почему не иду к Гейсту работать?

Он сел в кресло и погрузился в воспоминания. Он видел магазин Гопфера, закусную и посетителей, которые смеялись над ним; видел свой двигатель "перпетуум-мобиле" и модель воздушного шара, который он пытался сделать управляемым. Видел Касю Гопфер, которая сохла от любви к нему...

- За работу! Почему я не иду работать? Случайно взгляд его упал на стол, где лежал недавно купленный томик Мицкевича.

- Сколько раз я его читал! - вздохнул он, беря книгу.

Вокульский раскрыл книгу наугад и прочел:

Срываюсь и бегу, мой гнев кипит сильней,

В уме слагаю речь, она звучит сурово,

Звучит проклятием жестокости твоей.

Но увидал тебя - и все забыто снова,

И я спокоен вновь, я камня холодней,

А завтра - вновь горю и тщетно жажду слова.{69}

"Теперь уж я знаю, кто околдовал меня..." На глазах у него навернулись слезы, но он овладел собой и не дал им пролиться.

- Испортили вы мне жизнь... Отравили два поколения! - шептал он. - Вот последствия ваших сентиментальных взглядов на любовь...

Он захлопнул книгу и с такой силой швырнул ее в угол, что разлетелись страницы. Книжка ударилась о стену, упала на умывальник и с грустным шелестом соскользнула на пол.

"Поделом тебе! Там твое место! - думал Вокульский. - Кто рисовал мне любовь как священное таинство? Кто научил меня пренебрегать заурядными женщинами и искать недостижимый идеал?.. Любовь - радость мира, солнце жизни, веселая мелодия в пустыне, а ты что сделал из нее? скорбный алтарь, перед которым поют зауспокойную над растоптанным человеческим сердцем!" Но тут перед ним встал вопрос:

"Да, поэзия отравила мне жизнь, но кто же отравил поэзию? Почему Мицкевич никогда не шутил и не смеялся, как французские стихотворцы, а умел лишь тосковать и отчаиваться?"

Потому что он, как и я, любил девушку из аристократического рода, а она могла стать наградой не за разум, не за труд, не за самоотречение, даже не за гений, а... только за титул и богатство..."

- Бедный мученик! - прошептал Вокульский. - Ты отдал своему народу лучшее, чем обладал; и разве твоя вина, что, изливая перед ним свою душу, ты перелил в душу народа и страдания, на которые тебя обрекли? Это они виноваты и в твоих, и в моих, и в наших общих несчастьях...

Он встал с кресла и благоговейно собрал рассыпавшиеся листки.

"Мало того что они истерзали тебя, так ты еще должен отвечать за их пороки?.. Это их, их вина, что сердце твое не пело, а стонало, как надтреснутый колокол..."

Он лег на диван, размышляя все о том же:

"Удивительная страна, где исстари живут бок о бок два совершенно различных народа: аристократия и простой люд. Первый твердит, что он благородное растение, которое вправе высасывать соки из глины и навоза, а второй либо потакает этим диким притязаниям, либо не решается протестовать против вопиющего зла.

И все складывалось так, чтобы увековечить исключительное господство одного класса и принизить другой. Люди так свято уверовали в важность благородного происхождения, что дети ремесленников или купцов стали покупать гербы или ссылаться на принадлежность к обедневшему дворянскому роду.

Ни у кого не хватало смелости объявить себя детищем собственных заслуг, и даже я, глупец, за несколько сот рублей купил свидетельство о принадлежности к дворянскому сословию.

И мне вернуться туда? Зачем? Здесь по крайней мере народ свободно проявляет все способности, какими одарен человек. Здесь высшие должности не покрылись плесенью сомнительной древности; здесь верховодят истинные силы: труд, разум, воля, творчество, знания, а при них и красота, и сноровка, и даже искреннее чувство. Там же труд пригвождается к позорному столбу и торжествует разврат! Тот, кто потом и кровью сколотил себе состояние, получает прозвище скряги, стяжателя, выскочки; зато тот, кто проматывает богатства, слывет щедрым, бескорыстным, великодушным... Там простоту считают чудачеством, бережливость - постыдным недостатком, ученость приравнивают к безумию, а талант узнают по дырявым локтям...

Там, если хочешь, чтобы тебя считали человеком, нужно либо иметь титул и деньги, либо уметь втираться в великосветские прихожие. И мне вернуться туда?.."

Он вскочил и зашагал по комнате, подсчитывая:

"Гейст - раз, я - два, Охоцкий - три... Еще двух подыщем, и за четыре-пять лет можно будет провести восемь тысяч опытов, нужных для открытия металла легче воздуха. Ну, а тогда? Что скажет мир, когда увидит первую летательную машину без крыльев и сложных механизмов, прочную, как броненосец?"

Ему чудилось, будто уличный шум за окном ширится и растет, заполняя весь Париж, всю Францию, всю Европу. И все человеческие голоса сливаются в один мощный возглас: "Слава! Слава! Слава!.."

- С ума я сошел, что ли? - пробормотал Вокульский.

Поспешно расстегнув жилет, он вытащил из-под рубашки золотой медальон и раскрыл его. Кусочек металла, похожего на латунь и легкого, как пух, был на месте. Гейст не обманывал его: путь к величайшему изобретению был открыт перед ним.

- Остаюсь! - прошептал он. - Ни бог, ни люди не простили бы мне, если бы я пренебрег таким делом.

Уже смеркалось. Вокульский зажег газовые рожки над столом, достал бумагу, перо и принялся писать:

"Милый Игнаций! Я хочу поговорить с тобою о чрезвычайно важных вещах; в Варшаву я уже не вернусь и потому прошу тебя как можно скорее..."

Вдруг он бросил перо: его охватила тревога при виде написанных черным по белому слов: "...в Варшаву я уже не вернусь..."

"Почему бы мне не вернуться?" - подумал он.

"А зачем?.. Уж не затем ли, чтобы опять встретиться с панной Изабеллой и опять лишиться энергии? Пора наконец раз навсегда покончить с этим".

Он шагал по комнате и думал:

"Вот два пути: один ведет к великим преобразованиям мира, а другой - к тому, чтобы понравиться женщине и даже, допустим, добиться ее. Что же выбрать?"

Всем известно, что каждое вновь открытое полезное вещество, каждая вновь открытая сила - это новая ступень в развитии цивилизации. Бронза создала античную цивилизацию, железо - средневековую, порох завершил средневековье, а каменный уголь открыл эпоху девятнадцатого столетия. Вне всякого сомнения, металлы Гейста положат начало такому уровню цивилизации, о котором нельзя было и мечтать, и - кто знает? - может быть, приведут к усовершенствованию рода людского...

Ну, а с другой стороны что?.. Женщина, которая не постеснялась бы купаться в присутствии плебеев, подобных мне. Что я значу в ее глазах рядом со всеми этими щеголями, для которых пустая болтовня, острое словцо или комплимент составляют главное содержание жизни? Что вся эта толпа да и она сама сказали бы, увидев оборванца Гейста и его величайшие открытия? Они так невежественны, что даже не удивились бы.

Наконец допустим, я женюсь на ней; что тогда? Сразу же в салон выскочки нахлынут все явные и тайные поклонники, двоюродные и четвероюродные братцы и бог весть кто еще! И опять придется не замечать взглядов, не слышать комплиментов, стушевываться при интимных беседах - о чем? - о моем позоре, о моей глупости? Год такой жизни - и я пал бы так низко, что, пожалуй, унизился бы даже до ревности к подобным субъектам...

Ах, не лучше ли бросить сердце на растерзание голодным псам, чем подарить его женщине, которая даже не догадывается, как велика разница между этими людьми и мной!

Хватит!"

Он опять сел за стол и начал письмо к Гейсту. Но тут же отложил его.

- Хорош же я! - вслух сказал он. - Собираюсь подписать обязательство, не приведя в порядок свои дела...

"Вот как меняются времена! - подумал он. - Некогда такой вот Гейст был бы символом сатаны, с которым борется ангел в образе женщины. А теперь... кто из них сатана, а кто ангел-хранитель?"

В этот момент в дверь постучали. Вошел лакей и подал Вокульскому большой конверт.

- Из Варшавы... - прошептал Вокульский. - От Жецкого?.. Пересылает мне в конверте какое-то другое письмо... Ах, от председательши! Уж не сообщает ли она мне о свадьбе панны Изабеллы?

Он разорвал конверт, но с минуту не решался читать. Сердце его колотилось.

- Все равно! - пробормотал он и стал читать:

"Дорогой мой пан Станислав! Видно, и впрямь ты весело живешь и, говорят, даже укатил в Париж; вот и забываешь своих друзей. А могила бедного твоего покойного дяди все еще дожидается обещанного надгробия, да и хотела бы я посоветоваться с тобой насчет постройки сахарного завода, к чему люди склоняют меня на старости лет. Стыдись, пан Станислав, а пуще того - пожалей ты, что не видишь румянца на щечках Беллы; она сейчас в гостях у меня и покраснела как рак, услышав, что я пишу к тебе. Милая девочка! Она живет по соседству с нами, у тетки, и часто навещает меня. Догадываюсь я, что ты чем-то сильно огорчил ее; не мешкай же с извинением, приезжай поскорее прямо ко мне. Белла пробудет тут еще несколько дней, и, может быть, я уговорю ее простить тебя..."

Вокульский вскочил из-за стола, распахнул окно и, стоя перед ним, еще раз перечитал письмо

председательши; глаза его загорелись, на щеках выступили красные пятна.

Он позвонил раз, другой, третий... Наконец, сам выбежал в коридор и крикнул:

- Гарсон! Эй, гарсон!

- Что прикажете?

- Счет.

- Какой?

- Полный счет за последние пять дней... Полный, понимаете?

- Прикажете сейчас подать? - удивился гарсон.

- Сию же минуту!.. И... нанять экипаж к Северному вокзалу. Сию же минуту!

Глава третья

Человек, счастливый в любви

Вернувшись из Парижа в Варшаву, Вокульский нашел дома второе письмо от председательши.

Старушка настаивала, чтобы он немедленно приехал и погостил у нее недельки две-три.

"Не думай, пан Станислав, - заканчивала она, - что я приглашаю тебя из-за твоих новых успехов, чтобы похвалиться знакомством с тобою. Бывает в жизни и так, да не в моих это нравах. Я только хочу, чтобы ты отдохнул после тяжких трудов. Может быть, развлечешься у меня в доме, где, кроме докучливой старухи хозяйки, найдешь общество молодых, красивых женщин".

- Очень мне нужны молодые, красивые женщины! - пробормотал Вокульский.

И тут же спохватился: о каких это успехах пишет председательша? Неужели даже до провинции уже дошла весть о его последних прибылях, хотя сам он не обмолвился о них ни словом?

Однако он перестал удивляться словам председательши, как только наскоро ознакомился с положением дел. После его отъезда в Париж торговые обороты магазина выросли и продолжали расти день ото дня. Десятки купцов завязали с ним деловые отношения; отступился лишь один из старых, написав при этом резкое письмо, где объяснял, что, владея не оружейным складом, а всего лишь магазином тканей, он не видит смысла поддерживать в дальнейшем связь с фирмой достопочтенного Вокульского и к Новому году будет иметь честь окончательно с ним рассчитаться. Товарооборот был так велик, что пан Игнаций на свой страх и риск снял новый склад и взял восьмого приказчика и двух экспедиторов.

Когда Вокульский кончил просмотр бухгалтерских книг (уступая настойчивой просьбе Жецкого, он принялся за это через два часа по приезде), пан Игнаций отпер несгораемый шкаф и с торжественным видом достал оттуда письмо Сузина.

- Что это за церемонии? - засмеялся Вокульский.

- Корреспонденцию от Сузина следует хранить особенно тщательно, многозначительно отвечал Жецкий.

Вокульский пожал плечами и прочитал письмо. Сузин предлагал ему на зиму новое дело,

почти того же размаха, что и парижское.

- Что ты скажешь на это? - спросил он пана Игнация, объяснив ему суть предложения...

- Стах, милый, - отвечал старый приказчик, опуская глаза, - я тебе так верю, что, подожги ты город, я и тогда не усомнюсь, что ты сделал это в самых возвышенных целях.

- Неизлечимый ты мечтатель, старина! - вздохнул Вокульский и прекратил разговор. Было ясно, что Игнаций снова подозревает его в каких-то политических интригах.

Однако не один Жецкий так думал. Дома Вокульский нашел целую грудку визитных карточек и писем. В его отсутствие у него побывало около сотни влиятельных, титулованных и богатых людей, - по крайней мере половину из них он ранее не знал. Еще любопытнее оказались письма - всякие просьбы о вспомоществовании либо о содействии перед различными гражданскими и военными властями, а также анонимные письма, большей частью ругательные. Один аноним называл его предателем, другой - холуем, который так привык лакействовать у Гопфера, что и сейчас добровольно прислуживает аристократии, - даже не аристократии, а не сказать и кому. Третий упрекал его в том, что он помогает женщине дурного поведения, четвертый сообщал, что пани Ставская - кокетка и авантюристка, а Жецкий - мошенник, который крадет у Вокульского доходы с вновь приобретенного дома и делится ими с управляющим, неким Вирским.

"Ну, видно, каких только тут сплетен не ходит обо мне!" - подумал Вокульский, глядя на гору бумажек.

На улице, как ни мало занимала его толпа, он заметил, что привлекает к себе всеобщее внимание. Множество людей раскланивалось с ним; несколько раз какие-то совершенно незнакомые люди указывали на него чуть ли не пальцем; однако были и такие, которые с явным недоброжелательством отворачивались от него. Среди них он заметил двух старых знакомых еще по Иркутску, и это его неприятно задело.

- В чем тут дело? - пробормотал он. - Помешались они, что ли?

На следующий день он ответил Сузину, что предложение его принимает и в середине октября будет в Москве. А поздно вечером выехал к председателю, поместье которой находилось в нескольких верстах от недавно проложенной железной дороги.

На вокзале он убедился, что и здесь особа его производит впечатление. Сам начальник станции представился ему и велел отвести в его распоряжение отдельное купе, а старший кондуктор, провожая его к вагону, не преминул сказать, что это ему первому пришло в голову предложить пану Вокульскому удобное место, где можно и поспать, и поработать, и поговорить без помехи.

После долгого ожидания поезд наконец тронулся. Стояла уже глубокая ночь, безлунная, безоблачная и необычайно звездная. Открыв окно, Вокульский всматривался в созвездия. Ему вспомнились ночи в Сибири, где небо порой бывает почти черным и звезд на нем - как снежинок в метель, где Малая Медведица висит чуть не над самой головой, и Геркулес, Квадрат Пегаса и Близнецы светятся ниже, чем над нашим горизонтом.

"Разве знал бы астрономию я, гопферовский лакей, если бы не побывал там? - с горечью думал он. - И разве привелось бы мне услышать об открытиях Гейста, если бы Сузин насильно не вытащил меня в Париж?"

И очами души он увидел всю свою необычайную жизнь, как бы раздвоившуюся между Востоком и Западом. "Все, чему я научился, все, что я приобрел, все, что еще могу совершить, не на нашей земле родилось. Здесь встречал я лишь оскорбления, зависть или

сомнительное признание, когда мне везло; но если бы удача изменила мне, меня растоптали бы те же самые ноги, которые сегодня расшаркиваются передо мной..."

"Уеду я отсюда, - повторял он про себя, - уеду! Разве только она меня удержит... И ни к чему мне даже это богатство, раз я не могу употребить его так, как мне более всего по душе. Разве это жизнь - коптить потолок в клубе, магазине и гостиных, где только преферанс может избавить от злословия и только злословие выручает от преферанса!.."

"Интересно, однако, - подумал он, успокоившись немного, - с какой целью председательша так многозначительно приглашает меня? А может быть, это панна Изабелла?.."

Его бросило в жар, и что-то словно оттаяло в его душе. Вспомнились ему отец и дядя, Кася Гопфер, которая так любила его, Жецкий, Леон, Шуман, князь и еще многие, многие другие, столько раз доказывавшие свое расположение к нему. Чего стоили бы все его знания и богатство, если бы ни одно человеческое сердце не питало к нему дружеских чувств? К чему все гениальные открытия Гейста, если их целью не было бы обеспечить торжество лучшей, облагороженной расы людей?

"И у нас есть поле для плодотворной работы, - говорил он себе. - И у нас найдутся люди, которых стоит выдвинуть и поддержать... Я уже слишком стар, чтобы делать мировые открытия, пусть занимаются этим Охоцкие... Я предпочитаю облегчать жизнь другим и самому быть счастливым..."

Он закрыл глаза, и ему почудилось, что перед ним стоит панна Изабелла: она устремила на него странный, только ей свойственный взгляд, одобряя мягкой улыбкой его намерения.

В дверь постучали, показался кондуктор.

- Барон Дальский спрашивает, можно ли ему к вам зайти? Он едет в этом же вагоне.

- Барон? - с удивлением переспросил Вокульский. - Пожалуйста, пусть зайдет.

Кондуктор вышел и задвинул дверь, а Вокульский тем временем вспомнил, что барон - компаньон Общества торговли с Востоком и один из немногочисленных теперь претендентов на руку панны Изабеллы.

"Чего ему от меня надо? - терялся в догадках Вокульский. - Может быть, и он едет к председательше, чтобы на свежем воздухе окончательно объясниться с панной Изабеллой? Если только его не опередил Старский..."

В коридоре вагона послышались шаги и голоса; дверь купе снова открылась, и кондуктор ввел весьма тщедушного господина с жиденькими сидящими усиками, еще более жалкой и еще более седой бородкой и почти совсем седой головой.

"Да он ли это? - подумал Вокульский. - Тот был жгучий брюнет".

- Ради бога, извините за беспокойство, - сказал барон, пошатываясь при каждом сотрясении вагона. - Ради бога... Я не смел бы мешать вашему одиночеству, если бы не некоторые обстоятельства... Скажите, не направляетесь ли вы к нашей почтеннейшей председательше, которая вот уже неделю дожидается вас?

- Вы угадали. Добрый вечер, барон, садитесь.

- Как приятно! - воскликнул барон. - Ведь и я туда же. Я уже два месяца там живу. То есть... собственно, не то что живу, а... наезжаю. Из своего имения, где ремонтируют мой дом, из Варшавы... Сейчас я из Вены, покупал там мебель. Но погостить там мне удастся всего несколько дней; что поделаешь, надо переменить в усадьбе всю обивку на стенах. И ведь все

уже было сделано каких-нибудь две недели назад, да вот что-то не понравилось - придется содрать, ничего не поделаешь!

Он хихикал и подмигивал Вокульскому, а тот так и похолодел.

"Для кого эта мебель? Кому не понравилась обивка?.." - тревожно спрашивал он себя.

- А вы, сударь, - продолжал барон, - уже завершили свою миссию? Поздравляю! - Тут он пожал Вокульскому руку. - Я, знаете ли, с первого взгляда почувствовал к вам уважение и симпатию, а сейчас считайте меня своим вернейшим почитателем... Да, знаете ли... Привычка отстраняться от политической жизни причинила нам много вреда. Вы, сударь, первый нарушили этот неразумный принцип, это, знаете ли, пассивное созерцание, и - честь вам! Разве мы не обязаны интересоваться делами государства, в котором находятся наши поместья, в котором заключена наша будущность...

- Я вас не понимаю, барон, - резко перебил его Вокульский.

Испуганный барон на целую минуту лишился дара речи и способности двигаться. Наконец он пролепетал:

- Простите, я, право же, не имел намерения... Однако, надеюсь, моя дружба с почтенной председательшей, которая, знаете ли, столь...

- Оставим объяснения, сударь, - сказал Вокульский, смеясь и пожимая ему руку. - Довольны ли вы своими венскими покупками?

- Весьма... знаете... весьма... Хотя, поверите ли, сударь, был момент, когда я, по совету уважаемой председательши, собирался побеспокоить вас небольшим поручением...

- Всегда рад служить. Но о чем речь?

- Я хотел купить в Париже бриллиантовый гарнитур, - ответил барон. - Но в Вене мне попались великолепные сапфиры... Они как раз при мне, и если позволите... Вы знаете толк в драгоценностях?

"Для кого эти сапфиры?" - думал Вокульский.

Он хотел пересесть, но почувствовал, что не может двинуть ни рукой, ни ногой.

Между тем барон вытащил из разных карманов четыре сафьяновых футляра, разложил их на диване и начал открывать один за другим.

- Вот браслет, - говорил он. - Не правда ли, скромный: всего один камень... Брошка и серьги наряднее; по моему заказу даже сделали новую оправу... А вот ожерелье... Изящно и просто, но в том-то и секрет красоты, наверно... Игра удивительная, не правда ли, сударь?

Говоря это, он вертел перед глазами Вокульского сапфиры, поблескивающие при мигающем пламени свечи.

- Вам не нравится? - вдруг спросил барон, заметив, что его спутник ничего не отвечает.

- Почему же, очень красиво. И кому вы везете этот подарок, барон?

- Моей невесте, - с удивлением ответил барон. - Я думал, председательша упоминала о нашей семейной радости...

- Нет.

- Как раз сегодня пять недель, как я сделал предложение и получил согласие.

- Кому вы сделали предложение? Председательше? - спросил Вокульский каким-то странным тоном.

- Что вы? - воскликнул барон, отшатнувшись. - Я сделал предложение внучке председательши, панне Эвелине Яноцкой... Вы ее не помните? Она была у графини на пасхальном приеме, вы не заметили?

Прошло несколько минут, пока Вокульский сообразил, что Эвелина Яноцкая - это не Изабелла Ленцкая, что посватался барон не к панне Изабелле и вовсе не ей везет эти сапфиры.

- Простите, сударь, - сказал он встревоженному барону, - я был расстроен и просто сам не понимал, что говорю...

Барон вскочил и стал поспешно рассовывать по карманам футляры.

- Какое невнимание с моей стороны! - воскликнул он. - Я ведь заметил по вашим глазам, что вы утомлены, и все же обеспокоил вас, помешал вам уснуть...

- Нет, сударь, спать я не собираюсь и буду очень рад остаток пути провести в вашем обществе. Это была минутная слабость, теперь все прошло.

Барон сначала церемонился и хотел уйти; но, убедившись, что Вокульский действительно лучше себя чувствует, он опять уселся, заявив, что побудет всего пять минут. Ему нужно было наговориться с кем-нибудь о своем счастье.

- Нет, вы послушайте, что это за женщина! - говорил он, с каждым словом все оживленнее жестикулируя. - Когда я познакомился с нею, она, знаете ли, показалась мне холодной, как мрамор, и пустой - одни наряды в голове. Лишь теперь я вижу, какая бездна чувств в этом существе. Конечно, она любит наряжаться, как всякая женщина, но какой ум! Я никому не рассказал бы того, что сообщу вам, пан Вокульский. Я, видите ли, очень рано начал сесть, ну и не без того, конечно, чтобы время от времени не употребить фиксауар, понимаете? И кто бы мог подумать: как только она это заметила, так раз и навсегда мне запретила краситься; сказала, знаете ли, что ей необыкновенно нравятся белые волосы и что, по ее мнению, истинно красивы только седые мужчины. "А если у мужчины только проседе?" - спросил я. "Что ж, они просто интересны", - ответила она. А как она это сказала! Я не наскучил вам, пан Вокульский?

- Отнюдь, сударь. Мне очень приятно встретить счастливого человека.

- Я действительно счастлив, так счастлив, что даже самому удивительно, - подтвердил барон. - О женитьбе я помышляю давно, уже несколько лет назад доктора посоветовали мне жениться. Ну, и я предполагал, знаете ли, взять в супруги женщину красивую, хорошо воспитанную, благородной фамилии, представительную, отнюдь, знаете ли, не требуя от нее какой-то там романтической любви. И вот вам: сама любовь встала на моем пути и одним взглядом зажгла в сердце пожар... Право, пан Вокульский, я влюблен... Нет, я с ума схожу от любви! Никому бы я этого не сказал, но вам, к которому я с первой минуты почувствовал просто братскую приязнь... Я с ума схожу!.. Думаю только о ней, едва усну - вижу ее во сне, когда расстаюсь с нею - прямо заболеваю. Отсутствие аппетита, сразу грустные мысли, какой-то страх...

Я скажу вам кое-что... Только, пан Вокульский, умоляю вас не повторять этого никому, даже самому себе! Я хотел испытать ее, - как это низко, правда, сударь? Но что поделаешь, человеку так трудно поверить в счастье. И вот, желая испытать ее (только никому ни

словечка об этом, сударь), я велел написать проект брачного контракта, согласно которому, в случае если бы свадьба расстроилась по вине любой из сторон (вы понимаете?), я обязуюсь уплатить невесте неустойку в пятьдесят тысяч рублей. Сердце у меня замирало от страха... а вдруг она меня бросит? Но что вы скажете? Когда председательша заговорила с ней об этом проекте, девушка в слезы. "Как, он думает, что я откажусь от него ради каких-то пятидесяти тысяч? - сказала она. - И если уж он подозревает меня в корыстолюбии и не признает за сердцем женщины никаких высших побуждений, то как он не понимает, что я не променяю миллиона на пятьдесят тысяч..."

Когда председательша передала мне эти слова, я вбежал в комнату панны Эвелины и, ни слова не говоря, бросился к ее ногам... Сейчас я написал в Варшаве завещание и назначил ее единственной и полноправной наследницей, даже если бы мне случилось умереть до свадьбы. Вся моя родня за всю жизнь не дала мне столько счастья, сколько эта девочка за несколько недель. А что будет потом?.. Что будет потом, пан Вокульский? Никому не задавайте подобного вопроса, - заключил барон, с силой трясая ему руку. - Ну, спокойной ночи...

- Забавная история! - проворчал Вокульский, когда барон удалился. Бедняга и впрямь втрескался по уши...

И он не мог отогнать от себя образ влюбленного старика, который, словно тень, поминутно возникал на малиновом фоне дивана. Он видел его худое лицо, пылающее кирпичным румянцем, волосы, словно присыпанные мукой, и большие, запавшие глаза, в которых тлел нездоровый огонь. Смешное и жалкое впечатление производили эти вспышки страсти в человеке, который то и дело укутывал шею, проверял, хорошо ли закрыто окно в купе, и пересаживался с места на место, боясь сквозняка.

"Ну и попался же он! - думал Вокульский. - Мыслимое ли дело, чтобы молодая девушка влюбилась в этакую мумию! Он наверняка лет на десять старше меня, а на вид и вовсе дряхлый старик. И притом... так наивен!.."

Хорошо, а если эта барышня действительно любит его?.. Все же трудно допустить, чтобы она его обманывала. Вообще говоря, женщины благороднее мужчин, они меньше грешат против нравственности, да и жертвуют собой гораздо чаще, чем мы. И если трудно найти такого подлого мужчину, который ради денег лгал бы с утра до вечера, изо дня в день, то можно ли подозревать в этом женщину, молодую девушку, воспитанную в почтенном семействе?

Просто взбрела ей в голову такая фантазия, вдобавок она, видимо, и увлеклась - если не его обаянием, то положением. Иначе она непременно выдала бы чем-нибудь свое притворство, а барон непременно заметил бы это, потому что влюбленные видят, как в микроскоп.

А если молодая девушка способна полюбить такого старикашку, то почему бы той, другой, не полюбить меня?.."

"Вечно я возвращаюсь к одному и тому же! - рассердился он. - Это какая-то навязчивая идея..."

Он опустил окно, задвинутое бароном, и, чтобы отогнать назойливые воспоминания, снова стал смотреть на небо. Квадрат Пегаса уже передвинулся к западу, а на востоке поднимались созвездия Тельца, Ориона, Малого Пса и Близнецов. Он разглядывал многочисленные звезды, густо усеявшие небо, и мысль его обратилась к той удивительной незримой силе притяжения, которая прочней любых материальных цепей связывает отдаленные миры в единое целое.

"Притяжение, привязанность - это ведь по существу одно и то же: могучая и плодотворная сила, которая увлекает за собою все и питает собою всякую жизнь. Попробуем освободить

землю от ее тяготения к солнцу, и она полетит куда-то в пространство и через несколько лет превратится в ледяную глыбу. Бросим какую-нибудь блуждающую звезду в сферу солнечной системы, и кто знает, не пробудится ли и на ней жизнь? Почему же барону не подчиниться закону тяготения, которому подчиняется вся природа? И разве пропасть между ним и панной Эвелиной больше, чем между землей и солнцем? Чего же удивляться неистовствам людей, если и звездные миры охвачены неистовым влечением?"

Между тем поезд шел и шел, не торопясь, подолгу задерживаясь на станциях. В воздухе посвежело, звезды на востоке стали бледнее. Вокульский закрыл окно и растянулся на покачивающемся диване.

"Если, - твердил он себе, - молодая женщина могла влюбиться в барона, то чем же я... Ведь не обманывает она его!.. Женщины вообще благороднее нас... реже лгут..."

- Простите, сударь, вам здесь выходить... Господин барон уже пьет чай.

Вокульский открыл глаза. Над ним стоял проводник и деликатнейшим образом старался его разбудить.

- Как, уже день? - удивился он.

- О, девять часов утра, мы уже полчаса стоим на станции. Я вас не будил, сударь, потому что господин барон не велел, но поезд сейчас тронется...

Вокульский поспешил выйти из вагона. Станция была новая и еще не вполне достроенная. Тем не менее ему подали умыться и почистили платье. Он совсем очнулся от сна и направился в маленький зал, где помещался буфет и где сияющий барон допивал уже третий стакан чаю.

- Здравствуйте! - закричал барон, с дружеской фамильярностью пожимая Вокульскому руку. - Буфетчик, пожалуйста, чаю этому господину... Прекрасная погода, не правда ли, как раз для прогулки на лошадях! Однако и подвели же нас!

- А что случилось?

- Придется нам дожидаться лошадей. Счастье еще, что я в два часа ночи накатал телеграмму о вашем приезде. А то позавчера я послал председательше телеграмму из Варшавы, но начальник станции говорит, что я по ошибке заказал лошадей на завтра. Счастье, что я телеграфировал с дороги... В три часа отправили нарочного, в шесть председательша получила депешу, не позже восьми должна была выслать лошадей... Подождем еще с часик, зато вы ознакомитесь с окрестностями. Весьма, знаете ли, красивый пейзаж...

Позавтракав, оба вышли на перрон. Местность отсюда казалась плоской и голой, кое-где высились купы деревьев, а среди них несколько каменных зданий.

- Это усадьбы? - спросил Вокульский.

- Да... В этой стороне много помещиков. Земля тут отлично возделана: вон люпин, вон клевер...

- Деревень не видно, - заметил Вокульский.

- Потому, что это помещичьи земли; а вы знаете, должно быть, поговорку: "Господское поле богато скирдами, а крестьянское - мужиками".

- Я слышал, - вдруг сказал Вокульский, - что у председательши собралось много гостей.

- Ах, сударь мой! - вскричал барон. - Иногда по воскресеньям, в хорошую погоду, тут совсем как на балу в клубе: съезжается человек сорок, а то и больше. Да и сегодня мы, наверное, застанем кружок постоянных гостей. Ну, во-первых, моя невеста. Далее - Вонсовская, премилая вдовушка лет тридцати, страшно богатая. Кажется, за нею увивается Старский. Вы знаете Старского?.. Неприятная личность: грубиян, нахал... Удивляюсь, право, как это Вонсовская, женщина умная и со вкусом, находит удовольствие в обществе подобного вертопраха.

- А кто еще? - спросил Вокульский.

- Еще Феля Яноцкая, двоюродная сестра дамы моего сердца, очень милая девочка лет восемнадцати. Ну, потом Охоцкий...

- Он тоже? Чем же он тут занимается?

- Перед моим отъездом по целым дням ловил рыбу. Но вкусы у него так изменчивы, что я не уверен, не окажется ли он теперь рьяным охотником... Что за благороднейший молодой человек, что за ученость! И не без заслуг: у него уже несколько изобретений.

- Да, это человек незаурядный, - сказал Вокульский. - Кто же еще гостит у председательши?

- Постоянных гостей больше нет, но так, на несколько дней, а то и на неделю часто наезжают Ленцкий с дочерью. Вот изысканная особа, - с воодушевлением продолжал барон, - исполненная поистине редких достоинств! Да ведь вы знакомы с ними... Счастлив будет тот, кому она отдаст руку и сердце! Что за обаяние, что за ум! Действительно, знаете ли, ей можно поклоняться, как богине... Вы не находите?

Вокульский упорно разглядывал окрестности и не мог выжать из себя ни слова. К счастью, в эту минуту подбежал станционный служащий и сообщил, что экипаж прибыл.

- Отлично! - воскликнул барон и дал ему на чай несколько злотых. Снеси-ка, милый, наши вещи! Ну, сударь, едем... Через два часа вы познакомитесь с моей невестой...

Глава четвертая

Сельские развлечения

Прошло добрых четверть часа, пока уложили вещи в бричку. Наконец барон с Вокульским уселись, кучер в песочной ливрее взмахнул кнутом, и пара резвых чалых тронула легкой рысью.

- Советую вам обратить внимание на Вонсовскую, - говорил барон. Бриллиант, а не женщина, а как оригинальна!.. И не думает второй раз выходить замуж, хотя до страсти любит, чтобы за ней ухаживали. Не поклоняться ей - трудно, а поклоняться - опасно. Сейчас Старскому достается от нее за его волокитство. Вы знаете Старского?

- Как-то раз видел его...

- Человек он изысканный, но неприятный, - не унимался барон, - кстати, моя невеста питает к нему антипатию. Он так действует ей на нервы, что у бедняжки портится при нем настроение. И я не удивляюсь, потому что это прямо противоположные натуры: она серьезна - он ветрогон, она чувствительна, даже сентиментальна - он циник.

Вокульский, слушая болтовню барона, разглядывал окрестности, которые постепенно меняли свой облик. За станцией на горизонте показались леса, вскоре заслоненные холмами; дорога то извивалась у их подножий, то взбегала вверх, то спускалась в ложбины.

На одном из взгорий кучер обернулся к седокам и, указывая вперед кнутом, сказал:

- Вон наши господа едут, в коляске...

- Где? Кто? - закричал барон, чуть не влезая на козлы. - Да, да, это они... Желтая коляска и четверка гнедых... Интересно, кто там? Взгляните-ка, сударь...

- Мне кажется, я вижу что-то пунцовое...

- А, это Вонсовская. Интересно, а моя невеста? - прибавил он тише.

- Там несколько дам, - сказал Вокульский, подумав о панне Изабелле.

"Если она тоже едет, это будет добрым предзнаменованием".

Оба экипажа быстро сближались. Из коляски усиленно хлопали бичом, кричали и махали платочками, а барон то и дело высовывался навстречу, дрожа от волнения.

Наконец бричка остановилась, но разогнавшаяся коляска прокатила мимо шагов на сорок, унося с собой бурю хохота и восклицаний. Там, несомненно, о чем-то спорили и, видимо, на чем-то наконец порешили, потому что пассажиры высадились, а коляска поехала дальше.

- Добрый день, пан Вокульский! - крикнул кто-то с козел, размахивая длинным кнутом.

Вокульский узнал Охоцкого.

Барон уже бежал к веселой компании. Навстречу ему двинулась девушка в белой накидке, с белым кружевным зонтиком; она медленно шла, протянув к нему руку в широком, свободно падающем рукаве. Барон еще издали снял шляпу и, подбежав к невесте, поцеловал ей руку, утопая в ее рукаве. После чувствительной сцены, показавшейся барону мгновением, но утомительно длинной для зрителей, он вдруг опомнился и сказал:

- Позвольте, сударыня, представить вам пана Вокульского, моего лучшего друга. Он останется тут погостить, и я обяжу его замещать меня подле вас во время моих отлучек.

Он опять запечатлел несколько поцелуев в глубине рукава, из которого вслед за тем протянулась к Вокульскому прелестная ручка. Вокульский пожал ее и почувствовал ледяной холодок; он взглянул на барышню в белой накидке и увидел бледное лицо и большие, грустные, словно испуганные глаза.

"Своеобразная невеста!" - подумал он.

- Пан Вокульский! - воскликнул барон, обернувшись к двум дамам и мужчине, которые подходили к ним. - Пан Старский, - прибавил он.

- Я уже имел удовольствие... - проговорил Старский, приподнимая шляпу.

- И я, - ответил Вокульский.

- Как мы теперь разместимся? - спросил барон, увидев возвращающуюся коляску.

- Поедем все вместе! - вскричала светловолосая девушка, в которой Вокульский угадывал Фелицию Яноцкую.

- Видите ли, наш экипаж двухместный... - сладким голосом начал барон.

- Понятно, но ничего из этого не выйдет, - откликнулась красивым контральто дама в пунцовом платье. - Жених и невеста поедут с нами, а в экипаж пусть садятся, если им угодно,

господа Охоцкий и Старский.

- Почему я? - закричал с козел Охоцкий.

- И я? - прибавил Старский.

- Потому что пан Охоцкий плохо правит, а пан Старский несносно ведет себя, - отвечала бойкая вдовушка.

Вокульский заметил, что у нее великолепные каштановые волосы, черные глаза и веселое энергичное лицо.

- Вы уже даете мне отставку, сударыня! - с комической грустью вздохнул Старский.

- Вы знаете, что я всегда даю отставку поклонникам, которые мне надоедают. Однако давайте усаживаться, господа. Жених и невеста, вперед! Феля, садись рядом с Эвелиной.

- О нет! - возразила светловолосая девушка. - Я сяду с краю, мне бабушка не велит садиться возле жениха и невесты.

Барон любезно, но отнюдь не ловко посадил свою невесту и сам уселся напротив нее. Возле барона села вдовушка, Старский рядом с невестой, а панна Фелиция рядом со Старским.

- Пожалуйста! - пригласила Вокульского вдовушка, убирая с сиденья широко раскинувшееся пунцовое платье.

Усаживаясь против панны Фелиции, Вокульский заметил, что молодая девушка смотрит на него с восторженным изумлением и поминутно краснеет.

- Нельзя ли попросить пана Охоцкого передать вожжи кучеру? - спросила вдовушка.

- Сударыня, сударыня, вечно вы меня чем-нибудь донимаете! - возмутился Охоцкий. - Ничего не поможет, я буду править!

- Так даю честное слово, если вы нас опрокинете, я вас отколочу.

- Это мы еще посмотрим, - возразил Охоцкий.

- Вы слышали, господа, этот человек мне угрожает! - воскликнула вдовушка. - Неужели никто тут не заступится за меня?

- Я отомщу вас, - вскричал Старский, коверкая польский язык. Пересядем вдвоем в тот экипаж.

Прекрасная вдовушка пожала плечами; барон вновь принялся целовать ручки своей невесте, а она вполголоса что-то говорила ему, улыбаясь все с тем же выражением грусти и испуга.

Пока Старский препирался с вдовой, а панна Фелиция заливалась румянцем, Вокульский наблюдал за невестой. Почувствовав это, она ответила ему надменным взглядом и внезапно развеселилась. Сама протянула барону ручку для поцелуя и даже ненароком задела его ножкой. От волнения ее обожатель даже побледнел, а губы у него совсем посинели.

- Ды ведь вы понятия не имеете, как надо править! - смеялась вдова, стараясь толкнуть Охоцкого концом зонтика.

В ту же минуту Вокульский выскочил из экипажа. Передние пристяжные свернули на середину дороги, коренные за ними, и коляска сильно накренилась влево. Вокульский поддержал ее плечом, кучер натянул поводья, и лошади остановились.

- Ну не говорила ли я, что это чудовище опрокинет нас! - кричала вдовушка. - Позвольте, пан Старский, что это значит?

Мельком глянув в коляску, Вокульский увидел следующую сцену: панна Фелиция покатывалась со смеху, Старский уткнулся лицом в колени прекрасной вдовушки, барон судорожно цеплялся за кучерский воротник, а его невеста, побледнев от испуга, одной рукой держалась за козлы, а другой впиалась Старскому в плечо.

Прошла еще секунда - коляска выровнялась, и восстановился порядок. Только панна Фелиция продолжала безудержно хохотать.

- Не понимаю, Феля, как можно смеяться в такую минуту, - сказала невеста.

- А почему мне не смеяться?.. Что могло случиться дурного? Ведь с нами пан Вокульский... - ответила девушка.

Но тут же спохватилась, покраснела пуще прежнего, спрятала лицо в ладони, а потом бросила на Вокульского взгляд, который должен был означать оскорбленное достоинство.

- Что касается меня, то я готов абонировать еще несколько таких происшествий, - сказал Старский, красноречиво поглядывая на вдову.

- При том условии, что я буду ограждена от проявлений вашей нежности. Феля, пересядь-ка на мое место, - отвечала вдова, хмуря брови и садясь против Вокульского.

- Не вы ли сами, сударыня, сегодня сказали, что вдовам все разрешается?

- Но вдовы не все разрешают. Нет, пан Старский, вам надо отучиться от ваших японских замашек.

- Эти замашки приняты во всем мире.

- Во всяком случае, не в той его части, к которой я принадлежу, отрезала вдовушка, брезгливо глядя в сторону.

В коляске все замолкли. Барон с довольным видом шевелил сидящими усиками, а его невеста еще более погрузилась. Панна Фелиция, заняв место вдовушки рядом с Вокульским, повернулась к своему соседу чуть не спиной и время от времени бросала на него через плечо презрительно-меланхолические взгляды. Но за что? Сие было ему неизвестно.

- Вы, наверно, хорошо ездите верхом? - спросила Вокульского Вонсовская.

- Почему вы думаете?

- Ах, боже мой! Сейчас же почему да отчего! Сначала ответьте на мой вопрос.

- Не особенно, однако езжу.

- И хорошо ездите, если сразу угадали, что могут сделать лошади в руках такого мастера, как пан Юлиан. Мы будем ездить вместе. Пан Охоцкий, с сегодняшнего дня я вас освобождаю от прогулок.

- Весьма этому рад, - отвечал Охоцкий.

- Как это красиво - так отвечать дамам! - закричала панна Фелиция.

- Предпочитаю так отвечать, чем сопровождать их на прогулках. В последний раз, когда мы катались с пани Вонсовской, я в течение двух часов шесть раз слезал с лошади, пяти минут

покоя у меня не было. Пусть-ка теперь попробует пан Вокульский.

- Феля, скажи этому человеку, что я с ним не разговариваю, - сказала вдовушка, указывая на Охоцкого.

- Человек, человек! - воскликнула Фелиция. - Эта дама не разговаривает с вами... Эта дама говорит, что вы невежливы.

- Ага, вот вы и соскучились по благовоспитанным людям, - злорадствовал Старский. - Попробуйте, может быть, я соглашусь помириться с вами.

- Вы давно выехали из Парижа? - обратилась вдова к Вокульскому.

- Завтра будет неделя.

- А я не была там уже четыре месяца. Чудный город...

- Заславок! - крикнул Охоцкий и изо всех сил взмахнул кнутовищем, но никакого выстрела не получилось, потому что кнут, неловко откинутый назад, запутался между дамскими зонтиками и шляпами мужчин.

- Нет, господа, - вскричала вдова, - если хотите, чтобы я ездила с вами кататься, вяжите этого человека. Он просто опасен!

В коляске опять поднялся шум; оказалось, что Охоцкий имеет сторонника в лице панны Фелиции, которая утверждала, что для начинающего он правит хорошо и что мало ли чего не бывает даже с опытными кучерами.

- Милая Феля, - возразила вдова, - в твоём возрасте всякий, у кого красивые глаза, кажется отличным возницей.

- Лишь теперь ко мне вернется аппетит... - изливался барон перед своей невестой, но, заметив, что говорит слишком громко, снова понизил голос.

Между тем коляска уже въехала во владения председательши, и Вокульский с интересом разглядывал поместье. На довольно высоком, но пологом холме возвышался просторный двухэтажный дом с одноэтажными флигелями. Позади него зеленели деревья старого парка, перед ним расстилалась широкая лужайка, пересеченная дорожками и кое-где украшенная цветником, статуей или беседкой. У подножья холма поблескивала полоса воды, по-видимому пруд, и на нем покачивались лодки и лебеди.

На фоне зелени светло-желтый помещичий дом с белыми колоннами выглядел внушительно и весело. Слева и справа, за деревьями, виднелись каменные хозяйственные постройки.

Под звонкое хлопанье бича (на этот раз Охоцкому сопутствовала удача) коляска проехала по мраморному мостику и подкатила к дому, лишь одним колесом примяв газон.

Путешественники высадились, только Охоцкий не захотел отдать вожжи и сам доставил экипаж к конюшне.

- Не забудьте же, в час завтрак! - крикнула вслед ему панна Фелиция.

К барону подошел старый слуга в черном сюртуке.

- Ее милость сейчас в кладовой, - сказал он. - Может быть, господам угодно пройти к себе?

И, проводив их к правому флигелю, он указал Вокульскому большую комнату с раскрытыми окнами, выходящими в парк. Через минуту явился казачок в ливрейной куртке, принес воды

и принялся распаковывать чемодан.

Вокульский выглянул в окно. Перед ним по газону раскинулись купами старые ели, лиственницы и липы, за которыми, где-то вдалеке, синели лесистые холмы. Под самым окном рос куст сирени, и в нем было гнездо, над которым порхали воробьи. Теплый сентябрьский ветер поминутно вливался в комнату, принося неуловимые ароматы.

Вокульский глядел на облака, казалось, касавшиеся верхушек деревьев, на снопы света, прорывавшиеся меж темных еловых ветвей, и ему было хорошо. Он не думал о панне Изабелле. Образ ее, сжигавший ему душу, развеялся перед безыскусственной прелестью природы; наболевшее сердце замолкло и впервые за долгое время исполнилось тишины и покоя.

Однако он вспомнил, что приехал сюда в гости, и поспешил переодеться. Едва он сменил костюм, как в дверь тихонько постучали и старый слуга доложил:

- Пани просит к столу.

Вокульский отправился вслед за ним. Пройдя коридор, он очутился в просторной столовой, стены которой до половины были обшиты панелью темного дерева. Панна Фелиция разговаривала у окна с Охоцким, а за столом, между Вонсовской и бароном, в кресле с высокими подлокотниками сидела председательша.

Завидев гостя, она встала и сделала несколько шагов ему навстречу.

- Здравствуй, пан Станислав, - сказала она, - спасибо тебе, что исполнил мою просьбу.

А когда Вокульский склонился к ее руке, она поцеловала его в лоб, что произвело определенное впечатление на присутствующих.

- Садись же сюда, возле Кази. А ты, пожалуйста, позаботься о нем.

- Пан Вокульский заслужил это, - отвечала вдова. - Если бы не его самообладание, пан Охоцкий переломал бы нам кости.

- Что же случилось?

- Он и с парной упряжкой не справляется, а берется править четверкой. Уж лучше было, когда он по целым дням удил рыбу.

- Боже! Какое счастье, что я не женюсь на этой женщине, - воскликнул Охоцкий, сердечно приветствуя Вокульского.

- Ну, сударь! - воскликнула Вонсовская. - Если вы все еще питаете надежду жениться на мне, так уж лучше оставайтесь возницей.

- Вечно они ссорятся! - засмеялась председательша.

В столовую вошла Эвелина Яноцкая, а минуту спустя из других дверей Старский.

Они поздоровались с председательшей, которая отвечала им приветливо, но без улыбки.

Подали завтрак.

- У нас, пан Станислав, - сказала хозяйка, - такой обычай: сходимся мы обязательно все вместе только к столу. А остальное время каждый проводит, как ему вздумается. Советую тебе, если не хочешь скучать, не отходи от Кази Вонсовской.

- А я сразу беру пана Вокульского в плен, - отвечала вдова.

- Ох! - вздохнула председательша, незаметно взглянув на гостя.

Панна Фелиция покраснела, трудно сказать, в который уже раз за сегодняшний день, и велела Охоцкому налить ей вина.

- То есть нет... воды, - поправилась она.

Охоцкий покачал головой и в отчаянии развел руками, однако исполнил просьбу.

После завтрака, за которым панна Эвелина разговаривала только с бароном, а Старский ухаживал за черноглазой вдовой, гости попрощались с хозяйкой и разошлись. Охоцкий отправился на чердак, где в каморке, наскоро пристроенной для этой цели, он оборудовал метеорологический наблюдательный пункт. Барон с невестой отправился в парк прогуляться; Вокульского председательша удержала при себе.

- Скажи мне, - начала она, - ведь первые впечатления бывают самые верные, - как тебе понравилась Вонсовская?

- Кажется, женщина предприимчивая и веселая.

- Ты прав. А барон?

- Я его мало знаю. Он уже стар.

- О да, стар, очень стар, - вздохнула председательша, - и все-таки собирается жениться. А что ты скажешь о его невесте?

- Я ее совсем не знаю; но меня удивляет, как она могла выбрать барона, хотя он, вероятно, и благороднейший человек.

- Да, это странная девушка, - продолжала председательша. - И скажу тебе, я уже не испытываю к ней прежней привязанности. Ее замужеству я не мешаю, потому что не одна барышня позавидует ей и все вокруг твердят, что для нее это блестящая партия. Но ее доля наследства перейдет к другим. Кому достанется богатство барона, тот не нуждается в моих двадцати тысячах.

В голосе старушки слышалось раздражение.

Она отпустила Вокульского и посоветовала ему пройтись по парку.

Вокульский вышел во двор и, обогнув левый флигель, где помещалась кухня, свернул в парк.

Позже ему не раз вспоминались первые два наблюдения, сделанные им в Заславеке.

Прежде всего он увидел неподалеку от кухни конуру, а перед нею, на цепи, собаку, которая, приметив чужого, начала лаять, выть и метаться, как бешеная. Разглядев, что глаза у собаки при этом веселые и она виляет хвостом, Вокульский погладил ее; это сразу расположило свирепую зверюгу к гостю, и она уже не хотела отпускать его от себя. Она взвизгивала, хватала его за полы, опрокидывалась на спину, как бы добиваясь, чтобы ее приласкали или хотя бы побыли с нею.

"Вот странная цепная собака", - подумал Вокульский.

В эту минуту из кухни появилось новое чудо: толстый старик работник, поперек себя шире. Вокульский, еще ни разу в жизни не встречавший толстого мужика, заговорил с ним.

- Зачем вы держите эту собаку на цепи?
- А чтоб злая была и не пускала в дом воров, - отвечал мужик, улыбаясь.
- Так почему бы вам не взять злого цепного пса?
- А наша барыня не станет держать злую животину. У нас пес и тот должен быть ласковый.
- А вы, отец, что тут делаете?
- Пасечник я. Прежде землю пахал, да вол ребро покалечил, так барыня послала меня на пасеку.
- И хорошо вам?
- Поначалу тошно было без работы, а потом привык, ничего.

Простившись с мужиком, Вокульский свернул к парку и долго прогуливался по липовой аллее, ни о чем не думая. Он чувствовал, как все, что тяготило его и отравляло мозг, - сумятица Парижа, шум Варшавы, гудение железной дороги, все волнения, все пережитые горести теперь словно испарились. Если бы его спросили: "Что такое деревня?" - он ответил бы: "Тишина".

Вдруг он услышал позади быстрые шаги. Его догонял Охоцкий, который нес на плече две удочки.

- Панны Фелиции здесь не было? - спросил он. - Мы условились в половине третьего вместе пойти на рыбную ловлю... Ну, да женская аккуратность известна! Может, и вы отправитесь с нами? Нет, не хочется? Так не сразиться ли вам со Старским в пикет? Он всегда готов, если только нет партнеров для преферанса.
- А что здесь делает пан Старский?
- Как что? Живет у своей двоюродной бабки и крестной, председательши Заславской, а в настоящий момент горюет, что наверняка не получит от нее в наследство поместья. Лакомый кусочек, около трех тысяч рублей. Но председательша предпочитает оказать поддержку подкидышам, а не казино в Монако. Бедный мальчик!
- А чем ему плохо?
- Ну, как же! С бабкой дело провалилось, с Казей сорвалось - впору хоть пулю себе в лоб пустить! Надо вам сказать, - продолжал Охоцкий, поправляя удочки, - что Вонсовская, будучи барышней, питала к Старскому слабость. Казик и Казя - подходящая парочка, а? Кажется, именно по этому поводу пани Казя и пожаловала сюда три недели назад (а после мужа ей достался изрядный куш, пожалуй не меньше, чем у председательши!). Несколько дней они даже как будто ладили, и Казик в счет будущего приданого успел выдать ростовщику новый вексель, как вдруг... все расклеилось... Вонсовская прямо издевается над ним, а он делает вид, будто все в порядке. Словом, плохо дело! Придется ему отказаться от путешествий и осесть в своем жалком именице, пока не умрет дядюшка; у того, правда, давно уже камни в печени.
- А что пан Старский делал до сих пор?
- Ну, прежде всего он делал долги. Немножко поигрывал в карты, немножко ездил по свету (по-моему, преимущественно по парижским и лондонским кабачкам, в этот его Китай я не очень-то верю), но главным образом занимался совращением молодых дам. В этом деле он просто виртуоз и заслужил уже такую прочную репутацию, что замужние дамы и не пытаются

устоять перед ним, а барышни верят, что стоит Старскому поухаживать за какой-нибудь девушкой, и она тот же час выскочит замуж. Чем плохое занятие? Не хуже многих других...

- Конечно, - подтвердил Вокульский, несколько успокоившись насчет соперника. "Такому не соблазнить панну Изабеллу..."

Они дошли до конца парка; за оградой виднелся ряд каменных строений.

- Поглядите-ка, что за оригинальная женщина наша председательша! сказал Охоцкий. - Видите вот те дворцы? Все это - помещения для прислуги. А вон там - приют для мужицких детей, их тут штук тридцать; целый день они играют, умытые и одетые, как барчуки... А вон тот домик - богадельня; там сейчас четверо стариков, они заполняют свой досуг тем, что чистят волос, которым набивают тюфяки для гостей. Где только я не побывал у нас в стране и всюду видел, что батраки живут, как свиньи, а их дети копошатся в грязи, как поросята... Когда я впервые попал сюда, то глазам своим не поверил. Мне казалось, что я очутился на острове Утопии{98} либо открыл страницу скучного нравоучительного романа, в котором автор описывает, какими должны быть помещики, но какими они никогда не будут. Эта старушка внушает мне уважение... А посмотрели бы вы, какая у нее библиотека, что она читает!.. Я остолбенел, когда она однажды попросила меня разъяснить ей некоторые положения теории эволюции, - она не приемлет ее только потому, что теория эта выдвигает в качестве основного закона природы борьбу за существование.

В конце аллеи показалась панна Фелиция.

- Что же, пойдете, пан Юлиан? - спросила она Охоцкого.

- Пойдем, и пан Вокульский с нами.

- Да-а-а-а? - удивилась девушка.

- Это будет вам неприятно? - спросил Вокульский.

- Нет, почему же... только я думала, что вам интереснее проводить время с пани Вонсовской.

- Панна Фелиция, голубушка! - воскликнул Охоцкий, - только, пожалуйста, не притворяйтесь язвительной: все равно у вас ничего не получится.

Девушка надулась и, обогнав своих спутников, пошла по направлению к пруду; мужчины последовали за нею. Удили они до пяти часов пополудни, на самом солнцепеке, а день был жаркий. Охоцкий поймал двухдюймового пескаря, а панна Фелиция оборвала кружево на рукаве. В результате между ними разгорелся спор о том, кто хуже: барышни, не имеющие понятия, как надо держать удочку, или молодые люди, не умеющие ни минуты посидеть молча.

Примирил их только гонг, сзывающий гостей к обеду.

После обеда барон удалился в свою комнату (в эти часы он неизменно страдал мигренью); а остальным предстояло собраться в беседке, куда обычно подавали фрукты.

Вокульский пришел туда через полчаса. Он думал, что окажется первым, между тем застал в сборе все дамское общество, внимательно слушавшее рассуждения Старского. Тот сидел, развалясь в березовом кресле, и, с небрежным видом похлопывая хлыстиком по носку своего башмака, говорил:

- Все супружеские союзы, сыгравшие какую-нибудь роль в истории, были отнюдь не браками по любви, а браками по расчету. Что знали бы сейчас потомки о Ядвиге или о Марии Лещинской{99}, если б эти дамы в свое время не решились сделать разумный выбор? Чем

был бы Стефан Баторий{99} или Наполеон Первый, если бы они не женились на влиятельных женщинах? Супружество - акт слишком значительный, чтобы, вступая в него, слушаться только голоса сердца. Это не поэтическое слияние двух душ, а событие, имеющее важные последствия для многих лиц и многих дел. Допустим, я сегодня женюсь на горничной или даже на гувернантке и завтра же лишусь доступа в свой круг. Никто не станет спрашивать о температуре моих чувств, зато каждый спросит: на какие доходы он будет содержать семью и кого он вводит в свой дом?

- Одно дело - брачный союз по политическим соображениям, а другое брак по расчету с нелюбимым человеком, - возразила председательша, глядя в землю и барабаня пальцами по столу. - Это насилие над самыми священными чувствами.

- Ах, дорогая бабушка, - со вздохом отвечал Старский, - легко говорить о свободе чувств, имея двадцать тысяч рублей годового дохода. Все кричат: "Подлые деньги! Мерзкие деньги!" Но почему же все, от батрака до министра, стесняют свою свободу узами обязанностей? Ради чего шахтер и моряк рискуют своей жизнью? Разумеется, ради подлых денег, потому что только подлые деньги дают человеку свободу хоть на несколько часов в день, хоть на несколько месяцев в году, хоть на несколько лет в жизни. Все мы лицемерно презираем деньги, однако каждый из нас понимает, что это навоз, на котором вырастает личная свобода, наука, искусство и даже идеальная любовь. В конце концов, где родилась рыцарская любовь, любовь трубадуров? Уж, во всяком случае, не среди сапожников и кузнецов и даже не среди докторов и адвокатов. Ее взлелеяли имущие классы; это они сотворили женщину с нежной кожей и белыми ручками, они создали мужчину, у которого вдоволь досуга, чтобы поклоняться женщине.

Наконец тут среди нас находится один из людей действия, пан Вокульский, который, по словам бабушки, неоднократно доказывал свой героизм. Что толкало его на путь опасностей? Разумеется, деньги, которые теперь в его руках обратились в могучую силу...

Наступила тишина. Все дамы устремили глаза на Вокульского. После небольшого молчания он ответил:

- Да, вы правы, я добыл свое состояние в опасностях и трудах; но разве вы знаете, зачем я добывал его?

- Позвольте, - прервал его Старский, - я отнюдь не попрекаю вас, а, напротив, считаю пример ваш похвальным и достойным подражания. Однако же откуда вы знаете, что человек, который женится (или выходит замуж) по расчету, не преследует тоже какой-нибудь благородной цели? Говорят, родители мои поженились по любви; несмотря на это, они не были счастливы, а я, плод их горячих чувств, и подавно... Между тем моя почтенная бабушка вышла замуж вопреки склонности и ныне является благословением всей округи. Более того, прибавил он, целуя руку председательше, - она исправляет ошибки моих родителей, которые были так поглощены своей любовью, что не позаботились обеспечить родного сына... Наконец, вот и еще подтверждение в лице очаровательной пани Вонсовской...

- О сударь, - перебила вдова, покраснев, - вы выступаете, словно обвинитель на Страшном суде. Я тоже отвечу, как пан Вокульский: разве вы знаете, зачем я это сделала?

- Однако и вы это сделали, и бабушка, и мы все так же сделаем, - с холодной насмешкой возразил Старский. - Кроме, разумеется, пана Вокульского, у которого достаточно денег, чтобы дать волю своим чувствам...

- И я сделал то же самое, - сдавленным голосом отозвался Вокульский.

- Как, вы женились ради богатства? - спросила вдовушка, широко раскрывая глаза.

- Не ради богатства, а ради права на работу и куска хлеба. Я хорошо знаю закон, о котором говорит пан Старский...

- Ну, что? - ввернул пан Старский, глядя на бабушку.

- ...и именно потому сожалею о тех, кто вынужден ему подчиняться, закончил Вокульский. - Это, может быть, самое ужасное несчастье в жизни.

- Ты прав, - подтвердила председательша.

- Вы начинаете интересоваться меня, сударь, - сказала Вонсовская, протягивая Вокульскому руку.

Панна Эвелина в продолжение всего разговора сидела, низко склонившись над вышиваньем. Вдруг она подняла голову и взглянула на Старского с таким отчаянием, что Вокульский был поражен. Но Старский продолжал похлопывать хлыстом по носку своего башмака, покусывать сигару и улыбаться полуязвительно, полупечально.

За беседкой раздался голос Охоцкого:

- Ну, видишь, я говорил тебе, барыня здесь...

- Так ведь то в беседке, а не в кустах, - отвечала молоденькая крестьянка с корзинкой в руках.

- Вот глупая! - буркнул Охоцкий, выходя из-за кустов и беспокойно поглядывая на дом.

- Ого-го! Пан Юлиан выступает в роли покорителя, - заметила вдовушка.

- Да ведь, честное слово, я только затем пошел через цветники, чтоб покороче... - оправдывался Охоцкий.

- И сбились с пути, как утром, когда везли нас...

- Даю честное слово...

- Лучше уж не оправдывайся, а подай мне руку и пойдём, - прервала председательша.

Охоцкий повел ее из беседки, но лицо у него было такое смущенное, а шляпа так отчаянно сдвинулась набекрень, что Вонсовская не утерпела и весело расхохоталась; это вызвало новую вспышку румянца на щеках панны Фелиции, а Охоцкого заставило несколько раз сердито оглянуться на вдовушку.

Все общество свернуло налево и пошло боковой аллеей к приусадебным строениям: впереди председательша и Охоцкий, за ними девушка с корзинкой, потом вдовушка и панна Фелиция, затем Вокульский, а за ним панна Эвелина со Старским. Из-за калитки, которой как раз достигли передние пары, доносился все возраставший шум; в эту минуту Вокульский услышал тихий разговор позади.

- Иногда мне так тяжело, что хоть в гроб ложись... - шептала панна Эвелина.

- Крепитесь, крепитесь! - тоже шепотом отвечал Старский.

Только теперь Вокульский понял цель предпринятой прогулки, увидев, как по двору навстречу председательше бежит целая стая кур, а она сыплет им зерно из корзинки... За курами показалась птичница, старая Матеушова, и доложила барыне, что все благополучно, только утром над двором кружил ястреб да пополудни одна курица чуть не подавилась камешком, но, слава богу, все обошлось.

С птичьего двора председательша проследовала к хлевам и конюшням, а работники, большей частью люди пожилые, перед нею отчитывались. Тут едва не случилось беды: из конюшни выскочил рослый жеребенок и, встав на дыбы, точь-в-точь как пес на задние лапы, кинулся было на председательшу. К счастью, Охоцкий удержал резвое животное, и председательша, как обычно, попотчевала его сахаром.

- Он вас когда-нибудь покалечит, бабушка, - с неудовольствием сказал Старский. - Где это видано приучать к таким нежностям жеребят, из которых со временем вырастают лошади!

- Ты всегда говоришь разумно, - отвечала председательша, поглаживая жеребенка; тот положил морду ей на плечо, а потом побежал за ней следом; батраки с трудом загнали его обратно в конюшню.

Даже некоторые коровы узнавали свою госпожу и приветствовали ее тихим, ласковым мычаньем.

"Удивительная женщина", - подумал Вокульский, глядя на старушку, которая умела внушать любовь к себе и животным и людям.

После ужина председательша отправилась спать, а Вонсовская предложила пройтись по парку.

Барон без особого удовольствия принял предложение. Он надел теплое пальто, закутал шею платком и, взяв под руку невесту, пошел с нею вперед. О чем они говорили, никто не знал, только можно было заметить, что она побледнела, а у него выступили красные пятна на щеках.

Около одиннадцати все разошлись, а барон, покашливая, проводил Вокульского в его комнату.

- Ну что, присмотрелись вы к моей невесте?.. Как она хороша! Тип весталки, знаете ли... Правда? А особенно когда на личике ее появляется выражение этакой странной меланхолии, - вы обратили внимание? Она так прелестна, что... я готов жизнь отдать за нее... Никому, кроме вас, я бы этого не сказал но, поверите ли, она будит во мне такое благоговение, что я не знаю, посмею ли когда-нибудь прикоснуться к ней... Мне хочется молиться на нее!.. Просто упасть к ее ногам, и глядеть ей в глаза, и, если она позволит - целовать край ее платья... Но, простите, не наскучил ли я вам?

Барон вдруг так закашлялся, что глаза его налились кровью. Отдышавшись, он продолжал:

- Вообще-то я не кашляю, но сегодня немного простудился; я не очень склонен к простудам, только вот осенью и ранней весной. Ну, да ничего, пройдет. Как раз позавчера я пригласил на консилиум Халубинского и Барановского{104}, и они сказали, что мне надо только беречься, и тогда я буду здоров... Спрашивал я их также (говорю это только вам!), что они думают о моей женитьбе. Они сказали, что женитьба - дело личное... Я подчеркнул, что берлинские врачи давно уже советовали мне вступить в брак. Тогда они призадумались, и кто-то из них заметил: "Очень жаль, что вы сразу же не послушались их совета..." Так что я уже твердо решил не откладывать дальше осени...

Снова его одолел кашель. Отдышавшись, он вдруг спросил изменившимся голосом:

- Вы верите в загробную жизнь?

- Почему вы спрашиваете?

- Видите ли, что ни говори, вера спасает человека от отчаяния. Я, например, понимаю, что и сам уже не буду счастлив так, как мог быть когда-то, и ей не дам полного счастья.

Единственное, что утешает меня, это мысль о встрече с ней в ином, лучшем мире, где мы оба опять будем молоды. Ведь она, - прибавил он задумчиво, - и там будет моею, ибо священное писание учит: "Что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе..." Вы, может быть, в это не верите, как и пан Охоцкий, однако признайтесь, что... иногда... вы все-таки верите и не могли бы поклясться, что так не будет?

Часы за стеной пробили полночь; барон испуганно вскочил и простился с Вокульским. Через несколько минут его астматический кашель послышался из другого конца флигеля.

Вокульский открыл окно. Возле кухни громко кукарекали петухи. В парке жалобно стонала сова; с неба сорвалась звезда и покатила куда-то за деревья. Барон все еще кашлял.

"Неужели все влюбленные так слепы, как он? - думал Вокульский. - И мне, да и каждому здесь ясно, что эта девица совсем его не любит. Кажется, она даже влюблена в Старского.

Я еще не разобрался в положении, но, по всей вероятности, дело обстоит так: барышня выходит замуж ради денег, а Старский поддерживает ее решимость своими теориями. А может быть, и он немного увлекся ею? Вряд ли. Верней, она ему уже надоела, и он хочет поскорее спихнуть ее замуж. Впрочем... Нет, это было бы чудовищно... Только у публичных женщин бывают любовники, которые ими торгуют. Что за глупое предположение! Может быть, Старский в самом деле ей друг и советует так, как считает правильным. Ведь он открыто заявляет, что сам женится только на богатой. Чем плохой принцип? Не хуже других, как сказал бы Охоцкий. Правильно говорила как-то председательша, что у нынешнего поколения крепкие головы и холодные сердца; наш пример отвратил их от сентиментальности, и они верят только в силу денег, что, впрочем, свидетельствует об их рассудительности. А Старский, право же, не глуп: пожалуй, немного шалопай и бездельник, но бесспорно не глуп. Любопытно, за что с ним так круто обходится Вонсовская? Вероятно, она питает к нему слабость, а так как деньги у нее есть, то в конце концов они все-таки поженятся. Впрочем, какое мне до этого дело?..

Любопытно, почему председательша сегодня ни разу не упомянула о панне Изабелле? Ну, уж спрашивать я не стану... Мигом начали бы болтать бог знает что..."

Вокульский заснул и во сне увидел себя влюбленным и хилым бароном, а Старский играл при нем роль друга дома.

Он проснулся и рассмеялся:

- Ну, уж тут бы я сразу вылечился!

Утром он опять удил рыбу вместе с панной Фелицией и Охоцким. А когда в час дня все собрались за завтраком, Вонсовская обратилась к хозяйке дома:

- Бабушка, вы позволите оседлать двух лошадей, для меня и для пана Вокульского? - И, обернувшись к Вокульскому, прибавила: - Мы поедем через полчаса. С этой минуты вы начинаете нести свою службу при мне.

- Вы поедете только вдвоем? - спросила панна Фелиция, пылая румянцем.

- А разве и вы с паном Юлианом хотели бы ехать?

- Только, пожалуйста... Прошу не распорядиться моей особой! запротестовал Охоцкий.

- Фелиция останется со мною, - вмешалась председательша.

У панны Фелиции кровь прилила к лицу и на глазах выступили слезы. Она взглянула на Вокульского - сначала сердито, потом высокомерно и, наконец, выбежала из комнаты, будто

бы за платочком. Вернулась она с покрасневшим носиком и посмотрела на присутствующих, словно Мария Стюарт, прощающая своих палачей.

Ровно в два часа к крыльцу подвели двух прекрасных верховых лошадей. Вокульский подошел к своей, тотчас явилась и Вонсовская. Амазонка плотно облегла ее фигуру, статную, как у Юноны; рыжеватые волосы были собраны в тяжелый узел. Она поставила ногу на руку конюха и, как пружина, прыгнула в седло. Хлыст слегка дрожал у нее в руке.

Между тем Вокульский спокойно поправлял стремяна.

- Скорее, сударь, скорее! - торопила она, натягивая поводья; лошадь под ней танцевала и становилась на дыбы. - За воротами поскачем галопом... *Avanti, Savoya!**

* Вперед, Савойя! (итал.)

Наконец Вокульский вскочил на коня, Вонсовская нетерпеливо взмахнула хлыстом - и оба тронулись в путь.

Примерно на версту от усадьбы тянулась дорога, обсаженная липами. По обе стороны серели поля, на которых кое-где еще стояли большие, как избы, скирды пшеницы. Небо было чистое, солнце светило ярко, издали доносился жалобный скрип молотилки.

Несколько минут лошади бежали рысью. Но вот Вонсовская приложила рукоять хлыста к губам, подалась вперед и полетела галопом. Вуаль развевалась за нею, как сизое крыло.

- *Avanti! Avanti!*

Так они мчались несколько минут. Вдруг всадница круто осадила коня; она раздумянулась и тяжело дышала.

- Хватит, - сказала она. - Теперь поедем шагом.

Она выпрямилась и устремила пристальный взгляд на восток, где вдалеке синел лес. Аллея осталась позади, они ехали полем; кругом серели скирды хлеба и зеленели грушевые деревья.

- Скажите, - спросила вдова, - приятно наживать состояние?

- Нет, - подумав, ответил Вокульский.

- А тратить его приятно?

- Не знаю.

- Вы не знаете? А ведь о вашем состоянии рассказывают чудеса. Говорят, у вас тысяч шестьдесят годового дохода...

- Сейчас у меня значительно больше; но я очень мало трачу.

- Сколько же?

- Тысяч десять.

- Жаль. Я в прошлом году решила промотать уйму денег. Управляющий и кассир уверяют меня, будто я истратила двадцать семь тысяч... Я безумствовала - и все же не разогнала скуку... Сегодня я подумала: спрошу-ка, как чувствует себя человек, который тратит

шестьдесят тысяч в год? Но вы не тратите столько. Жаль!.. Знаете что? Истратьте как-нибудь шестьдесят, нет, сто тысяч в год и скажите мне: действительно ли это дает сильные ощущения и каковы они? Хорошо?

- Заранее могу вам сказать, что не дает.

- Нет? К чему же тогда деньги? Если и сто тысяч в год не могут дать счастья, так от чего же оно зависит?

- Можно и с одной тысячей быть счастливым. Счастье каждый носит в самом себе.

- Но откуда-то оно берется...

- Нет, сударыня.

- И это говорите вы, человек столь необыкновенный!

- Если б даже я и был необыкновенным человеком, то лишь благодаря страданиям, а не счастью. И уж, во всяком случае, не благодаря расходам.

На опушке леса показалось облачко пыли. Вонсовская с минуту вглядывалась в него, потом вдруг хлестнула коня и, свернув влево, понеслась по полю, не разбирая дороги.

- Avanti! Avanti!

Они скакали минут десять; на этот раз Вокульский первый осадил коня. Он остановился на вершине холма; внизу расстился зеленый луг, прекрасный, как мечта. Что именно было в нем прекрасно - зеленая трава или крутые изгибы речушки, склоненные над нею деревья или ясная синева неба? Вокульский не знал.

Но Вонсовская не любовалась пейзажем. Она сломя голову летела с холма, словно желая поразить спутника своей отвагой.

Когда Вокульский, не торопясь, спустился следом, она повернула к нему коня и нетерпеливо крикнула:

- Боже, неужели вы всегда такой скучный? Не за тем же я вас взяла на прогулку, чтобы зевать... Извольте развлекать меня, и немедленно...

- Немедленно? Хорошо. Вы не находите, что пан Старский весьма интересный человек?

Она откинулась в седле, словно падая навзничь, и посмотрела на Вокульского долгим взглядом.

- Ну! - рассмеялась она. - Не ожидала я от вас такой пошлой фразы... Пан Старский интересен... для кого? Разве только для... для... таких уточек, как панна Эвелина. Меня, например, он уже давно перестал интересовать.

- Однако...

- Без всяких "однако"! Правда, он интересовал меня раньше, когда я только собиралась стать мученицей супружества. К счастью, муж мой оказался так любезен, что вскорости умер, а пан Старский так незамысловат, что даже при моем небогатом жизненном опыте я в неделю раскусила его. Все та же борода а la великий князь Рудольф и те же приемы оболъщения. Эти его взгляды, недомолвки, таинственность - все это я знаю наперечет, как фасоны его сюртуков. По-прежнему за версту обходит бесприданниц, циничен с замужними дамами и нежно вздыхает возле богатых невест. Боже мой, сколько уже попадалось мне таких в жизни.

Сейчас мне нужно что-нибудь новое...

- В таком случае Охоцкий...

- О да, Охоцкий интересен и даже мог бы стать опасным, но для этого мне пришлось бы заново родиться. Это человек не того мира, к которому я привязана телом и душой! Ах, как он наивен и как великолепен! Он все еще верит в идеальную любовь и надеется встретить женщину, с которой он сможет запереться в своей лаборатории, твердо зная, что она никогда ему не изменит... Нет, он мне не пара. Но что это случилось с моим седлом? - вдруг вскричала она. - Сударь, у меня подпруга отстегнулась... взгляните, пожалуйста...

Вокульский соскочил с коня.

- Вы спешите? - спросил он.

- И не подумаю. Проверьте так.

Он зашел с правой стороны - подпруга держалась крепко.

- Да не там... Вот здесь... здесь, возле стремени.

Он заколебался, однако откинул шлейф ее амазонки и просунул руку под седло. Вдруг кровь бросилась ему в голову: вдовушка шевельнула ногой и коленом коснулась его щеки.

- Ну что? Ну что? - нетерпеливо спрашивала она.

- Ничего. Подпруга в порядке.

- Вы поцеловали мою ногу? - крикнула она.

- Нет.

Она хлестнула коня и понеслась вскачь, бормоча:

- Глупец, глупец... или камень!

Вокульский медленно сел на лошадь. Невыразимой тоской сжалось его сердце, когда он подумал:

"Неужели и панна Изабелла катается верхом? Кто же ей поправляет седло?.."

Он подъехал к Вонсовской. Она встретила его взрывом смеха.

- Ха-ха-ха! Вы неподражаемы!

Потом заговорила низким, звенящим голосом:

- В книгу моей жизни вписана великолепная страница: я разыграла роль жены Пентефрия и нашла прекрасного Иосифа... Ха-ха-ха! Только одно обстоятельство меня огорчает: вы так и не сумеете оценить мою способность кружить головы. На вашем месте сто других мужчин в подобную минуту сказали бы, что жить без меня не могут, что я похитила их покой и так далее... А этот отвечает: "нет!" - и все тут. За одно это "нет" вам уготовано в царствии небесном место среди невинных младенцев. Этакое высокое креслице, с перекладиной впереди... Ха-ха-ха!

Она покатывалась со смеху.

- А что бы вы выиграли, если б я ответил, как другие?

- Одной победой больше.

- А этим что вы выиграете?

- Я заполняю таким образом пустоту жизни. Из десяти поклонников, признавшихся мне в любви, я выбираю одного, который кажется мне наиболее любопытным, забавляюсь им, мечтаю о нем...

- А потом?

- Делаю смотр следующего десятка и выбираю нового!

- И часто?

- Хоть каждый месяц. Что вы хотите, - прибавила она, пожимая плечами, такова любовь нашего века - века пара и электричества!

- Да, это верно. Она даже напоминает поезд.

- Летит как вихрь и мечет искры?

- Нет. Быстро едет и набирает пассажиров сколько влезет.

- О, пан Вокульский!

- Я не хотел вас обидеть, сударыня. Я только сформулировал то, что услышал.

Вдовушка прикусила губки. Некоторое время они ехали молча. Первой заговорила Вонсовская:

- Я уже определила, кто вы такой: вы педант. Каждый вечер, - не знаю, в котором часу, но, наверно, не позднее десяти, - вы проверяете счета, потом отправляетесь спать, а перед сном непременно читаете молитву, громко повторяя: "Не пожелай жены ближнего своего". Верно?

- Продолжайте, сударыня.

- Не буду продолжать, мне наскучило разговаривать с вами. Ах, жизнь полна разочарований! Когда мы впервые надеваем платье со шлейфом, когда отправляемся на первый бал, когда впервые влюбляемся - нам все кажется открытием... Но вскоре мы убеждаемся, что все это или уже было, или ничего не стоит...

Помню, в прошлом году я была в Крыму; мы ехали небольшой компанией по пустынной дороге, на которой некогда пошаливали разбойники. Только мы заговорили об этом, как вдруг из-за скалы показываются два татарина... "Слава богу, думаю, они наверняка собираются нас зарезать". Пригожие, надо сказать, были мужчины, но физиономии самые свирепые. И что же? Знаете, с чем они обратились к нам? Предложили купить у них винограду! Подумайте! Я-то жду разбойников, а они торгуют виноградом! Со злости я чуть не бросилась на них с кулаками, право! Так вот - сегодня вы напомнили мне этих татар... Председательша уже несколько недель мне толкует, что вы человек оригинальный, совсем не похожий на других, а между тем я вижу, что вы самый обыкновенный педант. Ведь верно?

- Верно.

- Видите, как я разбираюсь в людях! Может быть, поскачем еще галопом? Или нет, мне уже расхотелось, я устала. Ах... встретить бы хоть раз в жизни действительно необычного человека!..

- Ну, и что тогда?

- Ну, он вел бы себя как-то по-новому, говорил бы мне новые слова, иногда сердил бы меня до слез, а потом сам до смерти обижался бы, а потом, разумеется, должен был бы просить прощения. О, он влюбился бы в меня до безумия! Я так вцепилась бы ему в сердце и в память, что он и в могиле не забыл бы меня... Вот это по мне, это любовь!
- А вы что дали бы ему взамен? - спросил Вокульский, которому с каждой минутой становилось все тяжелее на сердце.
- Не знаю, право... Может быть, я бы решилась на какое-нибудь безумство...
- Теперь позвольте мне сказать, что получил бы от вас этот необычный человек, - заговорил Вокульский с чувством горького озлобления. - Сначала длинный список предыдущих поклонников, потом не менее длинный список поклонников, которые придут ему на смену, а в антракте возможность проверять, хорошо ли затянута подпруга...
- Это низость - так говорить! - крикнула Вонсовская, сжимая в руке хлыст.
- Я только повторил то, что слышал от вас же, сударыня. Однако, если при столь недолгом знакомстве я говорю слишком смело...
- Ничего. Продолжайте... Может быть, ваши дерзости окажутся любопытнее, чем холодная любезность, которую я знаю наизусть. Разумеется, такой человек, как вы, должен презирать женщин, подобных мне... Ну, смелее...
- Простите, пожалуйста. Прежде всего не будем употреблять слишком сильные выражения, которые мало уместны на прогулке. Между нами идет разговор не о чувствах, а только о взглядах. Так вот, по-моему, в ваших взглядах на любовь имеется непримиримое противоречие.
- Разве? - удивилась вдова. - То, что на вашем языке зовется противоречием, я в своей жизни великолепно примиряю.
- С одной стороны, вы говорите о частой смене любовников...
- Если вы не возражаете, назовем их лучше поклонниками.
- А с другой - хотите встретить какого-то необычного, незаурядного человека, который помнил бы о вас даже в могиле. Так вот, насколько я знаю человеческую натуру, эта цель недостижима. Вы, столь расточительная в своих милостях, не станете бережливой, а человек недюжинный не захочет стать в ряд с дюжиной других...
- Он может не знать об этом, - перебила вдова.
- Ах, значит, комедия, для успеха которой нужно, чтобы ваш герой был слеп и глуп! Но пусть даже ваш избранник окажется таким; неужели вы действительно решитесь вводить в заблуждение человека, который так сильно полюбит вас?
- Хорошо, ну так я расскажу ему все, а закончу следующими словами: "Помни, что и Христос простил Магдалину; ведь я меньше грешила, а волосы у меня не менее хороши..."
- И он удовлетворился бы этим?
- Думаю, что да.
- А если нет?
- Тогда я оставила бы его в покое.

- Да, но сначала вы так впились бы ему в сердце и в память, что он и в могиле не мог бы вас забыть! - вспыхнул Вокульский. - Ну, и хорош же ваш мир! Хороши женщины, подле которых влюбленные, беззаветно преданные им всей душой, вынуждены поминутно смотреть на часы, чтобы не встретиться со своими предшественниками и не помешать преемникам! Сударыня, даже тесту нужно время, чтобы как следует подняться; так может ли вырасти глубокое чувство в такой спешке, в ярмарочной толчее? Не претендуйте на глубокие чувства: они лишают людей сна и аппетита. Зачем вам отравлять жизнь какому-то человеку, которого вы сейчас, вероятно, даже еще не знаете? Зачем самой себе портить веселое настроение? Лучше по-прежнему держаться программы легких и частых побед, которые не приносят вреда другим, а вам кое-как заполняют жизнь.

- Вы кончили, сударь?

- Пожалуй...

- Так теперь я скажу вам. Все вы подлецы...

- Опять сильное выражение.

- Ваши были еще сильнее. Все вы - ничтожества! Когда женщина в пору юности мечтает об идеальной любви, вы осмеиваете ее наивность и требуете от нее кокетства, без которого девушка кажется вам скучной, а замужняя женщина - глупой. А когда, в результате общих усилий, она привыкает к пошлым признаниям, томным взглядам и тайным рукопожатиям - тут вдруг вылезает из темного угла некий оригинальный субъект в капюшоне Петра Амьенского и торжественно проклинает женщину, созданную по образу и подобию Адамовых сыновей: "Тебе уже возбраняется любить, ты уже никогда не будешь по-настоящему любима, ибо ты имела несчастье попасть в ярмарочную толчею и утратила свои иллюзии". А кто же разворовал их, как не ваши родные братья? И что это за мир, где человека сначала опустошают, а потом сами же осуждают опустошенного.

Вонсовская вынула из кармана платочек и стиснула его зубами. На ресницах ее блеснула слеза и скатилась на конскую гриву.

- Ну, поезжайте же, - воскликнула она, - ваши плоские рассуждения меня раздражают! Поезжайте... и пришлите мне Старского: его наглость забавнее вашей постной важности.

Вокульский поклонился и поехал вперед. Он был раздосадован и смущен.

- Куда вы едете? Не в ту сторону... Еще, чего доброго, заблудитесь, а потом за обедом будете рассказывать, что я совратила вас с пути истинного. Следуйте за мною...

Вокульский ехал в нескольких шагах позади Вонсовской и размышлял:

"Вот каков их мир и каковы их женщины! Одни продаются чуть ли не дряхлым старикам, а другие обращаются с человеческими сердцами, как с куском говядины... Однако странная особа эта барынька! Пожалуй, даже неплохая и, во всяком случае, способна на благородные порывы..."

Через полчаса они уже были на холмах, с которых открывался вид на имение председательши. Вонсовская внезапно повернула коня и, испытующе поглядев на спутника, спросила:

- Что между нами - мир или война?

- Могу ли я сказать откровенно?

- Пожалуйста.

- Я вам глубоко благодарен, сударыня. За один час я узнал от вас больше, чем за всю мою жизнь.

- От меня? Пустое, не придавайте этому значения. В моих жилах течет несколько капель венгерской крови, и стоит мне сесть на коня, как я теряю голову и несую всякий вздор. Впрочем, я не беру назад ни одного слова, сказанного сегодня, но вы ошибаетесь, если думаете, что уже узнали меня. А теперь поцелуйте мне руку: вы действительно интересны.

Она протянула Вокульскому руку; он поцеловал ее, широко раскрыв глаза от изумления.

Глава пятая

Под одной крышей

В то самое время, когда Вокульский с Вонсовской препирались друг с другом, носясь по лугам, из поместья графини в Заславек выезжала панна Изабелла. Накануне она получила от председательши письмо, отправленное с нарочным, а сегодня по настоятельному требованию тетки тронулась в путь, хотя и против собственного желания. Она была уверена, что Вокульский, к которому председательша так явно благоволила, уже в Заславеке, поэтому тотчас являться туда казалось ей неприличным.

"Пусть даже в конце концов мне придется выйти за него замуж, из этого еще не следует, что я должна спешить к нему навстречу", - думала она.

Но вещи были уложены, экипаж подан, на переднем сиденье уже ждала ее горничная, и панна Изабелла решилась.

Прощание с родными было многозначительно. Растроганный Ленцкий молча утирал глаза, а графиня, сунув племяннице в руку бархатную сумочку с деньгами, поцеловала ее в лоб и сказала:

- Я не советую и не отговариваю. Ты девушка рассудительная, положение знаешь, пора самой принять какое-то решение и сделать выводы.

Но какое решение? Какие выводы? Об этом тетка умолчала.

Нынешнее лето в деревне глубоко изменило многие воззрения панны Изабеллы. Однако произошло это не под влиянием свежего воздуха и прекрасных пейзажей, а вследствие некоторых событий и возможности спокойно поразмыслить над ними.

Она приехала сюда, по настоянию тетки, ради Старского, так как все говорили, что ему достанется в наследство бабкино поместье. Между тем председательша, присмотревшись к своему внучатному племяннику, заявила, что в лучшем случае отпишет ему тысячу рублей в год пожизненной ренты, которая ему, наверное, весьма пригодится под старость. А все состояние свое она решила завещать подкидышам и несчастным женщинам.

С этой минуты Старский потерял всякую цену в глазах графини. Панна Изабелла тоже поставила на нем крест, когда он однажды заявил, что никогда не женится на бесприданнице, скорее уж на японке или китайке, лишь бы она принесла ему несколько десятков тысяч годового дохода.

- Ради меньшего не стоит рисковать своим будущим, - сказал он.

Стоило ему это заявить, и панна Изабелла перестала смотреть на него как на серьезного претендента. Но так как при этом он тихо вздохнул и украдкой посмотрел в ее сторону, панна Изабелла подумала, что красавец Казек, должно быть, втайне страдает и, подыскивая богатую жену, жертвует своим чувством. К кому? Возможно, к ней... Бедный мальчик, но ничего

не поделаешь! Может быть, впоследствии найдется способ облегчить его страдания, но пока что следует держать его на расстоянии. Сделать это было нетрудно, ибо Старский вдруг начал усиленно ухаживать за богатой пани Вонсовской и втихомолку увиваться за панной Эвелиной - вероятно, для отвода глаз, чтобы окончательно замести следы своей давней любви к панне Изабелле.

"Бедный мальчик, но что поделаешь! Жизнь диктует свои обязанности, и приходится исполнять их, как бы ни были они тягостны".

Таким образом, Старский, быть может самый подходящий для панны Изабеллы супруг, был вычеркнут из списка женихов. Он не мог жениться на бедной, но должен был искать богатую невесту, поэтому пропасть между ними была непреодолима.

Второй соискатель ее руки, барон, сам устранился, обручившись с панной Эвелиной. Пока барон добивался благосклонности панны Изабеллы, он был ей противен; но когда он внезапно ее покинул, она испугалась.

Как? Значит, существуют на свете женщины, ради которых можно отказаться от нее? Как? Значит, может наступить момент, когда ее оставят даже столь престарелые поклонники?

Панна Изабелла почувствовала, что почва уходит у нее из-под ног, и тогда-то, под влиянием охватившего ее беспокойства, она довольно благожелательно заговорила с председательшей о Вокульском. Возможно даже, что она действительно произнесла следующие слова:

- Куда же это пропал пан Вокульский? Боюсь, что он на меня обиделся. Я нередко упрекаю себя за то, что относилась к нему не так, как он того заслуживает.

При этом она потупила глаза и покраснела, ввиду чего председательша сочла нужным пригласить Вокульского к себе в поместье.

"Пусть они присмотрятся друг к другу на просторе, - думала старушка, а там - все в воле божьей. Он среди мужчин - чистейший бриллиант, она тоже хорошая девочка, так, может, они и поладят. А что он к ней неравнодушен, я готова побиться об заклад".

Прошло несколько дней, неприятные впечатления понемногу изгладились, и панна Изабелла уже начала раскаиваться, что заговорила с председательшей о Вокульском.

"Он еще, пожалуй, вообразит, что я согласна выйти за него..." подумала она.

Тем временем председательша рассказала гостившей у нее Вонсовской, что в Заславец приедет Вокульский, очень богатый вдовец и человек во всех отношениях незаурядный, которого она хотела бы женить, тем более что он, кажется, влюблен в панну Изабеллу...

Вонсовская весьма равнодушно слушала о богатстве, вдовстве и матримониальных намерениях Вокульского. Но когда председательша назвала его человеком незаурядным, она насторожилась; услышав же, что он как будто влюблен в панну Изабеллу, она рванулась, как боевой конь благородных кровей, которого неосторожно кольнули шпорой.

Вонсовская была милейшей женщиной, она не думала вторично выходить замуж, а отбивать у барышень женихов - и подавно. Однако пока Вонсовская жила на этом свете, она не могла допустить, чтобы какой-нибудь мужчина любил не ее, а другую женщину. Жениться по расчету - пожалуйста, в этом Вонсовская даже готова была помочь; но преклоняться разрешалось только перед нею. И даже не потому, что она считала себя красивее всех, а просто... такая уж у нее была слабость.

Узнав, что панна Изабелла сегодня приезжает, Вонсовская потащила Вокульского на

прогулку. А заметив на дороге возле леса пыль, клубившуюся за экипажем ее соперницы, она свернула на луг и там устроила великолепную сцену с седлом, которая, однако, не удалась.

Между тем панна Изабелла подъехала к дому. Все вышли ее встречать на крыльцо, приветствуя почти в одних и тех же выражениях.

- Знаешь, - шепнула ей председательша, - Вокульский приехал...

- Вас одной нам не хватало, - воскликнул барон, - чтобы Заславек вполне уподобился райской обители. Сюда уже прибыл весьма приятный и знаменитый гость...

Фелиция Яноцкая отвела панну Изабеллу в сторону и со слезами в голосе начала рассказывать:

- Ты слышала, к нам приехал пан Вокульский... Ах, если бы ты знала, что это за человек! Но нет, я больше ничего не скажу, а то еще и ты подумаешь, что я им увлекаюсь... Ну, и вообрази только: Вонсовская заставила его вдвоем с нею поехать верхом... Посмотрела бы ты, как он, бедняга, краснел!.. А я за нее. Правда, я тоже ходила с ним удить рыбу, так ведь это здесь, на пруду... и с нами был пан Юлиан. Но чтобы я поехала кататься вдвоем с ним? Да ни за что на свете! Я бы скорей умерла...

Панна Изабелла поторопилась поздороваться с остальными и ушла в отведенную для нее комнату. "Этот Вокульский начинает меня раздражать", подумала она.

В сущности, это было не раздражение, а нечто другое. Уезжая в Заславек, панна Изабелла действительно злилась и на председательшу за слишком настойчивое приглашение, и на тетку - за то, что та торопила ее ехать, и прежде всего на самого Вокульского.

"Значит, меня в самом деле хотят выдать за этого выскочку? - говорила она себе. - погоди же, голубчик!" Она не сомневалась, что первым здесь встретит ее Вокульский, и заранее решила держаться с ним высокомерно.

Между тем Вокульский не только не бросился ей навстречу, но, оказывается, поехал кататься с пани Вонсовской.

Панна Изабелла была неприятно задета. "Вот кокетка, - думала она, - а ведь ей уже добрых тридцать лет!"

Когда барон назвал Вокульского знаменитым гостем, самолюбие панны Изабеллы было польщено; правда, чувство это мелькнуло и тотчас исчезло. Когда панна Фелиция нечаянно выдала свою ревность к Вонсовской, панну Изабеллу охватило беспокойство, правда, лишь на одно мгновение.

"Наивная девочка!" - подумала она о Фелиции. Словом, презрение, которое она всю дорогу готовилась излить на Вокульского, совершенно испарилось под влиянием самых разноречивых чувств: она была и разгневана, и довольна, и встревожена. Теперь Вокульский представлялся панне Изабелле совсем в другом свете. Это был уже не какой-то там галантерейный купец, а человек, возвратившийся из Парижа и располагающий огромным состоянием и связями, которым восхищался барон и с которым кокетничала Вонсовская... Едва панна Изабелла успела переодеться, к ней вошла председательша.

- Душа моя, - сказала старушка, снова целуя ее, - почему же Иося не изволила пожаловать ко мне?

- Папа нездоров, и она не хочет оставлять его одного.

- Нет уж... нет уж, не говори ты мне этого! Она потому не едет, что не хочет встречаться с

Вокульским, вот в чем дело... - заволновалась председательша. - Вокульский хорош, когда сорит деньгами на ее сиротский приют... Нет, Белла, скажу я тебе: видно, никогда твоя тетка не поумнеет...

В панне Изабелле заговорило давнишнее раздражение.

- Может быть, тетя не считает нужным дарить столь явным благоволением простого купца? - сказала она, краснея.

- Купец!.. Купец!.. Ну и что ж? - вспыхнула председательша. Вокульские - дворяне не хуже Старских и даже Заславских... А что до его занятий... Вокульский, душенька моя, не торговал бог знает чем, как дед твоей тетки... Можешь сказать ей это, если к слову придется. По мне, честный купец лучше десятка австрийских графов. Знаю я, чего стоят их титулы.

- Однако согласитесь, что происхождение...

Председательша иронически рассмеялась.

- Поверь мне, Белла, благородное происхождение - не заслуга тех, кому оно достается. А чистота крови... Боже мой! Какое счастье, что мы не слишком усердно проверяем такие вещи. Знаешь, о происхождении не стоит говорить таким старым людям, как я. Мы-то еще помним дедов и отцов и часто удивляемся: почему сын пошел не в папашу, а в камердинера? Правда, тут много значит - на кого матушка заглядывалась.

- А вам Вокульский, видно, очень нравится, - тихо заметила панна Изабелла.

- Да, очень! - твердо ответила старушка. - Я любила дядю его и всю жизнь была несчастлива только потому, что меня разлучили с ним - из тех же побуждений, из каких сейчас твоя тетка пытается свысока смотреть на Вокульского. Да только он не позволит собой помыкать, о нет! Кто сумел выбиться из такой нищеты, как он, кто с незапятнанной совестью добыл богатство и образование - тому неважно, что о нем скажут в свете. Ты, верно, слышала, какую он нынче играет роль и зачем ездил в Париж. И поверь мне, он не станет заискивать перед светским обществом, оно само к нему явится, и первая придет твоя тетка, если ей что-нибудь понадобится. Я лучше тебя знаю наш свет, дитя мое, и помани мое слово - он очень скоро окажется в прихожей Вокульского. Это тебе не бездельник вроде Старского, не мечтатель вроде князя и не полоумный вроде Кшешовского... Вокульский - человек действия... Счастлива будет женщина, которую он назовет своей женой... К сожалению, у наших барышень больше притязаний, нежели чувства и житейского опыта. Правда, не у всех... Ну, не взыщи, если я выразилась слишком уж резко. Сейчас будет обед...

И с этими словами председательша удалилась, оставив панну Изабеллу в глубоком раздумье.

"Разумеется, он мог бы с успехом заменить барона... - мысленно говорила она. - Барон истаскался и просто смешон, а этого по крайней мере все уважают... Казя Вонсовская знает толк в мужчинах, недаром она взяла его на прогулку. Посмотрим же, способен ли пан Вокульский быть верным... Хороша верность - кататься с другой женщиной! Вот уж поистине рыцарь!"

В эту минуту Вокульский, возвращавшийся с Вонсовской с прогулки, заметил во дворе экипаж, из которого выпрягали лошадей.

Его кольнуло какое-то смутное предчувствие, но он не посмел спрашивать, даже притворился, будто и не смотрит на экипаж.

Подъехав к крыльцу, он бросил поводья слуге, а второму велел принести к себе в комнату

воды. Он было совсем уже решился спросить: кто приехал? - как вдруг что-то сдавило ему горло, и он не мог произнести ни слова.

"Какая чушь! - думал он. - Ну, допустим, это она; что из того? Панна Изабелла такая же женщина, как пани Вонсовская, панна Фелиция или панна Эвелина... Я же не таков, как барон..."

Но, говоря себе это, он чувствовал, что она для него - не то, что все остальные женщины, и стоит ей пожелать - он готов бросить к ее ногам все свое богатство и даже жизнь.

- Чушь, чушь! - бормотал он, шагая по комнате. - Ведь здесь уже ждет ее поклонник, пан Старский, с которым она сговаривалась весело провести лето... О, я помню, как они переглядывались.

Его охватил гнев.

"Посмотрим, панна Изабелла, какой вы покажете себя и чего стоите? Теперь я буду вашим судьей..." - подумал он.

В дверь постучали, и вошел старый лакей. Он оглянулся по сторонам и сказал вполголоса.

- Ее милость велели доложить вам, что приехала панна Ленцкая, и если ваша милость готовы, то просят пожаловать к столу.

- Передай, что я сию минуту приду.

Слуга ушел, а Вокульский еще с минуту постоял у окна, глядя на парк, освещенный косыми лучами солнца, и на сиреневый куст, в котором весело щебетали птицы. В сердце его нарастала глухая тревога при мысли о том, как он встретится с панной Изабеллой.

"Что я скажу ей, как мне держаться?" Ему казалось, что все глаза обратятся на них обоих, и тогда он непременно сделает какой-нибудь промах и попадет в неловкое положение.

"Разве я не сказал ей, что служу ей верно... как пес!.. Однако надо идти..."

Он вышел из комнаты, опять вернулся и опять вышел. Медленно шагал он по коридору, еле передвигая ноги, обессиленный и оробелый, как пастушонок, который должен предстать пред королевские очи.

Возле двери он остановился. В столовой прозвенел женский смех. У Вокульского потемнело в глазах; он уже хотел уйти и передать через лакея, что заболел, но в эту минуту позади раздались чьи-то шаги, и он толкнул дверь.

Среди общества, собравшегося в столовой, он сразу же увидел панну Изабеллу. Она разговаривала со Старским и смотрела на него так же, как тогда в Варшаве, а он так же насмешливо улыбался...

К Вокульскому сразу вернулось присутствие духа; гнев горячей волной залил его мозг. Он вошел, высоко подняв голову, поздоровался с председательшей и поклонился панне Изабелле; она покраснела и протянула ему руку.

- Здравствуйте, сударыня. Как поживает пан Ленцкий?

- Папа чувствует себя несколько лучше... Он шлет вам привет...

- Весьма признателен. А графиня?

- Тетя совершенно здорова.

Председательша села в свое кресло; гости стали размещаться вокруг стола.

- Пан Вокульский, вы сядете рядом со мной, - заявила Вонсовская.

- С величайшим удовольствием, если только солдату разрешается сидеть в присутствии командира.

- Разве она уже взяла тебя под свою команду, пан Станислав? усмехнулась председательша.

- Еще как! Не часто случалось мне проходить такую муштру!

- Пан Вокульский мстит мне за то, что я сбивала его с пути, - вмешалась Вонсовская.

- Всего приятнее именно сбиваться с пути, - возразил Вокульский.

- Я предвидел, что это произойдет, но не думал, что так скоро, заметил барон, открывая два ряда великолепных вставных зубов.

- Передайте мне соль, кузен, - сказала панна Изабелла Старскому.

- Пожалуйста... ах, рассыпал!.. Наверное, мы поссоримся.

- Пожалуй, нам это уже не грозит, - возразила панна Изабелла с комической важностью.

- Вы уговорились никогда не ссориться? - спросила Вонсовская.

- Мы собираемся никогда не мириться, - ответила панна Изабелла.

- Хороши! - воскликнула Вонсовская. - На вашем месте, пан Казимеж, я потеряла бы теперь последнюю надежду.

- А разве я когда-нибудь смел надеяться? - вздохнул Старский.

- Поистине, к счастью для нас обоих... - тихо сказала панна Изабелла.

Вокульский присматривался и прислушивался. Панна Изабелла говорила естественно и очень спокойно подшучивала над Старским, а он, по-видимому, отнюдь не был этим расстроен. Зато время от времени он украдкой поглядывал на панну Эвелину Яноцкую, которая перешептывалась с бароном, попеременно краснея и бледнея.

Вокульский почувствовал, как с души его сваливается огромная тяжесть.

"В самом деле, - думал он, - если Старский кем-нибудь интересуется в этом обществе, то разве лишь панной Эвелиной, так же, как она им..."

Он сразу повеселел и проникся горячей симпатией к обманутому барону.

"Ну, я-то, во всяком случае, не стану его предостерегать! - мысленно решил он. - Однако это подло - радоваться чужой беде".

Когда встали из-за стола, панна Изабелла подошла к Вокульскому.

- Знаете, - сказала она, - какое чувство я испытала, увидев вас? Сожаление! Я вспомнила, как мы собирались втроем ехать в Париж - я, папа и вы, а из нашего трио только к вам судьба была благосклонна. По крайней мере приятно ли вы провели там время за нас троих?.. Теперь вы должны уступить мне третью часть своих впечатлений.

- А если они были невеселы?

- Почему же?

- Хотя бы потому, что вас не было там, где мы предполагали быть вместе.

- Насколько мне известно, вы умеете совсем неплохо развлекаться там, где меня нет, - возразила она и отошла.

- Пан Вокульский! - позвала Вонсовская, но, глянув на него и на панну Изабеллу, недовольно прибавила: - Нет, ничего... На сегодня я вас освобождаю. Господа, пойдете в парк. Пан Охоцкий...

- Пан Охоцкий должен сегодня дать мне урок по метеорологии, - ответила за него панна Фелиция.

- Метеорологии? - переспросила Вонсовская.

- Да... Мы сейчас пойдем наверх, в обсерваторию...

- Вы, сударь, собираетесь преподавать только метеорологию? поинтересовалась вдовушка. - На всякий случай я бы посоветовала спросить бабушку, что она думает об этих уроках...

- Вечно вы устраиваете мне какую-нибудь гадость! - вскипел Охоцкий. Вам-то можно забираться со мною бог весть в какие дебри, а панне Фелиции нельзя даже заглянуть в обсерваторию...

- Да заглядывайте, пожалуйста, куда угодно! Только теперь пойдете же наконец в парк. Барон... Белла...

Общество направилось в парк. В первой паре Вонсовская с панной Изабеллой, за ними Вокульский, далее барон со своею невестой, а позади панна Фелиция с Охоцким, который горячился и размахивал руками.

- Никогда и ничему вы не научитесь, разве только носить дурацкие модные шляпки или танцевать восьмую фигуру в контрдансе, если какой-нибудь болван ее выдумает! Никогда и ничему, - повторил он трагическим тоном, - ибо всегда найдется какая-нибудь баба...

- Фи, пан Юлиан! Кто же так выражается?

- Да, да, несносная баба, которая сочтет неприличным, что вы идете со мной в лабораторию...

- Может быть, это и вправду нехорошо...

- Конечно, нехорошо! Носить декольте до пояса - это хорошо, брать уроки пения у какого-то итальянца с грязными ногтями...

- Но, видите ли... если молодых девушек подолгу оставлять наедине с молодыми людьми, так иная, пожалуй, еще и влюбится...

- Ну, и что же? Пусть влюбляется. Разве лучше, если она не влюблена, но глупа как пробка? У вас просто дикие понятия, панна Фелиция...

- О, сударь!..

- Оставьте, пожалуйста, эти восклицания! Или вы хотите учиться метеорологии, и тогда идем наверх...

- Только с Эвелиной или с пани Вонсовской.

- Ладно, ладно уж... Оставим этот разговор, - сказал Охоцкий и в знак возмущения засунул руки в карманы.

Молодая парочка препиралась так громко, что ее слышно было во всем парке, к великому удовольствию Вонсовской, которая покатывалась со смеху. Когда они замолчали, до ушей Вокульского донесся шепот барона и панны Эвелины.

- Вы заметили, - говорил барон, - как этот Старский теряет свои позиции? Одну за другой, знаете ли. Пани Вонсовская издевается над ним, панна Изабелла обходится с ним в высшей степени пренебрежительно, и даже панна Фелиция не обращает на него внимания. Не правда ли?

- Да, - еле слышно отвечала невеста.

- Он из тех молодых людей, единственным достоинством которых являются виды на крупное наследство. Разве я не прав?

- Да.

- А как только исчезла надежда, что председательша оставит ему имение, Старский сразу потерял всякое обаяние. Ведь правда?

- Да, - ответила панна Эвелина, тяжело вздохнув. - Я посижу здесь, громко прибавила она, - а вы, может быть, принесете мне из дому шаль... Пожалуйста.

Вокульский обернулся. Панна Эвелина, бледная и измученная, сидела на скамье, а барон увивался вокруг нее.

- Иду, сию минуту иду... Сударь, - окликнул он приближавшегося Вокульского, - не можете ли вы занять мое место... Я только сбегая и сейчас же вернусь...

Он поцеловал невесте ручку и направился к дому.

Вокульский посмотрел ему вслед и впервые заметил, что у барона ножки очень тоненькие и держится он на них не особенно твердо.

- Вы давно знаете барона? - обратилась к нему панна Эвелина. - Может быть, пройдем к беседке...

Вокульский поклонился и пошел.

- Я только в последние дни имел удовольствие ближе познакомиться с бароном.

- Он ваш горячий поклонник... и неоднократно мне говорил, что впервые встретил человека, с которым так приятно разговаривать.

Вокульский усмехнулся.

- Вероятно, потому, что сам он все время говорит со мной о вас, сударыня.

Панна Эвелина сильно покраснела.

- Да, барон очень благородный человек и очень любит меня. Правда, между нами большая разница в годах, но что же из этого? Опытные дамы утверждают, что муж, чем старше, тем вернее, а ведь для женщины привязанность мужа - это все, не правда ли? Каждая из нас ищет в жизни любви, а кто мне поручится, что я встречу еще раз подобное чувство?.. Бывают

мужчины моложе, красивее, может даже умнее барона, но никто из них не говорил мне с таким жаром, что все счастье последних лет их жизни - в моих руках. Можно ли тут устоять, даже если такой брак требует известных жертв? Ну скажите сами!

Она остановилась посреди аллеи и посмотрела ему в глаза, с тревогой ожидая ответа.

- Не знаю, сударыня. Это вопрос сугубо личный, - ответил Вокульский.

- Плохо, если вы мне так отвечаете. Бабушка говорит, что вы человек с сильным характером; я до сих пор никогда не встречала людей с сильным характером, а у меня самой характер очень слабый. Я не умею противиться, боюсь отказать... Может быть, это дурно, что я выхожу за барона, - во всяком случае, некоторые дают мне понять, что я дурно поступаю. Вы тоже так думаете? Разве вы могли бы отстраниться от человека, который любит вас больше жизни, который без вашей взаимности проведет скудный остаток своих дней в безнадежном одиночестве и тоске? Если б кто-нибудь у вас на глазах катился в пропасть и взывал о спасении, неужели вы не протянули бы ему руку и не связали бы себя с ним, пока не подспеет помощь?

- Я не женщина, и меня никогда не просили, чтобы я жертвовал ради кого-нибудь своей свободой, поэтому не знаю, как бы я поступил в подобном случае, - с раздражением ответил Вокульский. - Знаю одно: как мужчина, я ничего не стал бы вымаливать, даже любовь.

Она глядела на него, полураскрыв губы.

- Скажу вам больше, - продолжал он, - я не только не стал бы просить, но и не принял бы подачки, брошенной мне из сострадания. Такие дары почти всегда половинчаты...

По боковой дорожке к ним с очень деловым видом торопливо шел Старский.

- Пан Вокульский, дамы вас ждут в липовой аллее... - сказал он. - Там моя бабка, пани Вонсовская...

Вокульский заколебался, не зная, как поступить.

- О, я не хочу вас стеснять, - сказала панна Эвелина, покраснев сильнее обычного. - Не задерживайтесь из-за меня. Сейчас вернется барон, и мы втроем присоединимся к вам...

Вокульский поклонился и отошел.

"Вот так история! - думал он. - Панна Эвелина из жалости выходит за барона и, вероятно, из жалости же, заводит роман со Старским... Я еще понимаю барышню, которая выходит замуж по расчету, хотя это и не самый умный способ зарабатывать деньги. Понимаю даже замужнюю женщину, которая после нескольких лет семейного счастья вдруг увлечется и начнет обманывать мужа... Обычно ее толкает на обман страх перед скандалом, дети, тысяча условностей... Но девушка, обманывающая своего жениха, - это нечто совершенно новое!.."

- Панна Эвелина! Панна Эвелина! - вдруг услышал он голос барона где-то совсем близко.

Вокульский круто свернул с аллеи и зашагал по газону.

"Хотел бы я знать, что я ему отвечу, если он меня сейчас заметит? И какого черта я залез в эту грязь?"

- Панна Эвелина! Панна Эвелина! - звал барон уже значительно дальше.

"Соловей приманивает свою самочку, - думал Вокульский. - Но, собственно говоря, можно ли решительно осуждать эту девушку? Она сама признается, что у нее слабый характер, а

потихоньку - что ей нужны деньги. Между тем денег у нее нет, а без них она, как рыба без воды. Что же ей остается делать? Бедняжка идет за богатого старика, но сердце у девушки не камень, а поклонник уговаривает идти замуж, и оба полагают, что ласки старого мужа не испортят им удовольствия, - вот они и изобретают нечто новое, измену перед свадьбой, и даже не хлопчут о патенте на свое изобретение. Впрочем, они, может быть, настолько добродетельны, что решили наставить ему рога лишь после свадьбы... Хорошенькая компания! Общество порождает иногда любопытные явления... И подумать только, что каждому из нас может достаться такой гостинец!.. Право, следовало бы поменьше верить поэтам, восхваляющим любовь как высшее счастье в жизни..."

- Панна Эвелина! Панна Эвелина! - стонущим голосом звал барон.

- Экая подлая роль! - пробормотал Вокульский. - Я предпочел бы пустить себе пулю в лоб, чем превратиться в подобного шута.

Он нашел дам в боковой аллее, неподалеку от скотного двора; председательшу сопровождала горничная с корзинкой в руках.

- А, вот и ты! - встретила старушка Вокульского. - Ну, хорошо. Вы подождите здесь Эвелину с бароном; может, он ее найдет в конце концов, - тут она слегка нахмурилась, - а мы с Казей пойдем к лошадям.

- Пану Вокульскому тоже не мешало бы угостить сахаром своего коня за то, что он так славно прокатил его сегодня, - заметила Вонсовская, надув губки.

- Оставь его в покое, - прервала ее председательша. - Мужчины любят ездить верхом, а нежничать - не их дело.

- Неблагодарные! - шепнула Вонсовская, подавая председательше руку, и повела ее к калитке.

Пройдя несколько шагов, она оглянулась, но, заметив, что Вокульский смотрит ей вслед, быстро отвернула голову.

- Мы пойдем искать жениха с невестой? - спросила панна Изабелла.

- Как вам будет угодно, - ответил Вокульский.

- Так, может быть, оставим их в покое. Говорят, счастливые свидетелей не любят.

- А вы никогда не были счастливы?

- Ах, я... Конечно... Но не так, как Эвелина с бароном.

Вокульский пристально посмотрел на нее. Она была задумчива и невозмутимо спокойна, как статуя греческой богини.

"Нет, эта не станет обманывать", - подумал Вокульский.

Некоторое время они шли молча, направляясь в самую глухую часть парка. Кое-где сквозь зелень старых деревьев мелькали окна, горящие красным отблеском заката.

- Вы первый раз были в Париже? - спросила панна Изабелла.

- Первый.

- Какой это чудный город, не правда ли? - оживилась она и взглянула ему в глаза. - Что бы там ни говорили, а Париж, даже побежденный Париж, по-прежнему остается столицей мира.

На вас он тоже произвел впечатление?

- Очень сильное. Несколько недель, проведенных в Париже, придали мне силу и мужество. Действительно, только там я научился гордиться тем, что работаю.

- Объясните мне это, пожалуйста.

- Очень просто. У нас труд дает скудные результаты: мы бедны, отстали. А там труд сияет, как солнце! Вспомните эти здания, от крыши до тротуара покрытые украшениями, словно драгоценные шкатулки! А изобилие картин и статуй, а бесчисленное множество машин, а бездна фабричных и ручных изделий! Лишь в Париже я понял, что человек только с виду хрупок и мал. На самом деле это титан, гениальный и бессмертный! Он с одинаковой легкостью ворочает скалы и высекает из камня тончайшие кружевные узоры.

- Да, - подтвердила панна Изабелла, - у французской аристократии было достаточно времени и средств, чтобы создать эти шедевры.

- У аристократии?

Панна Изабелла остановилась.

- Вряд ли вы станете утверждать, что Луврскую галерею создал Конвент или парижские фабриканты?

- Разумеется, нет, но и не вельможи. Это плод совместного творчества французских строителей, каменщиков, плотников, наконец художников и скульпторов всего мира, которые ничего общего не имели с аристократией. Вот великолепная манера - приписывать бездельникам заслуги и труд людей гениальных и вообще всех тех, кто работает!

- Бездельники и аристократия! - воскликнула панна Изабелла. - Мне кажется, ваше выражение можно назвать скорее сильным, чем верным.

- Вы разрешите, сударыня, задать вам один вопрос?

- Пожалуйста.

- Прежде всего беру назад выражение "бездельники", если оно вас задело. А затем... я попрошу вас указать мне хоть одну особу из высшего общества, которая бы что-нибудь делала. Я знаю человек двадцать этого круга, все они знакомы и вам. Итак, что же все они делают, начиная с князя, благороднейшего человека, которого, впрочем, может оправдать его возраст, и кончая... хотя бы паном Старским, чьи вечные каникулы уж никак не соответствуют положению его дел...

- Ах, мой кузен! Уж он-то, наверное, никогда не собирался служить в чем-либо образцом. Впрочем, мы говорим о французской аристократии, а не о нашей.

- А та что делает?

- Как же, пан Вокульский, они сделали многое. Прежде всего они создали Францию, они были ее рыцарями, вождями, министрами, духовными пастырями.

И затем они собрали те сокровища искусства, которыми вы восхищаетесь.

- Лучше скажите: они издавали много приказов и тратили много денег, однако Францию и ее искусство создали не они. Создали ее плохо оплачиваемые солдаты и моряки, задыхавшиеся под гнетом податей крестьяне и ремесленники и, наконец, ученые и художники. Я человек опытный, - поверьте мне: предлагать проекты легче, чем осуществлять их, и тратить деньги

легче, чем зарабатывать.

- Да вы непримиримый враг аристократии!

- Нет, сударыня, я не вражду с теми, кто мне ни в чем не мешает. Я только считаю, что аристократы незаслуженно занимают привилегированное положение и, желая его удержать, проповедуют в обществе презрение к труду и почтение к безделью и роскоши.

- Вы предубеждены против аристократии, а между тем эти бездельники, как вы их называете, играют важную роль в жизни общества. То, что вы называете роскошью, по существу является лишь удобством, удовольствием, известным лоском, который стараются перенять у аристократов низшие сословия и таким образом тоже приобщиться к цивилизации. Я слышала от весьма либеральных людей, что в каждом обществе должен быть класс, поощряющий развитие науки и искусства, а также утонченные нравы, - во-первых, затем, чтобы служить живым примером для остальных, и во-вторых, чтоб побуждать их к благородным поступкам. Потому-то в Англии и Франции человек простого происхождения, разбогатеет, прежде всего ставит свой дом на широкую ногу и принимает у себя людей из высшего общества, а затем старается вести себя так, чтобы и его принимали.

Лицо Вокульского залил яркий румянец. Панна Изабелла, не глядя на него, заметила это и продолжала:

- Наконец, то, что вы называете аристократией, а я назвала бы высшим классом, - это люди хорошей породы. Возможно, что некоторые из них слишком много бездельничают; но если уж кто из их среды возьмется за какое-либо дело, то сразу отличится - энергией, умом или хотя бы благородством. Позвольте мне привести слова, которые часто повторяет князь: "Не будь Вокульский истинным дворянином, не был бы он сейчас тем, чем стал..."

- Князь ошибается, - сухо возразил Вокульский. - То, чего я достиг и чему научился, дало мне не дворянское происхождение, а тяжелый труд. Я больше других работал, вот и стал богаче других.

- Но разве вы могли бы так работать, если б родились в ином кругу? Мой кузен Охоцкий, подобно вам, физик и демократ, а все же он, как и князь, верит в хорошее происхождение. Охоцкий тоже приводил вас в пример, говоря о наследственности. "Вокульскому, - говорил он, - судьба дала удачу, но сила духа у него - от породы".

- Я весьма признателен всем, кто изволит причислять меня к некоей привилегированной касте, - сказал Вокульский, - но все же я никогда не поверю в привилегию на безделье и буду ставить выше заслуги плебеев, нежели претензии аристократов.

- Так вы полагаете, что нет никакой заслуги в поощрении утонченных чувств и нравов?

- Разумеется, это заслуга, но в обществе эту роль исполняют женщины. У них от природы отзывчивей сердце, живее воображение и тоньше чувства, и они-то, а не аристократия, придают изящество обыденной жизни, смягчают нравы и умеют внушать нам возвышенные чувства. Светоч, озаряющий путь цивилизации, - это женщина. И нередко она служит невидимой пружинкой поступков, требующих чрезвычайного напряжения сил...

Теперь вспыхнула панна Изабелла. Некоторое время они шли молча. Солнце уже скрылось за горизонтом; между деревьями на западе заблестел лунный серп. Вокульский в глубоком раздумье сравнивал два сегодняшних разговора - с Вонсовской и панной Изабеллой.

"Как непохожи эти женщины! И разве я не прав, что стремлюсь именно к этой?"

- Можно ли задать вам один щекотливый вопрос? - вдруг мягко спросила панна Изабелла.

- Пожалуйста, хотя бы самый щекотливый.

- Не правда ли, уезжая в Париж, вы были сильно обижены на меня?

Он хотел ответить, что подозревал ее в обмане, а это нечто худшее, нежели обида, но промолчал.

- Я перед вами виновата... я заподозрила вас...

- Уж не в том ли, что я с помощью подставных лиц смошенничал при покупке дома вашего отца? - усмехнулся он.

- О нет! - живо возразила она. - Напротив, я заподозрила вас в поступке поистине христианском, которого, однако же, никому не могла бы простить. Одно время мне казалось, будто вы заплатили за наш дом... слишком много.

- Надеюсь, теперь вы уже успокоились?

- Да. Мне стало известно, что баронесса Кшешовская готова дать за него девяносто тысяч.

- В самом деле? Она еще не обращалась ко мне, но я предвидел, что рано или поздно это произойдет.

- Я очень рада, что так получилось и что вы ничего не потеряете, и... только теперь я могу от всей души поблагодарить вас, - сказала панна Изабелла, подавая ему руку. - Я понимаю, какую услугу вы нам оказали. Если б не вы, баронесса попросту ограбила бы моего отца; вы спасли его от разорения и даже, может быть, от смерти... Такие вещи не забываются...

Вокульский поцеловал ее руку.

- Совсем стемнело, - сказала она смущенно, - пора возвращаться. Наверное, все уже ушли из парка...

"Если она не ангел, то я просто скотина!" - подумал Вокульский.

Все уже собрались в столовой, и вскоре подали ужин. Вечер прошел весело. Около одиннадцати Охоцкий проводил Вокульского до его комнаты.

- Ну что? - спросил Охоцкий. - Я слышал, вы беседовали с кузиной об аристократии? Как же, удалось вам убедить ее, что это никчемный сброд?

- Нет! Панна Изабелла слишком хорошо защищает свои положения... Блестящая собеседница! - заметил Вокульский, стараясь скрыть смущение.

- Она, разумеется, говорила вам, что аристократия способствует расцвету науки и искусства, что она служит образцом хороших манер, а ее высокое положение - это цель, побуждающая к действию демократов, которые сами таким образом облагораживаются... Вечно те же самые аргументы, они уже мне оскомину набили...

- Однако вы сами верите в благородную кровь, - возразил задетый за живое Вокульский.

- Конечно... Но эту благородную кровь надо постоянно освежать, иначе она быстро испортится. Ну, спокойной ночи. Посмотрю, что показывает барометр, а то у барона ломит кости, и завтра может быть дождь.

Едва ушел Охоцкий, как к Вокульскому явился барон; он кашлял и ежился от озноба, но улыбался.

- Красиво, нечего сказать! - воскликнул он, нервно моргая веками. Очень красиво! Как же это вы меня подвели?.. Оставить мою невесту в парке, одну... Я шучу, шучу, - поспешил он прибавить, пожимая Вокульскому руку, но... в самом деле я мог бы на вас обидеться, если б не сразу вернулся и не... столкнулся с паном Старским, который как раз шел в нашу сторону с другого конца аллеи...

Вокульский второй раз за этот вечер покраснел, как мальчишка.

"Зачем только я впутался в эту сеть интриг и обмана!" - подумал он, все еще раздраженный словами Охоцкого.

Барон закашлялся и, передохнув, продолжал вполголоса:

- Не подумайте только, будто я ревную... Это было бы с моей стороны низостью... Это не женщина, а ангел, и я в любую минуту готов отдать ей все состояние, всю свою жизнь... Да что жизнь! Я доверил бы ей и свою вечную, небесную жизнь я был бы так же спокоен и так же уверен в своем спасении, как в том, что завтра взойдет солнце... Солнце я могу и не увидеть - боже мой, ведь все мы смертны! - но... Но она не внушает мне никаких опасений, никогда и никаких опасений, честное слово, пан Вокульский! Я и собственным глазам не поверил бы, а не то что чьим-либо подозрениям или намекам... - закончил он громко.

- Но, видите ли, - продолжал он, помолчав, - этот Старский отвратительная личность. Я бы этого никому не сказал, но... вы знаете, как он обращается с женщинами? Думаете, он вздыхает, ухаживает, вымаливает нежное словечко, пожатие руки? Нет, он к ним подходит, как к самкам, и со всей вульгарностью, которая ему так присуща, возбуждает их нервы разговорами, взглядами...

Барон осекся, глаза его налились кровью. Вокульский, молча слушавший его, вдруг проговорил резким тоном:

- Кто знает, милый барон, может быть, Старский и прав. Нам внушали, будто женщины - неземные создания, и мы с ними так и обращаемся. Однако если они прежде всего самки, то мы в их глазах глупцы и простаки, а Старский, само собой, торжествует. Касса достается тому, кто владеет подходящим ключом. Так-то, барон! - закончил он, рассмеявшись.

- И это говорите вы, пан Вокульский?

- Именно! Часто я спрашиваю себя: не слишком ли мы боготворим женщин, не слишком ли серьезно относимся к ним - серьезней и возвышенней, чем к самим себе?

- Панна Эвелина - исключение!.. - воскликнул барок.

- Не отрицаю, что бывают исключения; однако, как знать, может быть, такой вот Старский открыл общее правило?

- Возможно, но это правило не применимо к панне Эвелине, - запальчиво возразил барон. - И если я оберегаю ее... вернее - возражаю против близкого знакомства со Старским, хотя она отлично оберегает себя сама, то лишь затем, чтобы подобный человек не осквернил ее чистых мыслей каким-нибудь словом... Но вы, по-видимому, устали... Простите за несвоевременный визит.

Барон ушел, тихо прикрыв за собой дверь. Вокульский остался один и погрузился в невеселые мысли.

"Что это Охоцкий говорил, будто аргументы панны Изабеллы ему уже набили оскомину? Значит, то, в чем она убеждала меня сегодня, не живой протест оскорбленного чувства, а давно затверженный урок? Значит, ее доводы, ее пыл, даже волнение - это только приемы, с

помощью которых благовоспитанные барышни обольщают таких дурачков, как я?

А может быть, просто он влюблен в нее и хочет очернить ее передо мною? Но если и влюблен, зачем же ему чернить ее? Достаточно сказать, а она вольна выбирать... Конечно, у Охоцкого больше шансов, чем у меня; я еще не настолько потерял рассудок, чтобы не понимать этого... Молод, хорош собой, гениален... Ну что ж! Пусть решает: слава - или панна Изабелла...

Впрочем, не все ли мне равно, какой свежести аргументы применяет она в споре? Она не святой дух, чтобы каждый раз выдумывать новые, а я не такая интересная личность, чтобы стоило ради меня заботиться об оригинальности. Пусть говорит, как хочет... Важно то, что к ней-то уж наверное не применимо общее правило насчет женщин... Пани Вонсовская - та прежде всего красивая самка, а панна Изабелла - другое дело...

Не так ли говорил и барон о своей Эвелине?.."

Лампа догорала. Вокульский потушил ее и бросился на кровать.

Следующие два дня шел дождь, и заславские гости не выходили из дому. Охоцкий зарылся в книги и почти не показывался, панну Эвелину мучила мигрень, панна Изабелла и Фелиция читали французские иллюстрированные журналы, остальная же часть общества, во главе с председательшей, засела за вист.

Вокульский заметил, что Вонсовская, против ожидания, не кокетничает с ним, хотя случай представлялся поминутно, а держится совершенно равнодушно. Поразило его и негодование, с которым она вырвала руку у Старского, когда он хотел ее поцеловать, и то, что она запретила ему и впредь повторять такие попытки. Гнев ее был так искренен, что Старский даже растерялся, а барон пришел в отличное настроение, хотя ему не везло в картах.

- Вы и мне не позволите поцеловать вашу ручку, сударыня? - спросил он вскоре после этого инцидента.

- Вам - пожалуйста, - отвечала она, протягивая руку.

Барон приложился к ней, как к реликвии, и торжествующе взглянул на Вокульского; тот подумал, что у его титулованного приятеля, пожалуй, нет оснований особенно радоваться.

Старский был так поглощен картами, что, по-видимому, ничего не заметил.

На третий день небо прояснилось, а на четвертый было уже солнечно и сухо, и панна Фелиция предложила прогуляться в лес за рыжиками.

В этот день председательша приказала пораньше приготовить второй завтрак и попозже - обед. Около половины первого к дому подъехала коляска, и Вонсовская подала команду садиться.

- Едем скорее, жаль терять время... Где твоя шаль, Эвелина? Пусть прислуга садится в бричку и берет с собою лукошки. А теперь, - прибавила она, мельком взглянув на Вокульского, - просим мужчин выбирать себе дам...

Панна Фелиция стала было возражать, но барон тотчас подскочил к невесте, а Старский - к Вонсовской; она прикусила губку и сердито процедила:

- Я думала, у вас уже пропала охота выбирать меня...

И бросила уничтожающий взгляд на Вокульского.

- В таком случае, объединимся с вами, кузина, - предложил панне Изабелле Охоцкий. - Но только вам придется сесть на козлы, потому что я буду править.

- Пани Вонсовская не позволяет, вы нас опрокинете! - закричала панна Фелиция, которой жребий предназначил Вокульского.

- Почему же, пусть правит, пусть опрокидывает... - ответила Вонсовская. - У меня сегодня такое настроение, что, по мне, пусть хоть всем нам ноги переломает. Не завидую тому грибу, который мне попадется в руки!

- Готов быть первым из них, - откликнулся Старский, - коль скоро вы его скушаете...

- Отлично, если вы согласитесь, чтобы сначала вам срезали голову, отвечала вдова.

- Я уже давно хожу без головы.

- А я уже давно заметила это... Но давайте садиться - и едем!

Глава шестая

Леса, развалины и чары

Наконец тронулись в путь.

Барон, по обыкновению, шептался с невестой. Старский напропалую любезничал с Вонсовской, а та, к удивлению Вокульского, принимала его ухаживания довольно благосклонно. Охоцкий правил, однако на этот раз его кучерской пыл несколько умеряло соседство панны Изабеллы, к которой он поминутно оборачивался.

"Хорош и Охоцкий! - думал Вокульский. - Мне он жалуется, что аргументы панны Изабеллы набили ему оскомину, а сам только с нею и разговаривает... Конечно, он хотел настроить меня против нее..."

И Вокульский помрачнел как туча, вдруг уверившись, что Охоцкий влюблен в панну Изабеллу и что борьба с таким соперником почти безнадежна.

"Молод, хорош собою, талантлив... Нет, надо быть слепой или безрассудной, чтобы, выбирая между нами двумя, не отдать ему предпочтения. И все же даже в таком случае мне пришлось бы признать, что у нее благородная натура, раз ей нравится Охоцкий, а не Старский. Несчастный барон, а еще несчастнее его невеста - она так явно увлечена Старским! Пустая же у нее голова, да и сердце..."

Он смотрел, на осеннее солнце, на серое жнивье и плуги, медленно поднимающие пласты земли, и с глубокой грустью представлял себе минуту, когда он окончательно потеряет надежду и вынужден будет уступить место Охоцкому.

"Что ж поделаешь! Что ж поделаешь, если она предпочла его... На свое несчастье я встретился с ней..."

Между тем путники въехали на вершину холма, и глазам их открылась равнина до самого горизонта - леса, деревеньки, река и городок с костелом.

Коляску качало с боку на бок.

- Чудный вид! - воскликнула Вонсовская.

- Словно с воздушного шара, которым управляет пан Охоцкий, - прибавил Старский, держась за край сиденья.

- Вы летали на воздушном шаре? - спросила панна Фелиция.

- На шаре Охоцкого?

- Нет, на настоящем...

- Увы, ни на каком, - вздохнул Старский, - но сейчас мне кажется, что я внутри весьма неудобною шара...

- Пан Вокульский, наверное, летал, - с непоколебимой уверенностью сказала панна Фелиция.

- Право, Феля, ты скоро невеста что станешь приписывать пану Вокульскому! - обрушилась на нее Вонсовская.

- Я действительно летал, - с удивлением подтвердил Вокульский.

- Летали? Ах, как это чудесно! - вскричала панна Фелиция. - Расскажите нам...

- Вы летали? - откликнулся с козел Охоцкий. - Вот так так! Погодите рассказывать, я сейчас пересяду к вам...

Он бросил вожжи кучеру, хотя коляска съезжала с горы, соскочил с козел и через минуту уже сидел против Вокульского.

- Так вы летали? - повторил он. - Когда? Где?

- В Париже, но только на привязном. Полверсты вверх - это не путешествие, - смущенно ответил Вокульский.

- Расскажите же... Вероятно, грандиозное зрелище! Что вы при этом испытывали? - не отставал Охоцкий.

Он весь преобразился: глаза его широко раскрылись, на щеках выступил румянец. Глядя на него, трудно было усомниться, что в это мгновение панна Изабелла совершенно вылетела у него из головы.

- Наверное, это чертовски приятно... Расскажите же нам... - настойчиво допытывался он, теребя Вокульского за колено.

- Зрелище действительно великолепное, - ответил Вокульский, - виден горизонт радиусом в несколько десятков верст, а Париж со всеми его окрестностями похож на рельефную карту. Но самое путешествие не доставляет удовольствия; пожалуй, только в первый раз...

- А впечатление какое?

- Странное. Вы ожидаете, что сейчас подниметесь вверх, - и вдруг видите, что не вы поднялись, а земля внезапно оторвалась и опускается вниз. Это так неожиданно и неприятно, что... хочется выскочить...

- Ну, ну, дальше! - понукал его Охоцкий.

- Вторая странность - горизонт, который все время остается на уровне глаз. Вследствие этого земля кажется вогнутой, как огромная глубокая тарелка.

- А люди? дома?

- Дома выглядят, как коробки, трамваи - как большие мухи, а люди - как черные капельки, которые катятся в разные стороны, волоча за собою длинные тени. Вообще путешествие

полно неожиданностей.

Охоцкий задумался и засмотрелся куда-то вдаль. Несколько раз он как будто порывался выскочить из коляски: видимо, его раздражали спутники, которые тоже притихли.

Наконец подъехали к лесу, подросла и бричка с двумя служанками. Дамы взяли лукошки.

- А теперь разойдемся в разные стороны: каждая дама со своим кавалером! - командовала Вонсовская. - Пан Старский, предупреждаю вас: сегодня я в особенном настроении, а что это значит - может объяснить пан Вокульский! прибавила она с нервным смехом. - Пан Охоцкий, Белла, пожалуйста в лес и не показывайтесь, пока не наберете полного лукошка рыжиков... Феля!

- Я пойду с Михалинкой и Иоасей! - быстро проговорила панна Фелиция, с испугом глядя на Вокульского, словно он-то и был тем неприятелем, против которого она вооружалась двумя защитницами.

- Что ж, кузен, пойдем и мы, - позвала Охоцкого панна Изабелла, заметив, что остальные уже углубились в лес. - Только возьмите мое лукошко и собирайте сами грибы, а меня, признаться, это нисколько не занимает.

Охоцкий взял лукошко и швырнул его в бричку.

- Очень мне нужны ваши грибы! - мрачно ответил он. - Два месяца я убил на эти грибы, рыбную ловлю, ухаживание и тому подобную чушь... а другие тем временем поднимались на воздушных шарах... Я тоже собирался в Париж, а председательша стала уговаривать: приезжай да приезжай отдохнуть... Вот я и отдохнул! Вконец одурел... Разучился даже думать по-человечески... отупел... Эх! Отстаньте вы со своими грибами. Боже, как я зол!

Он повернулся, засунул обе руки в карманы и пошел в лес, понурился и бормоча что-то под нос.

- Приятный спутник! - с улыбкой сказала панна Изабелла Вокульскому. Теперь он будет такой до конца лета. Как только Старский заговорил о воздушных шарах, я уже заранее знала, что у пана Юлиана испортится настроение...

"Да будут благословенны эти шары! - подумал Вокульский. - Подобный соперник для меня не опасен..."

И он сразу воспытал любовью к Охоцкому.

- Я уверен, что ваш кузен станет знаменитым изобретателем, - сказал он панне Изабелле. - Кто знает, не откроет ли он новую эру в истории человечества... - прибавил он, вспомнив о проектах Гейста.

- Вы думаете? - довольно равнодушно сказала панна Изабелла. - Возможно. А пока он либо бесцеремонен, что иногда получается довольно мило, либо смертельно скучен, что непростительно даже изобретателям. Когда я смотрю на него, мне вспоминается забавный случай с Ньютоном. Ведь он был великий человек, не так ли? Тем не менее однажды, сидя какой-то барышней, он взял ее за руку и... поверите ли? - принялся чистить свою трубку ее мизинцем! Нет, если в этом выражается гениальность, то избави меня бог от гениального мужа!.. Не хотите ли пройтись немного по лесу?

Слова панны Изабеллы падали в душу Вокульского, словно капли сладчайшего бальзама.

"Значит, за Охоцкого, хоть он ей и нравится (кому ж он не нравится?), замуж она не выйдет".

Они шли по узкой дорожке, разделявшей два лесных участка: направо росли дубы и буки, налево - сосны.

Между соснами изредка мелькал то красный лиф пани Вонсовской, то белая накидка панны Эвелины. На одном из перекрестков Вокульский хотел было свернуть в сторону, но панна Изабелла остановила его:

- Нет, нет! Не надо идти туда, мы потеряем из виду нашу компанию, а мне нравится лес, только когда я вижу людей. Вот сейчас он мне понятен... Посмотрите... Правда, та часть похожа на огромный костел? Ряды сосен - это колонны, тут боковой неф, а там главный алтарь... Видите, видите?.. А теперь между ветвей показалось солнце, словно в готическом окне... Как разнообразен здесь пейзаж! Теперь перед нами дамский будуар, а эти маленькие кустики точно пуфы. Даже зеркало есть - осталось от позавчерашнего дождя... А это улица, правда? Немножко кривая, но все же улица... А там торговые ряды, площадь... вы видите все это?

- Вижу, когда вы мне показываете, - улыбнулся Вокульский. - Но все же нужно обладать очень поэтическим воображением, чтобы уловить это сходство.

- Неужели? А мне всегда казалось, что я - олицетворение прозы.

- Может быть, вы еще не имели случая обнаружить все свои качества, ответил Вокульский и недовольно нахмурился, заметив приближавшуюся к ним панну Фелицию.

- Как, вы не собираете грибов? - удивилась молодая девушка. - Чудные рыжики, и такое их множество, что нам не хватит лукошек; придется, наверное, сыпать прямо в бричку. Дать тебе лукошко, Белла?

- Нет, спасибо.

- А вам, сударь?

- Вряд ли я сумею отличить рыжик от мухомора, - ответил Вокульский.

- Вот это мило! - воскликнула панна Фелиция. - Не ожидала я от вас такого ответа. Я расскажу бабушке и попрошу, чтобы она запретила нашим кавалерам есть грибы, во всяком случае те, которые я собирала.

Она кивнула им и отошла.

- Феля обиделась на вас, - сказала панна Изабелла. - Нехорошо... она к вам так расположена.

- Панна Фелиция любит собирать грибы, а я предпочитаю слушать ваши рассказы о лесе.

- Весьма польщена, - ответила панна Изабелла, слегка покраснев. - Но я уверена, что вам скоро наскучат мои рассказы. По-моему, лес не всегда хорош, иногда он страшен. Не будь здесь людей, я, наверное, не увидела бы ни улиц, ни костелов, ни будуаров. Когда я одна, лес меня пугает. Он перестает быть декорацией и становится чем-то непонятным и грозным. Птичьи голоса звучат дико, словно вдруг кто-то вскрикивает от боли или смеется надо мной, попавшей в это царство чудовищ... Каждое дерево кажется мне тогда живым существом, которое хочет схватить меня и задушить; каждая травка предательски опутывает мне ноги, чтобы уже не выпустить отсюда... А виной всему кузен Юлиан: это он толковал мне, будто природа создана вовсе не для того, чтобы служить человеку... По его теории, все это - живое и живет для себя...

- Он прав, - тихо сказал Вокульский.

- Как, и вы в это верите? Значит, по-вашему, лес не предназначен на пользу людям, а у него есть какие-то свои цели, как и у нас?

- Я бывал в дремучих лесах, где редко ступала нога человека, а между тем растительность там богаче, чем здесь.

- Ах, не говорите! Это умаляет ценность человека и противоречит священному писанию. Ведь бог дал людям землю, чтобы они селились на ней, а растения и животных создал им на пользу.

- Короче говоря, вы полагаете, что природа должна служить людям, а люди - привилегированным, аристократическим классам? Нет, сударыня. И природа и люди живут для себя, а властвовать над ними вправе лишь те, кто сильнее других и больше работает. Сила и труд - вот единственные привилегии в этом мире. Нередко поэтому тысячелетние деревья падают под ударами топора выскочек-колонистов, и никакого переворота это в природе не вызывает. Сила и труд, сударыня, а не титул и не происхождение... Панна Изабелла была раздражена.

- Здесь, сударь, вы можете говорить мне все, что вам вздумается, здесь я всему поверю, потому что кругом я вижу только ваших союзников.

- Неужели они никогда не станут и вашими союзниками?

- Не знаю... возможно... Я так часто слышу теперь о них, что когда-нибудь, пожалуй, еще уверю в их могущество.

Они вышли на полянку, вокруг которой сомкнулись холмы с наклонно растущими соснами. Панна Изабелла села на пень, а Вокульский опустился на траву неподалеку от нее. В этот момент на опушке показались Вонсовская и Старский.

- Не хочешь ли, Белла, забрать у меня этого кавалера? - крикнула вдовушка.

- Я протестую! - возразил Старский. - Панна Изабелла вполне довольна своим спутником, а я - моей спутницей...

- Это правда, Белла?

- Правда, правда! - закричал Старский.

- Пусть будет правда... - повторила панна Изабелла, играя зонтиком и глядя в землю.

Вонсовская и Старский поднялись на холм и исчезли из виду, панна Изабелла все нетерпеливее играла зонтиком, а у Вокульского кровь стучала в висках и гудела, как колокол. Молчание затянулось, и панна Изабелла сочла нужным прервать его:

- Почти год назад, в сентябре, на этом месте был пикник... Собралось человек тридцать соседей. Вон там развели костер...

- Вам тогда было веселее, чем сегодня?

- Нет, я сидела на этом же пне, и вдруг мне почему-то взгрустнулось. Чего-то мне не хватало. И, что редко со мной бывает, я думала: что-то будет через год?

- Удивительно! - тихо произнес Вокульский. - Я тоже приблизительно год назад был в лесу, в лагере, только в Болгарии... и думал: буду ли я жив через год, и еще...

- О чем же еще?

- О вас.

Панна Изабелла беспокойно шевельнулась и побледнела.

- Обо мне? - переспросила она. - Разве вы меня тогда знали?

- Да. Я знаю вас уже несколько лет, а иногда мне кажется, что знаю вас целую вечность... Время страшно растягивается, когда постоянно думаешь о ком-нибудь наяву и во сне.

Она встала и, казалось, хотела бежать. Вокульский тоже поднялся.

- Простите меня, если я невольно обидел вас. Быть может, вы считаете, что люди, подобные мне, не имеют права думать о вас? В вашем мире может существовать и такой запрет. Но я принадлежу к другому миру... У нас папоротник и мох имеют такое же право глядеть на солнце, как сосны и... грибы. Поэтому, прошу вас, скажите мне прямо: позволительно или непозволительно мне думать о вас? Сейчас я большего и не требую.

- Я вас почти не знаю, - растерянно прошептала панна Изабелла.

- Поэтому сейчас я большего и не требую. Я только спрашиваю, не считаете ли вы оскорбительным для себя, что я думаю о вас, - больше ничего, только думаю. Я знаю, как относятся к людям, подобным мне, в вашей среде, и знаю, что мои слова можно счесть дерзостью. Так скажите же мне это прямо; и если вы находите, что разница между нами непреодолима, я перестану добиваться вашей благосклонности... Сегодня же или завтра я уеду и не только не буду на вас в претензии, а, напротив, сразу же излечусь.

- Каждый вправе думать... - отвечала панна Изабелла, все более смущаясь.

- Благодарю вас. Вы дали мне понять, что в ваших глазах я стою не ниже Старского, предводителя и тому подобных господ... Я знаю, что и при таких условиях, может быть, не добьюсь вашей симпатии. Об этом еще рано говорить. Но по крайней мере вы признаете за мной человеческие права и будете с этих пор судить обо мне по моим поступкам, а не титулам, которых у меня нет.

- Ведь вы дворянин, и, как говорит председательша, не хуже Старских и даже Заславских...

- Я действительно дворянин, если вам угодно, и даже не хуже, а лучше многих из тех, кого встречаю в гостиных. Но для вас я, к несчастью, прежде всего купец.

- Ну, купцом можно и не быть, это зависит от вас... - уже смелее возразила панна Изабелла.

Вокульский задумался.

В это время в лесу послышалось ауканье, и через несколько минут вся компания собралась на полянке с прислужгой, лукошками и грибами.

- Едем домой, - сказала Вонсовская, - мне уже надоели эти рыжики, да и обедать пора.

Странно прошли для Вокульского следующие дни. Если б его спросили, чем они были для него, он бы, наверное, ответил, что это был блаженный сон, один из тех периодов в жизни, ради которых, быть может, природа создает человека.

Сторонний наблюдатель, пожалуй, назвал бы эти дни однообразными и даже скучными. Помрачневший Охоцкий с утра до вечера клеил и запускал змеи самых удивительных конструкций. Вонсовская и панна Фелиция читали либо вышивали ризу для приходского ксендза. Старский, председательша и барон играли в карты.

Таким образом, оказалось, что Вокульский и панна Изабелла были предоставлены самим себе, были попросту вынуждены все время проводить вместе.

Они гуляли в парке, иногда уходили в поле, сидели под столетней липой во дворе, но охотней всего катались по пруду. Он садился на весла, а она время от времени бросала крошки лебедям, которые медленно плыли следом. Нередко прохожие останавливались на берегу и с удивлением наблюдали необычное зрелище: белая лодка, в ней мужчина и женщина, а позади - два белых лебедя с распушенными, как паруса, крыльями.

Позже Вокульский даже не мог припомнить, о чем они говорили тогда. Чаще всего молчали. Однажды она спросила: почему улитки держатся под водой? В другой раз: почему облака окрашены в разные тона? Он объяснял ей, и ему казалось, будто он схватил в объятия всю вселенную и кладет к ее ногам.

В одну из таких минут ему подумалось, что, прикажи она броситься в воду и умереть, он умер бы, благословляя ее.

Когда они гуляли по парку, катались на лодке, - всякий раз, когда они бывали вдвоем, его охватывало ощущение беспредельного покоя; казалось, будто его душа и вся земля от края до края погружались в сказочную тишину, в которой даже гроыхание телеги, собачий лай или шелест ветвей звучали изумительно прекрасной мелодией. Он не ощущал земли под ногами, он плыл по океану мистического упоения, свободный от мысли, от вожделения, от голода и жажды, наполненный одной любовью. Часы проносились как молнии, вспыхивающие и гаснущие на далеком небосклоне. Только что было утро - и вот уже полдень, уже вечер, и ночь, и сон, перемежаемый бдением и вздохами. Как несправедливо, думалось ему, поделены сутки: день - короткий, как мгновение ока, ночь - долгая, как вечные муки грешной души.

Однажды его позвала к себе председательша.

- Садись-ка, пан Станислав, - сказала она. - Что же, весело тебе здесь?

Вокульский вздрогнул, как будто очнувшись от сна.

- Мне? - переспросил он.

- Неужто скучаешь?

- За год такой скуки я отдал бы всю жизнь.

Старушка покачала головой.

- Так иногда кажется, - заметила она. - Не помню, кто это написал: "Человек счастливее всего, когда вокруг себя видит то, что носит в себе самом". А я говорю: "Не все ли равно, почему человек счастлив, лишь бы ему было хорошо!.." Не прогневаешься, если я тебя разбужу?

- Я слушаю вас, - ответил он, невольно бледнея.

Председательша пристально посмотрела на него и покачала головой.

- Да не пугайся, не дурными вестями я тебя разбужу, а самым простым вопросом. Подумал ты о сахарном заводе, который мне советуют здесь строить?

- Нет еще...

- Не к спеху. Но вот о дядюшке ты совсем позабыл. А он, бедняга, покоится неподалеку, в трех верстах отсюда, в Заславе... Не поехать ли вам всем туда завтра? Местность красивая,

развалины замка... Вы могли бы приятно провести время и заодно договориться насчет надгробия... Знаешь, - прибавила старушка, вздохнув, - я раздумала... Не надо ломать тот камень возле замка. Пусть там и лежит. Только вели вырезать на нем стихи: "Везде, всегда с тобой я буду вместе..." Знаешь?

- О да, знаю...

- У замка бывает больше людей, чем на кладбище, там скорее прочтут надпись, и, может быть, кто-нибудь задумается о неминуемом конце всего земного, даже любви...

Вокульский ушел от председательши сильно расстроенный. "К чему она завела этот разговор?" - думал он. К счастью, ему встретилась панна Изабелла, направлявшаяся к пруду, и он позабыл обо всем.

На следующий день действительно поехали всей компанией в Заслав. Промелькнули леса, зеленые холмы, желтые песчаные обрывы. Места были живописные, погода прекрасная, но удрученный Вокульский ничего не замечал... Он уже не был наедине с панной Изабеллой, как накануне; он даже сидел не с нею, а против панны Фелиции; а главное... но нет, это ему просто померещилось, и он сам посмеялся над игрой своего воображения. А померещилось ему, будто Старский как-то странно посмотрел на панну Изабеллу, а та вспыхнула...

"Да глупости, - успокаивал себя Вокульский, - зачем ей меня обманывать? Ведь я ей даже не жених!"

Кое-как он отделался от своих страхов, и ему только было слегка неприятно, что Старский сидит рядом с панной Изабеллой. Так, самую малость...

"Не могу же я запретить ей садиться, с кем она хочет. И не стану унижаться до ревности, чувства как-никак подлого, которое чаще всего основывается на подозрении. Допустим даже, ей вздумалось бы полюбезничать со Старским, так не стала бы она делать этого на глазах у всех. Сумасшедший я!"

Через несколько часов они прибыли на место.

Заслав, некогда городок, а ныне жалкий поселок, расположен в низине и окружен топкими лугами. Все постройки, кроме костела и бывшей ратуши, одноэтажные, деревянные и очень ветхие. Посреди площади, вернее пустыря, заросшего бурьяном и изрытого ямами, виднеется огромная куча мусора, а также колодец под дырявым навесом, опирающимся на четыре прогнивших столба.

День был субботний, поэтому лавчонки стояли на запоре и на площади было безлюдно.

К югу, в версте или двух за городом, тянулась гряда холмов. На одном из них росли старые дубы, а на соседнем возвышались развалины замка в виде двух шестиугольных башен; на их крышах и в амбразурах буйно зеленела трава. Путешественники остановились на площади. Вокульский вышел из коляски, чтобы повидаться с ксендзом, а Старский принял на себя командование.

- Мы поедem к тем дубам и съедим, что бог послал и повара настряпали, а потом коляска вернется сюда за паном Вокульским.

- Благодарю, - ответил Вокульский. - Но я не знаю, как долго задержусь здесь, и лучше пойду пешком. К тому же я должен подняться к замку.

- И я с вами, - отозвалась панна Изабелла. - Я хочу посмотреть любимый камень председательши... - прибавила она вполголоса. - Пожалуйста, скажите мне, когда пойдете туда.

Коляска отъехала, а Вокульский пошел искать ксендза. Они столкнулись за четверть часа. Ксендз сказал, что вряд ли в городе будут возражать, если на камне возле замка появится надпись, лишь бы она не была неприличной и богохульной. Услышав, что речь идет о памятнике покойному капитану Вокульскому, с которым он был знаком, ксендз обещал сам уладить это дело.

- Есть у нас тут некий Венгелек, лоботряс, но мастер на все руки; он и кузнец и столяр; пожалуй, он сумеет вырезать и надпись на камне. Сейчас я пошлю за ним.

Еще через четверть часа явился Венгелек - парень лет двадцати трех, с веселым и умным лицом. Проведав, что дело пахнет заработком, он нарядился в серый долгополый сюртук с высокой талией и щедро смазал волосы салом.

Вокульский больше не мешкал; он попрощался с ксендзом и вместе с Венгелеком пошел к развалинам.

Уже за заставой, давно никем не охраняемой, Вокульский спросил:

- А что, брат, хорошо ты пишешь?

- Ого! Мне ведь частенько из суда бумаги давали переписывать, хоть рука у меня к перу и непривычная. А стихи, что из Отроча экононом посылал дочке лесничего? Все моя работа! Он только бумагу покупал... до сих пор еще не доплатил мне сорок грошей за переписку. А уж как налегал: чтобы обязательно с вензелями!

- Ты и на камне сумеешь написать?

- Ведь буквы-то нужны выдолбленные, а не выпуклые? Отчего же не сумею. Я бы взялся и по железу писать, а то и по стеклу, какими хочешь буквами прописью или печатными, немецкими, еврейскими... Небось все вывески тут моих рук дело.

- И тот краковянин над кабаком?

- А как же.

- Где же ты такого видал?

- Кучер пана Звольского рядится на краковский манер, вот я с него и малевал.

- И у него тоже обе ноги смотрят влево?

- Знаете, ваша милость, в провинции люди смотрят не на ноги, а на бутылку. Как увидят бутылку да стопку, тут им и указка - прямехонько к Шмулю в кабачок.

Вокульскому все больше нравился этот бойкий парень.

- Ты не женат? - спросил он.

- Нет. Какая в платке ходит, на той я не женюсь, а которая в шляпке, та за меня не пойдет.

- А чем ты занимаешься, когда нечего малевать?

- Да всем понемногу, только пустое это. Раньше я столярничал, так верите ли, едва успевал заказы выполнять. За несколько лет скопил бы я тысячу рублей наверняка, но прошлым летом погорел я и с той поры никак на ноги не встану. И доски мои и мастерская - все пошло прахом, одни угли остались; такой огонь был, ваша милость, что самые твердые напильники расплавились, как смола. Посмотрел я на пепелище и плюнул со злости, а потом даже плевка жалко стало...

- Ты уже отстроился? Завел опять мастерскую?

- Куда там! Отстроил я в саду лачугу вроде сарая, лишь бы матери было где стряпать, а мастерская... На это, сударь, надо рубликов пятьсот чистоганом, право слово, как бог свят... Сколько лет покойник отец на работе надрывался, пока дом поставил да инструмент собрал...

Они подходили к развалинам.

Вокульский задумался.

- Слушай, Венгелек, - вдруг сказал он, - пришелся ты мне по душе. Я в этих местах пробуду, - тут он тихо вздохнул, - еще с недельку... Если ты мне вырежешь надпись как следует, я заберу тебя с собою в Варшаву... Поживешь там, я посмотрю, на что ты годишься, а тогда... может быть, ты и опять обзаведешься мастерской.

Парень посматривал на Вокульского, наклоняя голову то влево, то вправо. Вдруг его осенило, что этот барин, должно быть, страшный богач и, может быть, из тех, кого господь бог иной раз посылает в помощь бедным людям... Он снял шапку.

- Чего ты уставился? Надень шапку... - сказал Вокульский.

- Простите, ваша милость... может, я что лишнее сболтнул?.. Что-то в наших краях таких господ нету... Бывали, говорят, да давно. И отец-покойник говорил, что сам видал такого: взял из Заслава сироту и сделал ее важной барыней, а приходу оставил кучу денег, на них потом новую колокольню поставили...

Вокульский усмехнулся и, глядя на растерянную физиономию парня, подумал, что на свой годовой доход мог бы осчастливить человек полтора таких вот бедняков.

"Действительно, деньги - великая сила, только надо их умеючи тратить..."

Они были уже под горой, где стоял замок; с соседнего холма донесся голос панны Фелиции:

- Пан Вокульский, мы тут!

Вокульский поднял глаза и увидел между дубами весело пылавший костер, вокруг которого расположилась заславская компания. В стороне буфетчик и горничная ставили самовар.

- Подождите, я сейчас иду к вам! - крикнула панна Изабелла, поднимаясь с ковра.

Старский бросился к ней.

- Я вас провожу вниз.

- Спасибо, я сама спущусь, - ответила панна Изабелла, отстраняясь.

И она пошла вниз по крутому склону с такой непринужденной грацией, словно это была аллея в парке.

- Подлец, как мог я ее подозревать! - шепнул Вокульский.

И вдруг ему почудилось, будто некий таинственный голос велит ему выбирать - или благополучие тысячи людей, которым он мог бы помочь, как Венгелеку, или вот эта одна-единственная женщина, которая спускалась сейчас с горы.

"Я уже выбрал!" - подумал Вокульский.

- Но к замку я не поднимусь сама, вам придется подать мне руку, сказала панна Изабелла, останавливаясь перед Вокульским.

- Может, прикажете проводить вас другой дорогой, полегче? - спросил Венгелек.

- Веди!

Они обошли гору кругом и стали взбираться вверх по руслу высохшей речки.

- Какого странного цвета эти камни, - заметила панна Изабелла, глядя на глыбы известняка, испещренного бурыми пятнами.

- Это железная руда, - сказал Вокульский.

- Нет, - вмешался Венгелек, - это не руда, а кровь...

Панна Изабелла отшатнулась.

- Кровь? - повторила она.

Они уже взошли на вершину холма, от остальной компании их скрывала полуразрушенная стена. Отсюда виден был замковый двор, поросший терновником и барбарисом. У подножия одной из башен лежала огромная гранитная глыба, приваленная к стене.

- Вот камень, - сказал Вокульский.

- Ах, это он... Интересно, как его подняли наверх?.. Что это ты сказал о крови, любезный? - обратилась она к Венгелеку.

- Это старинная быль, - ответил парень, - еще дедушка мне рассказывал... Да тут все ее знают...

- Расскажи-ка нам, - попросила панна Изабелла. - Я очень люблю слушать легенды среди руин. На Рейне множество легенд.

Она прошла во двор, осторожно обходя колючие кусты, и села на камень.

- Расскажи, расскажи нам историю о крови... Венгелека просьба ничуть не смутила. Он широко улыбнулся и начал:

- В давние времена, когда еще дед мой гонялся за птицами, среди этих дубов, вон там, по той каменистой дорожке, которой мы шли, бежала речка.

Теперь она показывается только весной или после ливней, а когда дедушка был маленький, она не высыхала круглый год. А здесь, вот на этом месте, был ручей.

На дне речки, еще когда дедушка был маленький, лежал большущий камень, словно бы кто им дыру заткнул. А там и взаправду была дыра - не дыра, а окошко в подземелье, где такие богатства схоронены, каких на всем свете не сыщешь. А посреди этих сокровищ, на кровати чистого золота, спит панна, а может, даже княжна или графиня, одета богато, а уж красавица - глаз не отведешь. Говорят, за одно то, чем у нее волосы убраны, можно бы купить все поместья от Заслава до Отроча.

И спит, значит, эта панна по той причине, что кто-то воткнул ей в голову золотую булавку - то ли из озорства, то ли по злобе, кто их там разберет. Так вот, спит она и не проснется, покуда ей эту булавку из головы не вытащат, а кто вытащит, тот, значит, и женится на ней. Только дело это нелегкое и опасное: в подземелье живут разные чудовища и стерегут панну и ее сокровища. А какие они, те чудовища, это и я знаю: пока у меня дом не сгорел, я все прятал в

сундуке один зуб... величиной с кулак; зуб этот нашел дедушка вот здесь (все чистая правда, ни словечка не вру!). А если один зуб был с добрый кулак (ведь я своими глазами видал, в руках держал много раз), так морда, верно, была, как печь, а все чудище - уж никак не меньше овина... Так что сладить с таким было мудрено; да еще будь оно одно такое, а то их много. И самые что ни на есть смельчаки, - хоть панна им очень даже нравилась, а еще того более ее богатства, - боялись войти в подземелье, чтобы не угодить кому-нибудь в пасть...

Про панну эту и про ее сокровища, - продолжал Венгелек, - люди издавна знали, а узнали потому, что два раза в году, на пасху и в день святого Яна, камень, что лежал на дне речки, отваливался в сторону, и если кто стоял в такую минуту над водой, мог заглянуть в пучину и увидеть тамошние чудеса.

Однажды на пасху (дедушки тогда еще на свете не было) пришел сюда, к замку, молодой кузнец из Заслава. Стал он над речкой и думает: "А ну, как откроются передо мною панночкины сокровища? Я бы мигом вплез за ними, хоть бы в самую маленькую норочку, набил бы себе карманы, и не пришлось бы мне больше мехи раздувать". Только он это подумал, а камень и отвалился в сторону; и видит мой кузнец мешки с деньгами, миски из чистого золота, а уж дорогой одежды навалено, точно на ярмарке...

Только прежде всего заприметил он спящую панну, и такая она была красавица, говорил дедушка, что кузнец стал как столб и ни с места. Спит, бедная, а слезы так и текут у нее по щекам, и которая слеза упадет на рубашку, или на кровать, или на пол - тут же обращается в камень бесценный. Спит она и вздыхает от боли, от булавки, значит, этой; как вздохнет, так на деревьях над водою листья зашелестят - жалеют ее, горемычную.

Кузнец собрался было лезть в подземелье, да как раз время подошло, и камень стал на свое место, только вода кругом забурлила.

С той поры не мог мой кузнец места себе найти. Работа из рук валится. Куда ни глянет - все перед глазами вода как стекло, а за ним панна, и слезы текут у нее по щекам. Похудел даже; и так у него сердце щемило, будто кто рвал его раскаленными клещами. Наваждение, понятное дело.

Терпел он, терпел, наконец невмоготу стало, и пошел он к бабке, которая зелья разные варила; дает ей целковый и просит помочь.

- Да что, - говорит бабка, - тут нечем пособить, придется тебе дожидаться святого Яна, а как отвалится камень, полезай в пучину. Вынешь у панны булавку из головы, проснется она, женишься на ней и заживешь таким важным барином, каких еще свет не видывал. Только, смотри, не забудь тогда про меня, что хорошо я тебя надоумила. И еще запомни: когда нападёт на тебя страх и оробеешь, осенись крестным знаменем и спасайся именем божиим... В том-то все и дело, чтоб не трусить: нечистой силе к смелому не подступиться.

- А скажи, бабуся, - говорит кузнец, - как узнать, что на человека страх напал?

- Вон ты какой? - говорит бабка. - Ну, полезай же в пучину, а вернешься - меня не забудь.

Два месяца ходил кузнец к реке, а в последнюю неделю перед святым Яном и вовсе от берега не отходил, все ждал. И дождался. Ровно в полдень отвалился камень; кузнец мой зажал в руке топор и прыгнул в яму.

Что только там (дедушка сказывал) вокруг него делалось, страсть!

Обступили его такие чудища, что иной глянул бы и сразу от страха помер. То нетопыри (дедушка сказывал), страшенные, как псы, знай себе махают над ним своими крылищами; то идет на него жаба большущая, как этот вот камень; то змея обвилась вокруг ног, а как тяпнул

он эту змею, завывала она человеческим голосом; и волки на него кидались, до того злые да бешеные, что где брызнет у них пена из пасти, там огонь столбом, насквозь камни прожигает...

И все эти чудища на спину ему скакали, за полы хватали, за рукава, но ни одно не осмелилось ему вред учинить. Видели они, что кузнец не боится, а кто не боится, перед тем нечистая сила отступает, как тень перед человеком. "Пропадать тебе тут, кузнец!" - воют страшилища, а он знай сжимает крепче топор и... извините за выражение, такие слова им в ответ, что при господах нельзя и сказать...

Наконец добрался мой кузнец до золотой кровати, куда уж и чудищам доступа не было, - только стали они вокруг да зубами лязгают. А кузнец увидел у панны в голове золотую булавку да как дернет - и вытащил до половины...

Кровь так и брызнула. Тут панна хватает его руками за полу, да в слезы, да в крик:

- Зачем же ты мне, милый человек, больно делаешь?

Тут-то кузнец и перепугался... Затрясся весь, и руки у него опустились. А чудищам только того и надо было, самый большемордый прыгнул на кузнеца и так его разделал, что кровь хлынула в дыру и обрызгала камни, которые вы своими глазами видели. Только зуб он при этом сломал, хоть и был он со здоровый кулак, - тот самый, что дедушка потом в реке нашел.

С той поры камень завалил окно в подземелье, и найти его нельзя. Речка высохла, а панна осталась в пучине, ни спать, ни проснуться не может. И все плачет она, да так громко, что иной раз пастухи в лугах ее слышат, и будет так плакать во веки веков.

Венгелек замолчал.

Панна Изабелла, опустив голову, чертила концом зонтика какие-то узоры на земле. Вокульский не смел на нее взглянуть.

После долгого молчания он обратился к Венгелеку:

- Интересна твоя история... Но теперь скажи: как ты будешь вырезать надпись?

- Да ведь я не знаю, что надо вырезать.

- Верно.

Вокульский вынул записную книжку, карандаш, написал стихи и подал парню.

- Всего четыре строчки! - удивился Венгелек. - Через три дня, ваша милость, готово будет... На этом камне можно, пожалуй, и дюймовые буквы вывести... Ох, забыл я веревочку, надо бы смерить. Пойду-ка попрошу кучеров, может, они мне дадут... Сейчас вернусь...

Венгелек побежал вниз. Панна Изабелла взглянула на Вокульского. Она была бледна и взволнованна.

- Что это за стихи? - спросила она, протягивая руку.

Вокульский подал ей листок, она вполголоса прочитала:

Все в тот же час, на том же самом месте,

Где мы в одной мечте стремились слиться.

Везде, всегда с тобой я буду вместе,

Ведь там оставил я души частицу.{158}

Последние слова она произнесла шепотом. Губы у нее дрожали, глаза наполнились слезами. Она смяла листок, потом медленно отвернула голову, и листок упал на землю.

Вокульский опустился на колени, чтобы поднять бумажку. При этом он коснулся платья панны Изабеллы и, уже не помня себя, схватил ее за руку...

- Проснешься ли ты, королевна моя? - сказал он.

- Не знаю... может быть... - ответила она.

- Ау! Ау! - закричал снизу Старский. - Идите же, господа, обед стынет...

Панна Изабелла отерла глаза и поспешила покинуть развалины. Вслед за нею двинулся Вокульский.

- Что это вы так долго там делали? - с усмешкой спросил Старский, протягивая ей руку, на которую она поспешно оперлась.

- Мы слушали необыкновенную историю, - отвечала она. - Признаться, я не думала, что в наших краях могут существовать такие легенды, что простые люди умеют так занимательно рассказывать... Что ж вы, кузен, предложите нам на обед? Ах, этот юноша неподражаем! Попросите, чтобы он повторил вам свой рассказ...

Вокульского уже не раздражало, что панна Изабелла идет под руку со Старским, что она кокетливо глядит на него. Ее давешнее волнение и одно ничего не значащее словечко развеяли все его опасения. Он погрузился в спокойное раздумье, которое овладело им настолько, что не только Старский, но и вся компания как бы исчезла у него из глаз.

Он помнил, как поднялся на гору, в дубовую рощу, с каким удовольствием утолял голод, помнил, что был весел, разговорчив и даже ухаживал за панной Фелицией... Но что ему говорили, что он сам отвечал - этого он не сознавал...

Солнце клонилось к западу, небо заволокли тучи. Приказав прислуге убрать посуду, корзины и ковер, Старский предложил дамам возвращаться домой.

Все уселись в коляску в том же порядке, что и прежде. Барон, укутав шалью свою невесту, с улыбкой шепнул на ухо Вокульскому:

- Ну, дорогой, если вы еще один день будете в таком настроении, как сегодня, то вскружите головы всем нашим дамам.

- Вот как! - пожал плечами Вокульский.

Он сел с краю, против панны Фелиции, Охоцкий взобрался на козлы рядом с кучером, и лошади тронулись.

Небо нахмурилось, мрак быстро сгущался. Несмотря на это, в коляске было весело; Вонсовская опять повздорила с Охоцким, который, забыв о своих воздушных шарах, перекинул ноги через спинку козел и повернулся лицом к компании. Ему вздумалось закурить папиросу; неожиданно он чиркнул спичкой и осветил сидевшего против него Старского.

Вокульский отшатнулся: перед глазами его мелькнуло нечто такое...

"Бред! - подумал он. - Я выпил лишнее..."

У Вонсовской вырвался короткий смешок, но тут же она овладела собой и быстро заговорила:

- Что за неприличная манера сидеть, пан Охоцкий! Фи, завтра вам придется просить прощения... Ах, негодник, да он скоро положит ноги кому-нибудь на колени! Повернитесь назад сию же минуту, не то велю кучеру высадить вас...

У Вокульского на лбу выступил холодный пот, но он твердил себе: "Привиделось мне... привиделось! Какой вздор!.." Призвав на помощь всю силу воли, он отогнал назойливое видение. Вскоре он снова пришел в хорошее настроение и принялся весело болтать с Вонсовской.

А когда они вернулись в Заславек, уже поздним вечером, Вокульский заснул как убитый и даже видел какие-то смешные сны.

На другое утро он, по обыкновению, вышел погулять до завтрака; первой ему попалась навстречу горничная панны Изабеллы: она несла ворох платьев, а за нею дворовый мальчишка тащил баул.

"Что бы это значило? - подумал Вокульский. - Сегодня воскресенье, вряд ли она уедет... Нет, не может она уехать сегодня... Или она сама, или председательша, наверно, упомянули бы об этом вчера..."

Он направился к пруду, обошел весь парк, надеясь рассеять по пути дурные предчувствия. Тщетно. Мысль об отъезде панны Изабеллы неотвязно следовала за ним. Он упорно заглушал ее, но добился лишь того, что она уже не рисовалась ему с прежней отчетливостью, а тихо скреблась где-то на самом дне его сердца.

За завтраком ему казалось, что председательша поздоровалась с ним особенно сердечно, что все держатся серьезней, чем обычно, и что панна Фелиция смотрит на него пристально и как будто с укором. После завтрака ему снова почудилось, будто председательша сделала какой-то знак Вонсовской.

"Несомненно, я болен", - подумал он.

Но он сразу выздоровел, как только панна Изабелла заявила, что собирается прогуляться по парку.

- Кто хочет идти со мной? - спросила она.

Вокульский сорвался с места, остальные продолжали сидеть. И вот он снова был в саду наедине с панной Изабеллой, и снова полон умиротворения, которое всегда испытывал в ее присутствии.

В середине аллеи панна Изабелла заговорила:

- Жаль мне расставаться с Заславеком... "Жаль?" - подумал Вокульский, а она быстро продолжала:

- Пора уезжать. Тетя еще в среду писала, чтобы я возвращалась, но председательша скрыла от меня письмо и задержала меня. Только вчера, когда прислали нарочного...

- Вы завтра уезжаете?

- Сегодня, после второго завтрака... - ответила она, опустив голову.

- Сегодня? - повторил он.

Они шли по дорожке, ведущей во двор; во дворе, за оградой, виднелся экипаж - тот самый, в котором приехала панна Изабелла. Кучер уже запрягал лошадей. Но сейчас ни само

известие, ни даже приготовления к отъезду не произвели на Вокульского никакого впечатления.

"Ну что же, - подумал он, - люди приезжают, потом уезжают... Совершенно естественно!"

Его самого удивляло это спокойствие.

Они прошли еще шагов двадцать под низко нависшими ветвями, и тут его охватило страшное отчаяние. Он почувствовал, что, если сейчас подадут экипаж панны Изабеллы, он бросится под копыта лошадей и не даст ей уехать. Пусть растопчут его, пусть раз и навсегда кончатся его муки!

И вслед за тем новый прилив спокойствия, и опять он удивлялся, как могут приходиться в голову такие шальные мысли! Ведь панна Изабелла вольна ехать, куда и когда ей вздумается и с кем ей угодно...

- Вы еще долго пробудете в деревне? - спросил он.

- Самое большее месяц.

- Месяц! - повторил он. - Можно ли мне по крайней мере навестить вас по вашем возвращении?

- Конечно, милости просим... Мой отец - ваш большой друг.

- А вы?

Она вспыхнула и промолчала.

- Вы не отвечаете... Вы даже не догадываетесь, как дорого мне каждое ваше слово, а мне так мало привелось их слышать... И вот сегодня вы уезжаете, не оставляя мне хотя бы тени надежды...

- Может быть, со временем... - шепнула она.

- Дай бог! Во всяком случае, я скажу вам одно... Видите ли, вам могут в жизни встретиться люди более веселые, чем я, более изысканные, знатные, даже и более состоятельные... Но такого чувства вы уже никогда не найдете. Если любовь измеряется силой страданий, то, пожалуй, не было еще на свете такой любви, как моя.

А я даже не вправе жаловаться, да и на кого? Такова моя судьба. Какими удивительными путями она вела меня к вам! Не будь страшных бедствий, постигших нас всех, никогда бы мне, бедному юноше, не удалось добиться образования, которое сейчас позволяет мне беседовать с вами. Случай привел меня в театр, где я впервые увидел вас. А разве богатство не досталось мне благодаря чудесному стечению обстоятельств?

Когда я сейчас думаю обо всем этом, мне кажется, что еще до моего рождения мне было предопределено встретиться с вами. Если б мой бедный дядюшка не влюбился смолodu и не умер в одиночестве, сейчас я не находился бы здесь. И разве не удивительно, что сам я не увлекался женщинами, как многие, а до сих пор избегал их и почти сознательно ждал одной-единственной - вас...

Панна Изабелла незаметно смахнула слезинку. Вокульский, не глядя на нее, продолжал:

- Еще недавно, в Париже, передо мной было два пути. Один ведет к важному открытию, которое, может быть, изменит судьбу мира, второй - к вам. Я отказался от первого, потому что меня приковывает к вам незримая цепь: надежда, что вы полюбите меня... Если это

возможно - я предпочту счастье с вами величайшей славе без вас. Что слава? фальшивая монета, за которую мы отдаем свое счастье, жертвуя им ради других. Но если я обольщаюсь пустой надеждой, вы одна сможете снять с меня заклятие. Скажите, что не питаете ко мне никакого чувства и никогда не будете питать... и я вернусь туда, откуда, вероятно, и не следовало уезжать. Верно? - спросил он, беря ее за руку.

Она не отвечала.

- Значит, я остаюсь... - сказал он после минутного молчания. - Я буду терпеливо ждать, а вы сами дадите мне знать, что надежды мои исполнились.

Они повернули к дому. Панна Изабелла слегка побледнела, но весело разговаривала со всеми. Вокульский вновь успокоился. Его уже не приводила в отчаяние мысль, что панна Изабелла уезжает: он сказал себе, что увидит ее через месяц, и этого ему было пока довольно.

После завтрака подали экипаж; начали прощаться.

На крыльце панна Изабелла шепнула на ухо Вонсовской:

- Пора бы тебе, Казя, сжалиться над этим бедняжкой...

- О ком ты?

- О твоём тезке.

- Ах, о Старском... Посмотрим.

Панна Изабелла подала руку Вокульскому.

- До свидания, - сказала она значительно.

Экипаж тронулся. Все собрались на крыльце и глядели ему вслед; вначале он ехал прямо, потом обогнул пруд и скрылся за холмом, потом снова показался вдали и, наконец, исчез совсем, оставив на дороге только облако желтой пыли.

- Прекрасная погода, - сказал Вокульский.

- Да, очень хорошая, - подтвердил Старский.

Вонсовская из-под опущенных ресниц следила за Вокульским.

Понемногу все разошлись. Вокульский остался один. Он пошел в свою комнату, но она показалась ему пустой и неуютной; хотел было погулять по парку, но и оттуда что-то гнало его... Ему стало казаться, будто панна Изабелла еще здесь, и он никак не мог освоиться с мыслью, что она уехала и находится уже в нескольких верстах от Заславека, с каждой секундой удаляясь от него все дальше.

- И все-таки она уехала! - шепнул он. - Уехала... ну и что же?

Он пошел к пруду и загляделся на белую лодку, вокруг которой ослепительно сверкала вода. Вдруг один из лебедей, плывших у другого берега, заметил Вокульского и, распутив крылья, с шумом подлетел к челну.

Только в это мгновение Вокульского охватила настоящая тоска, беспредельная, бездонная тоска, какая бывает, когда прощаешься с жизнью...

Поглощенный своими горькими мыслями, Вокульский не слишком следил за тем, что

делалось вокруг него. Все же к вечеру он заметил, что заславская компания вернулась из парка в кислом настроении. Панна Фелиция заперлась с панной Эвелиной в ее комнате, барон нервничал, а Старский насмешничал и дерзил. После обеда председательша позвала к себе Вокульского. По-видимому, она тоже была раздражена, но старалась держать себя в руках.

- Подумал ли ты, пан Станислав, о сахарном заводе? - спросила она, нюхая свой флакончик, что служило у нее признаком волнения. - Пожалуйста, подумай и потолкуем об этом, а то мне уже опротивели все эти интрижки...

- Вы расстроены чем-то? - спросил Вокульский.

Она махнула рукой.

- Какое там расстроена... просто надоело: поскорее бы уж поженились барон с Эвелиной либо совсем порвали бы... Не то пусть уезжают - или они, или Старский... Одно из двух...

Опустив голову, Вокульский молчал. По-видимому, ухаживание Старского за невестой барона приняло слишком уж явный характер. Но ему-то какое дело до этого?

- Дурочки эти барышни, - снова заговорила председательша. - Им кажется: стоит только подцепить богатого мужа да в придачу красивого любовника - и больше ничего в жизни не нужно... Дурочки!.. Не знают они, что скоро надоест и старый муж и пустой любовник, а рано ли, поздно ли каждой захочется встретить настоящего человека. А встретит она его, настоящего, так на свою беду. Что она ему даст? Свои проданные прелести или сердце, замаранное таким вот Старским? И подумать только, что почти каждая из них проходит такую школу, прежде чем научиться разбираться в людях. Попадись ей до этого хоть самый благородный человек - она его не оценит. Предпочтет старого богача или наглого развратника, испортит себе жизнь из-за них, а потом захочет начать новую жизнь... Но - увы! - поздно...

А больше всего поражает меня то обстоятельство, - продолжала старушка, - что у мужчин не хватает ума раскусить этих кукол. Ни для одной женщины, возьми хоть Вонсовскую, хоть мою горничную, не секрет, что в Эвелине еще не проснулись ни разум, ни сердце, все в ней еще спит глубоким сном... А бедняга барон видит в ней божество и воображает, что она его любит!

- Почему же вы, сударыня, не предостережете его? - спросил Вокульский сдавленным голосом.

- Полно! Все равно не поможет... Сколько раз я уже намекала ему, что Эвелина пока лишь испорченный ребенок, кукла. Со временем, может быть, из нее что-нибудь и получится, но сейчас... именно такой вот Старский по ней. Так что ж? - прибавила она, помолчав. - Подумаешь насчет сахарного завода? Вели оседлать лошадь и поезжай в поле да погляди, хочешь, - один, а то - еще лучше - с Вонсовской. Она женщина стоящая, поверь мне...

Вокульский ушел от председательши в смятении.

"Зачем она говорила о бароне и Эвелине? Не было ли это попросту предостережением мне? Старский, по-видимому, ухаживает не за одной панной Эвелиной. Что это было тогда в коляске? Ах, лучше пустить себе пулю в лоб..."

Однако он тут же опомнился и попытался рассуждать здраво:

"То, в коляске, либо было на самом деле, либо померещилось мне. Если померещилось, значит я напрасно оскорбляю невинную девушку, а если было... Ну, не стану же я

соперничать с опереточным обольстителем и жертвовать жизнью ради притворщицы. Она вправе заводить романы с кем угодно, но не вправе обманывать человека, который провинился перед нею только тем, что любит ее. Пора уезжать из этой Капуи и приниматься за работу. В лаборатории Гейста я найду более достойное занятие, чем в гостиных..."

Вечером, часов около десяти, в комнату к нему зашел барон. На нем лица не было. Сначала он пытался острить и смеяться, но вдруг, задыхаясь, повалился на стул и, с трудом овладев собой, заговорил:

- Знаете, уважаемый пан Вокульский, временами мне кажется - не по собственному опыту, ибо моя невеста благороднейшее существо... - тем не менее временами мне кажется, что женщины иногда нас обманывают...

- Иногда да.

- Может быть, это не их вина, однако нередко случается, что они поддаются влиянию опытных волокит...

- О да, это случается.

Барон так дрожал, что минутами у него зубы стучали.

- Не считаете ли вы, - спросил он, - что все же следовало бы принимать против этого меры?

- Какие же?

- Например, оградить женщину от близкого знакомства с ловкими обольстителями.

Вокульский расхохотался.

- Можно защитить женщину от обольстителей, но разве можно защищать ее от собственных инстинктов? Что вы можете поделать, если негодяй, в котором вы видите только распутника и интригана, для нее - самец того же вида, что и она?

Постепенно Вокульский приходил в ярость. Он шагал по комнате и гневно говорил:

- Как бороться с законом природы, по которому сука, даже самая породистая, пойдет не со львом, а именно с псом? Предложите ей целый зоологический сад с самыми благородными зверями - она отвернется от них ради нескольких псов... И ничего удивительного в этом нет: они принадлежат к ее виду.

- Значит, по-вашему, нет никакого выхода?

- Сейчас - нет, а со временем будет, но только один: искренность в человеческих отношениях и свобода выбора. Когда женщине не придется притворяться в любви и кокетничать со всеми, она сразу отвергнет тех, кто ей не мил, и пойдет с тем, кто ей нравится. Тогда не будет ни обманутых, ни обманщиков, отношения будут складываться естественно.

Барон ушел, а Вокульский лег в постель. Всю ночь он не спал, но обрел вновь душевное равновесие.

"На каком основании я предъявляю претензии к панне Изабелле? - думал он. - Ведь она и не говорила, что любит меня: в ее словах блеснула мне лишь слабая тень надежды, что когда-нибудь это может случиться. И могу ли я ее винить, ведь она почти не знает меня. И что за дикие мысли приходят мне в голову! Старский? Но она хочет сосватать его с Вонсовской и поэтому вряд ли намерена сама завести с ним роман. А председательша? Председательша любит панну Изабеллу и не раз мне это говорила, даже велела мне приехать сюда... Еще

есть время. Я познакомлюсь с нею поближе. И если она меня полюбит, я буду счастлив, и в таком случае мне нечего тревожиться. Если нет - вернусь к Гейсту. А пока что я продам дом и магазин и останусь только в Обществе торговли с Россией. Через несколько лет это принесет мне тысяч сто в год, а ей не будет грозить звание галантерейной купчихи".

На следующий день, после завтрака, Вокульский велел оседлать лошадь и выехал со двора, сказав, что хочет осмотреть окрестности. Бессознательно он свернул на дорогу, по которой накануне проехал экипаж панны Изабеллы и где, казалось ему, еще виднелись следы колес... Потом, так же машинально, повернул к лесу, куда еще так недавно они ездили за грибами. Вот тут она засмеялась, тут заговорила с ним, тут остановилась полюбоваться пейзажем. Подозрения, вспышки гнева - все это в нем угасло. Вместо них капля за каплей, как слезы, в сердце его сочилась тоска, жгучая, как огонь преисподней...

Подъехав к опушке, он соскочил с лошади и повел ее под уздцы.

Вот тропинка, по которой они тогда шли вдвоем: но сейчас она кажется иной. Вон та часть леса тогда напоминала костел, а сейчас - ни следа сходства. Вокруг серо и тихо, слышится только карканье ворон, пролетающих над лесом, да крик вспугнутой белки, что карабкается на дерево, твякая, как щенок.

Вокульский дошел до полянки, где в тот день они беседовали с панной Изабеллой, он разыскал даже пень, на котором она сидела. Все было как тогда, только ее нет... На кустах орешника начали желтеть листья, сосны поникли в паучьих сетях печали. Печаль такая тонкая, неуволвимая - а как крепко она опутала его!

"Как это глупо, - думал он, - находиться в зависимости от одного человеческого существа! Ведь для нее я работал, о ней думал, ради нее живу. Хуже того - для нее я покинул Гейста... Ну, а что хорошего я нашел бы у него?..

Я оказался бы в такой же кабале, только вместо прекрасной женщины мною располагал бы старик немец. И работать пришлось бы еще тяжелее, и разница заключалась бы лишь в том, что сейчас я работаю ради своего счастья, а тогда - ради счастья других, они же тем временем пользовались бы жизнью и наслаждались любовью за мой счет.

Право, мне не на что жаловаться. Год назад я не смел мечтать о панне Изабелле, а теперь я знаю ее и даже добиваюсь взаимности... Полно, будто я и в самом деле ее знаю? Панна Ленцкая - закоренелая аристократка, это верно, но она еще не разбирается в жизни... Душа у нее поэтическая... или только так кажется? Она, несомненно, кокетка, но и это пройдет, если она меня полюбит... Словом, не так-то все плохо, а через год..."

В эту минуту конь его вскинул голову и заржал: из лесной чащи раздалось ответное ржанье и топот. Вскоре на тропинке показалась всадница, в которой Вокульский узнал Вонсовскую.

- Ау, ау! - крикнула она, смеясь, и, соскочив с коня, бросила поводья Вокульскому.

- Привяжите его, - сказала она. - Ах, как я уже изучила вас! Час назад спрашиваю у председательши: "Где Вокульский?" - "Поехал в поле осмотреть место под завод". - "Как бы не так! - думаю я. - Он поехал в лес - мечтать". Велела оседлать лошадь, и вот беглец передо мной: сидит на пне, размечтался... Ха-ха-ха!

- Неужели я так смешно выгляжу?

- Нет, по-моему не смешно, а скорей... ну, как бы сказать?.. неожиданно. Я совсем иначе представляла себе вас. Когда мне сказали, что вы купец и вдобавок быстро сколотили состояние, я подумала: "Купец? Наверное, он приехал в деревню свататься к богатой барышне или вытянуть у председательши куш на какое-нибудь предприятие".

Во всяком случае, я считала вас человеком холодным, расчетливым, который и по лесу-то ходит, оценивая деревья, а на небо и вовсе не смотрит, потому что с неба не возьмешь процентов. Между тем кого же я нашла? Мечтателя, средневекового трубадура, который украдкой скрывается в лес, чтобы, вздыхая, разыскивать следы ее ножек! Верного рыцаря, полюбившего не на жизнь, а на смерть одну-единственную, между тем как с остальными он неучтив, даже груб. Ах, пан Вокульский, как же это забавно... И несовременно!

- Вы кончили? - холодно спросил Вокульский.

- Кончила... Теперь вы хотите говорить?

- Нет, сударыня. Я предлагаю вернуться домой.

Вонсовская вспыхнула.

- Позвольте, - сказала она, беря под уздцы свою лошадь. - Уж не думаете ли вы, что я так говорю о вашей любви, чтобы самой выйти за вас? Вы молчите... Так поговорим серьезно. Был момент, когда вы мне нравились, был и прошел. А если б и не прошел, если б мне было суждено умереть от любви к вам, чего, наверное, не случится, ибо я не лишилась пока ни сна, ни аппетита, - я не согласилась бы принадлежать вам, слышите? Хоть бы вы у ног моих ползали. Не могла бы я жить с человеком, который любит другую так, как вы. Я слишком горда. Вы верите мне?

- Да.

- Надеюсь. А сегодня я задела вас своими шутками только потому, что желаю вам добра. Мне нравится ваше неистовство, я хотела бы, чтобы вы были счастливы, и потому говорю вам: избавьтесь от сидящего в вас средневекового трубадура, потому что сейчас девятнадцатый век и женщины теперь не таковы, какими вы их воображаете, это знает любой двадцатилетний мальчишка.

- А каковы они?

- Красивы, милы, любят всех вас водить за нос, а сами влюбляются лишь постольку, поскольку это доставляет им удовольствие. Ни одна из них не согласится на любовь драматическую, по крайней мере - не всякая... Для этого ей сначала должны наскучить увлечения, и только тогда она будет способна на драматическую любовь...

- Словом, вы приписываете панне Изабелле...

- О, я панне Изабелле ничего не приписываю, - живо возразила Вонсовская. - Из нее может выйти со временем настоящая женщина, и тот, кого она полюбит, будет счастлив. Но когда еще она полюбит!.. Помогите мне взобраться на седло...

Вокульский подсадил ее и вскочил на своего коня. Вонсовская была раздражена. Некоторое время она молча ехала впереди, затем вдруг обернулась и сказала:

- Последнее слово. Я знаю людей лучше, чем вам кажется, и... страшусь вашего разочарования. Так вот, если оно когда-нибудь наступит, помяните мой совет: не действуйте сгоряча, под влиянием первой вспышки, а переждите. Многие со стороны выглядят иным, чем в действительности, и кажется хуже...

- О, дьявол! - пробормотал Вокульский. Все вокруг поплыло у него перед глазами и погрузилось в кровавую мглу.

До самого дома они больше не сказали ни слова. Вернувшись в Заславек, Вокульский пошел к председателю.

- Завтра я уезжаю, - сказал он. - А сахарный завод строить вам не нужно.

- Завтра? - переспросила председательша. - А с камнем как же будет?

- Я и хочу, если вы не возражаете, заехать в Заслав. Осмотрю камень, да кстати еще одно дело улажу.

- Ну что ж, поезжай с богом... тебе тут делать нечего. А в Варшаве навести меня. Я вернусь в одно время с графиней и Ленцкими...

Вечером к Вокульскому зашел Охоцкий.

- Черт побери! - крикнул он. - Мне нужно было о стольких делах переговорить с вами... Да что ж, когда вы все время окружали себя бабами, а теперь уезжаете...

- А вы недолюбливаете женщин? - усмехнулся Вокульский. - Может быть, вы и правы!

- Не то что недолюбливаю. Но с тех пор, как я убедился, что великосветские дамы не отличаются от горничных, я предпочитаю горничных.

Все бабы, - продолжал он, - глупы, как гусыни, не исключая и самых умных. Вот только вчера я полчаса объяснял Вонсовской, зачем нужны управляемые воздушные шары. Я толковал ей о том, как исчезнут границы, говорил о братстве народов, о грандиозном прогрессе цивилизации... Она так смотрела мне в глаза - голову дал бы на отсечение, что она все понимает! Кончил, а она спрашивает: "Пан Юлиан, почему бы вам не жениться?" Слышали вы что-нибудь подобное?! Я, конечно, еще битых полчаса объяснял ей, что и не подумаю жениться, что я не женился бы ни на панне Фелиции, ни на панне Изабелле, ни даже на ней. На кой черт мне жена, которая будет вертеться у меня в лаборатории, шуршать своим шлейфом, таскать меня на прогулки, в гости, в театр... Ей-богу, я не знаю ни одной женщины, в обществе которой не отупеешь за полгода.

Он замолчал и собрался уходить.

- Одно словечко, - задержал его Вокульский. - Когда вы вернетесь в Варшаву, зайдите ко мне. Может быть, я сообщу вам об одном изобретении, правда, на него надо потратить полжизни, но... оно, наверное, придется вам по душе.

- Воздушные шары? - спросил Охоцкий, и глаза его загорелись.

- Кое-что получше. Спокойной ночи!

На следующий день, около полудня, Вокульский попрощался с председательшей и ее гостями. Через несколько часов он был уже в Заславе. Навестил ксендза, затем велел Венгелеку собираться в путь - в Варшаву. Покончив с этим, он пошел к развалинам замка.

На камне уже было вырезано четверостишие. Вокульский несколько раз его прочитал и задумался над словами:

Везде, всегда с тобой я буду вместе...

- А если нет? - прошептал он.

При этой мысли его охватило отчаяние. Сейчас ему страстно хотелось одного - чтобы земля расступилась под ним и поглотила его вместе с руинами, с этим камнем и надписью на нем.

Когда он вернулся в Заслав, лошади были уже покормлены; возле экипажа стоял Венгелек с зеленым сундучком.

- А ты знаешь, когда вернешься сюда? - спросил его Вокульский.

- Когда бог даст, сударь, - ответил Венгелек.

- Ну, так садись!

Вокульский бросился на подушки сиденья, экипаж тронулся. Стоявшая в стороне старуха перекрестила их в путь-дорогу. Венгелек взглянул на нее и снял шапку.

- Счастливо оставаться, мамаша! - крикнул он с козел.

Глава седьмая

Дневник старого приказчика

"Год у нас нынче 1879.

Будь я суеверен, а главное - не знай я, что после самых тяжелых лет настают и хорошие времена, боялся бы я этого 1879 года. Ибо если прошлый год кончился плохо, так нынешний начался еще хуже.

Англия, например, в конце прошлого года ввязалась в войну с Афганистаном, и в декабре дела там были плачевные. У Австрии была масса хлопот с Боснией, а в Македонии вспыхнуло восстание. В октябре и ноябре были покушения на испанского короля Альфонса и на итальянского - Умберта. Оба уцелели. В октябре же скончался граф Юзеф Замойский, большой друг Вокульского. Я даже думаю, что смерть его во многом расстроила планы Стаха.

1879 год только начался, но пропади он пропадом, право! Англичане еще не разделались с Афганистаном, а уже затеяли войну в Африке, где-то на мысе Доброй Надежды, с какими-то зулусами. Да и у нас, в Европе, невесело: под Астраханью вспыхнула чума, того и гляди к нам перекинется.

Черт бы побрал эту чуму. Кого ни встретишь, сейчас же слышишь: "Вам, мол, хорошо ситчики из Москвы выписывать! Вот увидите, завезете вы нам со своими ситчиками чуму". А сколько мы получаем анонимных писем, где нас ругают на чем свет стоит! Однако я думаю, что строчат их в первую голову наши конкуренты - купцы или владельцы лодзинских ситценабивных фабрик.

Эти утопили бы нас в ложке воды, если бы даже никакой чумы и не было. Само собою, я и сотой доли их ругательств не передаю Вокульскому; но, кажется, сам он слышит и читает их чаще, чем я.

Собственно говоря, я собирался тут описать одну невероятную историю об уголовном деле, которое возбудила баронесса Кшешовская... Против кого же? Никому бы в голову не пришло! Против милой, прелестной, честнейшей пани Эллены Ставской! Но меня обуревают такая ярость, что я не в силах бороться с мыслями. Так вот, чтобы отвлечься чем-нибудь, я решил пока написать о другом.

Баронесса возбудила против пани Ставской судебный процесс по обвинению в краже! Пани Елена и кража! Нечего и говорить, что мы вышли из этого грязного дела с триумфом. Но чего оно нам стоило! Я - так, ей-богу, целых два месяца не спал по ночам. И если я теперь повадился ходить в ресторацию, чего со мной раньше никогда не случалось, и иной раз засиживаюсь там до полуночи, то уж конечно только с огорчения. Обвинить ее, этого ангела, в краже! Для этого, бог мне свидетель, нужно быть такой полоумной, как госпожа баронесса.

Зато и заплатила нам злодейка десять тысяч рублей. Если б это зависело от меня, я бы

выжал из нее и сто тысяч! Пусть бы она плакала, закатывала истерики, пусть бы даже умерла... Подлая женщина!

Но бог с ней, с человеческой подлостью, подумаем о чем-нибудь другом.

Собственно говоря, как знать - не послужил ли мой славный Стах невольной причиной этой беды, и даже не столько он, сколько я... Ведь это я потащил его к Ставской, я уговорил его не ходить к этой гадине баронессе, наконец, я написал ему в Париж, чтобы он собрал сведения о Людвике Ставском. Словом, я, а не кто иной, разозлил ведьму Кшешовскую. Ну, я за это и нес наказание в течение целых двух месяцев. Ничего не поделаешь. "Господи, если ты существуешь, спаси мою душу, если она у меня есть", - как говорил один солдат времен французской революции.

(Ох, как же я старею, как я старею! Мне бы прямо приступить к делу, а я болтаю, виляю, медлю... Хотя, ей-же-ей, меня, наверное, хватил бы удар, если бы пришлось сразу написать об этом безобразном, позорном процессе...)

Минуточку, только соберусь с мыслями. Стах в сентябре был в деревне, у председательши Заславской. Зачем он туда ездил, что там делал? Понятия не имею. Но по немногим его письмам чувствовалось, что было ему там не особенно хорошо. И кой черт принес туда панну Изабеллу Ленцкую! Ну возможное ли дело, чтобы он ею интересовался? И пусть меня назовут пустомелей, если я не сосватаю его с Эленой Ставской. Сосватаю, поведу их к алтарю, присмотрю, чтобы он дал обет, как полагается, а там... Может, пулю в лоб себе пуцу, а?

(Старый глупец! Тебе ли мечтать о таком ангеле? Впрочем, я о ней и не мечтаю вовсе, особенно с тех пор, как убедился, что она любит Вокульского. Пусть же любит его на здоровье, лишь бы они оба были счастливы. А я? Эх, Кац, старый дружище, разве не хватит и у меня отваги?)

В ноябре, как раз в тот день, когда обрушился дом на Вспульной, Вокульский вернулся из Москвы. И опять-таки я не знаю, что он там делал, знаю только, что заработал около семидесяти тысяч рублей... Такие прибыли превосходят мое понимание, но готов присягнуть, что дело, в котором участвовал Стах, наверняка было чистое.

Через несколько дней после его возвращения является ко мне один солидный купец и говорит:

- Милейший пан Жецкий, я не охотник мешаться в чужие дела, но, ради бога, предупредите вы пана Вокульского (только не от моего имени, а от своего), что этот его компаньон Сузин большой прохвост и, наверное, скоро вылетит в трубу... Предостерегите вы его - ведь жаль человека... Вокульский достоин сочувствия, хоть он и вступил на ложный путь.

- Что вы называете ложным путем? - спрашиваю.

- Ну, воля ваша, если человек ездит в Париж, покупает суда во время трений с Англией и тому подобное, то такой человек не отличается гражданскими доблестями.

- Любезнейший, - говорю я, - чем же покупка судов хуже покупки, скажем, хмеля? Разве только тем, что приносит больший барыш?

- Положим, пан Жецкий, - опять говорит он, - насчет этого рассуждать не стоит. Пусть бы кто другой так поступал, я бы словечка против не сказал, но Вокульский!.. Ведь обоим нам известно его прошлое, мне, может, даже лучше вашего известно, потому что покойник Гопфер не раз передавал мне через него заказы...

- Позвольте, - говорю я купцу, - вы бросаете тень на Вокульского?

- Нет, сударь мой, - отвечает он, - я только повторяю то, о чем весь город кричит. Вредить Вокульскому я отнюдь не собираюсь, особенно в вашем мнении, раз вы с ним дружите (и правильно делаете, потому что помните его еще с тех времен, когда он был не таким, как сейчас). Однако... признайте сами, человек этот наносит ущерб нашей промышленности... Я не берусь судить о его патриотизме, пан Жецкий, однако... скажу вам откровенно (я не стану кривить душой перед вами), что московские ситчики... вы понимаете?

Я разозлился. Хоть я и был поручиком венгерской пехоты, однако никак не пойму: чем немецкие ситчики лучше московских? Но моего купца нельзя было переспорить. Он, каналья, так поднимал брови, так пожимал плечами, так разводил руками, что под конец я подумал: "Видно, он большой патриот, а я шалопай, хоть в те времена, когда он набивал карман рублями и империялами, я подставлял свой лоб под пули..."

Конечно, я передал этот разговор Стаху. Он выслушал и отвечал:

- Успокойся, мой милый. Те же люди, которые предостерегают меня, что Сузин прохвост, месяц назад писали Сузину, что я банкрот, мошенник и бывший бунтовщик.

После беседы с этим почтенным купцом, фамилии которого я даже не хочу называть, по прочтении всех анонимных писем я решил записывать различные мнения, которые добрые люди высказывают о Вокульском.

Вот пока первая порция: Стах плохой патриот, потому что он своими дешевыми ситцами испортил дела лодзинских фабрикантов. Bene!* Посмотрим, что будет дальше...

* Хорошо! (лат.)

В октябре, примерно в то время, когда Матейко{176} закончил свою "Грюнвальдскую битву" (это картина большого размера, весьма внушительная, только не стоит ее показывать солдатам, участвовавшим в боях), забегает к нам в магазин Марушевич, приятель баронессы Кшешовской. Гляжу, ни дать ни взять - вельможа! На животе, а вернее, в том месте, где у людей бывает живот, золотая цепочка в полпальца толщиной и длинная-предлинная, хоть собаку на ней води. В галстук бриллиантовая булавка, на руках новехонькие перчатки, на ногах новехонькие ботинки, и сам (ну уж и тщедушная фигура, прости господи!) в новом костюме. При этом физиономия важная, как будто все это не в кредит взято, а оплачено чистоганом. (Позже Клейн, который живет с ним в одном доме, объяснил мне, что Марушевич частенько играет в карты и ему с некоторых пор везет).

Итак, мой фронт влетает, вертит в руках дорогую тросточку и, беспокойно озираясь по сторонам (глаза у него всегда как-то бегают), спрашивает, не снимая шляпы:

- Пан Вокульский в магазине? Ах, пан Жецкий! Разрешите на одно словечко...

Мы пошли за шкафы.

- Я к вам с отличной новостью, - говорит он, с чувством пожимая мне руку. - Можете сбыть свой дом... бывший Ленцких... Баронесса Кшешовская купит. Она уже выиграла процесс против мужа, получила свои капиталы и, если вы сумеете поторговаться, даст девяносто тысяч, а может быть, и немного отступного...

Он, вероятно, уловил на моем лице выражение удовольствия (это приобретение никогда не было мне по душе), сжал мне руку еще сильнее насколько вообще такая дохлятина может что-нибудь сделать с силой, - и, притворно улыбаясь (тошнит меня от его сладенькой

улыбки), зашептал:

- Я могу оказать вам услугу... немаловажную услугу, господи... Баронесса весьма считается с моим мнением, и... если я...

Тут он кашлянул.

- Понятно, - заметил я, сообразив, с кем имею дело. - От пана Вокульского вам тоже, наверное, кое-что перепадет...

- Что вы, сударь! - воскликнул он. - С какой стати... Тем более что с решительным предложением обратится к вам от имени баронессы ее поверенный. Дело совсем не во мне... Как вы понимаете, мне вполне хватает моих средств... Но я знаю одну бедную семью, которой вы, господи, может быть, по моей рекомендации, уделите...

- Простите, - перебил я, - мы предпочли бы вручить известную сумму непосредственно вам, разумеется, если сделка состоится.

- Состоится, конечно состоится, ручаюсь честью! - заверил он.

Однако, поскольку я не дал ему никакой гарантии насчет вышеупомянутой суммы, Марушевич повертелся еще немного по магазину и, посвистывая, вышел.

В конце дня я заговорил об этом со Стахом, но он промолчал, что меня озадачило. На другой день побежал я к нашему поверенному (он также и поверенный князя) и передал ему сообщение Марушевича.

- Кшешовская дает девяносто тысяч рублей? - удивился поверенный (это превосходный человек). - Помилуйте, дорогой пан Жецкий, да ведь сейчас дома дорожают, в будущем году по этой причине выстроят сотни две новых... При таких условиях, дорогой мой, если мы продадим дом за сто тысяч, то еще окажем покупателю немалую услугу... Раз баронессе так приспичило его купить (если только позволительно применить такое выражение к столь изысканной даме), мы можем вытянуть из нее гораздо более внушительную сумму, дорогой мой!

Я попрощался со знаменитым юристом и вернулся в магазин, твердо решив не вмешиваться более в дело по продаже дома. И тут мне пришло в голову (впрочем, не в первый раз), что Марушевич порядочный пройдоха.

А теперь я успокоился настолько, что могу собраться с мыслями и приступить к описанию гнусного процесса баронессы против этого ангела во плоти, против этого совершенства, пани Ставской. Если б я не описал его сейчас, то через год или два усомнился бы в собственной памяти и не поверил бы, что могло произойти нечто столь чудовищное.

Итак, заруби себе на носу, милый Игнаций, что, во-первых, почтенная баронесса Кшешовская издавна возненавидела пани Ставскую, считая, что все мужчины в нее влюблены, и, во-вторых, что почтенная баронесса хотела как можно дешевле купить дом у Вокульского. Вот два важных обстоятельства, все значение которых я только теперь постиг. (Как я старею, боже ты мой, как я старею!)

К пани Ставской, с тех пор как познакомился с нею, я захаживал довольно часто. Не скажу, чтоб ежедневно. Иногда раз в несколько дней, а иногда и по два раза на дню. Должен же я был присматривать за домом - это первое. Потом надо было сообщить пани Ставской, что я писал Вокульскому насчет розысков ее мужа. Затем пришлось зайти к ней и уведомить, что Вокульский не узнал ничего определенного. Кроме того, я посещал ее для того, чтобы наблюдать из окон ее квартиры за Марушевичем, который жил во флигеле, напротив нее. И,

наконец, мне понадобилось разузнать подробнее о Кшешовской и ее отношениях с проживавшими над ее квартирой студентами, на которых она постоянно жаловалась.

Человек посторонний мог бы решить, что я бываю у Ставской чересчур часто. Однако по зрелом размышлении я пришел к выводу, что бывал у нее чересчур редко. Ведь ее квартира служит великолепным пунктом для наблюдения за всем домом, ну и к тому же принимали меня всегда очень радушно. Пани Мисевичова (почтенная матушка пани Эллены) всякий раз встречала меня с распростертыми объятиями, маленькая Элюня забиралась ко мне на колени, а сама пани Ставская при виде меня оживлялась и говорила, что, когда я сижу у них, она забывает о своих огорчениях.

Ну мог ли я ввиду подобного расположения приходить не часто? Ей-богу, по-моему, я ходил туда слишком редко, и, будь я действительно рыцарем, мне следовало бы просиживать там с утра до вечера. Пусть бы даже пани Ставская в моем присутствии одевалась - что ж, мне бы это ничуть не мешало!

Во время своих посещений я сделал ряд важных открытий.

Прежде всего, студенты с четвертого этажа были на самом деле людьми весьма беспокойного нрава. Они пели и кричали до двух часов ночи, иногда попросту ревели и вообще старались издавать как можно больше нечеловеческих звуков. Днем, если хоть один из них был дома - а кто-нибудь всегда оставался, - стоило Кшешовской высунуть голову в форточку (а делала она это раз двадцать на дню), как тотчас же сверху ее обливали водой.

Я бы даже сказал, что это превратилось в своего рода спорт, состоявший в том, что она спешила как можно проворнее убрать голову из форточки, а студенты - как можно чаще и как можно обильнее ее обливать.

По вечерам же эти молодые люди, пользуясь тем, что над ними-то никто не жил и никто не мог окатывать их водой, зазывали к себе прачек и прислугу со всего дома, и тогда из квартиры баронессы неслись крики и истерические рыдания.

Второе мое открытие относилось к Марушевичу, окна которого находятся почти против окон пани Ставской. Этот человек ведет престранный образ жизни, отличающийся необычайной систематичностью. Он систематически не платит домовладельцу. Систематически каждые две-три недели из квартиры его выносят множество рухляди: какие-то статуи, зеркала, ковры, стенные часы... Но, что еще любопытнее, столь же систематически, ему приносят новые зеркала, новые ковры, новые часы и статуи...

Всякий раз, после того как из квартиры вынесут вещи, Марушевич несколько дней подряд показывается у одного из своих окон. Тут он бреется, причесывается, фиксатуарится и даже одевается, бросая при этом весьма двусмысленные взгляды на окна пани Ставской. Но как только в комнатах его вновь появляются предметы комфорта и роскоши, Марушевич на несколько дней завешивает свои окна шторами.

Тогда (невероятная вещь!) у него днем и ночью горит свет и слышен гул многочисленных мужских, а иногда и женских голосов...

Но зачем мне мешаться в чужие дела!

Однажды в начале ноября Стах сказал мне:

- Ты, кажется, бываешь у пани Ставской?

Меня даже в жар бросило.

- Прости, пожалуйста, - вскричал я, - как прикажешь это понимать?

- Очень просто, - отвечал он. - Ведь я не говорю, что ты являешься к ней с визитом через окно, а не через дверь. Впрочем, ходи, как тебе угодно, но только при первой же возможности сообщи этим дамам, что я получил письмо из Парижа.

- О Людвике Ставском?

- Да.

- Разыскали его наконец?

- Нет еще, но уже напали на след и надеются в недалеком будущем выяснить вопрос о его местопребывании.

- Может быть, бедняга умер! - воскликнул я и обнял Вокульского. Послушай, Стах, - прибавил я, несколько успокоившись, - сделай милость, навести этих дам и сам сообщи им эту новость.

- Да что я тебе, гробовщик, что ли? - возмутился Вокульский. - С какой стати я должен доставлять людям такого рода удовольствия?

Однако, когда я принялся описывать, что это за достойные женщины, как они расспрашивали, не собирается ли он как-нибудь их навестить, и вдобавок намекнул, что не мешало бы хоть взглянуть на собственный дом, он стал сдаваться.

- Мало меня занимает этот дом, - сказал он и пожал плечами. - Не сегодня-завтра я продам его.

В конце концов мне удалось его уговорить, и к часу дня мы с ним поехали. Проходя через двор, я заметил, что в квартире Марушевича все шторы были тщательно задернуты. По-видимому, он опять приобрел новую обстановку.

Стах мельком взглянул на окна, рассеянно слушая мой отчет о произведенном благоустройстве: сменили дощатый настил под воротами, починили крышу, покрасили фасад, лестница моется еженедельно. Словом, этот запущенный дом стал весьма презентабельным. Во всем полный порядок, не исключая двора и водопровода, - во всем, кроме квартирной платы.

- Впрочем, - закончил я, - более подробные сведения о поступлении квартирной платы даст тебе твой управляющий Вирский, за которым я сейчас пошлю дворника...

- Оставь ты меня в покое и с этой платой, и с управляющим, - проворчал Стах. - Идем уж к пани Ставской, и поскорей вернемся в магазин.

Мы поднялись во второй этаж левого флигеля, откуда несло вареной цветной капустой. Стах поморщился. Я постучал в кухонную дверь.

- Барыни дома? - спросил я толстую кухарку.

- Как же не дома, коли вы пожаловали? - отвечала она, подмигивая.

- Видишь, как нас принимают! - шепнул я Стаху по-немецки.

Вместо ответа он кивнул головой и выпятил нижнюю губу.

В маленькой гостиной мать пани Ставской, по обыкновению, вязала чулок; увидев нас, она привстала с кресла и с удивлением уставилась на Вокульского.

Из второй комнаты выглянула Элюня.

- Мама! - позвала она таким громким шепотом, что ее, наверное, во дворе было слышно. - Пришел пан Жецкий и еще какой-то господин.

Тотчас же вышла к нам сама пани Ставская.

Я обратился к обеим дамам:

- Сударыня, наш хозяин, пан Вокульский, явился засвидетельствовать вам свое почтение и сообщить известия...

- О Людвике? - подхватила пани Мисевичова. - Жив он?

Пани Ставская побледнела, а потом вся вспыхнула. В эту минуту она была так прелестна, что даже Вокульский посмотрел на нее если не с восторгом, то, во всяком случае, приветливо. Я уверен, что он тут же влюбился бы в нее, если б не этот противный запах капусты, доносившийся из кухни.

Мы сели. Вокульский спросил, довольны ли дамы своей квартирой, а затем рассказал им, что Людвик Ставский два года назад был в Нью-Йорке, откуда под чужою фамилией переехал в Лондон. Он осторожно упомянул о том, что в то время Ставский был болен и что недели через две, вероятно, будут получены совершенно точные сведения.

Слушая его, пани Мисевичова несколько раз прибегала к помощи носового платка... Пани Ставская держалась спокойнее, и только несколько слезинок скатилось по ее лицу. Желая скрыть свое волнение, она с улыбкой обернулась к дочурке и сказала вполголоса:

- Эленка, поблагодари пана Вокульского за то, что он принес нам вести о папочке.

На глазах ее снова блеснули слезы, но она овладела собой.

Эленка сделала Вокульскому реверанс и, внимательно поглядев на него широко открытыми глазками, вдруг обхватила ручонками его шею и поцеловала прямо в губы.

Не скоро забуду я, как изменилось лицо Стаха при этой неожиданной ласке. Насколько мне известно, его еще ни разу в жизни не целовал ребенок, поэтому в первый миг он с удивлением отстранился, затем обнял Элюню, растроганно посмотрел на нее и поцеловал в головку. Я готов был поклясться, что он сейчас встанет и скажет пани Ставской:

- Разрешите мне, сударыня, заменить отца этой прелестной девчурке...

Но Стах этого не сказал; он опустил голову и погрузился в обычную свою задумчивость. Я бы отдал половину своего годового жалованья, чтобы узнать: о чем он тогда думал? Уж не о Ленцкой ли? Эх! Вот она, старость-то!.. Что там Ленцкая? Она Ставской и в подметки не годится!

Помолчав несколько минут, Вокульский спросил:

- Довольны ли вы, сударыня, своими соседями?

- Смотря какими, - ответила пани Мисевичова.

- Конечно, вполне довольны, - поспешила сказать пани Ставская. При этом она взглянула на Вокульского и опять покраснела.

- А пани Кшешовская тоже приятная соседка? - спросил Вокульский.

- Ох, сударь! - воскликнула пани Мисевичова и подняла палец.

- Баронесса несчастна, - перебила ее пани Ставская. - Она потеряла дочку...

Говоря это, она теребила край платочка, и ее чудные ресницы затрепетали, словно она хотела взглянуть... отнюдь не на меня. Но, должно быть, веки ее сделались тяжелее свинца, и она только все сильнее заливалась румянцем и принимала все более строгий вид, как будто кто-то из нас обидел ее.

- А что за человек пан Марушевич? - продолжал Вокульский, точно не замечая обеих дам.

- Шалопай, ветрогон, - живо ответила старушка.

- Что вы, маменька, он просто оригинал, - поправила дочь. При этом она так широко раскрыла глаза и зрачки у нее стали такие большие, каких я прежде никогда не видел.

- А студенты, кажется, очень развязно себя держат. - сказал Вокульский, глядя на пианино.

- Известное дело, молодежь! - возразила пани Мисевичова и громко высморкалась.

- Посмотри, Элюня, у тебя бант развязался, - сказала пани Ставская и наклонилась к дочке, может быть затем, чтобы скрыть свое смущение при упоминании о распущенности студентов.

Этот разговор начал меня раздражать. В самом деле, надо быть тупицей или невежей, чтобы такую прелестную женщину расспрашивать о соседях! Я перестал его слушать и машинально стал смотреть во двор.

И вот что я увидел... В одном из окон Марушевича отогнулся уголок шторы, и сквозь щель сбоку можно было заметить какую-то фигуру.

"Почтенный пан Марушевич шпионит за нами!" - подумал я.

Перевожу взгляд в третий этаж главного здания... Вот так сюрприз! В крайней комнате пани Кшешовской обе форточки открыты настежь, а в глубине стоит сама баронесса, направив бинокль на квартиру пани Ставской.

"Как господь не покарает эту ведьму!" - мысленно сказал я, не сомневаясь, что это подглядывание неминуемо приведет к какой-нибудь каверзной истории.

Молитва моя была услышана. Над головой интриганки уже нависла божья кара - в виде селедки, торчавшей из форточки четвертого этажа. Селедку держала некая таинственная рука в синем рукаве с галуном, а из форточки поминутно выглядывало чье-то исхудалое, злорадно улыбающееся лицо.

Даже не обладая моей проницательностью, нетрудно было сообразить, что это один из наших должников-студентов, который только и ждет появления в форточке баронессы, чтобы запустить в нее селедкой.

Но баронесса была осторожна, и тощий студентик изнывал от скуки. Он перекидывал орудие божьего гнева из одной руки в другую и, вероятно, чтобы скоротать время, строил весьма неприличные гримасы девушкам из парижской прачечной.

Я как раз подумал о том, что покушение на баронессу, наверное, окончится неудачей, когда Вокульский встал и начал прощаться.

- Так скоро, господа, - тихонько проговорила пани Ставская и страшно сконфузилась.

- Милости просим, господа... почаще к нам, - прибавила пани Мисевичова.

Но мой олух и не подумал в ответ просить, чтобы ему разрешили бывать ежедневно или даже столоваться у них (я на его месте непременно сказал бы это); вместо того - чудак этакий! - он поинтересовался, не нуждается ли квартира в ремонте.

- О, все, что нужно было, уже устроил нам почтенный пан Жецкий, ответила пани Мисевичова, обернувшись ко мне с ласковой улыбкой. (Откровенно говоря, я не люблю, когда мне так улыбаются дамы в известном возрасте.)

В кухне Стах на минутку остановился и, по-видимому, раздраженный запахом капусты, сказал мне:

- Надо бы тут установить вентилятор, что ли...

На лестнице я уже не сдержался и воскликнул:

- Приходил бы почаще, тогда и знал бы, какие улучшения надо провести в доме. Да что ж, тебе дела нет ни до собственного дома, ни даже до такой обворожительной женщины!

Вокульский остановился у выхода и, глядя на водосточную трубу, пробормотал:

- Ха... если бы мы встретились раньше, я, может быть, женился бы на ней.

Услышав это, я испытал странное чувство: и обрадовался, и в то же время меня словно что-то кольнуло в сердце.

- А теперь ты уже не женишься? - спросил я.

- Кто знает? Может, и женюсь... только не на ней.

При этих словах я испытал чувство еще более странное. Жаль мне было, что пани Ставской не достанется такой муж, как Стах, и в то же время словно огромная тяжесть свалилась у меня с плеч.

Не успели мы выйти во двор, как вижу - баронесса высунулась в форточку и кричит, по-видимому нам:

- Господа! Пойдите!

В то же мгновение с душераздирающим воплем: "Ах, нигилисты!" - она отпрянула назад.

Одновременно в двух шагах от нас шлепнулась селедка, на которую хищно набросился дворник, даже не заметив, что я стою рядом.

- Не хочешь ли зайти к баронессе? - спросил я Стаха. - Кажется, у нее к тебе дело.

- Пусть она не морочит мне голову, - ответил он, махнув рукой.

На улице он кликнул извозчика, и мы вернулись в магазин, не обменявшись больше ни словом. Однако я уверен, что он думал о пани Ставской, и если б не эта противная капуста...

Мне было так не по себе, так тяжело на сердце, что, закрыв магазин, я отправился выпить пива. В ресторации встретил я советника Венгровича, который по-прежнему вешает всех собак на Вокульского, но иногда высказывает весьма здравые политические соображения... Ну, и проспорили мы с ним до полуночи. Венгрович прав: действительно, судя по газетам, в Европе что-то готовится. Как знать, не переедет ли юный Наполеон (его называют Люлю, покажет он вам лю-лю!) после Нового года из Англии во Францию... Президент Мак-Магон за него, князь Брольи за него, большинство народа за него... Пожалуй, можно побиться об заклад, что он сделается императором Наполеоном IV, а весной устроит-таки немцам потеху.

Уж теперь они не пойдут на Париж! Два раза такой номер не пройдет. Так вот, значит... Что, бишь, я хотел сказать? Ага!

Дня через три-четыре после нашего визита к пани Ставской приходит Стах в магазин и дает мне письмо, адресованное ему.

- Прочти-ка, - говорит он и смеется.

Разворачиваю и читаю:

"Пан Вокульский! Не взыщите, что не называю вас уважаемый, но мудрено величать так человека, от которого уже все с омерзением отвернулись. Презренный! Вы еще не успели очиститься от прежних подлых поступков и уже пятнаете себя новыми. Сейчас весь город только и говорит что о ваших посещениях женщины столь дурного поведения, как Ставская. Мало того, что вы назначаете ей свидания в городе и тайком ходите к ней по ночам (что могло бы свидетельствовать о том, что вы еще не совсем потеряли стыд), но вдобавок посещаете ее среди бела дня, на глазах у прислуги, юношества и порядочных жильцов этого опозоренного дома.

Однако не обольщайтесь, несчастный, будто вы один заводите с ней шашни. Вам тут помогают еще ваш управляющий, эта мразь Вирский, и закоснелый в разврате ваш поверенный Жецкий.

Следует прибавить, что Жецкий не только совращает вашу любовницу, но и ворует ваши доходы, снижая квартирную плату некоторым жильцам и в первую очередь Ставской, вследствие чего ваш дом уже потерял всякую ценность, а сами вы стоите на краю пропасти, и поистине великую милость оказал бы вам великодушный благодетель, который согласился бы купить эту старую развалину с небольшим для вас убытком.

Итак, если бы нашелся такой благодетель, поспешите избавиться от тягостного бремени, возьмите с благодарностью сколько дадут и бегите за границу, пока человеческое правосудие не заковало вас в кандалы и не бросило в темницу. Одумайтесь, пока не поздно! Берегитесь... и послушайтесь совета своего доброжелателя".

- Вот отчаянная баба, а? - сказал Вокульский, заметив, что я кончил читать.

- Да ну ее ко всем чертям! - воскликнул я, догадавшись, что он говорит об особе, написавшей письмо. - Это я-то закоснелый развратник? Я вор? Я завожу шашни? Проклятая ведьма!

- Ну, ну, успокойся, вот ее поверенный жалует к нам.

Действительно, в магазин вошел человек в старой шубе, выцветшем цилиндре и огромных калошах. Войдя, он воровато оглянулся по сторонам, словно какой-нибудь сыщик, и спросил у Клейна, когда можно застать пана Вокульского; затем, притворившись, будто только сейчас нас заметил, приблизился к Стаху и негромко сказал:

- Пан Вокульский, не правда ли? Не уделите ли вы мне несколько минут для разговора наедине?

Стах подмигнул мне, и мы втроем отправились на мою квартиру. Посетитель разделся, причем обнаружилось, что его брюки еще более обтрепаны, чем шуба, а борода еще более облезлая, чем меховой воротник.

- Позвольте представиться, - сказал он, протягивая Вокульскому правую, а мне левую руку. - Адвокат...

Тут он назвал свою фамилию - да так и остался с протянутыми руками. По странной

случайности ни Стах, ни я не почувствовали охоты пожать их.

Он понял это, но не смутился. Наоборот, с приятнейшим выражением лица потер руки и сказал, осклабясь:

- Вы даже не спрашиваете, господа, по какому делу я к вам явился.

- Догадываемся, что вы сами сообщите это, - ответил Вокульский.

- Вы правы! - воскликнул посетитель. - Я буду краток. Один богатый, но очень скупой литовец (литовцы очень скупы!) просил меня указать дом, который стоило бы купить. Есть у меня на примете домов пятнадцать, однако из уважения к вам, пан Вокульский (ибо мне известно, сколь многим обязана вам наша отчизна), я указал именно на ваш дом, ранее принадлежавший Ленцким; уговаривал я этого литовца две недели и наконец добился того, что он готов дать... угадайте сколько? Восемьдесят тысяч рублей! Каково? Дельце первый сорт! Что вы скажете?

Вокульский побагровел от гнева, и мне показалось, что сейчас он вышвырнет посетителя за дверь. Однако он сдержался и отвечал знакомым мне резким и неприятным тоном:

- Знаю я вашего литовца, его зовут баронесса Кшешовская...

- Что-о? - удивился адвокат.

- Этот скупой литовец дает за мой дом не восемьдесят, а девяносто тысяч, а вы мне предлагаете меньшую сумму, чтобы самому перепало...

- Хе-хе-хе! - засмеялся адвокат. - Кто же на моем месте поступил бы иначе, почтеннейший пан Вокульский?

- Так вот, передайте своему литовцу, - оборвал его Стах, - что продать дом я согласен, но за сто тысяч рублей. И то лишь до Нового года. После Нового года я потребую больше.

- Помилуйте, да ведь это безбожно! - возмутился посетитель. - Вы хотите вытянуть у бедной женщины последний грош! Что люди скажут, подумайте только!

- Что люди скажут, меня не интересует, - возразил Вокульский. - А если кто-нибудь вздумает мне нотации читать, я этому человеку укажу на дверь. Дверь вон там, видите, любезный?

- Даю девяносто две тысячи и ни копейки больше, - сказал поверенный.

- Наденьте шубу, а то на дворе холодно...

- Девяносто пять... - бросил поверенный, поспешно одеваясь.

- Ну, прощайте... - сказал Вокульский и распахнул дверь.

Поверенный низко поклонился и вышел; уже переступив порог, он прибавил слащавым тоном:

- Так я загляну к вам денька через три. Может быть, вы будете в лучшем расположении...

Стах захлопнул дверь у него перед носом.

Посещение гнусного поверенного показало мне, как обстоит дело. Баронесса непременно купит дом Стаха, но сначала пустит в ход все средства, чтобы хоть что-нибудь выторговать. Знаю я ее средства: одним из них было то анонимное письмо, в котором она чернит пани Ставскую, а обо мне говорит, что я закоснел в разврате.

Но едва она купит дом, как первым делом погонит оттуда студентов и конечно же бедную пани Элену. Хорошо бы, хоть этим ограничилась ее злоба!

Теперь уж я могу одним духом выпалить все, что последовало далее.

Так вот, посещение этого поверенного родило во мне мрачные мысли. Я решил в тот же день зайти к пани Ставской и предупредить ее, чтобы она остерегалась баронессы. А главное, чтобы как можно реже садилась у окна.

Надо сказать, что у этих дам наряду с множеством достоинств есть одна ужасная привычка: они постоянно сидят у окна - и пани Мисевичова, и пани Ставская, и Элюня, и даже кухарка Марианна. И не только весь день, но и по вечерам, при лампах, и даже занавесок не спускают, разве что перед сном. Конечно, со двора видно все, что у них происходит.

Для приличных соседей такое времяпрепровождение было бы лучшим доказательством порядочности этой семьи: гляди, мол, всякий, кто хочет, нам скрывать нечего. Однако, когда я вспомнил, что за этими женщинами постоянно шпионят Марушевич и баронесса и когда вдобавок подумал о том, как баронесса ненавидит пани Ставскую, меня охватили самые мрачные предчувствия.

Я вечером хотел сбегать к моим милым приятельницам и просить их ради всего святого, чтобы они не выставляли себя напоказ перед баронессой. Между тем как раз в половине девятого мне страшно захотелось пить - и я пошел не к моим дамам, а в ресторацию.

Там же были советник Венгрович и Шпрот, торговый агент. Зашел разговор о доме на Вспульной улице, который недавно обвалился; вдруг Венгрович чокается со мной и говорит:

- Ну, до Нового года еще не один дом провалится!

А Шпрот при этом подмигивает мне...

Не понравилось мне это, да и не в моих обычаях перемигиваться с первым встречным болваном. Я и спрашиваю:

- Позвольте узнать, что означает ваша мимика?

Он ухмыльнулся этак глуповато и говорит:

- Уж вам-то лучше моего знать, что это означает. Вокульский продает магазин, вот что!

Господи Иисусе! Как я не хватил его кружкой по лбу, сам удивляюсь. К счастью, я сдержал свой порыв, выпил две кружки пива подряд и, не выказывая волнения, спрашиваю:

- Зачем же Вокульскому продавать магазин, да и кому?

- Кому? - вмешался Венгрович. - Мало, что ли, в Варшаве евреев? Соберутся в складчину втроем, а то и вдесятером и изгадят нам Краковское Предместье по милости почтенного пана Вокульского, который держит собственный экипаж и ездит на дачу к аристократам. Бог ты мой! А давно ли он жалким мальчишкой подавал мне розбрат у Гопфера... Самое милое дело - ездить на войну да шарить по карманам у турок!

- Но магазин-то ему зачем продавать? - спросил я, ущипнув себя за ногу, чтобы не наброситься на этого пустозвона.

- И хорошо делает, что продает! - сказал Венгрович, опрокидывая в себя не знаю какую кружку пива. - Разве место среди купцов этакому барину... этакому дипломату, этакому... любителю новшеств, который выписывает из-за границы новые товары?

- Тут, я полагаю, причина иная, - начал Шпрот. - Вокульский хочет жениться на панне Ленцкой. Сперва было ему отказали, а теперь он опять к ним ездит - значит, у него появились виды... Но за галантерейного купца панна Ленцкая не пойдет, будь он даже дипломат и любитель новшеств, и Вокульский решил...

Перед глазами у меня завертелись огненные круги. Я стукнул кружкой по столу и закричал:

- Вы лжете, пан Шпрот! Вот мой адрес! - И я швырнул ему мою визитную карточку.

- Зачем вы даете мне свой адрес? - удивился Шпрот. - Прислать вам на дом партию сукна, что ли?

- Я требую удовлетворения! - крикнул я, продолжая колотить по столу.

- Та-та-та! - протянул Шпрот и повертел пальцем в воздухе. - Вам легко требовать удовлетворения: известно - венгерский офицер! Для вас убить человека, а то и двух или дать себе лоб раскроить - самое разлюбозное дело!.. А я, сударь, торговый агент, у меня жена, дети, срочные дела...

- Я заставлю вас драться на дуэли!

- Как это - заставлю? Под конвоем поведете меня, что ли? Попробовали бы вы мне что-либо подобное сказать в трезвом виде, так я бы обратился в участок, а там бы вам показали дуэль!..

- Вы бесчестный человек! - крикнул я.

Тут он принялся колотить по столу.

- Кто бесчестный? Кому вы это говорите? Что, я по векселям не плачу, или плохой товар продаю, или обанкротился? Увидим на суде, кто честный, а кто бесчестный!

- Полноте! - унимал нас советник Венгрович. - Дуэли были в моде в старину, а не теперь. Пожмите друг другу руки...

Я встал из-за стола, залитого пивом, расплатился у стойки и вышел. Ноги моей больше не будет в этом кабаке!

Разумеется, после такого потрясения я не мог идти к пани Ставской. Сначала я даже опасался, что всю ночь не буду спать. Но потом как-то заснул. А на следующий день, когда Стах пришел в магазин, я заговорил об этом.

- Знаешь, что болтают? Будто ты продаешь магазин.

- Допустим, продаю; что ж тут плохого?

В самом деле! Что ж тут плохого? (Как это мне не пришла в голову такая простая мысль!)

- Да видишь ли, - тихо продолжал я, - болтают еще, будто ты женишься на панне Ленцкой...

- Предположим... Ну и что ж?

(Опять-таки он прав! Разве ему нельзя жениться на ком угодно, хоть бы, к примеру, на пани Ставской? Как я этого не сообразил и напрасно закатил скандал бедняге Шпроту!)

В этот вечер мне снова пришлось отправиться в ресторацию - конечно, не пиво пить, а мириться с незаслуженно обиженным Шпротом, поэтому я снова не зашел предупредить пани Ставскую, чтобы она не садилась у окна.

Таким образом, я узнал не без огорчения, что вражда купцов к Вокульскому возрастает, что магазин наш будет продан и что Стах женится на панне Ленцкой. Я говорю "женится", ибо, не будь у него твердой уверенности, не выразился бы он так определенно даже в разговоре со мной. Сейчас я уже наверное знаю, по ком тосковал он в Болгарии, для кого зубами и ногтями вырывал у судьбы состояние... Что ж, на все воля божия!

Но поглядите только, как я отклоняюсь от темы... Однако теперь я уж как следует займусь злоключениями пани Ставской и расскажу о них с молниеносной быстротой".

Глава восьмая

Дневник старого приказчика

"Наконец как-то вечером, в девятом часу, пошел я к моим дамам. Пани Ставская, как всегда, занималась с девочками в другой комнате, а пани Мисевичова с Элюней... опять-таки, как всегда, сидела у окна. Не понимаю, что они там видели в темноте, но уж их-то видели все, это несомненно. Я готов поклясться, что баронесса засела с биноклем у одного из своих темных окон и следила за каждым движением во втором этаже, благо шторы, по обыкновению, не были спущены.

Укрывшись за занавеской, чтобы эта образина по крайней мере не видела меня, я без долгих слов приступил к делу и говорю пани Мисевичовой:

- Простите, сударыня, не примите в обиду... зачем вы вечно сидите у окна? Нехорошо, право...

На это почтенная дама отвечала:

- Сквозняков я, сударь мой, не боюсь, и мне это доставляет удовольствие. Вообразите только, что подметила наша Эленка! Иногда освещенные окна образуют как бы азбуку... Элюня! - обратилась она к внучке. - Посмотри-ка, милая, нет ли там какой буковки?

- Есть, бабушка, целых две: Н и Т.

- В самом деле! - подтвердила старушка. - Вот Н, а вон и Т. Взгляните-ка, сударь...

Действительно, против нас светились два окна в четвертом этаже, три в третьем и два во втором, складываясь в букву:

П П

ППП

П П

В заднем флигеле пять освещенных окон в четвертом этаже и по одному в третьем, втором и первом этажах образовали букву:

ППППП

П

П

П

- Вот из-за этих-то окон, сударь, - продолжала бабушка, - хоть буквы на них складываются не часто, Элюня начала интересоваться азбукой и теперь не нарадуется, когда ей удастся из

светлых квадратов составить какую-нибудь букву. Потому-то мы и не спускаем шторы по вечерам.

Я только плечами пожал. Ну как запретить девочке глядеть в окно, если она придумала себе такое милое развлечение!

- Как же нам не смотреть в окно, - вздохнула пани Мисевичова, - много ли у нас других удовольствий? Где мы бываем? Кого у себя принимаем? С тех пор как Людвик уехал, мы ни с кем не встречаемся. Для одних мы бедны, для других - подозрительны...

Она утерла глаза платком и продолжала:

- Ох, не следовало Людвику уезжать! Ну, посадили бы его в тюрьму... и что ж? Выяснилась бы его невиновность, и опять были бы мы вместе. А теперь он бог знает где, а моя дочь... Вот вы говорите - не смотреть... Да ведь она, бедняжка, только и знает что ждет, все прислушивается да присматривается - не едет ли Людвик или хоть весточку не пришлет ли. Стоит кому-нибудь быстрее обычного пройти по двору, она уж спешит к окну: не почтальон ли? А уж когда почтальон к нам завернет (мы, сударь, очень редко получаем письма), посмотрели бы вы, что с ней делается. В лице вся переменится, бледнеет, дрожит...

Я не смел рта раскрыть, а старушка, передохнув, продолжала:

- Да и сама я люблю сидеть у окошка, особенно если денек выдался погожий, небо чистое... Тогда у меня в памяти встает покойный муж, совсем как живой...

- Понимаю, - тихо сказал я, - о нем напоминает вам небо, где он теперь обитает.

- Не в том дело, пан Жецкий, - возразила старушка. - Он, конечно, на небе, я не сомневаюсь, - куда ж было попасть такому смиренному человеку? Но как погляжу я на небо да на стену нашего дома, так сразу мне вспоминается счастливый день нашей свадьбы... Покойный мой Клеменс был одет в голубой фрак и желтые нанковые панталоны, точь-в-точь такого цвета, как наш дом. Тут старушка всплакнула.

- Ох, пан Жецкий, право же, нам, горемычным, окно не раз заменяет и театр, и концерт, и знакомых. На что же нам еще-то смотреть?

Не могу выразить, как грустно сделалось у меня на душе, когда по столь пустячному поводу я услышал целую драму... Вдруг в соседней комнате раздался шорох. Ученицы пани Ставской кончили занятия и собирались домой, а их обворожительная учительница осчастливила меня своим появлением.

Здороваясь, я заметил, что руки у нее холодные, а божественное личико выражает усталость и грусть. При виде меня она все же улыбнулась. Милый ангел! Она словно угадала, что ее нежная улыбка целую неделю потом озаряет мою серую жизнь!

- Мама рассказала вам, какой чести мы сегодня удостоились? - спросила она.

- Ах, правда, совсем из головы вылетело... - спохватилась старушка.

Между тем девочки, вежливо присев, удалились, и мы остались одни, так сказать в семейном кругу.

- Представьте себе, - заговорила Ставская, - сегодня к нам пожаловала с визитом баронесса...

В первую минуту я даже испугалась, потому что наружность у нее, бедняжки, не особенно приятная - бледная, в черном своем платье, и взгляд у нее какой-то такой... Но баронесса

обезоружила меня тем, что при виде Элюни расплакалась и упала перед ней на колени, причитая: "Такая же была бедная моя дочурка, и вот ее нет в живых!"

Слушая пани Ставскую, я весь похолодел. Однако, не желая тревожить пустыми страхами, я решил не рассказывать ей о терзавших меня предчувствиях.

- Что же ей нужно от вас? - только спросил я.

- Она хочет, чтобы я помогла привести ей в порядок белье, платья, кружева - словом, весь гардероб. Баронесса надеется, что муж скоро вернется к ней, и хочет кое-что освежить, а кое-что прикупить. Но, по ее словам, у нее самой нет вкуса, вот она и обратилась ко мне за помощью и обещала платить по два рубля в день за три часа работы.

- И вы согласились?

- Боже мой, что же мне оставалось делать? Разумеется, поблагодарила и согласилась. Правда, это временная работа, но подвернулась она весьма кстати, потому что позавчера (сама не знаю, по какой причине) я лишилась урока музыки по пять злотых за час.

Я вздохнул, догадываясь, что причиной тому, вероятно, послужило анонимное письмо, в сочинении которых Кшешовская была великая мастерица. Но пани Ставской я ничего не сказал. Разве мог я посоветовать ей отказаться от ежедневного заработка в два рубля?

О Стах, Стах! Почему бы тебе не жениться на ней? Засела у тебя в голове панна Ленцкая! Как бы не пришлось тебе потом пожалеть!

С тех пор всякий раз, когда я приходил к милым моим приятельницам, пани Ставская подробнейшим образом посвящала меня в свои взаимоотношения с баронессой Кшешовской, у которой бывала ежедневно, работая, разумеется, не по три, а по пять-шесть часов - все за те же два рубля.

Пани Ставская весьма снисходительна к людям; тем не менее, насколько я мог судить по осторожным высказываниям, ее неприятно поражали и квартира баронессы, и окружающие ее люди.

Прежде всего баронесса совершенно не пользуется своими просторными апартаментами. Гостиная, будуар, спальня, столовая, комната барона - все это в полном запустении. Мебель и зеркала покрыты чехлами; от растений остались засохшие прутья да горшки с гнилью вместо земли; на дорогах обоях лежит толстый слой пыли. Ест баронесса тоже как попало, иногда несколько дней подряд не берет в рот горячего и на такую большую квартиру держит только одну прислугу, которую обзывает распутницей и воровкой.

Когда пани Ставская спросила баронессу, не скучно ли ей жить так одиноко, та ответила:

- А что же мне делать, сироте несчастной и почти что вдове! Вот если, бог даст, преступный мой муж раскается в своих подлостях и вернется ко мне, тогда, может быть, изменится моя затворническая жизнь. А насколько я могу судить по снам и предчувствиям, которые ниспосылает мне небо во время моих горячих молитв, муж в ближайшие дни опомнится, потому что нет у него уже ни денег, ни кредита, все потерял он, несчастный безумец...

Слушая баронессу, пани Ставская отметила про себя, что судьбе ее раскаявшегося супруга вряд ли можно будет позавидовать.

Люди, посещавшие баронессу, также не внушали доверия пани Ставской. Чаще всего приходили какие-то старухи весьма неприятного вида, которых хозяйка принимала в передней, вполголоса беседуя с ними о своем супруге. Заходили еще и Марушевич и какой-то юрист в облезлой шубе. Этим господ баронесса приглашала в столовую и, разговаривая с

ними, так громко плакала и ругалась, что слышно было во всем доме.

На робкое замечание пани Ставской, что лучше бы баронессе жить с родными, та возразила:

- С какими это, милочка моя? Никого у меня нет, да если б и были родные, не стала бы я принимать у себя людей столь корыстных и грубых. А мужнина родня от меня отреклась, потому что я не дворянской крови; однако это им не помешало выманить у меня в свое время добрых двести тысяч. Пока я давала им в долг без отдачи, они еще церемонились со мной, но когда взялась за ум, они попросту порвали всякие отношения со мной и даже принялись подзуживать моего несчастного мужа, чтобы он наложил запрет на мои капиталы. Ох, и натерпелась же я из-за этих людей! - воскликнула она и расплакалась.

Единственная комната (рассказывает пани Ставская), где баронесса проводит все свои дни, это детская ее покойной дочурки. Это печальный и странный уголок, потому что все в нем осталось в таком виде, как было при жизни ребенка. Стоит там кровать, на которой через каждые несколько дней сменяют белье, и шкафчик с одеждой, которую постоянно проветривают и чистят в гостиной, так как баронесса не позволяет выносить свои реликвии во двор. Еще там стоит столик с книжками и тетрадкой, раскрытой на той странице, где бедная девочка в последний раз написала: "Пресвятая дева, по..." - и, наконец, полка с множеством кукол, больших и маленьких, их кровати и полный гардероб.

В этой-то комнате пани Ставская чинит кружева и шелковые платья, которых у баронессы видимо-невидимо. Придется ли ей еще в них рядиться? Об этом пани Ставская не берется судить.

Однажды баронесса спросила пани Ставскую, знакома ли она с Вокульским, и, хоть та ответила, что почти незнакома, баронесса сказала следующее:

- Дорогая, вы мне окажете истинную милость, попросту благодеяние, если заступитесь за меня перед этим господином в одном важном для меня деле. Я хочу купить у него дом и даю уже девяносто пять тысяч рублей, а он из упрямства (других причин нет!) требует сто тысяч. Этот человек хочет меня разорить! Скажите вы ему, что он меня без ножа режет... - со слезами кричала баронесса, - и что за жадность господь покарает его!

Пани Ставская сильно смутилась и отвечала, что ни в коем случае не станет говорить об этом с Вокульским.

- Я его не знаю... Он был у нас всего один раз... Да и прилично ли мне вмешиваться в такие дела?

- Стоит вам пожелать, и вы сделаете с ним все что угодно, - возразила баронесса. - Но если вы не хотите спасти меня от гибели - что ж, воля божья... По крайней мере исполните свой христианский долг и скажите этому человеку, как я хорошо отношусь к вам...

Услышав это, пани Ставская встала и собралась уйти. Но баронесса бросилась ей на шею и так ругала себя, так умоляла простить ее, что у мягкосердечной пани Элены навернулись на глаза слезы, и она осталась.

Окончив свой рассказ, пани Ставская спросила тоном, в котором слышалась робкая просьба:

- Значит, пан Вокульский не хочет продавать свой дом?

- Какое не хочет? - сердито отвечал я. - Он продаст и дом, и магазин... все продаст...

Яркий румянец залил лицо пани Ставской; она повернула свой стул спинкой к лампе и тихо спросила:

- Почему же?

- Откуда мне знать! - сказал я, испытывая то жестокое удовольствие, какое нам всегда доставляет боль, причиняемая нашим близким. - Откуда мне знать?.. Говорят, он собирается жениться...

- Да, да, - подтвердила пани Мисевичова. - Поговаривают о панне Ленцкой.

- Это верно? - шепнула пани Ставская.

Она вдруг прижала руки к груди, словно у нее перехватило дыхание, и вышла в соседнюю комнату.

"Хорошенькое дело! - подумал я. - Видела его один раз и уже в обморок падает..."

- Не понимаю, какой ему смысл жениться? - обратился я к пани Мисевичовой. - Вряд ли он имеет успех у женщин.

- Ах, что вы говорите, пан Жецкий! - всплеснула руками старушка. - Как же ему не иметь успеха у женщин?

- Ну, красавцем его не назовешь...

- Его? Да он совершенный красавец! Что за фигура, рост, какое благородство в лице, а глаза!.. Вы, значит, не разбираетесь в этом, сударь мой. А я вам прямо скажу (мне, в моем возрасте, позволительно) - видала я на своем веку красивых мужчин (Людвик тоже был хорош собой), но такого, как Вокульский, вижу в первый раз. Его среди тысячи отличишь...

Я в душе удивлялся ее похвалам. Правда, я и сам знаю, что Стах хорош собой, но чтобы настолько... Ну, да я ведь не женщина.

Около десяти часов я попрощался с моими дамами; пани Ставская плохо выглядела, была бледна и жаловалась на головную боль.

Ну и осел же Стах! Такая женщина с первого взгляда без памяти влюбилась в него, а он, полоумный, бежит за панной Ленцкой. Нечего сказать, хорошо же устроен мир!

Будь я на месте господ бога... Да что болтать попусту.

Поговаривают, будто в Варшаве начнут проводить канализацию. К нам даже заходил по этому поводу князь, приглашал Стаха на совещание. А когда они кончили говорить о канализации, князь спросил насчет дома. Я был при этом и отлично все помню.

- Правда ли (простите, что затрону этот предмет), правда ли, поинтересовался князь, - будто вы запросили с баронессы Кшешовской сто двадцать тысяч?

- Неправда, - ответил Стах. - Я прошу сто тысяч и не уступлю ни копейки.

- Баронесса чудачка, истеричка, но... это несчастная женщина. Она хочет купить ваш дом, во-первых, потому, что там скончалась ее обожаемая дочка, а во-вторых, чтобы спасти остатки капитала от расточительства мужа, который любит сорить деньгами... Так не могли бы вы, знаете, уступить ей немного? Как это возвышенно - облегчать жизнь несчастным! - закончил князь и вздохнул.

Я всего-навсего приказчик, но, откровенно говоря, меня удивила подобная благотворительность за чужой счет. Видно, Стаха это задело еще сильнее, потому что он ответил решительно и сухо:

- Значит, из-за того, что барон сорит деньгами, а его жене понравился мой дом, я должен терять несколько тысяч? С какой стати?

- Ну, не обижайтесь, уважаемый пан Вокульский, - сказал князь, пожимая ему руку. - Все мы как-никак живем среди людей: люди нам помогают, должны и мы кое-чем поступаться ради них...

- Мне вряд ли кто помогает, а мешают многие, - возразил Стах.

Они простились весьма холодно. Я заметил, что князь был недоволен.

Странные люди! Мало того, что Вокульский основал это Общество по торговле с Россией и дал им возможность наращивать пятнадцать процентов на их капитал, так они еще хотят, чтобы по первому их слову он подарил баронессе несколько тысяч рублей...

Но что за ловкая баба, куда только она не пролезет! К Стаху уже являлся какой-то ксендз и призывал его именем Христовым отдать баронессе дом за девяносто пять тысяч. Однако Стах отказал наотрез, и, надо думать, в ближайшем будущем мы услышим, что он закоренелый безбожник.

Теперь следует главное событие, которое я изложу с молниеносной быстротой.

Вскоре после посещения князя я опять собрался к пани Ставской (это было в тот самый день, когда император Вильгельм после истории с Нобилингом взял бразды правления в свои руки). В тот вечер эта бесподобная женщина была в прекрасном настроении и нахвалиться не могла баронессой.

- Представьте себе, - говорила она, - какая это, при всех ее чудачествах, благородная женщина! Заметив, что мне скучно без Элюни, она предложила мне всегда приводить с собою дочку на эти несколько часов...

- То есть на эти шесть часов за два рубля? - ввернул я.

- Ну, какие же шесть! Самое большее четыре... Элюня там отлично проводит время; правда, ей запретили что-либо трогать, зато она может сколько угодно смотреть на игрушки покойной девочки.

- А игрушки действительно так хороши? - спросил я, готовя про себя некий план.

- Прекрасные игрушки, - оживленно отвечала пани Ставская. - Особенно одна огромная кукла, у нее темные волосы, а если нажать... вот здесь, чуть пониже корсажа... - тут она зарумянилась.

- Позвольте спросить, не в животик ли?

- Да, да, - быстро проговорила она. - Тогда кукла водит глазками и говорит "мама!". Ах, до чего забавно! Мне самой хотелось бы такую. Зовут ее Мими. Элюня, как увидела ее в первый раз, всплеснула ручками, да так и застыла на месте. А когда пани Кшешовская нажала куклу и та заговорила, Элюня закричала: "Мама, мамочка, какая же она красавица! Какая умница! Можно поцеловать ее в щечку?" И поцеловала ее в носок лакированной туфельки.

С тех пор она даже во сне бредит этой куклой: как только проснется, просится к баронессе, а там - становится перед куклой, сложив ручки, как на молитву, и глядит не наглядится... Право же, - закончила пани Ставская, понизив голос (Элюня играла в соседней комнате), - я была бы счастлива, если бы могла ей купить такую куклу...

- Наверно, она очень дорогая, - заметила пани Мисевичова.

- Ну что же, маменька, пусть дорогая, - возразила пани Ставская, - кто знает, смогу ли я еще когда-нибудь доставить ей столько радости, как теперь этой куклой.

- Кажется, у нас есть как раз такая же кукла, - сказал я, - и если вы соблаговолите зайти к нам в магазин...

Я не осмелился предложить куклу в подарок, понимая, что матери будет приятнее самой обрадовать ребенка.

Хоть мы и говорили вполголоса, Элюня, должно быть, услышала, о чем идет речь и выбежала к нам с разгоревшимися глазенками. Чтобы отвлечь ее внимание, я спросил:

- Ну, Эленка, как тебе нравится баронесса?

- Так себе, - отвечала девочка, опершись на мое колено и глядя на мать. (Боже мой, почему я не отец этого ребенка?)

- А она разговаривает с тобой?

- Очень мало. Только раз она спросила, балует ли меня пан Вокульский?

- Вот как? А ты что?

- Я сказала, что не знаю, какой это пан Вокульский. Тогда баронесса говорит... Ах, как ваши часики громко тикают. Можно мне посмотреть?

Я вынул часы и дал их Элюне.

- Что же говорит баронесса? - напомнил я.

- Баронесса говорит: как же ты не знаешь пана Вокульского? Ну, тот, что к вам ходит с этим... раз... раз... развальником Жецким... Ха-ха-ха! Вы вральник, да?.. Покажите мне, что там внутри в часах...

Я взглянул на пани Ставскую. Она была так поражена, что даже забыла сделать замечание Элюне.

Попили мы чайку с сухими булками (прислуга объяснила, что сегодня нельзя было достать масла), и я попрощался с достойными дамами, покаявшись в душе, что, на месте Стаха, я не отдал бы баронессе дом дешевле ста двадцати тысяч рублей.

Между тем эта ведьма, исчерпав все возможные протекции и испугавшись, как бы Вокульский не поднял цену или не продал дом кому-нибудь другому, в конце концов решила заплатить сто тысяч.

Говорят, она бесновалась несколько дней подряд, закатывала истерики, исколотила прислугу, обругала в нотариальной конторе своего поверенного, но все-таки купчую подписала.

Прошло несколько дней после продажи дома, и все было тихо. То есть тихо в том смысле, что мы перестали слышать о баронессе, зато начали ходить к нам с претензиями ее жильцы.

Первым прибежал сапожник - тот, из заднего флигеля, с четвертого этажа, - плакаться, что новая владелица повысила ему квартирную плату на тридцать рублей в год. А когда я ему наконец втолковал, что нас это уже не касается, он вытер слезы и хмуро буркнул на прощание:

- Видать, пан Вокульский бога не боится, - взял да и продал дом кровопийце.

Слыхали вы что-нибудь подобное?

На другой день пожаловала к нам в магазин хозяйка парижской прачечной. Выглядела она внушительно: бархатный салоп, движения величавые, а физиономия полна решимости.

Уселась эта дама в кресло, осмотрелась вокруг, словно пришла с намерением купить парочку японских ваз, и вдруг разразилась:

- Ну, спасибо вам, сударь мой! Ловко вы со мной обошлись, нечего сказать... Купили дом в июле, а продали в декабре, скоро дельце сварганили и никому ни словечка... - И, багровея, продолжала: - Сегодня эта шельма прислала ко мне какого-то верзилу и велела освободить помещение. Что ей в башку втемяшилось, не пойму; ведь плачу я, кажется, аккуратно... А она, лахудра этакая, велит мне съезжать, да еще на заведение мое наговаривает, что, мол, девушки мои спутались со студентами... врет бессовестно... Где я среди зимы найду другое помещение... Разве я могу переехать из дома, куда мои клиенты привыкли ходить?... Да ведь я на этом могу тысячи потерять, а кто мне вернет, спрашивается?

Меня бросало то в жар, то в холод, пока я слушал эти излияния, выкрикиваемые звучным контральто в присутствии покупателей. Еле-еле удалось увести ее ко мне на квартиру и там уговорить, чтобы она подала на нас в суд о возмещении убытков!

Только эта баба ушла - трах! - влетает студент, тот, бородатый, который из принципа не платит за квартиру.

- Ну, как живете-можете? - спрашивает он. - Скажите, правда, что эта чертовка Кшешовская купила ваш дом?

- Правда, - говорю я, а сам думаю: "Этот, верно, уж просто бросится на меня с кулаками".

- Дело дрянь! - говорит бородач и щелкает пальцами. - Такой славный хозяин был этот Вокульский (Стах от них ни гроша за все время не видел) и, на тебе, продал дом... Значит, теперь Кшешовская может нас выставить вон?

- Гм... гм... - отвечаю я.

- И таки выставит, - вздохнул он. - Уж приходил к нам какой-то субъект, требовал, чтобы мы убирались... Ну, да, черт побери, без суда им нас с места не сдвинуть, а если попробуют... мы им покажем, на потеху всему дому! Прощайте.

Хорошо, думаю, что хоть этот не в претензии к нам. Пожалуй, они действительно устроят баронессе потеху...

Наконец на следующий день прибегает Вирский.

- Знаете, коллега, - говорит он в смятении, - эта баба уволила меня со службы и велит к Новому году съезжать с квартиры.

- Вокульский уже позаботился о вас, - отвечаю, - вы получите место в Обществе по торговле с Россией...

Так я выслушивал одних, успокаивал других, утешал третьих - словом, кое-как выдержал главный натиск. Я понял, что баронесса расправляется с жильцами, как Тамерлан, и начал инстинктивно тревожиться за прелестную и добродетельную пани Элену.

Между тем дело уже шло к концу декабря. Однажды открывается дверь, и входит к нам пани Ставская, еще прелестней обычного (она всегда прелестна и когда весела и когда озабочена).

Смотрит на меня своими чарующими глазами и тихо говорит:

- Не можете ли вы мне показать эту куклу?

Кукла (даже целых три) уже давно была отложена, но я впопыхах не сразу ее отыскал. Клейн выразительно поглядывал на меня - смешной, право: еще подумает, что я влюблен в пани Ставскую.

Наконец вытаскиваю я коробку с тремя куклами: брюнеткой, блондинкой и шатенкой. Все три с настоящими волосами, все три, когда надавишь животик, ворочают глазами и издают писк, который, по мнению пани Ставской, звучит как "мама", по мнению Клейна - как "папа", а по-моему - как "гу-гу".

- Какая прелесть! - говорит Ставская. - Только, наверное, дорого стоит...

- Видите ли, - говорю я, - этот товар мы хотим сбыть поскорей, поэтому можем уступить очень дешево. Сейчас я спрошу хозяина...

Стах сидел за шкафами и работал, но когда я сказал ему, что пришла пани Ставская и по какому делу, он обрадовался, бросил свои счета и поспешил в магазин. Я даже заметил, что он как-то необычно приветливо смотрит на пани Ставскую, словно она ему очень понравилась. Ну, наконец-то... слава тебе, господи!

Толковали мы, толковали и в конце концов убедили пани Элену, что кукла, как товар бракованный, который нам трудно сбыть, продается за три рубля какая угодно - блондинка или брюнетка.

- Я возьму эту, - сказала она, беря шатенку, - она точь-в-точь такая, как у баронессы. Вот обрадуется моя Элюня!

Когда нужно было платить, пани Ставскую снова одолели сомнения: ей все казалось, что такая кукла должна стоить рублей пятнадцать, и лишь объединенными усилиями Вокульского, Клейна и моими удалось ее уговорить, что на этих трех рублях мы еще заработаем.

Вокульский вернулся к своим занятиям, а я спросил пани Элену, что у них слышно и как она ладит с баронессой.

- Уже никак, - ответила она, покраснев. - Пани Кшешовская устроила мне сцену за то, что я не хотела оказать ей протекцию к пану Вокульскому и что ей пришлось заплатить за дом сто тысяч, ну, и так далее. Словом, я с ней распрощалась и больше никогда туда не пойду. И, разумеется, она потребовала, чтобы к Новому году мы освободили квартиру.

- А она с вами расплатилась?

- Ах! - вздохнула пани Елена и уронила муфточку, которую Клейн поспешил поднять.

- Значит, нет?

- Нет... Баронесса сказала, будто у нее сейчас нет денег и главное уверенности, что мой счет правильный.

Мы с ней посмеялись над странными выходками баронессы и простились в отличном настроении. А наш Клейн распахнул перед ней дверь с такой неожиданной грацией, что одно из двух: или он считает ее уже нашей хозяйкой, или же сам влюблен в нее. Глупая голова! Он тоже живет в доме баронессы и изредка посещает пани Ставскую, но всегда сидит с таким унылым видом, что Эленка спросила однажды у бабушки: "Наверное, пан Клейн сегодня

принял касторку?" Мечтатель! Ему ли думать о такой женщине!

А теперь я опишу трагедию, при воспоминании о которой меня до сих пор еще душит гнев.

Накануне сочельника 1878 года, после обеда, сижу я в магазине и вдруг получаю записку от пани Ставской с просьбой прийти сегодня вечером. Почерк меня поразило: видимо, пани Елена была сильно взволнована. Я решил, что она получила вести о муже.

"Наверное, он возвращается, - подумал я. - Черт бы побрал этих пропавших мужей, которые через несколько лет неожиданно одумываются!"

К вечеру влетает Вирский, растерянный, еле дух переводит. Тащит меня на мою квартиру, запирает дверь, не раздеваясь, бросается в кресло и говорит:

- Знаете, зачем Кшешовская вчера до полуночи торчала у Марушевича?

- До полуночи, у Марушевича?

- Да, и вдобавок со своим жуликом адвокатом. Марушевич, негодяй этакий, подсмотрел из своих окон, как пани Ставская наряжала куклу, и баронесса пошла к нему с биноклем проверить это...

- Ну и что же?

- А то, что у баронессы за несколько дней перед тем пропала кукла ее покойной дочери, и теперь эта полоумная обвиняет Ставскую...

- В чем?

- В краже куклы!

Я перекрестился.

- Пустяки! Кукла куплена у нас.

- Я знаю. Но сегодня в девять часов баронесса ворвалась к пани Ставской с околоточным, велела забрать куклу и составила протокол. Уже подана жалоба в суд...

- С ума вы сошли, Вирский! Ведь кукла куплена у...

- Знаю, знаю, да что из того, если скандал уже разразился! И самое скверное (я слышал от околоточного), что пани Ставская, не желая, чтобы Элюня увидела куклу, вначале отказывалась ее показать, умоляла говорить тише, даже расплакалась... Околоточный говорит, что он сам был застигнут врасплох, потому что не знал, зачем баронесса тащит его к пани Ставской. Но когда ведьма принялась орать: "Она меня обокрала! Кукла пропала в тот самый день, когда она была у меня в последний раз... Арестуйте ее, я всем своим имуществом отвечаю за правильность обвинения!" - ну, тут мой околоточный забрал куклу в участок и попросил пани Ставскую следовать за ним... Скандал, ужаснейший скандал!

- А вы чего же молчали? - в бешенстве закричал я.

- Я там уже не живу. А прислуга пани Ставской еще больше испортила дело - во всеуслышание обругала околоточного на улице, за что даже угодила в каталажку. Да тут еще хозяйка парижской прачечной, чтобы подольститься к баронессе, всячески поносила пани Ставскую... И теперь мы можем утешаться только тем, что славные студенты окатили баронессу какой-то дрянью, и она никак отмыться не может...

- Да, но суд... справедливость! - завопил я.

- Суд пани Ставскую оправдает, это ясно. Однако скандал остается скандалом... Репутация бедной женщины погублена - сегодня она уже отправила всех учениц по домам и сама не пошла на уроки. Сидят с матерью и целый день плачут.

Само собой, я не стал дожидаться закрытия магазина (теперь это случается со мной часто) и побежал к пани Ставской; даже не побежал, а поехал на извозчике.

По дороге меня осенила счастливейшая мысль - сообщить о случившемся Вокульскому, и я заехал к нему, хотя не был уверен, застану ли его дома, потому что в последнее время он все чаще несет службу при панне Ленцкой.

Вокульский был у себя, но какой-то расстроенный, - по-видимому, ухаживание не идет ему на пользу.

Однако, когда я рассказал историю с баронессой и куклой, он оживился, поднял голову, и глаза у него загорелись. (Я уже не раз замечал, что чужая беда - лучшее лекарство против наших собственных огорчений).

Он с интересом выслушал меня (мрачные мысли как рукой сняло) и сказал:

- Ну и отчаянная же баба эта баронесса! Но пани Ставской беспокоиться нечего: дело ее чистое, как стеклышко. В конце концов не ее одну преследует человеческая подлость!

- Тебе-то хорошо говорить, - возразил я, - ты мужчина, а главное, у тебя есть деньги... А она, бедняжка, сегодня уже лишилась всех своих уроков, вернее, сама отказалась от них. Чем же она теперь будет жить?

- Фью! - свистнул Вокульский и хлопнул себя по лбу. - Об этом я не подумал...

Он несколько раз прошелся по комнате (брови у него были нахмурены), наткнулся на стул, побарабанил пальцами по окну и вдруг подошел ко мне.

- Хорошо! - сказал он. - Ступай теперь к своим дамам, а я через час тоже приеду. Кажется, удастся кое-что сделать через пани Миллерову.

Я посмотрел на него с благоговением. У пани Миллеровой недавно умер муж, тоже галантерейный купец; ее магазин, капитал и кредит - все было в руках Вокульского. Я уже догадывался, как Стах собирается помочь пани Ставской.

Итак, я выскакиваю на улицу, прыг в пролетку, мчусь, как три паровоза, и быстрее ракеты влетаю к прелестной, благородной, несчастной, всеми покинутой пани Элене. Грудь мою распирает от радостных возгласов, и, раскрывая дверь, я хочу воскликнуть со смехом: "Чихать вам на все и на всех!" Вхожу - и веселости моей как не бывало.

Ибо прошу вообразить, что я увидел. В кухне - Марианна с обвязанной головой и вспухшей физиономией - несомненное доказательство, что она побывала в участке. Печь не топлена, обеденная посуда не мыта, самовар не поставлен, а вокруг пострадавшей сидят дворничиха, две прислуги и молочница - все с похоронными лицами.

Мороз продрал меня по коже, однако иду дальше, в гостиную.

Картина почти такая же. Посреди комнаты, в кресле, пани Мисевичова, тоже с обвязанной головой, подле нее пан Вирский, пани Вирская, хозяйка парижской прачечной, успевшая опять рассориться с баронессой, и еще несколько дам; все переговариваются вполголоса, зато сморкаются на целую октаву выше, чем при обычных обстоятельствах. В довершение всего вижу возле печки пани Ставскую: сидит бедняжка на табурете, белая как мел.

Словом, настроение похоронное, лица бледные или желтые, глаза заплаканные, носы красные. Одна Элюня кое-как держится: сидит за роялем со своей старой куклой и время от времени ударяет по клавишам ее ручкой, приговаривая:

- Тише, Зосенька, тише... Не надо играть, у бабушки головка болит.

Добавьте сюда тусклый свет лампы, которая коптит, и... и... поднятые шторы, и вы поймете, что я почувствовал при этом.

Пани Мисевичова, увидев меня, залилась слезами - вероятно, из последних запасов.

- Ах, вы пришли, мой великодушный пан Жецкий? Не погнушались бедными женщинами, покрытыми позором! Ох, зачем же вы целуете мне руку! Несчастье преследует нашу семью... Недавно Людвика невесть в чем обвинили, а теперь пришел наш черед... Придется уехать отсюда хоть на край света... У меня под Ченстоховом сестра, там доживем мы остаток загубленной жизни...

Я шепнул Вирскому, чтобы он вежливо выпроводил гостей, и подошел к пани Ставской.

- Лучше бы мне умереть... - сказала она вместо приветствия.

Признаюсь, что, пробыв там несколько минут, я вконец обалдел. Я готов был поклясться, что пани Ставская, ее матушка и даже знакомые дамы действительно опозорены и всем нам остается только умереть. Мысль о смерти не мешала мне, однако, повернуть фитиль в лампе, от которой по всей комнате летали легчайшие, но очень черные хлопья сажи.

- Ну, сударыни мои, - вдруг поднялся Вирский, - пойдете-ка отсюда, пану Жецкому надо поговорить с пани Ставской.

Гости, в которых сочувствие не ослабило любопытства, заявили, что и они не прочь участвовать в разговоре. Но Вирский принялся так размашисто подавать им салопы, что бедняжки растерялись и, перецеловав пани Ставскую, пани Мисевичову, Элюню и пани Вирскую (я думал, что они сейчас начнут целовать даже стулья), не только убрались сами, но вдобавок заставили и супругов Вирских уйти вместе с ними.

- Раз секрет, так секрет, - сказала самая бойкая из них. - Вам тут тоже делать нечего.

Последний приступ прощальных приветствий, соболезнований и поцелуев, и, наконец, вся ватага выкатилась вон, не преминув, однако, задержаться в дверях и на лестнице для обмена любезностями. Ах, бабы, бабы! Иногда я думаю, что господь для того и сотворил Еву, чтобы Адаму осточертело пребывание в раю.

И вот мы остались в семейном кругу, но гостиная настолько пропиталась копотью и грустью, что я сам потерял всякую энергию. Жалобным голосом попросил я у пани Ставской разрешения открыть форточку и с невольным упреком посоветовал ей, чтобы по крайней мере отныне она опускала шторы на окнах.

- Вы помните, - сказал я пани Мисевичовой, - я давно обращал ваше внимание на шторы? Если б они были опущены, пани Кшешовская не могла бы подсматривать за вами.

- Правильно, но кто же мог предположить? - вздохнула пани Мисевичова.

- Так уж нам суждено, - шепотом добавила пани Ставская.

Я уселся в кресло, стиснул пальцы так, что суставы затрещали, и со спокойствием отчаявшегося человека стал слушать сетования пани Мисевичовой о позоре, который вновь обрушился на их семью, о смерти, которая кладет конец людским страданиям, о нанковых

панталонах блаженной памяти Мисевича и о множестве тому подобных вещей. Не прошло и часу, как я был глубоко убежден, что суд по делу о кукле завершится всеобщим самоубийством, причем я, испуская дух у ног пани Ставской, решусь наконец признаться ей в любви.

Вдруг кто-то громко позвонил у кухонных дверей.

- Околоточный! - воскликнула пани Мисевичова.

- Барыни принимают? - послышался чей-то уверенный голос, мигом вернувший мне бодрость.

- Вот и Вокульский, - сказал я пани Ставской и подкрутил ус.

На чудном личике пани Элены появился румянец, подобный бледно-розовому лепестку, упавшему на снег. Божественная женщина! О, почему я не Вокульский!.. Тогда бы...

Вошел Стах. Пани Елена поднялась ему навстречу.

- Вы нас не презираете? - спросила она сдавленным голосом.

Вокульский удивленно взглянул ей в глаза и... два раза, один за другим, - два раза, не сойти мне с этого места! - поцеловал ей руку. А как нежны были эти поцелуи, можно было судить по тому, что совсем не слышно было обычного в таких случаях чмоканья.

- Ах, вы пришли, великодушный пан Вокульский?.. Не погнушались несчастными женщинами, покрытыми позором! - завела, не знаю уж в который раз, свою приветственную речь пани Мисевичова.

- Простите, сударыни, - прервал ее Вокульский. - Ваше положение, конечно, не из приятных, но я не вижу причин впадать в отчаяние. Через две-три недели дело выяснится, и тогда придет время убиваться - только не вам, а этой сумасшедшей баронессе. Как поживаешь, Элюня? - прибавил он, целуя девочку.

Он говорил таким спокойным, уверенным тоном и держался так непринужденно, что пани Мисевичова перестала охать, а пани Ставская взглянула на меня немного бодрее.

- Что же нам делать, великодушный пан Вокульский, который не погнушался... - начала пани Мисевичова.

- Сейчас терпеливо ждате, - перебил Вокульский. - На суде доказать, что баронесса лжет, а затем возбудить против нее иск за клевету; и если ее засадят в тюрьму, пускай отсидит свой срок до последнего часа. Месяц тюремного заключения пойдет ей на пользу. Я уже говорил с адвокатом, завтра он явится к вам.

- Сам бог послал вас, пан Вокульский! - воскликнула пани Мисевичова уже вполне обычным голосом и сорвала с головы повязку.

- Я пришел к вам по более важному поводу, - обратился Стах к пани Ставской (как видно, ему, ослу этакому, не терпелось ее покинуть!). - Вы прекратили свои уроки?

- Да.

- Откажитесь от них раз и навсегда. Это работа тяжелая и невыгодная. Возьмитесь лучше за торговое дело.

- Я?

- Да, вы. Вы умеете считать?

- Я училась бухгалтерии... - еле слышно произнесла пани Ставская. Она почему-то так разволновалась, что должна была опуститься на стул.

- Отлично. Так вот, на меня свалился еще один магазин вместе с его владелицей, вдовой. Почти весь капитал этого предприятия принадлежит мне, поэтому я должен иметь там своего человека, предпочтительно женщину, принимая во внимание владелицу магазина. И так, согласны ли вы пойти на место кассирши, с жалованьем... пока что семьдесят пять рублей в месяц?

- Ты слышишь, Елена? - И пани Мисевичова обернула к дочери лицо, выражавшее крайнюю степень удивления.

- Значит, вы доверили бы свою кассу мне, несмотря на то, что меня обвиняют... - пролепетала пани Ставская и вдруг разрыдалась.

Однако очень скоро обе дамы успокоились, а через полчаса мы все уже пили чай, мирно беседуя и смеясь...

И это сделал Вокульский! Другого такого на всем свете не найти! Как тут его не любить? Правда... и я, может быть, был бы не менее добрым, только мне не хватает для этого пустячка... полмиллиона рублей, которыми располагает милейший Стах.

Тотчас же после рождества я повел пани Ставскую в магазин Миллеровой, которая приняла новую кассиршу очень сердечно и полчаса мне рассказывала, какой Вокульский благородный, умный и красивый... Как он спас магазин от банкротства, а ее с детьми от нищеты и как хорошо бы такому человеку жениться.

Игривая бабенка, хотя ей добрых тридцать пять лет! Не успела одного мужа спровадить на Повонзки, как уже готова (руку дал бы на отсечение) второй раз выскочить замуж... само собою, за Вокульского! Ей-богу, и не перечтешь, сколько баб бегают за Вокульским (или за его капиталами?).

Пани Ставская, со своей стороны, всем восхищается: и службой, которая приносит ей жалованье, какого она никогда не получала, и новой квартирой, которую подыскал ей Вирский.

Квартира действительно недурна: передняя, кухонька с водопроводом и раковиной, три довольно уютные комнатки, а сверх того, садик. Пока что в нем торчат только три высохших прутика да лежит куча кирпичей, но пани Ставская воображает, что летом устроит в нем рай. Рай, который весь уместится под носовым платком!

1879 год начался победой англичан в Афганистане: под предводительством генерала Робертса они вошли в Кабул. Наверное, соус кабуль поднимется в цене! Молодчина Робертс: без руки, а лупит афганцев так, что перья летят... Впрочем, таких дикарей лупить нетрудно: посмотрел бы я, мистер Робертс, как бы вы справились с венгерской пехотой!

Для Вокульского новый год тоже начался баталией с этим Обществом по торговле с Россией. Мне кажется, еще одно заседание, и он разгонит своих компаньонов на все четыре стороны. Что за странные люди, даром что интеллигенты: промышленники, купцы, дворяне, графы! Он им основал торговое общество, а они его же считают врагом этого общества и всю заслугу приписывают себе. Он им дает семь процентов за полугодие, а они еще недовольны и хотели бы снизить жалованье служащим.

А милые служащие, за которых Вокульский ломает копья! Чего-чего только они не

наговаривают на него, называют его эксплуататором (NB - в нашем предприятии самые высокие оклады и премии), подкапываются друг под друга...

С грустью вижу, что с некоторых пор у нас начинают прививаться неизвестные ранее повадки: поменьше работать, погромче жаловаться, а потихоньку строить козни и распускать сплетни. Но зачем мне мешаться в чужие дела...

А теперь я с невероятной быстротой dokonчу рассказ о трагедии, которая неминуемо потрясет каждое благородное сердце.

Я уже успел позабыть о гнусном процессе Кшешовской против невинной, чистой, чудесной пани Ставской, как вдруг однажды, в конце января, над нами сразу разразилось два громовых удара: известие о том, что в Ветлянке вспыхнула чума, и - повестки мне и Вокульскому с вызовом в суд на завтра. У меня ноги онемели, и онемение это стало подниматься от пяток к коленям, а потом выше, к желудку, направляясь, по-видимому, к сердцу. "Чума или паралич?" - думал я. Но Вокульский принял повестку весьма равнодушно, и я преисполнился надежды.

И вот иду я вечером, такой бодрый, к моим дамам, уже на новую их квартиру, как вдруг слышу посредине улицы: "Клинг-кланг!.. клинг-кланг!" О, раны Христовы, да ведь это ведут арестантов?.. Что за ужасное предзнаменование!

Ох, какие грустные мысли овладели мной: "Что, если суд нам не поверит (ведь случаются судебные ошибки) и эту благороднейшую женщину бросят в тюрьму, хотя бы на неделю, хотя бы на один день, - что тогда? Она этого не переживет, да и я тоже... А если переживу, то разве лишь затем, чтобы заботиться о бедняжке Элюне.

Да! Я должен жить... Но что это будет за жизнь!

Вхожу к ним... Опять та же история! Пани Ставская, страшно бледная, сидит в сторонке на табурете, а у пани Мисевичовой на голове платок, смоченный в болеуспокаивающем растворе. Старушка благоухает камфарой и громко причитает:

- О великодушный мой пан Жецкий, вы не погнушались бедными опозоренными женщинами! Представьте себе, какое несчастье: завтра разбирается дело Элены... И подумайте только, что будет, если суд ошибется и приговорит мою несчастную дочь к арестантским ротам?.. Не волнуйся, Эленка, мужайся, мужайся, авось бог помилует... Хотя сегодня мне приснился ужасный сон...

(Она видела сон... я повстречал арестантов... Быть беде!)

- Да что вы, полноте! - говорю я. - Наше дело чистое, мы выиграем... Велика важность - наше дело! Похуже вот история с чумой, - прибавил я, желая отвлечь ее внимание от столь горестного предмета.

Ну, и попал пальцем в небо! Старушка как всполошится:

- Чума? тут? в Варшаве? Что, Элена, не говорила я тебе? О-оо-ох! всем нам погибать... Известное дело, во время чумы все запираются по домам... еду подают через окна на шестах... трупы крючьями стаскивают в ямы...

Ну, вижу я, старушонка моя разошлась вовсю, и, чтобы померить ее пыл насчет чумы, я опять упомянул о суде, на что милая дама ответила длинным рассуждением о позоре, преследующем их семью, о возможном заключении пани Ставской в тюрьму, о том, что у них распаялся самовар...

Короче говоря, последний вечер перед судом, когда необходимо было собрать всю энергию, именно этот последний вечер прошел в разговорах о чуме и смерти, позоре и тюрьме. В

голове у меня все так перепуталось, что, выйдя на улицу, я не сразу мог сообразить, куда мне надо: направо или налево.

На следующий день (дело было назначено на десять часов) я уже в восемь приехал к моим дамам, но не застал ни души. Все отправились к исповеди мамаша, дочка, внучка и кухарка - и беседовали с богом до половины десятого, а я, несчастный (на дворе-то был январь), прогуливался на морозе перед домом и размышлял: "Только этого не хватает! Опоздают к разбору, а может, и уже опоздали, суд заочно вынесет приговор и, разумеется, не только осудит пани Ставскую, но вдобавок еще решит, что она сбежала, и разошлет объявления с ее приметам... С бабами всегда так!"

Наконец все четыре явились вместе с Вирским (неужели и этот благочестивый человек ходил сегодня к исповеди?) и мы в двух пролетках поехали в суд: я с пани Ставской и Элюней, а Вирский с пани Мисевичовой и кухаркой. Жаль, что не прихватили с собою еще кастрюлю, самовар и керосинку! Перед зданием суда мы увидели экипаж, в котором приехали Вокульский и адвокат. Они поджидали нас у лестницы, грязной, как будто по ней прошел батальон пехоты; у обоих были совершенно спокойные лица. Я даже готов держать пари, что они беседовали о чем-то постороннем, а не о пани Ставской.

- О благородный пан Вокульский, вы не погнушались бедными женщинами, покрытыми... - начала пани Мисевичова.

Но Стах подал ей руку, адвокат подхватил пани Ставскую, Вирский взял за ручку Элюню, а я присоединился к Марианне - и так вступили мы в святилище мирового судьи.

Зал напомнил мне школу: судья восседал на возвышении, как учитель на кафедре, а против него, на скамьях, расставленных в два ряда, теснились обвиняемые и свидетели. В эту минуту в памяти моей так живо встали детские годы, что я невольно глянул на печь, не сомневаясь, что увижу возле нее сторожа с розгой и скамейку, на которой нас пороли. По рассеянности я чуть было не крикнул: "Больше никогда не буду, господин учитель!" - однако вовремя опомнился.

Мы стали усаживать наших дам; не обошлось без небольшой стычки с евреями, которые, как я позже узнал, являются самыми терпеливыми слушателями судебных дел, в особенности - о краже и надувательстве. Однако место нашлось даже для славной Марианны, у которой был такой вид, словно она вот-вот начнет читать молитву и осенять себя крестным знаменем.

Вокульский, наш адвокат и я поместились в первом ряду с краю, рядом с субъектом в рваном пальто и с подбитым глазом, на которого один из блюстителей порядка бросал свирепые взгляды.

"Вероятно, опять какое-нибудь столкновение с полицией", - подумал я.

Вдруг рот мой сам собой разинулся от удивления: перед кафедрой мирового судьи я увидел знакомые лица - налево от стола - Кшешовскую, ее плюгавого адвоката и прохвоста Марушевича, а направо - двух студентов. Один из них выделялся сильно потертой тужуркой и необычайно буйным красноречием, на втором была еще более потертая тужурка, на шее цветной шарф, а лицом он, ей-богу, смахивал на покойника, сбежавшего с катафалка.

Я внимательно взгляделся в него. Да, это он, тот самый тщедушный молодой человек, который во время первого визита Вокульского к пани Ставской бросил на голову баронессе селедку. Милый юноша! Но, право, мне никогда не случалось видеть существо столь худое и желтое...

Сначала я подумал, что баронесса привлекла к суду этих приятных молодых людей как раз по поводу вышеупомянутой селедки. Однако вскоре я убедился, что речь идет о другом, а

именно о том, что Кшешовская, вступив во владение домом, вознамерилась выгнать на улицу своих самых заклятых врагов и одновременно самых несостоятельных своих должников.

Когда мы вошли, дело между баронессой и молодыми людьми достигло своего апогея.

Первый студент, красивый юноша с усиками и бачками, то приподнимаясь на цыпочки, то опускаясь на каблуки, рассказывал о чем-то судье; при этом он плавно размахивал правой рукой, а левой кокетливо подкручивал усики, далеко отставляя мизинец, украшенный перстнем с дыркой вместо камешка.

Второй юнец угрюмо молчал и прятался за спину своего товарища. В его позе я заметил некую любопытную деталь: молитвенно сложив ладони, он прижимал обе руки к груди, словно придерживая ими книжку или икону.

- Итак, ваши фамилии, господа? - спросил судья.

- Малесский, - с поклоном ответил обладатель бачков. - И Паткевич... прибавил он, указав полным изящества жестом на своего мрачного коллегу.

- А где третий ответчик?

- Он нездоров, - ответил Малесский манерно. - Это наш сожитель, однако он весьма редко бывает у нас.

- Как это редко бывает? Где же он проводит целые дни?

- В университете, в анатомическом театре, случается - в столовой.

- Ну, а ночью?

- Об этом, господин судья, я мог бы вам сообщить только с глаза на глаз.

- А где же он прописан?

- О, прописан он в нашем доме, поскольку ему не хотелось бы лишний раз затруднять органы власти, - пояснил Малесский с видом лорда.

Судья обратился к Кшешовской:

- Что же, сударыня, вы по-прежнему не желаете оставлять в своем доме этих господ?

- Ни за что на свете! - ужаснулась баронесса. - Они ночи напролет рычат, топают, кукарекают, свистят... Нет в доме ни одной прислуги, которой они не заманили бы к себе... Ах, господи! - вдруг вскрикнула она, отворачиваясь.

Этот вопль удивил судью, но не меня. Я успел заметить, как Паткевич, не отнимая рук от груди, вдруг закатил глаза и опустил нижнюю челюсть, на мгновение совершенно уподобившись мертвецу. Лицо его и вся поза действительно могли перепугать даже нормального человека.

- Самое отвратительное, что господа эти выливают из окна какие-то жидкости...

- Уж не на вас ли, сударыня? - нагло спросил Малесский.

Баронесса посинела от злости, но промолчала: ей было стыдно признаться.

- Что же еще? - продолжал судья.

- А хуже всего (из-за чего я и заболела нервным расстройством), что господа эти по несколько раз в день стучат в мои окна черепом...

- Вы это делаете, господа? - обратился судья к студентам.

- С вашего позволения, господии судья, я сейчас все объясню, - начал Малесский, вставая в такую позу, как будто собирался танцевать менуэт. - Нам прислуживает дворник, который проживает внизу; так вот, чтобы не затруднять себя хождением вниз и вверх, на четвертый этаж, мы припасли длинную веревку, привешиваем к ней что под руку попадет (может случайно подвернуться и череп) и... стучим к нему в окно, - закончил он таким нежным тоном, что трудно было предположить что-нибудь предосудительное в столь невинном способе сигнализации.

- Ах, господи! - опять вскрикнула баронесса и пошатнулась.

- Ясно, больная женщина... - пробормотал Малесский.

- Я не больная - завопила Кшешовская. - Выслушайте меня, господин судья! Я не могу смотреть вон на того... он все время корчит такие рожи... Точно покойник... Я недавно потеряла дочку! - закончила она со слезами.

- Честное слово, у этой дамы галлюцинации! - заметил Малесский. - Кто тут похож на покойника? Паткевич? Такой хорошенький мальчик! - прибавил он, толкая вперед своего коллегу, который... в эту минуту, уже в пятый раз, изображал мертвеца.

Зал разразился хохотом; судья, пытаясь сохранить важность, уткнулся в бумаги и после долгой паузы строго объявил, что смеяться запрещено и всякий нарушающий тишину будет подвергнут денежному штрафу.

Паткевич, пользуясь беспорядком, дернул товарища за рукав и угрюмо шепнул:

- Что же ты, Малесский, свинья ты этакая, издеваешься надо мною в публичном месте?

- Да ведь ты и вправду хорошенький. Женщины по тебе с ума сходят!

- Так не потому ведь... - проворчал Паткевич, уже гораздо миролюбивее.

- Когда же вы, господа, уплатите двенадцать рублей пятьдесят копеек, причитающиеся с вас за январь месяц? - спросил судья.

На этот раз Паткевич изобразил человека с бельмом на глазу и парализованной половиной лица, а Малесский погрузился в глубокое раздумье.

- Если бы, - ответил он минуту спустя, - мы могли остаться до каникул, тогда... Вот что! Пусть баронесса заберет себе нашу мебель.

- Ах, ничего мне уже не надо, ничего... Только уезжайте вы от меня! Я не претендую даже на квартирную плату... - закричала баронесса.

- Как эта женщина компрометирует себя, - шепнул наш адвокат. Таскается по судам, берет в поверенные какого-то прощельгу...

- Но мы, сударыня, мы претендуем на возмещение убытков! - заявил Малесский. - Где это видано, среди зимы гнать порядочных людей с квартиры! Если мы и найдем комнату, то уж такую дрянь, что по меньшей мере двое из нас умрут от чахотки...

Паткевич, вероятно чтобы придать вес словам оратора, задвигал ушами и кожей на голове,

что вызвало новый приступ веселья в зале.

- Первый раз вижу нечто подобное! - сказал наш адвокат.

- Вы говорите о судебном разбирательстве? - осведомился Вокульский.

- Нет, о том, как он двигает ушами. Просто артистически!

Между тем судья написал и огласил приговор, в силу которого господ Малесский и Паткевич обязывались уплатить двенадцать рублей пятьдесят копеек за квартиру, а также освободить оную к восьмому февраля.

Тут произошло чрезвычайное событие. Паткевич, услышав приговор, испытал столь сильное потрясение, что лицо его позеленело, и он лишился чувств. К счастью, падая, он попал в объятия Малесского, иначе бедняга страшно бы расшибся.

В зале, разумеется, раздались сочувственные возгласы, кухарка пани Ставской заплакала, евреи начали показывать пальцами на баронессу и покашливать. Смущенный судья прервал заседание и, кивнув головою Вокульскому (откуда они знакомы?), пошел в другую комнату, а двое полицейских почти на руках вынесли несчастного юношу, который на этот раз действительно был похож на труп.

Лишь в прихожей, когда его положили на скамью и кто-то крикнул, чтобы его облили водой, больной вдруг вскочил и угрожающим тоном произнес:

- Ну-ну! Только, пожалуйста, без этих дурацких шуток...

После чего сам надел пальто, энергично втиснул ноги в довольно рваные калоши и легкой поступью покинул здание суда, к великому удивлению полицейских, обвиняемых и свидетелей.

В эту минуту к нашей скамье подошел какой-то чиновник и шепнул Вокульскому, что судья приглашает его к завтраку. Стах вышел, а пани Мисевичова принялась звать меня отчаянными знаками.

- Иисусе, Мария! - вздыхала она. - Вы не знаете, зачем судья вызвал этого благороднейшего из людей? Должно быть, хочет ему сказать, что положение Элены безнадежно... Ох, у бессовестной баронессы, как видно, большие связи... одно дело она уже выиграла, и, наверно, то же самое будет с Эленой... О, я несчастная! Нет ли у вас, сударь, каких-нибудь подкрепляющих капель?

- Вам нехорошо?

- Пока нет, хотя здесь душно... Но я страшно боюсь за Элену... А ну, как ее приговорят - она может лишиться чувств и умереть, если сразу не принять мер... Как вы думаете, дорогой мой, не следует ли мне броситься в ноги судье и заклинать его...

- Помилуйте, сударыня, это совсем лишнее... Наш адвокат как раз говорил, что баронесса уже и сама, наверно, хотела бы прекратить дело, да поздно.

- Почему же, мы согласимся! - вскричала старушка.

- Э, нет, почтеннейшая, - возразил я с некоторым даже раздражением. Либо мы уйдем отсюда совершенно оправданные, либо...

- Умрем, хотите вы сказать? - перебила старушка... - О, не говорите этого... Вы даже не знаете, как неприятно в мои годы слышать о смерти...

Я отошел от старушки, окончательно павшей духом, и приблизился к пани Ставской.

- Как вы себя чувствуете, сударыня?

- Превосходно! - отвечала она с твердостью. - Еще вчера я ужасно боялась, но после исповеди мне стало легче, и теперь я совсем успокоилась.

Я сжал ее руку долгим... долгим пожатием, как умеют только истинно любящие, и побежал к своей скамье, потому что в зал вошел Вокульский, а за ним и судья.

Сердце мое неистово колотилось. Я оглянулся вокруг. Пани Мисевичова сидела с закрытыми глазами, по-видимому молилась, пани Ставская была очень бледна, но сосредоточенно-спокойна, баронесса нервно теребила свой салоп, а наш адвокат, поглядывая на потолок, подавлял зевету.

В эту минуту Вокульский посмотрел на пани Ставскую, и - черт меня побери, если я не подметил в его глазах столь несвойственное ему выражение нежного участия...

Еще парочка таких процессов, и, я уверен, он до смерти влюбится в нее.

Судья несколько минут что-то писал, а кончив, объявил присутствующим, что теперь будет разбираться дело Кшешовской против Ставской о краже куклы.

Затем он пригласил обе стороны и их свидетелей выйти вперед.

Я стоял возле скамей для публики, и мне был слышен разговор двух кумушек; одна из них, помоложе, с багровым лицом, объясняла старшей:

- Видите, вон та красивая дама украла у той второй дамы куклу...

- Нашла тоже на что позариться!

- Что ж поделаешь! Не всякому гладильные катки воровать...

- Сами вы катки воруете, - откликнулся сзади них чей-то бас. - Вор не тот, кто свое отбирает, а тот, кто даст пятнадцать рублей задатку и думает, что купил товар...

Судья продолжал писать, а я попытался припомнить речь, которую приготовил вчера, чтобы защитить пани Ставскую и заклеить позором баронессу. Но все выражения и обороты перемешались у меня в голове, поэтому я снова начал осматриваться кругом.

Пани Мисевичова все еще тихонько молилась, а сидевшая позади нее Марианна плакала. У Кшешовской лицо посерело, она прикусила губу и опустила глаза, но каждая складка ее одежды дышала злобой... Рядом с нею, упорно глядя в землю, стоял Марушевич, а позади него - служанка баронессы, до такой степени перепуганная, как будто ей предстояло взойти на плаху...

Наш адвокат все еще зевал, Вокульский сжимал кулаки, а пани Ставская глядела на всех с таким кротким спокойствием, что, будь я скульптором, я изваял бы с нее статую оскорбленной невинности.

Неожиданно Элюня, не слушая уговоров Марианны, выбежала вперед и, схватив мать за руку, тихо спросила:

- Mamochka, зачем этот дядя позвал тебя сюда? Дай я скажу на ушко: наверное, ты шалила, и теперь он поставит тебя в угол...

- Ишь ты, подучили, - сказала багровая кумушка старшей.

- Такого бы вам здоровья, как ее подучили, - проворчал сзади нее бас.
- Вам бы такого здоровья за мою обиду... - гневно возразила кумушка.
- А вы околеете от судорог, и на том свете черти вас будут раскатывать на моих катках, - отвечал противник.
- Тише! - крикнул судья. - Пани Кшешовская, что вы можете сообщить суду по этому делу?
- Выслушайте меня, господин судья! - патетически заговорила баронесса, выставив ногу вперед. - От умершей девочки осталась мне драгоценная память кукла, которая очень нравилась вот этой даме, - тут она показала на Ставскую, - и ее девочке...
- Обвиняемая бывала у вас?
- Да, я нанимала ее шить...
- Но ничего ей не заплатила! - гаркнул с конца зала Вирский.
- Тише! - осадил его судья. - Ну и что ж?
- В тот самый день, когда я рассчитала эту женщину, - продолжала баронесса, у меня пропала кукла. Я думала, что умру от огорчения, и сразу заподозрила ее... Предчувствие не обмануло меня; несколько дней спустя мой близкий знакомый, пан Марушевич, который живет как раз против нее, увидел из окна, как эта дама держит в руках мою куклу и, чтобы ее не опознали, надевает на нее другое платье. Тогда я пошла к нему на квартиру с моим поверенным и увидела в бинокль, что моя кукла действительно находится у этой дамы. На следующий день я явилась к ней, отобрала куклу, которую вижу тут на столе, и подала жалобу в суд.
- А вы, пан Марушевич, уверены, что это та самая кукла, которая была у пани Кшешовской? - спросил судья.
- То есть... собственно говоря... никакой уверенности у меня нет.
- Зачем же вы сказали это пани Кшешовской?
- Собственно... я не в этом смысле... - пролепетал Марушевич.
- Не лгите, сударь! - воскликнула баронесса. - Вы со смехом прибежали ко мне и сказали, что Ставская украла куклу и что это на нее похоже...
- Марушевич вспыхнул, потом побледнел, снова покраснел, покрылся испариной и стал переминаться с ноги на ногу, что, по-видимому, служило у него признаком сильнейшего сокрушения.
- Подлец! - довольно громко сказал Вокульский. Я заметил, что замечание это отнюдь не ободрило Марушевича. Напротив, он, казалось, еще более растерялся.
- Судья обратился к служанке.
- У вас была именно эта кукла?
- Не знаю которая... - еле слышно отвечала она. Судья протянул ей куклу, но служанка молчала, только моргала и ломала руки.
- Ах, это Мими! - закричала Элюня.

- О, господин судья! - воскликнула баронесса. - Дочь свидетельствует против матери.
- Ты знаешь эту куклу? - спросил судья у Элюни.
- Конечно знаю! Совсем такая же была в комнате у баронессы.
- Так это та самая?
- Ой нет, не та... У той было серое платье и черные туфельки, а у этой туфельки желтые!
- Ну, хорошо... - пробормотал судья и положил куклу на стол. - Пани Ставская, что вы можете сказать?
- Эту куклу я купила в магазине пана Вокульского...
- А сколько вы за нее заплатили? - прошипела баронесса.
- Три рубля.
- Ха-ха-ха! - расхохоталась баронесса. - Этой кукле цена пятнадцать рублей...
- Кто вам продал куклу, сударыня? - спросил судья.
- Пан Жецкий, - краснея, ответила пани Ставская.
- Вы что скажете, пан Жецкий? - спрашивал судья.

Тут как раз наступил момент произнести мою речь. Я начал:

- Достопочтенный судья! С прискорбием и изумлением приходится мне... то есть... значит... я вижу перед собою торжествующее зло и... значит... попорченную...

Почему-то в горле у меня пересохло, и я не мог больше вымолвить ни одного слова. К счастью, вмешался Вокульский.

- Жецкий только присутствовал при покупке, а куклу продал я.
- За три рубля? - спросила баронесса, блеснув змеиными глазами.
- Да, за три рубля. Это бракованный товар, и мы хотели поскорей его сбыть.
- Вы и мне продали бы такую куклу за три рубля? - продолжала допрашивать баронесса.
- Нет! Вам уже больше никогда ничего не продадут в моем магазине.
- Как вы докажете, что кукла куплена у вас? - спросил судья.
- Вот именно! - подхватила баронесса. - Как вы докажете?
- Тише! - осадил ее судья.
- Где вы купили свою куклу? - спросил у баронессы Вокульский.
- У Лессера.
- Вот я и докажу, - сказал Вокульский. - Я выписывал эти куклы из-за границы в разобранном виде: головы отдельно, туловища отдельно. Господин судья, потрудитесь отпороть ей голову и увидите внутри марку моей фирмы.

Баронесса забеспокоилась.

Судья взял куклу, натворившую столько хлопот, надрезал перочинным ножом лиф ее платья и принялся осторожно отделять голову от туловища. Эленка сначала с удивлением наблюдала за этой операцией, а потом обернулась к матери и тихо спросила:

- Mamочka, зачем этот господин раздевает Мими? Ведь ей будет стыдно...

Вдруг она поняла, что делает судья, разразилась слезами и, уткнувшись лицом в платье пани Ставской, закричала:

- Мама, зачем он ее режет! Это же страшно больно! Ой, мама, мамочка, я не хочу, чтобы Мими резали...

- Не плачь, Элюня, Мими выздоровеет и будет еще красивее, - успокаивал девочку Вокульский, взволнованный не меньше ее.

Между тем голова Мими упала на протоколы. Судья заглянул внутрь и, протянув кукольную головку баронессе, сказал:

- Посмотрите, что это за марка? Кшешовская прикусила губу и промолчала.

- Пусть пан Марушевич прочтет вслух, что тут написано.

- "Ян Минцель и Станислав Вокульский..." - робко пробормотал Марушевич.

- Значит, не Лессер?

- Нет.

Все это время прислуга баронессы вела себя весьма странно: краснела, бледнела, пряталась за скамьи...

Судья, искоса наблюдавший за ней, вдруг окликнул ее:

- А теперь, барышня, скажите нам, что случилось с куклой вашей хозяйки? Только говорите правду, потому что вам придется присягнуть.

Перепуганная насмерть девушка схватилась за голову и, подбежав к столу, быстро заговорила:

- Кукла разбилась, ваша милость.

- Ваша кукла, та, которая была у пани Кшешовской?

- Она самая...

- Ну хорошо, так ведь только голова разбилась, а где же остальное?

- На чердаке, ваша милость... Ой, что мне будет!

- Ничего вам не будет; хуже было бы, если бы вы не сказали правду. А вы, обвинительница, слышали, как обстоит дело?

Баронесса опустила глаза и скрестила руки на груди, словно мученица.

Судья начал писать. Мужчина, сидевший во втором ряду (очевидно, торговец катками), обратился к даме с багровым лицом:

- Ну что, украла она? Видали, как вам нос-то утерли, а?

- Была бы мордашка смазливая, так и от тюрьмы отвертишься, - сказала багровая дама своей соседке.

- Ну, вам-то не отвертеться, - проворчал торговец катками.

- Дурак!

- Сама дура...

- Тише! - крикнул судья.

Нам велели встать, и мы выслушали приговор, полностью оправдывающий пани Ставскую.

- А теперь, - заключил судья, окончив чтение, - вы, сударыня, можете предъявить иск за клевету.

Он сошел с возвышения, пожал руку пани Ставской и прибавил:

- Мне очень жаль, что я вынужден был вас судить, зато теперь очень приятно вас поздравить.

Кшешовская истерически вскрикнула, а дама с багровым лицом заметила своей соседке:

- На хорошенькую мордашку так и судья, как муха на мед... Ну, да на Страшном суде будет иначе... - вздохнула она.

- Холера! Богохульница! - буркнул торговец катками.

Мы собрались уходить. Вокульский подал руку пани Ставской и пошел с нею вперед, а я осторожно повел по грязной лестнице пани Мисевичову.

- Говорила я, что так будет, - уверяла меня старушка, - а вы все сомневались...

- Кто, я сомневался?..

- Ну да, ходили все время как в воду опущенный... Иисусе, Мария! Да что ж это?

Последний возглас был обращен к тщедушному студенту, который вместе со своим товарищем поджидал у дверей, очевидно, Кшешовскую, и, думая, что это она, изобразил мертвеца... перед пани Мисевичовой!

Он сразу заметил свою ошибку и так застыдился, что побежал вперед.

- Паткевич! погоди же! она идет... - крикнул ему вдогонку Малесский.

- Да ну тебя ко всем чертям! - вспылил Паткевич. - Вечно ты меня компрометируешь.

Однако, заслышав шум в подъезде, он вернулся и опять представил покойника, на этот раз... перед Вирским!

Это окончательно сконфузило молодых людей, они поссорились и отправились домой врозь - Малесский по одной, а Паткевич по другой стороне улицы.

Однако, когда мы их обогнали в пролетках, они уже шли рядом и поклонились нам с чарующей грацией".

Глава девятая

Дневник старого приказчика

"Теперь мне понятно, почему я так расписался насчет дела пани Ставской. Вот почему...

На свете нередко встречаются малoverы, да и сам я подчас слабею в вере и сомневаюсь в божественном провидении. Частенько также, когда худо идут политические дела либо когда я вижу человеческую подлость и торжество мерзавцев (если позволительно употребить это выражение), я думаю:

"Старый глупец по имени Игнаций Жецкий! Ты воображаешь, будто династия Бонапартов воцарится опять, будто Вокульский совершит нечто необыкновенное, потому что талантлив, и будет счастлив, потому что честен?! Ты думаешь, ослиная твоя голова, что хотя поначалу прохвостам живется хорошо, а честным людям плохо, однако в конце концов злые все-таки будут посрамлены, а добрые прославлены?.. Так ты себе это представляешь? Все это твоя фантазия! На свете нет никакого порядка, никакой справедливости, одна борьба. Когда побеждают хорошие - хорошо, когда плохие - плохо, вот и все. Но думать, что есть какая-то высшая сила, помогающая только хорошим, - вздор, об этом забудь... Люди - как листья, разметанные ветром: бросит он их в траву, они и лежат на траве, а бросит в грязь - так и лежат в грязи..."

Подобные мысли нередко посещали меня в минуты сомнения; но процесс пани Ставской привел меня к прямо противоположным выводам - я уверовал в то, что хорошие люди рано или поздно дождутся справедливости.

Итак, рассудим... Пани Ставская - женщина благороднейшей души, значит она должна быть счастлива; Стах - человек высочайших достоинств, значит и он должен быть счастлив. Между тем Стах все время ходит расстроенный и грустный (иной раз я чуть не плакал, на него глядя), а пани Ставскую обвинили в краже...

Где же тут справедливость, вознаграждающая достойных?..

Сейчас увидишь ее, малoverный! А чтобы крепче убедить тебя, что в мире существует порядок, запишу здесь следующие пророчества:

Во-первых, пани Ставская выйдет замуж за Вокульского и будет с ним счастлива.

Во-вторых, Вокульский откажется от своей панны Ленцкой, женится на пани Ставской и будет с нею счастлив.

В-третьих, юный Люлю еще в этом году станет французским императором под именем Наполеона IV, расправится с немцами так, что от них останется только мокрое место, и установит справедливость во всем мире, что мне предсказывал еще мой покойный отец.

В том, что Вокульский женится на пани Ставской и совершит нечто необычайное, я теперь уже ничуть не сомневаюсь. Он еще, правда, не обручился с нею и даже еще не посватался, более того... он даже сам еще не знает, что сделает это. Но я уже вижу... ясно вижу, как пойдет дело, и дам голову на отсечение, что будет именно так... А нюх у меня тонкий, политический!

Ведь посмотрите только, что делается.

На второй же день после суда Вокульский был вечером у пани Ставской и сидел до одиннадцати часов. На третий день он был в магазине Миллеровой, проверил бухгалтерские книги и очень расхваливал пани Ставскую, что даже несколько задело хозяйку. А на четвертый день... Ну, на четвертый день он, правда, не был ни у Миллеровой, ни у пани Ставской, зато со мной произошли странные события.

Перед обедом (как раз в магазине не было покупателей) ни с того ни с сего подходит ко мне - кто же? Молодой Шлангбаум, тот еврей, который работает в отделе русских тканей.

Гляжу я, мой Шлангбаум потирает руки, ус у него подкручен, а голову он задрал чуть не до потолка... "Спятил он, думаю, что ли?" А он здоровается со мною, но голову не опускает и говорит слово в слово следующее: - Надеюсь, пан Жецкий, что бы ни случилось, мы с вами останемся друзьями...

"Черт побери, думаю, уж не уволил ли его Стах со службы?" И отвечаю:

- Что бы ни случилось, пан Шлангбаум, вы можете быть уверены в моем расположении, если только не совершите каких-нибудь злоупотреблений...

На последних словах я сделал ударение, потому что у моего Шлангбаума был такой вид, словно он собрался либо купить у нас магазин (что мне казалось неправдоподобным), либо обокрасть кассу... Последнее, хоть он и принадлежит к честным иудеям, я не счел бы совершенно невероятным.

По-видимому, он смекнул это, так как чуть заметно усмехнулся и отправился в свой отдел. Через четверть часа я зашел туда как бы ненароком, но застал его, как всегда, за работой. Я бы даже сказал, что трудился он с еще большим рвением, чем обычно: взбегал по лесенке, доставал куски репса и бархата, опять укладывал их по местам - словом, вертелся волчком.

"Нет, думаю, уж он-то наверняка не станет нас обкрадывать..."

Я также с удивлением заметил, что Земба как-то подобострастно вежлив с Шлангбаумом, а на меня поглядывает как будто свысока, впрочем не слишком.

"Что ж, думаю, он хочет загладить перед Шлангбаумом прежние обиды, а в отношении меня, старшего приказчика, подчеркивает свое достоинство. Весьма похвально с его стороны: всегда следует немного задирать голову перед особами вышестоящими, а с нижестоящими быть предупредительным..."

Вечером зашел я в ресторанчик выпить пивца. Гляжу - сидят Шпрот и советник Венгрович. Мы со Шпротом после того столкновения, о котором я уже рассказывал, придерживаемся холодного тона, но с советником я поздоровался весьма сердечно. А он мне:

- Ну что, готово?

- Виноват, - говорю, - не понимаю. (Я думал, он намекает на процесс пани Ставской.) Не понимаю ваших слов, господин советник.

- Чего тут не понимать? - говорит он. - Магазин-то продан?

- Перекреститесь, господин советник, - говорю я, - какой магазин?

Почтенный советник, который опрокинул уже шестую кружку, захохотал и говорит:

- Хи-хи! Я-то перекрещусь, а вот вам и перекреститься не дадут, когда с христианского хлеба придется перейти на еврейскую халу: магазин-то ваш, говорят, купили евреи...

Я думал, что меня хватит удар.

- Господин советник, - говорю я, - вы человек солидный и не откажетесь сообщить, откуда у вас эти сведения.

- Да весь город об этом трезвонит: впрочем, пусть Шпрот даст вам по этому поводу

разъяснения.

- Пан Шпрот, - говорю я, поклонившись, - мне отнюдь не хотелось бы обойтись с вами неуважительно, тем более что я требовал от вас удовлетворения, в чем вы мне отказали, как последний мерзавец... да, мерзавец, пан Шпрот... Однако заявляю вам, что вы либо разносите сплетни, либо сами измышляете их...

- Это еще что такое? - гаркнул Шпрот, опять, как тогда, колотя кулаком по столу. - Отказал, потому что не собираюсь давать удовлетворение ни вам, ни кому другому. При всем том повторяю: ваш магазин покупают евреи.

- Какие евреи?

- Черт их знает: Шлангбаумы, Хундбаумы, откуда мне их знать?

Я так разъярился, что велел подать пива, а тем временем советник Венгрович говорил:

- С евреями будет когда-нибудь большой скандал. Они нас так жмут, так отовсюду выкуривают и скупают наши предприятия, что трудно с ними управиться. Обжудить их не удастся, они на этот счет сильнее нас, зато как дойдет дело до кулаков - посмотрим, чья возьмет...

- Советник прав, - подхватил Шпрот. - Они уж так всего нахватались, что в конце концов придется у них силой отнимать, хотя бы для порядка. Вы посмотрите, господа, до чего дошло в той же торговле суконными тканями...

- Ну, - говорю, - коли магазин наш купят евреи, так и я к вам примкну! И мой кулак еще на что-нибудь пригодится... Но пока что, ради бога, не распускайте вы сплетни о Вокульском, не подзуживайте людей против евреев: и без того растет озлобление.

Я вернулся домой с головной болью, злой на весь мир. Ночью то и дело просыпался, а заснув, всякий раз видел во сне, что евреи и впрямь купили наш магазин и я, чтобы не умереть с голоду, хожу по дворам с шарманкой, на которой написано: "Сжальтесь над бедным старым офицером венгерской пехоты!"

Только утром мне пришла в голову простая, вполне здравая мысль: решительно объясниться со Стахом и, если он действительно продает магазин, подыскать себе другое место.

Хороша карьера после такой долголетней службы! Собаку, ту хоть пристрелят под старость; а родился человеком, так и слоняйся по чужим углам и думай, не придется ли окончить свои дни под забором...

До обеда Вокульский не заходил в магазин, так что к двум часам я собрался к нему. Уж не захворал ли он?

Иду и в воротах его дома сталкиваюсь с доктором Шуманом. Когда я сказал ему, что хочу навестить Стаха, доктор нахмурился.

- Не ходите к нему. Он расстроен, и надо оставить его в покое. Идемте-ка лучше ко мне, выпьем чайку... Кстати, есть у меня ваши волосы?

- Боюсь, - ответил я, - что скоро вы получите мои волосы вместе со всей шкурой.

- На предмет чучела?

- Стоило бы, потому что мир еще не видывал такого дурака.

- Успокойтесь, - ответил Шуман, - бывают и большие. А что случилось?

- Неважно, что со мною случилось, но вот я слышал, будто Стах продает магазин евреям... Ну, а у них я служить не намерен.

- Почему же? Вас что, тоже антисемитизм одолел?

- Нет, знаете, не быть антисемитом одно, а служить у евреев - другое.

- Кто же тогда будет у них служить? Например, я, даром что сам еврей, не намерен прислуживать этим паршивцам. Впрочем, - прибавил он, - откуда у вас подобные мысли? Если магазин будет продан, вы получите прекрасное место в Обществе по торговле с Россией...

- Ненадежное это дело... - заметил я.

- Очень надежное, потому что в нем слишком мало евреев и слишком много вельмож... Но вам, собственно, нечего беспокоиться... только уж не выдавайте меня... Вам совершенно нечего беспокоиться ни о магазине, ни о торговом обществе, так как Вокульский оставляет вам двадцать тысяч рублей...

- Оставляет?... мне?... Что это значит? - с удивлением вскричал я.

Мы как раз вошли в квартиру Шумана, и доктор велел подать самовар.

- Что это значит? Почему оставляет? - спросил я, несколько даже встревожившись.

- Почему, почему... - ворчал Шуман, шагая по комнате и потирая затылок. - Почему - не знаю, но Вокульский сделал это. По-видимому, хочет на всякий случай подготовиться, как следует рассудительному и деловому человеку...

- Неужели опять дуэль?

- Эх, какое там!.. Вокульский слишком умен, чтобы дважды совершать одну и ту же глупость. Но, дорогой мой Жецкий, имея дело с такой бабой, нужно быть готовым ко всему...

- С какой бабой?... С пани Ставской? - спросил я.

- При чем тут пани Ставская! - вскинулся доктор. - Речь идет о более важной птице, о панне Ленцкой, в которую этот полоумный врезался по уши. Он уже распробовал, что это за зелье, мучается, изводит себя, а оторваться не в силах. Нет ничего хуже поздней любви, особенно когда она вспыхнет у такого дьявола, как Вокульский.

- Но что же произошло? Ведь вчера он был на балу в ратуше.

- Потому он и был, что она там была, а я был, потому что они оба были. Забавная история! - проворчал доктор.

- Нельзя ли выразаться яснее? - спросил я, теряя терпение.

- Почему бы нет, тем более что это все уже видят. Вокульский по ней с ума сходит, она с ним весьма тонко кокетничает, а поклонники... выжидают.

- Черт знает что! - продолжал Шуман, шагая по комнате и потирая затылок. - Пока у панны Изабеллы не было ни гроша и никто к ней не сватался, ни одна собака к ним и носу не казала. Но стоило появиться Вокульскому, богачу, человеку с именем и с большими связями, которые даже преувеличивают, и немедленно pannу Ленцкую окружил рой кавалеров более или менее глупых, потасканных и красивых, и теперь между ними не протолкаешься. И каждый

вздыхает, закатывает глаза, нашептывает нежные словечки, томно пожимая ручку во время танцев...

- А она что же?

- Пустая бабенка! - сказал доктор и махнул рукой. - Ей бы презирать эту шваль, которая к тому же неоднократно ее оставляла, а она упивается таким обществом. Все это видят, и Вокульский видит, и это хуже всего...

- Так почему же, черт возьми, он не бросит ее?.. Кто-кто, а уж он-то не позволит шутить с собой.

Подали самовар. Шуман отослал слугу и налил чай.

- Видите ли, - сказал он, - Вокульский бесспорно бросил бы ее, если б мог трезво оценить положение. Вчера на балу в нем на мгновение проснулся лев, и, когда наш Стах подошел к панне Ленцкой, я готов был поклясться, что он сейчас выпалит: "Прощайте, сударыня, я разгадал ваши карты и не позволю себя обыгрывать!" Такое у него было лицо, когда он к ней подошел. Ну и что ж? Она разок глянула на него, шепнула что-то, пожала руку, и мой Стах всю ночь был так счастлив, что... сегодня охотно пустил бы себе пулю в лоб, если б не надеялся опять дожидаться взгляда, ласкового слова, пожатия руки... И не видит, болван, что она дарит десяток других совершенно такими же нежностями и даже в гораздо больших дозах, чем его.

- Что ж это за женщина?

- Такая же, как сотни и тысячи других! Красива, избалована и бездушна. Вокульский, поскольку у него есть деньги и влияние, годится ей в мужья, разумеется за неимением лучшего, - но в любовники она себе выберет уж таких, которые ей больше под стать.

- А он, - продолжал Шуман, - то ли в ресторане Гопфера, то ли на сибирских равнинах так напичкался Альдонами, Гражинами, Марылями{237} и прочими химерами, что видит в панне Ленцкой богиню. Он не просто любит ее, он преклоняется перед ней, молится на нее, готов пасть ниц... Тягостно будет его пробуждение! Правда, Стах чистокровный романтик, однако он не пойдет по стопам Мицкевича, который не только простил ту, что над ним насмеялась, но и тосковал по изменнице и обессмертил ее. Прекрасный урок для наших девиц: хочешь прославиться, изменяй пламенным своим обожателям! Нам, полякам, суждено быть глупцами даже в такой нехитрой штуке, как любовь!

- И вы думаете, что Вокульский тоже свалит дурака? - спросил я, чувствуя, что кровь во мне закипает, совсем как под Вилагошем.

Шуман так и подскочил на стуле.

- Вот уж нет, черт побери! Сейчас, пожалуйста, пусть сходит с ума, пока еще можно говорить себе: "А вдруг она полюбит меня, а вдруг она такая, как мне кажется?" Но если он не опомнится, убедившись, что она смеется над ним... тогда... тогда... не будь я еврей, если я первый не плюну ему в глаза! Такой человек, как он, может быть несчастлив, но не смеет сносить унижения!

Давно уже я не видел Шумана в таком раздражении. Еврей-то он еврей с головы до пят, это за три версты видно, но надежнейший друг и человек с честью.

- Ну, - сказал я, - успокойтесь, доктор; у меня есть лекарство против его болезни.

И я рассказал ему все, что знал о пани Ставской, и закончил:

- Лягу костями, слышите ли, костями лягу, а... женю Стаха на пани Ставской. Это женщина с умом и сердцем, и за любовь она заплатит любовью, а ему такую и надо.

Шуман кивал головою и поднимал брови.

- Что ж, попробуйте... Против тоски по женщине единственное лекарство другая женщина. Хотя боюсь, что его уже поздно лечить...

- Он стальной человек, - заметил я.

- Именно это и опасно, - возразил доктор. - В таких натурах трудно изглаживается то, что однажды запечатлелось, и трудно склеить то, что дало трещину.

- Пани Ставская сделает это.

- Дай-то бог!

- И Стах будет счастлив!

- Эге!..

Я расстался с доктором, исполненный надежд. Я люблю пани Элену, отрицать нечего, но ради Стаха...

Только бы не было слишком поздно!

Но нет...

На следующий день забежал в магазин Шуман; по его усмешечкам и по тому, как он кусал губы, я понял, что он чем-то взвинчен и настроен иронически.

- Вы были у Стаха, доктор? - спросил я. - Как он сегодня?..

Шуман потащил меня за шкафы и взволнованно начал:

- Вот вам что делают бабы даже с такими людьми, как Вокульский! Знаете, отчего он нервничает?

- Убедился, что у панны Ленцкой есть любовник...

- Если бы так!.. Может быть, это бы его окончательно излечило. Но она слишком ловка, чтобы такой простодушный обожатель мог заметить, что происходит за кулисами. Впрочем, сейчас речь идет совсем о другом. Смешно сказать, стыдно сказать!..

Доктор запнулся. Потом хлопнул себя по лысине и тихо сказал:

- Завтра князь дает бал, и, конечно, там будет панна Ленцкая. Но, представьте, князь до сих пор не пригласил Вокульского, хотя другим разослал приглашения уже две недели назад... Из-за этого-то Стах и расхворался, поверите ли!

Доктор визгливо рассмеялся, обнажив свои почерневшие зубы, а я, ей-богу, покраснел от стыда.

- Теперь вы понимаете, до чего человек может докатиться?.. - спросил он. - Уже второй день он изводится тем, что какой-то князь не пригласил его на бал!.. Это он, наш любимый, наш изумительный Стах!

- Он сам вам это сказал?

- Как бы не так! - буркнул доктор. - Разумеется, нет. Достало бы силы сказать, так решился бы и на то, чтобы отклонить столь запоздалое приглашение.

- Вы думаете, его пригласят?

- Попробовали бы не пригласить! Это обошлось бы князю в пятнадцать процентов годовых, которые он получает в Обществе. Пригласить-то он его пригласит, потому что Вокульский, слава богу, еще реальная сила. Но сначала, зная его слабость к панне Ленцкой, князь потешится над ним, поиграет, как собачкой, которую дразнят мясом, чтобы выучить стоять на задних лапках. Не беспокойтесь, они его не выпустят из своих когтей, на это у них ума хватит; но они хотят его вышколить, чтобы он служил им, носил поноску и кусал только тех, кто им не мил.

Он взял свою бобровую шапку и, кивнув мне, вышел. Чудак все-таки!

Невесело было у меня на душе в тот день, я даже несколько раз ошибся в счете. Вдруг, когда я уже подумывал закрыть магазин, явился Стах. Мне показалось, что за последние дни он похудел. Равнодушно поздоровавшись со служащими, он начал рыться в своем столе.

- Что ты ищешь? - спросил я.

- Не было ли тут письма от князя?.. - в свою очередь, спросил он, не глядя мне в глаза.

- Всю корреспонденцию я посылал к тебе на дом.

- Знаю, но оно могло куда-нибудь завалиться, затеряться среди бумаг...

Мне легче было бы вырвать зуб, чем слышать этот вопрос. И так, Шуман был прав: Стах изводился потому, что князь не пригласил его на бал.

Когда магазин заперли и служащие ушли, Вокульский спросил:

- Что ты сегодня делаешь? Не пригласишь ли меня к себе на чай?

Само собою, я с радостью пригласил его, вспомнив доброе старое время, когда Стах проводил у меня почти все вечера. Как же давно это было! Сегодня он был мрачен, я озабочен, и, хотя нам обоим многое надо было сказать, мы не глядели друг другу в глаза. Мы даже заговорили о погоде, и только стакан чаю, в котором было добрых полстакана арака, немного развязал мне язык.

- Что-то все поговаривают о том, будто ты продаешь магазин, - начал я.

- Я уже почти продал его, - ответил Вокульский.

- Евреям?..

Он вскочил с кресла и, засунув руки в карманы, зашагал по комнате.

- А кому прикажешь продать? - спросил он. - Тем, кто не покупает магазинов, потому что у них есть деньги, или тем, кто потому бы и хотел купить, что у них денег нет? Магазин стоит сто двадцать тысяч рублей, что ж, мне выбросить их за окно?

- Страшное дело, как эти евреи нас вытесняют...

- Откуда?.. С тех позиций, которые мы не занимаем, или с тех, на которые мы сами их толкаем, заставляем, умоляем их занять. Ни один аристократ не купит моего магазина, зато каждый даст деньги еврею, чтобы тот купил и... выплачивал ему крупные проценты на одолженный капитал.

- Так ли?..

- Конечно, так, я ведь знаю, кто дает в долг Шлангбауму...

- Значит, покупает Шлангбаум?

- А кто ж еще? Уж не Клейн ли, Лисецкий, Земба?.. Они не получают кредита, а если б и получили, то вряд ли сумели бы использовать с толком...

- С евреями будут у нас крупные неприятности, - буркнул я.

- И сколько раз уже бывали, восемнадцать столетий подряд, а что получилось? В результате антисемитских преследований благороднейшие среди евреев погибли, а выжили только те, кто сумел спастись от истребления. Отсюда и нынешние евреи: выносливые, терпеливые, хитрые, сплоченные и мастерски владеющие единственным оружием, которое им осталось, - деньгами. Уничтожая в этом народе все лучшее, мы произвели искусственный отбор и вырастили самый отрицательный тип.

- Но подумал ли ты, что когда магазин перейдет в их руки, то десятки евреев получат хорошо оплачиваемую работу, а десятки наших людей ее лишатся?

- Не по моей вине, - с горечью возразил Вокульский. - Не моя вина, если те, с кем я связан личными отношениями, требуют, чтобы я продал магазин. Правда, общество на этом потеряет, но общество же и добивается этого.

- А моральный долг?

- Какой долг? - вспыхнул он. - В отношении тех, кто называет меня эксплуататором, или же тех, кто меня обкрадывает? Исполняя свой долг, человек обычно что-то получает взамен, - иначе это не долг, а жертва, которой никто не вправе от кого-либо требовать. А я, что я получаю взамен? Ненависть и клевету со стороны одних, пренебрежение со стороны других. Скажи сам: есть ли такой порок, которого бы мне ни приписывали, а за что?.. За то, что я нажил состояние и кормлю сотни людей.

- Клеветники есть всюду.

- Но не в таком количестве, как у нас. За границей честный выскочка вроде меня приобрел бы врагов, но зато снискал бы должное уважение, которое вознаграждает за обиды. А здесь... - И он махнул рукой.

Я залпом проглотил еще полстакана арака с чаем - для храбрости. Между тем Стах, услышав в коридоре шаги, подошел к дверям. Я догадался, что он все еще ждет приглашения князя.

В голове у меня уже шумело, и я решился спросить:

- А разве те, ради кого ты продаешь магазин, больше будут тебя ценить?

- А если будут ценить?.. - спросил он в раздумье.

- И будут любить тебя больше, чем те, кого ты покидаешь?

Он порывисто подошел ко мне и испытующе поглядел мне в глаза.

- А если будут любить?

- Ты уверен в этом?

Он бросился в кресло.

- Кто знает? - прошептал он. - Кто знает!.. И на что можно положиться в этом мире?

- Неужели тебе ни разу не приходило в голову, - продолжал я все смелее, - что тебя, может быть, не только используют и обманывают, но вдобавок высмеивают и пренебрегают тобой?.. Скажи, ты никогда об этом не думал?.. Все на свете возможно, а в таком случае надо принять меры, чтобы уберечься если не от обмана, то хотя бы от смешного положения. К черту! - закончил я, стукнув стаканом по столу. - Можно жертвовать собою, когда есть ради чего, но нельзя позволять помыкать...

- Кто мной помыкает?.. - крикнул он, вскакивая.

- Все те, кто не уважает тебя так, как ты этого заслуживаешь.

Я испугался собственной смелости, но Вокульский смолчал. Он лег на кушетку, сцепил руки под голову, что у него было признаком необычайного волнения. Потом совершенно спокойным голосом заговорил о делах в магазине.

Около девяти дверь отворилась, и вошел лакей Вокульского.

- Письмо от князя! - объявил он.

Стах прикусил губу и, не вставая, протянул руку.

- Дай сюда, - сказал он, - и ступай спать.

Слуга ушел. Стах медленно вскрыл конверт, прочитал письмо, и, разорвав его, бросил в печку.

- Что это? - спросил я.

- Приглашение на завтрашний бал, - сухо ответил он.

- Ты пойдешь?

- И не думаю.

Я остолбенел... И вдруг меня осенила гениальнейшая мысль.

- Знаешь что? - сказал я. - А не пойти ли нам завтра вечером к пани Ставской?

Он сел на кушетке и, улыбаясь, ответил:

- Что ж, это неплохо... Она очень милая женщина, да и давно уже я там не был. Кстати, надо бы как-нибудь при случае послать игрушек девочке.

Ледяная стена между нами рухнула. К нам вернулась давнишняя искренность, и мы до полуночи проболтали, вспоминая прошлое. На прощанье Стах сказал мне:

- Случается, что человек глупеет, но потом опять берется за ум... Награди тебя бог, старина.

Золотой мой, любимый Стах!

В лепешку расшибусь, а женю его на пани Ставской!

В день бала ни Стах, ни Шлангбаум не явились в магазин. Я догадался, что они, наверное, договариваются о продаже нашего магазина.

В иных обстоятельствах такое событие отравило бы мне весь день. Но сегодня я и не

подумал о том, что наша фирма исчезнет и ее заменит еврейская вывеска. Да что мне магазин! Лишь бы Стах был счастлив или по крайней мере перестал мучиться. Я должен его женить, хоть бы весь мир перевернулся!

Утром я послал пани Ставской записочку, извещая ее, что мы с Вокульским зайдём к ним сегодня выпить чаю. С запиской я позволил себе послать коробку игрушек для Элюни. В коробке был лес со зверями, комплект мебели для куклы, маленький сервизик и медный самоварчик. Всего товару, вместе с упаковкою, на 13 рублей 60 копеек.

Нужно будет что-нибудь придумать и для пани Мисевичовой. Таким манером расположение бабушки и внучки послужит мне чем-то вроде щипчиков, которыми я с обеих сторон защемлю сердечко прелестной мамы, так что ей придется капитулировать еще до дня святого Яна.

(Ах, черт! А муж за границей? Ну, да что муж... Пусть бы своевременно принимал меры... Впрочем, тысяч за десять мы получим развод с отсутствующим и, наверное, давно усопшим супругом...)

После закрытия магазина отправляюсь к Стаху. Лакей отпирает мне дверь, а сам держит в руках накрахмаленную сорочку. Проходя через спальню, вижу на стуле фрак, жилетку... Ой, беда, неужели из нашего визита ничего не выйдет?

Стах читал в кабинете английскую книжку. (И на черта ему сдался этот английский язык! Ведь жениться можно, будучи даже глухонемым!) Поздоровался он со мною приветливо, но не без замешательства. "Надо брать быка за рога!" - подумал я и, не выпуская из рук шляпы, говорю:

- Ну, как будто мешкать нечего. Идем, а то еще наши дамы лягут спать.

Вокульский отложил книжку и призадумался.

- Мерзкий вечер, - сказал он, - метель...

- Другим эта метель не помешает приехать на бал, так почему же она нам должна испортить вечерок! - ответил я, прикидываясь дурачком.

Стаха словно что-то кольнуло. Он вскочил с кресла и велел подавать шубу. Слуга, помогая ему одеться, сказал:

- Только вы скорей возвращайтесь, пора уже одеваться, да и парикмахер сейчас придет.

- Не надо, - бросил Стах.

- Еще чего! Небось не пойдете танцевать непричесанный...

- Я не поеду на бал.

Слуга с удивлением развел руками и расставил ноги.

- Что это вы, барин, сегодня выкидываете? - закричал он. - В уме вы, что ли, повредились?.. Пан Ленцкий так просил...

Вокульский стремительно вышел из комнаты, хлопнув дверью перед носом развязного лакея.

"Ага! - подумал я. - Значит, князь спохватился, что Стах может не прийти, и прислал будущего тестя с извинениями. Прав Шуман, что они не хотят его выпускать из рук, ну, да мы, голубчики, у вас его вырвем!"

Четверть часа спустя мы уже были у пани Ставской. Чудо как нас приняли! Марианна

посыпала пол в кухне песочком, пани Мисевичова нарядилась в шелковое платье табачного цвета, а у пани Ставской были в тот вечер такие прелестные глаза, румянец и губки, что, право, можно дух испустить от счастья, осыпая поцелуями эту дивную женщину.

Я не хочу ничего себе внушать, но, ей-богу, Стах весь вечер поглядывал на нее весьма внимательно. Он даже не заметил, что Элюне повязали новые ленты.

Ну и вечер был! Как пани Ставская благодарила нас за игрушки, как накладывала Вокульскому сахару в чай, как задела его несколько раз рукавом... Теперь-то уже Стах наверняка сюда зачистит, сначала со мною, а потом и без меня.

Во время ужина злой, а может быть, добрый дух направил взгляд пани Мисевичовой на газету.

- Смотри, Елена, - сказала она дочери, - сегодня у князя бал.

Вокульский нахмурился и, отведя взор от личика пани Ставской, уставился в тарелку. Решившись действовать храбростью, я заметил не без иронии:

- Воображаю, какое прекрасное должно быть общество у этого князя! Наряды, тонкое обхождение...

- Не так-то оно прекрасно, как кажется, - заметила старушка. - За наряды частенько не плачено, а насчет обхождения... Конечно, иное дело в гостиных с графами да князьями, а иное - дома, с бедными мастерицами.

(О, как вовремя выступила старушка со своей критикой!) "Слушай, слушай же, Стах!" - подумал я и опять спрашиваю:

- Значит, великосветские дамы не очень-то обходительны с мастерицами!

- Какое! - отвечала пани Мисевичова, махнув рукой. - Я знаю одну портниху, которую засыпают заказами, потому что она большая искусница и дешево берет. Частенько, вернувшись от иной дамы, она горячими слезами обливается. Сколько ведь намучается, дожидаясь с примерками этими, с переделками да со счетом... А каким тоном они разговаривают, как грубы и как торгуются... Эта портниха говорит (вот не сойти мне с этого места!), что легче иметь дело с четырьмя еврейками, чем с одной важной дамой. Хотя и еврейки нынче пошли не те: стоит какой-нибудь разбогатеть, как она изъясняется только по-французски, а торгуется и капризничает не хуже тех.

Хотел было я спросить, не шьет ли и панна Ленцкая у этой портнихи, да пожалел Стаха. И без того он переменялся в лице, бедняга!

После чая Элюня разложила на ковре свои новые игрушки, поминутно издавая радостные возгласы; мы с пани Мисевичовой расположились у окна (никак не отводишь ее от этой привычки!), а Вокульский и пани Ставская уселись на диван: она с каким-то вязанием, а он с папирсой.

Старушка с таким жаром принялась мне рассказывать о том, каким великолепным уездным начальником был ее покойный супруг, что я почти не слышал, о чем беседовали пани Ставская с Вокульским. А разговор, кажется, был интересный, так как беседовали они вполголоса:

"Я видел вас в прошлом году в Кармелитском костеле, у гроба господня".

"А я вас лучше всего запомнила, когда вы летом приходили в тот дом, где мы жили. И мне показалось, сама не знаю почему..."

- А сколько возни бывало с паспортами!.. - продолжала свое пани Мисевичова. - Бог весть кто получал, кому их выдавали, на чью фамилию...

"Разумеется, всегда, когда только вам будет угодно", - говорила, зарумянившись, пани Ставская.

"...И я не покажусь вам назойливым?.."

- Прекрасная пара! - тихо сказал я пани Мисевичовой.

Она поглядела на них и со вздохом сказала:

- Что с того! Даже если б несчастного Людвика уже не было в живых...

- Господь милостив, не будем терять надежду...

- Что он жив?.. - спросила старушка, отнюдь не выказывая восторга.

- Нет, я не о том... Но...

- Мама, мне хочется спать, - заявила Элюня.

Вокульский встал, и мы простились.

"Кто знает, - подумал я, - не попался ли уже наш осетр на удочку?"

На улице все еще сыпал снег. Стах отвез меня домой и, не знаю зачем, дожидался в санях, пока я не войду в ворота.

Я вошел, однако в подъезде задержался. И только когда дворник запер ворота, я услышал, как на улице зазвенели бубенчики отъезжающих саней.

"Вот ты каков? - подумал я. - Посмотрим же, куда ты теперь отправишься..."

Поднявшись к себе, я надел старое пальто, цилиндр и, преобразившись таким образом, через полчаса снова зашагал по улице.

В квартире Стаха было темно: значит, он куда-то поехал, но куда же?

Я кликнул извозчика и несколько минут спустя остановился неподалеку от дома, в котором жил князь.

У подъезда уже стояло несколько карет, другие только подъезжали, но второй этаж был ярко освещен, играл оркестр, и в окнах время от времени мелькали тени танцующих.

"Там панна Ленцкая", - подумал я, и сердце мое почему-то сжалось.

Я оглянулся вокруг. Фу ты, как снег валит! Еле-еле можно различить трепещущие на ветру огоньки фонарей... Пора спать.

Я перешел на другую сторону, чтобы сесть в свободные санки, и... чуть не столкнулся с Вокульским. Он стоял под деревом, весь осыпанный снегом, и не отрываясь глядел на окна.

"Вон оно как?.. Так нет же, голубчик, сдохнешь, а женишься-таки на пани Ставской!"

Перед лицом подобной опасности я решил действовать энергично. На следующий же день я отправился к Шуману.

- Знаете, доктор, - говорю ему, - что случилось со Стахом?

- Что же, ногу сломал?

- Хуже. Правда, хотя князь приглашал его дважды, он на бал все-таки не поехал; однако около полуночи, в метель, стоял перед его домом и глядел на окна. Вы понимаете?

- Понимаю. Для этого не надо быть психиатром.

- Поэтому я твердо решил женить Стаха еще в этом году, и не позднее дня святого Яна.

- На панне Ленцкой? - встревожился доктор. - Не советую вам вмешиваться.

- Не на панне Ленцкой, а на пани Ставской.

Шуман схватился за голову.

- Сумасшедший дом! - пробормотал он. - В полном составе... У вас, Жецкий, несомненно, водянка мозга.

- Вы меня оскорбляете! - крикнул я, выходя из себя.

Он стал против меня, вцепился в лацканы моего сюртука и с яростью заговорил:

- Послушайте, почтеннейший... Я употребляю сравнение, которое вы должны понять. Допустим, у вас ящик, полный... ну, хотя бы кошельков; можно ли в тот же ящик положить - ну... хотя бы галстуки? Нельзя. Итак, если у Вокульского сердце полно панной Ленцкой, можно ли втиснуть туда пани Ставскую?

Я разжал его пальцы, вцепившиеся в мои лацканы, и ответил:

- А я выну кошельки и положу вместо них галстуки! Понятно вам, господин ученый?..

И тотчас ушел, потому что мне наконец надоели его грубости. Воображает тоже, будто умней его и на свете нет!

От доктора я поехал к пани Мисевичовой. Ставская была у себя в магазине, Элюню я спровадил в другую комнату, к игрушкам, а сам подсел к старушке и без долгих слов приступил к делу:

- Как вы полагаете, уважаемая пани, Вокульский - достойный человек?

- Ах, милый пан Жецкий, как вы можете об этом спрашивать? Когда мы жили в его доме, он снизил нам квартирную плату, Элену спас от такого позора, устроил на службу с жалованьем в семьдесят пять рублей в месяц, прислал Злюне столько игрушек...

- Простите, - перебил я. - Итак, если вы тоже считаете его благородным человеком, то позвольте сказать вам, под величайшим секретом, что он очень несчастлив...

- Во имя отца и сына... - перекрестилась старушка. - Это он-то несчастлив, он? Когда у него магазин, и торговое общество, и такое огромное состояние!.. Он несчастлив, хотя только недавно продал такой дом? Разве что у него есть долги, о которых я не знаю...

- Долгов у него нет ни копейки, - говорю я, - а после продажи магазина у него наберется добрых шестьсот тысяч, хотя два года назад у него было всего тысяч тридцать - разумеется, не считая самого предприятия... Но, сударыня, деньги - это не все. Если у человека, кроме кармана, есть еще сердце...

- Да ведь я слышала, что он женится, к тому же на красавице, панне Ленцкой?

- В том-то и горе: Вокульский не может, не имеет права жениться...
- Разве у него есть какой-нибудь изъян?.. Такой крепкий мужчина...
- Он не имеет права жениться на панне Ленцкой, она ему не пара. Ему надо бы такую жену, как...
- Как моя Елена... - подхватила пани Мисевичова.
- Вот-вот! - вскричал я. - И не такую, как она, а именно ее... Елена Ставская должна стать его женой!..

Старушка расплакалась.

- Знаете ли, милый пан Жецкий, - заговорила она, всхлипывая, - это моя заветная мечта... А что нашего дорогого Людвика нет в живых, я готова дать голову на отсечение... Сколько раз он мне снился, и всегда или голый, или совсем на себя не похожий...
- К тому же, - говорю я, - даже если он жив, мы добьемся развода.
- Конечно! За деньги всего можно добиться.
- Вот именно!.. Все дело в том, чтобы пани Ставская не противилась...
- Благородный пан Жецкий! - воскликнула старушка. - Да она, клянусь вам, уже влюблена в Вокульского... Заскучала, бедняжка, по ночам не спит и все вздыхает, просто на глазах сохнет; а вчера, когда вы тут с ним были, что с ней творилось! Я, мать, узнать ее не могла!
- Значит, решено! - прервал я. - Уж я постараюсь, чтобы Вокульский приходил сюда как можно чаще, а вы, сударыня... влияйте соответственно на пани Элену. Вырвем Стаха из рук панны Ленцкой, и... даст бог, ко дню святого Яна сыграем и свадьбу...
- Побойтесь бога, а Людвик?
- Умер, умер, - говорю я. - Голову дам на отсечение, что его нет в живых...
- Ну, в таком случае воля божия...
- Только... прошу вас, держите это в строжайшем секрете. Дело важности чрезвычайной.
- За кого вы меня принимаете, сударь? - обиделась старушка. - Здесь, здесь... - прибавила она, ударяя себя в грудь, - любая тайна укрыта, как в могиле. Тем более тайна моей дочери и этого благородного человека.

Мы оба были глубоко взволнованы.

- Однако, - сказал я, собираясь уходить, - мог ли кто-нибудь предположить, что такая ничтожная вещь, как кукла, может способствовать счастью двух людей?
- Кукла?
- Ну конечно! Если бы пани Ставская не купила у нас куклу, не было бы суда, Стах не принял бы так близко к сердцу судьбу пани Элены, пани Елена не влюбилась бы в него, и они бы не поженились... Ведь разбирая по существу, если в Стахе проснулось более нежное чувство к пани Ставской, то именно начиная с суда...
- Проснулось, вы говорите?

- Еще бы! А разве вы сами не видели, как они вчера шептались на этом вот диване? Вокульский давно уже не был так оживлен и даже растроган, как вчера.

- Бог послал вас, дорогой пан Жецкий, - воскликнула старушка и на прощанье поцеловала меня в голову.

Теперь я доволен собою и, хочешь не хочешь, вынужден признать, что голова у меня меттерниховская. Попробуй другой додуматься влюбить Стаха в пани Ставскую и так все устроить, чтобы им не мешали.

Должен сказать, что сейчас я уже ничуть не сомневаюсь, что и пани Ставская и Вокульский попались в расставленную ловушку. Она за несколько недель похудела (но похорошела еще больше, плутовка!), а он буквально теряет голову. Если только вечером он не у Ленцких (там, кстати, он бывает не часто, потому что барышня по-прежнему разъезжает по балам), то непременно отправляется к пани Ставской и просиживает у нее чуть ли не до полуночи. А как он оживает, с каким чувством рассказывает ей о Сибири, о Москве, о Париже!.. Я все знаю, хотя сам не хожу туда по вечерам, чтобы им не мешать; зато на другой день пани Мисевичова мне все рассказывает - разумеется, под строжайшим секретом.

Одно только мне не понравилось.

Узнав, что Вирский иногда заходит к нашим дамам и, конечно, вспугивает воркующую парочку, я собрался предостеречь его.

Только я оделся и вышел, как вдруг в сенях встречаю его самого. Разумеется, возвращаюсь, зажигаю свет. Потолковали мы с ним о политике... Потом я меняю предмет разговора и без церемоний начинаю:

- Я хотел вам сообщить весьма доверительно...

- Знаю уже, знаю! - говорит он и смеется.

- Что вы знаете?

- Да что Вокульский влюблен в пани Ставскую.

- Раны Христовы! - восклицаю я. - Кто же вам сказал?

- Ну, прежде всего не бойтесь, я секрет не выдам, - с важностью говорит он. - У нас в семье секрет - все равно как на дне колодца.

- Но кто же вам сказал?

- Мне, видите ли, сказала жена, которая узнала это от пани Колеровой...

- А та откуда?

- Пани Колеровой сказала пани Радзинская, а пани Радзинской, которая дала торжественнейшую клятву молчать, доверила эту тайну пани Денова, приятельница пани Мисевичовой.

- Как пани Мисевичова неосторожна!

- Полноте! - говорит Вирский. - Что ж ей, бедной, оставалось, если пани Денова на нее напустилась, что, мол, Вокульский просиживает у них до утра и дело, мол, нечисто...

Разумеется, старушка растровожилась и сказала, что у них не шашни на уме, а законный брак и что, бог даст, ко дню святого Яна они и обвенчаются.

У меня даже голова разболелась, да что было делать? Ох, бабы, бабы!

- Что слышно в городе? - спрашиваю, чтобы прекратить щекотливый разговор.

- Потеха, - говорит он, - потеха с этой баронессой! Дайте-ка мне сигару, расскажу вам целых две длинных истории.

Я дал ему сигару, и он рассказал свои истории, которые окончательно убедили меня в том, что дурные люди рано или поздно бывают наказаны, а хорошие вознаграждены и что в самом черством сердце все же теплится искорка совести.

- Давно ли вы были у наших дам? - спрашивает, в свою очередь, Вирский.

- Дней пять... шесть тому назад, - отвечаю. - Вы понимаете, я не хочу мешать Вокульскому... да и вам советовал бы то же самое. Молодые скорее сговорятся между собою, чем с нами, стариками.

- Позвольте! - прерывает Вирский. - Пятидесятилетний мужчина - совсем не старик, а как раз в самом соку...

- Как яблоко, которое вот-вот упадет.

- Вы правы: пятидесятилетний мужчина весьма склонен к падению. И если б не жена и дети, пан Игнаций! пан Жецкий!.. черт меня побери, если я не способен еще соперничать с молодыми! Но, сударь мой, человек женатый калека: женщины на него и смотреть не хотят. Хотя... пан Игнаций...

Тут глазки у него заблестели и лицо приняло такое выражение, что будь он человеком набожным, то завтра же пошел бы к исповеди.

Не раз уж я примечал, что у дворян нрав таков: к ученью или торговле смекалки нет, зато насчет выпивки, потасовки или скабрёзностей - первые мастера, хоть бы из иного уже песок сыпался... Пакостники!

- Все это прекрасно, - говорю я, - но что вы собирались мне рассказать?

- Ага! Я сейчас как раз сам об этом подумал, - отвечает Вирский и дымит сигарой не хуже котла с асфальтом. - Так вот, помните вы студентов из нашего дома, которые жили над квартирою баронессы?

- Малесский, Паткевич и тот, третий? Как же не помнить таких озорников! Веселые парни!

- Весьма, весьма, - подтвердил Вирский. - Накажи меня бог, если при этих сорвиголовах можно было держать молодую кухарку дольше восьми месяцев. Поверьте, пан Жецкий! Они втроем могли бы заполнить все воспитательные дома... Видно, их там в университете тому только и обучают. В мои времена, бывало, если помещик, имея молодого сына, откупался за год тремя, ну четырьмя коровами... фью-фью!.. приходский ксендз уже был в обиде, что ему портят овечек. А эти, сударь мой!..

- Вы собирались рассказать о баронессе, - напомнил я, потому что не люблю, когда в седую голову лезет всякий вздор.

- Именно... Так вот... Самый отчаянный из них - Паткевич, тот, что прикидывается мертвецом. Только, бывало, стемнеет, как эта дохлятина вылезает на лестницу, и такой, скажу я вам, визг подымался, словно там бегало целое стадо крыс.

- Ведь вы хотели о баронессе...

- Именно... Так вот, уважаемый... Но и Малесский лицом в грязь не ударит!.. Так вот, как вам известно, баронесса добилась в суде решения, в силу которого студенты должны были съехать с квартиры восьмого числа. Дни идут, а они и в ус себе не дуют... Восьмое, девятое, десятое... Они ни с места, а у госпожи баронессы со злости печенка пухнет. Наконец она, посоветовавшись с Марушевичем и со своим, с позволения сказать, адвокатом, пятнадцатого февраля натравливает на них судебного пристава и полицию.

Лезут они, значит, пристав и полиция, на четвертый этаж - стук-стук! Дверь заперта, но изнутри спрашивают: "Кто там?" - "Именем закона, откройте!" - говорит пристав. "Закон законом, - отвечают изнутри, - да у нас нет ключа. Кто-то нас запер, наверное баронесса". - "Вы с властями шуток не шутите, - говорит пристав, - знаете ведь, что обязаны освободить помещение". - "Конечно, - отвечают изнутри, - да только через замочную скважину не выйдешь. Разве что..."

Пристав, ясное дело, посылает дворника за слесарем и ждет с полицейскими на лестнице. Через полчаса является слесарь; простой замок отпирает отмычкой, но с английским никак не сладит. Крутит, вертит - ни с места... Бежит наш слесарь за инструментом и опять исчезает на добрых полчаса, а тем временем во дворе собирается толпа, гам, крик, и в третьем этаже госпожа баронесса закатывает отчаянную истерику.

Пристав все дожидается на лестнице, как вдруг подлетает к нему Марушевич. "Любезный! - кричит. - Поглядите-ка, что они вытворяют!.." Пристав выбегает во двор и видит следующую сцену.

Окно в четвертом этаже раскрыто настежь (в феврале-то месяце), а из окна летят во двор тюфяки, одеяла, книжки, черепа и все прочее. Немного погодя спускается на веревке сундук, а за ним - кровать.

"Ну, что же вы молчите?" - кричит Марушевич. "Надо составить протокол, - говорит пристав. - Хотя... они ведь съезжают с квартиры, так, может, не стоит им препятствовать?"

Вдруг - новый фортель. В раскрытом окне четвертого этажа появляется стул, на стуле Паткевич, два молодчика толкают его - и... Паткевич мой вместе со стулом едет на веревках вниз!.. Тут уж пристав схватился за сердце, а один из полицейских перекрестился.

"Свернет себе шею! - переговариваются бабы. - Иисусе, Мария! Спасите его душу!.." Слабонервный Марушевич убегает к пани Кшешовской, а тем временем стульчик с Паткевичем задерживается у третьего этажа, как раз перед окном баронессы.

"Прекратите же, господа, эти шутки!" - кричит пристав товарищам Паткевича.

"Легко сказать, а у нас веревка оборвалась..." - отвечают они.

"Спасайся, Паткевич!" - кричит сверху Малесский. Во дворе суматоха. Бабы (а из них не одна волновалась за здоровье Паткевича) поднимают вой, полицейские столбенеют, а пристав совсем теряет голову.

"Станьте на карниз! Стучите в окно!" - кричит он Паткевичу.

Моему Паткевичу незачем было это повторять дважды. Он так начал стучаться к баронессе в окно, что сам Марушевич не только форточку открыл, но даже собственноручно втащил парня в комнату.

Баронесса и та растревожилась и говорит Паткевичу:

"Господи боже мой! И зачем вы такие фокусы выкидываете?"

"Иначе я не имел бы удовольствия попрощаться с вами, уважаемая", отвечает Паткевич и показывает ей такого покойничка, что женщина валится на пол и кричит:

"Некому за меня заступиться!.. Нет уже мужчин!.. Мужчину!.. Мужчину!.."

Она орала так, что было слышно во дворе, а пристав - тот так даже превратно истолковал ее вопли и сказал полицейским:

"Вот ведь какой недуг одолел бедную женщину! Да и что тут мудреного, если она уже два года живет врозь с мужем".

Паткевич, будучи медиком, пощупал пульс у баронессы, велел дать ей валериановых капель и преспокойно удалился. Между тем слесарь принялся отбивать английский замок. Когда он закончил работу, порядком искромсав дверь, Малесский вдруг вспомнил, что оба ключа - и от простого и от английского замка - лежат у него в кармане.

Не успела баронесса прийти в себя, как пресловутый адвокат принялся ее подзуживать, чтобы она подала в суд на Паткевича и Малесского. Но ей уже так осточертело судиться, что, обругав своего советчика, она только поклялась отныне не пускать в дом ни одного студента, хоть бы квартира век пустовала.

Потом, как мне рассказывали, она, громко плача, стала просить Марушевича, чтобы он уговорил барона извиниться перед нею и переехать домой.

"Я знаю, - рыдала она, - у него уже нет ни гроша, за квартиру он не платит и даже столуется в долг вместе со своим лакеем. Но я все забуду и заплачу все его долги, лишь бы он обратился на путь истинный и вернулся домой. Без мужчины мне не справиться с таким домом... еще год - и я умру тут одна..."

- Во всем этом я вижу кару Божию, - закончил Вирский, сдувая пепел с сигары. - А орудием сей кары будет барон...

- Ну, а вторая история? - спросил я.

- Вторая короче, но зато любопытнее. Представьте себе, баронесса, сама баронесса Кшешовская, вчера нанесла визит пани Ставской...

- Ох, черт! плохо дело... - испугался я.

- Совсем нет, - возразил Вирский. - Баронесса пришла к пани Ставской, закатила истерику и со слезами, чуть не на коленях, стала молить обеих дам, чтобы они простили ей этот процесс из-за куклы, иначе, мол, она не найдет себе покоя до конца своих дней...

- И они ее простили?

- Не только простили, но и расцеловались с ней и даже обещали испросить для нее прощения у Вокульского, о котором баронесса отзывалась с величайшей похвалой...

- Черт побери! - вскричал я. - Зачем же они с нею говорили о Вокульском? Ох, быть беде!

- Помилуйте, что вы! - успокаивал меня Вирский. - Женщина раскаялась, жалеет о своих грехах и, несомненно, исправится.

Он отправился домой, потому что было уже за полночь. Я его не задерживал, раздосадованный тем, что он поверил в искренность баронессы. Ну, да, впрочем, кто ее знает, может, она и в самом деле вступила на стезю добродетели!

Post scriptum. Я так был уверен, что Мак-Магону удастся совершить переворот в пользу юного Наполеона, и вдруг узнаю, что Мак-Магона лишили власти, президентом республики провозглашен гражданин Греви, а юный Наполеон поехал воевать куда-то в Наталь, в Африку.

Делать нечего, пусть мальчик учится воевать. Не пройдет и полгода, как он вернется, увенчанный славой, и тогда французы сами призовут его к себе, а мы тем временем поженим Стаха с пани Эленой.

Надо сказать, что уж если я берусь за что-нибудь, то по-меттерниховски, и кто-кто, а я понимаю естественный ход событий.

Итак, да здравствует Франция с Бонапартами и Вокульский с пани Эленой!.."

Глава десятая

Дамы и женщины

В этом году, и на масленицу и теперь, во время поста, фортуна снова, уже в третий или четвертый раз, улыбнулась пану Ленцкому.

Его дом был полон гостей, а в прихожей снежными хлопьями сыпались визитные карточки. И снова пан Томаш был счастлив; он мог принимать у себя, и больше того - принимать с разбором.

- Наверное, я скоро умру, - не раз говорил он дочери. - Однако я испытываю глубокое удовлетворение оттого, что меня оценили хоть перед смертью.

Панна Изабелла слушала его с улыбкой. Она не хотела рассеивать его иллюзии, но была уверена, что рой визитеров является на поклон не к ее отцу. Ведь такой изящный кавалер, как пан Нивинский, охотнее всего танцевал с ней, а не с отцом; пан Мальборг, образец хорошего тона и законодатель мод, беседовал с ней, а не с отцом; а пан Шастальский, приятель обоих вышеупомянутых молодых людей, чувствовал себя безнадежно несчастным опять-таки из-за нее, а не из-за отца. Пан Шастальский недвусмысленно объявил ей об этом; и хоть сам он не был ни столь изящным танцором, как пан Нивинский, ни законодателем мод, как пан Мальборг, все же был приятелем и пана Нивинского и пана Мальборга. Он жил неподалеку от них, с ними вместе обедал, с ними вместе заказывал себе английские и французские костюмы, и пожилые дамы, не находя в нем иных достоинств, называли его поэтической натурой.

Однако ничтожный случай, одна фраза заставила панну Изабеллу искать разгадку своих побед в другом направлении.

Однажды на балу она сказала панне Пантаркевич:

- Право, никогда еще я не веселилась в Варшаве так, как в этом году.

- Да, ты восхитительна, - кратко ответила панна Пантаркевич и развернула веер, словно желая скрыть невольный зевок.

- Девушки в "известном возрасте" умеют казаться интересными, - громко заметила пани Упадальская, урожденная де Гинс, обращаясь к пани Вывротницкой, урожденной Фертальской.

Раскрытый веер панны Пантаркевич и словечко пани Упадальской, урожденной де Гинс, поразили панну Изабеллу. Она была достаточно умна, чтоб разобраться в обстановке, к тому же столь выразительно прокомментированной.

"При чем тут возраст? - думала она. - Двадцать пять лет - это еще не "известный возраст"... Что они болтают?"

Она оглянулась и увидела устремленные на нее глаза Вокульского. Колеблясь, чему приписать свои победы: "известному возрасту" или Вокульскому, она... предпочла Вокульского.

Кто знает, уж не он ли явился невольным вдохновителем преклонения, которое ее окружало?..

Она принялась размышлять.

Прежде всего отец Нивинского вложил капитал в основанное Вокульским торговое общество, приносившее (что было известно даже панне Изабелле) огромные прибыли. Затем Мальборг, окончивший какое-то техническое училище (о чем он скромно умалчивал), хлопотал о службе на железной дороге и действительно получил ее благодаря протекции Вокульского (что он тщательнейшим образом скрывал). Служба эта имела то огромное достоинство, что не требовала работы, и тот страшный недостаток, что не приносила трех тысяч рублей в год. За это пан Мальборг был даже в обиде на Вокульского, но, учитывая связи влиятельного купца, ограничивался лишь тем, что произносил его имя с иронической усмешкой.

У Шастальского не было ни капитала в торговом обществе, ни службы на железной дороге. Но, поскольку оба его приятеля, и Нивинский и Мальборг, были в претензии к Вокульскому, то и Шастальский был на него в претензии и, вздыхая возле панны Изабеллы, говорил:

- Бывают же счастливцы, которые... Кто эти "которые", панне Изабелле так и не привелось узнать. Но всякий раз при слове "которые" ей приходил на ум Вокульский. Тогда она сжимала кулачки и твердила про себя: "Деспот... Тиран..." - хотя Вокульский не проявлял ни малейшей склонности к тирании и деспотизму. Он лишь присматривался к ней и думал:

"Ты ли это, или... не ты..."

Порой, когда молодые и старые франты увивались вокруг панны Изабеллы и глаза ее сверкали, как алмазы или как звезды, светлые небеса его восторгов омрачало облачко и бросало на душу тень какого-то смутного сомнения. Но Вокульский закрывал глаза, он не хотел видеть этой тени. Панна Изабелла была его жизнью, счастьем, его солнцем, которого не могли затмить какие-то мимолетные тучки, добавок, наверное, вымышленные.

Случалось, вспоминался ему Гейст, мудрец и отшельник, вынашивавший великие замыслы; он указывал Вокульскому иную цель, нежели любовь панны Изабеллы. Но стоило Вокульскому встретиться взглядом с панной Изабеллой, как мысли эти рассеивались, словно сон.

"Какое мне дело до человечества! - говорил он себе, пожимая плечами. За все человечество, за будущность всего мира, за мое собственное бессмертие... я не отдал бы одного ее поцелуя..."

И при мысли об этом поцелуе с ним творилось что-то странное. Воля его слабела, он почти лишался сознания и вновь приходил в себя, лишь увидев панну Изабеллу в обществе светских франтов. Только слыша ее беззаботный смех и непринужденную речь и видя, как она бросает пламенные взгляды на господ Нивинского, Мальборга или Шастальского, он вдруг, на одно мгновение, чувствовал, что с глаз его спадает пелена, открывая ему иной мир и иную панну Изабеллу. Тогда, неведомо откуда, вспыхивал перед ним образ его молодости, исполненной титанического борения. Он видел нужду, из которой выбился благодаря тяжелому труду, слышал свист снарядов, пролетавших некогда над его головой, потом видел лабораторию Гейста, где зарождались явления неизмеримой важности, - и, глядя на господ

Нивинского, Мальборга и Шастальского, думал: "Что я тут делаю? Как могло случиться, что я молюсь у одного с ними алтаря?.."

Он готов был расхохотаться, но безумие вновь овладевало им, и снова ему начинало казаться, что панна Изабелла достойна того, чтобы к ее ногам положить жизнь.

Как бы то ни было, под влиянием неосмотрительного выражения пани Упадальской, урожденной де Гинс, в панне Изабелле совершалась перемена в пользу Вокульского. Она стала внимательней прислушиваться к высказываниям знакомых, навещавших ее отца, и заметила, что у каждого из них есть либо капиталец, который он хотел бы вложить в предприятие Вокульского, "хотя бы из пятнадцати процентов", либо родственник, которого он хотел куда-нибудь пристроить, либо какое-нибудь иное дело к Вокульскому. Что касается дам, то они либо тоже хотели оказать кому-то протекцию, либо имели дочерей на выданье, причем и не думали скрывать, что не прочь отбить Вокульского у панны Изабеллы и даже, если возраст допускал, готовы самолично его осчастливить.

- Ах, быть женой такого человека! - говорила пани Вывротницкая, урожденная Фертальяская.

- Даже не обязательно женой! - с усмешкой возразила баронесса фон Плес, у которой муж уже пять лет был разбит параличом.

"Тиран... Деспот..." - повторяла панна Изабелла, замечая, что на этого купца, которым она пренебрегала, обращены взоры стольких людей - с надеждой или завистью.

Несмотря на еще тлевшие в ее душе остатки презрения и отвращения к Вокульскому, она вынуждена была признать, что этот угрюмый и резкий человек имеет и большой вес в обществе, и более осанистый вид, чем предводитель, барон Дальский и даже господа Нивинский, Мальборг и Шастальский.

Однако более всего повлиял на ее решение князь.

С тех пор как в декабре прошлого года Вокульский, несмотря на просьбу князя, отказался уступить Кшешовской десять тысяч рублей, а затем ни в январе, ни в феврале текущего года не пожертвовал ни гроша на опекаемых князем бедных, князь несколько охладел к Вокульскому. Он был разочарован. Он полагал и считал себя вправе полагать, что человек, подобный Вокульскому, заслужив его княжеское расположение, должен отречься не только от своих вкусов и целей, но даже от состояния и собственного "я". Такой человек обязан любить то, что любит князь, ненавидеть то, что он ненавидит, служить только его интересам и угождать только его прихотям. Между тем этот выскочка (хотя, бесспорно, истинный дворянин) не только не собирался быть княжеским слугою, но даже имел дерзость быть самостоятельным человеком; не раз он спорил с князем и, хуже того, напрямик отказывался исполнять его требования.

"Резкий человек... корыстный... эгоист..." - думал князь, все более удивляясь дерзости этого выскочки.

Случилось так, что Ленцкий, которому уже трудно было скрыть, что Вокульский ухаживает за его дочерью, обратился к князю за советом и спросил его мнение о Вокульском.

А князь, при всех своих слабостях, был человеком честным, в своих суждениях о людях исходил не из собственных пристрастий, а считался с общественным мнением. Поэтому он попросил Ленцкого подождать недели две-три, пока он "составит себе представление"; а так как у него были разнообразные знакомства и нечто вроде собственной тайной полиции, ему удалось узнать много интересного.

Прежде всего он заметил, что дворяне хотя и язвят по адресу Вокульского, называя его

выскачкой и демократом, однако гордятся им: чувствуется, мол, наша кровь, хоть и прибился к купцам! А когда нужно было кого-нибудь противопоставить еврейским банкирам, всякий раз даже самые закоснелые дворяне выдвигали Вокульского.

Купцы же и особенно фабриканты ненавидели Вокульского; однако все их обвинения сводились к тому, что "он дворянин... важный барин... политик!" чего князь опять-таки никоим образом не мог ему поставить в вину. Но наиболее интересные сведения он получил от монашек. Был в Варшаве некий возчик и брат его, железнодорожник, работавший на линии Варшава - Вена; оба они благословляли Вокульского; были какие-то студенты, которые повсюду рассказывали, что Вокульский дает им стипендию; были ремесленники, обязанные ему устройством мастерских; были мелочные торговцы, которым Вокульский помог открыть лавочки. Наконец, удалось обнаружить даже (о чем монашки говорили с благочестивым ужасом и краской стыда) некую падшую женщину, которую Вокульский извлек из нищеты и поместил в монастырь св.Магдалины, где она стала честной женщиной, насколько, оговаривались монашки, такая особа вообще может быть честной.

Сообщения эти не только удивили, но просто встревожили князя. Вокульский сразу вырос в его глазах. Он оказался человеком с собственной программой... более того - человеком, ведущим самостоятельную политику и пользующимся большим влиянием среди простонародья...

Поэтому, придя в назначенный срок к Ленцкому, князь не преминул увидеться также с панной Изабеллой. Он многозначительно обнял ее и произнес следующие загадочные слова:

- Дорогая моя! У тебя в руках редкая птица... Смотри же держи ее крепко и береги, чтобы она росла на благо нашей несчастной отчизне...

Панна Изабелла вспыхнула, угадав, что сия редкая птица - Вокульский.

"Тиран... Деспот..." - подумала она.

И все же в отношениях ее с Вокульским лед был сломлен. Она уже решилась выйти за него...

Однажды, когда Ленцкому слегка нездоровилось, а панна Изабелла читала у себя в кабинете, ей доложили о приезде Вонсовской. Панна Изабелла поспешила в гостиную, где, кроме пани Вонсовской, застала кузена Охоцкого, весьма мрачно настроенного.

Пряательницы расцеловались с подчеркнутой нежностью, но Охоцкий, который умел видеть не глядя, заметил, что одна из них, а может, и обе обижены, впрочем не слишком.

"Неужели из-за меня? - подумал он. - Надо мне держаться осмотрительнее".

- А, и вы здесь, кузен! - сказала панна Изабелла, протягивая ему руку. - Почему же в таком унынии?

- А должен бы радоваться, - вмешалась Вонсовская, - потому что всю дорогу из банка любезничал со мной и, заметь, с успехом. На углу Аллеи я позволила ему отстегнуть две пуговицы на моей перчатке и поцеловать мне руку. Ох, Белла, если б ты знала, как он неумело это сделал...

- Неужели? - воскликнул Охоцкий, покраснев до ушей. - Хорошо же! С сегодняшнего дня не стану больше целовать вам руку... Клянусь!

- Еще сегодня, до вечера, вы поцелуете мне обе руки, - решительно заявила Вонсовская.

- Могу ли я засвидетельствовать свое почтение пану Ленцкому? церемонно произнес Охоцкий и, не дожидаясь ответа, вышел из гостиной.

- Ты сконфузила его, - сказала панна Изабелла.

- Пусть не любезничает, если не умеет. В таких случаях неуклюжесть тот же самый грех. Разве нет?

- Когда же ты приехала?

- Вчера утром. Но мне пришлось дважды побывать в банке, заехать в магазины, навести дома порядок. Сейчас при мне Охоцкий... пока не найдется кто-нибудь поинтереснее. Не уступишь ли ты мне из своей свиты... выразительно прибавила она.

- Откуда у тебя такие сведения! - сказала панна Изабелла, краснея.

- Они дошли до меня даже в захолустье. Старский рассказывал, и не без ревности, что в этом году, как, впрочем, и всегда, ты была царицей балов. Говорят, Шастальский совсем голову потерял.

- Как и оба его столь же скучных приятеля, - с улыбкой отвечала панна Изабелла. - Каждый вечер все трое в меня влюблялись и по очереди признавались мне в своих чувствах с таким расчетом, чтобы не мешать друг другу, а потом все трое делились друг с другом своими сердечными тайнами. Эти господа все делают сообща.

- А ты как на это смотришь?

Панна Изабелла пожала плечами.

- Что же тут спрашивать!

- Я слышала также, - продолжала Вонсовская, - что Вокульский объяснился...

Панна Изабелла принялась теревить бант на своем платье.

- Так уж сразу и объяснился... Он объясняется всякий раз, когда меня видит: и глядя на меня и не глядя, и говоря и не говоря... как все они...

- А ты?

- Пока что провожу свою программу.

- Можно узнать какую?

- Разумеется; я даже предпочитаю не делать из этого тайну. Прежде всего еще у председательши... Кстати, как она себя чувствует?

- Очень плохо. Старский уже почти не выходит из ее комнаты, и нотариус ездит ежедневно, только, кажется, напрасно... Итак, что же с программой?

- Еще в Заславеке, - продолжала панна Изабелла, - я намекнула о продаже магазина (тут она сильно покраснела), и он будет продан самое позднее в июне.

- Отлично. Что ж дальше?

- Затем я не знаю, как быть с этим торговым обществом. Он, разумеется, готов немедленно с ним покончить, но я еще сама колеблюсь. Участвуя в нем, можно иметь около девяноста тысяч рублей в год, без него - всего тридцать тысяч; тут, сама понимаешь, есть о чем призадуматься.

- Я вижу, ты начинаешь разбираться в цифрах.

Панна Изабелла брезгливо махнула рукой.

- Ах, видно, я никогда не научусь в них разбираться. Но и он мне об этом толкует понемножку... и отец, да и тетка.

- И ты так прямо и говоришь с ним?

- О нет... Но если спрашивать о некоторых вещах не подобает, приучаешься вести беседу так, чтобы нам и без вопросов все выкладывали. Неужели ты не понимаешь?

- Ясно. Ну, а дальше? - с оттенком нетерпения в голосе допытывалась Вонсовская.

- Последнее условие - чисто морального свойства. Как я узнала, у него нет никакой родни, что является его величайшим достоинством, а я оговорила, что сохраню все мои прежние знакомства...

- И он безропотно согласился?

Панна Изабелла немного высокомерно посмотрела на приятельницу.

- Ты в этом сомневалась?

- Ни минуты. Значит, Старский, Шастальский...

- Да, да, Старский, Шастальский, князь Мальборг... словом - все, кого мне вздумается выбрать сейчас и в будущем. Как же иначе?

- Совершенно правильно. А ты не боишься сцен ревности?

Панна Изабелла расхохоталась.

- Я - и сцены!.. Ревность - и Вокульский!.. Ха-ха-ха!.. Нет в мире человека, который бы осмелился устроить мне сцену, а тем более он. Ты понятия не имеешь о его беззаветном обожании. Его доверие, доходящее до полного отречения от собственной личности, - право, это как-то даже обезоруживает меня... кто знает, не привяжет ли меня к нему хотя бы одно это...

Вонсовская чуть заметно прикусила губу.

- Вы будете очень счастливы, во всяком случае... ты, - сказала она, подавляя вздох. - Хотя...

- Ты видишь какое-то "хотя"? - спросила панна Изабелла с неподдельным изумлением.

- Я тебе кое-что скажу, - начала Вонсовская необычным для нее сдержанным тоном. - Председательша очень любит Вокульского, по-видимому очень хорошо его знает, хотя и непонятно откуда, и часто со мной беседовала о нем. И знаешь, что она однажды сказала?

- Любопытно, - отозвалась панна Изабелла, все больше удивляясь.

- "Боюсь, - сказала она, - что Белла совсем не понимает Вокульского, кажется мне, она с ним играет, а с ним играть нельзя. И еще мне кажется, что она оценит его слишком поздно".

- Это сказала председательша? - холодно спросила панна Изабелла.

- Да. Скажу уж тебе все. Речь свою она закончила словами, которые поразили меня и взволновали: "Ты, Казя, припомнишь мои слова позже, когда они сбудутся, ведь умирающие прозорливы..."

- Неужели председательше так худо?

- Во всяком случае, нехорошо, - сухо закончила Вонсовская, чувствуя, что разговор больше не клеится.

Последовала пауза, которую, к счастью, прервало появление Охоцкого. Вонсовская весьма сердечно попрощалась с приятельницей и, бросив игривый взгляд на своего спутника, заявила:

- Ну, а теперь едем ко мне обедать.

Охоцкий состроил независимую мину, которая должна была означать, что он не поедет с Вонсовской. Тем не менее, насыпав еще сильнее, он взял шляпу и вышел вслед за нею.

Сев в экипаж, Охоцкий отвернулся от своей соседки и, глядя на улицу, заговорил:

- Скорей бы уж Белла решила насчет Вокульского в ту или другую сторону.

- Вы бы, конечно, предпочли именно в "ту", чтобы остаться одним из друзей дома. Но ничего не выйдет, - сказала Вонсовская.

- Прошу прощения, сударыня, - обиделся Охоцкий. - Это не по моей части... Предоставляю сие Старскому и ему подобным...

- Так зачем же вам нужно, чтобы Белла скорее решила?

- Очень нужно! Голову дам на отсечение, что Вокульскому известна какая-то важная научная тайна, но я уверен - он мне ее не откроет, пока сам будет в такой лихорадке... Ох, эти женщины с их гнусным кокетством...

- Ваше менее гнусно?

- Нам можно.

- Вам можно... тоже хорош! - вскипела вдовушка. - И это говорит человек передовой в век эмансипации!

- К чертям эмансипацию! - рассердился Охоцкий. - Хороша эмансипация! Вам бы все привилегии, и мужские и женские, а обязанностей никаких... Распахивай перед ними двери, уступай им место, за которое ты же заплатил, влюбляйся в них, а они...

- Зато в нас ваше счастье, - насмешливо заметила Вонсовская.

- Какое там счастье!.. На сто мужчин приходится сто пять женщин, уж чего тут дорожиться?

- Наверное, ваши поклонницы, горничные, не дорожатся?

- Разумеется! Но всего несноснее великосветские дамы и служанки в ресторанах. Сколько жеманства, капризов...

- Вы забываетесь! - надменно произнесла Вонсовская.

- Ну, так позвольте поцеловать ручку, - ответил Охоцкий и тут же исполнил свое намерение.

- Не смейте целовать эту руку...

- Тогда другую...

- Ну что, разве я не сказала, что еще до вечера вы поцелуете мне обе руки?
- Ах, ей-богу... Не хочу я у вас обедать... Я здесь выйду.
- Остановить экипаж?
- Зачем?
- Вы же хотели выйти...
- А вот и не выйду... Несчастный я человек, надо же родиться с таким дурацким характером...

Вокульский приходил к Ленцким раза два в неделю и чаще всего заставлял только пана Томаша. Тот приветствовал его с отеческой нежностью, а затем часа два рассказывал о своих болезнях или о своих делах, деликатно давая понять, что уже считает его членом семьи.

Обычно панны Изабеллы не оказывалось дома: она была то у тетки-графини, то у знакомых или в магазинах. Когда же Вокульскому выпадало редкое счастье и он заставлял панну Изабеллу, они перекидывались несколькими словами, да и то на посторонние темы, потому что она всегда либо собиралась куда-нибудь с визитом, либо принимала у себя.

Дня через два после посещения пани Вонсовской Вокульскому посчастливилось: панна Изабелла была дома. Она протянула ему руку, которую он, как всегда, поцеловал с благоговейным обожанием, и сказала:

- Вы слышали? Председательше совсем худо...

Вокульский встревожился.

- Бедная, славная старушка... Будь я уверен, что мое появление ее не взволнует, я бы поехал туда... А уход за ней хороший?

- О да! Подле нее Дальские, - тут она улыбнулась, - ведь Эвелина уже вышла за барона; затем Феля Яноцкая и... Старский.

Лицо ее слегка зарумянилось, и она смолкла.

"Вот плоды моей бестактности, - подумал Вокульский. - Она заметила, что Старский мне неприятен, и смущается при каждом упоминании о нем. Как это подло с моей стороны!"

Он хотел сказать о Старском что-нибудь лестное, но слова застряли у него в горле. Чтобы прервать неловкое молчание, он спросил:

- Куда вы в этом году собираетесь на лето?

- Еще не знаю. Тетя Гортензия прихварывает; может быть, мы поедem к ней в Краков. Однако, должна признаться, я бы с большей охотой посетила Швейцарию, если б это зависело от меня.

- А от кого же?

- От отца... Впрочем, я еще не знаю, как все сложится... - ответила она, краснея, и окинула Вокульского особенным, только ей свойственным взглядом.

- Допустим, все сложится по вашей воле, - сказал он, - примете ли вы меня в спутники?

- Если вы заслужите...

Она произнесла это таким тоном, что Вокульский потерял самообладание, бог знает уж который раз в этом году.

- Могу ли я чем-нибудь заслужить ваше расположение? - спросил он, беря ее руку. - Разве из жалости... Нет, только не жалость. Это чувство одинаково тягостно и дарителю и одаряемому. Я жалости не хочу. Но подумайте, что стану я делать, так долго не видя вас? Правда, и теперь мы видимся очень редко; вы даже не знаете, как мучительно тянется время, когда ждешь... Но пока вы в Варшаве, я говорю себе: "Я увижу ее - послезавтра, завтра..." Наконец, я могу увидеть в любую минуту если не вас, то по крайней мере вашего отца, Миколая или хоть этот дом... Ах, вы могли бы совершить милосердный поступок и одним словом рассеять... не знаю, страдания мои или пустые мечты... Самая страшная правда лучше неизвестности, - вы, наверно, знакомы с этим определением...

- А если эта правда не так страшна?.. - спросила панна Изабелла, не глядя ему в глаза.

В передней раздался звонок, и минуту спустя Миколай подал визитные карточки пана Рыдзевского и пана Печарковского.

- Проси, - сказала панна Изабелла.

В гостиную вошли два элегантных молодых человека, из коих один обладал тонкой шеей и довольно явственной лысиной, а другой - томным взглядом и деликатнейшим голосом. Они вошли вместе и встали рядом, держа шляпы на одном уровне, разом поклонились, разом уселись, разом положили ногу на ногу, после чего пан Рыдзевский сосредоточился на попытках удержать свою шею в вертикальном положении, а пан Печарковский завел разговор.

Не переводя дыхания, он говорил о том, что в настоящее время по случаю великого поста весь христианский мир устраивает рауты, что перед великим постом была масленица, которая прошла исключительно весело, а после великого поста наступит самая тяжелая пора, когда не знаешь, что делать. Затем он сообщил панне Изабелле, что в продолжение великого поста, кроме раутов, можно посещать лекции, где очень мило проводишь время, если рядом сидят знакомые дамы, и что в этот великий пост особой утонченностью отличаются приемы у Жежуховских.

- Как восхитительно, как оригинально, право! - рассказывал он. - Ужин, разумеется, обычный: устрицы, омары, рыба, дичь; но на десерт, для знатоков, поверите ли?.. Каша!.. Настоящая каша!.. Как ее?..

- Греческая, - в первый и в последний раз изрек пан Рыдзевский.

- Не греческая, а гречневая. Просто чудо, феерия!.. Каждая крупинка выглядит так, словно ее готовили отдельно... Мы буквально объедаемся этой кашей, я, князь Келбик, граф Следзинский{269}... Попросту уму непостижимо!.. Подают ее на серебряных блюдах...

Панна Изабелла смотрела на рассказчика с таким восхищением, так живо отвечала на каждую его фразу движением, улыбкой или взглядом, что у Вокульского потемнело в глазах. Он встал и, простившись, вышел вон.

"Не понимаю я эту женщину! - думал он. - Когда она настоящая и с кем она настоящая?"

Но, пройдя немного по морозу, он поостыл.

"В конце концов, - думал он, - что ж тут особенного? Она вынуждена жить с людьми своего круга; а живя с ними, приходится слушать их дурацкие речи. Ее ли вина, что она прекрасна как богиня и что ее все боготворят?.. Но все же... выбирать себе подобных знакомых... Ах,

подлый я человек, всегда, всегда приходят мне в голову низкие мысли!.."

Всякий раз после посещения панны Изабеллы, когда его, подобно назойливым мухам, одолевали сомнения, он спасался работой. Проверял счета, заучивал английские слова, читал новые книги. А когда и это не помогало, шел к пани Ставской, просиживал у нее вечер и - странное дело! - в ее обществе обретал если не полный покой, то по крайней мере целительный отдых.

Они разговаривали о самых обыденных вещах. Чаще всего она рассказывала о магазине Миллеровой, о том, что дела там идут лучше, так как публика узнала, что предприятие в большей части принадлежит Вокульскому. Потом сообщала, что Элюня становится послушнее, а если иногда и расшалится, то стоит бабушке пригрозить, что она пожалуется пану Вокульскому, как девочка сразу унимается. Потом упоминала о Жецком, говорила, что бабушка и она сама очень любят, когда он приходит, потому что он рассказывает множество подробностей из жизни пана Вокульского. И пана Вирского бабушка тоже очень любит, оттого что он всегда восторгается паном Вокульским, Вокульский смотрел на нее с удивлением. В первое время ему казалось, что это лесть, и ему становилось не по себе. Но Ставская говорила с таким простодушием, что постепенно он стал видеть в ней лучшего друга, который хотя и переоценивает его, но делает это с неподдельной искренностью.

Он также заметил, что Ставская никогда не занималась своей особой. После работы она возилась с Элюней, ухаживала за матерью, помогала, чем могла, прислуге и множеству посторонних людей, большею частью беднякам, которые ничем не могли ее отблагодарить. Если же, случалось, не было и этих забот, она открывала клетку канарейки и меняла ей воду или подсыпала зерна.

"Ангельская душа!" - думал Вокульский и однажды вечером сказал ей:

- Знаете, о чем я думаю, когда смотрю на вас?

Она робко подняла на него глаза.

- Я иногда думаю, что если бы вы прикоснулись к тяжелораненому, он перестал бы ощущать боль и раны его закрылись бы.

- Вам кажется, что я похожа на колдунью? - спросила она, сильно смутившись.

- Нет. Мне кажется, что вы похожи на святую.

- Пан Вокульский прав, - подтвердила Мисевичова.

Ставская рассмеялась.

- Это я-то святая!.. - наконец сказала она. - Если б кто-нибудь мог заглянуть в мое сердце, то увидел бы, как часто заслуживаю я порицания... Ах, да теперь мне все равно... - закончила она с отчаянием в голосе.

Мисевичова украдкой перекрестилась. Вокульский не обратил на это внимания.

Он думал о другой.

Ставская не умела определить свое чувство к Вокульскому. Несколько лет она его знала в лицо, даже находила привлекательным, но была к нему совершенно равнодушна. Потом Вокульский исчез из Варшавы; разнеслась весть, что он уехал в Болгарию и нажил огромное состояние. О нем много говорили, и Ставская начала им интересоваться. Как-то один из знакомых назвал Вокульского "чертовски энергичным человеком", ей понравилось выражение "чертовски энергичный", и она решила получше его разглядеть.

С этой целью она несколько раз заходила в его магазин. В первый раз она вовсе не застала Вокульского, во второй увидела издали; наконец, однажды ей удалось обменяться с ним двумя или тремя словами, и тогда он произвел на нее сильное впечатление. Ее поразил контраст между словами "чертовски энергичный" и тем, как он держался; не чувствовалось в нем ничего "чертовского", - напротив, он был тих и грустен. И еще она заметила его глаза, большие и мечтательные, да, да, мечтательные...

"Прекрасный человек!" - подумала она.

Однажды летом она повстречалась с ним возле дома, где тогда жила. Вокульский посмотрел на нее с любопытством, а она почему-то смутилась и покраснела до корней волос. Она рассердилась на себя за это смущение и румянец и долго в душе упрекала Вокульского за то, что он с таким любопытством посмотрел на нее.

С тех пор, когда в ее присутствии произносили имя Вокульского, она не могла скрыть чувство неловкости; ее томило какое-то недовольство - то ли им, то ли собой, она не знала. Скорее всего собой, потому что Ставская никогда и никого ни в чем не винила; и, наконец, при чем тут он, если она такая смешная и ни с того ни с сего смущается.

Когда Вокульский купил дом, где они жили, и Жецкий с его ведома снизил им квартирную плату, пани Ставская (хотя все кругом толковали ей, что богатый домовладелец не только может, но даже обязан снижать квартирную плату) почувствовала к Вокульскому благодарность. Постепенно благодарность сменилась восхищением, когда у них начал бывать Жецкий, рассказывавший множество подробностей из жизни своего Стаха.

- Это замечательный человек! - часто говорила ей мать.

Ставская слушала и молчала, но постепенно пришла к убеждению, что Вокульский самый замечательный человек, какой когда-либо существовал на земле.

После возвращения Вокульского из Парижа старый приказчик зачастил к Ставской, беседуя с нею все более задушевно и откровенно. Он рассказал разумеется, под величайшим секретом, - что Вокульский влюблен в панну Ленцкую, чего он, Жецкий, отнюдь не одобряет. Понемногу в Ставской стала зарождаться неприязнь к панне Ленцкой и сочувствие к Вокульскому. Тогда же ей пришло в голову, но лишь на одну минуту, что Вокульский, должно быть, очень несчастлив и что весьма похвально поступил бы тот, кто вызволил бы его из сетей кокетки.

Потом на Ставскую обрушилось сразу два удара: обвинение в краже и потеря заработка. Однако Вокульский не прекратил знакомства с нею, как поступили бы многие на его месте; мало того, он добился ее оправдания в суде и предложил выгодную работу в магазине.

Тогда Ставская призналась себе, что человек этот стал ей близок и дорог не меньше, чем Элюня и мать. Для нее началась странная жизнь. Кто бы к ним ни пришел, непременно заговаривал о Вокульском, напрямик или обиняками. Денова, Колерова и Радзинская толковали ей, что Вокульский самая блестящая партия в Варшаве; мать намекала, что Людвика уже нет в живых, а если он и жив, то недостоем того, чтобы о нем помнили. Наконец, Жецкий при каждом посещении твердил, что Стах несчастлив и что его надо спасать, а спасти его может только она.

- Но какими средствами? - спросила она, не совсем понимая, что говорит.

- Полюбите его, а уж средства найдутся, - ответил Жецкий.

Она промолчала, но в душе стала горько упрекать себя за то, что не может полюбить Вокульского, даже если бы хотела. Сердце у нее уже высохло; да и есть ли у нее сердце?

Правда, она постоянно думала о Вокульском - и в магазине и дома; по вечерам поджидала его, а когда он не являлся, бывала расстроена и грустна. Он часто ей снился, - но ведь это не любовь! Любить она уже не способна. По правде говоря, она и мужа перестала любить. Ей казалось, что воспоминание о нем - словно осеннее дерево, с которого облетели листья и остался лишь голый черный ствол.

"Какая там любовь, - думала она. - Во мне уж давно угасли страсти".

Между тем Жецкий неустанно осуществлял свой хитроумный план. Сначала он говорил ей, что панна Ленцкая погубит Вокульского, потом - что только другая женщина могла бы развеять этот дурман, потом заявил, что Вокульский успокаивается в ее обществе и, наконец (но об этом он упоминал в виде догадки), что Вокульский как будто склонен ее полюбить.

От этих разговоров Ставская худела, бледнела и теряла покой. Ею овладела одна мысль: что она ответит, если Вокульский объяснится ей в любви?.. Правда, сердце ее давно омертвело, но хватит ли у нее мужества оттолкнуть его и сказать, что она к нему равнодушна? И могла ли она остаться равнодушной к такому человеку - не потому, что она ему многим обязана, а потому, что он был несчастлив и любил ее. "Какая женщина, - думала она, - не сжалилась бы над этим истерзанным сердцем, столь кротким в своих страданиях!"

Поглощенная внутренней борьбой, сомнениями, которыми ей даже не с кем было поделиться, Ставская не замечала перемены в поведении Миллеровой, не обращала внимания на ее улыбочки и недомолвки.

- Как поживает пан Вокульский? - часто спрашивала ее владелица магазина. - Ох, какая вы стали худенькая!.. Пан Вокульский не должен позволять вам столько работать...

Однажды, примерно во второй половине марта, Ставская, вернувшись домой, застала мать в слезах.

- Что это значит, мамочка?.. Что случилось? - встревожилась пани Элена.

- Ничего, ничего, дитя мое... Зачем отравлять тебе жизнь сплетнями?.. Боже мой, до чего люди подлы!

- Наверное, вы получили анонимное письмо? Я получаю чуть ли не каждый день письма, в которых меня называют любовницей Вокульского; ну и что ж? Я догадываюсь, что это проделки Кшешовской, и бросаю их в печь.

- Ничего, ничего, дитя мое... если бы только письма... Но сегодня у меня были Радзинская и Денова, такие почтенные женщины, и... Но зачем мне отравлять тебе жизнь... Они говорят (якобы подобные слухи носятся по городу), что ты ходишь не в магазин, а к Вокульскому...

Впервые в жизни в Ставской проснулась львица. Глаза ее засверкали; подняв голову, она твердо произнесла:

- А если бы даже так, что из того?

- Господь с тобою, что ты! - ахнула мать, всплеснув руками.

- Ну, а если бы? - повторила Ставская.

- А муж?

- Где он, мой муж? Впрочем, пусть убивает меня...

- А дочь... Элюня?.. - пролепетала старушка.

- Оставим в покое Элюню, будем говорить только обо мне...

- Елена... дитя мое... но ведь ты не стала его...

- Любовницей?.. Нет, я ему не любовница, потому что он еще не просил меня об этом. И какое мне дело до Деновой, или Радзинской, или до мужа, который покинул меня?.. Право, я сама не понимаю, что со мною творится... Но знаю одно - человек этот завладел моею душой...

- Но будь же благоразумна... Хотя...

- Я благоразумна... пока это в моих силах... Но я не хочу считаться с обществом, которое обрекает людей на пытки только за то, что они любят друг друга. Ненавидеть можно, - продолжала она с горькой усмешкой, - красть, убивать... все, все можно, только любить нельзя... Ах, мамочка, если я не права, почему же Иисус Христос не говорил людям: "Будьте благоразумны", а говорил: "Любите друг друга"?

Мисевичова умолкла, пораженная этим бунтом, на который не считала способной свою дочь. Ей казалось, что небо обрушилось, когда из уст этой тихой голубки посыпались слова, которых она не слыхала, не читала и которых у нее не было в мыслях даже во время тифозной горячки.

На следующий день явился Жецкий; он пришел огорченный, а когда Мисевичова передала ему весь разговор, вконец был подавлен.

Как раз сегодня утром произошло следующее.

В магазин к Шлангбауму пришел - кто же?.. Марушевич! И они оживленно беседовали около часу. Остальные приказчики, узнав, что магазин покупает Шлангбаум, сразу переменялись к нему и стали крайне предупредительны. Пан Игнаций, напротив, держался теперь очень надменно. Как только Марушевич ушел, он спросил:

- Какие у вас дела с этим негодяем, пан Шлангбаум?

Но и тот уже набрался спеси; он выпятил нижнюю губу и ответил:

- Марушевич просит ссудить денег барону, а для себя подыскать какую-нибудь должность. Вы знаете, в городе уже болтают, будто Вокульский передает мне торговое общество. Марушевич обещает взамен, что барон и его супруга будут посещать мой дом...

- И вы намерены принимать такую ведьму?

- Почему же нет? Барон будет ходить ко мне, а баронесса - к моей жене. В душе я демократ, но как быть, если глупые люди считают, что гостиная лучше выглядит с баронами и графами, чем без них? Чего не сделаешь ради связей, пан Жецкий!

- Поздравляю.

- Пойдите, пойдите... Кроме того, Марушевич мне сказал, что по городу ходит слух, будто Стасек взял на содержание эту... как ее... Ставскую... Правда это, пан Жецкий?

Старый приказчик плюнул ему под ноги и вернулся к своей конторке. Под вечер он пошел посоветоваться с Мисевичовой, и тут она сказала ему, что дочь ее не стала любовницей Вокульского только потому, что он этого не требует...

От Мисевичовой Жецкий ушел в полном расстройстве.

"Ну и пусть бы она была его любовницей, - говорил он про себя. Подумаешь! Мало ли весьма уважаемых дам заводят любовные связи, да еще с какими ничтожествами... Гораздо хуже, что Вокульский и не помышляет о ней. Вот в чем беда!.. Необходимо что-нибудь предпринять..."

Но сам он уже ничего не мог придумать - и отправился к доктору Шуману.

Глава одиннадцатая

Как порою открываются глаза

Доктор сидел у лампы с зеленым абажуром и внимательно просматривал кипу бумаг.

- Что это, почтеннейший, - спросил Жецкий, - опять вы корпите над волосами? Фу ты, сколько цифр! Целая бухгалтерия, совсем как в магазине.

- Это и есть бухгалтерия - и именно вашего магазина и вашего торгового общества, - отвечал Шуман.

- А какое отношение вы имеете к этому?

- Даже чересчур близкое. Шлангбаум уговаривает меня доверить ему капитал. А так как я предпочитаю иметь шесть тысяч годового дохода вместо четырех, то и согласился выслушать его предложение. Но действовать наобум я не люблю, а потому попросил показать мне счета. Ну и вижу, - мы с ним сговоримся.

Жецкий был поражен.

- Никак не думал, что вы станете заниматься такими делами!

- Глуп я был, вот что, - пожал плечами доктор. - У меня на глазах нажил состояние Вокульский, идет в гору Шлангбаум, а я сижу на своих жалких грошах и ни с места. Не иди вперед - значит отставать!

- Но наживать деньги не по вашей части!

- Почему не по моей? Поэтом или героем родится не всякий, но деньги нужны всем, - возразил Шуман. - Деньги - это кладовая самой благородной силы в человеке, кладовая человеческого труда. Это Сезам, перед которым открываются все двери, скатерть-самобранка, на которой всегда можно пообедать, лампа Аладдина, которую стоит потереть - и получишь все, что душе угодно. Волшебные сады, роскошные замки, прекрасных королевен, верных слуг и самоотверженных друзей - за деньги все получишь...

Жецкий закусил губу.

- Вы не всегда так рассуждали, - сказал он.

- *Tempora mutantur, et nos mutamur in illis**, - спокойно отвечал доктор. - Я убил десять лет на исследование волос, истратил тысячу рублей на издание брошюры в сто страниц... и ни одна собака не заинтересовалась ни мной, ни моей брошюрой. Что же, попробую следующие десять лет посвятить коммерческим операциям и заранее уверен, что все меня будут любить и перевозносить до небес. Стоит только ввести в обычай приемы и занять экипаж...

* *Tempora mutantur, et nos mutamur in illis**, - спокойно отвечал доктор. - Я убил десять лет на исследование волос, истратил тысячу рублей на издание брошюры в сто страниц... и ни одна собака не заинтересовалась ни мной, ни моей брошюрой. Что же, попробую следующие десять лет посвятить коммерческим операциям и заранее уверен, что все меня будут любить и перевозносить до небес. Стоит только ввести в обычай приемы и занять экипаж...

Оба помолчали, не глядя друг на друга. Шуман был мрачен, Жецкий смущен.

- Я хотел бы, - заговорил он наконец, - потолковать с вами о Стахе...

Доктор нетерпеливо отодвинул от себя бумаги.

- Чем же я ему могу помочь, - проворчал он. - Это неизлечимый мечтатель, он никогда не образумится. Неотвратимо близится он к материальному и моральному краху, как все вы, вместе с вашей системой.

- С какой системой?..

- С вашей, польской системой.

- А чем вы собираетесь ее заменить?

- Нашей, еврейской...

Жецкий так и подскочил.

- Еще месяц назад вы называли евреев паршивцами!..

- Они и есть паршивцы. Но система у них замечательная: она побеждает всюду, между тем как ваша система терпит один крах за другим.

- А в чем вы ее видите, эту новую систему?

- В умах, которые вышли из еврейской среды и достигли вершин цивилизации. Возьмите Гейне, Берне, Лассалю, Маркса, Ротшильда, Блайхредера - вот они, новые пути мира! Их проложили евреи: те самые евреи, презренные и гонимые, но терпеливые и гениальные.

Жецкий протер глаза; ему казалось, что он видит сон. Наконец он сказал:

- Простите, доктор, но... уж не разыгрываете ли вы меня?.. Полгода назад я слышал от вас совсем иные речи...

- Полгода назад, - раздраженно подхватил Шуман, - вы слышали протест против старых порядков, а сейчас слышите новую программу. Человек - не устрица, которая так прирастает к своей раковине, что ее только ножом отдерешь. Человек видит все, что происходит вокруг, мыслит, взвешивает и в результате отбрасывает прежние, ложные представления, убедившись, что они ложны. Но вам этого не понять, и Вокульскому тоже... Все вы банкроты, все... Счастье еще, что вам на смену идут новые силы.

- Не понимаю я вас.

- Сейчас поймете, - продолжал доктор со все большим жаром. - Возьмите семейство Ленцких. Что они делали? Проматывали свои богатства: проматывал дед, отец и, разумеется, сын, у которого под конец осталось тридцать тысяч, спасенных благодаря Вокульскому, ну, и - красавица дочь на покрытие недостачи.

А что тем временем делали Шлангбаумы? Сколачивали деньги. Сколачивали и дед и отец, так что сын, еще недавно скромный приказчик, через год будет заправкой в нашей торговле. И они сознают это, недаром старый Шлангбаум еще в декабре сочинил шараду:

Первое - по-немецки змея,

Второе - растение значит,

А целое - вверх быстро скачет,

и тут же объяснил мне, что это - "Шланг-Баум"* . Шарада дрянная, зато работают они хорошо!
- со смехом прибавил доктор.

* Шланге (Schlange) - змея, баум (Baum) - дерево (нем.)

Жецкий понурил голову, а Шуман продолжал:

- Возьмите князя: что он делает? Причитает над "несчастной отчизной", только с него и возьмешь. А барон Кшешовский? Стараются вытянуть побольше денег у жены. А барон Дальский? Терзается от страха, как бы супруга ему не изменила. Пан Марушевич рыщет, где бы подзанять денег, а если не удастся занять, попросту жульничает, а пан Старский не отходит от постели умирающей бабки, чтобы подсунуть ей завещание, составленное в его пользу.

Остальные господа дворяне - и покрупнее и помельче, - должно быть, почуяли, что все предприятие Вокульского перейдет в руки Шлангбаума, и уже ездят к нему с визитами. Невдомек им, бедняжкам, что он урежет их прибыли по меньшей мере на пять процентов... А самый умный из них, Охоцкий, вместо того чтобы пустить в эксплуатацию электрические лампы своей системы, носится с мыслью о летательных машинах. Да, да... мне кажется, он уже несколько дней совещается на этот счет с Вокульским. Рыбак рыбака видит издалека, а мечтатель - мечтателя...

- Ну, уж Стаху, надеюсь, вы ничего не поставите в упрек, - нетерпеливо перебил его Жецкий.

- Ничего; не говоря, конечно, о том, что он никогда не держался одного дела и всю жизнь гонялся за химерами. Был официантом - захотелось ему в ученые; только было начал учиться - стал метить в герои. Даже разбогател он не потому, что был купцом, а потому, что по уши влюбился в панну Ленцкую. Так и сейчас, приблизившись к цели (что, впрочем, еще бабушка надвое сказала), он уже ведет переговоры с Охоцким... Ей-богу, не понимаю: о чем может беседовать финансист с таким Охоцким?.. Лунатики!

Жецкий щипал себя за ногу, чтобы не наговорить доктору грубостей.

- Заметьте, - сказал он, помолчав, - я пришел к вам по делу, которое касается не только Вокульского, но и женщины... женщины, доктор, а против них-то уж вы, верно, ничего не скажете.

- Ваши женщины не лучше ваших мужчин. Через десять лет Вокульский мог бы стать миллионером и крупной силой в стране, но дернуло его связать свою судьбу с панной Ленцкой - и он продал великолепный доходный магазин, несомненно бросит не менее доходное торговое общество, а затем пустит на ветер все состояние. Или вот Охоцкий... Другой на его месте давно бы занялся электрическим освещением, раз уж ему удалось сделать изобретение, а он разгуливает по Варшаве с хорошенькой пани Вонсовской - барынькой, для которой ловкий танцор куда интереснее самого гениального изобретателя.

Иначе поступил бы еврей. Электротехник нашел бы себе женщину, которая сидела бы с ним в лаборатории или торговала бы электрическими приборами. А финансист, как Вокульский, не стал бы влюбляться очертя голову, а искал бы богатую невесту. На худой конец даже взял бы бедную и красивую, но в таком случае пустил бы в оборот ее обаяние. Она устраивала бы светские приемы, прельщала бы гостей, улыбалась богатым, флиртowała бы с влиятельными лицами - словом, всеми мерами способствовала бы процветанию фирмы, а не ее краху.

- И об этом вы судили иначе полгода назад, - заметил Жецкий.

- Не полгода, а десять лет тому назад. Тогда я даже травился после смерти невесты, но это только лишний довод против вашей системы. Сейчас меня мороз по коже подирает, как подумаю, что я мог так бессмысленно умереть или жениться на женщине, которая разорила бы меня.

Жецкий встал.

- Итак, - спросил он, - теперь ваш идеал Шлангбаум?

- Идеал - нет, но это стоящий человек.

- Который выносит из магазина бухгалтерские книги...

- Это его право. Как-никак, а с июля он там будет хозяином.

- А пока что развращает приказчиков, будущих своих подчиненных?

- Он их всех выгонит...

- И этот ваш идеал, когда просил Стаха принять его на работу, видно уже тогда замышлял о том, чтобы захватить в свои руки весь магазин?

- Почему захватить, он просто покупает! - воскликнул доктор. - А по-вашему, лучше, если бы не нашлось покупателя и магазин пропал бы без толку? Так кто же из вас умнее: вы, за десятки лет ничего не скопивший, или Шлангбаум, который за один год овладел такою твердыней, никому, кстати сказать, не причиняя зла, а Вокульскому уплачивая наличными?..

- Может, вы и правы, но мне это как-то не по душе, - проворчал Жецкий, качая головой.

- Не по душе, потому что вы принадлежите к людям, считающим, что человеку полагается лежать камнем на месте и обрастать мхом. По-вашему, Шлангбаумы должны век оставаться приказчиками, Вокульские - хозяевами, а Ленцкие - их сиятельствами... Нет, милейший мой! Общество - как кипящая вода; то, что вчера было снизу, сегодня взлетает вверх...

- А завтра опять упадет вниз, - закончил Жецкий. - До свидания, доктор.

Шуман пожал ему руку.

- Вы сердитесь?

- Нет... но не приемлю я этого преклонения перед деньгами.

- Это переходное состояние.

- А откуда вы знаете, что мечтательность подобных Вокульских и Охоцких - не такое же переходное состояние? Летательная машина сейчас кажется чем-то невероятным, но так только кажется; я немного разбираюсь в ее значении, недаром Стах годами толковал мне об этой машине. Допустим, Охоцкому удастся ее построить; подумайте сами, что нужнее человечеству - ловкость Шлангбаумов или мечты Вокульских и Охоцких?

- Ну, это пустое! - перебил доктор. - Я-то уже на этот пир не попаду.

- А если бы попали, вам бы пришлось, наверное, еще раз переменить программу.

Доктор смутился.

- Оставим это... Какое же у вас было ко мне дело?

- Насчет бедняжки Ставской... Она всерьез влюбилась в Вокульского.

- Фу ты! Нашли с чем приходиться ко мне! - отмахнулся доктор. - Тут одни богатеют и входят в силу, другие разоряются, а этот ко мне пристаёт с любовными историями какой-то Ставской! Незачем было заниматься сватовством...

Жецкий вышел от доктора в таком унынии, что даже не обратил внимания на грубость его последних слов. Только на улице он спохватился и почувствовал горечь.

- Вот она, еврейская дружба! - проворчал он.

Великий пост прошел не так скучно, как опасались в высшем свете.

Во-первых, провидение позаботилось о сильном разливе Вислы, что послужило предлогом для устройства публичного концерта и ряда частных вечеров с музыкой и декламацией в пользу пострадавших от наводнения. Затем состоялся доклад (из серии публичных лекций, затеянных Обществом земледельческих колоний) одного краковянина, многообещающего члена аристократической партии, на который собралась самая изысканная публика. Потом, когда от наводнения пострадал город Сегед, снова последовал сбор пожертвований, давший, правда, очень мало денег, зато вызвавший огромное оживление в гостиных. В доме графини даже состоялся любительский спектакль и были разыграны две пьесы на французском языке и одна на английском.

Панна Изабелла принимала деятельное участие во всех благотворительных мероприятиях. Она посещала концерты, вручала букет ученому краковянину, выступала в живых картинах в роли ангела милосердия и играла в пьесе Мюссе "С любовью не шутят".

Господа Нивинский, Мальборг, Рыдзевский и Печарковский засыпали ее цветами, а Шастальский по секрету признался нескольким дамам, что, вероятно, еще в этом году будет вынужден лишиться себя жизни.

Как только разошлась весть о задуманном самоубийстве, Шастальский сделался героем всех раутов, а панну Изабеллу стали называть "жестокосердой".

Когда мужчины уходили играть в вист, дамы неопределенного возраста наслаждались от души, стараясь посредством хитроумных маневров сблизить панну Изабеллу с Шастальским. С неопишуемым сочувствием наблюдали они в лорнеты страдания молодого человека - это, пожалуй, могло заменить спектакль. Они сердились на панну Изабеллу за то, что она сознает свое превосходство и, казалось, каждым жестом, каждым взглядом говорит: "Смотрите, он меня любит, из-за меня он так несчастлив!"

Вокульский, бывая в свете, видел лорнеты, устремленные на Шастальского и панну Изабеллу, даже слышал замечания, назойливые, как жужжание ос, но ничего не подозревал. Дамы перестали обращать на него внимание с тех пор, как стало известно, что у него серьезные намерения.

- Несчастливая любовь куда больше волнует! - шепнула однажды Вонсовской панна Жежуховская.

- Кто знает, где на самом деле несчастная и даже трагическая любовь! ответила Вонсовская, глядя на Вокульского.

Четверть часа спустя панна Жежуховская попросила, чтобы ее познакомили с Вокульским, а еще через четверть часа сообщила ему (потупив при этом глаза), что, по ее мнению, исцелять раны истерзанного, безмолвно страдающего сердца - благороднейшая роль женщины.

Однажды, в конце марта, Вокульский, придя к панне Изабелле, застал ее в отличном настроении.

- Прекрасная новость! - воскликнула она, необычно приветливо здороваясь с ним. - Вы знаете, приехал знаменитый скрипач Молилари.

- Молилари? - повторил Вокульский. - Ах да, я слышал его в Париже.

- И вы говорите о нем с таким равнодушием? - удивилась панна Изабелла. - Разве вам не нравится его игра?

- Признаюсь, я даже не особенно внимательно слушал...

- Не может быть! Значит, вы не были на его концерте... Шастальский (положим, он всегда преувеличивает) сказал, что, только слушая Молилари, он мог бы умереть без сожаления. Вывротницкая в восторге от него, а Жежуховская собирается устроить раут в его честь.

- Насколько я могу судить, это довольно заурядный скрипач.

- Помилуйте, что вы! Рыдзевскому и Печарковскому представился случай видеть его альбом с отзывами... Печарковский говорит, что этот альбом преподнесли Молилари его поклонники. Так вот все европейские рецензенты называют его гениальным.

Вокульский покачал головой.

- Я слушал его в зале, где самые дорогие места стоили два франка.

- Не может быть, это был, наверное, не он... Он получил орден от папы, от персидского шаха, у него титул... Такие награды не достаются заурядным скрипачам.

Вокульский с изумлением всматривался в раздумявшееся лицо и блестящие глаза панны Изабеллы. Эти аргументы были так красноречивы, что он усомнился в собственной памяти и ответил:

- Возможно...

Однако панну Изабеллу неприятно задело его равнодушие к искусству. Она нахмурилась и весь вечер была с ним холодна.

"Глупец я! - думал он, уходя. - Вечно я суюсь с чем-нибудь таким, что ее раздражает. Если она меломанка, то мое мнение о Молилари может ей показаться святотатством..."

Весь следующий день он упрекал себя в непонимании искусства, примитивности, бестактности и даже в недостаточном уважении к панне Изабелле.

"Несомненно, - думал он, - более талантлив тот скрипач, который понравится ей, нежели тот, который пришелся бы по вкусу мне. Надо быть нахалом, чтобы с таким апломбом высказывать свое суждение, тем более что я, вероятно, не сумел оценить его игру..."

Ему было очень стыдно.

На третий день он получил от панны Изабеллы коротенькую записочку.

"Сударь, - писала она, - вы должны помочь мне познакомиться с Молилари, только непременно, непременно... Я обещала тете, что уговорю Молилари играть в пользу ее приюта; следовательно, вы сами понимаете, насколько это для меня важно".

В первую минуту Вокульскому показалось, что получить доступ к гениальному скрипачу будет

труднее, чем выполнить все предыдущие поручения. К счастью, он вспомнил, что знает одного музыканта, который успел познакомиться с Молилари и ходил за ним как тень.

Когда Вокульский рассказал музыканту о своих заботах, тот сначала широко раскрыл глаза, потом нахмурил брови и, наконец, после долгих размышлений заявил:

- Это трудное дело, очень трудное, но ради вас я постараюсь. Только мне придется его подготовить, соответственно расположить. Знаете что? Зайдите завтра в гостиницу в час дня, я буду у него завтракать. Вы незаметно вызовите меня через слугу, а я уж постараюсь, чтоб он вас принял.

Эти предосторожности и тон музыканта покоробили Вокульского; все же в назначенный час он отправился в гостиницу.

- Пан Молилари у себя? - спросил он швейцара.

Швейцар, знавший Вокульского, послал своего помощника наверх, а сам стал занимать его разговором.

- Ну, ваша милость, скажу я вам, людно у нас сделалось из-за этого итальянца!.. Господа валом валят, будто к чудотворной иконе, а пуще всего женщины...

- Вот как?

- Да, ваша милость. Пришлет сперва письмо, потом букет, а там и сама заявляется под вуалью, мол так ее никто не узнает... Право, вся прислуга смеется! А он не всякую принимает, хоть иные его лакею и по трешнице совали. Зато как разгуляется, так возьмет и закажет еще два номера, в разных концах коридора, и в каждом номере другую ублажает... Рьяный, черт!

Вокульский взглянул на часы: прошло десять минут. Он попрощался с швейцаром и направился к лестнице, чувствуя, как в нем закипает гнев. "Ну и прохвост! - думал он. - Да и дамочки тоже хороши!.."

По дороге ему встретился помощник швейцара, бежавший во весь дух.

- Пан Молилари, - сказал он, - велел просить вашу милость чуточку обождать...

Вокульский чуть не схватил его за шиворот, но сдержался и повернул к выходу.

- Ваша милость, вы уходите?.. А что прикажете передать пану Молилари?

- Пошли ты его... знаешь куда!

- Слушаюсь, ваша милость, да только он не поймет, - отвечал обрадованный слуга и, подскочив к швейцару, заметил: - Наконец-то хоть один барин раскусил этого замухрышку-итальянца. Прощелыга! Нос заирать умеет, а как до чаевых, так три раза гривенник перевернет, пока даст... Легавая сука его, уroda, родила. Гнида... бродяга... проходимец!

На миг Вокульский почувствовал раздражение против панны Изабеллы. Как можно было восторгаться человеком, которого поднимает на смех даже прислуга в гостинице! Как можно быть одной из его многочисленных поклонниц!.. И, наконец, пристало ли заставлять его, Вокульского, добиваться знакомства с таким пошляком!..

Однако гнев его скоро остыл; ему пришла в голову весьма справедливая мысль, что панна Изабелла, не зная Молилари, могла поддаться очарованию его славы.

"Познакомится с ним и охладает, - подумал он. - Но уж я, во всяком случае, не стану служить им посредником".

Вернувшись домой, Вокульский застал у себя Венгелека, который уже час его дождался.

Парень выглядел совсем варшавянином, но немного осунулся.

- Похудел ты, побледнел, - сказал Вокульский, присмотревшись к нему. Загулял, что ли?

- Нет, ваша милость, только болел я десять дней. На шее вскочила какая-то пакость, так что доктор меня резал. Но вчера я уже ходил на работу.

- Деньги тебе нужны?

- Нет. Я только хотел поговорить насчет того, как бы вернуться в Заслав.

- Тебе уже не терпится! А научился ты чему-нибудь?

- Еще бы! Я и по слесарному делу могу, и по столярному малость... Корзинки тоже выучился очень прекрасные плести и рисовать. Ну, и в случае если придется красками писать, - тоже...

Говоря это, он кланялся, краснел и мял в руках шапку.

- Хорошо, - ответил, помолчав, Вокульский. - На инструменты получишь шестьсот рублей. Хватит?.. А когда ты собираешься ехать?

Парень покраснел еще пуще и поцеловал руку Вокульскому.

- Я бы, значит, не извольте, ваша милость, гневаться... хотел бы... того... жениться... Только вот не знаю...

Он почесал затылок.

- На ком же? - спросил Вокульский.

- На той девушке, Марианне, что живет у возчика Высоцкого. Я в этом же доме живу, только наверху.

"Хочет жениться на моей монашке!" - подумал Вокульский. Он прошелся по комнате и сказал:

- А хорошо ли ты знаешь Марианну?

- Чего тут не знать? Мы ведь с ней три раза на дню видимся, а по воскресеньям так и все время вместе - или я к ней хожу, или оба сидим у Высоцких.

- Так. Но ты знаешь, кем она была год тому назад?

- Знаю, ваша милость. Как приехал я сюда, по доброте вашей, мне Высоцкая сразу и сказала: "Смотри, малый, берегись, девка-то была распутная..." Таким манером я с первого дня узнал, каковская она; обмана я от нее не видел.

- Как же случилось, что ты решил на ней жениться?

- Бог его знает как. Поначалу я все насмеялся над ней, и как, бывало, кто пройдет под окном, я говорю: "Верно, и это знакомый панны Марианны: барышня-то наша не из одной печи хлеб едала". А она ничего, только голову опустит и крутит свою машинку, аж звон стоит, а лицо так и пышет.

Потом, замечая я, бельишко мое кто-то латать стал; ну, купил я ей на рождество зонтик за десять злотых, а она мне - полдюжины ситцевых платков с моею меткой. Высоцкая мне и говорит: "Держи ухо остро, малый, она ведь видала виды". Я и выкинул это из головы, а по правде сказать, не будь она таковская, я бы еще на масленой женился.

Аккурат в среду, на первой неделе поста, Высоцкий мне рассказал, как это с нею случилось, с Марианной, значит. Наняла ее в услужение какая-то барыня, в бархате; ну и услужение оказалось - не приведи господи! Она все бежать норовила, а ее всякий раз ловят и грозятся: "Ты лучше сиди смиренно, а то упечем тебя в тюрьму за кражу". - "Да что ж я украла?" - она спрашивает. "Прибыль мою, гадина!" - кричит барыня. "Так бы ей и не вырваться оттуда до самого Страшного суда, - говорил Высоцкий, - если б не увидел ее в костеле пан Вокульский. Он-то и выкупил ее и от беды спас".

- Говори, говори дальше, - подбодрил его Вокульский, заметив, что венгелек запнулся.

- Тогда-то я понял, что никакого тут распутства нет, а такое уж несчастье. Спрашиваю Высоцкого: "Женились бы вы на Марианне?" - "И с одной бабой хлопот не оберешься", - отвечает он. "А если б, к примеру, были вы в холостом положении, тогда как?" - "Эх, говорит, да у меня уж и любопытства к женскому полу нет". Вижу я, не хочет старик язык развязывать, и до тех пор к нему приставал, пока он не сказал: "Нет, я бы не женился, не поверил бы, что ее к старому не потянет. Женщина хороша, покуда блюдет себя, а как разнуздается - сущий дьявол".

А тут в начале поста господь бог милостивый наслал на меня болячку, и слег я в постель, да еще вот доктор шею порезал. А Марианна и давай ко мне ходить, да постель мою оправлять, да порезанное место перевязывать... Доктор сказал, кабы не ее заботы, лежать бы мне еще неделю лишнюю. А меня иной раз даже злость брала, особенно когда лихорадка трепала.

Вот я и говорю ей однажды: "Из чего вы, панна Марианна, хлопчете? Может, думаете, что я женюсь на вас? Так я еще с ума не спятил и не женюсь на такой, которая десятерых имела..." А она ничего, только голову опустила и слезы из глаз закапали. "Я и сама понимаю, говорит, мыслимо ли вам на мне жениться?" Как я это услышал, у меня, с позволения сказать, под ложечкой засосало от жалости. И я тут же сказал Высоцкой: "Знаете, пани Высоцкая, я, может, женюсь на Марианне..." А она мне: "Не будь дураком, смотри..."

- Нет, сударь, не смею я вам говорить про это, - вдруг воскликнул Венгелек, снова целуя руку Вокульскому.

- Говори смело!

- "Смотри, - говорит мне Высоцкая, - не обидеть бы тебе нашего милостивца пана Вокульского этой женитьбой... Кто ее знает, не к нему ли ходит Марианна..."

Вокульский остановился перед ним.

- Этого ты опасешься? - спросил он. - Даю тебе честное слово, что я никогда не вижусь с этой девушкой.

Венгелек с облегчением перевел дух.

- Ну и слава богу! Сами посудите: одно - что не посмел бы я вашей милости поперек дороги стать за все ваши благодеяния, а другое...

- Что же другое?

- А другое вот что: потеряла она себя по несчастью, когда ее злые люди заставляли, и ее вины в том нет. Но если она сейчас надо мной, над больным, слезы проливала, а сама к

вашей милости бегала - это уж такая шельма, что ее убить надо, как бешеную собаку, чтобы на людей не бросалась.

- Так как же? - спросил Вокульский.

- Да как? Женюсь после праздника, - ответил Венгелек. - За чужие грехи она страдать не должна. Не ее была на то воля.

- Тебе нужно еще что-нибудь?

- Больше ничего.

- Так будь здоров, а перед свадьбой зайди ко мне. Марианна получит в приданое пятьсот рублей и сколько потребуется на белье и обзаведение хозяйством.

Венгелек ушел от него глубоко взволнованный.

"Вот логика простых душ! - подумал Вокульский. - Презрение к пороку, но сострадание к несчастью".

И этот простодушный мещанин сразу вырос в его глазах, представ как выразитель высшей справедливости, несущий опозоренной женщине мир и прощение.

В конце марта у Жежуховских состоялся большой раут в честь Молилари. Вокульский тоже получил приглашение, написанное прелестной ручкой панны Жежуховской.

Он приехал довольно поздно, как раз в ту минуту, когда маэстро, вняв наконец мольбам, решился осчастливить собравшихся концертом собственного сочинения. Один из варшавских музыкантов сел за рояль аккомпанировать скрипачу, другой подал ему скрипку, третий переворачивал ноты аккомпаниатору, четвертый встал позади маэстро, дабы мимикой и жестами подчеркивать наиболее блестящие или трудные места его творения.

Кто-то попросил публику соблюдать тишину, дамы уселись полукругом, мужчины столпились за их стульями, и концерт начался.

Вокульский взглянул на скрипача и сразу подметил некоторое сходство между ним и Старским. Молилари носил такие же небольшие бачки и усики, а на лице его запечатлелось то же выражение пресыщенности, которое отличает мужчин, пользующихся успехом у прекрасного пола. Играл Молилари хорошо, держался с достоинством, но чувствовалось, что он уже вошел в роль полубога, снисходящего к благоговеющим перед ним смертным.

Время от времени скрипка звучала громче, тогда физиономия музыканта, стоявшего позади маэстро, расплывалась в восторге и по залу проносился легкий, быстро смолкавший гул. Среди торжественно важных мужчин и задумчивых, обратившихся в слух, замечтавшихся или дремлющих дам Вокульский разглядел несколько женских лиц со странным выражением: головы, в упоении откинутае назад, пылающие щеки, горящие глаза, полуоткрытые, вздрагивающие губы, словно они находились под действием какого-то наркотика.

"Страшное дело! - подумал Вокульский. - Что за нездоровые личности впрягаются в триумфальную колесницу этого господина".

Тут он оглянулся - и похолодел... Неподалеку от него сидела панна Изабелла, упоенная и разгоряченная более других. Он не верил своим глазам.

Маэстро играл с четверть часа, но Вокульский не слышал ни звука. Он очнулся, лишь когда раздался гром аплодисментов. Потом снова забыл, где находится, хотя отлично видел, как Молилари шепнул что-то на ухо Жежуховскому и как тот, взяв его под руку, представил панне

Изабелле.

Она приветствовала скрипача румянцем и взглядом, полным неопишуемого восхищения. Как раз в эту минуту пригласили к столу; маэстро тотчас подал ей руку и повел в столовую. Они прошли мимо Вокульского почти вплотную, Молилари даже задел его локтем, но оба были так поглощены друг другом, что панна Изабелла не заметила Вокульского. Потом они уселись вчетвером за столик - Шастальский с панной Жежуховской и Молилари с панной Изабеллой, и видно было, что им очень уютно.

Вокульскому опять показалось, что с глаз его спадает пелена, за которой он видит совсем иной мир и иную панну Изабеллу. Но в тот же миг он ощутил нестерпимую боль в груди; в голове у него помутилось, нервы были неимоверно напряжены. Испугавшись за свой рассудок, он поспешно вышел в переднюю, а оттуда на улицу.

- Боже милосердный! - шептал он. - Сними же с меня это проклятье!

В нескольких шагах от Молилари, у миниатюрного столика, сидели Вонсовская и Охоцкий.

- Моя кузина решительно перестает мне нравиться, - сказал Охоцкий, глядя на панну Изабеллу. - Вы видите?

- Уже час я смотрю на нее, - отвечала Вонсовская. - Но, кажется, и Вокульский что-то заметил, потому что даже переменялся в лице. Жаль мне его.

- О, за Вокульского можете не беспокоиться. Правда, сейчас он побежден, но когда наконец прозреет... Такого веером не убьешь.

- Тогда может произойти трагедия...

- Никакой, - возразил Охоцкий. - Люди сильных страстей опасны, когда у них ничего нет в резерве...

- Вы имеете в виду эту... как ее... пани Ста... Стар...

- Боже упаси, там ничего нет и никогда не было. К тому же для влюбленного мужчины другая женщина не является резервом.

- Так что же?

- Вокульский - человек незаурядного ума, и ему известно замечательное изобретение, осуществление которого могло бы перевернуть весь мир.

- Вам оно тоже известно?

- Я знаю, в чем его сущность, и видел доказательство его существования, но не знаю подробностей. Клянусь, - воскликнул Охоцкий, воодушевляясь, ради подобного дела можно пожертвовать даже десятком возлюбленных!

- Значит, вы и мною пожертвовали бы, неблагодарный?

- А разве вы моя возлюбленная?.. Я ведь не лунатик.

- Но вы меня любите.

- Может, еще скажете - как Вокульский Изабеллу?.. И не собираюсь... Хотя в любой момент готов...

- В любой момент вы готовы на грубость. Но... тем лучше, если вы не любите меня.

- И даже догадываюсь почему. Вы равнодушны к Вокульскому.

Вонсовская вспыхнула; она так смешалась, что уронила на пол веер. Охоцкий поднял его.

- Я не хочу разыгрывать перед вами комедию, несносное вы существо! ответила она, помолчав. - Он и в самом деле не безразличен мне, и потому... я стараюсь всеми силами, чтобы он добился Беллы, раз уж... этот безумец любит ее.

- Клянусь, среди всех знакомых мне дам вы единственная женщина, которая чего-нибудь стоит... Но довольно об этом... С тех пор как я узнал, что Вокульский любит Беллу (а как он ее любит!), моя кузина производит на меня странное впечатление. Раньше я считал ее необычайно интересной, а сейчас она кажется мне пошлой, раньше - возвышенной, сейчас - ничтожной... Правда, так кажется мне только минутами, причем спешу оговориться, что могу ошибаться.

Вонсовская улыбнулась.

- Говорят, когда мужчина смотрит на женщину, дьявол надевает ему розовые очки.

- Но иногда и снимает их.

- Что бывает довольно мучительно. Знаете что, - прибавила Вонсовская, поскольку мы с вами почти родня, давайте перейдем на "ты"...

- Нет уж, спасибо.

- Почему?

- Я не собираюсь быть вашим поклонником.

- Я предлагаю вам дружбу.

- Вот именно. Это мостик, по которому...

В эту минуту панна Изабелла порывисто поднялась со своего места и подошла к ним; она была взволнована и возмущена.

- Ты покидаешь маэстро? - спросила ее Вонсовская.

- Это просто наглеч! - ответила панна Изабелла голосом, в котором слышался гнев.

- Очень рад, кузина, что вы так быстро раскусили этого полишинеля, заметил Охоцкий. - Не угодно ли посидеть с нами?

Но панна Изабелла, бросив на него уничтожающий взгляд, заговорила с Мальборгом, который как раз подошел к ней, и удалилась в зал.

В дверях она глянула из-за веера на Молилари, который весело беседовал с панной Жежуховской.

- Мне кажется, любезный пан Охоцкий, что вы скорее станете нашим Коперником, чем научитесь осторожности, - сказала Вонсовская. - Как можно при Изабелле называть этого господина полишинелем?

- Да ведь она сама назвала его наглечом!

- И все же она интересуется им.

- Ну, только, пожалуйста, не дурачьте меня. Если она не интересуется человеком, который ее боготворит...

- То как раз будет интересоваться тем, кто ее не уважает.

- Влечение к острым приправам - признак испорченного здоровья, заметил Охоцкий.

- Какая же из наших дам здорова? - воскликнула Вонсовская, обводя презрительным взглядом зал. - Подайте-ка мне руку и пойдем в гостиную.

В дверях они встретились с князем, который очень приветливо поздоровался с Вонсовской.

- Как вам Молинару, князь?.. - спросила она.

- У него весьма красивый тон... весьма...

- И мы будем принимать его у себя?

- Разумеется... в прихожей...

В несколько минут острота князя облетела все залы... Хозяйка дома вынуждена была внезапно покинуть гостей по причине мигрени.

Когда Вонсовская, переговариваясь по дороге со знакомыми, вошла вместе с Охоцким в гостиную, то увидела, что панна Изабелла уже снова сидит с Молинару.

- Кто из нас оказался прав? - спросила вдова, легонько хлопнув Охоцкого веером. - Бедный Вокульский!

- Уверяю вас, что он не такой бедный, как панна Изабелла.

- Почему?

- Если женщины любят только тех, кто их не уважает, то моя кузина очень скоро будет сходиться с ума по Вокульскому.

- Вы ему расскажете?.. - возмутилась Вонсовская.

- Ни за что! Я ему друг, и поэтому мой долг - не предупреждать его об опасности. Но я, кроме того, мужчина и, ей-богу, чувствую, что уж если между мужчиной и женщиной началась такого рода борьба...

- То проиграет мужчина.

- Ошибаетесь, сударыня. Проиграет женщина, причем будет разбита в пух и прах. Женщины всегда оказываются на положении рабынь, потому что льнут к тем, кто ими пренебрегает.

- Не богохульствуйте!

Воспользовавшись тем, что Молинару заговорил с Вывротницкой, Вонсовская подошла к панне Изабелле, взяла ее под руку и стала прогуливаться с нею по гостиной.

- Ты все-таки помирилась с этим наглецом? - спросила пани Вонсовская.

- Он извинился.

- Так скоро? А обещал он по крайней мере исправиться?

- Я уж позабочусь, чтобы ему нечего было исправлять.

- Тут был Вокульский, - продолжала Вонсовская, - и как-то внезапно ушел.

- Давно?

- Когда вы сели ужинать; он стоял вот тут, в дверях.

Панна Изабелла нахмурилась.

- Милая Казя, - сказала она, - я знаю, к чему ты клонишь. Так вот, заявляю тебе раз и навсегда, что я не собираюсь ради Вокульского отказываться от своих симпатий и вкусов. Супружество - не тюрьма, а я меньше, чем кто-либо, гожусь для роли затворницы.

- Ты права, но все-таки хорошо ли ради каприза оскорблять такое чувство?

Панна Изабелла смутилась.

- Что же мне, по-твоему, делать?

- Это уж твое дело. Ты с ним еще не связана...

- Ах, вот что... теперь понимаю... - усмехнулась панна Изабелла.

Мальборг и Нивинский, стоявшие у окна, наблюдали за обеими дамами в лорнет.

- Красивые женщины! - вздохнул Мальборг.

- И каждая в своем роде, - прибавил Нивинский.

- А какую бы ты выбрал?

- Обеих.

- А я Беллочку, а потом... Вонсовскую.

- Как они жмутся друг к дружке, как улыбаются... Все затем, чтобы дразнить нас. Женщины на этот счет ловкие!

- А на самом деле могут ненавидеть одна другую.

- Ну, во всяком случае, не в эту минуту, - закончил Нивинский.

К прохаживавшимся дамам подошел Охоцкий.

- А вы, кузен, тоже в заговоре против меня? - спросила панна Изабелла.

- В заговоре? Никогда! С вами, сударыня, я могу воевать только в открытую.

- "Сударыня"? "Воевать в открытую"!.. Что это значит? Ведь войны ведутся с целью заключить выгодный мир!

- Я держусь иной системы.

- Правда? - усмехнулась панна Изабелла. - Так бьюсь об заклад, что вы сложите оружие, кузен: я считаю, что война уже объявлена.

- Вы ее проиграете, кузина, и даже там, где рассчитываете на полную победу, - торжественно ответил Охоцкий.

Панна Изабелла нахмурилась.

- Едем домой, Белла, - шепнула ей в эту минуту проходившая мимо графиня.
- Что же, обещал Молилари?.. - так же тихо спросила панна Изабелла.
- Я и не подумала его звать, - надменно отвечала графиня.
- Почему, тетя?..
- Он произвел неблагоприятное впечатление.

Если бы панне Изабелле сообщили, что Вокульский погиб из-за Молилари, великий скрипач нисколько бы не упал в ее глазах. Но известие о том, что он произвел дурное впечатление, неприятно поразило ее.

Она простилась с музыкантом холодно, почти высокомерно.

Несмотря на то, что знакомство ее с Молилари продолжалось лишь несколько часов, он живо ее заинтересовал.

Вернувшись поздно вечером домой, она взглянула на своего Аполлона, и ей показалось, что в чертах и осанке мраморного бога есть что-то общее с музыкантом. Она покраснела, вспомнив, как часто статуэтка меняла обличье; одно время она даже была похожа на Вокульского. Вскоре, однако, панна Изабелла успокоилась, решив, что сегодняшняя перемена - уже последняя, что все предыдущие увлечения были ошибкой и что если Аполлон и мог кого-нибудь олицетворять, то лишь одного Молилари.

Ей не спалось, в сердце боролись самые противоречивые чувства: гнев, боязнь, любопытство и какая-то истома. Минутами она даже изумлялась, вспоминая, как дерзко вел себя скрипач. С первых слов он заявил, что она самая красивая из всех виденных им женщин; идя с нею к столу, он страстно прижал к себе ее локоть и признался ей в любви. А за ужином, невзирая на присутствие Шастальского и панны Жежуховской, он так настойчиво искал под столом ее руку. И... что ж ей оставалось делать!

Таких бурных чувств она еще никогда не встречала. По-видимому, он действительно влюбился в нее с первого взгляда, влюбился безумно, смертельно. Разве не шепнул он ей на ухо (это даже заставило ее встать из-за стола), что, не задумываясь, пожертвовал бы жизнью ради того, чтобы провести с нею несколько дней. "И как же он рисковал, говоря подобные слова!" подумала панна Изабелла. Ей не приходило в голову, что он рисковал самое большее тем, что будет вынужден удалиться до конца ужина.

"Какое чувство! Какая страсть!.." - мысленно повторяла она.

Два дня панна Изабелла не выходила из дому и никого не принимала. На третий день ей стало казаться, что Аполлон хоть и похож на Молилари, но иногда напоминает Старского. В тот же день после обеда она приняла явившихся с визитом Рыдзевского и Печарковского, которые сообщили ей, что Молилари уже уезжает, что он восстановил против себя все высшее общество и что его альбом с рецензиями - надувательство, ибо там не помещены неблагоприятные отзывы. В заключение молодые люди заявили, что только в Варшаве столь посредственного скрипача и вульгарного человека могли встретить такими овациями.

Панна Изабелла была возмущена и не преминула напомнить пану Печарковскому, что не кто иной, как он, расхваливал итальянского виртуоза. Печарковский изобразил удивление и, призвав в свидетели присутствующего тут же пана Рыдзевского и отсутствующего Шастальского, заявил, что Молилари с первой же минуты не внушал ему доверия.

Следующие два дня панна Изабелла была убеждена, что великий скрипач оказался жертвою зависти. Она твердила себе, что только он заслуживает ее сочувствия и что она никогда,

никогда его не забудет.

Тем временем Шастальский прислал ей букет фиалок, и панна Изабелла не без угрызений совести заметила, что Аполлон начинает походить на Шастальского, а образ Молилари быстро тускнеет в ее памяти.

Прошла почти неделя после концерта. Панна Изабелла, не зажигая лампы, сидела в своей комнате; вдруг перед глазами ее встало давно забытое видение. Ей почудилось, будто она с отцом съезжает в карете с какой-то горы в долину, окутанную клубами дыма и пара. Из густых клубов высовывается огромная рука и хватает карту, пан Томаш с тревожным любопытством смотрит на эту руку. "С кем отец играет?.." - подумала она. В этот миг подул ветер, туман рассеялся, и показалось лицо Вокульского, тоже огромных размеров. "Год назад у меня было такое же видение, - подумала панна Изабелла. - Что это значит?"

И тогда только вспомнила, что Вокульский уже неделю у них не был.

От Жежуховских Вокульский вернулся домой в необычном настроении. Приступ неистовства прошел, сменившись безразличием. Всю ночь Вокульский не спал, но бессонница не раздражала его. Он спокойно лежал, ни о чем не думая, и лишь с любопытством прислушивался к бою часов. Час... два... три...

На следующий день он встал поздно и долго сидел за чаем, опять прислушиваясь к бою часов. Одиннадцать... двенадцать... час... Как это скучно!

Ему захотелось почитать, но лень было идти в библиотеку за книгой; он растянулся на кушетке и принялся размышлять о теории Дарвина.

"Что такое естественный отбор? Это следствие борьбы за существование, в которой погибают особи, не обладающие определенными свойствами, и побеждают более жизнеспособные. Какое же свойство самое важное: половое влечение? Нет, отвращение к смерти. Особи, лишённые чувства отвращения к смерти, должны погибнуть в первую очередь. Если бы человека не страшила смерть, это умнейшее животное не стало бы влачить оковы жизни. В староиндийской поэзии сохранились следы существования древней расы, которая испытывала меньшее отвращение к смерти, чем мы. Ну, и раса эта вымерла, а потомки ее стали или рабами, или аскетами.

Но что такое отвращение к смерти? Несомненно, инстинкт, основанный на заблуждении. Бывают люди, испытывающие отвращение к мышам, существам совершенно безобидным, или даже к землянике - весьма вкусной ягоде. (Когда это я ел землянику?.. Ах да, в конце сентября прошлого года, в Заславеке... Любопытное местечко этот Заславок; хотел бы я знать, жива ли еще председательша и испытывает ли она отвращение к смерти?..)

Да и что такое страх смерти?.. Обман чувств! Умереть - это значит не быть нигде, ничего не ощущать и ни о чем не думать. В скольких же местах меня нет сейчас: ни в Америке, ни в Париже, ни на луне, ни даже в собственном магазине, - и это меня ничуть не трогает. А о скольких вещах я не думал мгновение назад, о скольких не думаю сейчас? Я думаю только об одной какой-нибудь вещи и не думаю о миллиардах других, даже не знаю об их существовании - и мне это совершенно безразлично.

Так что же может быть неприятного в том, что я, находясь не в миллионе мест, а только в одном, и думая не о миллиарде вещей, а только об одной, перестану находиться и в этом одном месте и думать об этой одной вещи?.. В самом деле, страх смерти - самое нелепое заблуждение, которому человечество поддается уже столько веков. Дикари боятся грозы, грохота огнестрельного оружия, даже зеркала, а мы, якобы цивилизованные люди, боимся смерти..."

Он поднялся, высунулся в окно и, усмехаясь, стал разглядывать прохожих, которые спешили куда-то, раскланивались со знакомыми, жестикулировали, оживленно разговаривали о чем-то. Он наблюдал механическую галантность мужчин, привычное кокетство женщин, равнодушные физиономии извозчиков, их усталых лошадей и не мог удержаться от мысли, что вся эта жизнь, полная треволнений и горя, в сущности, изряднейшая глупость.

Так он просидел до позднего вечера. На следующий день явился Жецкий и напомнил ему, что сегодня первое апреля и нужно выплатить Ленцкому проценты в сумме двух тысяч пятисот рублей.

- Ах, правда, - сказал Вокульский. - Завези ему...

- Я думал, что ты сам отвезешь...

- Мне что-то не хочется...

Жецкий повертелся по комнате, покашлял и наконец сказал:

- Пани Ставская что-то приуныла... Может, навестишь ее?

- В самом деле, я давно у нее не был. Зайду сегодня вечерком.

Получив такой ответ, Жецкий более не мешкал. Он очень нежно простился с Вокульским, забежал в магазин за деньгами, нанял извозчика и поехал к Мисевичовой.

- Я только на минутку, у меня очень спешное дело, - заговорил он весело. - Знаете, Стах сегодня будет у вас... Мне кажется (только сообщаю вам это под величайшим секретом), что Вокульский уже решительно порвал с Ленцкими...

- Неужели? - воскликнула Мисевичова, всплеснув руками.

- Я почти уверен, но... до свидания... Стах зайдет вечером...

Действительно, Вокульский вечером зашел и, что еще важнее, стал приходить ежедневно. Он являлся довольно поздно, когда Элюня уже спала, а Мисевичова уходила к себе, и часами просиживал со Ставской. Обычно он молчал, слушая ее рассказы о магазине Миллеровой или об уличных происшествиях. Сам он говорил редко или изрекал афоризмы, даже не имевшие связи с тем, о чем шла речь.

Однажды он сказал, без всякого повода:

- Человек - словно ночная бабочка: летит без оглядки в огонь, хоть и больно ему, хоть и погибнет он там. Однако, - прибавил он, помолчав, обычно так действуют, пока не одумаются. Этим и отличается человек от бабочки...

"Он говорил о панне Ленцкой!" - подумала Ставская, и сердце ее учащенно забилося.

В другой раз он рассказал ей странную историю:

- Я слышал о двух закадычных друзьях, один из которых жил в Одессе, а другой в Тобольске; они несколько лет не виделись и оба очень соскучились.

Наконец тобольский друг, не в силах больше терпеть, решил сделать сюрприз одесскому и, не предупредив его, приехал в Одессу. Но приятеля он не застал: тот тоже стосковался и поехал в Тобольск...

Дела помешали им встретиться на обратном пути. Они увиделись только несколько лет спустя, и знаете, что тогда выяснилось?

Ставская подняла на него глаза.

- Вообразите, разыскивая друг друга, оба они в один и тот же день проезжали через Москву, останавливались в одной и той же гостинице и жили в двух соседних номерах. Иногда судьба зло подшучивает над людьми!

- Вероятно, в жизни это не часто случается... - тихо сказала Ставская.

- Кто знает!.. Кто знает!.. - возразил Вокульский.

Он поцеловал ей руку и ушел в раздумье.

"Нет, с нами так не будет", - подумала она в глубоком волнении.

Вечерами у Ставской Вокульский несколько оживлялся, даже немного ел и разговаривал.

Но остальное время он пребывал в апатии. Почти не притрагивался к еде, только выпивал огромное количество чаю, не интересовался делами, пропустил квартальное заседание своего Общества, ничего не читал и даже не думал. Ему казалось, что некая сила, которую он даже не умел бы назвать, вышвырнула его за борт повседневных дел, надежд и стремлений и что жизнь его подобна неодушевленному телу, несущемуся в пустоте.

"Ведь не пуцу же я себе пулю в лоб, - думал он. - Добро бы из-за банкротства, а так... Я презирал бы самого себя, если б отправился на тот свет из-за юбки... Надо было остаться в Париже... Кто знает, может быть, уже сейчас в моих руках было бы оружие, которое рано или поздно сметет с лица земли чудовищ с человеческими лицами".

Жецкий, догадываясь, что происходит с его другом, заходил к нему во всякое время дня, пытаясь вовлечь его в разговор. Но ничто, ни погода, ни торговля, ни политика, не интересовало Вокульского. Только однажды он оживился, когда Жецкий сказал, что Миллерова притесняет Ставскую.

- А чего ей надо?

- Может быть, она завидует, что ты бываешь у пани Ставской и платишь ей хорошее жалованье.

- Ничего, она уймется, когда я отдам магазин Ставской, а ее посажу кассиршей.

- Боже упаси, что ты! - ужаснулся Жецкий. - Ты погубишь пани Ставскую!

Вокульский зашагал по комнате.

- Ты прав. Как бы то ни было, если между женщинами начались раздоры, надо их разделить... Уговори Ставскую, чтобы она открыла магазин на свое имя, а мы доставим ей средства. Я с самого начала имел это в виду, а теперь вижу, что нечего больше откладывать.

Разумеется, пан Игнаций в ту же минуту полетел к своим дамам и сообщил им радостную новость.

- Не знаю, прилично ли нам принимать такой подарок, - смущенно заметила пани Мисевичова.

- Да какой же это подарок? - вскричал Жецкий. - Через несколько лет вы нам выплатите долг, и все будет в порядке. Как вы полагаете? - обратился он к Ставской.

- Я поступлю так, как захочет пан Вокульский. Велит он мне открыть магазин - открою, велит остаться у Миллеровой - останусь.

- Полно, Елена! - с упреком сказала мать. - Подумай, в какое положение ты себя ставишь, можно ли так говорить!.. Счастье еще, что нас не слышат чужие.

Ставская ничего не ответила, к великому огорчению пани Мисевичовой; старушку ужасала решительность дочери, прежде такой уступчивой и кроткой.

Однажды Вокульский, переходя улицу, заметил проезжавшую в карете Вонсовскую. Он поклонился и продолжал бесцельно идти вперед; вскоре его нагнал слуга.

- Барыня просят вашу милость...

- Что это с вами делается? - воскликнула красивая вдовушка, когда Вокульский подошел к карете. - Садитесь же, поедете по Аллеям.

Он сел, и карета покатила.

- Что все это значит? - продолжала Вонсовская. - Выглядите вы ужасно, уже десять дней не были у Беллы... Ну, скажите же что-нибудь!

- Мне нечего говорить. Я не болен и не думаю, чтобы панне Изабелле были нужны мои посещения.

- А если нужны?

- Я никогда на этот счет не обольщался, а сейчас меньше чем когда-либо.

- Но... но, сударь... давайте говорить начистоту. Вы ревнивец, а это роняет мужчин в мнении женщин. Вы рассердились за Молиари...

- Ошибаетесь, сударыня. Я настолько не ревнив, что даже не намерен препятствовать панне Изабелле выбирать между мною и Молиари. У нас с ним равные шансы - я знаю.

- О сударь, это уж слишком! - возмутилась Вонсовская. - Что ж, значит, бедной женщине, которую мужчина удостоил обожания, уж и поговорить с другим нельзя?.. Не ожидала я, что человек вашего склада станет смотреть на женщину, как на наложницу в гареме. Наконец, чего вы хотите? Допустим даже, что Белла кокетничала с Молиари, так что из того?.. Это длилось всего один вечер и завершилось таким пренебрежительным прощанием со стороны Беллы, что просто неловко было смотреть.

У Вокульского отлегло от сердца.

- Дорогая пани Вонсовская, не будем притворяться, что не понимаем друг друга. Вы знаете, что для мужчины любимая женщина - святыня, алтарь. Правильно или нет, тем не менее это так. И вот, когда первый встречный авантюрист приближается к этой святыне, как к стулу, и обращается с нею, как со стулом, а святыня чуть ли не в восторге от подобного обращения, тогда... понимаете ли?.. начинаешь подозревать, что алтарь-то и на самом деле - всего только стул. Ясно я выражаюсь?

Вонсовская откинулась на спинку сиденья.

- О сударь, даже чересчур ясно! Однако что бы вы сказали, если бы кокетство Беллы оказалось только невинной мезью, а верней, предостережением?..

- Кому?

- Вам. Вы-то ведь по-прежнему интересуетесь пани Ставской?

- Я? Кто вам сказал?..

- Предположим, очевидцы: Кшешовская, Марушевич...

Вокульский схватился за голову.

- И вы этому верите?..

- Не верю, потому что Охоцкий мне поручился, что это вздор; но разубедил ли так же кто-нибудь Беллу и удовольствовалась ли она этим неизвестно.

Вокульский взял ее за руку.

- Дорогая пани Вонсовская, беру назад все, что я сказал о Молинали. Клянусь, я благоговею перед панной Изабеллой и как о величайшем несчастье скорблю о своих опрометчивых словах... Только теперь я вижу, как позорно вел себя...

Он был в таком отчаянии, что Вонсовской стало его жаль.

- Ну, ну, - сказала она, - успокойтесь, не надо преувеличивать... Даю вам честное слово (хотя, говорят, у женщины нет чести), что все, о чем мы говорили, останется между нами. Впрочем, я уверена, что сама Белла простила бы вам эту вспышку. Это было гадко, но... влюбленным прощают и не такие промахи.

Вокульский расцеловал обе ее руки, но она тут же отняла их.

- Пожалуйста, не любезничайте со мной, потому что для женщины любимый мужчина - алтарь... А теперь довольно, дальше я вас не повезу, ступайте вон-вон туда, к Белле, и...

- И что?

- И признайте, что я умею держать слово.

Голос ее дрогнул, но Вокульский этого не заметил. Он выскочил из кареты и бегом направился к дому Ленцких, мимо которого они как раз проезжали.

Ему отворил Миколай. Вокульский велел доложить о себе барышне. Панна Изабелла была одна и немедленно приняла его, вся розовая от смущения.

- Вы так давно не были у нас, - проговорила она. - Неужели вы хворали?

- Хуже, - ответил он, не садясь. - Я тяжело и незаслуженно оскорбил вас...

- Вы, меня?

- Да, оскорбил подозрением. Я был на концерте у Жежуховских... продолжал он сдавленным голосом, - и ушел, даже не простившись с вами... Дальше не стоит рассказывать... но я чувствую, что вы вправе прогнать меня как человека, не оценившего вас... осмелившегося заподозрить...

Панна Изабелла пристально поглядела ему в глаза и, протянув руку, сказала:

- Я прощаю вас... садитесь.

- Не торопитесь прощать: это может окрылить меня надеждой...

Она задумалась.

- Ах, боже мой, что же поделаешь?.. Если уж вам так важно питать надежду... надейтесь!..

- И вы, вы говорите это, панна Изабелла?..

- Видно, так суждено, - ответила она, улыбаясь.

Он страстно припал к ее руке, которой она не отнимала, потом отошел к окну и снял что-то с шеи.

- Примите от меня эту вещицу, - сказал он, подавая ей золотой медальон на цепочке.

Панна Изабелла принялась с любопытством его рассматривать.

- Странный подарок, не правда ли? - сказал Вокульский, раскрывая медальон. - Видите вот эту пластинку, легонькую, как паутина?.. Представьте, это драгоценность, какой не найдешь ни в одной сокровищнице мира, зернышко великого изобретения, которое может изменить судьбы человечества. Кто знает, не родятся ли из этой пластинки воздушные корабли... Но не о том сейчас речь... Отдавая ее в ваши руки, я вместе с нею вручаю вам свою будущность...

- Так это талисман?

- Почти. Ради этой вещицы я мог бы уехать за границу и все мое состояние и остаток жизни отдать новой работе. Быть может, потом оказалось бы, что это пустая потеря времени, что мною владела мания, но, во всяком случае, мысль об этом изобретении была единственной вашей соперницей. Единственной... - повторил он с ударением.

- Вы собирались нас покинуть?

- И не далее, как сегодня утром. Поэтому я отдаю вам этот амулет. Отныне для меня нет на свете иного счастья, кроме вас... Вы - или смерть!

- Если так, то беру вас в плен, - сказала панна Изабелла и повесила амулет на шею. И, опуская его за лиф, потупилась и покраснела.

"Какой же я негодяй! - подумал Вокульский. - И такую женщину я смел подозревать... Ах, подлец!"

По дороге домой он зашел в магазин. У него было такое сияющее лицо, что пан Игнаций даже испугался.

- Что с тобой? - спросил он.

- Поздравь меня! Панна Ленцкая - моя невеста.

Но Жецкий побледнел и не поздравил его.

- Я получил письмо от Мрачевского, - сказал он после долгой паузы. Как тебе известно, Сузин еще в феврале послал его во Францию.

- И что ж? - прервал его Вокульский.

- Так вот, он пишет мне из Лиона, что Людвик Ставский благополучно здравствует и живет в Алжире под фамилией Эрнста Вальтера. Кажется, торгует вином. Кто-то видел его в прошлом году.

- Мы это проверим, - ответил Вокульский и спокойно записал адрес в алфавитном указателе.

С тех пор он все вечера проводил у Ленцких и даже получил приглашение у них обедать.

Несколько дней спустя к нему пришел Жецкий.

- Ну что, старина, - весело приветствовал его Вокульский, - как там принц Люлю?.. А ты все еще сердисься на Шлангбаума, что он смел купить магазин?..

Старый приказчик мрачно тряхнул головой.

- Пани Ставская, - сказал он, - уже не ходит к Миллеровой... Она прихворнула... поговаривает об отъезде из Варшавы... Ты не наведишь ее?..

- Да, надо бы зайти, - ответил Вокульский, потирая лоб. - Ты говорил с нею насчет магазина?

- Конечно; даже одолжил ей тысячу двести рублей.

- Из твоих скудных сбережений?.. А почему она не займет у меня?

Жецкий промолчал.

К двум часам Вокульский поехал к Ставской. Она очень осунулась, и ее кроткие глаза казались еще больше и грустнее.

- Что же это, - спросил Вокульский, - я слышал, вы хотите уехать из Варшавы?

- Да... Может быть, муж вернется... - отвечала она сдавленным голосом.

- Жецкий говорил мне об этом, и, если позволите, я постараюсь проверить это известие...

Ставская залилась слезами.

- Вы так добры к нам... - шепнула она. - Будьте же счастливы...

В это же время Вонсовская нанесла визит панне Изабелле и узнала, что Вокульский получил ее согласие.

- Наконец-то, - сказала пани Вонсовская. - Я думала, ты никогда не решишься.

- Видишь, я сделала тебе приятный сюрприз, - ответила панна Изабелла. Как бы то ни было, он будет идеальным мужем: богатый, незаурядный, а главное - необычайно кроткий. Он не только не ревнует, но даже извиняется за подозрения. Это меня окончательно обезоружило... У истинной любви - на глазах повязка... Ты молчишь?

- Я думаю.

- О чем?

- Если он знает тебя так же, как ты его, то вы совсем друг друга не знаете.

- Тем приятнее проведем мы медовый месяц.

- От души желаю.

Глава двенадцатая

Примирение супругов

С середины апреля баронесса Кшешовская круто изменила образ жизни.

Раньше она день-деньской только и делала что распекала Марианну, писала жильцам грозные уведомления по поводу мусора на лестнице да допрашивала дворника: не сорвано ли объявление о сдаче квартир, ночуют ли дома девушки из парижской прачечной, не приходил ли околоточный по какому-нибудь делу? И велела ему хорошенько

присматриваться к тем, кто пожелает снять помещение в четвертом этаже, особенно к молодым, в случае же если это окажутся студенты, отказывать, говоря, что квартира уже сдана.

- Смотри же, Каспер, не забудь, - говорила она в заключение, - прогоню тебя вон, если вотрется сюда какой-нибудь студент. Хватит с меня этих нигилистов, развратников, безбожников, которые таскают сюда человеческие черепа!..

После каждой такой беседы дворник, вернувшись в свою каморку, швырял шапку на стол и кричал:

- Ей-богу, повешусь или сбегу от такой хозяйки, черт бы ее побрал! Дворник и на рынок по пятницам ходи, и в аптеку бегай по два раза на дню, и белье катать носи, и пес ее знает, куда только не вздумает посылать! Она уже посулилась, что будет меня с собой на кладбище возить, могилку прибираться... Слыханное ли дело! Уйду, уйду отсюда на святого Яна, хоть бы пришлось двадцать рублей отступного дать...

Но с середины апреля баронесса стала ласковой. Этому способствовало несколько обстоятельств.

Во-первых, однажды к ней пришел незнакомый юрист с конфиденциальным вопросом: известно ли ей что-нибудь о средствах барона?.. А если бы таковые имелись (в чем он, впрочем, сомневался), то следовало бы их указать, дабы избавить барона от позора, ибо его кредиторы готовы прибегнуть к крайним мерам.

Баронесса торжественно заверила адвоката, что супруг ее при всем своем коварстве и жестокосердии никакими денежными средствами не располагает. Тут она истерически разрыдалась, что заставило адвоката поспешно ретироваться. Однако, как только жрец правосудия удалился, баронесса чрезвычайно быстро пришла в себя и, кликнув Марианну, обратилась к ней необычно спокойным тоном.

- Нужно будет повесить чистые занавески, Марыся; я предчувствую, что наш несчастный барин скоро одумается.

Несколько дней спустя к баронессе явился князь собственной персоной. Они заперлись в дальней комнате, и, пока говорили, баронесса успела раза три разрыдаться и один раз упасть в обморок. Но о чем они говорили, этого не знала даже Марианна. По уходе князя баронесса велела немедля позвать Марушевича, а когда тот прибежал, сказала удивительно кротким голосом, перемежая речь свою вздохами:

- Мне кажется, пан Марушевич, что мой заблудший муж наконец раскаялся... Так будьте добры, поезжайте и купите мужской халат и домашние туфли... Примерьте на себя, ведь оба вы, бедняги, тщедушные...

Марушевич поднял брови, но деньги взял и купил, что требовалось. По мнению баронессы, заплатить сорок рублей за халат и шесть за туфли - было дороговато, но Марушевич ответил, что в ценах не разбирается, а покупал в первоклассных магазинах, и больше об этом не было речи.

Прошло еще несколько дней, и в квартиру Кшешовской явились два еврея с вопросом - дома ли барон? Баронесса, вместо того чтобы обрушиться на них с криком, как делала обычно, на этот раз очень сдержанно велела им выйти вон. Потом позвала дворника и сказала ему:

- Дорогой Каспер, мне кажется, наш бедный барин не сегодня-завтра придет домой... Надо постелить дорожку на лестнице до третьего этажа. Только следи, дружок, как бы прутья не разворовали... И не забудь раза два в неделю выбивать дорожку.

Она больше не распекала Марианну, не писала уведомлений жильцам и не изводила дворника... Целыми днями ходила она по своей просторной квартире, скрестив руки на груди, бледная, молчаливая, взволнованная.

Заслышав грохот пролетки, остановившейся перед домом, она бросалась к окну; при каждом звонке бежала в гостиную и прислушивалась из-за притворенных дверей, с кем разговаривает Марианна.

После нескольких дней такой жизни она еще больше побледнела и стала еще раздражительнее. Все быстрее шагала она по комнатам, то и дело бросалась на стул или кресло с сильным сердцебиением и в конце концов слегла в постель.

- Вели снять с лестницы дорожку, - сказала она Марианне хриплым голосом. - Видно, какой-нибудь мерзавец опять одолжил барину денег.

Но не успела она договорить, как в передней энергично позвонили. Баронесса послала Марианну отворить, а сама, охваченная предчувствием, начала одеваться, невзирая на головную боль. Все валилось у нее из рук.

Между тем Марианна, не снимая цепочки, приоткрыла дверь и увидела на площадке весьма элегантного мужчину с шелковым зонтиком и саквояжем. За мужчиною, который, несмотря на тщательно выбритую верхнюю губу и пышные бакенбарды, чем-то смахивал на камердинера, стояли носильщики с чемоданами и тюками.

- Чего вам? - машинально спросила служанка.

- Отпирай-ка двери, обе половины! - повелительно сказал мужчина с саквояжем. - Это вещи барона и мои...

Дверь распахнулась, мужчина велел носильщикам поставить чемоданы и тюки в передней и спросил:

- Где тут кабинет барина?

В эту минуту выбежала баронесса, растрепанная, в незастегнутом капоте.

- Что это? - взволнованно закричала она. - Ах, это ты Леон... А где барин?..

- Господин барон, кажется, в магазине у Стемпека... Я хотел поставить вещи по местам, но где же кабинет барина, где моя комната? - Погоди минутку... - засуетилась баронесса. - Марианна сейчас переберется из кухни, а ты туда...

- Я на кухню? - спросил мужчина, названный Леоном. - Вы шутите, ваша милость. Я с баринком уговорился, что у меня будет отдельная комната...

Баронесса растерялась.

- Что это я!.. - поправилась она. - Тогда вот что, Леон, займи пока помещение в четвертом этаже, где жили студенты.

- Это дело другое, - ответил Леон. - Если там две-три комнатухи, я могу даже поселиться с поваром...

- С каким поваром?

- Как же, ваша милость, без повара вам не обойтись. Тащите вещи наверх, - обратился он к носильщикам.

- Что вы делаете? - крикнула баронесса, видя, что те забирают все чемоданы и тюки.
- Они берут мои вещи. Ступайте же! - скомандовал Леон.
- А барина где же?
- Вот, пожалуйста... - ответил слуга, подавая Марианне саквояж и зонтик.
- А постель?.. одежда?.. всякая утварь?.. - ужаснулась баронесса, заламывая руки.
- Ваша милость, не устраивайте сцен в присутствии слуг! - пожурил ее Леон. - Все необходимые вещи должны быть у барина дома.
- Да, да, конечно... - прошептала присмирившая баронесса.

Расположившись наверху, куда пришлось еще отнести кровать, стол, несколько стульев, таз и кувшин воды, пан Леон надел галстук, чистую, хотя и тесноватую сорочку, облачился во фрак и, вернувшись в квартиру к баронессе, важно уселся в передней.

- Через полчаса, - сказал он Марианне, вынимая золотые часы, господин барон, наверное, придут, потому что они всегда от четырех до пяти почивают. Ну как, скучновато вам тут? - прибавил он. - Ничего, я вас расшевелю...
- Марианна!.. Марианна! иди сюда!.. - позвала из своей комнаты баронесса.
- Что это вы так бежите? - удивился Леон. - Помирает она там, старуха ваша, что ли?.. Небось подождет...
- Да боюсь я, она знает, какая сердитая, - шептала Марианна, вырываясь от него.
- Сердитая... сами вы ее распустили, оттого и сердитая. Им только дай волю, так сразу на шею сядут... При бароне вам будет полегче, он понимает настоящее обхождение. Только одеваться вам придется понаряднее, а то прямо послушница... Мы монашек не любим.
- Марыся!.. Марыся!..
- Ну, ступайте теперь, только не спеша, - напутствовал ее Леон.

Вопреки предположениям Леона, барон прибыл к своей супруге не в четыре часа, а лишь около пяти.

На нем был новый сюртук и шляпа, а в руке тросточка с серебряным набалдашником в форме копыта. Он казался спокойным, но под этой внешней оболочкой верный слуга подметил сильное волнение. Еще в передней пенсне дважды соскочило с его носа, а левое веко дергалось чаще, чем перед дуэлью или даже за партией штосса.

- Доложи обо мне баронессе, - сказал Кшешовский, понизив голос.

Леон распахнул двери гостиной и возвестил:

- Господин барон!..

А когда барон вошел, он прикрыл за ним дверь, выпроводил из передней Марианну, прибежавшую из кухни, и стал подслушивать.

Баронесса, сидевшая на кушетке с книжкой, при виде супруга поднялась. Барон отвесил ей глубокий поклон, она хотела ответить, но снова упала на кушетку.

- Муж мой... - прошептала она, закрывая лицо руками. - О! что же ты делаешь...

- Весьма сожалею, - ответил барон, вторично отвешивая поклон, - что вынужден свидетельствовать вам свое почтение в подобных обстоятельствах.

- Я готова простить все, если...

- Это весьма похвально для нас обоих, - прервал барон, - поскольку и я готов простить вам все неприятности, которые вы причинили моей особе. Но, к несчастью, вы изволили злоупотреблять моим именем; оно, правда, ничем особенно не знаменито в мировой истории, но тем не менее заслуживает, чтобы с ним обходились бережнее.

- Именем?.. - повторила баронесса.

- Да, сударыня, именем, - ответил барон, и поклонился в третий раз, по-прежнему не выпуская из рук шляпы. - Вы простите, сударыня, что я коснусь столь неприятного предмета, но... с некоторых пор мое имя треплют по всем судам... Например, в настоящий момент вам угодно вести целых три процесса: два против жильцов и один против вашего бывшего поверенного, который, не в обиду ему будь сказано, действительно последний негодяй.

- Но позволь! - возопила баронесса, срываясь с кушетки. - Ведь у тебя самого в настоящий момент одиннадцать судебных дел из-за тридцати тысяч долга!

- Извините... У меня семнадцать судебных дел из-за тридцати девяти тысяч долга, если только память мне не изменяет. Но то ведь процессы из-за долгов. Среди них вы не найдете ни одного, который я возбудил бы против честной женщины, обвинив ее в краже куклы... Среди моих прегрешений нет ни одного анонимного письма, которое очернило бы невинную особу, а среди моих кредиторов ни одному не пришлось бежать из Варшавы, спасаясь от клеветы, как это случилось с некоей пани Ставской благодаря стараниям баронессы Кшешовской...

- Ставская была твоей любовницей...

- Извините! Не отрицаю, что я добивался ее благосклонности, но, клянусь честью, это самая порядочная женщина, какую мне только случалось встретить в жизни. Пусть вас не оскорбляет лестный отзыв о посторонней особе, соблаговолите поверить, что пани Ставская - женщина, которая пренебрегла даже моими... моими ухаживаниями, а поскольку, баронесса, я имею честь довольно хорошо знать женщин обычного типа... мое мнение кое-что значит.

- Чего же ты хочешь наконец? - спросила баронесса уже твердым голосом.

- Я хочу... оберегать имя, которое мы оба носим. Хочу... чтобы в этом доме уважали баронессу Кшешовскую. Хочу покончить с судами и служить вам опорой... С этой целью я вынужден просить вашего гостеприимства. А когда я наведу порядок...

- Ты уйдешь от меня?

- Вероятно.

- А твои долги?

Барон поднялся со стула.

- О моих долгах можете не беспокоиться, - сказал он тоном глубокого убеждения. - Если Вокульский, незнатный дворянин, за несколько лет сколотил миллионы, то барон Кшешовский сможет выплатить сорок тысяч долгов. Я докажу, что умею работать...

- Ты бредишь, муж мой, - возразила баронесса. - Как тебе известно, я сама из семьи, которой удалось сколотить состояние, а потому говорю тебе: ты не сумеешь заработать даже на собственное пропитание... Какое там! Тебе не прокормить даже последнего бедняка!..

- Значит, вы отказываетесь от опоры, которую я предлагаю вам, уступая просьбам князя и желая спасти честь своего имени?

- Напротив! Займись же наконец мною, а то до сих пор...

- Я, со своей стороны, - перебил барон, снова поклонившись, постараюсь забыть прошлое...

- Ты давно его забыл... Ты даже не был на могиле нашей дочери...

Таким образом, барон вновь водворился в доме своей супруги. Он прекратил процессы против жильцов, бывшему поверенному баронессы заявил, что велит его выпороть, если тот когда-нибудь выразится о своей клиентке без должного уважения, написал письмо с извинениями Ставской и послал ей (за тридевять земель, под Ченстохов) огромный букет. Затем нанял повара и, наконец, вместе с супругой нанес визиты чуть не всему высшему обществу, заранее сообщив Марушевичу, который раззвонил об этом где только мог, что, если какая-нибудь из дам не явится к ним с ответным визитом, барон вызовет ее мужа на дуэль.

В свете возмущались дикими притязаниями барона, тем не менее ответные визиты нанесли Кшешовским все, и почти все стали поддерживать с ними отношения.

За это баронесса (признак необычайной деликатности с ее стороны), никому ни слова не сказав, начала выплачивать мужнины долги. Одних кредиторов она ругала, перед другими плакалась, почти всем что-нибудь урезывала, ссылаясь на разбойничьи проценты, сердилась, выходила из себя но тем не менее платила. В особом ящике ее письменного стола набралось уже несколько фунтов мужниных векселей, когда произошел следующий случай.

Магазин Вокульского в июле должен был перейти во владение Генрика Шлангбаума. Так как новый хозяин не желал принимать на себя ни долгов, ни ссуд прежней фирмы, пан Жецкий спешно приводил в порядок все счета.

В числе должников оказался и барон Кшешовский, которому Жецкий отправил письмо с напоминанием о долге и просьбой ответить возможно скорее.

Напоминание это, как и все документы подобного рода, попало в руки баронессы; она же, вместо того чтобы заплатить, написала Жецкому грубое письмо, в котором прямо обвиняла его в мошенничестве, нечестной уловке при покупке лошади и тому подобном.

Точно через двадцать четыре часа после отправки этого письма в квартиру Кшешовских явился Жецкий и потребовал свидания с бароном.

Барон принял его весьма радушно, хотя был заметно удивлен, увидев бывшего секунданта своего противника в столь сильном раздражении.

- Я пришел к вам с претензией, - начал старый приказчик. - Позавчера я позволил себе послать вам счет...

- Ах да... я что-то задолжал вашей фирме... Сколько же там?

- Двести тридцать шесть рублей тридцать копеек...

- Завтра же постараюсь удовлетворить ваши требования...

- Это еще не все, - перебил Жецкий. - Вчера я получил от вашей почтенной супруги вот это письмо...

Прочитав послание баронессы, Кшешовский призадумался и наконец ответил:

- Весьма сожалею, что баронесса употребила столь не парламентские выражения, но... что касается покупки лошади, она права... Пан Вокульский (впрочем, я его за это не виню) действительно дал мне за лошадь шестьсот рублей, а расписку взял за восемьсот.

Жецкий позеленел от гнева.

- Милостивый государь, весьма прискорбно, но... один из нас оказался жертвой обмана... грубого обмана, сударь! И вот доказательство...

Он достал из кармана два листа бумаги и один из них протянул Кшешовскому. Тот глянул - и закричал:

- Значит, это негодяй Марушевич?.. Но, клянусь честью, он отдал мне только шестьсот рублей и вдобавок долго распространялся насчет корыстолюбия пана Вокульского...

- А вот это? - продолжал Жецкий, протягивая второй лист.

Барон осмотрел документ со всех сторон. У него побелели губы.

- Теперь я все понимаю, - сказал он. - Расписка эта подложная, и совершил подлог Марушевич. Я не занимал денег у пана Вокульского!

- Тем не менее баронесса назвала нас мошенниками...

Барон встал.

- Простите, сударь, - сказал он. - От имени моей жены приношу вам самые глубокие извинения и независимо от любого удовлетворения, которое я готов дать вам, господа, я сделаю все, чтобы исправить зло, причиненное пану Вокульскому... Да, сударь... Я поеду с визитами ко всем моим приятелям и заявлю им, что пан Вокульский - джентльмен, что он заплатил за лошадь восемьсот рублей и что мы оба оказались жертвами интригана и негодяя Марушевича. Кшешовские, пан... пан...

- Жецкий.

- ...уважаемый пан Жецкий, Кшешовские никогда и никого не чернили. Они могут заблуждаться, но без злого умысла, пан...

- Жецкий.

- ...уважаемый пан Жецкий.

Тем и кончился разговор; старый приказчик, сколько ни уговаривал его барон, не слушал никаких доводов и не пожелал видеться с баронессой.

Барон проводил его до дверей и, не удержавшись, заметил Леону:

- Все-таки купцы - люди с достоинством.

- У них деньги, ваша милость, кредит, - ответил Леон.

- Вот дурак! Так если у нас нет денег, значит нет и достоинства?

- Есть, ваша милость, только на другой манер.

- Уж конечно, не на купеческий!.. - надменно ответил барон и велел подать визитку.

Прямо от барона Жецкий отправился к Вокульскому и подробно рассказал ему о проделках Марушевича и раскаянии барона, а под конец вручил ему подложные документы, советуя подать в суд.

Вокульский слушал его с серьезным видом, даже одобрительно покачивал головой, но смотрел куда-то в сторону и думал о другом.

Старый приказчик, сообразив, что тут ему больше нечего делать, попрощался со своим Стахом и, уходя, сказал:

- Я вижу, ты чертовски занят; так лучше сразу передай дело юристу.

- Хорошо... хорошо... - отвечал Вокульский, не сознавая, что ему говорит пан Игнаций. В эту минуту он думал о развалинах Заславского замка, где впервые увидел слезы на глазах панны Изабеллы.

"Сколько в ней благородства... Какая утонченность чувств! Не скоро еще познаю я все сокровища этой прекрасной души..."

Он теперь по два раза в день ездил к Ленцким, а если не к ним, то по крайней мере в те дома, где бывала панна Изабелла, где он мог посмотреть на нее, обменяться с ней несколькими словами. Пока что ему этого было достаточно, а о будущем он не смел думать.

"Мне кажется, я умру у ее ног... - говорил он себе. - Ну и что же? Умру, глядя на нее, и, может быть, целую вечность буду ее видеть. Кто знает, не заключена ли вся будущая жизнь в последнем ощущении человека?.."

И повторял за Мицкевичем:

И сколько лет спать буду так - не знаю...

Когда ж велят с могилой распроститься,

Ты, об уснувшем друге вспоминая,

Сойдешь с небес, поможешь пробудиться!

И, ощущая вновь прикосновенье любимых рук,

К груди твоей прильну я;

Проснусь, подумав, что дремал мгновенье,

Твой видя взор, лицо твое целуя!{319}

Несколько дней спустя к нему влетел барон Кшешовский.

- Я уже два раза заезжал к вам! - воскликнул он, возясь со своим пенсне, которое, казалось, составляло единственный предмет его жизненных забот.

- Вы? - удивился Вокульский. И вдруг вспомнил о том, что ему рассказывал Жецкий, а также о двух визитных карточках барона, которые он нашел вчера на своем столе.

- Вы догадываетесь, по какому поводу я здесь? - говорил барон. - Пан Вокульский, могу ли я

надеяться, что вы мне простите невольную мою вину перед вами?

- Ни слова более, барон! - перебил Вокульский, обнимая его. - Это пустяки. Впрочем, если бы я и заработал на вашей лошади двести рублей, к чему бы мне это скрывать?

- Верно! - воскликнул барон, хлопнув себя по лбу. - Как это мне раньше не пришло в голову... А прогос насчет заработка: не могли бы вы указать мне способ, как быстро разбогатеть? Мне до зарезу нужно раздобыть сто тысяч в течение года...

Вокульский улыбнулся.

- Вы смеетесь, кузен (мне думается, уже можно вас так называть?). Вы смеетесь, а между тем сами же и вполне честно нажили миллионы в течение двух лет...

- Даже и не двух, - заметил Вокульский. - Но это богатство не заработано, а выиграно. Я выиграл, несколько раз подряд удваивая ставку, как шулер, а вся моя заслуга в том, что я играл некраплеными картами.

- Значит, опять-таки удача! - вскричал барон, срывая пенсне. - Ах, дорогой кузен, у меня нет удачи ни на грош. Половину состояния я проиграл, остальное поглотили женщины, и теперь хоть пулю себе в лоб пускай! Нет, мне решительно не везет!.. Вот и сейчас: я думал, этот осел Марушевич соблазнит баронессу... То-то был бы рай дома! Как бы она стала снисходительна к моим грешкам... Да какое там! Баронесса и не думает мне изменять, а этого шута горохового ждут арестантские роты... Пожалуйста, непременно упрячьте его туда, потому что его подлости даже мне надоели. Итак, - заключил он, - между нами мир и согласие. Прибавлю только, что я побывал у всех знакомых, до кого могли дойти мои неосмотрительные слова насчет лошади, и подробнейшим образом разъяснил, как было дело... Пусть Марушевич отправляется в тюрьму - туда ему и дорога, а я на этом выиграю две тысячи в год... Был я также у пана Томаша и панны Изабеллы и им тоже рассказал о нашем недоразумении... Вспомнить страшно, как этот негодяй умел выжимать из меня деньги! Уже год, как у меня их нет, а он умудрялся брать у меня в долг. Гениальный прохвост!.. Я чувствую, что если его не сошлют на каторгу, мне от него не избавиться. До свидания, кузен.

Не прошло и десяти минут после ухода барона, как слуга доложил Вокульскому, что какой-то господин непременно хочет его видеть, но отказывается назвать себя.

"Неужели Марушевич?" - подумал Вокульский.

Действительно, вошел Марушевич, бледный, с горящими глазами.

- Сударь! - мрачно проговорил он, закрывая дверь кабинета. - Вы видите перед собой человека, который решил...

- Что же вы решили?

- Я решил покончить счеты с жизнью... Это тяжелая минута, но иного выхода нет. Честь...

Он передохнул и снова заговорил в волнении:

- Правда, я мог бы раньше убить вас, причину моих несчастий...

- О, не стесняйтесь, пожалуйста, - заметил Вокульский.

- Вы шутите, а между тем оружие и в самом деле при мне, и я готов...

- Испытайте-ка свою готовность.

- Сударь! Так не разговаривают с человеком, стоящим на краю могилы. Если я пришел, то лишь затем, чтобы доказать, что при всех моих заблуждениях сердце у меня благородное.

- Зачем же вы тогда стоите на краю могилы?

- Чтобы спасти свою честь, которой вы хотите меня лишить.

- О!.. Оставьте при себе это бесценное сокровище, - ответил Вокульский и вынул из стола роковые бумаги. - Речь идет об этих документах, не правда ли?

- Вы еще спрашиваете? Вы издеваетесь над моим отчаянием!

- Послушайте, пан Марушевич, - сказал Вокульский, просматривая документы, - я мог бы сейчас прочитать вам нотацию или просто помучить вас неизвестностью. Но поскольку мы оба уже совершеннолетние, то...

Он разорвал бумаги на мелкие клочки и отдал их Марушевичу.

- Сохраните это себе на память.

Марушевич упал перед ним на колени.

- Сударь! - вскричал он. - Вы подарили мне жизнь! Моя благодарность...

- Не ломайтесь, - перебил его Вокульский. - За вашу жизнь я был совершенно спокоен, так же как я совершенно уверен, что рано или поздно вы угодите в тюрьму. Просто мне не хотелось сокращать вам этот путь.

- О, вы безжалостны! - ответил Марушевич, машинально стряхивая пыль с колен. - Одно доброе слово, одно теплое рукопожатие могло бы повернуть меня на новую стезю. Но вы на это неспособны...

- Ну, прощайте, пан Марушевич. Только не вздумайте когда-нибудь подписаться моим именем, потому что тогда... понятно?

Марушевич ушел разобиженный.

"Это ради тебя, ради тебя, любимая, сегодня я избавил от тюрьмы человека. Страшное дело - лишить кого-нибудь свободы, даже вора или клеветника!" - размышлял Вокульский.

С минуту еще в нем происходила борьба. Он то упрекал себя, что не воспользовался случаем избавить общество от негодяя, то задумывался - что случилось бы с ним, если б его засадили в тюрьму, оторвали от панны Изабеллы на долгие месяцы, может быть годы.

"Какой ужас - никогда более не видеть ее!.. и, наконец, кто знает, не в милосердии ли высшая справедливость?.. Как я стал сентиментален!.."

Глава тринадцатая

Tempus fugit, aeternitas manet*

* Время течет, вечность неизменна (лат.).

Хотя дело Марушевича было улажено с глазу на глаз, все же оно не осталось в тайне. Вокульский рассказал о его посещении Жецкому и велел вычеркнуть из книг мнимый долг барона, Марушевич же повинился барону, прибавив, однако, что теперь уже не за что

сердиться, раз долг списан со счета, а он, Марушевич, намерен исправиться.

- Я чувствую, - говорил он, вздыхая, - что мог бы совершенно перемениться, будь у меня хоть тысячи три в год... Подлый мир, где такие люди, как я, зря пропадают!

- Ну, ну, полно, Марушевич, - успокаивал его барон. - Я тебя очень люблю, но ведь всем известно, что ты прохвост.

- А в мое сердце вы заглянули? Знаете вы, какие в нем чувства? О, если б существовал суд, умеющий читать в душе человека, еще не известно, кто из нас был бы оправдан, я или те, кто судят меня?

В общем, и Жецкий, и барон, и князь, и два или три графа, узнавшие о "новой проделке" Марушевича, - все признавали, что Вокульский поступил великодушно, но не по-мужски.

- Поступок прекрасный, - говорил князь, - но... не в стиле Вокульского. Мне казалось, он принадлежит к числу людей, которые представляют в обществе силу, творящую добро и карающую мерзавцев. Любой ксендз мог поступить так, как Вокульский с Марушевичем... Боюсь, он теряет свою энергию...

Энергии Вокульский не терял, но действительно изменился во многих отношениях. Например, магазин он совсем забросил, даже мысль о нем внушала ему отвращение, потому что звание галантерейного купца роняло его в глазах панны Изабеллы. Зато с большим рвением занялся Обществом по торговле с Россией, так как оно приносило огромные прибыли и тем самым увеличивало состояние, которое он хотел сложить к ногам панны Изабеллы.

С той минуты, как он сделал предложение и получил согласие, его охватило какое-то странное чувство размягченности и жалостливости. Ему казалось, что он не только не способен кого-нибудь обидеть, но и сам не сумел бы защитить себя, если, конечно, дело не касалось панны Изабеллы. Зато он испытывал непреодолимую потребность делать людям добро. Не ограничившись дарственной в пользу Жецкого, он дал Лисецкому и Клейну, своим бывшим приказчикам, по четыре тысячи рублей - за ущерб, который нанес им, продав магазин Шлангбауму. Он назначил также около двенадцати тысяч на награды инкассаторам, швейцарам, посыльным и возчикам.

Венгелеку он не только справил пышную свадьбу, но и прибавил к сумме, которую обещал новобрачным, еще несколько сот рублей. Как раз в эту пору у возчика Высоцкого родилась дочь, и Вокульского пригласили в крестные, а когда сметливый отец назвал новорожденную Изабеллой, Вокульский преподнес своей крестнице пятьсот рублей на приданое.

Это имя было ему очень дорого. Нередко в тишине своей одинокой квартиры он брал карандаш, бумагу и без конца писал: "Изабелла, Иза... Белла...", а потом сжигал листки, чтобы имя любимой не попало в чужие руки. Он собирался купить под Варшавой небольшой земельный участок, построить виллу и назвать ее "Изабелин". Однажды ему вспомнилось, как во время его скитаний по Уралу один ученый нашел новый минерал и советовался, как бы его назвать. Тогда Вокульский не знал еще панны Изабеллы, но теперь упрекал себя в недогадливости и огорчался, что не предложил назвать его "изабелитом". Наконец, прочитав в газетах о том, что открыт новый астероид и открывший его астроном не знает, как назвать его, Вокульский собирался назначить крупную награду тому, кто откроет новую планету и назовет ее "Изабелла".

Безмерная страсть к одной женщине все же не вполне вытеснила мысли о другой. Иногда он вспоминал пани Ставскую, которая, как он знал, готова была для него пожертвовать всем, и чувствовал как бы угрызения совести.

- Но что же делать? - говорил он себе. - Не моя вина, что я люблю другую... Хоть бы она

скорей забыла меня и была счастлива...

Он решил, во всяком случае, обеспечить ее будущее и окончательно выяснить судьбу ее мужа.

"Пусть хоть не тревожится о завтрашнем дне и не думает о приданом для дочери..."

Часто он видел панну Изабеллу в многочисленном кругу знакомых, молодых и старых. Но его уже не задевали ни ухаживания мужчин, ни ее взгляды и улыбки.

"Такая уж у нее натура, - думал он. - Иначе она не умеет ни смотреть, ни смеяться. Она как цветок или солнце, которые невольно дарят счастьем всех и всех чаруют своей красотой".

Однажды он получил телеграмму из Заславека - приглашение на похороны председательши.

- Умерла?.. - прошептал он. - Жаль, прекрасной души была женщина!.. Почему я не был подле нее в последние минуты?..

Он огорчился, загрустил, но на похороны старушки, которая проявила к нему столько участия, не поехал. У него не хватило духу расстаться с панной Изабеллой хотя бы на несколько дней...

Он уже сознавал, что больше не принадлежит себе, что все его мысли, чувства, стремления, все помыслы его и надежды неразрывно связаны с одной женщиной. Умри она - и ему не пришлось бы даже убивать себя: душа его сама полетела бы за ней, как птица, лишь на минутку присевшая на ветку. Он даже не говорил ей о своей любви - как не говорят о тяжести собственного тела или о воздухе, который наполняет человека и окружает его со всех сторон. Если ему случалось подумать о ком-нибудь другом, не о ней, он в изумлении вздрагивал, как человек, чудом занесенный в незнакомую местность.

Это была не любовь, а экстаз.

Однажды, в мае, его вызвал к себе Ленцкий.

- Представь себе, - сказал он, - мы должны ехать в Краков. Гортензия больна, хочет видеть Беллу (кажется, речь идет о завещании), ну, и, конечно, она рада будет познакомиться с тобой... Ты можешь поехать с нами?

- В любую минуту, - ответил Вокульский. - Когда вы едете?

- Надо бы сегодня, но, наверное, задержимся до завтра.

Вокульский обещал к завтрашнему дню собраться. Когда он, попрощавшись с паном Томашем, зашел к панне Изабелле, она сообщила ему, что Старский в Варшаве.

- Бедный мальчик! - со смехом сказала она. - Получил от председательши только две тысячи в год да на руки десять тысяч. Я советую ему жениться на богатой, но он предпочитает отправиться в Вену, а оттуда, всего вернее, в Монте-Карло... Я предложила ему ехать с нами. Будет веселей, не правда ли?

- Разумеется, - ответил Вокульский. - Тем более что мы возьмем отдельный вагон.

- Так до завтра.

Вокульский уладил самые неотложные дела, заказал на железной дороге салон-вагон до Кракова и в восемь часов, отправив свои вещи, был у Ленцких. Они втроем выпили чаю и к десяти часам поехали на вокзал.

- Где же пан Старский? - спросил Вокульский.

- Понятия не имею, - ответила панна Изабелла. - Может, он и вовсе не поедет... Это такой ветрогон!

Они уже сидели в вагоне, а Старского все не было. Панна Изабелла кусала губы и поминутно выглядывала в окно. Наконец, после второго звонка, показался на перроне Старский.

- Сюда, сюда! - закричала панна Изабелла. Но Старский не слышал; Вокульский выбежал из вагона и привел его.

- Я думала, вы уж не приедете, - сказала панна Изабелла.

- Чуть было так и не случилось, - ответил Старский, здороваясь с паном Томашем. - Я был у Кшешовского, и вообразите, кузина, мы играли с двух часов дня до девяти вечера...

- И снова проигрались?

- Конечно... Таким, как я, не везет в карты... - прибавил он, взглянув на нее.

Панна Изабелла слегка покраснела.

Поезд тронулся. Старский сел по левую руку панны Изабеллы, и они стали разговаривать то по-польски, то по-английски, все чаще переходя на английский. Вокульский сидел справа от панны Изабеллы; не желая мешать разговору, он сел к окну, возле пана Томаша.

Ленцкому нездоровилось; он укутался в крылатку и плед, укрыл одеялом ноги. Затем велел закрыть все окна в вагоне и завесить фонари, потому что его раздражал свет. Теперь он надеялся заснуть, его даже начало клонить ко сну; но тут он заговорил с Вокульским и увлекся, пространно рассказывая о сестре своей Гортензии, которая смолоду была к нему очень привязана, о нравах при дворе Наполеона III, с которым он несколько раз беседовал, о прекрасных манерах и любовных похождениях Виктора-Эммануила и о многом другом.

До Пруткова Вокульский внимательно слушал его. За Прутковым слабый и монотонный голос пана Томаша начал действовать ему на нервы. Зато все чаще до его слуха долетал разговор панны Изабеллы со Старским, который они вели по-английски. Несколько фраз заставило его насторожиться, и он даже спросил себя: не предупредить ли их, что он понимает по-английски?

Он уже собирался встать, но случайно посмотрел в противоположное окно вагона и увидел в стекле, словно в зеркале, тусклое отражение панны Изабеллы и Старского. Они сидели очень близко друг к другу и оба покраснелись, хотя беседовали таким тоном, словно речь шла о чем-то безразличном.

Однако Вокульский заметил, что этот безразличный тон не соответствует содержанию разговора; ему почудилось даже, что, болтая так непринужденно, они хотят кого-то ввести в заблуждение. И тогда впервые, с тех пор как он знал панну Изабеллу, в голове его пронеслось страшное слово: "Ложь! ложь!"

Он сидел, прижавшись к спинке дивана, смотрел на оконное стекло и слушал. Каждое слово Старского и панны Изабеллы падало ему на лицо, на голову, на грудь каплями свинцового дождя...

Теперь он уже не думал предупреждать их, что понимает, о чем они говорят, только слушал, слушал...

Поезд как раз отъехал от Радзивиллова, когда внимание Вокульского привлекла следующая

фраза:

- Ты можешь поставить ему в упрек что угодно, - говорила по-английски панна Изабелла. - Он не молод и не изыскан, слишком сентиментален и временами скучен; но обвинить его в жадности?.. Даже папа находит его чересчур щедрым...

- А случай с паном К.? - возразил Старский.

- Насчет скаковой лошади?.. Вот и видно, что ты приехал из захолустья. У нас недавно был барон и сказал, что именно в этом случае господин, о котором мы говорим, поступил как джентльмен.

- Джентльмен не спустил бы мошеннику, если б не был с ним связан какими-нибудь темными делишками, - с усмешкой заметил Старский.

- А сколько раз спускал ему барон?

- Как раз за бароном-то и водятся разные грешки, о которых известно пану М. Ты плохо защищаешь своих протеже, кузина, - насмешливо сказал Старский.

Вокульский крепче прижался к спинке дивана, чтобы не сорваться и не ударить Старского. Но сдержался.

"Каждый вправе судить других, - сказал он себе. - Посмотрим, что будет дальше".

Несколько минут он слышал только стук колес и заметил, что вагон сильно раскачивается.

"Никогда я не ощущал такой качки в вагоне", - подумал он.

- А этот медальон, - издевался Старский, - хорош подарок к обручению... Не очень-то щедрый жених: влюблен, как трубадур, а...

- Будь уверен, - перебила его панна Изабелла, - что он отдал бы мне все свое состояние...

- Так бери же, бери, кузина, и дай мне в долг тысяч сто... А что, нашлась его чудотворная медяшка?

- Нет, не нашлась, и я очень огорчена. Боже, если б он когда-нибудь узнал...

- О том, что мы потеряли его медяшку, или о том, как мы искали его медальон? - чуть слышно проговорил Старский, прижимаясь к ее плечу.

У Вокульского потемнело в глазах.

"Я теряю сознание..." - подумал он, хватаясь за оконный ремень. Ему казалось, что вагон скачет по рельсам и вот-вот произойдет крушение.

- Перестань, это наглость!.. - говорила панна Изабелла, понизив голос.

- В этом моя сила, - ответил Старский.

- Ради бога... Ведь он может увидеть... Я тебя возненавижу!

- Нет, влюбишься в меня без памяти, потому что никто другой бы не отважился... Женщинам нравятся демонические мужчины...

Панна Изабелла придвинулась ближе к отцу. Вокульский смотрел в противоположное окно и слушал.

- Предупреждаю тебя, - сказала она с раздражением, - ты не переступишь порога нашего дома... А если осмелишься... я ему все расскажу!

Старский рассмеялся.

- Не бойся, милая кузина, не приду, пока ты сама меня не позовешь, и уверен, что ждать придется недолго. Через неделю этот чересчур благоговейший супруг наскучит тебе и ты захочешь развлечься. Тут ты и вспомнишь повесу-кузена, который никогда не умел быть серьезным, постоянно острил, а иногда был отчаянно смел... И пожалеешь о том, кто всегда готов был тебя обожать, но никогда не ревновал, умел уступать другим, потакал твоим капризам...

- Вознаграждая себя в других местах, - dokonчила панна Изабелла.

- Вот именно! Поступай я иначе, тебе нечего было бы мне прощать, ты боялась бы моих упреков.

Не меняя позы, он обнял ее правой рукой, а левой сжал ее ручку, прикрытую накидкой.

- Да, кузина, - продолжал он. - Такой женщине, как ты, мало насущного хлеба уважения и пряничков обожания... Время от времени тебе нужно шампанское, кто-нибудь должен опьянить тебя, хотя бы цинизмом...

- Циником быть легко...

- Не у каждого хватает на это смелости. Спроси-ка у этого господина, мог ли он когда-нибудь предположить, что его неземное преклонение стоит меньше моих богохульств?

Вокульский уже не слышал продолжения разговора; он был поглощен другим: стремительной переменой, которая происходила в нем самом. Если бы вчера ему сказали, что он будет немым свидетелем подобной беседы, он бы не поверил; он посчитал бы, что первая же фраза убьет его или приведет в бешенство. Но когда это случилось, он убедился, что существует нечто худшее, чем измена, чем разочарование и унижение...

Что же?.. Да езда по железной дороге. Как содрогается вагон... как он мчится!.. Сотрясение поезда передается его ногам, легким, сердцу, мозгу; в нем самом все дрожит, каждая косточка, каждый нерв...

А поезд все мчится по бескрайнему полю, под исполинским сводом небес!.. И ему придется ехать еще бог весть как долго... может быть, пять, а может, и десять минут!..

Что ему Старский или даже панна Изабелла... Они стоят друг друга!.. Но вот поезд, поезд... ах, как качает...

Он боялся, что вот-вот расплачется, закричит, разобьет окно и выскочит из вагона... Хуже того: будет молить Старского, чтобы тот его спас: от чего?.. Был момент, когда он хотел забиться под диван, просить своих спутников навалиться на него, чтобы как-нибудь доехать до станции.

Он закрыл глаза, стиснул зубы, вцепился обеими руками в бахрому обивки; на лбу у него выступил пот и стекал по лицу, а поезд все раскачивался и мчался вперед... Наконец раздался свисток... один, другой... и поезд остановился.

"Я спасен", - подумал Вокульский.

В это время проснулся Ленцкий.

- Какая это станция? - спросил он Вокульского.

- Скерневицы, - ответила панна Изабелла.

Кондуктор открыл дверь. Вокульский сорвался с места. Он толкнул пана Томаша, едва не упал на противоположный диван, споткнулся на ступеньках и побежал к буфету.

- Водки! - крикнул он.

Удивленная буфетчица подала ему рюмку. Вокульский поднес ее к губам, но почувствовал в горле спазмы, тошноту и поставил нетронутую рюмку на стойку.

Между тем Старский говорил панне Изабелле:

- Ну, уж извини, дорогая, при дамах не бросаются сломя голову из вагона.

- Может быть, он нездоров? - ответила она, чувствуя смутную тревогу.

- Нездоровье, во всяком случае, не столь опасное, сколь не терпящее отлагательства... Не заказать ли тебе что-нибудь в буфете?

- Пусть принесут сельтерской.

Старский ушел; панна Изабелла взглянула в окно. Ее тревога все возрастала.

"Тут что-то кроется... - думала она. - Как он странно выглядел!"

Из буфета Вокульский прошел в конец перрона. Он несколько раз глубоко вздохнул, напился воды из бочки, возле которой стояла какая-то бедная женщина и несколько евреев, и немного пришел в себя. Увидев обер-кондуктора, Вокульский окликнул его:

- Любезный, возьмите в руки листок бумаги...

- Что с вами, сударь?

- Ничего. Возьмите в конторе какую-нибудь бумажку, подойдите к нашему вагону и скажите, что получена телеграмма для Вокульского.

- Это для вас?..

- Да...

Обер-кондуктор был крайне удивлен, однако поспешил на телеграф. Через минуту он вышел оттуда и, подойдя к вагону, в котором сидел пан Ленцкий с дочерью, крикнул:

- Телеграмма для пана Вокульского!

- Что это значит? Покажите-ка... - послышался встревоженный голос пана Томаша.

Но в тот же момент возле кондуктора очутился Вокульский, взял бумагу, спокойно развернул ее и, хотя было темно, сделал вид, что читает.

- Что это за телеграмма? - спросил его пан Томаш.

- Из Варшавы, - ответил Вокульский. - Я должен вернуться...

- Вы возвращаетесь? - испугалась панна Изабелла. - Случилось какое-нибудь несчастье?

- Нет, сударыня. Меня вызывает компаньон.

- Прибыль или убыток? - тихо спросил пан Томаш, высовываясь в окно.

- Колоссальная прибыль! - в тон ему ответил Вокульский.

- А... тогда поезжай... - посоветовал пан Томаш.

- Но зачем же вам оставаться здесь? - воскликнула панна Изабелла. - Вам придется ждать варшавского поезда; лучше поезжайте с нами, навстречу ему. Мы проведем еще несколько часов вместе...

- Белла отлично придумала! - заметил пан Томаш.

- Нет, сударь. Я уж поеду отсюда хотя бы на паровозе, чтобы не терять несколько часов.

Панна Изабелла смотрела на него широко раскрытыми глазами. Что-то открылось ей в нем, что-то совсем новое - и заинтересовало. "Какая богатая натура!" - подумала она.

В несколько минут Вокульский, без всякого повода, вырос в ее глазах, а Старский показался маленьким и смешным.

"Но отчего он остается? Откуда тут взялась телеграмма?" - спрашивала она себя, и вслед за смутной тревогой ее охватил страх.

Вокульский снова пошел в буфет, за носильщиком, чтобы тот вынес его вещи из вагона, и столкнулся со Старским.

- Что с вами? - вскричал Старский, вглядываясь в лицо Вокульского, на которое падала полоса света из окна.

Вокульский взял его под руку и повел в конец перрона.

- Пан Старский, не обижайтесь на то, что я вам скажу, - глухо произнес он. - Вы заблуждаетесь в оценке своей особы... В вас столько же демонического, сколько в спичке яда... И вы не обладаете никакими свойствами шампанского... Скорей свойством лежалого сыра, который возбуждающе действует на больные желудки, но у здорового человека может вызвать рвоту... Извините, пожалуйста.

Старский был ошеломлен. Он ничего не понял и вместе с тем как будто что-то начинал понимать... "Уж не сумасшедший ли передо мной", - подумал он.

Раздался второй звонок, пассажиры гурьбой бросились из буфета к вагонам.

- И еще я хотел вам дать совет, пан Старский: наслаждаясь благосклонностью прекрасного пола, применяйте уж лучше традиционную осторожность, чем эту вашу демоническую дерзость. Ваша дерзость разоблачает женщин. А женщины разоблачений не любят, и вы рискуете потерять их расположение, что было бы весьма прискорбно и для вас, и для ваших фавориток.

Старский все еще смотрел на него с недоумением.

- Если я вас чем-нибудь оскорбил, - сказал он, - то готов дать удовлетворение.

Прозвучал третий звонок.

- Господа, прошу садиться! - кричали кондукторы.

- Нет, сударь, - отвечал Вокульский, направляясь к вагону Ленцких. Если б я хотел получить от вас удовлетворение, то сделал бы это без лишних формальностей, и вас бы уже не было в

живых. Скорей уж вы вправе требовать от меня удовлетворения за то, что я посмел вторгнуться в садик, где вы выращиваете свои цветочки... В любое время к вашим услугам... Вы знаете мой адрес?

Они подошли к вагону, у дверей которого уже стоял кондуктор. Вокульский силой заставил Старского подняться на ступеньки, втолкнул его внутрь, и кондуктор захлопнул дверь.

- Что же ты не прощаешься, пан Станислав? - удивленно крикнул пан Томаш.

- Счастливого пути!.. - ответил Вокульский, кланяясь.

В окне показалась панна Изабелла. Обер-кондуктор свистнул, в ответ загудел паровоз.

- Farewell, miss Iza, farewell!* - крикнул Вокульский.

* Прощайте, мисс Иза, прощайте! (англ.)

Поезд тронулся. Панна Изабелла бросилась на диван против отца; Старский отошел в угол.

- Так, так... - пробормотал Вокульский. - Поладите, голубчики, не доезжая Петркова...

Он смотрел на мелькающие вагоны и смеялся.

На перроне никого не было. Вокульский прислушивался к шуму удалявшегося поезда; он то ослабевал, то снова звучал громче и, наконец, совсем стих.

Потом он слышал шаги железнодорожников, уходивших со станции, грохот сдвигаемых столиков в буфете; потом в буфете один за другим погасли огни, и официант, зевая, закрыл стеклянные двери, проскрипевшие какое-то слово.

"Они потеряли мою пластинку, разыскивая медальон!.. - думал Вокульский. - Я сентиментален и скучен... Ей, кроме насущного хлеба уважения и пряничков обожания, нужно шампанское... Прянички обожания - неплохая острота!.. А какое бишь шампанское ей по вкусу?.. Ага, цинизма!.. Шампанское цинизма тоже неплохая острота... что ж, хотя бы ради этого стоило учиться английскому..."

Бесцельно блуждая, он очутился между двумя вереницами запасных вагонов. С минуту он не знал, куда идти. И вдруг с ним сделалось что-то странное: то была галлюцинация. Ему показалось, что он стоит внутри огромной башни, которая рушится без малейшего шума. Он жив, но его завалило грудой обломков, из-под которых он не может выбраться. Не было выхода!

Он потрянул головой, и видение исчезло.

"Просто меня клонит ко сну, - подумал он. - В сущности, не произошло ничего неожиданного; все это можно было заранее предугадать, и ведь я все видел... Какие пошлые разговоры она вела со мной!.. Что ее занимало?.. Балы, рауты, концерты, наряды... Что она любила?.. Только себя. Ей казалось, что весь мир существует для нее, а она создана для развлечений. Она кокетничала... да, да, бесстыдно кокетничала со всеми мужчинами; а у женщин оспаривала первенство в красоте, преклонении и нарядах... Что она делала? Ничего. Служила украшением гостиных... Единственная ценность, благодаря которой она могла достигнуть благосостояния, была ее любовь - поддельный товар!.. А Старский... что же Старский? Такой же паразит, как она... Он был лишь эпизодом в ее жизни, богатой опытом. К нему нечего предъявлять претензии: они одного поля ягоды. Да и к ней тоже... Да, она любит дразнить воображение, как настоящая Мессалина! Ее обнимал и искал медальон кто попало,

даже такой вот Старский, бедняга, вынужденный за неимением дела стать соблазнителем...

Верил я прежде, что есть в этом мире

Белые ангелы с светлыми крыльями!..{335}

Хороши ангелы! Ну и светлые крылья!.. Молилари, Старский и, как знать, сколько других... Вот к чему приводит знакомство с женщинами по поэтическим произведениям!

Надо было изучать женщин не через посредство Мицкевичей, Красинских и Словацких, а по данным статистики, которая учит, что десятая часть этих белых ангелов - проститутки; ну, а если бы случилось на этот счет обмануться, то по крайней мере разочарование было бы приятным..."

В эту минуту послышался какой-то рев: наливали воду в котел или резервуар. Вокульский остановился. В этом протяжном, унылом звуке ему почудился целый оркестр, исполняющий мелодию из "Роберта-Дьявола": "Вы, почившие здесь в приютах могильных..." Смех, плач, вопль тоски, визг, безобразные крики - все это звучало одновременно, и все заглушал могучий голос, проникнутый безысходной скорбью.

Он готов был поклясться, что слышит звуки оркестра, и снова поддался галлюцинации. Ему казалось, что он на кладбище; вокруг разверстые могилы, и из них выскальзывают уродливые тени. Одна за другою они принимают облики прекрасных женщин, между которыми осторожно пробирается панна Изабелла, маня его рукою и взглядом.

Его охватил такой ужас, что он перекрестился; призраки рассеялись.

"Хватит, - подумал он. - Так я с ума сойду..."

И решил забыть о панне Изабелле.

Было уже часа два ночи. В телеграфной конторе горела лампа с зеленым абажуром и слышалось постукивание аппарата. Возле станционного здания прохаживался какой-то человек; завидев Вокульского, он снял шапку.

- Когда идет поезд в Варшаву? - спросил его Вокульский.

- В пять часов, ваша милость, - ответил человек и потянулся к его руке, словно хотел ее поцеловать. - Я, ваша милость...

- Только в пять!.. - повторил Вокульский. - Лошадьми можно... А из Варшавы когда?

- Через три четверти часа. Я, ваша милость...

- Через три четверти... - прошептал Вокульский. - Четверти... четверти... - повторил он, чувствуя, что неясно выговаривает букву "р".

Он повернулся спиной к незнакомцу и пошел вдоль насыпи по направлению к Варшаве. Человек посмотрел ему вслед, покачал головой и исчез во мраке.

- Четверти... четверти... - бормотал Вокульский.

"Язык у меня заплетается?... Какое странное стечение обстоятельств: я учился, чтобы добыть панну Изабеллу, а выучился - чтобы ее лишиться... Или вот Гейст. Ради того он сделал великое открытие и ради того доверил мне священный залог, чтобы пан Старский имел лишний повод для своих поисков... Все она отняла у меня, даже последнюю надежду... Если бы меня сейчас спросили, действительно ли я знал Гейста, видел ли его удивительный

металл я не сумел бы ответить и даже сам сейчас не вполне уверен, не обман ли это воображения... Ах, если б я мог не думать о ней... хоть несколько минут...

Так вот же не буду о ней думать..."

Была звездная ночь, чернели поля, вдоль полотна горели редкие сигнальные фонари. Бредя вдоль насыпи, Вокульский споткнулся о большой камень, и в то же мгновение перед глазами его встали развалины заславского замка, камень, на котором сидела панна Изабелла, и ее слезы. Но на этот раз слезы не скрыли ее лживого взгляда.

"Так вот же не буду о ней думать... Уеду к Гейсту, начну работать с шести утра до одиннадцати ночи, буду следить за малейшим изменением давления, температуры, напряжения тока... У меня не останется ни минуты..."

Ему показалось, что кто-то идет позади. Он обернулся, но ничего не разглядел, только заметил, что левым глазом видит хуже, чем правым, и это нестерпимо его раздражало.

Он хотел вернуться на станцию, но почувствовал, что не сможет вынести вида людей. Даже думать было мучительно, почти до физической боли.

- Не знал я, что человеку может быть в тягость собственная душа... пробормотал он. - Ах, если б я мог не думать...

Далеко на востоке забрезжил свет и показался тоненький лунный серп, заливая окрестности невыразимо унылым сиянием. И вдруг Вокульскому явилось новое видение. Он был в тихом, пустынном лесу; стволы сосен диковинно изогнулись, не слышно было ни одной птицы, не шелухнулась ни одна ветка. Все было погружено в печальный полумрак. Вокульский чувствовал, что и этот мрак, и горечь, и грусть точат его сердце и исчезнут только вместе с жизнью, если вообще когда-нибудь исчезнут...

Меж сосен, куда ни глянь, сквозили клочки серого неба, и каждый из них превращался в подрагивающее стекло вагона, в котором тускло отражалась панна Изабелла в объятиях Старского.

Вокульский был уже не в силах бороться с призраками; они завладели им, отняли у него волю, исказили мысли, отравили сердце. Дух его утратил всякую самостоятельность: его воображением управляло любое впечатление, повторяясь в бесчисленных, все более мрачных и болезненных формах, словно эхо в пустом здании.

Он опять споткнулся о камень, и этот ничтожный повод разбудил в нем длинную вереницу мучительных образов.

Ему казалось, что когда-то... давно, давно... он сам был камнем, холодным, слепым и бесчувственным.

И когда он лежал так, гордый своей мертвой неподвижностью, которую не могли оживить никакие земные катаклизмы, в нем или над ним прозвучал вопрошающий голос:

"Хочешь ли стать человеком?"

"Что значит человек?" - ответил камень.

"Хочешь видеть, слышать, чувствовать?"

"Что значит чувствовать?.."

"Так хочешь ли познать нечто совсем новое? Хочешь изведать существование, которое в

один миг дает больше, чем испытали все камни за миллионы веков?"

"Я не понимаю, - ответил камень, - но могу быть чем угодно".

"А если, - повторил сверхъестественный голос, - после этого нового бытия у тебя останется вечная горечь?"

"Что значит горечь?.. Я могу быть чем угодно".

"Итак, будешь человеком", - прозвучало над ним.

И он стал человеком. Он прожил несколько десятков лет и за эти годы много жаждал и выстрадал столько, сколько неживой природе не испытать за целую вечность. Преследуя одну цель, он находил тысячу других; спасаясь от одного страдания, попадал в море страданий и столько перечувствовал, столько передумал, исчерпал столько сил в мире слепых стихий, что, наконец, возмутил против себя природу.

"Довольно! - кричали со всех сторон. - Довольно!.. Уступи место другим в этом игрище!.."

"Довольно!.. Довольно!.. Довольно!.. - кричали камни, деревья, воздух, земля и небо... - Уступи другим!.. пусть и они познают новое бытие!"

Довольно!.. Значит, он снова должен обратиться в ничто, и как раз в ту минуту, когда высшее бытие оставляет ему, как последнее воспоминание, лишь отчаяние утраты и сожаление о недостигнутом!..

- Ах, скорее бы взошло солнце... - шептал Вокульский. - Вернусь в Варшаву... возьмусь за какую угодно работу и покончу с этими глупостями, которые мне только расстраивают нервы... Ей нравится Старский? Пусть берет Старского!.. Я проиграл в любви? Что ж!.. Зато выиграл в другом... Нельзя иметь все...

Уже несколько минут он ощущал на усах какую-то липкую влагу.

"Кровь?" - подумал он, вытер губы и при свете спички увидел на платке пену.

- Все мои добрые дела обращаются против меня, - проговорил он вполголоса.

Обессиленный, он опустился на землю возле маленькой дикой груши, которая росла неподалеку от насыпи. Поднялся ветер и зашевелил листочки; шелест их почему-то напомнил Вокульскому давно минувшие годы.

"Где мое счастье?.." - подумал он.

Что-то сдавило ему грудь и начало подкатывать к горлу. Он хотел вздохнуть - и не мог; задыхаясь, обхватил руками деревце, продолжавшее шелестеть, и крикнул:

- Умираю!..

Ему казалось, что кровь заливает мозг, грудь его вот-вот разорвется, он извивался от боли и вдруг разразился рыданиями.

- Господи... господа, смилуйся!.. - повторял он, захлебываясь слезами.

Стрелочник на коленях подполз к нему и тихонько подсунул руку ему под голову.

- Плачь, благодетель мой!.. - говорил он, наклонившись к Вокульскому. Плачь, плачь и призывай имя господне... Не тщетно будешь ты призывать его... Кто под кров твой, боже, прибегает, с сердцем открытым тебе себя вверяет, тот скажет смело: под защитой божьей

ничто худое мне грозить не может... От сетей лукавых он тебя избавит... Что там, ваша милость, богатство, что все сокровища мира! Все человека обманет, один господь бог не обманет...

Вокульский припал лицом к земле. Ему казалось, что каждая слеза уносит из его сердца частицу боли, разочарования и отчаяния. Расстроенная мысль начала приходить в равновесие. Он уже отдавал себе отчет в происходящем и понимал, что в минуту горя, когда все, казалось, его предало, ему остались верны земля, простой человек и бог.

Понемногу он успокаивался, рыдания все реже разрывали ему грудь, он ощутил слабость во всем теле и крепко заснул.

Светало, когда он проснулся; он сел, протер глаза, увидел подле себя стрелочника и все вспомнил.

- Долго я спал? - спросил он.

- С четверть часика... или с полчаса... - ответил стрелочник.

"Черт побери, бешенство у меня начинается, что ли?.."

Вдруг он увидел вдали два огонька, медленно приближавшиеся к нему; позади них виднелась какая-то черная глыба, за которую густым снопом тянулись искры.

Поезд!..

И ему представилось, что это тот самый поезд, в котором едет панна Изабелла. Он снова увидел вагон, тусклый свет фонаря, завешенного голубым камлотом, и в углу панну Изабеллу в объятиях Старского...

- Люблю... люблю... - прошептал он. - Не могу забыть...

Сердце его сжала такая мука, для которой на человеческом языке названия нет. Все терзало его - усталая мысль, наболевшее чувство, раздавленная воля, самое существование... И внезапно его охватило уже не желание, а неистовая жажда смерти.

Поезд медленно приближался. Вокульский, не отдавая себе отчета в том, что делает, бросился на рельсы. Он дрожал, зубы его стучали, обеими руками он ухватился за шпалы, в рот ему набился песок... На пути упал свет фонарей, рельсы тихо дребезжали под колесами паровоза...

- Господи, помилуй меня и спаси... - прошептал он и закрыл глаза.

Вдруг на него пахнуло теплом, и в то же мгновение что-то с силой рвануло его и столкнуло с рельсов... Поезд пронесся в нескольких дюймах от его головы, обдав паром и горячим пеплом. На миг он потерял сознание, а когда очнулся, увидел какого-то человека, который придавил ему коленом грудь и держал его за руки.

- Что ж это вы, ваша милость, задумали?.. - говорил человек. - Где ж это видано!.. Господь бог...

Он не договорил. Вокульский столкнул его с себя, схватил за шиворот и швырнул наземь.

- Чего тебе нужно, подлец?.. - закричал он.

- Ваша... ваша милость... да ведь я Высоцкий...

- Высоцкий?.. Высоцкий?.. - повторил Вокульский. - Врешь. Высоцкий в Варшаве...

- Я брат его, стрелочник. Ваша милость сами изволили устроить меня сюда еще в прошлом году, после пасхи... Ну мог ли я смотреть на такую беду?" Да и запрещается у нас на дороге под машину лезть...

Вокульский задумался и отпустил его. Потом вынул бумажник, достал несколько сотенных и, протянув их Высоцкому, сказал:

- Вот что... вчера я был пьян... Смотри же, никому ни слова о том, что тут было. А это возьми... для детишек...

Стрелочник повалился ему в ноги.

- Я думал, ваша милость все потеряли, и потому...

- Ты прав, - задумчиво ответил Вокульский. - Я потерял все, кроме богатства. О тебе я не забуду, хотя... лучше бы меня уже не было в живых!

- Я так сразу и подумал, что не станет такой барин искать беды, хотя бы все деньги потерял. Злоба людская вас до этого довела!.. Но и ей конец придет. Бог правду видит, да не скоро скажет. Вот помяните мое слово...

Вокульский поднялся с земли и пошел на станцию. Вдруг он обернулся к Высоцкому.

- Когда будешь в Варшаве, зайди ко мне... Но ни слова о том, что тут было...

- Бог мне свидетель, не скажу, - сказал Высоцкий и снял шапку.

- А в другой раз... - прибавил Вокульский и положил руку ему на плечо, - в другой раз... Если встретится тебе человек, который... понимаешь?.. если встретится тебе такой, не спасай его... Когда кто-нибудь добровольно захочет предстать пред господним судом со своей обидой, не мешай ему... Не мешай!

Глава четырнадцатая

Дневник старого приказчика

"Политическая ситуация обрисовывается все яснее. Имеются уже две коалиции. С одной стороны - Россия с Турцией, с другой - Германия, Австрия и Англия. А если так, значит в любую минуту может разразиться война, в ходе которой будут разрешены важные, чрезвычайно важные вопросы.

Только будет ли война? Ведь все мы склонны обольщаться своей прозорливостью. Так вот - будет, на этот раз непременно будет! Лисецкий говорит, что я каждый год пророчу войну, и ни разу мое пророчество не сбылось. Олух он, деликатно выражаясь... Одно дело - прежде, а другое теперь.

Читаю я, например, в газетах, что Гарибальди в Италии возмущает народ против Австрии. А зачем, спрашивается?.. Затем, что он ждет большой войны. Но и это еще не все: через несколько дней я слышу, что генерал Тюрр всеми святыми заклинает Гарибальди не втягивать итальянцев в беду.

Что это значит?.. В переводе на язык простых смертных это значит: "Не кипятитесь, голубчики-итальянцы, Австрия вам и без того уступит Триест, если выиграет войну. А вот если по вашей милости она проиграет, то ничего вы не получите..."

Это факты весьма и весьма знаменательные - и призывы Гарибальди, и уговоры Тюрра. Гарибальди горячится, ибо видит, что война на носу, а Тюрр успокаивает, ибо предвидит и

дальнейшие события.

Но когда именно вспыхнет война? В конце июня или в начале июля? Так может думать человек, несведущий в политике, но не я. Ибо немцы не станут начинать войну, не обезопасив себя со стороны Франции. Каким же образом они себя обезопасят? Шпрот утверждает, что такой возможности нет, а я вижу, что есть, и весьма простая. О, Бисмарк - хитрая бестия, я в этом все больше убеждаюсь!

Да и для чего бы Германии и Австрии вовлекать в союз Англию?.. Ясное дело - они желают припасти успокоительное для Франции и склонить ее к объединению с ними. А произойдет это следующим образом.

В английской армии служит юный Наполеон - Люлю, который сражается с зулусами в Африке, как его дед, Наполеон Великий. Когда англичане закончат войну, они произведут юного Наполеона в генералы и скажут французам:

- Любезные! Вот Бонапарт, он воевал в Африке, где покрыл себя неувядаемой славой, как его дед. Сделайте же его своим императором, а мы за то ловким политическим маневром выцарапаем у немцев Эльзас и Лотарингию. Ну, заплатите вы им пять-шесть миллиардов, - да ведь это лучше, чем затевать новую войну, которая обойдется в десять миллиардов, а чем кончится для вас, еще не известно...

Французы, конечно, провозгласят Люлю императором, заберут свои земли, заплатят деньги, вступят в союз с Германией, а уж тогда, с этакой кучей денег, Бисмарк покажет себя!

О, это умная шельма! И кто-кто, а Бисмарк сумеет провести свой план. Я давно смекнул, какая это продувная бестия, и стал питать к нему слабость, только скрывал ее. Ну, и язва, скажу я вам! Он женат на дочке Путткамера, а Путткамеры, как известно, - родня Мицкевичу.{343} Притом, говорят, он без ума от поляков и даже советовал сыну немецкого наследника учиться по-польски...

Ну, если в этом году не будет войны... То-то расскажу я Лисецкому сказку про дурачка! Он, бедняга, воображает, будто политическая мудрость заключается в том, чтобы ничему не верить. Чушь!.. Суть политики в комбинациях, соотносящихся с естественным ходом вещей.

Итак, да здравствует Наполеон IV! Правда, сейчас о нем никто и не думает, но я уверен, что во всей этой кутерьме он сыграет главную роль. А если возьмется за дело умеючи, то не только даром вернет Эльзас и Лотарингию, но еще и расширит границы Франции до самого Рейна. Лишь бы Бисмарк не спохватился слишком рано и не догадался, что использовать в своих целях Бонапарта - все равно что впрягать в тачку льва. Мне таки кажется, что в этом единственном вопросе Бисмарк просчитается. И, откровенно говоря, я об этом сожалеть не стану, ибо он никогда не внушал мне доверия.

.....

Что-то неладно у меня со здоровьем. Не то чтобы у меня что-нибудь болело, но так как-то... Не могу много ходить, потерял аппетит, даже не очень хочется писать.

В магазине почти нечего делать: там уже хозяйничает Шлангбаум, а я только так, между прочим занимаюсь делами Стаха. К октябрю Шлангбаум должен окончательно расплатиться с нами. Бедствовать мне не придется, потому что славный Стах обеспечил мне полторы тысячи в год пожизненной пенсии; но как подумаю, что скоро уже потеряю всякое значение в магазине и ничем не буду вправе распоряжаться...

Не стоит жить... Иной раз такая тоска берет, что, если б не Стах и не юный Наполеон, сделал

бы с собою невесть что... Кто знает, старый дружище Кац, не умнее ли ты поступил? Надеяться тебе, правда, уже не на что, зато и нечего бояться разочарований... Не говорю, что я их опасуюсь, потому что ведь ни Вокульский, ни Бонапарт... Но все же... что-то не то...

Как я ослабел: мне уже и писать трудно. Хорошо бы поехать куда-нибудь... Боже мой, за двадцать лет я носа не высунул за варшавскую заставу! А временами так тянет еще хоть раз перед смертью взглянуть на Венгрию... авось на старых полях сражений я разыскал бы хоть кости старых товарищей... Эх, Кац, Кац!.. Помнишь ли этот дым, и свист, и сигналы?.. И какая тогда была зеленая трава, и как светило нам солнце!..

Ничего не поделаешь, придется собраться в путь, поглядеть на горы и леса, подышать воздухом широких равнин, залитых солнцем, - и начать новую жизнь. Может, даже переберусь куда-нибудь в провинцию, поближе к пани Ставской. Да и что же еще остается пенсионеру?

Странный человек Шлангбаум; не думал я, зная его бедняком, что он станет так задирать нос. Уже успел через Марушевича познакомиться с баронами, а через баронов с графами и только не может пока добраться до князя, который с евреями вежлив, но близко к себе не подпускает.

А в то время как Шлангбаум задирает нос, в городе поднимается крик против евреев. Всякий раз, когда я захожу выпить кружечку пива, обязательно кто-нибудь набрасывается на меня с бранью из-за того, что Стах продал магазин евреям.

Советник брюзжит, что евреи лишают его третьей части пенсии; Шпрот сетует, что из-за евреев дела его идут хуже; Лисецкий плачется, что Шлангбаум рассчитывает его со дня святого Яна, а Клейн помалкивает.

Уже и в газетах пописывают против евреев, а что всего удивительней, даже доктор Шуман, даром что сам иудей, на днях завел со мной такой разговор:

- Вот увидите, не пройдет и нескольких лет, как с евреями начнутся крупные неприятности.

- Извините, пожалуйста, - говорю я, - ведь вы сами, доктор, недавно хвалили их!

- Хвалил, потому что это гениальная раса, но натура у них преподлая. Представьте, оба Шлангбаума, старый и молодой, хотели меня объегорить - это меня-то!

"Ага! - подумал я. - Опять тебя к нам потянуло, как только единоверцы пошарили у тебя в кармане..."

И, по правде говоря, я окончательно охладел к Шуману.

А чего-чего они ни наговаривают на Вокульского. И мечтатель, и идеалист, и романтик... Может, все потому, что он никогда ни с кем не поступает по-свински.

Когда я передал этот разговор Клейну, наш заморыш возразил:

- Он считает, что неприятности начнутся только через несколько лет? Можете его успокоить - начнутся раньше...

- Господи Иисусе! - говорю я. - Почему ж это?

- Мы-то их уже раскусили, хоть они и с нами заигрывают... Ловкие субъекты! Да просчитались на этот раз... Знаем мы, что они могли бы натворить, если б им дать волю...

Я считал Клейна человеком весьма передовых убеждений, может даже чересчур передовых,

а теперь полагаю, что он попросту ретроград. К тому же, что означает сие: "мы, с нами"?

И это век, пришедший на смену восемнадцатому! Тому самому веку, который начертал на своих знаменах: "Свобода, равенство и братство"? За что же, черт побери, я воевал с австрийцами?.. За что погибали мои товарищи?..

Чепуха! Пустое! Все это переменит император Наполеон IV.

Тогда и Шлангбаум не будет так нагло себя вести, и Шуман перестанет кичиться своим еврейством, и Клейн не будет им угрожать.

А время это не за горами, если даже Стах Вокульский...

Ах, как я утомлен... нет, надо куда-нибудь поехать.

.....

Не настолько я стар, чтобы мне помышлять о смерти; но, боже мой, если рыбу вынуть из воды, даже самую молодую и крепкую, она издохнет, потому что лишится привычной среды...

Похоже, что и я оказался такой рыбой, вытасченной из воды; в магазине у нас Шлангбаум уже распоясался вовсю и, чтобы показать свою власть, выгнал швейцара и инкассатора за то, дескать, что они не выказывали ему должного уважения.

Когда я вступился за них, он с возмущением ответил:

- Посмотрите только, как они ведут себя со мною и как - с Вокульским!.. Ему, правда, они не кланялись так низко, зато в каждом их движении, в каждом взгляде видно было, что они готовы за него в огонь и в воду...

- Так вы хотите, чтобы они и за вас пошли в огонь и в воду? - спросил я.

- А как же? Ведь они едят мой хлеб, я им даю работу и жалованье плачу...

Я боялся, что Лисецкий (он прямо посинел, слушая подобную чушь) отпустит ему оплеуху; тот, однако, сдержался и только спросил:

- А знаете ли, почему за Вокульского мы пошли бы в огонь и в воду?

- Потому что у него денег больше...

- Нет, пан Шлангбаум. Потому что у него есть то, чего у вас нет и никогда не будет, - ответил Лисецкий, ударяя себя в грудь.

Шлангбаум налился кровью, как вурдалак.

- Что это значит? Чего у меня нет? Пан Лисецкий, мы не можем вместе работать... Вы насмехаетесь над ритуальными обрядами...

Я схватил Лисецкого за руку и потащил его за шкафы. Всех рассмешила обида Шлангбаума. Только Земба (он единственный останется в магазине) хорохорился и кричал:

- Хозяин прав... Нельзя издеваться над вероисповеданием, вера - чувство священное! Где же свобода совести?.. где прогресс, где цивилизация?.. уравнение в правах?..

- Наглый подлиза, - проворчал Клейн и шепнул мне: - Ну, разве Шуман не прав, что они в конце концов нарвутся на неприятности? Помните, как он держался в первые дни, а посмотрите, каков теперь!

Я, разумеется, отчитал Клейна: по какому праву он запугивает своих сограждан какими-то неприятностями? А все же в глубине души не могу не признать, что Шлангбаум за один год сильно переменялся.

Раньше он был тихоня, а сейчас стал нахальным и заносчивым; раньше молчал, когда его обижали, а сейчас сам на тебя орет по всякому поводу. Раньше называл себя поляком, а сейчас кичится тем, что он еврей. Раньше он даже верил в благородство и бескорыстие, а сейчас говорит только о своих деньгах и связях. Плохо это может кончиться!..

Зато перед покупателями он ходит за задних лапках, а графам или хотя бы баронам готов пятки лизать. С подчиненными же - сущий гиппопотам! То и дело фыркает, никому не дает шагу ступить. Не очень-то красиво... Но, с другой стороны, ни советник Шпрот, ни Клейн, ни Лисецкий не имеют права грозить евреям какими-то неприятностями...

Итак, что же я теперь значу в магазине при этом уроде? Принимаюсь счет составлять - он заглядывает мне через плечо; даю какое-нибудь распоряжение он тут же громко его повторяет. В магазине он меня затирает, при знакомых покупателях то и дело говорит: "Мой друг Вокульский... мой знакомый барон Кшешовский... мой приказчик Жецкий..." А когда мы одни, обращается ко мне: "дорогой, милый Жецкий..."

Несколько раз я в самой деликатной форме давал ему понять, что эти ласкательные эпитеты не доставляют мне удовольствия. Но он, бедняга, не понимает намеков, а я все терплю да терплю и когда-то еще выйду из себя... У меня всегда так. Лисецкий вскипает сразу, потому-то Шлангбаум и считается с ним.

Что ни говори, а Шуман был прав, утверждая, будто мы, из поколения в поколение, только и думаем, как бы транжирить деньги, а они - как бы сколотить деньгу. В этом смысле они уже теперь могли бы первенствовать на свете, если б ценность людей измерялась только деньгами. Впрочем, не мое дело... Магазином я теперь почти не занимаюсь и все чаще подумываю о поездке в Венгрию. Двадцать лет не видеть ни полей, ни лесов... страшно подумать!

Я уже начал выправлять паспорт, думал, хлопоты протянутся с месяц. Между тем взялся за это Вирский - и в четыре дня раздобыл мне паспорт. Я даже струхнул...

Делать нечего, надо ехать хоть недельки на две-три. Думал, приготовления к отъезду займут не меньше недели... Куда там! Опять вмешался Вирский, сегодня купил мне чемодан, а назавтра уложил мои вещи и говорит: "Поезжай!"

Меня даже зло взяло. С чего это они, черт возьми, хотят от меня избавиться? Велел всем наперекор вынуть вещи, а чемодан покрыть ковром, потому что мне это уже на нервы начало действовать. Но, что ни говори, хорошо бы куда-нибудь поехать... так бы хорошо...

Однако мне надо сначала набраться сил. У меня по-прежнему нет аппетита, я хую, плохо сплю, хотя по целым дням хожу сонный; начались у меня какие-то головокружения, сердцебиения... Эх! все пройдет...

Клейн тоже опустился. Опаздывает в магазин, таскает с собой какие-то книжонки, ходит на какие-то там собрания. Но самое скверное, что из суммы, назначенной ему Вокульским, он уже взял тысячу рублей и истратил в один день. На что?

При всем том хороший он парень! А лучше всего о его порядочности свидетельствует тот факт, что даже баронесса Кшешовская не выгнала его из своего дома, и он так и живет у себя на четвертом этаже, как всегда тихо, скромно, в чужие дела носа не сует.

Только бы ему развязаться с подозрительными знакомствами; у евреев, может,

неприятностей не будет, зато у него...

Вразуми его господь бог и защити!

.....

Клейн рассказал мне потешную и весьма поучительную историю. Я смеялся до слез, а вместе с тем получил лишнее доказательство божественной справедливости даже в самых мелких делах.

"Кратковременно торжество безбожников", - говорит, кажется, священное писание, а может быть, какой-нибудь отец церкви. Впрочем, кто бы ни сказал, правильность этих слов полностью подтвердилась на примере баронессы и Марушевича.

Как известно, баронесса, избавившись от Малесского и Паткевича, строго-настрого наказала дворнику ни под каким видом не пускать на четвертый этаж студентов, хотя бы помещение пустовало; и действительно, студенческая комната несколько месяцев не сдавалась, зато хозяйка поставила на своем.

Тем временем к ней вернулся супруг и, разумеется, взял в свои руки управление домом. Постоянно нуждаясь в деньгах, барон, естественно, из себя выходил из-за этой пустующей комнаты, поскольку каприз баронессы сокращал его доходы на сто двадцать рублей в год.

А тут еще барона подстрекал Марушевич (они уже помирились!), опять без конца занимавший у него деньги.

- К чему вам проверять, - не раз говорил он, - всякого, кто хочет снять у вас комнату, студент он или не студент? Зачем усложнять дело? Раз пришел не в мундире - значит, не студент; а если заплатит за месяц вперед - надо брать, и дело с концом!

Барон принял близко к сердцу эти советы; он даже велел дворнику, в случае если бы нашелся жилец, без долгих разговоров прислать его наверх. Дворник, само собою, рассказал об этом жене, жена - Клейну, а тот, разумеется, предпочитал соседей, которые бы ему пришлись по душе.

Итак, дня через два или три после упомянутого распоряжения к барону явился некий фронт со странной физиономией и в еще более странном костюме: брюки его не подходили к жилетке, жилетка - к сюртуку, а галстук - уж вовсе ни к чему не подходил.

- В вашем доме, господин барон, сдается комната для холостяков за десять рублей в месяц?
- спрашивает незнакомец.

- Да, - отвечает барон, - вы можете осмотреть ее.

- О, зачем же! Я уверен, что барон не стал бы сдавать плохих комнат. Разрешите внести задаток?

- Пожалуйста, - отвечает барон. - А так как вы верите мне на слово, то и я не спрашиваю никаких подробностей...

- О, если вам угодно...

- Люди благовоспитанные довольствуются взаимным доверием, - возразил барон. - Итак, надеюсь, ни у меня, ни у моей жены - у моей жены в особенности - не будет повода к неудовольствию...

Молодой человек горячо пожал ему руку.

- Даю вам слово, - воскликнул он, - что мы никогда не причиним неприятностей вашей жене, которая, право, незаслуженно предубеждена против...

- Довольно, довольно, сударь... - перебил его барон, взял задаток и выдал расписку.

После ухода незнакомца барон вызвал к себе Марушевича.

- Боюсь, - сказал он сконфуженно, - что я выкинул глупость... Квартирант уже есть, но, судя по описанию, это, кажется, один из тех молодцов, которых выселила моя жена...

- Не все ли равно! - возразил Марушевич. - Лишь бы платили вперед.

Утром на другой день в комнатку на четвертом этаже въехало трое молодых людей, да так тихо, что их даже никто не видел. Не обратили также внимания на то, что по вечерам они встречаются с Клейном. А несколько дней спустя к барону прибежал Марушевич в весьма возбужденном состоянии и закричал:

- Подумайте, это действительно те прохвосты, которых выгнала баронесса! Малесский, Паткевич...

- Ну и что же, - сказал барон, - жене они не докучают, лишь бы платили...

- Но мне они докучают! - взорвался Марушевич. - Стоит мне открыть окно, как они стреляют в меня из трубки горохом, что вовсе не так приятно. А когда у меня собираются гости или приходит какая-нибудь дама (прибавил он тихо), они так барабанят горохом в окна, что усидеть невозможно. Мне это мешает... это меня компрометирует! Я буду жаловаться в полицию...

Разумеется, барон сообщил об этом своим жильцам, прося их больше не стрелять в окна Марушевича. Те прекратили обстрел, зато когда Марушевич принимал у себя даму (что случалось довольно часто), тотчас кто-нибудь из молодых людей высовывался в окно и орал:

- Дворник! Дворник!.. Не знаете, что за дама пошла к пану Марушевичу?

Разумеется, дворник понятия не имел, приходила ли вообще дама, но после такого вопроса весь дом узнавал об этом.

Марушевич бесился, тем более что барон на все его жалобы отвечал:

- Ты сам мне посоветовал их пустить...

Баронесса тоже присмирела, потому что боялась, с одной стороны, мужа, а с другой - студентов.

Таким образом, баронесса понесла кару за свою злобу и мстительность, а Марушевич - за свои интриги, и обоих покарала одна и та же рука, а мой славный Клейн получил соседней по душе. Все-таки есть справедливость на свете!..

.....
Ей-богу, Марушевич совершенный бесстыдник! Сегодня прибежал к Шлангбауму жаловаться на Клейна.

- Послушайте, - говорит, - один из ваших служащих, который проживает в доме баронессы Кшешовской, просто компрометирует меня...

- Как же он вас компрометирует? - спрашивает Шлангбаум, широко раскрывая глаза.

- Он бывает у студентов, которые живут против меня. А они, понимаете ли, заглядывают ко мне в окна, стреляют в меня горохом, а когда у меня собирается несколько человек, орут на весь двор, что у меня игорный притон!..

- С июля пан Клейн у меня уже не служит, - отвечает Шлангбаум. Поговорите лучше с паном Жецким, они давно знакомы.

Марушевич прицепился ко мне и давай опять рассказывать историю про студентов, которые обзывают его шулером и компрометируют навещающих его дам.

"Воображаю, что это за дамы!" - подумал я, а вслух сказал:

- Пан Клейн по целым дням сидит в магазине и не может отвечать за своих соседей.

- Да, но у пана Клейна с ними какие-то делишки! Это он надоумил их опять поселиться у нас в доме, он бывает у них и принимает их у себя.

- Молодого человека тянет к молодежи, - возразил я.

- Да я-то не хочу из-за этого страдать! Пусть он их уймет, или... я на всех на них подам в суд.

Дикое требование: чтобы Клейн унимал студентов, а может, еще расхваливал перед ними Марушевича! Тем не менее я предупредил Клейна и прибавил, что было бы весьма неприятно, если бы он, приказчик Вокульского, оказался причастным к какому-нибудь делу о студенческих беспорядках.

Клейн выслушал меня и пожал плечами.

- Какое это имеет ко мне отношение? Я, может быть, и сам с удовольствием повесил бы этого негодяя, но горох я ему в окно не швырял и шулером не обзывал. Что мне до его шулерских проделок?

Он прав! Поэтому я не сказал ему больше ни слова.

Надо ехать... надо ехать! Только бы Клейн не впутался в какую-нибудь глупую историю. Право, хуже малых детей: хотят весь мир перестроить, а забавляются чепухой!

.....

Или я жестоко ошибаюсь, или мы стоим на пороге чрезвычайных событий.

В мае Вокульский поехал с Ленцкими в Краков и предупредил меня, что не знает, когда вернется, - может быть, только через месяц.

Между тем вернулся он не через месяц, а на следующий день, и такой жалкий, что больно было глядеть на него. Ужас, что сделалось с человеком за одни сутки!

Когда я спросил, что случилось, почему он вернулся, Стах смешался, а потом сказал, что получил телеграмму от Сузина и едет в Москву. Однако на другой день раздумал и заявил, что в Москву не поедет.

- А если дело важное? - спросил я.

Он махнул рукой и пробормотал:

- К черту все дела!

Теперь он по целым дням не выходит из дому и большей частью лежит. Я был у него и нашел

в весьма раздраженном состоянии, а слуга мне сказал, что он не велел никого принимать.

Послал я к нему Шумана, но Стах и с ним не стал разговаривать, только сказал, что не нуждается в докторе. Но Шуман на этом не успокоился; а так как человек он дотошный, то сам принялся за расследование и узнал любопытные вещи.

Он говорит, что Вокульский сошел с поезда около полуночи в Скерневицах под предлогом, что получил телеграмму, потом исчез со станции и вернулся только на рассвете, перепачканный землей и как будто пьяный. На станции полагают, что он действительно выпил и заснул где-то в поле.

Объяснение это не убедило ни меня, ни Шумана. Доктор уверяет, что Стах, по-видимому, порвал с панной Ленцкой и даже, может быть, пытался выкинуть глупость... Но я думаю, что он в самом деле получил телеграмму от Сузина.

Как бы то ни было, а ехать надо, со здоровьем моим плохо. Я еще не инвалид и не вправе из-за кратковременного недомогания отказываться от будущего.

.....

Мрачевский в Варшаве и живет у меня. Раздобрел, как монах, возмужал, загорел. А сколько стран он объездил за последние месяцы!

Был в Париже, потом в Лионе, из Лиона заехал под Ченстохов к пани Ставской и вместе с нею прибыл в Варшаву. Потом отвез ее под Ченстохов, прожил там с недельку и, кажется, помог ей открыть магазин. Затем помчался в Москву, оттуда опять под Ченстохов к пани Ставской, снова погостил у нее и теперь живет у меня.

Мрачевский утверждает, что никакой телеграммы Сузин Вокульскому не посылал, и не сомневается, что Вокульский порвал с панной Ленцкой. Он, по-видимому, обмолвился об этом и пани Ставский, и она (ангел во плоти, а не женщина!), приехав две недели тому назад в Варшаву, навестила меня и все допытывалась про Стаха: "Здоров ли он, сильно ли изменился, грустит ли и неужели так никогда и не перестанет убиваться?.."

Зачем ему убиваться?.. Допустим, он действительно порвал с панной Ленцкой; что ж, на его век, слава богу, женщин хватит; и если только Стах захочет, то может жениться хотя бы на пани Ставской.

Золотая, бриллиантовая женщина! Как она любила его и, кто знает, не любит ли еще и сейчас... Ей-богу, вот бы штука была, если б Стах к ней вернулся. Она так хороша собой, так благородна, так самоотверженна... Если есть какой-то смысл в том, что делается на свете (в чем я иногда сомневаюсь), - Вокульский должен жениться на Ставской.

Но ему следует торопиться, потому что, если не ошибаюсь, о ней серьезно подумывает Мрачевский.

- Дорогой мой! - часто говорит он мне, ломая руки. - Дорогой мой, что это за женщина, что за женщина! Если б не ее злополучный муж, я бы давно уже сделал ей предложение.

- А она бы согласилась?

- Ох, не знаю, - вздохнул он. Бросился на стул, так что сидение затрещало, и говорит:

- Когда я увидел ее впервые после ее отъезда из Варшавы, меня словно громом поразило, до того она мне понравилась...

- Положим, ты и раньше был к ней равнодушен.

- Но не настолько. Приехал я из Парижа в Ченстохов в мечтательном настроении, а она такая бледненькая, глаза такие печальные; я и подумал: "А вдруг выйдет?.." - и давай ухаживать. Но при первых же нежных словах она оборвала меня, а когда я бросился на колени и стал клясться в любви расплакалась. Ах, пан Игнаций, эти слезы... Я совсем голову потерял, ну, совершенно... Черт бы побрал наконец ее мужа, или достать бы хоть денег на развод... Пан Игнаций! Неделя жизни с этой женщиной, и я либо умер бы, либо пришлось бы меня возить в колясочке... Да, дорогой мой... Теперь только я чувствую, как люблю ее.

- А если она любит другого?

- Кого? Уж не Вокульского ли?.. Ха-ха-ха! Кто ж полюбит такого бирюка? Женщине нужно выказывать свои чувства, говорить ей о любви, о страсти, пожимать ручку, а если дается, то и... А разве этот истукан способен на что-либо подобное!.. Гонялся за панной Изабеллой, как легавый за уткой, пока думал, что через нее завяжет отношения с аристократией и что у барышни богатое приданое. А увидел, как обстоят дела, и сбежал в Скерневицах. Нет, сударь, с женщинами так нельзя...

Признаюсь, не понравился мне пыл Мрачевского. Будет он этак падать на колени, скулить да плакать, да, пожалуй, в конце концов и вскружит голову пани Ставской. Вот тогда-то Вокульский пожалеет, потому что, честное слово офицера, это единственная подходящая для него женщина.

Ну, поживем - увидим, а пока что в путь... в путь...

.....

Брррр! Вот так уехал!.. Купил билет до Кракова, сел в вагон на Венском вокзале и - после третьего звонка выскочил.

Не могу ни на минуту расстаться с Варшавой и с магазином... Жить без них не могу...

Вещи свои я получил на вокзале только на следующий день, потому что они уже укатили чуть не в Петрков.

Если всем моим планам суждено так осуществляться, то поздравляю..."

Глава пятнадцатая

Душа в летаргическом сне

Вокульский не выходил из своей комнаты. Лежа или сидя на диване, он машинально вспоминал свое возвращение из Скерневиц.

Около пяти утра он купил в кассе билет первого класса, однако не помнил, сам ли он попросил такой билет, или это решили без него; сел он почему-то в купе второго класса и там видел ксендза, который всю дорогу смотрел в окно, и еще рыжего немца, который, сняв ботинки и положив ноги в грязных носках поперек прохода, спал как убитый. Напротив сидела какая-то старая дама, у которой так болели зубы, что она даже не возмущалась поведением своего разутого соседа.

Вокульский хотел подсчитать, сколько человек в купе, и после долгих усилий сообразил, что без него трое, а с ним четверо. Потом стал раздумывать: почему это три человека и один человек в сумме составляют четыре человека, - и заснул.

Пришел он в себя только в Иерусалимской Аллее, уже на извозчике. Но когда он приехал в Варшаву, кто вынес его чемодан, каким образом он очутился в пролетке - этого он не помнил; впрочем, ему было бы все равно.

У дверей своей квартиры он звонил не менее получаса, хотя было около восьми утра. Наконец лакей ему отпер, заспанный, полуодетый, перепуганный внезапным возвращением барина. Войдя в спальню, Вокульский убедился, что верный слуга спал на его кровати. Однако он не стал его бранить, только велел подать самовар.

Сконфуженный лакей, с которого сон как рукой сняло, поспешно сменил простыни и наволочки, и Вокульский, увидев свежую постель, не стал пить чай, а разделся и лег.

Он проспал до пяти часов дня, а потом, умывшись и одевшись, перешел в гостиную, где машинально опустился в кресло и снова дремал до вечера. Когда на улице зажглись фонари, он велел подать лампу и принести из ресторана бифштекс. Съел его с аппетитом, запил вином и около полуночи снова улегся спать.

На другой день его навестил Жецкий, но долго ли он сидел и о чем они говорили - Вокульский не помнил. Только на следующую ночь ему сквозь сон померещилось, будто он видит встревоженное лицо Жецкого.

Потом он совсем потерял представление о времени, не видел смены дня и ночи, не замечал, быстро или медленно проходят часы. Время его не интересовало, словно оно перестало для него существовать. Он только ощущал пустоту внутри и вокруг себя, ему даже казалось, что его квартира стала как-то просторней.

Однажды ему приснилось, будто он лежит на высоком катафалке, и он начал думать о смерти. Ему представилось, что он непременно умрет от паралича сердца; но это его не пугало и не радовало. Иногда от долгого сидения в кресле у него немели ноги, и он думал, что это уже приближается смерть, и с равнодушным любопытством ждал, скоро ли онемеет и сердце. Эти наблюдения его немного развлекали, но скоро он снова впадал в апатию.

Он приказал никого не принимать; все же доктор Шуман несколько раз навестил его.

При первом визите он пощупал ему пульс и велел показать язык.

- Может быть, английский?.. - спросил Вокульский, но тут же опомнился и вырвал руку.

Шуман пронизательно поглядел ему в глаза.

- Ты нездоров, - сказал он. - Что у тебя болит?

- Ничего. Ты опять взялся за практику?

- А как же? - воскликнул Шуман. - И первый курс провел на самом себе: вылечился от мечтательности.

- Весьма похвально, - ответил Вокульский. - Жецкий что-то говорил мне о твоём выздоровлении.

- Жецкий полоумный... старый романтик... Это вымирающая порода! Тот, кто хочет жить, должен трезво смотреть на мир... А ну-ка, по очереди закрывай глаза. Делай, как я говорю: левый, правый... правый... Положи ногу на ногу...

- Чем ты занимаешься, дорогой мой?

- Осматриваю тебя.

- Вот как! И надеешься что-нибудь высмотреть?

- А как же!

- А потом?
- Буду тебя лечить.
- От фантазерства?
- Нет, от неврастении.

Вокульский усмехнулся и, помолчав, спросил:

- Скажи, а ты можешь вынуть из человека мозг и на его место вложить другой?
- Пока что нет...
- Ну так оставь меня.
- Я могу тебе внушить новые желания...
- Они уже есть у меня. Мне хочется провалиться сквозь землю, глубоко-глубоко... как в колодце заславского замка. И еще мне хочется, чтобы меня засыпало обломками вместе со всем моим богатством, чтобы и следа от меня не осталось. Таковы мои теперешние желания - плод всех предыдущих.
- Романтика! - вскричал Шуман, похлопывая его по плечу. - Ничего, и это пройдет.

Вокульский не отвечал. Он сердился на себя за свою вспышку и удивлялся: с чего вдруг он вдался в откровенность? Глупая откровенность! Кому какое дело до его желаний? Зачем он говорил об этом? Зачем, как бесстыдный нищий, обнажил свои раны?

После ухода доктора он заметил в себе какую-то перемену: прежняя абсолютная апатия сменилась каким-то новым чувством. То была неопределенная боль, сначала едва ощутимая, потом быстро усилившаяся и застывшая в постоянном напряжении. В первый момент она была подобна легкому булавочному уколу, а потом непрерывно стала ощущаться в сердце, как какое-то инородное тело, не крупнее лесного орешка.

Он уже начал жалеть о минувшей апатии, но вспомнил слова Фейхтерслебена. {359}

"Я радовался своему страданию, ибо мне казалось, что я подметил в себе ту плодотворную борьбу, которая порождает и порождает все в нашем мире, где беспрерывно борются бесконечные силы".

- Так что же это такое! - спросил он себя, чувствуя, как в душе его апатия сменяется тупой болью. И тут же ответил: - Ага, это пробуждается сознание...

Постепенно в его мозгу, все еще как будто застланном пеленой, начала вырисовываться картина. Вокульский с любопытством всмотрелся в нее и различил фигуру женщины в объятиях мужчины... Картина сначала поблескивала фосфорическим сиянием, потом порозовела... пожелтела... позеленела... посинела... и, наконец, стала бархатисто-черной. Потом ненадолго исчезла и снова начала появляться во всех цветах поочередно - от фосфорического до черного.

Одновременно усиливалась боль.

"Я страдаю - значит, я существую!" {359} - подумал он и засмеялся.

Так прошло несколько дней: он то всматривался в изменчивые краски картины, то прислушивался к изменчивому течению боли. Временами она совсем исчезала, но потом появлялась вновь, неуловимая, как атом, разрасталась, заполняла собою все сердце, все

существо его, весь мир... и в момент, когда страдание переходило всякие границы, боль опять исчезала, уступая место абсолютному спокойствию и удивлению.

Исподволь в душе его стало зарождаться желание - желание избавиться от этой боли и от этого видения. Оно было как искра, вспыхивающая во мраке ночи. Какая-то слабая надежда блеснула перед Вокульским.

- Интересно, способен ли я еще мыслить? - задал он себе вопрос.

Чтобы проверить себя, он начал вспоминать таблицу умножения, потом множить в уме двузначные числа на однозначные и двузначные на двузначные. Не доверяя себе, он записывал результаты умножения и потом проверял их... Цифры сходились. Вокульский воспрянул духом.

"Я еще не потерял рассудка!" - подумал он с радостью.

Он начал представлять себе расположение своей квартиры, варшавские улицы, Париж... Надежда крепла: он заметил, что не только отчетливо помнит все, но вдобавок упражнения памяти доставляют ему известное облегчение. Чем больше думал он о Париже, чем ярче представлял себе оживленное движение на улицах, здания, рынки, музеи, тем быстрее тускнела фигура женщины в объятиях мужчины...

Он уже стал прохаживаться по квартире, и однажды глаза его остановились на кипе репродукций. То были копии картин Дрезденской и Мюнхенской галерей, "Дон-Кихот" с иллюстрациями Дорэ, Хоггарт...

Он вспомнил, что присужденные к гильотине облегчают себе муку ожидания, просматривая картинки... и с тех пор по целым дням разглядывал иллюстрации. Окончив одну книгу, он брался за другую, третью... и опять возвращался к первой.

Боль притуплялась, видения являлись все реже, крепла надежда...

Чаще всего он просматривал "Дон-Кихота", неизменно производившего на него очень сильное впечатление.

Он вспоминал удивительную историю человека, который долгие годы прожил в атмосфере поэтических вымыслов, - как он сам, сражался с ветряными мельницами - как он сам; был жестоко разбит, так же, как и он, испортил себе жизнь, гонясь за идеалом женщины, так же, как он, и вместо принцессы нашел грязную коровницу - опять-таки как он...

"А все-таки Дон-Кихоту еще повезло, - думал он. - Только на краю могилы он лишился своих иллюзий... А я?.."

Снова и снова просматривая все те же картинки, он привыкал к ним, и его внимание притуплялось. Глядя на Дон-Кихота, Санчо Панса и погонщиков мулов на иллюстрациях Дорэ, на "Бой петухов" и "Улицу джина" Хоггарта, он все чаще видел вагон, подрагивающее стекло, а в нем - неясное отражение Старского и панны Изабеллы...

Тогда он забросил иллюстрации и принялся читать книги, знакомые еще с детства или с того времени, когда он служил у Гопфера. С неизъяснимым волнением освежал он в памяти "Житие св. Женевьевы", "Танненбергскую розу", "Ринальдини"^{361}, "Робинзона Крузо" и, наконец, "Тысячу и одну ночь". Опять ему почудилось, что время и действительность перестали существовать, что его истерзанная душа улетела с земли и блуждает по каким-то зачарованным странам, где сердца исполнены благородства, где подлость не прикрывается лицемерной маской и где царит вечная справедливость, исцеляющая страдания и вознаграждающая обездоленных.

И тут его поразило одно наблюдение. В то время как польская литература внушала ему иллюзии, завершившиеся душевным крахом, - целительный покой он находил лишь в произведениях иностранных литератур.

"Неужели мы действительно народ мечтателей, неужели никогда уже не явится ангел к вифсаидской купели, окруженной болящими?" - с тревогой думал он.

Однажды ему принесли с почты толстый пакет.

"Из Парижа?" - спросил он. "Да, из Парижа". - "Любопытно, что это".

Но любопытство было не настолько сильно, чтобы распечатать конверт и прочесть письмо.

"Какое толстое! И кому, черт возьми, охота столько писать".

Он швырнул конверт на письменный стол и опять погрузился в чтение "Тысячи и одной ночи".

"Что за улада для истерзанного ума - дворцы из драгоценных камней, деревья, цветущие изумрудами и рубинами!.. Магические слова, перед которыми расступаются стены, волшебные лампы, с помощью которых можно сокрушать врагов и в мгновение ока переноситься за сотни верст... А всемогущие чародеи?.. Как жаль, что такое могущество доставалось злым и подлым людям..."

Он откладывал книгу в сторону и, посмеиваясь над собой, начинал мечтать. В грезах он был чародеем, обладающим двумя безделицами: властью над силами природы и способностью становиться невидимым...

- Я думаю, если б мне удалось похозяйничать несколько лет, мир выглядел бы иначе... - произнес он вслух. - Самые большие бездельники превратились бы в Сократов и Платонов...

Тут он взглянул на парижский конверт и вспомнил слова Гейста: "Человечество состоит из змей и тигров, и лишь изредка среди них можно встретить человека... Нынешние бедствия происходят оттого, что великие изобретения попадали без разбора в руки людей и чудовищ... Я такой ошибки не совершу, и если когда-нибудь открою металл легче воздуха, то отдам его только подлинным людям. Пусть они наконец получат оружие в свое исключительное владение, пусть порода их множится и становится могучей..."

- Бесспорно, лучше бы такие вот Охоцкие и Жецкие были в силе, а не Старские и Марушевичи... - пробормотал Вокульский.

"Вот это достойная цель! - мысленно продолжал он. - Будь я моложе... Впрочем... Ведь и у нас попадают люди, и у нас можно бы многое сделать..."

Он опять принялся за сказки "Тысячи и одной ночи", но заметил, что они не увлекают его, как прежде. В сердце заныла прежняя боль, а перед глазами все отчетливее рисовалась фигура панны Изабеллы в объятиях Старского.

Вспомнил он Гейста в деревянных сандалиях, потом его странный дом, обнесенный оградой... И вдруг вообразил, что дом этот служит первой ступенью гигантской лестницы, наверху которой возвышается статуя, теряющаяся в облаках. Она изображала женщину, голова и торс которой были скрыты, и видны были только бронзовые складки ее одежды. На постаменте, на который опирались ее ноги, чернела надпись: "Чистая и неизменная". Он не понимал, что это значит, но чувствовал, как от статуи исходит, наполняя его сердце, какой-то величавый покой. Ему показалось странным, что он, способный испытывать подобные чувства, мог влюбиться в панну Изабеллу, мог сердиться на нее или ревновать к Старскому...

Он вспыхнул от стыда, хотя был один в комнате.

Видение исчезло. Вокульский очнулся. Опять он был только слабым, исстрадавшимся человеком, но в душе его звучал какой-то могучий голос, словно отголосок апрельской грозы, предвещающей своими раскатами весну и возрождение.

Первого июня его навестил Шлангбаум. Он вошел неуверенно, но, присмотревшись к Вокульскому, приободрился.

- Я не навестил тебя раньше, - начал он, - так как знал, что ты прихворнул и не хотел никого видеть. Ну, слава богу, теперь все прошло...

Он ерзал на стуле и украдкой разглядывал комнату: должно быть, полагал, что застанет тут большой беспорядок.

- Ты по делу? - спросил Вокульский.

- Не столько по делу, сколько с предложением. Понимаешь, когда я узнал, что ты болен, мне пришло в голову... Видишь ли, тебе нужно хорошенько отдохнуть, бросить на время все дела, вот мне и пришло в голову - не захочешь ли ты оставить у меня эти сто двадцать тысяч рублей?.. Ты бы без всяких хлопот получал десять процентов.

- Вот как? - заметил Вокульский. - Я своим компаньонам без всяких хлопот для себя платил пятнадцать.

- Но сейчас времена не те... Впрочем, охотно дам тебе пятнадцать, если ты оставишь мне свою фирму...

- Ни фирмы, ни денег, - нетерпеливо отрезал Вокульский. - Фирмы лучше бы и вовсе не было, а деньги... У меня их столько, что хватит с меня дохода с процентных бумаг. Да и того много!

- Значит, ты хочешь забрать свой капитал ко дню святого Яна?

- Могу его оставить тебе до октября, и даже без процентов, при условии, что ты не рассчитаешь служащих, которые пожелают остаться.

- Нелегкое условие, однако...

- Как хочешь.

Оба помолчали.

- А какие у тебя планы насчет Общества по торговле с Россией? - спросил Шлангбаум. - Судя по твоим словам, ты оттуда собираешься уйти?

- Весьма возможно.

Шлангбаум покраснел, хотел что-то прибавить, но не решился.

Поговорили еще несколько минут о посторонних вещах, и Шлангбаум ушел, попрощавшись очень тепло.

"Как видно, он не прочь занять мое место и там, - думал Вокульский. Что ж, пускай... Мир принадлежит тем, кто его завоевывает".

Все же ему показалось нелепым, что Шлангбаум в такую минуту заговорил с ним о собственных делах.

"Все в магазине жалуются на него, говорят, что он задирает нос, притесняет служащих... Правда, и обо мне говорили то же самое..."

Взгляд его снова упал на стол, где уже несколько дней валялось письмо из Парижа. Он взял его, зевнул, но наконец распечатал.

Это было сообщение баронессы, имеющей связи в дипломатическом мире, а также несколько официальных документов. Он просмотрел их и убедился, что это свидетельство о смерти Эрнста Вальтера, иначе - Людвига Ставского, скончавшегося в Алжире.

Вокульский задумался.

"Получи я эти бумаги три месяца тому назад - кто знает, что было бы сейчас... Ставская хороша собой, а главное, благородна... поистине благородна... Может быть, она в самом деле любила меня... Ставская - меня, а я - ту... Какая ирония судьбы!.."

Он бросил бумаги на стол и вспомнил маленькую, чистенькую гостиную, где столько вечеров провел со Ставской и где всегда чувствовал себя так спокойно.

"Ну, вот я и оттолкнул счастье, которое само шло мне в руки. Но можно ли назвать счастьем то, к чему нас не тянет?.. А вдруг она хоть один день терзалась, как я?.. Как жестоко устроен мир, если двое людей, несчастных по одной и той же причине, не могут помочь друг другу".

Документы о кончине Ставского пролежали еще несколько дней, а Вокульский все никак не мог решить, что с ними делать.

Сначала он вовсе не думал о них, но они то и дело попадались ему на глаза, и его стали мучить угрызения совести.

"В конце концов, - говорил он себе, - я выписал их для Ставской значит, нужно их отдать Ставской; но где она?.. Не знаю. А забавная получилась бы история, если бы я сейчас женился на ней... Избавился бы наконец от своего одиночества... Элюня - милый ребенок... Вот и цель в жизни. Только она, пожалуй, не выгадала бы... Что я мог бы ей сказать? Что я болен, что мне нужна сиделка, и потому, сударыня, я имею честь предложить вам пятнадцать тысяч в год? И даже позволяю себя любить, хотя сам... уже по горло сыт любовью?.."

День шел за днем, а Вокульский все еще не придумал, как переслать бумаги Ставской. Надо было узнать, где она живет, написать заказное письмо, отправить на почту... Наконец он вспомнил, что проще всего вызвать Жецкого (с которым он не виделся уже более месяца) и передать документы ему. Но чтобы вызвать Жецкого, надо позвонить лакею, послать его в магазин...

- Э-ээх, оставьте вы меня в покое! - проворчал он и снова погрузился в чтение - на этот раз путешествий. Посетил Соединенные Штаты, Китай... Но бумаги Ставской не давали ему покоя. Он сознавал, что с ними надо что-нибудь предпринять, но чувствовал, что ничего не предпримет.

Такое состояние духа удивляло даже его самого.

- Рассуждаю ведь я правильно, - говорил он себе, - правда, когда мне не мешают воспоминания... Чувствую правильно... Ох, даже чересчур правильно! Только... не хочется заниматься этим делом, как, впрочем, и всякими другими... Итак, у меня модная нынче болезнь воли... Чудное открытие!.. Да ведь я, черт побери, никогда не придерживался моды. А в сущности, какое мне дело - в моде оно или не в моде! Мне так удобно, следовательно...

Уже подходило к концу путешествие по Китаю, когда ему пришло на ум, что, будь у него сильная воля, он мог бы рано или поздно забыть об известных событиях и известных особах.

- А меня это так терзает... так терзает... - простонал он.

Он жил, совершенно потеряв представление о времени.

Однажды к нему ворвался Шуман.

- Ну, что слышно? - спросил он. - Вижу, мы принялись за чтение. Романы - хорошо... путешествия - отлично... Не хочешь ли прогуляться? Прекрасная погода, а ты, верно, за пять недель вдоволь наслаждался своей квартирой...

- Ты своею наслаждался лет десять... - ответил Вокульский.

- Правильно. Но у меня было занятие: я исследовал человеческие волосы и мечтал о славе. А главное - у меня не было на шее забот, своих и чужих. Ведь через две-три недели состоится заседание Общества по торговле с Россией.

- Я выхожу из него...

- Вот так так! Отличная мысль! - насмешливо произнес Шуман. - И вдобавок, чтобы заслужить всеобщую признательность, предложим им в директоры Шлангбаума. Он им покажет, как и мне... Гениальная раса эти евреи, но и сволочи же...

- Ну, ну, ну...

- Уж ты, пожалуйста, не защищай их, - вскинулся Шуман, - я их не просто так знаю, я их вижу насквозь... Голову даю на отсечение, что в настоящую минуту Шлангбаум подкапывается под тебя в твоём Обществе, ручаюсь, что он вотрется туда... Как же иначе, разве польская шляхта могла бы обойтись без еврея?

- Ты, я вижу, недолюбливаешь Шлангбаума?

- Нисколько, я даже восхищаюсь им и охотно бы ему подражал, да, к сожалению, не сумею. А как раз теперь во мне пробуждаются инстинкты моих предков: любовь к коммерческим комбинациям. О, голос крови!

Как бы мне хотелось иметь миллион рублей, чтобы нажать второй миллион, потом третий... и стать младшим братом Ротшильда. Между тем даже такой вот Шлангбаум водит меня за нос... Я так долго вращался в вашем обществе, что в конце концов утратил драгоценнейшие черты своей расы... Но это великая раса! Они завоюют весь мир, и даже не с помощью своего ума, а наглостью и обманом...

- Так порви с ними, крестись...

- И не подумаю. Во-первых, креститься - не значит порвать с ними, да и я из тех жидовских феноменов, что не любят притворяться и врать. Во-вторых, если я не порвал с ними, когда они были слабы, то тем более не порву сейчас, когда они стали сильны.

- Мне кажется, что именно сейчас они слабее, чем прежде, - заметил Вокульский.

- Не потому ли, что их начали ненавидеть?

- Полежим, ненависть - сказано слишком сильно.

- Да перестань ты, я ведь не слеп и не глуп... Знаю, что болтают насчет евреев в мастерских, кабаках, магазинах и даже в газетах... И не сомневаюсь, что в ближайшие годы разразятся новые преследования, после которых мои братья во Израиле станут еще умнее, сильнее и сплоченнее... Ох, когда-нибудь они рассчитаются с вами! Прохвосты они отчаянные, но я вынужден признать их гениальность и не стану отрицать своей к ним симпатии... Последний замызганный еврейчик мне милее самого опрятного барчука; а когда я, впервые за двадцать

лет, зашел в синагогу и услышал песнопения - честное слово, на глаза мои навернулись слезы... Что и говорить! Прекрасен Израиль в торжестве своем, и сладко подумать, что в торжестве угнетенных есть частичка твоей заслуги!

- Шуман, мне кажется, у тебя жар.

- Вокульский, я уверен, что у тебя бельмо, но не на глазу, а на мозгах...

- Как ты можешь говорить при мне подобные вещи?

- Говорю я прежде всего потому, что не хочу быть гадиной, которая жалит исподтишка, а во-вторых... ты, Стах, с нами воевать не будешь... Ты разбит, разбит своими же... Магазин ты продал, из Общества выходишь... Песенка твоя спета.

Вокульский понурился.

- Сам посуди, - продолжал Шуман, - кто остался с тобой? Я, еврей, презираемый и обездоленный, равно как и ты... и по вине тех же людей... по вине великосветских господ...

- Ты становишься сентиментален.

- Это не сентиментальность! Они кичились перед нами своим величием, рекламировали свои добродетели, навязывали нам свои идеалы... А теперь скажи сам: чего стоят их идеалы и добродетели, в чем их величие, которое нуждалось в поддержке твоего кармана? Всего год провел ты с ними, якобы на равноправном положении, и до чего они тебя довели? Посуди же, до чего они должны были довести тех, кого целые столетия угнетали, топтали ногами?.. Потому-то советую тебе: объединись с евреями! Удвоишь состояние и, как гласит Ветхий завет, "узришь врагов у стоп твоих..." Взамен за фирму и несколько теплых слов мы отдадим в твои руки Ленцких, Старских и еще кое-кого в придачу... Шлангбаум не годится тебе в компаньоны, это шут гороховый.

- Допустим, вы перегрызете горло всем этим ясновельможным господам... А дальше что?

- Нам не останется ничего иного, как объединиться с вашим народом, мы станем его интеллигенцией, ибо сейчас у него интеллигенции нет... Мы научим его нашей философии, нашей политике и экономике, и наверняка при нас ему будет лучше, чем при нынешних руководителях... Ну и руководители! рассмеялся он.

Вокульский махнул рукой.

- Сдается мне, что ты, который всех и вся лечишь от расслабляющей мечтательности, сам страдаешь этой болезнью.

- То есть... почему?

- Да потому... У вас у самих нет почвы под ногами, а собираетесь других сваливать с ног... Лучше подумайте о справедливом равноправии, а не о завоевании мира и не беритесь лечить чужие пороки, не избавившись от своих собственных, которые увеличивают число ваших врагов. Впрочем, ты и сам не знаешь, чего хочешь: то презираешь евреев, то переоцениваешь их...

- Я презираю отдельные личности, но массу уважаю.

- А я наоборот: массу презираю, а личности подчас высоко ценю.

Шуман задумался.

- Делай как знаешь, - сказал он, беря шляпу. - Однако факт, что если ты выйдешь из Общества, оно попадет в руки Шлангбаума и его паршивой шайки. Между тем, оставшись там, ты мог бы привлечь к делу людей честных, порядочных, у которых пороков немного, а связи среди евреев огромные.

- Так или сяк, Обществом завладеют евреи.

- С той разницей, что без тебя это сделают евреи синагогального толка, а с твоей помощью - евреи университетского толка.

- Не все ли равно! - пожал плечами Вокульский.

- Отнюдь. Нас с ними связывает общность расы и положения, но разделяет разность воззрений. У нас - наука, у них - талмуд, у нас - ум, у них смекалка; мы немножко космополиты - они хотели бы отгородиться от всего мира и не признают ничего, кроме своей синагоги и кагала. Когда речь идет о борьбе с общим противником, они превосходные союзники, но если дело касается прогресса внутри иудейства... они только страшное бремя! И потому интересы цивилизации требуют, чтобы именно мы могли влиять на коренные вопросы. Они только и сумеют что испакостить мир лапсердаками и чесноком, а не способствовать его совершенствованию... Пораздумай над этим, Стах!..

Он обнял Вокульского и вышел, насвистывая арию: "Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем..."

"Итак, - размышлял Вокульский, - по-видимому, предстоит драка между прогрессивными и реакционными евреями, оспаривающими друг у друга нашу шкуру, и от меня ожидают, что я примкну к одной из сторон... Заманчивая роль!.. Ах, как все это скучно и нудно..."

И он вернулся к своим мечтам. Опять перед ним встали потрескавшиеся стены Гейстова дома и бесконечная лестница, наверху которой возвышалась бронзовая статуя богини с головой, окутанной облаками, и загадочной надписью у подножья: "Чистая и неизменная..."

Он смотрел на складки ее одежды, и на минуту ему стали смешны и панна Изабелла, и ее победоносный поклонник, и собственные терзания.

"Возможно ли?.. возможно ли?.. чтобы я..."

Но статуя вдруг исчезла, а боль вернулась и расположилась в его сердце полновластной хозяйкой.

Через несколько дней после Шумана пришел Жецкий.

Он очень исхудал, опирался на палку и так обессилел, поднимаясь на второй этаж, что упал, задыхаясь, на стул и еле мог говорить.

Вокульский ужаснулся.

- Что с тобой, Игнаций? - воскликнул он.

- Э, пустое... Малость состарился, а малость... Пустое!

- Да ты лечись, дорогой, съезди куда-нибудь...

- Признаюсь тебе, я уже пробовал уехать... Даже сидел уже в вагоне... Но такая тоска меня взяла по Варшаве... по нашему магазину, - прибавил он тише, - что... И-и-и! Куда там!.. Извини, что я пришел сюда...

- Ты еще извиняешься, старина дорогой!.. Я думал, ты на меня сердишься...

- На тебя? - возразил Жецкий, с любовью глядя на Вокульского. - На тебя?.. Ну, да чего там... Меня заставили прийти дела и большая неприятность...

- Неприятность?

- Представь себе, Клейна арестовали...

Вокульский подался назад вместе со стулом.

- Клейна и тех двух... помнишь? Малесского и Паткевича...

- За что?

- Они ведь жили в доме баронессы Кшешовской, ну и, по правде сказать, немножко... допекали... этого... Марушевича... Он из себя вон выходил, а они свое... Наконец он побежал в участок жаловаться... Явилась полиция, произошел какой-то скандал, и всех троих упрятали в тюрьму.

- Дети! Малые дети... - тихо сказал Вокульский.

- И я тоже говорил, - подхватил Жецкий. - Конечно, ничего им не будет, но все-таки неприятность. Марушевич, осел этакий, сам перепугался. Прибежал ко мне, божился, что он тут ни при чем... Я уж не выдержал и говорю ему: "Не сомневаюсь, что вы ни при чем, но несомненно также, что в наше время господь бог жалуется негодяев... По совести, это вам полагалось бы сейчас сидеть за решеткой за подлоги, а не этим сорванцам..." Он даже расплакался. Поклялся, что отныне вступит на праведный путь, а если до сих пор не вступил, то лишь по твоей вине. "Я был преисполнен благороднейших намерений, - говорил он, но пан Вокульский, вместо того чтобы протянуть мне по-дружески руку и поддержать мою готовность к добру, пренебрег мною..."

- Вот честная душа! - рассмеялся Вокульский. - Что еще слышно?

- В городе поговаривают, что ты выходишь из Общества...

- Верно...

- И отдаешь его евреям...

- Позволь, ведь мои компаньоны не подержанное платье, чтобы их можно было отдавать, - рассердился Вокульский. - У них есть деньги, есть головы на плечах... Пусть ищут подходящих людей и сами устраивают свои дела.

- Как же, найдут они! А если б даже нашли - кому довериться, как не евреям? А евреи всерьез заинтересовались этим делом. Дня не проходит, чтобы не заглянул ко мне Шуман или Шлангбаум, и каждый старается меня уговорить, чтобы я после твоего ухода взял на себя руководство Обществом...

- Фактически ты и теперь руководишь им...

Жецкий махнул рукой.

- С помощью твоих замыслов и денег! Но не о том речь... Судя по всему, Шуман принадлежит к одной партии, а Шлангбаум к другой, и оба нуждаются в подставном лице. В разговорах со мною один на другого собак вешает, но вчера я слышал, будто обе их партии готовы прийти к соглашению.

- Умники! - шепнул Вокульский.

- Разочаровался я в них, - продолжал Жецкий. - Как старый купец скажу тебе: все у них держится на бахвальстве, надувательстве и низкопробной дешевке.

- Ну, не слишком-то ругай их, ведь мы сами вырастили их такими...

- Вовсе не мы! - возмущенно воскликнул Жецкий. - Они всюду на один манер. Где только я ни встречал их - в Пеште и Константинополе, в Париже и Лондоне, - принцип у них везде один: "Давай поменьше, бери побольше", - и это как в материальном, так и в духовном смысле. Мишура... одна мишура!

Вокульский встал и зашагал из угла в угол.

- Прав был Шуман, - заметил он, - что вражда к евреям растет, если даже ты...

- Я не чувствую к ним вражды... вообще я уже не вояка... Но ты только погляди, что творится вокруг! Они втираются всюду, открывают магазины, готовы все захватить в свои руки... И стоит одному устроиться повыше, он уже тащит за собой целый легион своих - ничуть не лучше, а даже хуже наших. Увидишь, во что они превратят наш магазин: каких заведут приказчиков, какие товары... И не успели они завладеть магазином, а уже заводят связи с аристократией, осаждают твое Общество...

- Сами мы виноваты, сами! - повторял Вокульский. - Мы не можем запретить кому-либо завоевывать себе лучшее положение, но можем не отступать с занятых позиций.

- А ты сам отступаешь.

- Не по их вине; они со мною обошлись честно.

- Потому что ты был им нужен. Они использовали тебя и твои связи, как ступеньку...

- Ну, ладно, - оборвал Вокульский. - Мы друг друга не переубедим. Да, вот что... Я получил официальное свидетельство о смерти Людвига Ставского.

Жецкий вскочил.

- Мужа пани Элены?.. Где оно? - взволнованно спросил он. - Да ведь это спасение для всех нас!

Вокульский протянул Жецкому документы, и тот схватил их трясущимися руками.

- Царствие ему небесное, и... слава богу! - говорил он, читая. - Ну, милый Стах, теперь уж никаких препятствий... Женись на ней... Ах, если б ты знал, как она тебя любит... Я тотчас же уведомяю бедняжку, а бумаги ты отвези ей сам и... тут же сделай предложение... Я уже вижу, Общество спасено, а может, и магазин уцелеет... Сотни людей, которых ты избавишь от нужды, будут благословлять вас... Что это за женщина... Только с нею ты найдешь наконец покой и счастье...

Вокульский остановился перед ним и покачал головой.

- А она со мной?

- Она любит тебя безумно... Ты даже не представляешь...

- А знает она, кого любит? Разве ты не видишь, что я развалина, и самого худшего вида - развалина духовная... Отравить кому-нибудь счастье я сумею, но дать... Если я могу еще что-нибудь дать людям, то только деньги и труд, и то... не нынешним людям, совсем, совсем

другим...

- Да перестань ты!.. - вскричал Жецкий. - Женись на ней, и сразу тебе все представится в другом свете...

Вокульский грустно улыбнулся.

- Да, жениться... Связать хорошее, невинное существо, злоупотребить благороднейшими чувствами, а душою быть далеко, далеко... А через годик, другой, пожалуй, ее же попрекать тем, что ради нее я отказался от великих замыслов...

- Политика?.. - таинственно шепнул Жецкий.

- Какая там политика!.. Было у меня и время и возможность разочароваться в ней... Есть кое-что поважнее политики.

- Уж не изобретение ли Гейста?

- А ты откуда знаешь?

- От Шумана.

- Ах, правда... Я забыл, что Шуман всегда все знает. Тоже талант...

- И весьма полезный. Все же советую: подумай о пани Ставской, иначе...

- Ты ее отобьешь? - усмехнулся Вокульский. - Отбивай, отбивай. Даю слово, нуждаться вы не будете.

- Тьфу ты... да перестань, право! Свет бы вверх дном перевернулся, если бы такой старый хрыч, как я, помышлял о подобной женщине. Нет, тут есть кое-кто поопаснее... Мрачевский... Просто с ума сходит по ней и уже третий или четвертый раз поехал ее навестить... А женское сердце не камень...

- О... Мрачевский!.. Что, он уже не разыгрывает из себя социалиста?

- Какое! Теперь он говорит, что стоит, мол, человеку отложить первую тысячку да вдобавок познакомиться с такой прелестной женщиной, как всякая политика вылетает вон из головы.

- Бедняга Клейн держался иных взглядов, - заметил Вокульский.

- Ну, что там Клейн, отчаянная башка! Хороший малый, но приказчик никудышный... Мрачевский - вот кто был бриллиант! Красавец, болтал по-французски, а как посматривал на покупательниц, как подкручивал усики... Этот своего не упустит, и вот увидишь, сманит он твою пани Ставскую!

Старик собрался уходить, но в дверях остановился и прибавил:

- Женись на ней, Стах, женись... Осчастливишь женщину, сохранишь торговое общество, а может, и магазин спасешь. Подумаешь, изобретения!.. Я еще понимаю в наше время политические цели, когда с минуты на минуту могут произойти события чрезвычайной важности. Но какие-то летательные машины... Впрочем, может, и они пригодятся? - прибавил он, подумав. - Гм... пожалуй, поступай как хочешь, только скорее решай насчет пани Ставской, потому что, ей-богу, Мрачевский зевать не станет. Он малый не промах! Летательные машины... Фу ты! Впрочем, кто знает... Может быть... может быть, и они на что-нибудь пригодятся!

Вокульский остался один.

"Париж или Варшава? - подумал он. - Там цель возвышенная, но, может статься, недостижимая, тут - несколько сот человек..."

- Которых я видеть не могу!.. - неожиданно вырвалось у него.

Он подошел к окну и постоял, глядя на улицу, просто чтобы прийти в себя. Но все его раздражало: движение экипажей, суета прохожих, их озабоченные или улыбающиеся лица... Более же всего расстраивал его вид женщин. Каждая казалась ему воплощением глупости и притворства.

"Рано или поздно каждая найдет своего Старского, - думал он. - Во всяком случае, каждая его ищет".

Вскоре его снова навестил Шуман.

- Дорогой мой, - смеясь, крикнул доктор еще в дверях, - можешь выгнать меня вон, но я все равно буду донимать тебя визитами...

- Да пожалуйста, приходи почаще! - ответил Вокульский.

- Так ты согласен?.. Чудесно... Наполовину ты вылечился... Однако что значит сильный мозг! Не прошло и двух месяцев тяжелой мизантропии, а ты уже способен снисходить к представителям человеческого рода, да к тому еще в моем лице. Ха-ха-ха!.. Ну, а если бы впустить в твою клетку эту самую шикарную бабочку...

Вокульский побледнел.

- Ну, ну... знаю, что рано... Хотя, вообще говоря, пора бы тебе показаться на люди. Это окончательно бы тебя вылечило. Возьми, например, меня, - разглагольствовал Шуман. - Пока я сидел в четырех стенах, скучно мне было, как черту на колокольне; но чуть только вылез на свет божий, уж к моим услугам тысяча удовольствий. Шлангбаум старается меня обжудить и удивляется с каждым днем все сильнее, убеждаясь, что хоть на вид я прост, а все его ходы наперед угадываю. Он даже начал меня уважать...

- Довольно скромное удовольствие, - заметил Вокульский.

- Погоди! Второе удовольствие доставляют мне мои единоверцы из финансовых кругов; они, видишь ли, вбили себе в голову, будто я обладаю необычайным коммерческим даром, и вместе с тем надеются вести меня на поводу... Воображаю их горькое разочарование, когда выяснится, что мне не хватает ни коммерческой сноровки, ни наивности, пользуясь которой они рассчитывали сделать меня пешкою в своих руках...

- А ты так советовал мне объединиться с ними!

- Это особая статья. Я и нынче советую. Осмотрительный союз с умными евреями никого еще не оставлял в проигрыше, по крайней мере в финансовом смысле. Но одно дело - быть компаньоном, а совсем иное - пешкой, какую меня хотят сделать... Ох, евреи, евреи!.. в лапсердаках или во фраках, но обязательно пройдохи!

- Что, однако же, не мешает тебе обожать их и заключать сделки с Шлангбаумом?

- Это опять-таки особая статья, - возразил Шуман. - Евреи, по-моему, самая гениальная в мире раса, и вдобавок это моя раса, потому-то я восхищаюсь ими и, в массе, люблю их. Что же до сделок с Шлангбаумом... побойся бога, Стах! Умно ли было бы с нашей стороны, если бы мы грызлись друг с другом сейчас, когда надо спасти такое великолепное предприятие, как Общество по торговле с Россией? Ты бросаешь его на произвол судьбы, и оно либо разлетится, либо достанется немцам, то есть в обоих случаях стране будет нанесен ущерб. А

так и для страны будет польза, и для нас...

- Я перестаю тебя понимать, - заметил Вокульский. - Евреи то великая нация, то пройдохи... Шлангбаума следует то выбросить из Общества, то принять... Польза от этого будет то для евреев, то для нашей страны... Совершенная путаница!

- Это у тебя, дорогой мой, мозги набекрень... Никакой путаницы нет, все ясно как день. Единственно кто кое-как движет вперед отечественную промышленность и торговлю, это евреи, и потому каждое их экономическое достижение способствует развитию страны... Понятно?

- Об этом надо бы еще поразмыслить... Ну, а каково твое следующее удовольствие?

- Преогромное. Представь себе, при первой же вести о моих грядущих финансовых успехах меня уже хотят женить... Это меня-то, с моей еврейской мордой и лысиной!..

- Кто?.. на ком?

- Ну конечно, наши знакомые. А на ком?.. На ком угодно! Хоть на христианке, и вдобавок из самого благородного семейства, лишь бы я крестился...

- А ты?..

- Знаешь, я готов попробовать, просто из любопытства. Интересно посмотреть, как молодая, красивая, благовоспитанная христианка из хорошего дома будет мне признаваться в любви... Тут, братец мой, целый миллион удовольствий. Вот бы я позабавился, глядя, как она старается добиться моей руки и сердца! Вот бы позабавился, слушая, как она декламирует о своей жертве на благо семьи, а может, и родины. И, наконец, вот еще развлечение наблюдать, как она станет вознаграждать себя за свою жертву, изменяя мне по старому ли методу, то есть тайком, или по-новому, то есть открыто, и даже, может быть, требуя моего попустительства...

Вокульский за голову схватился.

- Ужасно... - вырвалось у него.

Шуман искоса следил за ним.

- Старый романтик... старый романтик!.. - произнес он. - Ты хватаешься за голову, потому что в твоём расстроенном воображении все еще гнездится химера идеальной любви, женщины с ангельской душой... Такие попадаются не более одной на десяток-значит, у тебя девять шансов против одного, что такой ты не встретишь. А хочешь знать, каково большинство?.. Присмотрись, как люди живут. Либо мужчина, как петух, увивается за десятком кур, либо женщина, как волчица в феврале, приманивает к себе целую стаю одуревших волков или псов... И, скажу тебе, нет ничего унижительнее, чем оказаться в такой стае и попасть в зависимость от волчицы... Тут лишишься и богатства, и здоровья, и сердца, и энергии, а напоследок и рассудка... Стыд и срам тому, кто не способен вырваться из такой грязи.

Вокульский сидел молча, с широко открытыми глазами. Потом тихо сказал:

- Ты прав...

Доктор схватил его за руку и, сильно встряхнув ее, закричал:

- Я прав?.. И ты это говоришь?.. Ну, значит, ты спасен... Да, из тебя еще будет толк. Плюнь на все прошлое: на собственные горести и на чужую подлость... Найди себе какую-нибудь цель, все равно какую, и начинай новую жизнь. Продолжай зарабатывать деньги или делай

замечательные открытия, женись на Ставской или основывай новое торговое общество - только стремись к чему-нибудь и что-нибудь делай. Понятно? И боже тебя упаси прилепиться к женской юбке! Люди с твоей энергией командуют, а не исполняют, руководят, а не идут на поводу... Особа, имевшая возможность выбирать между тобою и Старским и выбравшая Старского, тем самым доказала, что недостойна даже его... Вот мой рецепт, ясно? А теперь будь здоров и оставайся со своими мыслями.

Вокульский не удерживал его.

- Сердишься? - спросил Шуман. - Не удивительно, я выжег тебе основательную язву; а то, что осталось, само пройдет. Ну, будь здоров.

После ухода доктора Вокульский распахнул окно и расстегнул ворот рубашки. Ему было душно, жарко, казалось - вот-вот его хватит удар. Он вспомнил Заславок и обманутого барона, при котором сам играл почти такую же роль, какую Шуман при нем...

Он дал волю воображению, и рядом с видением панны Изабеллы в объятиях Старского ему представилась стая запыхавшихся волков, гоняющихся по снегу за волчицей... И он был тоже среди них!..

Снова он почувствовал нестерпимую боль и в то же время отвращение и гадливость к самому себе.

- Как я был глуп и ничтожен!.. - воскликнул он, хлопнув себя по лбу. Столько видеть, столько слышать и все же пасть так низко... Я... я!.. соперничал со Старским и черт знает с кем еще!

На этот раз он смело вызвал в своей памяти образ панны Изабеллы; смело всматривался в ее точеные черты, пепельные волосы, в глаза, отливающие всеми цветами - от голубого до черного. И ему почудилось, что на ее лице, шее, плечах и груди пятнами выступили следы поцелуев Старского.

"Прав был Шуман, - подумал он, - я действительно выздоровел".

Однако понемногу гнев его остыл, и снова вкрались в сердце сожаление и тоска.

В следующие дни Вокульский уже ничего не читал. Он вел оживленную переписку с Сузиным и много размышлял.

Размышлял о том, что теперь, проведя около двух месяцев взаперти в своем кабинете, он перестал быть человеком и уподобился до известной степени устрице, которая, сидя на одном месте, потребляет без разбора все, что подсунет ей случай.

А ему что дал случай?

Сначала книги; одни открыли ему, что он Дон-Кихот, а другие пробудили в нем влечение к миру чудес, где люди обладают властью над силами природы.

Теперь его не прельщала уже роль Дон-Кихота, ему захотелось обладать властью над силами природы.

По очереди забегали к нему Шлангбаум и Шуман, и от них он узнал, что две еврейские партии ведут между собою борьбу за руководящую роль в Обществе после его ухода. Во всей стране не было никого, кто способен был осуществлять и развивать его замыслы, - никого, кроме евреев, а те выступали во всеоружии кастового нахальства, пронырливости и бессердечия, да еще убеждали его в том, будто его упадок, а их торжество послужат на пользу родине...

И его охватило такое отвращение к торговле, коммерческим обществам и всяким прибылям,

что он сам себе удивлялся: как он мог почти два года заниматься подобными делами?

"Я добивался богатства ради нее... - думал он. - Торговля... Я и торговля!.. И это я нажил свыше полумиллиона рублей за два года, связывался с дельцами, ставил на карту свой труд и жизнь... И выиграл... Да, выиграл. Разве я не понимал, я, идеалист, ученый, что трудом не заработаешь полмиллиона даже за целую жизнь, за три жизни!.. Хорошо, хоть одно утешение оставили мне эти шулерские махинации - сознание, что я не воровал и не жульничал... Видно, бог дураков любит..."

Потом случай (опять случай!) принес ему письмо из Парижа о смерти Ставского, с тех пор мысль о Ставской всякий раз напоминала ему о Гейсте.

"Говоря по правде, я должен бы вернуть обществу этот шулерский выигрыш. Бедность и темнота у нас страшные, и именно эти бедные и темные люди, как человеческий материал, наиболее достойны уважения... А для этого единственный способ - жениться на Ставской. Она, несомненно, не только бы не противилась, но, напротив, всей душой поддерживала бы мои намерения. Ей самой пришлось испытать и тяжелую трудовую жизнь, и бедность, и она поистине великодушна..." Так рассуждал Вокульский, но чувствовал совсем иное: презрение к людям, которых хотел осчастливить. Он чувствовал, что пессимизм Шумана не только поколебал в нем страсть к панне Изабелле, но и отравил его самого. Ему трудно было отделаться от въевшихся в душу слов, что человеческий род состоит либо из кур, зазывающих петуха, либо из волков, гонящихся за волчицей, и что, куда ни посмотришь, девять шансов против одного, что наткнешься на зверя, а не на человека.

- Черт бы его побрал вместе с его лечением! - проворчал Вокульский. И задумался над тем, что говорил Шуман.

Три человека различали в людском роде звериные черты: он сам, Гейст и Шуман. Но он считал, что звери в человеческом образе являются исключением, а человечество в целом состоит из положительных единиц. Гейст утверждал обратное, - для него человеческая толпа была стадом скотов, а отдельные положительные индивиды являлись исключением; однако Гейст верил, что со временем число хороших людей увеличится и они начнут управлять миром, потому-то он десятки лет работал над открытием, которое должно было способствовать этому торжеству. Шуман также утверждал, что огромное большинство людей - звери, но не верил в лучшее будущее и другим не внушал подобной надежды. Он навеки обрекал человеческий род на скотское состояние, причем евреям все же была предназначена почетная роль щук среди карасей.

"Хороша философия", - думал Вокульский.

Однако сам чувствовал, что в его истерзанной душе, словно на свежевспаханном поле, шумановский пессимизм быстро пускает корни. Он замечал, что в нем угасает не только любовь, но и возмущение против панны Изабеллы. Ибо, поскольку весь мир состоит из скотов, нет смысла ни влюбляться в них, ни сердиться, если кто-нибудь оказался скотом, не лучшим и, наверное, не худшим, чем все остальные.

"Дьявольское лечение! - повторял он. - Но, впрочем, может быть, самое радикальное!.. Я катастрофически обанкротился со своими воззрениями; но кто поручится, что и Гейст не ошибается в своих, что не окажется прав Шуман? Жецкий - тварь, Ставская - тварь, Гейст - тварь, я сам - тварь... Идеалы это размалеванные ясли, а в них намалеванная трава, которая никого не насытит. Итак, к чему жертвовать собою, к чему влюбляться? Нужно просто вылечиться, а потом поочередно потчевать себя сочным мясом и красивыми женщинами, запивая то и другое душистым винцом... Иногда что-нибудь почитать или куда-нибудь съездить, послушать концерт - и так дотянуть до старости!"

За неделю до заседания, которое должно было решить судьбу торгового общества, к

Вокульскому зачастили с визитами. Приходили купцы, аристократы, юристы, и все заклинали его не покидать председательский пост и не подвергать опасности организацию, созданную им самим. Вокульский принимал посетителей с таким холодным равнодушием, что у них отпадала охота излагать свои аргументы; он говорил, что устал, болен и потому вынужден выйти из Общества.

Посетители уходили, потеряв надежду, но каждый признавал, что, по-видимому, Вокульский действительно тяжело болен. Он исхудал, отвечал немногословно и резко, а глаза его лихорадочно горели.

- Надорвался от жадности! - говорили купцы.

За несколько дней до окончательного срока Вокульский вызвал своего поверенного и просил его сообщить компаньонам, что, согласно заключенному с ними договору, он изымает свою долю капитала и выбывает из членов Общества. Остальные могут сделать то же самое.

- А деньги? - спросил поверенный.

- Для них уже приготовлены в банке, а у меня свои расчеты с Сузиным.

Поверенный ушел в подавленном состоянии. В тот же день к Вокульскому приехал князь.

- Что я слышу! - начал он, пожимая Вокульскому руку. - Ваш поверенный держится так, словно вы и вправду собираетесь нас покинуть.

- А вы, князь, думали, я шучу?

- Да нет... Просто, я думаю, вы заметили какую-то несообразность в нашем договоре и...

- И торгуюсь, чтобы вынудить вас подписать другой, в силу которого ваши проценты уменьшатся, а мои прибыли возрастут?... - подхватил Вокульский. Нет, князь, я отстраняюсь совершенно серьезно.

- Значит, вы подводите своих компаньонов?

- Почему? Вы сами, господа, заключили со мной соглашение только на год, и сами же требовали такого ведения дела, чтобы в течение месяца по расторжении договора каждый из членов мог изъять свой капитал. Таково было ваше настойчивое требование. Я же отступаю от договора только в том, что возвращу деньги не через месяц, а через час после ликвидации Общества.

Князь упал в кресло.

- Общество останется, но вместо вас в него войдут иудеи... - тихо сказал он.

- Это уж зависит от вас.

- Евреи в нашем Обществе! - вздохнул князь. - Они, чего доброго, даже на заседаниях будут говорить по-еврейски... несчастная наша отчизна! Несчастный язык!

- Ничего страшного, - заметил Вокульский. - Большинство наших компаньонов обычно разговаривали на заседаниях по-французски, и с языком ничего не случилось; так не повредят ему, наверное, и несколько слов по-еврейски.

Князь покраснел.

- Да ведь иудеи, почтеннейший... чуждая раса!.. А как раз сейчас все так восстановлены против них...

- Это ничего не значит. Впрочем, кто вам мешает собрать нужные капиталы, как это сделали евреи, и доверить их не Шлангбауму, а кому-нибудь из купцов христиан?

- Мы не знаем такого, который заслуживал бы доверия.

- А Шлангбаума вы знаете?

- Кроме того, у нас нет достаточно способных людей. Все это приказчики, а не финансисты...

- А я чем был? Тоже приказчиком и даже прислуживал в ресторане, а все же Общество приносило обещанные прибыли.

- Вы исключение...

- Откуда вы знаете, что нет еще таких же исключений за прилавками и в погребках? Поищите.

- Иудеи сами приходят к нам...

- Вот именно! - воскликнул Вокульский. - Евреи приходят к вам или вы приходите к ним, но парвеню из христиан не может к вам даже подступиться, столько помех стоит у него на пути. Я кое-что знаю об этом. Ваши двери так плотно закрыты перед купцом и промышленником, что надо либо бомбардировать их сотнями тысяч рублей, либо пролезать в щель наподобие клопа. Приоткройте двери, и тогда, может быть, сумеете обойтись без евреев.

Князь закрыл лицо руками.

- Ох, пан Вокульский... все, что вы говорите, вполне справедливо, но очень горько, очень жестоко... Однако не об этом речь... Я понимаю ваше озлобление против нас, но... есть ведь обязанности перед Обществом.

- Ну, я не считаю, что исполнял их, получая с моего капитала пятнадцать процентов. И не думаю, что стану худшим гражданином, ограничившись пятью...

- Мы же расходуем эти деньги, - возразил уже несколько обиженно князь. - Мы даем заработок людям...

- И я буду расходовать. Поеду летом в Остенде, на осень в Париж, на зиму в Ниццу...

- Извините! Мы не только за границей поддерживаем людей. Мало ли здешних ремесленников...

- Дождается платы за свой труд по году и дольше, - подхватил Вокульский. - Оба мы, ваше сиятельство, знаем таких покровителей отечественной промышленности даже среди компаньонов нашего Общества...

Князь вскочил с кресла.

- Ну-уу... это уж некрасиво, пан Вокульский! - задыхаясь, сказал он. У нас немало серьезных недостатков, не спорю, немало грехов, но вам-то жаловаться на нас не приходится... Вы всегда пользовались нашей поддержкой... уважением!

- Уважением! - рассмеялся Вокульский. - Неужели вы думаете, князь, я не понимал, чего стоило это уважение и какое место было мне отведено среди вас?.. Пан Шастальский, пан Нивинский и... даже пан Старский, всю жизнь бездельничавший и неизвестно откуда бравший деньги, - все они пользовались у вас во сто крат большим уважением, чем я. Да что я говорю! Любой проходимец, будь он только иностранцем, без труда проникал в ваши гостиные, а мне

пришлось брать их приступом, пуская в ход... да хотя бы те же пятнадцать процентов от вверенных мне капиталов!.. Вот кто пользовался вашим уважением и несравненно большими привилегиями, чем я... В то время как каждый из перечисленных господ в подметки не годится моему швейцару, потому что тот занимается делом и по крайней мере не разлагает общество...

- Пан Вокульский, вы к нам несправедливы... Я понимаю, что вы имеете в виду, и стыжусь, честное слово... Но мы не отвечаем за проступки отдельных личностей...

- Нет, все вы отвечаете, потому что личности эти росли среди вас, а то, что вы, князь, называете проступком, является лишь плодом ваших воззрений, вашего неуважения ко всякому труду и ко всяким обязанностям...

- В вас говорит обида, - запротестовал князь и собрался уходить. Обида понятная, но, пожалуй, неправильно адресованная... Прощайте. Итак, вы отдаете нас на съедение иудеям?

- Надеюсь, вы с ними сговоритесь легче, чем с нами, - насмешливо ответил Вокульский.

У князя на глазах показались слезы.

- Я думал, - взволнованно произнес он, - вы послужите золотым мостом между нами и теми, что... все дальше отходят от нас.

- Я готов был служить мостом, но его подпилили, и он рухнул... ответил Вокульский, кланяясь.

- Значит, мы снова возвращаемся в окопы святой троицы?..

- Это еще не окопы, а пока лишь торговое соглашение с евреями...

- И это говорите вы? - спросил князь, бледнея. - В таком случае, я... в этом Обществе не останусь... О, наша несчастная отчизна!

Он кивнул Вокульскому и ушел.

Наконец состоялось заседание, решившее судьбу Общества по торговле с Россией.

Прежде всего правление, организованное Вокульским, представило отчет за истекший год. Оказалось, что оборот раз в пятнадцать превышал капитал, принесший не пятнадцать, а восемнадцать процентов прибыли. Члены Общества были растроганы этим сообщением и, по предложению князя, поднялись с мест, выражая свою благодарность правлению и отсутствующему Вокульскому.

Потом встал поверенный Вокульского и заявил, что его клиент по состоянию здоровья устраняется от участия не только в правлении, но и в Обществе. Все давно были подготовлены к этому известию, тем не менее оно произвело угнетающее впечатление.

Воспользовавшись паузой, князь попросил слова и уведомил собравшихся, что вследствие ухода Вокульского он также выбывает из Общества. Сообщив это, он немедленно покинул зал заседания, а уходя, сказал одному из своих приятелей:

- Я никогда не обладал коммерческими способностями, а Вокульский единственный человек, которому я мог доверить честь своего имени. Раз его нет, так и мне здесь нечего делать.

- А дивиденды?.. - тихо спросил приятель.

Князь взглянул на него свысока.

- То, что мною сделано, я делал не ради дивидендов, а ради нашей несчастной отчизны. Я хотел влить в нашу среду немного свежей крови и свежих воззрений; однако, должен признаться, я проиграл, и отнюдь не по вине Вокульского... Бедная наша отчизна!

Уход князя, при всей его неожиданности, не произвел особенного впечатления, ибо присутствующие уже были предупреждены, что так или иначе, а Общество не распадется.

Затем выступил один из юристов и дрожащим голосом произнес весьма прочувственную речь, в коей возвестил, что с уходом Вокульского Общество теряет не только руководителя, но и пять шестых капитала. "Можно было ожидать, что оно рухнет, засыпав обломками всю страну, тысячи служащих, сотни семейств..." Тут оратор остановился, рассчитывая на ошеломляющий эффект. Но собравшиеся приняли его слова с полным равнодушием, заранее зная, что последует дальше.

Юрист заговорил снова, призывая присутствующих не падать духом, "ибо нашелся доблестный гражданин, человек с коммерческим опытом и даже друг и компаньон Вокульского, который готов поддержать пошатнувшееся Общество, как Атлас поддержал небо. Сей муж, жаждущий утереть слезы тысячам людей, спасти от разорения отчизну и повести нашу торговлю по новым путям..."

При этих словах все головы повернулись к тому месту, где сидел потный и красный Шлангбаум.

- Сей муж, - вскричал юрист, - это...

- Мой сын Генричек... - откликнулся из угла чей-то голос.

Такого эффекта никто не ожидал, и зал разразился хохотом. Тем не менее члены правления притворились, будто они приятно изумлены, и обратились к собранию с вопросом: угодно ли ему принять пана Шлангбаума в качестве компаньона и руководителя? И, получив единодушное согласие, пригласили нового руководителя на председательское место.

Тут опять произошло небольшое замешательство: немедленно потребовал слова Шлангбаум-отец и, произнеся несколько похвал в адрес сына и членов правления, заявил, что Общество впредь не может гарантировать более десяти процентов годового дохода.

Поднялся шум, выступило человек пятнадцать, и после весьма оживленных прений было вынесено постановление о приеме новых членов, рекомендованных паном Шлангбаумом, а также о передаче руководства делами Общества тому же пану Шлангбауму.

Последним эпизодом явилась речь доктора Шумана, который, получив приглашение вступить в члены правления, не только отказался от столь почетного поста, но даже позволил себе язвительно подшутить над объединением аристократов с евреями.

- Это нечто вроде внебрачной связи, - сказал он. - Но, поскольку иногда от такого сожительства рождаются гениальные дети, будем надеяться, что и наше объединение даст какие-нибудь редкостные плоды...

Члены правления забеспокоились, кое-кто из собравшихся возмутился, но большинство наградило оратора шумными аплодисментами.

Вокульский знал о ходе заседания во всех подробностях; с неделю еще он не мог отделаться от посетителей и писем, подписанных и анонимных.

Благодаря этим обстоятельствам он испытал новое, странное состояние духа. Словно

оборвались все нити, связывавшие его с людьми, и они стали ему безразличны и безразлично стало все, что их интересует. Он чувствовал себя актером, который, окончив свою роль и сойдя со сцены, где минуту назад смеялся, сердился и плакал, теперь сидит среди зрителей и смотрит на игру своих товарищей, как на ребяческую забаву.

"Чего они мечтают?.. Как это глупо..." - думал он. Ему казалось, будто он смотрит на мир откуда-то извне, и дела человеческие представлялись ему с какой-то новой, неожиданной стороны.

В первые дни ему не давали покоя компаньоны, служащие и клиенты Общества, недовольные правлением Шлангбаума, а может быть, и опасавшиеся за собственную судьбу. Они уговаривали его вернуться и занять оставленный пост, пока еще не поздно и пока договор с Шлангбаумом не подписан.

При этом многие рисовали свое положение в самых мрачных красках, иные плакали, и Вокульский на минуту жалел их. Но вместе с тем он обнаружил в себе такую черствость и равнодушие к людскому горю, что сам удивился.

"Что-то умерло во мне..." - думал он, наотрез отказывая просителям.

Потом хлынула новая волна посетителей; эти приходили якобы поблагодарить за оказанные им услуги, а в действительности желали удовлетворить свое любопытство и посмотреть, как выглядит этот некогда сильный человек, о котором теперь шла молва, будто он совсем опустился.

Эти не упрашивали Вокульского вернуться в Общество, ограничиваясь похвалами его прошлой деятельности и уверениями, что не скоро найдется деятель подобного масштаба.

Третья волна гостей навещала его и вовсе не известно зачем. Они даже не расточали ему комплиментов, а все чаще упоминали об энергии и способностях Шлангбаума.

Среди множества посетителей только возчик Высоцкий вел себя иначе. Он пришел проститься со своим прежним работодателем, хотел было что-то сказать, но вдруг расплакался, поцеловал ему обе руки и выбежал вон.

Примерно то же повторялось и в письмах от знакомых и незнакомых лиц. Одни заклинали его не отстраняться от дел, ибо уход его явится бедствием для страны; другие расхваливали его прошлую деятельность или выражали сожаление по поводу его ухода; третьи советовали ему объединиться с Шлангбаумом как с человеком способным и полезным Обществу. Зато в анонимных письмах его поносили самым бесцеремонным образом, упрекая в том, что в прошлом году он погубил отечественную промышленность, ввозя заграничные ткани, а сейчас губит торговлю, продавая ее евреям. Указывали даже полученную им сумму.

Вокульский размышлял обо всем этом совершенно спокойно. Ему казалось, что он покойник, вззирающий на собственные похороны; он видел людей, которые его хвалили, сожалели о нем или злословили; видел того, кто занял его место и к кому уже обращались общие симпатии, и, наконец, понял, что он уже забыт и никому не нужен. Так камень, брошенный в воду, на минуту возмущает ее покой; потом поднятая им рябь становится все меньше, меньше... пока не уляжется совсем. И снова над местом его падения образуется зеркальная гладь, которую могут всколыхнуть новые волны, но уже поднятые в других местах кем-то другим.

Он вспомнил совет Шумана - найти себе какую-нибудь цель в жизни. Совет хороший, но... как исполнить его, если он не испытывает никаких желаний, если у него нет ни сил, ни охоты?.. Он словно высохший лист, готовый лететь туда, куда его понесет ветер.

"Когда-то мне казалось, что я испытывал подобное состояние, - думал он, - но теперь вижу,

что понятия о нем не имел..."

Однажды он услышал громкие пререкания в передней. Выглянув, он увидел Венгелека, которого лакей не хотел впускать.

- Ах, это ты? - сказал Вокульский. - Входи же... Что у вас слышно?

Венгелек сначала тревожно приглядывался к нему, потом понемногу повеселел и приободрился.

- Говорили про вас, будто вы уж на ладан дышите, - начал он, улыбаясь, - а я вижу, что все это враки. Похудеть-то вы похудели, но на тот свет вам еще рано...

- Что же слышно? - повторил Вокульский.

Венгелек пространно рассказал, что уже обзавелся домом, куда лучше того, который сгорел, и что от заказчиков просто отбоя нет. Он и в Варшаву приехал материал закупить да нанять двух работников.

- Впору фабрику закладывать, ваша милость, - похвалился он под конец.

Вокульский молча слушал и вдруг спросил:

- А с женою ты счастливо живешь?

По лицу Венгелека скользнула тень.

- Женщина она хорошая, только... Ну, да перед вами, как перед господом богом... Не то уже теперь между нами... Правду говорят: чего глаза не видят, то и сердце не томит, а как увидят...

Он утер рукавом слезы.

- Да что случилось? - удивился Вокульский.

- Ничего. Знал ведь, кого беру, но беспокоиться не беспокоился: женщина она хорошая, смиренная, работящая и ко мне привязалась, как собачонка... Ну, а что с того... Был я спокоен, пока не увидел ее соблазнителя или как там...

- Где?..

- Да в Заславе же, ваша милость. Раз в воскресенье пошли мы с Марысей к замку; хотел я показать ей ручей, где кузнец погиб, и камень, на котором ваша милость велела надпись вырезать. Вдруг вижу - коляска барона Дальского, что женились на внучке покойной барыни из Заслава... Хорошая была барыня, царствие ей небесное...

- Ты знаешь барона?

- А как же? Ведь барон теперь управляет именьями покойницы, чего-то там никак не уладят. А я уже при нем оклеивал комнаты и чинил рамы. Знаю его... Старательный барин и щедрый...

- Что же дальше?

- Стоим, значит, мы с Марысей около замка и смотрим на ручей, а тут откуда ни возьмись лезут на развалины двое - баронесса, внучка покойницы то есть, и этот сукин сын Старский...

Вокульский вздрогнул.

- Кто? - еле слышно переспросил он.

- Да Старский, тоже внук покойной заславской барыни; при жизни-то он все подлизывался к ней, а теперь не желает ее завещание признавать дескать, бабка перед смертью умом тронулась... Вот он каков!

С минуту помолчав, Венгелек продолжал.

- Стоят себе с баронессой под ручку, смотрят на наш камень, а больше между собой переговариваются, хи-хи да ха-ха. Потом вижу, Старский смотрит в нашу сторону. Увидел мою жену и этак ей усмехнулся, а она чего-то побелела как полотно... "Ты что, Марыся?" - говорю ей. А она: "Ничего..." А баронесса с басурманом этим сбежали с горки и пошли в орешник. "Ты что?.. - говорю я опять Марысе. - Выкладывай все как есть, я и так смекнул, что ты с этим стервецом путалась..." А она села на землю и давай реветь: "Накажи его бог! - говорит. - Ведь это он первый меня погубил..."

Вокульский закрыл глаза. Венгелек продолжал с волнением:

- Как услышал я это, ваша милость, так, думаю, догоню его сейчас и не посмотрю ни на какую баронессу - ногами затопчу насмерть. Такая меня обида взяла! Но тут же сам рассудил: "А зачем ты, дурак, женился на ней?.. Знал ведь, каковская она..." И в эту минуту сердце у меня так и зашлось - с горки даже ступить боюсь, а на жену и не глянул. Она говорит: "Ты сердисься?.." А я: "Тут вы небось тоже встречались?" - "Бог мне свидетель, - она отвечает, после того я его больше и не видала..." - "Хорошо же вы друг к дружке присмотрелись! - говорю я. - Глаза бы мои на тебя не глядели... Лучше б я сдох, раньше чем тебя встретил..." А она ревя ревет: "За что же ты сердисься..." Я ей тогда сказал, в первый и последний раз: "Свинья ты, и больше ничего!.." - потому что сердце мое не стерпело.

Тут, смотрю, бежит сам барон; закашлялся, аж посинел весь, и спрашивает: "Не видал ли ты, Венгелек, моей жены?.." Меня словно бес толкнул, я и брякни ему: "Видал, ваша милость, пошла в кусты с паном Старским. Видно, у него денег-то не хватает на девок, так принялся за барынек!.." А он как глянет на меня, даром что барон...

Венгелек украдкой вытер глаза.

- Вот такая моя жизнь, ваша милость. Жил я себе спокойно, пока не увидел ее соблазителя; а теперь, кого ни встречу, все мне думается, может и этот мне родня... А от жены, хоть я ей ни слова не говорю, меня так и воротит... так и воротит, ну словно что стоит между нами. Даже поцеловать ее, как бывало, не могу. И кабы не дал я обета перед алтарем, давно бы все бросил и ушел бы куда глаза глядят... А все через мою к ней слабость. Сами посудите: не люби я ее, так мне что?.. Хозяйка она домовитая, и стряпать и шить мастерица, сама смиренная, ее и не слышно в доме. Заводила бы себе дружков любезных на здоровье. Да ведь я ее любил, оттого мне и горько, оттого и злоблюсь на нее так, что все внутри у меня горит...

Венгелек дрожал от гнева.

- Вначале, как мы поженились, ваша милость, я все ждал: вот пойдут дети... А теперь меня страх берет: а ну как вместо своего увижу я прижитого невесть с кем? Уж известное дело: стоит легавой суке хоть раз оцнить от дворового пса, так потом подавай ей хоть самых распородистых, все равно в щенках скажется кровь дворяниги - видать, оттого, что на него заглядывалась...

- Мне надо уходить, - внезапно перебил его Вокульский. - До свиданья... А перед отъездом зайди ко мне, хорошо?..

Венгелек простился с ним очень сердечно, а в передней сказал лакею:

- Точит что-то вашего барина, точит... сперва-то я думал, он здоров, хоть и осунулся, а видно, и впрямь неладно с ним... Храни вас господь бог...

- Говорил я тебе, не лезь к барину и лишнего не болтай, - мрачно ответил лакей, выпроваживая Венгелека за дверь.

Оставшись один, Вокульский впал в глубокое раздумье.

- Они стояли против моего камня и смеялись! - бормотал он. - Даже камень ему надо было осквернить, ни в чем не повинный камень!

На мгновение ему показалось, что он нашел наконец новую цель в жизни, и остается только выбрать, что лучше: пристрелить Старского, как собаку, предварительно прочитав ему список его жертв, или, может быть, оставить его в живых, доведя до крайней степени нищеты и унижения?

Но, остыв, он рассудил, что было бы ребячеством и даже пошлостью лишаться состояния, работы и душевного покоя ради мести такому ничтожеству.

"Лучше уж заняться истреблением полевых мышей или тараканов, потому что это подлинный бич, а Старский... черт его знает, что он такое!.. Да и немыслимо, чтобы такой ограниченный человек мог быть единственной причиной стольких несчастий. Он - только искра, поджигающая уже подготовленный материал..."

Вокульский растянулся на кушетке и продолжал размышлять.

"Он поступил со мной подло... а почему?.. Да потому, что нашел достойную сообщницу, а второй сообщницей была моя глупость. Как можно было сразу не разгадать такую женщину и сделать ее своим кумиром только потому, что она разыгрывала высшее существо?.. Он и с Дальским подло поступил, но кто ж виноват, что барон на старости лет без памяти влюбился в особу, моральные качества которой были видны как на ладони?.. Причиной таких катастроф являются не Старские и им подобные, а в первую очередь - глупость их жертв. И, наконец, ни Старский, ни панна Изабелла, ни пани Эвелина не свалились с луны, они выросли в определенной среде, эпохе, в атмосфере определенных понятий... Они - словно сыпь, которая сама по себе не является болезнью, но служит симптомом заражения общественного организма. Какой же смысл им мстить или истреблять их?"

В тот вечер Вокульский впервые вышел на улицу и убедился, что он ослабел, как ребенок. От грохота пролеток и мелькания прохожих голова у него кружилась, и он просто боялся далеко уходить от дома. Ему казалось, что он не доберется до Нового Свята, не попадет обратно или ни с того ни с сего выкинет какую-нибудь глупость. А больше всего он опасался встретить знакомых.

Домой он вернулся усталый и возбужденный, но спал в эту ночь хорошо.

Через неделю после посещения Венгелека пришел к нему Охоцкий. Он возмужал, загорел и стал похож на молодого помещика.

- Откуда это вы? - спросил Вокульский.

- Прямо из Заславека, где просидел почти два месяца, - ответил Охоцкий. - Да ну их ко всем чертям! Вот ведь ввязался я в историю.

- Вы?

- Я, голубчик мой, я. И вдобавок за чужие грехи! У вас волосы встанут дыбом...

Он закурил и продолжал:

- Не знаю, дошло ли до вас, что покойная председательша завещала все свое состояние, кроме незначительной части, благотворительным учреждениям: больницам, приютам для подкидышей, начальным школам, сельским лавкам и так далее... А князь, Дальский и я назначены ее душеприказчиками. Отлично... Приступаем мы к делу, вернее хлопочем об утверждении завещания, как вдруг (примерно месяц назад) возвращается из Кракова Старский и заявляет нам, что от имени обойденных родственников подает в суд о непризнании завещания. Разумеется, и князь и я слышать об этом не хотим, но барон под влиянием жены, которую подстрекает Старский, начинает поддаваться... Мы даже по этому поводу с ним несколько раз крупно поговорили, а князь просто порвал с ним отношения.

- Тем временем что же происходит? - продолжал Охоцкий, понизив голос. Однажды, в воскресенье, барон с женой и со Старским отправились в Заслав на прогулку. Что там у них вышло - неизвестно, но результат был следующий. Барон самым категорическим образом заявил, что оспаривать завещание не позволит. Но это еще не все... Тот же барон решительно разводится со своей обожаемой супругой (вы слышите?)... Но и это еще не все: десять дней назад барон стрелялся со Старским, и тот оцарапал ему пулей ребра... Представляете, как будто ему крючком разодрали кожу справа налево через всю грудь... Старикашка злится, шумит, ругается, кипит, а жене приказал тотчас же отправляться к своим родным; я уверен, что он больше ее на порог не пустит. Упрямый старик! И до того вошел в раж, что, больной, лежа в постели, велел цирюльнику, назло баронессе, покрасить ему волосы и бородку и теперь выглядит, как труп двадцатилетнего юноши...

Вокульский улыбнулся.

- С барынькой он поступил правильно, но волосы покрасил напрасно.

- Ну, и дал себя продырявить тоже напрасно, - заметил Охоцкий. - А ведь чуть было не угодил Старскому в лоб! Пуля дура! Поверите ли, я даже расхворался от огорчения.

- Где же теперь этот герой?

- Старский?.. Махнул за границу, и не столько из-за афронтов, которые начали сыпаться на него, сколько из-за кредиторов. Голубчик мой, это виртуоз!.. Ведь у него долгов тысяч сто!..

Наступила долгая пауза. Вокульский сидел спиной к окну, опустив голову. Охоцкий тихо насвистывал, думая о чем-то своем; вдруг он встрепенулся и заговорил, как бы с самим собой:

- Что за удивительная путаница - человеческая жизнь! Кому бы пришло в голову, что такое дрянцо, как Старский, может сделать столько добра... именно потому, что он дрянцо?

Вокульский поднял голову и вопросительно поглядел на Охоцкого.

- Не правда ли, удивительно? - продолжал тот. - А ведь так оно и есть. Будь Старский человеком порядочным и не заведи он шашней с баронессой, Дальский непременно поддержал бы его претензии насчет завещания, мало того снабдил бы его деньгами на ведение процесса, благо на этом выиграла бы и его супруга. Но так как Старский дрянцо и напакостил барону... воля покойницы соблюдена. И вот еще даже не родившиеся поколения Заславских крестьян должны благословлять имя Старского за то, что он любезничал с баронессой.

- Парадокс! - заметил Вокульский.

- Парадокс?.. Да ведь это факты... А вы считаете, что Старский не оказал услугу барону,

избавив его от подобной женщины?.. Между нами говоря, у этой женщины мозг лягушки. Голова у нее забита лишь нарядами, развлечениями и кокетством; не знаю, прочла ли она хоть одну книжку, интересовалась ли хоть чем-нибудь стоящим... Просто кусок мяса с костями, который выдает свой желудок за душу. Вы ее не знали, вы не представляете себе, что это за автомат, в этом подобии человека нет ничего человеческого. Раскусив ее наконец, барон все равно что выиграл в лотерею!

- Боже мой! - вырвалось у Вокульского.

- Что вы сказали? - переспросил Охоцкий.

- Нет, ничего.

- Однако то, что Старский спас завещание покойной председательши и избавил барона от подобной жены, составляет лишь малую часть его заслуг...

Вокульский замер в кресле.

- Вообразите, что благодаря распутству этого дрянного субъекта может произойти событие поистине огромной важности, - продолжал Охоцкий. - Дело вот в чем. Я не раз намекал Дальскому, - как, впрочем, и каждому, у кого есть деньги, - что следовало бы основать в Варшаве опытную лабораторию химической и механической технологии. Понимаете ли, у нас не делают открытий прежде всего из-за того, что делать-то их негде. Разумеется, барон все мои рассуждения в одно ухо впускал, а из другого выпускал. Но, как видно, в мозгу у него кое-что застряло; и вот, после того как Старский пощекотал ему сердце и ребра, мой барон принялся раздумывать, как бы лишиться наследства свою супругу, и по целым дням беседовал со мной о технологической лаборатории: а зачем она нужна? и действительно ли люди станут лучше и умнее, если им устроить лабораторию? а во сколько она обойдется? и не возьмусь ли я организовать ее?.. К моему отъезду дело обстояло так: барон вызвал нотариуса и составил какой-то акт, - насколько могу судить по намекам барона, именно насчет лаборатории. К тому же Дальский просил меня подыскать ему специалистов, которые могли бы руководить таким предприятием. Ну, вот и судите: разве не насмешка судьбы, что Старский - этакая мразь, этакая разновидность публичного мужчины для ублажения скучающих барынь, этакий пшют - положил начало технологической лаборатории!.. Пусть-ка мне теперь докажут, что в мире есть что-нибудь ненужное!

Вокульский отер пот со лба. По сравнению с белым платком лицо его казалось пепельно-серым.

- Может быть, я утомил вас? - спохватился Охоцкий.

- Ничего, говорите... Хотя... мне кажется вы несколько переоцениваете заслуги этого... господина и уж совсем забываете о...

- О чем?

- ...о том, что технологическая лаборатория вырастет на муках, на обломках человеческого счастья. И вы даже не задаетесь вопросом: какой путь прошел барон от супружеской любви до... технологической лаборатории!..

- А мне-то какое дело! - вскричал Охоцкий, замахав руками. - Достигнуть общественного прогресса ценою пусть даже мучительнейших страданий отдельной личности - ей-богу, это дешево!

- А известно ли вам по крайней мере, что такое страдания отдельной личности?

- Известно, известно! Мне вырывали без хлороформа ноготь на ноге, и вдобавок на большом

пальце...

- Ноготь? - задумчиво повторил Вокульский. - А знакомо ли вам старое изречение: "Иногда дух человеческий раздвигается надвое и борется с самим собой?.." Кто знает, не мучительнее ли это, чем когда удаляют ноготь или даже всю кожу сдирают!

- Э-э-э-э... это уж какая-то не мужская боль! - возразил Охоцкий, поморщившись. - Может быть, женщины и испытывают нечто подобное при родах... но мужчина...

Вокульский расхохотался.

- Вы надо мной смеетесь? - вспыхнул Охоцкий.

- Нет, над бароном... Почему же вы не взялись за организацию лаборатории?

- Еще чего не хватало! Я предпочитаю поехать в уже существующую лабораторию. Пока еще создашь новую, толку от нее вряд ли дождешься, а силы свои растратишь. Тут нужно иметь административные и педагогические способности и отнюдь не помышлять о летательных машинах...

- Итак?

- Что "итак"? Мне бы только получить мой капиталец, - он уже три года, как вложен в ипотеку, и я никак не могу добиться наличных, - а там сразу махну за границу и возьмусь всерьез за работу. Здесь можно не только разлентиться, но вдобавок поглупеть и заплесневеть...

- Работать можно везде.

- Чепуха! - возразил Охоцкий. - Не говоря уже об отсутствии лабораторий, здесь прежде всего нет соответствующей атмосферы для научной работы. Это город карьеристов, где серьезный исследователь слывет неотесанным мужланом или сумасшедшим. Здесь учатся не ради знаний, а ради чинов; а чины и репутацию получают с помощью связей, женщин, раутов и бог весть чего... Я уже окунался в это болотце. Видел подлинных ученых, даже людей с талантом - и что же? Талантам этим не дали развиваться, и пришлось им заниматься уроками или строчить популярные статейки, которых и читать-то никто не станет, а если прочтает, все равно ничего не поймет. Беседовал я с крупными промышленниками - думал, уговорю их оказать поддержку науке хотя бы ради изобретений в области прикладных наук. И что обнаружилось?.. Они столько же смыслят в науке, сколько гусь в логарифмах. А знаете, какие им нужны изобретения?.. Только два: одно - как увеличивать дивиденды, а другое - как составлять торговые обязательства, чтобы надуть заказчика на цене или качестве. Ведь пока они думали, что вы их всех обжулите в Обществе по торговле с Россией, вас называли гением; а сейчас, когда вы заплатили своим компаньонам на три процента больше обещанного, говорят, что у вас размягчение мозга.

- Я знаю, - подтвердил Вокульский.

- Вот и подите работайте с такими людьми на научном поприще! С голоду помрешь либо вконец отупеешь. Зато если умеешь танцевать, играть на каком-нибудь инструменте или выступать в любительских спектаклях, а главное - развлекать дам, - о-о-о!.. тогда быстро пойдешь в гору. Тотчас же объявят тебя знаменитостью и предоставят пост, на котором будешь получать раз в десять больше того, что стоят твои труды. Рауты и дамы, дамы и рауты... А так как я не лакей, чтобы с ног сбиваться, бегая по раутам, а дам считаю существами весьма полезными, но только для деторождения, - уберусь-ка я лучше отсюда хотя бы в Цюрих.

- А не хотели бы вы поехать к Гейсту? - спросил Вокульский.

Охоцкий задумался.

- Там нужны сотни тысяч, а у меня их нет, - ответил он. - Да если бы и были, я бы хотел раньше проверить, что это такое на самом деле. Мне уменьшение удельного веса тел кажется просто сказкой.

- Я ведь показывал вам пластинку, - возразил Вокульский.

- Ага, верно... Ну-ка, покажите еще раз. Лицо Вокульского на миг вспыхнуло болезненным румянцем.

- У меня ее нет, - ответил он глухо.

- Куда ж она делась? - удивился Охоцкий.

- Неважно... Допустим, упала в канаву... Ну а будь у вас деньги поехали бы вы к Гейсту?..

- Разумеется, и прежде всего, чтобы проверить это явление. Вы меня простите, но все, что я знаю о химических веществах, несовместимо с теорией изменяемости удельного веса дальше определенной границы.

Больше говорить было не о чем, и вскоре Охоцкий простился.

Беседа с Охоцким направила мысли Вокульского в новое русло.

Он почувствовал не только охоту, но просто непреодолимое желание вспомнить химические опыты и в тот же день побежал покупать реторты, пробирки, мензурки и всевозможные реактивы.

Поглощенный своей задачей, он смело вышел на улицу и даже взял извозчика; на людей смотрел равнодушно и без всякого неприятного чувства заметил, что одни с любопытством поглядывают на него, другие не узнают, а кое-кто при виде его злорадно улыбается.

Но в магазине лабораторных принадлежностей, а еще яснее на складе аптекарских товаров он вдруг понял, насколько утратил не только энергию, но и просто самостоятельность мышления, если случайный разговор с Охоцким ни с того ни с сего натолкнул его на мысль о химии, которой он не занимался уже много лет.

- Не все ли равно, - пробормотал он, - если это заполнит мою жизнь...

На следующий день он купил точные весы и несколько более сложных приборов и принялся за работу, словно новичок, приступающий к первым опытам.

Для начала он получил водород, что напомнило ему студенческие годы, когда водород приготавливали в бутылке, обернутой полотенцем, используя также банки из-под ваксы. Счастливые времена!.. Потом вспомнились ему воздушные шары собственной конструкции, а потом Гейст, утверждавший, что химия водородных соединений изменит судьбы человечества...

"А вдруг мне удастся через несколько лет получить металл, который ищет Гейст?.. - задался он вопросом. - Гейст говорил, что открытие требует проверки при помощи нескольких тысяч реакций; значит, это вроде лотереи, а мне ведь везет... Если б я открыл этот металл, что бы тогда сказала панна Изабелла?.."

При воспоминании о ней его охватил гнев.

- Ах, хорошо бы прославиться и показать ей, как я ее презираю... прошептал он.

Однако, поразмыслив, решил, что презрение проявляется не в гневе и не в желании унижить, - и опять принялся за работу.

Самое большое удовольствие доставляли ему элементарные опыты с водородом, и он повторял их чаще других.

Однажды он смастерил что-то вроде химической гармоники, и она так громко играла, что на другой день к нему явился домовладелец и весьма вежливо осведомился - не пожелает ли он освободить квартиру к началу следующего квартала?

- А кто-нибудь хочет ее снять? - спросил Вокульский.

- То есть... как будто... почти... - смутился хозяин.

- В таком случае, я съеду.

Хозяин был несколько озадачен сговорчивостью Вокульского, но явно обрадовался. Оставшись один, Вокульский рассмеялся.

"Конечно, он считает меня чудачком или банкротом... Тем лучше. По правде говоря, я прекрасно могу жить в двух комнатах, а не в восьми..."

Минутами, сам не понимая почему, он начинал жалеть, что поторопился уступить свою квартиру. Но тогда он напоминал себе о бароне и Венгелеке.

- Барон, - говорил он себе, - разводится с женою, которая завела роман с другим; Венгелек охладел к своей Марысе только потому, что собственными глазами увидел одного из ее любовников... что же следовало сделать мне?..

И он опять принимался за химические анализы, с удовольствием убеждаясь, что не очень отвык от этих занятий.

Работа целиком поглощала его. Случалось, он по несколько часов не думал о панне Изабелле и тогда чувствовал, что его измученный мозг действительно отдыхает. У него уже почти исчез страх перед людьми и улицей, и он стал чаще выходить из дому. Однажды он поехал в Лазенки и даже решился заглянуть в ту аллею, по которой некогда гулял с панной Изабеллой. В эту минуту лебеди на чей-то зов распустили крылья и, хлопая ими по воде, подлетели к берегу. Это зрелище потрясло Вокульского, напомнив ему отъезд панны Изабеллы из Заславека... Как безумный, он бросился вон из парка, вскочил в пролетку, закрыл глаза и не открывал их, пока не доехал до дому.

В этот день он ничем не занимался, а ночью видел странный сон.

Приснилось ему, что перед ним стоит панна Изабелла и со слезами на глазах спрашивает, за что он ее бросил... Ведь та поездка, закончившаяся у Скерневиц, разговор со Старским и флирт с ним - все это было лишь сном. Да, все это просто ему приснилось.

Вокульский вскочил с постели и зажег свет.

"Что же тут сон?.. - спрашивал он себя. - Путешествие в Скерневицы или ее грусть и упреки?.."

Он не мог заснуть до утра; его терзали сомнения и вопросы чрезвычайной важности.

"Может ли оконное стекло едва освещенного вагона что-нибудь отражать? Не было ли все, что я тогда увидел, просто галлюцинацией? Знаю ли я настолько английский язык, чтобы не ошибиться в значении некоторых слов?.. Что она подумала обо мне, если я нанес ей такое

оскорбление без всякой причины?.. Могут же кузен и кузина, тем более знакомые с детства, вести разговоры на щекотливые темы, не возбуждая ничьих подозрений?..

Безумец, что я натворил? А вдруг я ошибся, ослепленный бессмысленной ревностью?.. Ведь Старский волочился за баронессой, панна Изабелла об этом знала и поистине должна бы потерять всякий стыд, чтобы заводить роман с чужим любовником".

Тут он подумал, как пуста, как страшно пуста его нынешняя жизнь... Он порвал со всем, чем до сих пор занимался, порвал с людьми, а впереди не было ничего, решительно ничего! За что приняться?.. Читать фантастические романы? Производить бесцельные опыты? Поехать куда-нибудь? Жениться на Ставской? Да ведь что ни выбери, куда ни поезжай - нигде не избавиться от тоски и одиночества!

"Ну, а барон?.. - спросил он себя. - Женился на своей панне Эвелине, и что?.. Теперь помышляет об устройстве технологической лаборатории - он-то, вряд ли даже понимающий, что такое технология!.."

Наступило утро. Вокульский освежился под душем, и мысли его приняли новое направление.

"У меня по меньшей мере тридцать, даже сорок тысяч рублей годового дохода; на себя я истрачу не более двух-трех тысяч. Что же делать с остальными, со всем этим богатством, которое просто подавляет меня своими размерами?.. Такими огромными деньгами можно обеспечить тысячу семейств, но к чему мне это: одни будут несчастны, подобно Венгелеку, а другие отблагодарят меня, как стрелочник Высоцкий!.."

Он опять вспомнил Гейста и его таинственную лабораторию, в которой созревал зародыш новой цивилизации. Вот где сторицей - нет, в миллион миллионов раз окупилась бы вложенные усилия и капитал! Тут и гигантская цель, и возможность заполнить свою жизнь, и перспектива славы и могущества, каких мир не видал... Металлические корабли, плывущие по воздуху... Какое великое будущее предстоит подобному открытию!..

"А если не я найду этот металл, а кто-нибудь другой, что весьма вероятно, тогда что?" - задал он себе вопрос.

"Ну так что же? В худшем случае я окажусь в числе немногих способствовавших успеху открытия. Ради этого стоит отдать ненужные деньги и постылую жизнь. Неужели лучше прозябать в четырех стенах или тупеть за преферансом, чем пытаться завоевать бессмертную славу?.."

Постепенно в душе Вокульского зарождался, вырисовываясь все отчетливее, некий план; однако чем подробнее он обдумывал его, чем больше открывал в нем достоинств, тем явственнее ощущал, что для осуществления этого плана ему не хватает ни энергии, ни охоты.

Воля его была совершенно парализована, и пробудить ее могло лишь сильное потрясение. Между тем потрясение не являлось, а будничное течение жизни все глубже погружало его в апатию.

"Я уже не погибаю, я просто гнию", - говорил он себе.

Жецкий, навещавший его все реже, с ужасом смотрел на своего друга.

- Неправильно ты поступаешь, Стах, - не раз говорил он. - Плохо, плохо... Лучше уж вовсе не жить, чем жить так...

Однажды слуга подал Вокульскому конверт, надписанный женской рукой.

Он вскрыл его и прочел:

"Мне нужно видеть Вас. Жду Вас сегодня в три часа дня.

Вонсовская".

- Зачем я ей понадобился? - удивился он. Но в третьем часу поехал.

Ровно в три Вокульский был в прихожей у Вонсовской. Лакей, даже не спрашивая, как доложить, распахнул дверь в гостиную, по которой быстро шагала из угла в угол прелестная вдовушка.

На ней было темное платье, прекрасно обрисовывавшее ее точеную фигуру; рыжеватые волосы, по обыкновению, были собраны в тяжелый узел, но вместо шпильки его придерживал узкий стилет с золотой рукояткой.

При виде Вонсовской Вокульский неожиданно для себя обрадовался и умилился; он бросился к ней и горячо поцеловал у нее руку.

- В сущности, не следовало бы даже разговаривать с вами, - сказала она, отдергивая руку.

- Так зачем же вы позвали меня? - с удивлением спросил Вокульский. Его словно окатили холодной водой.

- Садитесь.

Вокульский молча сел. Вонсовская продолжала шагать по гостиной.

- Отлично вы себя ведете, нечего сказать, - с негодованием заговорила она после минутной паузы. - По вашей милости светскую женщину затравили сплетнями, отец ее заболел, вся родня в расстройстве... Между тем вы сидите месяцами взаперти, подводите десятки людей, которые безгранично верили вам, и теперь даже наш славный князь называет все ваши чудачества "иллюстрацией к поведению женщин"... Поздравляю... И добро бы так поступал какой-нибудь студентик...

Она запнулась... Вокульский страшно переменялся в лице.

- Ах, надеюсь, вы не упадете в обморок? - испугалась она. - Выпейте воды или лучше вина...

- Благодарю вас, - ответил он. Лицо его уже приняло обычное выражение. - Вы видите, я в самом деле нездоров.

Вонсовская пристально посмотрела на него.

- Да, - заметила она, - вы исхудали, но борода вам идет... Не брейте ее, так вы стали интересным мужчиной...

Вокульский покраснел, как мальчишка. Он слушал Вонсовскую и удивлялся, чувствуя, что робеет и чуть ли не конфузится перед ней.

"Что со мной происходит?" - подумал он.

- Во всяком случае, вам следует уехать за город, - продолжала она. Где это слыхано - сидеть в Варшаве в начале августа!.. Хватит, сударь мой... Послезавтра я увезу вас к себе в деревню, иначе тень покойной председательши не даст мне покоя... И с нынешнего же дня извольте приходить ко мне обедать и ужинать; после обеда мы поедем на прогулку, а послезавтра... прощай, Варшава!.. Довольно!..

Вокульский, ошеломленный этим натиском, не нашелся, что ответить. Он не знал, куда девать руки, и чувствовал, что лицо его горит как в огне.

Вонсовская позвонила. Вошел лакей.

- Принеси вина, - распорядилась она. - Знаешь, того венгерского... Прошу вас, пан Вокульский, курите.

Вокульский взял папиросу, молясь в душе, чтобы ему удалось совладать со своими дрожащими пальцами. Лакей принес вино и две рюмки. Вонсовская налила обе.

- Пейте, - сказала она.

Вокульский выпил залпом.

- Вот и прекрасно! За ваше здоровье... - прибавила она и подняла рюмку. - А теперь вы должны выпить за мое здоровье...

Вокульский осушил вторую рюмку.

- А теперь вы выпьете за исполнение моих замыслов... Пожалуйста, пожалуйста... только сразу.

- Простите, сударыня, - запротестовал он, - я не хочу опьянеть.

- Значит, вы не желаете исполнения моих замыслов?

- Почему же, только сначала я должен узнать их.

- Вот вы как?.. - протянула Вонсовская. - Это новость... Хорошо, можете не пить.

Она отвернулась к окну, постукивая ножкой об пол. Вокульский задумался. Молчание длилось несколько минут; наконец его прервала хозяйка:

- Вы слышали, что сделал барон? Как это вам нравится?

- Отлично сделал, - ответил Вокульский совершенно спокойным голосом.

Вонсовская вскочила с кресла.

- Что?.. - крикнула она. - Вы защищаете человека, который покрыл женщину позором?.. Грубого эгоиста, который ради мести не побрезговал самыми гнусными средствами?..

- Что же он такое сделал?..

- Ах, так вы ничего не знаете?! Вообразите, он потребовал развода и, чтобы придать скандалу еще большую огласку, стрелялся со Старским.

- Действительно, - сказал Вокульский, подумав. - Он ведь мог без лишних разговоров просто пусть себе пулю в лоб, предварительно завещав жене все свое состояние.

Вонсовская вспыхнула от негодования.

- Несомненно, так бы и поступил всякий мужчина, наделенный хоть каплей благородства и чести. Он предпочел бы убить себя, чем тащить к позорному столбу бедную женщину, слабое создание, которому так легко мстить, имея за плечами богатство, высокое положение и общественные предрассудки. Но от вас я этого не ожидала... Ха-ха-ха!.. Вот он - этот новый человек, этот герой, который молча страдает!.. О, все вы одинаковы!

- Простите... но в чем вы, собственно, упрекаете барона?

В глазах Вонсовской вспыхнули молнии.

- Любил барон Эвелину или нет? - спросила она.

- С ума сходил по ней.

- Вот и неправда. Он притворялся, что любит, лгал, что обожает... А при первом же случае доказал, что относится к ней даже не как к равному себе человеку, а как к рабыне, которой можно в наказание за минутную слабость накинуть на шею веревку, потащить на площадь и осрамить перед всеми. Эх вы, властелины мира, лицемеры! Пока вас ослепляет животный инстинкт, вы ползаете у наших ног, готовы на подлости, лжете. "О моя любимая, обожаемая... за тебя и жизнь отдам..." А стоит бедной жертве поверить вашим лживым клятвам, вы мигом охладеваете; если же она, не дай бог, поддастся естественной человеческой слабости, вы топчете ее ногами... Ах, как это возмутительно, как низко! Да скажите же что-нибудь!

- Верно ли, что у баронессы был со Старским роман?

- Ну... уж сразу и роман! Она с ним флиртowała, он был ее... предметом, что ли...

- Предметом? Вот оно что! Итак, если она питала пристрастие к Старскому, зачем вышла за барона?

- Да потому, что он ее на коленях молил... грозился покончить самоубийством...

- Простите, пожалуйста... Разве он молил ее только о том, чтобы она соблаговолила принять его имя и состояние? Может быть, также и о том, чтобы она не питала пристрастия к другим мужчинам?

- А вы, мужчины?... Что вы себе позволяете до свадьбы и после свадьбы?... Значит, и женщина...

- Видите ли, сударыня, нам с детства внушают, что мы грубые животные, и единственное, что может очеловечить нас, это любовь к женщине, которая своим благородством, чистотой и верностью удерживает мир от полного озверения. Ну, мы и верим в это благородство, чистоту и так далее, боготворим ее, преклоняемся перед ней...

- И правильно делаете, потому что сами вы куда хуже женщин.

- Мы признаем это и на тысячи ладов твердим, что, хотя мужчина и создает цивилизацию, - только женщина может ее одухотворить и придать ей возвышенный характер... Но если женщины примутся подражать нам в смысле животных проявлений природы, то чем же они будут нас превосходить? А главное - за что нам боготворить их?

- За любовь.

- Не спорю, прекрасная вещь. Но если пан Старский получает любовь только за прекрасные глаза и усики, то с какой стати кто-то другой должен платить за нее своим именем, состоянием и свободой?

- Я перестану понимать вас, - сказала Вонсовская. - Признаете вы, что женщина равна мужчине, или нет?

- В конечном счете - равна, в частности - нет. По уму и трудоспособности средняя женщина стоит ниже мужчины, а нравственностью и чувствами якобы настолько его превосходит, что это уравновешивает создавшееся неравенство. По крайней мере так нам постоянно твердят,

мы в это верим и, несмотря на множество проявлений женской неполноценности, ставим их выше себя... Но поскольку баронесса попала достоинства своего пола, - а что это так, мы все можем засвидетельствовать, - нечего удивляться, что она лишилась и своих привилегий. Муж порвал с нею, как с нечестным компаньоном.

- Да ведь барон - немощный старец!

- Зачем же она вышла за него, зачем слушала его любовные признания?

- Так вы не понимаете, что иногда женщина бывает вынуждена продаться? спросила Вонсовская, меняясь в лице.

- Понимаю, сударыня, потому что... и я когда-то продался, только не ради богатства, а из крайней нужды.

- И что же?

- Прежде всего, жена не обольщалась насчет моей невинности, а я не клялся ей в любви. Мужем я был прескверным, но раз уж продался, то считал своим долгом быть добросовестнейшим приказчиком и преданнейшим слугой. Я ходил с нею в костелы, концерты и театры, развлекал ее гостей и фактически устроил доходы с ее магазина.

- И у вас не было любовниц?

- Нет, сударыня. Я так горько переживал свое рабство, что просто не смел смотреть на других женщин. Итак, согласитесь, что я имею право строго осудить баронессу, которая, продаваясь, знала, что у нее покупают... не рабочую силу.

- Какая гадость! - прошептала Вонсовская, глядя в землю.

- Да, сударыня. Торговать живым товаром чрезвычайно гадко, а еще гаже торговать самим собой. Но верх бесстыдства - заключая подобную сделку, стараться смошенничать. В таких случаях, если поймут с поличным, последствия всегда неприятны для того, кто попадается.

Оба некоторое время молчали. Вонсовская нервничала, Вокульский был мрачен.

- Нет!.. - вдруг воскликнула она. - Я добьюсь-таки от вас последнего слова!

- Насчет чего?

- Насчет разных вопросов, на которые вы дадите мне простой и ясный ответ.

- Что это, экзамен?

- Вроде того.

- Я вас слушаю.

По-видимому, она не решалась начать; наконец пересилила себя и спросила:

- Итак, вы настаиваете на том, что барон имел право бросить и опозорить женщину?

- Которая обманула его? Да, имел.

- Что вы называете обманом?

- То, что она принимала преклонение барона, несмотря на то что Старский был ее предметом, как вы выражаетесь.

Вонсовская закусила губку.

- А у барона не было подобных предметов?

- Наверное, были всякий раз, когда подвертывался случай и приходила охота, - ответил Вокульский. - Но барон не разыгрывал невинности, не называл себя образцом нравственной чистоты и не претендовал по этому поводу на всеобщее уважение... Если бы барон покорил чье-нибудь сердце, уверяя, что никогда не имел любовниц, а в действительности имел их, он тоже был бы обманщиком. Правда, кажется, не это беспокоило его невесту.

Вонсовская усмехнулась.

- Вы просто великолепны... Какая же женщина станет уверять вас, что у нее не было любовников?

- Ах, значит, и у вас были?

- Милостивый государь! - вспыхнула вдова, срываясь с места. Однако тут же сдержалась и холодно произнесла: - Я попрошу вас несколько осмотрительнее выбирать свои аргументы.

- Почему же? Ведь у нас с вами равные права, а я ничуть не обижусь, если вы спросите, сколько у меня было любовниц.

- И не подумаю любопытствовать.

Она принялась ходить по гостиной. Вокульский кипел от гнева, но держал себя в руках.

- Да, признаюсь, - снова заговорила она, - что я не свободна от предрассудков. Но ведь я только женщина, у меня даже мозг легче, как утверждают ваши антропологи; вдобавок надо мной довлеет положение в свете, дурные привычки и многое другое. Однако, если бы я была рассудительным мужчиной, как вы, и верила в прогресс, как вы, я бы сумела освободиться от этих наносных влияний и по крайней мере признать, что рано или поздно женщины должны быть уравнены с мужчинами.

- То есть в смысле вышеупомянутых пристрастий?

- То есть... то есть... - передразнила она. - Об этом-то я и говорю...

- О... зачем же дожидаться сомнительных результатов прогресса? И сейчас уже многие женщины в этом смысле сравнялись с мужчинами. Они образуют весьма влиятельную организацию и именуются кокетками... Но странное дело: пользуясь успехом у мужчин, дамы эти отнюдь не могут похвалиться расположением женщин...

- С вами невозможно разговаривать, пан Вокульский, - пыталась урезонить его вдовушка.

- Невозможно разговаривать насчет равноправия женщин?

У Вонсовской загорелись глаза и кровь прилила к лицу. Она бросилась в кресло и, стукнув рукой по столу, крикнула:

- Хорошо же! Не испугаюсь я вашего цинизма и буду разговаривать даже о кокетках... Знайте же, только самые низкие люди способны сравнивать дам, которые продаются за деньги, с порядочными и благородными женщинами, которые отдаются из любви...

- Продолжая разыгрывать невинность?

- Пусть даже так...

- И, обманывая одного за другим простаков, которые в нее верят...

- А что им сделается от такого обмана? - спросила она, дерзко глядя ему в глаза.

Вокульский стиснул зубы, но овладел собою и спокойно продолжал:

- Как вы полагаете, сударыня, что сказали бы мои компаньоны, если б капитал мой составлял не шестьсот тысяч рублей, как они считали, а всего шесть тысяч, и я, зная об этих слухах, не опровергал бы их?.. Ведь разница всего только в двух нулях...

- Денежные вопросы тут ни при чем, - перебила его Вонсовская.

- Отлично. Что сказали бы вы обо мне сами, сударыня, если б я, допустим, назывался не Вокульский, а Волькуский и с помощью такой незначительной перестановки букв завоевал бы симпатию покойной председательши, втерся к ней в дом и там имел честь познакомиться с вами?.. Как вы назвали бы подобный способ завязывать знакомства и приобретать расположение людей?

На подвижном лице Вонсовской отразилось отвращение.

- Но что же тут общего с историей барона и его жены?

- Общее то, - отвечал Вокульский, - что нельзя присваивать себе чужие звания. В конце концов кокетка может быть существом полезным, и никто не вправе ее попрекать выбранной профессией; но кокетка, прикрывающаяся маской так называемой непорочности, - обманщица. А за это можно упрекать.

- Какая гадость! - вскипела Вонсовская. - Но пусть... Скажите мне все-таки, что теряет общество от подобной мистификации?

У Вокульского зашумело в ушах.

- Иногда даже выигрывает. Например, когда какой-нибудь доверчивый простачок поддается безумию, именуемому идеальной любовью, бросается навстречу самым страшным опасностям и добывает состояние, чтобы сложить его к ногам своего идеала. Но иногда и теряет, когда, например, такой безумец, разоблачив мистификацию, сломлен настолько, что становится ни к чему не способным... или... не распорядившись капиталом, бросается... то есть стреляется с паном Старским, который ему попадает в ребра... Итак, сударыня, потери общества: одно разбитое счастье, один свихнувшийся ум, а может быть, и человек, который мог что-нибудь совершить...

- Этот человек сам виноват...

- Вы правы: был бы виноват, если бы не спохватился и не поступил, как барон, то есть не покончил со своим постыдным ослеплением...

- Короче говоря, мужчины не откажутся добровольно от своих варварских привилегий?

- То есть не признают женской привилегии на притворство.

- Но отвергать соглашение - значит начинать войну, - запальчиво заявила вдова.

- Войну? - смеясь, повторил Вокульский.

- Да, войну, и победит в ней тот, кто окажется сильнее... А кто из нас сильнее, мы еще увидим! - вскричала она, потрясая кулачком.

В эту минуту произошло нечто неожиданное. Вокульский схватил обе руки Вонсовской и сжал

их тремя пальцами своей руки.

- Что это такое? - спросила она, бледнея.

- Померяемся силами.

- Ну... довольно шутить...

- Нет, сударыня, я не шучу... Я только скромно доказываю, что с вами, представительницей воинствующей стороны, я могу сделать все, что мне угодно. Верно или нет?

- Пустите меня! - крикнула она, вырываясь. - Я позову слуг...

Вокульский выпустил ее руки.

- Ах, значит, дамы будут с нами воевать, прибегая к помощи слуг? Интересно, какой платы потребуют эти союзники и позволят ли вам нарушать обязательства?

Вонсовская пристально посмотрела на него - сначала с некоторым беспокойством, затем с негодованием и, наконец, пожала плечами.

- Знаете, что мне пришло в голову?

- Что я сошел с ума?

- Приблизительно так.

- В обществе столь очаровательной женщины и за таким спором это было бы совершенно естественно.

- Ах, какой пошлый комплимент! - поморщилась она. - Во всяком случае, должна признать, что вы мне почти понравились... Почти. Но вы не выдержали роли, отпустили меня, и я разочаровалась...

- О, меня хватило бы на то, чтобы не выпустить вас.

- А меня хватило бы на то, чтобы позвать слуг...

- А я, вы уж простите, сударыня, заткнул бы вам рот...

- Что?.. что?..

- То, что вы слышали.

Вонсовская опять изумилась.

- Знаете, - сказала она, по-наполеоновски скрестив руки, - вы либо очень оригинальны, либо... очень плохо воспитаны.

- Я совсем не воспитан.

- Значит, действительно оригинальны, - тихо произнесла она. - Жаль, что Белла не узнала вас с этой стороны...

Вокульский остолбенел. Не потому, что услышал это имя, а потому, что почувствовал в себе разительную перемену. Панна Изабелла была ему совершенно безразлична, зато его весьма занимала пани Вонсовская.

- Следовало сразу выложить ей свои теории, как мне, - продолжала вдова, - и между вами не

произошло бы никакого недоразумения.

- Недоразумения? - переспросил Вокульский, широко раскрывая глаза.

- Ну да; насколько я знаю, она готова простить вас.

- Простить?..

- Я вижу, вы еще не совсем... оправились, - заметила она небрежным тоном, - если сами не чувствуете, как безобразно вы поступили... По сравнению с вашими эксцентричными выходками даже барон кажется человеком изысканным.

Вокульский так искренне расхохотался, что его самого это озадачило.

- Вы смеетесь? - заговорила снова Вонсовская. - Я не сержусь, так как понимаю, что означает подобный смех... Высшую степень страдания...

- Клянусь, вот уже два месяца я не чувствовал себя так свободно... Боже мой... пожалуй, даже два года! Мне кажется, все это время мой мозг омрачало какое-то страшное наваждение, а сию минуту оно рассеялось... Только теперь я почувствовал, что спасен, и спасен благодаря вам.

Голос его дрожал. Он взял обе ее руки и поцеловал их почти страстно. Вонсовской показалось, что в глазах его блеснули слезы.

- Спасен... и свободен! - повторял он.

- Послушайте, - холодно произнесла Вонсовская, отнимая руки. - Я знаю все, что произошло между вами... Вы поступили недостойно, подслушав разговор, который известен мне во всех подробностях, как и многое другое... Это был самый обыкновенный флирт...

- Ах, значит это называется флиртом! - перебил он. - Когда женщина уподобляется буфетной салфетке, которою всякий может вытирать себе пальцы и губы... так это называется флиртом? Прекрасно!

- Замолчите! - крикнула она. - Я не спорю, Белла поступила нехорошо, но... судите сами о своем поведении, когда я скажу, что она вас...

- Любит, не так ли? - подхватил Вокульский, поглаживая бороду.

- О, любит... Пока что просто жалеет... Я не хочу вдаваться в подробности, скажу лишь, что за эти два месяца я почти ежедневно встречалась с нею... что все время она только и говорила о вас и что излюбленное место ее прогулок - заславский замок... Как часто сидела она на том большом камне с надписью, как часто видела я на глазах ее слезы... А однажды она горько разрыдалась, повторяя вырезанные на камне строки:

Везде, всегда с тобой я буду вместе,

Ведь там оставил я души частицу.

Что же вы скажете?

- Что я скажу? - повторил Вокульский. - Клянусь, единственное, чего я хотел бы в эту минуту, - чтобы не сохранилось ни малейшего следа от моего знакомства с панной Ленцкой. И прежде всего - чтобы исчез злополучный камень, который приводит ее в такое умиление...

- Будь это правда, я получила бы прекрасное доказательство мужского постоянства...

- Нет, вы получили бы доказательство чудесного исцеления, взволнованно сказал он. - Боже мой... мне кажется, что кто-то замagnetизировал меня на несколько лет, что два месяца назад меня неосторожно и неумело разбудили, и только сегодня наконец я действительно пришел в себя.

- Вы говорите серьезно?

- Разве вы не видите, как я счастлив? Я обрел самого себя, я снова принадлежу себе... Поверьте мне, это чудо, которого я совершенно не понимаю; я могу сравнить себя сейчас только с человеком, который очнулся от летаргического сна, уже лежа в гробу.

- Чему же вы это приписываете? - спросила она, потупив глаза.

- В первую очередь вам... И еще тому, что я наконец решился ясно высказать перед кем-то мысли, которые уже давно созрели во мне, только смелости не хватало в этом признаться. Панна Изабелла - женщина иной, чуждой мне породы, и только какое-то помрачение ума могло приковать меня к ней.

- И что же вы сделаете после столь интересного открытия?

- Не знаю.

- Может быть, вы уже встретили женщину своей породы?

- Может быть.

- Это, наверное, та... пани Ста... Ста...

- Ставская? Нет. Скорее вы.

Вонсовская поднялась с надменным видом.

- Понимаю, - сказал Вокульский. - Мне следует уйти?

- Как считаете нужным.

- И мы не поедem вместе в деревню?

- О, это уж наверное... Впрочем... я не запрещаю вам приехать туда... У меня, вероятно, будет Белла...

- В таком случае, я не приеду.

- Я не говорю, что она обязательно будет.

- И я застаю вас одну?

- Возможно.

- И мы будем беседовать, как сегодня?.. И ездить верхом, как тогда?..

- И между нами действительно начнется война.

- Предупреждаю, я ее выиграю.

- В самом деле? И, может быть, сделаете меня своей рабыней?

- Да. Сначала я докажу вам, что умею властвовать, а потом на коленях вымолю у вас позволения стать вашим рабом...

Вонсовская повернулась и вышла. В дверях она на минутку остановилась и, слегка кивнув, бросила:

- До свидания... в деревне!..

Вокульский ушел от нее словно пьяный. Уже шагая по улице, он пробормотал:

- Ну конечно, я одурел.

Обернувшись, он заметил, что Вонсовская смотрит ему вслед из-за занавески.

"Черт побери! - подумал он. - Не попался ли я снова в историю?"

По дороге домой Вокульский все время раздумывал о происшедшей в нем перемене.

Он словно выкарабкался на свет из бездны, где царили мрак и безумие. Кровь быстрее струилась в его жилах, он глубже дышал, мысли текли с необычайной свободой, он ощущал во всем теле какую-то бодрость, а в сердце невыразимый покой.

Его уже не раздражала сумятица улицы, радовал вид толпы. Небо как будто посинело, дома посветлели, и даже пыль, пронизанная солнечным светом, была прекрасна.

Но всего приятнее было глядеть на молодых женщин, на их гибкие движения, улыбающиеся губы и манящие глаза. Две или три посмотрели ему прямо в лицо, ласково и кокетливо. У Вокульского заколотилось сердце, и словно горячий ток пробежал с головы до ног.

"Прелестны..." - подумал он.

Но тут же вспомнил Вонсовскую и должен был признать, что она красивее всех этих прелестных женщин, а главное - соблазнительнее. Как сложена, какая чудесная линия ноги, а цвет лица, а глаза - бархатистые и искрящиеся, как бриллианты... Он готов был поклясться, что ощущает запах ее кожи, слышит ее нервный смешок, и в голове у него зашумело при одной мысли о прикосновении к ней.

- Вот, должно быть, бешеный темперамент... - прошептал он. - Искусал бы ее...

Образ Вонсовской неотступно преследовал его и дразнил, и вдруг он подумал - не пойти ли к ней опять сегодня вечером?

"Ведь она приглашала меня обедать и ужинать, - убеждал он себя, чувствуя, как в нем закипает кровь. - Выгонит? А к чему бы ей было кокетничать? Что я не противен ей, знаю давно; во мне же она возбуждает желание, а это, ей-богу, многого стоит..."

Мимо него прошла какая-то шатенка с глазами, как фиалки, и детским личиком, и Вокульский с изумлением заметил, что она ему тоже нравится.

В нескольких шагах от своего дома он услышал окрик:

- Эй! Эй! Стах!

Вокульский оглянулся и увидел под навесом кафе доктора Шумана. Бросив недоеденное мороженое, он швырнул на столик серебряную монету и подбежал к Вокульскому.

- Я к тебе, - сказал Шуман, взяв его под руку. - Знаешь, давно уже ты не выглядел таким молодцом. Бьюсь об заклад, ты еще вернешься в Общество и разгонишь этих паршивцев... Ну и лицо!.. Ну и взгляд!.. Наконец-то я узнаю прежнего Стаха!

Они вошли в подъезд, поднялись по лестнице и постучали в квартиру Вокульского.

- А я было испугался, что мне угрожает новая болезнь... - рассмеялся Вокульский. - Хочешь сигару?

- Какая болезнь?

- Представь себе, вот уже час, как на меня неотразимо действуют женщины... Мне просто страшно...

Шуман расхохотался во все горло.

- Вот чудак!.. Вместо того чтобы устроить обед по случаю такой радости, он боится... А что ж, по-твоему, ты был здоров, когда с ума сходил по одной женщине? Ты здоров сейчас, когда тебе нравятся все, и теперь первым делом тебе надо добиваться взаимности той, которая влечет тебя больше других.

- Легко сказать! А если это великосветская дама?

- Тем лучше... тем лучше... Великосветские дамы куда аппетитнее горничных. Женственность очень выигрывает от интеллигентности, а главное от неприступного вида. Какие величавые позы ты увидишь, какие услышишь возвышенные речи... Ах, поверь мне, это в три раза интереснее.

По лицу Вокульского скользнула тень.

- Ого-го! - воскликнул Шуман. - Вот я уже вижу за тобою длинное ухо того святого, на котором Иисус въехал в Иерусалим. Ну, чего тебя передернуло? Обязательно ухаживай за великосветскими дамами, плебеи возбуждают их любопытство.

В передней раздался звонок, и вошел Охоцкий. Взглянув на разгорячившегося доктора, он спросил:

- Я вам не помешал?

- Нет, - ответил Шуман, - вы можете даже помочь. Я как раз советую Стаху лечиться новым романом, только... не идеальным. Хватит с него идеалов...

- А знаете, этот урок и я охотно послушаю, - сказал Охоцкий, закуривая предложенную сигару.

- Вздор! - проворчал Вокульский.

- Ничуть не вздор, - упирался Шуман. - Человек с твоим состоянием может быть совершенно счастлив, ибо для разумного счастья требуется: каждый день есть новые блюда и надевать чистое белье, а каждый квартал переезжать на новое место и менять любовниц.

- Женщин не хватит, - заметил Охоцкий.

- Предоставьте это женщинам, они уж постараются, чтобы их хватило, язвительно возразил доктор. - Ведь той же диеты придерживаются и женщины...

- Ежеквартальной диеты? - переспросил Охоцкий.

- Разумеется. Чем же они хуже нас?

- Однако не так уж заманчиво оказаться на десятом или двадцатом квартале.

- Предрассудок... предрассудок... - махнул рукой Шуман. - Вы и не заметите ничего и не догадаетесь, особенно если вас уверят, что вы всего второй или четвертый, да еще именно

тот, долгожданный, по-настоящему любимый.

- Ты не заходил к Жецкому? - неожиданно спросил Вокульский.

- Ну, ему-то уж я не стану прописывать любовь, - ответил доктор. Старик совсем расклеился...

- Действительно, он плохо выглядит, - подтвердил Охоцкий.

Разговор перешел на состояние здоровья Жецкого, потом на политику; наконец Шуман попрощался и ушел.

- Отчаянный циник! - проворчал Охоцкий.

- Он недолголюбивает женщин, - объяснил Вокульский, - а кроме того, бывают у него дни, когда ему особенно горько, и тогда он несет всякую ересь.

- Иногда не лишнюю оснований, - прибавил Охоцкий. - Но как же кстати прихлсь его наставления... Как раз за час до этого у меня был серьезный разговор с теткой, которая упорно убеждала меня жениться и уверяла, будто ничто так не облагораживает человека, как любовь порядочной женщины...

- Шуман советовал мне, а не вам.

- О вас-то я и раздумывал, слушая его рассуждения. Воображаю, как бы вы себя почувствовали, меня каждый квартал любовниц, если б когда-нибудь к вам явились все те, кто сейчас работает ради ваших прибылей, и спросили: "Чем воздаешь ты нам за наши труды, за нашу нужду и недолголетнюю жизнь, часть которой ты забираешь у нас?.. Трудом ли своим, советом или примером?.."

- Кто же работает сейчас ради моих прибылей? - спросил Вокульский. - Я устранился от дел и обращаю свой капитал в ценные бумаги.

- Если в закладные на поместья, так ведь проценты по ним оплачены трудом батраков, а если в какие-нибудь акции, то опять-таки дивиденды по ним покрывают железнодорожники, рабочие сахарных заводов, ткацких и всяких других фабрик.

Лицо Вокульского омрачилось.

- Позвольте, почему я должен думать об этом? - спросил он. - Тысячи людей стригут купоны и не задаются подобными вопросами.

- Вот еще! - буркнул Охоцкий. - Вы другое дело... У меня всего-то полторы тысячи годового дохода, однако мне частенько приходит в голову, что на эту сумму могут прожить трое-четверо и что кто-то отдает мне часть своих жизненных благ или вынужден еще больше ограничивать свои и без того ограниченные потребности...

Вокульский прошелся по комнате.

- Когда вы уезжаете за границу? - вдруг спросил он.

- Этого я тоже не знаю, - уныло ответил Охоцкий. - Мой должник вернет мне деньги не ранее чем через год. Он расплатится со мною, только когда получит новый заем, а теперь это дело нелегкое.

- Он платит вам высокие проценты?

- Семь.

- А репутация у него солидная?

- Его ипотека на первом месте после кредитного товарищества.

- Если я дам вам деньги и приму на себя ваши права, вы поедете за границу?

- Сию же минуту! - вскричал Охоцкий, срываясь с места. - Что я тут высижу? Еще, чего доброго, с отчаяния женюсь на богатой, а потом буду жить по рецепту Шумана.

Вокульский задумался.

- Что же плохого в женитьбе? - негромко спросил он.

- Ох, увольте!.. Бедную жену мне не прокормить, богатая вовлечет меня в сибаритство, и любая станет могильщицей для моих планов. Мне нужна особенная жена, которая захотела бы работать вместе со мною в лаборатории; а где такую найдешь?

Охоцкий, по-видимому, расстроился и собрался уходить.

- Итак, голубчик, - сказал Вокульский на прощанье, - насчет вашего капитала мы еще потолкуем. Я готов дать вам наличные.

- Как хотите... Просить об этом я не - смею, но буду весьма признателен.

- Когда вы едете в Заславек?

- Завтра, потому и зашел проститься.

- Значит, дело сделано, - закончил Вокульский, обнимая его. - В октябре вы можете получить деньги.

После ухода Охоцкого Вокульский лег спать. В этот день он испытал столько сильных и противоречивых впечатлений, что ему трудно было в них разобраться. Ему казалось, что с момента разрыва с панной Изабеллой он взбирался все выше и выше по страшной круче, нависшей над бездной, и лишь сегодня достиг перевала и ступил на противоположный склон, где ему открылись еще неясные, но совсем новые горизонты.

Долго еще перед глазами его роем носились женские образы, а всего чаще пани Вонсовская; то вдруг являлись ему толпы батраков и рабочих, которые спрашивали его, что дал он им взамен своих прибылей.

Наконец он крепко уснул.

Проснулся он в шесть утра, и первым впечатлением его было чувство свободы и бодрости.

Правда, вставать не хотелось, но ничто не мучило его и он не думал о панне Изабелле. То есть думал, но мог и не думать; во всяком случае, воспоминание о ней уже не терзало его, как бывало прежде.

Полное исчезновение боли даже несколько встревожило его.

"Уж не чудится ли мне?" - подумал он и стал припоминать весь вчерашний день. Память и логика не изменили ему.

- Может быть, ко мне вернулась и воля? - прошептал он.

Для проверки он решил через пять минут встать, затем выкупаться, одеться и тотчас отправиться на прогулку в Лазенки. Следя за минутной стрелкой, он с тревогой спрашивал

себя: "А вдруг меня даже на это не хватит?.."

Стрелка отмерила пять минут, и Вокульский встал - неторопливо, но без колебаний. Он сам напустил воды в ванну, выкупался, вытерся, оделся и через полчаса уже шел к Лазенкам.

Его поразило, что все это время он думал не о панне Изабелле, а о Вонсовской. Несомненно, вчера что-то с ним произошло: может быть, начали работать какие-то прежде парализованные клеточки мозга? Панна Изабелла уже не была владычицей его дум.

"Какая удивительная путаница, - недоумевал он. - Панну Ленцкую вытеснила Вонсовская, а Вонсовскую может заменить любая другая. Итак, я действительно исцелился от безумия..."

Он шел вдоль пруда, равнодушно поглядывая на лодки и лебедей. Потом свернул в аллею, ведущую к оранжерее, где некогда они были вдвоем, и сказал себе... что сегодня с аппетитом позавтракает. Но, возвращаясь обратно по той же аллее, он вдруг пришел в ярость и, как рассерженный ребенок, стал затаптывать следы своих собственных ног, испытывая при этом удовольствие.

"Если бы можно было все так стереть... И тот камень, и развалины... Все!"

Он чувствовал, как в нем пробуждается непреодолимый инстинкт разрушения, и в то же время отдавал себе отчет, что это симптом болезненный. С огромным удовлетворением он заметил, что может не только спокойно думать о панне Изабелле, но даже воздавать ей должное.

"Почему, собственно, я выходил из себя? - размышлял он. - Если б не она, я бы не сколотил состояния... Если б не она и не Старский, я не поехал бы в Париж и не познакомился бы с Гейстом, а под Скерневицами не излечился бы от своей глупости... Словом, оба они меня облагодетельствовали. В сущности, мне бы следовало сосватать эту идеальную парочку или хотя бы помочь им устраивать свидания... Подумать только, на каком навозе расцветет открытие Гейста!.."

В Ботаническом саду было тихо и безлюдно. Вокульский обошел колодец и стал медленно подниматься на тенистый холм, где более года назад он впервые разговаривал с Охоцким.

Ему казалось, будто холм этот служит основанием гигантской лестницы, наверху которой ему являлась статуя таинственной богини. Она и теперь представилась его взору, и Вокульский с трепетом заметил, что облака, окутавшие ее голову, на миг рассеялись. Он увидел строгое лицо, развевающиеся волосы и пронизательный львиный взгляд, устремленный на него из-под бронзового чела с выражением подавляющей мощи... Крепясь изо всех сил, он выдержал этот взгляд и вдруг почувствовал, что растет... растет... что голова его уже поднялась выше деревьев парка и почти касается обнаженных ног богини.

Тогда он понял, что эта чистая и нетленная красота есть Слава и что на вершинах ее нет иной улады, кроме трудов и опасностей.

Домой он вернулся грустный, но по-прежнему спокойный. Прогулка словно связала невидимыми узами его будущность с той далекой полосой жизни, когда он, еще приказчиком или студентом, мастерил машины с вечным двигателем и управляемые воздушные шары. Что же касается последних десяти - пятнадцати лет, то они были только перерывом и потерей времени.

"Мне надо куда-нибудь поехать, - сказал он себе. - Я должен отдохнуть, а там... посмотрим..."

После обеда он послал в Москву длинную телеграмму Сузину.

На другой день, около часу, когда Вокульский завтракал, явился лакей Вонсовской и доложил, что барыня ожидает в карете.

Вокульский бросился на улицу. Вонсовская велела ему садиться.

- Я забираю вас с собой, - сказала она.

- Обедать?

- О нет, всего лишь в Лазенки. С вами безопаснее разговаривать при свидетелях и на свежем воздухе.

Но Вокульский был мрачен и молчалив.

В Лазенках они вышли из кареты и, обогнув дворцовую террасу, стали медленно прогуливаться по аллее, примыкающей к амфитеатру.

- Вам следует встречаться с людьми, пан Вокульский, - начала вдова. Пора вам очнуться от своей апатии, иначе вы упустите сладкую награду...

- О, неужели?..

- Уверяю вас. Все дамы интересуются вашими терзаниями, и, бьюсь об заклад, не одна из них готова взять на себя роль утешительницы.

- Или поиграть моими мнимыми терзаниями, как кошка затравленной мышью?.. Нет, сударыня, мне не нужны утешительницы, потому что я совсем не терзаюсь, и тем более - по милости дам.

- Послушайте... - вскричала Вонсовская. - Вы еще скажете, что вас не сокрушил удар маленькой ручки...

- Так и скажу, - ответил Вокульский. - Если кто и нанес мне удар, то отнюдь не прекрасный пол, а... право, не знаю... может быть, рок...

- Но все-таки с помощью женщины...

- А главное - моей собственной наивности. Чуть ли не с детства искал я чего-то великого и неведомого; а так как на женщин я смотрел только глазами поэтов, которые страшно им льстят, то и вообразил, что женщина и есть то самое великое и неведомое. Я ошибся, и в этом секрет моего временного помрачения, которому, впрочем, я обязан тем, что разбогател.

Вонсовская остановилась.

- Ну, знаете, я поражена... Мы виделись позавчера, а сегодня вы кажетесь совершенно другим человеком, каким-то древним старцем, который пренебрегает женщинами.

- Это не пренебрежение, а результат наблюдения.

- А именно?

- Что существует порода женщин, которые только затем и живут на свете, чтобы дразнить и разжигать страсти мужчин. Таким образом они превращают умных людей в дураков, честных - в негодяев, а глупцов оставляют глупцами. Они окружены роем поклонников и играют в нашей жизни такую же роль, как гаремы в Турции. Итак, вы видите, что дамы напрасно соболезнуют моим мукам и надеются мною позабавиться. Мое дело - не по их части.

- И вы ставите крест на любви? - насмешливо спросила Вонсовская.

Вокульский вскипел от гнева.

- Нет, сударыня. Но у меня есть друг, пессимист, который растолковал мне, что несравненно выгодней покупать любовь за четыре тысячи в год, а за пять тысяч получить в придачу и верность, чем расплачиваться тем, что мы называем чувством.

- Хороша верность! - вырвалось у Вонсовской.

- По крайней мере заранее известно, чего можно ждать от нее.

Вонсовская закусила губу и пошла к карете.

- Вам следовало бы начать проповедовать свое новое учение.

- Я полагаю, что на это жаль терять время: все равно одни его никогда не поймут, а другие не поверят, пока не убедятся на собственном опыте.

- Спасибо за урок, - сказала она помолчав. - Он произвел на меня столь сильное впечатление, что я даже не прошу вас проводить меня домой... Сегодня вы исключительно плохо настроены, но я надеюсь, что это пройдет. Ах да... Возьмите письмо, - прибавила она, протягивая ему конверт. - Прочтите его. С моей стороны это нескромно, но я знаю, вы меня не выдадите, а я решила во что бы то ни стало уладить недоразумение между вами и Беллой. Удастся мой замысел - сожгите письмо; не удастся... привезите мне его в деревню... Adieu!

Она села в карету и уехала, оставив Вокульского посреди дороги.

- Черт побери, неужели я обидел ее? - огорчился он. - А жаль, преаппетитная дамочка!

Он медленно пошел к Уяздовским Аллеям, раздумывая о Вонсовской.

"Чепуха... не могу же я признаться, что меня к ней влечет... Допустим даже, что признание было бы принято благосклонно, - что дам я ей взамен?.. Я даже не мог бы сказать, что люблю ее".

Только дома Вокульский раскрыл письмо панны Изабеллы.

При виде дорогого некогда почерка молнией блеснуло в нем чувство горечи; но запах бумаги напомнил ему давно-давно минувшие времена, когда она поручала ему устройство овец знаменитому Росси.

- Это была одна бусинка в четках, которые перебирала панна Изабелла, молясь своему божеству, - усмехнулся он. И начал читать:

"Милая Казя! Мне так опостылело все на свете, так трудно еще собраться с мыслями, что только сегодня я решилась взяться за перо, чтобы рассказать тебе, что произошло у нас после твоего отъезда.

Я уже знаю, сколько завещала мне тетя Гортензия: шестьдесят тысяч рублей; итак, всего у нас теперь девяносто тысяч, которые почтенный барон обещает куда-то поместить из семи процентов, что составит около шести тысяч рублей в год. Ничего не поделаешь, придется привыкать к бережливости.

Не могу передать, как мне скучно, а может быть - тоскливо... Но и это пройдет. Молодой инженер по-прежнему бывает у нас чуть не ежедневно. Сначала он развлекал меня лекциями об устройстве железных мостов, а теперь рассказывает о том, как был он влюблен в одну особу, которая вышла за другого, как отчаянно он страдал, как потерял надежду полюбить еще раз и как желал бы излечиться с помощью нового, лучшего чувства. Он признался мне также, что пописывает стихи, в которых воспевают только красоты природы... Временами я

плакать готова от скуки, но совсем без общества я бы просто умерла, а потому делаю вид, что слушаю его, и иногда позволяю поцеловать ручку..."

У Вокульского жилы вздулись на лбу... Он перевел дух и продолжал читать:

"Папа с каждым днем хуже. Чуть что - тотчас плачет, и стоит нам поговорить пять минут, начинает меня упрекать - знаешь, из-за кого... Ты не поверишь, как меня это расстраивает.

Очень часто бываю в заславских развалинах. Что-то влечет меня туда, не знаю, может быть, прекрасная природа... или уединение. Когда мне особенно тяжело, я пишу карандашом на потрескавшихся стенах разные разности и с радостью думаю: как хорошо, что первый же дождь смывает все это.

Ах да... забыла сообщить самое главное! Знаешь, предводитель написал отцу моему письмо, в котором по всей форме просит моей руки. Я проплакала целую ночь - не потому, что могу стать предводительницей, а... потому, что это, кажется, неотвратимо...

Перо валится у меня из рук. Будь здорова и вспоминай иногда твою несчастную Беллу".

Вокульский скомкал письмо.

- Как я ее презираю... и все еще люблю! - вырвалось у него.

Голова у него пылала. Он метался по комнате, сжав кулаки, и смеялся над собственными химерами.

Вечером он получил телеграмму из Москвы и немедленно телеграфировал в Париж. Весь следующий день, с утра до поздней ночи, он провел со своим поверенным и нотариусом.

Ложась спать, он подумал:

"А не совершу ли я глупость... Ну, на месте я все еще раз проверю. Сомнительно, может ли существовать металл легче воздуха, но бесспорно, тут что-то кроется... Недаром в поисках философского камня люди наткнулись на химию! Итак, кто знает, что откроется тут... В конце концов не все ли равно - лишь бы выкарабкаться из этой гадости!"

Ответ из Парижа пришел только через день. Вокульский несколько раз перечитал его. Вскоре ему подали письмо от пани Вонсовской с печатью, на которой был изображен сфинкс.

- Да, - усмехнулся Вокульский, - лицо человека и звериное туловище; а наше воображение придает вам крылья!

"Зайдите ко мне на минутку, - писала Вонсовская, - у меня к вам важное дело, а я сегодня собираюсь уехать".

"Посмотрим, какое это важное дело!" - подумал он.

Через полчаса он был у пани Вонсовской. В передней стояли уже уложенные чемоданы. Хозяйка дома приняла его в своем рабочем кабинете, где ничто не напоминало о работе.

- Ах, вы очень любезны! - обиженным тоном начала Вонсовская. - Вчера я весь день вас прождала, а вы и не подумали явиться.

- Ведь вы сами запретили мне приходиться? - удивился Вокульский.

- Как это? Разве я не приглашала вас к себе в деревню? Но неважно, я отнесу это за счет вашей эксцентричности... Дорогой мой, у меня к вам весьма важное дело. Я вскоре собираюсь за границу и хочу посоветоваться с вами: когда лучше купить франки - теперь или

перед самым отъездом?

- Когда вы едете?

- Примерно... в ноябре... декабре... - ответила она, покраснев.

- Лучше перед самым отъездом.

- Вы думаете?

- Во всяком случае, все так поступают.

- Я как раз не хочу поступать, как все! - воскликнула она.

- Так купите сейчас.

- А если к декабрю франки упадут в цене?

- Так отложите покупку до декабря.

- Ну, знаете, - сказала она, разрывая какую-то бумажку, - вы незаменимый советчик... Черное - это черное, белое - белое. Что же вы за мужчина? Мужчина в любой момент должен быть решительным, по крайней мере должен знать, чего он хочет... Ну как, принесли вы Беллино письмо?

Вокульский молча отдал письмо.

- В самом деле? - оживилась она. - Значит, вы ее не любите? В таком случае, разговор о ней не может быть вам неприятен. Видите ли, я должна либо примирить вас, либо... пусть уж бедная девушка перестанет мучиться... Вы предубеждены против нее... И несправедливы к ней... Это нечестно. Порядочный человек так не делает; нельзя вскружить девушке голову, а потом бросить, как увядший букет...

- Нечестно? - повторил Вокульский. - Скажите мне на милость, какой же честности вы ждете от человека, которого всю жизнь кормили страданием и унижением, унижением и страданием?

- Но наряду с этим бывали у вас и другие минуты.

- О да, несколько приветливых взглядов и ласковых слов, имеющих в моих глазах тот единственный недостаток, что они оказались... ложью.

- Но теперь она жалеет об этом, и если бы вы вернулись...

- Зачем?

- Чтобы получить ее руку и сердце.

- Предоставив вторую руку знакомым и незнакомым обожателям?.. Нет, сударыня, хватит с меня этих состязаний, в которых я бывал бит - и Старскими, и Шастальскими, и черт знает кем еще. Не могу я играть роль евнуха подле своего идеала и подозревать в каждом мужчине счастливого соперника или непрошеного кузена...

- Какая низость! - воскликнула Вонсовская. - Значит, из-за одного проступка, к тому же невинного, вы пренебрегаете некогда любимой женщиной?

- Что касается числа этих проступков, позвольте мне остаться при собственном мнении; а что касается невинности... Боже ты мой! В каком же я жалком положении, если даже не имею

представления, как далеко простиралась их невинность!

- Вы полагаете?.. - сухо спросила Вонсовская.

- Ничего я теперь не полагаю, - так же сухо ответил Вокульский. - Я только знаю, что у меня на глазах под видом приятельских отношений завязался пошлейший роман, и с меня этого хватит. Можно еще понять жену, обманывающую своего мужа, - тут, дескать, узы, которыми ее связало супружество. Но когда свободная женщина обманывает чужого человека... Ха-ха-ха! Это уж, ей-богу, из любви к искусству. Ведь она имела право предпочесть мне Старского - и всех их... Так нет же! Ей понадобилось завести в своей свите олуха, который ее по-настоящему любил, который готов был пожертвовать ради нее всем... И чтобы вконец надругаться над человеческой природой, она хотела именно меня превратить в ширму для своих любовных интрижек... Представляете себе, как, вероятно, потешались надо мною эти люди, которым столь дешево доставалась ее благосклонность... И понимаете ли вы, что за ад - чувствовать себя смешным и в то же время несчастным, так ясно видеть свое унижение и сознавать, что оно незаслуженно?

У Вонсовской дрожали губы; она еле удерживалась от слез.

- Может быть, все это ваша фантазия? - спросила она.

- О нет... Оскорбленное человеческое достоинство - это не фантазия.

- А дальше?

- Что же дальше... Я спохватился, совладал с собой и сейчас могу с удовлетворением сказать одно: по крайней мере моим противникам не удалось вполне восторжествовать...

- И ваше решение твердо?

- Послушайте, я понимаю женщину, которая отдается из любви или из-за бедности. Но понять такую вот духовную проституцию, которой занимаются без нужды, холодно, прикрываясь мнимой добродетелью, - нет, это уму непостижимо.

- Значит, есть вещи, которых нельзя простить? - тихо спросила она.

- Кто и кому должен прощать? Пан Старский, вероятно, даже не способен обидеться из-за таких вещей да еще, пожалуй, станет рекомендовать своих приятелей. Об остальных можно не беспокоиться, имея к услугам столь многочисленное и столь избранное общество.

- Еще одно, - сказала Вонсовская, поднимаясь. - Можно ли узнать, что вы собираетесь делать?

- Если бы я знал...

Она протянула ему руку.

- Прощайте.

- Желаю вам счастья...

- О... - вздохнула она и быстро вышла из комнаты.

"Кажется, - подумал Вокульский, спускаясь по лестнице, - сейчас я уладил два дела... Кто знает, не прав ли Шуман..."

От Вонсовской Вокульский поехал к Жецкому. Старый приказчик был бледен и худ; он с трудом поднялся с кресла. Вокульского глубоко взволновал его вид.

- Ты не сердишься, старина, что я так давно не навещал тебя? - спросил он, пожимая ему руку. Жецкий грустно покачал головой.

- Будто я не знаю, что с тобой происходит? - ответил он. - Плохо... плохо все кругом... и становится все хуже и хуже...

Вокульский сел и задумался. Жецкий заговорил:

- Видишь ли, Стах, я так понимаю, что пора мне отправляться к Кацу и моим пехотинцам, а то они где-то там уже точат на меня зубы, дезертир, мол... Знаю: что бы ты ни решил сделать с собою, все будет хорошо и разумно, но... не лучше ли всего жениться на Ставской?.. Ведь она вроде как бы твоя жертва...

Вокульский схватился за голову.

- Бог ты мой! - крикнул он. - Развяжусь ли я когда-нибудь с бабами!.. Одна льстит себя мыслью, что я сделался ее жертвой, другая сама стала моей жертвой, третья хотела стать моей жертвой, да еще нашлось бы с десятков таких, которые бы охотно приняли в жертву меня с моим богатством в придачу... Любопытная страна, где бабы играют первую скрипку и где люди не интересуются ничем, кроме счастливой или несчастной любви...

- Ну, ну, ну... - успокаивал его Жецкий. - Ведь я тебя за шиворот не тащу... Только, видишь ли, Шуман говорил, что тебе поскорей нужно завести новый роман...

- Эх, нет... Мне гораздо нужнее переменить климат, и я уже прописал себе это лекарство.

- Ты уезжаешь?

- Самое позднее послезавтра - в Москву, а там... куда бог пошлет...

- Ты имеешь что-нибудь в виду? - таинственно спросил Жецкий.

Вокульский задумался.

- Я еще ни на чем определенном не могу остановиться; я колеблюсь словно раскачиваюсь на высоченных качелях. Иногда мне кажется, что я еще совершу что-нибудь полезное...

- Ох, вот, вот...

- Но минутами меня охватывает такое отчаяние, что хочется сквозь землю провалиться со всем, к чему только я ни прикасался...

- Это уж неразумно... неразумно... - заметил Жецкий.

- Знаю... И говорю тебе: равно вероятно, что имя мое когда-нибудь еще прогремит как и то, что я покончу все счета с жизнью.

Они просидели до позднего вечера.

Через несколько дней разнесся слух, что Вокульский куда-то уехал и, может быть, навсегда.

Все его движимое имущество, начиная с мебели и кончая экипажем и лошадьми, оптом приобрел Шлангбаум по сходной цене.

Глава шестнадцатая

Дневник старого приказчика

"Уже несколько месяцев упорно поговаривают, будто 26 июня сего года в Африке погиб принц Луи-Наполеон, сын императора. И погиб вдобавок в борьбе с каким-то диким народом, который даже неизвестно где живет и как называется. Не может же в самом деле народ называться "зулусами"!

Слух этот все повторяют. Якобы даже императрица Евгения собирается туда поехать, чтобы перевезти в Англию останки сына. Так оно или нет, не знаю, ибо с июля не читал газет и избегаю говорить о политике.

Вздорная вещь политика! Раньше не было ни телеграмм, ни передовиц, однако же человечество шло вперед, и всякий, у кого была голова на плечах, мог без труда разобраться в политической ситуации. Теперь же к вашим услугам и телеграммы, и передовицы, и последние новости, - а все это только сбивает с толку. И мало того что с толку сбивают, - ведь просто душу выворачивают! А не будь у нас Кенига{432} или славного Сулицкого - право, можно было бы усомниться в справедливости всевышнего. Ужас, что печатается нынче в газетах!

Что же касается принца Луи-Наполеона, то он мог и погибнуть, но мог и укрыться где-нибудь от агентов Гамбетты. Я-то вообще не придаю значения слухам.

Клейна все нет и нет, а Лисецкий переехал на Волгу, в Астрахань. На прощанье он сказал мне, что скоро тут останутся одни евреи.

Лисецкий всегда любил преувеличивать.

.....

Со здоровьем у меня плоховато. Я так быстро устаю, что уже не могу ходить по улице без палки. Вообще ничего особенного, только иногда вдруг странно разбалливается плечо и одолевает одышка. Но это пройдет; а не пройдет - тоже не беда. Мир как-то так меняется к худшему, что скоро мне уже не с кем будет перекинуться словом и не во что будет верить.

.....

В конце июля Генрик Шлангбаум отпраздновал день своего рождения как владелец магазина и глава нашего Общества. И вполнину не было того блеска, как у Стаха в прошлом году, тем не менее на торжество сбежались все друзья и недруги Вокульского и пили за здоровье Шлангбаума... так что стекла дрожали!

Ох, люди, люди!.. Помани вас полной тарелкой и бутылочкой - вы в воду броситесь, а за рублем - так и сам черт не знает, куда вы только не полезете!

.....

Фу ты!.. Сегодня мне показали номер "Курьера", в котором баронессу Кшешовскую называют одной из самых достойных и добросердечных дам - за то, что она пожертвовала двести рублей на какой-то приют. Видно, забыли уже, как она судилась с пани Ставской и скандалила с жильцами.

Неужели муж укротил-таки эту бабу?..

.....

Нападки на евреев все усиливаются. Уже дошло до брехни, будто евреи похищают христианских детей и режут их на мацу.

Когда я слышу подобные истории, я, ей-богу, протираю глаза и спрашиваю себя: жар у меня,

что ли, или, может быть, вся моя молодость была только сном?

Но пуще всего меня возмущает дурацкое злорадство доктора Шумана.

- Так им и надо, паршивцам! - говорит он. - Пусть, пусть протрут их с песочком, пусть поучат уму-разуму. Евреи - гениальная раса, но такие шельмецы, что без кнута и шпоры, их не объездить.

- Доктор, - сказал я ему как-то (он кого хочешь выведет из терпения), раз уж, по-вашему, евреи такие прохвосты, так им и шпоры не помогут.

- Унять их, может быть, и не уймут, - отвечал он, - но ума прибавят и заставят крепче держаться друг за дружку. А если бы евреям да настоящую солидарность... о!..

Станный человек этот доктор. Честен он безусловно, а уж умен - нечего и говорить; только честность его не от сердца, а так - по привычке, что ли? Что касается ума, то он у него из тех, что скорее позволит человеку сто вещей высмеять и испакостить, чем одну создать.

Когда я с ним разговариваю, мне иногда приходит в голову, что душа у него словно ледяная глыба, в ней может отразиться даже огонь, но сама она никогда не согреется.

.....

Стах уехал в Москву, кажется для того, чтобы урегулировать денежные расчеты с Сузиным. Тот должен ему чуть ли не полмиллиона (кто мог предполагать что-либо подобное два года назад!), но что собирается сделать Стах с такой уймой денег, понятия не имею.

Он всегда был оригинал и всегда устраивал нам неожиданности. Не готовит ли он и сейчас какой-нибудь сюрприз? Просто боюсь!

Между тем Мрачевский сделал предложение пани Ставской, и она, немного поколебавшись, дала согласие. Если, как надеется Мрачевский, они откроют магазин в Варшаве, я, пожалуй, войду с ними в компанию и поселюсь у них. И, боже ты мой, буду нянчить детей Мрачевского, хотя всегда думал, что такие обязанности мне придется исполнять при детях Стаха...

Как жестока жизнь...

.....

Вчера я дал пять рублей и заказал молебен за принца Луи-Наполеона. Не панихиду, а именно молебен, потому что он, может быть, и не погиб, хотя все об этом болтают. Я же... Я не разбираюсь в богословии, но все-таки лучше обеспечить ему на том свете хороший прием. А вдруг?..

.....

Я в самом деле нездоров, хотя Шуман уверяет, что все идет хорошо. Он запретил мне пить пиво, кофе и вино, быстро ходить и раздражаться... Умник тоже! Такой рецепт и я могу прописать, а попробуй-ка сам его соблюсти!..

Он разговаривает со мной так, словно подозревает меня в беспокойстве о Стахе. Смешной человек! Разве Стах несовершеннолетний, разве я уже не расставался с ним на целых семь лет! Прошли годы, Стах вернулся и опять пустился во все тяжкие.

И теперь будет, как бывало: вдруг пропал, вдруг и вернется...

А все-таки тяжело жить на свете. И не раз я задумываюсь: верно ли, что существует некий

план, по которому все человечество идет к лучшему будущему, или же все зависит от случая, а человечество устремляется в ту сторону, куда его толкает перевес сил? Если одерживают верх хорошие люди, то и мир идет по хорошему пути, а если одолевают прохвосты - то по плохому. А в конце концов - и от хороших и от плохих останется горсточка пепла.

Если так, то нечего удивляться Стаху, который частенько говорил мне, что хотел бы поскорее погибнуть сам и уничтожить всякий след после себя. Но у меня предчувствие, что это не так.

Хотя... Разве не было у меня предчувствия, что принц Луи-Наполеон станет императором Франции? Нет, подождем-ка еще, что-то мне эта смерть в битве с голыми неграми кажется очень сомнительной..."

Глава семнадцатая

...?...

Жецкому сильно нездоровилось: по его собственному мнению - от безделья, а по мнению Шумана - по причине болезни сердца, внезапно обнаружившейся и быстро развивавшейся под влиянием каких-то огорчений.

Работы у него было немного. Утром он приходил в магазин, бывший Вокульского, а ныне Шлангбаума, но оставался там только до тех пор, пока не приходили приказчики, а главное - покупатели. Объяснялось это тем, что покупатели почему-то с удивлением посматривали на него, а приказчики (за исключением Зембы, все евреи) не только не оказывали ему почтения, к которому он привык, но даже, несмотря на замечания Шлангбаума, обращались с ним довольно пренебрежительно.

Такое положение вещей заставляло пана Игнация все чаще обращаться мыслью к Вокульскому. Не потому, что он опасался чего-нибудь худого, а просто так.

Утром, около шести часов, он думал: встал Вокульский или еще спит и где он сейчас? В Москве или, может быть, уже выехал оттуда и подъезжает к Варшаве? В полдень он вспоминал те далекие времена, когда почти не проходило дня, чтобы Стах не обедал с ним, вечером же, особенно перед сном, он говорил:

- Наверное, Стах сейчас у Сузина... Ну и кутят же они, должно быть... А может быть, он уже в вагоне, возвращается в Варшаву и в эту минуту ложится спать?

Бывая в магазине, - а заходил он туда по несколько раз в день, несмотря на грубость приказчиков и раздражающую любезность Шлангбаума, - он всегда думал: что ни говори, а при Вокульском тут было иначе.

Его немного огорчало, что Вокульский не дает знать о себе, но приписывал это его обычным чудачествам.

"Стах и здоровый-то не особенно любил писать, чего же ждать теперь, когда он так разбит, - думал он. - Ох, женщины, женщины..."

В тот день, когда Шлангбаум купил мебель и экипаж Вокульского, пан Игнаций слег в постель. Не то что ему было жалко - все равно, к чему этот экипаж и роскошная мебель, но ведь обычно такие распродажи устраиваются после смерти человека.

- Ну, а Стах, слава богу, жив и здоров! - повторял он себе.

Однажды вечером пан Игнаций, сидя в халате, обдумывал, какой он устроит магазин Мрачевскому, чтобы заткнуть за пояс Шлангбаума, как вдруг услышал резкие звонки в передней и какую-то возню на лестнице.

Слуга, уже собиравшийся спать, открыл дверь.

- Барин дома? - спросил знакомый Жецкому голос.

- Барин болен.

- Вот еще болен!.. От людей прячется.

- Пойдите, господин советник, может быть, мы обеспокоим? - заметил второй голос.

- Вот еще, обеспокоим! Не хочет, чтобы его беспокоили дома, так пусть приходит в трактир...

Жецкий привстал с кресла, и в ту же минуту на пороге спальни показались советник Венгрович и торговый агент Шпрот... Из-за спины их выглядывали чьи-то всклокоченные вихры и не слишком чистая физиономия.

- Если гора не идет к Магометам, Магометы идут к горе! - зычно возвестил советник. - Пан Жецкий... пан Игнаций! Что это за фокусы, уважаемый? С того дня, как вы изволили пожаловать в последний раз, мы открыли новый сорт пива... Поставь-ка сюда, любезный, и приходи завтра, прибавил он, обращаясь к черномазому растрепе.

По этой команде растрепанный субъект в огромном фартуке поставил на умывальник корзину, полную стройных бутылок, и три пивных кружки, после чего улетучился, словно был существом, состоящим из тумана и воздуха, а не из пяти пудов мяса.

При виде бутылок пан Игнаций удивился, однако это чувство нельзя было назвать неприятным.

- Ради бога, что с вами делается? - спросил советник и развел руками, словно собираясь заключить весь мир в свои объятия. - Вас так давно не видно, что Шпрот даже забыл, как вы выглядите, а я было подумал - не заразились ли вы от своего приятеля и не свихнулись ли...

Жецкий нахмурился.

- А я как раз сегодня, - продолжал советник, - выиграл у Деклевского пари по поводу вашего приятеля - корзину пива новой марки, ну и говорю Шпроту: а не захватить ли нам пива да не нагрнать ли к старику, может, он встряхнется... Что ж, вы даже не приглашаете нас садиться?

- Разумеется, пожалуйста, господа... - спохватился Жецкий.

- И столик есть, - говорил советник, осматриваясь кругом, - и уголок весьма уютный. Эге-ге, да мы каждый вечер можем забегать к больному в картишки поиграть... Шпрот, а ну-ка, миленький, достаньте штопорчик да принимайтесь за дело... Пусть уважаемый пан Жецкий отведаст пивца новой марки...

- Какое же пари вы выиграли, советник? - спросил Жецкий, у которого лицо постепенно прояснялось.

- Да насчет Вокульского. А было это так. Еще в январе прошлого года, когда Вокульского понесло в Болгарию, я сказал Шпроту, что пан Станислав сумасшедший, что он прогорит и плохо кончит... Ну, а теперь, представьте себе, Деклевский уверяет, что это он сказал!.. Само собой, побились мы об заклад на корзину пива, Шпрот подтвердил, что говорил это я, и вот мы явились к вам...

Тем временем Шпрот поставил на стол три кружки и откупорил три бутылки.

- Нет, вы только посмотрите, пан Игнаций, - говорил советник, поднимая полную кружку. - По цвету - старый мед, пена - как крем, а вкусом шестнадцатилетняя девушка! Пригубьте-ка... Каков вкус, каков букет, а? Закроешь глаза - ей-богу, кажется, что пьешь эль... Вот!.. Не дурно, а?.. По совести говоря, перед таким пивом надо бы рот полоскать... Скажите сами: пили вы в своей жизни что-либо подобное?

Жецкий отпил полкружки.

- Пиво хорошее, - сказал он. - А все-таки, с чего вам пришло в голову, будто Вокульский прогорел?

- Да все в городе так говорят. Ведь если человек при деньгах, в здравом рассудке и никому не напакостил - зачем же ему бежать бог весть куда?

- Вокульский поехал в Москву.

- Как бы не так! Это он вам сказал, чтобы замести следы. Но сам же и выдал себя, раз отказался от своих денег...

- От чего отказался? - гневно переспросил пан Игнаций.

- От денег, которые лежат у него в банке, а главное - у Шлангбаума. Ведь там наберется тысяч двести... Ну, а когда человек оставляет на произвол судьбы такую сумму, то есть просто выбрасывает ее на улицу, - значит, он либо рехнулся, либо натворил таких дел, что уже не надеется получить свои деньги... В городе все поголовно возмущены таким... таким... И сказать-то совестно, кто он такой!

- Советник, вы забываетесь! - крикнул Жецкий.

- Вы голову потеряли, пан Игнаций! Ну, можно ли вступаться за такого человека? - горячился советник. - Подумайте только. Поехал он богатство наживать - куда? На русско-турецкую войну! На русско-турецкую войну! Да вы понимаете, что это значит? Сколотил там состояние... Но каким образом? Каким образом, спрашивается, можно за полгода заработать полмиллиона рублей?

- Он ворочал десятью миллионами, - возразил Жецкий. - Так что заработал еще меньше, чем можно было...

- А чьи это были миллионы?

- Сузина... купца... его друга...

- Вот-вот! Но не в том дело; допустим, в этом случае он никакой подлости не сделал... Но что за дела у него были в Париже, а потом в Москве, где он опять-таки отхватил изрядный куш? А хорошо ли было подрывать отечественную промышленность ради того, чтобы платить восемнадцать процентов прибылей кучке аристократов, к которым ему понадобилось втереться? А красиво ли было продать торговое общество евреям и в конце концов удрать, бросив сотни людей в бедности и тревоге? Так поступает хороший гражданин и честный человек? Ну, пейте, пейте, пан Игнаций! - воскликнул он, чокаясь с ним. - За наше, холостяцкое. Пан Шпрот, покажите же больному, что вы молодец!.. Не ударьте лицом в грязь!

- Хороши! - протянул доктор Шуман, который уже несколько минут стоял на пороге, не снимая шляпы. - Ай-ай-ай! Что же это вы, господа? Взялись поставлять клиентов похоронной конторе, что ли? Вы что же это делаете с моим пациентом? Казимеж! - крикнул он слуге. - Выбрось-ка все бутылки на лестницу... А вас, господа, прошу оставить больного... Больничная палата, хоть бы и на одного человека, - это вам не кабак... Так-то вы соблюдаете мои

предписания? - обратился он к Жецкому. - С пороком сердца затеваете попойки? Может, еще позовете девочек?.. Спокойной ночи, господа, - обернулся он к советнику и Шпроту, - впредь не устраивайте тут пивной, а то я подам на вас в суд за убийство...

Советник и Шпрот мигом убрались восвояси, и, если бы не густой табачный дым, можно было бы подумать, что тут никого не было.

- Открой окно! - приказал доктор слуге. - Ну-ну! - насмешливо прибавил он, глядя на Жецкого.
- Лицо горит, глаза остекленели, пульс такой, что слышно на улице...

- Вы слышали, что он говорил о Стахе? - спросил Жецкий.

- Правду говорил. И весь город твердит то же самое. Только напрасно его называют банкротом: на самом деле он принадлежит к полоумным того разряда, которых я называю польскими романтиками.

Жецкий смотрел на него почти со страхом.

- Да не смотрите вы так на меня, - спокойно продолжал Шуман, - а лучше подумайте: разве я не прав? Ведь этот человек ни разу в жизни не действовал разумно... Будучи официантом, он мечтал об изобретениях и университете; поступив в университет, начал баловаться политикой. Потом, вместо того чтобы наживать деньги, стал ученым и вернулся сюда гол как сокол, так что, если бы не Минцелева, умер бы с голоду... Наконец, принялся сколачивать состояние, но не из купеческого расчета, а чтобы завоевать барышню, которая прослыла кокеткой. Но и этого мало: получив и барышню и состояние, он бросил и то и другое... И вот где он теперь, что делает?.. Ну скажите же, если вы такой всезнайка! Полоумный, совсем полоумный, - махнул рукой Шуман. - Чистокровный польский романтик, который вечно ищет чего-то нереального...

- И вы повторите это в глаза Вокульскому, когда он вернется? - спросил Жецкий.

- Я ему это сто раз говорил, а если теперь не скажу, то лишь потому, что он не вернется...

- Почему же не вернется? - чуть слышно спросил Жецкий, бледнея.

- Не вернется потому, что либо свернет себе где-нибудь шею, если вылечится от помешательства, либо увлечется какой-нибудь новой утопией... например, открытиями мифического Гейста - по-видимому, тоже патентованного безумца.

- А вы, доктор, никогда не увлекались утопиями?

- Увлекался по той причине, что заразился от вас. Однако вовремя опомнился, и это обстоятельство позволяет мне нынче ставить самый точный диагноз при подобных заболеваниях... Ну, снимите-ка халат, посмотрим, каковы последствия сегодняшнего вечера, проведенного в веселой компании.

Он осмотрел Жецкого, велел ему немедленно лечь в постель и впредь не превращать своей квартиры в кабак.

- Вы тоже недурной образчик романтика, только у вас было меньше возможностей выкидывать глупости, - заключил доктор.

И он ушел, оставив Жецкого в весьма мрачном настроении.

"Ну, твоя болтовня, пожалуй, повредит мне больше, чем пиво", - подумал Жецкий и прибавил вполголоса:

- Все-таки Стах мог бы хоть словечко черкнуть... черт знает какие мысли в голову лезут...

Болезнь приковала Жецкого к постели, и он отчаянно скучал.

Чтобы как-нибудь скоротать время, он в бесчисленный раз перечитывал историю консульства и империи или размышлял о Вокульском.

Однако эти занятия не успокаивали, а лишь растравляли его... История напоминала ему о чудесных деяниях одного величайшего победителя, с династией которого Жецкий связывал мечты о счастливом будущем человечества, а династия между тем погибла под копьями зулусов. Размышления о Вокульском приводили пана Игнация к выводу, что его любимый друг, человек столь выдающийся, находится по меньшей мере на пути к моральному краху.

- Сколько он хотел совершить, сколько мог совершить и ничего не совершил! - с глубокой грустью повторял пан Игнаций. - Хоть бы написал, где он и что намерен предпринять... Хоть бы дал знать, что жив!..

Дело в том, что с некоторых пор пана Жецкого преследовали смутные, но зловещие предчувствия. Он вспоминал свой сон после концерта Росси, когда ему привиделось, что Вокульский спрыгнул вслед за панной Изабеллой с башни ратуши. И еще вспоминались ему странные и ничего доброго не сулившие слова Стаха: "Я хотел бы погибнуть сам и уничтожить всякие следы своего бытия..."

Как легко подобное желание могло претвориться в действие у человека, который говорил только то, что чувствовал, и умел выполнять то, что говорил...

Доктор Шуман, навещавший его ежедневно, отнюдь не поддерживал в нем бодрости. Пану Игнацию уже надоела его неизменная фраза:

- В самом деле, надо быть или полным банкротом, или сумасшедшим, чтобы бросить в Варшаве такую уйму денег на произвол судьбы и даже не известить о своем местопребывании!

Жецкий спорил с ним, но в душе признавал, что доктор прав.

Однажды Шуман прибежал к нему в необычное время, около десяти часов утра, швырнул шляпу на стол и закричал:

- Ну что, разве не правду я говорил, что он полоумный?

- Что случилось? - спросил пан Игнаций, сразу догадавшись, о ком идет речь.

- Случилось то, что уже неделю назад этот сумасшедший уехал из Москвы... угадайте куда?

- В Париж?

- Как бы не так! В Одессу, оттуда собирается ехать в Индию, из Индии в Китай и Японию, а потом - через Тихий океан - в Америку... Совершить путешествие, даже кругосветное, совсем не плохо, я бы сам ему это посоветовал. Но не черкнуть ни словечка, в то время как в Варшаве, что ни говори, у него осталось несколько искренних друзей и двести тысяч рублей капитала, - это уж, ей-богу, явный признак сильнейшего психического расстройства...

- Откуда вам это известно? - спросил Жецкий.

- Из вернейшего источника, от Шлангбаума, которому весьма важно было узнать планы Вокульского. Ведь он должен в начале октября выплатить ему сто двадцать тысяч рублей... Ну, а если бы дорогой Стась застрелился, или утонул, или погиб от желтой лихорадки...

понимаете?.. тогда можно прикарманить весь капитал или по крайней мере беспроцентно пользоваться им еще с полгода... Вы уже, верно, раскусили Шлангбаума? Ведь он меня... меня!.. пытался обжудить!

Доктор бегал по комнате и размахивал руками, словно сам заболел психическим расстройством. Вдруг он остановился против пана Игнация, посмотрел ему в глаза и схватил за руку.

- Что?.. что?.. что?.. Пульс выше ста?.. Был у вас сегодня жар?

- Пока что нет.

- Как это нет? Ведь я вижу...

- Неважно! - прервал его Жецкий. - Однако неужели же Стах действительно способен на такое?

- Наш прежний Стах, при всем его романтизме, вероятно, не был бы способен, но от пана Вокульского, влюбленного в сиятельную панну Ленцкую, можно всего ожидать... Ну и, как видите, он делает все, что в его силах...

Когда доктор ушел, пан Игнаций сам вынужден был признать, что с ним происходит что-то неладное.

"Вот было бы забавно, если бы я этак не сегодня-завтра протянул ноги! Тьфу ты! Будто это не случилось с людьми и получше меня... Наполеон Первый... Наполеон Третий... Юный Люлю... Стах... Ну что Стах?.. Ведь он сейчас едет в Индию..."

Он глубоко задумался, потом поднялся с постели, тщательно оделся и пошел в магазин, к великому возмущению Шлангбаума, который знал, что пану Игнацию запрещено вставать.

Зато на другой день ему стало хуже. Он отлеживался целые сутки, потом опять на два-три часа зашел в магазин.

- Видно, он воображает, что магазин - это мертвецкая, - сказал один из новых приказчиков Зембе, который со свойственной ему искренностью нашел эту остроту весьма удачной.

В середине сентября к Жецкому забежал Охоцкий, на несколько дней приехавший из Заславека в Варшаву.

Увидев его, пан Игнаций сразу повеселел.

- Что же привело вас сюда? - воскликнул он, горячо пожимая руку молодому изобретателю, которого все любили.

Но Охоцкий был мрачен.

- Конечно, неприятности! - ответил он. - Знаете, умер Ленцкий...

- Отец этой... этой?.. - удивился пан Игнаций.

- Да, да... этой... этой!.. И, пожалуй, из-за нее...

- Во имя отца и сына... - перекрестился Жецкий. - Сколько еще людей намерена погубить эта женщина?.. Насколько мне известно, да и для вас это, верно, не секрет, Стах попал в беду именно из-за нее...

Охоцкий кивнул головой.

- Вы можете рассказать мне, что произошло с паном Ленцким? - с любопытством спросил пан Игнаций.

- Это не тайна, - ответил Охоцкий. - В начале лета панне Изабелле сделал предложение предводитель...

- Тот самый?.. Да он мне в отцы годится, - не утерпел Жецкий.

- Вероятно, потому барышня и согласилась... во всяком случае, не отказала ему. И вот старик собрал разные вещички, оставшиеся после его двух жен, и прикатил в деревню, к графине... к тетке панны Изабеллы, у которой гостили Ленцкие...

- Совсем ошалел!

- Это случалось и с большими умниками. Между тем, хотя предводитель считал себя уже женихом, панна Изабелла каждые два-три дня, а потом даже ежедневно ездила в сопровождении некоего инженера к развалинам Заславского замка... Она говорила, что это рассеивает ее скуку...

- А предводитель как же?

- Предводитель, разумеется, молчал, но дамы пытались внушить барышне, что так не делают. Она же в таких случаях отвечала одно: "Хватит с предводителя того, что я соглашаюсь выйти за него, а выйду я не затем, чтобы отказывать себе в удовольствиях!"

- И, наверное, предводитель поймал их на чем-нибудь среди этих развалин? - спросил Жецкий.

- Ну... какое! Он туда и не заглядывал. Да если б и заглянул, так убедился бы, что панна Изабелла брала с собой простачка инженера, чтобы в его присутствии тосковать по Вокульском.

- По Во-куль-ском?

- Во всяком случае, так предполагали. По этому поводу уж и я сделал ей замечание, что неприлично в обществе одного поклонника тосковать по другому. Но она, по своему обыкновению, ответила: "Хватит с него, если я позволяю ему смотреть на меня..."

- Ну и осел этот инженер!

- Не сказал бы, поскольку, при всей своей наивности, он все же смекнул, в чем дело, и в один прекрасный день не поехал с барышней вздыхать среди развалин, не поехал и в следующие дни. А в то же самое время предводитель приревновал ее к инженеру, прекратил сватовство и уехал к себе в Литву, причем сделал это столь демонстративно, что панна Изабелла и графиня закатали истерику, а почтенный Ленцкий, не успев и пальцем шевельнуть, скончался от удара...

Кончив рассказ, Охоцкий обхватил голову руками и расхохотался.

- И подумать, что подобного рода женщина стольким людям кружила голову! - прибавил он.

- Да ведь это чудовище! - вскричал Жецкий.

- Нет. Она даже не глупа и в сущности человек не плохой, только... она такая же, как тысячи других из ее среды.

- Тысячи?..

- Увы! - вздохнул Охоцкий. - Представьте себе класс людей богатых или просто состоятельных, которые хорошо питаются и ничего не делают. Человек должен каким-то образом тратить свои силы; значит, если он не работает, ему нужно развратничать или по крайней мере щекотать свои нервы... А для разврата и для щекотания нервов нужны женщины - красивые, изящно одетые, остроумные, прекрасно воспитанные, вернее выдрессированные именно для этой надобности... Ведь это для них единственное занятие.

- И панна Изабелла принадлежит к их числу?

- Собственно, даже не по своей воле... Мне неприятно говорить об этом, но вам я скажу, чтобы вы знали, из-за какой женщины свихнулся Вокульский...

Разговор оборвался. Возобновил его Охоцкий, спросив:

- Когда же он возвращается?

- Вокульский?.. Да ведь он поехал в Индию, Китай, Америку.

Охоцкий так и подскочил.

- Не может быть! - закричал он. - Хотя... - протянул он в раздумье и умолк.

- Разве у вас есть какие-нибудь основания предполагать, что он туда не поехал? - спросил Жецкий, понизив голос.

- Никаких. Меня только удивило столь внезапное решение... Когда я был тут в последний раз, он обещал мне уладить одно дело... Но...

- И прежний Вокульский, несомненно, уладил бы. А новый забыл не только о ваших делах... но в первую очередь о своих собственных...

- Что он уедет, можно было ожидать, - как бы сам с собой говорил Охоцкий, - но мне не нравится эта внезапность. Он писал вам?..

- Никому ни строчки, - ответил старый приказчик.

Охоцкий покачал головой.

- Это было неизбежно, - пробормотал он.

- Почему неизбежно? - вскинулся Жецкий. - Что он, банкрот или заняться ему было нечем?.. Такой магазин и торговое общество - это, по-вашему, пустяки? А не мог он жениться на прелестной и благородной женщине?..

- Не одна бы с радостью за него пошла, - согласился Охоцкий. - Все это прекрасно, - продолжал он, оживляясь, - но не для человека его склада.

- Что вы под этим понимаете? - подхватил Жецкий, которому разговор о Вокульском доставлял такое же наслаждение, как влюбленному разговор о предмете его страсти. - Что вы под этим понимаете?.. Вы его близко знали? настойчиво спрашивал он, и глаза его блестели.

- Узнать его нетрудно. Это был, коротко выражаясь, человек широкой души.

- Вот именно! - подтвердил Жецкий, постукивая пальцем по столу и глядя на Охоцкого, как на икону. - Однако что вы понимаете под широтой? Прекрасно сказано! Объясните мне только яснее.

Охоцкий усмехнулся.

- Видите ли, - начал он, - люди с маленькой душонкой заботятся только о своих делах, способны охватить мыслью только сегодняшний день и питают отвращение ко всему неизведанному... Им лишь бы прожить в спокойствии и достатке... А человек такого типа, как он, думает о тысячах, глядит иногда на десятки лет вперед, все неведомое и неразрешенное влечет его неодолимо. Это даже не заслуга, а попросту необходимость. Как железо произвольно тянется к магниту или пчела лепит свои соты, так и эта порода людей рвется к великим идеям и грандиозному труду...

Жецкий крепко пожал ему обе руки, дрожа от волнения.

- Шуман, умный доктор Шуман говорит, что Стах безумец, польский романтик! - заметил он.

- Шуман глуп со своим еврейским реализмом! - возразил Охоцкий. - Ему даже невдомек, что цивилизацию создавали не дельцы, не обыватели, а вот именно такие безумцы... Если б ум заключался в умении наживаться, люди поныне оставались бы обезьянами...

- Святые ваши слова... прекраснейшие слова! - повторял старый приказчик. - Но объясните мне все-таки, каким образом такой человек, как Вокульский, мог... так вот... запутаться?..

- Помилуйте, я удивляюсь, что это случилось так поздно! - пожал плечами Охоцкий. - Ведь я знаю его жизнь, знаю, как он задыхался тут с детских лет. Было у него стремление к науке, но не было возможности его осуществить, была сильно развита общественная жилка, но к чему бы он ни прикоснулся, все проваливалось... Даже это ничтожное торговое общество, которое он основал, принесло ему только нарекания и ненависть...

- Вы правы... вы правы!.. - повторял Жецкий. - А тут еще эта панна Изабелла...

- Да, она могла вернуть ему покой. Удовлетворив потребность личного счастья, он легче примирился бы с окружающей средой и употребил бы свою энергию в тех направлениях, какие у нас возможны. Но... его постигла неудача.

- Что же дальше?

- Кто знает... - тихо произнес Охоцкий. - Сейчас он похож на дерево, вырванное с корнем. Если он найдет подходящую почву, а в Европе это возможно, и если у него еще не иссякла энергия, то он с головой окунется в какую-нибудь работу и, пожалуй, начнет по-настоящему жить... Но если он исчерпал себя, что в его возрасте тоже не исключено...

Жецкий приложил палец к губам.

- Ш-ш-ш-ш... у Стаха есть энергия... есть. Он еще выкарабкается... выка...

Старик отошел к окну и, прислонившись к косяку, разрыдался.

- Я совсем болен... нервы не в порядке... - говорил он. - У меня, кажется, порок сердца... Но это пройдет... пройдет... Только зачем он так убегает... прячется... не пишет?..

- Ах, как мне понятно это отвращение измученного человека ко всему, что напоминает ему прошлое! - воскликнул Охоцкий. - Мне знакомо это по опыту, хотя и скромному... Представьте себе, когда я сдавал экзамен на аттестат зрелости, мне пришлось в пять недель пройти курс латыни и греческого за семь классов, потому что я всегда от этого отлынивал. Ну, на экзамене я кое-как выкрутился, но перед тем столько работал, что переутомился.

С тех пор я смотреть не мог на латинские или греческие книжки, даже вспоминать о них было противно. Я не выносил вида гимназического здания, избегал товарищей, готовившихся

вместе со мной к экзамену, даже съехал со старой квартиры. Это продолжалось несколько месяцев, и я не успокоился, пока... знаете, что я сделал? Бросил в печку и сжег эти проклятые греческие и латинские учебники. Добрый час вся эта дрянь тлела и дымила, но зато потом, когда я велел высыпать пепел в мусорный ящик, болезнь мою как рукой сняло! Но и сейчас меня еще пробирает дрожь при виде греческих букв или латинских исключений: panis, piscis, crinis*... Бррр... Гадость!

* Хлеб, рыба, волосы (лат.)

Итак, не удивляйтесь, что Вокульский сбежал отсюда в Китай... Долгая мука может довести человека до бешенства... Но и это проходит...

- А сорок шесть лет, милый мой? - напомнил Жецкий.

- А сильный организм?... А крепкий мозг?... Ну, и заболтался я с вами... Всего хорошего, поправляйтесь...

- Вы уезжаете?

- Да, в Петербург. Я должен присмотреть за исполнением последней воли покойной Заславской, а то благородные родственники собираются оспаривать ее завещание. Просижу там, пожалуй, до конца октября.

- Как только я получу известие от Стаха, тотчас же сообщу вам. Только пришлите мне свой адрес.

- И я вам дам знать, если что-нибудь случайно услышу... Хотя сомневаюсь... До свиданья.

- Желаю вам поскорее вернуться!

Беседа с Охоцким чрезвычайно ободрила пана Игнация. Старый приказчик словно набрался сил, наговорившись с человеком, который не только понимал дорогого Стаха, но даже напоминал его многими чертами характера.

"И он был такой же, - думал Жецкий. - Энергичный, здравомыслящий и в то же время всегда исполненный возвышенных порывов..."

Можно сказать, что с этого дня началось выздоровление пана Игнация. Он встал с постели, затем сменил халат на сюртук, стал ходить в магазин и даже часто прогуливался по улице. Шуман восхищался своим методом лечения, столь успешно приостановившим болезнь.

- Как пойдет дальше, неизвестно, - говорил он Шлангбауму, - но факт, что уже несколько дней, как старик начал поправляться. У него опять появился аппетит, он стал спать, а главное - поборол апатию. С Вокульским было точно так же.

В действительности Жецкого поддерживала надежда, что рано или поздно он получит письмо от своего Стаха.

"Может быть, он уже в Индии, - думал пан Игнаций, - значит, в конце сентября должна прийти от него весточка... Конечно, в таких случаях возможна задержка; но уж за октябрь я головой ручаюсь..."

В указанный срок действительно получились известия о Вокульском, но весьма странные.

Как-то вечером, в конце сентября, зашел к Жецкому Шуман и со смехом сказал:

- Удивительное дело, сколько людей интересуется этим полоумным! Арендатор из Заславека сообщил Шлангбауму, что кучер покойной председательши недавно видел Вокульского в заславском лесу. Он даже описывал, как тот был одет и на какой ехал лошади...

- Что же! Возможно! - оживился пан Игнаций.

- Чепуха! Где Крым, а где Рим; где Индия, а где Заславок? - возразил доктор. - Тем более что почти одновременно другой еврей, торговец углем, видел Вокульского в Домброве... Мало того, он якобы разузнал, что Вокульский купил у одного пьяницы шахтера два динамитных заряда... Ну, такой вздор, надеюсь, и вы не станете защищать?

- Но что все это значит?

- Ничего. Очевидно, Шлангбаум объявил среди евреев, что выдаст награду за сведения о Вокульском, - вот теперь Вокульский и мерещится всем чуть ли не в мышиной норе... Святой рубль рождает ясновидцев! - заключил доктор, иронически рассмеявшись.

Жецкий должен был признать, что слухи эти лишены всякого смысла, а толкование Шумана вполне правдоподобно; при всем том тревога его за Стаха усилилась...

Вскоре, однако, тревога его сменилась просто испугом, когда обнаружился факт, уже не подлежащий никакому сомнению. А именно, первого октября один из нотариусов вызвал к себе Жецкого и показал ему нотариальный акт, подписанный Вокульским перед отъездом в Москву.

Это было завещание, составленное по всем правилам. В нем Вокульский выражал свою волю относительно раздела оставшихся в Варшаве денег, из которых семьдесят тысяч рублей лежали в банке, а сто двадцать тысяч - у Шлангбаума.

Для людей посторонних завещание это послужило доказательством незыблемости Вокульского, Жецкий же нашел его вполне логичным. Завещатель назначил огромную сумму в сто сорок тысяч рублей Охоцкому, двадцать пять тысяч рублей Жецкому и двадцать тысяч малолетней Элене Ставской. Остальные пять тысяч рублей он разделил между бывшими служащими магазина и лично знакомыми ему бедными людьми. Из этой суммы получили по пятьсот рублей: Венгелек - заславский столяр, Высоцкий - варшавский возчик и второй Высоцкий - его брат, стрелочник из Скерневиц.

В трогательных выражениях Вокульский обращался ко всем упомянутым в завещании лицам, прося принять его дар как от умершего, а нотариуса обязал не оглашать сего акта ранее первого октября.

Среди людей, знавших Вокульского, поднялся шум, начались сплетни, не обошлось без обид и оскорбительных намеков... А Шуман в разговоре с Жецким высказал следующее суждение:

- О дарственной для вас я давно знал... Охоцкому он дал почти миллион злотых, потому что открыл в нем безумца своей породы... Ну, а подарок дочке прекрасной пани Ставской, - прибавил он, смеясь, - мне тоже понятен. Только одно меня интригует...

- Что именно? - осведомился Жецкий, покусывая усы.

- Откуда взялся среди наследников этот стрелочник Высоцкий?

Шуман записал его имя и фамилию и ушел в раздумье.

Велика была тревога Жецкого: что могло приключиться с Вокульским? Почему он составил завещание и почему обращался к ним, как человек, думающий о близкой смерти? Однако вскоре произошли события, пробудившие в Жецком искру надежды и до некоторой степени

осветившие странное поведение Вокульского.

Прежде всего Охоцкий, узнав о доставшихся ему деньгах, не только немедленно ответил из Петербурга, что принимает их и просит всю сумму приготовить наличными к началу ноября, но вдобавок оговорил у Шлангбаума проценты за октябрь месяц.

Затем письменно запросил Жецкого, не даст ли тот из своего капитала двадцать одну тысячу рублей, наличными, взамен суммы, которую он, Охоцкий, должен получить в день святого Яна.

"Мне чрезвычайно важно, - кончал он письмо, - иметь на руках весь принадлежащий мне капитал, так как в ноябре я непременно должен выехать за границу. Я все объясню вам при личном свидании..."

"Почему он так спешно уезжает за границу и почему забирает с собой все деньги? - задавал себе вопрос Жецкий. - Почему, наконец, откладывает объяснение до встречи?.."

Разумеется, он принял предложение Охоцкого. Ему казалось, что в этом поспешном отъезде и недомолвках кроется нечто обнадеживающее.

"Кто знает, - раздумывал он, - действительно ли Стах со своим полмиллионом поехал в Индию? Может быть, они встретятся с Охоцким в Париже, у того чудака Гейста? Какие-то металлы... воздушные шары... По-видимому, им нужно до поры до времени все сохранить в тайне".

Однако на этот раз расчеты его опрокинул Шуман, сказав по какому-то поводу:

- Я наводил в Париже справки о пресловутом Гейсте, потому что подумал не к нему ли направился Вокульский. Ну, и оказалось, что Гейст, некогда весьма талантливый химик, теперь совершенно свихнулся... Вся Академия смеется над его выдумками.

Насмешки Академии над Гейстом сильно поколебали надежды Жецкого. Кто-кто, а уж Французская академия оценила бы по заслугам эти металлы или шары... А если такие мудрецы считают Гейста сумасшедшим, так Вокульскому у него делать нечего.

"В таком случае, куда и зачем он поехал? - размышлял Жецкий. - Ну конечно, отправился путешествовать, потому что ему тут было плохо... Если Охоцкий съехал с квартиры, где его замучила греческая грамматика, то с тем большим основанием Вокульский мог уехать из города, где его так мучила женщина... Да и не только она! Был ли на свете человек, которого бы столько чернили, как его?"

Но зачем он составил чуть ли не завещание и вдобавок намечал в нем о своей смерти?.. - терзался пан Игнаций.

Сомнения его рассеял приезд Мрачевского. Молодой человек явился в Варшаву неожиданно и пришел к Жецкому сильно озабоченный. Говорил он отрывисто, больше недомолвками, а под конец намекнул, что Ставская колеблется, принять ли дар Вокульского, да и сам он считает, что тут не все ясно...

- Дорогой мой, это ребячество! - возмутился пан Игнаций, - Вокульский отписал ей, верней Элюне, двадцать тысяч рублей, потому что был к этой женщине привязан; а привязан был потому, что у нее в доме обретал душевный покой в самый тяжелый период своей жизни... Ведь ты знаешь, что он любил панну Изабеллу?

- Это я знаю, - несколько спокойнее отвечал Мрачевский, - но знаю и то, что Злена была неравнодушна к Вокульскому...

- Что же из того? Сейчас Вокульский для всех нас почти умер, и, бог весть, увидим ли мы его еще когда-нибудь...

Лицо Мрачевского прояснилось.

- Верно, - сказал он, - верно! От умершего пани Ставская может принять дар, а мне нечего опасаться напоминаний о нем.

И он ушел, весьма довольный тем, что Вокульского, может быть, уже нет в живых.

"Прав был Стах, придавая такую форму своей дарственной, - подумал пан Игнаций. - Меньше хлопот для тех, кого он одарил, особенно для славной пани Элены..."

В магазине Жецкий бывал все реже и реже, раз в несколько дней, и единственным его занятием, к слову сказать даровым, было устройство витрин в ночь с субботы на воскресенье. Старый приказчик очень любил эту работу, и Шлангбаум сам просил его взять на себя витрины, в тайной надежде, что пан Игнаций поместит у него свой капитал на скромных процентах.

Но и этих редких посещений пану Игнацию было довольно, чтобы заметить в магазине значительные перемены к худшему. Товары были красивы на вид и даже несколько снизились в цене, но одновременно еще более в качестве; приказчики грубили покупателям и позволяли себе мелкие злоупотребления, которые не ускользнули от внимания Жецкого. Наконец, два новых инкассатора растратили более ста рублей...

Когда пан Игнаций указал на это Шлангбауму, то услышал следующий ответ:

- Помилуйте, покупателям нравятся не доброкачественные товары, а дешевые!.. А что до растрат, так они случаются везде. Да и где найти честных людей?

Шлангбаум прикидывался равнодушным, но в душе огорчился, а Шуман беспощадно издевался над ним.

- Не правда ли, пан Шлангбаум, - говорил он, - если б в нашей стране остались только евреи, мы бы с вами вылетели в трубу? Ибо часть населения нас бы обжуливала, а остальные не позволяли бы нам себя надувать...

У пана Игнация было немало досуга, он много размышлял и удивлялся, что его по целым дням занимают вопросы, которые раньше ему и в голову не приходили.

"Почему наш магазин стал хуже? Потому что в нем хозяйничает не Вокульский, а Шлангбаум. А почему не хозяйничает Вокульский? Потому что, как выразился Охоцкий, он задышался чуть ли не с детства и наконец вынужден был вырваться на свежий воздух..."

И он вспомнил наиболее значительные моменты в жизни Вокульского. Когда он, работая еще официантом у Гопфера, захотел учиться, все ему мешали. Когда он поступил в университет, от него потребовали самопожертвования. Когда он вернулся на родину, ему отказали даже в работе. Когда он разбогател, на него посыпались подозрения, а когда он влюбился, обожаемая женщина самым подлым образом обманула его.

"Учитывая обстоятельства, надо признать, что он сделал все, что мог", говорил себе пан Игнаций.

Но если уж в силу создавшихся условий Вокульскому пришлось ехать за границу, то почему же магазин его перешел не к нему, Жецкому, а, скажем, к Шлангбауму?

Потому что он, Жецкий, никогда не помышлял о собственном магазине. Он сражался за

интересы венгерцев или ждал, когда потомки Наполеона перестроят мир. И что же?.. Мир не стал лучше, род Наполеона угас, а владельцем магазина стал Шлангбаум.

"Страшно подумать, сколько честных людей у нас пропадает зря, сокрушался Жецкий. - Кац пустил себе пулю в лоб, Вокульский уехал, Клейн бог знает где, да и Лисецкому пришлось убраться, потому что для него не нашлось здесь места..."

Размышляя об этих предметах, пан Игнаций терзался угрызениями совести, под влиянием которых в уме его созревал некий план на будущее.

- Войду-ка я в компанию с пани Ставской и Мрачевским. У них двадцать тысяч рублей да у меня двадцать пять, а на такую сумму уже можно открыть порядочный магазин, хоть бы под боком у Шлангбаума.

План этот так захватил его, что он почувствовал себя значительно крепче. Правда, все чаще повторялись боли в плече и удушье, но он не обращал на них внимания.

"Пожалуй, поеду я подлечиться за границу, - думал он, - избавлюсь от этого дурацкого удушья и примусь по-настоящему за работу... Что ж, в самом деле, только Шлангбауму богатеть у нас?.."

Он чувствовал себя моложе, бодрее, хотя Шуман не советовал ему выходить из дому и рекомендовал не волноваться.

Однако сам доктор неоднократно забывал о своих предписаниях.

Однажды утром он ворвался к Жецкому в необычайном возбуждении, даже без галстука на шее.

- Ну, - закричал он, - хорошенькую историю узнал я о Вокульском!

Пан Игнаций отложил нож и вилку - он как раз ел бифштекс с брусникой и сразу ощутил боль в плече.

- А что случилось? - слабым голосом спросил он.

- Ай да Стась! Герой! Я разыскал в Скерневицах железнодорожника Высоцкого, допросил его, и знаете, что обнаружилось?

- Да что же, что? - едва пролепетал Жецкий, чувствуя, как у него темнеет в глазах.

- Вообразите только, - волновался Шуман, - он... этот остолоп... тварь этакая... тогда, в мае, когда ехал с Ленцкими в Краков, бросился в Скерневицах под поезд! И Высоцкий его спас!

- Э-э! - протянул Жецкий.

- Не "э-э", а так оно и было... Из чего я заключил, что милый Стасек, кроме романтизма, страдал еще манией самоубийства... Готов держать пари на всё мое состояние, что его уже нет в живых!

Доктор осекся, заметив, как изменился в лице пан Игнаций. В сильнейшем смятении он чуть не на руках перенес больного в постель и поклялся в душе никогда более не касаться этой темы.

Но судьба судила иначе.

В конце октября почтальон вручил Жецкому заказное письмо, адресованное Вокульскому. Письмо было отправлено из Заслава, адрес написан неумелой рукой.

"Неужели от Венгелека?.." - подумал пан Игнаций и распечатал конверт.

"Ваша милость! - писал Венгелек. - В первых строках благодарим вашу милость за то, что изволили вспомнить про нас, и за пятьсот рублей, что ваша милость нам опять пожаловали; и за все благодеяния ваши, что получили мы от щедрот ваших, благодарим: мать моя, жена и я...

Затем мы все трое спрашиваем про здоровье и жизнь вашей милости и счастливо ли вы прибыли домой? Так оно, наверное, и есть, а то ваша милость не прислали бы нам столь драгоценный подарок. Только жена моя очень за вашу милость беспокоится, не спит по ночам и даже хотела, чтобы я сам поехал в Варшаву: известное дело - женщина.

А беспокоимся мы потому, что в сентябре, в тот самый день, как ваша милость по дороге к замку встретили мою мать возле картофельного поля, у нас вот что случилось. Только мамаша успела вернуться и собрала ужинать, вдруг в замке что-то грохнуло, раз и другой как гром ударило, в городке даже все стекла задрожали. У мамыши горшок вывалился из рук, и она сразу говорит мне: "Беги во весь дух к замку, не там ли еще пан Вокульский, как бы с ним беды не стряслось". Я и полетел туда.

Царь небесный! Еле узнал я ту гору. От четырех стен замка, крепких еще, осталась только одна, а три рассыпались прахом. Камень, на котором мы в прошлом году вырезали стишок, разлетелся вдребезги, а в том месте, где был засыпанный колодец, сделалась яма, и обломков в ней, как зерна на гумне. Я так думаю, что стены сами развалились от старости; но мамаша полагает, не покойник ли кузнец, о котором я вашей милости рассказывал, напроказил.

Я никому ни словечком не обмолвился, что ваша милость тогда шли к замку, а сам целую неделю разгребал обломки - не случилось ли, боже упаси, какой беды! А когда никаких следов не нашел, то до того обрадовался, что на месте том хочу крест поставить из цельного дуба, некрашенный, - память о том, как ваша милость спаслись от беды. Но жена моя, по своему женскому обычаю, все тревожится... А потому покорнейше прошу вашу милость уведомить нас, что вы живы и пребываете в добром здравии...

Наш приходский ксендз присоветовал мне вырезать на кресте такую надпись: "Non omnis moriar"*.

* "Весь я не умру"{458} (лат.)

Чтобы люди знали, что хоть старый замок, памятка былых времен, и развалился, но не весь пропал и немало еще осталось от него, на что стоит посмотреть даже внукам нашим..."

- Значит, Вокульский был здесь в сентябре! - обрадовался Жецкий и послал за доктором, прося его прийти немедля.

Не прошло и четверти часа, как Шуман явился. Он дважды перечитал письмо Венгелека и с удивлением поглядывал на оживленную физиономию Жецкого.

- Ну, что вы скажете? - с торжествующим видом спросил пан Игнаций.

Шуман еще более удивился.

- Что я скажу? - повторил он. - Произошло то, что я предсказывал Вокульскому еще перед его отъездом в Болгарию. Ясно, что Стах в Заславе погиб...

Жецкий усмехнулся.

- Да вы рассудите сами, пан Игнаций, - говорил доктор, с трудом сдерживая волнение. - Вы подумайте только: его видели в Домброве, когда он покупал динамитные заряды; потом его видели в окрестностях Заслава и, наконец, в самом Заславе. По всей вероятности, в замке в свое время произошло что-то между ним и этой... Ну, этой панной, будь она проклята!.. Он мне однажды сказал, что хотел бы провалиться сквозь землю, глубоко-глубоко, как в заславский колодец...

- Если б он собирался покончить с собой, то мог бы давно это сделать, возразил Жецкий. - К тому же для этого довольно и пистолета и вовсе не нужен динамит.

- Он ведь уже пытался покончить с собой... Но поскольку это был до мозга костей неистовый дьявол, ему мало было пистолета... Ему нужен был паровоз! Самоубийцы бывают привередливы, я-то знаю...

Жецкий покачивал головой и продолжал усмехаться.

- Что вы мотаете головой, черт возьми? - вышел из себя доктор. - У вас есть другая гипотеза?

- Есть. Просто Стаха преследовали воспоминания об этом замке, он и захотел уничтожить его, как Охоцкий уничтожил греческую грамматику, после того как намучился над нею. И в то же время это ответ барышне, которая, говорят, ездила каждый день вздыхать среди развалин замка...

- Да ведь это ребячество!.. Сорокалетний мужчина не станет действовать, как школьник...

- Это зависит от темперамента, - спокойно возразил Жецкий. - Иные отсылают назад памятки прошлого, а он свою взорвал динамитом... Жаль только, что этой Дульцинеи не было среди развалин...

Доктор задумался.

- Вот неистовый дьявол! Но куда же он теперь девался, если жив?

- А теперь он путешествует с легким сердцем. Нам же не пишет потому, видно, что мы все ему опротивели... - тише прибавил пан Игнаций. - Наконец, если бы он там погиб, остались бы какие-нибудь следы...

- Что ж, я бы не поручился, что вы не правы, хотя... как-то не верится, - пробормотал Шуман. Он грустно покачал головой и продолжал:

- Романтики должны вымереть, ничего не поделаешь; нынешний мир не для них... Все тайное стало явным, и мы уже не верим ни в ангельскую чистоту женщин, ни в существование идеалов. Тот, кто этого не понимает, должен погибнуть или добровольно устраниваться. Но как он выдержал стиль! неожиданно воскликнул доктор. - Погиб под обломками феодализма... Умер так, что земля дрогнула... Любопытный тип, любопытный...

Он вдруг схватил свою шляпу и бросился вон, бормоча под нос:

- Безумцы... безумцы... Они весь мир способны заразить своим безумием...

Жецкий продолжал усмехаться.

"Черт меня побери, если я не прав насчет Стаха, - говорил он себе. Попрощался с барышней! Adieu! И уехал себе. Вот и весь секрет. Пусть только вернется Охоцкий, от него мы узнаем правду..."

Он был в таком прекрасном настроении, что вытаскивал из-под кровати гитару, натянул струны и, сопровождая себя, замурлыкал:

Во всей природе весна пробудилась,

Томный разносится глас соловья...

В роще зеленой, на бреге ручья,

Роза прекрасная уж распустилась...

Острая боль в груди возобновилась, словно напоминая, что ему вредно утомляться.

Тем не менее он ощущал огромный подъем.

"Стах, - думал он, - принялся за какую-то важную работу, Охоцкий едет к нему - значит, и мне надо показать, на что я способен. Долой химеры!..

Наполеоновскому роду уже не исправить мира, и никому его не исправить, если мы по-прежнему будем действовать, как лунатики... Войду в компанию с Мрачевскими, выпишу Лисецкого, разыщу Клейна - и тогда, пан Шлангбаум, посмотрим! И что, черт возьми, может быть проще, чем разбогатеть, если этого хочешь?

Да еще при таких капиталах и с такими людьми..."

В субботу вечером, когда приказчики разошлись, пан Игнаций взял у Шлангбаума ключ от задних дверей магазина и пошел обновлять витрины на следующую неделю.

Он зажег лампу, открыл главную витрину и с помощью Казимежа вытаскивал из нее жардиньерку и две саксонские вазы, а на их место поставил японские вазы и столик в древнеримском стиле. Затем отослал слугу спать, так как имел обыкновение собственноручно раскладывать мелкие предметы, особенно заводные игрушки. К тому же ему не хотелось, чтобы кто-нибудь посторонний видел, с какой охотой он сам забавляется ими.

В этот вечер он, как обычно, достал все какие только были в магазине игрушки, расставил их на прилавке и завел все одновременно. В тысячный раз он слушал мелодии музыкальных табакерок и смотрел, как медведь карабкается на столб, как вода из стекла вращает мельничные колеса, как кошка гонится за мышкой, как пляшут краковяне и скачет во весь опор жокей на быстроногом коне.

И, глядя на движение заводных фигурок, он в тысячный раз повторял:

- Марионетки!.. Все марионетки!.. Им кажется, будто они делают, что хотят, а они делают то, что велит им пружина, такая же мертвая, как они...

Когда пущенный неверной рукой жокей опрокинулся на танцующие пары, пан Игнаций опечалился.

"Помочь друг другу - на это их не хватает, а вот испортить кому-нибудь жизнь - это они умеют не хуже людей..." - подумал он.

Вдруг позади послышался шорох. Жецкий оглянулся и в глубине магазина увидел какую-то фигуру, вылезавшую из-под прилавка.

"Вор?" - мелькнуло у него в голове.

- Извините, пан Жецкий, но... я на минуточку выйду... - произнесла фигура со смуглым лицом и черными волосами, побежала к двери, поспешно открыла ее и исчезла.

Пан Игнаций не мог сдвинуться с места, руки у него повисли, как плети, ноги не слушались. В глазах у него потемнело, и сердце билось, как надтреснутый колокол.

- Какого черта я испугался? - наконец пробормотал он. - Ведь это... как бишь его?.. Изидор Гутморген... новый приказчик... Очевидно, стащил что-то и удрал... Но почему я так испугался?

Между тем, после довольно продолжительного отсутствия, Изидор Гутморген вернулся в магазин, что еще больше озадачило Жецкого.

- Откуда вы тут взялись? Что вам нужно? - спросил его пан Игнаций.

Гутморген, казалось, был очень смущен. Он понурил голову с виноватым видом и, барабанив пальцами по прилавку, сказал:

- Извините, пожалуйста, пан Жецкий, но вы, может быть, думаете, что я украл что-нибудь? Так обыщите меня...

- Но что же вы здесь делаете? - спросил пан Игнаций и снова попытался встать, но не мог.

- Мне пан Шлангбаум велел остаться тут сегодня на ночь...

- Зачем?..

- Видите ли, пан Жецкий... с вами приходит переставлять вещи этот... Казимеж... Так вот пан Шлангбаум велел мне последить, чтобы он чего-нибудь не стащил... Ну, а мне стало немножко нехорошо, и пришлось... Извините, пожалуйста.

Жецкий наконец поднялся.

- Ах вы сукины дети! - взревел он в страшнейшем негодовании. - Так вы меня считаете вором?.. За то, что я бесплатно работаю на вас?..

- Извините, пан Жецкий, - смиренно заметил Гутморген, - но... зачем же вы бесплатно работаете?..

- Ступайте вы ко всем чертям!.. - крикнул пан Игнаций, выбежал из магазина и тщательно запер дверь на ключ.

- Посиди-ка тут до утра, голубчик, раз тебе нехорошо... И оставь своему хозяину памятку... - бормотал он.

Всю ночь пан Игнаций не спал. А так как квартиру его отделяли от магазина только сени, около двух часов ночи он услышал тихий стук изнутри магазина и молящий голос Гутморгена:

- Пан Жецкий, отворите, пожалуйста... я на минуточку...

Но потом все стихло.

"Ах, прохвосты! - думал Жецкий, ворочаясь с боку на бок. - Так вы меня считаете вором?.. Ну, погодите же!.."

Около девяти утра он услышал, как Шлангбаум выпустил Гутморгена, а потом стал дубасить в его дверь. Однако Жецкий не откликнулся, а когда пришел Казимеж, приказал никогда больше не пускать Шлангбаума на порог.

- Съеду отсюда, - говорил он, - да хоть с Нового года. Лучше уж жить на чердаке или снять номер в гостинице... Меня считают вором!.. Стах доверял мне огромные капиталы, а этот скот

боится за свои грошовые товары...

Перед обедом он написал два длинных письма: одно - пани Ставской, с предложением переехать в Варшаву и вступить с ним в компанию, а второе Лисецкому, с вопросом, не хочет ли он вернуться и поступить к нему в магазин.

Все время, пока он писал и перечитывал написанное, с лица его не сходила злорадная усмешка.

"Представляю себе физиономию Шлангбаума, когда мы у него под носом откроем магазин! - думал он. - Вот будет конкуренция!.. Ха-ха-ха!.. Он приказал следить за мною... Так мне и надо! Зачем я позволил этому мошеннику распоясаться! Ха-ха-ха!.."

Он задел рукавом перо, и оно упало на пол. Жецкий наклонился, чтобы его поднять, и вдруг почувствовал странную боль в груди, словно кто-то проткнул ему легкие острым ножичком. На миг у него потемнело в глазах и слегка затошнило; так и не подняв пера, он встал с кресла и лег на кушетку.

"Я буду последним болваном, если через несколько лет Шлангбаум не уберется на Налевки... Эх я, старый осел! Волновался за потомков Бонапарта, за всю Европу, а тем временем у меня под носом мелкий торгаш превратился в важного купца и приказывает следить за мной, будто я вор... Ну, да по крайней мере я набрался опыта, и такого, что хватит на всю жизнь!

Теперь уж меня не будут называть романтиком и мечтателем..."

Он испытывал такое ощущение, будто что-то застряло у него в левом легком.

- Астма? - проворчал он. - Придется всерьез взяться за лечение. А то лет через пять-шесть стану совсем развалиной... Ах, если б я спохватился лет десять назад!

Он закрыл глаза, и ему почудилось, что вся его жизнь, с самого детства до настоящего момента, развернулась перед ним, как панорама, а он плывет мимо нее необыкновенно спокойно и легко. Его только удивляло, что едва он проплывал мимо какой-нибудь картины, как она безвозвратно сглаживалась в его памяти, и он уже не мог ее вспомнить. Вот обед в Европейской гостинице по случаю открытия нового магазина; вот старый магазин, и у прилавка панна Ленцкая разговаривает с Мрачевским... Вот его комната с зарешеченным окном, куда только что вошел Вокульский, вернувшийся из Болгарии.

"Минуточку... что же я видел перед этим?.." - думал он.

Вот винный подвал Гопфера, где он познакомился с Вокульским... А вот поле битвы, и голубоватый дым стелется над линиями синих и белых мундиров... А вот старый Минцель сидит в кресле и дергает за шнурок выставленного в окне казака...

- Видел я все это на самом деле, или мне только снилось?.. Боже ты мой... - шепнул он.

Теперь ему казалось, что он маленький мальчик; вот отец его беседует с паном Рачеком об императоре Наполеоне, а он тем временем улизнул на чердак и через круглое окошко видит Вислу, а за ней, на другом берегу, Прагу... Однако понемногу картина предместья расплылась у него перед глазами, и осталось только окошко. Сначала оно было как большая тарелка, потом - как блюдце, а потом уменьшилось до размеров гривенника...

Он все глубже и глубже погружался в забытие, со всех сторон нахлынула на него темнота, вернее глубокая чернота, в которой лишь одно окошко еще светилось, как звезда, но и оно меркло с каждой минутой.

Наконец и эта последняя звезда погасла...

Может быть, он и увидел ее вновь, но уже не на земном горизонте.

Около двух часов дня пришел Казимеж, слуга пана Игнация, и принес корзину с тарелками. Он с грохотом накрыл на стол и, видя, что барин не просыпается, позвал:

- Пожалуйста обедать, остынет...

Однако пан Игнаций и на этот раз не пошевелился; тогда Казимеж подошел к кушетке и повторил:

- Пожалуйста обедать...

Вдруг он отшатнулся, выбежал на лестницу и принялся стучать в задние двери магазина; там были Шлангбаум и один из приказчиков.

Шлангбаум открыл дверь.

- Чего тебе? - грубо спросил он.

- Сделайте милость... с нашим барином что-то случилось...

Шлангбаум осторожно шагнул в комнату, взглянул на кушетку и попятился...

- Беги скорей за доктором Шуманом! - крикнул он. - Я не хочу сюда входить...

Как раз в это время у доктора был Охоцкий и рассказывал ему, как вчера утром он вернулся из Петербурга, а днем провожал свою кузину, Изабеллу Ленцкую, которая уехала за границу.

- Представьте себе, - закончил Охоцкий, - она идет в монастырь.

- Панна Изабелла? - переспросил Шуман. - Что ж, она собирается кокетничать с самим господом богом или только хочет отдохнуть от волнений, чтобы вернее потом выйти замуж?

- Оставьте... она странная женщина... - тихо сказал Охоцкий.

- Все они кажутся нам странными, пока мы не убеждаемся, что они просто глупы или подлы, - с раздражением ответил доктор. - Ну, а о Вокульском вы ничего не слышали?

- Вот как раз... - вырвалось у Охоцкого.

Но он запнулся и замолчал.

- Так что же, знаете вы о нем что-нибудь? Уж не хотите ли вы сделать из этого государственную тайну? - не отставал доктор.

В эту минуту вбежал Казимеж с криком:

- Доктор, с нашим барином что-то случилось! Скорее, скорее!

Шуман бросился на улицу, Охоцкий за ним. Они вскочили в пролетку и галопом помчались к дому Жецкого.

Из подъезда навстречу им кинулся Марушевич с озабоченной физиономией.

- Представьте себе, - крикнул он доктору, - у меня к нему такое важное дело... вопрос касается моей чести... а он взял да и помер!..

Доктор Шуман и Охоцкий, сопровождаемые Марушевичем, вошли в квартиру Жецкого. В первой комнате уже находились Шлангбаум, советник Венгрович и торговый агент Шпрот.

- Пил бы он брагу, - говорил Венгрович, - дожил бы до ста лет... А так...

Шлангбаум, увидев Охоцкого, схватил его за руку и спросил:

- Вы обязательно хотите забрать на этой неделе свои деньги?

- Да.

- Почему так срочно?

- Потому что я уезжаю.

- Надолго?..

- Может быть, навсегда, - отрезал Охоцкий и вслед за доктором прошел в комнату, где лежал покойник. За ними на цыпочках вошли остальные.

- Страшное дело! - сказал доктор. - Одни гибнут, другие уезжают... Кто же в конце концов тут остается?

- Мы!.. - в один голос откликнулись Марушевич и Шлангбаум.

- Людей хватит... - добавил советник Венгрович.

- Да, хватит... Но пока что уходите-ка отсюда, господа! - крикнул доктор.

Все с явным неудовольствием удалились в переднюю. Остались только Шуман и Охоцкий.

- Присмотритесь к нему, - сказал доктор, указывая на умершего. - Это последний романтик... Как они вымирают... как вымирают...

Он дернул себя за усы и отвернулся к окну.

Охоцкий взял уже похолодевшую руку Жецкого и наклонился над ним, словно собираясь шепнуть ему что-то на ухо. Взгляд его упал на письмо Венгелека, до половины высунувшееся из бокового кармана покойника. Он машинально прочел написанные крупными буквами слова: "Non omnis moriar".

- Ты прав... - тихо сказал он как бы самому себе.

- Что, я прав? - спросил доктор. - Я давно это знаю.

Охоцкий молчал.

1890

ПРИМЕЧАНИЯ

КУКЛА

"Кукла" - первое крупное произведение Пруса. До этого Прус был известен как новеллист, автор повестей и рассказов из жизни деревни, городской бедноты, средних слоев общества.

Высказывания Пруса середины 80-х годов свидетельствуют о том, что он хотел написать роман о важнейших проблемах современности. Когда в 1884 году редакция польского журнала "Край", выходящего в Петербурге, предложила Прусу сотрудничать в отделе критики, он ответил: "Хорошая вещь - критиковать, но еще лучше делать самому, а я уже начинаю ориентироваться в беллетристике и поэтому вместо критики предпочитаю написать

несколько романов о великих проблемах нашей эпохи".

Темой "Куклы", по определению самого писателя, является изображение "польских идеалистов на фоне разложения общества". "Наш идеализм, - говорит писатель, - представлен в романе тремя типами, характерными тем, что каждый из них стремится к большим делам, не заботясь о малых, тогда как реалист Шлангбаум, делая малые дела, завоевывает страну.

Жецкий - это идеалист в политике, Охоцкий - в науке, а Вокульский очень сложен, как человек переходной эпохи".

Эта тема дала Прусу возможность показать жизнь польского общества 80-х годов в широком разрезе - от аристократических салонов до варшавских окраин. (Подробнее о замысле романа см. во вступительной статье к первому тому настоящего издания).

Характерной особенностью "Куклы" является подлинность многих описываемых событий, почти документальность в отражении жизни Варшавы и людей того времени. В действие романа вплетаются и международные события того времени: русско-турецкая война 1877-1878 годов, Берлинский конгресс 1878 года, аннексия Боснии и Герцеговины Австрией в 1878 году и т.д.

Многие персонажи романа имеют своих прототипов. "Старый Шлангбаум - это действительное лицо, его настоящая фамилия - Тенненбаум, а его портрет, кто хочет, может увидеть в "Юбилейной книге" "Курьера варшавского", - писал современник и биограф Пруса Людвик Влодек. Прототипом Охоцкого все современники называют известного публициста того времени, философа-позитивиста Юлиана Охоровича (1850-1917).

Польские исследователи нашли прототип и для образа Жецкого. "Подобно Жецкому, - пишет современный исследователь творчества Пруса Г.Маркович, заходил в магазин Новицкого и Александр Гловацкий (т.е. Прус. - Е.Ц.) "для интимных бесед о личных делах" (рассказывает сын хозяина магазина Вацлав Новицкий), и в этих условиях он ближе познакомился и узнал характер управляющего делами моего отца Болеслава Морского, старого холостяка, человека безупречного характера, который и послужил прототипом старого приказчика Игнация Жецкого, героя "Куклы".

Интересны высказывания о прототипах героев "Куклы" жены писателя Октавии Гловацкой: "Женщин из аристократии мой муж никогда не знал лично и вообще сторонился этой сферы, но не все в "Кукле" является исключительно плодом воображения. Таких типов, как старый приказчик, он встречал много еще в Люблине.

Точно так же из Люблина взят магазин, с описания которого начинается "Кукла", с клоуном, выставленным в витрине. А этот Леон, агитатор, появляющийся в дальнейших главах, - это родной брат моего мужа, старше его на 12 лет... Охоцкий - это, конечно, Охорович. Доктор Шуман, этот чудаковитый из "Куклы", - это хороший наш знакомый, еврей по происхождению, который лечил меня еще тогда, когда мы жили на Твардой. Он питал романтическую любовь к какой-то девушке, польке, которая умерла от чахотки".

И Вокульский и Жецкий воспринимаются польским читателем как живые люди. В 1937 году на доме No 4 по улице Краковское Предместье в Варшаве была установлена табличка с надписью: "В этом доме жил в 1878-1879 годах Станислав Вокульский, образ, вызванный к жизни Болеславом Прусом в романе "Кукла", участник восстания 1863 года, бывший сибирский ссыльный, бывший купец и гражданин столичного города Варшавы, филантроп и ученый, родившийся в 1832 году".

Аналогичная табличка была установлена на доме No 7 по той же улице: "Здесь жил Игнаций Жецкий, образ, созданный Болеславом Прусом в романе "Кукла", бывший офицер венгерской

пехоты, участник кампании 1848 года, торговый служащий, известный автор дневника, умерший в 1879 году".

Роман печатался в газете "Курьер цодзенны" ("Ежедневный курьер") с 29 сентября 1887 года до конца мая 1889 года с большими, иногда по несколько месяцев, перерывами. Отдельной книгой роман вышел в 1890 году в трех томах. При сравнении текста, напечатанного в газете, и книжного варианта, обнаруживаются значительные изменения, вызванные не только тем, что Прус, готовя роман к отдельному изданию, изменил название некоторых глав и увеличил их количество, но и вмешательством царской цензуры. Ею было изъято всего около тридцати отрывков разного размера - от одной строчки до нескольких страниц. В этих отрывках содержались такие знаменательные факты, как участие некоторых персонажей в восстаниях 1830 и 1863 годов, пребывание Вокульского в Сибири, предполагаемая связь Вокульского и Мрачевского с русскими нигилистами и т.д.

Самый большой из отрывков, не пропущенных цензурой, был напечатан в 1912 году в "Курьере варшавском" (№ 151). Позже этот отрывок в текст романа не включался, так как Прус в книжном издании романа заменил его другим, введя важные для дальнейшего повествования детали. В этом отрывке описывается встреча Сузина с Вокульским, где Сузин напоминает Вокульскому о русской девушке, любившей его, и сожалеет, что тот не женился на ней. Герой же Пруса не захотел остаться на чужбине, - получив разрешение, он спешит вернуться на родину. Заслуживает внимания то, что Сузин называет Клейна и Мрачевского нигилистами. Слово "нигилист" можно не раз найти в первоначальном варианте, опубликованном в "Курьере цодзенном", в книжном же издании оно было вычеркнуто царской цензурой. Например, вместо фразы Жецкого: "Женившись, Стах должен был бы измениться" - у Пруса было: "Женившись, Стах должен был бы порвать с нигилистами" ("Курьер цодзенны", 1888, № 13). Там же была фраза: "Мрачевский, живя в Москве, заразился русским нигилизмом и развивает перед Жецким теории анархического социализма".

Замысел "Куклы" относится к концу 1885 года, он связан с работой Пруса над романом "Слава", который остался незаконченным. Главный герой романа "Слава" - молодой юноша Юлиан, стремящийся к великим делам, к славе. Юлиан находит возможность реализовать свои мечты, только уйдя из общества и замкнувшись в лаборатории ученого Гнейста, так как ни близкие, ни общество его не понимают. "Тогда, - писал Прус в 1896 году, - меня сильно занимала фантастическая тема: что было бы на свете, если бы нашли металл легче воздуха... С этой темой объединялась другая: какова жизнь ученого, который работает над великим изысканием, порывает отношения с ближними, подвергается опасности и - сделав открытие, получает за него... славу и... нищету... Называться этот роман должен был "Слава", действие его должно было происходить в Париже. У нас, как известно, не рождаются великие открытия. Я не люблю говорить о своих произведениях, а особенно о планах. Тем не менее, однако, о "Славе" знали в редакции, ба! даже за стенами редакции. Ибо, с одной стороны, я взял деньги на поездку в Париж, которая мне не удалась, с другой - я просил профессора Милицера, чтобы он позволил мне некоторое время поработать в его лаборатории, что уважаемый профессор мне любезно обещал".

"Вопреки воле автора, - пишет Л.Влодек, - "Курьер варшавски" обещал начало публикации этого романа в № 385 в 1885 году - на что Прус ответил: "Славы" я публиковать не мог, так как сначала я должен был бы познакомиться с Парижем и его общественными отношениями, поработать в лаборатории. На то и на другое я не имею средств и вообще не могу писать вещи, требующие денежных затрат, ибо это потом не окупается. По этой причине "Слава" до сих пор не написана, хотя я был так к ней привязан, что твердо обещал ее в "Кукле". Мне казалось, что первый роман, какой я напишу после "Куклы", будет "Слава". Эти слова Пруса объясняют и фразу из "Куклы": "Тогда он (Вокульский. - Е.Ц.) понял, что это чистая и нетленная красота есть Слава и что на вершинах ее нет иной улады, кроме трудов и опасностей".

Людвик Влодек предполагал, что героем "Славы" должен был стать Вокульский. Вот что он пишет об этом: "Не подлежит сомнению, что, вопреки общему мнению, Вокульский не погиб в развалинах Заславского замка. Взрыв нужно соотносить с тем местом в "Кукле", где говорится об ученике, который, сдав экзамены, так возненавидел учебники древних языков, что должен был их сжечь, чтобы почувствовать себя возрожденным и способным к новой жизни. Вокульский делает то же самое, взрывая камень, на котором было вырезано четверостишие Мицкевича, свидетельствующее о его прежнем безграничном преклонении перед панной Изабеллой; когда же обстоятельства заставили его презирать панну Изабеллу, то всякий след страшного призрака воспоминаний Вокульский захотел стереть с лица земли. Самоубийство не соответствовало и его натуре, всегда активной и рвущейся к деятельности на самых разных поприщах. Он мог инсценировать его, чтобы замести следы своего существования, однако же большей частью своего богатства он не распорядился, а завещания, касающиеся меньшей части, в форме предусмотренных и продуманных нотариальных актов, совершенно исключают предположение о самоубийстве под влиянием минутного аффекта; с другой стороны - весь план видимого исчезновения, нужный для того, чтобы иметь совершенно свободную дорогу к работе у Гейста, был составлен заранее. Наконец, несмотря на то, что замысел "Славы" родился у автора раньше, чем замысел "Куклы", их органически связывают "металл легче воздуха", "управление баллонами" и, наконец, образ самого Гейста. Можно, следовательно, предположить, что писатель изменил свои планы, в результате чего появилась "Кукла", как вступление к "Славе". Кто же другой мог быть героем "Славы", если не возрожденный Вокульский?"

Публикация "Куклы" в газете "Курьер цодзенны" вызвала целую полемику между этой газетой и "Курьером варшавским". "Курьер варшавски" обвинил Пруса в том, что он "продал" другой газете роман, обещанный ему. Писатель должен был объяснить, что "Курьеру варшавскому" была "обещана" "Слава", а не "Кукла".

Возмущенная этими нападками известная польская писательница, современница Пруса, Элиза Ожешко писала в одном из своих писем: "Как жаль Пруса! Расточительство по отношению к таким талантам, как Прус, - это кровная потеря для народа... После смерти Прус, наверное, возвысится, а при жизни любой журналистишка его топчет..."

Роман "Кукла", его замечательный реализм и психологическая глубина не были оценены по достоинству современной Прусу критикой. В частности, некоторые критики упрекали Пруса за то, что образ Вокульского недостаточно героичен.

Интерес к творчеству писателя возрастает в 20-30-е годы XX века, когда появляется монография Зыгмунта Швейковского, посвященная роману "Кукла" (1927), и устанавливаются в 1937 году в Варшаве памятные таблицы в честь героев романа. Но подлинное признание писатель получил в Народной Польше. По свидетельству Генрика Марковича, "в послевоенный период "Кукла" стала не только самым известным, но и самым любимым польским романом".

Часть первая

Стр. 10. ...очутился где-то под Иркутском... - Прус намекает на участие Вокульского в подготовке и осуществлении польского восстания против царизма в 1863 году. По цензурным условиям, Прус не мог яснее писать об этих событиях.

Стр. 19. Марш Ракоци - венгерский марш, очень популярный в революционной Венгрии 1848-1849 годов.

Ракоци Ференц (1676-1735) - руководитель освободительной войны против Габсбургов (1703-1711).

Стр. 27. Нового Наполеона посадили в пороховой склад. - Подразумевается - в тюрьму.

Пороховым складом жители Варшавы называли старую тюрьму на улице Рыбаки.

Стр. 40. Конрад Валленрод - герой одноименной поэмы Адама Мицкевича. Желая отомстить крестоносцам, захватившим его родину Литву, он вступает в Орден крестоносцев и, завоевав безграничное доверие Ордена, ведет деятельность, способствующую его поражению.

Стр. 45. ...Путник, что случилось с тобою? - Слова из стихотворения Адама Мицкевича "К Г*** ("Воззвание к Неаполю")".

Стр. 46. С вдовою, семь лет назад? - Пятнадцать! - Жецкий имеет в виду польское восстание 1863 года, в котором принимал участие Вокульский.

Стр. 56. Красинский Зыгмунт (1812-1859) - знаменитый польский поэт-романтик, автор поэмы "Небожественная комедия", в которой символически изображена битва между восставшим народом и аристократами, защищающими последнюю твердыню феодального могущества - монастырь "Окопы святой троицы".

Стр. 96. Людей проходят поколенья... - Это четверостишие, как и следующие два, приведенные в настоящей главе, взяты из поэмы "Царь Соломон" польского поэта Влодзимежа Загурского (1834-1902). Перевод С.Гаврина.

Стр. 99. Черский Ян (1845-1892); Чекановский Александр (1830-1876); Дыбовский Бенедикт (1833-1930) - польские ученые, сосланные в Сибирь за участие в польском национально-освободительном восстании 1863 года.

...души летят домой, на запад. - Этот образ навеян романтической поэмой Юлиуша Словацкого "Ангелли" (1836).

Стр. 106. Повонзки - название кладбища в Варшаве.

Стр. 148. Чем дальше тень, она длинней и шире... - слова из стихотворения Адама Мицкевича "К М.". Перевод М.Зенкевича.

Стр. 158. ...наше путешествие... затянулось до... октября 1849 года. Жецкий, как и многие поляки, участвовал в национально-освободительной борьбе Венгрии против Австрии (март 1848 - октябрь 1849 гг.)

Стр. 163. Бем Юзеф (1795-1850) - польский генерал, один из руководителей польского восстания 1830 года; позже командовал венгерскими революционными войсками в Трансильвании.

Стр. 169. Вилагош - городок в Восточной Венгрии, где главнокомандующий венгерской армией Гергей 13 августа 1849 года предательски сдал ее без боя фельдмаршалу Паскевичу.

Стр. 170. Хайнау Юлиус-Якуб (1786-1853) - австрийский фельдмаршал, который в 1849 году руководил австрийскими войсками, брошенными на подавление революционного движения в Венгрии.

Кошут Лайош (1802-1894) - венгерский политический деятель, вождь венгерской революции 1848-1849 годов.

Стр. 172. Бог родится - зло страшится - начало коляды польского поэта Францишека Карпинского (1741-1825).

Стр. 173. Томашов - городок, через который проходила в то время граница между Галицией, принадлежащей Австро-Венгрии, и Королевством Польским, входившим в состав Российской

империи.

...меня направляют в Замостье. - В Замостье находилась царская тюрьма.

Стр. 193. Налевки - улица в еврейском квартале довоенной Варшавы.

Стр. 195. Цитадель. - В одном из зданий Варшавской цитадели, построенной по приказу Николая I в 1832-1840 годах, в так называемом XX павильоне находилась тюрьма для политзаключенных. Жецкий предполагал, что приятели Мрачевского были с ними связаны.

Стр. 250. Шимановский Вацлав (1821-1886) - писатель, публицист, переводчик, с 1868 года - редактор "Курьера варшавского".

Стр. 315. Росси Эрнесто (1827-1896) - знаменитый итальянский трагический актер; его выступления в Варшаве в 1878 году имели большой успех.

Стр. 316. Цитаты из "Ромео и Джульетты" Шекспира даны в переводе Б.Пастернака.

Стр. 318. Супинский Юзеф (1804-1893) - польский буржуазный экономист позитивистского направления, автор труда "Польская школа общественного хозяйства".

Стр. 326. "Швейцарская долина" - летний сад с концертным залом в Варшаве.

Стр. 353. Добрский Юлиан (1811-1886) - знаменитый тенор Варшавской оперы.

Стр. 371. Есть многое на небе и земле... - слова Гамлета из первого акта трагедии Шекспира "Гамлет", обращенные к Горацио: "Есть многое на небе и земле, что и во сне не снилось нашим мудрецам".

Стр. 382. Павьяк - так называлась тюрьма на Павьей улице.

Стр. 436. О Спарта, сгинь, пока твое величие... - слова из поэмы "Тир гей" польского поэта Владислава Людвика Анчица (1823-1883). Перевод С.Гаврина.

Стр. 444. ...многие даже попрятались за бочки. - Прус описывает тайное собрание патриотов в период подготовки польского восстания 1863 года. Учитывая царскую цензуру, автор говорит о политических событиях иносказательно. Под прыжком с виадука Леон подразумевал участие в каком-то крайне опасном политическом деле.

Стр. 447. Твардовский - легендарный польский чернокнижник, продавший душу дьяволу. Согласно легенде, он спасся молитвой от ада и был осужден висеть до дня Страшного суда между небом и землей, уцепившись за месяц.

Стр. 451. Дракона грозного ты оседлаешь... - строки из 41-го псалма; на польский язык псалмы были переведены известным польским поэтом Яном Кохановским (1530-1584). Русский перевод С.Гаврина.

Стр. 453. Черный и желтый - цвета австрийского флага.

Часть вторая

Стр. 16. ...и свищет, и бьет, и шипит... - слова из баллады Шиллера "Кубок". Перевод В.Жуковского.

Стр. 20. Армия спасения - реакционная религиозно-филантропическая организация, основанная в 1878 году в Лондоне священником Бутсом.

Стр. 69. Срываюсь и бегу, мой гнев кипит сильней... - строка из сонета Адама Мицкевича "Я

размышляю вслух..." Перевод В.Левика.

Стр. 98. Остров Утопии - фантастическая идеальная страна, которая описывается в книге английского писателя Томаса Мора (1478-1535).

Стр. 99. Ядвига (1371-1399) - королева Польши с 1382 года. В 1386 году вступила в брак с великим князем Литовским Ягайлой, в результате чего Литва была присоединена к Малой Польше.

Мария Лещинская (1703-1768) - дочь польского короля Станислава Лещинского, жена французского короля Людовика XV.

Стефан Баторий - польский князь; в 1576 году в целях захвата власти женился на княжне Анне из королевского рода Ягеллонов.

Стр. 104. Халубинский Титус (1820 - 1889) - знаменитый польский врач и ботаник.

Барановский Игнаций (1833-1913) - варшавский врач и общественный деятель.

Стр. 158. Все в тот же час, на том же самом месте... - слова из стихотворения Адама Мицкевича "К М.". Перевод М.Зенкевича.

Стр. 176. Матейко Ян (1838-1893) - выдающийся польский живописец-реалист.

Стр. 237. Альдона и Гражина - героини романтических поэм Адама Мицкевича "Конрад Валленрод" и "Гражина". Марыля - Мария Верещак, - девушка из богатой шляхетской семьи, которую любил Мицкевич. Поэт воспел ее во многих стихах.

Стр. 269. Свое резко саркастическое отношение к миру польской аристократии Прус подчеркивает, давая своим героям - салонным завсегдатаям смешные фамилии, образованные от названий грибов и т.д. Рыдзевский Рыжиков, Печарковский - Шампиньонский, Жежуховский - Кресс-Салатов, Келбик Пескарик, Следзинский - Селедкин.

Стр. 319. И сколько лет спать буду так - не знаю... - слова из стихотворения Адама Мицкевича "Сон". Перевод Л.Мартынова.

Стр. 335. Верил я прежде, что есть в этом мире... - строки из стихотворной вставки в романе "Язычница" польской писательницы Нарцизы Жмиховской (1819-1876). Перевод С.Гаврина.

Стр. 343. Он женат на дочке Путткамера, а... Путткамеры... - родня Мицкевичу. Бисмарк был женат на дочери прусского юнкера Генриха Путткамера, не имеющим никакого отношения к литовским Путткамерам; последние, впрочем, в родстве с Мицкевичем не были.

Стр. 359. Фейхтерслебен Эрнст (1806-1849) - австрийский поэт и врач-психиатр. Цитируемые слова принадлежат немецкому критику Вильгельму Шлегелю (1772-1829). Фейхтерслебен использовал их как эпитафия к одной из глав своей книги "Гигиена души".

Я страдаю - значит, я существую! - Вокульский перефразировал известное изречение Декарта: "Я мыслю - значит, я существую".

Стр. 361. "Житие св. Женевьевы", "Танненбергская роза" - популярные в XIX веке произведения немецкого пастора, автора книг для юношества Кристофа Шмида (1768-1854).

"Ринальдини" - "Ринальдо Ринальдини" (1798) - популярный в свое время разбойничий роман немецкого писателя Христиана Августа Вульпиуса (1762-1827).

Стр. 432. Кениг Юзеф (1821 - 1900) и Сулицкий Эдмунд (1833-1884) были в то время

редакторами консервативных газет - "Газеты варшавской" и "Газеты польской"; оба, кроме того, писали статьи по вопросам международной политики.

Стр. 458. "Весь я не умру" - строка из оды римского поэта Горация "Памятник".

Е.Цыбенко